

3 Июня 1894 г.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

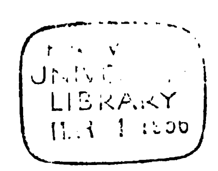
В. КРЕСТОВСКАГО

(ПСЕВДОНИМЪ)

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

I. Недавнее.—II. Большая медвѣдица.—III. Счастливые люди.—
IV. На вечерѣ.—V. Вѣра.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА
1892



 Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13 

НЕДАВНЕЕ.

РОМАНЪ.

1861—1864 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Было семь часовъ утра, погода прекрасная; отъ росы блестѣлъ дернъ и еще темнѣли дорожки цвѣтника предъ небольшимъ господскимъ домомъ въ сельцѣ Надеждинскомъ. Это сельцо стоитъ довольно глухо въ сторонѣ отъ уѣздныхъ городовъ N-ской губерніи. Въ 1849 г., когда происходила эта исторія, сельцо было бѣдно обстроено, и для того, чтобы не портить вида, расположено далеко отъ господскаго дома, нарядно выдвинутаго на пригорокъ, надъ тощимъ и зацвѣтшимъ прудомъ. Сельцо называлось Лоскутовщиной, но его владѣлица, Аграфена Петровна Таманова, нашла приличнѣе назвать его по имени своей старшей дочери, которой назначала его въ приданое. Перемѣна названія произвела нѣкоторую запутанность въ дѣлахъ полюбовнаго размежеванія и другихъ, потому что владѣлица никакъ не соглашалась даже соединить два имени, съ прибавкой частицы тожъ, а становые, землемѣры, посредники никакъ не умѣли взять въ толкъ этого Надеждинскаго, не существующаго ни на какихъ планахъ; въ Надеждинское не знали дороги крестьяне окрестныхъ деревень; въ Надеждинское не вѣрилъ попъ прихода, къ которому оно принадлежало; грубые сосѣди помѣщики еще долго терзали слухъ владѣлицы именемъ Лоскутовщины, пока, наконецъ, это обошлось и всѣ немного попривыкли. Въ іюнѣ 1849 года, Аграфена Петровна Таманова жила въ Надеждинскомъ съ дочерью и ея мужемъ, Григоріемъ Николаевичемъ Боровицкимъ, молодымъ человѣкомъ лѣтъ тридцати, гораздо моложе жены своей, Надежды Сергѣевны, которая, семь лѣтъ назадъ, вышла за него замужъ, по любви.

Въ это утро, Боровицкій одинъ гулялъ, или, вѣрнѣе, бродилъ по цвѣтнику, посматривая на цвѣты, которыхъ было много и всѣ разведенные его заботами. Половина оконъ дома была еще заперта ставнями; тамъ почивали, хотя во дворѣ была замѣтна суета, непривычная въ деревнѣ, а въ переднихъ комнатахъ—залѣ, гостиной, диванной—производилась чистка, подобная тѣмъ, которыя производятся въ барскихъ домахъ передъ праздниками. Два лакея вытащили изъ гостиной, чрезъ балконную дверь, коверъ, и принялись выколачивать его на площадкѣ нредъ цвѣтникомъ.

— Что вы дѣлаете? закричалъ имъ Боровицкій;—вся пыль на розаны!

— Барыня приказала, возразилъ лакей.

— Вынесите во дворъ!

— Подъ окошками у Зинаиды Сергѣевны нельзя стучать, неравно разбудишь, возразили опять, въ голосъ, оба, работая палками.

— Подальше оттащили бы... проговорилъ, задохнувшись, Боровицкій.

Но работа была уже кончена; люди, непривычные къ подобному труду, скоро утомились и, находя, что коверъ достаточно вымоченъ о сырой песокъ, повлекли его об-

ратно на балконъ. Надъ мѣстомъ совершившагося дѣла поднимался столбикъ пыли, очень красивый въ чистомъ воздухѣ. Боровицкій чихнулъ и повернулъ за уголъ дома.

Домъ приходился тамъ въ два этажа, нижній и антресоль; узелки, тряпки, банки на окнахъ показывали, что это комнаты не парадныя, а жилыя, и жилыя—женскія; съ антресоля несся скрыпъ кофейной мельницы. Когда проходилъ Боровицкій, одно окно внизу отворилось.

— Здравствуй, папа! раздалось оттуда.

Боровицкій оглянулся.

— Здравствуй, Машурка, отвѣчалъ онъ. На его лицѣ выразилось удовольствіе, очень понятное, если вообразить прелесть дѣтскаго голоса, который позвалъ его, и на темномъ фонѣ стараго окна, между вѣтками одичавшихъ акацій, маленькую, бѣленькую дѣвочку, съ золотистыми вьющимися волосами, съ большими черными глазами, съ алыми губками, яркими какъ влажный кораллъ или листокъ только что распустившагося мака.

— Здравствуй, моя дѣвчоночка, повторилъ Боровицкій, подходя и привставъ на фундаментъ:—что же ты сидишь, не гуляешь? давно проснулась?

— Давно, папа. Да видишь, некогда, я и не одѣта, на мнѣ только юбочка. Няня ушла, она кофей варитъ. Надо кофей скорѣе пить, какъ только тетя проснется, сейчасъ надо...

— Но развѣ кромѣ няни некому сварить? сказалъ Боровицкій.

— Всѣмъ некогда, отвѣчала Маша:—всѣ ушли. Я видѣла, какъ ты шелъ мимо. Я бы сама надѣла капотикъ, вышла къ тебѣ, да меня заперли.

— Кто жъ это распорядился?.. Ну, надѣвай капотикъ, вылѣзай отсюда.

— Сейчасъ, папа.

Она исчезла изъ окна и чрезъ минуту явилась опять, застегивая пуговки своего капотика. Боровицкій протянулъ руки и высадилъ ее.

— Я Богу молилась, папа, сказала она:—bonjour, papa.

— Ну, лучше по-русски, возразилъ отецъ, между тѣмъ какъ она его цѣловала, прижималась къ его лицу и душила рученками, что было силъ.

— Ѣсть хочешь? спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще, а скоро захочу. Пойдемъ гулять покуда, пойдемъ на деревню.

— Нѣтъ, душечка, на деревню нельзя; далеко.

— Отчего? мы тогда съ тобой ходили; ничего, не далеко.

— Конечно, ты не устанешь, но мнѣ нельзя: мнѣ надо быть дома. Я вѣдь хозяинъ, Машурка. Вотъ, Петръ Иванычъ встанетъ; мнѣ надо къ нему, занимать его.

— Петръ Иванычъ... Это—дядя, папа?

— Дядя. Надо говорить: mon oncle. Это мужъ тети Зины.

— Какой онъ толстый!

— Онъ очень хорошій человѣкъ.

— Чѣмъ, папа, онъ хорошій человѣкъ?

— Всѣмъ, милка. Добрый.

— Я вчера вечеромъ какъ испугалась, папа! Я ужъ легла. Онъ, Петръ Иванычъ, пришелъ въ корридоръ и какъ онъ своего человѣка бранилъ! Ахъ, папа, какъ онъ его бранилъ, какъ кричалъ! Помнишь, бабушка на старосту тогда кричала?.. вотъ такъ кричалъ. Помнишь, ты тогда ходилъ прощенія просить, а бабушка тогда легла...

— Хочешь розановъ, Машурка?

— Ахъ, дай, папа, дай, голубчикъ! Пойдемъ на деревню, миленькій, пойдемъ, мое золото! Я кормилкѣ розаны отнесу. Ты поскорѣй воротись къ Петру Иванычу... къ mon oncle, а меня оставь. Няня сказала, что нынче пошлютъ въ лѣсъ за ягодами; я пойду съ сестрицами въ лѣсъ, къ обѣду ворочусь, ягодъ тебѣ принесу...

— Съ какими сестрицами?

— Какъ съ какими?—съ кормилицыными! съ сестрицами! объяснила Маша нетерпѣливо.

— Да!.. Я думалъ съ кузинами. Нѣтъ, Маша, этого нельзя. Ты неодѣта, пойдешь въ лѣсъ, вся выпачкаешься,—что хорошаго, съ крестьянскими дѣвочками? Вотъ, вечеромъ, если тетя Зина позволитъ, вы пойдете гулять съ маленькими кузинами, можетъ быть, и въ лѣсъ.

— Я съ кузинами не пойду, возразила Маша, надувъ губки.

— Почему? онѣ такія хорошенькія, умныя.

— Съ ними скучно.

— Какъ скучно? Какая ты у меня дикарка, Машурка! Онѣ только вчера пріѣхали, ты ихъ всего часъ какой нибудь видѣла. Вотъ познакомишься получше, будете играть...

— Нѣтъ, папа, милочка, я не хочу. Пойдемъ лучше учиться; я натощакъ всегда лучше учусь.

Боровицкій улыбнулся, но въ ту же минуту его лицо приняло нѣсколько озабоченное выраженіе.

— Это нехорошо, Маша, сказалъ онъ: — видишь, какая ты непостоянная. Бабушка

правду говоритъ, что у тебя нѣтъ никакого порядка. Ты въ разныя стороны мечешься— то въ лѣсъ, то въ классъ — вѣдь это крайности...

Дѣвочка глядѣла, широко открывъ глазки.

— Посмотри, у всѣхъ порядокъ, продолжалъ отецъ: — вотъ твои маленькія кузины—теперь лѣто — онѣ и совсѣмъ не учатся, вакація...

— Это, папа, какъ ты хочешь, возразила она: — ты же самъ говорилъ, что надо учиться.

Она, казалось, огорчилась.

— Я говорилъ, конечно, отвѣчалъ Боровицкій: — но порядокъ нуженъ во всемъ, Маша, у тебя порядка нѣтъ. Вакацію можно заниматься такъ, чѣмъ нибудь, стихи учить...

— Ахъ, знаешь, весело прервала она: — я тѣ, что ты третьяго дня читалъ, выучила... спроси до точки, я тебѣ сейчасъ прочту:

O padre nostro, che ne'cieli stai.

Она читала молитву изъ «Чистилища». Отецъ улыбался, довольный, и подсказывалъ; дѣвочка была очень счастлива, хотя сбивалась; у нея даже покраснѣли глазки отъ усилій памяти.

— Dà, oggi a noi la cotidiana manna... Нѣтъ, больше не знаю, сказала она, вдругъ прервавшись, и стала цѣловать его и душить, что было въ ея привычкахъ.

Боровицкій опять отуманился.

— Все это хорошо, Маша, сказалъ онъ:— но надо, мой другъ, знать что нибудь другое. Это—языкъ малоизвѣстный, стихи эти старинные, серьезные. Если тебѣ велятъ прочесть что нибудь для гостей—ты ничего не знаешь.

— Какъ, ничего? возразила она:—я басни знаю, я пропасть стиховъ знаю...

— Пропасть! кто это такъ говоритъ? Такъ мужички говорятъ!

Маша, сконфуженная, подняла голову.

— Что ты, папа?

— Ну, да, въ избахъ, мужички. Ты такъ скажешь при комъ нибудь, тотчасъ и догадаются, что ты все въ избахъ съ ребятишками.

— Я ничего ни при комъ не буду говорить, возразила она: — я все буду молчать. Что же за бѣда, что я съ кормилкой, съ сестрицами? вовсе не бѣда. Я ихъ люблю. Я съ ними всегда буду жить; я къ гостямъ не пойду...

— Вотъ еще вздоръ какой! прервалъ, разсердясь, Боровицкій.

— Не пойду! вскричала дѣвочка, разсердясь тоже: — зачѣмъ къ гостямъ? Стихи читать? Вѣдь ты гостямъ стиховъ не читаешь? Что-жъ, ты приведешь меня, скажешь: читай? Вѣдь это смѣшно! развѣ это театръ? ты мнѣ о театрѣ разсказывалъ...

— Ну, пожалуйста, не разсуждай, сказалъ строго Боровицкій: — ступай къ себѣ домой; вотъ дядя идетъ, а ты даже и непричесана.

Но Маша не успѣла отойти, какъ къ нимъ приблизился господинъ въ легкомъ сѣромъ пальто и во всемъ остальномъ такого же изящнаго сѣраго цвѣта и изящной матеріи. Этой матеріи должно было пойти очень много, чтобы облечь плотную, высокую фигуру, съ животомъ почти невѣроятнаго размѣра. Эта фигура невольно вселяла уваженіе важностью и достоинствомъ, съ которыми она занимала свое мѣсто на землѣ; она была бодра и непоколебима, и если что либо безпокоило ее, то, казалось, одно ея собственное тяготѣніе. Господинъ ступалъ медленно и мягко, дышалъ сильно, отчего отдувались его круглыя щеки и подбородокъ, покоившійся на батистѣ. Его глаза были круглы, брови дугою, носъ округлялся; кисти рукъ, лишенныя возможности соединяться, были мягки и круглы, и украшались кольцами — съ печатью, обручальнымъ и съ большой бирюзой. Пальцы, совсѣмъ барскіе, не сгибающіеся ни для какого дѣла, развѣ для мягкой и плавной разсыпки картъ по столу, были обременены на этотъ разъ тонкой тросточкой, взятой, конечно, для вида, потому что служить опорой такому барину было не по силамъ тросточки. Баринъ назывался Петръ Ивановичъ Черемышевъ; онъ былъ зять Боровицкаго, женатый на сестрѣ его жены, Зинаидѣ Сергѣевнѣ.

— А, mademoiselle, произнесъ онъ, увидя Машу: — въ какомъ неглиже! Что-жъ, кланяйся же, gut Morgen, bonjour. Allez faire votre toilette... Я у тебя, братецъ, обошелъ тутъ кое-что, обратился онъ къ Боровицкому.

— Развѣ вы рано проснулись, Петръ Иванычъ?

— Да, не спалось. Не на мѣстѣ. Кабинетъ твой... Комаровъ милліоны. Люди поднялись; гвалтъ.

— Васъ потревожили? спросилъ, встревожась, Боровицкій.

— Папа, теперь можно, я войду къ тебѣ въ кабинетъ, возьму «Европейскую Галерею», сказала тихо Маша.

— Il ne faut pas comme-ça interrompre la

conversation, замѣтилъ ей дядя: — большіе говорятъ, слушать надо.

Но Маша уже ничего не слушала и, подпрыгивая, бѣжала на балконъ. Это движеніе выказывало ея тоненькія ножки, но съ ними вмѣстѣ и старенькіе башмачки и чулочки не первой свѣжести, что было весьма прискорбно родительскому сердцу, особенно потому, что за всѣмъ этимъ наблюдалъ изящный дядюшка.

— Выправки нѣтъ, сказалъ Боровицкій улыбаясь, будто извиняясь.

Черемышевъ не обратилъ вниманія.

— У тебя есть оранжерея? спросилъ онъ.

— Маленькая цвѣточная, отвѣчалъ Боровицкій:—я люблю цвѣты.

— Цвѣты! Цвѣтами сытъ не будешь. Это — женское дѣло, цвѣты. У тебя и въ парникахъ ничего нѣтъ—я проходилъ. Это, братъ, не разсчетъ. Если самъ не ѣшь, не по средствамъ—то продавать бы могъ.

— Кому же здѣсь покупать? возразилъ, покраснѣвъ, смиренно Боровицкій:—губернскій городъ — двѣсти верстъ; въ уѣздныхъ городахъ, или сосѣди...

— Свиньи, братецъ, свиньи, это я знаю. Это все рѣдькой да лукомъ питается. Это все мелкотравчатые. Вотъ, только отстаивать ихъ надобно, а отъ нихъ за версту лукомъ, лукомъ несетъ—а отстаивать ихъ надобно!

Черемышевъ засмѣялся, что было хотя пріятно для глазъ, но нѣсколько опасно при его сложеніи. Боровицкій смѣялся тоже, самъ не зная зачѣмъ.

— А отстаивать надобно? повторилъ онъ.

— Надобно, братецъ, надобно! отвѣчалъ Черемышевъ, смѣхъ котораго начиналъ переходить въ свистъ и кашель. — По обязанности надобно! Выбрали губернскимъ, ну, maréchal de la noblesse, такъ и рѣжься за нихъ, что бы тамъ ни было. У меня еще съ зимы, слава Богу, покойно, ничего не вышло еще. Да вѣдь и губернаторъ у насъ человѣкъ такой... Прекрасный человѣкъ, заключилъ онъ, передохнувъ и серьезно.

— Прекрасный? повторилъ Боровицкій.

— Прекраснѣйшій, нетолько прекрасный, подтвердилъ Черемышевъ. — И жена — милая женщина. Онъ въ большую играетъ, съ дрянью не связывается. Извѣстно, гдѣ же губернаторъ можетъ лучше сойтись съ обществомъ, какъ не въ клубѣ? Ну, а если тамъ онъ себѣ выберетъ, такъ, по мелочи, какое же онъ понятіе получитъ о дворянствѣ? Ему честь дѣлаетъ, что онъ умѣлъ выбрать: все люди съ состояніемъ, не то что служащіе—служащіе ему въ глаза глядятъ, а съ состояніемъ, нашъ братъ, дворянинъ... Понимаешь — это не чиновникъ какой нибудь...

— Да, конечно, сказалъ Боровицкій: — чиновники, тѣ отъ него зависятъ. Помѣщикъ, неслужащій, конечно, человѣкъ образованный, съ голосомъ...

— Ну, да, ну, да, съ голосомъ. Вѣдь если онъ какую нибудь безъ трехъ въ червяхъ заломитъ — зависящій чиновникъ ему смолчитъ, а дворянинъ, равный его—предъ тѣмъ онъ не посмѣетъ: вѣдь ему скажутъ и докажутъ... Это ему честь дѣлаетъ, честь дѣлаетъ Василью Васильичу...

— Вашего губернатора зовутъ Василій Висильичъ?

— Василій Васильевичъ Палугинъ, отвѣчалъ Черемышевъ.—Да что-жъ ты это, братецъ, «вашъ губернаторъ»? развѣ онъ и не твой губернаторъ? Кажется, губернія-то у насъ съ тобой одна.

Онъ, казалось, чѣмъ-то оскорбился.

— Одна-то, одна, повторилъ Боровицкій: — но такъ какъ у меня нѣтъ ничего въ этой губерніи... да и нигдѣ нѣтъ, прибавилъ онъ смѣясь, но нѣсколько осторожно.

— Да-а... Но все-таки, продолжалъ Черемышевъ: — но все-таки ты отъ жены, отъ тещи шаръ имѣешь. Сколько у нихъ, сто... съ чѣмъ?

— Сто... сто четыре... сто четырнадцать душъ, отвѣчалъ Боровицкій.

— Какъ же, шаръ. Еще мнѣ вашъ шаръ непріятностей надѣлалъ на выборахъ, зимою. Скотина Бѣлосницынъ мѣтилъ туда же, въ губернскіе. Когда стали меня баллотировать, онъ вдругъ вопросъ поднялъ: слѣдуетъ ли считать шаръ зятя, тещи за дѣйствительный? Шуму надѣлалъ. Да не выгорѣло его дѣло. Всякая тля, въ самомъ дѣлѣ, себя воображаетъ... Онъ, отроду, какъ засѣлъ у себя въ деревнѣ, да носомъ уткнулся въ разные римскіе-греческіе законы, да о семипольномъ, да о десятипольномъ... право, съ тѣхъ поръ яичницы съ саломъ дворянамъ не подалъ, не то что какое нибудь сближеніе...

Предводитель закашлялся и задохнулся. Боровицкій почувствовалъ себя неловко, когда онъ, переведя духъ, взглянулъ на часы. Было уже девять. Гость, вѣроятно, желалъ кушать.

— Одолжи мнѣ, братецъ, огня, сказалъ онъ, послѣ новаго свиста и кашля, доставая сигару:—поутру, я не привыкъ...

Боровицкій поспѣшилъ къ балкону, въ

домъ, за спичками, но Черемышевъ вошелъ вслѣдъ за нимъ и, закуривъ, расположился на диванѣ, въ глубинѣ гостиной. Боровицкій нашелъ возможнымъ уйти на минуту, узнать о хозяйственныхъ распоряженіяхъ для чая, для завтрака, для чего нибудь...

Летя юношески быстро по узенькой лѣстницѣ на антресоль, Боровицкій едва не сбилъ съ ногъ горничную, которая несла накрахмаленное платье со множествомъ оборокъ. Посторонясь, онъ спросилъ:

— Что барыня, скоро?

— Встаетъ-съ, отвѣчали ему.

— Только еще встаетъ! Можно къ ней?

— Я спрошу.

Боровицкій подождалъ у двери, куда скрылась горничная.

— Пожалуйте.

Надежда Сергѣевна занималась предъ импровизированнымъ туалетомъ. Она уступила свою спальню пріѣзжей сестрѣ, свою уборную — ея дѣтямъ и гувернанткѣ, и временно помѣщалась въ «складочной», тоесть въ удобной, красивой комнатѣ, съ висящимъ балкономъ въ садъ, но запущенной, заваленной, загрязненной какъ только возможно. Большое зеркало, которое, казалось, могло бы и висѣть, было приставлено къ стѣнѣ и придержано стуломъ. Боровицкій постарался не смотрѣть на остальной безпорядокъ—къ тому же, было некогда.

— Надя, что же чай, душа моя? сказалъ онъ.

— Что же чай? возразила она, нетерпѣливо вынимая изъ рукъ горничной подвязную косу, и еще нетерпѣливѣе стараясь укрѣпить ее сама на своей головѣ.—Что же чай? Ты видишь... некогда. Да кому же чай? Зина пьетъ кофе въ постели. Она не выходитъ раньше двѣнадцати. M-lle Луаро и дѣтямъ ужъ подали молоко и котлеты...

— Но, Петръ Иванычъ?

— А, Петръ Иванычъ! Но развѣ ты не спросилъ Петра Иваныча? развѣ онъ ужъ всталъ? Не могу же я, такъ, бѣжать, узнавать, что надо Петру Иванычу!

— Да, но... Онъ, кажется, чай пьетъ...

— «Кажется!» Право, точно я хозяйка, что я должна обо всемъ... Наталья, поди, скажи, чтобъ няня сдѣлала, подала бы туда... гдѣ онъ?

— Въ гостиной.

— Въ гостиную бы подали. Да столъ бы накрыли, а то они, пожалуй, такъ безъ салфетки... скажи нянѣ, гдѣ у нея новыя ложечки... они, пожалуй, подадутъ обгрызанныя... Мои ложечки, съ вензелемъ, скажи! Да приходи скорѣе, мнѣ здѣсь одной... Да если куличъ готовъ, скажи, чтобъ нарѣзали, подали бы...

Надежда Сергѣевна бросилась отъ зеркака къ двери. Въ дверь выглянула голова, повязанная платочкомъ.

— Няня, да сдѣлай же милость, не бѣгай изъ мѣста въ мѣсто, дѣлайте толкомъ. Ложечки мои...

— Знаю, матушка, слышала я про ложечки. Да поваръ ждетъ, который часъ ужъ, сударыня, кушать что прикажете?

— Что онъ пристаетъ? обѣдать будутъ въ пять часовъ, слава Богу, успѣетъ.

— Такъ, матушка, да провизіи надо. Вчера съ вечера не приказали. Съѣздили бы, сударыня, за говядиной въ Панево, тамъ, село богатое, бьютъ, авось. Да пристань тамъ, рыбки бы посмотрѣли. А теперь, поваръ говоритъ, нѣтъ ничего. Цыплятъ однихъ душить, что съ нихъ возьмешь. Вотъ, о чухонскомъ маслѣ не приказали съ вечера—и нѣтъ его; Зинаида Сергѣевна къ кофею спрашивала, а его нѣтъ...

— Господи! вскричала Надежда Сергѣевна, залившись слезами:—сестра въ десять лѣтъ въ первый разъ у меня въ домѣ, и ей ѣсть нечего!

— Скажи повару, чтобъ сейчасъ онъ самъ ѣхалъ въ Панево, вмѣшался Боровицкій.

— Отецъ родной, возразила она, всплеснувъ руками:—это двадцать верстъ-то? да когда же онъ оборотитъ? Когда-жъ ему готовить-то? Покуда пріѣдетъ, покуда искупитъ, да лошадку покормитъ... да найдетъ ли еще, что искупить?.. да самъ, грѣшный человѣкъ, отдохнетъ, да воротится — глядишь, ужъ и вечеръ на дворѣ! Гдѣ же за всѣмъ управиться! Нѣтъ, вы извольте что другое приказать. И еще какъ маменька позволитъ подводу брать: сѣнокосъ. Да и народъ весь въ луга ушелъ.

Надежда Сергѣевна рыдала.

— Пойдемъ, няня, я самъ потолкую съ поваромъ, сказалъ Боровицкій, уводя ее: — а ты покуда сдѣлай чаю для Петра Иваныча... Да сыру дайте, чего нибудь, тартинки...

Онъ пошелъ и воротился опять къ женѣ. Надежда Сергѣевна, вся расплаканная, занималась своей косою.

Надежда Сергѣевна была на четыре года старѣе своего мужа, блондинка, когда-то недурна, но семь лѣтъ супружества, хотя бы и по любви, притупляютъ желаніе нравиться, и потому, въ настоящую минуту,

Надежда Сергѣевна не заботилась скрывать разочаровывающихъ подробностей, въ родѣ накладной косы и легкихъ притираній, румяные слѣды которыхъ виднѣлись на полотенцѣ. Слезы идутъ къ немногимъ лицамъ; къ тонкимъ, завялымъ чертамъ Надежды Сергѣевны онѣ не шли положительно. Къ тому же, это были слезы гнѣва столько же, сколько грусти, а гнѣвъ былъ блѣдный, безсильный, какъ блѣдна и безсильна вся бѣлокурая фигура Надежды Сергѣевны.

— Боже мой, какъ я несчастна! выговорила она, не оборачиваясь къ мужу, но видя его за собою, въ зеркало.

— Успокойся, Надя, я все устроилъ, сказалъ Боровицкій.

— Это — безпорядокъ, это — нерадѣніе, какого я и не видывала!

— Наши люди не привыкли... возразилъ Боровицкій.

— Не привыкли! Кто-жъ въ этомъ виноватъ? Я думаю, чѣмъ заниматься ботаникой, ты бы могъ заняться чѣмъ нибудь въ домѣ. Я противъ моей матери идти не могу, а ты мужчина. Надо-жъ имѣть хоть какую нибудь силу характера. Я вѣчно одна! Маменька, говорятъ, даже и не просыпалась, у нея и ставень не отворяли; если и проснулась, то Богу молится, а это для того только, чтобы оставить меня одну въ затрудненіи...

— Ну, вотъ, затрудненія кончены, отвѣчалъ Боровицкій: — одѣнься, узнай, что сестра...

— Одѣнься! вскричала она: — еще бы... Но, ради Бога, не мни же моего платья!

Платье, или ворохъ оборокъ, висѣло на стулѣ, книзу рукавчиками. Боровицкій имѣлъ неосторожность къ нему прислониться.

— Поди же отсюда, оставь меня одѣться! прибавила Надежда Сергѣевна съ новыми слезами.

Боровицкій поспѣшилъ уйти. Маша позвала его внизу, въ коридорѣ, но онъ отвѣтилъ ей: «некогда» —и направился въ гостиную.

Тамъ завтракалъ Черемышевъ. Завтракъ устроивали няня и лакеи, люди непривычные, потому кое-что и вышло неладно. Куличъ горячій, только изъ печи, былъ нарѣзанъ толстѣйшими, неуклюжими ломтями и поданъ безъ салфетки; напротивъ, сыръ, о которомъ приказывалъ Боровицкій, былъ наструганъ очень тонко и разложенъ кружочкомъ по тарелкѣ. Лакеи, не имѣвшіе понятія о тартинкахъ, сообразили, что къ сыру необходимы черный хлѣбъ и водка. Видъ этихъ предметовъ покоробилъ Боровицкаго, хотя они и были уже отставлены на другой столъ, вѣроятно, по приказанію самого Черемышева.

— Чѣмъ у тебя, братецъ, людей зовутъ? спросилъ онъ:—колокольчика нѣтъ, я и кричалъ, и свисталъ — никого нѣтъ.

— Что вамъ угодно, Петръ Иванычъ?

— Да вотъ, чтобъ это убрали.

Боровицкій пошелъ отыскивать лакеевъ. Пока онъ занимался этимъ, гувернантка ввела въ гостиную двухъ дѣвочекъ, лѣтъ восьми и шести, дочерей Черемышева. Дѣвочки были очень нарядны, прекрасно причесаны, держались чинно и, присѣдая, граціозно вертѣли коротенькими шелковыми юбочками.

— Bonjour, papa, сказали онѣ обѣ въ голосъ.

— Bonjour, отвѣчалъ Черемышевъ, величественно куря сигару и отечески давая имъ цѣловать свою руку.—Bien bonjour, mademoiselle Loirot, прибавилъ онъ, отдѣляясь отъ спинки дивана, и шаркнулъ ногой, не вставая.

Гувернантка присѣла тоже.

— Promener? Vous allez promener? продолжалъ Черемышевъ.

— Мы не знаемъ куда идти, заговорили обѣ дѣвочки.

— Спросить надо, demander. Эй, человѣкъ!

Лакей явился убирать завтракъ.

— Гдѣ тутъ, братецъ, пройти въ садъ, что ли?

— Вотъ-съ, отвѣчалъ тотъ, нѣсколько изумленный, показывая на отворенный балконъ, изъ котораго былъ виденъ садъ.

— Да вѣдь проводить надо, братецъ, понимаешь?

— Собакъ нѣтъ-съ, отвѣчалъ лакей, посматривая на барышень и улыбнувшись отъ удовольствія, что въ гостиной такіе нарядные гости.

— Чему ты смѣешься, болванъ? строго замѣтилъ Черемышевъ: — вынеси все и сейчасъ явись проводить. Живѣй, все, все разомъ! Ils n'ont pas d'ésprit ces hommes, прибавилъ онъ, обратясь къ гувернанткѣ.

— Oui! Очень неловки! отвѣчала она.

Лакей, забравшій слишкомъ много на руки, запнулся въ дверяхъ. Что-то зазвенѣло.

— Бей! закричалъ Черемышевъ тѣмъ насмѣшливымъ тономъ, которымъ господа раз-

нообразятъ свои грозы.—Что, много ли переколотилъ?

— Ничего-съ, отвѣчалъ лакей изъ залы, но было замѣтно по голосу, что онъ наклонился къ полу и черепки измѣнили, зашуршали.

— Ничего! повторилъ, засмѣявшись, Черемышевъ: — хорошо! все ничего!.. Да въ этомъ домѣ il n'y a pas beaucoup de choses pour casser, pas beaucoup de choses.

Дѣти и гувернантка смѣялись вслѣдъ за нимъ.

— Il ne vous plait pas le séjour ici, le séjour? продолжалъ онъ, обращаясь къ гувернанткѣ: — ну, ненадолго. Дня три-четыре еще пробудемъ. Надо мнѣ было, наконецъ, это для моей belle-mère сдѣлать: я десять лѣтъ женатъ, въ первый разъ у нихъ. Честь знать надо, il faut savoir l'honneur, mademoiselle Loirot... А что вы, grand'maman видѣли?

— Нѣтъ, еще не встала, отвѣчала гувернантка за дѣтей, которые стояли, чинно сложа ручки.

Черемышевъ засмѣялся.

— Ну, allez promener, сказалъ онъ: — въ цвѣтникъ можно. Да тутъ у васъ кузиночка есть маленькая, видѣли вчера? Вы ей скажите, чтобъ она васъ проводила.

Боровицкій, обходившій, между тѣмъ, весь домъ за распоряженіями и приказаніями, зашелъ въ гостиную на эти слова.

— Гдѣ твоя дочка, братецъ? спросилъ его Черемышевъ:—мои гулять хотятъ; хотя бы она похозяйничала, людей у васъ не добьешься.

— Сейчасъ, сказалъ Боровицкій и отправился звать Машу.

Онъ нашелъ ее въ ея дѣтской. Надежда Сергѣевна была тамъ, одѣтая и разстроенная, наблюдая, какъ Машу причесывали. Горничная старалась пригладить и примазать вьющіеся волосы, никогда незнакомые съ помадой. Дѣвочкѣ было приказано не шевелиться; впрочемъ, и безъ того ей было трудно шевелиться во всемъ, что на ней было надѣто накрахмаленнаго, и въ бантикахъ, которыми ее украсили, въ подражаніе наряду кузинъ.

— Машу зовутъ, сказалъ, входя, Боровицкій: — что это, Надя! что за варварство, какъ такъ безобразить ребенка? Сдѣлай милость — заботься о чемъ хочешь, а это не твое дѣло!

Онъ вспылилъ не на шутку.

— Снимите съ нея сейчасъ эти вздоры! продолжалъ онъ, обрывая съ дѣвочки бантики:—сейчасъ, все долой!

— Что-жъ ты хочешь, чтобъ твоей дочери было стыдно показаться? выговорила Надежда Сергѣевна, вся блѣдная.

— Ну, да, этого хочу! вскричалъ Боровицкій: — воды, Наталья, намочи ей головку.

Надежда Сергѣевна вышла, хлопнувъ дверью, и остановилась плакать въ корридорѣ.

Чрезъ нѣсколько минутъ, мимо нея, мужъ провелъ за руку Машу въ простомъ ситцевомъ платьицѣ; золотые волоски, обрадовавшись водѣ, завились еще круче, кусочками и клубочками.

— Удивительно! сказала Надежда Сергѣевна.

— Полно, моя милая, сказалъ Боровицкій: — Маша, давай просить прощенія у мамы. Мама, душечка, не наряжай насъ впередъ Богъ-знаетъ какъ. Это нейдетъ къ ней, Надя; это не художественно, другъ мой (онъ поцѣловалъ жену). Ну, прости насъ, мама. Ты видишь, Надя, я тебѣ столько разъ говорилъ, у нея не тотъ жанръ физіономіи; у нея своя красота, красота для знатока...

— Э, полноте! прервала Надежда Сергѣевна, отворачиваясь.

— Ну, вѣдь этому конца не будетъ! сказалъ Боровицкій и увелъ дѣвочку.

— И это—мужъ и это—отецъ семейства! выговорила Надежда Сергѣевна, сжавъ руки съ отчаяніемъ.

Она прошла корридоромъ къ дверямъ своей спальни, которую занимала сестра, и постучалась.

— Можно войти, Зина?

— Entrez, ma chère, раздался голосъ за дверью.

II.

Зинаида Сергѣевна сидѣла въ большомъ креслѣ, придвинутомъ къ туалетному столу. Это кресло стояло прежде у окна; Надежда Сергѣевна имѣла привычку по вечерамъ, погрузясь въ мягкія подушки, смотрѣть въ темноту и слушать ночную тишину. Она не узнала также и своего скромнаго туалетнаго стола, перенесеннаго изъ уборной; онъ былъ заставленъ серебрянымъ зеркаломъ, серебряными коробочками, хрустальными флаконами. Пятнадцать лѣтъ назадъ, въ провинціи, роскошь подробностей туалета была еще не всеобщею; дамы, даже владѣтельницы полуторы тысячи душъ, какъ Зинаида Сергѣевна, еще экономничали, хозяйничали, отговаривались, что имъ не до туа-

лета, некогда. Но Зинаида Сергѣевна ужъ позволяла себѣ пользоваться своимъ состояніемъ, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ ея мужъ былъ выбранъ губернскимъ предводителемъ. Къ тому же, ей было едва тридцать лѣтъ и она была очень хороша собою, прекрасный свѣжій цвѣтъ ея лица не нуждался ни въ какихъ притираніяхъ, темно-каштановые волосы были роскошны. Въ N* ее единогласно называли une belle femme и, выбирая предводителя, ахали отъ восторга, какая будетъ предводительша.

На Зинаидѣ Сергѣевнѣ былъ бѣлый капотъ, весь вышитый; въ то время имѣть шитье, хотя въ небольшомъ видѣ, считалось богатствомъ, но объ обладаніи такимъ капотомъ не смѣли думать многія богатыя. Надежда Сергѣевна оглянулась на узенькую оборочку собственнаго произведенія, грустно прижавшуюся къ ея стѣсненной груди, и поцѣловала сестру.

— Хорошо почивала, Зина?

— Да. Тамъ ужъ всѣ встали?

— Мужья наши, дѣти, да. Маменька еще не выходила.

— А ты что-жъ такъ рано? хозяйничаешь?

— О, нѣтъ.

— Кто-жъ у васъ этимъ заправляетъ?

— Маменька... мужъ.

— Григорій Николаичъ? будто онъ умѣетъ?

Надежда Сергѣевна была слишкомъ взволнована и потому не могла отвѣчать спокойно.

— Ровно ничего не понимаетъ...Впрочемъ, гдѣ-жъ ему, chère amie, прибавила она, спохватившись и удержавъ порывы своего голоса:—ты знаешь, онъ воспитанъ не въ деревнѣ, никогда не былъ помѣщикомъ. До него съ дѣтства не доходили эти мелочи. Въ богатствѣ, въ роскоши, въ знати...

— Что его тетка... тетка, кажется, графиня Рашкова, жива?

— У которой онъ воспитывался? жива, chère amie—во Флоренціи. Дядя Зерновичъ умеръ, больше года... потому я и не въ траурѣ, прибавила Надежда Сергѣевна.

— Что-жъ онъ сдѣлалъ для Григорія Николаича что нибудь?

— Вѣдь онъ былъ внучатный дядя, chère amie, и свои дѣти... Да, онъ оставилъ Грегуару... деньги.

— Много?

— Да...

Зинаида Сергѣевна осторожно промолчала.

— Впрочемъ, что я говорю? нѣтъ, немного. Судя по состоянію Зерновичей, вовсе малость. Знаешь, Зина, я это говорю не изъ интереса, а такъ... Я по сердцу сужу: отъ нѣсколькихъ тысячъ душъ оставить племяннику, который росъ на глазахъ, какія нибудь шесть тысячъ серебромъ... это тоже обидно!

— Маменька, то-то, я думаю, сердилась?

— Она за все сердится, отвѣчала Надежда Сергѣевна довольно рѣзко:—ей больше всего непріятно, что Грегуаръ не отдаетъ ей въ руки этихъ денегъ... Ты вообрази, каково мнѣ между ними?

— А, сама хотѣла! за то мужъ хорошенькій, возразила Зинаида Сергѣевна смѣясь.— Батюшки, какъ ты была въ него влюблена? Что ты, попрежнему, стихи пишешь?

— О, полно!

— Помилуй, чего «полно»! Я тогда тебя вывозила, ты моей меньшой вдругъ сдѣлалась... Еще какія штуки дѣлала: бывало, въ собраніи, даже не садится близко ко мнѣ, чтобъ не видѣли, съ кѣмъ пріѣхала, какъ будто никто и не догадается! Тебѣ это было очень непріятно, что я замужемъ, а ты — нѣтъ. Оно и въ самомъ дѣлѣ очень непріятно, une fille de vingt-cinq ans... Тебѣ, никакъ, ужъ двадцать семь было, какъ ты вышла?

— Да...

— Вотъ, étiez-vous amoureuse, bon Dieu! продолжала, смѣясь, Зинаида Сергѣевна:— вотъ была страсть романическая! тебѣ, я думаю, самой теперь смѣшно?

— Не смѣшно, а грустно.

— Чѣмъ же грустно?

— Онъ... далеко не то...

— Ахъ, матушка, не вѣкъ же цѣловаться! Да ты и старше его! Довольно, что тогда ему голову тобой набили. Вѣдь его, просто, поймали; ты сама, я думаю, помнишь. Стихи твои тогда ему подсунули, а онъ, романическая голова... Ахъ, Господи, такая была потѣха! Старуха Деревская, молодецъ, все устроила. Если бы не она, не быть бы тебѣ замужемъ.

— Да вѣдь всякое замужество трудно устроить, возразила Надежда Сергѣевна, покраснѣвъ: — и ты о себѣ не мало хлопотала...

— Ахъ, матушка, что-жъ я хлопотала, да развѣ такъ, какъ ты? Для меня человѣка не ловили; я только шила себѣ платья къ лицу, да выѣзжала больше... И къ тому же было изъ чего хлопотать! Пьеръ имѣетъ состояніе, слава Богу, я десять лѣтъ живу какъ должно. А ты совсѣмъ другое дѣло; ничего больше, какъ то, что тебѣ хотѣлось замужъ. Что-жъ такое твой Грегуаръ? За душой ничего родство у него... что для него сдѣлало это, родство?

— Конечно, ничего, отвѣчала Надежда

Сергѣевна:—но онъ и самъ странный человѣкъ, нисколько о себѣ не заботится... такъ...

— Что онъ дѣлаетъ? спросила Зинаида Сергѣевна.

— Ничего цѣлый день... Ахъ, Зина!

Надежда Сергѣевна заплакала, обнимая сестру.

— Vous êtes romanesque comme toujours, ma chère, сказала Зинаида Сергѣевна, слегка прикоснувшись своими свѣжими, тонкими губами: — но, вѣдь, я думаю, ему и дѣлать-то нечего? Имѣніе невелико, и то въ рукахъ у маменьки.

— Да, но все же... Знаешь, Зина, право, нужно что нибудь и положительное, онъ долженъ бы подумать...

— Правда, вотъ, дочь у васъ. Кто у тебя при ней?

— Нянька... отвѣчала Надежда Сергѣевна, глядя въ сторону, потому что конфузилась своего отвѣта:—кому же больше, chère amie? Я не имѣю возможности взять гувернантку... Но, вотъ, еще, дочь: онъ самъ ее учитъ; положимъ, elle parle le français, l'allemand, выдумалъ учить ее по-итальянски...

— Да, вѣдь онъ, кажется, былъ тамъ?

— Какъ же, дѣтство провелъ въ Италіи.

— Да, да, да, у своей тетушки. То-то онъ и фантазируетъ. А вѣдь вы вмѣстѣ фантазировали, Дина? Ты еще въ невѣстахъ стихи писала: «Italie, seconde patrie...» такъ, кажется? Вмѣстѣ туда сбирались, какъ обвѣнчаетесь.

Зинаида Сергѣевна смѣялась, Надежда Сергѣевна закусила губы.

— Конечно, что-жъ, если средствъ нѣтъ, продолжала Зинаида Сергѣевна.—Il est toujours très-joli garçon, ton mari. Но ты бы для дочери взяла кого нибудь. Впрочемъ, и тутъ опять бѣда: возьмешь старуху—съ маменькой не поладитъ,возьмешь молодую—мужъ...

— Ахъ, Зина, я не думала, что ты станешь смѣяться! Мое положеніе ужасное, я такъ скучаю, такъ скучаю! Во-первыхъ, маменька; ты знаешь ея характеръ. У нея и у Грегуара постоянныя непріятности. Маменька недовольна, что онъ ничего не дѣлаетъ, а онъ не умѣетъ ни за что взяться. У него какія-то понятія странныя; надъ нимъ мужики смѣются, его всѣ обманываютъ. Выросъ у знатныхъ родныхъ, въ богатствѣ, служилъ,—ну, одному ему и доставало чѣмъ жить, а теперь, какъ пришлось жить въ семействѣ, домомъ, онъ соритъ деньгами, ничему цѣны не знаетъ, ни о чемъ не позаботится! Цѣлый день возится съ этой дѣвочкой, балуетъ ее, а то начинаетъ и не кончаетъ картины, пейзажи... Вообрази только, нынѣшней весной посылалъ на выставку свой пейзажъ!

— Куда? спросила Зинаида Сергѣевна.

— На выставку, ma chère, въ академію, въ Петербургъ. И вообрази еще—вздумалъ продавать это тамъ, цѣну назначилъ.

— Что за вздоръ! воскликнула предводительша.

— Счастье, что не продалось, продолжала Надежда Сергѣевна;—но вѣдь все равно—имя свое онъ выставлялъ, компрометировался. Ну, какъ же послѣ этого, подумай только, покажется онъ къ своей теткѣ, графинѣ Рашковой, къ кузенамъ Зерновичамъ, какъ они его примутъ? Съ кѣмъ онъ ставилъ себя на одну доску?.. И все, вотъ такъ... Да, хуже! Вздумалъ переводить или сочинять, сочинять, кажется... un roman, que sais-je, и тоже посылалъ, просилъ печатать...

— Что ты говоришь? Съ ума онъ сошелъ?

— Да, слава Богу, запретили. Вотъ, спроси его, онъ тебѣ самъ разскажетъ...

— Боже меня сохрани! Стану я о всякой чепухѣ спрашивать!

— И, вотъ я тебѣ говорю, все такъ. Представь себѣ, послѣ этого, какъ идетъ у насъ день. Я вѣчно одна—то есть, съ маменькой; маменька цѣлый день сердится, упрекаетъ меня, зачѣмъ я полюбила Грегуара, зачѣмъ за него вышла...

— Ну, вотъ когда спохватилась, прервала, смѣясь, Зинаида Сергѣевна:—а сама первая была рада тебя отдать! Что бы она стала съ тобой дѣлать? Il n'y avez donc plus de chance pour vous marier. Вывозить тебя—денегъ не было, да и сколько же еще лѣтъ, наконецъ? Если она надѣялась на Петра Иваныча, такъ вѣдь и того довольно, что до твоего замужества—немного, не мало, три зимы—Петръ Иванычъ дѣлалъ тебѣ весь гардеробъ для выѣздовъ... И то еще я упросила...

— Я это помню, Зина, отвѣчала смиренно Надежда Сергѣевна.

— Маменька, Богъ ее знаетъ, чѣмъ и когда бываетъ довольна, продолжала спокойно Зинаида Сергѣевна.—Помнишь, какъ тебя отдали, она напрашивалась переѣхать жить въ намъ. Она тогда говорила Петру Иванычу, что обяжетъ твоего мужа подпискою выплачивать ей на содержаніе по смерть. Это значило, разсчетецъ: жить у насъ на всемъ готовомъ, да и отъ своего—вотъ отъ этого имѣнія пользоваться. Ты въ подробности этихъ переговоровъ, я думаю, не знала: ты вся въ своей любви была. Это было ни на что не похоже, что маменька дѣлала.

Петръ Иванычъ ей наотрѣзъ отказалъ. Помилуй, жить съ нею! Ты сама видишь, каково; что же за радость на себя брать? Мы тогда уѣхали къ себѣ въ Ярославскую деревню, потомъ въ Москвѣ жили—помнишь? Я могу тебѣ показать письма: Петръ Иванычъ не скрывалъ отъ меня... Маменька ему по десяти разъ въ годъ писала, все жаловалась и все денегъ просила. То хлѣбъ не родился, то хлѣбъ не продался, то твой мужъ ни о чемъ не заботится. Ну, смерть! Я поставила себѣ за правило—ни о чемъ и ни о комъ не просить Петра Иваныча. Да и въ самомъ дѣлѣ, скажи пожалуйста: ну, не вышла бы я за богатаго человѣка — маменька вѣдь жила бы чѣмъ нибудь? А это оттого просить, что есть кого просить. Пьеръ меня за то и любитъ, что я ничего не прошу. Надо мнѣ, дѣтямъ, на туалетъ, на домъ, экипажи, это—дѣло другое, это—видимое; въ этомъ я могу отдать ему отчетъ — потому могу и просить. Да я и для мужа обязана хорошо одѣваться. Вотъ теперь еще съ тѣхъ поръ, какъ онъ губернскимъ предводителемъ, я издерживаю почти вдвое. Безъ этого нельзя. У насъ каждую недѣлю обѣдъ, мужской, но и я выхожу, приглашаю въ этотъ день какую нибудь знакомую, одну, чтобы мнѣ не было неловко. Потомъ и такъ случаются обѣды. У Петра Иваныча безпрестанно дворяне. Въ царскіе дни только у насъ ничего не бываетъ: обѣдъ у губернатора, формальный.—Пьеръ съ нимъ хорошъ, а потому и не перебиваетъ—а вечеромъ балъ въ собраніи. За то я сама ужъ непремѣнно въ собраніи—вотъ, туалетъ... Вечера у насъ больше карточные, но все же бываютъ и дамы—опять туалетъ. Потомъ, въ прошлую зиму, мы сдѣлали два бала... Ah, c'était joli, Дина, не могу не похвастаться, c'était extrement joli! Для второго бала, особенно, мы залу передѣлали, соединили съ большой гостиной и эта арка была вся увѣшана виноградомъ: сначала завита плющемъ, зеленью, а потомъ кисти... И въ зелени моя пунцовая мебель, московская, серебряные канделябры...

— Я совсѣмъ не знаю твоей мебели и твоего дома, Зина, сказала Надежда Сергѣевна:—я вѣдь шесть лѣтъ не была въ N*.

— Неужто шесть лѣтъ? Это вы все здѣсь сидите? Что, у тебя есть сосѣди? У насъ, въ ярославской деревнѣ, много ихъ было. Я тамъ выучилась въ карты играть.

— Ты играешь? спросила Надежда Сергѣевна.

— А что-жъ?

— Молодой женщинѣ...

— Э, матушка, это ваши поэзіи! Кто-жъ нынче не играетъ? Что же больше дѣлать? Я-то, конечно, больше танцую. Вотъ въ Москвѣ, я все танцовала. Нынѣшнюю зиму въ N* меньше—нельзя. Я вѣдь честь дѣлаю, съ кѣмъ танцую, заключила она и засмѣялась.

— Твой мужъ ревнивъ, Зина?

— Ma chère, это вы, романическія сердца, ревнуете. Что ему ревновать? Скажи, изъ чего я могу подать ему поводъ? Что-жъ я стану дурачиться съ кѣмъ нибудь, на сплетни набиваться? Пустяки какіе! изъ чего? Есть у меня мужъ, есть состояніе—чего же мнѣ еще?

— Нѣтъ, но такъ... une illusion...

Зинаида Сергѣевна махнула своей маленькой, полной и прелестной ручкой почти надъ лицомъ сестры, разсмѣялась и встала.

— Съумасшедшая! сказала она:—все такая же, какъ была... Надо мнѣ одѣться; скоро двѣнадцать, кажется.

— Я позову; что прикажешь?

— Приказывать ничего не надо; моя Пелагея знаетъ. Только отыщи ее. Она, вѣдь, здѣшняя, лоскутовская; вѣрно, обрадовалась, чаи распиваетъ съ тетушками, да съ дядюшками. Позови, пожалуйста.

Надежда Сергѣевна пошла отыскивать горничную.

— Дина, ma chère, кстати, envoyez-moi mon mari! закричала ей вслѣдъ Зинаида Сергѣевна.

Мужья были оба въ гостиной. Черемышевъ все еще сидѣлъ на диванѣ; сидѣть было не очень покойно, но онъ приловчился къ мѣсту и потому не оставлялъ его, скрѣпя сердце. Онъ докурилъ свою сигару, постукивалъ пальцами въ столъ, покачивалъ ногою молча. Лицо его не выражало ни нетерпѣнія, ни недовольства человѣка, желающаго чѣмъ нибудь заняться; напротивъ, на немъ было начертано спокойствіе совершенное, довольство полнѣйшее: онъ жилъ, слѣдовательно, дѣлалъ дѣло. Боровицкій былъ обезпокоенъ не столько желаніемъ, сколько чувствомъ обязанности занимать гостя и истощалъ на это усилія, которыхъ гость даже не замѣчалъ. Дѣти были въ цвѣтникѣ. M-lle Луаро спросила шляпки своихъ воспитанницъ и свой зонтикъ. Боровицкій находилъ, что надо быть и съ ними, и время отъ времени заглядывалъ на балконъ. M-lle Луаро стояла предъ клумбой цвѣтовъ, ея воспитанницы подлѣ нея, также неподвижно. Маша бродила кругомъ и говорила одна изъ всего общества.

— Смотрите, сколько тутъ щавелю, между дерномъ, звонко закричала она, принеся нѣсколько листковъ кузинамъ.

— Ne touchez pas à ces vilainies, замѣтила своимъ m-lle Луаро.

— Marie, fi, quelle horreur! строго сказалъ Боровицкій.

— Папа, да ты вчера самъ же говорилъ, что здорово...

Боровицкій ушелъ въ комнату.

— Вы, вѣроятно, по утру привыкли къ газетамъ, сказалъ онъ Черемышеву;—что дѣлать! Почта у насъ здѣсь приходитъ только разъ въ недѣлю...

— Я не получаю. Въ клубѣ получаютъ «Пчелу», отвѣчалъ Черемышевъ, продолжая постукивать пальцами.

Это небольшое, ровное движеніе, при остальной неподвижности, дѣлало гостя какъ-то еще величавѣе.

— И нынѣшнія газеты! продолжалъ Боровицкій:—даже досадно, ничего толкомъ нѣтъ. Вотъ хоть бы послѣднія происшествія въ національномъ собраніи, Ледрю-Ролленъ..

— Да, въ окошко-то они полѣзли! сказалъ Черемышевъ и расхохотался до свиста.

— Вмѣстѣ и трагедія и комедія, продолжалъ Боровицкій, улыбнувшись для компаніи:—и потомъ, эта осада Рима...

— Что у тебя, братецъ, есть сажалка? спросилъ Черемышевъ, прищурясь и вглядываясь въ балконную дверь.

— Сажалка?.. нѣтъ.. отвѣчалъ Боровицкій, хотя нѣсколько оторопѣвъ отъ неожиданности вопроса, но почему-то сознаваясь, что разговоръ, который онъ старался завести, былъ не встати, а этотъ въ самомъ дѣлѣ лучше.

— Для чего же нѣтъ сажалки? Ты бы выкопалъ. Гдѣ же вы рыбу держите? Матушка постница была; развѣ теперь все кушаетъ, не разбираетъ?

— Нѣтъ, она постится, отвѣчалъ Боровицкій.

— Какъ же вы безъ рыбы? Въ N*, въ садкахъ, зимой всегда есть; я подрядилъ для себя, чтобъ затрудненія никогда не было. Съ Столовымъ у меня непріятность вышла на прошлой масляницѣ. У меня блины были—почти офиціальные, потому что Василій Васильевичъ обѣщалъ; а онъ, Столовъ, вдругъ, въ тотъ же день, folle journée у себя назначаетъ! Мой поваръ приходитъ въ садокъ; тамъ ужъ Столова люди перекупили и тащить хотятъ къ себѣ, лучшее-то. Двѣ стерляди было: одна въ три четверти, другая безъ полувершка аршинъ. Этакія! (Черемышевъ развелъ руками). Звенья янтарныя, вотъ, горы! (Онъ показалъ обѣими ладонями). Соусъ у меня подаютъ кисло-сладкій, особенный; я самъ составляю... А эти перекупили и тащутъ! И рыбаки мошенники, продали... съ этими послѣ, это ужъ полицеймейстера было дѣло... Мой дуракъ прибѣжалъ домой, доложили мнѣ. Я къ Столову письмо, онъ не отвѣчаетъ, я — другое... да такъ изъ кухни у него взялъ своихъ стерлядей. За столомъ это еще предметомъ разговора послужило. Я говорю Василью Васильевичу, что мы ѣдимъ съ боя взятое; смѣялись...

Онъ засмѣялся. Боровицкій былъ очень доволенъ, что гостю весело; ему даже начинало казаться, что эти подробности его самого занимаютъ.

— Съ боя взятое! повторилъ онъ.

— Съ боя, съ боя! подтвердилъ Черемышевъ.

— Это кто же, Столовъ? спросилъ Боровицкій.

— Бывшій откупщикъ, братецъ; развѣ ты не знаешь? отвѣчалъ Черемышевъ съ какимъ-то негодованіемъ. — Онъ кончилъ откупъ въ милліонѣ, Столовъ. Имѣніе купилъ въ нашей губерніи, заломилъ громаднѣйшее. Милліонеръ, однако, струсилъ: на другой день ко мнѣ извиняться пріѣзжалъ. Знаетъ, что я, губернскій предводитель, могу его очень и очень противъ шерстки погладить, коли захочу только. Очень перетрухнулъ. И къ женѣ съ любезностями — букетъ цвѣтовъ ей необыкновенныхъ изъ Москвы выписалъ; въ четырнадцать часовъ его въ пуховыхъ подушкахъ примчали, къ балу прямо. У Василія Васильича былъ балъ на прощальное воскресенье...

— Въ N* весело живутъ, замѣтилъ Боровицкій.

— Да, дома четыре-пять есть, кому можно развернуться. Остальные такъ, мелкотравчатые, служащіе. Ты самъ служилъ, знаешь, каковы служащіе.

— Да, но я вѣдь служилъ неженатый. Неженатому всегда есть возможность пожить.

— Какъ пожить... замѣтилъ равнодушно и вмѣстѣ значительно Черемышевъ.—А что, теща твоя и супруга, всегда такъ изволятъ, до двѣнадцати? или это только важности ради, при гостяхъ?

— Не знаю, сказалъ съ досадой Боровицкій, вставъ и направляясь къ двери, тоже не зная, зачѣмъ.

Ему встрѣтилась его жена; Черемышевъ немного приподнялся.

— Bonjour, сказала Надежда Сергѣевна,

подавая ему руку:—надѣюсь, вы несовсѣмъ безпокойно почивали?

— Такъ давно всталъ-съ, что ужъ и забылъ, отвѣчалъ онъ, не то желая уколоть, не то желая полюбезничать.

— А Зина зоветъ васъ.

— Иду-съ.

Онъ пошелъ. Надежда Сергѣевна засуетилась, осматривая гостиную и самое себя въ зеркало.

— Матушка встаетъ или нѣтъ? спросилъ Боровицкій, которому зачѣмъ-то, казалось, нужна Аграфена Петровна, хотя онъ самъ не могъ сказать зачѣмъ.

— Не знаю. Гдѣ дѣти?

— Въ саду, съ гувернанткой.

— Такъ m-lle Луаро одна?

— Съ кѣмъ же ей быть? Мнѣ нельзя же было оставить Петра Иваныча.

— Никто и не проситъ тебя ее занимать... Что же обѣдъ?

Ее прервало на полусловѣ появленіе матери. Аграфена Петровна была старушка бодрая, хотя уже нѣсколько согнутая, носила темный парикъ, низко надвинутый надъ бровями, что усиливало суровость ея взгляда, часто морщилась, хотя бы могла этого и не дѣлать, потому что ея крупныя черты и безъ того были довольно сморщены. Ея чепецъ былъ старушечій, съ широкой оборкой, но съ большой претензіей на моду; правда, зеленые банты, нѣсколько завялые, опустились и хлопали ушами, но ленты были дорогія, французскія. Мантилья почтенной дамы была подъ горломъ заколота брошкой въ видѣ подковы.

— Bonjour, maman, сказала Надежда Сергѣевна, цѣлуя ея руку.

Боровицкій поклонился, молча.

— Ты о столѣ спрашиваешь? сказала Аграфена Петровна дочери, между тѣмъ какъ рѣчь назначалась для зятя:—вчера вѣдь никто объ этомъ не подумалъ. Теперь, по пословицѣ: «на охоту ѣхать — собакъ кормить». Не безпокойтесь, сдѣлайте одолженіе: въ Панево чѣмъ-свѣтъ поѣхали.

— Кого же вы послали? спросилъ Боровицкій.

Аграфена Петровна посмотрѣла на него.

— Кого послала?.. Да кто же у меня прислуги? Дѣвку свою гоняла на деревню, она велѣла мужику. Вы у меня отчета спрашиваете, кого я послала? вотъ кого—мужика. Мужикъ и поѣхалъ. Вѣдь если на васъ надѣяться—голодомъ насидишься...

— C'est madame votre grand'mère, послышался голосъ m-lle Луаро на балконѣ.

Она вошла съ своими воспитанницами; онѣ сдѣлали реверансъ и поцѣловали ручку бабушки. Маша подошла тоже и успѣла поцѣловать эту ручку налету: бабушка была занята гостями.

— Какія миленькія! Кушали вы, миленькія?

— Merci, madame, отвѣчала за нихъ гувернантка.

— Ахъ, какія миленькія! повторила бабушка:—что же, миленькія, вамъ не скучно?

Вошли Черемышевъ и Зинаида Сергѣевна. Снова начались цѣлованья ручки и вопросы о здоровьѣ. Зинаида Сергѣевна держала въ рукахъ какой-то ящичекъ; ея горничная принесла и положила на столъ довольно большой свертокъ. Присутствующіе, должно быть, догадались въ чемъ дѣло, потому что Баровицкій отвернулся, Надежда Сергѣевна потупила глаза, Аграфена Петровна старалась удержать свои взгляды, увлекавшіеся то на свертокъ, то на ящичекъ.

— Ты похорошѣла, очень похорошѣла, Зина, говорила она, цѣлуя дочь:—и вы, Петръ Иванычъ, знаете, какъ вы поправились послѣ того, какъ я васъ въ послѣдній разъ видѣла.

Петръ Ивановичъ еще переводилъ духъ, наклонившись цѣловать ея ручку, и потому Аграфена Петровна приподнялась было на цыпочки, желая еще разъ поцѣловать его въ лобъ, но удержалась, чтобъ его больше не тревожить.

— Мы васъ обезпокоили, маменька, сказала Зинаида Сергѣевна.

— Чѣмъ же, мой другъ, помилуй, чѣмъ же? Я съ вами душой отдохнула. Вчера не могла долго заснуть, все думаю: какъ это они со мной подъ одной кровлей? и сегодня—первая мысль... Оттого поздно и проснулась.

— Отъ дѣтей, позвольте вамъ, маменька, проговорилъ наконецъ Черемышевъ.

— Отъ дѣтей, повторила Зинаида Сергѣевна, открывая ящичекъ: — это — отъ Софи.

— Софи! сказалъ Черемышевъ.

Зинаида Сергѣевна вложила въ руки своей старшей дочки статуэтку изъ вызолоченной и вычерненной бронзы, представлявшую рыцаря; подножіе было малахитовое.

— Это — звонокъ, людей звонить, объяснилъ Черемышевъ, и въ доказательство тронулъ пружинку: кулакъ рыцаря ударился въ щитъ и звонъ пошелъ на всю комнату.

— Ахъ, какая прелесть! воскликнула Аграфена Петровна.

Черемышевъ повторилъ опытъ.

— Вамъ кстати, сказалъ онъ: — у васъ звонка нѣтъ.

— Ахъ, какая прелесть! повторила Аграфена Петровна и еще позвонила сама; ей понравилось.

— А вотъ это отъ Жюли, сказала Зинаида Сергѣевна, развернувъ между тѣмъ свертокъ и поддерживая вмѣстѣ съ меньшой дочерью маленькій вышитый коврикъ. — «Dites, Julie: «pour votre table à écrire, grand' maman...»

— Pour votre table à écrire, grand'maman, повторила покорно дѣвочка.

Бабушка припала къ ней и заключила вмѣстѣ съ коврикомъ въ объятія, не выпуская, между тѣмъ, изъ одной руки рыцаря.

— Вы меня такъ утѣшили, такъ утѣшили... что, вотъ, ихъ привезли! сказала она.

— Дина, chère amie... Григорій Николаичъ... говорила Зинаида Сергѣевна, доставая изъ свертка батистовый платокъ съ кружевами и коралловый набалдашникъ для палки.

Надежда Сергѣевна припала къ ней на плечо.

— Ты такъ добра... прошептала она, растроганная.

Боровицкій былъ и затрудненъ, и доволенъ; ему было чего-то совѣстно; онъ пожалъ ручку невѣстки съ какимъ-то чувствомъ раскаянія предъ этими добрыми людьми, которыхъ присутствіе было ему, за минуту, въ тягость, между тѣмъ какъ они заранѣе думали доставить удовольствіе всему семейству. Боровицкій протянулъ руку и Черемышеву.

— Не за что, братецъ, не за что, возразилъ тотъ: — это жена хлопотала.

Боровицкому понравилось, что отклоняли благодарность, это показалось ему деликатно.

— Du vrai point de Bruxelles, madame, для бала! сказала съ восхищеніемъ m-lle Луаро Надеждѣ Сергѣевнѣ, стоявшей въ раздумьѣ съ своимъ воздушнымъ платкомъ.

— Вотъ, для Мари, заключила Зинаида Сергѣевна, доставая изъ свертка послѣднее — маленькій розовый зонтикъ съ бахрамой и лентами: — у моихъ точно такіе.

— Ахъ, c'est mignon! сказала гувернантка.

Маша взяла подарокъ, покраснѣла отъ радости, сконфузилась и, раскрывъ свои большіе глазки, могла только выговорить:

— Ахъ, тетя!

— Eh, bien, cela vous plait? Хорошо это? спросила Зинаида Сергѣевна.

— Очень хорошо! отвѣчала дѣвочка, стараясь распустить зонтикъ.

— Mais remerciez, au moins... сказала ей мать.

— Спасибо, тетя Зина! вскричала Маша, обнявъ и, по своему обыкновенію, душа тетку. — Папа, гляди, голубчикъ, вотъ въ лѣсъ съ тобой пойдемъ, я ужъ отъ тебя не пропаду, ты издали увидишь красненькое; пойдемъ сегодня?

— Ah, quelle petite campagnarde! замѣтила Зинаида Сергѣевна: — она у тебя совсѣмъ на свободѣ, Дина?

— Что-жъ дѣлать ребенку въ деревнѣ, какъ не рости на свободѣ? возразилъ Боровицкій шутливо, чтобы загладить неловкость своей дѣвочки.

Маша обрадовалась, что за нее заступились, и прижалась къ колѣнямъ отца.

— Approchez à votre grand'maman, къ бабушкѣ, сказала m-lle Луаро тихо своимъ.

Софи и Жюли подошли и тихо стали по обѣимъ сторонамъ кресла бабушки, которая разсказывала Черемышеву:

— Судьба моя, или предопредѣленіе, такъ я думаю! у всѣхъ нынѣшній годъ озимый хлѣбъ отличный...

— Отличный, произнесъ Черемышевъ, сидя на диванѣ и постукивая по столу.

— А у меня — ничего! Вы ѣхали, могли видѣть. Нерадѣніе! кое-какъ вспахано, кое-какъ засѣяно...

— Приказчика за бока, сказалъ спокойно Черемышевъ. — Нерадѣніе тоже и ваше. Приказчикъ смотри, какъ вспахано, какъ засѣяно, а вы смотрите за приказчикомъ.

— Родной мой, кому у меня смотрѣть? еслибъ я могла... Ахъ, миленькія!

Она положила по рукѣ на плечико каждой дѣвочки.

— Еслибъ я могла сама смотрѣть... Вотъ, Петръ Иванычъ, что у меня недавно случилось. Я могу вамъ, какъ другу, откровенно разсказать...

Зинаида Сергѣевна усаживалась тоже на маленькомъ диванчикѣ.

— Madame... замѣтила ей m-lle Луаро.

Она отцѣпила длинный листокъ травы, прильнувшій къ кружевному воротничку Зинаиды Сергѣевны: это осталось отъ объятій Маши. Гувернантка прослѣдила взоромъ отъ воротничка до ручекъ Маши, и до зонтика, который она мяла, неловко держа поперегъ. Взоръ m-lle Луаро выразилъ сожалѣніе. Боровицкаго это покоробило; смутясь, онъ ласкалъ и разбиралъ волосы Маши.

— А она рыжевата, сказала Зинаида Сергѣевна.

— Да, какъ Форнарина, отвѣчалъ, улыбнувшись, Боровицкій.

— Какъ кто? переспросила Зинаида Сергѣевна.

— Ты шутишь, папа, сказала весело Маша:—будто ужъ и Форнарина!

— Надо понимать, что говоришь, а не повторять какъ попугай, сказала ей Надежда Сергѣевна.

— Я понимаю, мама, отвѣчала дѣвочка:—Форнарина была красавица; Рафаэль, живописецъ, говорилъ, что она—его глазки; онъ ее любилъ...

— Quelles bétises elle dit! сказала Зинаида Сергѣевна, улыбнувшись кончиками губъ: — кто это ей разсказываетъ?

— Все я, отвѣчалъ Боровицкій, и смущенный, и довольный, и съ досадой:—она у меня все читаетъ.

— Все? право? Можно бы и поменьше. А ты, Дина, позволяешь?

Надежда Сергѣевна грустно опустила глаза; она покорялась своей участи, она просила прощенія у сестры, она замѣтно страдала...

— Дина, ты что нибудь работаешь?

— Коверъ. Ты видѣла пяльцы въ залѣ.

— Неужели такой большой? Я тоже шила мужу подушку, шерсть со стеклярусомъ.

— Маменька тоже шьетъ, экранъ.

— Замѣтьте, что у насъ нѣтъ камина, сказалъ Боровицкій.

— А какъ ныньче шерсть вздорожала! сказала Аграфена Петровна: — я хотѣла тебѣ, Зина, въ Москву написать, чтобы ты мнѣ прислала; не дешевле ли тамъ...

— Нѣтъ-съ, въ Москвѣ еще дороже, отвѣчалъ за жену Черемышевъ.

— Право? А здѣсь, мнѣ изъ N* присылаютъ. Здѣсь и тѣней не подберешь. Я, вотъ, покажу тебѣ, что шью.

Аграфена Петровна пошла къ пяльцамъ, стоявшимъ въ углу, и открыла ихъ. Ея шитье изображало деревенскій праздникъ, со множествомъ фигуръ; кокошники на дѣвицахъ были изъ серебрянаго и золотого бисера.

— Ахъ, какъ хорошо! воскликнула Зинаида Сергѣевна: — посмотри, Пьеръ! И лица, ахъ, какія лица! выраженіе какое! взгляни!

Черемышевъ поднялся.

— Я не знатокъ-съ, а очень хорошо, сказалъ онъ.

— Такъ прошу отъ меня принять на память, сказала нѣсколько торжественно Аграфена Петровна:—какъ кончу, такъ вамъ перешлю. И не смѣйте женѣ дарить, это—вамъ.

— Вы его балуете, маменька, сказала Зинаида Сергѣевна, между тѣмъ какъ Черемышевъ спокойно и съ достоинствомъ поцѣловалъ ручку тещи.

— Вотъ хорошо, этакъ, имѣть маменьку, сказалъ онъ Боровицкому:—сейчасъ и подарочекъ. Тебѣ выгодно, должно быть, братецъ; подъ бокомъ живешь, часто получаешь.

— Я до шитья неохотникъ, отвѣчалъ Боровицкій.

— То есть, «зеленъ виноградъ»? То-то, и въ самомъ дѣлѣ, у тебя въ кабинетѣ ничего нѣтъ. Ну, дочь посади, чтобъ вышила. Мнѣ мои въ день рожденія эскабо подъ ноги поднесли.

— Какъ, миленькія, вы умѣете? спросила Аграфена Петровна.

— То есть, я подозрѣваю тутъ больше Зинаиду Сергѣевну, продолжалъ Черемышевъ: —да m-lle Луаро. Сюрпризъ мнѣ сдѣлали, какъ же.

— Et papa a donné pour cela... Dites ce que papa a donné, сказала m-lle Луаро.

— Папа по золотому подарилъ, отвѣчала Софи.

— О, миленькія! сказала бабушка.

Маша, этимъ временемъ, положивъ свой зонтикъ, подошла посмотрѣть на рыцаря бабушки и позвонила. Общество встрепенулось отъ неожиданнаго звука.

— Не шали! вскричала бабушка, оборачиваясь.

— Ай, ай, ай, какая непослушная! сказалъ Черемышевъ.

— Потому, надо все это убрать, нетерпѣливо сказала Аграфена Петровна.

Надежда Сергѣевна стремительно подхватила подарки и ушла съ ними.

— Мама, ты не прячь мой зонтикъ! шептала Маша, догоняя ее, но напрасно.

Черемышевъ смѣялся имъ вслѣдъ.

— Allez promener, сказалъ онъ своимъ дѣтямъ.

III.

По случаю пріѣзда дорогихъ гостей, Аграфена Петровна не сѣла за работу, но водворилась въ креслахъ у большого дивана. Черемышевъ, во всемъ домѣ находившій только одно удобное мѣсто, на этомъ диванѣ, поцеремонился было занять его, но поцеремонился только для вида: Аграфена Петровна

упросила его располагаться какъ ему удобно, хоть прилечь, если ему угодно. Черемышевъ, однако, не прилегъ. Ему подали зажженную свѣчу и пепельницу для сигары, и эта свѣча горѣла передъ нимъ все утро. Зинаида Сергѣевна вышивала сонетку по канвѣ; Надежда Сергѣевна взялась размотать для нея шерсть. Всѣ были пристроены къ мѣсту, кромѣ Боровицкаго, который не находилъ ни мѣста, ни занятія, бродилъ отъ общаго кружка къ балкону, въ цвѣтникъ къ дѣтямъ, присаживался на минуту, и вообще велъ себя какъ человѣкъ неловкій.

Семейство разговаривало. Аграфена Петровна была особенно любезна.

— Зина говорила, вы великолѣпный балъ давали, сказала Надежда Сергѣевна Черемышеву.

— Да-съ. Это по окончаніи выборовъ, на святкахъ. Надо было отблагодарить дворянство.

— Конечно, какъ же не отблагодарить, подтвердила Аграфена Петровна:—вѣдь все бѣлыми шарами?

— Почти-съ. Только четырнадцать было неизбирательныхъ. Бѣлоспицына шары, его партіи. Ему самому хотѣлось въ предводители.

— Какъ это людямъ въ голову входитъ! сказала Аграфена Петровна:—ничтожность какая нибудь, и та воображаетъ о себѣ Богъ знаетъ что, туда же лѣзетъ...

— И сколько онъ непріятностей надѣлалъ, сказала Зинаида Сергѣевна: — я была на хорахъ, въ собраніи, видѣла эту исторію.

— Ты была на выборахъ? спросила Надежда Сергѣевна: — я тебя понимаю! я бы тоже не могла быть покойна дома, между тѣмъ какъ тамъ рѣшалась участь... всего...

— Ужъ какъ тамъ кричали, сказала Зинаида Сергѣевна.

— Да-съ, жаркіе были выборы, прибавилъ Черемышевъ.

— А у тебя сердце дрожало, дрожало, Зиночка?

Черемышевъ обидѣлся.

— Чего-жъ было ея сердцу дрожать? возразилъ онъ: — заранѣе было извѣстно. Всѣ предварительно совѣщались. Обѣды были во всѣхъ уѣздахъ, поодиночкѣ. У меня были обѣды, я за всѣмъ слѣдилъ. Если бы не Бѣлоспицына интриги, на тарелкѣ бы шары поднесли.

— И кого же выбрать, кромѣ его? сказала Зинаида Сергѣевна.

— Нѣтъ, Зина, но знаешь... я не могла бы быть покойна, все-таки, ну, если бы что нибудь не такъ... Если бы мой мужъ былъ въ такомъ положеніи, что, вотъ, его избираютъ на такой постъ...

Аграфена Петровна посмотрѣла на нее съ глубочайшимъ сожалѣніемъ.

— Право, maman, я не знаю... это такая тревога...

— Успокойся, Надя, сказалъ, смѣясь, Боровицкій: — по всей вѣроятности, твой мужъ никогда не доставитъ тебѣ такой тревоги.

— Почему же это? спросила Аграфена Петровна, покраснѣвъ.

— Потому, отвѣчалъ равнодушно Боровицкій:—что выбираться не буду.

— Почему же не будете? повторила Аграфена Петровна, между тѣмъ какъ Зинаида Сергѣевна внимательно наклонилась къ своей работѣ, а ея мужъ особенно величаво покачивалъ ногою, какъ люди, желающіе показать, будто не замѣчаютъ, что кругомъ происходитъ.

— Во что же мнѣ выбираться? въ становые какіе нибудь? возразилъ ужъ довольно горячо Боровицкій.

— Почему же непремѣнно въ становые?

— Но во что же еще?

— А послужить бы не мѣшало, замѣтилъ Черемышевъ, ничего не думая, а такъ, въ видѣ сентенціи.

— Помилуйте, но чѣмъ же? возразилъ Боровицкій: — судья долженъ быть человѣкъ въ лѣтахъ: мнѣ всего тридцатый годъ; въ исправники пойти—я ни воровать, ни драться не умѣю...

Аграфена Петровна была вся пунцовая; Надежда Сергѣевна взглянула на мужа со страхомъ и упрекомъ; Черемышевъ положительно обидѣлся.

— Вѣдь исправниковъ, братецъ, выбираетъ дворянство, отвѣчалъ онъ такъ величественно, что даже приподнялъ съ галстуха свой подбородокъ:—какое-жъ твое понятіе о дворянствѣ, послѣ этого?

— Мое понятіе? какое хотите... Мое мнѣніе о дворянствѣ самое лестное, но сами согласитесь, Петръ Иванычъ, что-жъ это? должность испорчена; кто на нее попалъ, тотъ непремѣнно мошенничаетъ: сдѣлки съ откупщиками, съ помѣщиковъ взятки, съ крестьянъ то же... все это грабитъ, грабитъ и дѣлится...

— Это, братецъ, не понятіе о дворянствѣ, не понятіе! повторилъ Черемышевъ.

— Я выросъ въ такихъ понятіяхъ, прервалъ Боровицкій: — не могу же я думать

иначе! Я самъ бывалъ свидѣтелемъ... Да на что вамъ лучше, вотъ примѣръ: къ дядѣ моему Зерновичу... Человѣкъ всѣми уважаемый, заслуженный, съ звѣздой! Я былъ у него на святкахъ однажды въ деревнѣ; наѣхалъ исправникъ. Изъ-за мостишка какого-то, изъ подводъ, что ли, не помню. Дядя не могъ быть неправъ, вы это сами понимаете. Исправнику содрать хотѣлось, ну, непремѣнно! Какъ, съ милліонера пропустить такую оказію!.. Кончились толки, онъ простился, ушелъ и сѣлъ въ лакейской. Сидитъ. Въ шубѣ. Лошади его бубенчиками звенятъ у крыльца; сидитъ, не уѣзжаетъ, покуда догадались, чего онъ ждетъ, сжалились, гадко стало, выслали ему изъ конторы цѣлковыхъ десять, что ли... Какъ же вы хотите, чтобъ я не презиралъ этихъ людей? Вѣдь если бы я родился, воспитался въ глуши, въ губерніи какой нибудь, я бы съ дѣтства привыкъ какъ нибудь иначе это понимать, но я, и всѣ мои родные... Мои родные не пускали этого народа дальше своей зальной притолки!

— Знаемъ-съ, аристократы, произнесъ Черемышевъ, улыбаясь, но покашливая, должно быть, опасно, потому что на него оглянулась даже его жена.—Какъ же, послѣ этого, братецъ, ты сейчасъ говорилъ, что тебѣ идти развѣ въ становые? Вѣдь это ужъ еще презрѣннѣе? Ты сейчасъ говорилъ.

— Говорилъ—такъ. Говорилъ, чтобы доказать, вотъ, ей (Боровицкій указалъ на жену) и матушкѣ, что службы для меня нѣтъ. И онѣ сами, спросите ихъ, захотятъ ли онѣ для меня маленькой службы! Нѣтъ, тоже. На это есть свое достоинство. А предводителемъ я быть не могу: мнѣ дворянъ нечѣмъ кормить, карманъ не позволяетъ... У васъ есть полторы тысячи душъ, васъ и выбрали, а будь у Бѣлоспицына побольше или хоть столько же, вамъ бы черняковъ наложили!

Надежда Сергѣевна оледенѣла. Нѣсколько минутъ продолжалось очень неловкое молчаніе. Черемышевъ откашлялся.

— Софи! кликнулъ онъ.

— Что вамъ, другъ мой? сказала Аграфена Петровна.

— Софи! повторилъ Черемышевъ.

— Что тебѣ угодно, Пьеръ? спросила, вставая, Зинаида Сергѣевна.

— Человѣка позвать.

— Да гдѣ же звонокъ? гдѣ же мой звонокъ, гонгъ? повторяла Аграфена Петровна:—зачѣмъ же его унесли?

— Я принесу... сказала ни живая, ни мертвая Надежда Сергѣевна и пошла.

— Человѣкъ! кликнулъ Боровицкій въ дверяхъ залы, куда и скрылся.

Прибѣжалъ лакей.

— Сигару мнѣ, произнесъ Черемышевъ, неподвижный среди волненій.

По всему дому раздавался звонъ, который подняла Надежда Сергѣевна, чтобы созвать прислугу. Одинъ за другимъ прибѣжали еще два лакея.

— Ничего, братецъ, не нужно, говорилъ имъ Черемышевъ.

— Ничего не нужно! Что это вы всѣ сбѣжались? говорила Аграфена Петровна.

— Подняли ихъ! замѣтилъ Черемышевъ, улыбнувшись, что, въ самомъ дѣлѣ, равнялось лучу солнца послѣ бури.

Боровицкій и Надежда Сергѣевна не возвращались.

— Зятекъ у васъ, произнесъ Черемышевъ, послѣ минутнаго молчанія, откашливаясь.

Аграфена Петровна вздохнула.

— Романическая голова — Надежда Сергѣевна! продолжалъ Черемышевъ и ужъ совсѣмъ смѣялся.

— Да! отвѣчала порывисто Аграфена Петровна: — вотъ, другъ мой, вы сами видите—вотъ, семь лѣтъ такъ!

— Горячъ-съ. И горячку какую поретъ, ай-ай!

— Пьеръ, замѣтила ему жена.

— Да что же, матушка, я всегда готовъ сказать: вѣдь это въ сумасшедшій домъ на цѣпь годится, а не въ благородное общество куда нибудь. Что онъ въ глаза, да въ глаза своей знатной родней? Знатная родня держала его до совершеннолѣтія, а тамъ поклонилась ему, знать его не хочетъ. Вѣдь что же, въ двадцать лѣтъ какихъ нибудь пустили малаго безъ гроша на всѣ четыре стороны. Все, что сдѣлали своей протекціей, прислали его въ N* чиновникомъ къ губернатору. Пожалуй, и почетно. Но самъ-то онъ что? Развѣ онъ смыслилъ что нибудь? Что онъ понималъ? И служилъ глупо, и женился глупо...

— Пьеръ!..

— И живетъ глупо!.. Извините меня, маменька, докончилъ Черемышевъ, обратясь къ тещѣ:—не выдержалъ!

— Вполнѣ извиняю! Не выдержишь! отвѣчала Аграфена Петровна и прослезилась.

— А все вы, маменька, дочкѣ волю дали, я правду скажу! Ты, Зинаида Сергѣевна, мнѣ знаковъ не дѣлай. Зятекъ у васъ ба-

клуши бьетъ—вотъ что... Я свое мнѣніе высказалъ; теперь вы извольте ваше.

— Мое мнѣніе, другъ мой, сказала Аграфена Петровна:—что это—несчастіе!

— Ну-съ такое мнѣніе, извините меня, еще не Богъ знаетъ что. Вы ему дали довѣренность управлять имѣніемъ?

— Нѣтъ, не давала.

— А то, я думалъ... Такой агрономъ, какъ же!

Черемышевъ расхохотался.

— Пьеръ! повторила его жена.

— Я, мой другъ, и безъ того въ самыхъ критическихъ обстоятельствахъ, сказала Аграфена Петровна: — мнѣ въ пору только самой управиться. Имѣніе, вы знаете,—заложенное. Я не могла внести и процентовъ... Не знаю, что буду дѣлать. Срокъ вотъ въ сентябрѣ.

— Но вы можете внести проценты, маменька, сказала Зинаида Сергѣевна.

— Откуда ихъ взять, мой другъ? Ты видишь—средства. Я безъ копѣйки.

— Это очень жаль...

Черемышевъ кашлянулъ, Зинаида Сергѣевна замолчала.

— Опишутъ, да продадутъ! продолжала Аграфена Петровна.

— Нѣтъ, какъ можно! сказала Зинаида Сергѣевна.

— Почему же нельзя? законъ прямо говоритъ, вмѣшался Черемышевъ, очень спокойно.

— Нѣтъ, Пьеръ... Нельзя ли это какъ нибудь сдѣлать?..

— Что сдѣлать? Внести надо.

Аграфена Петровна смотрѣла съ ожиданіемъ.

— Нѣтъ, Пьеръ... я не говорю внести, но попросить...

— Кого же это попросить?

— Вѣдь это отъ губернатора зависитъ?

— Ну-съ, отъ губернатора. Дальше-съ.

— Вы, мой другъ, хороши съ губернаторомъ, прибавила Аграфена Петровна.

— Это не въ моихъ правилахъ-съ. Законъ.

— Да, Пьеръ, но если его попросить? Онъ, по крайней мѣрѣ, не велитъ описывать. Знаешь, будто забыли...

— Да, будто забыли! повторила Аграфена Петровна.

— Я о такихъ вещахъ просить не могу, отвѣчалъ хладнокровно Череммыевъ:—это дамскіе толки, дамскія просьбы.

— Такъ я ему скажу! подхватила Зинаида Сергѣевна.

— Какъ знаешь, отвѣчалъ мужъ.

— Знаешь, Пьеръ, онъ будетъ радъ для меня сдѣлать. Онъ всегда разсыпается передо мной на всѣ угожденія...

— Ты меня, знаешь, какъ... воскресишь! воскликнула Аграфена Петровна, простирая къ ней объятія.

— Если только удастся, маменька.

— Тебѣ все должно удаваться, возразила съ умиленіемъ Аграфена Петровна и обратилась къ зятю:—я, другъ мой, принимаю это все равно, какъ отъ васъ.

— Я не мѣшаюсь-съ; дамскія дѣла, отвѣчалъ Черемышевъ.

— Вамъ, мой другъ, я понимаю, неловко, отношенія ваши не тѣ... И вамъ грустно, вамъ до сердца больно, что мать вашей жены въ такомъ положеніи, въ нищенскомъ, можно сказать, доведена... Это я понимаю; вамъ, въ вашемъ званіи, тяжко выразить, но она, какъ дочь, можетъ умолять за мать...

Аграфена Петровна всхлипывала. Черемышевъ закачалъ ногою.

— А я думаю, часъ четвертый есть, сказалъ онъ.

— Четыре, сказала Зинаида Сергѣевна, взглянувъ на свои часы:—развѣ твои стали, Пьеръ?

Черемышеву не хотѣлось безпокоиться, доставать ихъ изъ кармана. Зато Аграфена Петровна полюбопытствовала посмотрѣть часы дочери, изъ синей эмали съ брильянтами.

— И все его подарокъ? шепнула она, умильно показавъ головой на зятя:—баловникъ!

— Я ихъ всѣхъ въ часы нарядилъ, отвѣчалъ Черемышевъ;—ее, дѣтей, m-lle Луаро, всѣхъ, однимъ почеркомъ. Она не даетъ дѣтямъ носить.

— Сломаютъ, возразила Зинаида Сергѣевна.

— Что ты, мой другъ Зиночка, не сломаютъ! они у тебя такія миленькія. Я вотъ что, мой другъ, хотѣла тебѣ сказать... Конечно, на то твоя воля, твое прекрасное сердце. Ты Машенькѣ зонтичекъ привезла. Къ чему, душа моя? Если бы эта дѣвочка росла какъ слѣдуетъ, какъ твои дѣти, какъ вы у меня росли — другое дѣло. Она твой подарокъ по избамъ истаскаетъ; вѣдь она отъ кормилицы своей не выходитъ. Что это за воспитаніе: она съ тобой даже не поздоровалась сегодня; вѣдь нѣтъ?

Зинаида Сергѣевна потупилась: она не находила этому оправданія.

— Что выйдетъ изъ этой дѣвочки? про-

должала Аграфена Петровна:—точно крестьянскій мальчишка, сильная какая, ужъ Богъ ее знаетъ. Тотъ... отецъ возится съ цвѣтами; она ему землю, песокъ таскаетъ; лейку вотъ этакую подхватитъ, несетъ, вся водой обольется. Право, другой порядочный ребенокъ скарлатину бы схватилъ, а этой все ничего. Такъ, ужъ!..

Аграфена Петровна махнула рукой.

— Да-съ, непріятно, замѣтилъ Черемышевъ.

— Я, мой другъ, и не вмѣшиваюсь; это ужъ матери дѣло! А Надежда Сергѣвна до сихъ поръ—вы справедливо сказали—безумная. Все любовь! Еще благодареніе Богу, что одна у нихъ, эта Машенька; будь больше—скажите на милость, куда бы при моихъ средствахъ съ ними дѣваться?

— Кажется, Григорью Николаевичу достался недавно капиталъ? сказала Зинаида Сергѣевна.

— Да, по смерти Зерновича, двадцать тысячъ.

— Серебромъ? произнесъ Черемышевъ, начиная дремать отъ голода.

— Ассигнаціями, мой другъ, куда серебромъ! И еще въ ломбардѣ съ правомъ пользоваться только процентами; сами сочтите, что тутъ, много ли?

— Все-таки-съ годится. Я не зналъ, что вамъ благодать такая. Зинаида Сергѣвна мнѣ не сказывала.

— Да сказывать-то нечего, другъ мой, уныло отвѣчала Аграфена Петровна: — я этихъ денегъ не вижу. Вонъ онъ, накупаетъ себѣ вздоровъ, полюбуйтесь; луковицы выписываетъ, краски себѣ, холсты; въ кабинетѣ у него видѣли?

— Видѣлъ-съ. Художникъ, агрономъ, астрономъ и гастрономъ, отвѣчалъ Черемышевъ.

— Я пойду, сказала, поднимаясь, Аграфена Петровна.—Въ которомъ часу вы кушаете, друзья мои?

— Ахъ, маменька; не безпокойтесь, какъ вамъ угодно, возразила Зинаида Сергѣевна.

— Нѣтъ, отчего же душа моя... Я сейчасъ.

Аграфена Петровна ушла.

— Семейка благословенная! сказалъ Черемышевъ, посидѣвъ и постучавъ немного, молча.—Ты, матушка, пожалуйста, разныхъ щедростей тутъ не разсыпай. Маменька твоя—бездонная кадка. Сама имѣніе ухлопала, осталась съ одной своей Лоскутовщиной, да плачется. Кто ее неволилъ въ городѣ жить, пиры задавать! Вечеръ не вечеръ, обѣдъ не обѣдъ, да тряпки ваши! видите: васъ вывозила, замужъ выдавала! А теперь съ зятьевъ думаетъ взять... Этотъ дуралей, видно, еще не совсѣмъ глупъ. Я бы на его мѣстѣ самъ то же дѣлалъ: онъ малярничаетъ, а я бы на свѣчкѣ деньги сжегъ, коли на то пошло, а ужъ ей отдать—мое почтеніе! Взяла зятя безъ сюртука на прокормежку, ну, и корми.

— Я тебя хотѣла попросить, Пьерочка, сказала Зинаида Сергѣевна:—пожалуйста, ты съ нимъ какъ нибудь... что, непріятности... Мнѣ для сестры...

— Э, матушка, стану я съ вздорнымъ связываться! ври онъ что хочетъ на вѣтеръ, мнѣ-то что? Ты только, сдѣлай милость, не очень тутъ обязывай. Вонъ, обѣщалась Василья Васильича просить. Это для чего? Губернская предводительша просить будетъ, чтобъ ея маменьку изъ дома помеломъ не вымели! Да ты понимаешь ли, что это мнѣ въ глазахъ всего дворянства...

— Я ничего не скажу, Пьерочка.

— Ну, то-то. Она бы, маменька твоя, зятя своего возлюбленнаго заставила тѣ деньги, что онъ мотаетъ—взять да внести. Чего она съ нимъ любезничаетъ? Вотъ ей плательщикъ. А она все къ тебѣ да ко мнѣ.

— Знаешь, въ самомъ дѣлѣ, я переговорю съ Григорьемъ Николаичемъ; я ему посовѣтую, какъ ты сейчасъ сказалъ...

— Это какъ себѣ знаешь.

Зинаида Сергѣевна поцѣловала мужа. Вошла m-lle Луаро и всѣ три дѣвочки.

— Ну-съ, что подѣлывали? comment est-ce que vous vous amusez? спросилъ Черемышевъ.

— Мы у нихъ въ комнатѣ были, отвѣчала Маша.

— Et vous ne pouvez pas répondre en français? Et dans la chambre qu'est-ce que vous avez fait?

— J'ai fait voir à mes cousines les gravures de l'édition «la Galerie européenne», отвѣчала Маша, твердо и смѣло произнося такое r съ завиточкомъ, какое не удавалось и m-lle Луаро, почему Черемышевъ тотчасъ перемѣнилъ діалектъ.

— Ну, что-жъ тамъ, картинки, моды, офицеры? хорошо?

Маша посмотрѣла на него, вдругъ сконфузилась, примѣтя пристальный взглядъ тетки, и ничего не сказала.

— Переодѣньте же ихъ къ обѣду; скоро обѣдъ, сказала Зинаида Сергѣевна.

— Oui, madame, отвѣчала m-lle Луаро, уводя своихъ.

Черемышевъ и Зинаида Сергѣевна оста-

лись опять одни, потому что Маша убѣжала на балконъ; было слышно, какъ она скликала: «гулинька, гуль-гуль», бросая голубямъ хлѣбъ, который доставала изъ кармана.

Аграфена Петровна возвратилась оживленная; румянецъ на ея щекахъ изобличалъ волненіе; усѣвшись, она нѣсколько минутъ съ трудомъ переводила дыханіе, стараясь дѣлать это какъ можно менѣе замѣтно. Черемышевъ улыбнулся и закачалъ ногою, Зинаида Сергѣевна работала.

— Кто же у васъ въ N* особенно на счету красавица? спросила Аграфена Петровна, желая доказать свѣтскимъ вопросомъ, что ее ничто не озабочиваетъ.

Зинаида Сергѣевна начала разсказывать о N-скихъ красавицахъ и ихъ нарядахъ. На этотъ разговоръ пришла и Надежда Сергѣевна, тоже взволнованная и оторопѣлая. Въ залѣ между тѣмъ стучали посудой, столами и стульями. Одну минуту раздался такой страшный трескъ, что Аграфена Петровна встрепенулась, несмотря на старанія казаться равнодушной, и бросила испуганный взоръ Надеждѣ Сергѣевнѣ. Та ужъ вставала.

— Ничего-съ; дреколія уронили, замѣтилъ успокоительно Черемышевъ:—ножи и вилки; я по слуху узналъ. Прислуга у васъ ловкая.

Боровицкій пришелъ за нѣсколько минутъ до доклада объ обѣдѣ. Маша, увидя его, прибѣжала съ балкона, но отецъ былъ не въ духѣ, не обращалъ на нее вниманія и ни съ кѣмъ не говорилъ ни слова. Онъ замѣтно повеселѣлъ только тогда, когда, поднимаясь съ мѣста вслѣдъ за дамами, Черемышевъ сказалъ ему:

— Ну, вотъ, теперь не мѣшаетъ водочки, а то т в о и подчивали меня спозаранку.

Столъ постарались убрать съ разными украшеніями: на немъ возвышались двѣ довольно древнія стеклянныя вазы съ малиной и клубникой и три большіе букета цвѣтовъ. Маша ахнула на такое невиданное великолѣпіе.

— Папа, что это? закричала она: — ахъ, папа, всѣ цвѣточки порвали! ахъ, папа, какая жалость! тамъ ужъ ничего не осталось! Зачѣмъ это, папа?

Боровицкій не слушалъ ее, хлопоча угощать Черемышева закуской. Аграфена Петровна съ горестью подслушала, что Зинаида Сергѣевна приказала m-lle Луаро не давать чего-то дѣтямъ, и когда дѣти попросили, гувернантка возразила довольно громко:

— Маменька сказала, что это гадость; у васъ животъ будетъ болѣть.

— Мама, зачѣмъ порвали всѣ цвѣты? приставала Маша къ своей матери.

Бабушка вышла изъ терпѣнія.

— Я тебя безъ обѣда оставлю! вскричала она.

За столъ, наконецъ, сѣли. Маша подлѣ отца и какъ разъ напротивъ одного изъ букетовъ. Она не могла больше выдержать, и тихія слезы полились на ея маленькую грудь и на край тарелки съ супомъ, къ которому она не прикоснулась. Отецъ взглянулъ на нее и не могъ взглянуть строго; онъ взялъ ея худенькую ручонку и сказалъ ласково:

— Кушай же, Машурка.

Ей было этого довольно; она прижалась губами къ его рукѣ, вся дрожа и, вдругъ повеселѣвъ, взялась за ложку. Къ счастію, ея «капризовъ» не видали мать и бабушка, занятыя гостями, но и веселье пришло къ ней не въ добрый часъ. Напротивъ нея сидѣлъ Черемышевъ; чтобъ не утруждать себя, наклоняясь, онъ кушалъ, держа тарелку у себя подъ бородою, предварительно разостлавъ салфетку по своей особѣ. Машѣ, послѣ слезъ, захотѣлось хохотать; она удержалась отъ страха; но между тѣмъ какъ рядомъ съ нею кузина Жюли кушала чинно, чисто, забывая все въ мірѣ, кромѣ сухариковъ, которые усердно ловила, Маша, заглядѣвшись на дядюшку, облилась супомъ.

— Prenez garde à votre robe! вскричала m-lle Луаро, сидѣвшая подлѣ Жюли, между своими воспитанницами: — платье, платье замараете!

На Жюли было платьице изъ голубого пудесуа, еще лучше чѣмъ утреннее. Гувернантка тщательно закрыла его салфеткой, а со стороны Маши даже подвернула.

Кромѣ этого обстоятельства, обѣдъ шелъ благополучно. Или онъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, недуренъ (за него заплатило жизнью многое лучшее, сберегавшееся «на племя» въ Надеждинскомъ), или Черемышевъ былъ слишкомъ голоденъ. Онъ ничего не говорилъ, только кушалъ, отпиваясь водою.

— Не взыщите, вино — какое есть, сказалъ Боровицкій, довольный довольствомъ гостя и протягивая къ нему бутылку.

— Не надо, братецъ... не пью... запрещено мнѣ... промолвилъ Черемышевъ.

Боровицкій понялъ, что разговаривать было бы даже неделикатно; ему пришло на мысль, что подчивать гостя кушаньемъ —

неделикатность еще большая, даже игра опасностью — и онъ съ невольнымъ страхомъ взглядывалъ на свою жену, которая подкладывала дорогому гостю то пирожокъ особенно апетитнаго вида, то кусочекъ пожирнѣе. У Боровицкаго самого прошла охота ѣсть отъ безпокойства. Къ концу обѣда, когда Черемышевъ, почти лиловый, ссыпалъ себѣ черезъ край полкорзины клубники, а Надежда Сергѣевна любезно выливала въ нее кувшинъ сливокъ, Боровицкій былъ готовъ остановить ихъ, но, конечно, не сдѣлалъ этого. Его безпокойство замѣнилось самымъ искреннимъ удовольствіемъ, когда, вставъ изъ-за стола, на опасенія Аграфены Петровны, что «дорогіе гости вовсе, вовсе голодны», Черемышевъ проговорилъ:

— Помилуйте, на убой! и нашелъ силы спросить, обращаясь къ Боровицкому и пожавъ ему руку: — это ты, братецъ, заказывалъ?

— Я, отвѣчалъ Боровицкій.

— Мастеръ. Знаешь, надо умѣнье составить, вотъ, этакое, лѣтнее меню... легкое, все легкое, знаешь, а между тѣмъ пріятное, очень пріятное.

— Я очень радъ, Петръ Ивановичъ.

— Ты мнѣ записку дай, братецъ, какъ у тебя зелень готовятъ, легюмы... очень хорошо! Знаешь, въ эти бы грибы да сыру, я тебѣ скажу, пальцы оближешь!

— Это можно попробовать, Петръ Иванычъ.

— Завтра, братецъ, попробуемъ, испытаемъ. Это мнѣ вдругъ, сейчасъ, внезапная идея...

— Какая это идея? спросила, подходя, Надежда Сергѣевна.

— О грибахъ-съ, отвѣчалъ Черемышевъ: — а вы думали какая? Мы, вотъ, съ нимъ люди положительные, существенное разсчитываемъ, а не мечты. Гдѣ намъ!.. Я, вотъ, привыкъ послѣ обѣда заняться...

— Неужели заниматься? спросилъ Боровицкій.

— То есть, какъ, понимаешь, я беру газету...

— Газеты, кажется, привезли... Привезли съ паневской станціи газеты? спросилъ Боровицкій, засуетясь.

— Э, нѣтъ, братецъ, на что эту дребедень! У меня газета—предлогъ. Совсѣмъ на боковую запрещено мнѣ; я сажусь въ кресла, и, знаешь, будто занятъ, а между тѣмъ слегка забудусь, такъ слегка, минуточку... Я къ тебѣ въ кабинетъ пойду.

Водворивъ Черемышева въ длинныхъ креслахъ въ кабинетѣ, Боровицкій воротился узнать, что дѣлали другія. Аграфена Петровна и обѣ сестры, въ гостиной, тихо и даже таинственно разговаривали. Дѣти Черемышева ушли въ аллею съ гувернанткой. Машу Боровицкій нашелъ одну въ ея комнатѣ. Она была наказана за свои преступленія во время обѣда, и, пока замывали и гладили ея платье, стояла въ углу въ одной юбочкѣ. Боровицкій самъ вдругъ почему-то сдѣлался недоволенъ дочерью, прочелъ ей мораль, что она ведетъ себя неприлично, что она нелюдимка-дикарка, отобралъ у нея тетрадь гравюръ и приказалъ, чтобъ она, какъ только ее одѣнутъ, сейчасъ шла въ аллею и непремѣнно играла съ кузинами.

— Кузины такія миленькія, тетка такая добрая, дядя такой славный, а эта дѣвчонка, точно крестьянская, прячется, голубей гоняетъ, пачкается... Богъ знаетъ, что такое.

— Ну, папа, ужъ Богъ знаетъ, что съ тобой! отвѣчала ему вслѣдъ Маша, вслухъ, но вовсе не по-дѣтски.

IV.

Почти въ такомъ порядкѣ прошло еще два дня. Черемышевы, казалось, чувствовали себя очень неудобно, очень стѣснялись, очень перемѣняли свои привычки, но сказавъ, что пробудутъ у маменьки пять дней, добросовѣстно проживали эти пять дней. Ихъ положеніе искренно огорчало хозяевъ. Аграфена Петровна, вставая рано (привычка, которой она измѣнила только въ первый день, и, въ самомъ дѣлѣ, ради важности), приходила навѣстить Зинаиду Сергѣевну въ постели. Взглядывая на громадный каретный сундукъ съ нарядами предводительши, стоявшій поперекъ коридора, на все накрахмаленное, кружевное, шелковое, что̀, за отсутствіемъ гардеробнаго шкафа, пряталось опять въ этотъ сундукъ, Аграфена Петровна вздыхала и произносила: «Ахъ, ты Господи Боже мой!» съ такой злобой, какъ будто все было виновато: стѣны дома—зачѣмъ не раздвигались просторнѣе, природа—почему внезапно не творила готовыхъ шкафовъ, люди—неизвѣстно чѣмъ, но люди оказывались всѣхъ виноватѣе.

— Наказаніе Божіе! восклицала она при видѣ всякаго домашняго, какъ бы полезно или невинно ни былъ занятъ этотъ домашній.

Въ теченіе этихъ двухъ дней, два раза предъ обѣдомъ Аграфена Петровна удалялась къ себѣ въ комнату и плакала.

Зинаида Сергѣевна зашла къ ней, но, уви-

дя слезы, не сконфузилась, а только спросила:

— Что вы, маменька?

— Такъ, мой другъ, грустно мнѣ! отвѣчала Аграфена Петровна:—вы у меня хуже чѣмъ въ какой харчевнѣ; если бы вы у дворника какого нибудь остановились, у старосты—вонъ у кормилицына мужа (ему Григорій Николаичъ на Святой подарилъ избу новую!..) — вамъ бы покойнѣе было!..

И она зарыдала.

— Намъ, маменька, очень хорошо..

— Я знаю твое благородное сердце, другъ мой. Ты, и въ дѣвушкахъ была, ничѣмъ меня не огорчала, все умѣла скрыть... Ты, мой ангелъ Зиночка, ни копѣйки мнѣ не стоила, не то, что... Вотъ, Надежда Сергѣвна, десять лѣтъ я ее по собраніямъ таскала! Нашла себѣ сокровище, повѣсилась на шею... или мнѣ петлю на шею накинула!

Зинаида Сергѣевна, съ ея прелестной полнотой, восхитительнымъ цвѣтомъ лица, отличнымъ здоровьемъ и правильнымъ возрѣніемъ на жизнь, не находила нисколько трогательными подобныя волненія, хотя признавала ихъ непреложность въ семейной жизни и не отрицала ихъ занимательности. Она знала, что по закону природы, у тещи должны быть непріятности съ зятьями, а потому приняла слезы тещи о порокахъ зятя спокойно, какъ обыкновенное явленіе. Она ограничилась тѣмъ, что дала себя обнять, ловко откинувъ изъ-подъ слезъ розовыя ленты своего чепчика.

— Добрый мой, кроткій ангелъ! произнесла Аграфена Петровна: — жить-то мнѣ чѣмъ? Ты это скажи, это разсуди! Вонъ, онъ кричитъ, что будетъ дочь свою учить музыкѣ! видите—замѣтилъ способности!—Какія такія у нея могутъ быть способности? Э, полноте!.. Хочетъ нанять себѣ въ камердинеры человѣка Десятовыхъ, который былъ капельмейстеромъ, чтобъ тотъ ее училъ... Господи Боже! у Григорія Николаича будетъ особый камердинеръ! Я тутъ изъ послѣдняго бьюсь, хлѣба нѣтъ, мяса нѣтъ къ столу — а у него камердинеръ съ щипцами завивать его будетъ!..

Зинаида Сергѣевна воспользовалась первымъ предлогомъ, чтобы уйти. Но семейная исторія ее заинтересовала.

Зинаида Сергѣевна была особа очень спокойная, очень довольная судьбою, именно за то, что судьба даровала ей всевозможное спокойствіе, но была также и любопытна и разнообразила свое неподвижное счастье наблюденіями надъ счастьемъ и несчастьемъ другихъ. Жажда разнообразія сдѣлалась у нея маленькой страстью, а наблюдательность—почти наукой, которой она предавалась всѣмъ сердцемъ, пытливо, упорно, радуясь когда открывалось для нея новое поприще. Съ первой минуты пріѣзда къ матери, Зинаидѣ Сергѣевнѣ почудилось, что въ этомъ домѣ цѣлые рудники для открытій. Она употребила два дня на внимательный обзоръ обстоятельствъ и отношеній. Съ жаромъ занявшись догадками, предположеніями, сближеніями, къ концу второго дня она стала видѣть вещи вдвойнѣ: тѣ, которыя дѣйствительно существовали, и тѣ, которыя, казалось ей, скрывались за существующими. Любя свою науку, Зинаида Сергѣевна не остановилась и пожелала узнать, нѣтъ ли за этими еще чего нибудь, подальше. Для такихъ изысканій были уже необходимы разспросы и тонкіе намеки, и Зинаида Сергѣевна рѣшилась приступить къ нимъ, избравъ для опыта сестру, какъ особу, болѣе другихъ способную проговориться.

Въ одно послѣ обѣда, когда Черемышевъ отдыхалъ, къ Аграфенѣ Петровнѣ пришелъ староста, а Боровицкій предложилъ m-lle Луаро и дѣтямъ идти въ садъ, Зинаида Сергѣевна поднялась изъ-за работы и сказала сестрѣ:

— Что у тебя въ саду, покажи мнѣ.

Но прежде она послала за своей шляпкой. Надежда Сергѣевна отправилась за тѣмъ же. Ей пришла охота показаться интересною и потому она достала старую широкую, круглую соломенную шляпку, которую оправила сама и украсила пучками бумажныхъ васильковъ, собственной своей работы. Надежда Сергѣевна до замужства славилась искусствомъ des petits ouvrages d'agrément, которымъ научилась по «Journal des Demoiselles». — Зинаида Сергѣевна захохотала, увидя ее.

— Ай, какой подносъ! вскричала она:— бѣдная Дина! Да это еще, никакъ, та, что тебѣ подарили, когда тебѣ было пятнадцать лѣтъ? Узнаю, узнаю—та самая! Какъ ты ее уберегла?

Несмотря на такое отдаленное и потому неободряющее воспоминаніе, Надежда Сергѣевна взглянулась въ зеркало, убѣдилась въ мнѣніи, что шляпка придаетъ ей интересный видъ, и не сняла ее. Она подняла немного глаза къ небу, что неизбѣжно при широкихъ поляхъ, и отправилась съ сестрой въ аллею.

Зинаида Сергѣевна была довольно равнодушна къ красотамъ природы и потому сейчасъ обратилась къ существенному.

— Это няня Машенькина пошла съ ними въ лѣсъ? спросила она.

— Нѣтъ, chère amie, это — маменькина Малашка.

— Какая молоденькая. Лѣтъ пятнадцать ей? изъ крестьянскихъ?

— Дворовая, садовника дочь.

— Зачѣмъ же она пошла съ Машенькой, а не нянька?

— Нянька стара, chère amie, и въ домѣ нужна; у нея все хозяйство. А Маша очень любитъ Малашку. Она ее забавляетъ. Когда Грегуаръ цвѣты сажаетъ, она помогаетъ съ Мари. Ловкая такая.

— Прехорошенькая, румяная такая, замѣтила Зинаида Сергѣевна:—а Машенька часто въ лѣсъ ходитъ?

— Часто, съ отцомъ.

— И съ Малашкой?

— Нѣтъ; на что же, если съ отцомъ? Если съ отцомъ, то безъ Малашки. Ты что же хотѣла сказать, Зина?

— Ничего. Я ничего не говорю.

— Ты, можетъ быть, хочешь сказать, какъ такъ я отпускаю мою дочь съ дворовой дѣвкой? Что же дѣлать! Еслибъ я имѣла возможность нанимать гувернантку...

Зинаида Сергѣевна засмѣялась.

— Это, матушка, все равно... Какъ тебѣ показалась моя Луаро?

— Ахъ, какая милая дѣвушка!

— То-то. Онѣ всѣ милыя. Кокетка страшная. Да мнѣ все равно—эти всѣ француженки съ претензіями разными. У меня была и старуха — мочи не было отъ капризовъ. Нѣтъ, я говорю, Петръ Иванычъ, подай мнѣ молодую, я скорѣй управлюсь. Эта Луаро ужъ не молоденькая, десять лѣтъ то въ Ярославлѣ, то въ Москвѣ...

— Десять лѣтъ! цѣлая жизнь на чужбинѣ! сказала Надежда Сергѣевна.

— Да, повторила предводительша:—ужъ не молоденькая. И ужасно собой занимается: всегда въ корсетѣ, coque-lisse свои по три часа причесываетъ. Ну, и вздумала было Петру Иванычу куры строить...

— Ахъ, Боже мой! какъ, я думаю, тебѣ было непріятно!

— Я, матушка, мнѣ-то что? Да съ кѣмъ ему угодно—вѣдь я ему все-таки жена; со мной мудрено потягаться. Да вѣдь и Петръ Иванычъ не изъ такихъ: онъ даже ничего и не понялъ, чего она хотѣла, она и отстала. Вотъ, за то, съ посторонними, она своего дѣла не забываетъ: съ кѣмъ только можно любезничать—поймаетъ и осаждаетъ. А по мнѣ все равно; лишь бы занималась дѣтьми да не капризничала, а тамъ—любезничай съ кѣмъ хочешь.

— Но, однако...

— Да вѣдь что-жъ ты тутъ сдѣлаешь?.. Со стороны, это даже забавно. Видѣла ты сегодня, какъ она послѣ обѣда руку пожала Григорію Николаичу? На англійскій манеръ—потѣха!

Зинаида Сергѣевна громко разсмѣялась, показывая свои прелестнѣйшіе зубы.

— Грегуаръ говоритъ по-англійски, замѣтила почему-то Надежда Сергѣевна, не раздѣляя этой веселости.

— Ну, вотъ и кстати! она увѣряетъ, что тоже знала, да безъ практики забыла; теперь въ лѣсу съ Грегуаромъ практикуется.

Зинаида Сергѣевна продолжала смѣяться; Надежда Сергѣевна засмѣялась тоже, сколько могла, и отвернулась.

— Прости меня, Диночка, сказала вдругъ Зинаида Сергѣевна:—тебѣ, можетъ быть, непріятно?

— Что?

— Ну, вотъ, это все, что я говорю. Я къ своему Петру Иванычу ревновать не стану, а ты по любви выходила замужъ, мужъ молодой, хорошенькій... У васъ съ нимъ исторій не бывало?

— Нѣтъ... отвѣчала Надежда Сергѣевна.

— Ну, и по прежнему нѣженъ?

— Э, далеко не то! отвѣчала Надежда Сергѣевна сквозь слезы.

— Что-жъ дѣлать!.. Мы тогда тебѣ всѣ говорили: ты старше его. Конечно, если ужъ что началось—не воротишь. Такъ надо, Диночка, построже быть; ты ему много позволяешь. Надѣюсь, que du moins, il n'est pas brusque avec vous, не срываетъ, что называется?

— Нѣтъ... но это ужъ что же...

— Это, матушка, главное! ты — жена, ты—госпожа. Ну, любовь прошла, по крайней мѣрѣ, не смѣй на голову сажать кого вздумается. Конечно, этого бы маменька не допустила. Большое тебѣ счастье, что она съ тобой, а то твой Грегуаръ... ты за нимъ посматривай. Онъ, вотъ разсказываетъ, что по цѣлымъ днямъ запирается у себя, рисуетъ; зачѣмъ запирается!

— Chère amie, скипидаръ, краски, вонь по всему дому...

— Да; этого вы не можете вынести, а какъ тамъ у него сидитъ какая нибудь особа—это вынесете?

— Откуда-жъ, Зина... Одна дверь всего, изъ залы... возразила въ слезахъ Надежда Сергѣевна.

— А нельзя пройти такъ, чтобъ ты не видала? Дверей другихъ нѣтъ—окошки есть!

Надежду Сергѣевну какъ будто кольнула совѣсть. Ей показалось, что не хорошо давать напрасно подозрѣвать, напрасно обвинять своего мужа. Потомъ она оглянулась. что выставила себя ужъ слишкомъ жалкой предъ своей счастливой сестрой; это досадно. Что бы все поправить, оставалось простое средство; сказать правду, что сестра ошибается, что преступленія Григорія Николаевича не такъ еще ужасны, и такъ далѣе... Но какъ же, Надежда Сергѣевна плакала—неужели такъ и признаться, что она сама не знала, о чемъ плакала?..

Вслѣдствіе этихъ соображеній, Надежда Сергѣевна поправилась, по своему.

— Все это вздоръ, Зина, сказала она, отирая глаза: — не хочу объ этомъ думать! Чтобы бы тамъ ни было, жизнь еще велика, у меня могутъ быть и радости... У меня, какъ у ребенка, горе недолгое...

Она подняла глаза къ небу изъ-подъ шляпки и, рисуясь, улыбалась кокетливо, въ самомъ дѣлѣ вообразивъ себя ребенкомъ.

Зинаида Сергѣевна посмотрѣла на нее пристально. Ей думалось: не утѣшается ли чѣмъ нибудь сестрица въ невѣрностяхъ супруга? Нѣтъ ли сосѣда помѣщика, офицера въ отпуску... правда, отпусковъ нѣтъ — война... ну, хоть гимназиста на вакаціи?

— Страстишка, что ли, у тебя завелась? спросила она громко.

— Страстишка?.. повторила Надежда Сергѣевна:—что тебѣ вздумалось!

— Да ты глядишь такой. Ты же меня спрашивала, нѣтъ ли у меня иллюзій; у тебя нѣтъ ли?

— А что?

— Да ничего, матушка, я спрашиваю только. Ты — голова романическая; съ тобой заговорить, вонъ ужъ сейчасъ въ краску...

— Нѣтъ, право, нѣтъ, Зина, какъ ты думаешь, могу я еще надѣяться... пожить?

— Батюшки мои, почему же я знаю?

— Нѣтъ, Зина, но ты видишь меня, несовсѣмъ же я безобразна, не могу же ужъ совсѣмъ отказаться внушать любовь...

Зинаида Сергѣевна расхохоталась.

— Да ты ее внушила кому нибудь? сказала она, неизвѣстно почему думая, что, вотъ, у сестры скверная исторія.

— Нѣтъ, Зина, отвѣчала Надежда Сергѣевна съ грустью чистѣйшей невинности:—Богъ свидѣтель...

— Ну, не договаривай, вскричала со смѣхомъ предводительша: — вѣрю, матушка, вѣрю, что Григорію Николаичу опасаться нечего!

— Что же тутъ смѣшного, Зина?

— Ты смѣшна, вотъ что. И влюблена, и ревнива, и главное, скучно ей до смерти — впору хоть грѣшить отъ скуки...

— Ахъ, Зина!

— Матушка, что ты обижаешься? развѣ я говорю, что ты безнравственная женщина? А что тебѣ скучно...

— Ахъ, какъ скучно, Зина! Но, ради Бога, чтобъ я не теряла въ твоемъ мнѣніи...

Она бросилась ей въ объятія. Зинаида Сергѣевна спохватилась, что могла ее обидѣть, и потому поцѣловала.

— Зина, милый другъ, какъ я счастлива, что могу откровенно... я такъ скучаю... эта глушь, это—смерть, это прозябаніе...

— Что-жъ дѣлать-то? сказала, вздохнувъ, Зинаида Сергѣевна.

— Нѣтъ, но представь, еслибъ я была въ обществѣ... даже для моего семейнаго счастія... Въ обществѣ я могу показаться новостью для моего мужа...

— Какъ такъ? спросила Зинаида Сергѣевна, снова разсмѣявшись.

— Я оживу, Зина. Вѣдь я совсѣмъ не та въ обществѣ, что дома: здѣсь онъ ко мнѣ привыкъ, тамъ онъ во мнѣ опять нашелъ бы ту, которую полюбилъ въ лучшіе года молодости...

— Да, ma chère, да молодость-то гдѣ? прервала Зинаида Сергѣевна такъ равнодушно, будто говорила о прошлогоднихъ листьяхъ:—это надо помнить... Что-жъ, конечно, твоя жизнь однообразна...

— Ахъ, какое однообразіе!

— Знакомые есть ли сосѣди?

— Семейство одно, прекрасное, почтенное семейство, Гравины; мать, пять дочерей... я отъ нихъ беру узоры...

— Замужнія дочери?

— Нѣтъ, всѣ дѣвушки, пожилыя, chère amie.

— И мужчинъ никого у нихъ?

— Никого,

— Женскій монастырь, стало быть. И только знакомыхъ?

— Только... Грегуаръ и у нихъ не бываетъ.

— Я думаю, у старухъ... А вотъ что мнѣ пришло въ голову: что бы твоему мужу служить?

— Ахъ, Зина, что ты говоришь! такое счастье!.. Но нѣтъ, я сколько разъ говорила — ты слышала, какъ онъ разсуждаетъ? онъ и слышать не хочетъ...

— Ну, матушка, захотѣлъ бы. Онъ отговаривается, будто не хочетъ, потому что мѣста нѣтъ, не предлагаютъ; а попросить—гордится...

— Онъ гордъ.

— То-то, гордъ; глупо это. А тогда вы бы могли въ N* переѣхать.

Надежда Сергѣевна задумалась и шла молча. Повременамъ, не рѣшаясь выразить, чего ей хотѣлось, она взглядывала на сестру, которая ужъ начинала разсѣянно оглядываться по сторонамъ. Надежда Сергѣевна боялась, что разговоръ прервется, что пройдетъ минута...

— Зина, скажи ему... выговорила она.

— Что?

— Чтобъ онъ служилъ.

— Что ты, матушка? онъ меня погонитъ, тоже не станетъ слушать.

— Тебя послушаетъ...

— Почему такъ?

— Тебѣ все можно, Зина... выговорила Надежда Сергѣевна съ смиренной, жалкой лаской.

Зинаида Сергѣевна засмѣялась.

— Вотъ какъ! А ты вдругъ приревнуешь?

— Къ тебѣ-то, Зина?

— Смотри!... Пожалуй скажу.

— Chère amie! Ты всегда была мастерица сладить...

— Я тебѣ ужъ одно и уладила, отвѣчала Зинаида Сергѣевна, съ скромностью немножко лукаваго торжества: — я вразумила твоего Грегуара, чтобъ онъ изъ денегъ, которыя ему оставилъ дядя, внесъ въ сентябрѣ за маменькино имѣніе. Онъ обѣщался.

Надежда Сергѣевна обняла ее, затрудняясь своей шляпкой. Зинаида Сергѣевна какъ-то невольно думала, что сестра постарѣла и подурнѣла, а она сама—красавица.

— Зина, я тебѣ буду такъ обязана! Откровенно: я схорониться здѣсь не могу. Но я даже должна сдѣлать, чтобъ меня не забыли въ свѣтѣ... Ты знаешь, я такъ экономна, мнѣ лишняго не надо... Но все я могла бы воспользоваться удовольствіями, жизнью...

— Вотъ, за мужемъ смотри, какъ перевезешь его въ городъ, сказала Зинаида Сергѣевна.

— Проказница! отвѣчала Надежда Сергѣевна, смѣясь сквозь сладкія слезы.

— Ты уморительная, возразила Зинаида Сергѣевна, смѣясь ей въ лицо. — Изволь, изволь, скажу ему. У васъ садъ большой, однако.

— Ты устала?

— Нѣтъ, но дѣтямъ пора воротиться. Моя Луаро залюбезничается, пожалуй, и все на свѣтѣ забудетъ.

Ожиданіе, впрочемъ, продолжалось недолго. Менѣе нежели черезъ часъ, m-lle Луаро воротилась подъ-руку съ Боровицкимъ; Софи и Жюли чинно шли впереди; Маша отстала съ Малашкой, которой сдала свой розовый зонтикъ; та распустила его и весело повертывала надъ головой, глядя, какъ колышатся бахромочки. Софи и Жюли имѣли въ рукахъ букеты изъ васильковъ и шиповника; эти же цвѣты украшали туго заплетенную косу Малашки.

— Offrez vos bouquets à madame votre mère, сказала дѣтямъ m-lle Луаро.

Зинаида Сергѣевна, величаво сидя на балконѣ, благосклонно приняла эти приношенія и поблагодарила гувернантку.

Машѣ подносить было нечего; въ глиняномъ росписанномъ кувшинчикѣ, который она несла, было всего пять ягодъ земляники. Надежда Сергѣевна, и на балконѣ неснявшая своей шляпки, бросила очень нелюбезный взглядъ на гувернантку, когда та, всходя на ступеньки, замѣтно опиралась на руку Боровицкаго. Надежда Сергѣевна обратила свое неудовольствіе на дочь.

— Что это! воскликнула она, указывая на зонтикъ, на кувшинъ, на Малашку.

Маша, не всходя на балконъ, убѣжала съ своей подругой. Софи и Жюли, въ сопровожденіи гувернантки, пошли отнести по букету и бабушкѣ.

— А мы тутъ о васъ говорили, сказала Зинаида Сергѣевна Боровицкому, когда онъ сѣлъ подлѣ нея:—кое-что придумывали.

Она говорила какъ будто лѣниво, ласково растягивая слова, какъ будто кокетничала. Зинаида Сергѣевна была изъ самыхъ непоколебимо добродѣтельныхъ женщинъ— отъ богатства, отъ страха скандала и отъ апатіи. Впрочемъ, иногда, можетъ быть, потому, что хотя она и помнила свои лѣта, и не скрывала ихъ, и покорялась провинціальному закону о краткости бабьяго вѣка, и презрительно смѣялась французскимъ романамъ съ тридцатилѣтними красавицами, но все-таки чувствовала себя красавицей— это инстинктивное чувство вызывало у нея нѣчто похожее на замашку кокетства, и она не судила ее въ себѣ такъ строго, какъ стала бы осуждать въ другой женщинѣ. Если такое кокетство служило какимъ нибудь ея маленькимъ планамъ, она кокетничала, будто дѣлала дѣло. Она называла это «проказничать». Ея сердце всегда оставалось спо-

койно и чисто отъ всякаго увлеченія. Со стороны ревности мужа, она была всегда и еще основательнѣе спокойна: Петръ Иванычъ ничего не понималъ.

Въ настоящую минуту, ей пришла охота пококетничать съ своимъ beau frère — и такъ, просто, потому, что онъ человѣкъ молодой, она красавица, а сестра дурна, и съ умысломъ узнать, очень ли ревнива Дина. Зинаидѣ Сергѣевнѣ всегда было нужно все знать.

— Что же вы придумывали? спросилъ Боровицкій, садясь рядомъ, и, подъ впечатлѣніемъ улыбки хорошенькой женщины, цѣлуя ея ручку.

Мимоходомъ, почти нечаянно, безъ особеннаго удивленія, безъ неудовольствія, безъ усмѣшки, онъ оглянулся на шляпку жены. Блѣдный свѣтъ зари освѣщалъ этотъ блѣдный и не совсѣмъ грандіозный ореолъ, вокругъ этого блѣднаго и не совсѣмъ довольнаго лица. Во взглядѣ Боровицкаго было что-то неопредѣленное; то, что пробѣжало въ эту секунду въ его мысли, было также неопредѣленно, а между тѣмъ, эта секунда и этотъ взглядъ сдѣлали многое: въ Зинаидѣ Сергѣевнѣ они усилили желаніе кокетничать, Боровицкому внушили странное желаніе отъ чего-то и въ чемъ-то «забыться», а Надеждѣ Сергѣевнѣ — желаніе заплакать и «сдѣлать сцену».

Но Надежда Сергѣевна была существо слабѣйшее: она благоразумно поняла, что ей не по силамъ дѣлать сцены, хоть бы причины сценъ и были такъ законны, какъ тѣ, которыя она могла бы привести въ настоящую, раздраженную минуту. Надежда Сергѣевна ограничилась тѣмъ, что порывно сбросила свою шляпку — на что никто не обратилъ вниманія—сѣла, оперлась на рѣшетку балкона и подняла взоры на блѣдныя, зажигавшіяся звѣзды.

— Я вотъ что думала, продолжала Зинаида Сергѣевна:—что послѣзавтра мы отъ васъ уѣдемъ.

— Объ этомъ вовсе и думать не слѣдовало, возразилъ Боровицкій.

— Надо думать, потому что собраться надо, уложиться; вѣдь мы у васъ цѣлымъ домомъ. О лошадяхъ надо распорядиться.

Практическое направленіе Зинаиды Сергѣевны не могло не выглянуть. Надежда Сергѣевна вслушивалась, усмѣхнулась и отвернулась.

— Что толковать, вышлется подстава... Да не говорите мнѣ о вашемъ отъѣздѣ! прервалъ Боровицкій.

— Говорить или не говорить, все равно— уѣдемъ.

— Вы безжалостны, Зинаида Сергѣевна. Посмотрите, оглянитесь, какая пустота; безъ васъ все опять затихнетъ, точно умретъ. Вы одна оживили...

— Диночка, ты ему часто позволяешь ферлакурить? спросила Зинаида Сергѣевна, смѣясь и очень некстати для сестры оглядываясь на нее: — что, онъ у тебя большой любезникъ?

Надежда Сергѣевна отвѣчала чѣмъ-то похожимъ на смѣхъ. Боровицкаго вдругъ оставило его пріятное расположеніе духа; подрало ли его по слуху дикое слово, бросилось ли въ глаза, какъ неуклюжа вся эта сцена—его что-то перевернуло.

— Вотъ, обрадовались, нашли оказію любезничать! продолжала, смѣясь, предводительша. — Да скоро конецъ вашему празднику: я уѣду, увезу Луаро... О чемъ это вы съ ней въ лѣсу трактовали, а?.. Дина, иди сюда, исповѣдуй его.

Надежда Сергѣевна не шевельнулась и только выговорила:

— Ah, mon Dieu, tu es plaisante!

— Лучше скажите, что вы придумывали, кромѣ вашего отъѣзда, спросилъ Боровицкій.

— Да что, о васъ. Я теперь ужъ и не знаю, говорить ли. Если вы, въ самомъ дѣлѣ, вертопрахъ, я, пожалуй, бѣдъ надѣлаю съ своей выдумкой. Богъ съ вами совсѣмъ!

— Но, однако, что же вы хотѣли?..

— Любопытны вы, однако!

— Да вѣдь это меня касается?

— Ну, васъ. Я тоже думала, что безъ васъ соскучусь...

— Очень вамъ благодаренъ.

— И говорила, что бы вамъ въ N* переѣхать?

— На зиму?

— Лѣтомъ-то, что вамъ за радость? И хорошъ хозяинъ!

— Я нигдѣ не хозяинъ, Зинаида Сергѣевна. Мнѣ надо служить, тогда я буду хозяинъ.

— Служите. Немудрено, я думаю?

— Немудрено, но чѣмъ?

— Да хоть чиновникомъ особыхъ порученій у губернатора. Вѣдь вы ужъ когда-то служили, этимъ же.

— Служилъ.

— Должность извѣстная, и прекрасно.

— Конечно, прекрасно, повторилъ машинально, въ раздумьѣ, Боровицкій.

— Видите. А Пьерочка съ губернаторомъ хорошъ, онъ бы васъ тотчасъ опредѣлилъ. Жалованье — вотъ вамъ на квартиру. А остальное — жить что здѣсь, что тамъ, разница невелика.

— Давно ли вы стали такъ легко разсчитывать, Зинаида Сергѣевна? спросилъ Боровицкій, больше отъ духа противорѣчія, потому что неожиданное предложеніе ему понравилось.

— Давно ли вы-то стали разсчитывать? возразила Зинаида Сергѣевна: — полноте, пожалуйста, ужъ это-то благоразуміе вамъ не къ лицу, не притворяйтесь. А въ ваши года, что это вы въ деревнѣ засѣли, стыдно, просто. Да что это за вздоръ такой: самъ говоритъ, что безъ меня ему смерть, а я зову къ себѣ, онъ говоритъ—нельзя!

— Я не говорю: нельзя... возразилъ Боровицкій.

— Такъ я говорю: можно, досказала она.—Я этого, просто, хочу. И сама за васъ хлопотать буду, вотъ какъ. Сейчасъ извольте дать мнѣ слово, что вы вслѣдъ за нами явитесь въ N*, подадите тамъ просьбу... ну, какъ это дѣлается?

— Это просто дѣлается, сказалъ Боровицкій.

— А просто, такъ тѣмъ лучше. Я Пьерочкѣ скажу. Давайте руку и говорите: merci. Ну?

Она протягивала свою ручку, въ самомъ дѣлѣ, красоты необыкновенной; въ сумеркахъ, это казалось бѣло какъ мраморъ. Боровицкій поцѣловалъ ее съ большимъ увлеченіемъ. Зинаида Сергѣевна тихонько взяла его за ухо, тихонько оттолкнула и отняла руку.

— Дина, сказала она;—поди же къ намъ. Слышишь, какую я побѣду одержала?

— Merci, сказала она.

Боровицкому вдругъ показалось и скучно, и неловко, и что-то слишкомъ поспѣшно, и что-то надо обдумать, и что-то еще переговорить, но съ кѣмъ? Кромѣ жены не съ кѣмъ, конечно, но хотя жена была тутъ и говорить ничто не мѣшало, Боровицкій нашелъ всего удобнѣе совсѣмъ уйти съ балкона въ цвѣтникъ.

— Что ты, матушка, вздумала меня благодарить при немъ? сказала Зинаида Сергѣевна, когда онѣ остались однѣ:—это, чтобъ онъ догадался, что все по твоей просьбѣ и на зло заупрямился? Ловка ты, нечего сказать!.. Или тебѣ, можетъ быть, что нибудь непріятно, не такъ я сдѣлала?

— Нѣтъ, Зина, нѣтъ... Я очень рада.

— Ну, рада, такъ рада... и Господь съ вами!

V.

Вечеромъ этого дня, раздѣваясь, Зинаида Сергѣевна сообщала m-lle Луаро подробности всѣхъ этихъ сценъ—подробности, впрочемъ, большею частью отвлеченныя и которыхъ менѣе искусный наблюдатель никакъ бы не открылъ.

— Начать съ того, что онъ ее ужъ вовсе не любитъ; тутъ бездна исторій, а въ городѣ еще ихъ прибавится. Ну, какъ себѣ хотятъ!.. У нея должны быть свои цѣли переѣхать: она меня умоляла. Хочетъ ли она отвлечь его отъ чего нибудь здѣшняго, или сама...

Зинаида Сергѣевна засмѣялась.

— Oh, madame est clairvoyante! воскликнула, тоже смѣясь, гувернантка.

— А если только это—такъ она безъ ума пустится въ свѣтъ. Я ее знаю. Защеголяетъ... въ моихъ цвѣтахъ, въ моихъ платьяхъ, до корсета!

— Oui, mais Petr'Ivanitch, de quel oeil il verra tout cela, замѣтила серьезно гувернантка:—ça coûte quelque chose!

— Объ этомъ мы еще съ вами потолкуемъ... Петръ Иванычъ-то мой какъ расходился! Слышали вы, за чемъ? Доказывалъ тому, что служить необходимо!

— Oh, mais vous savez lui monter la tête, madame, à Petr'Ivanitch!..

— А маменька-то, маменька? Слышали, она считала, что имъ, всей семьѣ, довольно пяти комнатъ? Понимаете, что это значитъ? Это значитъ—ей хотѣлось у насъ поселиться: у насъ домъ большой, такъ она вообразила, что мы должны отдѣлить комнату для нея, комнату для Дины, комнату для Григорія Николаича, дѣтскую, да складочную — пять. Я по лицу видѣла, что у нея это на умѣ, да выговорить неловко, она и твердила: «Только пять комнатъ, пять комнатъ», ждала, что ей сейчасъ предложатъ. А я неглупа, и отвѣтила ей: «Такъ у васъ не будетъ ни залы, ни гостиной, маменька?» Она поняла и усѣлась, промолчала. Я эти штуки знаю за моей маменькой!

M-lle Луаро покатилась со смѣху.

— Веселенькая жизнь, нечего сказать, продолжала Зинаида Сергѣевна:—я бы Богъ знаетъ чего не взяла, еслибъ мнѣ сказали: поди, живи въ этой семейкѣ. Переплелись всѣ... Узнайте, пожалуйста, какъ нибудь объ этой, вотъ, что съ вами въ лѣсъ ходила — отъ дѣвокъ или отъ Машеньки; она болтунья.

— Ахъ, нѣтъ, вы ошибаетесь, очень скрытное дитя.

— Приласкайте ее какъ нибудь, выболтаетъ.

— Но вѣдь она ничего не понимаетъ!

— Э, полноте! возразила Зинаида Сергѣевна, махнувъ рукой: — все понимаетъ!.. А очень вамъ строилъ куры мой beau frère, m-lle Луаро?

— Eh, madame! Нужно быть недальновидной, какъ ваша сестра... Большое счастье для вашей сестры, madame, что вы ужъ были madame de Tschérémouyscheff, когда явился на сцену m-r Borovitzki...

— Вотъ въ городѣ много всякихъ madame, какъ-то она будетъ его въ рукахъ держать, отвѣчала задумчиво Зинаида Сергѣевна.—Bonne nuit, m-lle Loirot.. Достаньте мнѣ завтра кружевной чепчикъ, маленькій, петербургскій; я надѣну...

Боровицкій шелъ на антресоль; на темной площадкѣ вверху лѣстницы, его окликнула горничная его жены, поднявъ голову съ сундука, на которомъ прилегла, въ ожиданіи, когда барыня совсѣмъ отпуститъ ее спать.

— Надежда Сергѣевна не ложилась? спросилъ Боровицкій, проходя дальше.

— Нѣтъ еще, отвѣчала горничная и прибавила ему вслѣдъ, съ отчаяніемъ:—ну, теперь, Богъ знаетъ, когда улягутся!

Надежда Сергѣевна не раздѣвалась, а только распустила свои волосы. Она перебирала небольшую шкатулку, гдѣ хранились въ футлярахъ и коробочкахъ серьги, брошки, колечки, осматривала каждый изъ этихъ предметовъ, вытирала, чистила, повертывала предъ свѣчкой, иногда примѣряла, подходя къ зеркалу. Всего этого было немного, все это было бѣдно. Надежда Сергѣевна была серьезна и озабочена, будто дѣлала дѣло, взглядывала въ зеркало безъ улыбки, въ раздумьи. Неожиданный скрипъ отворившейся двери смутилъ ее и она спросила довольно гнѣвно:

— Кто тамъ?

— Я, Надя, отвѣчалъ, входя, Боровицкій.

— Что тебѣ?

— Проститься съ тобой, душка; мы не простились.

— Прощай, сказала она, не выпуская изъ рукъ брошки и подставляя щеку.

Боровицкій поцѣловалъ, но не ушелъ. Онъ потянулъ за цѣпочку гранатнаго голубка и спросилъ, улыбаясь, какъ дѣлаютъ, когда желаютъ войти въ милость:

— Что ты это разбираешь, моя душка?

— Надо же собраться, отвѣчала, не оглядываясь, Надежда Сергѣевна: — въ городъ переѣзжаемъ!

Это было сказано съ насмѣшкой и холоднымъ неудовольствіемъ. Боровицкій сконфузился и постарался засмѣяться.

— Да вѣдь еще не завтра! возразилъ онъ, застегивая голубка ей на шею.

— Оставь, сдѣлай милость! сказала Надежда Сергѣевна, схвативъ драгоцѣнность, и бросила ее въ коробку.

— Виноватъ... сказалъ шутя и покорно Боровицкій.—А къ тебѣ идутъ гранаты.

— Ко мнѣ ужъ ничто нейдетъ, возразила она, продолжая не оглядываться и между тѣмъ не желая, чтобъ онъ ушелъ.

Боровицкій не ушелъ; напротивъ, онъ присѣлъ на кончикъ стула, найдя мѣсто среди разныхъ неубранныхъ туалетныхъ принадлежностей.

Его немножко мучила совѣсть: когда былъ рѣшенъ ихъ переѣздъ въ N*, первой мыслью Боровицкаго было, что въ городѣ онъ ужъ не будетъ проводить цѣлые дни глазъ на глазъ съ женою, или, еще хуже, съ женою въ компаніи тещи. Эта мысль блеснула радостно и сдѣлала Боровицкаго на весь остатокъ вечера необыкновенно любезнымъ, необыкновенно сговорчивымъ съ Черемышевымъ, котораго онъ привелъ въ прелестнѣйшее расположеніе духа и разными разсказами заставилъ смѣяться до одышки. За Зинаидой Сергѣевной онъ положительно волочился, толковалъ ей съ артистической точки зрѣнія о ея красотѣ и нѣсколько разъ цѣловалъ ея руки. Среди общаго веселья, ему встрѣчалось блѣдное, недовольное лицо жены. Боровицкій, конечно, сказалъ себѣ, что на это не стоитъ обращать вниманія, но когда всѣ разошлись и онъ остался одинъ, то вдругъ сконфузился чего-то и пошелъ на антресоль.

«Конечно, не просить прощенія... да и въ чемъ же?» говорилъ онъ самъ себѣ: «а такъ сдѣлать, чтобъ она не скучала, не сердилась; что, въ самомъ дѣлѣ...»

Это мирное настроеніе чуть не сошло съ него отъ холоднаго пріема, вѣрнѣе, отъ обстановки этой комнаты, отъ подсвѣта нагорѣвщей свѣчки, отъ жиденькихъ распущенныхъ волосъ жены.

Едва войдя, Боровицкій ужъ придумывалъ, какъ ловчѣе и скорѣе убраться, устроивъ прощанье безъ сильной сцены. Въ ожиданіи хорошей выдумки, онъ сѣлъ. Надежда Сергѣевна взглянула на него, удивленная этимъ поступкомъ.

— Вотъ мы съ тобой, Надя, почти городскіе жители, сказалъ Боровицкій, самъ не зная для чего, но нисколько не съ цѣлью объясняться:—какъ это скоро затѣялось!

Она не отвѣчала, онъ продолжалъ:

— Петръ Иванычъ говоритъ, что меня тотчасъ примутъ; есть двѣ вакансіи, и одна изъ нихъ еще старшаго чиновника особыхъ порученій.

— Слышала... сказала Надежда Сергѣевна тономъ, въ которомъ отзывалось не то кислота, не то желаніе почивать.

Боровицкій легко могъ бы принять ея слова въ послѣднемъ смыслѣ и, повторивъ поцѣлуй, уйти спокойно. Онъ этого не сдѣлалъ, вдругъ почувствовавъ необходимость что-то сильно доказать, въ чемъ-то убѣдить.

— Должность мнѣ знакомая, продолжалъ онъ:—изъ провинціальныхъ она еще порядочная. Не знаю я только ихъ новаго губернатора, этого, какъ его... этого... Палугина. Чему ты улыбнулась, душка?

— Право, ты съ такимъ пренебреженіемъ отзываешься о губернаторѣ, точно онъ китайскій императоръ, а не начальникъ твой. Бравировать легко; не Богъ знаетъ сколько надо ума, чтобъ бравировать...

— Такъ что-жъ, заранѣе спину гнуть? Полно, моя милая, что за понятія à la Черемышевъ!

— Онъ можетъ тебя и не принять къ себѣ на службу—губернаторъ.

— Не принять? А я напишу теткѣ Рашковой, и меня этому губернатору не чиновникомъ особыхъ порученій, а совѣтникомъ, вице-губернаторомъ, на шею посадятъ! Вотъ что ему станетъ меня не принять!

— Такъ ты хочешь непріятностей надѣлать твоимъ родственникамъ?

— Какимъ родственникамъ?

— Какимъ? Черемышеву, Петру Иванычу! какимъ еще родственникамъ? Онъ друженъ съ губернаторомъ, а ты намѣренъ между ними бросить раздоръ, жаловаться... Вѣдь это изъ рукъ вонъ что за самолюбіе: вездѣ ты съ своими Рашковыми да Зерновичами, которыхъ никто знать не хочетъ, а тутъ родные твоей жены, ты ихъ считаешь ни во что...

— Успокойся, сдѣлай милость! Кому я жалуюсь, кому я дѣлаю непріятности, кого я ни во что считаю? Право, Надя, ты иногда такъ залетаешь...

— Вотъ, это мнѣ вѣчный упрекъ: я залетаю, все я залетаю!

— Помилуй, я говорилъ: «если...» предположеніе.

— Ваши если да предположеніе... отъ нихъ жить нѣтъ возможности! вскричала Надежда Сергѣевна и залилась слезами.

— Отъ какихъ же моихъ предположеній жить нѣтъ возможности?

— То есть не возможности, а силы нѣтъ! отвѣчала она, рыдая.

— Надя, что съ тобой?

— Что со мной? Спросите вашу совѣсть, что со мной!

— Надя, къ чему ты придираешься? спросилъ онъ, обидясь.

— Благодарю васъ! вскричала она: — я придираюсь!! Это значитъ придираться—замѣтить, наконецъ, что вы меня не любите, что вы обо мнѣ не заботитесь, что вы рады промѣнять меня на кого угодно!

— Ты съума сошла! вскричалъ Боровицкій.

— Обыкновенныя любезности! отвѣчала она, рыдая:—вмѣсто извиненія, вы только ругаетесь!

— Вы надъ головой у Зинаиды Сергѣевны кричите, сказалъ онъ:—хоть ее постыдитесь!

— Пусть сестра слышитъ, пусть узнаетъ мою жизнь! кричала Надежда Сергѣевна:—она думаетъ, я въ раю; вотъ онъ, рай! Богъ меня наказалъ, что я повѣрила клятвамъ человѣка, который...

— И я дуракъ набитый, что на васъ женился! вскричалъ въ свою очередь Боровицкій.

— Я чувствую, чувствую, что мнѣ недолго жить! вскричала Надежда Сергѣевна:—я года не проживу!

— И сто лѣтъ проживешь, возразилъ Боровицкій:—и будешь точь-въ-точь твоя маменька. Только я пропадаю съ вами! Все отравляютъ! вотъ, едва вздумалъ взглянуть изъ этой трущобы на свѣтъ Божій, къ людямъ... едва какое нибудь мелькнуло соображеніе, проблескъ чего нибудь... Вотъ, думаю, наконецъ устроюсь, наконецъ отдадутъ мнѣ справедливость: впереди есть карьера, есть средства—нѣтъ! Она какъ тутъ, пророческимъ гласомъ: Не дадутъ мѣста! Почему не дадутъ? Что я, поповичъ какой нибудь? напрашивался, пороги обивалъ?.. О, семейка!.. Вотъ гдѣ погибель!

— Много, ужасно много вы заботитесь о семейкѣ! вскричала Надежда Сергѣевна:—что вы для нея сдѣлали? Вы—пустой человѣкъ, ничего больше! Чѣмъ вы обезпечили вашу семью? Дали ли вы вашей несчастной женѣ хоть часъ забыться за то, что она вамъ пожертвовала всей своей любовью...

часъ одинъ! Я почти въ нищетѣ! у меня не гардеробъ, а тряпки! Сестра пріѣхала—мнѣ стыдно! Она мнѣ даритъ вышитый платокъ, воображая, что мнѣ, какъ всякой порядочной женщинѣ, есть куда выѣхать, взять его въ руки... Боже, Боже! а я шесть лѣтъ не слыхала, какъ скрипку настроиваютъ...

— Ну, вотъ, поѣдете, будете танцовать, прервалъ со злостью Боровицкій:—Сильфида!

Это былъ послѣдній ударъ. Надежда Сергѣевна зарыдала, съ такимъ воплемъ, что Боровицкій сдѣлалъ то, что ему давно слѣдовало: ушелъ, впрочемъ хлопнувъ дверью. Приходя, онъ несовершенно отчетливо зналъ, зачѣмъ приходитъ; но уходя, былъ положительно убѣжденъ, что шелъ за дѣломъ, и что съ его женой нельзя имѣть никакого дѣла.

Надежда Сергѣевна тотчасъ позвала горничную, приказала раздѣть себя, заплесть себѣ волосы, надѣть на себя чепчикъ, и легла съ твердымъ убѣжденіемъ, что эта жизнь вгонитъ ее въ чахотку. Она соображала и отыскивала, нѣтъ ли уже и признаковъ этой болѣзни. Она воображала свою кончину, предсмертный разговоръ съ матерью, сцену примиренія съ мужемъ; все это выходило патетично. Дочь она какъ-то забывала. Убаюкавшись, Надежда Сергѣевна заснула такъ же мирно, какъ надѣялась скончаться.

Напротивъ, Боровицкій былъ возмущенъ, встревоженъ и чувствовалъ необходимость высказаться, переговорить съ кѣмъ нибудь, рѣшить свою участь практически, а не мечтательно. Потому онъ, хотя удивился, но обрадовался, увидя свѣтъ изъ-подъ дверей комнаты Маши. Это было тѣмъ пріятнѣе, что онъ сошелъ съ лѣстницы ощупью, и такъ предстояло ему пробираться еще черезъ весь корридоръ.

Онъ отворилъ и вошелъ. На столѣ горѣла свѣчка, давно неснятая. Боровицкій сначала не замѣтилъ Маши: ея постелька была пуста. Маша сидѣла, сжавшись, на открытомъ окнѣ.

— Машурка, гдѣ ты, моя голубушка? Одна? Гдѣ же няня? спросилъ онъ, подойдя къ ней.

Маша припала къ нему, но не обняла его; она вся дрожала и плакала.

— Что ты, душка? что не почиваешь. зачѣмъ ты одна?

— Няня ушла. Она говоритъ, здѣсь не ляжетъ; здѣсь ей жарко, отвѣчала дѣвочка, продолжая плакать,

— Что съ тобой? испугалась чего нибудь? зачѣмъ же оставили у тебя свѣчку?

— Я сама зажгла, папа, вотъ, спичкой.

— Можно ли это! ты домъ сожжешь. Что за шалости! Легла, такъ почивай, а то вскочила съ постельки...

— Не бранись... сказала она тихонько.

— Я не бранюсь, душка, но нехорошо. Зачѣмъ ты встала? испугалась чего нибудь?

— Испугалась... прошептала она, между тѣмъ какъ ея слезы капали ему на руки.— Папа, зачѣмъ ты шумѣлъ тамъ съ мамой?

— Что такое?

— Зачѣмъ?.. Я отсюда слышала. Я легла, няня ушла, я слышу... Я вскочила, свѣчку зажгла, въ окно слышала... Зачѣмъ, папа? Грѣхъ тебѣ, грѣхъ! Я буду цѣлый вѣкъ плакать! я умру съ тоски!

Все ея маленькое тѣло дрожало отъ слезъ и отъ холода. Боровицкій хотѣлъ взять ее на руки, завернуть въ одѣяльце; Маша его оттолкнула.

— Грѣхъ, грѣхъ, повторяла она:—Богъ этого не велѣлъ... Ты хочешь, чтобъ я умерла, я умру! Ты долженъ маму любить, Богъ велѣлъ маму любить, а ты ее бранишь... И мама тебя бранитъ, и плачетъ... Не хочу, возьми свои картинки, возьми книжки, возьми все! Ничего не хочу! Отдамъ мамѣ зонтикъ, отдамъ ящикъ китайскій, ничего не хочу, ничего мнѣ не надо, я умру!

— Какая ты капризная, нервная дѣвочка! Ты занеможешь, сказалъ Боровицкій съ досадой, закутывая ее и насильно укладывая въ постель.—Гдѣ эта съумасшедшая нянька? Нѣжности какія—спать ей жарко!..

Онъ хотѣлъ идти искать няньку, но часы звонко, хотя далеко, пробили два. Боровицкій сообразилъ, что это немного поздно для поисковъ.

— Прекрасная твоя маменька лучше бы приглядѣла, чтобъ тебя клали спать какъ слѣдуетъ, смотрѣла бы за тобой какъ слѣдуетъ, продолжалъ онъ. — Перестань сейчасъ плакать! Какой вздоръ! Оттого, что ты слушаешь, что тебѣ не нужно, умничаешь — вотъ тебѣ лѣзутъ въ голову глупости. Будь ты дитя, какъ всѣ дѣти, ничего бы этого не было. Какое тебѣ дѣло, что я говорю съ твоей матерью? Какъ ты смѣешь разсуждать? Еслибъ ты поняла, что я несчастнѣйшій человѣкъ, ты бы этого не говорила...

— Ты несчастнѣйшій человѣкъ, папа? Отчего ты несчастнѣйшій человѣкъ?

Маша вскочила, схватилась за него обѣими ручками и смотрѣла ему въ глаза.

— Ты говоришь пустяки, какъ ребенокъ, ты не понимаешь, продолжалъ Боровицкій: — а я самъ былъ бы радъ умереть...

Маша упала ему на шею въ такихъ слезахъ, что онъ испугался.

— Ахъ, какая ты болѣзненная, нервная! это скучно! Маша, перестань сейчасъ! Перестань сейчасъ плакать; я тебѣ приказываю! Ты, въ самомъ дѣлѣ, упряма, какъ не знаю что, хуже твоей матери!.. На, возьми, выпей воды.

Онъ плеснулъ ей воды на голову.

— Ахъ!.. сказала дѣвочка, встрепенувшись, и покорно глотнула изъ стакана, который онъ ей подалъ.—Довольно... спасибо, папа.

— Рано еще нервные припадки, продолжалъ Боровицкій. — Это оттого, что ты читаешь все, что попало; воображеніе глупое. Вотъ, я запру книги. Прошу не смѣть ихъ трогать съ завтрашняго дня. Ложись. Довольно цѣловаться... Вотъ, въ городъ переѣдемъ, Машурка, тамъ будетъ весело.

Маша не отвѣчала; она лежала, прячась въ подушку, на которую текли ея слезы.

— Будешь тамъ учиться танцовать, съ кузинами. Я тебѣ сдѣлаю платьице, какъ у нихъ, розовое. Поѣдешь въ театръ. Зимой будешь кататься въ санкахъ, по улицамъ; а у дяди экипажъ прекрасный. Вездѣ будешь съ ними ѣздить. Ты такая миленькая, ловкая дѣвочка; на балъ поѣдешь... Спишь?

Боровицкій наклонился взглянуть на это прелестное маленькое личико въ золотыхъ кудряхъ; отъ недавнихъ слезъ еще дрожали тоненькія блѣдныя вѣки съ черной каймой рѣсницъ; онѣ поднялись вдругъ, когда Боровицкій поцѣловалъ разгорѣвшуюся щечку. Маша взглянула во всѣ глазки, испуганно и кротко, шевельнула ручкой и проговорила:

— Мама...

Боровицкій взялъ свѣчку и ушелъ. Онъ считалъ себя несчастнѣйшимъ человѣкомъ и былъ несомнѣнно увѣренъ, что имѣетъ на это право...

VI.

На одной изъ некрасивыхъ N-скихъ улицъ былъ некрасивый и старый домъ; его высокая крыша до того искривилась, что даже привычные старожилы, проходя мимо, оглядывались на нее съ безпокойствомъ. Лѣтомъ трава на тротуарѣ только больше выказывала его дряхлость; зимой скупые огоньки въ низкихъ окнахъ были похожи на болѣзненное мерцаніе старческихъ глазъ, но эти огоньки исчезали скоро за ставнями, которые рано затворялись. Въ этомъ домѣ жилъ совѣтникъ N-скаго губернскаго правленія, Михаилъ Васильевичъ Деневскій.

Домъ отдавался въ наймы дешево. Деневскій былъ небогатъ, а нажиться не умѣлъ. Послѣднее, впрочемъ, было не добродѣтель, потому что происходило не отъ убѣжденія, а отъ робости, безпечности и непониманія никакого дѣла. Въ молодости, Деневскій служилъ въ военной службѣ, прокутился, соскучился, женился, прожился еще и тогда только оглянулся, что у жены, какъ у него, почти ничего нѣтъ. Онъ рѣшился опять служить. Какими-то судьбами, вѣрнѣе, хлопотами и участіемъ одного родственника, служившаго въ Петербургѣ, Деневскому дали мѣсто совѣтника въ N*. Усѣвшись, онъ принялся существовать, какъ всѣ въ провинціи, но съ нѣкоторой тоской принимая свое существованіе. Онъ былъ какъ-то огорченъ и разбитъ, и это огорченіе выражалось у него во всемъ въ жизни: въ его скукѣ отъ всякаго занятія, въ его отвращеніи отъ всякой книги, въ безцѣльномъ шатаніи по комнатамъ въ ожиданіи часа присутствія, въ тупомъ и безмолвномъ созерцаніи давно знакомыхъ и вовсе незанимательныхъ предметовъ, въ вялыхъ разговорахъ съ семьей, въ лѣни на знакомства. Онъ былъ такъ же вялъ и на службѣ, хотя трудолюбивъ, но трудолюбіе происходило только изъ страха потерять мѣсто. Изъ того же страха, Деневскій ни въ чемъ не спорилъ, ни съ кѣмъ не ссорился, не поднималъ запутанныхъ дѣлъ, держался сильнѣйшей стороны, понималъ свое униженіе и говорилъ, что терпитъ все по необходимости. Онъ такъ сильно вообразилъ себѣ эту необходимость, крайность, разореніе, бѣду, постоянно висящую надъ своей головой, что считалъ невозможнымъ чему нибудь улыбнуться, и если случалось улыбаться его семьѣ—только покачивалъ головой и становился еще горестнѣе.

Его семья, впрочемъ, улыбалась рѣдко. Она состояла изъ жены и двухъ дочерей; одной—взрослой, другой—маленькой дѣвочки; одна выросла, другая росла въ безмолвіи и ожиданіи бѣды. Жена, Ольга Александровна, во всемъ ему сочувствовала. Сочувствіе навело на подражаніе; подражаніе любимому доводитъ до преувеличенія. Ольга Александровна настроила себя уже на такой постоянно печальный ладъ, на такое недо-

вольство, на такое бездѣйствіе отъ мысли, что «все прошло, ничего нельзя, ничего не нужно, некогда, бѣднымъ людямъ не пристало», на такой страхъ всего—чужого простого замѣчанія и своего собственнаго поступка, слова и помысла, что предъ ея неподвижностью неподвижность Михаила Васильевича казалась дѣятельностью. Они тосковали вмѣстѣ, безпрестанно жалуясь на судьбу. Жаловались они совсѣмъ напрасно: въ томъ же N* сотни людей, бѣднѣе ихъ, жили лучше и безъ всякаго сравненія веселѣе, но Деневскіе были не мастера хозяйничать. Къ довершенію своего несчастія, они помнили вѣчно и повторяли безпрестанно, что они не «кто нибудь», а «столбовые дворяне», «лица» въ городѣ, что въ Петербургѣ ихъ родственникъ Деневскій «департаментами ворочаетъ». Они увѣряли себя и другихъ, что это обязываетъ ихъ бывать въ свѣтѣ и принимать, но повторяли тутъ же знакомымъ и полузнакомымъ, что это имъ въ тягость. Ихъ знакомые были высшій кружокъ города: Деневскіе слишкомъ помнили свое происхожденіе, чтобы спуститься до чиновниковъ и учителей гимназіи, въ тѣ времена несчитавшихся въ губерніи «обществомъ»,—чему нынѣ такъ трудно повѣрить, что надо напоминать и объяснять это...

Внутри домъ былъ тѣмъ, что обѣщалъ снаружи. Въ немъ была, однако, цѣлая анфилада парадныхъ комнатъ: зала, двѣ гостиныя, диванная, съ почернѣлыми потолками и очень ветхой мебелью. Не встрѣчалось предмета, на которомъ могли бы пріятно остановиться глаза. На всемъ лежалъ сѣрый цвѣтъ отъ полусвѣта, отъ неряшества, отъ запустѣнія, на которое будто рукой махнули. Впрочемъ, все было такъ старо, что годилось только на сломку или въ печь, и для того, чтобы все вычистить, все привести въ порядокъ, потребовались бы нечеловѣческія усилія. Представлялся очень простой вопросъ: почему жильцы не разстанутся съ этими хоромами и этимъ хламомъ и не помѣстятся тѣснѣе, но чище и удобнѣе, что очень немудрено и доступно всякому, даже людямъ съ меньшими средствами? Деневскіе ничего бы не могли отвѣчать: они и сами не знали. Имъ было неудобно, ихъ домъ былъ дрянь, но переѣхать изъ большого въ маленькій—что-жъ это ужъ такое?.. Прислуга тоже тяготила ихъ, хотя какъ ее уменьшить—они не знали; у нихъ были казачки, которые только спали и дрались, горничныя для барыни и барышенъ, лакей для барина, лакей для посылокъ, ключница, двѣ кухарки, поваръ и поваренокъ, хотя обѣдъ былъ всегда менѣе, нежели умѣренный, а кладовая постоянно пуста. Въ огромной разваленной конюшнѣ одиноко существовала старая лошадь, а въ каретномъ сараѣ, заваленномъ мебелью и обломками, уже никуда негодными, стояли дрожки и сани, которыя постоянно то отправлялись въ починку, то возвращались изъ починки. При нихъ состоялъ кучеръ, жаловавшійся на многочисленность и трудность своихъ занятій. Экипажи эти запрягались единственно для утреннихъ поѣздокъ Михаила Васильевича въ губернское правленіе. Разъ только, во время одной слишкомъ продолжительной починки, въ прекрасный майскій день, Михаилъ Васильевичъ дошелъ туда пѣшкомъ и, еще болѣе убѣдясь въ необходимости своего экипажа, воротился домой на извозчикѣ.

— Этакъ, матушка, ненадолго станетъ человѣка, сказалъ онъ женѣ: — сидишь-сидишь четыре часа, да мѣси пѣшкомъ.

Ольгу Александровну нечего было и убѣждать: она находилась въ безпокойствѣ съ первой минуты, какъ мужъ ея предпринялъ походъ, и до минуты его возвращенія. Но духъ противорѣчія, или, вѣрнѣе, духъ разсужденій влетѣлъ въ этотъ день въ голову Настасьи Михайловны, старшей дочери Деневскихъ.

— А говорятъ, здорово ходить больше, папа̀, сказала она изъ-за своихъ пялецъ.

Михаилъ Васильевичъ задумчиво взглянулъ на нее и спросилъ у жены двугривенный извозчику.

— Есть, что ли? прибавилъ онъ съ горестью.

— Вотъ, отвѣчала Ольга Александровна, и вздохнула.

— Разоренье! продолжалъ Михаилъ Васильевичъ: — дрожки проклятыя, что съѣздилъ разъ, то чини.

— А что, замѣтила опять Настасья Михайловна: — если бы вамъ даже всякій день брать извозчика, кажется, это не дороже бы стоило?

— Отецъ твой еще отроду на трепыхалкахъ не катался, возразилъ Михаилъ Васильевичъ съ достоинствомъ и вышелъ, оставя дочь въ недоумѣніи, почему прекрасная извозчичья пролетка, обитая новенькимъ зеленымъ трипомъ и блестящей бронзой, получила названіе «трепыхалки» — названіе, можетъ быть, мѣткое, но далеко не благозвучное.

Впрочемъ, такъ какъ Михаилъ Васильевичъ, во весь остатокъ дня, былъ особенно

задумчивъ, что стѣсняло Ольгу Александровну во всѣхъ ея занятіяхъ и вмѣстѣ приводило въ совершенное разстройство, отражавшееся во всѣхъ ея словахъ, дѣйствіяхъ и сношеніяхъ со всѣми окружающими, то Настасьѣ Михайловнѣ оставалось только укротить поднявшійся некстати духъ разсужденія и считать крестики канвы, на которой она изображала какое-то историческое событіе. Это происходило задолго до времени начала этого разсказа; Настасья Михайловна была тогда пятнадцатилѣтней дѣвочкой и занималась вышиваньемъ съ прилежаніемъ. Она хорошо дѣлала, потому что счетъ крестиковъ укрощалъ возстанія духа, сдѣлавшіяся все чаще и чаще послѣ перваго проявленія, по поводу дрожекъ. Крестики канвы сдѣлались спасительнымъ средствомъ, прибѣжищемъ, чѣмъ-то въ родѣ повѣренныхъ, но тогда они стали зашиваться медленнѣе. Когда слезы начали падать на ихъ крѣпко накрахмаленныя синія клѣтки, эти повѣренные стали вдругъ нестерпимы, ненавистны... Дѣвочка выростала и выросла...

Съ ней вмѣстѣ, хотя моложе ея десятью годами, росла ея сестра Даша. Когда пришло время учить дѣвочку, Настасья Михайловна вызвалась заняться этимъ «образованіемъ», начинавшимся съ азбуки, но ея силамъ не довѣряли. Ольга Александровна возразила, что въ этомъ не будетъ толку, а главное — нѣтъ времени.

— Когда же тебѣ? сказала она старшей дочери.

Этотъ вопросъ заставилъ Настасью Михайловну оглянуться, что она ничего не дѣлала цѣлые дни. Ея вышиванье было ни на что не нужно: продавать свою работу считалось неприличнымъ; ее можно было только дарить, а дарить было некому; подушки и экраны только прятались въ комодъ, неотдѣланные, и только стоили расхода на шерсти. Она попросила позволенія шить сама свои платья, съ большимъ трудомъ получила его, исполненное горькаго сомнѣнія, и испортила первое платье, за которое взялась. Немудрено: она не умѣла, а попросить совѣта у швеи ей запретили, даже съ гнѣвомъ.

— Что же, ты будешь съ узлами бѣгать по улицамъ, показывать Богъ знаетъ кому свои тряпки?..

Для ученія Даши наняли гимназиста; но строгое приличіе требовало, чтобы Настасья Михайловна присутствовала, какъ старшая, при урокахъ, не оставляя ни минуты семилѣтнюю дѣвочку вдвоемъ съ восемнадцатилѣтнимъ учителемъ. Настасья Михайловна не оглянулась, или не помнила, что ей самой шелъ восемнадцатый годъ. Два раза въ день, утромъ и вечеромъ, она переносила взадъ и впередъ свои пяльцы изъ диванной въ маленькую дальнюю комнату, гдѣ училась Даша: учиться въ диванной было «неприлично», могъ кто нибудь заѣхать и застать «полный домъ гимназистовъ», а возвращаться послѣ урока въ диванную было необходимо, потому что «молодая дѣвица» должна работать всегда въ пріемныхъ комнатахъ. Гимназисты мѣнялись: утромъ ходилъ одинъ, вечеромъ — другой. Это были тихіе и бѣдные труженики, нарочно такіе выбранные инспекторомъ, къ которому Деневскій самъ обращался съ просьбою достать учителей понадежнѣе. Настасья Михайловна никогда не произносила съ ними ни одного слова, но однажды ей стало какъ-то совѣстно, когда, въ жаркій лѣтній вечеръ, между тѣмъ какъ Даша писала съ прописи, молодой учитель, не зная чѣмъ заняться среди мухъ и тишины, опустилъ носъ въ «краткій катихизисъ».

«Какъ ему должно быть скучно», подумала Настасья Михайловна.

Изъ безпрестанныхъ домашнихъ толковъ Настасья Михайловна знала біографію учителей. Она вспомнила, что у этого «мальчика» мать мѣщанка и живетъ стиркой бѣлья на больницы, а онъ считается вторымъ ученикомъ старшаго класса, и взглянула, какъ на пожелтѣломъ рукавѣ его сюртука, подъ яркимъ лучомъ солнца, темнымъ четыреугольникомъ вырѣзалась заплатка...

«Онъ нигдѣ не бываетъ кромѣ насъ, а съ нимъ никто не говоритъ», продолжала думать Настасья Михайловна: «лѣто, вакація, а у него все работа...»

— Какая прекрасная погода, сказала она громко.

Гимназистъ сначала какъ будто удивился, что въ комнатѣ раздался человѣческій голосъ, но не сконфузился и отвѣчалъ. Онъ даже продолжалъ разговоръ, съ погоды перевелъ его на гулянье, а тамъ на свои классы; съ классовъ ужъ сама собою рѣчь перешла на книги. Гимназистъ былъ страстный читальщикъ. Онъ признался, что если бы смѣлъ, то приносилъ бы съ собою книги, которыя беретъ для прочтенія въ гимназической библіотекѣ, чтобы заняться ими, покуда Дарья Михайловна пишетъ съ прописи, дѣлаетъ задачу и тому подобное.

— Занимательныя книги? спросила Настасья Михайловна.

— Все серьезныя сочиненія, отвѣчалъ учитель.

Открылось, что утренній гимназистъ былъ ему пріятель и тоже страстный охотникъ, но только до менѣе серьезнаго — до литературы и поэзіи. Товарищъ предупредилъ его, и въ слѣдующее утро онъ также познакомился съ Настасьей Михайловной. Къ концу недѣли, одинъ принесъ ей «исторію папъ», другой—Шиллера, и чтеніе, разнообразное до пестроты, и смѣна книгъ пошли такъ же быстро, какъ дружба молодой дѣвушки съ гимназистами. Это была самая славная, самая полная дружба, хотя ей давалось всего часа два въ день, хотя никогда друзья не сходились всѣ трое. У молодыхъ людей было только одно горе — бѣдность, о которой не говорилось никогда; у молодой дѣвушки было много и разнаго горя, о которомъ тоже никогда не поминалось, но то̀ и другое было ясно, видимо; сочувствіе выражалось не словами, но доброй, прямой привязанностью. Гимназисты ходили на уроки Даши какъ на праздникъ; Настасья Михайловна ждала этихъ уроковъ будто праздника. Даша, вмѣсто легендъ о Голіаѳѣ и прочемъ, выслушивала разсказы, вопросы, объясненія прочитаннаго, толки, споры о философіи, эстетикѣ, исторіи—толки жаркіе, отъ всего сердца, какіе бываютъ они всегда у восемнадцатилѣтнихъ спорщиковъ—толки часто кривые; конфузиться было некого, но некому было и поправить. Разрѣшеніе недоумѣній и споровъ отыскивалось въ книгахъ, что заставляло молодыхъ людей сильнѣе заниматься: отыскивалось одно, а между тѣмъ прочитывалось многое другое. Училась не Даша, а Настасья Михайловна; но чтобы вознаградить дѣвочку за время, которое заставляла ее терять, она сама учила ее потихоньку. Дѣвочка отъ этого крѣпче привязывалась къ сестрѣ, а отъ всего, что слушала, пріучалась думать. Маленькая классная комната была далеко, отецъ и мать туда не заглядывали; они отчаявались въ способностяхъ Даши.

Такъ прошло почти два года, пока друзья Настасьи Михайловны кончили свой курсъ. Имъ стало некогда; они перестали ходить къ Дашѣ, держали экзамены, сбирались въ университетъ. N-ская гимназія имѣла тогда право посылать прямо туда своихъ учениковъ. У друзей сердце не вытерпѣло уѣхать не простясь съ Настасьей Михайловной. Они пришли въ первый разъ оба вмѣстѣ, въ первый разъ какъ гости; голубые околыши, заранѣе пришитые къ фуражкамъ, поддерживали ихъ смѣлость. Когда доложили о ихъ приходѣ, Деневскій вышелъ въ залу, не посадилъ ихъ, почему не сѣлъ и самъ, и Богъ знаетъ отчего смотрѣлъ какимъ-то воинскимъ начальникомъ, производящимъ смотръ. Это было нѣсколько странно, при его огорченной физіономіи. Но дѣло въ томъ, что, при видѣ этихъ молодыхъ людей, ему сильнѣе вспомнилось, что онъ аристократъ, и вообразилось, что онъ имъ благодѣтельствовалъ. Онъ читалъ имъ наставленія «не дурачиться» и до того увлекся чувствомъ собственнаго значенія, что сказалъ:

— А служить будете, если что нужно, извѣстите тогда, я строчку дамъ къ брату Василію Николаевичу; онъ тамъ, въ департаментѣ...

Ольга Александровна сдѣлала ему знакъ: она не любила этихъ обѣщаній, сберегая для своихъ собственныхъ нуждъ благорасположеніе департаментскаго братца; она любила не хвалиться всесильнымъ братцемъ, но сознавать про себя его существованіе. Ольга Александровна пряталась изъ одной гостиной въ другую, хотя никто не думалъ ее преслѣдовать. Ей почему-то представилось, что бывшіе учителя попросятъ у нея денегъ, на бѣдность—вѣдь въ Москву ѣдутъ... Потому, когда, узнавъ о приходѣ друзей, Настасья Михайловна пробѣжала мимо нея, она крикнула ей шопотомъ:

— Да куда ты, матушка?

Молодые люди понимали, что разговориться нельзя, и только твердили Настасьѣ Михайловнѣ:

— Не забывайте насъ, встрѣтимся ли?

Она подала имъ руки, они поцѣловали ихъ. Когда раздались звуки этихъ размѣненныхъ, добрыхъ, крѣпкихъ поцѣлуевъ, Ольга Александровна пришла въ ужасъ...

Ни въ одной «развращенной» книгѣ—какъ назвала Ольга Александровна книги казенной библіотеки, узнавъ, что гимназисты носили ихъ ея дочери—ни въ одной изъ когда нибудь читанныхъ книгъ не прочла Настасья Михайловна такихъ отвратительныхъ вещей, какія наговорила ей мать, объясняя эти поцѣлуи...

Настасья Михайловна не возражала, хотя двухгодовое чтеніе могло бы научить ее возразить дѣльно. Она предпочла молчать, если возможно, обо всемъ. Для Даши поклялись болѣе не брать учителя, и Настасья Михайловна поселилась неподвижно въ диванной съ своими пяльцами, за которыми не разъ могла припомнить и подумать, что друж-

ба двухъ бѣднѣйшихъ и забытыхъ «мальчиковъ» была единственное, что досталось на долю ея молодости.

Этой молодости, однако, предположили веселье: выѣзды съ визитами и балы. Мудрено было понять цѣль этихъ веселій. Визиты не сближаютъ, какъ извѣстно, и, какъ еще извѣстно, небогатыя дѣвушки немного танцуютъ на балахъ, если неразговорчивы и некокетливы. Настасья Михайловна не могла быть разговорчива: являясь въ обществѣ церемонно и не болѣе десяти разъ въ годъ, она знала лица людей, но не знала ни ихъ жизни, ни отношеній. Отецъ и мать повторяли, не стѣсняясь, постороннимъ, даже нисколько не искавшимъ такой откровенности, что вывозятъ дочь поневолѣ, по необходимости, потому что их ъ дочь должна являться въ свѣтъ. Это стоило дорого, что Настасья Михайловна слишкомъ хорошо знала. Вѣрный счетъ расходовъ еще больше отнималъ у нея развязность и любезность; кокетство не могло и придти въ голову. Настасья Михайловна была недурна, но не красавица. Женщины богатыя и щеголихи умѣютъ сдѣлать себѣ красоту: обдуманный нарядъ, искусно выбранные цвѣта, прическа къ лицу, изученный жестъ—все это скрываетъ недостатки и выставляетъ на видъ, если что есть хорошаго. Но на заботу о красотѣ нужно досуги, средства и свобода; у Настасьи Михайловны ихъ не было. Нужно, чтобы кто нибудь указалъ женщинѣ на пріятность ея наружности, если она сама ее не замѣчаетъ. Вѣчно озабоченные родители Настасьи Михайловны не замѣчали ни возраста дочери, ни ея лица; оглядываясь на нее изрѣдка, они, по свойственной имъ горестной идеѣ, что у нихъ ничто, даже дочь, не можетъ быть какъ у людей, не находили въ ней ничего даже сноснаго, и покорялись, а иногда выговаривали ей за это. Въ первый годъ выѣздовъ, Ольга Александровна сама занималась туалетомъ дочери, и дочь была постоянно не къ лицу одѣта. Позднѣе, утомясь заботами и предоставивъ ей свободу хотя дома одѣваться по своему вкусу, Ольга Александровна не могла безъ упрека и негодованія видѣть этихъ проблесковъ женскаго чувства, которые изрѣдка обнаруживались въ дочери робкими и экономными попытками одѣться ловчѣе и изящнѣе. Настасья Михайловна со страхомъ повязывала всякую ленту. Она понимала, что это, не думая, дѣлаетъ всякая дѣвушка, но не была увѣрена, можно ли ей позволять себѣ это? Чувство этого мелочного стѣсненія, сознаніе этого униженія, страшнаго именно тѣмъ, что въ немъ рабство было доведено до ребячества, волновало стыдомъ и бросало въ отчаяніе, потому что этотъ стыдъ былъ безвыходный. Женщина, которая съ подобнымъ чувствомъ и сознаніемъ на душѣ, еще найдетъ въ себѣ охоту заниматься нарядами—докажетъ не мужество, а пустоту. Немудрено, что у Настасьи Михайловны эта охота являлась рѣдко, вспышками, и исчезала тотчасъ. Мысль томила ее. Она думала много, одиноко и потому свободно: она не могла передвинуть стула, повязать ленты не спросясь, но думать могла сколько угодно; объ этомъ не спрашивали, этого не взыскивали, это никого не интересовало. У нея не было подругъ; странный образъ жизни ея родителей и ея зависимость отнимали у другихъ дѣвушекъ желаніе съ ней знакомиться, а у нея—возможность съ кѣмъ нибудь сблизиться. Облегчить сердце было не съ кѣмъ; впечатлѣнія прочитаннаго, слышаннаго, семейная жизнь—все перекипало, ни съ кѣмъ нераздѣленное, оставляло свой осадокъ въ сердцѣ, и придавало свой складъ выраженію лица. Общество того времени не находило никакой привлекательности въ выразительныхъ женскихъ лицахъ, и было отчасти право: это были странныя лица, будто сожженныя горячкой или истомленныя долгой гнетущей болѣзнью, это было страданіе стѣсненія, тоска отъ пустоты, тоска бѣднаго, забитаго ума, тоска запуганнаго чувства, покорнаго достоинства, что-то безнадежно терпѣливое и вмѣстѣ полное какого-то превосходства. Такія лица не годятся въ обществѣ: они печалятъ или тревожатъ, они загадочны или непріятны... Въ нынѣшнее время они встрѣчаются рѣже; тогда, въ провинціи особенно, они встрѣчались часто...

N-ское общество находило, что Настасья Михайловна страшно «замечталась, разочаровалась», главное—смотритъ сурово. Она, въ самомъ дѣлѣ, не умѣла справиться съ своимъ лицомъ: оно всегда и слишкомъ вѣрно отражало ея чувства. Она смѣялась рѣдко, не находя чему смѣяться, между тѣмъ какъ другимъ было весело; оттого ее и обвиняли въ разочарованіи и мечтательности. Мечтала ли она—она сама не знала. Да, если назвать мечтаніемъ постоянное чувство молодыхъ годовъ—ожиданіе чего-то лучшаго, что придетъ когда нибудь. Въ пятнадцать лѣтъ и позднѣе, въ пору своей дружбы съ гимназистами, ей казалось, что вотъ будетъ время, кругомъ все повеселѣетъ, станетъ ладнѣе, ласковѣе, уютнѣе; придутъ люди—

не гости, а люди близкіе по душѣ, сберутся въ этомъ домѣ просто и дружески, какъ собираются у другихъ; все будетъ свѣтло, оживленно; среди этихъ людей будетъ одинъ человѣкъ, для котораго захочется и принарядиться, и быть хорошенькой. Мечтая, она будто готовилась къ этому времени: берегла свои лучшія ленты и запонки, сбирала и прятала отъ пыли разныя бездѣлки, которыми задумывала «тогда» украсить свои столики, перебирала свои вышиванья, воображая, какъ они отдѣлаются и будутъ служить. Но время уходило, домъ ветшалъ, родители все больше печалились, друзья не шли, напротивъ, и посторонніе стали являться рѣже и церемоннѣе, все сберегаемое въ запасъ къ веселому времени блѣднѣло и линяло взаперти, и веселое перебиранье этихъ вещей стало надрывать сердце, будто воспоминаніе... Приходилось, въ самомъ дѣлѣ, разочаровываться, не узнавъ очарованія... Разъ, причесывая свои темные волосы, длинные, густые, мягкіе, блестящіе, невольно улыбнувшись себѣ въ зеркало и невольно подумавъ: «что бы мнѣ всегда быть такою», Настасья Михайловна увидѣла сѣдой волосъ въ локонѣ, который навивала себѣ на палецъ.

«Мнѣ ужъ двадцать лѣтъ»... подумала она, между тѣмъ какъ прекрасное, оживленное румянцемъ и желаніемъ счастья лицо исчезало изъ зеркала и замѣнялось блѣдной, почти болѣзненной тѣнью съ суровымъ взглядомъ и губами безъ улыбки...

— Дайте, я выдерну, барышня, сказала горничная: — это, должно быть, у васъ отъ ума.

— Оставь, возразила Настасья Михайловна: — должно быть, такъ, въ самомъ дѣлѣ.

Скоро ей пришлось еще поумнѣть...

Занимая мѣсто совѣтника, видное и съ порядочнымъ жалованьемъ, Деневскій могъ бы сообразить, что это — милость Божія и человѣческая, выше его заслугъ—и на томъ успокоить свои честолюбивыя и другія желанія. Это довольно мудрено, конечно, потому что, говорятъ, желанія человѣка неограниченны; но могъ бы иногда человѣкъ, положа руку на сердце, безпристрастно себя провѣрить и затѣмъ разсмотрѣть, что больше того, что ему дано—дать ему нельзя и онъ не стоитъ, или не съумѣетъ справиться, если дадутъ. Можно также иногда посидѣть на мѣстѣ, не порываясь, оттого, что ни вблизи, ни вдали не видно другого мѣста, куда бы можно было пересѣсть. Но Деневскій не хотѣлъ знать этихъ простыхъ истинъ и, огорченный неизвѣстно чѣмъ, неподвижный физически, разбитый нравственно, находился въ постоянной тревогѣ, въ постоянномъ желаніи и ожиданіи перемѣны. Уже очень осѣдлый, десятилѣтній жилецъ въ N*, онъ, какъ ему казалось, былъ долженъ вѣчно быть наготовѣ сейчасъ подняться и отправиться — куда, неизвѣстно, но эта постоянная готовность къ кочевью была отчасти причиной, что въ своемъ домѣ Деневскій не желалъ, не дѣлалъ и даже не терпѣлъ ни удобства, ни порядка: ему казалось, что они отдалятъ желанную минуту переселенія. Все было для него будто временное. Деневскій былъ небогатъ, но и не бѣденъ; но при вѣчномъ ожиданіи лучшаго, его положеніе казалось ему нищенскимъ. Не шевеля пальцемъ, чтобы улучшить его возможными, близкими и дѣйствительными способами, Деневскій изыскивалъ способы мечтательные. Нельзя сказать, чтобъ его фантазія была разнообразна, но она была смѣла, очень упорна и, по временамъ, дѣлалась чѣмъ-то въ родѣ маніи. Это была манія просительства. Во множество своихъ праздныхъ часовъ, Деневскій думалъ, думалъ и, надумавшись, сочинялъ письма къ великимъ и сильнымъ земли, съ изложеніемъ своего бѣдственнаго положенія, съ хвалою милосердія, украшающаго власть, и съ обѣщаніями нездѣшней награды. Онъ не зналъ этихъ «великихъ и сильныхъ», но ему было все равно. Онъ точно такъ же писалъ и взывалъ къ незнакомымъ богачамъ, цитируя священное писаніе, къ вельможамъ — напоминая, что высокое происхожденіе обязываетъ къ благости, къ купцамъ—говоря о щедрыхъ пожертвованіяхъ русскихъ бородачей, спасавшихъ отечество, къ откупщикамъ—укоряя, что наживаются отъ мамона неправды. Однажды, раздумавшись, какъ много русскихъ денегъ увозятъ итальянскіе пѣвцы, онъ заставилъ Настасью Михайловну перевести по-французски свое письмо къ одной артистической знаменитости, укорялъ эту знаменитость въ разореніи его отечества и затѣмъ предлагалъ ей искупить это, подавъ руку помощи человѣку, достойному уваженія, т. е. ему. Тонъ этихъ писемъ былъ очень высокъ, тяжеловатъ, довольно гордъ и злобенъ; Деневскій просилъ мѣста, какъ будто всѣ мѣста, занятыя всѣми чиновниками въ Россіи, были отняты у него; просилъ денегъ, какъ будто всѣ богачи нажились на его счетъ или завладѣли принадлежавшими

ему наслѣдствами... Всѣ эти посланія, натурально, оставались безъ отвѣта и приносили только убытокъ, потому что были объемисты, вѣсили тяжело и отправлялись страховыми. Но Деневскій не утомлялся; онъ самъ отвозилъ ихъ на почту и, возвратясь, говорилъ женѣ: «Ну, теперь надо только молить Бога, чтобъ онъ смягчилъ сердца»... Подъ впечатлѣніемъ только что отправленныхъ фразъ, Деневскій еще нѣсколько времени говорилъ фразами. Онъ ждалъ отвѣта, нисколько не сомнѣваясь, что отвѣтъ будетъ, и десятокъ неудачъ его не разочаровывалъ. Только въ этомъ одномъ Ольга Александровна не вполнѣ раздѣляла его убѣжденія, но выражала свое недовѣріе однимъ грустнымъ молчаніемъ; это недовѣріе тотчасъ исчезало, если, сохрани Богъ, она замѣчала недовѣріе на лицѣ старшей дочери. Дни, мѣсяцы тянулись въ ожиданіи, и ожиданія разрѣшались новымъ воззваніемъ къ кому нибудь, такимъ же несообразнымъ и неуклюжимъ, какъ прежнія.

Около того времени, какъ двадцатилѣтняя Настасья Михайловна нашла у себя первый сѣдой волосъ, казалось, ожиданія и попытки были истощены. Деневскій нѣсколько дней особенно сумрачно сидѣлъ дома, не ѣздилъ въ должность и дома не брался за дѣло. Ольга Александровна ухаживала за нимъ, какъ за больнымъ. Настасья Михайловна стала тоже ждать чего-то, только недобраго. Уныніе сѣрыхъ комнатъ, при осеннемъ вѣтрѣ, который хлесталъ дождемъ въ стекла и срывалъ ставни, было неописанное. Наконецъ, Деневскій нѣсколько торжественно поднялся съ мѣста, перекрестился, поцѣловалъ жену и ушелъ въ кабинетъ. Дня три онъ выходилъ оттуда только молча, къ обѣду, а на четвертый вынесъ свое новое произведеніе. Это было — ни много, ни мало — просьба на высочайшее имя о своемъ стѣсненномъ и бѣдственномъ положеніи. Деневскій позвалъ все семейство, даже маленькую Дашу, и прочелъ просьбу вслухъ.

— Но, папа, замѣтила Настасья Михайловна: — мнѣ кажется, вы не имѣете права просить. Вы занимаете прекрасное мѣсто, жить у насъ есть чѣмъ, ваши начальники съ вами дружны. Мнѣ кажется, право... не знаю... мнѣ кажется, совѣстно просить, когда все есть...

Сцена сдѣлалась ужасная.

— Что у меня есть? кричалъ Деневскій, рѣдко возвышавшій свой разбитый голосъ:— ты считала, что у меня есть? Твой отецъ не имѣетъ права, не стоитъ, а всякій мошенникъ имѣетъ право—проситъ и получаетъ! Тебѣ, конечно, ничего, что твой отецъ здѣсь гніетъ! Твой отецъ—милліонщикъ, счастливецъ, какъ же, вотъ, еще съ этакой любовью въ семьѣ!

Это продолжалось нѣсколько часовъ. Настасья Михайловна вынесла много, но ея возраженія принесли по крайней мѣрѣ ту пользу, что просьба была отправлена не по адресу, а прежде на просмотръ братцу Василію Николаевичу Деневскому, который, ворочая департаментами, могъ дать совѣтъ, какъ удобнѣе подать ее. Подъ впечатлѣніемъ гнѣва и желчи, поднявшейся отъ спора, письмо къ братцу было полно укоризнъ, что онъ кровный и родной, сидя покойно, забываетъ родственника, который бѣдствуетъ.

Отвѣта ждали недолго. Недѣли черезъ три, утромъ, когда казачки, напустивъ угару изъ печей, раскрыли трубы, спасли домъ посредствомъ окончательнаго остуживанія и убѣжали грѣться въ кухню, въ пустую прихожую явился очень порядочный господинъ. Оглядываясь, онъ даже не могъ рѣшиться положить на что нибудь свою шубу; бросивъ ее, скрѣпя сердце, на столъ, онъ вошелъ въ залу и бродилъ въ ней одинъ, кашляя и стуча, столько же отъ холода, сколько для доклада о своемъ присутствіи. Ольга Александровна увидѣла гостя въ дверь изъ коридора и подняла смятеніе. Она хотѣла выскочить въ залу, но вспомнила, что неодѣта, и бранилась, что тамъ всѣ двери настежъ, что кто хочетъ зайди и что хочетъ украдь. Настасья Михайловна, задумавшись надъ пяльцами въ диванной, не разслышала прихода гостя, но отчаяніе матери нельзя было не слышать. Она поспѣшила къ гостю. Онъ представился: Зацѣпинъ, изъ Петербурга, чиновникъ департамента. Чувствуя, какъ ему холодно въ залѣ, Настасья Михайловна позвала его съ собой въ диванную. Она слышала, какъ въ корридорѣ мать ахнула на это приглашеніе, на этотъ «верхъ неприличія»; она слышала, что мать давала зарокъ не выйти къ гостю, «хоть онъ просиди у нея до завтра», и все это, возмутивъ ее непривычнымъ волненіемъ, вдругъ придало ей какую-то странную силу, неожиданную развязность.

— Моего отца нѣтъ дома, сказала она:— не захотите ли вы подождать его?

Взволнованная, она казалась хороша собою; ея безцеремонность, слѣдствіе отчаянія, нравилась гостю, который вообразилъ въ

ней счастье и свободу. Онъ былъ человѣкъ разговорчивый и непустой. Съ первыхъ словъ, онъ повелъ разговоръ, хотя вовсе не «головоломный», какъ называли тогда въ провинціи, но какъ-то особенно складно, ново и дѣльно, какъ въ N* не говорилъ никто. Было что-то оживляющее въ этой рѣчи, потому что въ ней самой слышалась жизнь, что-то и веселое, и заставляющее думать, заставляющее отвликаться шуткой на шутку, разсказомъ на разсказъ. Разговоръ невольно завязывался серьезнѣе, вызывалъ чувство, вызывалъ мысль, разсужденіе, выраженіе мнѣній. Зацѣпинъ, конечно, не находилъ въ этомъ ничего необыкновеннаго; онъ велъ такіе разговоры сто разъ, и теперь подумалъ только, что хозяйка мила и неглупа. Но для Настасьи Михайловны это была самая завлекательная новость. Въ N* не говорили и находили неприличнымъ говорить о чемъ нибудь даже немного наводящемъ на размышленія. Настасьѣ Михайловнѣ было слишкомъ хорошо извѣстно, что въ обществѣ ее назвали педанткой за то, что она осмѣлилась помянуть о двухъ прочитанныхъ книгахъ; ей было слишкомъ чувствительно памятно, что мать, не пропуская случаевъ, упрекала ее тѣмъ же. Теперь, она ясно видѣла, что съ ней говорятъ непринужденно, охотно, что она не кажется гостю ни странна, ни смѣшна... такъ, стало быть, есть люди, въ кружкѣ которыхъ ей жилось бы легче?.. Но ей было такъ хорошо въ настоящую минуту, что она спѣшила пользоваться, не останавливаясь на сожалѣніяхъ обо всемъ, что существовало для другихъ, а ей не давалось. За словами гостя ей слышались другія понятія, видѣлся другой свѣтъ. Гость, казалось, что-то осмѣивалъ, что-то прощалъ, надѣялся на что-то ей неизвѣстное. Она привязывалась къ нему невольно и сильнѣе вспомнила своихъ друзей гимназистовъ; они показались ей какими-то милыми дѣтьми въ сравненіи съ этимъ взрослымъ человѣкомъ; ей захотѣлось, чтобъ они были тутъ... Горчѣе нежели когда нибудь она вспомнила, какъ была принуждена распечатать и прочесть тотчасъ вслухъ предъ отцомъ и матерью единственное письмо своихъ друзей, какъ это письмо выслушали съ неприязнью и насмѣшкой, будто что-то заранѣе осужденное, какъ вслѣдъ за чтеніемъ разбранили ее и запретили отвѣчать... Въ разговорѣ Зацѣпина, изящномъ, скромномъ, полномъ тѣхъ отвлеченностей, которыя сближаютъ, ей послышалось что-то далекое, знакомое, родное... Чрезъ два часа знакомства, ей не хотѣлось бы никогда разставаться съ Зацѣпинымъ.

Зацѣпинъ самъ, казалось, неохотно вспомнилъ, что ему пора уходить, и жалѣлъ, что не видалъ Деневскаго.

— Подождите еще, присутствіе скоро кончится, сказала Настасья Михайловна.

— Я еще дня три пробуду въ N*, сказалъ онъ:—и если позволите...

Говоря это, онъ былъ совсѣмъ искренно и дружески увѣренъ, что ему позволятъ приходить хоть всякій день. Настасья Михайловна такъ и сказала бы ему, если бы смѣла, но ей ужъ стало тяжело на сердцѣ; она невольно отвѣчала только взглядомъ, откровеннымъ, ласковымъ, добрымъ, какого не знали у нея ея N-скіе закомые. Зацѣпину она рѣшительно нравилась; это вызвало его быть откровеннѣе.

— Мнѣ бы ужъ хотѣлось сегодня видѣть вашего отца, сказалъ онъ: — чтобы скорѣе исполнить порученіе... признаюсь вамъ, далеко для меня непріятное... отъ вашего родственника Деневскаго.

Письмо къ этому родственнику, просьба, все, что было вынесено въ тотъ день, разомъ вспомнилось Настасьѣ Михайловнѣ; она поблѣднѣла.

— Не тревожьтесь... сказалъ Зацѣпинъ.

— Нисколько, возразила она, такъ же мгновенно вспыхнувъ, какъ поблѣднѣла: — я знаю, въ чемъ дѣло... О просьбѣ, не такъ ли?

— Да.

— Если въ этой просьбѣ отказано, или если Деневскій говоритъ, что ее не должно подавать... я нахожу, что такъ и слѣдуетъ, потому что просьба неосновательная.

Зацѣпинъ посмотрѣлъ на нее удивленный.

— Именно это и говоритъ вашъ родственникъ, сказалъ онъ осторожно: — онъ поручилъ мнѣ возвратить просьбу вашему отцу и объяснить на словахъ... впрочемъ, онъ далъ мнѣ и письмо. Онъ къ вамъ искренно расположенъ, и вы можете быть увѣрены...

— Я увѣрена, что Деневскій — прекрасный человѣкъ, прервала Настасья Михайловна: — я сужу по всему, что я о немъ слышала, а потому... потому мнѣ и жаль, что къ нему обращались понапрасну, безъ необходимости...

Вошла Ольга Александровна; по ея лицу нельзя было отгадать, слышала ли она весь разговоръ, или только послѣднія слова дочери; можетъ быть, она и ничего не слышала, но ея огорченный видъ въ минуту обратилъ Настасью Михайловну къ ея настоящему положенію, которое такъ странно и неожидан-

но для самой себя она забывала. Этотъ огорченный видъ смутилъ гостя, въ жизнь свою невидавшаго ничего подобнаго. Ольга Александровна приняла представленіе Зацѣпина съ какимъ-то недоумѣніемъ, не отвѣчала ни слова, сѣла и молчала. Если бы Настасья Михайловна продолжала разговоръ такъ же свободно, какъ онъ шелъ до этой минуты, Зацѣпинъ потерялъ бы то хорошее мнѣніе, которое о ней составилъ: онъ былъ готовъ заключить, что дочка распоряжается домомъ и маменькой. Но Настасья Михайловна потерялась — это сохранило ей уваженіе посторонняго. Блѣднѣя снова, она откинула покрышку пялецъ, за которыя сѣла, и сказала голосомъ, который упалъ и измѣнился:

— Маменька, m-r Зацѣпинъ привезъ отвѣтъ Василія Николаича.

— Съ какой ты это радостью объявляешь!.. я слышала; вы тутъ говорили, произнесла Ольга Александровна, приводя гостя въ недоумѣніе, откуда же она слышала.

— Но отвѣтъ не совсѣмъ удовлетворительный... сказалъ онъ.

— Мы уже въ такомъ положеніи, отвѣчала Ольга Александровна съ горечью и вмѣстѣ съ усмѣшкой въ голосѣ: — что ни откуда не можемъ ждать ничего удовлетворительнаго. Василій Николаичъ — человѣкъ такой гордый, черствый, напыщенный, что мы ему нужны, какъ прошлогодній снѣгъ. Онъ, я думаю, и существованія нашего не подозрѣваетъ. Для него оскорбительно узнать, есть ли мы, нѣтъ ли насъ.

Зацѣпинъ сконфузился, что случилось бы со всякимъ въ его положеніи. Ольга Александровна продолжала такъ же тихо, плавно, какъ начала, не то жалуясь, не то негодуя, настраивая себя романически, или желая выказать достоинство; въ голосѣ ея слышалась все та же дрожащая усмѣшка.

— Право, я удивляюсь, что онъ сказалъ вамъ, гдѣ мы живемъ. Вамъ, вѣрно, извозчикъ какой нибудь показалъ нашу квартиру?.. По крайней мѣрѣ, вы сами видѣли и можете разсказать Василію Николаичу, какъ вы насъ нашли. Вотъ, все тутъ!

Она показала жестомъ на комнату.

— Василій Николаичъ, какъ чаловѣкъ всесильный, не хочетъ понимать, каково другимъ, продолжала Ольга Александровна:—мой мужъ сидитъ здѣсь десять лѣтъ совѣтникомъ, а онъ бы ворочалъ департаментами не хуже какого нибудь Василія Николаича вашего...

Зацѣпину было ужъ до такой крайности неловко, что онъ обрадовался прихода самого Деневскаго, какъ единственному средству скорѣе кончить эти объясненія.

Деневскій, едва узнавъ кто гость, бросился пожимать ему руки.

— Не томите, ради Бога, сказалъ онъ: — что, какое извѣстіе? Я, кажется, годъ дожидаюсь!..

Его маленькая фигура была жалка въ эту минуту; на его лицѣ была написана тревога. Зацѣпинъ, конечно, не зналъ, что Деневскій былъ изъ людей, умѣющихъ настроивать свои нервы на тревогу, даже изъ пустяковъ, и успокоиваться, даже въ серьезныхъ печаляхъ, подъ самыми ничтожными предлогами, едва вздумается успокоиться. Зацѣпинъ осторожно сообщилъ свое порученіе.

— Я такъ и ожидалъ! сказалъ Деневскій, выслушавъ все.—Ты слышала, Оленька?

— Слышала, мой другъ, отозвалась Ольга Александровна.

— Ну, что же мы теперь будемъ дѣлать?

— Не знаю, мой другъ.

— Къ кому же еще прибѣгнуть?

— Не знаю, къ кому!

— Послѣднее было прибѣжище?

— Да, послѣдній ресурсъ!..

— А я знаю къ кому прибѣгнуть, сказалъ рѣшительно Деневскій.

— Къ кому, другъ мой?

— Къ Богу; вотъ къ кому. Ни къ кому больше.

Во время этого семейнаго разговора, Зацѣпинъ, невольный свидѣтель, невольно оглянулся на Настасью Михайловну. Она вышивала наклонивъ голову; было замѣтно только, какъ бились ея виски и бѣлѣли пальцы, сжимавшіе иголку.

— Вы что скажете, Настасья Михайловна? спросилъ ее отецъ.

Она оглянулась.

— Ну-съ, что скажете?

— Ничего, отвѣчала она тихо.

Деневскій поглядѣлъ на нее съ минуту, махнулъ какъ-то рукой и обратился къ Зацѣпину.

— Оно, видите-съ, точно ничего. На свѣтѣ все такъ. Я Василія Николаича мальчишкой зналъ, а теперь онъ сталъ старше меня — что-жъ ему меня помнить! Онъ меня, вотъ, сюда упекъ... то есть, пристроилъ — ну и на томъ спасибо! Я не ропщу; я, батюшка, христіанинъ, получше тѣхъ, что у васъ въ Петербургѣ. Скажутъ — повѣсить меня — ну, пусть и повѣсятъ, я на все готовъ. Всегда въ жизни былъ на все готовъ. Я, батюшка, служилъ и въ военной службѣ; не дрался ни разу, да вѣдь это все равно: у

васъ, тамъ, это одинаково цѣнится, правды не сыщешь!.. Что-жъ, у Василія Николаича недостало писарскаго мѣстишка какого нибудь, пріютить двоюроднаго брата?

Зацѣпинъ терялся; мудрено было понять, что выражалось въ монологѣ Деневскаго — злоба, огорченіе или покорность? покорность притворная или искренняя? слѣдствіе религіознаго чувства, или отупленія? Старикъ казался не столько жалокъ, сколько страненъ. Его послѣдній вопросъ совершенно поразилъ Зацѣпина.

— Какъ, писарскаго мѣста? повторилъ онъ, не находя словъ:—но развѣ то, которое вы занимаете здѣсь... Во всякомъ случаѣ, трудно найти лучше... Полагаю, вы не захотите мѣнять хорошее на дурное...

— То-то, вы полагаете! это, вотъ, всѣ такъ полагаютъ! прервалъ Деневскій, опять махнувъ рукой въ сторону дочери: —а по мнѣ, батюшка, нѣтъ ни хорошаго, ни дурнаго—все скверно. Совѣтничье мѣсто! что мнѣ имъ глаза колоть? Фамилію свою пятьдесятъ разъ въ день подписать—шутка по-вашему? Василій Николаичъ больше этого дѣлаетъ, какъ же! знаемъ мы, васъ петербургскихъ! У васъ пятьдесятъ лѣтъ на шеѣ не сидятъ, такъ вы и говорите!

Тутъ онъ показалъ вмѣстѣ и на Зацѣпина, и на дочь.

Зацѣпинъ взялъ шляпу.

— Я предалъ себя волѣ Божіей, продолжалъ Деневскій, подступая къ нему;—такъ и скажите Василію Николаичу. Я ему это напишу, все, пусть знаетъ. Я здѣсь человѣкъ мирный—ничего не знаю: подадутъ мнѣ бумаги—подписываю, а что въ нихъ—не читаю, умываю руки. Вотъ я въ какое положеніе себя поставилъ съ первой минуты, какъ посадилъ меня сюда Василій Николаичъ. Пожалуй, онъ меня еще тунеядцемъ назоветъ, да вѣдь не всякому дается! Вы себѣ хватайте награды, чины—а мнѣ, вотъ, и крестишка къ новому году не дадутъ! видно, не заслужилъ!.. Ну, на все воля Божія!

Зацѣпинъ раскланялся молча. Деневскій пожалъ ему руку. Поклонившись Ольгѣ Александровнѣ, Зацѣпинъ взглянулъ на Настасью Михайловну и, по невольному доброму движенію, подалъ руку и ей. Такое привѣтствіе, въ тѣ времена, не только не было въ обычаѣ въ провинціи, но считалось странностью. Настасья Михайловна не удивилась—такъ было сжато ея сердце, и дала свою руку съ довѣрчивостью тяжелой, прощальной, будто послѣдней.

Этотъ день и слѣдующій проходили во вздохахъ и безмолвіи. Въ домѣ, казалось, былъ трауръ, и очень тяжелый, очень недавній. Маленькая Даша громко пробѣжала по комнатѣ, спѣша принесть что-то матери, и за это ей выговаривали цѣлый часъ, что она не обращаетъ вниманія на семейное несчастіе. Дѣвочка поняла изъ всего только, что она «пропащая», убѣжала въ потемки въ комнату, гдѣ жила съ сестрой, и заливалась горькими слезами. Настасья Михайловна вышивала какую-то оборочку предъ единственной свѣчкой, освѣщавшей диванную, оглядываясь изрѣдка на отца и мать, которые въ раздумьи сидѣли въ отдаленіи отъ нея и другъ отъ друга и минутами спрашивали себя: «что-жъ это будетъ?» Этотъ вопросъ обдавалъ ее холодомъ. Она говорила себѣ, что стыдно ей сидѣть такъ; что тамъ, сестра, ребенокъ, плачетъ Богъ знаетъ изъ-за чего; что лучше пойти, поискать какого нибудь обрѣзка ленты для ея куклы, развеселить ее чѣмъ нибудь, развеселиться кстати и самой, потому что такъ невозможно, силъ нѣтъ, такъ люди не живутъ...

— Что же такое особенное съ нами случилось? спрашивала она себя, чувствуя, что въ головѣ ея туманилось:—не виновата ли ужъ я въ чемъ нибудь?..

Между тѣмъ часы стучали и били, и было ужъ близко девяти, всѣми желаннаго часа отдыха. Послышалось, какъ отворились двери изъ сѣней въ далекой прихожей.

— Пришелъ кто-то... слабо проговорилъ Деневскій, сжавшись въ своемъ креслѣ и не поднимая головы.

— Чужой кто-то... сказала Ольга Александровна, встрепенувшись съ испугомъ и почему-то съ гнѣвомъ.

Оба прислушивались, точно въ ожиданіи бѣды. Изъ прихожей въ залу скрипнула дверь.

— Узнай, кто тамъ, слазалъ Деневскій.

— Да поди же, матушка! Ждешь, что ли, чтобъ ужъ сюда зашли? досказала Ольга Александровна.

Настасья Михайловна шла въ темноту трехъ пустыхъ комнатъ, не видя ничего передъ собою. Зацѣпинъ, который шелъ ей на встрѣчу, разглядѣлъ ее въ мерцаніи, тянувшемся изъ диванной.

— Извините, сказалъ онъ:—мнѣ сказали, вы дома.,.

— Кто такой? глухо спросилъ Деневскій жену.

— Экзекуторъ этотъ петербургскій, отвѣчала Ольга Александровна.

Настасья Михайловна слышала этотъ от-

вѣтъ. Зацѣпинъ, конечно, тоже его слышалъ, но не обратилъ вниманія и, безъ словъ раскланявшись съ хозяевами, продолжалъ говорить съ Настасьей Михайловной.

— Дѣло, за которымъ я пріѣзжалъ сюда, кончено. Завтра я уѣзжаю; я не могъ отказать себѣ въ удовольствіи еще быть у васъ. Не поручите ли чего въ Петербургъ?

— Если бы деньги были, поручили бы, отвѣчалъ за нее Деневскій, оживясь и усмѣхаясь:—не за многимъ стало—за деньгами.

— Да, въ Петербургѣ такъ много прекрасныхъ вещей, прибавила Ольга Александровна, тоже желая оживиться.

— Особенно дамскихъ вещей, нарядовъ, потвердилъ Деневскій и указалъ на дочь:— а она же любитъ нарядиться.

Зацѣпинъ, хотя и былъ приготовленъ первымъ знакомствомъ, но хозяева показались ему еще страннѣе.

Послѣднія слова Деневскаго заставили Зацѣпина обратить вниманіе на старенькое платье Настасьи Михайловны, но никакъ не объяснили, что хозяинъ, принимая посѣщеніе на свой счетъ, желаетъ занимать гостя.

Деневскій до такой степени счелъ своей обязанностью это «заниманіе», что заставилъ дочь отодвинуться, подсѣлъ къ гостю и повелъ разговоръ о министрахъ, о производствахъ, и разсказывалъ о губернскихъ дѣлахъ. Эти дѣла онъ путалъ, потому что самъ ихъ не понималъ. Но Ольга Александровна не могла потомъ уснуть ночь, припоминая, какъ мужъ ея сказалъ, что у нихъ, въ уголовной, «не безъ того...» Деневскій самъ припомнилъ это выраженіе со страхомъ и раскаявался. Онъ не хотѣлъ и вообразить, что, слушая его, Зацѣпинъ умиралъ отъ скуки. Разсказъ былъ нескладенъ, утомителенъ, предметы его грубы, грязноваты. Зацѣпинъ спрашивалъ себя, какъ слушаетъ это молодая дѣвушка? какъ она выноситъ, что ея присутствіемъ не стѣсняются или вовсе ея не замѣчаютъ.

Взглядъ, который онъ бросилъ на Настасью Михайловну, заставилъ оглянуться и мать.

— Что ты, хлѣбъ насущный свой вырабатываешь? спросила она Настасью Михайловну, продолжавшую вышивать.— Можно, я думаю, оставить. Къ балу успѣешь дошить, прибавила она съ усмѣшкой.

— Къ балу?.. повторилъ съ недоумѣніемъ Зацѣпинъ.

— Къ балу. Откупщикъ даетъ балъ на той недѣлѣ, отвѣчалъ Деневскій:—мы здѣсь, посмотрите, какъ веселимся. Двѣсти-триста свѣчъ въ залѣ намъ ни по чемъ, померанцовыя деревья, ананасы, ужинъ... Вамъ бы пожить здѣсь; вы этого въ Петербургѣ не видите. Общество тоже...

— Я здѣсь у многихъ былъ, сказалъ Зацѣпинъ:—даже вчера былъ на вечерѣ.

— Были? ну, что? У кого? спросилъ Деневскій, неизвѣстно почему такъ особенно одушевляясь.

— У кого?.. Извините, я съ непривычки путаю фамиліи; кажется, Лобцовы...

— А, вице-губернаторъ! Такъ вечеръ былъ? Мы не знали... Танцовальный?

— Да.

Деневскаго будто взяло раздумье; Ольга Александровна была и вовсе сконфужена.

— Мы не знали, повторилъ онъ: — насъ не звали.

— Лобцова присылала звать вчера поутру, отвѣчала Настасья Михайловна: — я благодарила и сказала, что не можемъ быть.

— Почему же вы это такъ распорядились? Отчего же «не можемъ быть»?

— Вы были... нездоровы, заняты, отвѣчала Настасья Михайловна:—танцовальный вечеръ—стало быть, для меня—я и отказалась.

— Ну, и прекрасно распорядилась! Начальникъ зоветъ отца, а она отказываетъ!

— Ты только непріятностей отцу надѣлала, прибавила Ольга Александровна.

— Завтра надо поѣхать, извиниться, продолжалъ Деневскій въ раздумьѣ.

— Неужели это необходимо? замѣтилъ Зацѣпинъ.

— Мнѣ, батюшка, все необходимо, отвѣчалъ Деневскій: — я держусь за все, какъ утопающій за соломенку...

Онъ поникъ головою.

— Вотъ, теперь всѣ и заговорятъ, что насъ не звали! Ты, видно, этого хотѣла? сказала Ольга Александровна дочери:—съ кѣмъ же ты насъ сравняла? Кто изъ общества тамъ не былъ? Все, что есть лучшаго, было; прелестный вечеръ...

— Не знаю, есть ли это лучшее, сказалъ Зацѣпинъ: — нарядно, конечно. Я посмотрѣлъ, послушалъ, танцовалъ даже — меня представили... Что за складъ общества, что за толки! и пустота, пустота!.. Какъ вы можете здѣсь жить? спросилъ онъ, обратясь къ Настасьѣ Михайловнѣ и глядя ей въ глаза.

— Какъ вы взыскательны! возразила Ольга Александровна, вспыхнувъ: — но что же такое особенное у васъ, въ Петербургѣ?

какія нибудь департаментскія вечеринки, десятокъ апельсиновъ и чашка чаю? Что у насъ не пускаются въ превыспреннія разсужденія, такъ Богъ съ ней совсѣмъ, съ ученостью вашей...

— Я, благодареніе Богу, былъ въ Петербургѣ, знаю, выговорилъ Деневскій.

Зацѣпинъ смотрѣлъ на Настасью Михайловну. Сложивъ работу, по приказанію матери, и не находя куда опустить глаза, она устремила ихъ неопредѣленно предъ собою, замѣтно избѣгая взгляда гостя. Зацѣпинъ пришелъ съ желаніемъ встрѣтить опять ту милую дѣвушку, которая одна во всемъ N* показалась ему живымъ существомъ—и не узнавалъ ее. Но онъ такъ отгадалъ ее, что если бы еще разъ они остались одни, ей было бы нечего болѣе ему разсказывать. Ему стало тяжело; предъ нимъ было что-то непоправимое, невозвратное...

Онъ простился и ушелъ. Прощаясь и сжимая руку дѣвушки, онъ отъ сердца сказалъ ей, что еще надѣется видѣть ее когда нибудь тамъ, гдѣ ей будетъ хорошо, какъ она этого стоитъ. Онъ пожелалъ ей счастья — невольно и, конечно, совсѣмъ некстати: Ольга Александровна, увѣривъ себя, что слышала весь первый ихъ разговоръ, приняла къ свѣдѣнію и это и, впослѣдствіи, не пропускала никогда замѣтить дочери, что та нажаловалась на свою жизнь первому встрѣчному.

Деневскій сказалъ другое, едва вышелъ Зацѣпинъ:

— Господи! вотъ, былъ человѣкъ, унизилъ насъ, а мы передъ нимъ рабствовали, кланялись!.. Э-хъ, батюшка братецъ, Василій Николаичъ!..

Эта встрѣча еще прибавила ума Настасьѣ Михайловнѣ. Къ худу ли, къ добру, но вопросъ: «какъ вы можете здѣсь жить?» открылъ ей глаза не на ея семейную жизнь—она ужъ очень хорошо ее знала — а на общество, отъ котораго будто ждала спасенія въ тяжелыя минуты. Она начала раздумывать, разбирать, и скоро ей стало невыносимо отъ тѣхъ самыхъ людей, съ которыми, еще недавно, ей бывало если не радостно, то нескучно. Она начала находить—пришло и такое время!—что лучше сидѣть одной у пялецъ или слѣпить глаза въ зимніе сумерки у окна, съ разрозненной, у кого нибудь выпрошенной книжкой журнала, чѣмъ видѣть этихъ гостей, говорить и слушать эти рѣчи...

Минутами только она спрашивала себя: долго ли еще это будетъ? Ушелъ годъ. Чувство беретъ свои права и всеосуждающій разборъ, опустошая сердце, сильнѣе пробуждаетъ въ немъ потребность того, что истребляетъ,—потребность привязанности. До пріѣзда Зацѣпина, Настасья Михайловна начинала мечтать о любви; послѣ него, измучась своимъ тяжелымъ анализомъ, она полюбила. Полюбила, конечно, человѣка, въ которомъ, какъ ей казалось, было то, чего не было въ другихъ: умъ, побольше образованія, оригинальность среди тусклаго общества, смѣлость въ этомъ безмолвномъ или пусторѣчивомъ обществѣ... Не ошиблась ли она? Не мучилась ли сама, когда чувство, уже разгорѣвшееся и болѣе неподвластное разсудку, боролось съ такимъ же невольнымъ, привычнымъ анализомъ? Стала ли она счастливѣе?.. По крайней мѣрѣ, ея молчаливые часы занялись мыслію свѣжѣе и иногда свѣтлѣе, у ней стали мелькать ожиданія, въ ней что-то ожило...

Николай Александровичъ Малѣевъ былъ молодой человѣкъ лѣтъ подъ тридцать и занималъ въ N* должность губернскаго архитектора. Онъ былъ недуренъ собою, ловокъ, держался немного излишне-развязно, но порядочно и, въ особенности, весело. Его веселость нравилась; онъ это зналъ и пользовался такимъ легкимъ способомъ нравиться. Онъ заставлялъ смѣяться всякаго собесѣдника, даже своихъ дамъ на балахъ смѣшилъ замѣчаніями, смѣшилъ разсказами. Никто не нашелъ бы смѣшнаго тамъ, гдѣ Малѣевъ умѣлъ находить его, но стоило Малѣеву указать — и смѣшное дѣлалось очевидно. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорили всѣ. Послѣ пріятнаго припадка веселости, доставленнаго этимъ «остроумнымъ» человѣкомъ, многимъ случалось замѣчать за собою, что они смѣялись грѣху и бѣдѣ даже очень близкихъ ближнихъ, но «что прикажете дѣлать—смѣшно!» Такія замѣчанія, становясь чаще, однако, не повредили Малѣеву, даже напротивъ: они доставили ему авторитетъ страха. Въ провинціальномъ обществѣ, да еще въ то время, страхъ былъ почти уваженіе. Женщины и дѣвушки старались быть любезнѣе съ Малѣевымъ, чтобъ не попасть ему на язычекъ; молодые люди сближались съ нимъ въ надеждѣ, что тогда онъ посовѣстится осмѣивать ихъ предъ женщинами; маменьки ласкали его какъ жениха; пожилые господа пророчили, что онъ пойдетъ въ гору; они видѣли въ его смѣлости какое-то достоинство, какую-то силу, хотя это достоинство и эта сила никогда и ни въ чемъ не проявлялись, кромѣ мелкой насмѣшки.

Малѣевъ ладилъ съ начальствомъ и безцеремонно наживался на службѣ, очень остроумно насмѣшничая надъ взяточниками. Съ нимъ ладили всѣ и никто его терпѣть не могъ: онъ зналъ это и берегъ про себя, никогда не заводя ссоры: онъ не сознавался и самому себѣ, что ему не устоять даже и противъ провинціальной глупости, если она разберетъ его и схватится съ нимъ прямо. Ума въ другихъ онъ не любилъ въ особенности и особенно ловко умѣлъ выставить его смѣшнымъ въ глазахъ пошлости. Очевидно, что онъ никого не любилъ, и потому нападалъ на всякое чувство съ завистливой непріязнью... Онъ былъ порядочно воспитанъ, много читалъ и никогда не говорилъ объ этомъ — не потому, чтобы, среди окружавшаго его тогдашняго общества, считалъ невозможнымъ разговоръ о чемъ нибудь другомъ, кромѣ службы и картъ, но потому, что и для него самого, какъ для другихъ, чтеніе было то же, что служба и карты: средство куда нибудь дѣвать время. Но предъ женщинами не мѣшало иногда щегольнуть ученостью, какъ запугивающимъ средствомъ. Для этого Малѣевъ любилъ иногда, среди дамскаго кружка, втащить въ разговоръ о «важныхъ предметахъ» какого нибудь совѣтника, посѣдѣвшаго въ своей палатѣ, и заставить его наговорить чепухи, всѣмъ доступной и понятной, любилъ неразрѣшимыми парадоксами сбить съ толку первокурснаго студента. Дамы убѣждались, что m-r Малѣевъ очень ученъ. Ученость — вздоръ, но это все-таки не мѣшало...

Настасья Михайловна полюбила Малѣева. Его смѣлая веселость показалась ей протестомъ противъ пошлости. Его боялись и за глаза бранили; вслѣдствіе этого ей показалось, что онъ выше другихъ и терпитъ за правду. Онъ тогда только что пріѣхалъ въ N*; его служебныя дѣла велись секретно, а если что и осуждалось въ нихъ, то казалось влюбленной дѣвушкѣ клеветою, распускаемой изъ непріязни. Онъ познакомился съ Деневскимъ по дѣламъ и бывалъ довольно часто. Ольга Александровна, конечно, не считала его за жениха своей дочери, которая, по ея мнѣнію, не стоила такого любезнаго человѣка; но съ Настасьей Михайловной менѣе всѣхъ могло быть скучно въ этомъ домѣ — и Малѣевъ обратилъ вниманіе на Настасью Михайловну. Она обрадовалась этому: онъ могъ лучше узнать ея умъ и характеръ, онъ могъ сказать ей слово по душѣ; она высказывала все, что думала, не стѣсняясь; привязываясь, надѣялась, что привяжетъ. Малѣевъ тоже обрадовался случаю выказывать свое остроуміе предъ неглупой слушательницей; но вскорѣ слушательница начала его безпокоить: она нелегко отзывалась на дешевую насмѣшку; она хотѣла разсуждать, хотѣла видѣть вещи непремѣнно въ ихъ настоящемъ свѣтѣ и прямо. Малѣеву стало неловко; чтобъ не потерять своего значенія въ глазахъ дѣвушки, онъ сталъ сбивать ее съ толку; онъ доводилъ свои насмѣшки до жестокости. Восторженно вообразивъ въ немъ протестъ противъ пошлости, Настасья Михайловна не замѣчала, что Малѣевъ такая же, только злая пошлость. Она оробѣла и чтобъ заслужить привязанность этого требовательнаго человѣка, рѣшилась держаться, поступать, думать такъ, какъ, казалось, хотѣлъ этого Малѣевъ. Она рѣшилась слѣпо довѣрить его уму, который, казалось ей, не могъ ошибаться. Угодить ему было мудрено; мудрено было отгадать, напримѣръ, въ какихъ случаяхъ желалъ бы Малѣевъ, чтобы женщина выказывала умъ или чувство: онъ смѣялся надъ ихъ излишкомъ тамъ, гдѣ ихъ вовсе не было, и упрекалъ въ недостаткѣ ихъ тамъ, гдѣ они даже тратились понапрасну. Зная его насмѣшки надъ педантствомъ, Настасья Михайловна поставила себѣ въ обязанность показываться въ обществѣ совершенной невѣждой. Боясь, чтобы онъ, зная ея семейное житье-бытье, не осудилъ ея характера, она переработала этотъ характеръ, если только это было возможно, еще кротче, еще молчаливѣе. Она не выражала никогда никакого мнѣнія. Она не смѣла казаться довольной — Малѣевъ передразнивалъ женщинъ съ довольными лицами; не смѣла задумываться — онъ «боялся глубокомыслія»; не смѣла быть печальной — онъ называлъ печальныхъ женщинъ злыми и «убѣгалъ мегеръ»; не смѣла быть равнодушной — онъ называлъ равнодушіе столбнякомъ. Стараніе попасть на вкусъ предмета любви своей — сдѣлалось ломкой всѣхъ чувствъ, всѣхъ способностей, мученіемъ физическимъ и нравственнымъ. Оно продолжалось около года. Если бы Малѣевъ — такой, по его собственному мнѣнію, знатокъ женскаго сердца, такой упорный искатель «покорной женщины» — обратилъ вниманіе на эту любовь, онъ убѣдился бы, что покорнѣе жены ему не найти и могъ бы вполнѣ быть увѣренъ, что эта жена, впослѣдствіи, даже разглядѣвъ всю глубину своего несчастія, все вынесетъ и честно не постарается изъ него выйти.

Но Малѣевъ пропустилъ время; Настасья

Михайловна оглянулась. Измученная неразделенной любовью, одинокая, она спросила, за что она лишаетъ себя любимыхъ занятій, возможности сближенія съ другими людьми, за что она гонитъ отъ себя размышленіе, изъ какой необходимости она себя отупляетъ насильно? Боль чувства образумила разсудокъ и указала на нелѣпость этого нравственнаго самоубійства...

«Вѣдь я убиваю въ себѣ недурное...» подумала она вдругъ съ какой-то жалостью къ самой себѣ.

Она рѣшилась... спросить Малѣева. Робко, неясно, издалека начала она рѣчь и подвергла его обсужденію вопросъ: позволительно ли женщинѣ чувствовать и думать, заниматься не одними тряпками и свѣтскимъ вздоромъ, имѣть мнѣніе и выражать его? Она говорила и изъ желанія успокоиться за себя, и изъ желанія найти въ этомъ миломъ человѣкѣ что нибудь мягкое, сердечное, неложное; вѣчная шутка надъ тѣмъ, что сладко трогало душу или заставляло задумываться, давно стала ей невыносима; она надѣялась, что этотъ милый, любимый выскажется наконецъ, дастъ понять себя иначе; она съ радостью ждала, что онъ упрекнетъ ее, зачѣмъ она ошибалась, выясниться, и его вліяніе слѣдается нетягостно...

Малѣевъ расхохотался. Онъ догадался, что его любятъ, но онъ догадался тоже, что его поняли. Это было не очень лестно. Всякое слово этихъ робкихъ сомнѣній, этихъ порывовъ къ мысли, къ честной дѣятельности, къ истинѣ чувства, было упрекомъ ему, самопадѣянному, пошлому остряку и взяточнику, умѣвшему прятать свои интрижки такъ же ловко, какъ взятки.

— Въ такомъ разстройствѣ помысловъ и напряженномъ состояніи чувствованій, отвѣчалъ онъ комически-напыщенно, что было его уверткой въ неловкихъ и досадныхъ случаяхъ:—могу посовѣтовать только одно: еще болѣе зачитаться Жоржъ-Занда. По пословицѣ—«клинъ клиномъ...»

И въ самомъ дѣлѣ, на другой день онъ прислалъ ей «Лелію». Но ему показалось мало этого мщенія надъ женскимъ умомъ, къ тому же мщеніе было неявное. Прежде, самъ не зная почему, онъ щадилъ Настасью Михайловну въ своихъ пересудахъ, можетъ быть потому, что, мало являясь въ обществѣ, она мало для него значила. Онъ напомнилъ обществу о ней; для краснаго словца, онъ посмѣивался надъ ея претензіями на красоту и оригинальность, ужасался ея учености и романичности, такъ разсказывалъ о ея пристрастіи къ чтенію, что въ глазахъ дамъ оно начало граничить съ безнравственностью, и въ заключеніе замѣтилъ, будто вскользь, что Настасья Михайловна мудритъ у себя въ семьѣ и мучитъ свою меньшую сестру.

Настасья Михайловна это узнала. Она не взвѣшивала этихъ обвиненій; ей довольно было послѣдняго. Оно поразило ее неизлечимо, какъ самый ядовитый, самый нежданный ударъ: она иногда еще осмѣливалась надѣяться, что Малѣевъ пойметъ хоть ея семейную жизнь!.. Вся ея молодая радость умерла въ эту минуту. Испытывая на себѣ мученія и стыдъ этого приговора, она оглянулась еще яснѣе, какъ бывали опрометчивы, несправедливы, жестоки и глупы многіе приговоры этого человѣка, любимаго ею. Она потеряла къ нему уваженіе; ея нѣжность перешла въ негодованіе. Она обвиняла себя, что оглянулась на недостатки Малѣева, только узнавъ, что онъ не щадитъ и ее, но удержаться уже не могла. Безпощадный анализъ поднялся снова, на этотъ разъ безошибочный, подкрѣпляемый болью сердца и безпристрастный, потому что это больное сердце все еще любило... За то ли, что только минуты этой неразделенной любви вспоминались ей отрадно среди всей ея молодой жизни?.. Она больше не была ослѣплена, не закрывала глазъ, нарочно, не извиняла; спроси ея мнѣнія посторонній—она обвинила бы, по всей справедливости и не колеблясь, того, кого любила. Но ей мучительно, вѣчно хотѣлось найти предлогъ его простить, простить хоть немного, найти правымъ хоть въ чемъ нибудь... Любовь становилась ей все тяжелѣе. Объясненій не было. Малѣевъ сталъ посѣщать ее рѣже, соскучась, какъ онъ говорилъ, «всей фамиліей...» Настасья Михайловна начинала бояться его, какъ боялись другіе...

VII.

Ноябрь 1849 года былъ въ половинѣ; снѣга выпало довольно, и, какъ водится въ благодатныя зимы, въ половинѣ ноября была оттепель; отъ нея зачернѣли N-скія улицы, дома приняли грязно-бурый цвѣтъ, на тротуарахъ стояли лужи. Морозъ поправилъ это въ одно сѣрое утро, вылощивъ дороги до невозможности ходить по нимъ, такъ что старухи, молившіяся, чтобъ подмерзло, не знали радоваться или печалиться, когда молитва ихъ была услышана, а надо было идти къ обѣднѣ: день былъ воскресный и вмѣстѣ табельный. Чиновники въ треуголкахъ скакали поздравлять губернатора; въ собо-

рѣ гудѣлъ большой колоколъ; вдали гремѣлъ барабанъ — гарнизонъ шелъ въ парадъ. Впрочемъ, только и было движенія на улицахъ; по нимъ гулялъ вѣтеръ вмѣстѣ съ изморозью; небо было бѣлое, наволочное, точно замерзлое; тусклое солнце хотѣло было выглянуть и спряталось; его бѣловатое пятно, проступая время отъ времени, наводило хуже тоску и пугало холодомъ. Праздникъ не смотрѣлъ праздникомъ, хотя его торжествовали и чиновники, и колокола, и барабаны.

Ольга Александровна бродила по внутреннимъ комнатамъ, безпокоясь о Михаилѣ Васильевичѣ, который поѣхалъ съ поздравленіемъ къ губернатору и въ соборъ, и съ ужасомъ повторяла, что на дворѣ холодъ, а молебенъ будетъ съ колѣнопреклоненіемъ. О холодѣ и молебнѣ она настоятельно твердила всѣмъ въ домѣ, хотя никто не сомнѣвался, что одно есть, а другое будетъ.

Настасья Михайловна вышла въ парадныя комнаты прежде матери. Комнаты были уже убраны, какъ увѣряли лакеи и казачки, но надо было увѣрять въ томъ. Настасья Михайловна указала на вчерашній соръ и древнюю паутину, но ея приказанія по этому поводу не могли быть исполнены. Ольга Александровна явилась сама и подтвердила слова прислуги, что имъ некогда.

— Отецъ воротится, надо ему хоть сюртукъ приготовить, сказала она, и, вслѣдъ за ея словами, лакеи тотчасъ скрылись.— Неравно кто нибудь заѣдетъ, надо кому нибудь быть въ лакейской, надо кому нибудь повару помочь...

Казачки не дождались даже конца ея рѣчи и исчезли.

— Но нельзя же такъ... возразила Настасья Михайловна.

— А, такъ держите вашихъ собственныхъ людей; тогда, что хотите, то и дѣлайте! Не нравится вамъ— наймите другой домъ! Вонъ, откупщикъ свой флигель отдаетъ за пятьсотъ цѣлковыхъ; наймите, кто вамъ мѣшаетъ!.. Разодѣлась съ утра какъ принцесса и командуетъ!

Настасья Михайловна не возражала больше, но позвала свою горничную и вмѣстѣ съ ней водворила кой-какой порядокъ. Ольга Александровна то уходила, то появлялась, волнуемая безпокойствомъ, что ужъ въ соборѣ скоро ударятъ къ достойной.

— Матушка, цѣлую архіерейскую службу провозилась! сказала она, заставъ, что горничная счищаетъ ледъ съ окошекъ диванной:—это еще что?

— Я тутъ работаю, отъ окна холодно, отвѣчала Настасья Михайловна.

— Холодно!.. Да помилуйте, дѣвкѣ надо еще сахару натолочь къ обѣду — когда же она успѣетъ? Долго ли еще это будетъ? Холодно! я думаю, покажется холодно, съ утра въ разныхъ фалбалахъ...

Настасья Михайловна отпустила дѣвушку и, когда вышла мать, взглянулась въ зеркало, чтобы узнать, много ли потерпѣлъ отъ пыли нарядъ, о которомъ ей ужъ другой разъ упоминали. Этотъ нарядъ былъ перекрашенное черное шелковое платье и бантъ изъ голубой ленты у воротничка. Это было къ лицу, но не веселило. Настасья Михайловна открыла свои вѣчные пяльцы и сѣла шить. Пришла Даша.

— Что это ты, Настя, въ праздникъ!

— Да скучно безъ дѣла. Здравствуй!

— Здравствуй.

Онѣ поцѣловались, хотя видѣлись не въ первый разъ этимъ утромъ. Дѣвочка смотрѣла серьезно, какъ взрослая; ея движенія и ласки были не дѣтскія — все чинно и ровно. Она крѣпко обняла сестру и вдругъ заплакала.

— Даша, что ты, въ праздникъ!

— Какой праздникъ, до смерти скучно! отвѣчала дѣвочка: — все Богъ знаетъ что, все бранятъ! когда мы будемъ жить какъ люди?—никогда, видно!

Настасья Михайловна не отвѣчала.

— Вотъ, ты, съ утра, въ праздникъ за работу; стало быть, ужъ нечего ждать, человѣка не увидишь. Это тоска! я уйду куда нибудь!

— Куда же?

— Въ монастырь уйду; все равно, у насъ тотъ же монастырь.

— Полно вздоръ болтать.

— Нѣтъ, не вздоръ, а я куда нибудь уйду, возразила дѣвочка.—Ты мнѣ не говори, что я ничего не понимаю. Вѣдь, еслибъ я росла какъ всѣ дѣти, а то, слава Богу, на все наглядѣлась. Ты старшая, а много ли ты старше меня?

— Вдвое.

— Ну, сдѣлай милость, ни меня не молоди, ни себя не старѣй. Тебѣ двадцать два года, а ты вотъ какъ соскучилась. Что-жъ, и мнѣ ждать того же? я не могу! Тебя возятъ, по крайней мѣрѣ, въ гости; вотъ сегодня повезутъ въ собраніе...

— Ахъ, Даша, прервала Настасья Михайловна: — а ты еще говоришь, что все пони-

маешь!.. Мое платье въ долгъ куплено, въ долгъ сшито, меня упрекали имъ вчера цѣлый день... что-жъ, веселье это? весело мнѣ ѣхать? легко? не стыдно постороннихъ?.. Вѣдь по городу знаютъ...

— Настечка, не плачь, мой голубчикъ! вскричала дѣвочка, бросаясь къ ней: — виновата, я не то сказала, да вѣдь мнѣ какъ скучно, вотъ только съ тобой...

— А говорятъ, я тебя терпѣть не могу... выговорила Настасья Михайловна, блѣднѣя при этихъ словахъ.

— Кто это говоритъ?

— Я слышала.

— Давно?

— Вчера еще разъ слышала...

— Но кто говорилъ?

— На что тебѣ знать? сказали — и все тутъ.

— Охота тебѣ слушать всякій вздоръ. Это надо такъ дѣлать: въ одно ухо влетѣло, въ другое вылетѣло... Ты-то меня терпѣть не можешь? Господи Боже, пустяки какіе! Душка ты моя... Ахъ, ахъ, какая ты сейчасъ была хорошенькая, какъ на меня взглянула! Настя, матушка моя, взгляни еще... Нѣтъ, не то, не то, больше не можешь... Ты такъ же волоски причешешь въ собраніе, какъ теперь, или локоны?

— Какъ велятъ.

— Ну, вотъ еще! Сдѣлай, какъ теперь.

— Мнѣ все равно.

— Настя, вѣдь тамъ Николай Александровичъ будетъ, шепнула Даша, ласково и цѣлуя сестру въ ея смуглую щеку, которая вспыхнула.

— Такъ что-жъ?

— Ну, будетъ, и все тутъ. Онъ и у насъ, можетъ быть, нынче будетъ. Дай-то, Господи! Чтобъ ему вотъ теперь пріѣхать? маменька, покуда, неодѣта, такъ четверть часика были бы наши.

— Четверть часика промолчать съ нимъ, только.

— Вольно-жъ тебѣ молчать. Отчего ты перестала говорить съ нимъ, Настя?

— Я говорю.

— Да развѣ такъ?.. Что это, ты его любила-любила, да вдругъ разлюбила? спросила дѣвочка, смѣясь.

— Даша, что ты болтаешь!

— Ничего не болтаю, я правду говорю. Что-жъ теперь, кто тебѣ понравился? Боровицкій?

— Никто.

— Почему-жъ не понравился Боровицкій? Правда, ему на тебѣ жениться нельзя.

— Вотъ, видишь, какъ ты премудро разсудила.

— Это очень жаль. А ты, Настя, ему очень нравишься.

— Ну, и слава Богу.

— Настя, пожалуйста, ты надо мной не смѣйся; я все вижу. И мнѣ очень жаль, что онъ женатъ.

Настасья Михайловна засмѣялась.

— Знаешь, что, сказала она: — вотъ, онъ вчера прислалъ Impressions de voyage; прочти мнѣ, я послушаю, это лучше будетъ.

— Давай, пожалуй. А ты, покуда, кого нибудь подождешь...

— Кого это?

— Ну, Боровицкаго, иль Николая Александровича, кого нибудь.

— Ты шалишь, Даша.

— Ахъ, Настечка, видно намъ только съ тобой и утѣхи, что книжки да книжки!

— Хорошо, хоть это есть, сказала Настасья Михайловна.

Она наклонилась къ пяльцамъ и шила, стараясь слушать. Время отъ времени, Даша превывала свое чтеніе замѣчаніями, большею частью мѣткими и бойкими. Настасья Михайловна смутно думала, что эта дѣвочка старѣе ея. У старшей сестры было дѣтство, была молодость, странныя, несбывшіяся мечтанія, надежды, даже суевѣрные страхи, всѣ эти оживляющія волненія; она не вдругъ, а постепенно сдѣлалась тѣмъ тоскующимъ существомъ, какимъ была теперь; прошлое оставило ея характеру мягкость, нерѣшительность, что-то живое. Въ Дашѣ, напротивъ, есть что-то старческое, положительное, рѣшительное, неграціозное. Она жалуется, потому что годами все еще дитя, но она гораздо тверже сестры и смѣлѣе; она жалуется, но сама не жалостлива. У нея будто не бывало дѣтства; она очерствѣла вдругъ, состарилась разомъ.

«Бѣдная, жалкая дѣвочка!» подумала Настасья Михайловна.

Конечно, никто менѣе Настасьи Михайловны не могъ разобрать, что для этой дѣвочки, рано узнавшей жизнь, немечтающей, несострадающей, жизнь пойдетъ легче, нежели идетъ для старшей сестры. Даша хитра, проницательна, переимчива, практична и съумѣетъ быть ловка, когда будетъ нужно. Изъ нея не выйдетъ любящей женщины; отъ ранней заботы, можетъ быть, выйдетъ эгоистка, но, во всякомъ случаѣ, женщина дѣятельная. Ей можетъ прожиться легко... Не та участь тѣхъ истинно-жал-

кихъ созданій, которыя, правыя кругомъ, еще оглядываются, не виноваты ли, обиженныя — не обидѣли ли, измятыя до конца— не больно ли рукамъ, которыя ихъ измяли...

Ольга Александровна вошла раза два; занятіе дочерей, казалось, ей не нравилось; но она не выразила этого. Она присѣла у другого окна, смотрѣла передъ собою, смотрѣла на улицу, и была, видимо, озабочена. Она прервала чтеніе вопросомъ, что читаютъ, повторила вопросъ, потомъ спросила чья книга, и узнавъ, что она Боровицкаго, замѣтила:

— Развѣ у Боровицкаго есть книги?

Потомъ ее заинтересовало, достанетъ ли у Настасьи Михайловны шерсти на фонъ, когда и какого именно числа начата эта подушка, когда нужно возвратить узоръ, взятый у знакомой. Все это Ольга Александровна знала давно, и говорено объ этомъ было уже не разъ. Она заговорила о послѣднемъ посѣщеніи этой знакомой и о ея шляпкѣ; посѣщеніе было ничѣмъ незанимательно, шляпка тоже, и все, что можно было сказать о нихъ, было тоже уже давно и уже не разъ сказано. Очевидно, Ольга Александровна разговаривала, чтобъ не давать читать. Зачѣмъ — она сама не знала. Она не была недовольна выборомъ книги; ей, просто, не хотѣлось, чтобы дѣлали то, что дѣлаютъ. Замѣтя, что Даша, во время разговора, опустила глаза въ книгу, Ольга Александровна встала и ушла съ досадой.

— Я буду читать, сказала Даша.

Ее скоро прервали; въ прихожей раздался стукъ галошъ и сниманье шубы. Гость шелъ безъ доклада, какъ это дѣлалось всегда въ домѣ Деневскихъ.

— Николай Александровичъ!.. шепнула Даша, увидя его издали въ залѣ.

Настасья Михайловна вспыхнула, взяла у нея книгу и спрятала подъ покрышку своихъ пялецъ.

Это движеніе не скрылось отъ Малѣева, который имѣлъ способность все видѣть.

Онъ былъ въ мундирѣ съ вышитымъ воротникомъ, при шпагѣ и съ треуголкой. Войдя, онъ раскланялся съ небольшой ужимкой, чтобы забавнѣе выставить свой костюмъ, и съ серьезной миной, будто дѣлалъ это ненарочно.

— Дашенька, чему вы?! сказалъ онъ дѣвочкѣ, которая разсмѣялась:—вотъ, ей-Богу, насмѣшница! Я явился поздравить съ высокоторжественнымъ днемъ, въ полной формѣ, спѣшилъ вамъ первый представиться, для того и грѣхъ великій совершилъ — недостоялъ молебна—а вы...такой пріемъ!!.. Я рѣшительно потерялся. Вы бы брали примѣръ съ сестрицы: она не улыбнется... Ахъ, вы, насмѣшница!

— Сами вы насмѣшникъ, возразила Даша.

Ее будто кольнуло единственное слово, выговоренное Малѣевымъ безъ смѣха въ голосѣ: «она не улыбнется». Настасья Михайловна, въ самомъ дѣлѣ, не улыбнулась.

— Много въ соборѣ? спросила она.

— Сплошная масса народа, отвѣчалъ серьезно Малѣевъ: — духота самая умилительная... Дашенька, что вы такъ смотрите?—Жаръ располагаетъ всякаго къ кротости сердца, слѣдовательно, и къ умиленію. Я тоже былъ умиленъ, и потому, чтобы скрыть чувства, которыхъ не желалъ выдавать публикѣ, убрался поскорѣе. Былъ еще тамъ мужъ, гонимый судьбою, который порывался сдѣлать то же, да не посмѣлъ.

Вошла Ольга Александровна. Ея дочери были замѣтно неоживлены, невеселы; это всегда ее одушевляло.

— Кто это мужъ, гонимый судьбою? спросила она, уже смѣясь и даже любезно давая руку Малѣеву.

— Если бы я смѣлъ назвать его, я сказалъ бы: Грегуаръ Боровицкій! отвѣчалъ Малѣевъ.

Онъ сталъ еще развязнѣе, точно будто приходъ Ольги Александровны сдѣлалъ его сильнѣе, подкрѣпилъ шутить на зло дѣвушкамъ.

— Боровицкій!.. презрительно произнесла Ольга Александровна:—и онъ тоже былъ въ соборѣ?

— Какъ же-съ... сухо отвѣчалъ Малѣевъ, вынувъ книжку, спрятанную Настасьей Михайловной, посмотрѣвъ на имя владѣльца, выбитое на корешкѣ и осторожно положивъ ее на прежнее мѣсто.—Но madame Боровицкая—очаровательна.

— Была тоже?!

— Была... Очень много дамъ было... Цвѣтъ ревности лиловый, кажется? На madame Боровицкой было лиловое платье, и морозъ разсыпалъ легкія фіалки на ея носъ и бороду. Восхитительная женщина. Я танцую съ ней третью кадриль въ собраніи и буду говорить о чувствахъ. Я такъ былъ пораженъ ея красотой и, въ особенности, фіалками, что воспользовался минутой, когда она возвела свои кристальныя очи къ люстрѣ, и шепнулъ: «третью кадриль...» Она была въ горнихъ, но разслышала.

— Разслышала? повторила Ольга Александровна, съ особенной радостью.

— Какъ же не разслышать, рѣдкость такая: приглашеніе на кадриль, да еще заранѣе!

— И еще въ обѣдню, сказала равнодушно Настасья Михайловна.

— Да-съ, на то мы грѣшники, возразилъ сухо Малѣевъ.

— Что-жъ, развѣ это преступленіе? что же ты находишь тутъ неприличнаго? спросила Ольга Александровна, взглянувъ на дочь, и, не получивъ отвѣта, повернулась къ Малѣеву.—А сестра ея, предводительша, была?

— Да, какъ же, все семейство. Зинаида Сергѣевна, точно, красавица.

— Ахъ, красавица! повторила Ольга Александровна:—и всѣмъ семействомъ? И Петръ Иванычъ? То-то, я думаю, хорошъ онъ, полный такой, въ мундирѣ...

— Да...

— И дѣти?

— И дѣти, и гувернантка. Подлѣ меня стояли. И вдругъ чувствительная сцена. Вижу, подлѣ дочекъ Зинаиды Сергѣевны торчитъ еще третья дѣвчоночка, элегантная такая же, въ шляпкѣ, въ шелку. Я и не зналъ, что у madame Боровицкой тоже есть свое произведеніе. Вдругъ, это сокровище становится на колѣни и начинаетъ усердствовать, упивается дымомъ кадильнымъ, вперила взоры въ архіерея; пѣвчіе запѣли — она поклонъ за поклономъ. Тщетно гувернантка, а затѣмъ и маменька приглашаютъ ее къ порядку, убѣждаютъ, что столько умиленія не требуется... Вотъ, Дашенька, я вамъ говорилъ объ умиленіи!.. Не внемлетъ. Ей пригрозили, что сейчасъ увезутъ домой— она въ слезы. Едва уняли. Маменька ея очень ажитировалась и все передо мной извинялась, что ея Мари въ первый разъ въ соборѣ. Я скорчилъ нѣжную мину, говорю: «милое дитя»... а самъ думаю: «дать бы мнѣ только сіе милое дитя въ руки»...

— Я слышала, дочка Боровицкаго прелесть какъ хороша собою? спросила Настасья Михайловна.

— Развѣ вы никогда ее не видали?

— Нѣтъ. Мнѣ говорили.

— Развѣ, что дочка Боровицкаго, то ужъ и не можетъ быть дурна? возразила Ольга Александровна, какъ будто съ нею спорили.

— Боровицкая знакома съ вами? спросилъ Малѣевъ.

— Нѣтъ. Ни она, ни ея мать. Мужъ знакомъ, прибавила Ольга Александровна, нахмурясь:—вотъ книги имъ возитъ.

— Да... Онъ читаетъ, сказалъ вскользь Малѣевъ, всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Да, вотъ, и онѣ скоро зачитаются, продолжала Ольга Александровна: — я говорю что, Николай Александровичъ — какое удовольствіе у насъ для молодой свѣтской женщины, блестящей? какое общество? Это, вотъ, Боровицкому какому нибудь; онъ, говорятъ, артистъ какой-то...

— Какъ же, занимается литературой, изящными искусствами, отвѣчалъ Малѣевъ, подходя къ пяльцамъ: — онъ не рисовалъ вамъ ничего въ альбомъ, Настасья Михайловна?

— У меня нѣтъ альбома, отвѣчала она, поднявъ на него глаза.

— Почему же нѣтъ? неужели изъ ложнаго стыда, что... Пушкинъ, кажется... насмѣшничалъ? Я нахожу, напротивъ, что альбомъ—это такъ трогательно...

Она взглянула на него опять; онъ засмѣялся, какъ дѣлалъ всегда, чтобы справить неудачную шутку.

Вдали раздался стукъ сѣнной двери и отчаянный голосъ Деневскаго; ему вторилъ другой голосъ басистый и довольно грозный; оба бранились, что некому принять шубы. Отъ сбѣгающихся лакеевъ, казачковъ и горничныхъ въ домѣ сдѣлалась суматоха. Ольга Александровна пошла на встрѣчу мужу и гостю.

Гость былъ отставной военный генералъ, въ орденахъ, старикъ, рослый, здоровый. Ольга Александровна обрадовалась ему до нѣкоторой степени испуга.

— Боже мой! генералъ, вы восхитительны, восхитительны! вскричала она, всплеснувъ руками, и когда онъ поцѣловалъ ихъ, расцѣловала его въ лобъ:—вы просто удивительный красавецъ!

— А между тѣмъ — шестьдесятъ-съ! отвѣчалъ онъ любезно и очень громко. — Муженекъ-то вашъ, перемерзъ. Куда, братецъ? вскричалъ онъ, ловя Деневскаго за его торчавшую шпагу: — куда? къ халату пробираешься, за печку? нѣтъ, погоди... Погоди, братецъ, помилосердуй, дай на себя поглядѣть, покуда ты еще похожъ на человѣка! вѣдь срамъ!

— Усталъ, батюшка, ваше превосходительство, Иванъ Дмитричъ, возразилъ Деневскій:—ужъ дозвольте...

— Ничего, братецъ, тебѣ не дозволяется, продолжалъ генералъ, входя между тѣмъ съ диванную:—сказано: въ полной формѣ весь день—за какія заслуги тебѣ поблажка? къ немощи, что ли, снисходя?

— Къ немощи, къ немощи! повторили, смѣясь, Ольга Александровна и Малѣевъ.

Генералъ здоровался съ нимъ. Настасья Михайловна поклонилась, привставъ изъ-за пялецъ, и опять сѣла. Даша сдѣлала реверансъ.

— Здравствуй, сударыня, сказалъ ей генералъ, приподнимая ее за плечи, и поцѣловалъ въ обѣ щеки. — Что отворачиваешься?«Ай, Schande, совѣстно, молодой человѣкъ видитъ!» Недоросла еще, матушка, совѣститься. Я смотрѣлъ, какъ тебя крестили... что?

— И конечно, такъ, подтвердила Ольга Александровна, между тѣмъ какъ Даша, вспыхнувъ, вытирала холодные слѣды генеральскихъ усовъ на своихъ щечкахъ:—что это ты? будто Богъ знаетъ что сдѣлалось!

— Жестки, видите, старые, подхватилъ, хохоча, генералъ:—а молоденькіе усики покажите—сама отведетъ въ сторонку да скажетъ: «цѣлуй еще, мало, покрѣпче»... Такъ-то, сударыня!

Онъ тормошилъ Дашу и обратился къ Малѣеву. Малѣевъ смѣялся.

— Ты старшую сестрицу спроси:—«пріятно ли, спроси, сестрица, цѣловать молоденькіе усики»... А? что? Что, Настасья Михайловна? Не слышу-съ, что изволите говорить?

Настасья Михайловна ничего не говорила, даже не оглядывалась. Генералъ окликалъ ее расшутясь и тихонько поталкивалъ Малѣева.

— Съ вами, матушка, и шутить нельзя, сказалъ онъ вдругъ серьезно, обидясь, что ему все-таки не отвѣчали.—Что-жъ это вы въ такой великій день за работой, въ черномъ платьѣ?

— Попалось подъ-руку черное, я и надѣла, и не хочется безъ дѣла сидѣть, кротко отвѣчала Настасья Михайловна.

— Восшествіе на престолъ нынче, матушка; безъ васъ всѣ дѣла обдѣланы.

— И мое шитье тоже? спросила она, улыбнувшись.

— Тьфу, ты, прости, Господи! вскричалъ генералъ:—да ты, матушка, вовсе богоотступница! Понятія у васъ! Въ трауръ нарядилась! Будь я отецъ или мать, я бы проломилъ твои пяльцы... Вотъ они, понятія!..

— Я говорила! сказала Ольга Александровна.—Скажи, сдѣлай милость, обратилась она къ дочери:—ты ужъ никакъ не можешь оставить этой работы дурацкой? Я говорила, отецъ просилъ...

Деневскій не возражалъ, хотя до этого времени и не замѣтилъ противозаконнаго поступка дочери. Онъ перезябъ, переконфузился и былъ озабоченъ: его сани сломались на дорогѣ изъ собора.

— Лучшій другъ дома, благодѣтель нашъ, продолжала Ольга Александровна, показывая на генерала:—онъ говоритъ то же...

Настасья Михайловна закрыла пяльцы, встала и вышла.

— Новенькіе-то, новѣйшіе, сказалъ генералъ, показывая ей вслѣдъ.—Дай-ка, братъ, сигарочку, съ горя. Э-эхъ!..

Деневскій засуетился съ сигарой.

— Спичекъ!.. прошептала Ольга Александровна Дашѣ.—Почтеннѣйшій мой Иванъ Дмитричъ, вы не откажетесь у меня стаканъ кофе выпить?

Генералъ шаркнулъ не вставая и проговорилъ, закуривая:

— Позвольте.

— Это у меня мигомъ! отвѣчала Ольга Александровна съ какой-то отвагой и вышла.

— Новенькіе-съ, повторилъ генералъ, помахивая пальцемъ на мѣсто, оставленное Настасьей Михайловной:—насъ со свѣту гонятъ, повѣяло на нихъ!

— Духомъ новымъ, прибавилъ Малѣевъ.

— Духомъ!! Я бы изъ нихъ духъ повышибъ! произнесъ генералъ, сверкнувъ глазами, выпустивъ клубъ дыма во всю комнату, и стукнулъ кулакомъ по столу:—вотъ какъ, разъ, два, и только мокро останется!

— Ой, ой! вскричалъ, хохоча, Малѣевъ.

— Да-съ, подтвердилъ генералъ: — кощунствуютъ тамъ, идеями занимаются. Ужъ и къ намъ сюда эта зараза проникаетъ. Я, вѣдь, тоже, благодареніе Богу, небезграмотный, читаю. Послушалъ, на дняхъ, какъ-то, сошлось этихъ нѣсколько фрачниковъ. Все рѣшили! все, однимъ почеркомъ, чему быть, чему не быть... Я позвалъ Андрея Семеныча, да говорю: развѣсь-ка еще, братецъ, уши, зѣвай еще; не по твоей это, видно, части?.. Э-хъ, и людишки-то нынче, на кого все возложено...

— Андрей Семенычъ отличается мягкосердіемъ, замѣтилъ Малѣевъ.

— Мокрая курица! вскричалъ генералъ.—Я имъ всѣмъ говорю: да помилуйте вы меня—чего вы смотрите?.. Я имъ всѣмъ говорю. Я и его превосходительству, Василью Васильичу не молчу. Что мнѣ! я самъ такое же превосходительство, не почище ли его. Я свою звѣзду кровью взялъ—это, вонъ, нынѣшніе ихъ съ неба хватаютъ...

— Да руки коротки, подсказалъ Малѣевъ.

— Вотъ это правда ваша, отвѣчалъ генералъ, пріятно переводя духъ:—руки коротки. Я—человѣкъ независимый и все гово-

рю, а вы—посовѣтую вамъ: поосторожнѣй. Гусей не дразните. Вы—человѣкъ служащій. Вы, хоть бы и правду, да въ карманъ ее, правду, въ карманъ. Поосторожнѣе. Изъ участія къ вамъ говорю.

— Очень благодаренъ вамъ, генералъ.

— Мнѣ другіе эти щелкоперы здѣшніе, хоть они пропадай, а въ васъ я прокъ вижу. Боровицкіе, тамъ, тому подобные... Боровицкій вашъ какъ носъ задралъ, у! Я мимо его прошелъ въ соборѣ—мимо носа-то—ей-Богу, зацѣпиться боялся.

— Дѣла серьезныя поручили, сказалъ Малѣевъ.

— Да, дѣла!.. Послушай-ка, братецъ, обратился генералъ къ Деневскому:—ты ужъ совсѣмъ осовѣлъ, словечка не вымолвишь. Что вашъ Боровицкій, какъ справляется?

— Ничего, такъ, отвѣчалъ Деневскій.

— Я думаю, что ничего! повторилъ генералъ и захохоталъ.

— Водотолченіемъ занимается, прибавилъ Малѣевъ.

— Да вѣдь и должность-то — водотолченіе, сказалъ генералъ: — вѣдь посадили человѣка такъ, хлѣба ему дали. Я всегда спрашиваю: скажите вы мнѣ, господа, на милость, что творятъ ваши слѣдователи, изслѣдователи, преслѣдователи? Не вѣдаютъ они и сами, что творятъ! истинно, не вѣдаютъ!.. Куча цѣлая ихъ здѣсь кишитъ, да въ другихъ мѣстахъ; вѣдь милліоны на нихъ идутъ одного оклада, да схватитъ тотъ-другой по мелочи...

— Ну! чаще крупно, сказалъ Малѣевъ.

— И какъ еще крупно-то! А вѣдь все съ кого? съ вашего брата, нечиновника. На то эта голь сотворена, чтобы насъ заѣдать. Законы, видите, изучаютъ, соблюдаютъ. Да, батюшки мои, и безъ нихъ законъ извѣстенъ! Ну, законъ... Они мнѣ прежде сочини такой законъ, чтобъ люди какъ люди жили, сдѣлай такъ—да тогда и блюди свой законъ. А то, кричать-то, судить, рядить... Въ самомъ дѣлѣ, иной воображаетъ себя репрезантантомъ какимъ нибудь, вранья своего въ дебатахъ нахватался... Это, вотъ, по ихъ части!

Генералъ махнулъ на входящую Настасью Михайловну.

— И несетъ, и несетъ околесную. Водотолченіе, какъ вы сказали. Въ дѣло бы ихъ—такъ они ни въ строй, ни къ смотру... Весной-то нынѣшней, что ихъ въ суды разные, съ позволенія сказать, понапрыгало: убоялись, не потребовали бы ихъ въ военную, такъ юркнуть куда нибудь поскорѣй... Да не понадобились ни на что, не спросили ихъ, безъ нихъ дѣло обошлось. Имъ теперь всякій прапорщикъ своей медалью глаза и колетъ... а прискорбно это, я думаю!

Генералъ засмѣялся.

— Вы, матушка, Настасья Михайловна, какъ думаете, прискорбно это или нѣтъ? По вашему, какъ патріотизмъ цѣнится? По дебатамъ-то?.. Вотъ, Малозеркинъ — вы его прежде здѣсь знать не хотѣли, изъ гарнизона — изъявилъ желаніе идти противъ мятежныхъ венгровъ, а ныньче, какъ пріѣхалъ въ отпускъ, его на рукахъ и носятъ. Гляжу, въ соборѣ: видный малый, эполеты свѣтленькіе, грудь впередъ, медаль сіяетъ... Боровицкій вашъ и укуси себя за локоть!

— Что же, отвѣчала Настасья Михайловна:—вѣдь Гергей сдался не Малозеркину.

— Что-съ? спросилъ генералъ громовымъ голосомъ, между тѣмъ какъ Малѣевъ смѣялся, но тихо и будто глядя въ окно.—Что такое-съ? Вы, матушка, понимаете ли, что вамъ говорятъ?

— О подвигахъ Малозеркина, отвѣчала Настасья Михайловна смѣясь: — вѣдь онъ самъ тамъ ровно ничего не сдѣлалъ и не умнѣе воротился.

Генералъ попунцовѣлъ. Малѣевъ поспѣшилъ ему на помощь, улыбаясь по-своему.

— Его превосходительство хочетъ сказать, объяснилъ онъ: — что всякій, по мѣрѣ средствъ, какъ пчела въ ульѣ.

— Оставьте ее, батюшка, что слова терять, прервалъ генералъ, передохнувъ.—Отцу съ матерью утѣшеніе сужденія, вотъ, этакія. Случись, что въ семьѣ, напримѣръ, она вамъ и занесетъ... Вѣдь тоже новенькіе-то и въ семейныя реформы пустились. Какъ же! Слышали вы, какъ Боровицкій ораторствуетъ? любо-дорого послушать!

— Слышалъ, слышалъ, весело отвѣчалъ Малѣевъ.

— Свобода, тамъ, разныя разности, продолжалъ генералъ, смѣясь тоже:—а я, знаете, слушалъ да думалъ: пошли-то Господи, чтобъ его супруга наслушалась, да взбрыкнула! Посмотрѣть бы тогда, какъ онъ отъ своихъ идей—на попятный!

— Что вы, ваше превосходительство, возразилъ Малѣевъ:—да онъ будетъ радехонекъ!

— Какъ такъ?

— Просто: вѣдь онъ съ ней десять лѣтъ блаженствуетъ, терпѣнія не стало, самому вспорхнуть захотѣлось.

— Такъ это—отводъ?

— Ловкій маневръ! подтвердилъ Малѣевъ

— Ахъ, вы, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! повторилъ генералъ, смѣясь съ полнымъ удовольствіемъ:—а я бы и не догадался. Да онъ бы, попросту, уѣхалъ отъ нея, семь рѣкъ переѣхалъ—и права не имѣетъ она его требовать! по старинному и словъ не тратя, краснорѣчія! Надо только отъ жены за семь рѣкъ уѣхать...

— Да его и за семь лужъ не отпустятъ, прервалъ Малѣевъ:—помилуйте, ваше превосходительство, онъ такъ нѣжно обожаемъ и супругой, и ея маменькой; съ него глазъ не сводятъ. Маменька-то, кажется, влюблена въ него больше, чѣмъ сама его Надина...

— Охъ, умора они всѣ!.. прервалъ генералъ и обратился къ безмолвному Деневскому.—Вотъ я, братецъ, на твоемъ мѣстѣ, отъ твоей бы жены за семь рѣкъ уѣхалъ; посулила кофе «мигомъ», а его все нѣтъ, и сигара почти докурилась... Такой-то у васъ краткій мигъ бываетъ, матушка Ольга Александровна.

Генералъ отворилъ дверь во внутреннія комнаты и кричалъ туда:

— Ольга Александровна, васъ за смертью, матушка, посылать хорошо: долго не дождешься. Ну, нѣтъ кофейку у васъ не хватило, такъ бы и сказали... А? что-съ? Подите, на муженька полюбуйтесь: закоченѣлъ ужъ совсѣмъ. Я ему сейчасъ совѣтовалъ васъ бросить, да ужъ не знаю, кому кого бросать...

— О, мой безподобный Иванъ Дмитричъ! сказала Ольга Александровна, являясь въ дверяхъ.

За нею казачокъ несъ на подносѣ два стакана кофе. Генералъ взялъ первый и, между прочимъ, далъ щелчокъ въ носъ мальчику, промолвивъ:

— Не плескай, привыкай держать твердо.

Ольга Александровна стала развивать это нравоученіе. Малѣевъ пристально взглянулъ на то, что ему подавали, отказался и сталъ разсказывать, какъ недавно, на одномъ вечерѣ, чуть не отравился изъ учтивости: хозяйка сама предложила ему мороженаго. Малѣевъ представилъ въ лицахъ эту хозяйку, ея мужа, лакея, подававшаго мороженое, показалъ размѣръ куска, лежавшаго на блюдечкѣ, упомянулъ о цвѣтѣ мороженаго, о трещинѣ на блюдечкѣ, о кривой ложечкѣ, и заключилъ, что хотя пострадалъ самъ, за то спасъ другого, готоваго погибнуть.

— Вижу Гравинъ протягиваетъ руку къ подносу... «Несчастный, остановись!» воскликнулъ я:—«это—патока!»

Генералъ, между тѣмъ, выпивалъ свой стаканъ.

— Ну, матушка, у васъ тоже, никакъ, патока, сказалъ онъ, бросая ложечку, и обратился къ Малѣеву.—Это, я знаю, вы у Лобцовыхъ были. Это—вѣдь животныя.

— Отчасти, досказалъ Малѣевъ.

При этихъ словахъ вошелъ Боровицкій.

— Не отчасти-съ, а совсѣмъ, подтвердилъ генералъ, вставая на поклонъ новаго гостя.

Въ комнатѣ было шумно отъ генеральскаго голоса, но онъ вдругъ притихъ. Генералъ бывалъ веселъ и шутливъ только съ тѣми, къ кому благоволилъ. Онъ вдругъ сдѣлался серьезнымъ; хозяева даже оторопѣли. И было отчего: Боровицкій былъ въ сюртукѣ.

— Здравствуйте, выговорилъ съ усиліемъ Деневскій.

— Какъ здоровье вашей Надежды Сергѣевны? спросила Ольга Александровна церемонно и тихо.

— Благодарю васъ, здорова, отвѣчалъ Боровицкій:—я сегодня только мелькомъ ее видѣлъ.

— Мелькомъ? отчего же? продолжала Ольга Александровна, занимая гостя и, повидимому, особенно интересуясь его женой.

— Она раньше меня уѣхала въ соборъ.

— А я такъ жалѣю, неудалось помолиться сегодня, сказала Ольга Александровна.

— Да-съ потеряли много, вступился генералъ:—пѣли славно. Только бы я этого регента архіерейскаго... Что это, помилуйте вы меня! какъ затянули концертъ—ну, конца нѣтъ! Я у клироса стоялъ: «братецъ, говорю, уймись ты, сдѣлай божескую милость, будетъ тебѣ; вы накричались, а мы наслушались...» А они все свое!

Малѣевъ засмѣялся.

— И за проповѣдью у васъ что-то было, я видѣлъ, сказалъ онъ.

— Да вѣдь, что же онъ, батюшка, этакую тетрадищу вывалилъ? кому ее слушать? И добро бы что еще слушать, а то «блаженъ человѣкъ, иже и скоты милуетъ»—не знали мы этого прежде его! Что нибудь приличное избери, да и говори, проповѣдуй!.. Мы, видите, скотовъ своихъ не милуемъ; да онъ бы прежде спросилъ, каково намъ съ скотами. Своихъ нѣтъ, такъ онъ и несетъ...

— Часто бываете у Петра Иваныча? спросила Ольга Александровна, сама не зная зачѣмъ, у Боровицкаго.

— У кого?

— У предводителя, у вашего beau-frère, сказала Ольга Александровна, съ легкимъ упрекомъ.

— Нѣтъ.

— Почему же?

— Некогда. Дѣлъ много.

— Государственныхъ, произнесъ генералъ.—Какія же это, батюшка, такія особенныя?

Хотя Боровицкій старался дать замѣтить свое равнодушіе къ генералу, но на его слова обратился немного поспѣшно для человѣка равнодушнаго и отвѣчалъ не небрежно, а скорѣе съ изящно-шутливой лѣнью:

— Бездна! съ утра не дадутъ опомниться! Бумагъ, бумагъ—право, у меня въ кабинетѣ скоро негдѣ будетъ отъ нихъ повернуться.

— Такъ-съ, сказалъ генералъ.—У кого же нѣтъ дѣла, батюшка? Вотъ, постарше васъ человѣкъ (онъ указалъ на Деневскаго), а такъ-то отъ дѣла хряшки болятъ, что ой-ой-ой...

— Еще какъ! прибавилъ Деневскій и схватился за спину.

— А вотъ и молодой, вамъ ровесникъ, продолжалъ генералъ:—смѣты да постройки; легко, что ли? не жалуется...

— Охъ, нѣтъ, погибаю въ дѣлахъ! прервалъ Малѣевъ.

— Вамъ я скажу откровенно, возразилъ ему наставительно генералъ:—вы лишнее хлопочете, больно ретивы.

Генералъ усмѣхнулся, чему засмѣялись хозяева и Малѣевъ.

— Изъ чего вы бьетесь? Казенныя постройки—да на нихъ всякій годъ ремонтъ. Вамъ что церемониться? Что больше работы, то лучше, ну, хоть рабочіе спасибо скажутъ. Обвалилось, такъ обвалилось—на подрядчика... Вонъ, въ казармахъ опять потолки провалились, а лѣтомъ только вы ихъ чинили, и Господь съ вами: давай вамъ Богъ еще, отъ всей души говорю...

Малѣевъ никогда не краснѣлъ, прекрасно владѣя собою; онъ отвѣчалъ серьезно:

— Потолки въ казармахъ обрушились, дѣйствительно, по винѣ подрядчика. Онъ—мошенникъ.

— Да Господь съ нимъ, мошенникъ онъ или не мошенникъ! Я слѣдствіе надъ нимъ не произвожу. Дѣло безгрѣшное, жить надо, и, откровенно скажу, глупы вы будете, если о себѣ не постараетесь...

Боровицкій захохоталъ. Малѣевъ захохоталъ еще громче, что напомнило Боровицкому неловкость его веселости. Онъ вздумалъ поправиться.

— Совѣтъ на старинный ладъ, ваше превосходительство? сказалъ онъ съ снисходительной улыбкой.

— Какъ, на какой ладъ?

— Да, потому что ужъ въ нынѣшнее время...

Генералъ вспыхнулъ. Деневскій проводилъ дурную минуту, Ольга Александровна съ упрекомъ взглянула на дочь, Малѣевъ былъ тоже слегка затрудненъ; хорошо, что генералъ скоро облегчилъ для всѣхъ это положеніе.

— Въ наше время-съ, въ старину, выговорилъ онъ смиреннымъ тономъ, не глядя на Боровицкаго:—конечно, все мошенники были, неучи, крали да дичь пороли. Ну-съ, а въ ваше... въ нынѣшнее, то-есть, изъ чести служатъ, воровать не воруютъ, или тамъ Господь вѣдаетъ, да за то и дѣла не дѣлаютъ.

— Надо еще понять, дѣло ли намъ даютъ дѣлать, возразилъ Боровицкій.

— А что же такое-съ?

— Вздоръ, пошлости! Мы не имѣемъ возможности доказать наши... наши... наши убѣжденія! Мы не имѣемъ голоса...

Генералъ всталъ такъ, что закачались его кресты и медали.

— Видите, чего захотѣли! сказалъ онъ, посмѣиваясь:—не собраніе ли вамъ національное устроить, законы издавать? Чудеса! Голоса нѣтъ? зачѣмъ же дѣло стало? голосистыхъ намъ не занимать: иной вѣкъ свой у себя на огородѣ воронъ пугалъ—вотъ и голосъ!

— Вы говорите о людяхъ необразованныхъ, началъ Боровицкій.

— О всякихъ-съ.

— Эти люди... majorité... балластъ; они только ревѣть умѣютъ.

— Ну, мажорите, медвѣди, медвѣди! извѣстно, всѣ скоты!

— А образованнымъ людямъ у насъ мѣста нѣтъ, хода не даютъ...

Малѣевъ подошелъ къ Настасьѣ Михайловнѣ.

— Я очень уважаю мужество, сказалъ онъ ей тихо, съ своей вѣчной улыбкой, напирая по обыкновенію на всѣ напыщенныя слова, которыя употреблялъ въ разговорѣ.

— Какое мужество?

— Мужество, напримѣръ, идти прямо въ пасть льва... Вы не находите, что профиль его превосходительства похожъ на львиный?

— Не нахожу, отвѣчала она серьезно.

— Вы не всмотрѣлись, или взглянули не съ той стороны: справа, дѣйствительно, онъ не левъ: тамъ у него торчитъ вихоръ, подобіе ослинаго уха, но вотъ, слѣва...

Она не подняла глазъ и не сказала ни слова.

— Боровицкій—отважный человѣкъ, са-

моотверженный, продолжалъ Малѣевъ, съ злостью закусивъ губу, но смѣясь:—возражаетъ его превосходительству, помилуйте, геройство!! Не берусь рѣшить, кто изъ нихъ наговоритъ больше чепухи, но препираться съ его превосходительствомъ!.. Мнѣ было бы любопытно знать, кому изъ нихъ вы сочувствуете?

— Генералу, отвѣчала она, вдругъ взглянувъ на него прямо.

— Настасья Михайловна! возможно ли?..

— Почему же нѣтъ? А вы?

— Нѣтъ, но это такая шутка...

— Вѣдь вы же шутите, вѣчно шутите... На чьей сторонѣ? По моему, не знаю, все ли дѣльно, что говоритъ Боровицкій; но мнѣ кажется, онъ говоритъ честно...

— Геройски самоотверженно! я благоговѣю и преклоняюсь!

— Скажите просто, прямо, кто по вашему правъ? что за «геройство, самоотверженіе...»

— О какомъ ты самоотверженіи толкуешь? спросила Ольга Александровна съ нетерпѣніемъ, какъ будто слова дочери мѣшали всему, что дѣлалось въ комнатѣ:—что за самоотверженіе ты тутъ выдумала?

— Настасья Михайловна, вы видали непризнанныхъ геніевъ? сказалъ Малѣевъ.

— Не случалось.

— Такъ, вотъ, единый изъ нихъ предъ вами!

— Кто это?

— Неужели вы предполагаете—генералъ? возразилъ Малѣевъ, хохоча шопотомъ.

— Такъ кто же?

— Ну, Боровицкій, конечно; это написано на челѣ и во взорѣ...

— Право, у Боровицкаго довольно ума, чтобъ не воображать о себѣ такой глупости, возразила она и покраснѣла отъ досады, что, не выдержавъ, сказала рѣзко.

Малѣевъ наклонился къ ней, глядя близко своими узкими и яркими глазами; онъ не улыбался, но безъ улыбки его лицо было еще болѣе ѣдко насмѣшливо.

— Это, конечно, человѣкъ сильнаго ума, съ высшими взглядами, сказалъ онъ.—Идеи у него самыя смѣлыя. Онъ знаетъ, что онѣ ни на что не годятся, а потому можетъ быть спокоенъ, что его никогда не озаботятъ просьбою—приложить эти идеи къ практикѣ. И также, совершенно безмятежно и безпрепятственно, онъ можетъ выражать ихъ какъ ему угодно громко.

— Почему же? спросила Настасья Михайловна.

— Почему-съ?.. Да по пословицѣ: съ вздора пошлинъ не берутъ... Увы, онъ безопасенъ! Можетъ быть, для генія и для душъ, ему сочувствующихъ, эта безопасность и прискорбна, но...

Генералъ между тѣмъ довелъ свой разговоръ съ Боровицкимъ до спора, а споръ до крика. Генералъ всегда бралъ крикомъ.

— Что? обратился онъ вдругъ, прослыша одно слово изъ того, что говорилъ Малѣевъ:—что вамъ прискорбно? Вотъ что прискорбно, вотъ, вотъ! Вотъ—кричитъ, и того не надо, и другое, и третье не такъ! Вы мнѣ укажите, что по вашему такъ!

— Но я ужъ доказывалъ, возразилъ Боровицкій:—когда даже и въ проповѣди слова «право человѣка...»

У него разгорѣлось лицо, но чѣмъ больше выходилъ изъ себя генералъ, тѣмъ больше Боровицкій старался выражаться и даже держаться изящнѣе.

— Что вы доказывали-то? Я, вотъ, пошлюсь (генералъ обвелъ руками на всѣхъ, не исключая совсѣмъ замершаго Деневскаго), какъ называется, что вы доказываете-то?

— Называется прямымъ взглядомъ на вещи...

— Называется своеволіемъ-съ!

— Нѣтъ-съ! это прямой взглядъ честнаго человѣка, не эгоиста, которому ни до чего нѣтъ дѣла...

— Благоговѣю!.. прошепталъ Малѣевъ, не относясь ни къ кому, но глядя на Боровицкаго, и съ ужасомъ поднялъ немного руки.

— Это кому же нѣтъ дѣла? кто же эгоистъ? вскричалъ генералъ.

— Люди, которые судятъ холодно...

— Вотъ, погодите, прохладятъ вашихъ горяченькихъ!

— Сами остынутъ, проговорилъ сквозь зубы Малѣевъ.

— Люди, которымъ такъ дорога ихъ личность...

— Личности, батюшка, никто не позволитъ коснуться! Нѣ-ѣтъ! небось! и вамъ тоже комаръ на носъ не садись!

— Люди, которымъ такъ дорога ихъ собственность...

— Да вы-то вашу собственность отдадите? Вы что отдадите?

— Э, да ничего не отдастъ! сказала Ольга Александровна, неслышимая среди спора и съ жестокимъ глубокаго презрѣнія:—что ему отдавать? проговорила она вполголоса, но слышно для дочери, которая вспыхнула:—матушка, ты еще что?..

— Но развѣ одни матеріальныя пожертвованія... продолжалъ Боровицкій.

— А, вотъ оно что, не матеріальныя! Ну-съ, а идеальныя ваши разглагольствія мы слушали, слушали и не переслушаешь! Вотъ, какъ вась задѣть за живое, сказать «отдай», вы и пошли назадъ: «мы, дескать, не то разумѣемъ!» А вотъ, шкуру свою отдать, фунтовъ пять костей положить...

— На алтарь отечества, досказалъ Малѣевъ.

— Но не всѣмъ же класть кости на этотъ алтарь, возразилъ Боровицкій: — не одна сила, нужна и мысль... иной и не видалъ сраженій...

— Пороху не нюхалъ, такъ порохъ выдумываетъ, загремѣлъ генералъ: — и коситъ, и коситъ, и направо, и налѣво, и во всѣ стороны! самъ съ ноготокъ... Да разочли ли вы, хоть бы это вы въ толкъ взяли: вѣдь не смѣришь, чего вы касаетесь! Вѣдь громада!..

— Громада! повторилъ Малѣевъ.

— Громада! повторила Ольга Александровна, съ восторгомъ глядя на генерала, который вытянулся.

— Вѣдь посмотрѣть на васъ, на всѣхъ... (Генералъ кинулъ взоръ на Боровицкаго и потомъ на полъ, къ ногамъ своимъ),— взглянуть только—тутъ вы и умерли, и нѣтъ васъ...

— Браво!! вскричалъ Малѣевъ и обратился къ Настасьѣ Михайловнѣ. — Нѣтъ, хоть я и невеликій человѣкъ, но чувствую въ груди моей силы необъятныя! Патріотизмъ его превосходительства я понимаю... Получаетъ полный окладъ жалованья въ пенсію, прибавилъ онъ шопотомъ, почти ей на ухо:— женихъ!..

Она встала и отошла отъ него. Ея движеніе обратило вниманіе Боровицкаго, такъ же какъ «браво» Малѣева успокоительно подѣйствовало на генерала.

— А между прочимъ... Прощай, братъ, сказалъ генералъ Деневскому, взглянувъ на свои часы.—Домой пора.

— Вы у Василья Васильевича обѣдаете? спросилъ Деневскій.

— У градоначальника-то вашего? Въ мундирѣ-то? Нѣтъ, братъ, у меня свои щи да каша. Это вамъ, чиновникамъ, градоначальники нужны, а мнѣ...

Онъ махнулъ рукой.

— Однако, послѣ всего того, что вы сейчасъ говорили, въ офиціальный день... началъ Боровицкій.

— Послушайте... прервала его Настасья Михайловна.

Она доставала книгу съ пялецъ, чтобъ отвлечь его отъ новаго спора; ей удалось.

— Чего-съ? спросилъ генералъ и, видя, что его противникъ ужъ занятъ, отвернулся, опять махнулъ рукой и потомъ подалъ ее Малѣеву.

Хозяева пошли провожать его и не возвратились: Деневскій спѣшилъ успокоиться, а Ольга Александровна узнавать, обѣдаетъ ли онъ у губернатора?

VIII.

Настасья Михайловна молчала; шумъ ее отуманилъ, въ головѣ не связывалось и двухъ мыслей. Впечатлѣніе всего, что было за минуту, повторяло и добавляло ту пошлую тяжесть, которая лежала надъ жизнью и доводила до тупого отчаянія. Боровицкій хмурился.

— Генералъ Осминниковъ, или благодѣтельная гроза! сказалъ Малѣевъ.

— Почему? спросилъ Боровицкій.

— Какъ же? Во-первыхъ — послѣ того тишина, а во-вторыхъ—благія послѣдствія; вотъ Настасья Михайловна и хотѣла бы работать, но не смѣетъ привоснуться: ей внушено, что день торжественный. Да и вамъ-съ...

— Наказанье такіе господа, сказалъ Боровицкій.

— Я что люблю въ немъ, продолжалъ Малѣевъ: — это — величіе! Громовержецъ свершилъ свое и удалился, убѣжденный, что всѣхъ убѣдилъ.

— Зачѣмъ же вы оставили его въ этомъ убѣжденіи? спросила вдругъ и рѣзко Настасья Михайловна.

— Я? спросилъ Малѣевъ, оглянувшись на нее съ удивленіемъ.

— Да. Зачѣмъ же вы ему не возражали?

Малѣевъ вспыхнулъ, и вдругъ расхохотался.

— Убоялся, видя гибель Григорія Николаича, отвѣчалъ онъ. — Я вѣдь трусъ, Настасья Михайловна. Мужество — добродѣтель мнѣ недоступная. Вѣдь что же-съ? Такъ чиновенъ, такъ громаденъ, такъ велегласенъ! слѣпая сила, паровозъ, идолъ индійскій!.. Слышали? изрекалъ смертные приговоры! Одинъ боецъ палъ въ глазахъ вашихъ, что-жъ, вамъ хотѣлось, чтобъ ужъ и другого?.. Жестокая!

Боровицкій засмѣялся.

— Вамъ хотѣлось, чтобъ и Николай Александровичъ спорилъ? спросилъ онъ Настасью Михайловну: — тогда бы, конечно, генералъ не вышелъ такимъ побѣдителемъ;

я не умѣю спорить, я увлекаюсь, а холодный сарказмъ...

— Да вѣдь онъ не понимаетъ! возразилъ Малѣевъ, обращаясь къ Боровицкому съ какой-то откровенной пріязнью.—Ему что хотите, его не проймешь. И къ чему шутки, когда все такъ просто, когда убѣжденіе говоритъ само за себя...

— А вы раздѣляете убѣжденія Григорія Никалаича? петерпѣливо спросила Настасья Михайловна.

— Но какъ же иначе? съ живостью прервалъ ее Боровицкій:—развѣ возможно думать иначе?..

— Очень возможно.

— Генералу, положимъ, но въ Николаѣ Александровичѣ я не сомнѣваюсь ни минуты...

— Я говорю, что эти убѣжденія геройскія, самоотверженныя, отвѣчалъ Малѣевъ серьезно и взглянувъ на нее вызывающимъ взглядомъ: — но я вижу, вамъ угодно сдѣлать мнѣ врага. У васъ явилась новая симпатія... къ генералу, чѣмъ же я-то виноватъ? Я уже имѣлъ честь смиренно признаться, что не имѣю претензіи быть великимъ человѣкомъ. За что-жъ приносить меня въ жертву? Пощадите, хотя ради стараго знакомства!

Онъ сказалъ послѣднія слова такъ забавно и засмѣялся такъ пріятно, что увлекъ и Боровицкаго.

— А вы... щадите ради чего нибудь? спросила Настасья Михайловна, и голосъ ея чуть-чуть дрогнулъ.

— Ахъ, но для шутки, для смѣха, возразилъ Боровицкій: — Николай Александровичъ посвятилъ себя изученію смѣшного, онъ оживляетъ общество...

— По мѣрѣ моихъ силъ и способностей, подхватилъ Малѣевъ, отступивъ за спину Боровицкаго и хохоча, глядя на него: — я служу и мною довольны.

— Ну, не всѣ, сказалъ дружески Боровицкій: — нѣкоторыя дамы говорятъ, что для васъ нѣтъ ничего священнаго.

— Пусть побіютъ меня каменіемъ, вскричалъ Малѣевъ: — пусть растерзаютъ, какъ древле—менады... Кого это онѣ растерзали? вы знаете, Настасья Михайловна!

— Надъ чѣмъ вы смѣетесь? прервала она.

— Какъ надъ чѣмъ? Вы видите, мнѣ сочувствуютъ...

— Нѣтъ, позвольте, знаете ли вы сами, надъ чѣмъ вы смѣетесь? повторила она. — Составили ли вы себѣ какое нибудь опредѣленное понятіе, что вотъ это хорошо, это—дурно, это—правда, а это—ложь...

— Дерзко смѣю думать, Настасья Михайловна, что я что нибудь понимаю.

— Такъ для чего-жъ вы сейчас смолчали генералу? онъ стоилъ насмѣшки.

— Рѣчь шла о предметахъ столь важныхъ...

— Но, Николай Александровичъ, однѣми мелочами жить нельзя. Генералъ или кто другой заведетъ рѣчь объ этихъ важныхъ предметахъ—вы останетесь къ нимъ равнодушны? Неужели вамъ все равно, какъ бы другіе криво ни судили? Вѣдь у васъ есть же ваше мнѣніе, вы обдумали что нужно, что вредно, что полезно обществу... ну, отечеству, человѣчеству? Вѣдь ваши интересы—не однѣ наши губернскія сплетни?

— Я предоставляю эти интересы болѣе сильнымъ умамъ, Настасья Михайловна, тѣмъ, кто выше губернскихъ сплетенъ, какъ вы выразились. Я — губернскій сплетникъ, только чувствую свое ничтожество! Мое мнѣніе — что всего бы лучше поручить эти интересы человѣчества, отечества — женщинамъ. Онѣ какъ разъ все разсудятъ: умъ ихъ тонкій, самоувѣренность великая, начитанность, энтузіазмъ... ну, все въ этомъ родѣ, что слѣдуетъ! А не хватитъ храбрости, такъ онѣ испытаютъ ее прежде въ семейныхъ браняхъ...

— Вамъ входило въ голову когда нибудь, прервала она и поблѣднѣла: — что иногда шутка на видъ смѣшна, а внутри ея... можетъ быть, смерть?..

— Видимый смѣхъ, невидимыя слезы, Гоголь или самъ Шекспиръ? Это ужъ трагично!

— Взялись осуждать, такъ обязаны подумать, сказала она, замѣтно потерявъ терпѣніе.

Малѣевъ захохоталъ.

— Еще никто не умиралъ отъ моей шутки, Настасья Михайловна, я не видалъ! Это было бы эфектно; признаюсь, я бы возгордился. Это придало бы мнѣ нѣкотораго рода, знаете... этакое, міровое величіе...

— Да, это правда, отвѣчала она, засмѣявшись громко и рѣзко: — жаль только, что вы этого не дождетесь! А то, въ самомъ дѣлѣ, перебирать мелкіе грѣшки, осмѣивать чувства, передразнивать уродства, запугивать непонимающихъ, и за все это—только сочувствіе N-скаго общества! Правда ваша: это—бѣдное вознагражденіе!

Она замолчала. Малѣевъ вдругъ хватился за часы.

— О, какъ грустно прерывать бесѣду на такомъ интересномъ и патетическомъ мѣ-

стѣ! сказалъ онъ:—но долгъ и время... Позвольте отложить окончаніе до нынѣшняго вечера, въ собраніи. Контрастъ вашего трагическаго настроенія — вы, конечно, позаботитесь его поддержать: это очень эфектно—и пустота бальнаго блеска...

Она поклонилась молча.

— До свиданія, сказалъ Малѣевъ, подавая руку Боровицкому: — а я вамъ на прощанье... знаете, какъ шепчутъ въ мелодрамахъ таинственные незнакомцы: — «сынъ мой, берегись!...» и затѣмъ, быстро удаляются...

— «Приложивъ палецъ къ губамъ», досказалъ, улыбнувшись, Боровицкій.

— Да... эфектно, однимъ словомъ.

— Но кого же мнѣ беречься?

— Ну... хоть генерала! — До свиданія, Настасья Михайловна, повторилъ Малѣевъ.

Она нѣсколько секундъ посмотрѣла ему вслѣдъ, хоть замѣтно сжала руки и, опустивъ голову, смотрѣла на колески своихъ пялецъ. Въ ея душѣ что-то оборвалось. Она чувствовала, что сдѣлала что-то рѣшительное, окончательное, что была права, что ей было больно, что такъ лучше, что жить нечѣмъ, что—все равно, рано или поздно; что жизнь еще страшно долга впереди...

Боровицкій взялъ и пожалъ ея руку; она оглянулась.

— Все-таки невесело нажить себѣ врага, сказалъ онъ.

— Врага?.. повторила она, будто съ-просонка.

— Генералъ этотъ не проститъ, что я не уважаю его генеральства: пожалуй, вредить станетъ. Добавленіе къ прелестямъ провинціальной жизни!.. Впрочемъ, что же? я молчать не могу. Рѣзокъ я, такъ рѣзокъ; я готовъ жертвовать собой, но все скажу... Можетъ быть, и напрасно, но честные люди не разбираютъ, напрасно или ненапрасно собой жертвуютъ.

Онъ тяжело вздохнулъ и сжалъ руки въ колѣняхъ.

— И наговорилъ же я! продолжалъ онъ:— вы слышали?

— Что же?.. Ничего особеннаго... сказала Настасья Михайловна.

— Какъ ничего?

— Я, можетъ быть, не поняла...

— Да!.. Вы не поняли!

Боровицкій усмѣхнулся и грустно наклонилъ голову.

— Очень тяжело! сказалъ онъ вдругъ, съ порывомъ. — Скажите же что нибудь. Я жду отъ васъ. Въ васъ, въ это короткое время, я привыкъ находить друга; я привыкъ, чтобъ вы меня понимали. Я жду отъ васъ хоть одного слова поддержки, а вы молчите!

— Мнѣ самой нелегко, сказала она.

— О эгоизмъ! проговорилъ сквозь зубы Боровицкій.

Онъ помолчалъ опять. Ему было искренно скучно, но вмѣстѣ съ тѣмъ ему и нравилось, что ему скучно. Онъ желалъ бы показать, что своимъ молчаніемъ скрываетъ тяжелую печаль, но это могло не удаться, печали могли и вовсе не замѣтить, а потому онъ разсчелъ лучше говорить, немного стараясь, чтобъ это выходило краснорѣчиво. Отъ краснорѣчія, скука, забравшая за сердце, дѣлалась какъ-то чувствительнѣе, волновала сильнѣе, производила ощущеніе почти пріятное.

— Вамъ нелегко! повторилъ онъ: — отчего-жъ это?.. Не считайте меня, пожалуйста, тоже эгоистомъ, будто я не хочу или не умѣю принять участіе... особенно въ васъ. Но у васъ нѣтъ огорченій. Вы ихъ только воображаете. Ихъ нѣтъ. Вы... простите меня, вы немножко экзальтированы. Байроническій, черный взглядъ на жизнь— ну, имъ все и отравлено! Отъ этого вы и не можете понимать, что такое дѣйствительныя печали. Вотъ что я назвалъ эгоизмомъ. Это собственно не эгоизмъ, а такъ... мечтательность. Женщины всѣ такія. Я ихъ изучаю, знаю... Какъ же, живу все между женщинами.

Онъ усмѣхнулся кокетливо и очень граціозно.

Настасья Михайловна думала: «зачѣмъ онъ здѣсь? зачѣмъ говоритъ съ нею? неужели у нея не будетъ минуты покоя? На что ей этотъ чужой, на что ей кто нибудь на свѣтѣ? Надо что-то обдумать—но что думать?.. Посторонній... надо говорить съ нимъ; надо хоть слушать...»

— Какая тоска! продолжалъ Боровицкій.—Жаль, что вы съ нами незнакомы, вы бы посмотрѣли. Это любопытно... то есть тогда любопытно, когда есть сила наблюдать хладнокровно, воображать, что не меня терзаютъ, а кого нибудь другого. Цѣлый день мелочи, мелочи... О, мелочи! Знаете, отъ нихъ и несчастье человѣка. Дайте мнѣ борьбу, дайте мнѣ сильную опасность — я схвачусь, я знаю, что выйду съ честью, но тутъ... Вотъ вамъ, напримѣръ, мой день: я встаю... Но это и разсказывать нѣтъ силъ! «Возобновлять словами снѣдающую скорбь...»

Настасья Михайловна подняла голову и стала смотрѣть ему въ глаза, чтобы заставить себя понимать, что онъ говорилъ.

— Семья—это дѣло конченное, тутъ мнѣ ждать нечего. Общество — что такое это общество? Выскочка на выскочкѣ, чиновникъ на чиновникѣ; жить не умѣетъ никто рѣшительно. Хотѣлось бы устроить что нибудь, какъ говорится, сладить—общее удовольствіе, кружокъ, гдѣ бы можно было собраться, поговорить, прочесть иногда, составить спектакль, музыку, потанцовать безъ церемоній; дружескій кружокъ, вы меня понимаете... Но, во-первыхъ, я прикованъ — этимъ ужъ все сказано. И къ кому ни обратись—людей нѣтъ. Вы не повѣрите: людей здѣсь положительно нѣтъ; это — мелочь, которая трясется надъ своей копѣйкой, безъименные какіе-то, которымъ совѣстно руку подать...

— Кто-жъ это? спросила Настасья Михайловна.

— Да всѣ. Развѣ вамъ это глаза не колетъ? Кто здѣсь порядочно, изящно живетъ? Кто бы съумѣлъ, у того нѣтъ средствъ; вотъ молодежь наша...

— Молодежь наша, кажется, ничего больше не дѣлаетъ, какъ живетъ въ свое удовольствіе, замѣтила Настасья Михайловна.

— Но велико ли удовольствіе, помилуйте! карты, балы...

— Стало быть, больше имъ не нужно, если они ничего больше не придумаютъ.

— Но что-жъ придумать?

— Почему же я знаю? Вотъ, какъ вы сейчасъ говорили, сбираться между собой попросту, читать, заниматься...

— Какъ учителя здѣшней гимназіи?.. Охъ, Настасья Михайловна, pardon, вы меня разсмѣшили! Вообразите, у нихъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣчто въ родѣ своего клубика. Недавно какъ-то попалъ туда Пестовскій. Les dames du gymnase вяжутъ шерстяныя сѣтки на лошадей, для продажи; разсчетъ, видите, что «аристократія» купитъ эти сѣтки для катанья на святкахъ, а потому, къ святкамъ, можно будетъ не безпокоить любомудрыхъ супруговъ изъ-за новыхъ шляпокъ. Супруги курятъ сигары въ три копѣйки и спорятъ о матеріяхъ важныхъ. Юноши стараются быть пріятными. Одинъ изъ нихъ занимается химіей и снялъ съ этихъ дамъ такіе дагерротипы, что ужасъ; другой — весь тотъ вечеръ, какъ былъ Пестовскій — рисовалъ изображеніе дѣвицы, нюхающей голубя... то есть цѣлующей голубя, все равно...

— Но, право, это оживленнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ наши вечера. Вы того же хотите, если придумываете вашъ кружокъ.

— Нѣтъ-съ, я не понимаю вечеровъ, гдѣ мерцаетъ одна лампочка и гдѣ сидятъ госпожи въ каленкоровыхъ платьяхъ!

— Это, можетъ быть, очень милыя женщины.

— Это не могутъ быть милыя женщины, настойчиво возразилъ Боровицкій: —женщина не можетъ быть мила, если вяжетъ сѣтки на лошадей; она неграціозна, если позволяетъ снимать свой портретъ дураку какому нибудь, который весь на опытахъ прокоптился... это—педантство, это меня мучитъ, я этого не могу выносить! Когда женщина помянетъ какой нибудь углеродъ или водородъ, это для меня то же, что скрипѣть ножомъ по стеклу...

— Нервы, сказала Настасья Михайловна, тихо улыбнувшись.

Боровицкій слегка покраснѣлъ, съ минуту помолчалъ и какъ будто подумалъ.

— Для чего вы это сказали? спросилъ онъ, поднявъ глаза на Настасью Михайловну.

— Что?

— «Нервы».

— Такъ, отвѣчала она.

— У васъ ничего не бываетъ «такъ»... А если въ самомъ дѣлѣ «такъ», то тоже напрасно. Вы напомнили мнѣ горькую вещь. Вамъ ничто не можетъ напоминать горькихъ вещей, вы и не понимаете, каково другимъ, когда ихъ напомнятъ. Этого не надо никогда дѣлать.

Настасья Михайловна улыбнулась опять, такой кроткой, прощальной улыбкой, что если бы ея собесѣдникъ не былъ такъ сильно занятъ собою, то, можетъ быть, догадался бы, какъ ей нелегко. Но онъ только взялъ, пожалъ ея руку и повторилъ со вздохомъ, немного принужденно продолжительнымъ и громкимъ.

— Такъ-то-съ. Никогда не надо этого дѣлать.

— Какъ же догадаться, какое обыкновенное слово можетъ придтись некстати? спросила она.

— Какъ догадаться?! Захотѣть, такъ можно все отгадать... Вотъ, на нынѣшній разъ, я вамъ скажу. Вы упрекнули... или пошутили мнѣ «нервами». Я только это и слышу въ моей семьѣ. Еслибъ не смѣшно было, еслибъ не опошлили этого слова, я сказалъ бы, что меня не понимаютъ... Un mari incompris, прибавилъ онъ и добродушно засмѣялся. —

Право, такъ. У меня вкусы, привычки, и все это страдаетъ отъ ежеминутнаго противорѣчія. Очень натурально—я волнуюсь. Я огорченъ, я оскорбленъ — мнѣ говорятъ: «нервы»!..

Онъ опустилъ голову и глядѣлъ въ полъ.

— Что за разбитое существованіе! сказалъ онъ вдругъ:—сколько времени я трачу даромъ на занятія, которыя мнѣ не по душѣ! Дѣла, напримѣръ, служба... Вопервыхъ, вамъ я признаюсь, что нисколько не считаю ребячествомъ желаніе забыться, мечтать, строить планы, зàмки. Вы знаете, что это освѣжаетъ; живется лучше въ эти минуты. И вдругъ, въ такое время... Утромъ, напримѣръ, я привыкъ заниматься съ моей дочерью, читать ей. Мы надняхъ съ ней читали «Макбета»; вы не вообразите, что такое—первое впечатлѣніе великаго на дѣтскую душу!.. И вдругъ, въ такія-то минуты, является какой нибудь экзекуторъ, писарь, сторожъ — въ этомъ родѣ... грязный, грубый, и — «пожалуйте въ канцелярію», или натащитъ вамъ ворохъ бумаги, какое нибудь дѣло сотни въ три листовъ... Съ небесъ прыгнуть въ этотъ омутъ... потому что, увѣряю васъ, это омутъ! Бываютъ минуты — стыдно, но признаюсь вамъ — я жизнь кляну! Это—упряжь, ярмо, иго—это чиновничество! И зачѣмъ? За что въ этой «службѣ» гибнутъ мои силы? Вѣдь какъ нибудь иначе, по свободному призванію, онѣ могли бы быть полезны государству? Развѣ бы я не могъ, какъ тысячи другихъ... мы видимъ, читаемъ примѣры... Нѣтъ, говорятъ, надо, служи, ты обязанъ! Обязанъ — даже смѣшно!... Надняхъ... Вотъ вамъ, кстати, образчикъ всего: на-дняхъ, я читалъ какъ-то вслухъ «Raphael», Ламартина. Не знаю, что меня потянуло читать имъ—больше—для Маши; ее это заняло. Моя belle mère слушала-слушала, и рѣшила, что Рафаэль—дуракъ.—Почему?—«Ничего не дѣлаетъ».—Что же ему дѣлать? — «Служилъ бы»... Mais c'est historique, Настасья Михайловна, я не выдумываю!

— Мнѣ любопытно, что вы отвѣчали, спросила она.

— Что я отвѣчалъ? повторилъ Боровицкій, обрадовавшись, что она, наконецъ, что нибудь спросила, и довольный собою: — я изъ себя вышелъ, бросилъ имъ книгу, ушелъ и поклялся, что больше никогда читать не буду... Вотъ вамъ ихъ понятія! И это, говорятъ, «нервы!..»

— Давно это было?

— Нѣтъ, недавно... Но, еще обстоятельство! что всего глупѣе, всего нестерпимѣе: измученъ я, мой разсудокъ, мое естетическое чувство, а расплачиваться за это долженъ все я же и самымъ пошлымъ образомъ. Я теряю способность понимать даже свой служебный вздоръ: я дѣла путаю. Вамъ я откровенно говорю, почему. Мнѣ все равно, какимъ тамъ, способнымъ или неспособнымъ считаетъ меня мое начальство—общественное мнѣніе мнѣ вовсе ненужно. Мнѣ самому тяжело, что я силы теряю въ пустякахъ, и теряю смыслъ даже этихъ пустяковъ... Мнѣ былъ недавно выговоръ, знаете ли? прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Выговоръ? за что?

— Напуталъ... отвѣчалъ Боровицкій, кокетливо улыбнувшись. — Я—человѣкъ непривычный.

— Такъ посовѣтовались бы съ привычными.

— Съ кѣмъ? Да знаете ли вы, что за люди? чтобъ я сталъ заводить съ ними какія нибудь сношенія, совѣтоваться съ ними... Этимъ людямъ довольно, столоначальникамъ этимъ, подъячимъ, что я принимаю бумаги изъ ихъ рукъ! Они не смѣютъ взглянуть на меня, я такъ себя поставилъ — и вдругъ, я стану просить у нихъ совѣта!.. Je suis trop bien né pour cela!.. Но, пожалуйста, о выговорѣ—между нами. Онъ былъ на словахъ; такъ называемая «политическая тайна». Не проговоритесь. Всѣ увѣрены, что я въ хорошихъ отношеніяхъ съ Полугинымъ: я вовсе не хочу, чтобъ это, вдругъ, такъ разлетѣлось. Полугинъ — губернаторъ, какихъ поискать.

— Счастье, когда бы такихъ надо было искать! возразила Настасья Михайловна:—что вы это? онъ—человѣкъ мелочной, дурной, какихъ тысячи...

— Вы очень ошибаетесь, отвѣчалъ серьезно Боровицкій.—Враги его такъ расписываютъ. Съ вашимъ отцомъ онъ очень хорошъ... Но лучшее вамъ доказательство—я служу у него. Я бы не могъ. Я опредѣлился, уступилъ просьбамъ... своихъ, но я бы не вынесъ, еслибъ для меня была ужъ слишкомъ тяжела эта продажа независимости...

Онъ замолчалъ на этотъ разъ довольно надолго. Настасьѣ Михайловнѣ не было охоты прерывать молчанія. У нея бродили странныя мысли; понемногу, разговоромъ посторонняго отвлеченныя отъ своей заботы, онѣ обратились на этого посторонняго. Настасья Михайловна сказала себѣ, что, вотъ, счастливецъ, свободный ужъ по тому одному, что мужчина, и жалуется на пустяки семейной жизни, которую самъ же такъ

устроилъ, а могъ устроить иначе—на службу, изъ которой могъ бы сдѣлать себѣ, конечно, трудный, но привлекательный долгъ—на общество, которое въ его волѣ оставить и заняться дѣломъ по душѣ, учиться, читать, что для него легко: онъ, къ счастью, порядочно воспитанъ...

«О, еслибъ мнѣ на его мѣсто!» подумала она, даже улыбнувшись—такъ понравилась ей эта мечта свободы, и невольно почувствовавъ къ своему гостю очень неуважительное сожалѣніе.

— Знаете ли, что я думалъ? спросилъ вдругъ Боровицкій, довольный и не замѣчая, что такое складывалось у него въ головѣ—мысль, или фраза.

— Не знаю, отвѣчала Настасья Михайловна.

— Что женщины свободны и счастливы.

— Въ самомъ дѣлѣ? сказала она и разсмѣялась.

— Право. Даже завидно.

— Въ самомъ дѣлѣ? повторила Настасья Михайловна, засмѣявшись такому случайному сходству затѣй.—Не хотите ли на мое мѣсто?

— На ваше?.. Да! Вы особенно свободны. Во-первыхъ, вы не замужемъ; у васъ нѣтъ никакихъ обязанностей; если семья васъ стѣсняетъ, вы можете ее оставить. Вы молоды, вы хороши собой, образованы. Я бы на вашемъ мѣстѣ сдѣлался центромъ кружка, гдѣ все было бы у моихъ ногъ. Я бы на вашемъ мѣстѣ составилъ себѣ извѣстность, непремѣнно; избралъ бы себѣ карьеру... ну, напримѣръ, писалъ бы... Да, писалъ бы, непремѣнно. Вотъ какъ Жоржъ-Зандъ, мадамъ Жирарденъ. Я бы бросился въ потокъ жизни... всякой, соціальной, политической...

Настасья Михайловна засмѣялась громко. Еслибъ Боровицкій хотѣлъ, то могъ бы легко подмѣтить, что эта веселость была горькая; по крайней мѣрѣ, не смѣхъ вызвалъ слезы, которыя Настасья Михайловна отерла поспѣшно.

— Это гдѣ же, въ какой странѣ, вы бы такъ устроились? спросила она.

— Какъ, гдѣ? гдѣ нибудь!

— Опредѣлите какое нибудь мѣсто.

— Ну, хоть здѣсь же, въ вашемъ N*.

— Превосходно выбрано! право вы меня смѣшите.

— Почему же?

— Потому что здѣсь, въ N*, не только самая обыкновенная изъ обыкновенныхъ женщинъ, какъ я, напримѣръ (вы вѣдь вообразили себя на моемъ мѣстѣ!), но приди хоть, въ самомъ дѣлѣ, сама Жоржъ-Зандъ, ей ничего не сдѣлать.

— Почему же, я васъ спрашиваю?

— По всему, даже пересчитать мудрено. Вы сейчасъ сами разбирали, что за общество: боятся книжки, боятся работы, боятся сближенія, ума ужъ и вовсе не хотятъ...

— О, какой черный взглядъ на жизнь! прервалъ Боровицкій.

— Нисколько не черный, а, просто, взглядъ на то, что есть... Но, вотъ, на что лучше доказательства: вы теперь—общество, а я позволила себѣ говорить о немъ. Вы со мной сами согласны, сами то же говорили за минуту, а едва заговорила я, вы ужъ показываете, что дальше слушать нельзя.

— А вы все-таки продолжайте, настаивайте!

— Покорно благодарю—нѣтъ.

— Почему, нѣтъ? Вотъ и примѣръ вашей силы воли! вотъ я и правъ: вы боитесь борьбы...

— Ни борьбы, ни гоненій, ни даже смерти! отвѣчала, смѣясь, Настасья Михайловна:—нечего бояться, потому что ничего этого быть не можетъ. Это слишкомъ нарядно. это—роскошь. Еслибъ у насъ въ N* явилась геніальная женщина, осмѣлилась бы говорить свое мнѣніе, или еще, чего Боже сохрани, писать—о ней, попросту, сказали бы, что она съумасшедшая. И только, никакъ не больше. Презрѣннѣйшимъ образомъ оставили бы ее въ покоѣ, и сами бы не обезпокоились. Не танцовали бы съ ней, не ѣздили бы къ ней... ну, въ крайнемъ случаѣ, кто нибудь изъ свиты ихъ превосходительствъ, губернатора или предводителя, написалъ бы стишки на нее, и то, въ крайнемъ случаѣ, если бы, напримѣръ, она сказала публично, что нашъ губернаторъ и нашъ предводитель оба глупы...

Настасья Михайловна остановилась.

— Ne vous gênez pas, сказалъ Боровицкій: одинъ—мой начальникъ, а другой—мой beau frère, но мнѣ это все равно... Я очень радъ вашему веселому расположенію духа; оно поможетъ и мнѣ встрепенуться, а то я... Бываетъ такъ: что нибудь растревожитъ съ утра и—пошло на весь день. Малѣевъ въ такихъ случаяхъ неоцѣненный человѣкъ.

— Малѣевъ?

— Да. Онъ не всегда тонко шутитъ, не всегда изящно, это правда, но у него жизни много, de la verve, l'entrain. Иногда самъ чувствуешь, что смѣешься вздору, а все-таки смѣшно... А вы какъ будто на него разсердились?



Настасья Михайловна покраснѣла.

— Разсердилась... Нѣтъ. Пора привыкнуть, сказала она:—вѣдь его шутки вѣчно одно и то же.

— А вы сильно за нихъ выговорили... Право, онѣ такъ невинны...

— Послушайте, прервала она:—не вводите меня въ сомнѣніе. Вы сейчасъ насказали, что я образована, умна, а я знаю, что я совсѣмъ невѣжда; я не самонадѣянна у меня одинъ мой смыслъ, и я имъ живу какъ нибудь... Я высказала Малѣеву рѣзко, можетъ быть, дерзко, но мнѣ кажется, что я была права. Если вы повторите, что его шутки невинны, вы меня собьете съ толку. Значитъ, я его напрасно обидѣла?... Вы понимаете, это было бы ужасно. Вы—человѣкъ знающій, вы—человѣкъ честный, скажите... но скажите подумавъ, не потому только, что Малѣевъ неоцѣненный, веселый человѣкъ, скажите правду, всегда ли онъ правъ?

— Ну, это какъ сказать... проговорилъ Боровицкій, пожавъ плечами.

— Скажите, продолжала она съ волненіемъ:—вѣдь осмѣивать глупости—легко? а чувство... Боже мой, еще легче! И чѣмъ оно защитится? А люди такъ злы... Неправда ли, вѣдь покойнѣе хохотать, нежели брать участіе? Вѣдь такъ? скажите такъ или нѣтъ я говорю? Я—какъ вы со мной—не скажу этого другому; вы человѣкъ хорошій...

— Вы сердиты на Малѣева? спросилъ Боровицкій.

— Нисколько.

— Послушайте... позвольте быть откровеннымъ; я знаю, онъ васъ злословилъ

— И вы слышали! вскричала она:—о, Боже мой!.. Но, нѣтъ, увѣряю васъ, не за это я сердита; я и не сержусь, мнѣ больно... Можно ли было сказать, что онъ сказалъ? Цѣлый годъ знакомый, видѣлъ меня всякій день, зналъ мой характеръ, мое положеніе... И все-таки сказалъ, прибавила она, удерживая слезы.—Но все равно. Меня судьба не балуетъ, я привыкла. Малѣевъ, или другіе—все равно. За него, за него мнѣ досадно, стыдно—какъ такъ мельчать? все шуточки, все для краснаго словца, все пошлая злость...

— Такъ у васъ антипатія къ Малѣеву? спросилъ осторожно Боровицкій:—мнѣ казалось... я слышалъ, напротивъ?.

Настасья Михайловна наклонилась на пяльцы и горько плакала.

— Вы думаете, мнѣ легко было все это сказать... выговорила она.

Боровицкій молчалъ, глядя въ полъ. Она удержала слезы и робко оглянулась на гостя, обмахивая свои покраснѣвшіе глаза. Боровицкій взялъ ея руку, нѣсколько разъ поцѣловалъ ее съ чувствомъ и оставилъ въ своихъ. Она улыбнулась ему и крѣпко держалась за его руку. Было что-то искреннее, хорошее, довѣрчивое въ этомъ пожатіи.

— Знаете что? сказалъ Боровицкій.

— Что?

— Вы были больны.

— Можетъ быть.

— Вы схватили болѣзнь эту оттого, что пусто, скучно кругомъ, тяжело вамъ...

Она промолчала.

— Вы еще и теперь больны, но скоро выздоровѣете.

— Будто бы скоро?.. Дай Богъ!

— Вы сказали: «Дай Богъ?»

— Отъ всего сердца.

Боровицкій еще поцѣловалъ ея руку и всталъ.

— Пора, сказалъ онъ:—прощайте. Охъ, день-то еще какъ великъ, и другой за нимъ, и другіе!.. Будете въ собраніи вечеромъ?

— Буду, отвѣчала она съ нетерпѣливой досадой.

— За что-жъ сердиться? возразилъ ласково Боровицкій:—вамъ ли одной туда не хочется! Я тоже не хочу, а тоже буду. Конечно, лучше бы вотъ, здѣсь, такъ провести вечеръ. Все равно. Ну, тамъ вмѣстѣ поскучаемъ. До свиданія.

— До свиданія, повторила она.

Боровицкій пошелъ и воротился отъ двери.

— А я вѣдь правду говорилъ, сказалъ онъ почти шопотомъ:—вы—женщина необыкновенная, оригинальная; вотъ, разлюбила не за что нибудь попросту, а за несходство въ убѣжденіяхъ... Не вы однѣ такъ ошиблись съ перваго раза!.. До свиданія...

Ей показалось, что онъ прибавилъ: «милая». Она посмотрѣла ему вслѣдъ съ недоумѣніемъ, съ усмѣшкой, простояла съ минуту, пока слышались его шаги, захватила руками лицо и сѣла къ пяльцамъ доплакивать свои горькія слезы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Боровицкіе нанимали въ N* довольно большой домъ, впрочемъ, изъ старыхъ и не совсѣмъ красивыхъ на видъ; онъ имѣлъ, какъ водится, темную лакейскую и анфиладу парадныхъ комнатъ. Чтобъ меблировать все это, была привезена мебель изъ деревни; вновь оклеенные обои выказали несвѣжесть этой мебели, почему сдѣлалось необходимо обить ее новой матеріей; волоченыя багетки надъ окнами потребовали драпировокъ. Надежда Сергѣевна не могла не имѣть маленькаго réduit съ кушетками и зеленью; Боровицкій самъ хлопоталъ объ его устройствѣ; ему понравилась мысль сдѣлать что нибудь не такъ, какъ у всѣхъ, не пошло, не обыкновенно. Надеждѣ Сергѣевнѣ были по сердцу его хлопоты: во время ихъ онъ говорилъ ей много пріятнаго. Онъ заботился, чтобы кабинетъ былъ къ лицу женѣ, и, вообразивъ на этотъ разъ, что она, бѣлокурая, высокая, блѣдная, напоминаетъ средневѣковыхъ владѣлицъ зàмковъ, отдѣлалъ комнату въ готическомъ вкусѣ, темными и, какъ онъ называлъ, «теплыми» цвѣтами. Окно было передѣлано въ стрѣльчатое, съ цвѣтными стеклами, и завѣшано плющемъ. Зинаида Сергѣевна ахнула, когда вошла.

— Матушка, какая темнота! вскричала она: — что ты это ему позволила умничать?

— Я говорила!.. замѣтила, какъ всегда, горестно Аграфена Петровна;—а спроси, чего стоило!..

— Послушай, Зина, сказала Надежда Сергѣевна, увлекая сестру въ глубину этого «oratoire de la tourelle» на кушетку, тоже готическую: — не говори ничего объ этой комнатѣ; отдѣлка этой комнаты... J'ai été heureuse ici.

Прекрасная предводительша покатилась со смѣху.

— Христосъ съ вами! вскричала она и, когда пришелъ Боровицкій, смѣялась столько, что онъ, съ досады, самъ сталъ смѣяться.

Прелесть комнаты погибла для Надежды Сергѣевны. Она замѣтила, что и въ самомъ дѣлѣ темно, и въ самомъ дѣлѣ смѣшно. Мать прожужжала уши, что дорого. Надежда Сергѣевна стала хлопотать, но ужъ, конечно, безъ помощи мужа, чтобы какъ нибудь поправить это «какъ у всѣхъ»: замѣнила суконныя драпировки кисейными, велѣла обрѣзать пониже зубчатыя спинки стульевъ, повѣсила на стѣну cache désordre изъ papier-piqué, разставила на письменномъ столѣ, что только нашла мелкой бронзы, фарфоровыхъ фигурокъ, даже пестренькихъ картонажей...

— Ну, такъ, конечно, веселѣе, сказала Зинаида Сергѣевна: — а все-таки, Диночка, это значитъ: хочу и не могу. Лучше бы вы и не затѣвали.

Боровицкій сказалъ, что въ этомъ будуарѣ его нога не будетъ. Онъ занялся своимъ кабинетомъ. Ему тоже былъ необходимъ кабинетъ: онъ служилъ, бумагъ было много. Боровицкій заботился о гравюрахъ на стѣнахъ, о живописности безпорядка; мольберъ съ начатымъ рисункомъ былъ всегда выдвинутъ на половину комнаты, палитра съ воткнутыми кистями оставлена среди цвѣтовъ на окнѣ. Разъ, прочтя Машѣ нѣсколько стихотвореній изъ Гюго, Боровицкій, озарившись внезапной выдумкой, отнесъ книгу въ уголъ, опредѣленный дѣламъ, и присматривался, какъ бросить ее натуральнѣе среди пыльныхъ связокъ.

— На что-жъ ее сюда, папа? положи на мѣсто, сказала Маша.

— Ты не понимаешь, душка, возразилъ отецъ:—оставь ее тутъ.

Маша не понимала этого, конечно, такъ же, какъ многаго въ своей городской жизни. Въ первые дни переѣзда, когда въ домѣ убирали, отдѣлывали, стучали, клеили, и можно было бѣгать кругомъ, смотрѣть все это, уносить клей, обрѣзки обой и тоже клеить кукламъ разныя необходимыя вещи; когда вносили мебель, а мастеровые сажали Машу на диваны и кресла, и такъ и несли ихъ съ нею до мѣста; когда обѣдали въ разныхъ комнатахъ, и можно было помогать накрывать на столъ, бѣгать чрезъ корридоръ въ кухню; когда гостей никого не бывало, бабушка ходила въ спальномъ чепцѣ, а маменька проводила цѣлый день у тети Зины—тогда еще было весело. Но когда, какъ сказала бабушка, все это, слава Богу, кончилось; когда маменька стала сердиться на горничную Наталью за то, что Наталья не

носитъ бѣлыхъ воротничковъ, какъ горничныя тети Зины; когда однажды, проснувшись, Маша не узнала своей няни — такой на ней былъ страшный чепецъ, а няня никогда прежде чепцовъ не носила—тогда Машѣ стало чего-то жутко. Маменька безпрестанно ѣздила въ лавки и сдѣлала себѣ много прекрасныхъ платьевъ; тетя Зина пріѣзжала и все толковали объ этихъ платьяхъ; она говорила, что и Машѣ надо надѣлать нарядовъ. Маша съ восторгомъ примѣряла воздушныя и шумящія шелковыя платьица кузинъ и со страхомъ и надеждой прислушивалась, сдѣлаютъ ли и ей такія же. Бабушка этого не хотѣла. Бабушка однажды заплакала, била себя въ грудь и говорила тетѣ Зинѣ, что ей ѣсть нечего. На другой день, папы и мамы не было дома, пріѣзжали тетя Зина и дядя Петръ Иванычъ, въ первый разъ. Маша встрѣтила ихъ одна въ залѣ и сказала bonjour, но они на нее даже не посмотрѣли и пошли въ комнату къ бабушкѣ. Когда они уѣзжали, бабушка ихъ провожала, веселая, и все говорила, что въ домѣ все дурно. Маша этому очень удивилась и, желая убѣдиться, неужели все дурно, пошла еще разъ посмотрѣть прекрасный кабинетъ маменьки. Бабушка, проводя дядю и тетку, сказала Машѣ, что вотъ кто ея дѣти, а не ея отецъ и мать, что ея отецъ и мать Богъ знаетъ что. Маша ушла въ залу и стала плакать. Отецъ купилъ ей прелестное платьице, шляпку съ розовыми перьями и мантилью всю изъ лебедя, мягкую, бѣленькую. Кузина Софи увидѣла ее и сказала гувернанткѣ: «Зачѣмъ мой папа не купилъ мнѣ такой мантильи? папа скупой». Маша находила, что Петръ Ивановичъ скупъ, но, когда сказала это маменькѣ, маменька поставила ее въ уголъ, а бабушка была въ ужасѣ и кричала: «Какъ ты смѣешь это говорить о своемъ дядѣ?» Маша отвѣтила: «Но Соня тоже говоритъ, а онъ ей и вовсе отецъ»... Тутъ ужъ, Богъ знаетъ, какой былъ несчастный день... Всего скучнѣе было для Маши, что она почти не видѣла отца. Когда она, по утрамъ, прибѣгала къ нему въ кабинетъ, онъ повторялъ ей, что занятъ и, всегда спѣша, посылалъ ее одѣваться, говорилъ, что въ капотикѣ, подеревенски, быть неприлично. Нарядной ужъ было неловко садиться на полъ предъ этажеркой съ книгами, или почти ложиться на столѣ надъ развернутой картой. Читая книжку, или уча стихи, Маша имѣла привычку продѣвать всѣ свои десять пальчиковъ въ волосы; это сдѣлалось невозможно: маменька не могла видѣть ее вспутанную, а Наталья, которой было поручено причесывать барышню, заваленная шитьемъ, глаженьемъ и крахмаленьемъ съ заутрень до полночи, срывала свое сердце на локонахъ барышни и прозвала ее рыжимъ чертенкомъ. Познанія Маши были разнообразны; она поняла, какъ ее называли, горько плакала ночью и засыпала въ страхѣ. Домъ тетки Зины ей очень понравился, такъ что сначала, когда ее везли туда, она сбиралась съ большой радостью и старалась ничѣмъ не досадить Натальѣ, которая ее наряжала. У тетки, удовольствіе Маши состояло въ томъ, что комнаты были большія, на паркетѣ было ловко бѣгать — хотя ей сказали, что бѣгать не должно — что было много прекрасныхъ вещей, какъ ей показалось, все золотыхъ, только ихъ было не велѣно трогать. Были еще такія большія зеркала, что Маша ахнула отъ радости, увидя въ нихъ себя. Тетка Зина сказала, смѣясь: «La petite sotte!» и прибавила, обратясь къ маменькѣ: «Дурнушка твоя, а смотри, тоже кокетничать будетъ, дай только развернуться; мои ужъ кокетничаютъ». Маша спросила мать и тетку, какъ это надо кокетничать, на что тетенька расхохоталась и сказала: «Еще успѣешь, узнаешь, матушка». Машѣ хотѣлось узнать поскорѣе; она спросила отца. Отецъ былъ въ дурномъ расположеніи духа, вспылилъ и не далъ ей договорить. «Кто это болтаетъ тебѣ такія глупости?» сказалъ онъ: «кокетка, это—женщина безъ сердца». Это поставило Машу въ недоумѣніе: она знала, что безъ сердца человѣкъ жить не можетъ— какъ же это живы кузины? Впрочемъ, это недоумѣніе было недолгое; кузины ставили ее въ другое, гораздо важнѣе: онѣ не любили играть съ нею. Онѣ, впрочемъ, не умѣли играть. У нихъ было множество прекраснѣйшихъ игрушекъ, но m-lle Луаро не позволяла возиться съ ними и выносить ихъ дальше дѣтской; а въ дѣтской, разставивъ ихъ на столѣ, Софи и Жюли садились передъ ними, смотрѣли и скучали. Выдумки Маши имъ не нравились. Разъ только ей удалось ихъ занять, но это былъ несчастный вечеръ, послѣ котораго для Маши кончилось все удовольствіе въ этомъ большомъ домѣ. Было много гостей, и свѣчей множество; какая-то дама пѣла. M-lle Луаро привела всѣхъ трехъ дѣвочекъ въ залу, къ круглому столу въ уголъ и дала имъ карты. «Voilà, amusez-vous». Столикъ былъналощенъ, кругомъ ходили, домики строить было нельзя, да домики и такъ надоѣли. Кузины и Маша бросали карты одна на другую

и начинали дремать. M-lle Луаро заговорилась съ какимъ-то господиномъ и совсѣмъ отвернулась. Маша предложила вырѣзать изъ картъ, что на нихъ напечатано; она же сбѣгала и отыскала ножницы, и въ нѣсколько минутъ короли, валеты, очки, кружочки засыпали весь столикъ. Веселье было великое. Маша выдумала еще лучше: готовить лапшу; тогда крошево полетѣло на сіяющій паркетъ, а гости, проходя, разнесли его на средину залы. M-lle Луаро такъ занялась съ господиномъ, что и не оглядывалась, но вдругъ подошелъ самъ дядюшка.

— Que'est-ce que c'est? закричалъ онъ: — pourquoi vous coupez des bêtises?

И началось несчастье. Дядюшка разсердился на m-lle Луаро; она разсердилась еще больше, увела ихъ всѣхъ, уложила спать кузинъ, сама ушла опять къ гостямъ, а Маша оставалась въ дѣтской одна, въ углу диванчика, гдѣ заснула съ печали, не думая ужъ о томъ, что измяла свое платьице, а только молила Бога, чтобъ завтра маменька...

Маша изъ дикарки сдѣлалась трусихой, она стала бояться матери. Она мало видѣла и ее; Надежда Сергѣевна часто выѣзжала, большую часть вечеровъ проводила у сестры или въ гостяхъ, вставала поздно и долго одѣвалась. Маша приходила къ ней здороваться поутру, совсѣмъ одѣтая; Надежда Сергѣевна учила ее дѣлать реверансъ, заставляла повторять, выходя и входя, разъ двадцать, и когда теряла терпѣніе, Машу принималась учить бабушка. Боровицкій однажды зашелъ на эту сцену.

— Что это вы, матушка, сказалъ онъ расхохотавшись: — никакъ menuet-à-la-reine? пальчиками за юбочку...

— Танцовщицей сдѣлалась на старости лѣтъ, отвѣчала Аграфена Петровна.

Ужъ два мѣсяца они жили въ городѣ. Надежда Сергѣевна начинала разочаровываться въ удовольствіяхъ, которыя себѣ обѣщала, вѣрнѣе, впрочемъ, на которыя надѣялась. Ея судьба была вѣчно ждать, надѣяться и мечтать. Она жила всегда впередъ своего настоящаго дня, заранѣе придумывала себѣ приключенія, заранѣе воображала, что перечувствуетъ, заранѣе расходовала сердце, а потомъ удивлялась, что ничего не случилось, и еще больше тому, что ничего не чувствовала. Точно будто кругомъ нея все подмѣнили или обокрали. Въ ней, странно, не бывало никогда чувства настоящей минуты. Что бы ни случалось съ ней, она переживала, незамѣчая: ей все казалось, что это еще только начинается, что это еще будетъ, еще придетъ, сильнѣе, значительнѣе, ощутительнѣе, и оттого все сильнѣе дѣлалось желаніе ощущенія. Воображеніе наработывалось заранѣе, потомъ работало впередъ, и Надежда Сергѣевна всегда жила не увлеченіемъ, а ожиданіемъ увлеченія. Для нея всякая минута, всякое положеніе казались приготовительными, переходными, а потому она не думала о значеніи своихъ словъ, своихъ поступковъ: это все совершалось у нея какъ во снѣ. За то въ этомъ снѣ она совершенно забывалась, а иногда, тоже какъ будто во снѣ, ей совершенно превратно представлялись слова и поступки другихъ...

Въ настоящее время, въ послѣдніе два мѣсяца, Надежда Сергѣевна разочаровывалась въ ожиданіяхъ. Она разсчитывала на «долгія искреннія бесѣды» съ сестрою; отъ нихъ пришлось отказаться. У Зинаиды Сергѣевны не было для нихъ времени. Утромъ, ея туалетъ, нетребовавшій прикрасъ, дѣлался скоро; она хозяйничала толково и акуратно, нѣсколько разъ заходила къ дѣтямъ посплетничать съ m-lle Луаро, пока Софи и Жюли ковыряли булавками свои азбуки. Потомъ Зинаида Сергѣевна садилась въ гостиной и принимала; гости бывали постоянно. Если Надежда Сергѣевна пріѣзжала этимъ временемъ, ей оставалось только участвовать въ общемъ разговорѣ—интимный былъ невозможенъ. Надежда Сергѣевна вознаграждала себя любезностью съ гостями, не замѣчая, что это не нравилось хозяевамъ. Такъ однажды она занялась съ полковникомъ Скворещенскимъ, пріѣхавшимъ въ N* по случаю рекрутскаго набора. Разговоръ шелъ о Гризи и Маріо; они тогда первый разъ пѣли въ Петербургѣ. Надежда Сергѣевна была не музыкантша, но, по своей чувствительности, единственная дама въ N*, способная восторгаться неслыханнымъ. Полковникъ былъ очень любезенъ и очень радъ случаю быть любезнымъ; отъ музыки разговоръ сталъ уже клониться къ нѣжнымъ тонкостямъ поэтической философіи, и у Надежды Сергѣевны стало уже замирать сердце отъ ожиданія, что вотъ, сейчасъ случится что нибудь особенно пріятное.

— Что это, матушка, шепнулъ женѣ Черемышевъ: — сестрица твоя ораторствуетъ будто у себя дома. Кто здѣсь хозяйка-то, она или ты?

Зинаида Сергѣевна оглянулась; ей вдругъ стало досадно, и она вдругъ бросила Скворещенскому вопросъ:

— А до котораго часу вы вчера изволили козырять у откупщика?

Вся поэзія, натурально, разлетѣлась. Случилось, что въ этотъ разъ гости скоро всѣ разъѣхались

— Не умѣете занять, удержать не умѣете-съ, сказалъ женѣ Черемышевъ:—вотъ бы кому быть губернской предводительшей— Надеждѣ Сергѣвнѣ, такъ,—такъ!

Онъ прошелъ къ себѣ въ кабинетъ, приказавъ давать обѣдать. Надежду Сергѣевну не пригласили остаться; она ясно увидѣла, что Зина сердита, и дома разобрала, за что. Ей блеснула мысль, что сестра въ самомъ дѣлѣ можетъ бояться соперничества съ нею, что она, Надежда Сергѣевна, не замѣчена, не понята и не оцѣнена единственно потому, что не имѣетъ средствъ выставляться. Потомъ явилась мечта соперничать... Эта мечта ее очень обрадовала. За радостью слѣдовала печаль, что средствъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ, за печалью—соображеніе, что молодость—одинъ разъ въ жизни и, слѣдовательно, надо ею пользоваться.

На слѣдующее утро, Надежда Сергѣевна опять полетѣла къ сестрѣ пораньше и застала ее за хозяйствомъ.

— Мнѣ бы хотѣлось завести у себя маленькіе soirées fixes, Зина.

— Кто-жъ тебѣ мѣшаетъ?

— Знаешь, запросто. Поговорить, поиграть въ карты. Чай... Что нибудь холодное на ужинъ.

— Съ Богомъ. Это цѣлковыхъ тридцать всякій разъ.

Надежда Сергѣевна замялась. Тридцать цѣлковыхъ привидѣніемъ стали на дорогѣ ея молодости.

— Ah, c'est triste, Zina!

— Конечно, triste, сказала предводительша, сжалившись. — Да къ чему ты это затѣваешь? Кто поѣдетъ? сбирать мудрено. Не все равно тебѣ бывать у меня?

Надежда Сергѣевна хотѣла по этому случаю завести рѣчь о своемъ душевномъ состояніи, но сестрѣ было некогда. Зинаиду Сергѣевну занимали отвлеченности только въ связи съ чѣмъ нибудь положительнымъ. Когда, говоря о тяжести на сердцѣ, Надежда Сергѣевна помянула имя своего мужа, Зинаида Сергѣевна спросила:

— А развѣ шалитъ?

— Нѣтъ, но... я о себѣ говорю, Зина!

У Надежды Сергѣевны закапали слезы.

— То-то. Я тебѣ и въ деревнѣ говорила, гляди въ оба. Онъ все хорошѣетъ, твой Грегуаръ, тебѣ на бѣду... Какая ты желтая днемъ. Dieu sait, quel teint vous avez, ma chère. Твоего Грегуара, просто, замѣчаютъ, какой хорошенькій. Третьяго дня у меня вечеромъ онъ былъ, такъ Дугашевичева, пріѣзжая, богачка, знаешь? спросила, кто такой. И дура, вѣдь, она ахнула: «Неужели женатъ!!»—Женатъ, говорю, но это все равно; волочиться готовъ къ вашимъ услугамъ.

Это были все кинжалы въ сердце Надежды Сергѣевны. Поздняя жажда молодости сдѣлалась ея мукой, болѣзнью, отъ которой она худѣла и старѣлась. Наряды, плоды долгихъ мечтаній и послѣднихъ денегъ, не достигали своей цѣли, не были замѣчены, не привлекали никого, даже мужа. Подъ добрый часъ, Боровицкій холодно выражалъ нѣчто въ родѣ равнодушнаго одобренія, или поднималъ споръ объ искусствѣ по поводу лишняго банта, а въ нервномъ расположеніи холодно насмѣшничалъ или желчно молчалъ. Когда нужно было ѣхать куда нибудь съ женою, у него почти всегда разбаливалась голова и онъ запирался у себя въ кабинетѣ, или ѣхалъ блѣдный, стиснувъ зубы и молча всю дорогу, а въ обществѣ, куда пріѣзжали, доставлялъ женѣ мученіе другого рода: разговаривалъ съ другими женщинами и оживлялся. Зинаида Сергѣевна отъ души забавлялась, что Боровицкій вѣтренникъ, и, нисколько не шутя, совѣтовала сестрѣ присматривать за нимъ. Она не знала, какое зло дѣлала этими совѣтами: Надежда Сергѣевна хотѣла жить, наслаждаться жизнью; не удавалось—она таяла отъ ревности. Она не любила мужа, но ревновала изъ тщеславія; убѣждаясь съ каждымъ днемъ, что новыя, желанныя побѣды невозможны, она цѣплялась за старое, за свое: если не говорили, что она женщина очаровательная, пусть говорили бы, что она женщина счастливая, не очаровываетъ потому, что не хочетъ, не имѣетъ надобности. Всѣ непривлекательныя женщины добиваются репутаціи счастливицъ. О такой репутаціи Надеждѣ Сергѣевнѣ нечего было и думать: хотя она не имѣла ни малѣйшаго основанія упрекнуть мужа какой нибудь исключительной привязанностью, но имѣла полнѣйшее право сказать, что ею, женой своей, онъ нисколько не занимается. Надежда Сергѣевна злоупотребила это право и, разъ начавъ, не останавливалась.

— Тебѣ все милѣе меня, выговорила она однажды, дождавшись мужа въ его кабинетѣ между вторымъ и третьимъ часомъ ночи и уходя, потому что онъ, безъ всякой церемоніи, объявилъ желаніе выспаться.

— Упрекать! Какая безтактность! сказалъ ей вслѣдъ Боровицкій.

На утро Маша была у него. Лаская дѣвочку и заслыша голосъ жены, онъ позвалъ ее.

— Послушай, сказалъ онъ:—ты сама все портишь. Что за упреки? Развѣ ты не понимаешь — насъ связываетъ этотъ ребенокъ (Маша слушала, широко раскрывъ глазки); я тебя уважаю, но твоя мелочность можетъ сдѣлать, что я забуду это уваженіе. Ревнуя, женщина теряетъ собственное достоинство. И любовь-то гдѣ-жъ? Едва я позволяю себѣ малѣйшее развлеченіе, я ужъ въ твоихъ глазахъ—извергъ!..

Боровицкій повелъ свою разсѣянную жизнь съ первыхъ дней, какъ поселился въ N*. Черемышевъ ладилъ съ губернаторомъ, слѣдовательно, отъ чиновника, предводительскаго зятя, не требовалось особенной ревности къ службѣ. Слѣдственныя дѣла поручались Боровицкому не въ уѣздѣ, а въ городѣ, и онъ могъ тянуть ихъ сколько хотѣлъ. Онъ пользовался этой свободой. Случалось, что его, какъ говорится, заря вгонитъ, заря выгонитъ, а дома, послѣ напрасныхъ ожиданій, обѣдаютъ, пьютъ чай, ужинаютъ и засыпаютъ всѣ, не только ожидающій лакей, но и Надежда Сергѣевна, утомленная отъ волненій. Для чего Боровицкій перезнакомился со всѣмъ городомъ, онъ и самъ не зналъ. Онъ рыскалъ, отыскивая удовольствіе, но, въ самомъ дѣлѣ, не находилъ его. Это была причина, заставлявшая, послѣ неудачныхъ поисковъ сегодня, искать завтра. Все хотѣлось чего-то получше козырянья, любезничанья, грошовой политики, жирныхъ пироговъ — и это желаніе завело Боровицкаго и въ домъ Деневскихъ. Тамъ, конечно, ничего этого не было. Боровицкій не разсматривалъ, что тамъ было; ему просто понравилось, что единственной живой особѣ въ этомъ домѣ, Настасьѣ Михайловнѣ, онъ могъ разсказывать о своихъ убѣжденіяхъ и страданіяхъ.

Надежда Сергѣевна приняла не только равнодушно, но презрительно, знакомство мужа съ Деневскими. Она не встрѣчала этого семейства у своей сестры. Встрѣчаясь съ Зинаидой Сергѣевной въ посторонникъ домахъ, Ольга Александровна Деневская постоянно говорила комплименты ея красотѣ и ея нарядамъ.

— Вотъ, залѣзаетъ ко мнѣ, сказала Зинаида Сергѣевна сестрѣ:—да напрасно, матушка, безпокоится — не познакомлюсь. У нихъ крысы по гостиной скачутъ, а дочка ея меня зачитаетъ.

Потому, когда Боровицкій спросилъ однажды жену: «не познакомишься ли ты съ Деневскими?» — Надежда Сергѣевна только пожала плечами.

II.

Утромъ этого праздничнаго дня, Надежда Сергѣевна, пріѣхавшая къ обѣднѣ въ соборъ въ каретѣ съ сестрою, воротилась оттуда въ четвероместномъ возкѣ съ m-lle Луаро и дѣтьми. Сама Зинаида Сергѣевна сѣла одна въ свою щегольскую карету и отправилась съ визитами. Надежда Сергѣевна была очень недовольна, что предводительша такъ безцеремонно разсталась съ нею на паперти, предложивъ мѣсто съ гувернанткой. Снѣгу было мало, возокъ плылъ медленно, блестящіе экипажи обгоняли его. И въ самомъ этомъ возкѣ хозяйкой была m-lle Луаро; она сѣла направо, опустила стекла и, смѣясь, кричала проѣзжавшимъ знакомымъ молодымъ людямъ, которые съ ней раскланивались:

— Je garde la couvée, messieurs! Messieurs, voyez l'arche de Noé! Messieurs, à ce soir au bal!

Софи и Жюли посинѣли отъ холода и молчали неподвижныя, какъ куколки въ своихъ ватныхъ пелеринкахъ. Машу это очень забавляло, но она не смѣла говорить, глядя на мать. Надежда Сергѣевна нѣсколько разъ кашлянула, но дерзкая гувернантка не опустила стекла. Она высадила m-me Боровицкую съ дочкой и укатила, не дождавшись даже, чтобъ онѣ вошли въ свой подъѣздъ.

Надежда Сергѣевна была готова плакать, еслибъ было время, но въ этотъ вечеръ предстоялъ балъ въ собраніи, и наплакать глаза было бы неразсчетливо. Къ тому же заботъ было много. Надежда Сергѣевна забыла всѣ горести и пришла въ восторгъ, узнавъ, что платье уже принесено изъ магазина. Оно было разложено на кушеткѣ въ готическомъ кабинетѣ.

— Maman, вы видѣли? закричала она Аграфенѣ Петровнѣ.

Аграфена Петровна сидѣла въ гостиной, нарядная, одна, приказавъ принимать, кто ее спроситъ, и досадуя, что никто не спрашивалъ. Она двадцать разъ проходила чрезъ готическій кабинетъ и видѣла, что тамъ, но сочла за лучшее откликнуться:

— Что такое?

— Платье, maman! Посмотрите.

Аграфена Петровна тяжело встала и пошла, чувствуя подступающій припадокъ досады.

— Машенькѣ? произнесла она, остановясь предъ кушеткой.

— Мнѣ, maman... Это въ собраніе.

— Француженка въ чемъ будетъ? спросила Аграфена Петровна, въ особенныхъ случаяхъ такъ называвшая m-lle Луаро.

— Не знаю.

— Ужъ, вѣрно, не въ тру-тру этакомъ, продолжала Аграфена Петровна, не возвышая голоса.—На Зинаидѣ Сергѣевнѣ будетъ орель-д'урсъ бархатное.

— Я вѣдь не имѣю возможности, maman, дѣлать себѣ то же, что Зина. Конечно, контрастъ...

— Вы обѣ контрастъ, сказала безстрастно Аграфена Петровна, повертываясь, чтобъ уйти. — Всѣхъ одолженій сестры тебѣ и не отплатить никогда. Вонъ, еще тамъ цѣлый картонъ чего-то прислала.

— Ахъ, это цвѣты! вскричала съ восхищеніемъ Надежда Сергѣевна: — она мнѣ даетъ свои фуксіи...

— Съ головы на голову. Точно никто и не догадается, что на тебѣ чужое, разсуждала Аграфена Петровна, показывая, что желаетъ уйти, и не уходя.

Надежда Сергѣевна не слушала. Она раскрыла картонъ, Маша припала къ нему носикомъ.

— Мама, надушено, пахнетъ! вскричала она.

Надежда Сергѣевна набросила ей на голову большой пестрый вѣнокъ.

— Бѣги такъ къ папà, позови его ко мнѣ.

Маша завизжала отъ радости и полетѣла.

— Куда, куда? сказала бабушка: — нѣтъ его дома. Онъ заѣхалъ, мундиръ свой долой, и слѣдъ простылъ. Успокойтесь. И дѣвчонка такая же сумасбродная ростетъ, заключила она и вышла.

Ни для кого, какъ для Надежды Сергѣевны, не было вѣрно изреченіе, что блаженство—мигъ. Восхищенная своимъ платьемъ, она стала его примѣривать: оно оказалось никуда негодно. Наталья переправить его не могла, сама Надежда Сергѣевна еще менѣе. Послали за швеей въ магазинъ. Какъ ни скрывались эти бѣдствія отъ Аграфены Петровны, но она разслышала сдержанный шопотъ и бѣготню и явилась торжествовать горе.

— Что тутъ такое? сказала она. — Отъ меня прячутся, будто я прокаженная. Покажи, матушка. Я, кажется, понимаю; сама платья ношу...

Она обходила кругомъ Надежду Сергѣевну, стянутую въ корсетъ, дрожащую въ бальномъ платьѣ, въ папильоткахъ. Стрѣльчатое окно затускнѣло холодомъ, въ готическомъ кабинетѣ было сумрачно, тѣми сѣрыми утренними сумерками, съ которыми непремѣнно соединяется понятіе о запоздаломъ обѣдѣ, голодѣ и домашней ссорѣ. Магазинщица отказалась пріѣхать. Швея Зинаиды Сергѣевны сказала, что у нея есть работа, и что придетъ, если только кончитъ. Но ждать было невозможно. Наталья привела какую-то свою знакомую дѣвушку, но Аграфена Петровна по лицу этой дѣвушки видѣла, что она ничего не умѣетъ. Страшнымъ предсказаніемъ, что «все будетъ изгажено и пятьдесятъ цѣлковыхъ плакали» — она терзала слухъ присутствовавшихъ и сердце своей дочери. Ея саркастическая улыбка, когда оглядывали корсажъ и вкалывали булавки, леденила вдохновеніе швеи, и безъ того оробѣвшей. Когда, послѣ двухъ часовъ толковъ, были кончены соображенія и полураспоротое платье сброшено на кушетку, Надежда Сергѣевна, задыхаясь, помертвѣлая, упала въ кресло и разразилась рыданіями; ее била лихорадка...

Боровицкій былъ давно дома. Онъ въ это утро сдѣлалъ всего одинъ визитъ къ Деневскимъ и остался имъ доволенъ. Онъ говорилъ себѣ, что «вынесъ изъ него впечатлѣніе». Споръ съ генераломъ вообразился ему подвигомъ, въ десятый разъ повторенныя жалобы на свою судьбу разнѣжили его сердце и онъ заинтересовался Настасьей Михайловной. Онъ не особенно сильно о ней раздумался, не принялъ въ ней участія, не разбиралъ ни ея семейной жизни, ни ея любви. Онъ, просто, заинтересовался. Онъ подумалъ, что она оригинальна, что, вотъ, была влюблена и перестала, что сердце у нея подточено, а что больно, то интересно.

— У нея драма въ жизни, рѣшилъ онъ вдругъ и обрадовался, что нашелъ такое хорошее слово.

Онъ пріѣхалъ домой и, идя къ себѣ въ кабинетъ, узналъ, что жена мѣряетъ платье, а теща тамъ же хлопочетъ.

— Тоже драмы!!.. сказалъ онъ, бросая шляпу и въ нее перчатки.

Онъ подумалъ, что драма — вотъ у него, съ нимъ; что если есть жизнь, даромъ загубленная, то это его жизнь. Онъ только что довѣрился этой дѣвушкѣ; она поняла его. Она — существо высокое. Она бы не стала скликать семьдесятъ-семь портнихъ стягивать ее на-смѣхъ цѣлому свѣту. Она встрѣтила бы, она была бы тутъ, милая, свѣтлая. У нея прелестные глаза. Вотъ, какъ

жизнь ошибается... Тассо говоритъ, что у судьбы двѣ урны; она вынимаетъ изъ каждой по душѣ и бросаетъ въ міръ; душа ищетъ свою чету и если находитъ — нѣтъ уже силы, которая бы ихъ разъединила... Прелестная мечта!.. Но почему-жъ мечта? Дѣйствительность!..

Боровицкій подошелъ къ своему мольберу. На немъ, какъ всегда, была бумага. Боровицкій взялъ уголь и красный карандашъ, и сталъ чертить женскую головку — портретъ Настасьи Михайловны. Онъ ужъ не вспоминалъ ни о какихъ драмахъ жизни, но подумалъ, что ей, вѣроятно, не больше какъ двадцать-два, двадцать-три года, и, улыбаясь самъ, сдѣлалъ улыбку на ея губахъ...

Онъ работалъ, задумывался, мечталъ. Ему становилось какъ-то тревожно и весело. Выраженіе его собственнаго лица переходило на портретъ.

«Могла бы быть и такая...» подумалъ Боровицкій, отдаляясь, чтобы взглянуть. «Да почему-жъ ей и не быть такой? почему не любить?»

Онъ поднялъ руку, чтобъ продолжать, и вдругъ смутился. Въ комнатѣ стемнѣло. Прелестное лицо въ ярко-черныхъ локонахъ, блѣдное, улыбающееся, смотрѣло на него ярко-черными глазами...

— Папа, какая хорошенькая! вскричала Маша.—Ты давно пріѣхалъ, папа?

Онъ не замѣтилъ, какъ она прибѣжала.

— Обѣдали вы, Маша? Шесть часовъ.

— Нѣтъ, не обѣдали. Да я у няни покушала, носикъ подчистила... Ахъ, папа, какая хорошенькая! Это ты сейчасъ сдѣлалъ? Какъ скоро, въ одну минуту!

— Да, Машурка. Еслибъ твоего отца, вмѣсто разныхъ «иностранныхъ коллегій», куда готовили, да недоготовили, а только вотъ такъ пустили по свѣту, — еслибъ учили, заставляли заниматься, былъ бы художникъ...

— Да ты бы теперь учился, сказала она.

— Теперь?!.. Маша, ты, моя дѣвочка!.. Пойдемъ-ка да попросимъ, чтобъ намъ ѣсть дали.

Столъ былъ накрытъ. Аграфена Петровна сидѣла одна въ гостиной, осовѣлая отъ ожиданія. Боровицкій не разглядѣлъ ее при спущенныхъ сторахъ. Онъ постучался къ женѣ. Надежда Сергѣевна вышла, оправляя длинный капотъ, обтянувшій ея худыя плечи.

— Пожалуйте, маменька, сказала она, проходя.

— Куда?.. Это обѣдать-то? Матушка, ужъ такъ затерпѣлись, я думаю, никто и ѣсть не хочетъ, возразила Аграфена Петровна, однако встала и пошла.

За обѣдомъ, она еще лучше доказывала, что аппетитъ ея не пропалъ. Надежда Сергѣевна была блѣдна и вздыхала. На столъ подали свѣчи; ихъ низкій свѣтъ нарисовалъ во всю стѣну двойную тѣнь головы Надежды Сергѣевны въ папильоткахъ. Боровицкій капризничалъ и молчалъ; онъ посмотрѣлъ на эту тѣнь и впалъ въ то раздумье о драмахъ жизни, при которомъ уже не можетъ оставаться никакого снисхожденія къ простывшему обѣду. Боровицкій, впрочемъ, протестовалъ только тѣмъ, что ничего не ѣлъ.

— Ты дѣлалъ визиты? спросила Надежда Сергѣевна.

— Такъ что же? отвѣчалъ Боровицкій.

— Гдѣ ты былъ?

— Что за вопросы?

— Развѣ я не имѣю права спросить?

— Но къ чему спрашивать?

— Надѣюсь, это не какая нибудь важность, не тайна?

— Не тайна, но и допросы ни къ чему.

— Допросы! Развѣ я допрашиваю?

— Какъ же это иначе назвать? Гдѣ былъ, у кого былъ? Нельзя двинуться, чтобъ не потребовали отчета.

— Ты, кажется, никому не отдаешь отчета въ своихъ поступкахъ!

— Я, кажется, имѣю на это право.

— Mon Dieu puissant! вскричала Надежда Сергѣевна, сбросивъ салфетку съ колѣнъ на столъ.

— Пожалуйста, безъ сценъ при лакеяхъ, замѣтилъ Боровицкій.

Аграфена Петровна кушала, кончила и вдругъ засмѣялась.

— Матушка, уморительный ты человѣкъ! сказала она дочери:—еще чего спрашивать? Ну, у Деневскихъ своихъ сидѣлъ, гдѣ же больше!

— Я не зналъ, что я подъ присмотромъ полиціи, сказалъ Боровицкій.

— Это кто же, полиція? спросила Аграфена Петровна:—это, стало быть, я полиція?

— Стало быть!

— Что-жъ, я не могу ужъ и кучера спросить, моего крѣпостного человѣка? Вы хотите, чтобъ мои собственные люди ко мнѣ уваженія не имѣли? Люди-то мои, а не ваши, Григорій Николаичъ, извольте это помнить!

— Но я вамъ не крѣпостной, не забудьте, вскричалъ онъ.

— Grégoire! вмѣшалась жена.
— Это—кабала, невольничество! я завишу отъ вашихъ холопьевъ!
— Своихъ, своихъ заведите!
— Въ домѣ, гдѣ я хозяинъ...
— Хозяинъ? Батюшки мои, онъ — хозяинъ!
— Хозяинъ! повторилъ Боровицкій:—хозяинъ, хозяинъ! мужъ вашей дочери, вотъ внука ваша! Что-жъ, вы хотите изъ меня пѣшку дѣлать? Я имѣю свои средства жить...
— Какія это средства вы имѣете, отецъ мой? курамъ на-смѣхъ! Вотъ, дѣвчонка, и той по пальцамъ пересчитать, и та пойметъ...
— Прошу васъ не касаться моей дочери, это не ваше дѣло!
— Какъ не мое дѣло?
— Не ваше дѣло! Она мнѣ дочь...
— Да, вотъ она мнѣ дочь, а вы что съ ней дѣлаете?
— Что я дѣлаю?
— Какое вы имѣете къ ней уваженіе?
— Какъ, я не уважаю моей жены? Не уважаю моей жены? повторилъ Боровицкій.
— Что-жъ, хорошо ваше поведеніе? Ни свѣтъ, ни заря изъ дома...
— Я и вовсе сбѣгу! вскричалъ Боровицкій и всталъ.
— Mon Dieu! Maman! Grégoire!
Надежда Сергѣевна вскочила тоже. Маша, въ слезахъ, ни жива, ни мертва, не смѣла двинуться.
— Что-жъ, счастлива ваша жена? счастлива? Вы ее тираните! Спросите, спросите, каково ей! она не нѣмая...
— Maman, mais, au nom du ciel... Grégoire, je vous conjure...
Боровицкій метался по залѣ, отыскивая свою шляпу. Надежда Сергѣевна схватила его за руки, припала на его плечо и кружилась съ нимъ вмѣстѣ; имъ на дорогѣ попадался лакей съ блюдомъ, незнавшій куда посторониться. Другой, въ эту минуту, растворилъ дверь прихожей: показалась Зинаида Сергѣевна.
— Вы еще обѣдаете? сказала она, не обращая вниманія на сцену и сбрасывая шубу:— Дина, я къ тебѣ. Ѣдешь ты въ собраніе?
Зинаида Сергѣевна тоже торопилась.
— Здравствуйте, маменька... Ѣдешь ты, Дина? Исторія ужасная. Я не ѣду. Ты, какъ знаешь...
— Ну, мой другъ, тутъ своя исторія! отвѣтила за всѣхъ Аграфена Петровна:—тутъ, вотъ, грозитъ изъ дома бѣжать, а сумасбродная твоя сестрица... да кажется, я скорѣе всѣхъ сбѣгу...
— Темнота какая у васъ, продолжала Зинаида Сергѣевна, не слушая и вглядываясь:—Григорій Николаичъ, вы тутъ?
— Здѣсь, отвѣчалъ, подходя, Боровицкій.
— Здѣсь, мой другъ! повторила Аграфена Петровна:—я къ тебѣ съ одной моей единственной просьбой: дай ты мнѣ уголъ у себя, чуланъ какой нибудь...
— Григорій Николаичъ, вы куда укатили изъ собора, спросила Зинаида Сергѣевна, волнуясь своимъ дѣломъ.
— Куда укатилъ!! Вотъ ты спроси, куда! Все туда же...
— Maman, au nom du ciel...
— Ты чего, матушка? Ну, если пріятно тебѣ...
— Григорій Николаичъ, вы гдѣ же были? продолжала Зинаида Сергѣевна, не желая слушать:—вы, стало быть, не у губернатора обѣдали...
— Очень онъ думаетъ о губернаторѣ!..
— Такъ вы тамъ не были? продолжала предводительша:—тамъ исторія премерзкая. Вашъ губернаторъ—свинья. Это такъ не кончится. Ни я, ни Пьеръ нынче въ собраніе ни ногой.
— Что-жъ такое случилось? спросилъ Боровицкій, подвигая ей стулъ къ разстроенному обѣденному столу и не садясь самъ.
— Какъ же не случиться, помилуйте! Обѣдъ этотъ офиціальный... Вашему Полугину деньги отпускаются на эти обѣды, а они дрянь такая, что Петръ Иванычъ всякій разъ послѣ нихъ лекарство принимаетъ...
— Ужъ губернаторъ вашъ! сказала съ упрекомъ Аграфена Петровна:—э, полноте, сдѣлайте милость!
— Что-жъ, тошно, что ли, Петру Иванычу? спросилъ Боровицкій.
— Григорій Николаичъ, я васъ прошу не шутить! вскричала Зинаида Сергѣевна:—я вамъ говорю, какъ родственнику...
— Но вѣдь вы такъ начали, Зинаида Сергѣевна... возразилъ Боровицкій.
— Ce n'est pas l'heure de plaisanter, Grégoire.
— Я говорю, Григорій Николаичъ... вотъ, Дина правду говоритъ, тутъ шутки въ сторону, тутъ мы всѣ замѣшаны, тутъ все дворянство замѣшано. А Полугинъ вашъ, ему хочется ленту схватить только.
— Что-жъ случилось такое, ради-Бога! прервалъ Боровицкій:—ну, былъ обѣдъ, ну, поѣхалъ Петръ Иванычъ...
— Да вѣдь ленту вашему Полугину хочется, вскричала Аграфена Петровна.
Зинаида Сергѣевна повернулась было къ

ней, желая разсказывать, но, мгновенно сообразивъ, что изъ собесѣдниковъ все-таки толковѣе другихъ Боровицкій, отнеслась опять къ нему.

— Здоровье пили. Ну, царское, какъ водится, ура кричали. Потомъ, этого Полугина... Пьеръ говоритъ, что онъ вынесъ это. «Это, говоритъ, мнѣ всякій разъ на этихъ обѣдахъ щелчокъ въ носъ, что губернатора, пришлеца, здоровье пьется прежде ихъ кореннаго губернскаго предводителя». Ну, выпили; ничего. Вдругъ губернаторъ встаетъ— длинная эта фигура—и «Здоровье нашего дорогого гостя, полковника Скворещенскаго!» Это вмѣсто мужнина-то здоровья, вмѣсто здоровья предводителя дворянства!

Зинаида Сергѣевна задыхалась.

— Полковника Скворещенскаго!.. Онъ тутъ за рекрутами, вотъ и все, полковникъ этотъ Скворещенскій, а губернскій предводитель дворянства, почетное лицо, въ полномъ мундирѣ, въ бѣлыхъ съ позументами, губернскій предводитель сидитъ и ждетъ, и о немъ молчатъ, и онъ сидитъ-сидитъ, и всѣ пьютъ этого Скворещенскаго, и чокаются, и шумъ...

— Господи, Боже мой! воскликнула съ ужасомъ Аграфена Петровна.

— Rivalité de province, замѣтилъ Боровицкій, къ счастью своему неразслышанный.

— Нѣтъ, вы представьте — Скворещенскій... Этотъ Скворещенскій кланяется, встаетъ, и... этакая свинья! черезъ столъ тутъ же свой бокалъ, чокаться съ Пьеромъ... Пьеръ... ему трудно вставать... долженъ былъ опять встать...

— Это ужасно! сказала Надежда Сергѣевна

— Вы представьте—ему встать, да еще черезъ столъ тянуться! У Пьера въ депутатскомъ собраніи свое собственное кресло, въ которое онъ едва сѣсть можетъ, а тутъ онъ, для полковника какого нибудь Скворещенскаго, поднимайся, потому что тотъ удостоилъ свой бокалъ протянуть...

— Но вѣдь здоровье Петра Иваныча пили, я надѣюсь? спросилъ серьезно Боровицкій.

— Еще бы не пили! вскричала Зинаида Сергѣевна:—пили, потомъ. Но вы поймите, развѣ это—то? Нѣтъ, я васъ спрашиваю, то-ли это? Оскорбить такъ человѣка...

— Кровно оскорбить! подсказала Аграфена Петровна.

— Вы поймите: я—губернская предводительша; вдругъ вмѣсто меня, не знаю бы кого, совѣтницу, учительшу, ну, не знаю куда нибудь... Вѣдь Пьеръ не человѣкъ, котораго можно третировать, это—санъ, это священно... Я ему первая говорю... Онъ воротился, ложится, разсказалъ... я ему говорю: Пьеръ, это наша обязанность доказать; въ собраніи быть ни мнѣ, ни тебѣ нельзя... Ты, Дина, какъ знаешь.

— Да нечего, матушка, изъ чего тянуться! сказала Аграфена Петровна:—отослать швею эту глупую...

— Какъ себѣ хочешь, Дина, мнѣ все равно. Тамъ пусть хоть на головѣ ходятъ, а Полугинъ вашъ долженъ это раскусить... Вотъ, Григорій Николаичъ, вы объ этомъ человѣкѣ говорили? Начальникъ вашъ! Вотъ что онъ собой доказываетъ.

— Но я совсѣмъ не зналъ Полугина... началъ Боровицкій.

— Не знали? да вѣдь вы служите же у него? Вотъ онъ что! Дрянь онъ, вашъ Полугинъ! Это теперь исторія на весь городъ. Скворещенскій этотъ поѣдетъ въ свой Петербургъ и будетъ тамъ хвалиться, какъ онъ предводителя дворянства въ тѣнь поставилъ... Нѣтъ, вы мнѣ скажите, Григорій Николаичъ, можно это вынести?

— Кровное оскорбленіе! повторила Аграфена Петровна.

— Я этого никоимъ образомъ не допущу! продолжала Зинаида Сергѣевна:—дура его жена, эта сухотка, я знаю, что я сдѣлаю! Мы къ ней никто ни ногой. Сидѣла она и вѣкъ сиди со своими, что у нея на посылкахъ. Кто къ ней поѣдетъ, извольте сказать, къ мадамѣ этой Полугиной? Когда я, губернская предводительша, ея знать не хочу, кто къ ней носъ покажетъ? совѣтницы ея, изъ губернскаго правленія, приказныя ея...

— Позвольте, прервалъ Боровицкій:—моя жена къ ней поѣдетъ.

— Зачѣмъ же она поѣдетъ?

— Боже ты мой!..

— Grégoire!

— Поѣдетъ, потому что это обязанность моей жены.

— Помилуйте, вы меня... Дина, матушка, что-жъ ты онѣмѣла что ли?.. Григорій Николаичъ, вы прежде опомнитесь: жена ваша—мнѣ сестра.

— Такъ что же?

— Ну, и не должна она ѣхать!

— Что-жъ такое, что она вамъ сестра...

— Да что вы дерзости говорите, вступилась Аграфена Петровна:—еслибъ она не была ей сестра, что-жъ бы такое была ваша жена? взгляните вы... Эхъ, Господи, возмутительно!

— Послушайте, Зинаида Сергѣевна, продолжалъ Боровицкій, повернувшись къ тещѣ спиной:—я обращусь къ вамъ, какъ къ умной женщинѣ...

— Мы дуры всѣ, видите ли! отозвалась Аграфена Петровна.

— Вы поймете, потому что вы знаете ваше вліяніе на Петра Иваныча. Въ вашихъ рукахъ все. Это все вверхъ дномъ пойдетъ, если не вы. Женщина съ вашей красотой, вы знаете—тутъ все. Въ этомъ случаѣ, вы и я должны взяться за руки, такъ сказать, отстоять. Вамъ — я родной, у Полугина — я служу. Я, такъ сказать, звено между вами. Я не долженъ допустить... вы понимаете, тутъ вся губернія полетитъ, если такія два лица между собою враждуютъ...

— Да что вы говорите! прервала Зинаида Сергѣевна: — такъ, по вашему, губернскій предводитель долженъ...

— Ничего онъ не долженъ, я ни о какомъ долгѣ не говорю. Я говорю о декорумѣ...

— О ты, Господи, мой Владыко! сказала, хохоча, Аграфена Петровна.

— Такъ мнѣ, изъ декорума, кланяться Полугиной?

— Ахъ, нѣтъ, Зинаида Сергѣевна...

— Такъ что же «нѣтъ»? Когда мужья въ такихъ отношеніяхъ...

— Но вѣдь это еще неизвѣстно, это еще впереди! Пусть они будутъ въ какихъ угодно отношеніяхъ, вы можете ѣздить, или не ѣздить къ мадамъ Полугиной, но на балѣ сегодня вамъ слѣдуетъ быть...

— Да, Зина!..

— Почему слѣдуетъ?

— Потому... Именно потому, что мадамъ Полугина никогда не можетъ быть тѣмъ, что вы. Тутъ présentation нужна, декорумъ. Что за балъ безъ хозяйки? Вы вспомните — это не простой вечеръ, это царскій балъ.

— Надо быть, Зина, сказала Надежда Сергѣевна.

— Это офиціальность, какъ хотите, настаивалъ Боровицкій:—служба. Вы на службѣ, вы предводительша. Подумайте, безъ васъ не къ кому примкнуть. Вѣдь отъ васъ все. Вы свѣтило!

Онъ сказалъ это полушутя, за что Аграфена Петровна наградила его презрительнымъ «эхъ!» и обратилась къ дочери.

— Это и я тебѣ скажу, правда, Зиночка. Только это одно и правда. Безъ васъ, другъ мой, всѣ какъ безъ рукъ. Петра Иваныча не будетъ, танцовать будетъ некому.

— Il y aura un parti, Zina, замѣтила Надежда Сергѣевна.

— Да, партія, подтвердилъ Боровицкій.— Служащіе — всѣ за Полугина... Положимъ, я; но вѣдь я — исключеніе. Какъ же быть вашимъ? Здѣсь много пріѣзжихъ изъ деревень; все это, натурально, едва войдетъ въ залу, обратится: гдѣ вы, гдѣ Петръ Иванычъ? Вѣдь это будетъ значить, что Петръ Иванычъ бросилъ ихъ на произволъ судебъ...

— Вы втолкуйте это Петру Иванычу, возразила Зинаида Сергѣевна: — онъ хочетъ завтра въ отставку подать.

— Что вы! сказалъ Боровицкій, смѣясь нѣсколько самодовольно, между тѣмъ какъ жена и теща ахнули въ ужасѣ:—что это онъ, любезнѣйшій мой? Я его уговорю. Я ему докажу, что для всей губерніи... Нѣтъ, я ихъ помирю!

— Туда же! сказала Аграфена Петровна. Боровицкій не обратилъ вниманія.

— Нѣтъ, теперь я вижу, это мое дѣло. Я ихъ сведу, я родня Петру Иванычу, служу у Полугина, я ихъ сведу. Это вздоръ. Я готовъ сказать...

— Надо ѣхать въ собраніе, Зина, повторила Надежда Сергѣевна.

— Эта одно свое зарядила! сказала мать.

— Надо ѣхать, подтвердилъ Боровицкій.—Во-первыхъ, безъ васъ тамъ мракъ и запустѣніе. Красавицѣ прятаться нельзя. Платье изъ Петербурга, надѣть его слѣдуетъ; ручки вотъ эти, на темномъ бархатѣ...

— Ну, вы, вѣтреная голова! прервала Зинаида Сергѣевна, ударивъ его перчаткой: — беретесь, такъ уломайте мнѣ Петра Иваныча, а съ Полугиншей я сама справлюсь.

— Все, что вамъ угодно. Довезите меня сейчасъ къ Петру Иванычу.

— Поѣдемте, я въ каретѣ. Не отпрягали съ обѣдни. Прощайте, маменька!

Надежда Сергѣевна выбѣжала въ прихожую.

— Zina, au nom du ciel, пришли мнѣ Пелагею; платье мнѣ испортили.

— Хорошо, матушка.

— Эта все свое! сказала Аграфена Петровна, проходя въ гостиную, между тѣмъ какъ Маша, осмѣлясь, наконецъ, встать изъ-за стола, потому что всѣ встали, ловила поцѣловать ручку бабушки.

III.

Страшная вѣсть, что оскорбленъ губернскій предводитель, между тѣмъ, облетала

городъ, разносимая бывшими на обѣдѣ. Не всѣ, конечно, сразу понимали, въ чемъ состояло оскорбленіе; были даже тупоумные, которые не понимали и послѣ толкованій, но къ чести N-скаго общества надо сказать, что немного было этихъ равнодушныхъ. Кромѣ ихъ, всѣ рѣшили, что между губернаторомъ и предводителемъ началась «контра».

Какъ водится во всякомъ мыслящемъ обществѣ, мнѣнія раздѣлились. Они, впрочемъ, были несложны. Одна сторона говорила, что губернаторъ «имѣлъ право», другая, что онъ «не имѣлъ права»—и только. Въ поддержку перваго мнѣнія, нѣкоторые прибавляли: «потому что онъ начальникъ губерніи», въ поддержку второго — «потому что Черемышевъ — губернскій предводитель». Далѣе разбирательство не шло. Столкнулись двѣ равносильныя, непогрѣшимыя власти, о чемъ прочимъ смертнымъ разсуждать не подобаетъ. Въ настоящее время, подняли бы вопросъ о высшемъ сословіи и бюрократіи; тогда этихъ тонкостей не трогали... Разсматривалось значеніе полковника Скворещенскаго, какъ прикосновеннаго къ дѣлу, но разсматривалось слегка и осторожно, съ нѣкоторымъ страхомъ.—«Ленты захотѣлъ», говорили противники губернатора, но смолкали предъ возраженіемъ, что «рекрутъ ставятъ дворяне и, слѣдовательно, предводитель можетъ поубавить своей спѣси предъ петербургскимъ полковникомъ...» Такъ возражали, впрочемъ, люди ужъ самые смѣлые, служащіе и невладѣющіе имѣніями въ N-ской губерніи. Они и поставили себя сразу въ совершенно враждебныя отношенія съ «партіей» предводителя, между тѣмъ какъ та партія раздѣлилась на очень горячихъ и умѣренныхъ. Про этихъ послѣднихъ генералъ Осминниковъ сказалъ, что они хвостомъ виляютъ—когда Малѣевъ счелъ долгомъ заѣхать къ нему съ губернаторскаго обѣда, съ свѣжимъ извѣстіемъ о случившемся. Вдвоемъ, они ругали обоихъ, и Полугина, и Черемышева, за что, не рѣшивъ хорошенько. Въ глазахъ генерала, Полугинъ былъ виноватъ тѣмъ, что онъ «статское превосходительство», а Черемышевъ тѣмъ, что толстъ. Генералъ закатывался отъ смѣха, когда Малѣевъ представлялъ въ лицахъ офиціальный обѣдъ.

— Вы, однако, милый мой, осторожнѣе о томъ-то, заключилъ онъ: — длинный шестъ все-таки начальникъ вашъ, привяжется, — а въ казармахъ потолки провалились...

Малѣевъ и безъ того это помнилъ.

Общее затрудненіе было, однако, велико. Несмотря на раздѣленіе на партіи, что, казалось бы, и опредѣляло образъ дѣйствій и указывало на единомышленниковъ, всякій боялся другого и отдѣльно чувствовалъ себя неловко. Общество привыкло видѣть у себя два свѣтила, вѣровать двумъ богамъ: настала минута, когда сдѣлалось необходимо признать, что одно изъ двухъ затмилось, приносить жертвы и кажденія только одному. Остаться при двухъ, думали зависящіе мудрено; пойдутъ исторіи — не усидишь. Независимые думали о своихъ свѣтскихъ отношеніяхъ: что дѣлать, какъ себя поставить? «Контра» убивала даже темы простыхъ разговоровъ. Бывать у одного и обѣдать у другого дѣлалось несовмѣстимо, а между тѣмъ, не бывать у одного — невозможно, и не обѣдать у другого — немыслимо... «Исторія» сдѣлалась заботой, къ которой ума не приложишь. Въ сумерки между несчастнымъ обѣдомъ, предстоящимъ офиціальнымъ баломъ, эта забота расхаживала по пустымъ, тихимъ комнатамъ обывательскихъ домовъ, гдѣ все, казалось, предавалось покою въ ожиданіи удовольствія,—но покой былъ обманчивый. Отцы семействъ совѣщались съ супругами, или кряхтѣли, не засыпая, въ своихъ спальняхъ, между тѣмъ какъ супруги совѣщались съ взрослыми дочерьми. Старожилы провинцій могутъ представить яркіе примѣры того, какъ разрабатывались женщинами губернскія общественныя «исторіи». Положительно, ни одна не шла мимо ихъ, ни одна не прошла ими неукрашенная, неусложненная до потери своего настоящаго смысла, и ни одна не была ими рѣшена. Оно такъ и слѣдуетъ: тогда женщины въ провинціи помнили, что не женское дѣло рѣшать общественные вопросы. Онѣ довольствовались тѣмъ, что заварили кашу.

Большинство дамъ было за губернатора, предводительша была слишкомъ хороша собою и слишкомъ дорого одѣвалась. Аделаида Васильевна Полугина была блѣдное, безличное существо, съ кучею ребятъ, которыхъ никто не видалъ по причинѣ ихъ хворости и наклонности ихъ матери къ экономіи въ нарядахъ. О дѣтяхъ знали только, что они суть, въ чемъ убѣждались, находя иногда растрепанный букварь въ холодной гостиной губернаторши. Почитательницы говорили, что она «вѣчно съ дѣтьми». Она много молилась, не танцовала и не имѣла положенныхъ вечеровъ. Ея рѣдкіе балы были — тоска смертная, а въ собраніи, куда

иногда она ѣздила, ее могли видѣть въ уголку, признавая издали зеленовато-голубое платье и райскую птичку — костюмъ неизмѣняемый. Отъ такой особы нельзя было ожидать удовольствій, почему дѣвицы, при разборѣ «исторіи», клонились болѣе на сторону предводительши, забывая даже ея красоту и щегольство, между тѣмъ какъ матери семействъ стояли за экономію, олицетворенную въ видѣ губернаторши. Впрочемъ, нерѣшительность дамъ равнялась нерѣшительности мужчинъ: ни одна не могла опредѣлить заранѣе, какъ будетъ держаться. Часъ бала наставалъ; многія ужъ одѣвались, еще не зная, какъ быть и что дѣлать въ собраніи.

Надежда Сергѣевна проводила ужасныя минуты. Едва вышли сестра и мужъ, какъ мать начала ей сцену, за что—мудрено объяснить, потому что упоминалось безчисленное множество самыхъ разнообразныхъ предметовъ. Послѣднее негодованіе было на круто вымощенный подъѣздъ собранія.

— Лошади не втащутъ, рыдванъ твой назадъ откатится, заключила Аграфена Петровна и, хлопнувъ дверью, вышла.

Надежда Сергѣевна и безъ того не разъ плакала, что имѣетъ старыхъ лошадей и старую карету, въ которой можно ѣздить только вечеромъ. Она давно была убѣждена, что Грегуаръ причиной этого несчастія... да и всѣхъ несчастій. Тѣмъ болѣе показался ей необходимъ свѣтъ, блескъ и этотъ балъ, этотъ балъ, котораго она ждала, на которомъ имѣетъ право сіять ея сестра и въ которомъ хотятъ отказать ей, затворницѣ!.. У нихъ ссоры: что ей за дѣло до ихъ ссоръ? ей нуженъ свѣтъ, балъ, очарованія...

Едва ушла мать, Надежда Сергѣевна бросилась мѣрять свое платье. Судьба сжалилась надъ нею: оно «сидѣло» восхитительно. Въ зеркалѣ отразился тотъ станъ сильфиды, который нѣкогда производилъ фуроръ въ N-скомъ обществѣ, а *восемь* лѣтъ назадъ плѣнилъ юношу Боровицкаго.

— Trente-cinq ans... прошептала Надежда Сергѣевна, но и это размышленіе не могло прогнать ея веселой улыбки.

Капля счастья и женщина хорошѣетъ, это неоспоримо. Потому и не дурнѣютъ хорошенькія эгоистки.

Довольство своей наружностью разбудило въ Надеждѣ Сергѣевнѣ нѣчто въ родѣ вкуса: она примѣрила вѣнокъ, присланный сестрою, и догадалась, что онъ негодится. Вмѣсто рогатыхъ красныхъ фуксій, Надежда Сергѣевна выбрала длинное голубое перо en saule pleurant, что съ длинными локонами, при воздушномъ платьѣ, будетъ поэтично. На письменномъ столѣ лежала записная бальная книжечка, перламутровая, съ бронзой. Надежда Сергѣевна отмѣтила въ ней тонкимъ карандашомъ:

— Troisième contredanse — Maleïeff.

Вздохнувъ, что некого больше записать, Надежда Сергѣевна взглянула на часы, задула свѣчку и прилегла отдохнуть.

Боровицкій, между тѣмъ, какъ онъ называлъ это—одерживалъ побѣду. Онъ, какъ другіе, былъ пораженъ ссорой властей; ему, какъ другимъ, мелькнула мысль, что изъ этой ссоры можетъ пойти кутерьма по всей губерніи, чему есть примѣры въ исторіи всѣхъ губерній, но все это заинтересовало его какъ-то иначе нежели другихъ, какъ-то отвлеченно. Онъ совершенно забывалъ, что схватка, въ случаѣ если пойдетъ посильнѣе, коснется его навѣрное и скорѣе всѣхъ; онъ распоряжался «исторіей», будто домашнимъ спектаклемъ... Дорогой къ Черемышеву, онъ нѣсколько разъ поцѣловалъ прекрасныя ручки своей belle-soeur, толкуя ей, что она обязана быть на балѣ, потому что красавица. Зинаида Сергѣевна всегда искренно смѣялась надъ любезниками, но любила, чтобы съ ней любезничали; за поцѣлуи ручекъ, она выдрала Боровицкому уши и обѣщалась пожаловаться Диночкѣ, чего, однако, не была намѣрена дѣлать. Боровицкій не опредѣлялъ себѣ хорошенько, на что присутствіе Черемышева на балѣ казалось ему необходимо. Онъ говорилъ только: «необходимо, предлогъ сойтись, переговорить, объясниться; чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; ну, сядутъ играть вмѣстѣ..»

Боровицкому не входило въ голову, что они могутъ не сѣсть играть вмѣстѣ. Несмотря на то, что считалъ для себя обидой даже названіе провинціала, не только подозрѣніе въ провинціальныхъ замашкахъ, Боровицкій самымъ провинціальнымъ образомъ вѣровалъ нераздѣльно въ губернатора и предводителя. Разрывъ между ними... Боровицкій не могъ прибрать и слова, что это такое.

— Они должны сойтись, и я сведу ихъ, рѣшилъ онъ.

Это оказалось не такъ легко, и Боровицкій и не оглянулся, какъ измѣнилъ своимъ убѣжденіямъ, забылъ свои планы, перешелъ на сторону одного предводителя, непобуждаемый къ этому никакими новыми резонами и обстоятельствами, и сталъ дѣйствовать

въ этомъ духѣ. Это случилось невольно, незамѣтно для самого Боровицкаго.

Петръ Ивановичъ былъ такъ страшно разгнѣванъ, что одинъ видъ его въ минуту останавливалъ всякія соображенія, не только разговоры, и тѣмъ болѣе—вразумленія. Это былъ гнѣвъ спокойный, неподвижный, давящій всей своей массой. Петръ Ивановичъ говорилъ, по обыкновенію, кратко, даже не умножалъ ругательныхъ эпитетовъ, но его губы были сини, а въ голосѣ слышалась хрипота. Боровицкому одну секунду мелькнула мысль позвать доктора, но прошла, только убѣдивъ сильнѣе, убѣдивъ окончательно, что Петръ Ивановичъ страшно оскорбленъ.

— Вотъ, братецъ, какъ подкапываются! выговорилъ Петръ Ивановичъ, увидя его.— Полюбоваться пришелъ на дѣла своего начальника? Въ прахъ человѣка стерли!

Боровицкому оставалось только протестовать, что онъ нисколько не любуется, а затѣмъ—раздѣлить справедливое негодованіе Петра Ивановича на его врага. Достовѣрно, что въ этой исторіи слово «врагъ» было произнесено первымъ Боровицкимъ: онъ увлекся. Но слово было рѣшительное. Послѣ него было уже невозможно отрицать, что подъ Петра Ивановича «подкапываются» и что затѣмъ все трехлѣтіе до будущихъ выборовъ должно быть періодомъ придирокъ и отстаиваній, и на выборахъ «будутъ рѣзаться». Это становилось несомнѣнно. Въ такомъ положеніи дѣла, человѣку съ значеніемъ и личными достоинствами Петра Ивановича, можно дать одинъ совѣтъ: дѣйствовать энергичнѣе и не давать себя стирать въ прахъ.

— Вамъ необходимо ѣхать въ собраніе, сказалъ Боровицкій, — чтобы Полугинъ не могъ вообразить, будто вы прячетесь. Ваше дѣло — выказаться. Передъ вами носъ подняли, поднимите голову.

Конечно, въ сравненіи съ прежними затѣями примиренія, это было то же, что небо и земля, но Боровицкій говорилъ искренно. Будто ниспосланные судьбами ему на помощь, явились двое господъ: одинъ — уѣздный N-скій предводитель, другой—депутатъ дворянскаго собранія — навѣстить Петра Ивановича послѣ случившагося. Визитъ этихъ господъ доказывалъ, на чьей они сторонѣ. Но какъ провинціалы (чему въ душѣ улыбнулся Боровицкій) они не знали, какъ держаться, вошли повѣся голову, осторожно, будто въ комнату больного, сконфуженные. Боровицкій зналъ, изъ древней исторіи и новѣйшихъ событій, чего иногда стоитъ одна минута нерѣшительности.

— Какъ я радъ! сказалъ онъ, вставая навстрѣчу входящимъ и подавая имъ руки, хотя съ однимъ былъ вовсе незнакомъ. — Я предчувствую, вы мнѣ поможете. Вы знаете дѣло — наше общее дѣло...

Гости смотрѣли на него съ изумленіемъ и тихо здоровались съ хозяиномъ. Боровицкій спѣшилъ не давать остыть минутѣ.

— Помогите мнѣ, господа, поддержать энергію Петра Иваныча. Это происшествіе такъ его возмутило...

— Ничего, братецъ, оно меня не возмутило, прервалъ Петръ Иванычъ:—я гвалту не люблю только, а какая тамъ энергія! Ну, рѣзаться, чортъ его возьми, такъ рѣзаться! я и безъ тебя знаю!

— Мы затѣмъ и спѣшили къ вамъ, началъ уѣздный:—чтобы узнать, какія мѣры принять, на счетъ, если... чтобы дѣйствовать единодушнѣе...

— Конечно, единодушнѣе, подтвердилъ Боровицкій: — во-первыхъ, всѣмъ сонмомъ въ собраніе.

— Ѣхать ли? спросилъ Петра Ивановича депутатъ.

— Ѣхать-съ, изрекъ Петръ Ивановичъ:— я самъ ѣду. Я не на балъ ѣду, не Полугинъ тамъ хозяинъ. Я къ царю ѣду — царскій балъ.

— Я слово въ слово говорю это! вскричалъ Боровицкій.—Но я говорю еще, что съ вашей стороны это будетъ... это будетъ... (онъ искалъ выраженія) это будетъ... démonstration...

— Какой тамъ вздоръ еще, прервалъ Петръ Ивановичъ:—просто, должно быть дворянство. Потому что въ лицѣ моемъ дворянство. Я оскорбленъ, такъ и жена моя оскорблена, и ты, и онъ, и всѣ.

— Ну, что же я и говорю... началъ Боровицкій.

— Такъ и рѣшено, господа, быть, заключилъ Петръ Ивановичъ:—а потомъ ужъ Полугинъ держи ухо востро. Я всегда такъ признателенъ за честь, которую мнѣ сдѣлало дворянство, избрало меня, что всегда поддержу, покуда силъ моихъ станетъ...

— Борьба нужна... вступился Боровицкій.

— Такъ и скажите вашимъ, и всѣмъ, продолжалъ Петръ Ивановичъ: — и я, и жена всегда готовы...

— Дворянство на васъ смотритъ, сказалъ уѣздный.

— И соображается, прибавилъ депутатъ.

— Но это слѣдуетъ высказать, господа! прервалъ Боровицкій:—нынѣшнимъ баломъ, господа, ничего не доказывается!

— Какъ, ничего не доказывается?

— Какъ же, братецъ, сейчасъ ты одно говорилъ...

— Я говорилъ... Вы сами признали, что балъ офиціальный, царскій...

— Ну, да!

— Конечно!

— Слѣдовательно, быть тамъ — вашъ долгъ...

— Ну, долгъ! Мы безъ тебя знаемъ.

— Слѣдовательно, вы этимъ доказываете Полугину только, что вы не скрываетесь, что вы... такъ сказать... не потерялись...

— Ну, да. Ну, что-жъ еще?

— Этого мало, господа. Надо выразить еще другое. Позвольте мнѣ объясниться... Вамъ слѣдуетъ... Петръ Иванычъ въ главѣ общества... Это надо выразить сильнѣе. Мнѣ неловко говорить въ глаза, въ особенности родному, но вы знаете все уваженіе, которымъ пользуется Петръ Иванычъ, его заслуги... Сегодня онъ оскорбленъ, это надо загладить, такъ сказать, вознаградить... дать ему завтра обѣдъ въ клубѣ!

Гости переглянулись.

— Да-а, ты, вотъ, что... произнесъ Петръ Ивановичъ.—Это было бы мнѣ пріятно.

— Непремѣнно, подтвердилъ, одушевляясь, Боровицкій: — по подпискѣ, сколько есть дворянства въ городѣ, и не позже какъ завтра. Господа, если только ваше расположеніе къ Петру Иванычу точно искреннее...

— Безъ всякаго сомнѣнія! Какъ можно! заговорили гости.

— Я не принуждаю, не требую, сказалъ Петръ Иванычъ: — но если господа дворяне желаютъ, я ихъ не стѣсняю...

— Дворяне желаютъ! вскричалъ Боровицкій: — и я, какъ дворянинъ N-ской губерніи...

— Обѣдъ, обѣдъ непремѣнно! рѣшилъ уѣздный.

— И здоровье пить ужъ понастоящему, прибавилъ депутатъ.

— И качать! заключилъ Боровицкій. — Вотъ это будетъ какъ слѣдуетъ! Докажемъ, господа, что мы не сробѣли...

— Я буду имѣть удовольствіе отблагодарить, сказалъ Петръ Ивановичъ.

— Помилуйте, ваше превосходительство...

— Обѣдомъ, или баломъ, какъ пожелаетъ дворянство.

— Баломъ! сказалъ Боровицкій:—задайте намъ балъ на славу, дорогой мой Петръ Иванычъ. А предъ нынѣшнимъ, позвольте мнѣ выспаться... До свиданія.

Онъ пережалъ всѣмъ руки и вышелъ изъ кабинета. Въ залѣ встрѣтилась ему m-lle Лувро. Она была въ пеньюарѣ, тоже отдыхая предъ вечеромъ.

— Поблагодарите меня, сказалъ ей Боровицкій: — если бы не я, вамъ бы не танцовать сегодня.

— Vraiment? Merci.

— А почему бы мнѣ и не сдѣлать этой жестокости, не удержать всѣхъ и васъ дома?

— За что?

— Что-жъ я выигрываю изъ того, что вы веселитесь? Вы на меня не обращаете вниманія.

— Oh, m-r Borovitzsi, je le dirai à votre femme!

— Вы слишкомъ добры для этого, возразилъ онъ и, самъ не зная зачѣмъ, дружески пожалъ ей руку.

Онъ былъ какъ-то особенно настроенъ. Онъ чувствовалъ въ себѣ жажду дѣятельности; какъ-то «общественное дѣло» начало мерещиться ему въ этой «исторіи». Вечеръ былъ темный, наволочный, съ морозомъ, улицы пусты, только дворники хлопотали, зажигая убогую иллюминацію, и мальчишки вертѣлись около плошекъ. Боровицкій шелъ, не находя извощика. Ему мечталось. Онъ былъ радъ, что, вотъ, что-то разгорится и въ этомъ городѣ, и въ этомъ обществѣ. Общество, стало быть, способно проснуться. Оно понимаетъ свои права. И оно единодушно, стоило намекнуть, что оно оскорблено— оно возстаетъ. И эти люди нисколько не смѣшны. Какъ это все находить смѣшнымъ? Когда русскіе сочтутъ себя за что нибудь серьезное? Развѣ не вездѣ все точно такъ дѣлается? Вотъ, теперь, напримѣръ, все серьезное затронуто, и губернаторъ, и предводитель; готовится овація... Вотъ, городъ покуда тихъ, а часа черезъ два оживится, загремятъ кареты... движеніе. Женщины, нарядныя, прекрасныя, забываясь, полетятъ веселиться, между тѣмъ какъ мужья...

— А вѣдь въ собраніи надо быть въ мундирѣ, прервалъ самъ себя Боровицкій... Какой вздоръ! Въ черномъ фракѣ. Разшивныхъ и безъ того довольно будетъ; рады случаю.

Боровицкому вспомнились эти мундиры, какъ они были утромъ, въ соборѣ, накрахмаленные бѣлые галстухи, маленькіе шпаги,

носы, посинѣвшіе отъ холода. Явственнѣе всѣхъ, всѣхъ забавнѣе вообразился Черемышевъ.

— О, премудрая голова! мысленно воскликнулъ Боровицкій. — Да какъ же досадно, что не былъ я на этомъ обѣдѣ, не видалъ, какъ баринъ оскорбился! Надо его вознаградить, накормить... Но на дворянскомъ обѣдѣ буду же я, и я—не я, если его не будутъ качать. Это надо сошкольничать.

Его раздумье о пробужденіи общества разлетѣлось. Онъ проходилъ въ эту минуту мимо гостинницы, гдѣ жилъ полковникъ Скворещенскій. Подъѣздъ былъ освѣщенъ, входъ смотрѣлъ привѣтно. Боровицкій почувствовалъ себя вдругъ какъ-то молодо, весело, и захотѣлъ посмѣяться съ молодымъ человѣкомъ своихъ лѣтъ. Къ тому же, Скворещенскій былъ не провинціалъ, а петербургскій пріѣзжій, передъ которымъ провинціальное общество, и само конфузясь, и его конфузя, держалось на вытяжкѣ. Боровицкій былъ изъ числа немногихъ избранныхъ, позволявшихъ себѣ нѣкоторую нецеремонность. Онъ вошелъ въ нумеръ Скворещенскаго. Полковникъ отдыхалъ и курилъ.

— Боровицкій, будете моимъ визави сегодня? спросилъ онъ, едва увидѣлъ гостя.

— Не буду, отвѣчалъ Боровицкій:—не до кадрилей, заботы много. Вы мнѣ надѣлали заботы.

Онъ тоже зажегъ сигару и легъ на другой диванъ.

— Что такое? спросилъ Скворещенскій, смѣясь, потому что въ тонѣ Боровицкаго слышалась шутка.

Боровицкій былъ въ духѣ смѣяться и смѣшить. Онъ разсказалъ всѣ предводительскія волненія, не щадя не только родственника, но и прекрасную родственницу. Сказавъ, въ заключеніе, что дворяне дадутъ обѣдъ Черемышеву, онъ прибавилъ:

— А вамъ непремѣнно надо подписаться, и тоже быть. Это будетъ всего курьезнѣе: обѣдъ на зло вамъ, а вы явитесь.

— Непремѣнно! сказалъ Скворещенскій: — вѣдь отказать мнѣ въ правѣ подписаться никто не можетъ.

— Еще бы!

— Вы и дамъ позовите.

— Э, на что вамъ барыни! возразилъ Боровицкій.

Онъ чувствовалъ себя въ эту минуту отчаяннымъ кутилой, можетъ быть, оттого, что Скворещенскій былъ сентиментальнаго нрава, что бросало въ противоположность, и, можетъ быть, отъ внезапной мысли, что пора идти домой, гдѣ есть жена и теща. Оживленность Боровицкаго вызвала въ свою очередь у полковника еще большую мечтательность.

— У васъ хорошенькая жена, замѣтилъ онъ, прерывая веселые разсказы Боровицкаго:—не ревнива?

Боровицкому было пріятно, что похвалили жену; имѣть некрасивую жену какъ-то совѣстно.

— Не ревнива! повторилъ онъ и засмѣялся:—какъ же, не ревнива!.. голова горячая.

— Очень хорошенькая, повторилъ Скворещенскій: — такая поэтичная. Une charmante femme.

Боровицкій былъ въ духѣ смѣяться и насмѣшничать, но удержался въ пору. У него мелькнула мысль, что вниманіе петербургскаго пріѣзжаго въ провинціи считается лестнымъ, что его женѣ будутъ завидовать, если Скворещенскій будетъ любезенъ съ нею... Ну, и пускай завидуютъ. Можетъ быть, и семейная жизнь отъ этого пойдетъ полегче...

Скворещенскому показалось, что Боровицкій задумался.

— А вы, ревнивы? спросилъ онъ.

Боровицкій усмѣхнулся, выпустивъ клубокъ дыма къ потолку.

— Я семь лѣтъ женатъ, отвѣчалъ онъ.

— Однако...

— Ревность—предразсудокъ. Я человѣкъ безъ предразсудковъ. Въ извѣстныя лѣта, я допускаю извѣстную степень свободы.

— Въ извѣстныя лѣта... Et quel âge a votre femme?

— Mais... vingt-six, sept ans, отвѣчалъ Боровицкій, почему-то не желая объявить настоящаго возраста Надежды Сергѣевны.

Скворещенскій много читалъ Бальзака. Какъ-то случалось, что большинство читателей Бальзака только и останавливалось, что на «тридцати годахъ» его героинь; одни смѣялись, другіе принимали къ свѣдѣнію. Скворещенскій былъ изъ числа послѣднихъ и, вообще, очень любилъ романы.

— Votre femme est poète? продолжалъ онъ разспрашивать.

— Кто вамъ сказалъ? спросилъ Боровицкій.

— Она сама. Она мнѣ говорила. Мы разговорились съ ней у madame Черемышевой. Une femme poète... Я тоже далекъ отъ предразсудковъ о синихъ чулкахъ. Поэзія въ женщинѣ—рѣдкость... Она много пишетъ?

— Не знаю... До замужества писала, отвѣчалъ, зѣвнувъ, Боровицкій.

— А потомъ?

— Потомъ перестала.

— Почему же?

— Кто-жъ ее знаетъ. Замужемъ какая ужъ поэзія.

— Ахъ, Боровицкій, я васъ не понимаю!

— Чего?

— Вы говорите, что вы безъ предразсудковъ! Но, стало быть, ваше мнѣніе о женщинахъ писательницахъ...

— Вотъ, видите ли, толковать долго, прервалъ Боровицкій, вставая; — некогда. Я скажу только; règle générale: ни одна писательница не умѣетъ ни танцовать, ни одѣваться...

— Постойте, постойте, вскричалъ Скворещенскій, видя, что онъ сбирается уйти:— а Дельфина? Qu'il est doux d'être belle...

— Alors qu'on est aimée, досказалъ Боровицкій, взявъ шляпу:—точно такъ, но такія вещи бываютъ гдѣ нибудь въ другихъ мѣстахъ, а не въ нашихъ губерніяхъ. А вотъ часа черезъ полтора, пойдетъ писать губернія, такъ надо проспаться. Если будете плясать, ищите себѣ визави, мнѣ некогда.

Онъ ушелъ.

Скворещенскій остался въ размышленіи о поэтической женщинѣ, одаренной талантомъ и легкомысленнымъ мужемъ. Онъ сообразилъ, что если она и ревнива, то это ужъ не любовь, а такъ, волненіе, отъ пустоты жизни, отъ скуки. Онъ сообразилъ еще, что только половина ноября, что въ N* ему должно пробыть еще довольно и что заняться ему ровно нечѣмъ. Кстати, ему припомнился N-скій гарнизонный командиръ и коекакіе счеты по этому случаю...

Надежда Сергѣевна въ это время почивала, ей грезились побѣды. Еслибъ она могла предчувствовать, какъ скоро должны осуществиться эти сладкія грезы!..

IV.

Къ десяти часамъ вечера, зала собранія была освѣщена, полна народу и нарядна, а комнаты, слѣдующія за нею, заставлены карточными столами.

Боровицкій торопилъ своихъ дамъ, нашумѣлъ въ кабинетѣ жены, чтобъ она скорѣе одѣвалась; онъ слеталъ и къ Зинаидѣ Сергѣевнѣ, умоляя ее скорѣе ѣхать, убѣждая, что она хозяйка бала. Самъ онъ отправился впередъ ждать, и ждалъ долго. Онѣ опоздали. Входя на лѣстницу, онѣ слышали звуки польскаго изъ «Жизни за царя», исполняемаго оркестромъ полковой музыки: балъ ужъ начался. Съ порога залы, прекрасная предводительша увидѣла начальника губерніи, ведущаго въ первой парѣ толстую, старую и непрезентабельную вдову генеральшу, которая никогда не пропускала офиціальныхъ баловъ, ради почетнаго тура польскаго; но этотъ туръ доставался ей всегда только въ третьей, даже въ четвертой парѣ, съ какимъ нибудь совѣтникомъ и никогда съ губернаторомъ; теперь она шла первая. Прекрасная предводительша поблѣднѣла. Съ минуту она и ея спутницы были принуждены ждать у дверей, пропуская мимо плывущія пары.

— Quelle chiquenaude! выговорила m-lle Луаро.

— Что-жъ это, не могли подождать? не подождали? спрашивалъ Черемышевъ, лиловѣя отъ стянутаго шитаго воротника и гнѣва.

— Сколько же ждать! возразилъ, поспѣшно подходя, Боровицкій.

— Супруга твоя, братецъ... А подождать не могли?.. Да ты чего же это, фрачникомъ? Съ недорослями, вонъ, что у стѣнки трутся, хочешь быть? Всякій квартальный въ мундирѣ...

— Это ужъ мое дѣло. Входите же.

— Чего входить? Я уѣду! громко сказалъ предводитель.

— Zina, il faira du scandale... пролепетала Надежда Сергѣевна.

Она, конечно, не ждала, что самъ мужъ облегчитъ ея положеніе.

— Надѣюсь, ты съ ними не уѣдешь, сказалъ онъ ей тихо.

Нѣсколько господъ, служащихъ по выборамъ, поспѣшили подойти къ Черемышеву; онъ пожималъ руки, Зинаида Сергѣевна величественно отвѣчала на поклоны. Губернаторъ прошелъ въ польскомъ, не замѣчая ни встрѣчи, ни суматохи. Все это совершилось въ минуту.

— Madame... произнесъ, глубоко раскланиваясь, полковникъ Скворещенскій.

Петръ Ивановичъ массивно и грозно двинулся впередъ; Зинаида Сергѣевна будто и не слышала привѣтствія, но, вступая въ залу и оглянувшись на сестру, увидѣла, что сестра, подъ руку съ Скворещенскимъ, уже спѣшитъ догнать хвостъ польскаго. Этотъ польскій шелъ кругомъ по залѣ; послѣдняя пара примкнула къ первой. Губернаторъ раскланялся, посадилъ свою генеральшу и, обернувшись, взялъ даму Скворещенскаго. Уступая Надежду Сергѣевну, Скворещенскій что-то любезно, поспѣшно и тихо сказалъ ей; она отвѣчала также тихо и поспѣшно, съ привѣтливымъ наклоненіемъ головы, съ

оживленнымъ взглядомъ; она просіяла; она шла счастливая, какъ будто на паркетѣ, подъ ея ногами, разцвѣтали розы; величавая, какъ будто вмѣстѣ съ Полугинымъ управляла губерніею. Она сдѣлалась граціозна. Нѣкоторые пріѣзжіе спросили, кто она. Самъ Боровицкій былъ доволенъ, хотя съ вида равнодушно скрылся въ толпѣ: жена шла подъ руку съ губернаторомъ, мужу было неловко вертѣться около предводителя.

Польскій кончился. Скромная m-me Полугина встала съ мѣста навстрѣчу дамѣ, которую велъ ея мужъ.

— Какъ ваше здоровье? спросила она Надежду Сергѣевну, подавая ей одну изъ самыхъ худыхъ рукъ, существующихъ въ природѣ.

— Mais, madame, puisque me voilà au bal... отвѣчала Надежда Сергѣевна громко, весело, дерзко и добродушно, какъ настоящая львица.

Она только кивнула головой на пригласительный жестъ губернаторши сѣсть рядомъ и стояла, оглядывая залу черезъ плечо.

— А ваша сестрица? продолжала m-me Полугина.

— Кажется, здѣсь... Eh bien, nous dansons? прибавила Надежда Сергѣевна Скворещенскому.

Скворещенскій побѣжалъ къ старшинѣ собранія. То былъ уѣздный предводитель; онъ стоялъ въ кружкѣ дворянъ, смотрѣвшемъ грозно. Они разговаривали и замолчали, когда подошелъ полковникъ.

— Прикажите играть вальсъ,сказалъ онъ.

— Назначена кадриль, возразилъ старшина.

— Можно перемѣнить.

— Нельзя-съ.

Кругомъ смотрѣли, прислушивались; кружокъ сдѣлался тѣснѣе.

— Желаютъ дамы, продолжалъ Скворещенскій.

— Назначено-съ.

— Но если дамы желаютъ!

— Прежде ихъ просили кавалеры.

— Но, наконецъ, дамы...

— Съ кѣмъ же имъ вальсировать? вступился молодой неслужащій помѣщикъ, довольно тучный и стянутый въ дворянскомъ мундирѣ.

— Господа статскіе находятъ неудобнымъ вальсировать... началъ старшина.

— Есть военные! прервалъ Скворещенскій.

— Балъ не для однихъ военныхъ, сказалъ молодой помѣщикъ.

— Что вы хотите этимъ сказать, милостивый государь? спросилъ Скворещенскій, смѣривъ его взглядомъ.

— То, что и мы хотимъ танцовать.

— Вамъ никто не мѣшаетъ!

— Вы и не помѣшаете.

— Что такое-съ?

— Вы не помѣшаете, вы не хозяинъ здѣсь, не имѣете права.

— Милостивый государь!..

Скворещенскій оглянулся и вдругъ удержался.

— Объ этомъ мы потолкуемъ послѣ подробнѣе милостивый государь... Прикажите играть, обратился онъ къ старшинѣ.

— Кадриль, сказалъ старшина, взглянувъ на хоры.

— Вальсъ! закричалъ Скворещенскій, отбѣжавъ на средину залы и повелительно махнувъ рукой музыкантамъ.

Музыканты были военные; раздался вальсъ.

Скворещенскій былъ ужъ подлѣ Надежды Сергѣевны. Ея голубое перо en saule pleureur, ея русые локоны легли къ нему на эполетъ, ея талія ему на руки, они закружились. Съ минуту, эта пара была одинока, пока не пристали къ ней офицеры, ободренные иниціативой полковника. Кромѣ партій губернатора и предводителя, балъ раздѣлился еще на партіи статскихъ и военныхъ. Эта минута рѣшила многое.

— Я вальсирую только для васъ... прошептала Надежда Сергѣевна, облетая третій кругъ.

— А я за этотъ вальсъ, можетъ быть, заплачу жизнью... прошепталъ Скворещенскій, и они закружились дальше.

Балъ съ самого начала получилъ драматическій характеръ. Боровицкому это нравилось, можетъ быть, понравилось бы меньше, еслибъ онъ разобралъ, насколько это его лично касается. Покуда, онъ интересовался встрѣчей двухъ «властей».

Въ промежуткѣ между обѣдомъ и баломъ, губернаторъ былъ предупрежденъ «своими», что предводитель обидѣлся и на балѣ готовится «исторія». Губернаторъ, конечно, сказалъ, что онъ этимъ презираетъ, вслѣдствіе чего и открылъ балъ, не дожидаясь прекрасной предводительши. Онъ даже не подошелъ къ ней, и только когда она мимо его переходила залу, пріостановился, поклонился, далъ ей дорогу, не сказавъ ни слова, и направился въ другую залу. За нимъ шли два-три чиновника. При ихъ приближеніи, кружокъ Черемышева разступил-

ся. «Власти» взирали другъ на друга; окружающіе смутились.

— А, вотъ и вы, наконецъ, ваше превосходительство! сказалъ Полугинъ, будто надумавшись, протянулъ руку.

— Играть иду-съ, произнесъ Черемышевъ, слегка приподнявъ свою, такъ что онѣ прикоснулись только концами пальцевъ.

— Я васъ не задерживаю, отвѣчалъ начальникъ губерніи и прошелъ.

— Господа, кто сядетъ играть съ нимъ... я сочту себя оскорбленнымъ, сказалъ Черемышевъ.

— Place! кричали, вальсируя, офицеры.

— Петръ Иванычъ, вы не выдержали характера! замѣтилъ ему Боровицкій:—къ чему же такой разрывъ съ первыхъ словъ? Вы руки не подали...

— И не подамъ! сказалъ Черемышевъ такъ громко, что обратилъ вниманіе даже тѣхъ, кто стоялъ подальше.

— Уведите его играть. Настоящая исторія — до завтра! шепнулъ Боровицкій депутату отъ дворянства и скрылся въ толпѣ.

— Этотъ чего вертится, какъ бѣсъ передъ заутреней? сказалъ генералъ Осминниковъ Малѣеву.

— Да вѣдь между двухъ огней, отвѣчалъ Малѣевъ: — тутъ роденька, а тамъ начальство.

— Что-жъ ему? такой либералъ!

— Либералъ!.. И нашимъ и вашимъ, возразилъ Малѣевъ: — А предводительша-то, какъ оставлена!..

Зинаида Сергѣевна, въ самомъ дѣлѣ, была забыта. Очень немногія дамы встали ей на встрѣчу; ее какъ-то не видѣли, когда она проходила. Она къ этому не приготовилась. Она привыкла, чтобъ ей поклонялись, чтобъ ее окружали, чтобъ ей уступали мѣсто, чтобъ еще у дверей залы десять человѣкъ бросались просить у нея хотя послѣдней кадрили. Ничего этого не было. Она прошла, какъ разгнѣванная царица, развѣвая золотыми лентами и кистями своего убора, и сѣла рядомъ съ m-lle Луаро на одной изъ красныхъ скамеекъ, окружавшихъ залу.

Мадамъ Полугина, безтактная, какъ добродѣтельная женщина, пробралась къ ней, мимо кружащихся паръ.

— Chère Зинаида Сергѣевна, какъ вы далеко сѣли. Васъ тутъ затѣснятъ.

Зинаида Сергѣевна только подняла глаза на губернаторшу; то же сдѣлала и m-lle Луаро. Въ живыхъ чертахъ француженки выразилось изумленіе, которое съумѣла скрыть русская барыня: съ крошечной головки m-me Полугиной мотались тоже золотыя ленты и кисти, совершенное подобіе петербургскаго убора Зинаиды Сергѣевны, но съ несомнѣннымъ отпечаткомъ домашняго издѣлія и закупокъ въ N-скихъ лавкахъ.

— Право, вамъ бы пойти туда, а то вальсируютъ, садятся какъ попало. Я пойду къ себѣ; боюсь, мѣсто займутъ.

— Моего мѣста никто не займетъ, возразила громко Зинаида Сергѣевна.

— Да, если попросить, чтобъ поберегли, продолжала m-me Полугина: — знаете, кого нибудь по сосѣдству...

Она думала, что любезничаетъ. Зинаида Сергѣевна опять взглянула на уборъ.

— По сосѣдству все равно, что съ задняго крыльца, сказала она, уже глядя въ сторону:—я не привыкла никому кланяться.

Къ губернаторшѣ подходила Ольга Александровна Деневская съ дочерью.

— Ахъ, вотъ вы! Bonjour; какъ вы поздно... Пойдемте ко мнѣ поближе, сказала имъ m-me Полугина.

— Штатъ свой собираетъ, сказала имъ вслѣдъ Зинаида Сергѣевна и обратилась къ гувернанткѣ.—Ей эту кашолку моя Палашка состряпала.

— Certainement! прошептала m-lle Луаро:—я тотчасъ узнала. Теперь вспоминаю: я у Пелагеи видѣла лоскутки... Но какъ же узнали, что у васъ есть такой уборъ...

— Анна Ивановна! окликнула Зинаида Сергѣевна одну почтенную даму, губернскую почтмейстершу, которая, гонимая вальсирующими, не знала, куда дѣваться.

— Ахъ, Зинаида Сергѣевна, какъ я рада...

— Я тоже очень рада, что васъ увидѣла, прервала громко предводительша.—Скажите отъ меня вашему мужу, что я ему очень благодарна. Онъ повѣщаетъ цѣлому городу о всякой тряпкѣ, которую я получаю. Такъ скажите ему отъ меня, что надняхъ я жду еще три куафюры; пусть благовѣститъ, кому хочетъ...

— Зинаида Сергѣевна...

— Нѣтъ, Анна Ивановна, мнѣ это, право, очень пріятно, и со стороны вашего мужа это очень благородно. Онъ вскрываетъ мои посылки, ну, и вы, кстати, посмотрите, а тамъ можно къ моей горничной подъѣхать—она сдѣлаетъ...

— Но, Зинаида Сергѣевна, право, эту куафюру только я да Аделаида Васильевна...

— Мнѣ все равно — Аделаида Васильевна — Матрена Васильевна! я не магазинщица, я для всѣхъ фасоновъ не выписываю, мой домъ не закройная...

— Я, Зинаида Сергѣевна, не понимаю, чѣмъ вы обидѣлись...

— Я не обижаюсь, я презираю! прервала Зинаида Сергѣевна:—а со стороны вашего мужа, это—безчестный поступокъ. Онъ своей губернаторшѣ желалъ угодить, пусть и угождаетъ, а я считаю, что это низко!

— Такихъ выраженій нельзя себѣ позволять, Зинаида Сергѣевна.

— Вы мнѣ не можете запретить!

— Изъ пустяковъ, изъ вашего чепчика... мой мужъ вскрылъ по обязанности, оцѣнено было дешево, потому онъ и адресовался къ губернатору...

— Зачѣмъ же это онъ адресовался?

— Чтобы знать, какъ ему поступить, Зинаида Сергѣевна! вамъ же не хотѣли непріятности дѣлать. Аделаида Васильевна только посмотрѣла; она и просила, чтобъ вамъ не дѣлали непріятности: съ васъ слѣдовало штрафъ.

— Ха-ха-ха! вскричала Зинаида Сергѣевна: — такъ это я ея покровительству обязана? Повѣрьте, Анна Ивановна, я не нуждаюсь! Я въ состояніи десять штрафовъ заплатить...

— Я знаю, Зинаида Сергѣевна, что вашъ мужъ имѣетъ большое состояніе, а мой — человѣкъ служащій. Такъ, вмѣсто того, чтобы такъ на него, вы бы сказали самой Аделаидѣ Васильевнѣ...

— Я, Анна Ивановна, не изъ такихъ особъ, которые трепещутъ, потому что какая нибудь Аделаида Васильевна — губернаторша; я не ея придворная...

— Pardon... сказалъ Боровицкій, ставя впереди ихъ стулъ для дамы, съ которой только что вальсировалъ.

То была Настасья Михайловна.

— Счастливая мысль была у Скворещенскаго — начать вальсомъ, сказалъ Боровицкій.

— Не все ли равно? сказала Настасья Михайловна.

— Какъ можно! вмигъ оживился балъ. Взгляните на лица—совсѣмъ не тѣ.

— Право, все равно.

— Такъ вы хотите скучать? нарочно, насильно? Вы не хотите оживиться? Нѣтъ, этого нельзя, это не должно!

— Вы хотите сказать, это неприлично? спросила она:—я давно знаю, что я скучна на балѣ.

— Вы ничего о себѣ не знаете, возразилъ Боровицкій: — извините. Это еще разсудится на досугѣ, а сегодня, я васъ попрошу, оживитесь хоть на заказъ. Просто попробуйте. Посмотрите, свѣтло, весело кругомъ? Вы видѣли себя въ зеркало?

— Такъ что же?

— То, что вамъ нечѣмъ быть недовольной... Это, пожалуй, сказано ловко, въ родѣ того, что говорятъ своимъ дамамъ господа армейцы, но мнѣ все равно. Вы разсмѣетесь надо мною, а мнѣ только и нужно, чтобъ вы разсмѣялись. Я, просто, хочу—понимаете ли, хочу деспотически, чтобъ отъ меня, отъ моего вліянія, ну, хоть отъ моей глупости, вамъ было весело... на первый разъ, хоть только весело, а потомъ... Потомъ будетъ и хорошо. Вы отдохнули? пойдемте еще кругъ...

— Monsieur Borovitzki, tiens, comme il est animé! сказала вслѣдъ имъ m-lle Луаро, ужъ волнуясь, что никто не зоветъ ее танцовать.

Зинаида Сергѣевна волновалась еще болѣе: ее дерзнулъ позвать какой-то подпоручикъ. Ея прекрасное лицо, уже разстроенное ссорой за наколку, покрылось густымъ слоемъ пурпура; пятна выступили и на плечахъ. Она бросила на юношу угрожающій взоръ.

— Вонъ тамъ дамы, произнесла она, кивнувъ головой на трехъ дѣвицъ-сестеръ, весьма некрасивыхъ, закутанныхъ въ пестрѣйшіе вѣнки и уныло сидящихъ рядомъ, подъ прикрытіемъ папеньки-чиновника и уже дремлющей маменьки въ бѣлой шали.

— За что, матушка, ваше превосходительство, младенца обидѣли? сказалъ любезно генералъ Осинниковъ: — и еще къ кому послали! какъ онъ съ перепугу, сердечный, не заплакалъ! Я бы на его мѣстѣ, такъ бы, вотъ, благимъ матомъ и закатился.

— Онъ долженъ понимать, что я кружиться съ нимъ не пойду, возразила гнѣвная предводительша.

— Да вѣдь онъ по младенчеству, ваше превосходительство, по глупости. Глаза-то у него есть: видитъ — красавица; люди къ ней — и онъ туда же. Гдѣ медъ, тамъ и мухи.

Но вокругъ ея превосходительства было совсѣмъ пусто; вальсировала даже ея Луаро; покуда заглядѣлась Зинаида Сергѣевна, она подозвала отвергнутаго подпоручика.

— Zina, chère amie... какъ нибудь... проговорила, запыхавшись, Надежда Сергѣевна, протягивая сестрѣ руку съ разстегнутымъ браслетомъ:—я чуть не потеряла...

— Пойди въ уборную, отвѣчала предво-

дительша, отвертываясь и переходя изъ пурпура въ блѣдность.

— Позвольте-съ, сказалъ генералъ: — и мы, въ старые годы...

Онъ взялъ въ свои руки руку Надежды Сергѣевны.

— Только поскорѣе, поскорѣе, меня ждутъ... сказала она, топая ножкой и дѣтски нетерпѣливо вертясь на мѣстѣ: — поскорѣе... ну, merci.

— Нѣтъ-съ, позвольте, вознагражденіе, возразилъ генералъ и, удержавъ, поцѣловалъ ея руку.

Надежда Сергѣевна захохотала и отбѣжала.

— Me voilà à vous, сказала она ожидавшему Скворещенскому.

Онъ унесъ ее въ вальсъ.

— Барыня-то взбѣсилась, замѣтилъ генералъ Малѣеву.

— А супругъ-то? сказалъ Малѣевъ.

Скворещенскій махнулъ на хоры, музыка замолкла. Одна вальсирующая пара осталась среди залы—m-lle Луаро съ офицеромъ. Онъ скрылся въ кучку шитыхъ дворянскихъ воротниковъ, гдѣ его встрѣтили хохотомъ.

— Tiens, comme c'est poli! произнесла она, оставленная и взбѣшенная, громко на всю залу.

Въ такія свѣтски-трудныя минуты, женщинѣ некрасивой и незначительной приходится выносить все пугливое злорадство женщинъ и все холодное пренебреженіе мужчинъ. Зинаида Сергѣевна видѣла, какъ искала и не находила себѣ мѣста ея компаньонка, и сообразила, что и это сдѣлано нарочно, въ пику ей, предводительшѣ. Ея негодованіе вышло бы изъ границъ, если бы не подоспѣли нѣсколько господъ изъ кружка дворянъ. До этой минуты имъ мѣшали пройти танцующіе, теперь они спѣшили исполнить свой долгъ и загладить неучтивость. Во время вальса пріѣхали еще дамы. Одна изъ нихъ, богатая старуха княгиня, постоянно презирала Полугина, потому что его отецъ когда-то служилъ подъ начальствомъ ея отца, а Аделаиду Васильевну не замѣчала даже на ея собственныхъ вечерахъ. Въ N* этой старухи даже побаивались. Она и ея дочери, съ нѣкоторой дружелюбной поспѣшностью, заняли мѣста подлѣ Зинаиды Сергѣевны; къ нимъ присоединились еще дамы, ради важности всегда пріѣзжавшія поздно, и Зинаида Сергѣевна вздохнула легче. У нея составился свой кружокъ и, безъ сомнѣнія, болѣе нарядный, болѣе блестящій, нежели тотъ, который робко перешептывался или чинно зѣвалъ около m-me Полугиной.

Ольга Александровна Деневская, попавъ въ этотъ вечеръ въ число близкихъ, то есть приглашенная губернаторшей быть поближе, и, поговоривъ съ ней о болѣзняхъ ея младенцевъ, вообразила себя какъ-то особенно высоко и почувствовала особенно сильное презрѣніе ко всѣмъ, кто былъ на балѣ. Для нея только и было людей, что она сама и еще немного m-me Полугина; остальные всѣ казались ей смѣшны, и она злобно ожидала, что, вотъ, сейчасъ случится съ кѣмъ нибудь непріятность, какая нибудь глупость, однимъ словомъ, сейчасъ эти нелюди что нибудь надѣлаютъ. Въ ожиданіи, обращаясь всегда къ m-me Полугиной, которую уже называла «моя дорогая» и «прекрасная», стараясь быть любезной, чтобы затмить и свой кружокъ чиновницъ, еще болѣе всѣхъ призираемый, Ольга Александровна дѣлала разныя замѣчанія.

— Взгляните, ради Бога, что это на Шелохинской! Точно она цѣлую лавку обокрала и цвѣтовъ на себя навѣшала!

Губернаторша пребывала въ покоѣ и смотрѣла предъ собою.

— Предводительша сейчасъ исторію сдѣлала Аннѣ Ивановнѣ, донесла одна изъ чиновницъ.

— Да повѣрьте мнѣ, здѣсь безъ самой скверной исторіи не обойдется, пророчествовала Ольга Александровна: — они стекла повыбьютъ.

Кто и почему это сдѣлаетъ — Ольга Александровна не давала себѣ отчета; она была настроена на опасенія. Также ей было непріятно, что дочь ея танцуетъ. Она стала дѣлать знаки Малѣеву. Тотъ видѣлъ ихъ и забавлялся, заставляя трудиться почтенную даму и смѣша ею своихъ собесѣдниковъ, покуда, наконецъ, сжалился и подошелъ.

— Скажите хоть вы, ради Бога, моей Настасьѣ Михайловнѣ, что довольно ей вертѣться, чтобъ пришла и здѣсь сѣла. Ни одна порядочная женщина не вальсируетъ. Такъ и скажите.

— Такъ и скажу-съ, отвѣчалъ Малѣевъ и отправился.

— Это кто же съ полковникомъ? спросила одна изъ чиновницъ.

— Боровицкаго жена!.. отвѣчала Ольга Александровна, пожавъ плечами.

— Хорошенькая она, замѣтила протяжно m-me Полугина: — жантильная. Я ее въ бальномъ платьѣ еще никогда не видала. Къ ней идетъ.

— Очень идетъ, заговорили чиновницы.

— Только что ужъ она своимъ перомъ

выдѣлываетъ! сказала Ольга Александровна. — Ну, слава Богу, кончился этотъ вальсъ!

— Ахъ, одна дама осталась!

— Ужъ не моя ли Настасья Михайловна... Чего добраго!..

Настасья Михайловна говорила съ двумя дѣвицами, когда подошелъ Малѣевъ.

— Я исполняю печальное порученіе, сказалъ онъ ей.

— Какое?

— Ваша маменька зоветъ васъ къ себѣ.

— Что-жъ тутъ печальнаго? отозвалась одна изъ дѣвицъ, уже готовая хохотать всему, что скажетъ Малѣевъ.

— Я заключаю по тону, какимъ было сдѣлано приказаніе... Ваша маменька выразила безпокойство, что вы тутъ однѣ, среди толпы, среди... cette valse impure, au vol lascif et circulaire... Она выразилась хотя не столь поэтично...

— А это вы откуда же взяли? спросила, хохоча, дѣвица.

— Согрѣшилъ, подслушалъ!.. Впрочемъ, для назиданія, для расширенія круга своихъ познаній, дозволено и подслушивать.

— У кого же, у кого, m-r Малѣевъ?

— Вотъ, сейчасъ, читалъ полковникъ... Настасья Михайловна, позвольте, одну минуту: угодно вамъ кадриль?

— Настасья Михайловна танцуетъ со мной, сказалъ, подходя, Боровицкій.

— Такъ мазурку?

— Обѣщана мнѣ, отвѣчалъ Боровицкій.

— Слѣдовательно, мнѣ остается... началъ-было Малѣевъ, но Настасья Михайловна отошла.

— Я вамъ ничего не обѣщала, сказала она Боровицкому, который пошелъ за нею.

— Я не дамъ вамъ сказать съ нимъ слова, не дамъ вамъ на него взглянуть! возразилъ онъ.—Довольно! Малѣевъ для васъ не существуетъ. Пора начать другую жизнь.

— Григорій Николаичъ! окликнулъ, догоняя его, дворянскій депутатъ.

— Сію минуту... pardon, сказалъ Боровицкій, провожая Настасью Михайловну къ матери.

— Il y a des places ici, строго сказала Ольга Александровна, указывая дочери на стулъ подлѣ себя и щеголяя французскимъ языкомъ, неизвѣстнымъ большинству чиновницъ.

— Какая миленькая ваша дочка. Который ей годъ? внимательно освѣдомилась m-me Полугина.

Боровицкій подхватилъ подъ руку депутата и озабоченно шелъ по залѣ.

— Что-жъ обѣдъ? какъ дѣло? спросилъ онъ.

— Да что, къ завтраму не успѣемъ.

— Какъ возможно! какъ не успѣть?

— Не успѣемъ: рыбы нѣтъ.

— Что вы? невозможно!

— Нѣтъ, я ужъ справлялся. Послѣзавтра, говорятъ...

— Какъ, послѣзавтра! вскричалъ Боровицкій.—Тутъ дорога каждая минута! Тутъ нужно увлеченіе, движеніе, а вы изъ какой нибудь рыбы...

— Да вѣдь безъ обѣда не пообѣдаете! возразилъ также горячо депутатъ.

— Это расхолодитъ, оттяжка... Цѣль будетъ не достигнута!

— Кого-жъ расхолодитъ? Кто могъ, тотъ подписался, всѣ дворяне, какіе есть на-лицо...

— Это всего-то человѣкъ двадцать-тридцать? вскричалъ Боровицкій:—что-жъ это за обѣдъ? Надо, чтобъ всѣ участвовали, весь городъ... Вѣдь я же говорилъ!.. Вѣдь это дѣлается на зло, такъ надо всѣхъ заставить...

— Какъ же такъ? сказалъ въ недоумѣніи депутатъ.

— Пойдемте, я вамъ растолкую... Гдѣ у васъ подписной листъ?

— У меня? Да я его вамъ отдалъ.

— Ахъ, да. Я передалъ Гравину... Пойдемте.

— Гравину? Помилуйте! Мальчишкѣ изъ губернаторской канцеляріи!

— Ахъ, но поймите: я—свой Черемышеву. Нельзя же мнѣ соваться съ этимъ листомъ: «подпишетесь на обѣдъ моему свояку!» Я свое дѣло сдѣлалъ: подалъ идею, подписался. Остальное ужъ забота другихъ. Пойдемте, я вамъ объясню. Я могу только одушевить, подать совѣтъ...

Гравинъ, о которомъ такъ непочтительно отозвался депутатъ дворянскаго собранія, былъ точно изъ самыхъ юныхъ маменькиныхъ сынковъ, убоявшихся премудрости и записанныхъ на службу ради перваго чина. Мальчикъ былъ богатенькій и неробкій, службу несъ потому, что записала маменька, и былъ радъ случаю показать свою самостоятельность. Онъ удалился въ буфетъ собранія, созвалъ своихъ канцелярскихъ сослуживцевъ и офицериковъ—всю юность, до которой еще не достигла или достигла смутно вѣсть о разрывѣ властей—и, благодаря его заботамъ, подписной листъ украсился ихъ именами. Видя, что подпиской распоряжается губернаторскій чиновникъ, нѣкоторые заключили даже, что этотъ обѣдъ не только не ссора, а напротивъ—доказатель-

ство дружбы и дѣлается по мысли и приказанію самого начальника губерніи. Гравинъ, котораго просили разъяснить это, самъ ничего не уяснилъ себѣ, но, повторяя другимъ, что получилъ листъ отъ Боровицкаго, убѣдилъ и себя, что чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ и вмѣстѣ предводительскій своякъ не дѣло не затѣетъ.

— Браво! сказалъ Боровицкій, когда Гравинъ подалъ ему исписанный листъ:—браво, молодой человѣкъ, это называется дѣятельное участіе!... Около пятидесяти, шепнулъ онъ депутату:—еще десятокъ и, по крайней мѣрѣ, зала полна. Принимайтесь за предсѣдателей. Всѣ подпишутся. Каша будетъ на славу.

Ему и въ мысль не приходило значеніе этой каши. Услыша ритурнель кадрили, онъ бросилъ листъ депутату и поспѣшилъ въ залу. Проходя комнаты, гдѣ играли и курили, онъ могъ видѣть въ углахъ, на маленькихъ диванахъ, у карточныхъ столовъ, озабоченныя лица, могъ слышать и озабоченныя слова, но Боровицкому было некогда. Если бы онъ и остановился, то эти толки, въ которыхъ, по поводу предводительскаго здоровья, выпитаго не въ очередь, поднимались и разсказывались настоящія дѣла, припоминались счеты, дѣльно или недѣльно предлагались мѣры, выражались сожалѣнія, жалобы—словомъ, копошилась зажатая общественная жизнь, общественный умъ, грязнувшій въ бездѣльѣ, общественная дѣятельность, пропадавшая даромъ на попойки и обѣды, крохотное общественное мнѣніе, несозрѣвшія понятія о правѣ, недовольство—не безъ основанія въ началѣ, пошлившее само себя мелкой придирчивостью, этимъ слѣдствіемъ недостатка сознанія—эти толки не заняли бы Боровицкаго. Они вызвали бы только его смѣхъ. Ему все было смѣшно въ провинціи. Если бы кте нибудь напомнилъ ему, что, за нѣсколько часовъ назадъ, онъ воображалъ «общественное дѣло» въ предводительской ссорѣ—Боровицкій бы не повѣрилъ: если бы ему сказали, что онъ самъ, Боровицкій, увлекаясь, находилъ, что эта ссора не смѣшна, эти люди не смѣшны, что онъ самъ, Боровицкій, называлъ ихъ кропотливую, неуклюжую обидчивость—«единодушіемъ и сознаніемъ своего права»—если бы это сказали Боровицкому, онъ бы обидѣлся... Онъ проходилъ, оглядываясь, кого порядочнѣе позвать визави, поднялъ изъ-за картъ пріѣзжаго неслужащаго молодого человѣка и повелъ представлять его хорошенькимъ дочерямъ старой княгини. Эти дѣвушки были разборчивы, а мать за нихъ вдвое, но Зинаида Сергѣевна знала пріѣзжаго, встрѣтила его привѣтливо и еще привѣтливѣе спросила Боровицкаго:

— Григорій Николаичъ, а вы куда сейчасъ пропадали?

Ее интересовало, что онъ шептался съ дворянскимъ депутатомъ.

— У насъ устроивается кое-что, отвѣчалъ онъ громко, будто объявляя ей новость:—хотимъ праздновать завтра.

— По какому случаю? спросила одна дама.

— Даемъ обѣдъ Петру Иванычу, продолжалъ громко Боровицкій:—хотимъ показать, какъ мы его любимъ, и пить за его здоровье. Насъ уже собралось шестьдесятъ, и тѣмъ еще не кончится.

— Безъ всякаго сомнѣнія, подтвердила старая княгиня.

— Смотрите, вы заставите Пьера разстроить здоровье, сказала Зинаида Сергѣевна.

— Charmante soeur, не читайте морали! прервалъ Боровицкій: — Петръ Иванычъ не можетъ отказать людямъ, которые его уважаютъ; что-жъ дѣлать! онъ не себѣ принадлежитъ...

Ритурнель повторился, Боровицкій отошелъ къ Настасьѣ Михайловнѣ.

— Пріятный человѣкъ, вашъ beau-frère, сказала княгиня Зинаидѣ Сергѣевнѣ: — il s'énonce si bien. Мнѣ кажется, я его нѣсколько помню — у его тетки, графини Рашковой...

— Слышали, мальконтантъ нашъ что-то затѣваетъ? сказалъ генералъ Малѣеву, тащившему стулъ своей дамѣ.—Постойте, плясунья ваша подождетъ. Слышали? Громогласно объявляетъ. Что они это, скандалъ, что ли, хотятъ сдѣлать?

— Я удаляюсь отъ зла!.. отвѣчалъ Малѣевъ: — ничего не знаю!

— Пойти поразвѣдать, покуда вы тутъ, сказалъ генералъ. — Да, должно быть, что нибудь есть, въ самомъ дѣлѣ, изъ ихнихъ не видать, чтобъ танцовали.

— А самъ набольшій? сказалъ Малѣевъ, указывая на Боровицкаго.

— Съ кѣмъ это онъ?.. Батюшки мои, да она рехнулась!

Генералъ оглянулся, наткнувшись на кого-то. То былъ Деневскій, который, уступивъ свой стулъ умолявшему офицеру, старался установиться въ толпѣ.

— Полюбуйся, братецъ мой, что твоя доч-

ка дѣлаетъ, обратился къ нему генералъ:—кружилась, кружилась, нѣтъ — еще мало! Гляди-ка, съ кѣмъ твоя дочь?

— Боровицкій, слабо произнесъ Деневскій.

— Ну, Боровицкій... Эхъ, да что съ тобой толковать!.. Это какъ называется, ты мнѣ скажи! Неуваженіе, называется, неуваженіе къ власти, вольнодумство! Съ боку фрачникъ, визави фрачникъ... Вѣдь на нее вся зала глядитъ! Вонъ кто глядитъ!

Генералъ указалъ на пару бѣлыхъ эполетъ, сверкавшую въ толпѣ. Деневскій прижался къ стѣнѣ.

— Э-эхъ! заключилъ генералъ: — пойти узнать, тамъ еще что такое... Столпотвореніе вавилонское!.. Нельзя ли потише, господа молодежь! крикнулъ онъ двумъ офицерикамъ, которые лѣзли со всѣхъ ногъ въ залу, гдѣ ихъ ждали дамы, не взвидѣли генерала и столкнулись. — Поучтивѣе, повѣжливѣе! Еще не доросли толкаться, не замѣчать! Дальше своего носа не видите!

— Юность удалая, замѣтилъ, сторонясь предъ генераломъ, молодой помѣщикъ, повздорившій за вальсъ съ Скворещенскимъ.

— А!.. любезно воскликнулъ генералъ, обращаясь къ нему:—какими судьбами? давно ли изъ деревни?

— Пріѣхалъ на нынѣшній день, но еще пробуду. Мы обѣдъ даемъ нашему губернскому.

— Доброе дѣло, доброе дѣло, господа, сказалъ генералъ, подавая ему руку и здороваясь съ нѣсколькими другими изъ неслужащихъ. — Что-жъ это, обѣдъ, такъ, просто, или ради чего нибудь?

— Просто, просто, отозвались они.

— Ну, не совсѣмъ просто, отвѣчалъ молодой помѣщикъ. — Вѣдь вы слышали, ваше превосходительство, за обѣдомъ-то, сегодня?

— Слышалъ, слышалъ!

— Вѣдь такихъ вещей нельзя допускать...

— Гадость, изъ рукъ вонъ!

— Обида!

— Ни на что не похоже! заговорили они всѣ разомъ.

— Что-жъ, если для этого петербургскаго господина...

— Вѣдь мы что нибудь да значимъ.

— Конечно, конечно, сказалъ генералъ.

— На обѣдѣ такая выходка, и теперь...

— Что-жъ допускаютъ изъ бала дѣлать!..

— Я ужъ сказалъ этому петербургскому...

— Молодецъ! сказалъ генералъ.

— Да вы сами видѣли, ваше превосходительство...

— Какъ это, вскричалъ генералъ:—всякій мальчишка носъ деретъ!

— Генерала сейчасъ толкнули!

— Что это!!..

— Вѣдь это потворство, потому что военные...

— Въ угоду петербургскому барину...

— Баринъ это видитъ и не видитъ...

— А тамъ ужъ успѣли и дерзостей дамамъ надѣлать, и платья оборвали, въ буфетѣ шумѣли... Воинство!!..

— Полковникъ, конечно, гость... замѣтилъ одинъ.

— Гость! вскричалъ молодой помѣщикъ:— а музыкой распоряжается, какъ хозяинъ! И когда старшина сталъ говорить губернатору—господинъ Полугинъ отвѣчаетъ, что не хочетъ непріятностей, приказываетъ прекратить...

— А мы — молчи!..

— Э, нѣтъ, нѣтъ! подхватилъ генералъ:— молчи, кто хочетъ, только я не молчу! Вы свое, какъ знаете, господа, а я свое, по крайней мѣрѣ... Я сейчасъ къ полковому командиру, пускай онъ своихъ молокососовъ уму-разуму проучитъ. Подъ арестъ не хотятъ ли?.. Толкаться!.. Мнѣ что Скворещенскій? я найду управу... Гдѣ ихъ командиръ?

— Играетъ, тамъ, съ Полугинымъ.

— И прекрасно! Я ихъ сейчасъ... произнесъ генералъ и отправился въ комнату, гдѣ играли.

— Завербуйте эту стѣнобитную машину, сказалъ Боровицкій, подойдя на минуту къ кружку, оставленному генераломъ.

— Намъ не крикуны нужны! возразилъ молодой помѣщикъ.

— Все годится! отвѣчалъ Боровицкій и поспѣшилъ опять въ кадриль.

— Вы что-то озабочены? спросила его Настасья Михайловна.

— Да... да, подтвердилъ онъ. — Если удастся, это будетъ славная исторія. Вотъ она, провинція съ плотью и костьми! Я никогда еще больше не смѣялся... Но все это въ сторону. Будемъ говорить о васъ; скажите мнѣ, неужели удовольствія потеряли для васъ цѣну?..

— Охъ, спросите что нибудь другое! прервала она, засмѣявшись.

— Зачѣмъ другое?

— Въ кадрили—о разочарованіи?..

— Еслибъ я говорилъ съ вами только для того, чтобъ говорить... возразилъ горячо Боровицкій.

Они встали танцовать.

— Я не Малѣевъ, прибавилъ онъ, проходя.

— Мое имя поминаютъ всуе, сказалъ Малѣевъ своей дамѣ.

— Почему всуе, спросила она.

— Сердце мое чувствуетъ, что не добромъ.

— А стало быть, вы что нибудь за собой знаете!

— Нѣтъ-съ, предчувствіе... И бываютъ нѣкоторыя такія интонаціи. Говорится напримѣръ, я не Малѣевъ; значитъ оправдываются, что, вотъ, дескать, я неспособенъ на такіе богопротивные поступки, какъ этотъ зловредный человѣкъ...

— А, можетъ быть, это сказано совсѣмъ въ другомъ смыслѣ.

— То есть, какъ же, въ хвалебномъ? въ смиреніи, что не сравняются со мной въ доблестяхъ? Нѣтъ-съ! Кто сказалъ, тотъ такъ не думаетъ!

— И... что же

— Ну, и грустно.

— Кому? вамъ грустно?

— Неужели вы думаете, что мнѣ ужъ никакое чувство не доступно?

— Но отчего же грустно?

— Конечно, не оттого, что мое имя сдѣлалось браннымъ словомъ, а за человѣка грустно: заблуждается въ себѣ... Во всякомъ случаѣ, браня меня, онъ дѣлаетъ мнѣ великую услугу, договорилъ Малѣевъ и расхохотался.

— Вотъ интересно! Какъ же это?

— Онъ во мнѣ разочаровываетъ; онъ, такъ сказать, срываетъ съ меня блестящій ореолъ... словомъ, онъ меня освобождаетъ!

— Не понимаю, сказала дама смѣясь и устремляя на Настасью Михайловну яркія глазки.

— А! вотъ вамъ загадка—отгадайте.

— Какая нибудь злость, сказала она радостно.

— За что же злость, тотчасъ? Самосохраненіе. Если сей прелестный мотылекъ вмѣсто меня стремится на сей огнь, жаждущій пищи, тѣмъ лучше для меня, благо ему охота...

— О, m-r Малѣевъ!

— Намъ танцовать однако...

— Видите ли, продолжалъ Боровицкій, садясь на мѣсто:—сегодня утромъ... если помните утренній разговоръ... помните?

— Но... что же? спросила Настасья Михайловна.

— Вы ничего не помните, возразилъ Боровицкій на ея улыбку:—но дѣлать нечего! Для меня этотъ разговоръ важенъ, для васъ—нисколько; мнѣ онъ памятенъ, вы его забыли, но какъ нибудь...

— Ну, хорошо, хорошо; вспомню.

— Спасибо за обѣщаніе! Право, искренно спасибо. Видите что: я много передумалъ. Общества намъ не передѣлать...

— Я думаю, сказала Настасья Михайловна.

— Между тѣмъ, и здѣсь, и дальше... le monde fait naufrage... живется темно, а жить надо. Какъ вы думаете? Пожалуйста, скорѣе ваше мнѣніе. Въ кадрили или не въ кадрили, все равно... гдѣ-жъ еще переговорить? Ну, другіе толкутся, а мы свое... Надо жить какъ нибудь, или не надо?

— Если живы, стало быть, надо, отвѣчала она.

— Собрать друзей, кружокъ—невозможно. Но вы, я—вотъ двое. Когда есть двое, значитъ, человѣкъ ужъ не одинъ...

— Это ясно!

— Вы не смѣйтесь, Настасья Михайловна. Вы знаете, есть чувства, движенія, до того робкія, нѣжныя, что ихъ какъ разъ можно измять. Не вамъ въ этомъ убѣждаться: на вашу жизнь наложили такую грубую руку... Я самъ рѣшаюсь быть грубъ, я смѣю вамъ напомнить то, что вырвалось у васъ сегодня утромъ... но вы не раскаетесь въ вашей довѣрчивости. Я напомнилъ, потому что такъ нужно, но, даю вамъ слово, въ послѣдній разъ! Съ этой минуты—ни имени, ни намека... а за то, что сказано, простите меня... Простили? прибавилъ онъ шопотомъ, наклоняясь къ ней, что вышло очень граціозно и красиво, обратило вниманіе другихъ нетанцующихъ паръ и не ускользнуло отъ Малѣева.

— Простили? повторилъ Боровицкій еще тише и нѣжнѣе.

— Простила, отвѣчала Настасья Михайловна, глядя предъ собою, держась прямо и помня всѣ злые языки своего общества.

Ей было невыносимо тяжело отъ воспоминанія прошлаго, отъ настоящей пустоты, тяжестью, которая является у женщинъ именно на балѣ, когда кругомъ свѣтло и шумно.

— Я непремѣнно пожму вашу руку, продолжалъ Боровицкій. — Жить безъ опоры нельзя. Будемъ видѣться каждый день. Не увидимся—будемъ писать другъ другу. Переговоримъ, обсудимъ... погорюемъ вмѣстѣ, такъ ли? Не знаю, какъ вамъ—мнѣ съ утра улыбается эта жизнь и врозь, и за одно. Вы мнѣ скажете все, все. А я... исповѣдь за многіе годы! О, сколько накопилось! Съ впечатлѣній дѣтства. Вѣдь мое дѣтство баюкали не вьюги, не «вдовій край сѣвера»... и

всѣ эти звуки, горы до небесъ, золотыя волны—все это такъ сложилось въ душѣ...

— Боровицкій... сказалъ, подходя, его визави.

Кадриль кончилась.

— Вотъ что, сказала Настасья Михайловна: — этотъ балъ протянется долго, папа и безъ того усталъ. Я попрошусь уѣхать.

— Вы хотите уѣхать? повторилъ Боровицкій.

— Да... я сама устала.

— Отговорка?

— Право, я хочу домой, прибавила она, стараясь сказать весело:— такъ и быть, вы мнѣ простите мазурку.

— Такъ дайте мнѣ еще кадриль; нельзя же вамъ сейчасъ уѣхать, возразилъ онъ, идя за нею къ матери.

— Родственникъ вамъ? кликнула Настасью Михайловну одна изъ чиновницъ, показывая на Боровицкаго.

— Нѣтъ.

— Я полагала. Все съ вами танцуетъ.

— Что ваша маленькая? спросила Боровицкаго madame Полугина, обрадовавшись, что хоть одинъ мужчина подошелъ къ ея кружку.

— Маленькая?.. повторилъ Боровицкій.

— Дочка ваша. Что она?

— Спитъ, я думаю, отвѣчалъ онъ.

— Вы бы когда нибудь ее привели къ моимъ, они бы съ ней поиграли.

— Она забавлять другихъ неохотница, возразилъ Боровицкій, къ великому изумленію дамъ.

— Вы недобрый. Вотъ я попрошу вашу милую Надежду Сергѣевну, она мнѣ не откажетъ, настаивала madame Полугина такъ любезно, что Ольга Александровна пожала на нее плечами.

Боровицкій отошелъ не отвѣчая.

— Видѣть не могу этого фата! сказала въ негодованіи Ольга Александровна.

Любезность madame Полугиной что-то напомнила Боровицкому: онъ оглянулся, гдѣ его жена.

Надежда Сергѣевна сидѣла на томъ же мѣстѣ, гдѣ только что танцовала съ Скворещенскимъ. Скворещенскій былъ подлѣ нея; тутъ же, нѣсколько господъ усѣлись на стульяхъ, оставшихся въ безпорядкѣ послѣ кадрили. Разговоръ шелъ веселый и довольно громкій. Надежда Сергѣевна была замѣтно вдвойнѣ счастлива удовольствіемъ, которое испытывала, и тѣмъ, что были свидѣтели ея удовольствію. Успѣхъ ее оживлялъ. Вокругъ сестры общество было блестящее, но чопорное. Въ кружкѣ madame Полугиной какъ-то съ каждой минутой теряли свою свѣжесть дешевые наряды и завядали лица, настроенныя на праздничный ладъ; это было ужъ такъ мелко, что даже незабавно. Вокругъ Надежды Сергѣевны было весело. Она съ восторгомъ замѣтила, что ей завидуютъ, что многимъ дамамъ хотѣлось бы пристать къ ней, что дѣвицы, по заведенному обычаю бродящія парами, прислушиваются къ говору ея собесѣдниковъ. Но Надеждѣ Сергѣевнѣ не хотѣлось дамскаго общества; оно вдругъ показалось ей скучно, потомъ смѣшно, наконецъ, стѣснительно. Еще не отваживаясь на оригинальность вполнѣ, на совершенное одиночество среди мужчинъ, Надежда Сергѣевна выбрала и удержала при себѣ только одну подругу. Эта подруга была дѣвица лѣтъ за тридцать, неглупая, ловкая, одѣтая превосходно и дурная собою до безобразія. Она выѣзжала съ безсловесной теткой, которую сажала за колоннами. Она была смѣлѣе на болтовню, нежели Надежда Сергѣевна, еще робѣвшая отъ непривычки и отъ желанія казаться граціозно-плѣнительной женщиной; но примѣръ заразителенъ: Надежда Сергѣевна начинала замѣчать, что шутки и болтовня скорѣе и сильнѣе, нежели томная грація, дѣйствуютъ на грубую половину человѣческаго рода, что даже самъ задумчивый Скворещенскій увлекается ими и смѣется охотно. Надежда Сергѣевна попробовала смѣяться; оказалось, не трудно и вышло удачно. Строгія матери семействъ начали издалека на нее коситься.

Боровицкій увидѣлъ ее и нахмурился. Будь это посторонняя женщина, онъ самъ бы, можетъ быть, присоединился къ ея безцеремонному кружку, но именно оттого и стало ему непріятно, что такъ безцеремонно болтаютъ съ его женой, что такъ громко хохочетъ его жена. Онъ невольно пошелъ къ ней, дѣлая видъ, что проходитъ въ другую залу.

— Вы мрачны, будто заговорщикъ, сказалъ ему Скворещенскій.

— Нѣтъ, будто открываетъ заговоръ, подхватилъ Малѣевъ, хохотавшій въ числѣ другихъ.

Надежда Сергѣевна, откинувшись къ спинкѣ стула, завязывала у себѣ на колѣнахъ въ узлы концы вышитаго своего платка; она подняла глаза на мужа и улыбнулась.

— Что это? спросилъ онъ.

— Лотерея, отвѣчала дѣвица.

— Разыгрывается сердце, досказалъ Малѣевъ.
— За ненадобностью!
— Сердце дорогое, золотое, незанятое, заговорили другіе.
— Надоѣвшее владѣльцу тѣмъ, что пусто, прибавила дѣвица.
— Кто-жъ владѣлецъ? спросилъ Боровицкій.
— Надежда Сергѣевна не говоритъ; она предложила лотерею, отвѣчалъ Малѣевъ подъ общій хохотъ.
— Благодѣтели себя не называютъ, au profit des pauvres! вскричала дѣвица.
— Въ такомъ случаѣ, могу и я, сказалъ Боровицкій и протянулъ руку къ платку.
— Non, non, non, вскричала Надежда Сергѣевна, поднявъ платокъ кверху: — ça ne vous regarde pas!
— Правда твоя; спасибо, что удержала, сказалъ Боровицкій весело, хотя слегка покраснѣвъ:—что толку въ вещахъ, которыя сбываются за негодностью... Что значитъ добрая жена: сейчасъ образумила! прибавилъ онъ, обратясь къ другимъ. — Желаю успѣха, господа.
Онъ засмѣялся и отошелъ.
— Демонски находчивъ! шепнулъ Малѣевъ другому господину.
У Боровицкаго что-то кипѣло на сердцѣ; не оглядываясь и почти никого не замѣчая, онъ прошелъ въ другую комнату.
Тамъ было смятеніе. Старшины собранія окружили столъ, гдѣ игралъ губернаторъ. Генералъ Осминниковъ кричалъ; полковой командиръ, оставя игру, стоялъ почти безмолвный; за него возражалъ Полугинъ, неподвижный въ креслахъ; кругомъ, хотя на нѣкоторомъ разстояніи, толпилось много народу. Боровицкій изумился, разсмотрѣвъ изъ-за спинъ, что рядомъ съ генераломъ стоялъ Черемышевъ; его хриплый голосъ возвышался иногда вслѣдъ за генеральскимъ.
— Это, господинъ полковникъ, потворство, это—своеволіе, кричалъ генералъ.
— Но, генералъ, это жестоко! молодые люди... отозвался Полугинъ.
— Неуваженіе къ дворянству... сказалъ Черемышевъ.
— Они у васъ еще чехарду затѣятъ въ благородномъ собраніи!
— Генералъ, эта молодежь...
— Ребята? Ну, и учите ихъ, учите ребятъ!
— Они будутъ просить у васъ извиненія, сказалъ полковой командиръ.
— Мнѣ изъ ихъ извиненія шубы не шить! Извольте ихъ подъ-арестъ сейчасъ!
— Но, ваше превосходительство...
— Да-съ, сейчасъ, чтобъ всѣ видѣли и знали!
— Но старшины собранія...
— Старшины собранія вамъ то же скажутъ! Мальчишки барынямъ платья рвутъ! Мѣста своего не знаютъ! Вонъ, одинъ подлетѣлъ звать Зинаиду Сергѣвну...
— Всякій имѣетъ право звать даму... сказалъ Полугинъ.
— Какую даму-съ!!..
— И я, съ моей стороны... Честь всего дворянства... заговорилъ Черемышевъ.
— Но, ваше превосходительство...
— Но, ваше превосходительство, вскричалъ генералъ:—они бы васъ съ ногъ сбили, вы бы не то запѣли, ваше превосходительство!
— Позвольте, генералъ...
— Они бы вамъ на голову вскочили...
— Довольно странное предположеніе!
— Я, ваше превосходительство, не странникъ, не юродивый, что вы изволите улыбаться...
— Такая мелкая придирка...
— Это придирка? это придирка? Нѣтъ, ваше превосходительство, я кровью заслужилъ, я требую удовлетворенія, я не ниже васъ, ваше превосходительство! Я, заслуженный человѣкъ, передъ вами стою, а вы сидите...
— И даже продолжаю играть, возразилъ Полугинъ, взявъ брошенныя карты:—господа, неугодно ли?
Онъ обратился къ своимъ партнерамъ.
— Что?!.. крикнулъ генералъ.
— Я позволю себѣ напомнить господамъ старшинамъ собранія, сказалъ тихо и отчетливо Полугинъ,—что въ благородномъ обществѣ не терпятъ крикуновъ.
Зрители отхлынули въ испугѣ.
— Еще не доросли! еще силенки не хватитъ! вскричалъ генералъ.—Вывести меня? Меня? Попробуйте!
— Онъ захохоталъ на всю залу.
— Привыкли очень командовать, ваше превосходительство! Старшины собранія не ваши квартальные! Тутъ еще подумаютъ да разберутъ, не пришлось бы вамъ прощенія просить...
— И я, съ моей стороны, нахожу... говорилъ Черемышевъ.
— Да мнѣ вашего извиненія не нужно! продолжалъ генералъ. — Я этого такъ не оставлю! Повыше васъ есть, ваше превосходительство!.. Осмѣлиться сказать человѣку, который видѣлъ и Варну, и Варшаву, ска-

зать... я этого, господинъ Полугинъ, вамъ не оставлю, знайте и помните!

— Я нахожу, ваше превосходительство, вступился Черемышевъ, обратясь къ Полугину: — что генералъ Иванъ Дмитричъ Осминниковъ, дворянинъ губерніи, которая меня удостоила... я, съ моей стороны, считаю долгомъ, при моемъ совершенномъ уваженіи къ генералу... Такое личное оскорбленіе...

— Здѣсь вѣдь не выборы, не время и не мѣсто для ораторскихъ рѣчей, ваше превосходительство, прервалъ, улыбаясь, Полугинъ. — А я, съ моей стороны, нахожу, что шуму ужъ слишкомъ довольно. Весьма меня обяжете, если позволите мнѣ спокойно кончить мою партію. Весьма обяжете!

Онъ повернулся къ картамъ.

Черемышевъ былъ весь багровый.

— Это... это... бормоталъ онъ, оборачиваясь къ зрителямъ, которые отступали.

Боровицкій догадался схватить у проходящаго офиціанта стаканъ лимонада и подалъ его предводителю. Черемышевъ пилъ, устремляя на Боровицкаго свои круглые глаза. Кругомъ ихъ было почти пусто, почти тихо: шумъ, толки, волненіе перелетѣли въ другія залы. Въ танцовальной, Скворещенскій опять затѣялъ вальсъ, и взвизги скрипокъ едва покрывали говоръ мужчинъ, столпившихся въ дверяхъ, за которыми совершалось дѣйствіе. Маменьки, сидѣвшія близко къ этимъ дверямъ, спрашивали другъ друга, не надо ли уѣхать. Степенные чиновники желали и не смѣли пойти узнать, что случилось. Молодежь успѣвала и танцовать, и подбѣгать къ этимъ дверямъ, перебрасываясь вопросами:

— Что тамъ?

— Le diable et son train!

— Подрались?

— Нѣтъ еще!

Боровицкій явился оттуда, красиво разстроенный, и, ловко избѣгая вальсирующихъ, отыскалъ Зинаиду Сергѣевну.

— Я спѣшилъ къ вамъ, сказалъ онъ тихо:—чтобъ меня не предупредили, не потревожили васъ, не напугали по пустякамъ. Тамъ вышла непріятность...

— У Пьера? вскричала она.

— Владѣйте же собой, не дайте замѣтить... продолжалъ онъ тихо.

— Да что такое?

— Маленькая непріятность съ Полугинымъ.

— Еще!..

— Это ничего... Ради Бога, спокойнѣе: тутъ сотня глазъ... Ничего. Поссорились окончательно. Вамъ всего лучше уѣхать.

— Я глупость сдѣлала, васъ послушала, пріѣхала! возразила она, вставая:—сейчасъ ѣду. А Пьеръ?

— Ему еще надо остаться. Пришлите ему карету... Онъ намъ нуженъ: вѣдь ладится обѣдъ...

— Ахъ, Зина, сказала, подбѣгая, Надежда Сергѣевна: — я хочу тебѣ сказать... Какъ, ты, кажется, уѣзжаешь?

— Конечно, уѣзжаю, отвѣчала Зинаида Сергѣевна.

— Comment, madame? Est-il possible? Si tot? заговорили окружавшія ее особы.

— Ни минуты не останусь! возразила она громко:—еслибъ я знала, что мой мужъ получитъ здѣсь одни оскорбленія...

Подошли дворяне и уѣздный предводитель—старшина.

— Зинаида Сергѣвна, мы васъ просимъ, умоляемъ...

— Нѣтъ, господа, я вамъ очень благодарна, но это выше всякихъ силъ!

— Прекрасно, прекрасно, матушка, ваше превосходительство, сказалъ генералъ: — гдѣ мужъ, тамъ и жена; уѣзжайте съ Богомъ. Что это за балъ—добрыхъ людей совѣстно... Позвольте мнѣ завтра особенно выпить за ваше здоровье.

— А вы участвуете въ нашемъ праздникѣ, генералъ? спросилъ Боровицкій.

Генералъ измѣрилъ его взглядомъ.

— Участвую-съ, отвѣчалъ онъ:—ну-съ?

— Ничего больше. Я очень радъ.

— Радуетесь... Я думаю, не совсѣмъ ему ловко радоваться, договорилъ генералъ, когда Боровицкій отошелъ, провожая Зинаиду Сергѣевну.

— Зина, повторила Надежда Сергѣевна, слѣдуя за сестрой:—je voulais te dire... chère amie, это ничего тебѣ, tu ne seras pas fachée... Меня просили... Скворещенскій et puis Малѣевъ хотятъ тоже быть на обѣдѣ. Я имъ сказала, что можно. Вотъ, Grégoire кстати здѣсь, онъ ихъ и запишетъ...

— Ты, матушка, никакъ совсѣмъ обезумѣла, отвѣчала Зинаида Сергѣевна, накидывая горностаевую мантилью и выходя изъ залы.

Боровицкій шелъ за нею.

— Quel contretemps! очень нужны были эти глупыя ссоры! bonsoir, messieurs! говорила m-lle Луаро, пожимая руки кавалерамъ и поспѣшая за своей барыней.

Но барыня ужъ уѣхала. M-lle Луаро воротилась отъ дверей и хохотала.

— Messieurs, me voilà fine-seule! вскричала она.

Надежда Сергѣевна взяла ее подъ свое покровительство. Француженка и пожилая дѣвица составили ея ассистентокъ; втроемъ было еще удобнѣе хохотать, болтать, перебѣгать по залѣ, кликать мужчинъ. Отъѣздъ Зинаиды Сергѣевны какъ-то придалъ смѣлости. Надежда Сергѣевна сама не знала чѣмъ, но сестра ее чѣмъ-то стѣсняла.

— Какая веселая Боровицкаго жена, сказала m-me Полугина, еще колеблясь—радоваться или пугаться этой веселости.

Въ другомъ кружкѣ не колебались. Старая княгиня вытаращила глаза, а княжны, подлѣ которыхъ сѣли три пріятельницы, тотчасъ встали и отошли. Это было знакомъ для того, чтобы вмигъ все женское общество собранія отвернулось отъ Надежды Сергѣевны. Она въ увлеченіи этого не замѣтила; m-lle Луаро, привыкшая быть одинокой, и подавно; но старая дѣвица, окинувъ взглядомъ пеструю толпу дамъ, сказала одному изъ собесѣдниковъ:

— Чувствуете вы, какъ вдругъ запахло добродѣтелью?

Собесѣдникъ, а за нимъ и другіе расхохотались.

— А какой запахъ у добродѣтели?

— Кислый-прекислый. Но вы, стало быть, не чувствуете?

— Да откуда же она взялась, добродѣтель?

— Не видно ее было, что-то.

— Вы признали ее по запаху, а я по свисту, сказалъ Малѣевъ.

— О, будто бы?

— Да, шипитъ и свиститъ, прислушайтесь.

— Какъ гремучая змѣя?

— Eh, trop d'honneur pour elle. Beaucoup moins que ça, возразила m-lle Луаро.

— Да что-жъ она такое?

— Добродѣтель... пустой звукъ! сказалъ подъ шумокъ Скворещенскій, задумчиво наклонясь къ стулу Надежды Сергѣевны.

— Однако... возразила она.

— Такъ что-жъ она? опредѣлите.

— Опредѣлите, повторила она, взглянувъ ему въ глаза.

— Счастье!.. отвѣчалъ онъ.

— Добродѣтель — счастье?

— Да, счастье, наслажденіе, блаженство, вся жизнь за одинъ мигъ... И тогда весь этотъ свѣтъ, вся эта клевета...

Онъ показалъ на толпу.

— О, ваша правда... прошептала Надежда Сергѣевна.

— Они не жили, потому клевещутъ; не испытали, потому завидуютъ...

— О, правда!

— Кто хочетъ быть правъ, тотъ долженъ искать счастья.

— Искать?..

— Или брать, когда оно у ногъ...

— Мои ноги устали безъ дѣла, прервала m-lle Луаро, вслушавшись и постукивая своимъ бѣлымъ башмачкомъ:—какой-то сонный балъ! Я сплю, господа, кто меня разбудитъ?

— Хотите? спросилъ Скворещенскій Надежду Сергѣевну.

— Да.

Онъ махнулъ на хоры.

— Я танцую съ вами, Надежда Сергѣвна, сказалъ ей Малѣевъ.

Боровицкій подошелъ.

— Если хочешь ѣхать, карета готова, сказалъ онъ женѣ: — Петръ Иванычъ сейчасъ уѣхалъ.

— Такъ что же? я не ѣду.

— Это было бы лучше, сказалъ онъ тихо.

— Не хочу! возразила она громко и ушла съ Малѣевымъ.

— Супружескій деспотизмъ, сказалъ Малѣевъ.

— О, но вѣдь и женщина можетъ имѣть свою волю! возразила Надежда Сергѣевна.

— Я пришелъ звать васъ, сказалъ Боровицкій Настасьѣ Михайловнѣ, молчавшей подлѣ матери.

— Пожалуйста, нѣтъ, отвѣчала она тихо.

— Но что вы будете дѣлать?

— Сидѣть здѣсь, какъ сидѣла.

— Такъ я беру стулъ и сажусь подлѣ васъ, сказалъ онъ, отходя на минуту.

— Что ты, подрядилась танцовать съ нимъ? спросила ее Ольга Александровна.

— Я отказала. Я давно просила васъ уѣхать.

— Развѣ ты не видишь, что одна предводительская партія разъѣзжается? Еще отцу мѣста лишиться по твоей милости? этого не доставало!

Боровицкій возвратился и сѣлъ, но скоро убѣдился, что говорить съ Настасьей Михайловной нельзя; дамы слушали и мѣшались въ разговоръ.

— По крайней мѣрѣ, я нѣсколько минутъ съ вами... сказалъ онъ.

— Предводитель съ предводительшей уѣхали, доложила одна дама.

— Имъ обѣдъ собираютъ, сказала другая.

— Неужели ужъ не можетъ онъ самъ обѣ-

да сдѣлать? вступилась Ольга Александровна:—удивляюсь людямъ!

— Нѣтъ, но вѣдь это по случаю непріятностей...

— Ахъ, какъ я боюсь этихъ непріятностей! сказала m-me Полугина.

— Предводитель вѣдь такой гордый человѣкъ!

— А супруга-то его? сказала Ольга Александровна: — она себя воображаетъ голкондской королевой!

— Скажите! вскричали въ голосъ двѣ дамы:—и часто это съ нею?

— Какая ваша жена миленькая, обратилась m-me Полугина къ Боровицкому, чтобъ не дать ему вслушаться или расположить въ свою пользу, если онъ уже вслушался.

Боровицкій ничего не слушалъ; онъ смотрѣлъ на свою жену. Въ залѣ стало просторнѣе, потому что вслѣдъ за Черемышевымъ уѣхали многіе дворяне. Съ легкой руки губернатора и предводителя, въ другихъ комнатахъ и въ буфетѣ произошла не одна ссора военныхъ съ статскими, и въ настоящую пору танцовали почти исключительно одни военные. Надежда Сергѣевна сидѣла съ Малѣевымъ далѣе, но напротивъ мужа, оживленная еще болѣе прежняго. Въ промежуткахъ танцевъ, вокругъ ея толпились еще другіе мужчины; она успѣвала говорить и смѣяться со всѣми.

— А вѣдь знаете ли, скучно! сказалъ вдругъ Боровицкій.

— Что это вы? спросила Настасья Михайловна, обратившись къ нему—такъ неожиданно и просто онъ сказалъ это.

— Такъ, когда оглянешься... какой все вздоръ! И какъ, изъ-за вздора... Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, какъ люди, вдругъ, ни съ того, ни съ сего... чего и не ждешь отъ нихъ... Какое-то перерожденіе!

— Вы простите: я не понимаю, прервала она тихо.

— И понимать нечего! сказалъ онъ. — Съумасшествіе было, съумасшествіе и есть. Оно послѣдовательно. Только затѣи новыя, а въ самомъ дѣлѣ-то все то же...

— Какой грустный предметъ разговора! замѣтила Ольга Александровна: — ужъ никакъ не думаю, чтобы съумасшествіе кому нибудь было занимательно.

Боровицкій оглянулся на нее и замолчалъ.

— А вѣдь поздно, сказала одна дама.

— Я здѣсь только до часу, сказала m-me Полугина:—мнѣ дольше и нездорово.

— Да, вѣдь вы лечитесь, принимаете...

M-me Полугина разсказывала этимъ дамамъ, чѣмъ она нездорова и какъ лечится.

Ольга Александровна подозвала одного пожилого, почти незнакомаго ей господина, и разсказывала ему ссору губернатора съ предводителемъ. Господинъ самъ видѣлъ ссору, но не противорѣчилъ дамѣ, которой хотѣлось въ особенности высказать свои мнѣнія.

— Но, нѣтъ, нѣтъ! восклицала Ольга Александровна, хотя собесѣдникъ и совсѣмъ молчалъ:—какъ же осмѣлиться противъ Василья Васильича, противъ такого свѣтлаго человѣка, и кому же? такой ничтожности, какъ этотъ Черемышевъ...

— Прогоните меня, я совсѣмъ глупъ, сказалъ Боровицкій, помолчавъ долго.

— Полноте, не тоскуйте, отвѣчала Настасья Михайловна.

— О чемъ? о моей собственной глупости?..

— О чемъ бы ни было... Въ самомъ дѣлѣ, скажите, не случилось ли чего? вѣдь ссора тамъ до васъ не касается?

— А ну ее, хоть бы и касалась!

— Такъ что же?

— Ничего... Право, ничего. Вздоръ. Вотъ, приду къ вамъ завтра, потолкуемъ. Если только завтра...

Онъ остановился и почти приподнялся съ мѣста: смѣхъ его жены раздался одну минуту громче оркестра.

Малѣевъ оглянулся тоже на Боровицкаго.

— Откуда вы берете вашу веселость? спрашивала его Надежда Сергѣевна.

— Откуда? На что вамъ? Наслаждайтесь и не спрашивайте.

— Я хочу знать.

— Любопытство міръ погубило.

— Ну, я не погибну! вскричала она.

— Въ самомъ дѣлѣ? почему?

— А это ужъ мой секретъ!

— Да я его знаю, сказалъ Малѣевъ равнодушно.

— Не знаете.

— Немудреный секретъ: вы влюблены въ вашего мужа.

— Ошиблись! возразила она, досадуя, что онъ отвернулся и перемѣнилъ свой веселый тонъ на холодно-серьезный.

— Ошибся? Ну, тѣмъ лучше, сказалъ онъ, не оглядываясь.

— Почему тѣмъ лучше?

Малѣевъ не отвѣчалъ и смотрѣлъ на Боровицкаго.

— Въ какихъ онъ туманныхъ созерцаніяхъ, сказалъ онъ.

— Мой мужъ?
— Да, посмотрите. Вотъ какъ погибаютъ люди.
Надежда Сергѣевна засмѣялась, хотя несовсѣмъ откровенно.
— Что такое эта m-lle Деневская? спросила она.
— Особа безъ признака сердца.
— Какъ это?
— А не знаю. Спросите у женщинъ, какъ это бываетъ. Безъ признака, безъ намека на сердце.
— Холодная особа?
— О, далеко нѣтъ, напротивъ. Безумная, пылкая, но безъ чувства. Такія-то и держатъ въ рукахъ насъ грѣшныхъ. Отуманитъ, ослѣпитъ... M-lle Деневская очень привлекательна; въ ней есть это, je ne sais quoi, загадочное, одуряющее. Очень оригинальна... Да вы полюбуйтесь, что она дѣлаетъ съ вашимъ супругомъ. Онъ рветъ ужъ другую перчатку. Еслибъ я былъ близко, я бы ему шепнулъ, что это ужъ мелодрама... Впрочемъ, они-то себѣ, Господь съ ними. Я всякому человѣку желаю добра...
— M-r Малѣевъ!
— Что прикажете?
— Что вы говорите?
— А вы что сейчасъ сказали, Надежда Сергѣвна? Вѣдь вы не влюблены? стало быть, не ревнуете?
— О, конечно, нѣтъ! возразила она:— какая нибудь Деневская...
— Деневская или другая, не все ли равно, прервалъ Малѣевъ:—но... Прикажете говорить серьезно?
— Конечно!
— Такъ серьезно! Какъ это поется? «Пойте, играйте, старайтесь...» что-то такое тамъ «забыть», еще чѣмъ-то «наслаждайтесь» и въ рифму—«любить»... Казенная, знаете, рифма; «забыть, любить», какъ въ подрядныхъ смѣтахъ: «кирпичей столько-то, извести столько-то».
— Вы меня уморите со смѣха!.. А мораль?
— Да на что-жъ вамъ она?
— Однако...
— Не смѣю предлагать:—безнравственная.
— Въ самомъ дѣлѣ?
— О, страшная!
— Я люблю страшное.
— Будто бы? Ну, вотъ, любите, такъ и попробуйте.
— Vous me faite peur...
Онъ засмѣялся.
— Да вы же сказали, Надежда Сергѣвна!
— Я сказала... Вы страшный человѣкъ.
— Помилуйте, я думалъ, напротивъ, что я вамъ смѣшонъ. Я проповѣдую такія старыя вещи. Какъ будто васъ не научили года, опытъ жизни...
— Je suis donc si jeune... прошептала Надежда Сергѣевна.
— Такъ, вотъ, и живите!
— Жить... какъ жить?
— Помилуйте, мнѣ учить молодую, свѣтскую женщину! За кого же вы меня считаете, Надежда Сергѣвна? Тутъ вы—учитель, а не я. Если ужъ вы непремѣнно хотите морали, то я прибавлю только... Какъ это сказано?... «Живи и жить давай другимъ!»
— M-r Малѣевъ, повѣрьте, я слушаю, какъ пансіонерка... C'est si nouveau pour moi...
Онъ захохоталъ.
— Что же, не нравится?
— Нѣтъ, нѣтъ... но...
— «Но?...» Чего-жъ еще вы робѣете?
— Но...
Надежда Сергѣевна съ минуту эфектно помолчала, потомъ выговорила вдругъ, скоро, слегка закинувъ голову и будто рѣшаясь.
— Нѣтъ, вы правы... Въ самомъ, дѣлѣ la vie a d'attraits... А когда чувство жизни такъ свѣжо, ново, жарко... надо жить!
— Ну, и слава Богу! заключилъ, смѣясь, Малѣевъ.
Они договаривали, кончивъ кадриль.
M-me Полугина поднялась, за ней вся ея свита.
Боровицкій подошелъ къ женѣ.
— Карета готова, сказалъ онъ ей.
Вмѣсто отвѣта, Надежда Сергѣевна умчалась въ полькѣ съ крошечнымъ прапорщикомъ, раскидывая въ стороны чиновницъ, стремившихся вслѣдъ за губернаторшей.
— Жена чортъ знаетъ что дѣлаетъ, а ты муженька утѣшаешь, говорила Ольга Александровна дочери, оглянувшись на танцы изъ выходной двери.—Поѣдемъ, матушка, надѣвай шубу. Отецъ едва могъ высидѣть...
Балъ становился все просторнѣе. Дворянскіе воротники совсѣмъ исчезли. Чиновники поважнѣе еще оставались, пока губернаторъ доигрывалъ свою партію, и уѣхали вслѣдъ за нимъ. Еще чрезъ полчаса, въ залѣ были одни военные и мелкіе чиновники, начавшіе находить себѣ дамъ, когда дамы ихъ общества отважились танцовать подъ конецъ вечера. Немногіе свѣтскіе молодые люди во фракахъ разбрелись играть и ужинать. Beau-monde разъѣхался. Танцы становились безпорядочны. Степенныя мате-

ри увозили дочерей. Оставалось очень немного молодыхъ дамъ, нѣсколько особъ средняго круга, довольныхъ тѣмъ, что находили кавалеровъ, и двѣ-три дѣвицы съ спящими родителями, страстныя танцовщицы, добивающія до послѣдней свѣчки. Свѣчи догарали, туалеты измялись, разговоры шли все громче; въ опустѣлыхъ комнатахъ раздавались голоса, долетавшіе изъ буфета. Въ комнатѣ, гдѣ играли, зажглись папиросы; дымъ потянулся и въ танцовальную залу.

— Пора ѣхать, сказалъ Боровицкій женѣ, которая царствовала среди этого хаоса.

— Я танцую, отвѣчала она, и позвала Скворещенскаго.

Музыканты грянули что-то съ просонка.

— Поѣдемъ, повторилъ Боровицкій.

— A bas les maris! вскричала m-lle Луаро.

— Но всѣ разъѣхались... выговорилъ Боровицкій, сдерживая свое бѣшенство, чувствуя, что глупо теряется, и не зная, что дѣлать.

— Насъ довольно и зала—наша, отвѣтила m-lle Луаро.—А что, господа, давайте одну свою кадриль! Идетъ?.. Пестовскій, возьмите для четвертой пары cette petite sotte въ голубомъ поясѣ; elle n'y comprendra rien...

— Я тебѣ приказываю ѣхать, шепнулъ Боровицкій, блѣдный и сжавъ руку жены.

— O mon Dieu!.. взвизгнула Надежда Сергѣевна.

— Хотите взять меня? закричала Боровицкому m-lle Луаро, когда онъ, испугавшись, потерянный, оставилъ жену.

Кадриль началась. Боровицкій почти бѣжалъ въ другую комнату; въ дверяхъ онъ столкнулся съ старшиною.

— Извините... Сдѣлайте одолженіе, отошлите музыку.

— Э-э, съ благовѣрной не справится! сказалъ ему вслѣдъ генералъ:—нѣтъ, я пойду посмотрю, полюбопытствую.

Боровицкій, не зная, что дѣлаетъ, присѣлъ у пустого карточнаго стола, пробовалъ говорить съ проходящими, что-то слушалъ. Онъ слышалъ еще ссору старшины и Скворещенскаго, который велѣлъ музыкантамъ остаться. M-lle Луаро вбѣжала, закурила сигаретку у свѣчки передъ Боровицкимъ и бросилась опять въ залу. Оттуда неслись визгъ скрипокъ и хохотъ.

— Доврались до чертиковъ! сказалъ генералъ, проходя.

Боровицкій зачѣмъ-то пошелъ за нимъ. Музыка смолкла. Мимо Боровицкаго пробѣжали три пары — его жена и ея подруги съ ихъ кавалерами; одинъ изъ нихъ былъ Скворещенскій. Тутъ только замѣтилъ Боровицкій, что въ концѣ комнаты былъ накрытъ столъ: онѣ садились ужинать.

Боровицкій ушелъ, бродилъ по темнѣющей, пустой большой залѣ, по истертому паркету, забросанному конфектными бумажками, окурками папиросъ. Стеклянныя розетки люстры лопались и сыпались. Полицейскій дремалъ у выхода; изъ буфета слышалась брань, въ ближней комнатѣ хлопали пробки.

Странствованія Боровицкаго продолжались цѣлый часъ. Наконецъ, его жена показалась на порогѣ подъ руку съ Скворещенскимъ.

— Ma voiture, сказала она мужу.

Надежда Сергѣевна развезла по домамъ своихъ пріятельницъ. Боровицкій, не найдя саней, дошелъ домой пѣшкомъ; онъ едва дозвонился у своего подъѣзда. Сбросивъ шубу, онъ шелъ къ женѣ, но увидѣлъ свѣтъ въ своемъ кабинетѣ и отворилъ дверь.

Предъ нимъ стояла его жена еще въ бальномъ платьѣ и теща въ ночномъ чепцѣ и ватной кацавейкѣ, съ свѣчкой въ рукахъ.

— Что вамъ угодно здѣсь? спросилъ Боровицкій.

— Что это? вскричала Надежда Сергѣевна, схвативъ его за руку и таща къ мольберу.

— Зачѣмъ вы пришли сюда?

— Я, я, я пришла! кричала Аграфена Петровна: — я, извергъ! я всю ночь не спала, я открыла...

— Что это, я васъ спрашиваю? повторила Надежда Сергѣевна.

— Я ее провела, несчастную, чтобъ она видѣла своими глазами...

— Вы бы своими глазами посмотрѣли, что сейчасъ дѣлала ваша несчастная дочь, прервалъ, задыхаясь, Боровицкій:—забыть всякое достоинство... чортъ знаетъ что...

— Grégoire, Grégoire, признавайся, отвѣчай, сейчасъ говори, когда ты измѣнилъ мнѣ, какъ ты могъ...

— Какъ вы-то могли... что вы сейчасъ дѣлали? Вы себя осрамили! Мое имя... Какую я роль игралъ? Драться мнѣ завтра за васъ, или визиты дѣлать вашимъ обожателямъ...

— Какъ? что? Что ты смѣешь говорить? вскричала Аграфена Петровна.

— Подите вы отсюда, съ вашимъ ночнымъ дозоромъ!

— Мою мать? какъ, и мою мать? повторила въ изступленіи Надежда Сергѣевна. — Нѣтъ, я въ правѣ предъ Богомъ и людьми,

въ правѣ забыть все, все, все!... Пусти, я уничтожу этотъ портретъ...

— Не смѣйте его трогать! Вы этой дѣвушки мизинца не стоите, вскричалъ Боровицкій.

— Я, я не стою? Grégoire!..

— Безъ обмороковъ! вскричалъ онъ, схвативъ ее за руку, когда она падала въ кресла:—я въ обморокъ не падалъ сейчасъ, когда вы... Ступайте вонъ!

— Знай же, знай, что съ этой минуты между нами все кончено! вскричала Надежда Сергѣевна.

V.

Боровицкій рано проснулся. Въ его головѣ пробѣжало что-то смутное—не то мысль, не то ощущеніе, но тревожное, непріятное. Чтобъ отогнать его, или вѣрнѣе, чтобъ отдалить что-то грозящее и неизбѣжное, Боровицкій хотѣлъ заставить себя заснуть—не заснулъ и рѣшился, по крайней мѣрѣ, не вставать какъ можно долѣе, чтобы, по крайней мѣрѣ, дня ушло побольше.

«Если бы занемочь», подумалъ онъ: «или бѣжать куда нибудь?.. Выказавъ вчера такую смѣшную слабость характера, можно ли сегодня явиться разгнѣваннымъ супругомъ? Не будетъ ли это еще смѣшнѣе? И чѣмъ выразить этотъ гнѣвъ? Опять ссоры, дрязги, война съ тещей? Отъ нихъ можно съума сойти. Просто—дѣйствовать твердо, безъ сценъ, безъ крика запереть жену?.. Не запрешь!»

«Сейчасъ въ отставку и увезу ее въ деревню», думалъ Боровицкій. «Пусть займется дѣломъ, хозяйствомъ, воспитаніемъ дочери»...

Такъ мечталось отъ утренней дремоты. Въ минуты полнаго пробужденія, Боровицкій говорилъ себѣ, что опозоренъ. Онъ не ошибался, даже не преувеличивалъ. Въ N* не оставалось дома, гдѣ бы, въ это утро, бывшіе и небывшіе на балѣ не толковали о вчерашнихъ «похожденіяхъ» Надежды Сергѣевны, не представляли ее въ лицахъ, не смѣялись надъ Боровицкимъ. Супруги стали сказкой города. Боровицкій это чувствовалъ.

— Я долженъ былъ схватить ее въ охапку, вытащить насильно, прибить публично, говорилъ самъ онъ себѣ, злясь до того, что у него захватывало дыханіе:— закричали бы, что я варваръ; ну, пусть ихъ! смѣяться бы не посмѣли... Я застрѣлюсь.

Часы били десять. Онъ всталъ, одѣлся и спросилъ чаю. Онъ не спросилъ, встала ли жена, хотя именно хотѣлъ знать, что она дѣлаетъ. Маша прибѣжала, увидя, что его дверь отворилась.

— Здравствуй, папа, сказала она:—весело вчера было?

— Очень! отвѣчалъ иронически Боровицкій, отвернувшись къ этажеркѣ и перекидывая съ мѣста на мѣсто свои книги.

— Папа, здравствуй же, сказала опять Маша:—поцѣлуй меня.

Онъ оглянулся.

— Что ты такъ жалостно смотришь? сказалъ онъ:—глупо въ твои года пріучаться къ жалкимъ гримасамъ.

— Я никогда не дѣлаю гримасъ, папа, возразила дѣвочка, у которой покраснѣли глазки.—Мнѣ нынче скучно, папа.

— Ну, и еще прелестная привычка, хандрить безъ причины.

— Я не буду, голубчикъ. Ты мнѣ разскажи, какъ вчера тебѣ было весело.

— Спроси свою маменьку! отвѣчалъ Боровицкій, ходя по комнатѣ.

— Мама нездорова; къ ней не велѣно входить.

— За докторомъ не послали ли? вскричалъ, захохотавъ, Боровицкій.

— Нѣтъ...

— Такъ я сейчасъ пошлю, продолжалъ онъ, распахнувъ дверь въ залу.—Эй, кто тамъ!.. Пускай ужъ на весь свѣтъ...

Онъ никого не дозвался, но черезъ корридоръ увидѣлъ вдали горничную съ шелковымъ платьемъ на рукѣ, и Надежду Сергѣевну, которая, неодѣтая, оживленно приказывала объ этомъ платьѣ.

— Это чортъ знаетъ что, выговорилъ Боровицкій, поспѣшно возвращаясь къ себѣ.

— Папа, сказала испуганная Маша.

— Что «папа»? Вотъ жизнь твоего папа! Въ твоей матери ни стыда, ни раскаянія; хоть бы капля здраваго разсудка, и той нѣтъ... Эй, закричалъ онъ въ залу:—дождусь ли я кого нибудь? Позвать мнѣ извозчика!

Онъ выдвинулъ ящикъ своего письменнаго стола, рылся въ бумагахъ, въ письмахъ, заперъ его, отворилъ опять, досталъ все, что было денегъ, сунулъ ихъ въ бумажникъ, а бумажникъ въ карманъ, заперъ столъ опять и оглянулся кругомъ. Онъ будто сбирался куда-то надолго и вспоминалъ, не забылъ ли чего. Ему попался на глаза портретъ, лежавшій на мольберѣ. Боровицкій опять отворилъ столъ, скаталъ портретъ въ трубку, бросилъ его туда и заперъ ящикъ еще разъ, ужъ въ послѣдній. Все это дѣлалось скоро, торопливо; по дорогѣ отъ стола

къ столу, Боровицкій нѣсколько разъ толкалъ все одинъ и тотъ же мѣшавшій ему стулъ и отъ возни дѣлался все нетерпѣливѣе.

— Извозчика! крикнулъ онъ опять въ залу.

— Точно на улицѣ кличетъ! раздался откуда-то голосъ Аграфены Петровны.

Боровицкій побѣжалъ на этотъ голосъ; ему заслонилъ дорогу лакей съ двумя записками въ рукахъ. Одну онъ подалъ Боровицкому.

— Шубу мнѣ и сани! повторилъ Боровицкій, надѣвая шляпу, которая тоже ему мѣшала, и взглядывая въ записку.

Она была отъ дворянскаго депутата — приглашеніе заѣхать сейчасъ «по извѣстному дѣлу».

— Ну его къ чорту! вскричалъ Боровицкій, раздражаясь съ наслажденіемъ:—а это что? это отъ кого?

— Это къ барынѣ...

— Отъ кого къ барынѣ? зачѣмъ къ барынѣ? кто принесъ? отъ кого?..

— Изъ дома отъ Зинаиды Сергѣевны, успѣлъ выговорить лакей.

— Mais, monsieur, c'est à moi! c'est ma correspondance à moi! закричала изъ корридора Надежда Сергѣевна.

Боровицкій бросилъ записку о полъ и выбѣжалъ въ переднюю. Тамъ, дѣйствительно, былъ лакей Черемышевыхъ. Боровицкому показалось, что онъ смѣется. Это было всего ужаснѣе. Боровицкій поспѣшилъ на улицу; тамъ встрѣтилъ его рѣзкій пронзительный вѣтеръ и раздражающее морозное солнце.

— Къ Деневскимъ, сказалъ онъ, бросаясь въ сани.

Надежда Сергѣевна сама подняла записку; она была отъ m-lle Луаро.

«Madame, я считаю обязанностью васъ предупредить, что madame de Tschérémounyscheff вся возмущена тѣмъ, что вчера произошло. Мои объясненія ни къ чему не послужатъ. Я зависѣла отъ васъ и оставалась на этомъ балѣ потому, что вамъ было угодно. Прошу же васъ, madame, оправдать меня, puisqu'il n'y a pas de ma faute. Madame votre soeur est furieuse, а я не хочу отвѣчать за то, что до меня нисколько не касается...»

Надежда Сергѣевна какъ будто испугалась. Впрочемъ, это былъ уже не первый припадокъ трусости съ утра.

Наканунѣ, хотя въ послѣдней сценѣ съ мужемъ были и слезы, Надежда Сергѣевна заснула скоро и пріятно, а проснувшись и глядя въ полусвѣтѣ на поэтично-разбросанный бальный нарядъ, она вспомнила только вчерашнее удовольствіе.

— Упоительно!.. прошептала она, полузакрывая глаза.

Потомъ, вдругъ, она струсила. Предъ ней промелькнуло все, что было неловкаго, неудобнаго въ ея вчерашнемъ упоеніи, всѣ «что скажутъ», мать, сестра, мужъ... все какъ-то страшно. Но этотъ страхъ имѣлъ свою прелесть.

Странно одно: Надежда Сергѣевна очень ясно помнила, что произошло вчера въ кабинетѣ мужа, помнила, что вчера ревновала — но сегодня не чувствовала ни малѣйшей ревности ни къ портрету, ни къ его оригиналу: точно ни того, ни другого не бывало. Она даже хотѣла было опять поревновать и не могла.

— «Tra-la-la-la, quel est donc cet air»... пропѣла она вполголоса, еще лежа въ постели, и какъ-то смѣшивая Артюра, о которомъ поется въ романсѣ, съ полковникомъ Скворещенскимъ. Она стала сказывать себѣ сказку, гдѣ сама была героиней, сказку—продолженіе вчерашняго бала. Дѣйствіе происходило уже не въ N*, а гдѣ-то «тамъ». Конецъ вчерашняго бала сначала еще какъ-то не втискивался въ поэтическую рамку, воспоминаніе еще какъ-то его обѣгало, но вдругъ фантазія вспыхнула, и эта кадриль въ четыре пары, и этотъ простывшій ужинъ въ комнатѣ съ догорающими свѣчами и папиросныъ дымомъ, приняли размѣры d'une fête nocturne aux mille feux, aux joies démoniques... Надеждѣ Сергѣевнѣ понравилось слово: складно сказалось. Въ сказкѣ были и Артюръ, и Стеніо, и Леліо—все тѣ же Скворещенскій, Пестовскій, Малѣевъ, но они и будто не они... Тутъ кстати примѣшивалась и ревность: покинутая мужемъ, Надежда Сергѣевна то отчаянно бросалась въ потокъ упоительнаго веселья, то тихо, съ сладкими слезами, отдыхала въ новой, гармонически баюкающей любви. Она была счастлива, она мстила...

Странно, что на самомъ дѣлѣ, въ сущности, ей было все равно, кого бы ни любилъ ея мужъ.

Надо было, однако, встать съ постели. Надеждѣ Сергѣевнѣ хотѣлось опоэтизировать заботы о своемъ туалетѣ, но это съ первой минуты оказывалось невозможно. Наряды были бѣдны, мать бранилась въ дѣвичьей, горничная Наталья ужъ никакъ не походила на тѣхъ вѣрныхъ камеристокъ, которыя,

восторгаясь, цѣлуютъ роскошные волосы своихъ госпожъ. Пришлось сознаться, что еслибы Наталья и захотѣла придти въ подобный восторгъ, то цѣловать было нечего... Надежда Сергѣевна вдругъ рѣшилась и встала, какъ всегда, «лѣвой ногой». Такъ было и проще, и лучше.

Но провинціальная простота принесла и свои непріятности. Опомнясь, что она не «тамъ», а въ N*, Надежда Сергѣевна опять смутилась, и на этотъ разъ посильнѣе. Она успокоила себя тоже провинціально, сказавъ, что она не ребенокъ, которымъ всякій можетъ помыкать, какъ хочетъ. Изъ чего вытекало это заключеніе—необъяснимо, но оно было благотворно тѣмъ, что возвратило Надеждѣ Сергѣевнѣ ея твердость. Записка m-lle Луаро, смутивъ одну секунду, произвела переломъ еще болѣе рѣшительный, и вызвала поступокъ совершенно неожиданный.

— Дерзкая дрянь! сказала Надежда Сергѣевна, оставивъ всякую поэзію.—Наталья, гдѣ цвѣты Зинаиды Сергѣвны? отдай человѣку, а мамзели вели сказать, что я не хочу съ ней связываться. Чтобъ такъ и сказалъ!..

Боровицкій входилъ между тѣмъ въ нетопленную залу Деневскихъ. Сквозь красныя полосы солнечныхъ лучей, онъ увидѣлъ вдали, въ диванной, Настасью Михайловну на ея обычномъ мѣстѣ, за пяльцами. Онъ взглянулся въ зеркало и измялъ свою прическу. Настасья Михайловна увидѣла его тоже и крѣпче скрестила старенькій платокъ, въ который куталась: она прятала свое старенькое платье. Она привыкла его прятать, и если въ настоящую минуту сдѣлала это не равнодушно, а съ досадой, то потому, что приходъ чужого человѣка ей былъ особенно въ тягость. Ея глаза были заплаканы; ея руки, покраснѣвшія отъ холода, были холодны и отъ волненія.

— Какъ поживаете? спросилъ Боровицкій.

— Какъ видите, отвѣчала она и, помолчавъ, прибавила изъ учтивости: — а вы?

— Развѣ я живу! возразилъ онъ, бросивъ шляпу. — Вотъ, я пришелъ жить къ вамъ.

Онъ схватилъ ея руки и принялся цѣловать ихъ.

— Милая, дорогая! повторялъ онъ за каждымъ поцѣлуемъ.

— Охъ, довольно, Григорій Николаичъ, возразила Настасья Михайловна, отнявъ руки, чтобъ утереть опять навернувшіяся слезы: — вы очень добры, но, право, довольно.

— Еслибъ вы знали, какъ мнѣ тяжело! сказалъ онъ.

Она отвернулась и смотрѣла то на свою канву, то на замерзшее окно.

— Что вы вчера рано уѣхали? сказалъ Боровицкій.

Она не отвѣчала.

— А сегодня такъ рано ужъ за дѣломъ...

— Какое рано — за полдень? Какое это дѣло? прервала она нетерпѣливо.

— Вы раздражены отъ вчерашней усталости; это бываетъ, сказалъ Боровицкій: — вамъ бы надо мягко, тепло, улечься съ ножками на кушетку...

— И... книжку Дюма? прервала она опять.

— И книжку Дюма, подтвердилъ Боровицкій:—надо дать отдохнуть и мысли.

— Вы серьезно говорите?

— Серьезно. Почему вы это спросили?

— Такъ.

— Мнѣ не до шутокъ, увѣряю васъ, продолжалъ онъ. — Мнѣ ужъ такъ тяжело, что шутки нейдутъ въ голову. Вы знаете, что вчера сдѣлала моя жена?.. Успокойтесь, прибавилъ онъ съ досадой, подмѣтя ея нетерпѣливое движеніе: — я не дѣлаю васъ судьей семейныхъ тайнъ, я вамъ разсказываю, что дѣлалось на весь городъ. Вы бы остались вчера до конца, вы бы видѣли. Къ вамъ еще никто сегодня не пріѣзжалъ? не привозили новостей?

— Никто...

— Ну, вотъ, еще привезутъ. Оргія! Bal Musard!.. Ради Бога, скажите, что мнѣ дѣлать? скажите, куда мнѣ дѣваться? Я готовъ ее убить, я... Вы понимаете эту муку? Полтора часа, полтора, вотъ, по этимъ самымъ часамъ, бродить, ждать ее, звать... И эта женщина носитъ мое имя, и я связанъ съ нею навѣки... Но понимаете ли вы эту нелѣпость?.. Отравлять всякую минуту дня, восемь лѣтъ, и закончить вотъ этакимъ chef d'oeuvre'омъ!.. Скажите, что мнѣ дѣлать? Если вы не скажете, мнѣ некого спросить? Выкинуть въ окно Скворещенскаго?.. Вѣдь мнѣ только это осталось!

— Кто это здѣсь? спросила Ольга Александровна, осторожно отворяя дверь. — А—а!..

Она вошла, какъ-то ни на кого не глядя.

— Что это вы въ такомъ волненіи?.. Что ваша супруга?

— Больна, отвѣчалъ Боровицкій, глядя въ полъ.

— Я думаю, за этотъ балъ многіе поплатятся, продолжала Ольга Александровна.— Ну, ваша супруга, по крайней мѣрѣ, хоть

повеселилась, а вотъ мой мужъ въ постели, ни за-что, ни про-что. Хорошо, что сегодня хоть праздникъ, можетъ, бѣдный человѣкъ, не тащиться въ должность. Я хотѣла выѣхать, быть, по крайней мѣрѣ, хоть у этой добрѣйшей Аделаиды Васильевны; мы ей такъ обязаны... Но какъ тутъ выѣхать? Извозчики возьмутъ Богъ-знаетъ что. И то вчера, къ балу, возокъ нанимали...

— Сегодня холодно, сказалъ Боровицкій.

— Здѣсь-то? Я думаю! отвѣчала Ольга Александровна, засмѣявшись. — Здѣсь ледникъ. Это все по случаю бала: вчера нанимали возокъ, сегодня дровъ нѣтъ. Нельзя-жъ было не везти ее на балъ. Тутъ бы однѣхъ слезъ... Да вотъ и теперь, кажется, слезы? О чемъ это, матушка? Кажется, чего тебѣ еще? Вотъ твой постоянный кавалеръ вчерашній можетъ засвидѣтельствовать, убѣдить тебя, что плясала ты, сколько могла. Я чѣмъ виновата, что тебя другіе не брали, мнѣ-то что дѣлать? Не просить же мнѣ всѣхъ: «возьмите танцовать мою дочь!»

— Вы недовольны баломъ?.. спросилъ Боровицкій Настасью Михайловну и не договорилъ; она взглянула на него. Боровицкій понялъ этотъ взглядъ по-своему — вѣрнѣе, вовсе не понялъ; зато Ольга Александровна поняла его тоже по-своему.

— Прекрасно!.. сказала она, махнувъ рукой, и обратилась къ Боровицкому. — Да, вѣдь я не затѣмъ сюда шла. Мужъ услышалъ, что вы пріѣхали, и велѣлъ вамъ сказать... Вѣдь вы собираете подписку на обѣдъ вашему зятю?

— Я ничего не сбираю, возразилъ Боровицкій.

— Какъ же, вчера вашъ Гравинъ ко всѣмъ подбѣгалъ, приставалъ и къ мужу, прямо говорилъ, что вы... Да это мнѣ все равно, кто бы ни сбиралъ, рѣшительно все равно! Я только шла сказать, что нога моего мужа не будетъ на вашемъ обѣдѣ!

— Его воля, отвѣчалъ Боровицкій.

— Не будетъ, рѣшительно не будетъ! Я нахожу, что это такое оскорбленіе губернатору, этотъ обѣдъ, и намъ всѣмъ... И изъ чего это, скажите, сдѣлайте милость? Какъ въ голову приходитъ? И предводительша ваша будетъ, во всей красотѣ?

— Дамъ не зовутъ.

— Ну, слава Тебѣ, Господи! а то бы еще моя Настасья Михайловна туда же вздумала, сказала, смѣясь, Ольга Александровна.

Ей ни возразили, ни отвѣчали. Просидѣвъ еще нѣсколько минутъ молча, и въ какомъ-то ожиданіи, Ольга Александровна поднялась.

— Не понимаю, какъ вы тутъ выдерживаете! сказала она, пожавшись отъ холода, и вышла.

Настасья Михайловна вышивала, Боровицкій молчалъ.

— Вашъ отецъ боленъ? спросилъ онъ наконецъ.

— Да.

— Или, можетъ быть, это такъ, минутная вспышка, капризъ? Не принимайте этого къ сердцу, не расходуйте сердца даромъ.

Она не отвѣчала.

— Я, просто, какъ шальной, продолжалъ Боровицкій:—вразумите меня. Не судите меня жестоко. Пусть я покажусь вамъ слабъ, безхарактеренъ, сжальтесь, скажите что нибудь. Утѣшьте меня, дайте мнѣ забыться. Еслибъ вы вообразили, какъ мнѣ больно, какъ мнѣ стыдно... Вотъ вы еще не знали, но ужъ всѣ знаютъ! Вѣдь это ужъ послѣдняя крайность! Вѣдь тамъ, въ домѣ, у очага, ничего не осталось!

Настасья Михайловна подняла голову и смотрѣла ему въ лицо. То, что было на душѣ своего, мѣшалось съ жалостью о чужомъ. Тихо протянула она ему руку, онъ припалъ къ ней.

— Ничего, ничего не осталось! повторилъ онъ.

— У васъ есть дочь, проговорила она сквозь слезы: — сдѣлайте, чтобъ ей жилось полегче.

— Но я-то, я-то самъ? Жизнь велика, я молодъ...

— Поучитесь терпѣть, сказала она и встала:—прощайте, Григорій Николаичъ.

— Вы меня прогоняете?

— Нѣтъ... Когда нибудь... Прощайте.

Она вышла. Боровицкому оставалось уйти. На крыльцѣ онъ спросилъ себя, куда ему дѣваться. Вспомнивъ записку, полученную дома, онъ поѣхалъ къ дворянскому депутату. Тотъ давно его ждалъ и встрѣтилъ упреками.

— Все дѣло хоть брось! сказалъ онъ. — Невѣсть что толкуютъ. Говорятъ, что у насъ обѣдъ политическій. У меня перебывало человѣкъ десять—хоть отказаться. Этакъ на себя бѣдъ накличешь.

— Какихъ же бѣдъ? спросилъ Боровицкій.

— Какихъ-съ? «Губернія непокойная»— вотъ, аттестуютъ такъ, тогда и обрадуешься. Вамъ, конечно, ничего, вы — человѣкъ служащій...

— Это можно поправить, сказалъ Боровицкій:—у меня внезапная мысль—позовите Полугина.

Депутатъ взглянулъ на него, какъ на безумнаго.

— Да вы, что же, Григорій Николаичъ? Шутите?

— Нисколько.

— Позвать Полугина? губернатора?.. Вы извините меня, Григорій Николаичъ, это... Кто-жъ послѣ этого поѣдетъ?

— Всѣ поѣдутъ. Всѣ должны ѣхать, потому что начальникъ губерніи поѣдетъ.

— Да онъ-то поѣдетъ ли?

— Поѣдетъ.

— Что-жъ это будетъ?

— Ничего. Будетъ обѣдъ и все слажено. Не будетъ повода сказать, что губернія безпокойная, а мы заставимъ Полугина выпить здоровье Петра Иваныча. Вотъ и все.

— Позвольте, Григорій Николаичъ, но они еще вчера, въ собраніи...

— Посчитались за Осминникова? Ну, знаю; я былъ при этомъ; ничего!

— Но какъ же это—пригласить губернатора?..

— Такъ и пригласить.

— Онъ откажется.

— Тогда еще лучше: честь предложена, отъ убытка Богъ избавилъ, а вы не въ «безпокойныхъ».

— Но кто-жъ поѣдетъ его звать?

— Не я, конечно, возразилъ Боровицкій:—я никого не зову. Вы, кто нибудь изъ неслужащихъ... Вотъ Палатьева пошлите.

— Палатьева? Онъ вчера побранился съ Скворещенскимъ.

— А, чортъ его, Скворещенскаго! прервалъ Боровицкій, вспыхнувъ.

— Но если губернаторъ обидится, что не его перваго звали, что прежде его подписались другіе?

— Вотъ еще! Вѣдь ему не подписку привезутъ, а почетное приглашеніе.

— Все-таки... Вчера ужъ всѣ слышали, что обѣдъ...

— Ну, скажите ему, что вы сами не знали навѣрное, сегодня ли этотъ обѣдъ, думали отложить. Вѣдь вы, точно, думали отложить? рыбы у васъ не было.

— Нашелъ отличную.

— И прекрасно.

— Заѣзжайте къ Палатьеву, Григорій Николаичъ, скажите ему.

— Нѣтъ, увольте, я усталъ.

— Такъ, по крайней мѣрѣ, хоть Петра Иваныча предупредите; мнѣ, ей-Богу, не разорваться; на мнѣ всѣ хлопоты, а до обѣда...

— До обѣда еще четыре часа. Пожалуй, къ Петру Иванычу я заѣду.

— Вы поскорѣе, Григорій Николаичъ, а отъ него опять ко мнѣ. Еще какъ покажется ему такая перемѣна?

— Э, полноте, возразилъ Боровицкій, иронически засмѣявшись: — будто вы не знаете Петра Иваныча! Онъ поѣстъ, ну, съ него и довольно!

Онъ отправился къ Черемышеву. День былъ праздничный. Зинаида Сергѣевна уѣхала, по обыкновенію, сначала къ обѣднѣ, потомъ съ визитами. Боровицкій обрадовался, узнавъ, что ея нѣтъ дома. На порогѣ этого наряднаго, держаннаго въ порядкѣ родственнаго дома, ему сильнѣе вспомнилась своя семейная нескладица и вчерашняя выходка жены. Боровицкій былъ увѣренъ, что безукоризненная Зинаида Сергѣевна оскорблена поступкомъ сестры, но въ то же время не надѣялся найти въ ней сочувствія для себя. То, что онъ везъ сообщить Петру Ивановичу, было также неловко.

M-lle Луаро, завидя входящаго Боровицкаго, стремительно убѣжала изъ залы; онъ видѣлъ и слышалъ только ея шумящія оборки. Изъ кабинета Петра Ивановича выходили гости, пріѣзжіе дворяне; они раскланялись съ Боровицкимъ очень сухо. Боровицкій самъ не зналъ, радъ онъ или нерадъ, заставъ Петра Ивановича одного. Онъ рѣшился меньше думать.

— Вообразите, какая нелѣпость... заговорилъ онъ съ дѣловой поспѣшностью. — Здравствуйте, дорогой Петръ Иванычъ... Вообразите нелѣпость: нашъ обѣдъ такъ истолковали, что мы выходимъ чѣмъ-то въ родѣ бунтовщиковъ. Слышали вы? Это изъ рукъ вонъ! Не имѣть права запросто доказать свое уваженіе...

— Я все это слышалъ-съ, знаю, прервалъ Черемышевъ, неподвижный на низенькомъ мягкомъ диванѣ. — Я въ уваженіи подобныхъ вамъ людей, Григорій Николаичъ, не нуждаюсь..

Боровицкій остолбенѣлъ.

— Вы напрасно называете «нашъ обѣдъ», да «нашъ обѣдъ». Я отъ такихъ, какъ вы, и не приму обѣда. Вотъ-съ. Извольте.

— Вы понимаете, Петръ Иванычъ, какъ отвѣчаютъ на такія слова? спросилъ, задохнувшись, Боровицкій.

— Никакъ-съ. Вамъ отвѣчать нечего.

— Это ужъ мое дѣло. Прошу объяснить, какъ вы... какъ вамъ вздумалось...

— Да что, братецъ, «вздумалось?» Чего тутъ «вздумалось»? Жена твоя канканъ пляшетъ, на всю губернію срамъ, сестра губернской предводительши, а ты еще спра-

шиваешь, что такое вздумалось? Ну, вздумалось! Ну, вонъ клубныхъ лакеевъ спроси! Да чего спрашивать? Вѣдь ты самъ тамъ былъ! Вѣдь, это, братецъ, такое, чего вынести нельзя! Мамзель наша не знала, какъ отъ твоей бѣжать; поразсказала. Въ ногахъ у Зинаиды Сергѣевны прощенія просила. «Если бы, говоритъ, у меня капоръ былъ, я бы схватила извозчика и уѣхала». Капора только у нея не было. И послѣ этого, ты еще лѣзешь въ домъ съ твоимъ уваженіемъ...

— Я не лѣзу въ вашъ домъ; я бы не переступилъ вашего порога...

— Что-жъ это такое, въ самомъ дѣлѣ? по родственному человѣка приняли, мѣсто дали... вѣдь тебѣ мѣсто, братецъ, Зинаида Сергѣевна выпросила у Полугина...

— Вы видѣли вчера, какъ я дорожу Полугинымъ...

— Да ты, братецъ, ничѣмъ не дорожишь! Что вамъ съ вашей женой Зинаида Сергѣевна досталась? Ты такъ своей женѣ и объяви: я ее видѣть не желаю, не желаю... и тебя не желаю. Это развратъ, и чтобъ въ моемъ домѣ...

— Я очень радъ не бывать въ немъ, отвѣчалъ Боровицкій, идя къ двери: — и если щажу васъ, то помните — ради вашей жены.

Ему было почти дурно, когда онъ вышелъ на улицу. Какое-то истинное чувство, безъ натяжки, безъ рисовки предъ собой или передъ другими, ворвалось ему въ душу, и эта тихая тоска сломила больнѣе чѣмъ порывы. Два часа назадъ Боровицкій бѣжалъ изъ своего дома, отыскивая какого-то забвенія, утѣшенія, сочувствія; теперь онъ шелъ домой пѣшкомъ, тихо, не чувствуя ни стужи, ни вьюги, шелъ, какъ будто такъ было должно... Что такое разстаться съ Черемышевымъ, съ человѣкомъ, который всегда былъ не по сердцу, а сейчасъ даже оскорбилъ? Но оскорбленіе какъ-то забывалось, а разрывъ огорчалъ: за нимъ открывалась какая-то темная пустота въ жизни, въ отношеніяхъ... Черемышевъ глупъ, но онъ и жена его — люди не совсѣмъ дурные. Они—общество. Они—родные... А когда выгнали даже родные...

— Выгнали! повторилъ вслухъ Боровицкій:—куда мнѣ дѣваться?..

Онъ шелъ домой. У него кружилась въ головѣ эта жизнь, этотъ домъ, эта жена, капризная, сантиментальная, пустая, дурная, старая; глупость женитьбы въ двадцать два года, гибель молодости, неизбѣжность, вѣчность своей цѣпи...

— И къ довершенію—срамъ на всю публику! сказалъ онъ вслухъ.

Онъ опустилъ голову, уже ничего не думая.

У подъѣзда его дома было двое саней; въ прихожей онъ увидѣлъ военную шубу. Нечего было спрашивать, кто гости, хотя эти гости были въ первый разъ: еще изъ прихожей слышались голоса Малѣева и Скворещенскаго, хохотавшихъ въ будуарѣ.

— О, чортъ возьми... сказалъ Боровицкій, такъ запирая дверь своего кабинета, что чуть не сломалъ ключа. Ему хотѣлось сломать весь домъ, но порывъ былъ минутный. Боровицкому стало стыдно своихъ порывовъ, какъ было стыдно всего. Стыдъ былъ у него въ домѣ. Гадость, начавшаяся вчера вечеромъ, продолжалась сегодня поутру. Если бы Боровицкій былъ мальчикъ, не зналъ, не видалъ, какъ эти вещи дѣлаются на свѣтѣ, онъ бы не выходилъ изъ себя. Но, нѣтъ, это извѣстное, виданное: этотъ визитъ записываетъ его жену въ число дамъ, съ которыми канканируютъ на балѣ и врутъ поутру. Этотъ визитъ—рѣшительное, окончательное. Онъ хуже всего вчерашняго: онъ опредѣляетъ положеніе...

— Мое-то какое-жъ положеніе? спросилъ себя Боровицкій: въ сотый разъ, ужъ не преувеличивая и не рисуясь.—Женщинъ не бьютъ... да и за нихъ не дерутся, когда онѣ сами лѣзутъ въ петлю. Что-жъ, смотрѣть сквозь пальцы, сохранять приличіе, хохотать, когда она хохочетъ?..

За дверью послышался маленькій стукъ и потомъ звонкій и веселый голосокъ Маши.

— Папа, отвори скорѣе, мое сокровище.

У Боровицкаго явилось какое-то, еще никогда неиспытанное чувство жалости къ ребенку. Онъ поднялся съ дивана и отворилъ. Маша была въ чемъ-то изъ краснаго кашемира, въ родѣ тюники безъ рукавовъ, съ золотыми застежками на открытыхъ плечикахъ; золотые вьющіеся волоски были повязаны красной лентой. Этотъ нарядъ давно сочинилъ Машѣ отецъ въ минуту художественнаго обожанія ея красоты; Надежда Сергѣевна потерпѣла его на Машѣ только одну минуту.

— Гляди на меня, папа... Тебя велѣно туда позвать... Мнѣ мама сказала: сегодня надѣнь все отцовское любимое. Пойдемъ туда, тебѣ будетъ весело. Тамъ гости. Ахъ, какіе уморительные! одинъ сейчасъ представлялъ дядю Петра Иваныча... ты никому не сказывай! Мама такая добрая. Она не больна. Сейчасъ меня поцѣловала и говоритъ гостю:

cette enfant est mon seul bonheur. И гость, военный... Пожалуста, поди туда, папа!.. и онъ меня поцѣловалъ.

Боровицкій сжалъ руки такъ, что хрустнули пальцы.

— Гляди, папа, онъ сказалъ, что я красавица.

— Скажи имъ... началъ онъ громко, и вдругъ его голосъ сорвался.—Все это вздоръ. Ты дурна, ты безобразна, ты уродъ. Они лгутъ. Ступай къ себѣ. Все это въ печку...

Онъ сорвалъ съ нея ея красную повязку.

— Охъ, папа... сказала она, и вдругъ заплакала.

— Тебѣ жаль этой дряни? вскричалъ онъ съ сердцемъ.

— Что ты со мной дѣлаешь! Вѣдь нынче ты ужъ въ другой разъ... выговорила дѣвочка, протянувъ къ нему ручки.

Боровицкій схватилъ ее и принялся цѣловать.

— Душка моя, Машурка, радость моя, одна моя радость, прости меня... Гдѣ твоя ленточка?.. Прости меня, я тебя обидѣлъ, не плачь...

— Охъ, нѣтъ, папа! На что ты все сердишься? Все ссоры. Вотъ, вчера, что такое за обѣдомъ было. Я не знаю, какъ бабушка кушала? я не могла...

Она рыдала.

— Это скучно. Такъ жить нельзя. Вотъ, въ книгахъ, на картинкахъ я видѣла, вотъ, живутъ: сидятъ отецъ, мать, бабушка старая, дѣти играютъ, свѣчка горитъ, печка топится. Такъ тихо, свѣтло, хорошо. Отецъ читаетъ, мать работаетъ. Всѣ другъ друга любятъ. Мило, весело. Господи, когда-бъ у насъ такъ было! Ты бы читалъ, я бы чулочекъ вязала; у тебя устали бы глазки, я бы читала. Никто бы не ссорился. О, папа, сокровище, золотой мой, давай такъ жить! поѣдемъ въ деревню, я позову сестрицъ кормилвиныхъ, прясть будемъ...

Въ будуарѣ Надежды Сергѣевны раздался громкій звонокъ. Это было не въ обычаяхъ дома, но, вѣроятно, лакеи ужъ были предупреждены, потому что послышалось, какъ одинъ изъ нихъ пробѣжалъ по залѣ.

— Что это? спросилъ Боровицкій.

— Мама у бабушки взяла, отвѣчала Маша, продолжая плакать:—знаешь, мѣднаго рыцаря. Сегодня взяла. Его чистили, онъ весь позеленѣлъ... О, папа, голубчикъ мой, какъ мнѣ съ тобой хорошо! вотъ, такъ бы я цѣлый день...

Она припала къ нему на плечо.

— Надежда Сергѣвна приказала просить васъ въ гостиную, сказалъ лакей, отворивъ дверь.

— Машу?

— Нѣтъ, васъ.

— Кого?!.. вскричалъ Боровицкій, спуская дѣвочку съ колѣнъ и вставая. — Кого? Меня?

Онъ удержался, увидя въ отворенную дверь, въ залѣ, проходящаго Малѣева.

— Останься здѣсь, Маша.

Боровицкій вышелъ въ залу. Малѣевъ шелъ ему на встрѣчу, протянувъ руку.

— Вы меня не прогоните? спросилъ онъ:— я подумалъ — мы знакомы и незнакомы, въ чужихъ домахъ видимся, другъ у друга не бываемъ—взялъ да пріѣхалъ.

Боровицкій пожалъ протянутую руку, закусивъ губы и глядя вдаль, въ будуаръ.

— Что вы такъ, будто не по себѣ? продолжалъ Малѣевъ, слѣдя за его взглядомъ.— Тамъ у васъ еще гость, le brillant colonel. Я оставилъ его немножко пройтись по сантиментамъ передъ Надеждой Сергѣвной; вижу, человѣкъ изны########ваетъ—ну, думаю, что ужъ, дать ему вздохнуть минуточку... Вы тоже сегодня выѣзжали!

Они вмѣстѣ шли въ будуаръ. Боровицкій не понималъ, что съ нимъ дѣлается; сердце у него стучало, въ ушахъ отдавался громкій голосъ Малѣева, но у самого не было голоса даже сказать слово. Въ будуарѣ, въ полусвѣтѣ при опущенной сторѣ, онъ увидѣлъ жену, полулежащую на кушеткѣ; она показывала Скворещенскому свои кольца. У Боровицкаго было туманно въ глазахъ; ему хотѣлось все разбросать, всѣхъ прибить.

— Надежда Сергѣвна была такъ добра, что позволила мнѣ быть у нея, говорилъ Скворещенскій вмѣстѣ и безцеремонно, и снисходительно, и подавалъ руку.

Боровицкій положилъ въ нее свою.

— Очень радъ, сказалъ онъ, чувствуя, что говоритъ, и спрашивая себя, зачѣмъ онъ это говоритъ.

— Bonjour, Grégoire, сказала Надежда Сергѣевна, кокетливо вытягивая выше головы свою руку, съ которой распадались широкій рукавъ и кружево.

Онъ взялъ и эту руку. Надежда Сергѣевна тотчасъ же отняла ее, слегка сдвинувъ брови; Боровицкій замѣтилъ, что онѣ подкрашены. Малѣевъ, который замѣтилъ это давно, переглянулся съ ней и засмѣялся. Скворещенскій, ничего незамѣчавшій, обратился къ Боровицкому:

— Вы выѣзжали, вѣрно, все по случаю обѣда?

— Я видѣлъ, вы входили къ Деневскимъ, сказалъ невозмутимо Малѣевъ:—что онъ, старикъ, на обѣдъ ѣдетъ?

Боровицкій чувствовалъ, что кровь бросилась ему въ лицо; но если тонъ Малѣева былъ язвителенъ, то къ словамъ было невозможно привязаться.

— Деневскій? Нѣтъ, не ѣдетъ, отвѣчалъ онъ, смутясь.

— Ну, повѣрьте, боится скомпрометироваться передъ властями! вскричалъ, хохоча, Малѣевъ;—поручусь—въ постель легъ.

— Да, боленъ, въ постели.

— Я такъ и зналъ! А нѣжное семейство—въ печали?

— Mademoiselle est très intéressante, замѣтилъ любезно Скворещенскій.

Надежда Сергѣевна захохотала.

— Вы льстите вкусу моего мужа, сказала она.

— А, попались, попались! сказалъ Скворещенскій, шутя, обнимая Боровицкаго, который, не находя слова, только взглянулъ въ глаза женѣ.

— Но вы хотѣли сказать ему что-то интереснѣе m-me Деневской, прервала Надежда Сергѣевна.

— Ахъ, да, сказалъ Скворещенскій:—Григорій Николаичъ, запишите меня на обѣдъ Черемышеву. Вѣдь сегодня?

— И меня, прибавилъ Малѣевъ.

— Васъ?.. спросилъ Боровицкій.

— Ну, да, насъ, отвѣчалъ Малѣевъ, засмѣявшись, чего ему давно хотѣлось.—Васъ это поражаетъ?

— Вы сами предлагали мнѣ вчера, началъ Скворещенскій:—для меня это случай опять сблизиться съ Черемышевымъ. Зинаида Сергѣевна такъ добра...

— Видите что, прервалъ Малѣевъ: — я объяснюсь съ полнѣйшей откровенностью. Вчера я бы не подписался. Я и держался въ сторонѣ. Но сегодня, вотъ, передъ тѣмъ какъ мнѣ ѣхать къ вамъ, меня посѣтилъ генералъ Осминниковъ... Вы трепещете, Григорій Николаичъ? Оно понятно: одно имя генерала—это уже всемірный переворотъ... Онъ мнѣ объявилъ, что сей пиръ изображенъ законопреступнымъ въ глазахъ власти и что, въ избѣжаніе нареканія, сама власть приглашена на оный...

— И главное — приняла приглашеніе! прибавилъ Скворещенскій:—c'est incroyable! это—презабавный фарсъ! Вообразите, это сдѣлалось въ четверть часа: къ Полугину явилась депутація съ приглашеніемъ.

— Вы вчера ужъ обѣщали записать полковника, продолжалъ Малѣевъ:—запишите и меня. Гдѣ власть, тамъ и я. У меня цѣль, во-первыхъ, гастрономическая, во-вторыхъ юмористическая, а въ-третьихъ вашъ Pierre Legros съ своими дворянами на меня дуется, и я желаю принести ему умилостивительную жертву—объѣсться за его здоровье. Я—мизерный человѣкъ; признаюсь въ своихъ сѣренькихъ побужденіяхъ. Генералъ сначала гремѣлъ, что это ни на что непохоже, но такъ какъ подписался, а деньги взять назадъ неловко, то терять ихъ даромъ не намѣренъ: поѣдетъ и съѣстъ. Примите и мою лепту...

— Позвольте, сказалъ Боровицкій, пользуясь минутой прервать его:—все это до меня ужъ нисколько не касается.

— Какъ такъ?

— Я самъ не буду на этомъ обѣдѣ.

Онъ сказалъ такъ серьезно, что гости съ секунду примолкли.

— Что это? капризъ? вскричала Надежда Сергѣевна.

Боровицкій вспыхнулъ; онъ былъ смущенъ и воротилъ бы назадъ свои слова, еслибъ было возможно. Гости какъ-то осторожно смотрѣли въ сторону, будто не ожидая, что онъ можетъ чѣмъ нибудь объяснить то, что выходило уже не шутка. Малѣевъ улыбнулся.

— Ну-съ, сказалъ онъ протяжно: — это очень непріятно.

— Но, однако... началъ Скворещенскій.

— Я не дѣлаю изъ этого тайны, сказалъ, вдругъ рѣшаясь, Боровицкій.—Я узналъ, какой глупый смыслъ стали придавать этому празднику, и самъ первый подалъ мысль звать Полугина. Конечно, и этимъ приглашеніемъ, и своимъ безтактнымъ согласіемъ Полугинъ униженъ еще болѣе—но съ той минуты, когда серьезное дѣло превращается въ забавный фарсъ, я въ немъ не участникъ. Кому другому это, можетъ быть, нравится, но я...

Онъ смѣшался опять, чувствуя, что сказалъ неловкость.

— Право, вы слишкомъ... par trop scrupuleux, возразилъ безобидно Скворещенскій—вѣдь въ провинціи все фарсъ.

— Благородная разборчивость... сказалъ Малѣевъ, серьезно нахмурясь, и прибавилъ со вздохомъ:—дѣлать нечего; попрошу моего драгоцѣннаго генерала.

Онъ взялъ шляпу. Скворещенскій оглянулся на свою каску съ замѣтнымъ сожалѣніемъ, но хотя неохотно, а взялъ ее.

— A bientôt, сказала Надежда Сергѣевна, протягивая имъ руки.

— Гдѣ вы вечеромъ сегодня? спросилъ Скворещенскій.

— Я думаю, у сестры. Но вы кончите вашъ обѣдъ только къ полночи.

— Докажу вамъ, что я кончу его ранѣе. Скажите, можно здѣсь найти сносныхъ конфектъ? я проспорилъ вчера... à cette demoiselle de compagnie.

— Ah, m-lle Loirot!

— Да... La drôlesse! заключилъ онъ, уходя.

Боровицкій не сдѣлалъ шага ихъ проводить. Надежда Сергѣевна прошлась до залы, болтая дорогой. Боровицкій слышалъ ея звонкіе: «au revoir» и «à bientôt», и когда захлопнулась дверь прихожей, вышелъ изъ будуара. Жена шла на встрѣчу.

— Почему вы не ѣдете на обѣдъ? спросила она презрительно.

— Потому что Черемышевы васъ знать не хотятъ! крикнулъ онъ на весь домъ.

Аграфена Петровна прибѣжала на этотъ крикъ.

VI.

Обѣдъ, какъ обѣдъ, удался совершенно, вознаградивъ всѣ старанія и муки дворянскаго депутата, буквально сбившагося съ ногъ. Отъ утомленія, онъ былъ не въ состояніи даже наслаждаться плодами трудовъ своихъ и сидѣлъ на пиру разстроенный, отпиваясь водою и отвѣчая на вопросы сосѣдей.

— Въ душу нейдетъ.

И многимъ не пошло бы въ душу, еслибъ они раздумались хорошенько, какая бѣда готовилась этимъ обѣдомъ; еслибъ они могли предвидѣть, что это послѣднее торжество въ N-ской губерніи на многіе годы; что восемнадцать мелкихъ чиновниковъ, завербованныхъ Гравинымъ, истратившихъ мѣсячное и даже двухъ-и трехъ-мѣсячное жалованье за честь пообѣдать съ ихъ превосходительствами—ранѣе мѣсяца будутъ исключены; шесть столоначальниковъ, исправниковъ и чиновниковъ особыхъ порученій будутъ отставлены «по второму пункту», а изъ прочихъ, поважнѣе, «сильныхъ», совѣтниковъ и предсѣдателей, не останется ни одного безъ непріятности, мелкой или крупной:—выговора, начета, перевода, обхода чиномъ, крестомъ или награжденіемъ, поѣздки въ Петербургъ для объясненія. Бѣдствія сильныхъ свершались, конечно, не тотчасъ, не вдругъ, не разомъ; губернскія грозы сначала ломаютъ тростинки, а потомъ добираются до дубовъ—но все-таки добираются. Онѣ начинались, конечно, не по поводу обѣда; у нихъ были свои завязки и причины, но эти завязки и причины, хотя, казалось бы, и важныя, были только видимыя: истинная причина, корень всего, исходъ всего—былъ обѣдъ. Слѣдя за всякой катастрофой (переводъ, начетъ, выговоръ и пр.) отъ конца къ началу, можно было усмотрѣть тонкую черту, которая доходила до обѣда. Обѣдъ былъ трещиной, которая расширялась въ бездну.

Полугинъ поѣхалъ по приглашенію, потому что не въ его привычкахъ было ссориться открыто и потому что для внезапной, рѣшительной ссоры нужна нѣкоторая доля умѣнья и увѣренность въ своей силѣ. Этого Полугину не доставало. Онъ не умѣлъ играть открыто, а въ настоящемъ случаѣ еще не зналъ на кого можетъ опереться, кто будетъ его защитникомъ, если ссора разыграется. Къ этому нужно было подготовиться, обстановить себя, обезопасить, — что возможно только съ теченіемъ времени. И потому Полугинъ рѣшилъ вести ссору понемножку. Онъ объяснилъ Скворещенскому и нѣкоторымъ другимъ чиновникамъ, что ѣдетъ на обѣдъ изъ учтивости къ приглашавшимъ дворянамъ, и произнесъ нѣсколько фразъ о долгѣ свѣтскихъ приличій. Фразы въ провинціи были тогда еще въ рѣдкость: или ихъ пугались, или надъ ними смѣялись. На этотъ разъ, провинціалы не приняли къ свѣдѣнію никакихъ губернаторскихъ намековъ на учтивость и не оказали губернатору никакихъ привычныхъ ему почестей. Онъ пріѣхалъ акуратно въ назначенный часъ; Черемышевъ опоздалъ нарочно, чтобы заставить его ждать въ толпѣ простыхъ смертныхъ. Посадили ихъ, правда, рядомъ, но на сторону губернатора не сѣлъ ни одинъ изъ дворянъ неслужащихъ или служащихъ по выборамъ. Въ подачѣ кушанья были тоже соблюдены какія-то тонкія неучтивости. Наконецъ, когда послѣ здоровья Черемышева и его благодарности, одинъ изъ служащихъ сановниковъ взялъ бокалъ и, глядя на губернатора, произнесъ: «Здоровье»... генералъ Осминниковъ перебилъ его, докричавъ: «нашего уважаемаго Петра Иваныча!» а Палатьевъ, среди чоканья, сказалъ во всеуслышаніе:

— Ничьего другого здоровья, кромѣ здоровья Петра Иваныча! Десять разъ, двадцать разъ—здоровье Петра Иваныча!

— Зинаиды Сергѣвны! сказалъ уѣздный предводитель.

Повторивъ эти два тоста, кто-то въ умиленіи, или для разнообразія, предложилъ за

дѣтей Петра Ивановича. Черемышевъ былъ тронутъ и восхищенъ.

— Такъ сказать, господа, мой семейный праздникъ... началъ онъ.

Всѣ увлекались, въ самомъ дѣлѣ, будто по-семейному. Полугинъ былъ забытъ. Онъ рѣшился на поразительную выходку учтивости.

— Позвольте и мнѣ предложить тостъ за васъ, ваше превосходительство, сказалъ онъ, уловивъ минуту и обращаясь къ Черемышеву съ поднятымъ бокаломъ.

— Благодарю, ваше превосходительство, отвѣчалъ Черемышевъ, откланиваясь.

Все вдругъ затихло: губернаторъ ждалъ размѣна учтивостей — своего здоровья, чиновники ужъ были готовы крикнуть, дворяне переглядывались въ тревогѣ. Черемышевъ приподнялся, протянулъ руку — но только за грушей въ корзину, стоявшую передъ нимъ.

— Ура, многая лѣта Петру Иванычу! закричалъ Палатьевъ, и затѣмъ поднялся шумъ неописанный. Петра Ивановича подхватили качать. Полугинъ воспользовался суматохой и вышелъ. Его побѣжалъ провожать только депутатъ, обреченный на всѣ заботы.

— Я не стѣсняю васъ, возвратитесь, сказалъ ему сухо Полугинъ, переступая порогъ залы, и уѣхалъ.

Отсутствіе Боровицкаго было замѣчено. Депутатъ, почему-то считавшій его необходимымъ лицомъ, даже спрашивалъ о немъ, до начала обѣда, у нѣкоторыхъ общихъ знакомыхъ. Никто не могъ ничего сказать.

— Удивляюсь, чего тутъ справляться, сказалъ Малѣевъ въ кружкѣ чиновниковъ, но такъ, что слышали всѣ:—Боровицкій самъ мнѣ сказалъ, что не пріѣдетъ, потому что весь этотъ обѣдъ—глупый фарсъ, въ которомъ онъ не намѣренъ участвовать.

Эти слова подняли негодованіе съ обѣихъ сторонъ.

— Онъ вамъ самъ говорилъ? спросилъ депутатъ.

— Мнѣ и Скворещенскому. Не угодно ли спросить? отвѣчалъ Малѣевъ.

Скворещенскаго не спросили; онъ держался нѣсколько въ сторонѣ отъ дворянъ, которые, впрочемъ, были съ нимъ довольно привѣтливы: ссориться съ петербургскимъ полковникомъ никто не желалъ. Съ нимъ, къ концу обѣда, сошелся и Палатьевъ, по зрѣломъ размышленіи, забывъ вчерашнее, конечно, только съ вида. Вся эта привѣтливость была неискренна; это была осторожность. Скворещенскаго считали пріятелемъ губернатора, но его побаивались, а потому, оставляя въ покоѣ, бранили только заглаза.

Что же касается Боровицкаго, то показанія Малѣева были неопровержимы для генерала. Генералъ тутъ же назвалъ Боровицкаго двуличнымъ, двуязычнымъ, за обѣдомъ помянулъ его опять, а къ концу обѣда разругалъ окончательно. Ему сочувствовали.

— Да помилуйте, говорилъ генералъ: — онъ вчера и супругу свою послалъ отплясывать, вонъ (онъ кивнулъ на Скворещенскаго), чтобъ самому оградиться: я, дескать, непричастенъ, не за одно съ предводительскими...

— А сегодня, вѣдь Боровицкій же вздумалъ звать губернатора.

— Какъ же, онъ.

— Видите, какая премудрая выдумка, сказалъ генералъ.

— Онъ обѣдъ спасалъ, объяснилъ кто-то, смѣясь.

— Мудрецъ! повторилъ генералъ:—да кто его просилъ спасать-то? Мы бы и сами съумѣли.

— Конечно, губернаторъ нуженъ здѣсь для своихъ чиновниковъ, для Боровицкаго, а не для насъ.

— А теперь спохватился, продолжалъ генералъ:—видно, и совѣстно стало глаза показать.

— Знаете, не онъ ли наплелъ Полугину и на обѣдъ? что обѣдъ съ такою цѣлью...

— Кто его знаетъ!

— Можетъ быть сговорился и съ Скворещенскимъ...

— И еще это что за странность: Скворещенскій не бывалъ у него никогда, какъ тотъ къ нему ни лѣзъ, а сегодня вдругъ надумался, дѣлаетъ визитъ...

— А этотъ расшаркивается, и супруга... досказалъ Малѣевъ, передразнивая.

Вступиться за Боровицкаго, разобрать эту нелѣпую путаницу было некому. Съ другой стороны была другая напасть. Полугинъ, выходя изъ залы клуба и отклонивъ проводы депутата, подозвалъ Гравина и вмѣстѣ съ нимъ спускался съ лѣстницы.

— Какъ вы сюда попали? строго спросилъ онъ юношу.

Гравинъ объяснилъ; онъ разсказалъ подробно и порученія, и внушенія Боровицкаго. Онъ думалъ, что, исполняя ихъ, дѣлаетъ должное; но еслибы въ настоящую минуту и закралось ему въ душу сомнѣніе въ этомъ

дѣлѣ, онъ не посмѣлъ бы ничего скрыть отъ его превосходительства.

— Такъ Боровицкій... сказалъ задумчиво губернаторъ: — я васъ не стѣсняю; возвратитесь.

Гравинъ возвратился кричать, качать и пить.

Скворещенскій тоже скоро уѣхалъ и, отдохнувъ въ своей гостиницѣ, отправился къ m-me Черемышевой. Ему сказали, что она не принимаетъ; въ домѣ было тихо. Скворещенскій спросилъ о Надеждѣ Сергѣевнѣ; отвѣчали, что она не пріѣхала. Тогда онъ поручилъ отдать m-lle Луаро привезенныя имъ конфекты. M-lle Луаро прохаживалась въ залѣ съ дѣтьми и давно слушала эти переговоры.

— Eh, bonsoir, сказала она, показавшись на порогѣ.

Тутъ же, скороговоркой и очень весело, онъ объяснила, что monsieur возвратился и спитъ, что вечеръ пропалъ потому, что двери всѣхъ заперты, что это досадно, что вчера она надѣлала de bonnes bêtises, что когда бы еще опять такъ, что m-me Borovitzki est une adorable personne, а потому неудивительно, что m-r le colonel court à sa poursuite.

— Она теперь, конечно, дома, заключила m-lle Луаро: — если бы не эта marmaille, за которой надо смотрѣть, я бы уѣхала съ вами къ ней.

Скворещенскій поѣхалъ къ Надеждѣ Сергѣевнѣ. Тамъ его приняли. День былъ бурный, но тревоги и слезы утихли еще до обѣда, когда Боровицкій ушелъ и заперся въ своемъ кабинетѣ. Надежда Сергѣевна успѣла достаточно отдохнуть и, полулежа на кушеткѣ, читала у лампы Les mémoires du diable. Приходъ Скворещенскаго, явившагося безъ доклáда, поразилъ ее самымъ пріятнымъ образомъ.

— Неужели это вы? вскричала она.

— Неужели вы могли думать, что я еще не увижу васъ сегодня? отвѣчалъ онъ.

— Нѣтъ... но...

— Но вы сами не хотѣли меня видѣть?

— Не хотѣла?

— Вы меня обманули. Я былъ у вашей сестры.

— Невозможно!

— Вамъ это кажется невозможно потому, что показалось возможно не сдержать вашего слова. Для чего же вы хотѣли избѣжать меня? прибавилъ онъ, садясь подлѣ нея.

Въ этомъ тонѣ и о подобныхъ тонкостяхъ завязался и долго тянулся разговоръ. Боровицкій, который весь день пролежалъ на своемъ диванѣ, слышалъ пріѣздъ гостя, его голосъ, его шаги черезъ залу въ будуаръ жены и вдругъ поднялся.

— Позвать извозчика, сказалъ онъ, распахнувъ дверь въ прихожую.

Когда, чрезъ нѣсколько минутъ, онъ уходилъ на крыльцо, въ прихожей появилась Аграфена Петровна.

— Куда поѣхалъ Григорій Николаичъ? спросила она лакея.

— Я не слыхалъ, куда онъ приказывалъ.

— Возьми извозчика, поѣзжай за нимъ, посмотри, воротись и мнѣ скажи! Скорѣе. Да чтобъ онъ не примѣтилъ! Ступай, догони! Да ты шапку надвинь!.. Темно, впрочемъ, не узнаетъ, разсуждала она вслухъ, уже оставшись одна, стоя и дожидаясь въ прихожей и, для провожденія времени, разсматривая дорогую шубу Скворещенскаго.

Городъ N* невеликъ, но ожиданіе показалось долго почтенной дамѣ; заслыша въ подъѣздѣ шаги своего посланнаго, она нетерпѣливо отворила дверь.

— Ну, гдѣ онъ?

— У Деневскихъ.

Аграфена Петровна отсчитала нѣсколько мѣдныхъ пятаковъ, велѣла расплатиться съ извозчикомъ и отправилась въ свою комнату, гдѣ проводила день и оттуда не вышла во весь вечеръ. Рядомъ была комната Маши.

— Няня, дай я тебѣ буду картинки показывать, посиди со мной, говорила дѣвочка.

— Есть мнѣ когда, отвѣчала няня и шепталась съ Натальей.

— Тамъ въ щолку видно, говорила Наталья: — онъ изъ себя ничего, красивый.

— Я пойду, посмотрю.

— Няня, какой тамъ гость?

— Ну, какой? Генералъ.

— Тотъ, что былъ по утру? Ахъ, какъ онъ глупъ?

— Одна ты разумница, возразила нянька, укладывая свой чулокъ и собираясь уйти.

— Няня, я хочу къ маменькѣ.

— Тебя тамъ не спрашиваютъ.

— Няня, зажги же свѣчку. Я не хочу сидѣть въ потьмахъ. Я читать хочу.

— Для тебя еще свѣчи жечь.

— Няня, не запирай меня.

Въ отвѣтъ ей, няня стукнула задвижкой.

— Такъ я тебѣ говорю, няня, что я сама зажгу свѣчку! Поди, пожалуйся бабушкѣ! кричала Маша, оставшись въ потьмахъ.

Задвижка еще разъ стукнула, дверь отворилась и бабушка показалась на порогѣ. Что нибудь ужъ очень ужасное произошло въ этой темной комнатѣ, потому что, когда Аграфена Петровна вышла опять, унося коробку со спичками, и заперла дверь, за нею долго раздавались рыданія Маши.

— Поди, жалуйся своему папенькѣ, говорила старуха, возвращаясь къ себѣ.

Маша не жаловалась. Въ домѣ завелся странный порядокъ. Боровицкаго никто не видалъ, кромѣ его лакея: онъ или уѣзжалъ утромъ, или сидѣлъ запершись въ своемъ кабинетѣ, непремѣнно во время обѣда уходилъ изъ дома, бродилъ это время по улицамъ, не обѣдая вовсе, или заходилъ поѣсть въ гостиницу. Съ этого часа его опять нѣсколько минутъ видѣлъ лакей, дававшій ему переодѣться, а затѣмъ Боровицкій исчезалъ совсѣмъ, на весь вечеръ, до полночи и за полночь. Его поздній звонокъ ужъ не пугалъ и не будилъ никого; въ домѣ не спали. Въ домѣ всякій вечеръ былъ гость—Скворещенскій. Звонокъ хозяина, уходившаго спать, не показавшись въ гостиную, напоминалъ гостю, что пора уходить.

Конечно, такое поведеніе Боровицкаго было отчасти не новость; Боровицкій рѣдко сиживалъ дома, но прежде, все-таки, онъ раздѣлялъ съ семействомъ утренній чай, подавалъ голосъ, напѣвая у себя въ кабинетѣ, гдѣ просматривалъ дѣла или рисовалъ, изрѣдка читалъ съ Машей, изрѣдка обѣдалъ, и почти всегда въ сумерки, въ тотъ часъ, когда никуда не ѣздятъ, ходилъ изъ конца въ конецъ по залѣ. Теперь его никто не видалъ. Это продолжалось пять дней.

Надежда Сергѣевна проводила ихъ не менѣе странно. Она говорила себѣ, что начала новую жизнь; она воображала себя свѣтской женщиной. Она нисколько н е ч у в с т в о в а л а этой новой жизни, въ ея душѣ ничего не происходило, но она говорила себѣ, что вотъ она живетъ, у нея есть салонъ, есть поклонникъ. Она, какъ всѣ, сидитъ по вечерамъ, забываясь въ долгой causerie. Кто «всѣ»—какое дѣло!—«Всѣ». Это «въ порядкѣ вещей». Она не увлекалась сердцемъ, у нея не кружилась и голова. Она не испытывала ни радости, ни скорби, ни тревоги, ни нѣжности; она не мечтала: она только выдумывала и пересказывала себѣ свои мечты; она сочиняла, выбирала и поправляла ихъ, чтобъ выходили красивѣе. У нея не было даже волненія страсти: она приготовляла себя быть страстной. Потому она была чрезвычайно покойна цѣлый день и озабочивалась только житейской обстановкой—своимъ нарядомъ и украшеніемъ своего будуара.

У нея была только одна сильная, существенная забота. Когда мужъ объявилъ ей о разрывѣ съ Черемышевыми, Надежда Сергѣевна ужаснулась. Это было объявлено при матери и сцены бала разсказаны безпощадно. Еслибъ это разсказывалъ не Боровицкій, Аграфена Петровна прокляла бы дочь, но Боровицкому она не повѣрила; къ тому же героемъ всего былъ Скворещенскій, о которомъ она не смѣла думать непочтительно. Аграфена Петровна назвала Боровицкаго клеветникомъ, а Надежда Сергѣевна, оставшись съ нею одна, утвердила ее въ этомъ мнѣніи. Но ложь Надежды Сергѣевны висѣла на волоскѣ: ее могъ открыть первый пріѣздъ Зинаиды Сергѣевны, первая поѣздка Аграфены Петровны къ Черемышевымъ. Къ счастью, было холодно, старуха сидѣла дома, а Зинаида Сергѣевна не пріѣзжала, но и ея долгое отсутствіе могло быть подозрительно. Надежда Сергѣевна рѣшилась на страшный подвигъ.

На третій день послѣ бала, она поѣхала съ визитами. Визиты были не очень удачны. Въ двухъ-трехъ «аристократическихъ», то есть нечиновничьихъ, богатыхъ домахъ ее не приняли. Это было обидно. Ее приняло, по-прежнему, общество пониже, разсуждавшее, что если Боровицкая и неприлично держится, то все же она сестра губернской предводительши, и если она отпрыгала, то отпрыгала съ петербургскимъ полковникомъ, а этотъ полковникъ теперь у нея пороги обиваетъ. Надежда Сергѣевна, съ намѣреніемъ и случайно, потому что все, что оставалось у нея въ головѣ, вертѣлось вокругъ одного и того же предмета—во всѣхъ своихъ разговорахъ, на десятомъ словѣ поминала Скворещенскаго.

Во время этихъ визитовъ, она узнала одну ужасную для себя новость: у Черемышевыхъ готовился балъ. Услыша это, Надежда Сергѣевна отлично притворилась, что давно уже знаетъ, солгала, будто еще вчера не былъ назначенъ день, и увидя на столѣ только что принесенное печатное приглашеніе, воскликнула:

— А, наконецъ! Зина вѣдь такъ нерѣшительна!

Балъ назначался въ воскресенье, 27-го ноября. Оставалось три дня. Быть тамъ—дѣлалось для Надежды Сергѣевны вопросомъ жизни и смерти. Она рѣшилась. Отъ подъѣзда одного дома, гдѣ ее приняли, она отправила сани домой.

— Погода хороша, я отсюда пройдусь пѣшкомъ, сказала она лакею, зная, что ея маменька имѣетъ привычку выспрашивать.

У знакомой она посидѣла недолго и отправилась оттуда въ магазины; въ одномъ взяла въ долгъ—розовый крепъ, въ другомъ—золотыя колосья, въ третьемъ, все въ долгъ, заказала себѣ платье. Потомъ она зашла въ лавки и купила два крымскихъ яблока, которыя спрятала въ своей муфтѣ.

— Зина вамъ посылаетъ, маменька, сказала она, возвратясь и отдавая гостинецъ:— я ее встрѣтила, она тоже гуляетъ; затащила къ себѣ, оставляла обѣдать, но я ужъ слишкомъ устала—хотѣлось переодѣться.

Яблоки были такъ хороши, что Аграфена Петровна совершенно убѣдилась въ несомнѣнности ихъ происхожденія изъ предводительскаго буфета. Надежда Сергѣевна потвердила это, разсказывая, что сестра навязывала ей и винограду, и всего на свѣтѣ, но куда-жъ столько забрать?

— Ну, прислала бы. Охъ, да вѣдь онъ скупенекъ, Петръ Иванычъ! прибавила Аграфена Петровна со вздохомъ и смѣхомъ.— Вотъ поѣхать къ ней, вечеркомъ, поѣсть...

Надежда Сергѣевна поблѣднѣла.

— Она сегодня на вечерѣ, и завтра тоже... у какой-то именинницы, сказала она.—Вѣдь завтра Екатерины. Не знаю, у кого. И холодно...

Надежда Сергѣевна увидѣла, что надѣлала себѣ бѣду; надо было сторожить мать. Вечеромъ, Скворещенскій сказалъ ей на прощанье:

— Вашъ толстый beau-frère зоветъ меня на балъ. Надо завернуть къ нему съ визитомъ завтра.

Надежда Сергѣевна молила Бога, чтобъ его не приняли. Она не ручалась, если рѣчь зайдетъ о ней, чтобъ Петръ Иванычъ не сказалъ лишняго. Судьба ее помиловала: они не видались. Надежда Сергѣевна между тѣмъ рѣшилась еще разъ. Наканунѣ бала, разумѣется, тайно отъ матери, въ восемь часовъ утра, будто къ обѣднѣ, она отправилась пѣшкомъ, сначала въ магазинъ, помѣрить свое платье, а оттуда къ сестрѣ.

Зинаида Сергѣевна одѣвалась, когда на порогѣ ея уборной появилась сестра.

— Это какими судьбами? вскричала предводительша, побагровѣвъ и вдѣвая правую руку въ лѣвый рукавъ платья, которое ей подавали.

— Зина, вспомни, что я тебѣ сестра, и не унижай меня предъ своими служанками, произнесла Надежда Сергѣевна по-французски.—Bonjour, Zina.

Она подошла поцѣловать ее. Зинаида Сергѣевна закусила губы и молча, наскоро кончала свой туалетъ. Надежда Сергѣевна сѣла.

— Принеси чаю, сказала Зинаида Сергѣевна горничной.

— А мнѣ воды, пожалуйста, Пелагея, прибавила Надежда Сергѣевна.

— Чаю неугодно? переспросила горничная, оглянувъ еще эту сконфуженную посѣтительницу.

— Я пила.

Надежда Сергѣевна встала, заперла за нею двери и бросилась на шею сестрѣ.

— О, Зина!..

Зинаида Сергѣевна оттолкнула ее.

— Матушка, здѣсь больше дѣвокъ нѣтъ! У тебя мѣдный лобъ. Сдѣлай милость, отстань! Какъ у тебя достаетъ духу на улицу показаться, не только въ мой домъ?

— Zina, je suis votre aînée...

— Что это за безпутство? Что ты въ собраніи выдѣлывала? что тебѣ мой домъ достался? Чтобы я, губернская предводительша... да ни во вѣки!.. Мужъ твой дуракъ, маменька твоя безумная чего смотрѣли? Ты понимаешь ли?.. Да нѣтъ, ступай ты вонъ, не показывайся мнѣ на глаза! Я вѣкъ мой прожила въ уваженіи, и ни для сестры родной... Господи! срамъ, чего въ городѣ не слыхано, это, вдругъ, на меня! моя сестрица! Да чтобъ я позволила, чтобъ я простила...

— Oh, mais tendez-moi la main, vous voyez devant vous une malheureuse! умоляла въ слезахъ Надежда Сергѣевна.

— Какая такая malheureuse? Что съ тобой, матушка, приключилось? Дурь нашла. Показалось, что мало бѣсилась, покуда ноги носили, такъ давай еще бѣситься. Вотъ твой malheur! Чего тебѣ еще: дочь у тебя, мужъ у тебя молодой...

— Ah, mon mari! вскричала Надежда Сергѣевна въ порывѣ отчаянія, — mon mari! Si vous saviez...

— Чего еще?

Надежда Сергѣевна рыдала. Пелагея постучалась въ дверь; Зинаида Сергѣевна ей отворила. Стаканъ воды пришелся кстати.

— Охъ!.. простонала Надежда Сергѣевна, сбрасывая шляпку: — охъ, Зина, еслибъ ты знала, что такое мой мужъ?

Это говорилось уже по-русски. Надежда Сергѣевна, продлила эту маленькую сцену слезъ и рыданій, замѣчая, что сестра, видя ея муки, становилась жалостливѣе.

— Мой мужъ, мой мужъ! повторяла она, ломая руки.

— Да что-жъ твой мужъ?

— Спроси, гдѣ онъ бываетъ всѣ дни, всѣ вечера, всѣ ночи! кричала Надежда Сергѣевна, сказавъ съ розмаху, почувствовавъ это и убѣдивъ себя, что это точно такъ и она отъ этого несчастна.—Тебѣ хорошо, ты счастливица, ты никогда не испытала... Еслибъ ты видѣла его сцены со мной, съ маменькой!!. Я унижена, унижена... Зина, я оклеветана!

— Что ты въ собраніи-то дѣлала? Это клевета?

— Клевета! Его клевета! возразила Надежда Сергѣевна съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ.—Что я дѣлала? J'ai dansé, voilà tout! Онъ это разсказываетъ, онъ придаетъ этому размѣры... Mon Dieu puissant! Онъ пишетъ портреты съ своей мамзель Деневской, маменька сама видѣла: эта мамзель, вѣроятно бываетъ у него... тамъ, къ нему, есть изъ прихожей дверь... А я, я не могу и танцовать? Зина, вѣдь еслибъ я выбрала что нибудь ничтожное, quelque chose de bas... Я хотѣла забыться, одну минуту забыться отъ всѣхъ ужасовъ моей семейной жизни!.. Гдѣ мои права? Я не мать, я не жена. Я думала: одну минуту, хоть свѣтъ замѣнитъ мнѣ... je l'ai donc tant aimé, Zina! Онъ былъ мой богъ, мой идолъ, и вдругъ, и вдругъ...

Она рыдала съ крикомъ.

— И этотъ человѣкъ еще на меня клевещетъ, еще лишаетъ меня моего друга, моей сестры! вскрикнула Надежда Сергѣевна, падая на колѣни.—О, Зина, Зина! другъ моей колыбели! mon ange gardien...

Она хватала руки сестры и цѣловала ихъ.

— Матушка, Господь съ тобой, прервала предводительша:—да развѣ у нихъ ужъ совсѣмъ...

— Je n'en sais rien! je suis perdue! отвѣчала Надежда Сергѣевна, которую Пелагея подсадила въ кресла.

Ея увлеченіе истощилось; она легла головой на столъ.

— А теперь, теперь, шептала она, будто въ бреду, разсказывая себѣ по своему обычаю: — опозорена, унижена, оклеветана... Мать не вѣрить. Дочь—тоже. Свѣтъ бьетъ каменьями. Если не сжалится сестра, не подастъ руки... О, Зина, сохрани тебя Богъ испытывать... ждать часы, минуты... считать: одиннадцать, полночь... О!

Надежда Сергѣевна искренно воображала, что такъ считаетъ.

— Дай мнѣ отдохнуть на твоей груди, не отвергай меня! досказала она, бросаясь на шею сестры:—ты можешь мнѣ помочь...

— Я, матушка, между мужемъ и женой не мѣшаюсь, возразила предводительша: — какъ себѣ знаешь. Чѣмъ я тебѣ помогу?

— Не въ моей семейной жизни, Зина, нѣтъ, я вижу, это кончено, это надо оставить Богу, но... Oh, cette femme de chambre.

— Поди, узнай, есть кто нибудь у Петра Иваныча, сказала Зинаида Сергѣевна Пелагеѣ.

— Ты можешь мнѣ помочь, Зина, продолжала Надежда Сергѣевна, избавившись отъ свидѣтельницы: — я прошу на колѣняхъ...

Она, въ самомъ дѣлѣ, стала на колѣни.

— Матушка, сдѣлай милость безъ фигуръ, сказала предводительша.

— Зина, поддержи меня въ свѣтѣ. За что же мужъ, виновный, преступный, будетъ пользоваться уваженіемъ, будетъ принятъ вездѣ, а жена, невинная...

— Ну, матушка, дѣла твоего мужа неизвѣстны, а прыжки твои всѣ видѣли!

— Но кто же видѣлъ, Зина? J'ai dansé! Спроси m-lle Луаро. И развѣ я одна? Но я и не танцовала... этого; я не умѣю, Зина... Другіе... И это такъ легко забудется. Боже, что не забывается! Une histoire de rien. И еслибъ еще это было что нибудь неблагородное, а то monsieur Скворещенскій. Ты знаешь сама: это — человѣкъ высшаго круга. Онъ человѣкъ нужный. Самъ Петръ Иванычъ, не смотря на непріятности съ губернаторомъ... Но что же? знаешь ли, какъ monsieur Скворещенскій просилъ меня устроить,чтобъ ему быть на дворянскомъ обѣдѣ? ради Бога просилъ! Онъ такъ уважаетъ Петра Иваныча. Ему было больно все это. Его отношенія къ Полугину вовсе не дружескія. Онъ выразился такъ: «губернаторы — сегодня одинъ, завтра другой»... Онъ будетъ говорить о Петрѣ Иванычѣ въ Петербургѣ; il a donc de l'influence... И, вдругъ, Зина, онъ бываетъ у васъ и не видитъ твоей сестры— за что? за то, что эта сестра дружески раздѣлила съ нимъ свое удовольствіе, оживила для него балъ! Сестра выгнана тобой изъ дома!.. Зина, Зина!.. Ты бросаешь тѣнь на себя, на свой характеръ...

— Это, матушка, ужъ мое дѣло, прервала предводительша, вдругъ задумавшись.

— Зина, онъ много для васъ можетъ, продолжала Надежда Сергѣевна: — у него связи, знакомство. La haute aristocratie, la cour. Если даже безъ всякихъ просьбъ, просто, между разговоромъ, онъ помянетъ кста-

ти имя Петра Иваныча... ты знаешь, какъ это важно. Такіе люди, Зина...

— Да ты втюкалась въ него, что ли? прервала Зинаида Сергѣевна.

— Oh, quel mot vous dites! возразила Надежда Сергѣевна:—о, Зина, у меня для этого сердце слишкомъ разбито! Но я знаю, я замѣчаю avec cet instinct de femme... что онъ...

— Да! вѣдь онъ — «сердечкинъ!» сказала, засмѣявшись, Зинаида Сергѣевна.

— О, Зина!.. Нѣтъ, но я замѣчаю, que j'exerce sur lui un pouvoir absolu... Онъ откровененъ со мной. Его жизнь была ужасна, Зина; ему сладко отдохнуть, когда его понимаютъ...

— Ну, занеслась! сказала Зинаида Сергѣевна, продолжая смѣяться.

Она смѣялась и, между тѣмъ, задумывалась. Вошла Пелагея.

— У барина никого нѣтъ.

— Пойдемъ къ нему, сказала Зинаида Сергѣевна.—Утри глаза; ты наплакана.

— Vous êtes ma providence! прошептала Надежда Сергѣевна, обнявъ ее.

Петръ Ивановичъ кушалъ чай на своемъ мягкомъ диванѣ. Когда, слѣдомъ за стройной фигурой жены, явилась скромная и смятая особа Надежды Сергѣевны, круглые глаза предводителя остановились отъ изумленія.

— А-а!.. воскликнулъ онъ.

— Веду къ тебѣ горемыку, Пьерочка, сказала Зинаида Сергѣевна: — мужъ бросилъ.

— Бросилъ? Какъ?.. произнесъ Петръ Ивановичъ.

— То есть, еще несовсѣмъ, еще до предводителя дѣло не доходитъ, продолжала Зинаида Сергѣевна:—а почти, близко.

— То есть, какъ же?

— Ну, невѣренъ, измѣнилъ.

— Измѣнилъ... повторила Надежда Сергѣевна.

— Это уголовное-съ, сказалъ Петръ Ивановичъ.

— Да, я думаю! подтвердила его жена.

— О, Зина!... прошептала Надежда Сергѣевна.

— Но, однако, вы-то сами... началъ Петръ Ивановичъ, тутъ только спохватившись, что видитъ предъ собою отверженную:—вы-то сами, Надежда Сергѣевна, ваши поступки... Вѣдь это чортъ знаетъ что-съ!

— Это ты, Пьерочка, не бурли, прервала Зинаида Сергѣевна, цѣлуя его лиловую щеку: — тутъ не до того. Дина подурачилась, но иногда и подурачишься для компаніи; какова компанія. Мы съ тобой это разберемъ. А я пришла, Пьерочка, спросить, позволишь ты мнѣ позвать къ намъ завтра на балъ эту грѣшницу?

Надежда Сергѣевна вспыхнула.

— Какъ, мой другъ, тебѣ угодно, отвѣчалъ Петръ Ивановичъ:—но я полагаю, что...

— Ну, Пьерочка, своихъ не бьютъ, возразила жена. — Пріѣзжай завтра, Дина. Я пришлю карету. Платье есть у тебя? цвѣты надо?

— О, Зина!.. выговорила Надежда Сергѣевна, схвативъ цѣловать ея руку.

— Полно, матушка. Съума сошла. Но осла твоего супруга мнѣ не надо... Ты вѣдь сейчасъ идешь домой?

— Нѣтъ, я еще... если ты такъ добра... если Петръ Иванычъ мнѣ позволяетъ... то... я въ магазинъ, ma bonne amie...

— Слушай же, сказала Зинаида Сергѣевна:—если что нужно — деньги — возьми. Миръ, такъ миръ.

Петръ Ивановичъ смотрѣлъ на нее съ недоумѣніемъ. Зинаида Сергѣевна поцѣловалась съ сестрой, проводила ее въ переднюю, дала ей денегъ и воротилась къ мужу.

— Я, Зинаида Сергѣевна, васъ не постигаю...

— Душечка моя, молчи, это—афера! Цѣлуй меня, я дипломатъ! Теперь наша взяла! Дуракъ Скворещенскій за ней пріударяетъ, а теперь, какъ у тебя съ губернаторомъ завязалось—понимаешь?

— Ну-съ?

— Въ Петербургѣ—понимаешь?

— Это легко и безъ того понять-съ! возразилъ Петръ Ивановичъ.—Скворещенскій мнѣ нуженъ, ну, я ѣзжу къ нему, приглашаю его, а сестрица твоя что такое? Она вдругъ, завтра, у меня по-тогдашнему запляшетъ, тогда что-съ?

— Ну, Пьерочка, этого не будетъ. А вотъ тебѣ ленту къ Святой, а Полугину — носъ, вотъ бы слава Богу!

— Что-жъ это, ленту, по протекціи Надежды Сергѣвны? Что-жъ, ваша Надежда Сергѣвна...

— Э, Пьерочка, все годится! И какая протекція? Что ты выдумываешь? вовсе не протекція; просто случай. Почему знать?.. Да мнѣ и жаль ее, Пьерочка. Сестра. Меня это огорчаетъ. Что-жъ, мою сестру всякій будетъ считать...

— Подуруха она, вотъ что-съ, прервалъ Петръ Ивановичъ.

— Подуруха, подтвердила Зинаида Сер-

гѣевна:—но Скворещенскій, дуракъ, ея глазами глядитъ. Если она разозлится на насъ, наболтаетъ, наплететъ—не лучше ли поберечься? И что тебѣ, ну, будетъ она на балѣ...

— Ты ей сколько дала? спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Да всего только въ магазинъ заплатить, Пьерочка, отвѣчала она ласково. — Что-жъ, вѣдь жалко!..

VII.

Надежда Сергѣевна возвратилась домой торжествующая.

— Вообразите, маменька, кричала она, входя въ ея комнату, чего никогда не дѣлала: — эта Зина... но она ангельски добра! У нея балъ завтра; вы слышали?

— Понятія не имѣю, отвѣчала, какъ всегда, кисло Аграфена Петровна.

— Ахъ, да, я вамъ не говорила. Какъ же, балъ. Еще тотъ разъ, какъ я ее видѣла, она меня звала; я отказалась: дорого! Сегодня, захожу ее провѣдать—вообразите, и платье мнѣ заказано, и ужъ готово, чтобъ и отговорокъ не было. Это ангелъ, Зина. Но Петръ Иванычъ—я даже удивлялась — онъ-то и зоветъ, настаиваетъ...

Надежда Сергѣевна сочинила нѣсколько любезностей Петра Ивановича и не повторяла ихъ, чтобъ не сбиться въ показаніяхъ.

Боровицкій, въ своемъ кабинетѣ, слышалъ громкіе разговоры и возню бальныхъ приготовленій и хотѣлъ, по обыкновенію, бѣжать изъ дома, но удержался...

Этими днями, все чаще и чаще приходили къ нему минуты искренней тоски, отъ которой на людяхъ онъ не находилъ облегченія. Изъ пяти вечеровъ онъ провелъ три у Деневскихъ. Оттого ли, что на душѣ было въ самомъ дѣлѣ тяжело, оттого ли, что стѣсняло присутствіе старшихъ хозяевъ, но фразировать попрежнему Боровицкій не могъ и, слѣдовательно, свиданія съ Настасьей Михайловной не доставляли развлеченія. Напротивъ, утомленный видъ дѣвушки, ея молчаніе, пустота и темнота дома, непривѣтное оханье хозяевъ, выжидавшихъ, чтобы гость скорѣе убрался —все наводило на Боровицкаго какое-то отупленіе, тихое, холодное, не усталость, а замираніе; мысль точно засыпала подъ стукъ маятника, раздававшійся въ молчаніи. Боровицкій влюбился бы въ Настасью Михайловну, еслибъ имѣлъ время говорить о любви или еслибъ ея обстановка была не такъ утомительно мрачна, не такъ угрюмо бѣдна, не такъ неизящна. Онъ могъ бы привязаться къ ней сердцемъ, но онъ не умѣлъ такъ привязываться и былъ слишкомъ озабоченъ самъ собою и желаніемъ развеселиться; эта забота и это желаніе отнимали у него всякую мысль о другихъ. Настасья Михайловна тоже нисколько не привязывалась къ нему: сердцемъ было не за что, воображеніемъ она не умѣла; онъ не внушалъ ей ничего, кромѣ простого участія, можетъ быть болѣе сильнаго, нежели внушали другіе, потому что, сравнительно съ другими, Настасья Михайловна считала Боровицкаго не дурнымъ человѣкомъ... Боровицкій провелъ съ ней три вечера, все ожидая, что развлечется. Онъ сидѣлъ подлѣ стола, гдѣ она сидѣла за шитьемъ, при мерцаніи единственной свѣчки; сидѣлъ, потому что сидѣлось, потому что дѣваться некуда, а здѣсь хоть, по крайней мѣрѣ, не свой домъ; перекидывался полусловами, говорилъ о знакомыхъ, въ которыхъ ни она, ни онъ самъ не принимали участія, разсказывалъ еще менѣе для нея занимательныя исторіи столичнаго большого свѣта, прерывался на половинѣ и не доканчивалъ, не замѣчая и самъ, что не кончилъ. На третій вечеръ, увидя на столѣ книгу какого-то журнала, Боровицкій заговорилъ о литературѣ и вызвался прочесть. Ольга Александровна была въ отчаяніи, предположивъ навѣрное, что онъ не уйдетъ до заутрень. Она приходила и уходила, громко считала часы и два раза заглянула въ книгу, много ли осталось страницъ.

— Не довольно ли? сказала она, когда пробило одиннадцать.

Деневскій, считавшій своей обязанностью сидѣть тутъже, когда сидѣлъ гость, охнулъ въ своемъ углѣ. Онъ заснулъ подъ чтеніе и проснулся при наступившемъ молчаніи.

— Я засидѣлся... сказалъ Боровицкій, вообразивъ, по этой отчаянной дремотѣ, что въ самомъ дѣлѣ заутрени и не вѣря своимъ часамъ.

— Засидѣлись-таки, сказалъ съ просонка Деневскій.

Боровицкій уѣхалъ.

На слѣдующее утро къ Деневскимъ пріѣхалъ генералъ.

— Какъ давно я васъ не видала, дорогой мой Иванъ Дмитричъ, сказала Ольга Александровна.

— Да который день не выхожу изъ дома, съ самаго этого обѣда. Объѣлся, матушка. Ну, а муженекъ гдѣ?

— Въ должности. Черезъ силу выѣхалъ.

— Что это онъ расклеился?

— Да, расклеился, отвѣчала Ольга Але-

ксандровна:—всякій день дежуритъ за полночь. Вотъ, хоть вы ей скажите, прибавила она, указавъ на дочь: — къ ней всякій вечеръ повадился Боровицкій. Громомъ не отобьешь. Что за бесѣды, понять не могу.

— Волю дали, маменька, сами на себя пеняйте, отвѣчалъ генералъ, закуривая сигару и покойно усаживаясь напротивъ пялецъ Настасьи Михайловны.

Настасья Михайловна подняла голову отъ своей вѣчной работы и смотрѣла на него. Она сама пугалась чувства, которое внушалъ ей этотъ человѣкъ; это была злость вмѣстѣ съ отвращеніемъ.

— Его, сударыня, ни въ одномъ благородномъ домѣ не принимаютъ, продолжалъ генералъ:—въ клубѣ ему руки не подаютъ.

— Давно ли? спросила Настасья Михайловна, чувствуя сама, что вспыхнула.

— Какъ это, давно ли?

— Я спрашиваю, давно ли, подтвердила она, досадуя, что не можетъ справиться съ своимъ задрожавшимъ голосомъ. — Недѣли нѣтъ, онъ былъ въ собраніи...

— Да вотъ, недѣли нѣтъ, а это есть!

— Но вѣдь вы не выѣзжали, не видали...

— Слышалъ-съ!

— Отъ кого?

— Отъ кого? Вамъ свидѣтелей представлять? Ну, кого хотите, спросите! Малѣева спросите!

— Малѣевъ сплетникъ, равнодушно отвѣчала она.

— Что-о-съ? Ишь, какъ она катаетъ! Сплетникъ? Это благороднаго человѣка, ты, матушка, такъ отдѣлываешь? Въ собраніи, видите, былъ Боровицкій! Да какого чорта онъ дѣлалъ въ собраніи? Съ тобой-то плясалъ? И съ тобой-то плясать какъ ему дозволили! Я, вотъ, при матери говорю, я бы отъ такого плясуна дочь изъ кадрили вонъ, да на замокъ!... И вы тоже, матушка Ольга Александровна, тоже мать называетесь! — вы чего смотрите? Ѣздитъ онъ? Ну, спустили на него цѣпную собаку, вонъ, есть у васъ, въ конурѣ сидитъ...

— А тутъ что? возразила Ольга Александровна, показавъ на дочь:—вы въ мою кожу войдите...

— Я васъ убѣдительно прошу, маменька, не принимать Боровицкаго, прервала Настасья Михайловна, поблѣднѣвъ и очень твердо.

— Это что за самоотверженіе? вскричала Ольга Александровна:—а потомъ будешь жаловаться, что, вотъ, одинъ и былъ человѣкъ, кому было слово сказать, а я его выгнала?

— Я никогда не говорила ничего такого, отвѣчала Настасья Михайловна: — но я не хочу, чтобъ и вы говорили... то, что вы сейчасъ сказали.

Она встала.

— Простите, что я сказала... вѣдь это я въ первый разъ, договорила она, чувствуя, что твердость ее оставляетъ, и отходя къ двери.

— Эхъ, нравъ-то ангельскій! замѣтилъ генералъ: — правду о тебѣ говоритъ Малѣевъ...

— Я знаю все, что онъ говоритъ, вскричала Настасья Михайловна, залившись слезами:—и что я фурія, и что я навязывалась ему на шею... все знаю.

Она убѣжала, не совладѣвъ съ старой дверью, которая стукнула.

— Сударыня, за что же дверями-то намъ подъ носъ, чѣмъ васъ прогнѣвали? сказалъ ей вслѣдъ генералъ. — Э-эхъ!.. Заприте-ка вы ее, маменька, хорошенько, одно спасеніе, заключилъ онъ, прощаясь съ Ольгой Александровной.

Въ это утро Боровицкій слушалъ бѣготню по своему дому, восторги жены при видѣ розоваго платья, посылки по магазинамъ, посылки къ Зинаидѣ Сергѣевнѣ и отъ нея, подумалъ о вчерашнемъ вечерѣ у Деневскихъ, о всей прошедшей недѣлѣ, и рѣшился протестовать. Онъ выразилъ свой протестъ тѣмъ, что вышелъ изъ кабинета въ залу, молча поклонился Аграфенѣ Петровнѣ, которая пила чай, разливаемый нянькой, молча поцѣловалъ Машу, взялъ свой стаканъ, поставилъ его на окно и прихлебывалъ, прохаживаясь. Надежды Сергѣевны не было. Молчаніе нарушалось только стукомъ чашекъ и шипѣніемъ самовара. Аграфена Петровна замѣтила нянькѣ, что въ городѣ сливки дороги.

— И дрянь какая. Да у насъ и въ деревнѣ-то хороши были тоже, нечего сказать! прибавила она, взглянувъ на гуляющаго Боровицкаго.

— У кормилки славныя, сказала Маша.

— Еще бы, папенька твой ей тирольскую корову подарилъ, возразила бабушка:—твоя кормилка богаче меня.

— Маша! сказалъ Боровицкій.

Она подбѣжала къ нему, поцѣловавъ за чай ручку бабушкѣ.

— Хочешь въ деревню, голубка? продолжалъ Боровицкій, гладя ее по головкѣ.

Нянька шепнула что-то Аграфенѣ Петровнѣ.

— Спрашивай сама, возразила та громко.

— Григорій Николаичъ, будете еще чай кушать? спросила нянька.

— Нѣтъ. Поѣдемъ въ деревню, Машурка; вотъ, погоди, скоро бѣжимъ отсюда.

Аграфена Петровна щелкнула ключомъ въ сахарницѣ, положила его въ карманъ и ушла, не обращая ни малѣйшаго вниманія ни на слова Боровицкаго, ни на его особу. Онъ остался одинъ. Маша звала его чѣмъ нибудь заняться, но получила приказаніе идти играть. Боровицкому казалось необходимо удалить дѣвочку, чтобъ она не была свидѣтельницей его встрѣчи съ женою. Но Надежда Сергѣевна не показывалась. Запертая на ключъ дверь ея будуара отворилась всего одинъ разъ; оттуда выглянула горничная, поискала глазами Аграфену Петровну, погруженную въ кресла въ гостиной, и сказала:

— Пожалуйте-съ.

— Зачѣмъ?

— Venez voir ma robe, maman! радостно отозвалась издали Надежда Сергѣевна.

Боровицкій сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ гостиную, но дверь будуара, куда скрылась Аграфена Петровна, защелкнулась опять на ключъ. Боровицкій удержалъ свой кулакъ, которымъ вздумалъ было проломить ее.

— Изъ чего я бѣшусь? сказалъ онъ самъ себѣ. — Меня знать не хотятъ. Чего я добиваюсь? — Опять грубыхъ и глупыхъ сценъ? Ну, кончено между нами, такъ кончено!.. Но что-жъ я такое въ этомъ домѣ? Мебель, которую не замѣчаютъ?.. Надежда Сергѣвна! крикнулъ онъ, стукнувъ въ дверь.

Отвѣта не было.

— Надежда Сергѣвна! повторилъ онъ съ новымъ стукомъ.

— Что вамъ угодно? раздалось оттуда.

— Куда вы сбираетесь?

— На балъ къ моей сестрѣ.

— Я не буду на этомъ балѣ, Надежда Сергѣвна.

— Я это знаю!

— И вы не будете!

Въ будуарѣ раздался смѣхъ.

— Вы не будете, говорю вамъ! нѣтъ!

— А если — да? возразила Надежда Сергѣевна, хохоча и кокетливо.

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!

Боровицкій почувствовалъ, что его схватили за плеча и оглянулся. Передъ нимъ былъ Малѣевъ.

— Играете въ вопросы и отвѣты? Не пускаютъ васъ? сказалъ онъ, смѣясь въ раскраснѣвшееся лицо Боровицкаго.

Боровицкій счастливо одумался въ секунду и не схватилъ его за горло. Надежда Сергѣевна продолжала хохотать.

— Малѣевъ, это вы? спросила она:—подождите, вамъ сейчасъ отворятъ; я переодѣваюсь.

— Жду и нетерпѣливо. Надо кое-что вамъ поразсказать... Что васъ давно не видно, Григорій Николаичъ? были вчера у Деневскихъ?.. Однако, Надежда Сергѣвна, скорѣе! я жду...

— А я васъ попрошу не ждать, сказалъ Боровицкій:—вы очень благоразумно поступите, если сейчасъ уберетесь.

— Что?

— Ничего больше, только. Я считаю ваше присутствіе въ моемъ домѣ совершенно излишнимъ.

— Не угодно ли объяснить...

— Мнѣ угодно, чтобъ васъ сію минуту здѣсь не было. Вы себѣ это сами объясните какой нибудь шуточкой, а раздѣлаемся мы— какъ вамъ угодно.

— Я съ съумасшедшими не связываюсь, отвѣчалъ Малѣевъ.— До свиданія, Надежда Сергѣвна, прибавилъ онъ громко и ушелъ.

Боровицкій ушелъ тоже въ свой кабинетъ, не понимая, какъ, что и на что онъ это сдѣлалъ. Отмѣривъ концовъ двадцать по комнатѣ, раздражаясь ходьбой, онъ убѣдилъ себя, что такъ было должно и должно довершить. Сердце у него еще закипѣло; онъ вышелъ въ переднюю.

— Когда придетъ господинъ Малѣевъ, не принимать, приказывалъ онъ: — а если сунется полковникъ Скворещенскій...

Случился эфектъ театральный: Скворещенскій позвонилъ въ эту минуту, и Боровицкій еще не договорилъ его имени, какъ былъ уже съ нимъ лицомъ къ лицу.

— Наконецъ-то встрѣтились! заговорилъ дружелюбно Скворещенскій:—васъ никогда не застанешь; то дома нѣтъ, то за дѣломъ...

Боровицкому показалось неловко выгнать его при лакеяхъ; въ залѣ, куда тотчасъ прошелъ гость, это показалось еще неловчѣе.

— Что вы? хандрите? больны? спрашивалъ Скворещенскій.

— Голова болитъ, отвѣчалъ Боровицкій.

— Принимаетъ Надежда Сергѣвна?

Боровицкій махнулъ рукой въ гостиную и скрылся въ свой кабинетъ.

— О, все вздоръ, все вздоръ, все невозможно, и я дуракъ набитый! закричалъ онъ.

Вдали, въ гостиной, въ будуарѣ, смѣялись. За Скворещенскимъ пріѣхала безобразная дѣвица, сдѣлавшаяся пріятельницей Надежды Сергѣевны съ знаменитаго бала. Зве-

нѣли чашками, чѣмъ-то угощались. Надежда Сергѣевна устроивала un petit déjeuner intime improvisé.

— Я напишу ей, сказалъ Боровицкій:— я все выскажу. На бумагѣ это удобнѣе: можно обдумать.

Онъ сѣлъ писать, измаралъ много бумаги, переносилъ параграфы съ одного листка на другой, вписывалъ, переписывалъ, составлялъ. Сердечная забота сдѣлалась умственной работой. Конечно, и сердце не было совсѣмъ безучастно, но, бросая перо и прохаживаясь, Боровицкій уже меньше ломалъ свои пальцы и больше обдумывалъ свои фразы.

— Когда отдать ей это? спросилъ онъ себя... Отнести къ ней въ комнату, пока она будетъ на балѣ... Счастливая мысль!

Вслѣдствіе этой мысли, онъ опять сѣлъ и продолжалъ писать:

«Пишу ночью. Между тѣмъ, какъ вы забываете вашъ долгъ, я брожу въ пустотѣ моего дома и наклоняюсь надъ постелью моего ребенка...»

Боровицкій остановился, не потому что писалъ чего не было, но имя Маши какъ-то искренно больно его затронуло. Все писанье полетѣло, скомканное, со стола долой. Чрезъ полчаса, оно было подобрано и опять переписывалось и продолжалось. Боровицкій писалъ и развлекался. Усталый, онъ бросилъ еще разъ перо, сказавъ себѣ, что позднѣе докончитъ, взялъ какой-то французскій романъ, подумалъ, что это хорошее успокоительное, легъ, сталъ читать и заснулъ.

Когда онъ проснулся, было ужъ темно, часы били восемь и въ домѣ шла суматоха туалета Надежды Сергѣевны. Боровицкій заглянулъ въ залу; тамъ не было огня, но въ освѣщенной гостиной расхаживала Аграфена Петровна, нарядная и въ чепцѣ съ маргаритками.

— Я въ полной увѣренности, переговаривалась она съ Надеждой Сергѣевной, занятой въ будуарѣ:—что сдѣлаю имъ самый пріятный сюрпризъ. Зинаида Сергѣвна мнѣ дочь. Не зовутъ меня—я и сама могу поѣхать... Что такое?.. Ну, да, ну, вотъ, вздумала и поѣхала. Кромѣ моего расположенія, этимъ ничто не доказывается. Я не набиваюсь, я захотѣла—и поѣхала. Погляжу, конфектъ поѣмъ... Что?.. Ты меня, сдѣлай милость, ни въ чемъ не увѣряй; не отдаляй меня отъ этого семейства... Что еще?.. И ужинъ будетъ, и поужинаю...

— Желаю вамъ хорошаго апетита, сказалъ Боровицкій въ дверяхъ.

Аграфена Петровна вскрикнула съ испуга; Боровицкій былъ ужъ въ передней, накинулъ шубу и ушелъ къ Деневскимъ.

Ихъ двери были заперты, но Боровицкій достучался. Сонный. казачокъ бросился ему навстрѣчу въ какомъ-то ужасѣ и объявилъ, что принимать не приказано, что всѣ спать легли. Заставивъ повторить это нѣсколько разъ, Боровицкій пошелъ бродить по улицамъ и бродилъ долго. Изъ оконъ Черемышевыхъ потянулись огни, экипажи сбирались къ подъѣзду. Боровицкій увидѣлъ, какъ подъѣхала и тяжело вылѣзла изъ кареты Аграфена Петровна, какъ выскочила за нею его жена и вспорхнула на крыльцо, помахивая головкой и сверкая у фонарей своимъ золотымъ уборомъ.

— И на морозѣ кокетничаетъ... чортъ знаетъ что! сказалъ про себя Боровицкій.

Уставъ и озябнувъ, онъ очень почувствовалъ, что не обѣдалъ, и зашелъ въ клубъ спросить поужинать. Тамъ было пусто и довольно темно; большая зала была даже заперта, только въ библіотекѣ читали два учителя, да въ бильярдной забавлялось нѣсколько чиновниковъ изъ самыхъ мелкихъ и офицеровъ изъ непрезентабельныхъ. Весь губернскій beau-monde веселился у предводителя. Это привело Боровицкаго въ негодованіе; онъ завелъ бы ссору, еслибъ было съ кѣмъ, но въ клубѣ не было и дежурнаго старшины: и тотъ пировалъ у Черемышева.

— Миленькіе порядки! говорилъ Боровицкій, съѣдая котлетку, на углу стола въ буфетѣ, предъ низенькой свѣчкой. — Что-жъ, обратился онъ къ полицейскому, который все-таки тамъ присутствовалъ:—если бояре не изволятъ быть, такъ ужъ другіе и не общество? Я васъ спрашиваю: я не общество? господа офицеры не общество? Мы заплатили тѣ же подписныя деньги, а намъ свѣчки нѣтъ! спросимъ поѣсть — насъ кормятъ вчерашней подошвой!..

Его негодованію, можетъ быть, и сочувствовали, но вслухъ никто не выразилъ своего сочувствія; когда онъ ушелъ, ему вслѣдъ даже засмѣялись. Дома Боровицкій принялся опять за свое письмо къ женѣ, дописалъ его наскоро и отнесъ въ ея будуаръ. У него мелькнуло желаніе присѣсть здѣсь и приписать еще — такъ возмутилъ и вдохновилъ его вздорный безпорядокъ комнаты. На полу валялось сброшенное платье, бальныя перчатки, ленты, туфли, чулки, полотенца; на готическомъ стулѣ стоялъ рукомойникъ; на такъ-называемомъ письменномъ столѣ были разсыпаны булавки, раскиданы смятые цвѣ-

ты, гребни, щетки, мыло, ящички, коробочки, склянки духовъ и разныхъ vinaigre; шарикъ изъ лебяжьяго пуха, весь пропитанный пудрой, подкатился Боровицкому подъ руку и возбудилъ въ немъ такое отвращеніе, что онъ кинулъ о полъ этотъ невинный предметъ и наступилъ на него каблукомъ. Еще съ большей злобой схватилъ онъ листокъ румянъ и изорвалъ его въ мелкіе клочки. Не написать чего нибудь въ такую минуту было невозможно, но стальныя перья, закатившіяся по столу, были всѣ переломаны, а въ чернильницѣ не было чернилъ.

— Все равно, она пойметъ, каково мнѣ было здѣсь, сказалъ Боровицкій, выбравъ, наконецъ, какъ замѣтнѣе положить свое письмо.

Онъ заснулъ поздно, но спокойно, какъ человѣкъ, исполнившій свой долгъ и убаюканный чтеніемъ романа. Онъ слышалъ сквозь сонъ возвращеніе жены и сквозь сонъ сообразилъ, что не тотчасъ же она примется за письмо; онъ разсчитывалъ, что это будетъ по утру, что она встанетъ поздно, что онъ самъ къ тому времени успѣетъ отдохнуть и собраться съ силами, встать въ пору, переговорить съ Машей...

Но его подняли рано, его даже растолкали; камердинеръ стоялъ надъ нимъ, повторяя:

— За вами прислали отъ губернатора.

Наканунѣ, послѣ многихъ переговоровъ, Черемышевы, наконецъ, рѣшили, какъ имъ поступить съ губернаторомъ. Не позвать его на свой балъ казалось неловко: губернаторъ былъ на обѣдѣ въ честь Черемышева.

— А я не хочу видѣть его въ моемъ домѣ-съ, твердилъ Петръ Ивановичъ.

— Погоди, Пьерочка, говорила Зинаида Сергѣевна.

Она придумывала, колебалась, не рѣшалась, наконецъ, сдѣлала—и обдуманно, какъ обиду, и необдуманно, потому что надо же было, наконецъ, чѣмъ нибудь кончить: разославъ всему городу приглашенія за три дня, Зинаида Сергѣевна отправила приглашеніе Полугинымъ тогда, когда въ ея залѣ начинали уже зажигать люстру.

— Ну, вотъ, Пьерочка, и сдѣлано, сказала Зинаида Сергѣевна:—если обидятся, можно сказать, что посланный лакей перепуталъ. А пріѣхать—не пріѣдутъ: Аделаида не успѣетъ собраться.

Аделаида Васильевна Полугина, женщина кроткая, начала было сбираться и очень горевала, что туалетъ не ладится, но самъ Василій Васильевичъ пришелъ въ неописанный, хотя прекрасно скрытый гнѣвъ, не возвышая голоса, на французскомъ языкѣ, ради присутствія горничной, назвалъ жену дурой и приказалъ прекратить сборы. Затѣмъ, онъ сейчасъ же ушелъ въ свой кабинетъ и потребовалъ правителя своей канцеляріи. Этотъ молодой человѣкъ сбирался на балъ къ Черемышевымъ; онъ былъ изъ не танцующихъ, но любилъ поиграть и поужинать, а потому очень неохотно перемѣнилъ на форменный свой бальный фракъ, не велѣвъ, впрочемъ, убирать его, въ надеждѣ, что его превосходительство скоро отпуститъ. Но его превосходительство былъ расположенъ къ ночной работѣ, что съ нимъ случалось рѣдко, и—чего съ нимъ никогда не бывало—спросилъ о дѣлахъ по жалобамъ на помѣщичьи злоупотребленія. Этого добра было довольно, но правитель канцеляріи былъ неприготовленъ, перезабывалъ, путалъ; его превосходительство, напротивъ, обнаружилъ рѣдкую память. Онъ приказалъ принести всѣ просьбы, поданныя на его имя и до сихъ поръ неимѣвшія движенія, послалъ за связками дѣлъ въ канцелярію—и на балѣ ужъ давно поужинали, когда онъ отпустилъ своего правителя, съ тѣмъ, чтобы къ девяти часамъ утра были представлены еще другія связки дѣлъ въ такомъ же родѣ изъ губернскаго правленія.

Правитель канцеляріи не опоздалъ, но его превосходительство уже дожидался. Онъ уже занимался у своего громаднаго письменнаго стола, серьезный, блѣдно-желтый и сердитый, какъ человѣкъ, который не выспался. На разбросанныхъ кругомъ просьбахъ были уже сдѣланы его рукою отмѣтки, и правитель канцеляріи издали разбиралъ четкое немедленно, начертанное твердымъ и толстымъ карандашомъ. Одна просьба была отложена особенно, даже съ загнутымъ угломъ; на ней та же рука и тотъ же карандашъ изобразили и подчеркнули вопіющее!!! съ тремя восклицательными знаками.

— Вотъ, такія-то вещи остаются у васъ по три недѣли подъ сукномъ! вскричалъ губернаторъ, вмѣсто утренняго привѣтствія подчиненному, указывая на отложенный листъ:—я понятія не имѣлъ объ этой жалобѣ!

Правитель канцеляріи могъ бы возразить, что три недѣли назадъ, самъ его превосходительство отдалъ ему эту бумагу, промолвивъ только: «возьмите»—но удержался. Его превосходительство, между тѣмъ, восклицалъ, что это вопіющее дѣло, что онъ не хочетъ думать, чтобы правитель его канце

ляріи, лицо, пользующееся его довѣріемъ, имѣлъ какія нибудь причины нарочно отвлекать отъ этого дѣла его вниманіе; но что это нерадѣніе, непростительное нерадѣніе. Его превосходительство выразилъ мысль, что онъ не Богъ, всего знать не можетъ, и опасеніе, что въ три недѣли мало ли что можно скрыть и—концы въ воду! Онъ сильно прохаживался по кабинету, говоря все это.

— Назначить слѣдствіе! сказалъ онъ, остановясь и указывая на бумагу.

Правитель канцеляріи нагнулся взглянуть на нее.

— Кореваевское дѣло... вопіющее! повторилъ губернаторъ: — я не могу слышать имени этого Кореваева!

Дѣло было, и въ тогдашнее время, не совсѣмъ обыкновенное: мужикъ былъ избитъ до смерти; дѣвушка, дочь его, бѣжала; жену помѣщикъ морилъ въ подвалѣ на хлѣбѣ и на водѣ. Во всемъ селеніи былъ незапуганъ одинъ попъ, который и написалъ просьбу этой женщинѣ... Правитель канцеляріи могъ бы сказать на это только, что дней десять назадъ, помѣщикъ Кореваевъ былъ въ N* и въ клубѣ игралъ въ карты съ его превосходительствомъ.

— Кто изъ чиновниковъ особыхъ порученій въ настоящее время въ городѣ? спросилъ губернаторъ, прохаживаясь.

Правитель канцеляріи назвалъ; его превосходительство отвернулся съ неудовольствіемъ и зашагалъ снова.

— А Боровицкій? сказалъ онъ.

— И онъ въ городѣ.

— Что жъ вы о немъ молчите?

— Я думалъ... онъ мало знаетъ дѣло, возразилъ чиновникъ.

— То есть, онъ ничего не дѣлаетъ! Пошлите за нимъ сейчасъ.

И вслѣдствіе этого покойный сонъ Боровицкаго былъ потревоженъ ранѣе десяти часовъ; впрочемъ пріемъ, сдѣланный губернаторомъ, могъ разогнать всякую дремоту.

— Я убѣждаюсь, господинъ Боровицкій, началъ онъ, когда тотъ явился передъ нимъ: — что вы считаете службу только за пріятное провожденіе времени и забываете обязанность, которую она налагаетъ на каждаго благонадежнаго чиновника. Мнѣ очень непріятно повторить вамъ... замѣтьте: повторить!!.. что вы не занимаетесь вашей службой.

— Я никогда не забывалъ моихъ обязанностей, прервалъ Боровицкій, удивленный и обиженный.

— Я васъ попрошу прежде меня выслушать, строго возразилъ губернаторъ. — Я не терплю бѣлоручекъ. Вы — молодой человѣкъ не безъ способностей; такъ если хотите служить, такъ служите.

— Ваше превосходительство сегодня же получите мою просьбу объ отставкѣ.

— Въ которой я вамъ откажу. Чиновникъ, состоящій на государственной службѣ, не имѣетъ права капризничать, а начальнику не разсчетъ лишать себя способныхъ людей. Напротивъ, я хочу дать вамъ случай поправиться. Черезъ часъ вы получите предписаніе, а черезъ два извольте отправиться въ имѣніе помѣщика Кореваева. Я пошлю предписаніе мѣстному исправнику. Дѣло серьезное. Изслѣдуйте его безъ пристрастія, со всевозможной строгостью. Малѣйшее упущеніе сочтется вамъ въ вину, помните. Я надѣюсь на васъ, господинъ Боровицкій; мнѣ будетъ столько же, сколько и вамъ самимъ, пріятно, если вы отличитесь. Можете идти.

Губернаторъ подалъ Боровицкому руку.

«Ты тамъ завязнешь»... думалъ, глядя на это правитель канцеляріи, сообразившій вмигъ, что предводительскій родственникъ будетъ первой жертвой ссоры съ предводителемъ.

Боровицкій вышелъ; ко всему хаосу, который былъ въ его головѣ, недоставало еще кореваевскаго дѣла.

— Что это за дѣло? гдѣ я слышалъ о Кореваевѣ? спрашивалъ онъ себя.

Но долго раздумывать было некогда. Воротясь домой и спросивъ уложить свой чемоданъ, Боровицкій узналъ, что жена еще не просыпалась. Къ нему прибѣжала Маша.

— Прощай, дѣвочка, говорилъ онъ, укладываясь: — я оставляю тебя одну; смотри, будь осторожна.

— Скоро пріѣдешь, папа?

— Не знаю.

Онъ оглядывался, чтобъ чего нибудь не забыть, задумывался, разбирая и откидывая бумаги, съ непривычки не зная за что взяться. Ему принесли предписаніе, открытый листъ и подорожную. Онъ послалъ за лошадьми, переодѣлся и вышелъ въ залу.

— Узнай, можно ли видѣть твою мать, сказалъ онъ Машѣ.

Въ домѣ, казалось, никому не было дѣла, что хозяинъ уѣзжаетъ. Его не думали и покормить на дорогу; въ залѣ не было ни самовара, ни няньки. Боровицкій долго ходилъ одинъ. Заслыша вдали стукъ двери, онъ посмотрѣлся въ зеркало, обтянулъ свое пальто и, драпируясь, закинулъ за спину одинъ ко-

нецъ своего синяго шарфа. Но Надежда Сергѣевна не являлась. Воротилась Маша.

— Всѣ спятъ, папа, устали, пріѣхали въ четыре часа; не велѣно шумѣть.

— Но скоро двѣнадцать! вскричалъ Боровицкій и устремился по корридору.

Не внимая грознымъ «почиваютъ» и «не приказано», которые посылала ему вслѣдъ Наталья, Боровицкій отворилъ дверь къ женѣ. Спальня слабо освѣщалась лампадой и Боровицкій не съ разу оглядѣлся.

— Надя! спросилъ онъ громко.

— Боже мой, что вамъ нужно? отозвалась Надежда Сергѣевна, уже не почивавшая, но находившаяся въ сладкой дремотѣ и сочиненіи сказокъ.

— Надя, я уѣзжаю и пришелъ проститься.

— Что это? вскричала она: — вы чѣмъ-свѣтъ являетесь дѣлать мнѣ сцены!

— Во-первыхъ, не чѣмъ-свѣтъ, во-вторыхъ... ты знаешь, сцены, выходки, фразы не въ моемъ характерѣ. Я командированъ по очень важному дѣлу; мнѣ нѣтъ времени съ тобой объясняться. Я тебѣ написалъ, ты прочтешь. Умоляю тебя обдумать все, что я тамъ высказалъ. Я готовъ простить, но я хочу видѣть раскаяніе. Дай мнѣ руку, прощай! Я обниму тебя только тогда, когда ты мнѣ докажешь... Прощай!

Онъ былъ убѣжденъ, что не договорилъ отъ полноты чувства, и вышелъ шумно, какъ вошелъ. У подъѣзда были готовы лошади.

— Прощай, Маша, сказалъ Боровицкій, цѣлуя ее.

Онъ заперъ свой кабинетъ, положилъ ключъ въ карманъ, накинулъ шубу и бросился въ сани. Въ головѣ у него какъ бы мелькнуло, что это «русская тройка, перекладная»...

VIII.

Надежда Сергѣевна собрала у себя интимный вечеръ въ этотъ день; были—ея пріятельница, Скворещенскій, Малѣевъ, еще двое молодыхъ людей. Посмѣялись надъ уѣхавшимъ супругомъ: Малѣевъ самъ разсказалъ, что произошло между ними, обратилъ все въ милую шутку и съ тѣхъ поръ продолжалъ бывать у Надежды Сергѣевны. Ея присутствіе на балѣ у сестры-предводительши убѣдило N-ское общество, что бывать у нея можно и должно: всѣ заплатили ей визиты. Съ недѣлю она кружилась въ свѣтѣ, гдѣ-то еще танцовала, каталась за городъ въ саняхъ, въ большой компаніи; отдыхала на станціи, куда кавалеры распорядились заранѣе прислать завтракъ и шампанское. Аграфенѣ Петровнѣ выслали немножго оброка изъ Лоскутовщины и Надежда Сергѣевна сшила себѣ два платья.

Въ городѣ, между прочимъ, росли толки и волненія. Дѣлая визиты дамамъ, бывшимъ у нея на балѣ, Зинаида Сергѣевна, натурально, не поѣхала къ губернаторшѣ: вѣдь губернаторша не была у нея на балѣ. По мнѣнію Зинаиды Сергѣевны, губернаторша должна бы сама пріѣхать и объяснить, почему не была. По мнѣнію губернаторши (т. е. ея мужа), должна бы пріѣхать Зинаида Сергѣевна и объяснить, почему такъ неучтиво-поздно пришло ея приглашеніе. Во взаимномъ ожиданіи визита, эти дамы не видались. Полугина, вразумленная мужемъ, догадалась, что ее обидѣли, и бранила Зинаиду Сергѣевну «гордой и непріятной особой». Зинаида Сергѣевна менѣе стѣснялась въ выраженіяхъ и громко объявляла свою радость, что «Богъ ее избавилъ отъ сухопарой губернаторши». Пока переплетались дамы, толковали и мужчины, только злобнѣе и таинственнѣе. Всѣ стоявшіе за предводителя встрепенулись, узнавъ, что по дѣлу помѣщика Кореваева назначено слѣдствіе. Юный Гравинъ, имѣвшій случай прочесть предписаніе, данное Боровицкому, разсказывалъ, что оно написано въ строжайшемъ тонѣ, что поблажки или просмотра сквозь пальцы ужъ никакъ быть не можетъ, если Боровицкій хоть мало думаетъ о себѣ; что такое предписаніе отправлено и къ исправнику, и вдобавокъ съ выговоромъ, какъ онъ раньше не донесъ о такихъ обстоятельствахъ. Депутатъ дворянскаго собранія, человѣкъ особенно преданный Черемышеву и любившій потормошиться, привезъ ему эти извѣстія.

Если бы Боровицкій обращалъ вниманіе на что нибудь изъ того, что при немъ иногда говорилось, онъ припомнилъ бы, что Кореваевъ былъ душою партіи, доставившей предводительство Черемышеву. Кореваевскіе обѣды, музыка, жжонка, кореваевскія поѣздки къ дворянамъ по деревнямъ, визиты въ городѣ, любезности съ дамами-помѣщицами, поручавшими ему свои шары, уговариваніе недовольныхъ, запугиваніе робкихъ, кореваевскіе неистовые крики на выборахъ—восторжествовали и оттѣснили другого кандидата въ губернскіе предводители, при которомъ помѣщику Кореваеву неминуемо грозила опека, если не худшее. Но Кореваевъ зналъ благодушіе Петра Ивановича, а потому такъ и старался, и старанія его не пропали даромъ. Почти годъ, какъ предводи-

тельствовалъ Петръ Ивановичъ, и ничто не омрачило барскаго житья Кореваева, а «дружескія отношенія» предводителя съ губернаторомъ обѣщали, что это спокойствіе продолжится вѣчно. Но дружескія отношенія вдругъ порвались; надъ Кореваевымъ разражалась бѣда, а предводителю предстояли «непріятности» въ лицѣ дворянина, такъ явно ему преданнаго и такъ явно пользовавшагося его покровительствомъ. При самомъ легкомъ взглядѣ на дѣло, это покровительство могло назваться потворствомъ. Но такъ разсуждаютъ теперь, а тогда въ глазахъ чуть ли не цѣлаго свѣта это потворство казалось отстаиваньемъ законныхъ правъ, достойнымъ уваженія, и защитникъ не лишался этого уваженія даже тогда, когда виноватый, наконецъ, попадался. Напротивъ, даже самъ признавая вины виноватаго, защитникъ вмѣнялъ себѣ въ личное оскорбленіе, что эти вины обнаружены. Тотъ, кто ихъ обнаруживалъ, считался врагомъ. Впрочемъ, онъ почти всегда и былъ врагъ.

Петръ Ивановичъ съ величавымъ хладнокровіемъ выслушивалъ толки своихъ друзей.

— Это вздоръ-съ, рѣшилъ онъ,—на такія вещи противъ меня онъ не осмѣлится.

Онъ, то есть Полугинъ. Но замѣчательно, что Петръ Ивановичъ говорилъ уже противъ меня, хотя дѣло шло только о Кореваевѣ.

— И потомъ-съ кого же онъ послалъ? Исправникъ — лицо, избранное дворянствомъ: Кореваевъ самъ ему горсть шаровъ всыпалъ. А чиновникъ особыхъ порученій— Боровицкій!!

— Конечно, Григорій Николаичъ Боровицкій вамъ родственникъ... неловко замѣтилъ депутатъ.

— Не то, что родственникъ, а дуракъ-съ. Ну, пусть попробуетъ, полѣзетъ; посмотримъ, что сдѣлаетъ.

Впрочемъ, съ вида исполненный такого достоинства, внутренно Петръ Ивановичъ былъ встревоженъ. Тревога росла съ каждымъ днемъ. Къ предводителю безпрестанно наѣзжали дворяне, опасались, совѣщались. Провѣдали, что Полугинъ готовится поднять еще нѣсколько дѣлъ, подобныхъ корезаевскому. Съ своей стороны, предводитель шевельнулъ вопросы о какихъ-то суммахъ, о какомъ-то незаконно-наложенномъ запрещеніи на одно дворянское имѣніе. Дѣло загоралось. Полугинъ сказался больнымъ и былъ невидимъ, но, однако, не сдавалъ должности, и Гравинъ, неизвѣстно почему пріобрѣтавшій все больше и больше важности, разсказывалъ, что его превосходительство занимается дѣлами всѣ ночи. Въ эти ночи была рѣшена участь его пріятелей, восемнадцати юношей, шумѣвшихъ на предводительскомъ обѣдѣ: служившіе въ губернскомъ правленіи и въ канцеляріи его превосходительства были изгнаны—кто за дурной почеркъ, кто за незнаніе ороографіи, кто за лакированные сапоги; юноши другихъ вѣдомствъ слетѣли по внушенію, сдѣланному словесно ихъ непосредственнымъ начальникамъ, которые не попробовали защищать такой дешевый народъ отъ гнѣва его превосходительства.

Боровицкій едва доѣхалъ до мѣста своего назначенія, какъ ему съ нарочнымъ ужъ было прислано подтвержденіе «немедленно приступить къ дѣлу и о послѣдующемъ въ скорѣйшемъ времени донести». Онъ отвѣчалъ жалобой, что не можетъ добиться исправника. Исправнику былъ посланъ второй выговоръ.

Все это въ мигъ дѣлалось извѣстно партіи предводителя и начало составлять главный предметъ разговора въ гостиной Зинаиды Сергѣевны. Тамъ обсуждалось кореваевское дѣло и, кстати, чепцы и наряды m-me Полугиной и ея домашнія исторіи съ ея мужемъ. Сплетень поднялось неисчислимо, мелкихъ, личныхъ ссоръ — безконечно; на всѣхъ началъ находить духъ ссоры и придирки. Наступило 6-е декабря; Черемышевъ поздравилъ губернатора офиціально, но на обѣдъ не поѣхалъ, о чемъ Полугинъ въ тотъ же вечеръ написалъ въ Петербургъ. На балѣ въ этотъ вечеръ, въ собраніи, Черемышевъ и его жена даже не кланялись съ Полугиными, зная, что и куда написано. На городъ напалъ страхъ. За новое донесеніе Боровицкаго, исправникъ, и послѣ выговора не явившійся дѣлать слѣдствіе, былъ отрѣшенъ отъ должности. На его мѣсто Полугинъ послалъ «своего», какъ выразились приверженцы предводителя. Все вознегодовало. Смѣненный исправникъ пріѣхалъ въ N* для личнаго объясненія: оно вышло такое жаркое, что просители, ожидавшіе въ пріемной его превосходительства, трепетали и желали оглохнуть, чтобъ имѣть предлогъ отречься, если ихъ позовутъ въ свидѣтели. Оказывалось, что исправникъ только наканунѣ своего увольненія получилъ первое предписаніе, неизвѣстно гдѣ гулявшее по почтовымъ станціямъ, и вовсе не получалъ второго. Губернаторъ, конечно, не возвратилъ ему должности, но назначилъ слѣдствіе

на почтѣ. Черезъ нѣсколько дней, по городу разсказывали, что предписаніе скрылъ мелкій почтовый чиновникъ, подученный или подкупленный предводительской партіей. Это ничѣмъ не было доказано, и во всякомъ случаѣ, виноватый могъ быть только одинъ, но съ мѣстъ полетѣли трое и, замѣчательно, всѣ трое вкусившіе предводительскаго обѣда: почтмейстеръ былъ въ злобѣ на предводителя, вслѣдствіе ссоры своей жены съ предводительшей за наколку. Черемышевы были внѣ себя; Зинаида Сергѣевна встрѣтилась съ почтмейстершей въ одномъ постороннемъ домѣ и еще разъ съ ней перебранилась. Почтмейстеръ отомстилъ; заподозрилъ, вскрылъ письмо Зинаиды Сергѣевны въ одинъ изъ петербургскихъ модныхъ магазиновъ и потребовалъ штрафа: въ письмѣ былъ лоскутокъ ленты, образчикъ. Зинаида Сергѣевна кричала на весь городъ о такомъ оскорбленіи и объявляла прямо, что почтмейстеръ распечатываетъ и читаетъ всѣ письма безъ исключенія, что онъ шпіонитъ для Полугина, и что вотъ откуда Аделаида знаетъ всѣ новости.

— Vous ne m'écrirez jamais, сказала Надежда Сергѣевна, задумчиво облокотясь на столикъ и вдругъ поднявъ глаза на Скворещенскаго, который, какъ ей показалось, ужъ слишкомъ долго въ этотъ вечеръ разсказывалъ объ N-скихъ сплетняхъ.

— Jamais?.. Почему же? спросилъ онъ.

— Не надо. Я должна беречься. Я жена, я мать... О, эти злые языки, о, эти провинціальные толки!.. Не надо. И къ чему обманывать себя мечтою, перепиской? Вы уѣдете, и счастью конецъ.

— Оно еще не начиналось... прошепталъ Скворещенскій.

— Какъ? для васъ мало, что я передъ вами, что я слушаю васъ? Въ самомъ дѣлѣ, мало? Неблагодарный!.. А я... мнѣ довольно, вотъ послѣ такого долгаго и свѣтлаго вечера, мнѣ довольно унести въ памяти одно слово, одинъ взглядъ... Allons, je suis folle! partez! вдругъ заключила она, вставъ и припоминая, что есть романы, гдѣ героини, вдругъ, ни съ того ни съ сего, выгоняютъ своихъ Артюровъ.

— Я не уйду, не поцѣловавъ...

— Моей руки, прервала Надежда Сергѣевна съ необыкновеннымъ величіемъ; но едва влюбленный прикоснулся къ ней губами, она отняла ее и драматически убѣжала.

Надежда Сергѣевна не могла пожаловаться, что скучно проводитъ почти двѣ недѣли съ отъѣзда мужа. Она даже не могла бы рѣшить, гдѣ ей пріятнѣе, въ свѣтѣ или дома «долгими и свѣтлыми вечерами» глазъ на глазъ съ Скворещенскимъ. Онъ не пропустилъ ни одного вечера; едва онъ пріѣзжалъ, Аграфена Петровна запиралась въ своей комнатѣ, Машѣ было запрещено входить, посторонній не мѣшалъ этимъ свиданіямъ. Малѣевъ подвернулся разъ, но скоро ушелъ. Надежда Сергѣевна, сама не зная для чего, вздумала было уговаривать его остаться и, игриво вырывая у него шляпу, добѣжала за нимъ до передней.

— Помилуйте, на что вамъ меня, сказалъ онъ добродушнѣйшимъ тономъ:—вѣдь я не дуракъ, лишнимъ быть не хочу.

Онъ кивнулъ головой на будуаръ, гдѣ они оставили одинокаго Скворещенскаго.

Надежда Сергѣевна несказанно обрадовалась, что за ней признавали поклонника, и расхохоталась.

— О, вы славный человѣкъ! сказала она, давая ему руку:—приходите же завтра утромъ.

Малѣевъ отъ нея отправился къ своему другу, генералу Осминникову, и развлекалъ его разсказомъ о влюбленномъ полковникѣ.

— А барыня тѣмъ хороша, прибавилъ онъ: — говори ей, что хочешь, ничѣмъ не обижается.

Весь городъ зналъ, что Скворещенскій ухаживаетъ за Надеждой Сергѣевной, и еслибъ это былъ не Скворещенскій, и если бы Надежда Сергѣевна на балѣ 6-го декабря не имѣла на себѣ брилліантовой брошки и серегъ своей сестры-предводительши, городъ N* не посмотрѣлъ бы на Надежду Сергѣевну такъ снисходительно. Теперь же, напротивъ, это придавало ей какой-то вѣсъ; ее или не судили вовсе, или будто конфузились судить.

— Удивительно только, замѣчали нѣкоторыя дамы: — что нашелъ въ ней особеннаго Скворещенскій, человѣкъ, который ужъ, кажется, бывалъ въ обществѣ, видалъ...

— Судьба!

— Страсть! Страсть не разбираетъ.

— Но нѣтъ, она миленькая, вступались тѣ, которые сами бы рады не отказаться отъ увлеченій.

— И, кажется, несовсѣмъ счастлива съ мужемъ...

— Oh, malheur-r-reuse!!! воскликнула пріятельница дѣвица, которой дружба Надежды Сергѣевны и Скворещенскаго доставляла кавалеровъ на балахъ и замѣтность въ обществѣ:—une femme si supérieure.

— Ужъ вы supérieure-то не очень пускайте въ ходъ, замѣтилъ ей Малѣевъ: — ограничьтесь семейнымъ несчастіемъ.

Семейное несчастіе Надежды Сергѣевны стало занимать дамъ. M-me Полугина, до которой дошли толки, припомнила съ свойственной ей сообразительностью, что однажды Надежда Сергѣевна пріѣзжала къ ней вся расплаканная. Этого положительно не было, но m-me Полугина была въ этомъ положительно увѣрена.

— Мнѣ очень жаль, говорила своему обществу эта кроткая дама:—что Боровицкая давно у меня не была. Съ предводителемъ у моего Василья Васильевича непріятности, Зинаида Сергѣвна косится, а Боровицкую мнѣ такъ жаль.

Она сама поѣхала къ Боровицкой. Визитъ пришелся очень не кстати: тамъ была вся дружеская компанія въ полномъ сборѣ. Надежда Сергѣевна вызвала всѣхъ въ гостиную, но Малѣевъ прятался въ будуарѣ и, когда уѣхала губернаторша, принялся ее передразнивать. Для большаго сходства, онъ сбѣгалъ въ дѣвичью, вытребовалъ у Натальи шляпку и мантилью Надежды Сергѣевны, нарядился и ломался, пока не усталъ. Аграфена Петровна, оставившая свою комнату для свиданія съ губернаторшей, чрезвычайно забавлялась этой комедіей и не ушла къ себѣ, даже когда всѣ разъѣхались, кромѣ Скворещенскаго.

— Вы больше не надѣнете этой шляпки, сказалъ онъ Надеждѣ Сергѣевнѣ тихо, но такъ неосторожно, что вслушалась маменька.

— Да и мантилью тоже, я думаю, прибавила Аграфена Петровна, дѣлаясь кисла по своему обыкновенію: — волочили ее тутъ, какъ попало.

— Ma chère maman подаритъ мнѣ новенькую, сказала дѣтски нѣжно Надежда Сергѣевна, цѣлуя ее, сама не зная зачѣмъ, и рисуясь.

— Изъ какихъ доходовъ? возразила непріятно Аграфена Петровна: еслибъ было у меня, конечно бы... Мое вѣдь первое удовольствіе было ихъ наряжать; я не скупая мать была. Да и скупиться грѣхъ, когда дочери красавицы.

Надежда Сергѣевна была и удивлена, и очень довольна, что вотъ, наконецъ, и мать убѣдилась въ ея красотѣ и еще нѣсколько разъ ее поцѣловала, игриво и нѣжно, смѣясь какъ ребенокъ и немножко притворяясь разстроганной. Еще къ большему ея удивленію, мать отвѣчала поцѣлуемъ.

На эту сцену заѣхала еще какая-то дама. Скворещенскій простился, Аграфена Петровна удалилась къ себѣ, оставя дочь съ гостьей, но еще не успѣла усѣсться въ свое кресло подъ окномъ, какъ на порогѣ ея комнаты явился Скворещенскій. Для почтенной дамы это было столько же неожиданно, сколько пріятно.

— Я съ величайшей просьбой, заговорилъ разстроенный полковникъ: — не откажите мнѣ, Бога ради, не разсердитесь...

Онъ схватилъ и цѣловалъ руки, которыя за нѣсколько минутъ цѣловала Надежда Сергѣевна; это воспоминаніе еще болѣе его одушевляло.

— Ради Бога, ради Бога, повторялъ онъ: — я обращаюсь къ вамъ, какъ къ родной, къ матери...

— Батюшка мой, что такое? спросила съ нѣжной улыбкой Аграфена Петровна, любуясь на толстые эполеты, блестящіе шнурки и обоняя iris et verveine, которыми былъ надушенъ полковникъ.

— Я буду просить на колѣняхъ; не откажите, не обидьтесь...

— Что такое? повторила почтенная дама, уже предвидя, что не обидится.

— Вы говорили, что, если бы могли... мантилья... здѣсь вѣрно есть... Купите для Надежды Сергѣвны горностаевую мантилью.

Аграфена Петровна ощутила ассигнацію въ рукѣ своей, сжимаемой Скворещенскимъ.

— Что вы! воскликнула она, но онъ припалъ губами къ ея рукѣ такъ сильно, что разжать ее не было возможности; впрочемъ, Аграфена Петровна не чувствовала на это особенно опредѣленнаго желанія.

— Что вы, что вы, милый мой! только повторяла она.

— О, ma mère chérie! о, maman! воскликнулъ въ заключеніе полковникъ, разцѣловалъ ее совсѣмъ и выбѣжалъ.

Аграфена Петровна имѣла бы время его преслѣдовать, потому что корридоръ и залу онъ прошелъ на цыпочкахъ, чтобы не слыхала гостья, сидѣвшая въ гостиной, потомъ еще нѣсколько минутъ надѣвалъ шубу въ передней, но Аграфена Петровна въ эти минуты разглаживала смятую радужную ассигнацію.

— Няня, Наталья! раздался голосъ Маши, отворившей свою дверь.

— Чего вамъ? отозвалась Наталья.

— Зачѣмъ здѣсь все гости ходятъ? то одинъ, то другой? Когда былъ дома папа, этого не бывало...

— Что ты распоряжаешься, развѣ ты хо-

зяйка? прервала ее бабушка. — Это не твое дѣло. Надѣнь шубку, я тебя возьму съ собой покататься; къ теткѣ Зинаидѣ Сергѣевнѣ поѣдемъ.

Маша была въ восторгѣ: ее давно никуда не брали, а бабушка и вовсе никогда. Теперь, вдругъ, бабушка стала такая ласковая, заѣхала въ кондитерскую, купила пряниковъ, дала Машѣ и сама жевала дорогой, приговаривая:

— Ну, Маша, не сказывай отцу, какъ мы съ тобой раскутились; это я на послѣднія деньги. Твоей мамѣ бѣлую кисурку купимъ.

Онѣ, дѣйствительно, ее купили, очень долго выбирали, ѣздили по лавкамъ. Бабушка купила Машѣ куклу, но къ тетѣ Зинѣ не заѣхали. Гостей ужъ никого не было, когда онѣ воротились домой. Маша прыгала кругомъ матери, любуясь, какъ она примѣряла мантилью. Надежда Сергѣевна была обрадована, но какъ будто удивлена, глядя на веселое лицо Аграфены Петровны. Аграфена Петровна шепнула ей что-то на ухо. Надежда Сергѣевна поблѣднѣла, потомъ вспыхнула, сдѣлала движеніе, чтобъ сбросить съ себя горностаи, и остановилась, взглянувъ на это движеніе въ зеркало.

— Какъ можно... прошептала она.

— Какъ сынъ, какъ родной сынъ просилъ! воскликнула Аграфена Петровна, ударяя себя въ грудь.

Маша знала, что за этимъ жестомъ бабушка имѣла обыкновеніе плакать; она боялась этого и поскорѣе убѣжала. Бабушка, однако, не заплакала, хотя была близка къ этому.

— Что-жъ мнѣ дѣлать, когда я больше ничего не могу для тебя, не могу! продолжала она: — слава Богу, еще человѣкъ такой... Вотъ, что еще будетъ съ Лоскутовщиной...

— Григорій Николаичъ внесъ проценты, сказала неохотно Надежда Сергѣевна.

— Э, ужъ Григорій твой Николаичъ!.. воскликнула Аграфена Петровна.

Нельзя сказать, чтобы Надежда Сергѣевна совершенно не стѣснялась подаркомъ. Она получала ихъ вообще очень рѣдко, только отъ сестры, и непривычка къ нимъ заставляла ее и преувеличивать благодарность, и конфузиться, и сердиться: Надежда Сергѣевна иногда вдругъ какъ будто чувствовала, что ангелъ-Зина даритъ ее изъ жалости, «на бѣдность», какъ называла это Аграфена Петровна. Настоящій подарокъ былъ сдѣланъ, видимо, изъ другого побужденія. Надежда Сергѣевна какъ-то не могла взять въ толкъ, что ее встревожило.

Mais quand une fois on a donné son coeur... начала было она успокаивать себя, но прервалась, припомнивъ, что, кажется, ни въ одномъ романѣ залоги любви не являются въ видѣ горностаевыхъ мантилій, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ романахъ, которымъ слѣдовала Надежда Сергѣевна.

— И некому, небому открыть свою душу, не у кого спросить совѣта! Seul au monde! воскликнула она, залившись слезами на своей готической кушеткѣ.

Ей входило въ голову: не разсказать ли своей пріятельницѣ или Зинѣ? но она перепугалась и не рѣшилась.

— Après tout, mon Dieu, je l'aime! заключила она.

Она стала размышлять, сколько дѣтскаго въ ея любви, въ ея характерѣ; какъ богато одѣлила ее судьба этой свѣжестью сердца, такъ рано исчезающей у другихъ. Вотъ, Зина, напримѣръ, совсѣмъ завяла. Любить Петра Ивановича—развѣ это не гибель чувства, не самоубійство нравственное? le devoir, la vertu... Поль такъ краснорѣчиво доказываетъ, что добродѣтель—въ счастіи...

Поль, то есть полковникъ Скворещенскій, дѣйствительно, безпрестанно обращался на эту тему, такъ какъ она была единственная имъ придуманная, и, твердя одно и то же, совершенствовался въ краснорѣчіи.

— За что же я хочу огорчить его? спрашивала себя Надежда Сергѣевна, не сбираясь ничѣмъ его огорчать.—За что я не приму отъ него бездѣлки, когда я владѣю его жизнью?.. Нѣтъ, я хочу, чтобъ онъ былъ счастливъ! Для чего же мы и живемъ, женщины, какъ не для ихъ счастья!.. Но это счастье, его счастье, чего оно можетъ стоить?..

— Измѣна... невѣрность... проговорила вслухъ Надежда Сергѣевна, понимая, что при такихъ страшныхъ словахъ слѣдовало бы вскочить, но ей покойно лежалось на кушеткѣ. — Невѣрность... что это такое? Что такое ощущеніе вины, la conscience intime d'une faute? Это — тонкое, тонко-болѣзненное чувство, полное ужасающаго блаженства, что, вотъ, я проклята за то, что тебя любила! Ты не можешь, нѣтъ, не можешь больше измѣнить мнѣ: ты мой, мы связаны здѣсь, связаны тамъ, навѣки! la fraternité du crime... Oh, c'est beau! выговорила Надежда Сергѣевна, закрывая глаза.

Она вспомнила всѣ «Chûte d'un ange» и «Ange déchu» и многое въ этомъ родѣ... Горностаи ей нравились.

— C'est un manteau de reine, qu'il étend à mes pieds... заключила она вдругъ, по сча-

стливому вдохновенію.—А если бы такой коверъ во всю комнату?..

Она придумывала себѣ комнаты, дворцы, наряды, граціозныя позы и драматическія положенія, потомъ апетитно пообѣдала, опять легла на кушетку разсказывать себѣ сказки и, полудремля, дотянула до вечера, до прихода Скворещенскаго. Горностаевая мантилья, въ самомъ дѣлѣ, упала ей подъ ноги.

— Спроси сюда поужинать, сказалъ Скворещенскій, услыша, часовъ въ двѣнадцать, что Аграфена Петровна распоряжалась въ залѣ.

Маша одна не могла привыкнуть къ житью, къ которому всѣ въ домѣ такъ легко привыкли. Она не могла заставить себя спать долго, и въ послѣднія двѣ недѣли вставала, не будя няньки, бѣжала въ кухню, гдѣ работница давала ей умыться, и одѣвалась одна. Потомъ, конечно, ей оставалось также одной бродить по пустымъ комнатамъ, и то на цыпочкахъ, чтобъ никого не потревожить. Она перечитала всѣ свои книжки, да ихъ и мудрено было найти среди коробковъ, ящиковъ, тряпокъ, посуды и съѣстного, чѣмъ нянька заставила полки ея шкапчика. Въ это утро Машѣ было особенно скучно. Она не любила играть съ утра, едва проснувшись, но все-таки захватила съ собой куклу, подаренную бабушкой наканунѣ. Эта маленькая кукла и маленькая дѣвочка точно терялись въ большихъ комнатахъ; дѣвочка показывала ихъ куклѣ. Она зашла и въ будуаръ матери. Но надоѣло ли ей играть, или утренній холодъ дѣлалъ еще непривѣтнѣе эти комнаты, гдѣ никогда не бывало весело, Машѣ стало какъ будто жутко. Она оглянулась еще; ей становилось все скучнѣе. Она сѣла и заплакала тихо, какъ большая, потомъ тихо пошла вонъ, остановилась и воротилась поднять свою забытую куклу. Она сдѣлала это серьезно, точно не ребенокъ, которому дорога его игрушка, а взрослая, прибирающая за ребенкомъ. Въ залѣ, Маша подошла къ запертой двери отцовскаго кабинета, уткнулась въ нее головой и плакала долго. Никогда еще не казалось ей все такъ страшно и пусто. Бабушка встала поздно, а матери Маша не видѣла до тѣхъ поръ, покуда та не вышла нарядная, чтобъ ѣхать обѣдать къ теткѣ Зинѣ. Тетка прислала карету; бабушка уѣзжала тоже.

— Мама, возьми меня къ кузинамъ, сказала Маша.

Надежда Сергѣевна не слушала, поправляясь предъ зеркаломъ.

— Что тебѣ дѣлать у кузинъ? видишь, ты какая запачканная, возразила бабушка: — тебя не зовутъ, и сиди дома.

Маша отыскала какіе-то обломки акварельныхъ красокъ и рисовала, пріютившись къ окну. Она думала, что у отца прекрасный ящикъ красокъ, въ которыхъ ей никогда не было отказа, такъ же какъ въ бумагѣ; а теперь у нея бумаги очень мало, потому надо рисовать домики и тюльпанчики какъ можно мельче. Она изображала эти тюльпанчики покуда стемнѣло, и осталась сидѣть на окнѣ. Ей дали обѣдать что-то невкусное, вчерашнее; она была голодна, глядѣла на улицу и думала, воротится ли отецъ къ святкамъ. Онъ не писалъ еще ни разу. Машѣ хотѣлось написать ему длинное письмо. Она вспомнила, какъ въ деревнѣ онъ однажды прокатилъ ее въ санкахъ ночью. Въ эту минуту мимо окна проѣхали сани.

— Маменька пріѣхала, сказала Маша, соскочивъ съ окна.

Съ маменькой былъ Скворещенскій; они вмѣстѣ вошли въ залу.

— Какая темнота! сказала, проходя, Надежда Сергѣевна:—дайте лампу ко мнѣ.

— Здравствуйте, красавица, сказалъ Скворещенскій Машѣ.

Маша или одичала, или ужъ очень соскучилась; она не отвѣчала.

— Что-жъ, не хотите дать мнѣ ручку? продолжалъ Скворещенскій.

— Eh, laisse-la! Viens! закричала издали Надежда Сергѣевна, забывая, что дѣвочка понимаетъ.

Скворещенскій пошелъ, куда его звали.

Маша подумала, отчего ей не хотѣлось подойти къ гостю, отчего сердита мать, отчего такъ скучно? Комнатъ не освѣтили ни одной, кромѣ будуара, но и въ ту затворили дверь. Маша сѣла опять на окно. Вдругъ ей стало страшно; кругомъ стояли потемки, а въ окно глядѣли такія большія, яркія звѣзды. Она вскочила и опрометью бросилась въ корридоръ, откуда тянулась тоненькая ниточка свѣта. Няня и Наталья сидѣли въ дѣвичьей и смѣялись. Маша подошла къ нимъ вся блѣдная.

— Поди-ка къ себѣ, нечего тебѣ кругомъ бѣгать, сказала нянька, ввела ее въ дѣтскую, затворила дверь и воротилась къ Натальѣ.

IX.

Прошло еще нѣсколько дней. Городъ N* ждалъ извѣстій о дѣлѣ Кореваева, какъ ждутъ ихъ съ поля сраженія. Пріѣзжіе при-

возили ихъ самыя разнообразныя. О распоряженіяхъ Боровицкаго ходили анекдоты. Письмоводитель исправника, поэтъ, доставилъ своему пріятелю Малѣеву стихотвореніе, въ которомъ описывалось, какъ «чиновникъ особыхъ порученій, аристократъ, живетъ въ черной избѣ, въ компаніи телятъ, потому что хотя онъ и желаетъ, но помѣщикъ его къ себѣ въ домъ не пускаетъ». Малѣевъ протежировалъ этого молодого человѣка и для своихъ собственныхъ остротъ пользовался иногда его сатирическими выходками, конечно, облекая ихъ въ болѣе свѣтскую форму, но еще больше пользовался отъ него разными свѣдѣніями. Такъ онъ узналъ раньше всѣхъ, что Боровицкій и новый исправникъ ужъ не поладили.

— Взялъ, должно быть, рѣшилъ генералъ Осминниковъ.

— Кто? Боровицкій? воскликнулъ въ радостномъ недовѣріи Малѣевъ.

— Э, вотъ еще! Дуракъ не умѣетъ. Тотъ взялъ, исправникъ. Теперь всего ждите.

Можно было, въ самомъ дѣлѣ, ждать. Генералъ говорилъ, основываясь на вѣрномъ знаніи человѣческаго сердца. Сердце исправника не устояло противъ искушеній Кореваева, который разомъ сообразилъ, къ кому должно обратиться, понявъ съ перваго взгляда и давно зная по слухамъ, каковъ губернаторскій чиновникъ, и потому не считая за нужное даже пробовать его. Кореваевъ обходился съ Боровицкимъ холодно, почти презрительно. Боровицкій не замѣчалъ презрѣнія, а холодность принималъ за робость предъ своимъ неприступнымъ достоинствомъ. Дѣло, между тѣмъ, было покончено. Исправникъ, хотя и полугинскаго выбора, но былъ человѣкъ бывалый и тотчасъ же разсчелъ, что сдѣлать, чтобъ оградиться и отъ гнѣва власти, его пославшей. За первое послабленіе, которое онъ сдѣлалъ на слѣдствіи, Боровицкій съ нимъ поссорился и распорядился по-своему, забывъ многія формальности, а исправникъ представилъ начальству эту ссору, какъ доказательство безпокойнаго характера чиновника, а его распоряженія—какъ пристрастіе и превышеніе власти. Къ одному дѣлу примѣшалось другое, кто правъ или неправъ изъ слѣдователей—разбирать было не время, но они мѣшали одинъ другому и каждый что нибудь путалъ: исправникъ— умышленно и для себя безопасно, Боровицкій—неумышленно и запутываясь самъ. Только это и было нужно Кореваеву и предводительской партіи. Долго и безполезно разсказывать, какими средствами и путями эта партія успѣвала поднимать и развязывать еще дѣла, то прикосновенныя къ кореваевскому и потому тотчасъ же поручаемыя Полугинымъ Боровицкому, то дѣла въ другихъ уѣздахъ, куда Полугинъ вмигъ разсылалъ предписанія и командировалъ слѣдователей. Война губернатора съ предводителемъ сдѣлалась открытая. Въ губерніи началась эпидемическая лихорадка личныхъ ссоръ, а такъ какъ разрѣшать личныя ссоры личнымъ объясненіемъ было тогда не въ духѣ мѣста и времени, то вслѣдствіе ихъ заводились дѣла совершенно постороннія, во всѣхъ N-скихъ присутственныхъ мѣстахъ росли вороха «входящихъ», а губернаторъ то-и-дѣло торопилъ чѣмъ нибудь свое губернское правленіе и свою канцелярію.

— Сегодня, матушка, пятьдесятъ разъ подписалъ свою фамилію, говорилъ Деневскій, возвратясь изъ присутствія и снимая мундиръ:—да еще десятка два сейчасъ принесутъ подписывать.

Ольга Александровна стояла въ ужасѣ.

— Хоть бы помогъ кто нибудь, продолжалъ Деневскій:—вотъ, у Настеньки, кажется, рука такая... Только «Ден...» и росчеркъ.

Настасью Михайловну кликнули.

— Прикажете прочесть вамъ бумаги, папа?

— Зачѣмъ читать, матушка? Вотъ, вздумала! Сохрани меня, Господи, я ихъ никогда не читаю. Подпиши.

Но Настасья Михайловна рѣшительно отказалась исполнить эту фантазію. Она пробовала объяснить, что ничего не понимаетъ, не знаетъ, въ чемъ дѣло, не имѣетъ права, что это кажется ей странно, что въ этихъ бумагахъ, можетъ быть, рѣшается чья нибудь участь...

— Какое тебѣ дѣло? Чиновникъ ты развѣ? возражала Ольга Александровна:—отецъ и самъ не знаетъ, что тамъ... Невеликъ трудъ: всего-то «Дене...» и росчеркъ: упрашивать надо!.. Да, Боровицкаго вашего участь тутъ рѣшается! заключила она, отступаясь.

Имя Боровицкаго было третьимъ словомъ во всѣхъ ея разговорахъ съ дочерью. Даже говоря о знаменитомъ кореваевскомъ дѣлѣ, Ольга Александровна занималась не дѣломъ, а слѣдователемъ.

— Боровицкій съ ножемъ пошелъ на своего благодѣтеля, выразилась она однажды, когда въ ея салонѣ случайно утромъ собралось нѣсколько гостей.

— На своего благодѣтеля? На кого же?

спросилъ одинъ изъ нихъ, среди общаго изумленія.

— На предводителя, отвѣчала невозмутимо Ольга Александровна:—вотъ, можете моего мужа спросить: онъ самъ видѣлъ и слышалъ, какъ этотъ Черемышевъ кланялся Василью Васильичу и выпрашивалъ хоть какого нибудь мѣстишка своему зятю. Вотъ и отогрѣлъ змѣю. Боровицкій теперь того ему надѣлаетъ, чего онъ и не ожидаетъ. Можно судить послѣ этого о нравственности человѣка. Если онъ благодѣянія забываетъ, чего же онъ не забудетъ?

— Впрочемъ, замѣтилъ гость, бывавшій рѣдко, а потому не знавшій, что съ Ольгой Александровной спорить невозможно:—дѣло такое, что нечего смотрѣть ни на друзей, ни на благодѣтелей. Надо когда нибудь справедливость, надо когда нибудь разобрать, что такое творится...

— Творятся ужасы, сказала Настасья Михайловна, къ которой онъ обратился, потому что она особенно внимательно слушала его слова—въ наше время сдѣлавшіяся избитыми общими мѣстами, а въ то недавнее—бывшія рѣдкостью.

— Дѣвушкѣ объ этомъ знать неприлично, произнесла Ольга Александровна, взглянувъ на дочь такъ, что всѣ примолкли, хотя и раздѣляли ея мнѣнія о неприличіи такого знанія для дѣвушки. — А Боровицкій, повѣрьте, даже и не занимается никакой справедливостью вашей. Онъ, просто, съ кѣмъ нибудь любезничаетъ и до чего нибудь долюбезничается; радъ, что оставилъ свою прекрасную супругу. Вотъ и все.

Подходили святки. Наканунѣ праздника въ домѣ Деневскихъ началось обметанье пыли и мытье половъ; къ дворнѣ, которой оказывалось недостаточно для такого труда, были еще принаняты три бабы; всѣ двери были настежь; сырость, холодъ, шумъ, стукъ и возня были неописанные; трудящіеся расхаживали по комнатамъ и перекликались. Ольга Александровна расхаживала тоже, наблюдая, чтобъ чужіе чего не украли. Обойдя домъ, она возвращалась къ мужу, въ спальню, которую, ради холода, было положено не убирать до Святой. Дочери сидѣли вдвоемъ въ своей комнатѣ, всегда убранной ими самими, а потому ненуждавшейся въ праздничныхъ приготовленіяхъ. Онѣ что-то перешивали; Даша была весела и безпрестанно цѣловала старшую сестру.

— Настя, я и не помню, когда мнѣ было такъ хорошо, какъ сегодня. Двери заперты, мы съ тобой однѣ; что тамъ хочешь дѣлайся, намъ нѣтъ дѣла, своя воля. Хоть посидимъ однѣ. Я бы, кажется, запѣла съ радости, еслибъ не грѣхъ. Хоть бы всякій день сочельникъ.

— А ѣсть не дадутъ? спросила Настасья Михайловна.

— Такъ и быть. А ты, вотъ что, въ самомъ дѣлѣ не ѣшь до звѣзды, вздуй лучинку да погадай. Охъ, Настечка моя, когда бы мнѣ тебя замужъ отдать, я бы попировала!

— Тебѣ только попировать хочется, сказала смѣясь Настасья Михайловна.

— Я тебя устроить хочу, отвѣчала Даша очень серьезно. — Еслибъ нашелся хорошій человѣкъ,—сейчасъ бы тебя отдала. Чтобъ съ состояніемъ, въ лѣтахъ. Молодые всѣ вѣтренники.

— Ты это почему же знаешь?

— Знаю, возразила Даша. — Нѣтъ, матушка, ужъ не говори, я знаю, какіе они бываютъ. Непремѣнно тебя за старика, чиновнаго.

— Ну, вотъ, чего лучше? за генерала Ивана Дмитрича, сказала Настасья Михайловна.

— Шути! Да—давай Богъ!

— Даша, ты сошла съума, или еще нѣтъ?

— Охъ, нѣтъ, Господи избави! вскричала дѣвочка, взглянувъ на нее и бросаясь ее цѣловать.—Прости, сдѣлай милость... Вотъ, я съ тобой, не знаю куда иголку дѣвала... А знаешь что?

— Не знаю.

— Я тебѣ не сказывала. Надняхъ, вотъ, какъ повара разочли, маменька Аксиньѣ кушать приказывала и разговорилась съ ней, что наше состояніе разстроено. «Вотъ, говоритъ, еслибъ хоть это Богъ далъ, чтобы генералъ посватался за Настеньку...»

Настасья Михайловна сбросила работу съ колѣнъ на столъ.

— Аксиньѣ?.. повторила она.

— Да. Она мнѣ сама пересказала: она, вѣдь, не лжетъ. Только ты, пожалуйста, не выведи на нее какъ нибудь; ты, вѣдь, скора...

Настасья Михайловна встала, отошла и смотрѣла въ окно.

— Ну, вотъ, ты сейчасъ... Охота день портить, благо мы однѣ! Полно, Настя. Вѣдь это все фантазіи и ничего изъ нихъ не будетъ. Какое тебѣ дѣло, что кому говорится.

Настасья Михайловна обернулась; на ея блѣдномъ лицѣ было не то отупленіе, не то отчаяніе, но что-то вмѣстѣ и горькое, и нехорошее. Она поцѣловала сестру и, молча, сѣла работать. Даша, тоже молча, шила и выжидала, чтобъ заговорить, когда пройдетъ

то, что при всей ея любви къ сестрѣ, казалось ей капризомъ.

— Вотъ, мой женихъ пріѣхалъ, сказала Настасья Михайловна, чрезъ нѣсколько минутъ, вдругъ засмѣявшись.

— Почему ты знаешь?

— Развѣ не слышишь? Кричитъ. Это его голосъ.

— Да, сказала Даша, пріотворивъ дверь и слушая.—Что это ему вздумалось, въ сочельникъ?

— Экстренное. Свататься за меня пріѣхалъ.

— Настя... въ самомъ дѣлѣ, онъ тебя поминаетъ!

— Я-жъ тебѣ говорю, сказала Настасья Михайловна, продолжая невесело смѣяться.

— Э, все ты вздоръ говоришь! вскричала Даша, съ досадой захлопывая дверь: — ну его, что тамъ слушать!

Но она еще не договорила, какъ дверь распахнулась и одна изъ работницъ, босая и съ засученными рукавами, объявила громко:

— Настасья Михайловна, пожалуйте къ папенькѣ.

— Вотъ, видишь, сказала она сестрѣ и поспѣшила въ спальню, перепрыгивая чрезъ мокрый полъ.

Она не успѣла передохнуть отъ этого путешествія, какъ въ спальнѣ ее встрѣтили восклицаніями:

— Что это такое? гнѣвно произнесла Ольга Александровна.

— Что это? повторилъ Деневскій, сидѣвшій на постелѣ.

— Какъ ты осмѣлилась? гдѣ у тебя совѣсть? гдѣ стыдъ? Какъ довести себя... Долой съ моихъ глазъ!

— Да-съ, хорошо, прекрасно! подтвердилъ генералъ.

— Долой съ моихъ глазъ! повторила Ольга Александровна.

— Я предсказывалъ! Какъ я говорилъ, такъ и вышло! продолжалъ генералъ.

— Маменька, я ничего не понимаю... выговорила Настасья Михайловна.

— Не понимаешь? Не понимаешь? Это не понимаешь? вскричала Ольга Александровна, выхвативъ у генерала и подставляя къ глазамъ дочери нѣсколько листковъ исписанной почтовой бумаги:—не понимаешь? Не знаешь?

— Не знаю, сказала Настасья Михайловна.

— Письма своего возлюбленнаго не узнаешь? Посредника себѣ нашла, передатчика! Гдѣ другія письма, говори! Подай сюда, сейчасъ сюда, всѣ до одного! На весь городъ, на весь свѣтъ...

— Да-съ, прекрасно, утѣшили! прибавилъ генералъ.

— Отца осрамила, уморила...

— Охъ! простоналъ Деневскій.

— Теперь, что отцу съ матерью дѣлать? Бѣжать отсюда? Куда бѣжать? говори, куда дѣваться отъ твоего стыда!...

— Господи, что это? выговорила Настасья Михайловна, схватившись за голову, и присѣла на первый ближайшій стулъ.

— Ничего, матушка, это — рѣчи сладкія твоего возлюбленнаго. Прочти, прочти. Что-жъ тебя лишать, когда весь городъ ихъ читалъ; твое, прочти. Съ нихъ ужъ копіи понадѣланы, по рукамъ ходятъ...

— Отъ кого это письмо, къ кому? спросила Настасья Михайловна.

— Запираться, матушка? вступился съ величайшимъ презрѣніемъ генералъ.—Запираться бы ужъ и стыдно, вѣдь, вотъ оно, на-лицо... Сестрѣ младшей хорошъ примѣръ! Э, сударыня, ужъ и выбрала!

— Папа, отъ кого это письмо? вскричала Настасья Михайловна, вставъ и подходя къ отцу.

Тотъ только махнулъ рукой.

— Пошла прочь! вскричала Ольга Александровна:—іезуитка, лицемѣрка! Онъ тебя милой называетъ... Вотъ подпись; на, поцѣлуй! Отъ кого! Отъ твоего Боровицкаго!

Настасья Михайловна остолбенѣла.

— Любезный вашъ изволилъ прислать это съ нарочнымъ, объяснилъ генералъ:—посылалъ донесенія въ канцелярію, ну, и этотъ конвертикъ кстати, другу-пріятелю своему...

— Видно, вашему общему, прибавила Ольга Александровна.

— Гравину, продолжалъ генералъ:—ловкаго выбралъ тоже! Конвертъ съ передачей—вамъ. Тотъ — не знакомъ, поручилъ Малѣеву...

— А этотъ подлецъ его распечаталъ! прервала Настасья Михайловна.

— Что-о? Кто подлецъ? вскричала Ольга Александровна.

— Малѣевъ, отвѣчала хладнокровно Настасья Михайловна и обратилась къ генералу:—ну-съ, что-жъ дальше?

— Дальше... Ахъ, матушка, да ты что же допрашиваешь? Ну, невелика важность твои любовныя письма, ну, распечаталъ. Малѣеву что-жъ молчать? Ты, вонъ, какъ его отдѣлываешь. Письмо мнѣ отдалъ, а самъ разсказалъ одному, другому: человѣкъ онъ молодой...

— И пошло на всю вселенную! договори-

ла Настасья Михайловна, захохотавъ.—Папа, вы прочли это письмо?

— Что ты допрашиваешь? повторила мать.

— Прочли? повторила настоятельно Настасья Михайловна.

— Ничего я не читаю, не знаю, отозвался несчастный Деневскій.

— Такъ прочтите, папа, продолжала она, задыхаясь, краснѣя и блѣднѣя и стараясь сохранить твердость, которою на минуту овладѣла. — Прочтите. Я знаю, я увѣрена, что тамъ нѣтъ ни одного слова, котораго бы всякій порядочный человѣкъ...

— Да у тебя сколько же ихъ, писемъ-то, отъ твоего порядочнаго человѣка? прервала мать.

— Ни одного.

— Почему-жъ ты знаешь?..

— Потому, что Боровицкій порядочный человѣкъ, а вы знаете, какъ я съ нимъ держалась...

— Почему же мать-то это знаетъ? вступился генералъ:—вы, сударыня, коли вздумаете надувать, хоть кого надуете...

— Прошу васъ замолчать, обратилась къ нему Настасья Михайловна:—ужъ если судить меня... вотъ, у меня отецъ и мать...

— Не командуй, сударыня! возразилъ генералъ: — не подымай носа! Тебя весь городъ судитъ!

— Весь городъ съума сошелъ, отвѣчала она холодно.

— Что? вскричала мать.

— Съума сошелъ, повторила она: — съума сошелъ отъ бездѣлья, отъ злости. Нечего дѣлать какому нибудь господину Малѣеву — онъ читаетъ чужія письма; не на чемъ чесать языка, хватаются за доброе имя порядочной дѣвушки...

— Это кто же, ужъ не ты ли порядочная дѣвушка? прервала Ольга Александровна.

Настасья Михайловна взглянула ей въ глаза.

— Маменька!

— Ты? А кто тебя знаетъ? почему всѣ виноваты, а ты одна святая? Почему я знаю, что у васъ было съ Боровицкимъ?

— О, Боже мой... проговорила Настасья Михайловна, захвативъ руками лицо, и пошла въ свою комнату.

— Матушка, такая-то ваша родительская власть? крикнулъ генералъ на Ольгу Александровну.

— Да что-жъ мнѣ съ нимъ дѣлать? возразила она, показавъ на мужа.

— Ты, братецъ, вовсе мокрая курица, накинулся генералъ на Деневскаго: — къ дочери любовники пишутъ, а ты безгласенъ! По-моему, просто, за косу—ну, ты хоть слово скажи! Мерзость этакая...

— Ну, воротите ее, сказалъ Деневскій.

— Отецъ васъ зоветъ, Настасья Михайловна, закричала Ольга Александровна, отворивъ дверь.

Настасья Михайловна показалась на порогѣ.

— Что вамъ угодно, папа?

— Войди сюда, да войди сюда, повторила мать, схвативъ ее и толкая къ постели: — на весь домъ хочешь исторію, чтобъ всѣ слышали...

Настасья Михайловна тихо плакала.

— Я хотѣлъ тебѣ сказать, началъ Деневскій: — скверно это. Передъ Богомъ, передъ людьми. Твой отецъ никогда замаранъ не былъ.

— Папа, прервала она:—но вы не читали?.. О Боже мой!.. Но это, можетъ быть, самое невинное письмо, можетъ быть, самое пустое...

— А-а, ужъ «можетъ быть» началось! подсказала мать.

— Папа, и что бы тамъ ни было, развѣ вы меня мало знаете?.. Вѣдь я дочь ваша, росла у васъ на глазахъ... Папа, мнѣ двадцать три года; всякій день, вы видѣли... Что-жъ я такое когда нибудь сдѣлала, чтобъ вы могли подумать?..

Она зарыдала.

— Охъ, ты меня уморишь, ты меня уморишь, повторилъ Деневскій, валясь на постель.

— Любуйся, сударыня, любуйся! вскричала Ольга Александровна:—этого недоставало! И безъ того человѣкъ забытъ, въ нищетѣ... Кто тебя знаетъ, ты, можетъ быть, съ кѣмъ нибудь еще переписки ведешь, отца чернишь! съ дядюшкой твоимъ, директоромъ департамента! Вотъ, любуйся! вотъ, умретъ, ѣсть будетъ нечего! Сѣдые волосы опозорила! Куда я съ тобой глаза покажу? Куда я тебя запру?

Настасья Михайловна вырвалась и убѣжала.

Она остановилась на порогѣ своей комнаты и оглянулась. У нея смутно мелькнуло желаніе убѣжать изъ дома. Она накинула на голову свой платокъ.

— Настя! вскрикнула Даша, ухватясь за нее: — Настя, повторила она, упавъ сестрѣ въ ноги и не выпуская ее: — на кого-жъ я останусь?

Дѣвочка была внѣ себя; она не плакал а

не кричала по привычкѣ остерегаться, чтобъ не услышали; она похолодѣла, посинѣла; ея худыя, длинныя руки сжимали сестру будто желѣзныя, глаза искосились и остановились.

— Тамъ не умрутъ, а я умру, выговорила она твердо и какъ-то дико, едва шевеля тонкими побѣлѣлыми губами.

Настасья Михайловна тихонько подняла ее, посадила и стала подлѣ нея на колѣни. Даша держалась за ея шею и замерла; не было слышно, какъ билось ея сердце. Наконецъ, она вся вздрогнула, медленно и крѣпко поцѣловала сестру и по ея щекамъ медленно покатились двѣ слезы.

— Не уходи... сказала она ужъ жалобно, по-дѣтски, и слезы, одна за другой, полились градомъ.—Не уходи, не покидай меня. Ну, куда уйдешь?

Настасья Михайловна сѣла, облокотилась на столъ и молчала. Она увидѣла, что ей некогда о себѣ думать, что у нея, вотъ, другая забота, тяжелая, докучная въ двадцать три года, но дорогая, какъ собственная жизнь. Тутъ никуда не уйдешь. До и уйти некуда. Умная дѣвочка сообразила это разомъ и вѣрнѣе оскорбленной старшей сестры. Куда уйти? Родныхъ нѣтъ, знакомыхъ тоже, не къ кому пойти и приживалкой. Гувернанткой никто не возьметъ — берутъ иностранокъ; да она ничего и не знаетъ: что выучила съ гимназистами, то и есть. Нянькой, швеей въ магазинъ — не примутъ барышню. Жить одной шитьемъ на продажу... Въ тѣ времена, для молодой дѣвушки изъ общества жить одной было немыслимо; примѣры бывали, но рѣдкіе и позорные... Но что и раздумывать? Для всякой перемѣны положенія нужны средства, а у нея въ столѣ всего пятакъ мѣди на свѣчку завтрашнему празднику...

Настасью Михайловну позвали еще разъ; она не пошла. Она сидѣла, глядя на сестру, которая плакала. Шумъ въ спальнѣ еще продолжался; наконецъ, генералъ уѣхалъ.

— Сейчасъ сюда придутъ, сказала Даша, и запуганная, какъ раба, отерла глаза и взялась за иголку.

Она не ошиблась. Ольга Александровна пришла и около часа произносила заклятія, что не хочетъ больше знать своей старшей дочери. Настасья Михайловна пыталась объясниться, умоляла, плакала, наконецъ, внѣ себя, сказала, что считаетъ все это за жестокость, за оскорбленіе, за вину своего отца и матери предъ собою...

— Ради Бога, молчи, ради самого Бога, не противорѣчь больше! умоляла Даша, кинувшись къ сестрѣ, когда дверь захлопнулась за вышедшей наконецъ Ольгой Александровной.

Настасья Михайловна ее оттолкнула.

— Грѣхъ на твоей душѣ, сказала Даша.

Настасья Михайловна, не отвѣчая, подняла разбросанные листки письма, разгладила ихъ, собрала и начала читать.

Это былъ, въ полномъ смыслѣ слова, невинный разсказъ, писанный въ лишніе часы между дѣломъ; жалобы, что въ глуши, въ деревнѣ, зимою скучно, что люди кругомъ необразованы; шутливыя, дружескія внушенія не забывать бѣдняка, погибающаго въ такой скукѣ и въ безобразной компаніи, и, въ доказательство этого безобразія, тутъ же, начерченныя перомъ каррикатуры исправника, Кореваева, еще кого-то и самого себя; потомъ, очень сердечное и хорошее обращеніе къ серьезной дружбѣ, съ просьбой участія къ человѣку, занятому тяжелымъ дѣломъ; объ этомъ дѣлѣ разсказывалось съ честнымъ негодованіемъ и, въ заключеніе, была просьба написать доброе слово, заранѣе принятое съ самой живой благодарностью. Все это было почтительно и прилично до того, что въ припискѣ были даже не забыты поклоны батюшкѣ и матушкѣ и желаніе веселыхъ святокъ сестрицѣ...

Настасья Михайловна бросила письмо на столъ и засмѣялась. Смѣялась она горько. Она спросила себя: и это все, все, рѣшительно все, чѣмъ подарила ее жизнь, и за это приходится выносить то, что она выноситъ? Смутно и быстро завертѣлись въ ея головѣ воспоминанія страшныхъ исторій, грязныхъ, отчаянныхъ, отвратительныхъ, какими богата провинціальная жизнь... Больше ли выносили тѣ, виноватыя?..

— Ты чему-жъ смѣешься? спросила Даша.

Настасья Михайловна встала къ окну. Вставая, она замѣтила, что на ней было оборвано платье. На дворѣ темнѣло прелестными теплыми, зимними сумерками; небо было мягкое, яхонтовое; за крышами еще желтѣлъ закатъ.

— Пожалуйте кушать, доложилъ казачокъ, отворивъ дверь.

— Вотъ и сочельникъ прошелъ, сказала Даша:—пойдемъ.

— Ступай, я не пойду, сказала Настасья Михайловна.

— А что же? Звѣзда ужъ взошла.

— Гадать хочу, отвѣчала Настасья Михайловна и, едва затворилась дверь, зало-

мивъ руки, безъ слезъ, бросилась на свою постель.

Ей не дали свѣчки во весь вечеръ. Даша просидѣла этотъ вечеръ безъ всякаго занятія въ прибранной гостиной, въ обществѣ ничѣмъ незанятыхъ и безмолвныхъ родителей. Изрѣдка только они вздыхали и замѣчали, что «сыро, умрешь». Разошлись въ девять часовъ. Въ два часа ночи, когда раздался праздничный благовѣстъ, незасыпавшая Настасья Михайловна встала и разбудила сестру.

— Пойдемъ къ заутренѣ.

— Однѣ? сказала Даша съ просонка: — я боюсь.

— Такъ запри за мной дверь.

— Настя, ты уйдешь куда нибудь!

— Не уйду, матушка, отвѣчала она нетерпѣливо: — ворочусь къ тебѣ, не безпокойся.

Она, дѣйствительно, воротилась. Ольга Александровна, крѣпко спавшая всю ночь, увѣряла поутру, будто слышала, какъ уходила Настасья Михайловна, и была убѣждена, что она сбѣжала. Деневскій вовсе не всталъ и послалъ за докторомъ; тотъ, хотя и затруднился, видя совсѣмъ здороваго человѣка, но все-таки что-то прописалъ.

— Это насъ дочь съ такимъ праздникомъ сдѣлала, объяснила, провожая его, Ольга Александровна.

X.

Дня за три до праздника, Надежда Сергѣевна получила почтовую повѣстку: изъ Москвы ей была выслана прелестнѣйшая шляпка. Надежда Сергѣевна ужъ не трудилась догадываться, кто дѣлалъ ей подобный сюрпризъ, не звала матери смотрѣть шляпку и обновила ее безъ придирокъ совѣсти. Надежду Сергѣевну отучили отъ этихъ придирокъ флаконы духовъ, перчатки и тому подобная дрянь, которую она получала почти ежедневно, а Аграфена Петровна слишкомъ много поѣла своихъ любимыхъ кондитерскихъ пряниковъ, чтобъ еще о чемъ нибудь спрашивать. Въ первый день праздника, онѣ обѣ нарядились и поѣхали въ прекрасныхъ предводительскихъ саняхъ въ соборъ, къ обѣднѣ, съ тѣмъ, чтобъ оттуда прямо отправиться къ Зинаидѣ Сергѣевнѣ на весь день.

— Маменька-то твоя — король! сказала Наталья Машѣ, которая въ вчерашнемъ старенькомъ платьицѣ, тихо сидя въ залѣ, смотрѣла на сборы. — Шляпка, поди, цѣлковыхъ двадцать-пять, а то и всѣ тридцать стоитъ, знай нашихъ! Вотъ и повеселѣла наша барыня.

— Неправда, возразила Маша: — мамѣ скучно.

— О чемъ ей скучать?

— Отца нѣтъ.

— Есть о чемъ! Жена мужа любитъ, коли мужъ ее хорошо одѣваетъ, а что когда твой папенька ей подарилъ? За что его любить? Есть онъ, нѣтъ его, все равно; получше его найдутся.

— Неправда, вскричала съ злостью Маша: — лучше моего отца никого нѣтъ; мама его любитъ!

Горничная захохотала.

— Отстань ты отъ нея, сказала ей нянька:—нашла съ кѣмъ связаться; она еще наябедничаетъ.

— Кому я наябедничаю? Что я наябедничаю? повторила Маша.

— А ну тебя совсѣмъ, прервала нянька:—ступай за свои книжки, за печку. Крикунья какая стала. То-то тебя никуда въ люди и не берутъ.

Она напомнила Машѣ другое горе—что ее не взяли въ соборъ, не хотѣли взять и къ теткѣ, что праздникъ у нея безъ елки, что сегодня она весь день останется одна...

Ея мать, между тѣмъ, произвела эфектъ въ соборѣ. Въ тѣ года, дамы, особенно провинціальныя, не такъ щеголяли, какъ теперь, и еще была возможность, не разоряясь до конца, обращать своимъ нарядомъ общее вниманіе.

— Eblouissante!.. шепнула Надеждѣ Сергѣевнѣ дѣвица, ея пріятельница, подлѣ которой она помѣстилась, недалеко отъ предводительши, потонувшей въ соболяхъ и зеленомъ бархатѣ.

Онѣ пожали руки. Аграфена Петровна тѣснилась къ чему нибудь прислониться, но подлетѣвшій квартальный замѣтилъ ей, что здѣсь не толкаются и всякій долженъ знать свое мѣсто.

— Я мать губернской предводительши! возразила дама, внятно даже не для однихъ близкихъ.

— Я этого, сударыня, не знаю; я исполняю мою обязанность...

Разговоръ пошелъ погромче и покрупнѣе. Полиціймейстеръ, стоявшій подлѣ губернатора, по его жесту и тихому приказанію, приблизился и объяснилъ Аграфенѣ Петровнѣ, что она можетъ замолчать или убираться вонъ. Аграфена Петровна замолчала. Обѣ дочери будто ничего не слышали. Черемышевъ не шевельнулся, но полковникъ

Скворещенскій осторожно пробрался сквозь толпу, съ низкимъ поклономъ предложилъ свою руку почтенной дамѣ, провелъ ее и уступилъ ей свое мѣсто у колонны. Полугинъ, всегда желто-блѣдный, покраснѣлъ.

— Ecoutez, chère, сказала Надеждѣ Сергѣевнѣ пріятельница, выбравъ минуту, когда говорить показалось удобно:—вы знаете исторію?

— Какую?

— О письмѣ.

— Нѣтъ.

— Не можетъ быть! Ça vous touche de si près!

— Moi? de quelle manière?

— Письмо вашего мужа къ Деневской?

— Да нѣтъ же, encore une fois!

— Ахъ Боже мой, это вотъ что...

Дѣвица стала разсказывать.

— Малѣевъ читалъ. Жаль, онъ былъ принужденъ отдать. Я ему говорила: для чего вы возвратили, хоть бы показали намъ, въ самомъ дѣлѣ! Нѣтъ-таки, отдалъ! quel grand cas de consience!.. но онъ, вѣрно, переписалъ. Вы увидите. Horreur! какова молодая особа? Вотъ, надо спросить Малѣева. Attendez, во время проповѣди спросимъ... Но эта исторія—для васъ же лучше. Каковъ вашъ мужъ? Mais, je crois, vous n'en êtes pas trop affectée? Вѣдь—non?

По новому жесту и тихому приказанію губернатора, полиціймейстеръ приблизился и къ нимъ. Веселая пріятельница не дала ему начать.

— Ну, знаемъ, зачѣмъ вы подошли, сказала она:—ну, мы сороки, трещотки. Мы, какъ видите, женщины, et vous êtes un bon compagnon, vous. Скажите вашему, вотъ, этому (она показала глазами на Полугина) qu'il est bête. А мы, хотимъ — говоримъ, хотимъ—молчимъ. Filez. Décampez.

Онѣ, однако, скоро примолкли. Пріятельница хотя и отшутилась, но сообразила, что полицейскія внушенія не совсѣмъ почетны, а потому, когда отошелъ полиціймейстеръ, чтобы не сразу покориться, еще сказала слова два, затѣмъ принялась тихонько хохотать и трястись, будто отъ припадка неудержимаго смѣха, и заключила, шепнувъ Надеждѣ Сергѣевнѣ:

— Ну, не смотрите на меня, дайте мнѣ уняться.

Надежда Сергѣевна была въ самомъ дѣлѣ взволнована—чѣмъ, она сама не знала, и было нужно, чтобъ другіе натолкнули ее, что чувствовать. Это не замедлило. Она оглянулась на сестру, такую чинную, комильфотную, и вдругъ захотѣла выразить такую же величавую неподвижность. «Но—вспомнила Надежда Сергѣевна—всѣ находили всегда, что у меня гораздо больше женской граціи, чѣмъ у Зины. La grâce, c'est le sentiment»... Надежда Сергѣевна граціозно склонилась на колѣни, подняла глаза и постоянно пребывала въ этомъ положеніи. Она такъ хорошо настроилась, что во время проповѣди нетолько не подумала разспрашивать Малѣева, какъ предлагала пріятельница, но слушала, не оборотивъ головы, и даже прослезилась.

— Бѣдненькая Боровицкая, говорили у выхода дамы, уѣзжавшія отъ молебна.

— Да тяжело ей!

— И выдержать больше не могла: заплакала.

— Didone abbandonnata, сказалъ Малѣевъ.

— Ужъ вы, мужчины! возразила ему молоденькая дама изъ ревнивыхъ и чувствительныхъ:—вамъ забавно!

— Помилуйте, я первый выразилъ сочувствіе...

— Въ лицѣ Боровицкой мы всѣ оскорблены.

— Да, да, всѣ жены!

— Не знаю, что бы я сдѣлала съ этимъ злодѣемъ! договорила, уходя, хорошенькая ревнивица.

— Поѣдемте завтра вмѣстѣ къ Боровицкой, толковали другія.

Конечно, N-ское общество не читало и не видало письма, знало и судило о немъ по украшеннымъ разсказамъ Малѣева, но, передавая эти разсказы, ужъ такъ украшало ихъ еще по-своему, такъ коментировало и принимало такъ горячо, что Малѣеву стало неловко. Конечно, онъ уже успѣлъ нѣсколько оградиться, повторяя только, что ему «показывали письмо» и не называя, кто показывалъ; онъ оградился еще вѣрнѣе, спохватившись во-время и безцеремонно отрекшись отъ своихъ собственныхъ словъ, что списалъ копію съ письма... Но въ толпѣ передъ нимъ мелькнулъ Гравинъ. Малѣеву мгновенно пришло въ голову, что когда Боровицкій воротится и провѣдаетъ, то перваго спроситъ Гравина. Малѣевъ не въ шутку струсилъ.

— Послушайте, выручите, сказалъ онъ генералу Осминникову, догоняя его на паперти: — барыни наши голосятъ. Гравинъ, вѣдь, олухъ; онъ, пожалуй, насъ съ Боровицкимъ переплететъ.

— Э, вздоръ, рѣшилъ генералъ: — я ему

сейчасъ сдѣлаю родительское внушеніе. Отойдите, мнѣ одному ловчѣе.

Онъ подозвалъ Гравина.

— Послушай-ка, пріятель, ты какими дѣлами изволишь заниматься? Ты какое письмецо подсунулъ Николаю Александровичу для передачи барышнѣ, а?

Мальчикъ оторопѣлъ.

— Я не знаю, ваше превосходительство...

— Не знаешь? Врешь, знаешь! Отецъ съ матерью прочли — ахнули; отецъ, вонъ, въ постель слегъ. Знаешь, признавайся! говори, что тамъ было?

— Честное слово, ваше превосходительство...

— Мнѣ, пріятель, твое честное слово — тьфу! Вотъ твое честное слово. Кабы я только вообразить могъ, какую ты штуку подвернешь, я бы тебѣ всѣ косточки... Я думалъ, письмо какъ письмо; я его отцу въ руки... Ахъ, ты, батюшки!.. Нѣтъ, пріятель, мы твоихъ подслугъ на себя брать не хотимъ! Видишь, благороднымъ людямъ передалъ, чтобъ на нихъ свалить! Попробуй только, скажи кому нибудь, что ты намъ его давалъ, да я тебя... Одно твое спасенье теперь — молчокъ. Кто бы тебя ни спросилъ, ну, кто бы только, ну, Боровицкій спроситъ, говори: самъ отдалъ, собственноручно отдалъ, какъ получилъ, въ тотъ моментъ; самъ отвезъ, самъ отдалъ, ей самой — слышишь?

— Но, ваше превосходительство, я не имѣю чести бывать въ домѣ...

— Честь выдумалъ, опять твоя честь! Любовныя письма развозить — твоя честь! Говори, ѣздилъ нарочно къ ней, отдалъ; клянись, распинайся. Себя-то огради, пустая голова! Знать, молъ, не знаю, что такое отдалъ. Стой на томъ. А то, думаешь, тебѣ Боровицкій спасибо скажетъ, что ты его амуры на весь свѣтъ пустилъ? То-то. Помни. Рано взялся, братецъ мой. Девятнадцатый годъ, никакъ, тебѣ всего-то. Съ тобой Боровицкій не пошутитъ, да и я не пошучу, если ты хоть пикнешь. Маршъ!

Надеждѣ Сергѣевнѣ устроилось нѣчто въ родѣ оваціи. Во время разъѣзда и надѣванья шубъ, къ ней подходили рѣшительно всѣ дамы, m-me Полугина съ ней разцѣловалась, всѣ важные господа съ ней раскланялись. Хотя издали и холодно, но поклонился даже самъ Полугинъ. Скворещенскій догадался поклониться тоже не подходя, но зато самъ подалъ шубу Аграфенѣ Петровнѣ и усадилъ ее въ сани.

— Маменька, сказала ей Зинаида Сергѣевна: — возьмите съ собой Петра Иваныча и проѣзжайте къ намъ; я и Дина еще визитъ сдѣлаемъ.

Петръ Ивановичъ, въ громаднѣйшей мѣховой шапкѣ, сдавъ форменную шляпу въ карету женѣ, влѣзъ въ сани рядомъ съ тещей. Аграфена Петровна еще никогда не была на верху такого блаженства. Сдвинувшись на самый край сидѣнья и моля Бога, чтобы сѣрые рысаки не вывалили ее въ сугробъ, она нѣжно спрашивала зятя, покойно ли ему сидѣть.

— Хорошо-съ, отвѣчалъ предводитель.— А свинья Полугинъ хотѣлъ васъ изъ церкви вывести. Это пріятно-съ.

— Другъ мой, вражда къ вамъ...

— Мило-съ. Очень пріятно.

— Если бы, можно сказать, не дружеское расположеніе полковника ко всему нашему дому... Это благодѣяніе онъ мнѣ, можно сказать...

Но Аграфена Петровна ничего не сказала. Предводительскій кучеръ завидѣлъ губернаторскую карету и погналъ такъ, что самъ Петръ Ивановичъ произнесъ:

— Полегче.

Впрочемъ, ревность служителя была ему пріятна. Сходя у своего крыльца и не заботясь высаживать тещу, Петръ Ивановичъ сказалъ, улыбаясь:

— Богъ помиловалъ, не разомчали.

— Да нельзя-съ, отвѣчалъ, тоже улыбаясь, кучеръ:—Полугинскіе... Вотъ, гдѣ еще плетутся!..

И онъ поѣхалъ шагомъ назадъ, на встрѣчу полугинскимъ, проваживать своихъ сѣрыхъ звѣрей.

— Что, маменька, какъ себя, этакъ, отъ страха?.. игриво спросилъ Петръ Ивановичъ, переодѣвшись въ сюртукъ и выходя въ залу, гдѣ Аграфена Петровна цѣловалась съ дѣтьми.

— Какой страхъ, другъ мой, мнѣ наслажденіе...

— Наслажденіе!.. Два испытанія вамъ сегодня ниспосланы: мчали васъ, да полиціймейстеръ гналъ... Bonjour, m-lle Луаро. Маменьку-то, maître de police et le gouverneur, on voulait conduire de l'église. Ха-ха! вотъ, нынче какъ! Ну, что-жъ, будемъ вечеромъ le sapin allumer?

— Madame voulait ménager une surprise, отвѣчала m-lle Луаро.

— Да, сюрпризъ! ну, я не зналъ. Я безъ сюрприза; пойдемте, я вамъ подарю.

Онъ пошелъ въ свой кабинетъ, за нимъ дѣвочки, прыгая въ дорогихъ шелковыхъ

платьицахъ, гувернантка и Аграфена Петровна, которою никто ни занимался. Подарки состояли изъ двухъ серебряныхъ чашекъ для бульона къ завтраку; внутри было положено по нѣсколько червонцевъ. Дѣвочки взяли, сказали «merci» и стали разсматривать, каждая, не свой подарокъ, а подарокъ другой.

— Одинакія, одинакія, не подеретесь, и золотые счетомъ, сказалъ, смѣясь, Петръ Ивановичъ. — Охъ, вѣдь, ножъ острый, когда у одной хоть немножко чего побольше, чѣмъ у другой, прибавилъ онъ, замѣтивъ Аграфену Петровну.

— Миленькія! Богъ васъ ими благословилъ, отвѣтила она, прослезившись.

Ей до смерти хотѣлось золотыхъ, которые были въ чашкахъ; она ждала, что и ей подарятъ. Вообще, глядя на Петра Ивановича, она всегда ждала отъ него чего нибудь. Петръ Ивановичъ это зналъ, но рѣшительно не хотѣлъ чувствовать.

— Ну-съ, обратился онъ къ m-lle Луаро:—а вамъ я думалъ-думалъ и ничего не придумалъ. Развѣ... вотъ, есть тутъ росписочка одна, вы перебрали жалованье, никакъ, за сотенку, такъ мы ее... чикъ!

Онъ разорвалъ бумажку, заранѣе приготовленную, и подалъ клочки m-lle Луаро.

— Merci, сказала, вспыхнувъ, француженка.

— Неказисто, да ничего, сойдетъ, продолжалъ, хохоча, Петръ Ивановичъ:—такъ рукописаньице ваше разодрали.

— Merci, повторила m-lle Луаро.

— Рукописаніе! повторилъ Петръ Ивановичъ, обращаясь съ смѣхомъ къ тещѣ.

— Да!.. отвѣчала она, поникнувъ головой.

— Хорошо?

— Охъ, ужъ и какъ хорошо, всего лучше!.. Вотъ, мнѣ бы такъ кто разодралъ рукописаніе мое на Надеждинское... на Лоскутовщину!

— Э, нѣтъ-съ, казна не раздеретъ, нѣтъ, отвѣчалъ Петръ Ивановичъ и обратился къ дѣтямъ.—N'allez pas d'ici, jouez ici.

— Онъ не желалъ остаться наединѣ съ тещей. Впрочемъ, скоро воротилась и его жена съ Надеждой Сергѣевной.

— Супругъ-то вашъ... сказалъ ей Петръ Ивановичъ.

Надежда Сергѣевна уже успѣла, въ каретѣ, переговорить съ сестрой объ ужасной исторіи письма. Теперь, эта исторія была сообщена и Аграфенѣ Петровнѣ. Надежда Сергѣевна взволновала себя до слезъ.

— Теперь ты убѣдилась, Зина! восклицала она.

— Вотъ, друзья мои, вотъ моя жизнь! повторяла Аграфена Петровна.

Зинаида Сергѣевна бранила Настасью Михайловну, не выбирая выраженій. Это выходило особенно эфектно при элегантной обстановкѣ и пышномъ нарядѣ ругательницы. Добродѣтель являлась во всемъ своемъ торжествѣ и величіи.

— Я къ нимъ поѣду! Я имъ отпою! шумѣла Аграфена Петровна, никѣмъ неслушаемая и потому обращаясь больше къ m-lle Луаро.

Француженка пожимала плечами; дѣти слушали.

Пріѣзжали гости. Мужчины говорили съ Петромъ Ивановичемъ о кореваевскомъ дѣлѣ, уже до-нельзя запутанномъ, и о всемъ, къ нему прикосновенномъ. Въ этихъ толкахъ, Боровицкій являлся злодѣемъ гражданскимъ. Дамы не заводили о немъ рѣчи, но смотрѣли на Надежду Сергѣевну съ осторожностью и какимъ-то трогательнымъ умиленіемъ, и почти всѣ заговорили о чувствахъ. Было ясно, что въ ихъ глазахъ Боровицкій—злодѣй семейный. Одна дама, при прощаньѣ, вдругъ какъ-то отдалилась отъ всѣхъ, вдвоемъ съ Надеждой Сергѣевной, неожиданно обняла ее и шепнула:

— Душка, душка, какъ я васъ понимаю!..

Другая, степенная мать семейства, выждала, чтобъ всѣ разъѣхались и, оставшись на просторѣ въ гостиной Зинаиды Сергѣевны, попросила позволенія быть откровенной и пустилась въ такія откровенности объ образѣ жизни Деневскихъ и поведеніи Настасьи Михайловны, что Зинаида Сергѣевна оглянулась, не близко ли въ залѣ, не слышитъ ли ее Петръ Ивановичъ. Надежда Сергѣевна получила полнѣйшее право считать себя жертвой. Аграфена Петровна утопала въ наслажденіи; ей мало доставалось общества, мало карточекъ, мало сплетенъ въ скучномъ и бѣдномъ домѣ Боровицкихъ, гдѣ если, въ послѣднее время, и завелись развлеченія, то не для нея, а для дочери. Аграфена Петровна себя вознаграждала.

— Я говорила, я давно говорила! повторяла она, обращаясь къ гостьѣ:—я могу вамъ, какъ другу нашего дома, потому что вижу ваше дружеское расположеніе, сказать: я давно замѣчала. Но что же я? Послѣдняя спица! Вотъ, она, жена, молчитъ, стало быть, что же мнѣ? Но я давно... Онъ ея портретъ написалъ.

— Гнусно! сказала пожилая дама, попав-

шая въ друзья дома.—Вотъ, этотъ бы портретъ приложить къ перепискѣ.

— Вы читали письмо? спросила Зинаида Сергѣевна.

— Ахъ, къ сожалѣнію, нѣтъ. Мнѣ наизусть читалъ Малѣевъ. У него вѣдь прелестная память: разъ прочелъ—и ужъ помнитъ... сколько, скажите, талантовъ у этого человѣка!.. Ахъ, да: вѣдь Малѣева тамъ ловили, какъ же. Она... но, увольняю васъ. У Малѣева вѣдь тоже есть ея записочки...

Такія бесѣды заняли утро. Къ обѣду осталось одно семейство и Зинаида Сергѣевна вспомнила о Машѣ.

— Что-жъ, твоя-то? Вѣдь у меня елка сегодня.

За Машей послали горничную, которая привезла ее, когда ужъ давно сидѣли за столомъ. Маша была сконфужена, скучна и дурно одѣта. Дома она ужъ успѣла наплакаться, а въ гостяхъ ее не утѣшили: дядя встрѣтилъ ее неласково, бабушка разбранила за неловкій поклонъ, кузины смѣялись надъ ея платьемъ и не хотѣли съ ней играть. Въ довершеніе всего, она услышала, какъ мать сказала теткѣ:

— Cette enfant me fait horreur.

— Ну, матушка, она все-таки тебѣ дочь, возразила Зинаида Сергѣевна.—А ее надо принарядить къ вечеру; ей платьице Софи годится.

Она повела Машу въ дѣтскую. Софи кричала и топала ногами, заслыша, что хотятъ взять ея платье; нянькамъ и горничнымъ были непріятны эти хлопоты; онѣ бранились и смѣялись надъ Машей. Все это, конечно, было меньше, нежели ужасныя слова матери, но дѣтское сердце переполнилось. Маша удерживалась на глазахъ матери и бабушки, но тутъ горько заплакала.

— Милая тетя Зина, сказала она:—я не хочу наряжаться, пустите меня домой.

— Что ты, голубушка, возразила Зинаида Сергѣевна, которой вдругъ стало жалко ребенка:—вѣдь весело будетъ, будутъ гости.

— Нѣтъ, ничего не хочу, ничего, ничего! повторила Маша:—ахъ, тетя Зина, не говорите хоть вы, что я все капризничаю! Отпустите меня сейчасъ; мнѣ дома лучше.

— Ну, какъ хочешь, сказала Зинаида Сергѣевна, уже соскучась и переставъ сострадать.—Отвезите ее кто нибудь, дѣвушки. Возьми же, вотъ тебѣ конфекты.

Маша припала цѣловать ея руки. Она такъ намучилась и такъ давно ни къ кому не ласкалась, что едва могла оторваться отъ тетки. Отправивъ ее, Зинаида Сергѣевна пошла къ сестрѣ.

— Дочка твоя мудреная, сказала она: — вылитый твой Григорій Николаичъ.

Дѣтская елка была предлогомъ для вечера съ картами и танцами; взрослые замѣнили дѣтей, когда тѣхъ увели спать. Аграфена Петровна выиграла, Надежда Сергѣевна наговорилась съ Скворещенскимъ; ей все улыбалось. Возвратясь поздно домой и размышляя о событіяхъ дня, она вспомнила о письмѣ, которое мужъ, уѣзжая, оставилъ на столѣ и котораго въ теченіе мѣсяца ей было некогда распечатать. Она отыскала его, распечатала, прочла нѣсколько строкъ, потомъ все опять смяла въ конвертъ, разогрѣла и примяла сургучъ и надписала четко сверху:

«Поберегите для самого себя ваши нравоученія».

Она легла, но долго не засыпала. Она была взволнована и въ первый разъ начала чувствовать что-то дѣйствительное въ своей исторіи, даже наканунѣ все еще казавшейся ей «прелестной мечтою». По привычкѣ, она повторила себѣ, что между мужемъ и ею все кончено, но что-то смутно подсказало ей, что, кажется, она кончила первая. Вопросъ изъ туманно-тревожнаго сдѣлался очень копотливо-реальнымъ: слѣдовало рѣшить, когда Боровицкій полюбилъ Деневскую, ранѣе или позднѣе нежели Поль...

— Конечно, ранѣе! вскричала вслухъ Надежда Сергѣевна: — вѣдь всего только двѣ недѣли...

Она съ восторгомъ сказала себѣ, что во всемъ оправдана, и даже стала благодарно молиться. Она признала себя точно оскорбленной женою; несчастной женщиной, имѣющей право на вознагражденіе за поруганныя права и отнятое счастье и, слѣдовательно, имѣющей право искать счастья... А когда оно ужъ найдено, какъ же не благодарить, какъ не молиться?..

На чемъ основывалась ея увѣренность, что мужъ виноватъ, она не разбирала: онъ былъ знакомъ у Деневскихъ — и довольно. Ей слѣдовало быть увѣренной, что порядокъ дома Деневскихъ—затворническій; Малѣевъ самъ разсказывалъ ей, что не разъ собирался написать мѣломъ на ихъ дверяхъ: Помни часъ смертный, но ей до этого не было дѣла.

— «Неволя поневолѣ хитрости научитъ», сказала она съ презрительно-радостной улыбкой. — Всѣ говорятъ, стало быть, что нибудь да есть...

Немного размысливъ еще, Надежда Сергѣевна нашла, что имѣетъ право даже на мщеніе.

— Я и отмстила! воскликнула она съ гордостью торжества, уже начиная, какъ всегда, рисоваться предъ собою и разсказывать себѣ сказки. — Я взяла лучшее, а онъ измѣнилъ мнѣ для ничтожности!..

Ее вдругъ будто что кольнуло въ сердце: она вспомнила, что Деневская слишкомъ на десять лѣтъ ея моложе и хороша собою.

— La brune jeune fille... Цыганка! рѣшила она со злостью и успокоилась въ злости. Она не любила мужа, не жалѣла о немъ, не оскорблялась, не ревновала, но она возненавидѣла ту, которую признала соперницей: существованіе соперницы доказывало, что для нея, для жены, прошло время и власти, и красоты, и любви, все прошло...

— Э, недолго и ее пролюбитъ! заключила Надежда Сергѣевна, на счастье свое, никѣмъ невидимая въ эти минуты; она была безобразна отъ злости.

— Какое мнѣ дѣло до нихъ? Я блаженствую!!.. прибавила она, настраиваясь на мечтанія, чтобъ успокоиться.

Успокоившись, она стала соображать, какъ такъ устроить, чтобы мужъ не мѣшалъ блаженству: — вечера, свиданія, словомъ, мелкія подробности, ces petits riens, qui sont tant dans la vie... Многіе изъ этихъ подробностей были весьма непоэтичны. Нужно было мысленно поискать, кому довѣриться въ случаѣ необходимости, кого взять въ посредники.

— Самое лучшее—брать людей, которые ничего не понимаютъ, нашла Надежда Сергѣевна, между тѣмъ какъ ея фантазія вертѣлась вокругъ ея камеристки Натальи.

Въ подобныхъ фантазіяхъ она заснула.

Въ эту же ночь, полковникъ Скворещенскій, не то чтобы скучающій, а такъ, ужъ спокойный въ своемъ двухнедѣльномъ блаженствѣ, соображалъ, что такъ какъ въ N* ему остается пробыть всего только еще двѣ недѣли, то можно, пожалуй, и продолжать это занятіе.

XI.

Наканунѣ новаго года, часовъ въ десять вечера, перекладная тройка подвезла Боровицкаго къ его дому. Ямщикъ долго стучалъ у воротъ, а Боровицкій долго звонилъ у подъѣзда, пока, наконецъ, имъ отворили.

— Чуть не заморозили, сказалъ Боровицкій, входя въ переднюю и узнавая при свѣтѣ огарка, что его встрѣчалъ поваръ: — гдѣ же всѣ?

— Да новый годъ встрѣчаемъ... тамъ... отвѣчалъ служитель, очевидно, бывшій не въ состояніи говорить толковѣе.

Комнаты были всѣ темны; издали, чрезъ корридоръ, виднѣлась освѣщенная дѣвичья и въ ней толпящіяся фигуры въ пару отъ самовару, въ дыму отъ папиросъ и въ пыли отъ прерванной пляски. Тамъ праздновала дворня и ея знакомые.

— Гдѣ Надежда Сергѣевна? Аграфена Петровна? спрашивалъ Боровицкій.

— Не знаю-съ.

— А, чортъ тебя возьми! Позови кого нибудь, дайте свѣчку! Гдѣ Маша?

— Папа! закричала она, выбѣгая на его голосъ и повисла ему на шею въ потьмахъ, потому что ошалѣлый поваръ, уходя, унесъ и огарокъ.

— Дайте огня! повторилъ Боровицкій.

Компанія разбѣгалась изъ дѣвичьей; только слышалось хлопанье сѣнныхъ дверей.

— Маша, милка моя... Да что-жъ это, въ самомъ дѣлѣ... Ты одна? Эй, нянька!

— Да здѣсь я, сударь, всѣ здѣсь; чего вы кричите, гнѣваетесь, сказала нянька, появляясь, наконецъ, со свѣчкой, и только при нѣкоторомъ усиліи разума, не поставивъ ее мимо стола.—Ужъ нельзя людямъ, право, и праздникъ Божій спраздновать, потому и воскресенье завтра, и новый годъ, одинъ въ году... взыски ваши. Чуть порогъ переступили...

— Ужинать, сказалъ Боровицкій.

— Да чего-жъ я вамъ подамъ? возразила она: — господа дома не кушали; для нея, вотъ, для одной, что-жъ было готовить...

Она показала на Машу.

— Такъ ты не ѣла? вскричалъ Боровицкій.

— Ѣла, отвѣчала запуганная дѣвочка, отходя подальше.

— Еще она станетъ взыскивать, да на всѣхъ спрашивать, начала нянька.

Боровицкому хотѣлось побить ее; онъ ее прогналъ, потомъ кликнулъ опять.

— Подайте самоваръ! сказалъ онъ.

— Еще домъ сожжешь, грѣть вамъ его... Полуночникъ! отвѣчала нянька и ушла.

Боровицкій отправился на поиски. Непьяныхъ въ домѣ оказались работница и пятнадцатилѣтній форейторъ, презираемые и потому отверженные аристократической компаніей няньки. Одной Боровицкій приказалъ грѣть самоваръ, другого отправилъ въ гостиницу за ужиномъ. Перспектива поѣсть

и согрѣться его успокоила. Онъ погасилъ вездѣ огни изъ предосторожности и отперъ свой кабинетъ.

— Ну, ступай сюда, Машурка, сказалъ онъ: — давно мы съ тобой здѣсь не сидѣли. Будемъ новый годъ встрѣчать вмѣстѣ; я велѣлъ принести конфектъ. А, славно здѣсь! Иди, моя дѣвочка, иди, моя красотка, поди, покажи мнѣ свои глазки.

Но онъ не узналъ этихъ глазокъ: они окружились темнымъ и были заплаканы; щечки были будто смяты, алый ротикъ пересохъ; прелестная дѣвочка смотрѣла цвѣткомъ, который, заброшенный, опустилъ листья.

— Ты больна, голубка моя? спросилъ отецъ.

— Нѣтъ... отвѣчала она, оглядываясь какъ-то дико, между тѣмъ какъ онъ повертывалъ къ себѣ ея личико.—Нѣтъ, не больна, повторила она, взглянувъ ему въ глаза, и вдругъ припала къ нему, схвативъ его ручонками за шею.

— Радость моя, душечка, что ты? спрашивалъ онъ, чувствуя, что она дрожитъ и рыдаетъ.

— Я... по тебѣ все скучала, выговорила она:—ахъ, зачѣмъ ты уѣзжалъ!

— Ну, вотъ и пріѣхалъ; ну, полно!

— Пріѣхалъ, пріѣхалъ, повторила она и стала креститься: — славу Богу! больше не уѣдешь?

— Не знаю.

— Не уѣзжай, я безъ тебя жить не могу.

— Но гдѣ-жъ твоя мать? спросилъ Боровицкій.

— Бабушка обѣдала у тети Зины, а мама не знаю у кого, тоже въ гостяхъ; сначала катались, потомъ обѣдали.

— Ну, а теперь?

— Теперь?.. Этого, папа, сказать нельзя.

— Какъ нельзя? Что ты, Маша? Мнѣ-то?

— Мнѣ не велѣли... Видишь, ты никому не проговорись; она въ маскарадѣ.

— Мать и тетка?

— Мама и бабушка.

— Бабушка? вскричалъ Боровицкій и захохоталъ.—Машурка, проказница, что ты? смѣешься надо мной?

— Нѣтъ, не смѣюсь, отвѣчала она серьезно и вдругъ захохотала звонко, какъ прежняя Маша. — Охъ, голубчикъ, охъ, уморительно!.. Пожалуйста, не сказывай никому; мнѣ не велѣли, и смѣяться не велѣли... Ты слушай: онѣ обѣ, мама и бабушка, воротились съ обѣда, надѣли черныя длинныя платья, черныя мантильи, черныя маски... Охъ, душка моя, папа, жизнь моя, какой на бабушкѣ капоръ съ бантомъ! Такая страшная, пищитъ не своимъ голосомъ...

— Но зачѣмъ же бабушка?..

— Мамѣ одной нельзя, и тетѣ Зинѣ нельзя, говорятъ—неприлично, потому что она предводительша... Но ты слушай. Никакъ бы ты ихъ не узналъ, когда онѣ нарядились. Онѣ прикололи себѣ розаны на груди, чтобы, говорятъ, другъ друга тамъ какъ-то не потерять... Какіе розаны, папа, милочка моя, когда бы ты видѣлъ! Вотъ, въ два моихъ кулачка, ангелы! Такіе у насъ съ тобой въ деревнѣ были, радость моя. Охъ, поѣдемъ въ деревню, возьми меня... отдай меня въ избу къ кормилкѣ, договорила она, вдругъ зарыдавъ послѣ смѣха.

— Что ты, дитя мое? спросилъ, испугавшись, Боровицкій.

— Дай ты мнѣ отдохнуть, сказала она сурово и нетерпѣливо, не по-дѣтски.—Хоть день одинъ. Я все одна. Меня забросили. Книги—ты эту комнату заперъ. Тамъ—все только платье мѣряютъ, гостей принимаютъ. Гости все дураки. Слова не скажутъ, чтобъ можно было послушать. Одинъ кукареку кричитъ, всѣхъ дразнитъ... Надоѣло мнѣ, увѣряю тебя, прибавила она со злостью, отъ которой дрогнулъ ея голосъ, изъ нѣжнаго, минутами, дѣлавшійся надорваннымъ и рѣзкимъ. — Я не учусь, я все забуду. Мнѣ цѣлый день скучно, цѣлый день!.. А ужъ вечеръ... Какъ зажгутъ тамъ лампу, ну, значитъ, и убирайся, куда хочешь, бери «Робинсона», да читай его въ двадцатый разъ; я его наизусть выучила...

— Зачѣмъ же ты не сидишь въ гостиной? прервалъ Боровицкій, пораженный какой-то догадкой.

— Что-жъ тамъ дѣлать, въ гостиной?.. Охъ, нѣтъ, что-жъ я жалуюсь! Стыдно, не хочу, не буду больше. Только уѣдемъ отсюда. Уѣдемъ!

— Уѣдемъ, уѣдемъ, сказалъ Боровицкій, раздумывая.—Такъ хороши розаны? Откуда-жъ такихъ достали?

— Скворещенскій привезъ, отвѣчала Маша, какъ-то презрительно.—Послушай, мнѣ скоро восемь лѣтъ; буду я исповѣдываться великимъ постомъ?

— Что тебѣ это вспомнилось? спросилъ онъ, удивленный и улыбаясь.

— Я знаю, грѣшно кого нибудь не любить. А я всѣхъ не люблю.

— Что ты, Маша, что съ тобой сдѣлалось?

Она положила свою прелестную головку на столъ и горько плакала.

— Э, полно, дурочка моя, умница моя, сокровище мое дорогое, сказалъ онъ, разобравъ ея волоски и цѣлуя ея тоненькую шейку.— Чего не выдумаетъ!.. Перестань, вставай; вотъ ужинать принесли, давай сами накрывать на столъ. Чрезъ полчаса новый годъ; что его слезами встрѣчать? Ну, поплакала безъ меня, поскучала—и прошло. Прошло?

Она обняла его рученками.

— Когда ты тутъ, такъ, пожалуй, все прошло, сказала она, вздохнувъ и улыбнувшись.

— Вѣдь этакая милка эта дѣвчонка! Ну, садись, давай ѣсть. Признавайся, ты голодна?

— Нѣтъ, отвѣчала она, хотя ея аппетитъ доказывалъ другое.

— Вотъ, вмѣстѣ годъ встрѣчаемъ, а завтра вмѣстѣ съ визитомъ поѣдемъ, продолжалъ Боровицкій:—я тебя познакомлю. Здѣсь есть одна чудесная, милая дѣвушка, и у нея молоденькая сестрица; тебѣ будетъ весело съ ними. Помнишь, я рисовалъ головку? Вотъ она. Журналовъ выпишемъ съ тобой, гравюръ, подожди только...

Часы начали бить двѣнадцать. Маша перекрестилась.

— Ну, съ новымъ годовъ! сказалъ отецъ, между тѣмъ какъ она его цѣловала, ужъ веселенькая.—И спать пора, я усталъ, ты тоже. Пойдемъ искать кого нибудь, чтобъ тебя уложили.

— Я одна, папа; только посвѣти мнѣ.

Онъ вошелъ за ней въ дѣтскую. Тамъ никого не было, такъ же какъ и во всемъ домѣ. Безпорядокъ въ дѣтской былъ поразительный; это была какая-то складочная; на стѣнѣ качались крахмальныя юбки Надежды Сергѣевны; столъ, окна, шкафы были завалены пожитками няньки; постелька Маши была измята.

— Я разберусь тутъ; прощай, папа, сказала Маша.

Боровицкій воротился къ себѣ, остановился среди комнаты и сжалъ руки.

— Что-жъ это такое? сказалъ онъ громко.

У Надежды Сергѣевны немного упало сердце, когда, возвратясь часа въ три ночи, она увидѣла въ углу прихожей чемоданъ мужа.

— Il est arrivé, maman, сказала она своей подругѣ, тяжело дышавшей въ шубѣ и маскѣ.—Я пришлю вамъ пудры, вы освѣжите лицо. Merci, chère maman.

Онѣ разошлись, каждая къ себѣ. Надежда Сергѣевна занялась въ будуарѣ прежде всего освѣженіемъ и натираньемъ разными разностями своего лица, между тѣмъ какъ Наталья, успѣвшая отдохнуть отъ встрѣчи новаго года, дожидала въ почтительномъ отдаленіи.

— Когда пріѣхалъ Григорій Николаичъ? спросила Надежда Сергѣевна, глядясь въ зеркало.

— Ужъ давно. Они съ барышней у себя въ кабинетѣ до двѣнадцати часовъ сидѣли.

— Съ Машенькой?

— Да-съ.

Надежда Сергѣевна нахмурилась.—«Если эта дѣвчонка болтала»... подумала она и рѣшилась.

— Подожди, сказала она Натальѣ.

Въ послѣднее время Надеждѣ Сергѣевнѣ случалось писать записки къ свѣтскимъ пріятельницамъ, а потому на письменномъ столѣ завелись бумага и чернила. И письменный столъ нѣсколько измѣнилъ свой видъ. Правда, новыя фарфоровыя вазочки съ амурчиками, курильницы, позолоченная пепельница и прочее были всѣ изъ N-скихъ лавокъ, но смотрѣли все-таки наряднѣе прежде запыленныхъ убранствъ; къ тому же они были дороги сердцу Надежды Сергѣевны: это были все «угаданныя желанія». Она присѣла къ нимъ и написала:

«Bonjour, bon an, mon amour chéri!» Мы захвачены врасплохъ: le monsieur воротился. Я, конечно, сдѣлаю ему реверансъ, потому что люблю только тебя...»

Надежда Сергѣевна остановилась: это было слишкомъ игриво. Не такъ должна писать женщина, которая... словомъ, женщина... Она изорвала и принялась снова.

«О н ъ воротился. Вотъ что готовилось мнѣ въ ночь новаго года! Нѣсколько мгновеній назадъ, я была съ тобой, ты улыбался мнѣ, я была счастлива! О prends garde, prends garde, mon Paul bien aimé! Дѣло идетъ о твоей и моей жизни! Сказать тебѣ, что я чувствую, когда о н ъ, этотъ человѣкъ, тутъ спитъ подъ одной со мной кровлей... oh, c'est la torture de l'enfer!.. Думай обо мнѣ, чтобъ я могла пережить... A jamais à toi. N.»

— Вотъ... сказала Надежда Сергѣевна, сбираясь печатать, и опять остановилась.— Онъ, пожалуй, не пойметъ... подумала она и приписала:

«Пріѣзжай завтра просто съ визитомъ; дальше—условимся. Скажи Малѣеву, чтобъ не пріѣзжалъ. Привези конфектъ pour la petite».

— Вотъ, повторила Надежда Сергѣевна: — завтра, чѣмъ-свѣтъ... нѣтъ, чѣмъ-свѣтъ нельзя; часовъ въ восемь, отнеси это въ гостинницу Орлова; спроси въ двѣнад-

цатомъ нумерѣ... слышишь, въ двѣнадцатомъ нумерѣ?

— Это полковникъ? отвѣчала Наталья:— знаю-съ. Позвольте только, кто мнѣ про него сказывалъ...

— Мнѣ нѣтъ дѣла, кто тебѣ сказывалъ, прервала Надежда Сергѣевна: — отнеси и самому отдай. Вотъ. Ахъ, да, прибавила она спохватясь: — что-жъ ты не поздравляешь меня съ новымъ годомъ?

— Честь имѣю поздравить, отвѣчала Наталья, принимая записку: — съ новымъ счастьемъ.

— То-то же. И я тебя поздравляю. На, возьми... Да одѣньте завтра Машеньку.

Надежда Сергѣевна достала изъ бархатнаго портмоне, полученнаго въ подарокъ по утру, трехрублевую и подала камеристкѣ. Та, усмѣхаясь, поцѣловала ручку и пошла въ спальню за барыней, которая еще оглянулась въ зеркало, чтобъ унести впечатлѣніе самой себя въ черномъ домино, съ завялой розой на груди.

Утромъ Маша поднялась веселенькая и очень удивилась, увидя, что нянька убираетъ комнату, а на столѣ, у ея постельки, разложенъ на скатерти огромнѣйшій крендель съ изюмомъ.

— Здравствуй, сударыня, съ новымъ годомъ, сказала нянька, подходя цѣловаться, чего не дѣлала ужъ такъ давно, что Маша забыла, когда это бывало. — Вотъ тебѣ гостинчикъ, не побрезгуй; гордая стала, все окрики даешь. Что, небось, много своему папашѣ вчера шу-шу-шу въ уши про всѣхъ наплела?

— Что ты, няня...

— Нѣтъ? то-то, нѣтъ. За это Богъ убьетъ; вонъ, прочти-ка въ своей книжкѣ, за сплетки да пересказы... Тебѣ люди добра хотятъ, а ты пойдешь... Смотри-жъ, чтобъ съ новаго года и въ умѣ у тебя не было!

Наталья, ужъ воротившаяся изъ своего похода, бережно внесла пышно-разглаженную розовую шелковую юбочку и вышитый кисейный лифчикъ, о существованіи которыхъ Маша начинала забывать.

— Съ новымъ годомъ васъ поздравляю, барышня, сказала она необыкновенно учтиво. — Извините, что съ пустыми руками; вотъ уберусь, сбѣгаю... А ужъ какой, нянюшка, нашей барышнѣ красавицѣ суприсъ сегодня будетъ! Ей-Богу, сама видѣла...

— А ты болтай больше, сурово прервала нянька.

— Я не хочу этого платья, сказала Маша, которой стало чего-то совѣстно и чего-то страшно при этихъ двухъ особахъ, такъ внезапно ласковыхъ.

— Что вы, красавица? вскричала Наталья:—маменька приказали безпремѣнно, къ двѣнадцати часамъ, какъ онѣ встанутъ...

— Папа всталъ? прервала Маша.

— Папенька-то что; онъ давно...

Маша, молча, потянула со стула свой вчерашній капотикъ; нянька подала его молча. Наталья глядѣла на это одѣванье, не то смѣясь, не то удивляясь. Маша не сказала ни слова и ушла.

— Зелье! сказала нянька: — ну, теперь, мамашенька держи ухо востро, да что заварила, расхлебывай... Какой же ей суприсъ?

— При мнѣ камердинера посылалъ, а я съ нимъ дошла до кондитерской; корзинку какую-то...

Боровицкій нетерпѣливо ждалъ, когда проснется жена; узнавъ, что она, наконецъ, проснулась, онъ просилъ позволенія войти и не получалъ его до двѣнадцати часовъ. Тогда Наталья появилась на порогѣ кабинета и произнесла:

— Барыня можетъ васъ принять.

— Останься здѣсь, Маша, сказалъ онъ, раздосадованный ожиданіемъ и еще больше видомъ распомаженной камеристки.

Онъ вошелъ. Наталья впрыгнула въ кабинетъ и подхватила Машу.

— А я красавицу унесу, унесу наряжать, вскричала она, заставляя оторопѣлую дѣвочку выпустить изъ рукъ книжку: — что все книжки? отъ нихъ глазки краснѣютъ, а вотъ, нынче гости пріѣдутъ...

Боровицкій вступилъ въ будуаръ. Сторы были спущены. Надежда Сергѣевна кушала ракаутъ, полулежа на кушеткѣ; алая туфля виднѣлась изъ-подъ складокъ бѣлаго пеньюара; на золоченой пепельницѣ дымилась пахитоска. Боровицкій захохоталъ.

— Метаморфоза на новый 1850 годъ! вскричалъ онъ.

Надежда Сергѣевна, не шевелясь, подняла на него глаза, желая изобразить изумленіе свѣтской женщины, при неприличной выходкѣ въ ея салонѣ; не достало только свѣтскаго равнодушія: отъ школьничьяго, злого хохота мужа, у Надежды Сергѣевны пошли по лицу красныя пятна.

— Не узнаю моей супруги! продолжалъ онъ, показывая одной рукой на чашку, другой на пахитоску.

— Что-жъ это такъ васъ удивляетъ? спросила Надежда Сергѣевна, стараясь говорить равнодушно.

— Что меня удивляетъ? повторилъ Бо-

ровицкій, вспыхнувъ: — что меня удивляетъ? То, что я, хозяинъ дома, вчера, измученный, усталый, скачу сломя голову, чтобъ встрѣтить годъ въ семьѣ, и застаю пустырь, содомъ: жена сбѣжала, теща старая — и та сбѣжала, ребенокъ...Не прибрано, не убрано...

— Позвольте, вы зачѣмъ ѣхали? прервала Надежда Сергѣевна презрительно.

— Я сказалъ русскимъ языкомъ: новый годъ...

— Я слышала. Нѣтъ, къ кому?

— Къ моей женѣ, къ дочери...

— Ха-ха-ха! вскричала Надежда Сергѣевна.—У васъ есть жена? у васъ есть жена? Вы имѣете дерзость говорить, что у васъ есть жена? повторила она, вскакивая съ кушетки и вспоминая, что разгнѣванныя женщины прядаютъ, какъ тигрицы.—Вы... Allez lire cette belle composition à votre maîtresse, monsieur, et délivrez moi de votre présence! закричала она скороговоркой, бросая ему конвертъ съ его посланіемъ къ ней, приготовленный подъ подушкой на кушеткѣ.— Vous êtes la fable de la ville, monsieur! Une femme qui se respecte ne peut plus s'appuyer sur votre bras! Sortez!

Она картинно подняла руку съ протянутымъ пальцемъ и указала на дверь.

— Нѣтъ, позвольте-съ, возразилъ Боровицкій по-русски, схвативъ ее безъ церемоніи и возвращая съ половины комнаты на кушетку.—Извольте объясниться.

Ему вздумалось играть хладнокровно.

— Это кто же моя maîtresse? почему я сказка вашего города?

— Деневская!

— Ахъ, ты... началъ было онъ, двинувъ стуломъ.

— Au secours! вскричала Надежда Сергѣевна.

— Успокойтесь. Сидите, сидите... Это опять за прежнее? Не стыдно? не совѣстно? Клеветать на дѣвушку!..

— Ха-ха-ха, клеветать! Le mot est joli! Et vous avez le front...

— Уйметесь ли вы съ фразами? Отвѣчайте...

— Допросъ? возразила она гордо.

— Да, да, да, допросъ! Какъ вы не подумаете, что ваша глупая ревность...

— Oh, monsieur Боровицкій, я не ревную! Я не дѣлаю этой чести ни вамъ, ни этой особѣ! Je vous méprise. Но я оскорблена и въ правѣ...

— Докажите, на чемъ вы основываете...

— Ха-ха-ха, доказать! Eh bien, monsieur, il y a des preuves!

— Какія?

— Вы къ ней писали.

Боровицкій на секунду смутился.

— Что? И это клевета? И я еще не въ правѣ...

— Вы читали? прервалъ онъ.

— Нѣтъ. Я могла бы сказать, что читала, но я никогда не обманывала. Нѣтъ. Я слышала.

— Отъ кого?

«Онъ, пожалуй, побьетъ Малѣева», сообразила въ секунду Надежда Сергѣевна и отвѣчала громко:

— Отъ всѣхъ.

— Отъ кого?

— Отъ всѣхъ, отъ всѣхъ! спрашивайте всѣхъ!

— Дураковъ-то? и васъ съ ними? сказалъ онъ, засмѣявшись.

— Monsieur!

— Да, всѣ дураки, всѣ безъ исключенія! Умные люди подобнымъ вздоромъ пренебрегаютъ...

— Вздоромъ? Vous bravez l'opinion publique? Вамъ докажутъ, что это не вздоръ! Ваша Деневская никуда носа не покажетъ, ее не примутъ.

— Въ такомъ случаѣ, ты, Надя, сегодня же сдѣлаешь ей визитъ, сказалъ Боровицкій спокойно и внушительно.

Надежда Сергѣевна онѣмѣла отъ удивленія.

— Если общество такъ безумно и такъ зло, что осмѣливается предполагать не знаю что въ обыкновенныхъ отношеніяхъ,—честная женщина обязана открыть ему глаза и оправдать другую...

— C'est le comble! вскричала Надежда Сергѣевна: — предлагать мнѣ ѣхать къ вашей...

— Молчать! вскричалъ Боровицкій: — не договаривай, или я за себя не отвѣчаю!.. Такъ ты вѣришь этимъ низостямъ? Такъ я, потвоему...

— Вѣрю, отвѣчала она.

— Ну, вѣришь... Послушай, Надя, мое положеніе ужасно! Съ того несчастнаго вечера...

— Съ какого это?

— Ну, съ бала въ собраніи, когда ты...

— А!.. Это когда нашли у васъ ея портретъ? Eh bien!

— Надя, это ужасно! Съ того несчастнаго вечера, скажи мнѣ, что я въ домѣ? Что такое сдѣлался этотъ домъ?

— Какъ что сдѣлался? Развѣ я стыжу этотъ домъ, милостивый государь? Я? Какъ

вы смѣете говорить это о вашей женѣ? Какой поводъ...

— Надя, я ничего не говорю!

— Нѣтъ, вы говорите, вы укоряете...

— Въ безпорядкѣ, Надя; стыдно! Что это, взгляни, ради Бога!..

— Quelque gaucherie de laquais, quelque désordre de cuisine... и изъ этого дѣлать преступленіе женѣ...

— А Маша?

— Что Маша? Вы смѣете меня упрекать этой дѣвочкой? Маша! je suis sa mère, monsieur; вы забываете вашъ долгъ, но я его не забываю! Что Маша? развѣ она...

— Ты ее съ горничными забросила!

— Когда? это, что вчера вы застали ее одну? Она дурно вела себя, я ее наказала и оставила дома. Je sais ce que je dois faire. Я имѣю право, я думаю, оставить наказаннаго ребенка...

— А сама ты гдѣ была? спросилъ Боровицкій, скрестя руки и глядя на нее испытующимъ взоромъ.

— У моей сестры! отвѣчала Надежда Сергѣевна.—J'avais ma mère près de moi, monsieur!

— У сестрицы? Для какого же огражденія нужна тамъ была маменька? спросилъ Боровицкій, самымъ ядовитымъ тономъ, какимъ съумѣлъ, не раскладывая рукъ, не сводя испытующаго взора и покачивая головою.—Но... такъ и быть!.. рѣшилъ онъ послѣ паузы.—Торжественно говорю: я тебѣ вѣрю, но и ты должна вѣрить мнѣ. Взаимное довѣріе—вотъ единственное, что можетъ спасти нашу жизнь. Прошедшее—забыто и прощено. Я хочу порядка, я хочу тишины въ этомъ домѣ. Мы обдумаемъ на досугѣ, когда оба будемъ спокойнѣе, нашъ образъ жизни и наши свѣтскія отношенія. Я позволяю тебѣ принимать твоихъ знакомыхъ, но ты поѣдешь къ Деневской...

— Никогда! вскричала Надежда Сергѣевна.—О, никогда! повторила она, догадываясь, что можно кончить только нервнымъ припадкомъ.—Vous n'avez donc pas l'idée... Mais le coeur d'une femme, monsieur... O, Grégoire, je t'ai donc aimé! Ужъ если ты не можешь, если ты ее такъ любишь... но не принуждай меня, c'est au dessus de mes forces!..

— И мнѣ нуженъ не маленькій запасъ силъ... проговорилъ Боровицкій сквозь зубы, шагая по комнатѣ, между тѣмъ какъ Надежда Сергѣевна рыдала, выглядывая на него изъ-за подушки.—Довольно! Вижу, намъ счастья не воротить, ты успокоиться не можешь... Будемъ, по крайней мѣрѣ, друзьями. Дай руку!

Она подала ее, приподнимаясь и закрывая лицо платкомъ. Боровицкій наклонился и напечатлѣлъ легкій поцѣлуй на ея лбу.

— Oh!.. простонала Надежда Сергѣевна.

Боровицкій стремительно вышелъ; ему встрѣтилась Маша.

— Поди къ матери... сказалъ онъ ей, уходя дальше.

Маша нашла свою мать съ круглымъ зеркаломъ въ рукахъ, за поправкой поврежденій, которыя сильная сцена произвела въ ея прическѣ и лицѣ. Надежда Сергѣевна приказала Машѣ идти вонъ и позвать бабушку. Маша исполнила то и другое и потомъ не знала куда дѣваться: мать запретила ей къ себѣ возвращаться, отецъ заперся въ кабинетѣ, нянька прогнала изъ дѣтской, подъ предлогомъ, что нарядной барышнѣ надо сидѣть съ гостями. Гостей еще не было, но Маша усѣлась въ гостиной одна, пока маменька совѣщалась съ бабушкой въ будуарѣ.

— Что ты тутъ сторожишь? сказала ей бабушка, выходя оттуда.

Бабушка унесла подъ своей французской шалью нѣсколько вещей подороже и позамѣтнѣе, изъ новыхъ, со стола Надежды Сергѣевны, и спрятала ихъ у себя въ комодѣ подъ ключъ. Возвращаясь въ парадныя комнаты, она встрѣтилась съ Боровицкимъ.

— Сюрпризъ сдѣлали, что пріѣхали, сказала она необыкновенно дружелюбно.—Я вчера закозырялась у Зиночки, сегодня заспалась; Машенька ко мнѣ влетаетъ радость свою объявить: отецъ воротился. Хорошо съѣздили?

— Я еще не кончилъ дѣла; я пріѣхалъ такъ, отвѣчалъ задумчиво Боровицкій, глядя на нее и воображая, какой контрастъ онъ составляетъ съ этой старухой.

— Не кончили? опять поѣдете? Поѣзжайте, поѣзжайте! Нельзя, казенное дѣло. Польза ваша. Мы тутъ у Зиночки часто бываемъ, безъ васъ.

— Я думаю, Зиночкинъ супругъ не очень меня добромъ поминаетъ; я его пріятеля, Кореваева, надѣюсь упечь, куда слѣдуетъ. Петру Иванычу будетъ не по сердцу.

Аграфена Петровна отвернулась, усмѣхаясь презрительно, и махнула рукою въ сторону.

— Ну, ужъ Петръ Иванычъ! когда ему что по сердцу? сказала она:—я, вотъ, теперь, поближе эту барскую спѣсь посмотрѣла; такъ, право, согласишься съ вами. Нѣтъ, ужъ вы поѣзжайте, кончайте.

— Уѣду-съ, отвѣчалъ Боровицкій.

Аграфена Петровна не выдержала и сочла нужнымъ уязвить, въ свою очередь.

— Развѣ какія собственныя личныя дѣла васъ задержатъ, а то не вижу, что бы такое могло, сказала она: — живописью, можетъ быть, опять займетесь?

— Нѣтъ-съ, не живописью, а, можетъ быть, литературой, отвѣчалъ Боровицкій, начиная внутренно хохотать и спрашивать себя, почему бы ему иногда и не позабавиться надъ тещей.

Надежда Сергѣевна вошла, элегантная. Боровицкому въ первую минуту она показалась противна, потомъ смѣшна, и онъ продолжалъ вести разговоръ, какъ уже началъ его съ тещей, въ отрицательно-ироническомъ тонѣ. Сначала, это какъ будто покоробило дамъ, потомъ, вдругъ, будто сговорясь, онѣ стали обращаться съ такой уничтожающей величавостью, что привели Боровицкаго въ еще болѣе веселое и насмѣшливое расположеніе духа. Пріѣзжали гости. Боровицкій вздумалъ держаться въ сторонѣ, наблюдателемъ, время отъ времени утѣшая себя легкимъ сарказмомъ и не замѣчая, что никого имъ не поражаетъ. Онъ удостоилъ обойтись привѣтливо только съ Скворещенскимъ, потому что Боровицкому, въ его настоящемъ настроеніи, только Скворещенскій показался человѣкомъ, держащимся порядочно.

— Салонъ у моей жены! сказалъ онъ, послѣ рукопожатія: — я падаю съ неба отъ удивленія. Какъ просидишь мѣсяцъ въ избѣ, такъ все это кажется еще больше дико.

— Вы совсѣмъ домой? спросилъ Скворещенскій.

— Нѣтъ. Бросилъ, вырвался на нѣсколько дней; авось не все тамъ безъ меня погибнетъ. Покуда здѣсь прячусь отъ начальства. Проведемте день вмѣстѣ, оставайтесь у насъ обѣдать.

Но Скворещенскій отказался. Надежда Сергѣевна, у которой дрогнуло сердце при его приходѣ, сдѣлалась опять развязна и привѣтлива съ гостями, хотя съ легкимъ оттѣнкомъ меланхоліи. Когда всѣ разъѣхались, она объявила матери:

— Maman, я ѣду обѣдать къ Зинѣ; она непремѣнно звала, вы помните, вчера. Она обидится...

— Развѣ недовольно причины, что я пріѣхалъ? спросилъ Боровицкій. — Впрочемъ, что-жъ, я не требую...

— Да и требовать не имѣете права, произнесла, въ видѣ сентенціи, Аграфена Петровна.

Надежда Сергѣевна ушла обѣдать къ Скворещенскому.

Обѣдая втроемъ съ тещей и Машей, Боровицкій былъ озаренъ внезапной выдумкой. Выдумка была такъ пріятна, что онъ едва воздерживался отъ хохота; ее внушилъ разстроенный видъ почтенной дамы: маскарадная усталость давала себя знать. Едва кончивъ обѣдъ, Аграфена Петровна ушла спать. Боровицкій сказавъ, что усталъ съ дороги, отослалъ Машу, но не легъ, а занялся исполненіемъ своей выдумки: сочиненіемъ объясненія въ любви Аграфенѣ Петровнѣ отъ неизвѣстнаго, прельстившагося ею въ маскарадѣ. Еслибъ Аграфена Петровна вздумала, по своему обычаю, послушать у двери зятя, она услышала бы, что онъ хохоталъ одинъ-одинехонекъ, какъ съумасшедшій. Сочинивъ, запечатавъ, Боровицкій побѣжалъ съ своимъ письмомъ на улицу. Было ужъ темно. У гостиницы Орлова, какъ всегда, стояли нѣсколько извозчиковъ.

— Отвези въ домъ къ Боровицкимъ, сказалъ онъ одному изъ нихъ.

Изъ дверей гостиницы, въ эту минуту, вышла дама, сѣла въ сани и уѣхала, но Боровицкій не обратилъ на нее вниманія, также какъ и на то, что его посланный поѣхалъ съ ней по той же дорогѣ. Боровицкій промедлилъ немного, потомъ пошель тихо домой, гдѣ узналъ, что Надежда Сергѣевна воротилась отъ сестры. Все было темно, всѣ отдыхали.

«Никуда не поѣду, дождусь, что будетъ», подумалъ Боровицкій, ложась на свой диванъ.

Онъ мечталъ о своей шалости, жалѣя, что нельзя ни спросить о ней, ни поторопить ее; ничто другое его не заботило. Отъ скуки долго ждать, онъ разсчитывалъ, что можно бы, покуда, съѣздить къ Деневскимъ.

— Что такое толкуютъ о моемъ письмѣ къ ней? вдругъ подумалъ онъ:—какъ узнали?.. Просто, она, можетъ быть, сама сказала кому нибудь изъ знакомыхъ. Вотъ и все, а Надежда Сергѣевна приплетаетъ ко всему свои глупости... Или и то: родители не обидѣлись ли, что я написалъ? Вѣдь всякія есть понятія: чего добраго, можетъ быть, злятся. Ну, и чортъ съ ними. Я къ нимъ не поѣду, по крайней мѣрѣ сегодня. Отдохнуть хоть какъ нибудь...

Но позабавиться ему не удалось. Когда проснулась теща, онъ услышалъ крики и допросы, затѣмъ клятвы Натальи, что она, какъ только впустила барыню, ту минуту опять позвонили, она опять отворила, и извозчикъ

привезъ... Боровицкій рѣшилъ, что теперь ему можно вступиться, слѣдовательно, потѣшиться.

— Что за шумъ, безпорядокъ? спросилъ онъ, появляясь у дверей комнаты тещи:— какой извозчикъ? Что привезъ извозчикъ?

— Мертвое тѣло привезъ, отвѣчала Аграфена Петровна и захлопнула свою дверь ему подъ носъ.

Дальнѣйшаго объясненія не было; старуха была зла, но молчала, и затѣя Боровицкаго пропала даромъ. Онъ провелъ слѣдующій день, какъ и этотъ, не выѣзжая никуда и «прячась отъ начальства», воображая, что губернаторъ еще не знаетъ о его пріѣздѣ. Надежда Сергѣевна стала сбираться куда-то на вечеръ. Боровицкій подумалъ, что надо бы съѣздить къ Деневскимъ. Хотя ни жена, ни теща больше не напоминали о письмѣ, но поѣздка къ Деневскимъ, гдѣ необходимо слѣдовало бы узнать вѣрнѣе эту исторію, начала казаться ему неловка и непріятна.

«Авось не примутъ», подумалъ онъ, отправляясь однако.

Его, точно, не приняли и онъ зналъ, что всѣ дома, даже слышалъ голоса хозяевъ изъ глубины темныхъ комнатъ.

— Сердиты...Спросить бы Гравина, мелькнуло въ головѣ Боровицкаго: — но гдѣ теперь его сыщешь?.. А можетъ быть, и просто родительскій капризъ—замуроваться въ святочный вечеръ. Такъ вѣрнѣе...

Сообразивъ, что и ему самому предстоитъ тоже скучный вечеръ, Боровицкій пошелъ въ театръ. Воротясь домой, онъ засталъ жену за ужиномъ съ Скворещенскимъ, въ ея будуарѣ.

— Милости просимъ, сказалъ Скворещенскій, подвигая ему стулъ: — садитесь, да поужинайте. Надежда Сергѣевна устала на вечерѣ и вздумала пораньше воротиться.

— А m-r Скворещенскій вызвался меня проводить, прибавила Надежда Сергѣевна.— Мы думали, ты дома, Grégoire. А вообрази, маменька ужъ спитъ! Маша насъ все здѣсь забавляла.

Боровицкій взглянулъ на нихъ; ему вдругъ стало особенно скучно, тяжелой, гадкой, давящей скукой, въ которой какъ-то не говорится ни слова; пошлость, которую сейчасъ только онъ видѣлъ на сценѣ, то, что было предъ нимъ въ настоящую минуту — все какъ-то мѣшалось въ головѣ; голова не думала, сердце ныло... Онъ присѣлъ къ столу; жена положила ему чего-то на тарелку; онъ машинально сталъ ѣсть, машинально замѣчая, что кушанье взято изъ гостиницы. Вино стояло въ корзинѣ, на полу, подлѣ кушетки; Скворещенскій нагнулся за бутылкой, налилъ стаканы и особенно дружелюбно болталъ безъ умолку.

— Ну, убирайтесь оба, я спать хочу, сказала наконецъ Надежда Сергѣевна.

Скворещенскій пожалъ имъ обоимъ руки и ушелъ. Боровицкій еще сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, молча оглядываясь, самъ не зная, что дѣлаетъ и чего хочетъ. Надежда Сергѣевна подошла къ нему, игриво закинула ему волосы назадъ и поцѣловала его въ лобъ.

— Je t'aime ainsi, сказала она.

— Что?.. сказалъ Боровицкій громко, какимъ-то не своимъ голосомъ, скинулъ съ себя ея руки, всталъ и ушелъ.

«Ну, такъ что же? Мнѣ какое дѣло? Вѣдь я ея не люблю, — я ея не люблю, такъ не все ли равно?..» спрашивалъ онъ себя, ломая пальцы, идя въ свой кабинетъ и потомъ мѣряя шагами этотъ кабинетъ до заутрень...

XII.

Третьяго января, довольно рано утромъ, въ домъ Боровицкихъ вошли два посѣтителя. Одинъ изъ нихъ, квартальный, былъ введенъ въ залу и о немъ побѣжали увѣдомить старую барыню, которую онъ спрашивалъ. Другой, камердинеръ Скворещенскаго, явился съ задняго крыльца и вручилъ Натальѣ записочку, которую она побѣжала отдать молодой барынѣ. Записочка была, конечно, безъ подписи; въ ней извѣщали, что получено предписаніе, заставляющее полковника немедленно возвратиться въ Петербургъ.

«Чрезъ два дня выѣду», заключалъ онъ.

Наталья подала стаканъ воды въ постель своей барынѣ. Въ залѣ старую барыню отпаивали водой лакеи, оттирала другая горничная, окуривала перьями нянька. Аграфена Петровна была не безъ чувствъ, но металась на стулѣ, сжимая въ рукахъ листокъ желтоватой бумаги въ четвертку, между тѣмъ какъ квартальный стоялъ у двери и ожидалъ.

— Ужъ ступай ты, батюшка, сказала ему нянька:—тутъ не до тебя.

— Убилъ, убилъ, повторяла Аграфена Петровна:—убилъ, а самъ спитъ.

Это относилось къ Боровицкому. Онъ, дѣйствительно, спалъ, но проснулся на крики и былъ пораженъ, когда узналъ ихъ при-

чину. Первое утреннее впечатлѣніе дополнило послѣднее вчерашнее.

— Лоскутовщина... Надеждинское!.. выговорила Аграфена Петровна, показывая ему желтый листокъ.

Продажа Лоскутовщины съ аукціона назначалась пятаго января.

— Да вѣдь вы же хотѣли внести проценты, проценты! стонала несчастная старуха: — вѣдь вы Зиночкѣ обѣщали! Вы на образъ клялись! Суму надѣлъ! убилъ!

— Но у меня гроша не было... возразилъ Боровицкій.

— Вы капиталъ имѣете отъ дядюшки вашего милліонера, вы жалованье получаете... А я, старуха, старуха... куда я свою голову дѣну?

Она билась о стѣны этой жалкой головой; ея плачъ слышался по всему дому.

Испуганная Маша сидѣла у себя.

— Вотъ тебѣ и твоя кормилка! сказала ей нянька, входя съ извѣстіемъ:—и сестрицы твои распрекрасныя! Кому-то онѣ послѣзавтра достанутся? Нѣтъ, погоди, другой баринъ не станетъ баловать... Да и мы всѣ отъ васъ уйдемъ; только насъ и видѣли...

Къ слезамъ бабушки прибавились и слезы Маши. Надежда Сергѣевна проливала свои одиноко, въ спальнѣ; мать пошла къ ней туда. Боровицкій ходилъ взадъ и впередъ по залѣ и все сбирался собраться съ мыслями. Онъ. впрочемъ, зналъ, что никакой думой не поможешь и денегъ взять не откуда. Мысль о женѣ выбивала изъ головы соображенія, едва они какъ нибудь складывались. Онъ самъ не зналъ, что чувствовалъ. Ему только очень опредѣленно не хотѣлось видѣть жены; онъ даже вздрогнулъ, услыша стукъ двери.

Воротилась теща, расплаканная, дрожащая, но менѣе огорченная; огорченіе уже смѣнялось гнѣвомъ.

— Григорій Николаичъ, начала она:—я, всего, всего лишена! по вашей милости, могу сказать...

— Ради Бога, почему-жъ по моей милости?

— Вы не хотѣли внести!

— Вѣдь надо было чѣмъ нибудь жить...

— Вы на всемъ готовомъ жили, Григорій Николаичъ! Вы вашей дочери покупали кашемиры, вы тамъ все... ну, да Богъ вамъ судья, какъ хотите! Куда хотите, кому хотите отдавайте ваши деньги, но теперь-то меня спасите! Мнѣ, вѣдь, не побираться идти. Вамъ же стыдъ, что ваша теща подъ окнами будетъ... вы—человѣкъ большого круга, левъ такой...

— Ну, это, сдѣлайте милость, въ сторону. Что-жъ я сдѣлаю? Я могу только взять свое жалованье—я не бралъ за мѣсяцъ—но этого мало...

— Вотъ, видите, вы и жалованья не брали, значитъ, вы не нуждались. А вѣдь я нищая буду, Григорій Николаичъ.

— Пусть Надежда Сергѣевна съѣздитъ къ Черемышевымъ...

— Надежда Сергѣевна? Все жена кланяйся? А сами вы не можете?.. Эхъ!.. Я, Григорій Николаичъ, не безсовѣстная: я грѣхомъ сочту Зиночкиныхъ дѣтей обирать, послѣднее съ нихъ тащить, съ «Черемышевыхъ», какъ вы выразились. Они мнѣ внуки, Черемышевы; онѣ мнѣ, вотъ, гдѣ...

Аграфена Петровна указала на горло.

— Вы-то ужъ не можете этого сдѣлать для меня, послѣдняго? гроша вамъ не будетъ стоить. Губернатора вашего попросить, чтобъ какъ нибудь...

— Что же «какъ нибудь»?

— Нельзя? нельзя? и этого нельзя? повторила, вскочивъ, старуха: — и это ужъ вамъ тяжело? Вамъ молчать, что вы неизвѣстно съ кѣмъ связались, портреты пишете — вонъ куда капиталы ваши летятъ. Знаемъ, знаемъ-съ! Небось, на бальныя платья передарили...

— Кто выдумалъ эти мерзости? вскричалъ, внѣ себя, Боровицкій: — какъ у васъ языкъ поворачивается? Вы, стало быть, знаете, видали, какъ дарятъ на бальныя платья? видали? говорите! Сейчасъ говорите, кто даритъ, кому?

— Батюшки мои... закричала Аграфена Петровна, спасаясь въ корридоръ. — На, вотъ, злодѣй! продолжала она, схвативъ и толкая впередъ подвернувшуюся Машу: — на, пусти ее по-міру, умори ее съ голоду! Дай Богъ тебѣ въ ней такую-жъ радость увидать...

— Папа... выговорила чуть живая Маша.

— Одѣваться мнѣ! закричалъ, уходя, Боровицкій.—Маша, это только для тебя!

Черезъ нѣсколько минутъ онъ ѣхалъ къ губернатору, самъ не зная зачѣмъ; было очевидно нелѣпо просить что-то «удержать», отъ чего-то «избавить». Тутъ только вспомнилъ Боровицкій, что, стало быть, имѣніе уже описано. Когда же успѣли? Вѣроятно, все въ теченіе этого послѣдняго мѣсяца... А хозяйка и не знала!

— О, пустодомство! рѣшилъ Боровицкій.

Черезъ часъ, который Аграфена Петровна провела съ дочерью въ планахъ, предположеніяхъ, слезахъ, заклятіяхъ, перебранкахъ

и надеждахъ, послышался звонокъ возвращавшагося Боровицкаго. Аграфена Петровна выбѣжала къ нему навстрѣчу.

— Ну, что, батюшка? спросила она и дружелюбно, и кисло, и преувеличенно горестно.

— Ничего. Я уволенъ отъ должности, отвѣчалъ Боровицкій и прошелъ въ кабинетъ.

Дѣйствительно, такъ случилось. Полугинъ встрѣтилъ своего чиновника грозой за самовольный пріѣздъ и вообще за «безпорядное, неправильное, пристрастное» и прочее, веденіе дѣла. Увольненіе Боровицкаго было подписано еще наканунѣ; для Боровицкаго стало ясно, что оно рѣшено гораздо ранѣе. Было бы смѣшно просить за тещу въ такую минуту, когда слѣдовало хорошо выдержать характеръ и собственное достоинство. Едва войдя въ свой кабинетъ, Боровицкій сталъ сбирать бумаги, будто готовился сдавать ихъ. Это было какое-то лихорадочное желаніе двигаться, дѣлать что нибудь, занять руки. Онѣ вдругъ остановились у него среди занятія.

— Что-жъ такое? спросилъ онъ себя: — службы нѣтъ, значенія нѣтъ, гроша нѣтъ, жены нѣтъ... Ну, мила она или немила, срамъ все тотъ же!.. Но вѣдь мнѣ не съ кѣмъ слова сказать!

Онъ бросилъ все, выскочилъ изъ кабинета ужъ въ шубѣ, защелкнулъ его на ключъ и помчался къ Деневскимъ.

Ихъ двери были отперты и никого въ передней; дворня пельзовалась отсутствіемъ хозяевъ. Деневскій былъ въ должности, а Ольга Александровна рѣшилась выѣхать къ обѣднѣ.

— Хоть на третій день новаго года лобъ перекрестить, говорила она, сбираясь:—отъ стыда никуда глазъ не покажешь.

Настасья Михайловна одна ходила по залѣ.

— Здравствуйте, сказалъ весело Боровицкій, подавая ей руку.

Она смутилась, поблѣднѣла и оглядывалась кругомъ.

— Тамъ никого нѣтъ... сказала она.

— На мое счастье, а то, пожалуй, мнѣ бы опять отказали. За что вы меня не принимаете?

— За что?.. Не знаю за что! вскричала она, отнявъ свою руку, и убѣжала въ гостиную.

Боровицкій пошелъ за нею. Она сидѣла и горько плакала.

— Послушайте, сказалъ онъ: — я вамъ писалъ. Вы получили? Можетъ быть, я бы не долженъ...

— Не должны написать мнѣ простого письма? прервала она: — развѣ это преступленіе? Преступленіе, вотъ оно — терзать доброе имя, мучить каждый день!.. За что, скажите, ради Бога, за что мнѣ эти упреки, насмѣшки, униженія? За что этотъ домъ какъ зачумленный, всѣ отъ него бѣгутъ? За что этотъ Осминниковъ, будто сокровища какія, подбираетъ сплетни на меня и тащитъ ихъ сюда разсказывать? Всякій день, «то-то сказали», «тотъ-то сказалъ», а здѣсь... О, Боже мой, Господи!.. Жить вотъ такъ и дожить... Оставили бы мнѣ этотъ монастырь, могилу эту, хоть бы въ ней не трогали...

— Такъ письмо, точно, перехватили, прочли, перетолковали?.. Кто-жъ это сдѣлалъ? спросилъ Боровицкій, не получая отвѣта.— Да? Кто-жъ осмѣлился?

— Не все ли равно, кто бы ни осмѣлился! отвѣчала она, отвернувшись.

— Кто осмѣлился прочесть письмо, назначенное вамъ? повторилъ онъ.—Вы не хотите назвать? Малѣевъ?

Она не отвѣчала, только ея рыданія стали еще отчаяннѣе.

— Малѣевъ!.. Вы его любите! Вы все еще его любите?

— О, какой вы смѣшной человѣкъ, прервала она, поднявъ голову: — развѣ такъ любятъ? Вы ничего не понимаете!.. Я всю мою душу ему отдавала, а онъ ее въ грязь втопталъ. Ну, не любилъ бы меня, а то осмѣялъ... мало — опозорилъ: отъ другого было бы легче...

— Я его вызову и убью!

— О, вздоръ какой, возразила она презрительно.

— Вздоръ? Настасья Михайловна!

— Что вы этимъ поправите? продолжала она, обернувшись къ нему, твердо и холодно:—мнѣ не вѣрятъ родные отецъ и мать— предъ кѣмъ же вы хотите меня оправдывать? Что мнѣ въ оправданіи передъ этимъ глупымъ нашимъ свѣтомъ? Что-жъ, я, оправданная, обрадуюсь, пойду опять тамъ отплясывать? Съ кѣмъ? Съ людьми, которые вѣрили... вѣрили, были рады вѣрить мерзости!.. Утѣшеніе вы мнѣ придумали — мщеніе и оправданіе! И какъ это легко говорится: «вызову, убью...»

— Убью навѣрное: я не промахиваюсь.

— Убьете человѣка? спросила она серьезно:—но развѣ я допущу?

— А, вы его любите!.. вскричалъ Боровицкій.

— Не люблю. Я не могу любить, сказала она тихо, залившись слезами. — Кончено! Умерло мое сердце, умерла моя радость, силы нѣтъ, никому не вѣрю, никого не могу любить...

— А меня? спросилъ Боровицкій.

— Нѣтъ, отвѣчала она равнодушно, продолжая тихо плакать и даже не оглянувшись, почему пропала даромъ красивая поза, которую принялъ Боровицкій.—Ни васъ, никого. Слишкомъ сердце наболѣло, да, вотъ эта жизнь... Многое надо перемѣнить, чтобъ я ожила. Не ожить мнѣ, состарѣюсь, вотъ такъ, въ этой пустотѣ, въ горѣ, съ тѣми же сплетницами, съ тѣми же клеветниками, картежниками, взяточниками... День за день... Господи, пошли поскорѣе или дай Ты мнѣ одурѣть, чтобъ ужъ я не видѣла, не понимала...

— Такъ—нѣтъ, Настасья Михайловна? спросилъ Боровицкій послѣ небольшого молчанія.

— Что «нѣтъ»?

— Вы меня не любите?

— Я думала, что вы хорошій человѣкъ и неспособны мучить. Или вы не видите, каково мнѣ? Право, не до шутокъ.

— Такъ мы простимся навсегда.

— Зачѣмъ навсегда? Когда нибудь увидимся. Изъ чего-жъ намъ избѣгать другъ друга?

— Я совсѣмъ уѣзжаю отсюда, отвѣчалъ Боровицкій:—меня выгнали изъ службы.

— Да? спросила она: — такъ это правда? Я слышала вчера. Вами давно недовольны... Сколько я понимаю, вотъ это послѣднее дѣло... Видно, честнымъ людямъ не время, Григорій Николаичъ!

Она дружески взяла его руку въ обѣ свои.

— Все Богъ; придетъ еще такое время. Охъ, вотъ, это бы меня утѣшило!.. Ну, обо мнѣ говорить нечего... Но вы-то, поддержите себя, поищите себѣ дѣятельности. Вѣдь вы знаете, вамъ надо только сильно, рѣшительно захотѣть, заставить себя...

— Вотъ былъ энергиченъ и дѣятеленъ, возразилъ, горько улыбнувшись, Боровицкій.

— Куда же вы ѣдете?

— Въ деревню, отвѣчалъ онъ, находя неудобнымъ признаться, что ея послѣзавтра не будетъ.

— Въ деревню вашей жены?

— Да, къ женѣ, сказалъ онъ, глядя пристально ей въ глаза.

— Что вамъ дѣлать въ деревнѣ?

— Что мнѣ дѣлать безъ васъ? спросилъ онъ: — вамъ-то легко...

Настасья Михайловна засмѣялась.

— Прощайте, сказала она:—уходите, прошу васъ. Я боюсь, мнѣ будетъ еще легче, и потому выпроваживаю васъ, покуда никто не видалъ. Когда нибудь увидимся...

— Нѣтъ, никогда! вскричалъ онъ.—Вотъ самое тяжелое изъ всего, что я выношу: я обманулся въ васъ! Холодное, холодное существо! Существо, живущее однимъ умомъ! Живите! Проживете счастливо...

Сходя съ крыльца, онъ встрѣтилъ возвращавшуюся Ольгу Александровну. Ольга Александровна пріостановилась, оглянула его съ головы до ногъ и, не снимая шубы, отправилась въ комнату дочери.

Аграфена Петровна между тѣмъ скакала къ Черемышевымъ. Она не надѣялась на краснорѣчіе Надежды Сергѣевны и потому рѣшилась просить сама.

— Я тебя знаю, говорила она Надеждѣ Сергѣевнѣ: — ты и твой супругъ — одно! вы всегда были за губернатора, оба! Ты къ этой Полугиншѣ съ визитами набивалась, въ штатъ ея записывалась... Нѣтъ, ты всегда хотѣла моего раздора съ Зиночкой. Я знала, какія у васъ съ мужемъ цѣли; я все вижу.

Надежда Сергѣевна была не прочь уступить ей хлопоты просьбъ. Ей было не до того. Жить нечѣмъ, правда, мужъ безъ мѣста, имѣніе продадутъ, все правда, но Поль уѣзжаетъ черезъ два дня!.. Она еще перечитала записку.

— Послушай... сказала она, вызывая тихонько изъ дѣвичьей Наталью и не глядя на нее:—мнѣ бы хотѣлось... туда.

— Это теперь никакъ нельзя-съ, отвѣчала камеристка, пряча въ карманъ пряникъ, которымъ занималась и неохотно вставая:— теперь, тамъ у нихъ гарнизонный командиръ, офицеръ, чиновники разные. Опять— господа прощаются. Опять тоже извозчики. Тамъ содомъ теперь.

— Что ты такъ громко говоришь, во все горло? замѣтила Надежда Сергѣевна.

— Гдѣ-жъ я во все горло? Да вѣдь нѣтъ никого, кому слушать, возразила Наталья, садясь, едва отвернулась барыня, и глядя, какъ, возвращаясь въ свою комнату, она заломила руки.—А, видно за сердце хватило! вотъ-те и Люкè-портбукè, конецъ всему, видно... Поди-ка, сударыня, окликнула она проходящую Машу: — посмотри, какъ твоя мамашенька о папашенькѣ убивается.

— Гдѣ папа? спросила Маша.

— Кто его знаетъ? Къ мамзели своей уѣхалъ, отвѣчала Наталья и ушла.

Аграфена Петровна входила въ предводительскій домъ въ какомъ-то восторженномъ настроеніи. Она была увѣрена, что успѣетъ, но ей какъ-то хотѣлось, чтобъ это сдѣлалось не попросту, а торжественно. Она не сняла, даже не поправила своего капора, напротивъ, развязавъ его, придала и ему выраженіе своего лица, стремительно вошла въ маленькую гостиную, гдѣ была Зинаида Сергѣевна и m-lle Луаро съ дѣтьми, и пала на колѣни на порогѣ.

— Маменька, что вы? спросила предводительша, отодвигая свои пяльцы.

Софи и Жюли, сидѣвшія каждая съ куклой на рукахъ, оглянулись.

— Зинаида, мать твоя — нищая!. отвѣчала Аграфена Петровна: — это видитъ Богъ!

— Madame... сказала m-lle Луаро, подкативъ кресло, изгибая свою перетянутую талью и наклоняясь, чтобъ поднять почтенную даму.

Зинаида Сергѣевна наклонилась за тѣмъ же съ другой стороны.

— Нѣтъ, друзья мои, я не встану. Я молю на колѣняхъ.

— Но, маменька, такъ будетъ ловчѣе.

— Изволь, если ты хочешь, отвѣчала Аграфена Петровна, поднявшись и садясь.— Но ты помни, въ какомъ видѣ меня видѣла, и вотъ — они.

Она показала на дѣтей.

— Saluez donc madame votre grand'mère, сказала имъ гувернантка.

Дѣвочки встали и сдѣлали книксенъ. Бабушка удержала ихъ въ объятіяхъ.

— Тебя въ нихъ Всевышній вознаградитъ; вотъ, въ нихъ.

Дѣвочки сѣли опять.

— Лоскутовщина, мой другъ, продается послѣзавтра.

— Знаю, маменька; мнѣ давно говорилъ Петръ Иванычъ.

— Говорилъ? Давно? Онъ знаетъ? Вотъ истинный сынъ!.. Что же, мой другъ?

— Что же, маменька?

— Какъ я могу надѣяться?

— На что же, маменька?

— Нѣтъ, ты мнѣ только скажи, какъ? Самой ли ѣхать туда, на позорище, или заранѣе, сегодня, завтра, внести?

— Это какъ вамъ будетъ угодно, маменька. Я, что же, я не знаю...

— Не знаешь?.. Дочь ты моя, вотъ, при дѣтяхъ твоихъ говорю! Всевышній васъ вознаградитъ. И радость моя, и благодарность... Дай мнѣ тебя обнять!

— За что же, маменька?

— Душу мою, душу спасли, развязали! Мнѣ эти восемьсотъ шестьдесятъ цѣлковыхъ... Подвязку сегодня у меня изъ рукъ вынули: петлю хотѣла себѣ накинуть, вотъ!.. Вы мать спасли, душу отъ преисподней!.. Такъ ты не знаешь? Стало быть, мнѣ отъ Петра Иваныча получить?

— Позвольте, маменька, мы, кажется, другъ друга не понимаемъ, прервала Зинаида Сергѣевна. — M-lle Луаро, позовите-ка Петра Иваныча. Мы, маменька, вамъ дать ничего не можемъ.

— Какъ, Зиночка?..

— Вѣдь мы не такъ богаты, маменька. И даже, извините, что же это? Дина съ вами живетъ, она и пользуется. Меня вы отдали за Петра Иваныча, онъ мнѣ самъ приданое дѣлалъ. Что-жъ вы все хотите отъ одной меня? Сами вы видите, у меня дѣти, ихъ воспитаніе, одѣть ихъ, обуть... Дина при васъ, съ нея и требуйте.

— Я съ тебя ничего не требую, я у тебя въ ногахъ валялась! вскричала Аграфена Петровна:—я, вотъ, къ моему благодѣтелю, Петру Иванычу...

— На поминѣ легокъ-съ, сказалъ онъ, входя:—зачѣмъ меня требуютъ?

— Другъ мой, спасите!

— Пьеръ, это Лоскутовщина, сказала Зинаида Сергѣевна.

— А—а!... Такъ что же я могу-съ? Я ничего не могу. Я подлеца Полугина просить не стану. Не тѣ времена, когда мы съ нимъ хлѣбъ-соль водили.

— Другъ мой, не просить...

— Да ужъ и поздно-съ. Вѣдь и такъ четыре мѣсяца вамъ оттянули. А я думаю, вамъ сюрпризъ былъ какъ узнали? Описали проворно, становой новенькій, съ иголочки, полугинской фабрикаціи, хе-хе! Ножовый народъ-съ. Вамъ и знать не дали?

— Не дали, мой другъ. Не знаю, когда и какъ описали; понятія не имѣю, отвѣчала, плача, Аграфена Петровна.

— Господня власть. Не мутилъ бы вашъ зятекъ, не было бы. Да-съ. Сначала обѣдъ этотъ замѣсилъ, закутерьмилъ, потомъ, вонъ, тамъ, дѣла поднялъ... Да и самъ прочь слетѣлъ, слышали? Не разжился, что передъ Полугинымъ на заднихъ лапкахъ плясалъ!

— Да... выговорила старуха.— А теперь некуда и голову преклонить!

— Кому? ему-то, зятику?

— Мнѣ, батюшка!

— Да, вамъ-то.

— Помогите мнѣ, другъ мой! вскричала она, бросаясь его обнять и не доставая обхватить.

— Нѣтъ-съ. И даже нельзя.

Черемышевъ сѣлъ и закачалъ ногою.

— Ради дворянства нельзя. Потворство.

— Какое-жъ такое потворство? Матери, матери! повторила она, ударивъ себя въ грудь.

— Тутъ не до кого-съ. Зятекъ вашъ выставилъ меня потворщикомъ, а длинная жердь, превосходительный, въ Петербургъ отписалъ, чуть только я денному разбою не потворствую, чуть самъ притоновъ не держу! А я еще стану за просроченныя имѣнія платить, выкупать? Нѣтъ-съ. Просрочены — и продавайся они. Я не плательщикъ. Еще вашъ зятекъ донесетъ, слогомъ изящнымъ напишетъ; вонъ, написалъ! Я въ подлецахъ быть не желаю. Я еще въ Петербургъ поѣду, да объяснюсь... Вы благороднаго вашего зятика попросите порадѣть за васъ.

— Онъ къ Дульцинеѣ своей поскакалъ, возразила въ слезахъ Аграфена Петровна.

— Ха-ха-ха! стало, ужъ утѣшился, что выгнали? А ловко онъ между двухъ лавокъ сѣлъ: тутъ предводитель, тутъ губернаторъ, туда, сюда, тррахъ—мимо! Ха-ха-ха... Зинаида Сергѣвна, завтракать пора-съ, мнѣ въ собраніе.

— Другъ мой! Богъ, благодѣтель!..

— Нѣтъ маменька, возразилъ Черемышевъ, поднявшись съ кресла и только сверкнувъ своими круглыми глазами:—я этого, пока живъ, не забуду, что Григорій Никоничъ Боровицкій на меня, губернскаго предводителя дворянства, осмѣлился написать, что я «потворствую и покрываю преступленія». Нѣтъ-съ, пока я живъ! «Преступленія!» Посмотримъ... вотъ, пускай-ка насидится съ голоду за эти «преступленія»...

— Родной мой, да вѣдь съ голоду-то не онъ, а я...

Черемышевъ не слушалъ и уходилъ дальше.

— Зиночка!..

Но Зинаида Сергѣевна побѣжала вслѣдъ за мужемъ и суетилась, приказывая завтракать.

— Зиночка! снова окликнула ее мать.

— Я, маменька ничего не могу противъ Пьера. Я отъ него завишу. У меня ничего нѣтъ, отвѣчала она и ушла.

— Prenez vos joujoux, сказала дѣтямъ гувернантка, и всѣ тоже исчезли.

Аграфена Петровна пошла слѣдомъ за всѣми. Въ корридорѣ она увидѣла дочь и зятя.

— Друзья мои!.. закричала она и бросилась на полъ.

Черемышевъ не могъ нагнуться, но кликнулъ лакея, съ помощью котораго Зинаида Сергѣевна подняла мать. Старуха была почти безъ памяти.

— Карета, тамъ, моя... посади, проводи домой, сказалъ Черемышевъ лакею.

Это было исполнено.

Боровицкій услышалъ крики и стоны тещи, черезъ стѣну ея комнаты, и понялъ, чѣмъ кончилась ея попытка. Онъ все еще ожидалъ, что Черемышевы ей помогутъ. Выждавъ, когда въ комнатѣ у тещи не было Надежды Сергѣевны, съ которой съ вчерашняго ужина онъ еще не встрѣчался, Боровицкій вошелъ, чтобы узнать подробности отказа. Его встрѣтили ругательствами, что отказано по его милости. Боровицкій оскорбился.

— Одно изъ другого не слѣдуетъ, шумѣлъ онъ:—вы — мать его жены! Это — мелкое, грязное мщеніе! Я, чиновникъ, обязанный присягой, былъ долженъ обнаружить его неистовства, но вы—мать его жены...

— Хороши вы, хороши! На себя оглянитесь, возразила Аграфена Петровна.

Но какъ бы ни было обидно и отвратительно все, что она говорила, Боровицкому стало жаль ее. Къ тому же, тутъ только, послѣ того какъ рушилась надежда на Черемышевыхъ, Боровицкій, наконецъ, ясно взглянулъ на дѣло. До сихъ поръ ему все еще какъ-то мечталось; продажа деревни все еще была въ какомъ-то туманѣ. Теперь онъ опредѣленно понялъ, что послѣзавтра некуда дѣваться.

— Скотина Черемышевъ! сказалъ онъ.— Надо, однако, что нибудь сдѣлать.

Онъ тотчасъ же увѣрилъ себя, что желаетъ сдѣлать что нибудь единственно для этой «несчастной» старухи, которую великодушно прощаетъ: онъ не Черемышевъ; что ему все равно, есть или нѣтъ эта Лоскутовщина, но онъ — глава семейства и успокоитъ семейство; а главное, докажетъ этому жирному эгоисту, что и безъ него можно обойтись.

Боровицкій еще разъ вышелъ изъ дома. Онъ отправился къ откупщику занять тысячу рублей подъ сохранную росписку. Онъ былъ увѣренъ, что успѣетъ, и говорилъ о займѣ такъ развязно и легко, будто дѣло не его касалось и было вовсе не важно. Ему отказали, отчасти именно за этотъ развязный тонъ: денежные люди не любятъ, чтобъ о деньгахъ говорили непочтительно. Откуп-

щикъ подумалъ вслѣдъ Боровицкому, что имѣлъ дѣло съ дуракомъ. Боровицкій поискалъ въ другомъ и въ третьемъ мѣстѣ одинаково безуспѣшно. Онъ узналъ истину, что тысяча рублей не щепки. Онъ попробовалъ у купцовъ, и опять получилъ отказъ. Затянувшись искать, онъ не отставалъ, рыскалъ весь день и оглянулся, наконецъ, что выноситъ униженія.

— Надо непремѣнно успѣть, или я нравственно пропалъ, заключилъ онъ и велѣлъ везти себя въ слободу, въ домишко, гдѣ жилъ ростовщикъ, извѣстный всему городу. Было уже восемь часовъ вечера; милліонеръ сбирался спать и не давалъ безъ заклада. Боровицкій растерялся совсѣмъ и предложилъ ему въ закладъ свой ломбардный билетъ.

— Именной-то? сказалъ тотъ, засмѣявшись.

Но существованіе этого билета какъ будто подвигло его на согласіе дать подъ росписку: занимающій имѣлъ что нибудь. Только онъ желалъ видѣть этотъ билетъ, убѣдиться, и не прежде завтрашняго утра: надо подумать.

У Боровицкаго отлегло отъ сердца. «Подумать» у этого господина значило—обдумать, что люди, предлагающіе въ закладъ именные билеты, не очень толковые должники. Но Боровицкій не зналъ, что онъ такъ обдумаетъ, и сталъ даже веселъ. Проѣзжая мимо клуба, онъ вспомнилъ, что ему непремѣнно надо показаться въ обществѣ, не то, пожалуй, подумаютъ, что онъ уничтоженъ своей отставкой и прочимъ. Онъ вошелъ и нашелъ какихъ-то знакомыхъ, сѣлъ играть, игралъ до полуночи, немного выигралъ, имѣлъ удовольствіе замѣтить, что Малѣевъ и Осминниковъ какъ-то искусно стушевались, едва онъ вошелъ, не преслѣдовалъ ихъ, весело поужиналъ и воротился домой, совершенно спокойный. Сквозь сонъ, онъ услышалъ звонокъ, шелестъ платья по коридору и потомъ голосъ жены въ комнатѣ тещи.

«Скачетъ, не унимается»... подумалъ онъ съ злостью и заснулъ.

На утро онъ поспѣшилъ встать и идти въ залу, услыша, что тамъ собрались. Ему было пріятно, что дѣло устроится, и пріятно щегольнуть тѣмъ, что онъ его устроилъ. Аграфена Петровна, нарядная, въ бархатной мантильѣ и шляпкѣ, веселая, кушала чай, поглядывая на часы.

— Вы ѣдете? спросилъ Боровицкій:—а я спѣшилъ вамъ сказать: черезъ два часа будутъ деньги.

— Ужъ вотъ онѣ, есть, отвѣчала она вдругъ непріятно и кисло, приподняла платокъ, которымъ былъ прикрытъ портмоне, лежавшій на столѣ, и опять его прикрыла.—Сейчасъ везу въ приказъ.

— Достали? сказалъ съ радостью Боровицкій:—у кого?

— Нашелся человѣкъ, отвѣчала Аграфена Петровна, оглянувшись въ зеркало, съ достоинствомъ поправивъ шляпку и идя къ двери.—Шубу мнѣ, Наталья.—Не безъ добрыхъ людей. Дочь достала.

У Боровицкаго помутилось въ глазахъ. Онъ подошелъ къ женѣ, она шла ему на встрѣчу. Онъ взялъ ее за руку, воротился съ ней въ будуаръ и притворилъ двери.

— Откуда вы взяли деньги? спросилъ онъ.

Надежда Сергѣевна поблѣднѣла, потомъ покраснѣла и не отвѣчала.

— Откуда? повторилъ Боровицкій.

— У Скворещенскаго, отвѣчала она.

— Тьфу!.. сказалъ Боровицкій и, отвернувшись, зашагалъ по комнатѣ.

— Вы не имѣете права меня презирать, продолжала Надежда Сергѣевна: моя мать была въ отчаяніи; я обратилась къ единственному человѣку...

— Мать? вскричалъ Боровицкій, бросаясь къ ней:—ты обобрала любовника, безсовѣстная!

— Monsieur!

— Молчи, я тебя задушу! Я не слѣпой, третьяго дня...

— Eh bien, je l'aime, прервала, выпрямившись, Надежда Сергѣевна.

— Любишь? А это зачѣмъ? это зачѣмъ? это зачѣмъ?

Онъ рванулъ ея горностаи.

— Обирать зачѣмъ? продажничать? Это тоже для маменьки? это все—успокоивать маменьку?

Онъ бросалъ о полъ ея пепельницу и флаконы.

— Я былъ глупъ, глупъ какъ честный человѣкъ, но теперь я вижу! Это все любовь, увлеченіе, страсть чистѣйшая? Пошла прочь!. Какъ ты будешь дышать въ своей Лоскутовщинѣ?

— Я и не буду тамъ, возразила Надежда Сергѣевна.—А вы думали увезти меня туда? Вы думали для себя выкупить деревню и похоронить меня въ ней! Нѣтъ, Григорій Николаичъ, этого не будетъ! Нѣтъ! я сейчасъ шла сказать вамъ, что уѣзжаю отъ васъ...

— Уѣзжаете?

— Да. Въ Петербургъ. Я успокоила мою мать; дочь моя при ней обезпечена...



— Чтобъ я допустилъ мою дочь кормиться твоимъ стыдомъ? вскричалъ внѣ себя Боровицкій:—чтобъ я оставилъ Машу твоей подлой старухѣ? Уѣзжай, пропадай, провались къ чорту... Я не позволю ей называть тебя матерью!

За дверью сильно и давно стучали.

— Григорій Николаичъ, раздался, наконецъ, голосъ лакея: — къ вамъ чиновникъ отъ губернатора.

Боровицкій вышелъ, оправляясь, не владѣя ни походкой, ни голосомъ. Къ нему пришли принять его бумаги.

XIII.

Черезъ нѣсколько дней, домъ Боровицкихъ опустѣлъ. Надежда Сергѣевна, уложившись акуратно, взявъ свою Наталью и «надежнаго» лакея, уѣхала въ Петербургъ въ собственномъ возкѣ, вымѣненномъ на старую городскую карету. Тогда дорога въ Петербургъ была дальняя. Боровицкій отправился туда же, вваливъ въ перекладныя сани Машу и тоненькій чемоданъ. Онъ обогналъ жену, которая путешествовала съ отдыхомъ и дожидалась въ Москвѣ извѣстія, гдѣ приготовлено ей остановиться.—Въ N* эти отъѣзды произвели скандалъ и подняли страшные толки. Было очевидно, зачѣмъ уѣхала Надежда Сергѣевна, но всѣ желали знать полнѣе, подробнѣе. Аграфена Петровна взялась удовлетворить этому законному любопытству. Она оставалась въ N* еще около мѣсяца, пока не вышелъ срокъ квартиры, и сдѣлала визиты всѣмъ, извиняя дочь, уѣхавшую безъ прощаній, и объясняя, что этой несчастнѣйшей женщинѣ только и оставалось, что бросить своего мужа изверга; по разсказамъ матери, Надежда Сергѣевна оказывалась святою, не только страдалицей, а ея бѣгство—не только извинительнымъ поступкомъ, но подвигомъ добродѣтели. Почтенную даму слушали, и никто не прогналъ ее изъ своего дома. Это придавало ей еще больше отваги. Она положительно объявляла знакомымъ и незнакомымъ, свѣтскимъ людямъ и купцамъ въ лавкахъ, что причиной всѣхъ несчастій ея дочери — Настасья Михайловна Деневская. Въ одинъ прекрасный день, Аграфена Петровна поѣхала къ Деневскимъ и тамъ все это высказала. То же самое она толковала и Черемышевымъ, къ которымъ явилась, восклицая, что «все простила и забыла». На дѣлѣ, визитъ къ Черемышевымъ былъ слѣдствіемъ разсчета у нихъ обѣдать, что экономнѣе и вкуснѣе, чѣмъ дома. Черемышевы приняли ее ни хорошо, ни дурно, по своему обыкновенію, но обѣдать оставляли очень рѣдко, и вообще прятали отъ постороннихъ эту огорченную маменьку. Вѣрила или не вѣрила несчастью своей сестры Зинаида Сергѣевна, но очень ловко не говорила о ней и, ради родственнаго приличія, когда приходилось къ слову, отзывалась о Деневской съ презрѣніемъ. — О Боровицкомъ никто не говорилъ никогда.

Аграфена Петровна отправилась, наконецъ, хозяйничать въ свою Лоскутовщину, разсказывая, какъ ей грустно въ одиночествѣ, а втайнѣ радуясь, что никто уже ни съ чемъ ей не помѣшаетъ. Впрочемъ, ей не надолго досталось такое блаженство: съ весной возвратилась Надежда Сергѣевна, разочарованная Петербургомъ, съ измятымъ сердцемъ и сундукомъ измятыхъ нарядовъ: ей все измѣнило, даже Наталья, покинувшая ее въ столицѣ. Наряды, впрочемъ, разобрались, разгладились, перешились, пригодились для провинціи, и сама Надежда Сергѣевна пригодилась для новой карьеры, которую избрала — карьеры добродѣтельной жены, брошенной мужемъ, лишенной ребенка и живущей подъ покровомъ почтенной матери. Слѣдующей зимой, когда ее увидѣли въ N* въ гостиной ея сестры, губернской предводительши, всѣ говорили, что эта несчастная женщина ѣздила въ Петербургъ отыскивать своего мужа, который отъ нея скрывался, и нигдѣ не могла его найти. Добродѣтель торжествовала.

Боровицкій, напротивъ, не только не скрывался, но, пріѣхавъ въ Петербургъ, бросился ко всѣмъ знатнымъ и богатымъ, что было у него знакомыхъ и родственниковъ. Его тетка, графиня Рошкова, богатая старуха, пріѣзжала въ это время перемѣнять свой заграничный паспортъ. Боровицкій привезъ къ ней Машу. Прелестная дѣвочка, такъ много знающая, понятливая, изящная и оригинальная граціозной простотой, произвела фуроръ въ аристократическомъ салонѣ; она была куклой, занятіемъ этихъ важныхъ старухъ, завистью свѣтскихъ молодыхъ матерей. Для Боровицкаго, Маша была особеннаго рода кокетство: онъ щеголялъ ею, не замѣчая, что въ наружной выставкѣ любви къ ней какъ-то странно испарялась самая любовь. Такъ, въ одинъ вечеръ, когда Маша, усталая отъ ласкъ, похвалъ, конфектъ и разговоровъ, почти дремля, сидѣла на колѣняхъ у отца, захвативъ его, по деревенскому обычаю, за шею рученкой, Боровицкій былъ не пораженъ, а

пришелъ въ восторгъ отъ предложенія графини:

— Милый мой, отдай мнѣ свою дочку!

Онъ ее отдалъ. Черезъ недѣлю ее, помертвѣлую отъ слезъ, вынули изъ его рукъ и положили въ дорожную карету, которая умчала ее во Флоренцію. Боровицкій самъ зарыдалъ ей вслѣдъ: онъ почувствовалъ, что сдѣлалъ что-то дурное...

— Но что-жъ мнѣ больше дѣлать? сказалъ онъ:—я ее устроилъ.

Не онъ устроилъ дочь, — она его устроила: восхищаясь прелестной дѣвочкой, знатные родные и знакомые обратили вниманіе и на отца и дали ему мѣсто въ какой-то далекой губерніи. Онъ прослужилъ годъ, другой, третій, то бросая службу, то опять принимаясь, то въ одномъ, то въ другомъ городѣ; то, имѣя жалованье, жилъ удобно, блисталъ въ губернскихъ кружкахъ, волочился, влюблялся, устроивалъ общественныя увеселенія и самъ веселился; то едва существовалъ процентами своего ломбарднаго билета, и тогда мечталъ о занятіяхъ живописью, литературой, но только мечталъ, начиная многое и не кончая ничего. Вспоминая о Машѣ, онъ думалъ, что она бы его стѣснила, и только не допускалъ себя сознаться, что радъ, что она не съ нимъ. О женѣ онъ почти совсѣмъ забылъ и никогда о ней не справлялся. Только однажды, года чрезъ два послѣ разлуки, ему случилось быть проѣздомъ въ N*. Онъ остановился въ знакомой Орловской гостинницѣ, нарочно проѣхалъ мимо своей бывшей квартиры, посмѣялся стрѣльчатому окну будуара, передѣланному нѣкогда по его рисунку, и провелъ вечеръ, разспрашивая стараго знакомаго корридорнаго о томъ, что дѣлалось въ городѣ и по губерніи. Въ губерніи шла кутерьма, поднятая два года назадъ предводительскимъ обѣдомъ: смѣнялись, исключались, отдавались подъ судъ, бранились, доносили, ревизовали и такъ далѣе. Изъ Петербурга пріѣзжала ужъ вторая комиссія. Полугинъ губернаторствовалъ, Черемышевъ еще предводительствовалъ, но трехлѣтіе истекало и выборы виднѣлись вдали, какъ туча. Боровицкій посмѣялся всему этому какъ человѣкъ независимый и непричастный. Изъ всѣхъ новостей его тронула только одна: онъ узналъ, что умерла Настасья Михайловна. Корридорный не могъ, конечно, сообщить подробностей, но ихъ особенныхъ и не было: Настасья Михайловна умерла попросту, простудясь, захворавъ и не полечившись во-время.

— Изъ чего ты хлопочешь плакать? сказала она Дашѣ, сидѣвшей у ея постели.

Она была права, спрашивая это. Въ обществѣ не замѣтили ея отсутствія; въ домѣ эта смерть огорчила только на время похоронныхъ хлопотъ. Немного позднѣе, и Даша, хотя не понимая, не объясняя себѣ, можетъ быть, даже не сознавая почему, почувствовала какое-то странное облегченіе. Въ домѣ не стало свѣтлой, яркой точки, которая высказывала его темноту; замолкло живое слово, это рѣдкое, безсильное, но вѣчное противорѣчіе всему, что говорилось и совершалось; улеглось всякое движеніе, всякій порывъ—все, что волновалось среди этой безжизненности. Такъ стало лучше; все какъ-то покойнѣе приняло свой складъ, пошло будто въ большемъ порядкѣ. Живая мѣшала строю мертваго царства. Дашѣ какъ будто отлегнуло; при сестрѣ, ее, бывало, тянуло къ ней, она глядѣла ея глазами, слушала ее, мучилась за нее, у нея училась мучиться, настроивая себя на товарищество въ страданіи. Теперь этого товарищества было не нужно. Даша оглянулась, что не все, противъ чего возставала сестра, такъ не по сердцу ей самой, какъ казалось при жизни сестры. Жить не мучась—пріятнѣе; Даша стала со многимъ мириться. Къ тому же мать сдѣлалась какъ-то ласковѣе; спорить ли было не съ кѣмъ, или смерть старшей дочери была одной изъ тѣхъ печалей, послѣ которыхъ остающіеся образумливаются?.. Ольга Александровна какъ-то высказывала, что эта смерть въ чемъ-то развязала ей руки: она приблизила къ себѣ Дашу, она стала за ней почти ухаживать. Практическая дѣвочка поняла, что нужно побольше смѣлости и поменьше чувства; она не клонила головы, какъ сестра, надъ пяльцами, давно закинутыми на чердакъ, она ни надъ чѣмъ и ни передъ кѣмъ ее не клонила; черезъ немного мѣсяцевъ, ей уже никто не смѣлъ приказывать, черезъ годъ — ея боялись. И странно: ни Деневскій, ни Ольга Александровна даже не смѣли находить непріятнымъ чувство этой боязни.

— Эхъ, Настечка, взяться бы тебѣ за умъ!.. говорила пятнадцатилѣтняя Даша, уложивъ спать родителей и собираясь въ маскарадъ съ своей пріятельницей, уже немолоденькой барыней, которой всего удобнѣе была компанія еще не все понимающаго подростка...

«Такъ умерла!..» подумалъ Боровицкій, настраивая себя на воспоминанія.

Воротясь изъ N* на мѣсто своего житель-

ства, онъ искалъ въ старыхъ сверткахъ ея портрета, конечно, не нашелъ, но говорилъ многимъ, что получилъ извѣстіе о смерти той, которую любилъ.

Извѣстія о дочери онъ имѣлъ рѣдко. Графиня не озабочивалась писать сама; разъ въ годъ, по ея приказанію, это дѣлали живущія у нея родственницы и demoiselles de compagnie. Маша писала бы сама, но гувернантка пришла въ такой гнѣвъ отъ перваго письма, которое она приготовила, что дальнѣйшая подобная переписка была строго запрещена. Оригинальность, простота, правдивость, впечатлительность, приводившія въ восхищеніе въ гостиной, оказывались неудобными въ дѣлѣ воспитанія.

Какъ шло это воспитаніе? Боровицкаго могло бы брать сомнѣніе отъ этихъ офиціальныхъ писемъ. Его взволновало, когда, чрезъ два года послѣ разлуки, Маша призналась ему, въ маленькой припискѣ, что забываетъ по-русски. Боровицкій, впрочемъ, успокоился, пославъ ей Гоголя и Пушкина и сказавъ себѣ, что это еще не уйдетъ. Уходило многое, а года одинъ за другимъ. Поѣздки заграницу тогда были рѣдки и трудны, у Боровицкаго не было ни досуга, ни средствъ, и подошла послѣдняя война, во время которой Боровицкій, самъ не зная какъ, очутился въ военномъ мундирѣ на севастопольскихъ укрѣпленіяхъ. Онъ воротился съ нихъ здоровъ и невредимъ, оживясь этой горячкой отъ вялой скуки, въ которую вогнало его безцѣльное шатанье по свѣту. Оживленіе было искусственное, каково оно было и для многихъ, но Боровицкій прожилъ имъ еще три-четыре года, безцѣльно, попрежнему, но воображая, что прожилъ полезно. Наконецъ, явилась возможность съѣздить заграницу. Онъ не видалъ Машу десять лѣтъ. Незадолго предъ тѣмъ, чрезъ возвращавшагося русскаго художника, графиня прислала ея портретъ: Маша была красавица.

Осенью 1860 года, Боровицкій поѣхалъ. Графиня жила тогда въ Римѣ. Боровицкій чувствовалъ себя юношей, не смотря на густую просѣдь своей бороды и длинныхъ волосъ; онъ мечталъ, восторгался, соединяя какъ-то въ одно поэтическое представленіе и свою отеческую любовь, и «воскресеніе» освобожденной Италіи, и красоту вѣчнаго города, и красоту своей Маши. Онъ былъ заранѣе счастливъ.

Онъ забывалъ одно обстоятельство, казавшееся ему неважнымъ, хотя четыре года назадъ ему о немъ писала Маша: графиня приняла католицизмъ. Онъ не обратилъ вниманія и на то, что съ самаго начала войны за свободу, графиня переѣхала въ Римъ, о чемъ Маша тоже извѣстила съ какимъ-то благоговѣніемъ. Послѣднее время на родинѣ, Боровицкій провелъ особенно вдали отъ свѣтскихъ кружковъ, отвыкъ отъ нихъ, и потому чопорность гостиной графини его съ первой минуты стѣснила. Юношеская восторженность какъ-то простыла отъ католическаго холода, которымъ вѣяло вокругъ. Радость за risorgimento Италіи и близкое уничтоженіе крѣпостного права въ Россіи должна была притихнуть въ обществѣ почтенныхъ легитимистовъ разныхъ странъ и глубоко скорбящихъ приверженцевъ только что упраздненныхъ итальянскихъ престоловъ. Боровицкій оглянулся на Машу—и не узналъ своей дѣвочки. Красавица была молчалива, холодна, безрадостна. Ему хотѣлось говорить съ ней—она отдалялась. Она точно боялась всего и жила только въ себѣ. Она много знала, и какъ-то стыдилась своего знанія; она была талантлива, и съ какой-то горечью относилась къ своимъ талантамъ.

«Что съ ней сталось?» думалъ отецъ: «что изъ нея сдѣлали?»

Маша была, въ самомъ дѣлѣ, то, что изъ нея сдѣлали, не то, чѣмъ она была создана. Свѣтская мелочность, интрига, бѣдность привязанностей, узкость воззрѣній, ханжество, жизнь безъ истиннаго взгляда на жизнь—обступили эту молодую душу. Они были безсильны ее испортить—они ее измяли и сдѣлали несчастной. Ей дали знаніе и таланты, но ей не давали мыслить. Ей твердили, что мысль безполезна или грѣшна; ей изображали нищету мысли добродѣтелью, блаженствомъ. Ее учили благоговѣть предъ такой добродѣтелью. Она стала укрощать въ себѣ эту мысль, живую, кипучую съ дѣтства, и не могла ее укротить: все думалось, все желалось. Она стала искать ей исхода—исходъ нашелся только въ молитвѣ. Предъ нею молились мелко, эгоистично; она стала тоже молиться и, между тѣмъ, какъ вся ея душа горѣла безконечнымъ порывомъ любви къ истинѣ, къ человѣчеству, къ прекрасному, она, по примѣрамъ, которые видѣла, укладывала эти порывы въ узенькія рамки обряда, страдая, все желая чего-то большаго, лучшаго, и уже не находя опредѣленія для того, чего желала...

— Покажи мнѣ Римъ, Форнарина, сказалъ ей отецъ, въ одинъ вечеръ, когда она особенно задумчиво смотрѣла на золотое небо.

Она пошла съ нимъ.

— Не называй меня такъ, сказала она, послѣ долгаго молчанія, будто рѣшаясь.

— Форнариной?

— Да.

— Почему же?

— Не надо.

— А ты когда-то любила это имя, возразилъ онъ, глядя на нее съ жалостью.

Она покраснѣла и думала.

— Да... Я тогда была ребенокъ! сказала она.

Они пришли въ Колизей; было еще рано, гуляющихъ никого. Боровицкій перекрестился у часовни, между тѣмъ какъ Маша стала на колѣни, сложила руки и долго шептала.

— Никакъ за santo padre? спросилъ онъ, засмѣявшись, когда она кончила.

— Почему же нѣтъ?

— Не ко времени, моя милая; лучше бы за другихъ...

— Я не стану молиться за успѣхъ проклятыхъ красныхъ рубашекъ, сказала она и вспыхнула.

Боровицкій долго молчалъ. Они возвращались домой.

— Маша...

Она оглянулась на него и вдругъ сжала его руку.

— Помню, какъ я была маленькая, заговорила она:—какъ я любила наше поле, лѣсокъ за нимъ и тамъ овражекъ. Я ихъ такъ помню, будто предъ глазами... Помнишь—было одно такое время—какъ я тебя просила взять меня, увезти въ деревню!..

— Ты помнишь, Маша?..

— Мать? помню. Я писала ей, одинъ разъ. Больше нельзя было: не велятъ. Поѣдешь, поцѣлуй ее.

— Я съ ней не вижусь, Маша.

Она опять долго молчала.

— Еслибъ я была тамъ, вы бы не прожили десять лѣтъ розно... А хорошо тамъ, хорошо!..

— Поѣдемъ, Маша!

— Куда?.. Да ты слышалъ ли, какъ я говорю по-русски? Стыдъ!.. Поздно.

Она оглянулась кругомъ, неизвѣстно къ чему относя свои послѣднія слова: къ своей мысли, или къ сумеркамъ, которыя быстро росли.

— Умереть мнѣ здѣсь, сказала она рѣзко.—У меня никого нѣтъ. Мать меня бросила. Ты отдалъ меня... сюда; значитъ, отнялъ и отъ себя, и отъ родной земли. Скажи мнѣ это слово по-русски.

— Родина, сказалъ Боровицкій.

Маша опять сжала его руку; она закусывала свои алыя губки.

— Поѣдемъ домой, повторилъ Боровицкій.

— Домой?.. Гдѣ домъ у человѣка? возразила она.—Нѣтъ; здѣсь чужіе, но и тамъ вѣдь никого своихъ... Любуйся, какъ я хорошо воспитана: ни слезинки... Ты, можетъ быть, подумаешь, что я люблю кого нибудь—мнѣ восемнадцать, самый возрастъ. Нѣтъ, право, никого. Некого. Это—все ложь и обманъ. Любить можно только Бога... Тамъ и родина, тамъ и любовь! прибавила она вдругъ по-русски, вмѣстѣ рѣзко и восторженно, показавъ на небо своими чудесными глазами...

Боровицкій воротился одинъ.

Прошлымъ лѣтомъ онъ поселился въ N* и открылъ фотографію. Въ числѣ выставленныхъ портретовъ былъ замѣчателенъ одинъ, изображавшій молодую особу въ нарядѣ, казавшемся страннымъ для большинства N-скихъ заказчиковъ.

— Это не моя работа, объяснялъ художникъ:—это изъ Рима; портретъ моей дочери. Она недавно постриглась. Костюмъ кармелитокъ разнится отъ костюма нашихъ монахинь.



БОЛЬШАЯ МЕДВѢДИЦА.

Der Abgeschiedne lebt uns.

РОМАНЪ.

1865—1871 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Передъ вечеромъ, въ началѣ мая 1854 г., къ лучшей N-ской гостиницѣ подъѣхала телѣга, сильно забрызганная грязью весеннихъ, еще неустановившихся дорогъ и запряженная тройкой замѣтно усталыхъ ямскихъ лошадей. На встрѣчу этого некрасиваго экипажа выбѣжала почти вся прислуга гостиницы, откланиваясь прiѣзжему молодому господину, въ дорогомъ тепломъ пальто, и спѣша вынуть изящную дорожную подушку и изящный дорожный мѣшокъ, потонувшiе въ сѣнѣ, которымъ была набита телѣга.

Этотъ господинъ, Андрей Васильевичъ Верховской, ужъ около двухъ недѣль прожилъ въ N-ской гостиницѣ, прiѣхавъ изъ Петербурга по желѣзной дорогѣ и въ дилижансѣ, а теперь возвращался изъ короткой поѣздки, верстъ за сорокъ, въ одно большое имѣнiе. Всему N* было извѣстно, что Верховской за тѣмъ и прiѣхалъ, чтобы купить это имѣнiе, но половодье и испорченныя дороги до сихъ поръ не давали туда добраться. Онъ равнодушно переносилъ эту задержку, а въ гостиницѣ ей были очень довольны. Съ нимъ не было собственнаго камердинера и лакеи гостиницы старались угождать ему съ услужливостью крѣпостныхъ, почти негодуя, что требованiя богатаго молодого барина были очень несложны.

— Дайте переодѣться и пообѣдать, сказалъ Верховской, войдя въ свою комнату, между тѣмъ какъ лакей суетился, спуская сторы, смахивая воображаемую пыль, передвигая кресла.

— У васъ были господинъ губернаторъ, и, вотъ, еще карточки. Вотъ, еще письмо съ почты. Сегодня по утру заходилъ, спрашивалъ васъ господинъ Духановъ.

— Хорошо.

Верховской ходилъ по комнатѣ, пока накрывали на столъ. Его закачало. Онъ посмотрѣлъ на письмо, хотѣлъ распечатать, отложилъ и сѣлъ обѣдать. Зналъ ли онъ заранѣе, что письмо незанимательно, но по его лицу пробѣжало что-то похожее на нетерпѣнiе. Онъ задумался, наконецъ, рѣшаясь, опять взялъ и развернулъ письмо. Оно состояло изъ двухъ тонкихъ листочковъ, исписанныхъ четкой, красивой рукой по транспаранту. Верховской бѣгло читалъ и перевертывалъ, будто добираясь до дѣла, нахмурился, сложилъ все опять въ конвертъ и возвратился къ прерванному обѣду.

Ему, впрочемъ, было не суждено кончить его покойно. Лакей явился снова и доложилъ:

— Господинъ Духановъ.

Духановъ былъ молодой чиновникъ мелкаго происхожденiя, не крупнаго чина, нѣсколько разъ терявшiй мѣста и всегда тотчасъ же находившiй другiя,—чѣмъ доказы-

валось, что онъ дѣлецъ и человѣкъ нужный. Онъ хорошо и замѣтно сознавалъ это, хотя держался съ приторной ласкательной скромностью, когда считалъ ее необходимой и приличной. Это, вѣроятно, многимъ нравилось, потому что Духановъ былъ почти всеобщій ходатай по дѣламъ въ N*. Въ настоящее время, ему было поручено сладить съ Верховскимъ продажу имѣнія; сами владѣльцы жили въ Петербургѣ. Духановъ разсчитывалъ на свои выгоды, и потому, въ пятидневное отсутствіе Верховскаго безпрестанно навѣдывался о его возвращеніи и даже не поскупился заплатить въ гостиницѣ, чтобъ ему донесли «какъ только баринъ явится». Это было исполнено.

— Имѣю честь поздравить съ пріѣздомъ, сказалъ онъ скороговоркой, на секунду пріостановясь у порога, и въ ту же секунду, вспомнивъ о своемъ достоинствѣ, развязно вступилъ въ комнату.—Какъ съѣздили, Андрей Васильевичъ?

— Бока отломало, отвѣчалъ Верховской.— Здравствуйте.

— Мое почтеніе... сказалъ опять скороговоркой Духановъ, шаркнувъ еще разъ, и опять напомнилъ себѣ о свѣтскихъ манерахъ.—Что-жъ это вы такъ жалуетесь, Андрей Васильевичъ, хе-хе... будто старикъ какой въ самомъ дѣлѣ. Конечно, не спорю, непривычно вамъ, экипажъ не такой... хе-хе...

— Не въ телѣгѣ дѣло, а въ дорогѣ.

— Да, вѣдь, весна-съ, возразилъ съ снисходительной улыбкой Духановъ.

— У всѣхъ весна, возразилъ Верховской:—но у всѣхъ гати, какіе нибудь мостики, а къ вашему Спасскому проѣзда нѣтъ; подъ самой деревней—не мостъ, однѣ сваи...

Духановъ прервалъ его смѣхомъ.

— Этотъ мостъ, точно, плохъ, сказалъ онъ:—мнѣ они еще въ прошломъ году доносили. Ну, вотъ, какъ купите, новый построите.

— Слишкомъ много придется строить, возразилъ Верховской:—тамъ все на боку.

— Какъ вы, Андрей Васильевичъ, разочаровались? сказалъ Духановъ, продолжая смѣяться, не то для того, чтобъ ободрить себя, не то насмѣшливо.—Домъ, конечно, не новый, но потому собственно это даетъ ему цѣну: барскій домъ, барская постройка; нынче ужъ такихъ и не умѣютъ... Комфортъ весь, паркеты, отдѣланъ какъ... Конечно, можетъ быть, пожелаете роскошнѣе...

— Я, вѣдь, покупаю не домъ одинъ, а деревню, прервалъ Верховской:—я пять дней пробылъ тамъ, осматривалъ.

— Хозяйство, кажется, въ порядкѣ-съ, сказалъ съ достоинствомъ Духановъ:—скотный дворъ, оранжереи...

— И ни одной крѣпкой избы во всей деревнѣ, снова прервалъ Верховской:— ни зерна хлѣба у мужиковъ; пахать начали—побираются другъ у друга лошадьми; въ пятидесяти дворахъ—пять кошекъ какихъ-то, а не коровъ...

— Ну-съ, наберется и побольше! возразилъ, захохотавъ, Духановъ.—Нѣтъ, ужъ вы, ей-Богу, очень разочаровались, Андрей Васильевичъ; я никакъ не ожидалъ...

— Я самъ никакъ не ожидалъ найти такое разореніе, отвѣчалъ серьезно Верховской:—объ этомъ вамъ слѣдовало бы меня предупредить, какъ мнѣ кажется.

— Мнѣ господа Запольцовы поручили только продажу, отвѣчалъ Духановъ: — я вамъ представилъ опись земли, планы; какой долгъ на имѣніи, какія недоимки—вамъ тоже извѣстно. Хоть сейчасъ покупай—все въ порядкѣ сдѣлано.

— И если бы я купилъ, не глядя, вы считали бы, что все сдѣлано по совѣсти?

Духановъ повернулся на мѣстѣ; его маленькое лицо вспыхнуло и маленькіе глаза сверкнули. Онъ въ минуту сдержалъ себя и, пристально глядя на богатаго барина, отвѣчалъ смиреннымъ голосомъ:

— Я человѣкъ зависимый, Андрей Васильевичъ. Господа Запольцовы мои благодѣтели; я черезъ нихъ имѣю и мѣстишко. Хорошо говорить о совѣсти, когда деньги есть,—у меня ихъ нѣтъ-съ.

Онъ еще разъ поднялъ на Верховского взглядъ, выражавшій, что богатство можетъ безнаказанно унижать и обижать,—взглядъ унизительно обидный—сжалъ губы въ улыбку презрѣнія къ невниманію, которое ему оказывали, но продолжалъ прежнимъ, сладко смиреннымъ голосомъ:

— Госпожа Запольцова мнѣ писала, что онѣ очень дружны съ вашей супругой; такъ я полагалъ, что вы уже обо всемъ предупреждены.

— Ровно ни о чемъ, сказалъ Верховской, ходя по комнатѣ, чтобъ расправить усталыя ноги.

Духановъ тихо разсмѣялся, когда онъ отвернулся.

— Госпожа Запольцова мнѣ подробно описывала, продолжалъ Духановъ:—какъ онѣ съ вашей Лидіей Матвѣевной даже нарочно искали имѣть квартиру въ одномъ домѣ, чтобы дѣти вмѣстѣ занимались... Для моей довѣрительницы будетъ весьма прискорбно,

если вы сочтете, что послѣ такихъ дружескихъ отношеній она рѣшится на обманъ противъ васъ...

— Да и моей довѣрительницѣ не будетъ пріятно, если я ей куплю нищенскую колонію, возразилъ Верховской.

Духановъ опять усмѣхнулся ему вслѣдъ.

— Но самое милое—что вы смолчали о главномъ, продолжалъ Верховской, остановясь.—Если и это—въ интересахъ вашей довѣрительницы, то, извините, это ни ей, ни вамъ чести не дѣлаетъ... Спасскіе мужики недавно убѣгали всей деревней?

Духановъ завертѣлся на стулѣ.

— Пришли сюда въ городъ и просились всѣ, годные и негодные, въ военную службу?

— Да, вѣдь, Андрей Васильевичъ, мало ли бездѣльниковъ... Кто нибудь имъ натолковалъ, что военное время, всѣхъ требуется... служба царская, усердіе... Извѣстно, мужикъ—дуракъ; ну, сказали ему, за это земля будетъ, льготы разныя... Имъ ли было не житье...

— Прелестное. Я его видѣлъ, это житье. Какъ же вы мнѣ этого не сказали?

— Я полагалъ, Андрей Васильевичъ, вы знаете, отвѣчалъ Духановъ, уже въ затрудненіи:—всѣ въ городѣ знаютъ Спасское...

— Спасскихъ — три села въ одномъ уѣздѣ, только изъ тѣхъ двухъ не бѣгали; бѣгали изъ вашего.—Такъ вы поступили по совѣсти, скрывъ отъ меня, что крестьяне недовольны?

— Да вѣдь они, Андрей Васильевичъ, ужъ покорились. Кого тогда, тутъ, въ полиціи,— успѣли перехватить, — а то, туда двѣ роты ходили, отвѣчалъ успокоительно-ласково Духановъ.—Теперь они, ей-Богу, ничего-съ. За это дѣло и губернаторъ ужъ нахлобучку получилъ, какъ могъ допустить, и исправникъ теперь, и становой... всѣ мѣры приняты, все кончено-съ. Ей-Богу, они ничего. И вамъ никакого безпокойства не можетъ быть. И если вашей супругѣ угодно когда въ поле, или въ коляскѣ,—такъ куда угодно теперь, никакого безпокойства!.. Госпожа Запольцова писала, что вашей Лидіи Матвѣевнѣ собственно для здоровья нужна деревня. Такъ здѣсь онѣ все найдутъ: мѣстоположеніе, воздухъ, всякую, если позволите сказать—прихоть. Что-жъ дѣлать, нынѣшнимъ временемъ за-границу нельзя — въ Крымъ тоже... А здѣсь совсѣмъ будетъ по вкусу Лидіи Матвѣевны. Отъ столицы недалеко... Лидія Матвѣевна въ Москвѣ въ настоящее время?

— Въ Москвѣ, отвѣчалъ Верховской, продолжая расхаживать и думая, почему онъ это знаетъ.

Духановъ помолчалъ, глядя ему вслѣдъ. Верховской молчалъ тоже и, казалось, не заботился о его присутствіи. Чиновникъ кашлянулъ, чтобъ о себѣ напомнить, но это не подѣйствовало. Верховской взглянулъ въ окно, потомъ на часы.

— Такъ какъ же-съ, Андрей Васильевичъ? рѣшился наконецъ спросить Духановъ.

— Что?

— Да на счетъ деревни. Ужъ вы разочаровались очень, ей-Богу!

— Подумаю, отвѣчалъ Верховской и позвонилъ.

— Мнѣ будетъ истинно жаль, Андрей Васильевичъ, если вы пропустите такую покупку.

— Не перебьютъ, отвѣчалъ Верховской.

— Конечно, господа Запольцовы, по дружбѣ, вамъ скорѣе уступятъ, чѣмъ кому другому, и деньги отъ васъ вѣрныя, а все-таки... золотое дно!

— Да, Запольцовымъ выгоднѣе сбыть его до аукціона, прервалъ Верховской: — а до аукціона немного найдется охотниковъ на это золотое дно. Я подумаю.

Вошелъ лакей. Верховской спросилъ одѣться.

— Куда нибудь сбираетесь? спросилъ Духановъ.

— Да, извините.

Духановъ поднялъ съ пола свою шляпу.

— Такъ до пріятнаго свиданія, Андрей Васильевичъ. Когда прикажете явиться?

— Я напишу Лидіи Матвѣевнѣ; дождусь отвѣта и дамъ вамъ знать.

— Это будетъ, стало быть, рѣшительное?

— Да, рѣшительное, отвѣчалъ Верховской, очень довольный, что тотъ кончилъ свои поклоны и затворилъ дверь.

Спустя нѣкоторое время, онъ самъ шелъ черезъ бульваръ, гдѣ было много гуляющихъ, въ клубъ, куда тоже собралось довольно.

Въ провинціи, въ то время, еще веселились, не уступая Петербургу, который веселился какъ никогда. Верховской, хотя оставилъ его вскорѣ послѣ Святой недѣли, наслушался концертовъ, насмотрѣлся спектаклей и баловъ до усталости и былъ радъ уѣхать въ провинцію, чтобъ отдохнуть, но, повидавшись по дѣлу съ двумя-тремя лицами, пришлось знакомиться и съ другими, такъ, что въ двѣ недѣли, Верховской узналъ

все, что называло себя «высшимъ N-скимъ обществомъ». Верховской убѣдился, что въ Петербургѣ бываютъ, по крайней мѣрѣ, опредѣленные часы для бездѣлья, и что тамъ люди, ничего недѣлающіе, дѣлаютъ, по крайней мѣрѣ, видъ, будто заняты; въ провинціи не соблюдалась и эта церемонія, и, казалось, не было ни службы, ни занятія, не оставляющаго времени для долгихъ визитовъ по утру, для праздношатанія днемъ, для игры въ карты отъ сумерокъ до разсвѣта. Верховскому пришлось жить такъ же, принимая и отдавая посѣщенія. Его особенно ласкали, какъ будущаго помѣщика N-ской губерніи, можетъ быть, даже N-скаго жителя. Дамы нѣсколько огорчились, узнавъ, что онъ женатъ, но сообразили такъ же, что «это будетъ пріятный домъ», потому что жена Верховского любитъ удовольствія. Это уже знали, хотя Верховской не разсказывалъ.

Верховской провелъ послѣднія десять лѣтъ въ Петербургѣ, но зналъ и Москву, и провинцію, и не находилъ большой разницы въ складѣ провинціальнаго общества и складѣ богатыхъ петербургскихъ среднихъ кружковъ. Это было почти то же съ небольшими измѣненіями: въ провинціяхъ было только поменьше формальности и экономіи, побольше разгула и сплетень; даже сужденія провинціи казались запоздалыми только сравнительно съ разсужденіями высшаго или литературнаго петербургскаго круга. Такъ думалъ прежде Верховской; теперь, уѣзжая въ провинцію, онъ ожидалъ найти болѣе разницы. Война продолжалась ужъ полгода; событія быстро слѣдовали одно за другимъ, затрудненія усложнялись, затрогивались существенные, родные интересы. Столицы каждый день читали газеты, получали опредѣленныя извѣстія, были на-слуху распоряженій и намѣреній, болѣе или менѣе знали чему вѣрить, чего ждать, чего опасаться. Но столичные толки, хотя и жаркіе съ вида, были сдержанны, осторожны: недовѣріе и опасенія прятались; настроеніе было искусственное, неискреннее. Столица не страна: это какое-то нарядное, праздничное мѣсто, съ своими уставами и условіями. Правда, туда сбираются люди со всѣхъ концовъ страны, но столица имѣетъ свойство скоро передѣлывать людей на свой ладъ, не выслушиваетъ ихъ, а заставляетъ себя слушать; не узнаетъ отъ нихъ обычаи, силы и нужды страны, а внушаетъ забывать все это, предлагая обо всемъ свои понятія—не широкія, не вѣрныя, успокоительныя, какъ все, что составляется на-скоро и съ предвзятымъ намѣреніемъ приказывать и не безпокоиться... Только въ настоящее время, когда обнаруживается жизненная дѣятельность провинцій, жители столицъ, — и то еще далево не всѣ, — начинаютъ терять вѣру въ столичное знаніе вещей и непогрѣшимость столичнаго мнѣнія. Но прежде, тогда, было не то: 1854-й былъ послѣднимъ и самымъ тяжкимъ годомъ молчанія одной стороны, невниманія другой и разъединенія обѣихъ...

Верховской принадлежалъ къ немногимъ жителямъ столицы, неувлекавшимся ея предположеніями, строже обсуждавшимъ ея приговоры и уставшимъ отъ ея веселій. Уѣзжая въ провинцію, онъ надѣялся отдохнуть, — что не удалось ему,—но удостовѣрился, что веселье провинціи — не навязанное, не поддѣльное, а искреннее... Убѣдясь въ этой искренности, онъ сталъ искать ее и въ другомъ, счелъ обязанностью присмотрѣться ближе. Въ Петербургѣ онъ слышалъ довольно фразъ; въ провинціи должна быть правда. Здѣсь, на болѣе родной и твердой точкѣ опоры, общественное мнѣніе и общественная сила должны были являться свободнѣе, съ болѣе яснымъ сознаніемъ; увлеченіе здѣсь не могло быть подготовлено, вынуждено модой, вызвано разсчетомъ и желаніемъ выставиться на видъ. Здѣсь всякій ближе и опредѣленнѣе зналъ свои средства: по увлеченію можно было судить о возможномъ размѣрѣ самоотверженія... Верховской сталъ внимательно слушать толки. Сначала его поразила, въ большинствѣ, недостаточность политическаго знанія, но онъ видѣлъ единственные источники этого знанія — «Инвалидъ» и «Сѣверную Пчелу» на столѣ клуба, а на столѣ губернаторши, m-me Волкаревой, листы выкроекъ, которые назывались иностранными газетами. Ясно, что многаго и требовать было нельзя. Верховской воздержался отъ взыскательности, старался не находить смѣшнымъ, что m-me Волкарева разбрасывала свою «Indépendance» какъ можно живописнѣе и примѣтнѣе; что клубные читатели вѣрили только въ свои двѣ газеты и презирали иностранныя; что патріотизмъ выражался иногда выспренно-сантиментально, иногда съ грубымъ самохвальствомъ: чувство могло быть сильно, но могло не умѣть выражаться. Верховской боялся судить неосмотрительно. Онъ удерживался даже отъ улыбки на ни съ чѣмъ несообразныя, блестящія предположенія, опровергалъ ихъ осторожно, чтобъ не испу-

гать увлеченія, которое могло быть... Но онъ недолго оставался въ этомъ пріятномъ заблужденіи. Въ нѣсколько дней онъ убѣдился, что ничего не было, ни сознанія силъ, ни народной гордости, ни пыла, ни глубокаго чувства, убѣдился тѣмъ спокойствіемъ, съ которымъ всякій прекращалъ какой бы ни было разговоръ о современныхъ дѣлахъ и обращался къ самому себѣ, къ своимъ интересамъ, къ вчерашней сплетнѣ, къ завтрашней попойкѣ. Едва раскрывались игорные столы, общество бросалось за нихъ, замѣтно облегченное и обрадованное. «Гдѣ-то» дѣлалось «что-то»; потолковали—и довольно. Это не у нихъ дѣлалось, не ихъ касалось... Это было не мужество, обсудившее свой долгъ и положеніе, и, въ ожиданіи своей очереди дѣйствовать, въ свободный часъ, обращающееся къ житейскимъ мелочамъ. Это была не отвага, готовая, шутя, всѣмъ жертвовать и, шутя, умереть; не горе, которое, утомясь само собою, ищетъ въ чемъ нибудь забыться. Это было холодное, тупое, сонное равнодушіе. Отъ него-то и была такъ искренно-весела провинція...

Верховскому стало тяжело, когда онъ въ этомъ убѣдился. Искусственная жизнь Петербурга одолѣвала; эта была не лучше: равная пустота содержанія, только на другой ладъ. Петербургъ фразировалъ и устроивалъ аллегри; провинція махнула рукой и сѣла за карты. Равнодушіе подрумяненное и равнодушіе откровенное. Верховской рѣшился разбирать то, которое было передъ глазами.

Разборъ выходилъ неутѣшительный...

Общество не оглядывалось на себя, не размышляло. Повременамъ оно чувствовало, что стѣснено, но въ чемъ—не могло сказать и не задавало себѣ этого вопроса. Оно существовало; оно было формально устроено, формально ограждено. Тому, кто умѣлъ, не запрещалось богатѣть, какъ умѣлъ; на способы смотрѣли снисходительно; если они были обставлены нужною формальностью, о нихъ и не спрашивали, если богатство веселило кружокъ, въ которомъ процвѣтало. Выработывалась легкая совѣсть; никому не запрещалась удача. Передъ удачей благоговѣли, можетъ быть, отъ внутренней неопредѣленной печали стѣсненія, заставлявшей высоко цѣнить удачу, тамъ, гдѣ были напрасны трудъ и достоинство; можетъ быть отъ порчи, въѣдавшейся въ это довольное рабство. Послѣднее едва ли не вѣрнѣе: въ обществѣ не было негодованія. Общество доводило свое всепрощеніе и неосужденіе до крайности, возможной только въ конечномъ стѣсненіи: преступники только въ тюрьмѣ сочувствуютъ другъ другу... Своекорыстное, отъ отсутствія всякаго общаго интереса, общество мельчало мыслью, сжималось по кружкамъ, дробилось на единицы, и каждая изъ этихъ единицъ привыкала дорожить только собою. Не задумываясь, даже ужъ не о постыдности, а, просто, о забавной сторонѣ своихъ поступковъ, — эти люди изъ-за личностей ссорились, изъ-за личностей дружились; гражданскій долгъ былъ для нихъ нѣчто отвлеченное, чему они не видѣли примѣненія, слѣдуя по обычной колеѣ, не смѣя размышлять, куда ведетъ она, можетъ быть, чувствуя ея неудобство, боясь потерпѣть, если отъ нея отступятъ, — но чаще всего, довольные этой колеей, довольные болѣе всего тѣмъ, что никто не спрашиваетъ ихъ, какъ провести новую... Самое слово «гражданскій долгъ» — считалось фразой. Выработывался даже языкъ чинный, приличный, гладкій, исключающій всякое прямое названіе вещей по имени. Но языка сильнѣе было и не нужно: говорить было нечего. Для такъ называемыхъ «высокихъ предметовъ» были высокіе казенные образцы слога, и тѣ понадобились только въ послѣднее время, и то — для немногихъ строкъ въ вѣдомостяхъ. Живой рѣчи не было мѣста въ обществѣ, гдѣ существовали только свѣтскія, денежныя, пустыя отношенія, въ обществѣ, не имѣвшемъ ни общей мысли, ни общей заботы, отученномъ отъ предпріимчивости, не дерзавшемъ и облѣнившемся по убѣжденію. Укрѣплялось и укрѣпилось одно убѣжденіе: что все хорошо какъ есть, потому что такъ покойно... Общество облежалось на узкой и короткой постелѣ, гдѣ засыпало, и осмѣивало, осуждало тѣхъ немногихъ, которые смѣли увѣрять, что мириться съ подобнымъ положеніемъ и невыгодно, и нечестно. Но такіе голоса раздавались рѣдко и осторожно; такихъ людей презирали, когда не боялись; отъ нихъ сторонились. Въ свою очередь мельчали и эти люди, тратя на звонкія слова и провинціальныя придирки душевную силу, при другихъ условіяхъ годную для многаго хорошаго; въ свою очередь и они дѣлались виноватыми, когда, уставъ отъ своего одинокаго протеста, не видя отъ него пользы ни себѣ, ни другимъ—вдругъ круто сворачивали въ общую колею, ко всѣмъ прелестямъ лѣни, барства, крѣпостного права, безсмыслія, всего, въ чемъ погрязали всѣ, — и эти всѣ встрѣчали ихъ сначала съ насмѣшкой,

какъ новообращенныхъ, потомъ съ привѣтомъ, какъ своихъ. Эти новообращенные только хуже подрывали кредитъ правды, здраваго смысла и достоинства: на нихъ указывали какъ на примѣръ того, что съ ихъ прежними понятіями жить нельзя и не должно, какъ на доказательство и подтвержденіе благоустройства общества въ его настоящемъ видѣ...

Въ несчастномъ 1854 году, это несчастное общество дошло до послѣднихъ границъ ослѣпленія: оно начало хвастаться. Правда, за него сначала прихвастнули столицы, прихвастнули люди, никогда его незнавшіе,—кто изъ разсчета, кто по собственному искреннему чувству, считая его за отголосокъ общаго, а кто — предполагая, что громкія слова возбудятъ чувство, «такъ сказать, одушевятъ». Громкія слова вызвали не одушевленіе, но смѣшное, ужасающее самомнѣніе, самодовольство, и заставили хуже застынуть эту неподвижность: она вообразила себя гранитомъ. Нечего измѣняться, когда все такъ прекрасно, такъ разумно, такъ справедливо. Нечего безпокоиться, когда все такъ сильно, такъ прочно, такъ ограждено. Говорятъ, надо постоять... что-жъ, пожалуй!.. Хотя для общества, отвыкшаго отъ серьезныхъ словъ, это слово было какъ будто непонятно, хотя, казалось, имъ требовалось чего-то невошедшаго въ разрядъ умственныхъ и нравственныхъ потребностей, чего-то ускользнувшаго изъ жизни, чего-то необычайнаго,—но общество тотчасъ догадалось, что трудность исполненія лежитъ не на немъ, а на темномъ народѣ, съ которымъ оно день-ото-дня все больше разрывало связь. Догадавшись, общество получило еще основаніе не безпокоиться: крѣпостной, обязанный все дѣлать, сдѣлаетъ и это,—постоитъ. Оно поняло, что будутъ нужны деньги, но въ началѣ 1854 г. ихъ надобилось еще не такъ много, въ оборотѣ ихъ было довольно, а давая громкія офиціальныя обѣщанія, общество знало, что расплатится не оно, а все тѣ же, которые должны «постоять», и если, впослѣдствіи, изъ этого произойдутъ какія нибудь денежныя затрудненія, то ихъ будетъ легко наверстать, все изъ того же неистощимаго источника,—тѣмъ болѣе, что и бѣда-то вовсе не велика и «Сѣверная Пчела» положительно говоритъ, что ее можно закидать шапками...

Городъ N* представлялъ образъ полнѣйшаго довольства и спокойствія; въ обществѣ ни у кого не было траура; война не коснулась никого и со стороны семейной заботы; веселиться ничто не мѣшало. Верховской не удивился, найдя много народа въ клубѣ. Старшина приказывалъ освѣтить маленькую залу и посылалъ за музыкой.

— Развѣ сбираются танцовать? спросилъ Верховской.

— Да. Съ гулянья зашла Марья Васильевна, съ ней дамы, и еще, вѣроятно, подъѣдутъ. Покуда, въ ожиданіи, тамъ у насъ пѣніе.

Верховской слышалъ издали звуки рояля. Въ большой залѣ, которую проходилъ онъ, были отворены окна: она была еще полна тихаго весенняго вечерняго свѣта и въ немъ терялся огонь свѣчей, зажженныхъ на карточныхъ столахъ. Эти столы были ужъ большею частію заняты. Между другими знакомыми, Верховскому встрѣтился губернаторъ Волкаревъ, проходившій съ картой въ рукѣ.

— Вотъ и вы! вскричалъ онъ:—возвратились? Eh bien, êtes-vous à nous? Вы знаете, здѣсь умы волнуетъ вопросъ: поселитесь ли вы или нѣтъ въ Спасскомъ? On tient à vous avoir ici.

— Очень благодаренъ.

— А я желаю этого едва ли не больше всѣхъ, продолжалъ Волкаревъ, понизивъ голосъ и по-французски:—сегодня вы здѣшній помѣщикъ, а завтра—здѣшній предводитель, и это моя надежда. Всѣ эти здѣшніе господа!.. Мы съ вами поняли бы другъ друга. Когда поселяешься въ провинціи, мой милый, то начинаешь понимать такія надежды... Да и просто, эгоистически, Марья Васильевна и я хотимъ васъ завербовать сюда какъ товарища въ изгнаніи, прибавилъ онъ, любезно смѣясь.

— Мѣсто-то изгнанія мнѣ не совсѣмъ по вкусу, отвѣчалъ по-русски Верховской.

— Какъ, Спасское?

— Да.

— Quelle idée! une propriété magnifique!

— Да, но хлопотъ съ ней много, отвѣчалъ Верховской, взглянувъ на любезнаго собесѣдника и чувствуя удовольствіе, что онъ какъ будто сконфузился отъ отвѣта и взгляда.

— Хлопотъ?.. повторилъ Волкаревъ и опять понизилъ голосъ.—Oh, croyez-moi, c'est fini, bien fini! Меня здѣсь знаютъ. Мнѣ стоило приказать однажды... Это все закваска прежнихъ поблажекъ, прибавилъ онъ съ презрительной злостью:—но меня, стараго кота, больше не обманутъ. Можете быть по-

койны. Исправникъ и становой... скажите имъ моимъ именемъ, что если когда нибудь... Это люди мнѣ преданные. Однимъ счастіемъ въ жизни могу я похвалиться, мой милый Андрей Васильевичъ,—я здѣсь любимъ! заключилъ онъ вдругъ съ умиленіемъ, съ котораго также быстро перешелъ на прежній веселый тонъ.—Такъ когда же мы васъ водворяемъ? Затрудненій, кажется, особенныхъ нѣтъ? Межеваніе съ казенными кончено?

— Нѣтъ, сказалъ Верховской, которому это наскучило.

— Нѣтъ?.. Ну, тутъ ужъ я ничего не могу!! продолжалъ губернаторъ, на этотъ разъ по-русски и очень громко.—Здѣшній управляющій палатою государственныхъ имуществъ, господинъ Багрянскій, упрямъ какъ семинаристъ... каковъ онъ, впрочемъ, и есть... Полгода тянуть такіе пустяки! Я ужъ обращался къ нему, по просьбѣ m-me Запольцовой, и имѣлъ честь получить... да, почти что наставленіе — не мѣшаться не въ свое дѣло. Право, да! потвердилъ Волкаревъ, засмѣявшись, на что откликнулись слушатели:—j'ai eu cette leçon-là, а потому, несмотря на все мое желаніе быть вамъ полезнымъ, дорогой Андрей Васильевичъ...

— Благодарю васъ, прервалъ Верховской:—я постараюсь самъ видѣться съ г. Багрянскимъ.

— Да, *постарайтесь*, именно такъ, *постарайтесь*, потому что это невидимка, подхватилъ развеселившійся губернаторъ:—въ палатѣ своей онъ всегда занятъ, а дома никогда не принимаетъ. Вамъ придется осаждать его!.. Et à ce propos, savez-vous la nouvelle? вдругъ зашепталъ онъ таинственно и, взявъ подъ руку Верховского, даже отвелъ его отъ кружка, впрочемъ, по направленію къ игорному столу, гдѣ его ждали:—въ Балтійскомъ морѣ англійскій флотъ!

— Въ Балтійскомъ морѣ? повторилъ Верховской.

— И ужъ дрались, нападали на барки... это, вотъ, новенькое, въ пять дней, покуда васъ здѣсь не было... Мнѣ пишутъ. Вообще, событія... Mais, excusez, le whist est à l'ordre du jour!.. вамъ разскажетъ моя жена... договорилъ онъ, оставляя Верховского, и, на послѣднемъ переходѣ къ столу, раскланиваясь съ двумя входящими молодыми дамами. — Mesdames, пріятная и важная новость, — я получилъ сегодня:—on nous enverra ici les prisonniers de guerre français!

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Скоро?

— Вотъ, когда будутъ.

— А, еще долго!

— Молитесь, mesdames, за успѣхъ нашего оружія, за христолюбивое воинство.

Молодая дама разсмѣялась.

— А что-жъ вы сдѣлаете съ французами?

— Жду вашихъ приказаній, отвѣчалъ съ поклономъ губернаторъ.

— Покажите, если будутъ хорошенькіе, сказала одна.

— Вы ихъ запрете? прибавила другая.

— Mesdames, ils ne porteront d'autres chaînes que des vôtres...

Верховской отошелъ, когда они заговорили. Извѣстіе его поразило. Онъ подумалъ, не напугавшись ли, его жена такъ неожиданно и скоро уѣхала изъ Петербурга. Но въ ея письмѣ не было ни слова о приближеніи непріятеля; оно все состояло изъ приказаній скорѣе купить деревню, изъ разсчетовъ, что дачи дороги и неудобны, что нужны комнаты для гувернантки, нужны ванны, нужно молоко; что другія деревни Лидіи Матвѣевны—въ глуши и въ нихъ нѣтъ господскихъ домовъ... Верховской все это давно зналъ, сто разъ слышалъ и уже шесть разъ прочелъ въ шести письмахъ, присланныхъ ему въ N*. Въ послѣднемъ не было главнаго: причины выѣзда изъ Петербурга. Но если перепугалась — не нужно ли съѣздить въ Москву, успокоить?.. Верховской не отвѣчалъ себѣ на этотъ вопросъ, но подумалъ, что сію минуту уѣхалъ бы въ Петербургъ...

— Будете танцовать? спросилъ его Лѣсичевъ, молодой человѣкъ изъ избраннаго интимнаго кружка Волкаревыхъ.

— Я не танцую.

— Полноте, не огорчайте Марью Васильевну; для нея... хоть полюбуйтесь.

— Я и совсѣмъ уйду, если тутъ танцы; я сейчасъ съ дороги, зашелъ сюда нечаянно, въ сюртукѣ, перчатки черныя...

— Э, Боже мой, ничего. Вечеръ внезапный, импровизированный. Вамъ извинится. Это, вотъ, на дѣйствующую армію сейчасъ была сдѣлана *постройка* бѣлыхъ перчатокъ. Полковникъ ихъ распорядился, послалъ, а то они хотѣли сами сбѣгать, продолжалъ Лѣсичевъ, хохоча и показывая на офицеровъ, толпившихся у стѣнъ.

— Откуда они? спросилъ Верховской.

— Офицеры? Не знаю. Какой-то полкъ, идутъ на Дунай... Впрочемъ, чтобъ не переврать — и этого не знаю. Вчера пришли и здѣсь имъ на недѣлю велѣно остановиться:

чего-то ждутъ... Да пойдемте въ гостиную. Смѣхъ!.. Марья Васильевна, вѣдь, тотчасъ готова продюизировать...

Въ дверяхъ гостиной было тѣсно. Почти у входа стоялъ рояль и за нимъ сидѣлъ молоденькій бѣлокурый прапорщикъ, очевидно, изъ недавно выпущенныхъ кадетъ; его маленькая головка даже серебрилась отъ густоты волосъ и короткой стрижки; круглыя щеки съ ямочками еще не успѣли похудѣть; мѣдныя эполеты сіяли. Онъ конфузился, краснѣлъ и пѣлъ, постукивая по клавишамъ красными короткими ручками, на которыя надвигались красные обшлага, безобразно широкіе, сшитые по модѣ, какъ былъ увѣренъ мальчикъ, «на ростъ»—какъ насмѣшничали его старшіе товарищи. Онъ пѣлъ стихотвореніе, въ то время всѣмъ знакомое, удостоенное переложенія на музыку и производившее такой фуроръ, что публика долго приписывала его то одному, то другому изъ нашихъ извѣстныхъ поэтовъ:

Вотъ, въ воинственномъ азартѣ,
Воевода Пальмерстонъ...

Офицерикъ пѣлъ это ужъ въ четвертый разъ, по желанію m-me Волкаревой, которая просила повторить всякій разъ, едва въ гостиную входило новое лицо. M-me Волкарева стояла, положивъ руки на его стулъ, и громко разговаривала съ тѣми, кого сбирала слушать.

— А, m-r Верховской! сказала она, увидя его:—давно ли воротились?

— Ну, слава Богу, теперь «Пальмерстону» конецъ, сказалъ одинъ статскій молодой человѣкъ другому, тоже изъ статскихъ, подъ шумокъ, пока Верховской раскланивался.

— Ты думаешь?

— Вотъ, увидишь; больше не попроситъ.

Офицерикъ, ужъ привыкшій повторять, едва кончалъ, ударилъ опять первый аккордъ.

— Merci, прервала его m-me Волкарева:— bien merci за удовольствіе, которое вы доставили...

— Довольно... пояснилъ ему, вполголоса, сѣдой полковникъ.

— Неправда ли, мы оригинально проводимъ вечеръ... заговорила m-me Волкарева Верховскому и, оглянувшись, что никто болѣе не выражаетъ своей благодарности артисту, обратилась опять къ нему:—У васъ прекрасный голосъ, m-r Соловьевъ... pardon, m-r Соколовъ; вамъ бы надо заниматься, постоянно заниматься...

— Вотъ, прежде кое-чѣмъ другимъ займемся, отвѣчалъ за него полковникъ:—не до пѣсенъ покуда.

— Ахъ, нѣтъ, пѣніе одушевляетъ! возразила m-m Волкарева, оглядываясь на другихъ дамъ, чтобъ выпросить у нихъ хоть нѣсколько словъ для поддержки разговора.

Дамы молчали или разговаривали между собой и статскими господами.

— Пѣніе оживляетъ... повторила она почти отчаянно.

— И очень, сказалъ командиръ N-скаго гарнизоннаго батальона:—у меня здѣсь теперь обучается партія рекрутъ; славно спѣлись.

— Русскій народъ вообще музыкаленъ, прибавила губернаторша.

— Да, вотъ, неугодно ли вашему превосходительству, можно будетъ, какъ нибудь вечеромъ, послѣ ученья, пригнать ихъ сюда на бульваръ (онъ показалъ въ окно), они вамъ хоть до полночи пропоютъ.

— Ахъ, непремѣнно... Слышите, mesdames, намъ даютъ военную серенаду! Война доставляетъ свои удовольствія.

— Кому какія, замѣтилъ Верховской,

Старый полковникъ улыбнулся молча.

— Ахъ, нѣтъ! вскричала m-me Волкарева: — а слава? отличиться, взять знамя.

Она опять оглянулась на дамъ.

— Желаю вамъ взять знамя, сказала маленькому прапорщику хорошенькая женщина съ плутовскими глазами, къ которой особенно обращались взгляды губернаторши.

Юноша только что успѣлъ вылѣзти изъ-за рояля, гдѣ его прижали, и услыша, что съ нимъ говорятъ, еще больше сконфузился.

— А если убьютъ? повторилъ онъ своимъ дѣтскимъ голосомъ и почти шопотомъ.

— А сколько по васъ заплачутъ! возразилъ ему, хохоча, Лѣсичевъ.

Желаніе m-me Волкаревой исполнилось: разговоръ сдѣлался нѣсколько живѣе, хотя военные, попрежнему, мало принимали въ немъ участія. Эти некрасивые, загорѣлые армейцы уже болѣе десяти лѣтъ не были въ модѣ въ губернскомъ свѣтѣ и понимали, что ихъ пора не наставала и теперь: женщины умѣли только пророчить имъ побѣды, а мужчины спрашивали, откуда и далеко ли они идутъ. Они изъ-подлобья смотрѣли на собесѣдниковъ, хмурились, или насмѣшничали даже надъ своими товарищами, которые менѣе односложно отвѣчали на вопросы. Губернское общество, въ свою очередь, переглядывалось и смѣялось. Это были два отдѣльные свѣта и настоящая минута, казалось бы, общаго интереса ихъ не соединяла.

Для обѣихъ сторонъ интересъ былъ новъ, принятъ обѣими неглубоко; забыть старое было не въ чемъ, говорить о новомъ — не о чемъ... Ихъ какъ-то неловко ласкали, за ними какъ-то обидно ухаживали.

— Да, теперь мы понадобились, сказалъ въ своемъ кружкѣ одинъ особенно неловкій и немолодой поручикъ, отцѣпляя шпагу и укладывая каску на окно: въ ближней залѣ раздалась музыка.

M-me Волкарева и другія дамы между тѣмъ приставали къ полковнику и старшимъ офицерамъ, чтобъ они дали этими днями вечеръ на дачѣ, дали бы послушать музыку, которой славился ихъ полкъ. Полковникъ долго отговаривался, наконецъ уступилъ. Дамы были въ восхищеніи.

— А я вызываюсь быть хозяйкой на вашемъ балѣ и звать къ вамъ гостей, сказала m-me Волкарева, весело отправляясь танцовать.

Вслѣдъ за губернаторшей отправилось и все общество. Въ гостиной и большой залѣ, въ сторонѣ отъ играющихъ, бродили только офицеры, которые не нашли себѣ дамъ. Они были сумрачны, толковали между собою о назначенномъ вечерѣ, о томъ, что походъ великъ, денегъ ни гроша...

II.

Верховской ушелъ домой. N-ское общество показалось ему какъ-то особенно не по-душѣ. Его тупо одолѣвала мысль, что здѣсь ему придется поселиться...

Онъ не забывалъ, что его столько же одолѣвала и петербугская жизнь, что слишкомъ въ десять лѣтъ онъ не могъ въ нее втянуться. Втянувшіеся называютъ ее лихорадочной, завлекательной. Верховскому она казалась одуряющей бѣготней все въ одномъ и томъ же ограниченномъ пространствѣ, бѣготней, въ самомъ дѣлѣ, доводящей до лихорадочнаго состоянія и завлекательной только потому, что больше дѣлать нечего... Верховской служилъ, какъ вообще служатъ люди съ состояніемъ, не особенно дѣятельно, но ясно убѣждался, что и большая дѣятельность была бы одинаково безполезна. Въ обществѣ, казалось бы, оживленномъ, дѣятельномъ, потому что суетливомъ, Верховскому наскучало однообразіе воспитанія, мнѣнія, вкусовъ, обычаевъ, установившихся и незыблемыхъ. Иногда общество какъ будто и само тяготилось ими, но какъ будто находило ихъ и удобными, потому что безъ нихъ не знало бы что съ собою дѣлать. Ни на что ненужныя знакомства, считавшіяся необходимыми потому только, что однажды были заведены—и также безъ всякой необходимости; положенные пріемные вечера разъ въ недѣлю и совершенное сходство этихъ вечеровъ отъ перваго до послѣдняго; абонементъ въ оперѣ, будто нѣчто непреложное; чай послѣ оперы непремѣнно у однихъ и тѣхъ же знакомыхъ, будто нѣчто неизбѣжное, — и тамъ все тѣ же лица и тѣ же толки, не дальше красоты Маріо и скандаловъ по этому поводу, не дальше вчерашняго производства и завтрашняго парада; балъ за баломъ; какая-то обязанность веселиться, потому что больше ничего не придумывалось, потому что больше не на что потратить время,—все это одолѣвало. Пустота мучила, и мучила тѣмъ болѣе, что ею, казалось, никто не скучалъ. Никто,—иначе, люди съ достаткомъ постарались бы изъ нея выдти, или хоть оживить ее. Но они-то ее и создавали. Ими и держались эти загородные зимніе пикники, эта дачная скука, эта пошлость театра, гдѣ, по ихъ мнѣнію, были необходимы водевильчики, чтобъ отдохнуть отъ Рашели. Они-то и гнали, ужъ не только всякую книгу, но даже всякій романъ серьезнѣе «Трехъ мушкатеровъ», пробиваясь въ отечественной литературѣ знаніемъ анекдотцевъ, переносимыхъ изъ редакцій и перевранныхъ на дорогѣ. Что бы ни случилось, гдѣ-то далеко, принималось тоже въ видѣ анекдотца и служило предметомъ легкаго разговора на полчаса, не больше. Такъ прошли для этихъ кружковъ общества 1848—49 годы, такъ подступали и грозные настоящіе, все въ той же нарядной, дорогой праздности жизни и постыдной праздности мысли. Верховской по положенію принадлежалъ къ этимъ кружкамъ. Они составляли средину между высоко поставленной, недоступной аристократіей и небогатымъ людомъ, въ которомъ, въ то время, затеривался и людъ ученый, артистическій, литературный. Верховского тянуло туда по наклонностямъ и воспитанію; но однажды принятое положеніе въ свѣтѣ, семейныя отношенія, служба, знакомства, — вся это обрядовая сторона связывали и удерживали тамъ, куда онъ попалъ по-неволѣ...

Впрочемъ, онъ не могъ сказать: «по-неволѣ». У него на совѣсти лежалъ грѣхъ и годъ отъ году все тяжелѣе за себя отплачивалъ: Верховской былъ бѣденъ и женился изъ-за состоянія. Онъ продалъ свою волю и съ нею возможность жить какъ бы хотѣлось, выбирать себѣ друзей и занятія, даже

возможность быть самимъ собою. Такая продажа — дѣло довольно обыкновенное и обходится, кажется, довольно легко, потому что несчастныхъ отъ нея незамѣтно; — судьба ли устроиваетъ все къ благополучію людей, люди ли мирятся съ судьбою и своею совѣстью, вознаграждая себя чѣмъ могутъ, или, если страдаютъ, то молчатъ? потому что подобная жалоба ведетъ за собою много тяжелыхъ и неловкихъ признаній и вызываетъ или сочувствіе, отъ котораго дѣлается какъ-то стыдно, или осужденіе людей подчасъ не менѣе виноватыхъ, но на этотъ разъ не пропускающихъ случая щегольнуть фразами честности...

У Верховского не было повѣренныхъ, и свѣтъ, который видѣлъ его жизнь, находилъ его правымъ со всѣхъ сторонъ и счастливымъ во всѣхъ отношеніяхъ, такъ эта жизнь текла стройно, прилично, достойно уваженія. Онъ одинъ зналъ и чувствовалъ ея настоящую цѣну...

Онъ былъ единственный сынъ. Его отецъ когда-то имѣлъ состояніе и, уже немолодой, женился на дѣвушкѣ изъ стариннаго дворянскаго дома, за которой не спросилъ приданаго. Спрашивать, впрочемъ, было бы напрасно: старинный домъ былъ въ большомъ упадкѣ. Отецъ Верховского доставилъ себѣ удовольствіе заплатить нѣсколько долговъ, наиболѣе грозившихъ этому семейству, которое, деликатно, никогда впослѣдствіи не конфузило его своею благодарностью и не возвращало денегъ. Это семейство было многочисленно, но, служа, такъ разсѣялось по отечеству, что когда отецъ Верховского самъ запутался въ своихъ дѣлахъ, онъ не могъ добиться ни отъ кого изъ родственниковъ ни помощи, ни совѣта, а наконецъ, и отвѣта на свои письма. Онъ запутался скоро. Житье, хотя и въ губернскомъ городѣ, но выше средствъ, игра, спекуляціи, которыми онъ вздумалъ было поправиться, унесли до конца его состояніе. Разореніе шло быстро. Андрею было четырнадцать лѣтъ, когда отецъ его умеръ на бѣдной постелѣ, во флигелькѣ о трехъ кривыхъ окнахъ, куда переѣхали Верховскіе изъ своего большого дома, описаннаго и проданнаго съ молотка. Разореніе, хотя и ожиданное, было ужасно... Верховского знали за человѣка неразсчетливаго, но любили, какъ человѣка добраго; никто не вызвался предостеречь, удержать его, когда онъ тратился на свою безумную хлѣбъ-соль, напротивъ, его будто поощряли тратиться, — но послѣ его смерти, эту хлѣбъ-соль вспомнили. Общество обратилось съ участіемъ и предложеніемъ помощи его вдовѣ. Тогда эта женщина, воспитанная въ барствѣ, прожившая въ довольствѣ, избалованная свѣтомъ за свою необыкновенную красоту, избалованная любовью и предупредительностью мужа, выказала твердость, рѣдкую даже въ наше время, а тридцать лѣтъ назадъ — неслыханную. Она, безъ гордости и обиды отказалась отъ всякой помощи. Не обязываясь никому, она не теряла своей независимости, а отъ сочувствія общества приняла только одно: возможность трудиться. Она стала давать уроки. Въ то время, особенно въ далекомъ губернскомъ городѣ, было трудно найти даже посредственныхъ учителей языковъ и музыки, а Верховская оказывалась учительницей отличной. Тутъ только узнали, что она сама занималась воспитаніемъ сына, изящнаго, умнаго мальчика, на котораго вдвое тяжелѣе падала перемѣна обстоятельствъ. Всѣ думали, что мать попроситъ объ его устройствѣ кого нибудь изъ своихъ братьевъ; она этого не сдѣлала. Рѣзко и рѣшительно она положила не обязываться никому, тѣмъ болѣе роднымъ, которыхъ заранѣе предвидѣнный отказъ могъ бы только огорчить и ожесточить впечатлительнаго мальчика, — тонкости, многими часто забываемыя. Она дѣлала сына товарищемъ своей жизни, всякаго своего горя и всякаго лишенія. Уже больше года, еще при жизни отца, Андрей ходилъ въ гимназію, потому что не было средствъ имѣть учителей дома. Теперь, возвращаясь изъ классовъ въ бѣдный флигель, онъ находилъ свою неутомимую мать, тоже возвратившуюся съ уроковъ, готовую, какъ прежде, заниматься съ нимъ. Она не теряла ни одной минуты; въ свободные промежутки, она шила и вышивала на продажу. Свѣтская женщина только не умѣла и не могла хозяйничать; она хворала отъ кухоннаго чада; ея нѣжныя руки не выносили тяжестей и холодной воды, — музыкантшѣ было необходимо беречь ихъ; все грубое ее мучило и отвращало. Сынъ вступился во-время помогать, разсчелъ расходы, нашелъ работницу; въ промежуткахъ чтенія, занятій, переводовъ, англійскихъ уроковъ, носилъ воду, кололъ дрова, топилъ печи, подметалъ дворъ; онъ сторожилъ бы ночью вмѣсто собаки, еслибъ это было нужно для спокойствія матери. Онъ прежде любилъ ее, въ бѣдности сталъ обожать. Онъ видѣлъ, что она не старалась выказывать твердость только для того, чтобъ поддержать его: она не

притворялась, она была тверда въ самомъ дѣлѣ, — въ самомъ дѣлѣ, товарищъ, съ которымъ легко жилось, при которомъ было стыдно сробѣть или залѣниться. Она была его нравственной силой; ему хотѣлось быть чѣмъ нибудь для нея. Онъ сталъ ея радостью. Бѣдность была велика, но велико было счастье всякій день больше и больше любить другъ друга, встрѣчаться каждое утро съ восторгомъ, будто послѣ разлуки нѣсколькихъ годовъ, жить только вдвоемъ — и все не наговориться... Онъ называлъ мать: «ненаглядная». Она не говорила, но съ удовольствіемъ женщины замѣчала, что онъ хорошѣетъ; онъ становился похожъ на нее...

Но чѣмъ лучше было ихъ счастье, тѣмъ яснѣе становилась необходимость скоро разстаться; молодому человѣку нельзя было покончить свое воспитаніе одной гимназіей и уроками матери... Безъ малѣйшаго движенія барства и брезгливости, когда не случалось выгодныхъ уроковъ, Верховская ходила учить грамотѣ въ дома купцовъ, мѣщанъ, мелкихъ чиновниковъ,—но не могла подумать безъ ужаса, что ея сынъ поступитъ въ число писарей какого нибудь присутственнаго мѣста. Правда, въ свѣтскихъ богатыхъ домахъ ей намекали и даже говорили положительно, что это устроится, что ея André, «un enfant de bonne maison», можетъ быть замѣщенъ при губернаторѣ, что онъ не затеряется, что онъ увидитъ общество. Верховскую едва ли еще не болѣе пугало это предположеніе. Она ясно видѣла, что, такъ, жизнь ея сына начнется съ невѣрнаго шага, съ кривой дороги, съ ложнаго положенія. Праздность, протежированіе и мелкіе услуги, которыхъ оно требуетъ будто должнаго,—неловкость и затрудненія, неизбѣжныя въ богатомъ обществѣ для молодого человѣка образованнаго и бѣднаго — Верховская обо всемъ передумала. Она не остановилась на пріятной мечтѣ, что сынъ постарается не терять времени, будетъ вникать въ дѣло, будетъ помнить свои средства и не постыдится своей бѣдности. «Въ восемнадцать лѣтъ служить рано, а въ этомъ обществѣ онъ измельчаетъ», рѣшила она съ своей обычной твердостью и перестала думать о трудныхъ и черныхъ дняхъ, которые ему предстояли. У нея только тяжело легла на душѣ мысль, что придется съ нимъ разстаться, что онъ будетъ одинокъ... да и она одинока.

— Хочешь въ университетъ? спросила она его, безъ вступленія, въ одинъ день, когда онъ усердно готовился къ своему послѣднему экзамену.

Объ этомъ между ними никогда не бывало рѣчи. Онъ давно думалъ объ университетѣ, но не смѣлъ сказать, зная, что туда не съ чѣмъ собраться. Мать нашла съ чѣмъ. Она съумѣла сберечь дорогіе часы, когда-то прихоть и нарядъ, а въ послѣдніе годы служившіе ей во время уроковъ. Много разъ, въ крайности, Верховская бывала готова продать ихъ и всегда удерживалась, говоря себѣ, что придетъ необходимость важнѣе насущнаго хлѣба. Она и тогда думала о студентствѣ сына. Она продала эту послѣднюю вещь безъ сожалѣній и воспоминаній, безъ умиленій и восторженности, этихъ принадлежностей людей слабонервныхъ,—накупила холста и сукна и стала снаряжать Андрея. Ея знакомые, мелкіе и важные ахнули на такое безразсудство: она заставляла сына мѣнять вѣрное на невѣрное, мѣсто въ губернаторской канцеляріи на студентское бездомное житье. Ей даже выговорили это; она не споря, не возражая, отвѣчала только, что такъ имъ обоимъ кажется лучше. Эта женщина была совершенная противоположность другихъ женщинъ: ни жалобъ, ни возни, ни лишнихъ толковъ, ни даже чувствительности. У ней даже не мелькнуло обыкновенное женское желаніе—чѣмъ нибудь «потѣшить своего мальчика:» все, что она дѣлала для него, было единственно необходимое. Правда, у нея не достало бы денегъ. Ихъ и безъ того было мало. Она заложила свою шубу и отпустила его покойно; Андрей уѣхалъ въ Москву экипированный «comme un enfant de bonne maison» и обезпеченный на нѣсколько мѣсяцевъ прожитка.

— Не безпокойся, я еще пришлю, говорила ему, прощаясь, мать, сама не зная, что она ему пришлетъ, но обрекая себя, если будетъ нужно, и на постъ, какъ ужъ обрекла на стужу.

Ни онъ, ни она не смѣли назначить срока, когда увидятся. На его предположеніе, что она могла бы тоже переселиться въ Москву, Верховская только засмѣялась и возразила, что учительницъ тамъ и безъ нея много. Только, проводивъ его, оглянулась она на весь ужасъ разлуки и поняла, что эта разлука можетъ быть вѣчною. А онъ, съ первой минуты, сталъ думать о минутѣ свиданія, и эта мысль его поддерживала. Онъ унесъ съ собой память матери, ея привычную твердость въ трудѣ и скупость на трату времени. Едва устроясь въ университетѣ, онъ нашелъ себѣ уроки и, торжествуя, писалъ матери,

что онъ богачъ. Она знала, что онъ не обманетъ, даже для того, чтобъ утѣшить.

Студентская жизнь Верховского пошла счастливо; занятіе занимало; особенно изящное воспитаніе доставляло знакомства даже въ довольно взыскательныхъ домахъ, но эти знакомства не отдаляли отъ друзей бѣдняковъ, которые нашлись еще скорѣе. Жизнь извѣстная, почти одинаковая для всѣхъ, кто жилъ ею и, можетъ быть, оттого тѣснѣе связывающая, милая своимъ однообразіемъ и памятная всякому, какъ лучшая пора существованія. Верховской терпѣливо трудился и нетерпѣливо ждалъ конца перваго курса, спалъ и видѣлъ вакацію, далекій губернскій городъ и свою мать. Но когда пришла вакація, онъ увидѣлъ уже наяву, что ему возможно ѣхать не за пятьсотъ верстъ, а только на урокъ въ подмосковную, и что это еще счастье, которое не всѣмъ дается. Онъ скучалъ, какъ дитя. Мать, тоскуя вдвое, шутила надъ нимъ и называла его школьникомъ. Эта первая, несбывшаяся надежда его переломила. Онъ сказалъ себѣ, что желанное надо не ждать, а доставать, отказался отъ знакомствъ, отъ всякаго удовольствія, не зналъ ничего, кромѣ лекцій и уроковъ, уходилъ изъ общества товарищей и принялся упрямо копить деньгу. Онъ посмѣялся этому, но ужъ много позже. Видя, съ приближеніемъ мая, что всѣ усилія были тщетны, онъ придумалъ другое: припечаталъ въ газетахъ, что «студентъ желаетъ заняться преподаваніемъ и ѣхать на лѣто непремѣнно въ губернскій городъ ***, на какихъ угодно условіяхъ». Средство удалось. Господинъ, ѣхавшій въ *** и умѣвшій изъ всего извлекать свои выгоды, предложилъ ему условія невѣроятныя, изъ которыхъ еще не самое трудное было—возвращеніе Верховского въ Москву на свой собственный счетъ. Верховской на все согласился и послѣ пятидневнаго путешествія, прямо отъ заставы, выпросивъ у своего наемщика милости отложить до завтра знакомство съ его семерыми птенцами, побѣжалъ въ знакомый переулокъ, къ знакомому флигелю.

Мать не ждала его; онъ не успѣлъ написать. Блѣдная, она замерла у него на шеѣ. Это былъ первый и единственный въ ея жизни признакъ слабости, но его было довольно, чтобъ поразить сына. Онъ въ одну минуту увидѣлъ все, и бѣдность ея жилья, и бѣдность ея платья; все какъ-то обветшало кругомъ, и не мудрено: все убиралось только по привычкѣ, а не изъ желанія украсить чѣмъ нибудь мѣсто, отведенное на свѣтѣ для сладкаго житья вдвоемъ. Она сама не то постарѣла, не то перемѣнилась; ей не было сорока лѣтъ, а ея волосы посѣдѣли, ея стройная талія обрисовывалась какъ-то особенно тонко въ черной блузѣ; сынъ узналъ и эту старую блузу, мелькомъ, разомъ, смѣшивая воспоминанія съ настоящимъ...

— Похудѣла... Ты была больна? выговорилъ онъ на первое слово.

— Просто, постарѣла, отвѣчала она, оживая, становясь прежнею, веселою безъ притворства:—вѣдь и ты не помолодѣлъ, студентъ второго курса!

— Нѣтъ, теперь ужъ третьяго, возразилъ онъ, опускаясь передъ ней на колѣни; она казалась ему святою.

— Спасибо... Что-жъ ты плачешь? Видишь—жива, вотъ, твоя, какъ была...

Онъ думалъ, что обезумѣетъ отъ счастья и горя. Всѣ два года ея одинокой печали сказались ему въ этомъ свиданіи. Она была та же, что и прежде, такъ же добра, весела, впечатлительна; также судила, также ясно, полно всему сочувствовала, но какъ-то тихо, будто робко; она стала неразговорчива, «замолчалась», какъ сказала она, смѣясь. Ее будто забило непогодой, къ которой она привыкла. Лишенія были приняты и вынесены съ твердостью; они не сломили характера, но привычка къ нимъ отразилась на всемъ, даже на мелочахъ. Верховскому эти мелочи казались тѣмъ больше, чѣмъ были мельче. Онъ не могъ удержать слезъ, когда мать сказала, что у нея закружилась голова отъ дорогого чая, который онъ привезъ ей въ гостинецъ; онъ заставилъ ее признаться, что она болѣе года не пила чая, и пришелъ въ отчаяніе отъ равнодушія, съ которымъ она призналась.

— Если ты будешь волноваться такими пустяками, сказала она:—я стану скрытничать.

Онъ понялъ, чего она хотѣла. Она давала ему послѣдній и самый трудный урокъ. Она учила жить, хотя розно, но все-таки вдвоемъ, понимать любимое существо и вѣрить въ его силы; понимать, что этимъ силамъ не нужна поддержка жалостливости и ухаживанья, что онѣ живутъ собственной вѣрой въ силы другого. Она учила спокойствію за того, кто дорогъ,—тому спокойствію, которое непонимающіе суетливые люди называютъ равнодушіемъ и холодностью, которое эгоисты рады назвать эгоизмомъ, думая найти въ немъ свое отраженіе,—тому спокойствію, которое

есть высшее выраженіе любви, потому что въ немъ вся полнота уваженія, сливающаго два существованія въ одно...

— Нѣтъ, ужъ не скрытничай! выговорилъ онъ, глядя ей въ глаза.

Она улыбнулась.

— Мы съ тобой желѣзные, не разобьемся, сказала она:—намъ только смѣхъ смотрѣть, какъ по насъ судьба колотитъ.

Онъ не возражалъ, но разсчелъ про себя, насколько ему жилось легче нежели ей. У него были друзья, общество, удовольствія. Его занятія доставляли ему наслажденіе. Если онъ и трудился, то не всякій же часъ его былъ трудомъ для куска хлѣба. Наконецъ, и хлѣбъ, который онъ ѣлъ, былъ вкуснѣе. Онъ молодъ и здоровъ; она—старѣе его почти двадцатью годами...

Онъ похолодѣлъ... Ему вообразились опустѣлыя комнаты этого флигеля...

Онъ старался превозмочь то, что она назвала бы праздной сантиментальностью, если бы могла угадать, до какихъ страховъ дошло его мучительное раздумье. Но успокоиться онъ не могъ и только притворился веселымъ... Она не могла и вообразить притворства у того, кто требовалъ отъ нея искренности. Онъ страдалъ, обманывая... И это та желанная вакація, которой онъ едва дождался!

Эта вакація прошла скоро. Живя у чужихъ людей, Верховской даже не всякій день видѣлся съ матерью. Противоположность ея житья и удобствъ этихъ чужихъ людей еще болѣе его мучила. Онъ говорилъ себѣ, что такъ нельзя, несправедливо, не должно, что должно настать время, когда его мать вздохнетъ свободно, что онъ ускоритъ это время. Оплакивать и плакать — равно безполезно, недостойно, смѣшно; но дѣйствовать—другое дѣло. Верховской былъ готовъ на все, лишь бы перенести мать въ другія стѣны, лишь бы заставить ее не трудиться. Этотъ трудъ сталъ ему ненавистенъ. Онъ не зналъ, что сдѣлаетъ, какія найдетъ средства, какъ устроится, но онъ рѣшился на все возможное, призывалъ чудеса, вѣрилъ въ нихъ...

— Послушай, сказалъ онъ ей, прощаясь:—мы не увидимся опять два года. Обѣщаешь ли ты мнѣ...

— Не умереть? прервала она, засмѣявшись.

— Что ты говоришь! вскричалъ онъ.

— А что же больше? Какія обѣщанія можемъ мы давать другъ другу? Не перемѣниться?... Ужъ мнѣ не взять ли съ тебя обѣщанія не шалить?

— Обѣщай мнѣ, едва я кончу курсъ...

— Ну, и заживемъ вмѣстѣ, прервала она:—это давно рѣшено.

У него только и осталась мысль, что «зажить вмѣстѣ». Съ этою мыслью онъ вставалъ и ложился, шелъ на лекціи и на уроки, встрѣчался съ знакомыми, бывалъ въ постороннихъ домахъ, присматривался къ небольшимъ квартирамъ, справлялся о возможности скорѣе получить мѣсто. Онъ ничего не писалъ матери объ этихъ тревогахъ. Онъ чувствовалъ, что готовъ просить покровительства и обязываться, готовъ добиваться и просить, готовъ упасть духомъ отъ неудачи. Онъ сознавалъ, что виноватъ передъ матерью, что отступалъ отъ ея убѣжденій, надѣялся на успѣхъ, какъ на оправданіе, и мечталъ объ успѣхѣ какъ ребенокъ. Онъ началъ брать занятія исключительно въ богатыхъ домахъ; богачи принимали его особенно любезно, какъ «молодого человѣка совершенно порядочнаго», и рекомендовали другъ другу. Свою третью вакацію Верховской провелъ въ роскошномъ аристократическомъ домѣ, гдѣ хозяева такъ восхитились имъ, что предлагали, на будущій годъ, по окончаніи курса, ѣхать съ ними заграницу; они намѣревались тамъ продолжать воспитаніе своихъ дѣтей. Верховской отказался. Онъ всякій день считалъ, что лѣтомъ будущаго года будетъ уже жить съ матерью, — а передъ этимъ счастьемъ, какъ тѣнь, уходили всѣ соблазны довольства, пріятнаго общества, любопытства, даже любви къ знанію и изящному. Онъ ни слова не написалъ объ этомъ матери; онъ даже забылъ и предложеніе и свой отказъ: онъ въ первый разъ посылалъ ей свои заработанныя деньги съ письмомъ, въ которомъ радость и восторженность доходили до съумасшествія. Онъ забывалъ все на свѣтѣ. Онъ не подумалъ и не оглянулся, что свѣтскія и знатныя знакомства охлаждали къ нему бѣдныхъ товарищей: изъ большого кружка остались немногіе, которые поняли Верховского, какъ должно, безъ предубѣжденія, безъ мелкой зависти и ложной гордости бѣдняковъ, — поняли цѣль, для которой онъ жертвовалъ и молодымъ весельемъ, и молодой дружбой. За то, эти немногіе были надежны.

На послѣдній годъ, желая получить кандидатство, Верховской оставилъ частные уроки и давалъ ихъ только въ одномъ семействѣ, гдѣ и старшіе и дѣти были ему по-душѣ. Жить стало трудно. Друзья, съ которыми самъ онъ, бывало, дѣлился, поддерживали

добрымъ словомъ и дѣлились чѣмъ могли. Занимаясь цѣлые дни, не поднимая головы, Верховской позволялъ себѣ только изрѣдка посѣщенія своихъ свѣтскихъ знакомыхъ, у которыхъ бывалъ прежде какъ учитель, а теперь приглашался какъ гость. Онъ ходилъ къ нимъ, какъ говорилъ, «съ корыстными цѣлями», все въ видахъ скорѣйшаго полученія мѣста. Друзья смѣялись съ нимъ вмѣстѣ, не осуждая, желая ему успѣха, но меньше его надѣясь.

— Студенты нынче въ модѣ, сказалъ онъ однажды.

— На балахъ, прибавилъ одинъ изъ друзей.

Ему пришлось въ этомъ убѣдиться...

Пришла весна, послѣдніе экзамены, и въ одно прелестнѣйшее утро, Верховской въ послѣдній разъ сошелъ съ лѣстницы университета—кандидатомъ правъ и съ такой горячей радостью въ душѣ, что не слышалъ поздравленій кругомъ и самъ забывалъ поздравлять. Товарищи расходились, онъ не видалъ; у него въ глазахъ стоялъ маленькій старый флигелекъ, разстилалась длинная дорога съ колеями и ветлами; онъ сейчасъ прыгнулъ бы въ телѣгу и помчался, полетѣлъ бы, какъ стрижи, которые кружатся надъ кремлевскими крестами. Онъ былъ въ чаду, бродилъ по улицѣ, ушелъ въ садъ, усѣлся, будто прячась, чтобъ ему не мѣшали думать, ничего не думалъ; и все чего-то ждалъ, и опомнился, когда на Иванѣ-Великомъ ударили къ вечернѣ. Тогда ему вообразилось, что мать, которая знаетъ заранѣе, что сегодня «великій день», была, по обыкновенію, занята утромъ, а теперь свободна и идетъ въ церковь. Ему представилось ея лицо, ея походка, весь ея образъ, дорогой, прекраснѣе котораго онъ не зналъ въ мірѣ; ему послышались слова ея молитвы за него,—и онъ заплакалъ, какъ маленькій ребенокъ... Видѣть ее было ему необходимо, но ѣхать къ ней совершенно невозможно — ни средствъ, ни попутчиковъ. Золотыя мечты разлетались одна за другою.

Еще въ концѣ зимы, давая уроки въ семьѣ Ольшанскихъ, людей очень хорошихъ, не знатныхъ, но достаточныхъ, Верховской разсчитывалъ, что въ ихъ домѣ можетъ встрѣтиться для него возможность, случай, наконецъ (онъ выговаривалъ слово) покровительство, чтобъ опредѣлиться на мѣсто. Онъ пошелъ дальше: Ольшанская была женщина уже немолодая и особенно добрая; онъ высказалъ ей все, что было на душѣ, свои планы и ожиданія. Она обѣщала попросить за него заранѣе; онъ обрадовался. Искренность ея участія и добрый здравый смыслъ облегчили для него неловкость положенія. Ольшанская, точно, заботилась: не протежировала, не навязывала, а только говорила о Верховскомъ, какъ о человѣкѣ, способномъ принести пользу дѣлу, которое ему поручатъ. Это именно и было причиной, почему Ольшанская нигдѣ не успѣла. Важныя лица, которыхъ дамы просятъ о чемъ нибудь, привыкли къ фразѣ: «сдѣлайте, хотя бы это было невозможно», и безъ нея видятъ въ просьбѣ только легкую шутку, отъ которой легко отдѣлываются. Еще хуже, если въ короткой недокучающей просьбѣ онѣ поймутъ ея серьезность и серьезность характера просителя, при его небольшой неопытности; тогда важные господа умѣютъ отказать еще короче и серьезнѣе, обставивъ просьбу десятками невозможностей и придавъ ея предмету чуть не государственное значеніе. Такіе отказы и объясненія выслушивала Ольшанская и передавала Верховскому, уговаривая его ждать и терпѣть; сама она ужъ оробѣла.

Въ настоящее время, трое лучшихъ друзей Верховскаго уже уѣхали изъ Москвы; другіе товарищи, къ которымъ онъ обратился за совѣтомъ, что дѣлать, были заняты собственнымъ устройствомъ; одни приняли его затрудненія довольно разсѣянно, другіе и вовсе равнодушно, нѣкоторые даже пошутили надъ его великими несбывшимися планами. Между тѣмъ было необходимо какъ нибудь пристроиться, хоть на время. Верховской опять обратился къ Ольшанскимъ. Они переѣзжали на дачу въ подмосковную и предложили ему ѣхать къ нимъ и заняться лѣтомъ съ дѣтьми. Верховской согласился; кромѣ вѣрнаго средства набрать денегъ и въ сентябрѣ съѣздить къ матери, онъ все еще надѣялся, съ помощью Ольшанскихъ, найти мѣсто. Онъ и Ольшанская, рѣшившись, разсказали свои неудачныя зимнія попытки ея мужу. Тотъ сказалъ, что женщины, вообще, неловко берутся, что просить неопредѣленно — значитъ только все портить, но не ограничился одними словами, а взялся хлопотать. Онъ нигдѣ не служилъ и ничего не дѣлалъ. Разузнавъ, что есть три вакантныя мѣста,—одно въ Москвѣ, другія въ губерніяхъ,—Ольшанскій вмѣнилъ себѣ въ долгъ и занятіе—добиваться какого нибудь изъ этихъ мѣстъ для Верховскаго. Почти всякое утро, съ верха, изъ окна класс-

ной комнаты, Верховской видѣлъ, какъ подавали Ольшанскому коляску; онъ влѣзалъ въ нее, румяный и здоровый, и, весело махая рукою въ сторону Москвы, кричалъ:

— Ждите къ обѣду съ добрыми вѣстями!

Три вакансіи—были для Верховскаго три разныя муки. Ожиданіе, направленное въ разныя стороны, разбивало всѣ мысли; оставалась только одна, неотвязная, одно желаніе, одна забота. Это было уже не прежнее, золотое мечтаніе о далекомъ, это было что-то томящее; онъ уставалъ даже физически, будто все бѣжалъ и гнался, не отдыхалъ даже во снѣ. Въ этомъ раздраженномъ, напряженномъ состояніи ужъ не могло оставаться мужества: послѣднее мужество уходило на старанія держаться прилично при постороннихъ и помнить, по какимъ учебникамъ учатся дѣти... Послѣ письма, отправленнаго въ день выпуска, Верховской двѣ недѣли не писалъ матери. Онъ не зналъ, что писать. Какой-то пріѣзжій привезъ слухъ о ней, что ея дѣла шли не очень успѣшно, что уроковъ у нея, кажется, убавилось. Верховской вспомнилъ, что она писала объ этомъ, по своей привычкѣ ничего не скрывать; но въ послѣднее время курса, онъ принялъ легко это извѣстіе, даже забылъ о немъ, за радостной увѣренностью, что всѣмъ невзгодамъ скоро конецъ. Извѣстіе подтверждалось теперь. Верховской не имѣлъ духу отыскать и перечитать письмо матери; онъ боялся взглянуть прямо на свое горе, боялся еще взволновать себя, чтоб не потерять головы окончательно.

— Авось судьба сжалится... говорилъ онъ.

Но судьба не сжалилась. Одинъ за другимъ, Ольшанскій передалъ ему два отказа. Въ этотъ же день Верховской получилъ письмо отъ матери,—отвѣтъ на его веселое письмо послѣ выпуска. Оно было тоже веселое, полное надеждъ; сынъ прочелъ между строками радость близкаго отдыха. До сихъ поръ она будто не чувствовала усталости, и въ этомъ письмѣ о ней тоже не говорила, ничего не вспоминала; единственное слово письма, въ которомъ могъ мелькнуть намекъ на прошедшее, было: — «Вотъ, мы съ тобой и дождались!..» За нее говорила ея радость; только по ея счастью можно было судить о томъ, что она вынесла.

Верховской думалъ, что помѣшается, читая это письмо. У него даже промелькнуло желаніе помѣшаться... умереть...

«Она вынесетъ, все равно...» подумалъ онъ: — «а не вынесетъ — одинъ конецъ! Что-жъ, развѣ легче такъ...»

Онъ еще ждалъ. Дня черезъ два Ольшанскій возвратился изъ Москвы замѣтно огорченный: онъ привезъ третій и послѣдній отказъ. Онъ подробно разсказывалъ, какъ получилъ его, какъ ему внушали, что, въ настоящее время, для службы и въ особенности для видной, есть спеціалисты, правовѣды, а студентъ юристъ, хоть бы и кандидатъ,—это все не то, не то направленіе, не та выдержка.

— Я, кстати, справился, прибавилъ Ольшанскій:—и на тѣ оба мѣста тоже назначены правовѣды.

— Правовѣды? Это—мальчишки съ зелеными воротниками? спросила молодая дѣвица, находившаяся въ гостиной, когда разсказывалъ Ольшанскій.

— Тѣ самые, только когда выростутъ, отвѣчалъ онъ.

— Ахъ, презрѣнные! Къ намъ ихъ возили въ институтъ, на балы. Терпѣть не могу зеленаго.

Верховской сидѣлъ и слушалъ.

— Такъ какъ же намъ быть, милый мой Андрей Васильевичъ! сказалъ Ольшанскій.

Жена его глядѣла на Верховского.

— Что-жъ, такъ и быть, выговорилъ Верховской и, чувствуя, что въ глазахъ темнѣетъ, постарался выдти изъ комнаты какъ можно непринужденнѣе, ровнымъ, тихимъ шагомъ.

Онъ позабылъ поблагодарить за хлопоты, но съ него не взыскивали; хозяева слишкомъ хорошо понимали, каково ему. Они толковали о немъ, но какъ люди, не бывавшіе въ подобныхъ обстоятельствахъ, не могли ничего придумать. Молодая особа, выразившая свое презрѣніе къ правовѣдамъ, послушала немного эти толки, соскучилась и ушла въ садъ.

Ее звали Лидія Матвѣевна Мережникова. Она была родственница Ольшанскихъ въ такомъ отдаленномъ колѣнѣ, что даже мастера считать родство едва могли его досчитаться. Родственникъ немного поближе, г. Каруцкій, былъ у нея въ Петербургѣ и занималъ значительную должность; онъ былъ и ея опекуномъ. Лидія Матвѣевна была круглая сирота и богачка. Два года назадъ, она вышла изъ одного петербургскаго института и жила у петербургскаго опекуна. Онъ и жена его богато вывозили ее въ свѣтъ вмѣстѣ съ своими тремя дочерьми, которыхъ наряжали на ея счетъ, вѣроятно, находя удобнѣе дѣлать однородные расходы изъ

одного источника. Лидія Матвѣевна замѣтила это, несмотря на свою восемнадцатилѣтнюю неопытность; она изъ всѣхъ подругъ своего выпуска отличалась способностью въ математикѣ. Расходы ей не нравились, что она и выразила. Ей гораздо больше нравилось, что за нею, богатой невѣстой, ухаживали гвардейцы, удостоивавшіе своего вниманія только фрейлинъ и княженъ, между тѣмъ какъ кузины, наряженныя на ея деньги, часто оставались даже безъ кавалеровъ. Ей понравилось погордиться и она отказала пятерымъ женихамъ, единственно изъ удовольствія отказать въ глазахъ кузинъ, за которыхъ никто не сватался и которымъ не было предоставлено свободы ни отказать, ни согласиться, если бы кто и посватался. Эти отказы сильно не нравились родителямъ опекунамъ. Ихъ родныя дочери засиживались въ дѣвицахъ отъ присутствія въ домѣ богатой невѣсты. Чтобъ заставить ее поскорѣе выдти замужъ, они попробовали нѣсколько стѣснить ее, веселить порѣже, поменьше принимать молодежи. Лидія Матвѣевна впала въ меланхолію, стала плакать, жаловаться на судьбу, упрекать, что ее никто не любитъ, хворать, желать смерти, грозить, что начнетъ пить уксусъ. Испугавшись, родственники возобновили угожденія, развлеченія, удвоили ласки и заботы, не щадили даже своихъ собственныхъ издержекъ, но это уже не помогло. Лидіи Матвѣевнѣ понравилось скучать, или, вѣрнѣе, играть въ скуку, мечтать, «презирать», томно воображать чахотку и близкую смерть, будто сквозь сонъ говорить дерзости старшимъ и колкости гостямъ, за неуловимыя тонкости ссориться съ кузинами, ненавидѣть и прогонять прислугу, ничѣмъ не умѣвшую угодить, молчать по цѣлымъ днямъ, являться въ обществѣ въ видѣ жертвы, и, вдругъ, въ порывѣ откровенности, жаловаться на свою жизнь постороннимъ, выбирая именно такихъ, которые были не очень расположены къ семейству ея родственниковъ. Наконецъ, съ наступленіемъ весны, она положительно объявила, что умретъ на петербургскихъ болотахъ, и желаетъ, чтобъ ее везли куда нибудь. Доктора не находили этого необходимымъ, но на ихъ первое слово Лидія Матвѣевна сказала столько словъ, что оставалось только выбрать мѣсто въ Европѣ, куда ѣхать. Она не могла рѣшиться въ выборѣ, потомъ кричала, что не желаетъ общества кузинъ и ихъ матери, потому что не желаетъ расплачиваться за ихъ поѣздку. Исторія изъ домашней грозила сдѣлаться скандаломъ для знакомыхъ, когда вдругъ улеглась совершенно неожиданно и необыкновенно просто: вмѣсто Европы, Лидія Матвѣевна захотѣла въ Москву.

— У меня тамъ родные, говорила она:— тетя Ольшанская; родные, которые меня любятъ, съ которыми меня разлучали всю жизнь. Я хочу къ нимъ. Здѣсь только чопорность, холодность, корыстолюбіе. Отвезите меня въ Москву, или я убѣгу.

Опекунъ написалъ Ольшанскимъ, конечно, даже не намекнувъ о томъ, что происходило. Онъ былъ радъ развязаться съ обузой. Къ Святой его сдѣлали директоромъ департамента и предвидѣлась возможность нанять дачу въ Петергофѣ, а къ зимѣ, можетъ быть, просватать хоть одну дочь. Ольшанскіе, олицетворенная доброта, обрадовались, что «дѣвочка» ихъ вспомнила, и въ ожиданіи ея, наняли нарядный домикъ въ самой живописной мѣстности изъ подмосковныхъ. Жена опекуна привезла Лидію Матвѣевну и, чтобъ не испортить дѣла, тоже промолчала о ея нравѣ и обычаяхъ. Къ тому же, всѣ ея разсказы могли бы показаться самой черной клеветою: едва почувствовавъ надъ собою московскій воздухъ, Лидія Матвѣевна сдѣлалась кротка, добра, послушна, весела, ласкова, чувствительна, неприхотлива, снисходительна на удивленіе. Ольшанскіе на нее не нарадовались.

Верховской ужъ засталъ ее, когда переѣхалъ къ Ольшанскимъ. Онъ былъ слишкомъ занятъ своимъ дѣломъ и не обратилъ на нее вниманія. Онъ, вообще, мало смотрѣлъ на женщинъ и еще ни разу не бывалъ влюбленъ; было некогда. Теперь было тоже некогда; къ тому же, «петербургская барышня», какъ ее называли въ домѣ, не показалась ему хороша. Онъ видалъ ее въ теченіе дня, говорилъ, если случалось, о пустякахъ, гулялъ въ общей компаніи, раза два нарвалъ ей водяныхъ цвѣтовъ, которые ей понравились, и одинъ разъ подумалъ о ней, глядя, какъ она перегонялась съ дѣтьми въ аллеяхъ и щеголяла тонкими ножками и перетянутой таліей.

— Такъ, коза, заключилъ онъ свои размышленія.

Но Лидія Матвѣевна думала о немъ гораздо больше. Она съ первой минуты разглядѣла, что Верховской прехорошенькій. Она, можетъ быть, не нашла бы его хорошенькимъ, если-бы онъ былъ въ статскомъ платьѣ, но Верховской, изъ экономіи, еще донашивалъ свой студентскій сюртукъ. Это— почти мундиръ, утѣшительный обманъ для

глазъ петербургской барышни. Верховской не занялся ею. Она занялась имъ нисколько не изъ противорѣчія, а потому, что ей было пріятно смотрѣть на него, замѣчать его движенія, любоваться, какъ онъ ловокъ, какой у него тонкій профиль и длинныя рѣсницы, какъ его руки бѣлы и горячи. Ей было пріятно покраснѣть, когда онъ нечаянно на нее взглядывалъ. У нея начало упадать сердце, когда онъ входилъ въ комнату. Ей становилось скучно, когда сбирались гости и онъ говорилъ съ какой нибудь изъ дѣвушекъ. Однажды, онъ взялъ къ себѣ на колѣни и поцѣловалъ маленькую дочку Ольшанскихъ. Лидія Матвѣевна убѣжала къ себѣ и разрыдалась.

Съ этого дня тетка замѣтила перемѣну въ ея ангельскомъ характерѣ. Не слушая ничьихъ увѣщаній, Лидія Матвѣевна стала уходить по ночамъ въ аллеи и поднимала съ горничными битвы, еще не петербургскія, но ужъ порядочныя. Она была постоянно недовольна своимъ туалетомъ.

— Вы не находите, тетенька, сказала она однажды, смотрясь въ зеркало въ гостиной:—что я дѣлаюсь страшна? Не мудрено; мнѣ двадцать лѣтъ, а счастья я не знала... Бѣдная я!

Она бросилась цѣловать Ольшанскую. Верховской показался въ дверяхъ въ эту минуту и, увидя нѣжную сцену, воротился, чтобъ не быть лишнимъ. Лидія Матвѣевна залилась горьчайшими слезами, но сколько ее ни просили, не объяснила ихъ причины. Тетка, чтобъ ее развеселить, затѣяла позвать гостей; пили чай въ цвѣтникѣ, танцовали на террасѣ. Лидія Матвѣевна убѣдилась, что Верховской прекрасно танцуетъ, и влюбилась въ него такъ, какъ ужъ больше не могла.

Верховской хотя и бывалъ въ обществѣ, но не такъ много, чтобы знать его совершенно; хотя и видалъ кокетокъ, но именно потому и не могъ вообразить, чтобы обращеніе Лидіи Матвѣевны было кокетство и относилось къ нему. «Кокетство», думалъ онъ, «это что-то граціозное, блестящее, веселое, игривое и не такое нецеремонное». Разъ, оглянувшись на Лидію Матвѣевну серьезнѣе, онъ подумалъ, что это, пожалуй, добрая дѣвушка, наивная какъ институтка, ласковая потому, что сирота; можетъ быть, не забалована богатствомъ и, должно быть, жилось ей не легко, если она часто плачетъ. Съ ней ни весело, ни скучно; отдалиться отъ нея неловко и совѣстно, она добрая... Во всемъ этомъ разборѣ Верховскому не пришло на умъ даже слово «любовь». Ему было все по-душѣ въ домѣ Ольшанскихъ, онъ за-одно и не раздумывая, включилъ въ это все и Лидію Матвѣевну, и на этомъ остановился...

Выслушавъ послѣднее рѣшеніе своей участи, Верховской ушелъ въ свою комнату. Она была на антресоли, подлѣ классной, гдѣ играли дѣти. Первое, что подумалъ онъ, заглянувъ къ нимъ, это, что дѣтей въ августѣ сдадутъ въ гимназію, и онъ останется безъ уроковъ. Ему было холодно и кругомъ показалось какъ-то пусто. Ушли всѣ надежды, всѣ радости, которыми онъ населялъ для себя этотъ временный пріютъ. Онъ тутъ только понялъ, что жилъ одними ожиданіями, что вѣрилъ въ нихъ какъ въ сбывшееся; что минутное мужество, съ которымъ онъ, бывало, предположивъ неудачу, говорилъ себѣ: «такъ и быть!»—было самообманъ; что мужества у него нѣтъ, — нѣтъ именно теперь, когда нужно обсудить будущее, стало быть, не будетъ и тогда, когда придется выносить это будущее... Ему стало стыдно, страшно, какъ-то дурно физически. Онъ прилегъ на свою постель и тотчасъ вскочилъ.

— Еще захвораешь въ чужомъ домѣ, сказалъ онъ со злостью.

Для него всѣ стали чужіе, даже тѣ, которые хлопотали за него какъ за родного, и теперь еще горевали о немъ, — чужіе, которымъ онъ, бѣднякъ, обязывался, которымъ кланялся, чтобъ они за него поклонились... Онъ вспомнилъ свою гордую мать; она не кланялась и роднымъ братьямъ. Но это воспоминаніе не вызывало твердости. Онъ вспомнилъ мать, но не утѣшительницу, не опору, не примѣръ, — а жалкую, исхудалую, истощенную труженицу... Она вообразилась ему мертвая на той старой кровати, гдѣ умеръ отецъ...

— Мотъ!.. выговорилъ онъ, пугаясь и помысла, и слова, вырвавшихся вдругъ изъ темной глубины, гдѣ они спали до этой минуты, укрощенные любовью, терпѣніемъ, великимъ прощеніемъ матери, свѣжей чистотой дѣтской памяти, благоговѣніемъ вѣрующей молодости...

— Оставилъ бы хоть кусокъ хлѣба... продолжалъ Верховской и крѣпко зажалъ глаза руками, прячась отъ всего, что чудилось, отъ самого себя...

— Поцѣловать бы ея ноги, покуда онѣ еще не застыли! вскричалъ онъ и зарыдалъ отчаянно.

Часа два провелъ онъ такъ, то—головой въ подушку, то глядя передъ собою безъ всякой мысли; провелъ бы и больше, еслибъ его не позвали...

Этимъ временемъ, Лидія Матвѣевна, гуляя одна въ аллеяхъ, соскучилась и придумывала,вакъ было бы хорошо, если-бы вдругъ на встрѣчу изъ зелени вышелъ молодой человѣкъ. Увидя одного изъ маленькихъ Ольшанскихъ, она подозвала:

— Гдѣ учитель?

— У себя на верху, отвѣчалъ мальчикъ.

— Что дѣлаетъ?

— Плачетъ.

— Какой вздоръ. Поди, позови его. Скажи, что я хочу кататься на лодкѣ.

Верховской долженъ былъ повиноваться и придти. Онъ подумалъ, покуда шелъ, что у него нѣтъ ни своего угла, ни своей воли, и никому нѣтъ дѣла, каково ему на душѣ... Лидія Матвѣевна, увидя его, подумала, что такъ, разстроенный, блѣдненькій, онъ просто душка. Катанье удалось совершенно. Лидія Матвѣевна обѣжала знакомыхъ дачниковъ, пригласила ихъ, объявляя, что ѣдетъ одна, безъ тетеньки, и дѣтей не возьметъ, шутила и смѣялась безъ умолку, сама не зная чему, была довольна собою и тѣмъ, что сидѣла въ лодкѣ подлѣ Верховскаго и мѣшала ему грести. Воротились поздно, по мѣсяцу. Лидія Матвѣевна взяла Верховского подъ-руку и проводила всѣхъ гостей по домамъ.

— А теперь пойдемте тихонько, сказала она, оставшись съ нимъ одна: — я, ужасъ, устала.

На-людяхъ, Верховской постарался притвориться, замять свою печаль, чтобъ не дать ея замѣтить; онъ какъ-то смутно разсмѣялся. Но когда всѣ разошлись, когда кругомъ стихло, печаль поднялась опять еще больнѣе и живѣе. Онъ шелъ, не замѣчая, куда вела его спутница, не замѣчая ея самой, хотя она крѣпко сжимала ему руку. Ему думалось Богъ-знаетъ что, далекое... вѣрнѣе, ничего не думалось. Что-то холодное подступало къ сердцу. Минутами онъ оглядывался на сыроватую дорогу, на дальнія лужайки, рѣзко перехваченныя полосами тѣни и свѣта, на черныя куртины съ бѣлѣющими розами, на все великолѣпіе лѣтней ночи. Каждая минута, каждая оглядка, вдругъ, будто что обрывала у него въ груди; точно онъ томился и ждалъ, пугался, вздрагивалъ, падалъ съ-просонка.

— Присядемъ тутъ, сказала Лидія Матвѣевна, остановясь у скамейки.

Верховской, не отвѣчая, глядя передъ собою, машинально сѣлъ и машинально снялъ фуражку. Онъ не оглядывался на сосѣдку, но почувствовалъ на своихъ волосахъ ея руку.

— Какой скучный, сказала она.—Полно! Ну, что это?

Ему стало больно и вдругъ какъ-то легко отъ этихъ словъ, сказанныхъ нѣжнымъ, молодымъ голосомъ. Онъ обрадовался ласкѣ, какъ чему-то болѣе простому, нежели участіе, какъ чему-то родному. Онъ принялъ эту ласку безъ тревоги, даже не удивился, будто такъ и слѣдовало,—и не отвѣчалъ ни слова. Это была минута чисто дѣтскаго спокойнаго забытья, отъ котораго ему пришлось тутъ же очнуться. Лидія Матвѣевна обняла его, приподняла его наклоненную голову и поцѣловала.

— Душка, прелесть, красавецъ, повторяла она, повторяя поцѣлуи.

Верховской испугался. Онъ не понималъ, что съ нимъ дѣлалось, не имѣлъ духа оттолкнуть ее, не могъ отвѣчать на ея поцѣлуи, не могъ сказать слова. Она крѣпко обвила его руками, прижималась къ его груди и шептала:

— Я тебя никому не отдамъ, никому, никому на свѣтѣ. Не смѣй и думать. Поцѣлуй меня. Ты будешь моимъ мужемъ.

— Пойдемте домой, выговорилъ Верховской, вставъ съ скамейки.

— Развѣ здѣсь есть кто нибудь? спросила она, оглядываясь.

— Да, тамъ, гуляющіе, отвѣчалъ онъ.

Никого не было.

— Пойдемъ... Но ты мнѣ скажи... Я такъ хочу! Мы непремѣнно женимся, скоро. Говори, такъ?

Онъ велъ ее какъ могъ скорѣе, ввелъ на балконъ, какъ-то невольно сжалъ ей руку и ушелъ къ себѣ. Она приняла за согласіе и его смущеніе, и это пожатіе руки. Ольшанская была одна въ гостиной. Лидія Матвѣевна вошла къ ней, торжествуя.

— Тетенька, Верховской сдѣлалъ мнѣ предложеніе; я выхожу за него замужъ.

Верховской думалъ, не сошелъ ли онъ съ ума. Только этого приключенія недоставало, чтобъ отнять у него послѣднее—выгнать его изъ дому Ольшанскихъ, лишить единственнаго средства хоть черезъ два мѣсяца увидѣть мать. Какъ честному человѣку, ему слѣдуетъ сейчасъ уйти пѣшкомъ въ Москву, оставя письмо, въ которомъ объяснить Лидіи Матвѣевнѣ, что равнодушенъ къ ней.

Онъ схватился было писать это письмо—и остановился...

Точно ли онъ равнодушенъ? Ему было такъ по сердцу ея доброе слово. Въ теченіе этого ужаснаго дня, ничье слово не отозвалось на его печаль такъ сочувственно и нѣжно. Она добра. Она искренно любитъ, потому что забыла всѣ чопорности. Она страстно любитъ... У Верховскаго вспыхнули щеки отъ воспоминанія тѣхъ поцѣлуевъ, которые онъ отклонялъ, не отвѣтивъ ни однимъ. Будь она передъ нимъ въ эту минуту, онъ обнялъ бы ее страстно. Ему было двадцать два года; онъ еще никогда не любилъ... Любовь, можетъ быть, такъ начинается. Можетъ быть, его холодность была только испугъ чувства, захваченнаго неожиданностью, оторопѣлаго отъ слишкомъ близкой возможности счастья... А въ ея любви, точно, счастье: она пряма, она откровенна.. Голова его горѣла. Горе смѣшалось съ какой-то новой, неиспытанной тревогой. Онъ думалъ до зари и заснулъ, рѣшивъ, что объясниться будетъ легче на словахъ, нежели на письмѣ.

Утромъ, сконфуженный тѣмъ, что долго проспалъ, онъ сбиралъ свой классъ. Къ нему вошла Ольшанская.

— Дайте на сегодня вакацію дѣтямъ, Андрей Васильевичъ, сказала она, и, когда они разбѣжались, присѣла на ихъ мѣсто.—Потолкуемъ. Мнѣ сказала Лидія, что вы ее любите и сватаетесь. Правда ли это?

Верховской смутился. Все, что онъ передумалъ за ночь—никуда не годилось. Изъ порыва страсти, изъ чувства, изъ шутки—онъ не зналъ какъ назвать—составлялось или что-то формальное, или сплетня.

— Я не люблю Лидію Матвѣевну и не сватался, отвѣчалъ онъ.

— Такъ какъ же?..

Верховской смутился еще больше и разсказалъ все какъ было. Ему было бы легче разсказать собственное признаніе въ любви, даже собственную глупость. Ольшанская должна была ему повѣрить: племянница чуть не до свѣта толковала ей о своей любви къ Верховскому, а для Верховского, въ его положеніи, такая любовь была находка. Идя къ нему объясняться, Ольшанская даже согрѣшила, подумала, не было ли у него этого на умѣ. Но Верховской, разстроенный, растерянный, положительно и настоятельно увѣрялъ, что былъ удивленъ, не знаетъ, что дѣлать, готовъ уйти сію минуту изъ дома, давалъ клятву во вѣки обо всемъ молчать. Не повѣрить ему было-бъ еще грѣшнѣе. Ольшанская давно и хорошо его знала. Его увѣренія навели ее на другую мысль. Она была, какъ многія женщины, охотница женить, а петербургская родственница, оставляя у нея Лидію Матвѣевну, выразила желаніе, чтобъ молодая дѣвица поскорѣе составила партію; на состояніе смотрѣть нечего,—она сама богата,—лишь бы по сердцу...

— Вы ни въ кого не влюблены? спросила Ольшанская уже улыбаясь.

— И не бывалъ отъ роду, отвѣчалъ студентъ, со злостью, будто виноватый.

— Такъ я вамъ посовѣтую: женитесь на Лидинькѣ. Она дѣвочка добрая, немножко фантазерка;—да теперь видно, почему у нея, вотъ, этимъ временемъ, были капризы: она въ васъ влюбилась. Вы сейчасъ сказали, что уважаете ее, любите какъ сестру,—и больше полюбите, когда ближе узнаете. Никто себя заранѣе не знаетъ. Вы сдѣлаете ея счастіе. Она богата...

— А у меня нѣтъ ничего, прервалъ Верховской:—стало быть и говорить нечего.

— Совсѣмъ напротивъ, тутъ-то и говорить. Вы—человѣкъ честный. Другой женится на ней и не подумаетъ, не позаботиття, чтобъ она была счастлива, броситъ ее и закутитъ. А съ вами, я за нее покойна. Я васъ четыре года знаю. Я отъ души буду рада, что вамъ, а не другому достанется состояніе. Будь у меня взрослая дочь,—я бы сейчасъ отдала ее за васъ. Одно—что у моей дочери нѣтъ тысячи душъ и не знаю, сколько денегъ въ ломбардѣ, какъ у Лидиньки. А вамъ тысяча душъ очень кстати. За что вамъ губить вашу молодость? Вотъ, вчера, въ это время... все вамъ неудачи. Но, если бы и удача, развѣ служба легка? А ваша матушка? Подумайте о ней! сколько ей еще ждать, покуда вы устроитесь! Года все уходятъ, а съ ними здоровье... Со вчерашняго дня, чего вы не передумали, какъ ей написать, что ей сказать... Я знаю, каково вамъ.

Она еще долго совѣтовала, уговаривала, искушала. Но послѣ того, какъ Верховскому назвали его мать, всѣ остальныя слова были лишнія. Для матери онъ всегда былъ готовъ на все, и въ настоящую минуту—готовъ даже безъ размышленія. Онъ никогда не думалъ о богатствѣ Лидіи Матвѣевны, даже не зналъ навѣрное, точно ли и какъ она богата. Размышляя ночью, что долженъ оставить домъ Ольшанскихъ, онъ ставилъ причиною только свое равнодушіе къ Лидіи Матвѣевнѣ, а не разницу состоянія; эта разница даже не приходила ему въ голову, такъ же какъ мысль, что его могутъ заподозрить въ разсчетѣ. Только послѣ совѣтовъ Ольшанской, разсчетъ вползъ ему въ душу. Ни пристанища, ни службы, а тутъ богатая влюбленная не-

вѣста и у нея родственникъ—важный вліятельный чиновникъ... Это не былъ торгъ съ совѣстью человѣка пожившаго, или раннее растлѣніе человѣка молодого. Это была память нужды, очевидность будущей нужды и, выше всего, страхъ, томленіе за существо, дороже собственной жизни... Борьба не могла быть сильна. Верховской сказалъ себѣ, что можетъ привязаться къ дѣвушкѣ, которая его любитъ и этой любовью доставляетъ ему счастье не разставаться съ его сокровищемъ—матерью, дать отдохнуть этому сокровищу... едва мелькнула эта мысль, онъ ужъ любилъ Лидію и клялся любить вѣчно...

Думать долго было некогда, спросить совѣта не у кого, но девять изъ десяти совѣтниковъ, руководясь житейскою мудростью, навѣрное сказали бы то же, что говорила Ольшанская. Многіе, вѣроятно, стали бы еще сильнѣе настаивать. Верховской припомнилъ, какъ она расхваливала удовольствія молодой обезпеченной жизни, и невольно улыбнулся. Передъ нимъ промелькнули сырыя квартиры, обѣды въ харчевнѣ, осенняя слякоть, заемъ гривенниковъ у дворника... И если бы еще выносить все это одному!.. Онъ рѣшился. Спорить съ нимъ могла бы какая нибудь романическая голова, презирающая земныя блага, какое нибудь измученное сердце, отыскивающее истины въ каждомъ чувствѣ. Удержать его могла бы одна его мать. Она образумила бы его не дѣлать надъ собою этой пробы, этой имъ самимъ несознаваемой нравственной ломки. Она доказала бы ему, что именно оттого и бываютъ несчастны люди, оттого и не удается имъ никакое устройство, казалось бы, прекрасно разсчитанное, что, разсчитывая, они берутъ на себя лишнее житейское благоразуміе, разсматриваютъ только внѣшность, выгоду, и забываютъ собственную душу, будто надѣясь, что у нихъ выростетъ какое нибудь чувство имъ необходимое, или умретъ чувство, мѣшающее устройству матеріальнаго благосостоянія. Мать сказала бы ему, что на-заказъ чувства родятся и умираютъ только у людей безсердечныхъ и недумающихъ; а у человѣка съ душою, напротивъ, является совершенная невозможность покориться, даже помириться съ этимъ нравственнымъ насиліемъ; и тогда, благо, для котораго человѣкъ изломалъ себя, дѣлается его зломъ, его казнью,—или, просто,—нейдетъ въ прокъ, потому что у человѣка нѣтъ ни доброй воли, ни сноровки взяться...

Верховской рѣшился. Ольшанская дала ему свое благословеніе и обѣщала въ чемъ нужно содѣйствовать. Это обѣщаніе вдругъ привело на мысль, что съ сватовствомъ сопряжены разныя формальности, знакомства съ родственниками, офиціальныя поздравленія, посѣщенія... Это было ново, неловко, глупо какъ-то. Онъ засмѣялся, потомъ вдругъ оробѣлъ, сконфузился передъ собою и разсердился. Онъ не давалъ воли этому школьничьему чувству, но и не могъ совсѣмъ превозмочь его. Оно долго удерживало его идти въ гостиную, гдѣ была Лидія Матвѣевна; наконецъ, онъ рѣшился, пошелъ, думая, что не сейчасъ же все это совершится, что еще будетъ время... самъ не зналъ что. Въ гостиной были гости, дѣвушки. Верховской увидѣлъ ихъ издали. Вдругъ сверкнуло у него въ головѣ, что, женившись, онъ ужъ будетъ не свободенъ, что молодость кончится, что Лидія Матвѣевна не хороша собою. Въ немъ вспыхнуло непреодолимое, страстное желаніе красоты и свободы; у него исчезъ всякій помыселъ, кромѣ того, что надо «все это» скорѣе, сейчасъ, сію минуту бросить...

Забывшись окончательно, онъ не замѣтилъ, какъ сдѣлалъ свѣтскую неловкость.

— Мнѣ нужно сказать вамъ два слова... проговорилъ онъ, идя прямо къ Лидіи Матвѣевнѣ, не кланяясь и не здороваясь ни съ кѣмъ, прерывая ея разговоръ съ гостьями и пожимая руку, которую она ему тотчасъ протянула.

Гостьи переглянулись. Лидія Матвѣевна вспыхнула отъ радости: ей безъ памяти хотѣлось скорѣе объявить, что она выходитъ замужъ. Она выпорхнула за Верховскимъ въ другую комнату.

— Ну, что?

Она бросила свои худенькія открытыя ручки на плечи Верховскому и глядѣла улыбаясь.

— Послушайте, сказалъ онъ въ смущеніи:—я обдумалъ. То, что вы вчера говорили—невозможно. Я бѣденъ...

— Не хочу слышать! вскричала Лидія Матвѣевна, обнявъ его и таща къ двери, разцѣловала громко въ виду всѣхъ и закричала еще громче и игривѣе: — Mesdames, поздравьте,—мой женихъ!

Послѣ такой выходки, конечно, только человѣкъ, пренебрегающій свѣтскими приличіями, могъ бы посовѣтовать Верховскому бѣжать отъ невѣсты... Но Верховской ужъ не спрашивалъ совѣта, онъ растерялся. Къ тому же, какъ это ни странно, а эта выходка привлекла его, не оттолкнула; она

ему понравилась; молодая голова вообразила преданность, страстность, силу,—это замѣняло красоту... Какъ глупо, неловко онъ заговорилъ о своей бѣдности... и какая мелочность! дѣвушка отдаетъ ему свою душу, а онъ толкуетъ о деньгахъ! Ему стало стыдно, она стала ему милѣе. Она ласкалась и сладко плакала, оставаясь съ нимъ вдвоемъ; онъ говорилъ о своей матери. Она прерывала поцѣлуями, нѣжно выговаривала, что ревнуетъ, что это все «послѣ, въ другое время», а покуда онъ принадлежитъ ей, одной ей нераздѣльно; она требовала, какъ своего права, чтобъ онъ, счастливый, забылъ въ эти минуты весь міръ и жилъ только настоящимъ, только ею. Отуманенный, увлеченный, онъ не возражалъ...

Вечеромъ онъ написалъ матери. Подъ впечатлѣніемъ цѣлаго дня поцѣлуевъ, эти нѣсколько строкъ вышли пламеннымъ признаніемъ въ любви, полнымъ самой радостной увѣренности въ будущемъ. Верховской не задумался ни минуты, какъ это письмо удивитъ мать, которая менѣе всего на свѣтѣ ожидаетъ подобнаго извѣстія.

— Напиши къ матушкѣ, шепнулъ онъ Лидіи Матвѣевнѣ, сбѣжавъ въ гостиную.

— Охъ... не умѣю! сказала она, будто испугавшись.—Напиши за меня что хочешь, все что хочешь, только приходи скорѣе.

Онъ написалъ, что Лидія любитъ ее столько же, сколько онъ самъ.

На другой день, его рано позвали въ гостиную. Ольшанскіе писали въ Петербургъ, извѣщая опекуна.

— Пиши, рекомендуйся, весело говорила Лидія Матвѣевна.

Верховской затруднился до того, что отупѣлъ. Ольшанскій продиктовалъ ему. Узнавъ тутъ, что женихъ приходится родной племянникъ генерала Зурова, который бываетъ на вечерахъ дядюшки Каруцкаго, Лидія Матвѣевна запрыгала отъ радости.

— Что-жъ ты мнѣ давно не сказалъ, что maman — сестра генерала? спрашивала она.—Слава Богу, ахъ, слава Богу!

— Я его вовсе не знаю, возразилъ Верховской.

— Не знаешь? Почему? Онъ божественный. Все говорилъ мнѣ, что хочетъ за меня свататься. А вотъ, я же на зло, дѣдушкой его сдѣлаю!

Офиціальная рекомендація поставила Верховского въ новое положеніе, какого онъ еще не зналъ, выучила новой заботѣ, совсѣмъ новаго свойства. Прежде, въ его раздумьи, огорченіяхъ, предположеніяхъ было что-то отвлеченное, мечтательное, почти дѣтское; теперь, хотя основаніемъ всего была любовь, все выходило какъ-то практически-положительно, «какъ у всѣхъ», говорилъ Верховской, и это неопредѣленное слово было очень вѣрно: на мѣсто восторженныхъ надеждъ, поэтическихъ, хоть и скромныхъ плановъ, явились разсчеты, ожиданія, приготовленія, хлопоты, общія всѣмъ кружащимся на свѣтѣ... Онъ понялъ, что, на языкѣ общества, его «бракъ по любви» былъ «выгодная партія», что общество, только видя въ немъ племянника генерала Зурова, признавало его достойнымъ руки m-lle Мережниковой. Ему стало гадко,—но то же мнѣніе общества, къ которому онъ прислушивался, доказывало ему, что отступать ужъ поздно; онъ и самъ уже не чувствовалъ сначала отваги, потомъ охоты отступать. Въ немъ вдругъ поднялось свѣтское самолюбіе,—воспитанное нѣсколькими годами успѣха въ этомъ «свѣтѣ», который теперь будто неохотно принималъ молодого человѣка окончательно своимъ,—самолюбіе, сдержанное уваженіемъ къ трудовой жизни, замятое недостаткомъ средствъ; въ настоящую пору, оно твердило ему, что получить отказъ отъ петербургскихъ родственниковъ—будетъ смертельная обида. Но въ нѣсколько дней, Верховской уже настолько заразился свѣтскимъ мнѣніемъ, что считалъ отказъ невозможнымъ. Лидія Матвѣевна слишкомъ публично и нецеремонно высказала свою любовь; отказать—не допуститъ приличіе.

— Свѣтскія приличія, тутъ ничего не потеряютъ, возразилъ ему одинъ другъ, пріятель изъ бывшихъ студентовъ, съ которымъ онъ, увлекшись, разговорился: — скажутъ, что молоденькая дѣвушка, институтка, позабавилась, пошалила, и вольно же бѣдному дураку принять за серьезное.

Верховскаго взорвало. Это, точно, могло быть. Такія вещи у нихъ дѣлаются. Онъ сталъ бояться, чтобъ отъ него не ускользнула богатая невѣста. Онъ даже думалъ, именно въ этихъ выраженіяхъ, уже не краснѣя, и, также не краснѣя, успокоивалъ себя тѣмъ, что «не рѣшатся обидѣть отказомъ племянника генерала Зурова»...

Но невѣста не ускользнула, ему не отказали, хотя совсѣмъ по другой причинѣ. Петербургскій опекунъ былъ радъ развязаться съ своей институткой; ей скоро доходило совершеннолѣтіе; съ мужемъ ея, «изъ бѣдныхъ студентовъ», можно было скорѣе надѣяться свести счеты, а она слишкомъ хорошо знала ариѳметику. Верховской покуда

не замѣчалъ этого знанія; время было коротко и шло нѣжно. Лидія Матвѣевна торопила свадьбу. Ее отпраздновали тутъ же на дачѣ, нанявъ для этого огромный домъ владѣльца, въ іюлѣ 1842 года.

Верховской былъ какъ въ чаду. Его молодая жена танцовала, онъ танцовалъ тоже. Визиты, гулянья, катанья, пикники, обѣды, вечера, поцѣлуи, трата денегъ, круженье на одномъ мѣстѣ, перемѣна лицъ, множество лицъ, новость положенія, новость ощущеній... Онъ недѣли три не очнулся. Онъ написалъ матери, что женатъ и счастливъ. Это было самое короткое изъ всѣхъ его писемъ: у него не было ни свободнаго часа, ни свободнаго угла въ домѣ; жена не оставляла его ни на минуту. Она сидѣла на ручкѣ его кресла, покуда онъ писалъ, торопила его и тормошила, ласкаясь.

— Кончай, кончай скорѣе, твердила она.

— Напиши же и ты, сказалъ онъ.

— Развѣ необходимо?.. Ахъ, да!.. Еслибъ ты зналъ, какъ я не люблю, не умѣю... я такъ и скажу.

Но она такъ не сказала, а свернула нѣсколько очень гладенькихъ и ловкихъ фразъ, какъ особа, упражнявшаяся въ сочиненіяхъ, просмотрѣла, поставила всѣ accent-grave и accent-aigu, и вдругъ спохватилась:

— Ахъ, я написала по-французски! Est-ce que la vieille comprendrait?

— Напиши хоть еще на трехъ языкахъ, если умѣешь, отвѣчалъ Верховской, котораго передернуло.

— Я ничего не умѣю, я умѣю только тебя любить, вскричала она, бросаясь ему на шею.

Онъ подумалъ, что она извиняется въ своей институтской глупости; онъ не понялъ, что то была очень выработанная свѣтская дерзость, а объятія—нисколько не желаніе извиняться. Ему стало совѣстно своего рѣзкаго отвѣта, онъ поспѣшилъ загладить его нѣжнымъ словомъ, но желаніе скорѣе увидѣть мать, стало, если возможно, еще сильнѣе. Онъ твердилъ о немъ безпрестанно.

— Устрой прежде жену, возразила ему Лидія Матвѣевна.

Ей надо было принять счеты своей опеки. Молодые супруги поѣхали въ Петербургъ. Опекунъ, важный чиновникъ, захотѣлъ щегольнуть добросовѣстностью предъ кандидатомъ-юристомъ, получавшимъ съ богатствомъ жены голосъ въ обществѣ. Верховской даже оказалъ ему услугу, укротивъ мелкія придирки Лидіи Матвѣевны; онъ все еще воображалъ въ этихъ придиркахъ не характеръ, а незнаніе дѣла. Дядюшка-опекунъ, директоръ департамента, пожелалъ пріязни молодого семейства и предложилъ Верховскому мѣсто подъ своимъ начальствомъ. Лидія Матвѣевна располагала жить въ Петербургѣ, веселиться зимою. Въ десять дней, Верховской получилъ мѣсто съ тремя тысячами жалованья и великолѣпной казенной квартирой. Лидія Матвѣевна нашла, что она недовольно роскошна, почему дядюшка представилъ, кому слѣдовало, о необходимости ее исправить и отдѣлать вновь къ осени. Верховской возразилъ было, что это излишнее, но дядюшка засмѣялся; а Лидія Матвѣевна даже вспылила:

— Изъ чего же разоряться? сказала она мужу: — казенный домъ, пусть казна его и отдѣлываетъ. Полагаю, это совершенно основательно! Довольно купить свое — мебель, бронзы, ковры. У меня еще нѣтъ экипажа; у меня еще нѣтъ туалета...

Но прежде всего оказалось, что не было довольно наличныхъ денегъ; Лидія Матвѣевна не пожелала трогать изъ ломбарда. Она дала мужу довѣренность на управленіе всѣми своими имѣніями и хожденіе по всѣмъ своимъ дѣламъ, и поручила съѣздить въ одну замосковскую деревню. Дядюшка давалъ отпускъ тотчасъ по вступленіи въ должность.

— Надо получить оброкъ за годъ. Никогда эти мужики въ срокъ не платятъ! замѣтила Лидія Матвѣевна съ неудовольствіемъ, котораго Верховской не замѣтилъ за своей собственной мыслью.

— Поѣдемъ вмѣстѣ къ матушкѣ, сказалъ онъ. — Дѣла твои устроены, а пустяки еще успѣютъ сдѣлаться.

— Какъ пустяки—завестись цѣлымъ домомъ? вскричала она съ ужасомъ. — Но скоро сентябрь! Ты не жилъ хозяйствомъ, ты не знаешь...

— Но ты знаешь, что я два года жилъ только тѣмъ, что увижу мать, прервалъ онъ.

Онъ чуть не выговорилъ, что для этого одного и женился.

— Ты должна ѣхать, настаивалъ онъ:— я долженъ привезти къ ней мою жену. Ты, стало быть, меня не любишь, если не спѣшишь ее видѣть.

Лидія Матвѣевна расплакалась.

— Нѣтъ, André, ты меня не любишь, если такъ говоришь! Вѣдь это—полторы тысячи верстъ въ одинъ конецъ! Ты звалъ бы меня, когда мы были въ Москвѣ, лѣтомъ.

— Я сто разъ звалъ, возразилъ онъ.

— Виновата, я тогда была глупа... Или нѣтъ, я невиновата! Ты самъ знаешь, было некогда. А теперь, развѣ возможно? Скоро сентябрь, дороги ужасныя, такая даль, я занемогу...

Отговорка нашлась превосходная. Полторы тысячи верстъ въ одинъ конецъ и столько же обратно, вели неминуемо къ упрекамъ, что молодой мужъ не заботится о здоровьѣ жены, слѣдовательно мало ее любитъ. Лидія Матвѣевна утвердилась на этомъ и нарочно поднимала разговоръ о поѣздкѣ при тетушкѣ и дядюшкѣ, которые, конечно, поддерживали, что ей ѣхать—рисковать жизнью.

— Такъ я поѣду одинъ, сказалъ Верховской.

Лидія Матвѣевна обрадовалась:

— А въ деревню? спросила она съ новымъ безпокойствомъ:—мнѣ вѣдь нужны деньги. Я здѣсь все закажу, все будетъ готово, а ты тамъ пробудешь долго...

Верховской успокоилъ ее, что вышлетъ ей деньги. Она была довольна. Дядюшка и тетушка пригласили ее остаться на это время у нихъ въ домѣ; всѣ три кузины еще не имѣли жениховъ, почему Лидіи Матвѣевнѣ было особенно пріятно заводиться своимъ роскошнымъ хозяйствомъ у нихъ на глазахъ. Время для этого было удобное, глухое, предъосеннее, когда Петербургъ еще пустъ. Лидія Матвѣевна заранѣе восхищалась мыслью, что будетъ разъѣзжать по магазинамъ и примѣрять наряды съ утра до вечера. Наканунѣ отъѣзда, Верховской сказалъ ей, что ужъ купилъ мебель для комнатъ, которыя назначилъ матери въ новой квартирѣ, рядомъ съ своимъ кабинетомъ.

— Эту заботу я взялъ на себя; не ревнуй, моя милая, прибавилъ онъ, держа жену на колѣняхъ:—ты не знаешь ея вкуса, а я вижу всякое ея движеніе. Ты накупи книгъ, чтобъ она нашла ихъ больше въ домѣ. Я ужъ выбралъ рояль. Она играетъ, какъ ангелы. Наконецъ-то, моя радость будетъ играть не для насущнаго хлѣба!

Онъ крѣпко обнялъ жену. Это была горячая благодарность, горячая любовь изъ благодарности. Желанное счастье было такъ близко! Онъ обожалъ ту, которая его доставляла; въ эту минуту, онъ соединялъ обѣихъ женщинъ въ одно чувство и, цѣлуя жену, забываясь, назвалъ ее радостью, тѣмъ именемъ, которое прежде восторженно клялся не давать никому кромѣ матери.

— О, какъ намъ будетъ хорошо всѣмъ вмѣстѣ! повторялъ онъ.

— Развѣ ты привезешь ее сюда? спросила Лидія Матвѣевна.

— А то какъ же? отвѣчалъ онъ весело:—я и гостинцы ей везу только дорожные. Вотъ, посмотри, что я накупилъ, не знаю, хорошо ли. Поѣдемъ осенью, можетъ захватить непогода...

Лидія Матвѣевна встала и, молча, съ любопытствомъ оглядѣла въ подробности ватную шубку и мѣховую шубу, приготовленныя для укладки въ чемоданы мужа. На ея лицѣ выразилось, что подарки лучше, нежели бы она желала.

— Мастеръ! сказала она наконецъ.— Сколько лѣтъ твоей матери?

— Сколько лѣтъ? Только недавно минуло сорокъ. Она красавица.

Лидія Матвѣевна сама хорошенько не опредѣлила, что было бы ей непріятнѣе: имѣть свекровь разслабленную капризную старуху, или образованную, талантливую красавицу. Старуху еще можно спрятать, запереть въ ея комнатѣ съ немощами и докторами; но—красавица!.. Она захочетъ выѣзжать, принимать, обрадовавшись средствамъ...

— Я этого ужъ никакъ не потерплю! сказала себѣ Лидія Матвѣевна, засыпая поздно, передумавъ много и не сообщивъ мужу ни одной своей думы.—Еще увидимъ. Если она презентабельна, ее можно будетъ брать съ собой въ театръ; а чуть что — можетъ уѣзжать, откуда пріѣхала.

Поутру она проснулась еще съ новыми соображеніями.

— Une maîtresse de piano à tant par cachet, — хороша belle-mère! Это назвать нельзя, срамъ. Генералъ Зуровъ никогда и не поминалъ о ней. Это, должно быть, Богъ знаетъ что... А André еще не былъ у генерала...

Но André не поддался на просьбу сдѣлать визитъ генералу, хотя бы въ день отъѣзда. Онъ уѣзжалъ, какъ счастливецъ и даже упрекнулъ себя, что не сочувствовалъ огорченію жены, которая, прощаясь, заплакала. Верховскому стало жаль ее и совѣстно, но онъ чувствовалъ, что былъ бы въ отчаяніи, еслибъ пришлось остаться. Онъ показался себѣ неблагодарнымъ, какъ будто раскаявался, — но едва очутился въ дилижансѣ, едва выговорилъ себѣ внятно: — «Черезъ двѣ недѣли я увижу мать...» какъ забылъ всѣхъ, все, даже то, что женатъ. Онъ не пробылъ и дня въ Москвѣ, только пересѣлъ изъ дилижанса на перекладную и поспѣшилъ въ имѣніе жены, чтобы скорѣе кон-

чить дѣла и быть свободнымъ. Судьба благоволила ему во всемъ; оброкъ былъ ужъ готовъ. Верховской взялъ изъ него тысячи двѣ, написалъ женѣ, поручилъ управляющему отправить ей это письмо вмѣстѣ съ остальными деньгами, потомъ, какъ счастливецъ и новый баринъ, надавалъ милостей и награжденій, и, въ суевѣрной надеждѣ, что, за радость, доставленную другимъ, сохранится ему и его радость, — наконецъ выѣхалъ къ матери.

Въ это свиданіе, не она, а онъ почти безъ памяти припалъ къ ней на шею. Въ его счастьи было какое-то отчаяніе. Точно будто только въ эту минуту пришло ему сознаніе, какой цѣною купилъ онъ это счастье. «Остаться съ нею» — горячо и ярко мелькнуло ему... и, въ ту же секунду, другая холодная мысль задушила эту, будто во снѣ сбросила его съ высоты, заставила очнуться, и онъ зарыдалъ, неутѣшный, какъ на прощанье...

Матери было довольно этого, чтобы все понять, и, покуда онъ не поднималъ головы съ ея колѣнъ, она подумала,—тоже отчаянно. Она сказала себѣ, что нужно покориться, что нужно простить, не упрекать, даже разспрашивать осторожно, не вызывать сожалѣнія, не допускать раскаяваться; что нужно утвердить человѣка въ его поступкѣ, дать ему силу жить такъ, какъ онъ избралъ... Она сказала себѣ, что нужно проститься съ этимъ человѣкомъ, что нужно притворяться передъ нимъ...

— Полно плакать; вѣдь ты мнѣ не измѣнилъ, что женился, сказала она.

— Охъ, нѣтъ, нѣтъ! вскричалъ онъ съ новымъ порывомъ.

— Я знаю, что нѣтъ.

— Она не стоитъ твоего пальчика...

— Вотъ прекрасно! Но ты съ ума не сходи; развѣ можно такъ говорить о женщинѣ, которая тебя полюбила? Она, видно, ужъ успѣла тебя избаловать?

Она шутила. Онъ былъ радъ шуткѣ, хотя, въ первую минуту, ему показалось, будто это что-то не то, чего онъ ждалъ, будто не такъ она говорила прежде. Но онъ былъ радъ, ему стало ловчѣе; онъ ужъ настолько былъ испорченъ, что могъ страдать отъ неловкости положенія. Ему казалось, будто она что-то обходитъ въ разговорѣ; онъ самъ точно такъ же обходилъ многое, сознавалъ это, смущался; старался подмѣтить, замѣчала ли она его смущеніе; успокоивалъ себя, что она не обращаетъ вниманія на его недомолвки: убѣждалъ себя, что она весела искренно. Мать не спросила, почему не пріѣхала Лидія Матвѣевна; онъ увѣрилъ себя, что она забыла спросить отъ радости... Они скрытничали оба, но онъ или въ самомъ дѣлѣ не видѣлъ ея притворства, или отводилъ себѣ глаза, между тѣмъ какъ для нея все было ясно. Никогда еще въ жизни не бывало ей такъ тяжело; никогда не любила она сильнѣе своего бѣднаго сына, виноватаго изъ любви къ ней. Ей было грустно-весело видѣть, что онъ неловокъ въ своемъ богатствѣ, что у него нѣтъ затѣй и все тѣ же бѣдныя привычки. Онъ былъ все тотъ же; онъ надѣялся. Спугнуть однимъ словомъ его надежды было бы жестоко. Онъ какъ будто праздновалъ старые дни въ бѣдномъ домѣ, послѣдніе дни, и не торопилъ конца вакацiи. Онъ разсказывалъ матери, какъ убралъ ея петербургскія комнаты, повторялъ, что они будутъ вмѣстѣ каждую минуту,—и дальше не шло его воображеніе. Онъ самъ не замѣчалъ, что не умѣлъ придумать, что будетъ дѣлать его жена среди его счастія; она была тамъ, мелькала ему, не мѣшала, вспоминалась даже ласково, — но никакъ не далѣе. Чаще всего, онъ совсѣмъ забывалъ о ней.

Лидія Матвѣевна сама о себѣ напомнила. Срокъ отпуска приходилъ къ концу; она написала мужу.

Письмо пришло въ темный вечеръ. Верховской сидѣлъ вдвоемъ съ матерью, у ногъ ея, тихо и уютно, слушалъ какъ шумѣло сентябрьское ненастье, и, по старой памяти, весело топилъ печку... Много лѣтъ потомъ вспоминалась ему эта минута, рѣшившая его жизнь.

Письмо и полузнакомый почеркъ обдали его холодомъ. Онъ развернулъ.

— Отъ Лидіи, сказалъ онъ и, самъ не зная почему, сталъ читать про себя, хотя желалъ бы и находилъ, что долженъ читать вслухъ. Ему показалось, что мать какъ-то особенно пристально заглядѣлась на огонь, будто не желая мѣшать чтенію. Онъ положилъ руку ей на платье.

— Не уходи, мама.

— Нѣтъ, я здѣсь, отвѣчала она.

Лидія Матвѣевна писала, что ея будуаръ отдѣланъ голубымъ ситцемъ, bleu de Sèvres, — и прочее въ подробности. Зала такая-то, гостиная такая-то. Подробности о мебели, объ экипажахъ. Нумеръ абонированной ложи у французовъ. Одинъ знакомый обѣщается всегда доставать ложу въ балетъ. Дядюшка Зуровъ былъ съ визитомъ. Кузина Annet-

ie сломала зубъ, вставила фальшивый и страшна какъ смерть. Скандальная исторія въ высшемъ обществѣ, со множествомъ именъ. Тетка подарила un cachemire de France и прихвастнула цѣной. Объятія, поцѣлуи и точки. Въ припискѣ:

«Дядюшка приказываетъ, чтобъ ты скорѣе возвращался».

Верховской сжалъ письмо.

— Лидія больна? спросила мать.

— Нѣтъ... Она тебя цѣлуетъ, отвѣчалъ онъ.

Ему хотѣлось бросить письмо въ печку, броситься самому на шею матери и сказать ей, что онъ пропалъ, погибъ, все сказать... Онъ удержался. Что-жъ это будетъ? Вѣдь все равно, надо ѣхать...

— Надо ѣхать, мама, сказалъ онъ:—мой отпускъ конченъ. Дѣлать нечего. Я завтра куплю здѣсь карету, ты уложишься, а послѣзавтра покатимъ.

Для нея тоже минута была рѣшительная; она готовилась къ ней давно. Едва получивъ извѣстіе о женитьбѣ сына, она сказала, что такъ должно быть,—но мужество, для котораго наставалъ часъ, было трудно, тяжело, едва ли не выше силъ...

— Подумаемъ немножко, сказала она.

У него упало сердце. Ея голосъ былъ какъ будто не тотъ, къ которому онъ привыкъ, а слово было осторожное, нерѣшительное. Верховской ужъ слышалъ въ немъ то, на чемъ не смѣлъ остановить мысли. Онъ понялъ, что она все поняла и притворялась двѣ недѣли; онъ испугался того, что прежде бывало его отрадой — откровеннаго разговора; трусливо, не искренно попробовалъ замять чувство шуткой, оттолкнуть правду, которая становилась предъ глазами.

— Что думать, мама! возразилъ онъ: — что скоро сдѣлано, то и хорошо...

Онъ остановился: вѣдь и она могла бы, тоже шутя, возразить ему, что не все скорое хорошо,—напримѣръ—его женитьба... Онъ ужаснулся, какъ такіе мелкіе и раздирающіе душу помыслы могли закрасться въ ихъ жизнь, и, отчаянно, ужъ не зналъ какого отвѣта ему хотѣлось.

Она долго не отвѣчала; она рѣшилась. Она видѣла, что въ настоящую минуту его можетъ успокоить только обманъ; но этотъ обманъ—начало будущихъ несчастій, и что за счастіе въ минутномъ покоѣ? Ей было невыразимо тяжело отнять у него надежду, которой у нея уже не оставалось...

Десяти французскихъ строчекъ рекомендательнаго письма Лидіи Матвѣевны и короткаго, сбитаго разсказа о томъ, какъ устроилась эта любовь—было довольно для матери, чтобы вполнѣ узнать жену сына. Жить между ними—значитъ, каждую минуту, даже единственно своимъ присутствіемъ, яснѣе высказывать весь разладъ привычекъ, понятій, вѣрованій этихъ двухъ существъ, связавшихся на-вѣки... Перевоспитывать ее? Но такіе характеры, какъ Лидія Матвѣевна, не перевоспитываются, даже если бы перенесть ее въ другой кругъ, въ другую обстановку. И это не дѣло матери мужа, этой насильно навязывающейся власти. Это можетъ сдѣлать только самъ мужъ, любовью и твердостью...

Она глядѣла на сына.

«У него нѣтъ твердости...» подумала она.

Онъ уступилъ искушенію, измѣнилъ себѣ изъ любви къ матери. Тѣмъ болѣе онъ виноватъ: матери было не нужно этой жертвы, и онъ зналъ, что не нужно; онъ зналъ, что его нравственное достоинство, его нравственное счастье для матери выше всѣхъ житейскихъ благъ. Онъ не выдержалъ перваго испытанія, въ которомъ была такая вѣрная опора. Онъ не выдержитъ никакого другого, а ихъ представится много. Онъ будетъ только несчастнѣе, когда придется выносить ихъ на глазахъ у той, которая—онъ это знаетъ—можетъ простить, но извинять не умѣетъ и сама перемѣниться не можетъ... Зачѣмъ же дѣлать ему жизнь еще тяжелѣе? вѣдь у него и безъ того будутъ оглядки...

— Я не поѣду съ тобой, сказала она.

На взрывъ его печали, просьбъ, моленій и упрековъ она не проговорилась, не выдала всего, что передумала. Онъ былъ ей такъ дорогъ, такъ смертельно тяжко было съ нимъ разстаться, что она сама, невольно, старалась успокоить и себя, какъ нибудь облегчить свое горе, позволила и себѣ заблуждаться, позволила и себѣ понадѣяться... Онъ такъ добръ, такъ хорошъ! Неужели женщина, которая его полюбила, не захочетъ сдѣлаться достойной его?..

— Дай установиться вашему житью, сказала она: — устрой мнѣ настоящее гнѣздо. Полюбите другъ друга неразрывно, сживитесь всей душой; вы еще другъ друга не узнали... Когда вы будете одно, тогда и я буду ваша. Ждите меня, и я подожду.

— Здѣсь? спросилъ онъ съ ужасомъ.

— Здѣсь.

— Здѣсь, какъ жила, въ этой бѣдности?

— Что ты говоришь? прервала она: — что-жъ я такое буду, если не возьму хлѣба моихъ дѣтей?

— Ты сказала: «дѣтей»... выговорилъ онъ, цѣлуя ея ноги.

— Дѣтей, моихъ дѣтей, повторила она...

«Что-жъ я такое буду», спрашивала она себя въ безсонную ночь послѣ этого вечера: «если отниму у него послѣднее утѣшеніе, послѣднее вознагражденіе? Онъ для меня себя продалъ, а я не приму его денегъ? Такое наказаніе будетъ хуже его вины»...

Она нашла въ себѣ новую силу, новое мужество. Она рѣшилась говорить ему то, что на ея мѣстѣ сказали бы многіе, но чего она не говорила никогда: обыкновенныя слова житейскаго благоразумія, — эти, большей частью, пошлости, которыми большинство людей оправдываетъ уступки своей совѣсти. «На этомъ человѣкѣ нѣтъ еще порока. Онъ выбралъ себѣ не суровый путь труда и самоотверженія, но вездѣ можно остаться честнымъ человѣкомъ»...

Она прерывалась на полусловѣ, ужасаясь сама своего отступничества. Вспомнивъ все общее прошедшее, сынъ могъ вообразить, будто она его презираетъ... она ужаснулась этой мысли. Но сынъ этого не вообразилъ. Слишкомъ эгоистически огорченный разлукой съ нею, желая найти въ ея словахъ себѣ оправданіе, поддержку, онъ не замѣчалъ, что слова были не прежнія, не замѣчалъ, чего они ей стоили...

Отказываясь ѣхать, чтобъ сказать что нибудь положительное, она сказала, будто привыкла къ своему углу, отвыкла отъ общества.

— Я восемь лѣтъ «въ свѣтѣ» не бывала, говорила она: — дай оглядѣться. Здѣсь у меня есть знакомые, заведу еще новыхъ...

Верховской не уѣхалъ на другой день. Онъ просрочилъ съ своимъ отпускомъ, но выбралъ, нанялъ и меблировалъ для нея домикъ, скромный, уютный, изящный, такой, какой мечтался имъ обоимъ когда-то для житья вдвоемъ. Онъ еще прожилъ съ нею три дня, въ комнатѣ, которую она назвала его комнатой. Онъ думалъ, что обезумѣетъ. Ее эти дни сломили, будто годы.

— Я не уѣду... сказалъ онъ, когда почтовыя лошади ужъ ждали у крыльца.

— Поѣзжай... живи и пріѣзжай за мною, сказала она, торопя прощанье.

Она воротилась съ крыльца спокойная, холодная, безъ слезъ, но, какъ мертвая, безчувственная, что бы могло еще случиться съ нею. Для нея все было кончено,—всѣ надежды, вся дѣятельность чувствъ, мысли, труда: милое отошло на вѣки; завѣтныя вѣрованія разбиты именно въ томъ, во что они были всѣ положены; жизнь обезпечена такимъ достаткомъ, что и руки не нужны... Для кого же и на что нужно ея существованіе?.. Она припомнила свою новенькую «житейскую мудрость» и ея успокоительныя правила, что «добро можно дѣлать на всякомъ мѣстѣ и во всякомъ положеніи», и горько хохотала надъ собою. Ужъ не сдѣлаться ли ей покровительницей, благодѣтельницей? Не искупать ли нравственную погибель сына тайными подаяніями и выставкой благочестія? Не попробовать ли еще привязаться къ кому нибудь (къ чему нибудь вродѣ собакъ и кошекъ, она не умѣла и вообразить), — но къ кому нибудь, къ какому нибудь оставленному ребенку, и приняться за его воспитаніе, начать опять сначала эту радостную задачу, забыться въ ней, лелѣять, мечтать, ждать...

— О, гдѣ-же онъ, мой-то! вскрикивала она отчаянно...

Ей доставался еще урокъ житейской мудрости. Всѣ ея знакомые за нее радовались и поздравляли при встрѣчахъ. Эти знакомства возобновились очень скоро и сами собою,—и изъ участія, и изъ провинціальнаго любопытства. Она должна была высказывать, что довольна; иначе, ее не поняли бы или, понявъ по-своему, осудили бы ея сына... Пусть лучше смѣются надъ нею, что она обрадовалась богатству.

— Привыкать къ нему не трудно, думала она, насмѣхаясь надъ собою первая.

Она долго ждала письма отъ сына; онъ не писалъ съ дороги. Онъ въ первый разъ испыталъ мученіе, когда мы не знаемъ что сказать тѣмъ, кому прежде отдавали всю душу,—странное чувство стѣсненія, робости, въ которомъ мы себѣ не признаемся, отговариваясь сами передъ собою недосугомъ, незанимательностью окружающаго, а между тѣмъ, очень хорошо зная и помня, что длѣ тѣхъ, передъ кѣмъ мы молчимъ, нужно только нѣсколько нашихъ строкъ и вовсе не нужно извѣстій ни о чемъ постороннемъ... Верховской написалъ ужъ изъ Петербурга. Въ его письмѣ было много новостей о его опредѣленіи, о его домѣ, о знакомствахъ, которыя нужно сдѣлать, о представленіяхъ начальникамъ. Онъ самъ не зналъ, зачѣмъ писалъ всѣ эти подробности, зачѣмъ придавалъ всему важность, которой въ самомъ дѣлѣ не чувствовалъ... Студентомъ, онъ, случалось, писалъ очень подробно, цѣлые разсказы, цѣлые сцены изъ своей жизни, даже въ драматической формѣ, даже въ перемежку со стихами, тутъ же складно или нескладно импровизированными;

если что и преувеличивалось, то преувеличивалось въ увлеченіи, весело, пылко, молодо; шутилось по-дѣтски; дѣтски нѣжныя названія обожаемому существу сыпались между дѣльными, честными словами выростающаго человѣка. Письма бывали неокончены за усталостью, сказывавшейся въ почеркѣ, за недостаткомъ свѣчки, въ чемъ весело признавался авторъ... Теперь, письмо было дописано до конца своей изящной бумаги, но Верховской жаловался, что долженъ ѣхать со двора, а то написалъ бы больше.

— Что-жъ бы онъ еще написалъ? спросила себя мать.

Вслѣдъ за письмомъ, онъ выслалъ ей рояль. Онъ говорилъ, что его вышлетъ. Она поставила его на мѣстѣ, которое онъ назначилъ. Ни годы, ни скука уроковъ съ дѣтьми не отняли у нея привязанности къ музыкѣ; она берегла свой талантъ, зная, что онъ дорогъ ея дорогому. Она обрадовалась какимъ-то забытымъ чувствомъ радости, увидя великолѣпный инструментъ, будто что живое, родное вошло подъ ея кровлю. Но первые звуки холодомъ схватили ее за сердце. Она оглянулась съ испугомъ и не могла продолжать. Кругомъ пустота, двѣ мерцающія свѣчи, темнота изъ дверей другой комнаты—и ждать некого...

Она ясно, окончательно поняла, что положила всю свою душу въ одного человѣка, и что теперь, когда для нея больше нѣтъ его,— она обязана ужиться хоть какъ нибудь, для того, чтобъ этотъ человѣкъ могъ жить для себя. Но какъ ей жить? Она не знала куда дѣвать свои дни. Знакомства ей были въ тягость, пріятельницъ у нея не было. И собственный характеръ, и долгое отчужденіе отъ жизни и привычекъ этого общества дѣлали, что она не находила въ немъ ни удовольствія, ни занимательности; правда, того и другого было немного. У нея былъ свой, недостигнутый идеалъ образа жизни и замѣнить его другимъ она не могла. Оставалось одно—простая пріязнь людей. Но губернское общество вообще безтактно; оно умѣло держаться порядочно съ m-me Верховской—учительницей, но растерялось отъ неожиданности, что m-me Верховская—богата, что ея сынъ женатъ на родственницѣ вліятельнаго господина, и, растерявшись, не знало какъ себя поставить. Въ ней стали заискивать, къ ней какъ-то льнули. Она чувствовала, что теряетъ способность пріязни, и тосковала. Разъ, уступая слишкомъ настоятельнымъ просьбамъ, она поѣхала на вечеръ; она была одѣта просто, скромно, не молодо; но все-таки, это былъ нарядъ и высказалъ ея необыкновенную красоту, для которой, казалось, не было возраста...

— Чего добраго, станутъ женихи свататься... сказала она себѣ съ неиспытанною злостью, уѣзжая домой.

Она испугалась въ себѣ этой злости. Надо было скорѣе спасти свое сердце. Она разсудила, что ей необходимо устроить свое житье по-старому, и если ужъ безъ радости и надеждъ, то хотя свободно. Ей былъ всегда милъ ея трудъ; она сказала въ домахъ, гдѣ давала уроки, отъ важныхъ господъ до мѣщанъ,—что хочетъ учить попрежнему, но даромъ, и съ той разницей, что желаетъ ученицъ постарше, и не будетъ приходить сама, а проситъ ихъ приходить къ себѣ. Важныя дамы сконфузились такого «безконечнаго снисхожденія m-me Верховской», но еще больше сконфузились того, что въ ея домѣ ихъ дочки «будутъ Богъ знаетъ съ кѣмъ»; онѣ, конечно, не выразили этого m-me Верховской, но любезно отклонили ея предложеніе. За то, для дѣвушекъ средняго и бѣднаго круга эта наставница пришлась вполнѣ по сердцу. Ея уютная гостиная обратилась въ рабочую классную и подъѣздъ заперся для докучныхъ визитовъ. Такой образъ жизни и въ наше время показался бы не совсѣмъ обыкновеннымъ; въ то время, онъ былъ диковинкой. Предъ нимъ недоумѣвали. Общество сначала попробовало объяснять его хвастливою благотворительностью, кстати, не стоющей ни гроша,—но наконецъ навело справки и сообразило, что чего нибудь стоитъ усталость шести-часовыхъ ежедневныхъ занятій не въ шутку, не напоказъ, а добросовѣстныхъ и неприносящихъ ни гроша. Это объяснить было еще труднѣе. И въ то время, и въ наше время, было бы безполезно, едва ли даже не слишкомъ взыскательно требовать отъ людей обезпеченныхъ, привыкшихъ къ своему складу, не скучающихъ праздностью, чтобы они поняли, какъ можно не наслаждаться богатствомъ, томиться однообразіемъ казалось бы веселой жизни, тяготиться своими незанятыми руками. Того, что доверщало печаль Верховской общество не знало и, конечно, отгадать не могло,—но если бы и узнало, то поняло бы еще меньше. Общество рѣшило коротко и просто: «Это женщина оригинальная, странная; забыла какъ люди живутъ: можетъ быть, отъ несчастій, отъ бѣдности, а теперь, вотъ, отъ неожиданнаго благополучія—немножко помѣшалась. Это бываетъ...»

Она осталась одна, спокойная и свободвая. Ее не испугало однообразіе трудовой жизни. У нея оставалось еще довольно незанятаго времени, въ которое она выходила, видалась съ родными своихъ ученицъ и читала. Сынъ высылалъ ей множество книгъ. Сказавъ себѣ, что не заниматься музыкой—сантиментальность, а не пользоваться именно тѣмъ подаркомъ, который сынъ выбиралъ съ особенной любовью — обида сыну, она открыла его рояль и играла, изучала одна, для себя, для искусства. Пришла весна. Верховской, нанимая домъ, помнилъ, что необходимъ и садъ; онъ выслалъ сѣмянъ и луковицъ. Садъ былъ убранъ прелестно. Мать не оставила его на попеченіи одного садовника; она занялась и сама. Вообще, она брала все, что представлялось ей по вкусу, по привычкамъ, добросовѣстно наполняла свою жизнь. Эта жизнь была, для многихъ, по справедливости, завидная...

Она была одна. И всякій день, — она это чувствовала, — больше закрѣплялъ ея одиночество. Ей было не съ кѣмъ подумать, не съ кѣмъ сказать слова. Слова книгъ складывались въ ея памяти, какъ добро никому ненужное, кромѣ ея самой; но она уже воспользовалась имъ, а нераздѣленное впечатлѣніе, не животворя, а измучивъ, угасало понемногу. Въ обществѣ нечего было бы и искать отвѣта: въ тѣ годы оно самымъ презрительнымъ образомъ смѣялось надъ какимъ бы то ни было знаніемъ; люди бѣдные, близкіе Верховской, не стали бы смѣяться, но, необразованные, все равно бы ее не поняли; съ своими ученицами, дѣвушками отъ четырнадцати до семнадцати лѣтъ, ей пришлось бы только слушать самое себя. Ея умъ изнывалъ. То, что было на сердцѣ — ужъ и вовсе нельзя было никому довѣрить.

Прежде, все ожидая счастья, она и въ бѣдности, сколько могла, заботилась о своемъ здоровьѣ. «Сохрани Богъ занемочь; Андрей голову потеряетъ». Теперь ей отозвались всѣ прошлыя лишенія, а ежедневная нравственная мука не давала замѣчать болѣзни. Когда эта болѣзнь сказывалась сильнѣе, Верховская съ досадой говорила себѣ, что это блажь богачки. Она догорала, не обращая на это вниманія. У нея темнѣло въ глазахъ за книгой, ее раздражала музыка, — она думала, что это отъ скуки. Ее тяготили уроки и безпокоилъ неизбѣжный, веселый говоръ ученицъ,—она упрекала себя въ лѣни и эгоизмѣ. Уставъ отъ недолгой прогулки въ своемъ саду, она была рада лечь въ постель, но была увѣрена, что не устала бы, если бы провела вечеръ не одна. Ночи были безсонныя. Она пробовала занимать ихъ чтеніемъ, работой,—но это выходило продолженіе того же безконечно тяготящаго, одинокаго дня...

И прежде, цѣлые четыре года, она была одна. Но она ждала. Какая прелесть въ ожиданіи, въ откладываніи и бережи чувствъ, впечатлѣній, думъ, когда ими надѣемся подѣлиться! Теперь — все замолкло кругомъ, все мертвое. Надъ этимъ довольствомъ нѣтъ надежды, свѣта, любви. О, какъ сейчасъ она промѣняла бы его на тѣ годы, когда зябла и голодала! Всякая подробность воспоминанія, всякая мелочь, оставшаяся отъ прошлаго, полевой цвѣтокъ, забытый въ старой книгѣ, тетрадь нотъ, переписанная Андреемъ, всякая бѣдная вещь, сохраненная среди богатаго хозяйства,—все было ей дорого, свято, все становилось между ею и настоящимъ. Она принуждала себя привязаться къ настоящему и не могла; дѣлала все, чтобы съ нимъ примириться—и все напрасно; старалась забыться и была не въ силахъ; разбирала себя съ своею обычною строгостью, напоминала себѣ свою обязанность передъ сыномъ, заставляла себя смириться, говорила себѣ, что должна, какъ тысячи простыхъ людей, быть благодарна за ниспосланный кусокъ насущнаго хлѣба... Этотъ хлѣбъ былъ даровой, излишній и одинокій!..

Сынъ писалъ ей каждыя двѣ недѣли. Аккуратность отучаетъ отъ ожиданій. Ожиданіе, нечаянность были бы, можетъ быть, благодѣтельнымъ волненіемъ для этой истомившейся женщины. Вмѣсто нихъ, у нея мелькнула догадка:

— Ужъ не дѣлаетъ ли онъ себѣ обязанности изъ переписки со мною?

Она не совсѣмъ ошиблась...

Онъ воротился отъ матери съ полной тяжестью чувства разлуки, съ нимъ переступилъ свой порогъ, и первое слово женѣ было:

— Матушка не поѣхала.

— А!.. сказала Лидія Матвѣевна.

Она была такъ рада его возвращенію; столько было хлопотъ, столько дѣла, столько разсказовъ, столько вопросовъ,—любитъ ли онъ ее,—столько народу кругомъ, столько новыхъ вещей надо было показать, столько счетовъ свести, что голова у нея кружилась,—какъ она увѣряла, и ни о чемъ его не спрашивала. Онъ это очень замѣтилъ. Она

не замѣчала въ немъ никакой перемѣны. Исполняя прощальное приказаніе матери, Верховской старался привязать къ себѣ жену и потому былъ терпѣливъ на мелочи и ласковъ. Лидія Матвѣевна была въ восхищеніи; не оставалось посторонняго, кому бы она не говорила, какой у меня «душка мужъ», не разсказывала его угожденій, не сочиняла цѣлыхъ его рѣчей, цѣлыхъ сценъ, ни хвасталась его ласками. Она была бы ревнива до бѣшенства, но, къ полнѣйшему своему благополучію, не видѣла и тѣни повода ревновать: Верховской былъ слишкомъ отуманенъ новою жизнью, слишкомъ озабоченъ сердечно. Онъ былъ неловокъ съ женщинами, по крайней мѣрѣ, съ женщинами кружка, гдѣ вертѣлся. Страстная нѣжность жены какъ-то смѣшно его ограждала, но хотя бы и не было этого огражденія, Верховской смотрѣлъ на любовь слишкомъ строго и серьезно, тяжело думалъ о будущемъ и, стараясь узнать, полюбить свою жену,—не сталъ бы искать забавы отъ нечего дѣлать.

Лидія Матвѣевна была очень счастлива. Она хозяйничала, распоряжалась своимъ домомъ, повелѣвала, капризничала, наряжалась, знакомилась, выѣзжала и принимала гостей съ утра до вечера. Ей было очень грустно принадлежать только къ «чиновничьей аристократіи»; она вознаграждала себя тѣмъ, что важничала, отыскала двухъ-трехъ институтскихъ подругъ титулованныхъ и не очень богатыхъ, была съ ними на ты и щеголяла въ ихъ салонахъ, доставляя себѣ наслажденіе удивлять ихъ, когда приглашала къ себѣ. Постоянно выряжаясь и получая комплименты, Лидія Матвѣевна воображала себя красавицей, а своего мужа влюбленнымъ. Въ очарованіи своей страсти, она вообразила еще, что мужъ нарочно не привезъ матери, чтобъ не стѣснять молодую жену и сдѣлать ей угодное. Лидія Матвѣевна сообщила это генералу Зурову, правда, какъ тайну, но за то не въ видѣ своей догадки, а какъ положительный фактъ. Генералъ пріятно посмѣялся и сталъ очень любезенъ съ племянникомъ. То хитря, то не понимая мужа, Лидія Матвѣевна объясняла родственникамъ его холодность какъ неловкость, непривычку къ «хорошему» обществу. Это извиняли и обходились съ нимъ такъ дружелюбно, что безъ рѣзкой неучтивости было невозможно не отвѣчать тѣмъ же. Невозможно было отказывать женѣ, когда она, то хитря, то нѣжничая, безпрестанно возила его въ общество, заставляла знакомиться, заставляла веселиться. Уступая ей, уступая и собственной молодости, Верховской увлекался и веселился. Искушеніе было велико въ двадцать-два года, жизнь заманивала, средства были подъ рукою, времени было много... Правда, Верховскаго какъ будто утомляло бездѣлье, круженье цѣлаго дня, послѣ немногихъ часовъ безполезной службы, какъ будто было совѣстно и самой службы, — но въ то же время было какъ-то невозможно перемѣнить это, повести день на другой ладъ; одно было не въ его власти, другое — огорчило бы жену. Огорчать жену на первыхъ порахъ, за то, что она хочетъ повеселиться—и несправедливо, и не средство, чтобъ привязать ее къ себѣ; она оглянется сама на пустоту этого веселья...

Но она не оглядывалась, она только входила во вкусъ, между тѣмъ какъ Верховскому становилось скучно отъ этого переходящаго минутнаго веселья, которое никогда не хотѣлось ни вспомнить, ни повторить, и которое напоминалось, повторялось безъ желанія, безъ сознанія и забывалось опять, оставляя оглядку, что въ этой пустотѣ проходитъ жизнь...

Онъ рѣшился высказать это женѣ. Вышла сцена.

— Ты недоволенъ этимъ образомъ жизни? Какого же ты бы еще хотѣлъ? Развѣ ты знаешь лучше?.. Извини, André, я не способна быть un bas-bleu и не желаю! я предоставляю это другимъ... Не требуй отъ меня невозможнаго...

Онъ разобралъ, послѣ этой сцены, что она любитъ его больше нежели онъ ее, — любитъ какъ можетъ и умѣетъ... Зачѣмъ она такъ мало можетъ и такъ мало умѣетъ!.. Строгость съ нею не поведетъ ни къ чему и невозможна. Онъ рѣшился, безъ напрасныхъ жалобъ, сценъ и траты словъ, выждать, что скажетъ время, сторожить за собою, не облѣниться, не опошлиться, сберечь свои силы, свой протестъ окружающему, свое негодованіе на себя.

«Пусть она лучше меня узнаетъ»...думалъ онъ.

Ему досталось узнавать ея характеръ. Какъ большая часть молодыхъ людей, воспитанныхъ кроткими женщинами и нѣсколько мечтательныхъ, Верховской не могъ взять въ толкъ причудъ, мелочности и злости жены; онъ дивился и не вѣрилъ. Разглядѣвъ, ему было совѣстно вступаться; онъ боялся, можетъ быть, огорчить. Такое «можетъ быть» — великая остановка у мелкихъ людей и горе по ихъ росту; мелкій человѣкъ

будетъ несчастенъ... достанетъ ли духу сдѣлать чужое несчастье? А огласка?.. Родственники зорко и обидно слѣдили за ихъ супружескою жизнью; Верховской подмѣтилъ это. Негодованіе вспыхнуло и улеглось: что-жъ будетъ послѣ огласки? Разрывъ, а дальше?.. Онъ отчаянно, но безпощадно заставилъ себя сознаться, что у него уже нѣтъ силъ отказаться отъ этой жизни, что эта пустота, за которую онъ отдалъ все свое счастье, втянула его, закупила своимъ привольемъ...

У него не было мужества разсказывать все это матери; онъ, въ самомъ дѣлѣ, сдѣлалъ себѣ обязанность обманывать ее сколько могъ, хотя, попрежнему, зналъ, что ей нужны не утѣшенія, а правда; что самая горькая правда обрадовала бы ее какъ доказательство вѣры въ ея твердость, — слѣдовательно, его собственной твердости; хотя зналъ, что его искренность была бы доказательствомъ любви, безъ которой томится его мать... У него явилось совсѣмъ новое чувство — стыдъ. Онъ отъ-роду не зналъ его ни передъ кѣмъ, а теперь испытывалъ передъ нею, передъ этою совѣстью, любовью, совершенствомъ... Пусть лучше она ничего не знаетъ! Она еще не обвиняетъ его, не потеряла вѣры въ него! Но покаяться, что грѣхъ опуталъ—кому изъ нихъ будетъ тяжелѣе?.. Онъ страдалъ, но не признавался...

Онъ забывалъ, что она умѣла читать между строками...

Время шло скоро и не производило перемѣны, только прочнѣе складывало этотъ образъ жизни, крѣпче стягивало эти отношенія. Зимой, Лидіи Матвѣевнѣ было необходимо веселиться, весной стало необходимо нѣжиться, а противорѣчить ей въ чемъ нибудь сдѣлалось уже совершенно невозможно: она была беременна. Верховскому опять мелькнула надежда; еще не все пропало; съ рожденіемъ ребенка все пойдетъ иначе, жена пойметъ его, новая, общая, милая обязанность соединитъ ихъ новою любовью. Онъ заранѣе обожалъ своего ребенка; жена становилась ему милѣе, когда онъ воображалъ свою прелестную мать надъ этой будущей колыбелью, мать, вѣчно-молодую, ненаглядную радость. Онъ падалъ на колѣни при мысли объ этомъ счастьи; примиреніе, прощеніе, новая жизнь мерещились ему и охватывали такимъ свѣтомъ, такой полнотой ощущеній, что не было словъ для нихъ и сердце замирало сладко, такъ сладко, какъ, казалось, ужъ отучилось замирать... Онъ съ страннымъ удивленіемъ это замѣтилъ; онъ оглянулся, что забылъ самое ощущеніе радости; что незамѣтно отвыкъ отъ плановъ и мечтаній о подоробностяхъ, о тѣхъ бездѣлицахъ, которыя придаютъ счастью, конечно, небольшую цѣну, но что-то праздничное и оживляющее, безъ чего и самое счастье входитъ въ обрядъ и принимается холоднѣе... Его поразила эта оглядка. Чтобы скорѣе избавиться отъ всего, что она поднимала въ душѣ, онъ схватился исполнить свое завѣтное желаніе.

— Лидія, сказалъ онъ ей:—я пошлю эстафетъ мамѣ, чтобъ она пріѣзжала крестить нашего будущаго.

Лидія Матвѣевна поблѣднѣла, что было у нея выраженіемъ сильнѣйшаго гнѣва, но что неопытный супругъ принималъ всегда, а теперь принялъ въ особенности за болѣзненное разстройство. Онъ даже нѣсколько смутился.

— Она не успѣетъ пріѣхать, произнесла Лидія Матвѣевна очень отчетливо.

— Всего три недѣли, даже меньше, на посылку письма и ея пріѣздъ.

— Не успѣетъ, повторила Лидія Матвѣевна.

— Такъ подождемъ съ крестинами.

— А ты можешь поручиться, что я не умру? спросила она, съ тѣмъ же спокойствіемъ, но съ блѣдностью уже смертельною.

— Полно, Лидія, Богъ съ тобой! возразилъ онъ, испугавшись.

— Ты долженъ ко всему приготовиться, продолжала она.—Ты мало обо мнѣ думаешь. Но, если я и останусь жива,—въ чемъ я очень сомнѣваюсь!—до того ли мнѣ тогда будетъ, чтобы знакомиться съ особой, о которой я понятія не имѣю, заботиться, чтобъ ей было у меня покойно, думать, какъ ей угодить, какъ не сказать лишняго слова... Въ болѣзни отвѣчать за себя нельзя, а кто знаетъ, какъ она приметъ... Почему я знаю, что она вообразитъ; какія у нея привычки, какой характеръ...

— Какой ты вздоръ говоришь! прервалъ онъ, не выдержавъ больше.

— Какъ? что... и она съ воплемъ залилась слезами.—Теперь я вижу—ты меня не любишь! Ты нарочно выбралъ такую минуту, чтобъ меня мучить! Ты хочешь моей смерти! Я знала, что такъ будетъ! И лучше умереть, лучше умереть!

Ему осталось только успокоивать ее въ нервномъ припадкѣ, пославъ за докторомъ и тетушкой. Докторъ имѣлъ свои причины дорожить этой практикой, а потому прямо

объяснилъ Верховскому, что онъ убьетъ жену, если тотъ чѣмъ нибудь еще разъ ее потревожитъ. Тетушка кротко, но выразительно сказала ему только, что она «этого отъ него не ожидала». Дядюшки, генералъ и департаментскій, явившіеся вслѣдъ за тетушкой, ничего не сказали, но глядѣли на Верховского, какъ на преступника. Верховской былъ еще слишкомъ молодъ и не зналъ настоящей цѣны женскихъ нервныхъ припадковъ, онъ былъ испуганъ, смущенъ, огорченъ; ему стало тяжело, будто въ самомъ дѣлѣ виноватому. Лидія Матвѣевна нѣсколько дней притворялась разстроенною. Она была изобрѣтательна и въ присутствіи тетушки сплела мужу сплетню, будто генералъ Зуровъ по секрету признавался ей, что онъ и его сестра въ самыхъ непріязненныхъ отношеніяхъ и едва ли могутъ когда нибудь примириться. Верховской, конечно, удивился, что никогда ничего похожаго не слыхалъ отъ своей матери.

— Вѣроятно, изъ деликатности, maman не хотѣла тебя огорчать, сказала Лидія Матвѣевна.— Но дядя такъ благороденъ! прибавила она, спохватившись, что слишкомъ нѣжно выразилась о maman.—Дядя никогда не говоритъ о ней ни слова! Онъ такъ меня полюбилъ. Для чего ты хочешь это разстроивать? Для чего ставить меня между двухъ огней?.. Напиши, спроси свою мать!..

— Я не осмѣлюсь спрашивать ее письменно о томъ, чего она сама не открывала мнѣ во всю жизнь, возразилъ Верховской.

— Видишь ли, стало быть, я права! сказала Лидія Матвѣевна въ радости, что такъ безошибочно разсчела успѣхъ своей сплетни, и, увидя входящаго генерала, протянула ему ручку и запищала своимъ институтскимъ, звонкимъ голоскомъ.

— Oncle, здравствуйте! Вы не очень на меня сердиты за то, что скоро дѣдушка? Вы окрестите внучка, вотъ съ тетей? Я потому прошу тетю, что она добрая, не дастъ вамъ, злому, усатому, проглотить моего ребеночка...

Вскорѣ послѣ этого, мать Верховскаго получила отъ него слѣдующее письмо:

— «Мама, у меня родился сынъ. Его крестили Зуровъ съ женой Каруцкаго. Назвали—Элимъ. Аристократично и поэтично. Какой-то князь Элимъ сочинилъ какіе-то «Черныя Розы». Я съ ума схожу. Брошу все и уѣду къ тебѣ».

У нея изъ рукъ выпало это письмо.

Что онъ не можетъ отвязаться отъ своихъ покровителей, что онъ не воленъ назвать своего ребенка какъ хочетъ,—все это только обыкновенныя послѣдствія его положенія. Но это рабское подшучиваніе, но эта жалоба, которая доказываетъ, что если онъ и бился, то не съ людьми, а одинъ, о стѣну головою; но это неисполнимое брошу все—рѣзкость, которая говорится именно потому, что рѣзкія слова, утомивъ, надорвавъ душу, даютъ ей какъ будто законный предлогъ опять затихнуть и успокоиться на томъ, что есть... Вотъ оно, полное нравственное безсиліе!

Она позволила себѣ плакать. Прежде она никогда не знала слезъ. «Какой вздоръ, слезы», говорила она, бывало, въ это золотое время. «Только глаза портитъ. И о чемъ? Чего недостаетъ, что такое Богъ отнялъ? Есть хлѣбъ насущный—и ни у кого неотнятый, заработанный, свой по праву. Есть добрые люди, которые уважаютъ и любятъ, а въ неожиданной бѣдѣ—сказать имъ слово—помогутъ. Есть радость, свѣтъ, сокровище—любовь, ради которой жизнь мила, изъ которой безконечно черпаются силы и ей-же отдаются. О чемъ плакать, когда живется полно и, при самомъ строгомъ судѣ—безупречно?»

А теперь—праздная, ненавистная, позорная сытость, и отказаться отъ нея нельзя; она куплена цѣною той души, для которой жилось на свѣтѣ!

«Если бы... ну, если бы такъ случилось», говорила она, мечась въ жару безсонной ночи, въ которую десять разъ хваталась за короткое письмо сына и не имѣла мужества развернуть его и перечитать: «несчастія всякія бываютъ. Еслибъ тогда случилось несчастіе, ну, самое ужасное, такое, въ которомъ мысль уничтожена, руки связаны и нищета неизбѣжна,—ссылка. За что нибудь, куда нибудь далеко. Полугодовая ночь, снѣга, темная изба... Такъ что-жъ? я убирала бы его избу, стирала бы его рубашки. Богъ надо всѣми. Жили бы вмѣстѣ, ждали бы... Если бы даже онъ умеръ,—что-жъ, и я за нимъ. Для кого же мнѣ жить?..»

Она такъ знала, такъ вѣрила, что нужна ему, что ни на минуту не могла допустить мысли—умереть раньше его. Ей никогда даже не мелькнуло эгоистическое желаніе умереть, чтобъ отдохнуть... Потому она съ ужасомъ взглянула на себя, когда утромъ, шатаясь, едва встала съ постели.

Скоро она убѣдилась сама и заставила своего доктора сказать прямо, что ей жить недолго.

— Съ полгода? спросила она, не то сму-

тясь, не то оробѣвъ, но испытывая странное, еще незнакомое ощущеніе.

Онъ промолчалъ.

— Меньше?.. Что-жъ, такъ и быть, сказала она съ искреннимъ мужествомъ предъ своимъ приговоромъ и невыразимой тоской за сына.

Она подумала, что умретъ осенью и еще успѣетъ его приготовить. Прежде она не разъ смѣялась этому глупому слову, и повторила его теперь съ такимъ же презрѣніемъ: она знала, какъ тяжелъ ударъ, знала, что ничѣмъ нельзя облегчить его. Ей стало еще противнѣе, еще мучительнѣе ея житье, еще милѣе все несбывшееся. Ей захотѣлось умереть среди блаженства, о которомъ она молилась и мечтала, для котораго трудилась столько лѣтъ. Черство и рѣзко сказала она себѣ, что ненавистныя деньги, разлучившія ея съ сыномъ, должны дать ей хоть послѣднее утѣшенія—насмотрѣться на сына. Она написала ему, что больна и чтобъ онъ пріѣхалъ.

Письмо шло недѣлю. Верховской получилъ его утромъ и выѣхалъ черезъ два часа, безъ отпуска, безъ спроса у своего начальства, сказавъ только женѣ и то второпяхъ: Лидія Матвѣевна уѣзжала по желѣзной дорогѣ въ Царское Село обѣдать и танцовать въ лагерь у дядюшки генерала.

Черезъ недѣлю, Верховской былъ съ матерью.

Она не ждала его такъ скоро, но совладѣла съ своей слабостью и волненіемъ и выбѣжала на крыльцо, завидя, что онъ подъѣхалъ... У него въ памяти вѣчно осталась она, какъ стояла, въ бѣломъ, ея распустившіеся золотистые волосы, ея вспыхнувшія щеки, ея божественный взглядъ, весь ея образъ въ свѣтѣ вечерняго солнца. Онъ схватилъ ее на руки и внесъ въ комнаты; онъ не надѣялся застать ее живую.

— Какъ ты похорошѣлъ! сказала она бодро и радостно, не чувствуя ничего кромѣ счастья, что онъ тутъ, съ нею, подумавъ, что вовсе не больна, что вызвала его изъ прихоти, — и въ ту же секунду весело сказавъ себѣ, что отлично сдѣлала, но все же надо покаяться и скорѣй его успокоить.

— Виновата, милый! я тебя напугала, а ты тотчасъ на перекладную! Виновата! я здорова, гляди: противъ зимы, я даже поправилась. Это только такъ, сегодня, и... и я обрадовалась, ну, признаюсь, — сердце упало. Пройдетъ. Покажись еще. Разсказывай; все разсказывай, и хорошее, и дурное. Вѣдь мы одной душой живемъ, ты тамъ, а я здѣсь... О, сладко намъ съ тобою жилось!.. Все разсказывай; молчать некогда...

Точно, было не время молчать, но и не разсказалось ничего: было некогда разсказывать. И онъ, и она были всѣ въ своемъ общемъ прошломъ, въ своихъ настоящихъ минутахъ: забывали какъ сонъ и промежутокъ разлуки, и все, что въ немъ совершилось, или обходили это, будто что докучное, ненужное, чего поднимать не хотѣлось, о чемъ еще будетъ время позаботиться. Обоимъ не хотѣлось вѣрить и цѣлыми днями не вѣрилось, что близка другая разлука. Только вечерніе косые лучи и длинныя тѣни всякій разъ будто болью охватывали Верховскаго, и всякій разъ, уводя мать изъ сада, ему думалось, что однимъ днемъ еще стало меньше...

Пришелъ и послѣдній день. Онъ былъ свѣтлый, солнечный до самаго заката. Ея душа улетѣла въ ту минуту, какъ исчезло солнце. Верховской отошелъ отъ постели, гдѣ лежало то, что было его жизнью, его разумомъ, его радостью. Онъ отворилъ окно. Въ переулкѣ проходили люди, въ церкви звонили всенощную. Онъ подумалъ, неужели есть люди, которые живутъ и могутъ молиться?

Она унесла съ собой его молодость. Въ одно мгновеніе все и всѣ стали ему чужды и ненавистны. Жизнь ужаснула; мелькнула мысль покончить съ нею... И въ самомъ дѣлѣ, кому онъ нуженъ?

— Ты была не одна, выговорилъ онъ, блѣдный какъ то лицо, въ которое вглядывался:—тебѣ хорошо было...

И не докончивъ упрека, онъ упалъ передъ ней на колѣни...

Онъ похоронилъ ее. Губернскій городъ ожидалъ парадныхъ обрядовъ. На нихъ разсчитывали, какъ на случай познакомиться съ молодымъ богачемъ: съ самаго пріѣзда Верховскаго, у нихъ не принимали никого, но когда въ домѣ покойникъ—двери всѣмъ открыты. Къ панихидамъ пріѣзжали дамы высшаго кружка, въ прекраснѣйшихъ траурныхъ туалетахъ, и важные господа, хорошо помнившіе, что Верховской женатъ на племянницѣ директора департамента. Верховской не встрѣчалъ никого и уходилъ въ комнату матери. Это еще объясняли его горестью, но когда узнали, что пригласительныхъ билетовъ не заказано, что Верховскую отпѣваютъ и хоронятъ въ раннюю обѣдню, въ бѣдной, загородной кладбищенской церкви,— то приняли это за обиду. Верховскую проводили бѣдняки, которымъ она была

своя, которые не пожалѣли потратить свое трудовое утро на прощанье съ труженицей. Ихъ было много. Въ толпѣ мелькали молодыя, расплаканныя личики ея учениць. Верховской вдругъ вспомнилъ жену. Онъ подумалъ, что, можетъ быть, здѣсь, между ними, та, которую мать выбрала бы ему въ подруги,—та, которая теперь плачетъ надъ нею. Онъ подумалъ, что вотъ его люди, и что къ нимъ ему нѣтъ возврата. Конечно, нѣтъ. Онъ такой важный, богатый баринъ... Ему вдругъ бросилось въ глаза, что передъ нимъ стѣснялись, его будто боялись безпокоить; сочувствіе къ нему было, можетъ быть, искреннее, но какое-то робкое, подобострастное...

«Если у кого нибудь изъ нихъ умретъ мать, меня не позовутъ на похороны», сказалъ онъ себѣ съ холодной злобой, которая все больше и больше набѣгала ему въ сердце.

Эта злоба помогла ему вынести горе. Онъ зналъ, что въ его волѣ и власти было прожить, можетъ быть, много лѣтъ съ матерью, въ честномъ кружкѣ людей трудовыхъ, людей образованныхъ, людей по душѣ. Если сдѣлалось не такъ—онъ самъ виноватъ. Но при всемъ полномъ сознаніи, никто себя не обвиняетъ до конца, а горе—тѣмъ меньше: оно не въ силахъ еще накладывать на себя руки упреками и ищетъ оправдаться. Жена, ея родные, ея общество—могли бы, должны были бы быть лучше. Виноваты они, я не несчастный, который имъ довѣрялся. Верховской ненавидѣлъ ихъ. Онъ метался одинъ въ опустѣломъ домѣ, безумно повторяя, что не выйдетъ изъ него, не воротится туда...

— Что-жъ ты этого прежде не сдѣлалъ? вскрикивалъ онъ.

Отчаяніе подняло въ немъ неожиданную, злобную, но твердую силу. Изъ его положенія нельзя было избавиться; онъ рѣшился не пользоваться его выгодами. Во всемъ виноваты проклятыя деньги,—не надо ихъ. Есть средство жить, не одолжаясь женѣ: служба. Правда, мѣсто далъ женинъ дядюшка, но это только должное: человѣкъ, котораго способность признавала она (Верховской оглядывался на ея пустую постель), стоитъ мѣста и повыше. Можно пользоваться безъ угрызеній совѣсти. Жалованьемъ можно жить безъ спроса и отчета; нужно только повѣрнѣе считаться...

«Считаются враги»... пролетѣло въ его памяти. Это слово сказала когда-то его мать.

— О, но вѣдь тебѣ хорошо было! вскричалъ онъ рыдая:—тебя обожалъ всякій, кто хоть разъ тебя встрѣтилъ!..

Онъ принялся за счеты, тутъ же, въ эти дни. Все, что онъ присылалъ матери денегъ и вещей, бывало изъ его собственнаго жалованья; еще не прослуживъ и года, онъ, неизвѣстно за какія заслуги, ужъ получилъ награду. Онъ былъ долженъ женѣ только то, что привезъ матери въ свой первый пріѣздъ.

— Я выплачу, сказалъ онъ: — моя мать ей ничего не будетъ стоить.

Онъ взялъ себѣ ея старыя книги, старыя ноты, старый памятный рабочій ящикъ съ недоконченнымъ вышиваньемъ; онъ имѣлъ мужество собрать письма, записки, то, въ чемъ именно выражается и отражается жизнь, смотрѣлъ на эти листки... память счастья, будто что живое, крѣпко и больно цѣплялась за сердце; смотрѣлъ на свои ученическія тетради съ ея замѣтками, на свои юношескія письма, сбереженныя съ такою нѣжностью... О, гдѣ эта молодость, гдѣ ея любовь?.. Письма послѣдняго года были тоже сложены и спрятаны бережно... но почему она положила ихъ не вмѣстѣ, не въ старую шкатулку отца, а въ этотъ портфель съ перламутромъ и золотомъ, щегольской, сіяющій, гдѣ кромѣ ихъ нѣтъ ничего?.. Взять, сохранить все это невозможно такъ, чтобъ не притрогивались чужія руки...

Онъ перечитывалъ и жегъ цѣлую ночь. Рано утромъ, онъ пошелъ къ кладбищенскому священнику, ея духовнику, котораго она называла хорошимъ человѣкомъ.

— Я уѣзжаю, сказалъ ему Верховской:— возьмите все, что осталось въ домѣ; оставьте себѣ, раздайте кому хотите; вы знаете, кого она любила и кому что нужно.

Отъ священника онъ прошелъ къ ея могилѣ. Туда привезли всѣ кусты розъ съ клумбы, у которой онъ и она сидѣли въ послѣдній разъ. Верховской помогъ рабочимъ пересадить ихъ кругомъ деревяннаго креста и поставить деревянную рѣшетку. Когда все было кончено, онъ сѣлъ въ телѣгу и уѣхалъ, не заѣзжая въ городъ, не оглядываясь на пустой домъ, видный издали, на садъ, гдѣ на мѣстѣ пышнаго цвѣтника чернѣла свѣжая яма...

Онъ возвращался другимъ человѣкомъ. Мать не порадовалась бы такой перемѣнѣ...

Лидія Матвѣевна получила отъ него только одно письмо во все это время, тотчасъ по его отъѣздѣ. Она была рада, что онъ не писалъ: извѣстія о болѣзни такой близкой родственницы заставляли бы, ради приличія,

отказываться отъ разныхъ удовольствій. Мысль, что надо одѣться въ сукно на цѣлый годъ—первая промелькнула у нея, когда она увидѣла мужа.

— C'est fini? спросила она, идя за нимъ въ его комнату.

Верховскому хотѣлось ее выгнать. Онъ ничего не сказалъ.

Лидія Матвѣевна конфузилась. У нея былъ, по своему, твердый характеръ и притворяться печальной она не желала: это, вопервыхъ, было бы довольно трудно, а во-вторыхъ, много обязывало впослѣдствіи. Но сказать что нибудь было необходимо изъ приличія.

— Le monument est joli? спросила она.

Верховской поднялъ на нее глаза.

— Est-ce qu'il s'est trouvé quelque chose de convenable dans cette petite ville... продолжала она.

— Никакого нѣтъ монумента, прервалъ онъ по-русски, понявъ ее наконецъ.—Выйди, сдѣлай одолженіе; здѣсь уберутъ мои вещи...

Такъ начались его новыя отношенія...

Когда онъ воротился съ кладбища, гдѣ зарылъ свою мать, ему не казалось такъ пусто, какъ въ этомъ убранномъ, богатомъ домѣ. Что-то черное, чернѣе и глубже могилы раскрывалось передъ нимъ. Точно будто въ первый разъ оглянулся онъ, въ первый разъ понялъ все это страшное нравственное разстояніе; все, что передумалось прежде, было ничто въ сравненіи съ сознаніемъ настоящей минуты... Одна кровля, одинъ столъ, одна комната — а не дальше была бы для него эта женщина, еслибъ она была на другой планетѣ, не пустѣе было бы кругомъ, еслибъ вовсе ея не было! Пусто,—а отъ нея тѣсно. Ребенокъ... Онъ о немъ и не вспомнилъ. Ничего не нужно. Ему стало какъ-то жутко; ненависть его душила... Онъ заперся у себя одинъ.

Но утромъ надо было, наконецъ, и выдти. Онъ засталъ Лидію Матвѣевну въ хлопотахъ съ модисткой. Столы были завалены чернымъ сукномъ и чернымъ крепомъ.

— Это совсѣмъ напрасно, Лидія, сказалъ онъ:—я не хочу, чтобъ ты носила трауръ.

Она посмотрѣла на него съ непритворнымъ удивленіемъ.

— Да, повторилъ онъ:—не надо. Ты меня очень обяжешь.

— Какъ ты хочешь, отвѣчала она.

— И прошу не перемѣнять ничего въ твоемъ образѣ жизни. То, что случилось, до тебя не касается.

Она не спросила причины и покорилась очень охотно. Все пошло попрежнему. Ни родственники, ни знакомые, никто не помянулъ ни слова Верховскому «о томъ, что случилось». Это его злобно, мучительно радовало. Эти люди не стоили, чтобъ онъ позволялъ имъ даже назвать его мать. Онъ думалъ только, какъ скорѣе разорвать съ ними свою связь...

Разсчетъ загубилъ его жизнь, разсчетъ сталъ мерещиться ему во всемъ. Верховской сдѣлался мелко подозрителенъ; онъ видѣлъ намеки или попреки въ незначащихъ словахъ, которыя гораздо законнѣе могли бы отвратить своею пошлостью, еслибъ онъ о ней подумалъ. Но онъ ужъ не думалъ ни о пошлости, ни о нелѣпости, ни объ испорченности этихъ людей, не выказывалъ ни въ чемъ своего характера, не предлагалъ и не отстаивалъ ни одного своего мнѣнія. Онъ только считался, какъ будто въ счетѣ была вся его независимость. Когда, годъ назадъ, въ первое время брака, Лидія Матвѣевна выказывала себя госпожей, Верховской находилъ неделикатнымъ ей противорѣчить; позднѣе, оспариваніе первенства казалось ему презрительно и смѣшно; теперь, онъ рѣшилъ коротко и злобно:

«Я ея управитель по довѣренности и ничего больше!»

Упорно начавъ одинъ разъ, онъ не останавливался. Его это какъ-то тѣшило. Насмѣшливо предложилъ онъ Лидіи Матвѣевнѣ, что будетъ вносить изъ жалованья на свое содержаніе въ общій расходъ. Она согласилась такъ просто и натурально, какъ будто удивляясь, что это давно не пришло ему въ голову; она даже помогла ему разобраться и сообразиться въ этой смѣтѣ общаго расхода. Напримѣръ, за пользованіе квартирой, отопленіе и освѣщеніе, которыми Лидія Матвѣевна была обязана службѣ своего супруга, супругъ освобождался отъ издержекъ на экипажъ и могъ пользоваться имъ безплатно. Были обсуждены всѣ статьи хозяйства, затраты на удовольствія, непредвидѣнные случаи. Верховской выслушивалъ молча и отвѣчалъ хладнокровно. Онъ напомнилъ о деньгахъ, взятыхъ имъ, годъ назадъ, на поѣздку къ матери и ея устройство, и предложилъ дать въ нихъ вексель. Лидія Матвѣевна нашла, что вексель—излишнее, но приняла проценты за прошлый годъ и слѣдующій... Выходя изъ ея кабинета, Верховской

еще разъ поклялся себѣ, что не будетъ стоить женѣ своей ни одного гроша.

Въ качествѣ управляющаго, онъ поставилъ себѣ въ обязанность аккуратно и во всякой мелочи спрашивать приказаній Лидіи Матвѣевны; онъ даже записывалъ болѣе сложныя. Это ей очень нравилось. Онъ никогда не спорилъ. Чувствуя, что внутренно ежеминутно раздраженъ, онъ тѣмъ болѣе сдерживался наружно, и никто, въ особенности, жена, не могъ бы упрекнуть его ни въ одной вспышкѣ, ни въ одной неровности обращенія. Онъ дѣлалъ все, что ей было угодно, исполнялъ малѣйшія ея прихоти, считая это своимъ долгомъ; онъ былъ только молчаливъ. Лидія Матвѣевна попрежнему хвалилась его нѣжностью и, чтобъ выразить свою нѣжность, дѣлала ему иногда подарки. Ее особенно восхищало, что онъ тотчасъ же отдаривалъ ее вещами одинакой цѣнности; она видѣла въ этомъ самое влюбленное вниманіе. Въ глазахъ всѣхъ, по ея разсказамъ, это былъ обожаемый, страстный мужъ,—правда, съ вида немного невеселый, но это приписывали его неловкости въ обществѣ,—можетъ быть его недавнему огорченію,—впрочемъ, объ этой причинѣ скоро забыли. Онъ отлично держался съ родственниками. Ничего нѣтъ приличнѣе и учтивѣе ненависти.

Верховской достигъ чего хотѣлъ; у него была одна мысль—не обязываться,—онъ ее исполнилъ. Онъ разсчелъ всѣ необходимости своей дорогой свѣтской жизни вровень съ жизнью жены, стѣснилъ себя, въ чемъ можно было стѣсниться незамѣтно: у него не было на что купить книгъ, чѣмъ помочь бѣдному человѣку. У него не осталось своей воли, не осталось ни одной привычки, не осталось минуты нравственнаго довольства. Оставалась все одна и та же мысль—не обязываться. Твердость характера являлась только въ настойчивости самоотреченія, отъ котораго на сердцѣ бывало постоянно тяжело, горько и стыдно...

Въ буквальномъ смыслѣ, матеріально онъ не зависѣлъ отъ этихъ людей, съ которыми хотѣлъ «разорвать всѣ связи»; но онъ не разорвалъ связей, не разстался съ этими людьми, не придумалъ для себя другого образа жизни. Вся эта пустая, дорого стоющая, довольная собою свѣтская ничтожность кружила его, владѣла имъ, налагала свои обычаи, туманила его понятія; онъ незамѣтно настолько втянулся самъ, что затруднялся опредѣлить, какой ему хотѣлось перемѣны. Онъ понималъ только одну жизнь—жизнь съ нею, какъ въ дѣтствѣ, въ юности, какъ въ послѣдніе роковые дни. Онъ мечталъ объ этомъ невозможномъ, воображалъ его, повторялъ въ памяти, переживалъ всѣмъ своимъ существомъ, утомлялся и мучился до безсилія, даже физическаго. Разбитый, онъ былъ не въ состояніи шевельнуться, не только обдумать, предпринять и дѣйствовать. Онъ чувствовалъ, что нравственная поддержка ему необходима, но откуда, чья?.. У отчаяннаго горя бываютъ тысячи оттѣнковъ. Одинъ изъ нихъ—какая-то ревность, которая считаетъ преступленіемъ замѣну невозвратнаго новымъ. Верховской испыталъ и это, но убѣдился также, что ему нечѣмъ и замѣнить своего невозвратнаго. Онъ потерялъ изъ виду большую часть своихъ университетскихъ товарищей; нѣкоторые отстали сами отъ «богача, отъ человѣка, измѣнившаго своимъ убѣжденіямъ, отъ свѣтскаго чиновника». Онъ понялъ это; досада и обида облегчали ему чувство вины, за которую доставалось ему отчужденіе; онъ говорилъ съ какимъ-то хвастовствомъ отчаянія:

— Когда ея нѣтъ — это ужъ куда ни шло!

Двое-трое друзей еще ему писали. Онъ самъ прекратилъ переписку. Они были такъ откровенны, такъ задушевны, такъ просты, такъ скромно и вмѣстѣ смѣло смотрѣли въ будущее, такъ жарко принимали къ сердцу все совершающееся! Имъ писать не было силъ. Ихъ слова поднимали мучительную, безсильную тревогу, горькую зависть, упрекъ судьбѣ, упрекъ себѣ, а за нимъ — сознаніе еще болѣе тяжкое. Кто не можетъ самъ говорить откровенно, тотъ не въ правѣ слушать откровенныя слова; кто ненавидитъ, тотъ недостоинъ знать людей любящихъ. Пусть эти честные голоса взываютъ къ живымъ, а не къ мертвому! Верховской разстался съ ними молча и твердо.

— Она жила и терпѣла, не довѣряясь никому, говорилъ онъ себѣ:—я съумѣю сдѣлать то же.

Онъ забывалъ, какъ она жила; онъ забывалъ, что трудъ и мысль—поддержка терпѣнію... Странно и ужасно: погруженный въ счеты и разсчеты, онъ вообразилъ, что его матери «отозвалась восьмилѣтняя нищета»; отупѣлый, не понималъ, что единственной причиной ея единственнаго страданія — была его нравственная перемѣна. Конечно, это заблужденіе спасало его отъ ужасовъ раскаянія... Онъ не понималъ, что своего страданія она не могла выдавать никакому другу, онъ понималъ только, что

ей была тяжела разлука. Но онъ самъ столько страдалъ отъ этой разлуки! Она была одинока, — но вокругъ него было столько пустыхъ людей! Она не дорожила житейскими благами — но ему-то какъ эти блага унизительно доставались! Она вынесла много — но онъ выносилъ и выноситъ вдвое больше...

— Тебѣ хорошо было... повторялъ онъ, ставя себѣ въ какую-то заслугу свою любовь къ ней...

Такъ прошли цѣлые годы...

Его поглотили свѣтская жизнь и чиновничество. Онъ сдѣлалъ себѣ занятіе изъ службы, тѣмъ болѣе, потому что служба была необходима, но это было только занятіе, обрядъ, а не дѣло, которому охотно посвящаются душевныя силы. Оно помогало жить и куда нибудь дѣвать время. Было некогда оглядываться и вникать въ себя. Въ душѣ еще лежалъ источникъ протеста, вѣчно живой, но этотъ горькій протестъ уже не вызывалъ на дѣйствіе; онъ только какъ будто отмщалъ за уступку совѣсти, не давая ни покоя, ни счастья... Но понемногу, какъ-то ужъ смѣшивалось и самое понятіе о счастьи, ужъ замирало молодое желаніе свободы, молодое желаніе дѣятельности, мысли, дружбы; все это были ужъ недостижимыя, невозможныя блага. Оставалась, можетъ быть, любовь. Но именно способность этого чувства и замерла въ немъ. Въ самую нѣжную и жаркую пору онъ отдалъ свое сердце безъ сознанія и безъ страсти; что-то неопредѣленное, будто доброе освѣтило его не надолго и погасло, оставивъ горе и стыдъ. Идеалъ любви отошелъ далеко, но сталъ еще чище, свѣтлѣе, возвышеннѣе. Неужели искать его въ кругу пріятельницъ жены, въ томъ «свѣтѣ», котораго ничтожность и испорченность такъ бросались въ глаза? Неужели, безобразно, отвратительно, взять что попало? Искать дальше, — гдѣ?.. Верховской былъ вѣренъ своей женѣ отъ тяжкой, вѣчной памяти своей неволи, отъ злой, унизительной мысли, что онъ—ея собственность...

Минутами, онъ обвинялъ, презиралъ и ненавидѣлъ себя самого заодно съ другими.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Верховской рано поднялся на другой день и, къ великому удивленію немногихъ проснувшихся въ гостиницѣ, ушелъ за городъ, въ поле. Въ воздухѣ было влажно, отъ земли пахло зеленью и первыми цвѣтами; вдали гудѣли ранніе колокола, надъ молодой рожью звенѣли жаворонки, тѣни были сизыя, лучи розовые; два бѣленькія облачка таяли на темноголубомъ западѣ. Съ пригорка былъ виденъ весь городъ, почти красивый издали, въ туманѣ, въ деревьяхъ. Верховской не оглянулся на него. Ему хотѣлось уйти все дальше, хотѣлось все больше воздуха, простора, точно хотѣлось взять всего этого разомъ за цѣлые годы...

Поѣздка въ деревню вызвала у него новое чувство, или, вѣрнѣе, пробудило чувство очень старое, замятое, заглохшее, неизвѣданное болѣе десятка лѣтъ: на него пахнуло простотой, свободой, какой-то правдой жизни. Послѣднія впечатлѣнія отошли куда-то далеко и въ широкомъ кругѣ свѣта, который разростался въ памяти, замелькали весенніе прошлые, праздничные дни, выплыли образы трогательно веселые какъ дѣтство, яркіе какъ мечты ранней юности, дорогіе, какъ лучшее, что дала жизнь. Онъ подумалъ, какъ много ушло годовъ, и сожалѣніе, которое въ юношѣ удвоиваетъ жадность желаній, примѣшивая къ нимъ поспѣшность и тревогу, удвоиваетъ прелесть наслажденія,—сожалѣніе прошло холодомъ по душѣ тридцатилѣтняго человѣка. Юность вспоминаетъ смутно, разомъ, счастіе и горе; безпечность и нѣжность сердца, отвага и надежда даютъ силы для прощенія и забвенія; негодованіе еще не застыло до ненависти; молодое нетерпѣніе не можетъ долго останавливаться на докучныхъ образахъ. Но въ половинѣ жизни, человѣкъ выучился разбирать, умѣетъ выждать, привыкъ къ оглядкѣ. То, что вдругъ и разомъ охватываетъ его душу, черезъ минуту становится предъ нимъ раздѣльными явленіями; онъ даетъ каждому свое мѣсто, оцѣниваетъ каждое, считаетъ, приводитъ въ порядокъ. Оцѣнивъ прошлое счастіе, онъ проклинаетъ до отчаянія; вспомнивъ горе, онъ ищетъ виноватыхъ. Со всѣхъ сторонъ слетается, толпится, тѣснится все, что называется отношеніями, обстоятельствами,—эти житейскія ежедневныя мученія, мелкія и заставляющія мель-

чать, безмысленныя и отупляющія смыслъ, безчувственныя и убивающія чувство. Всѣ они отчетливо и акуратно будто докладываютъ о себѣ, будто хвастаются сколько унесли чистоты и силы изъ этого измученнаго сердца, которое, нечаянно вспомнивъ какую нибудь годовщину, вздумало заглянуть въ свое прошлое.

Верховскому вспомнилось очень далекое; какъ однажды, студентомъ, пошелъ онъ рано утромъ съ товарищами на Воробьевы-горы; какъ, лежа надъ обрывомъ, гдѣ зарастаютъ развалины заложеннаго храма, они, молодые люди, толковали объ искусствѣ; какъ ихъ прервалъ выстрѣлъ и напротивъ, черезъ долину, надъ холмомъ поднялось бѣлое облако; тамъ шло артиллерійское ученье...

«А что дѣлается теперь въ Петербургѣ?» вдругъ сказалось въ головѣ Верховского.

Онъ остановился. Настоящее перегородило дорогу воспоминанію.

«Петербургъ... Изъ газетъ ничего не узнаешь. Хоть бы написалъ кто нибудь... Но кто напишетъ? Развѣ этихъ людей занимаетъ что нибудь, кромѣ ихъ собственнаго положенія... Но еслибъ и написали—разскажутъ только официіальное, видимое, а если еще съ своими воззрѣніями,—ну, и вовсе хуже!.. Хотѣлось бы знать, видѣть что-то другое... Что другое? Вотъ вопросъ!.. Не повернуть ли, вонъ, туда, въ слободу, зайти въ первую избу, разсказать новости, спросить мнѣнія... Мнѣнія! Когда его нѣтъ и въ N-скомъ клубѣ!..»

«А вѣдь есть люди!» сказалъ онъ почти вслухъ, оглядываясь на широкое пространство, открытое кругомъ. «Градъ, говорятъ, праведниками спасается. Должны быть люди, въ которыхъ живо сознаніе, которые въ настоящемъ видятъ не одну нужду да новость... Далеко запрятались эти люди!»

Онъ захотѣлъ остановиться на мелькнувшей мысли, припомнить этихъ живыхъ людей, встрѣченныхъ мимоходомъ, случайно, какъ-то затерявшихся потомъ, или вовсе пропавшихъ изъ общества; припомнить другихъ, тѣхъ, съ которыми, юношей, онъ сбирался вмѣстѣ выйти на жизненную дорогу и съ которыми давно, охотой, разстался. Воспоминанія были смутны, отрывочны. Впереди ихъ, заслоняя ихъ, все выступала собственная личность, собственныя неудовлетворенныя стремленія. Разбирая строго, приходилось раскаяваться, потому что праздныя руки и голова, тупѣвшая въ свѣтскомъ чаду, не искали никакъ приложить этихъ стремленій къ дѣлу. Но это все-таки мучило. Какъ многіе, Верховской вмѣнялъ себѣ въ достоинство эту праздную муку.

Въ настоящую минуту, ко всему скучно томящему, прибавилось особенное отвращеніе поселиться въ N*. Верховскому вдругъ стало жаль Петербурга. Ему вдругъ показалось, что тамъ для него нашлись-бы люди. Память ясно и въ ту же минуту подсказала ему, что, слишкомъ въ десять лѣтъ, онъ ихъ себѣ не выбралъ.

«Уѣду одинъ, буду служить, подумалъ онъ рѣшительно:—буду свободенъ...»

А трое дѣтей? А жена?

«Влюбленная ни больше, ни меньше какъ въ первые мѣсяцы замужества!» сказалъ онъ себѣ съ горечью. «И разлуки нельзя объяснить даже необходимостью: наше состояніе такъ велико! Скандалъ!.. Попробуй я явиться безъ Лидіи Матвѣевны—дядюшка Каруцкій устроитъ, что меня выгонятъ изъ службы. Тогда что? Да ужъ лучше, не дожидаясь, записаться, вотъ, хоть въ этотъ полкъ, что идетъ на Дунай. Вѣдь спасскіе мужики бѣгали же отъ своей помѣщицы на царскую службу... У меня тоже помѣщица... Какой вздоръ! прервалъ онъ себя, когда нелѣпости одна за другою затолпились у него въ головѣ».

Онъ взглянулъ на часы; утро было въ половинѣ. Онъ повернулъ въ городъ.

По узкой дорогѣ показалась маленькая коляска и чрезъ минуту промчалась мимо него; онъ едва успѣлъ посторониться. Въ коляскѣ была дама; Верховской увидѣлъ развѣвающійся розовый вуаль и услышалъ восклицаніе удивленія, относившееся, безъ сомнѣнія, къ нему. Его узнали; онъ не узналъ и вообще такъ мало занимался N-скими дамами, что не обратилъ вниманія на эту встрѣчу. Онъ воротился домой усталый. Въ городѣ было душно, особенно воротясь съ поля; все, что на сердцѣ было вызвано свѣжести, исчезло тоже. Верховской прилегъ на диванъ. Въ гостиницѣ приходили и уходили, пріѣзжали и уѣзжали; въ отворенныя окна чаще сталъ раздаваться скрипъ возовъ, стукъ колесъ; городъ совсѣмъ проснулся.

Верховскому пришло на мысль, что никогда еще не былъ онъ такъ наединѣ самъ съ собою, какъ въ это послѣднее время. Полный просторъ для мысли, для воспоминаній; ни заботы, ни помѣхи; полная свобода для выбора занятій, людей, отношеній... И что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, дѣлается въ душѣ? или она такъ близорука, или она такъ прихотлива, что не видитъ, что выбрать, не находитъ къ кому привязаться? или такъ втянулась въ

общепринятое, въ общеизвѣстное, что не умѣетъ и придумать ничего кромѣ какого нибудь визита со шляпой въ рукѣ, какого нибудь разговора въ родѣ тѣхъ, что велись и ведутся тысячи разъ и отъ которыхъ одно впечатлѣніе—туманъ въ головѣ и усталость груди? Вѣдь это называется старость. Это значитъ въ конецъ прожить все, что было отпущено живого огонька. Что-жъ испытано?..

Рядомъ въ номерѣ, за стѣной, происходила радостная встрѣча. Къ пріѣзжему пришли друзья, обнимались, цѣловались. Верховской невольно узналъ разные секреты, о которыхъ говорилось громко. Громко считались расходы; гостиница оказалась дорога; друзья увели друга къ себѣ.

«А я-то издерживаю втрое!» думалъ Верховской: «и хоть бы одинъ разъ обрадовался, когда отворялась моя дверь!.. Нѣтъ, хуже: радовался—развлеченію отъ нечего дѣлать!»

Ему становилось стыдно. Ему хотѣлось уже не крѣпкаго сродства души, не братскаго раздѣла убѣжденій, замысловъ и надеждъ, не жаркаго сочувствія, не отвѣта на всякое сомнѣніе, не утѣшенія во всякой тревогѣ,—даже не той образованной бесѣды, которая увлекаетъ тихо, безъ волненій, проникаетъ глубоко, укрѣпляетъ, доставляетъ уму свѣтлый, спокойный праздникъ. Ему хотѣлось хоть бы простого, пошлаго часа въ кружкѣ у самовара, гдѣ бы неприхотливо хохотали вздору, гдѣ бы радовались заработанному грошу, махнувъ рукой на заботы завтрашняго дня, гдѣ бы искренно не помнили обидъ, гдѣ бы любили другъ друга, не спрашивая за что, по простой причинѣ, что сошлись вмѣстѣ...

Онъ вдругъ вспомнилъ, что у него было когда-то; вспомнилъ долгія бесѣды, вспомнилъ жизнь заодно,—разумъ, любовь и радость... У него затуманило въ глазахъ; что-то горячее сжало ему горло.

— Что-жъ это я съ собой дѣлаю? сказалъ онъ и всталъ.

Съ нимъ случилось то, что часто бываетъ: его раннее утро, какъ говорится, сошло на позднее. Было ужъ около полдня. Верховской еще не началъ дня, ничего не дѣлалъ; но дѣлать было нечего и онъ очень равнодушно замѣтилъ эту потерю времени. Онъ сталъ читать какое-то путешествіе, захваченное съ собой изъ Петербурга. Чтеніе не заняло. Бросивъ книгу, онъ смотрѣлъ на ея переплетъ, на номеръ и названіе магазина, на немъ выбитые. Книга была абонирована; у Верховского недоставало собственныхъ денегъ на покупку книгъ. Онъ подумалъ, что въ деревнѣ это будетъ еще затруднительнѣе.

— А, чортъ бы нобралъ эту деревню, проговорилъ онъ, потянулъ къ себѣ бумагу, обмакнулъ перо въ чернильницу и сталъ писать:

— «Покупка Спасскаго, Лидія, безумное дѣло; я докажу это цифрами. Но хуже всѣхъ невыгодъ—нравственныя мученія, которыя придется выносить въ этой трущобѣ. Нищета и недовольство крестьянъ важны не въ одномъ отношеніи покорности и исправнаго платежа оброка. Я не могу жуировать жизнью, когда кругомъ меня голодаютъ, и не обладаю способностью усмирять...»

Его превалъ стукъ въ дверь. Ему подали письмо. Оно было опять отъ Лидіи Матвѣевны, опять изъ нѣсколькихъ листовъ четкимъ почеркомъ въ клѣтку.

— «Я убѣждаюсь, что мое здоровье, мое спокойствіе, мои желанія, мои заботы о моихъ дѣтяхъ въ твоихъ глазахъ ничего не значатъ: я не получаю даже отвѣта на мои письма! Изъ N* въ Москву почта два раза въ недѣлю, и если бы ты озабочивался отдать письмо съ вечера наканунѣ...»

Подробности разсчета прихода и отхода почты и наставленія по этому поводу.

— «Я изнываю здѣсь. День въ гостиницѣ обходится иногда до десяти рублей! Ты, безъ сомнѣнія, тратишь не меньше, хотя и одинъ. Хорошо еще, что я заранѣе предупредила кузину Annette, что въ Москвѣ я не беру на себя ея расходовъ. Въ деревнѣ, когда она будетъ заниматься съ дѣтьми музыкой и англійскимъ языкомъ, она можетъ жить на мой счетъ; я такъ ей обѣщала. M-lle Роше тоже объявляетъ разныя претензіи, и все это я должна выносить, потому что тебѣ неугодно не только позаботиться, но даже обратить вниманіе на мои требованія. Кажется, они не огромны! Я хочу только, чтобъ была скорѣе куплена деревня, за которую не тебѣ расплачиваться. Если это даже и прихоть, я могу ее себѣ позволить. Не думаю, чтобы я много и часто озабочивала тебя своими прихотями; немного найдется женщинъ менѣе меня требовательныхъ и болѣе снисходительныхъ. Но я очень хорошо понимаю причины твоего молчанія: у тебя нашлись заботы болѣе по вкусу и характеру; ты пользуешься первой разлукой, ты на свободѣ,—кстати, и средства у тебя въ рукахъ. Это совершенно въ порядкѣ вещей!!! Но честно ли это...»

— А ты стоишь, чтобъ я воспользовался... выговорилъ Верховской, закусивъ губы.

Въ дверь стукнули.

— Войдите, сказалъ онъ.

Вошелъ Лѣсичевъ.

— Заняты? Я мѣшаю? Здравствуйте.

— Здравствуйте. Нѣтъ, не помѣшали. Я писалъ женѣ. Еще успѣю.

Лѣсичевъ почти всегда бывалъ въ пріятномъ настроеніи; онъ разсмѣялся.

— Извините, Андрей Васильевичъ! Еслибъ я васъ не зналъ за человѣка серьезнаго... Пожалуйста, извините! Какъ вы это сказали «еще успѣю!..»

— А что?

Хотя это было сказано очень равнодушно, но Верховской казался не въ духѣ. Лѣсичеву хотѣлось пошутить и шутка вдругъ показалась неловка. Онъ перемѣнилъ тонъ.

— Такъ вы пишете вашей женѣ... Давно вы женаты, Андрей Васильевичъ?

— Почти двѣнадцать лѣтъ.

— Стало быть, вы были очень молоды, когда...

Лѣсичевъ замялся.

— Договаривайте, вскричалъ Верховской, расхохотавшись, конечно не отъ веселья, какъ принялъ это гость: — договаривайте, вѣдь я вижу, что у васъ на умѣ! Ну, да, я прямо съ школьной скамейки сѣлъ на цѣпь. Вамъ это хотѣлось спросить?

— Да. Но не такъ рѣшительно, отвѣчалъ Лѣсичевъ, ужъ улыбаясь.

— Почему же нѣтъ? Такой простой вопросъ.

— Да, простой, для кого женитьба не цѣпь.

— Разумѣется.

Лѣсичевъ задумался, немного помолчалъ и вдругъ спросилъ, будто рѣшаясь:

— Вы были, должно быть, очень сильно влюблены?

— Должно быть, повторилъ Верховской.

— Извините... Мнѣ необходимо это знать.

— Я тоже имѣю право спросить, на что? ради любознательности?

— Нѣтъ, отвѣчалъ серьезно Лѣсичевъ.— Нѣтъ, повторилъ онъ, вставъ, прохаживаясь, задумываясь и слегка улыбаясь: — нѣтъ; для меня это очень важно.

Онъ ждалъ, что его спросятъ почему, но Верховской не спросилъ; ему стало скучно.

— Вотъ, что, продолжалъ Лѣсичевъ, впадая въ настроеніе, свойственное людямъ мало думающимъ, когда имъ вдругъ кажется умѣстно и душевно необходимо болтать о своихъ чувствахъ—истинныхъ или воображаемыхъ, все равно, но занимающихъ, потому что случаются они рѣдко.— Вотъ, что, Андрей Васильевичъ,—я сбираюсь жениться! Le grand mot est dit.

— Въ добрый часъ, отвѣчалъ Верховской, глядя въ окно.

— Нѣтъ, право? Скажите не шутя.

— Да не шутя, повторилъ Верховской, которому стало какъ-то свѣтски совѣстно своей невнимательности.— Извините, я васъ мало знаю; что-жъ я могу сказать другого? Если вы любите...

— Я не влюбленъ.

— Въ такомъ случаѣ...

— Видите, что... Она... эта особа хороша собою, а здѣсь, въ N* я одинъ это нахожу. Марья Васильевна Волкарева къ этому привязалась и хлопочетъ... Вы, я думаю, имѣли время разсмотрѣть Марью Васильевну. Ея страсть устроивать что нибудь или кого нибудь. Она непокойна, если кругомъ ея кто нибудь покоенъ; у служащихъ должны быть къ ней просьбы, у неслужащихъ—«исторіи»; у женатыхъ—драмы, у неженатыхъ — сердечныя тайны. Ну, признаюсь вамъ,—продолжалъ онъ, примѣтивъ невольную улыбку Верховского и оживляясь: — я больше изъ того и сталъ расхваливать красоту mademoiselle... этой молодой особы, чтобъ Марья Васильевна перестала воображать меня своимъ обожателемъ. Она еще долго принимала все это за dépit amoureux, покуда убѣдилась...

— Что васъ надо женить и потомъ вообразить у васъ семейную драму? прервалъ, смѣясь, Верховской.

— Очень возможно! отвѣчалъ, смѣясь, Лѣсичевъ.—Ну-съ, что же мнѣ дѣлать?

— Почему-жъ я знаю? Вы говорите, что эта дѣвушка хороша собою...

— Да, интересна. Признаюсь, я преувеличивалъ мое восхищеніе, но... хороша. Немножко грубо хороша, но не подумайте, чтобъ какъ нибудь вульгарно... Это трудно объяснить. Свѣтской граціи не ищите... а между тѣмъ, граціозна, совсѣмъ особенно... Нѣтъ, она, точно, мнѣ нравится.

— Ну, что-жъ, въ добрый часъ; вы влюблены.

— Нѣтъ. Я втянулся.

Верховской слушалъ, полу-скучая, полу-занимаясь, эту болтовню, незатрогивающую сердца и наполняющую время. Ощущеніе привычное. Покуда оно заглушало собственное тяжелое чувство. Верховской закурилъ и протянулъ сигары гостю.

— Скажите мнѣ, Андрей Васильевичъ, продолжалъ Лѣсичевъ, усаживаясь покойно: — позвольте спрашивать откровенно...

женясь такъ рано, вы не раскаивались? вы не жалѣли о вашей свободѣ?

— Почему?

— Вы ни въ кого не были влюблены?.. Извините!

— Ни прежде, ни послѣ женитьбы.

— Вы счастливецъ!.. Въ самомъ дѣлѣ, вы не можете подать совѣта. Вы сразу устроили себѣ жизнь. Я.. Мнѣ двадцать-семь лѣтъ. Я пожилъ. У меня требованія, образъ мыслей... Все это что нибудь да значитъ! не легко разстаться.

— Но вы сколько нибудь знаете образъ мыслей этой дѣвушки?

— Кто ихъ узнаетъ!.. Впрочемъ, пожалуй, немного знаю.

Онъ задумался; Верховской задумался тоже.

— Вы нынче гуляли рано утромъ? вдругъ спросилъ Лѣсичевъ.

— Да. Вамъ сказали?

— Марья Васильевна.

Лѣсичевъ засмѣялся.

— Да, я встрѣтилъ какую-то даму. Это она?

— Она ѣздила на дачу, гдѣ предполагается балъ. Офицерскій, что вчера придумали. Она хозяйкой, такъ ѣздила осматривать залу и прочее; кстати, пьетъ воды, — для прогулки.

— Но ночью можно голову сломать на этой дорогѣ.

— Есть другая, широкая; ее къ балу чинятъ, равняютъ. Теперь народу довольно, рекруты; дѣлать имъ нечего... Вы будете?

— На балѣ? Я ни съ кѣмъ не знакомъ изъ военныхъ.

— Но кто же,—никто незнакомъ. И я незнакомъ. Сегодня, у Марьи Васильевны встрѣтилъ двоихъ, такъ говорилъ съ ними.

— Сегодня? развѣ ужъ такъ поздно?

— Нынѣшній день начался рано, отвѣчалъ наставительно Лѣсичевъ.—Воротясь съ рекогносцировки, моя непосредственная начальница вытребовала къ себѣ черезъ полковника отрядъ пѣхоты для распоряженій о балѣ, но видя, что пѣхота ничего не понимаетъ, послала за мной. Я, сколько могъ, позабавился. Придумали разныхъ затѣй и поручили этимъ господамъ доставать и устроивать. Славный балъ будетъ, увидите.

— Полагаю, что не увижу, отвѣчалъ лѣниво Верховской.

— Вы обидите, возразилъ Лѣсичевъ, уговаривая, будто его самого обидѣли.

— Сохрани Богъ: вовсе этого не желаю.

— Такъ что-жъ за причина? Приглашаютъ не военные, а Марья Васильевна... Знаете, не хорошо... это объяснятъ, что вы хотите оригинальничать, отчуждаться отъ общества...

— Разберемте логически, прервалъ Верховской, смѣясь его озабоченному тону: — мы не можемъ отчуждаться отъ того, къ чему не принадлежимъ; а такъ какъ я самъ такой же проѣзжій, какъ эти военные...

—Только не проговоритесь, не скажите этого при Марьѣ Васильевнѣ! вскричалъ, захохотавъ, Лѣсичевъ: — она васъ пойметъ на словѣ! Перелетныя птицы, — она ужъ такъ окрестила военныхъ,—даютъ въ складчину праздникъ всему городу; вы, милліонеръ, должны будете сдѣлать вечеръ для избранныхъ.

— Это было бы, въ самомъ дѣлѣ, забавно, сказалъ Верховской, невольно взглянувъ на конвертъ съ письмомъ жены и вторя смѣху гостя. — Спасибо, что предупредили. Нѣтъ, я скупъ на эти вещи.

— Право?

— Да. Что мнѣ въ вечерахъ? я не играю въ карты и не танцую.

— А какъ же, въ Петербургѣ?

— И въ Петербургѣ.

— Давно не танцуете?

— Лѣтъ десять.

— Помилуйте, но вѣдь это почти съ тѣхъ поръ какъ женаты?

— Да почти. У меня тогда умерла мать. Я годъ не бывалъ нигдѣ, а потомъ, хоть и сталъ ѣздить, но плясать уже не началъ.

— А ваша жена?

— Она даетъ вечера и танцуетъ.

— Хороша собою ваша жена?

— Нѣтъ.

— Знаете, Андрей Васильевичъ,—у насъ преоригинальный разговоръ?

— Что же особеннаго?

— Помилуйте! но развѣ можно, какъ я сейчасъ...

— Что-жъ такого? вопросъ натуральный, отвѣтъ безпристрастный.

— Ну, такъ я скажу еще прямѣе: ваша жена должна быть прелесть и я съ ума отъ нея сойду!

Верховской засмѣялся.

— Ну, вотъ, ну, вотъ, продолжалъ Лѣсичевъ: — такъ можетъ смѣяться только счастливецъ, увѣренный въ себѣ! Вы, просто, дразните! Дурна, — а онъ двѣнадцать лѣтъ блаженствуетъ! Нѣтъ, предупреждаю, лучше не показывайте мнѣ вашей жены!

Въ дверь постучали. Лѣсичеву доложили, что ея превосходительство требуетъ его къ

себѣ, что его искали по всему городу, — и такъ далѣе.

— Служба! сказалъ онъ. — Прощайте, до свиданья.

— «Двѣнадцать лѣтъ блаженствуетъ...» проговорилъ Верховской, когда онъ затворилъ двери. — Двѣнадцать лѣтъ ломать эту комедію передъ всякимъ встрѣчнымъ...

Въ этотъ день на N-скихъ улицахъ было много ѣзды и много офицеровъ. Тотъ, кого заинтересовалъ бы этотъ стукъ колесъ и эти новыя лица, скоро замѣтилъ бы, что простые обыватели города, совершивъ обычные походы кто въ должность, кто на рынокъ, попрежнему мирно остаются въ своихъ домахъ, а разъѣзжаютъ одни господа и дамы въ каретахъ, и больше всѣхъ губернаторша; что офицеры встрѣчаются больше въ лавкахъ, гдѣ купцы пользуются случаемъ продать, какъ можно дороже, бальныя перчатки и эполеты, которымъ въ лѣтнее время и въ войну не предвидится сбыта. Общество тоже радовалось, что затѣяло себѣ маленькое волненіе, занятіе, хоть на нѣсколько дней. Общество жило праздниками, оттого они въ то время и были такъ часты. Можетъ быть, рѣдкіе праздники нынѣшняго времени и изящнѣе, и стоятъ дороже, но они никогда не бываютъ такъ сложны, такъ разнообразны и не стоютъ такихъ хлопотъ. Тогда самыя хлопоты объ устройствѣ веселья были уже весельемъ, тѣмъ, что занимали время, задавали работу воображенію, волновали. Праздники оставляли по себѣ желаніе еще прожить хоть нѣсколько дней въ такомъ же возбужденіи, оживленіи, и «жажда наслажденій» становилась, въ самомъ дѣлѣ, «бездонной жаждой». Воспѣвая ее, добрые люди не преувеличивали, они, въ самомъ дѣлѣ, ее ощущали, только не разбирали ни ея причины, ни смысла...

Верховской видѣлъ изъ своего окна проѣзжавшіе экипажи, слышалъ шумъ и говоръ въ сосѣднихъ комнатахъ, скучалъ, не зналъ что дѣлать; заглянулъ въ книгу и бросилъ; не заглядывая, бросилъ въ шкатулку и заперъ на ключъ письмо жены и свое начатое; попробовалъ заснуть, объясняя скуку усталостью, и не заснулъ; сошелъ обѣдать въ общую залу, разговорился съ офицерами, которые тоже пришли обѣдать; получилъ отъ нихъ свѣдѣнія, что они стояли зиму въ губернскомъ городѣ, танцовали и было много «хорошенькихъ». За столомъ были еще разные N-скіе господа; они вмѣшались въ разговоръ по поводу «хорошенькихъ», начались пустяки, шутки, затѣялась попойка. Верховской ушелъ и, не зная какъ дотянуть день до конца, отправился вечеромъ къ m-me Волкаревой.

На самое первое знакомство, она жаловалась Верховскому, что ежедневный пріемъ гостей ее утомляетъ, но все-таки принимала и звала къ себѣ всякій вечеръ.

По залѣ прохаживались три дѣвицы, сопровождаемыя однимъ молодымъ человѣкомъ, которому m-me Волкарева разъ навсегда вмѣнила въ обязанность занимать дѣвицъ. Большая комната была освѣщена полѣтнему, двумя лампами на концахъ, гуляющія фигуры исчезли бы въ ней совсѣмъ, еслибъ не черный фракъ спутника и стукъ шаговъ въ пустотѣ. Въ гостиной играли въ карты. Хозяйки не было. Ея голосъ громко раздавался изъ другой комнаты «пріюта», гдѣ она сбирала своихъ интимныхъ. M-me Волкарева съ большимъ жаромъ что-то разсказывала, или произносила рѣчь, и вдругъ прервалась, увидя Верховского.

— Ah, c'est vous! сказала она, подавъ ему руку и слегка приподнимаясь съ диванчика, на который опять опустилась. — Вы очень кстати.

Ея голосъ постепенно ослабѣвалъ и во всей ея особѣ выразилось утомленіе. M-me Волкарева была бѣлокурая, маленькая, худенькая женщина и часто говорила, что въ женщинѣ слабость — есть сила. Потому, въ настоящую минуту, она сконфузилась, что Верховской засталъ ее такою одушевленною,—тѣмъ болѣе, что и кружокъ былъ изъ самыхъ безцвѣтныхъ: двѣ почтенныя матери гуляющихъ дѣвицъ, по долгу службы мужей явившіяся на вечеръ къ губернаторшѣ; два безмолвные офицера; господинъ довольно пожилого и скучнаго вида и Лѣсичевъ, безцеремонно утонувшій въ креслѣ, изъ котораго поднялся на встрѣчу Верховскому.

— Ея превосходительство изволили распекать насъ, сказалъ онъ: — вотъ бы вамъ послушать!

— Ахъ, вѣчно шутки! возразила она съ томнымъ нетерпѣніемъ: — шутки тамъ, гдѣ нужно сочувствіе!.. Вы меня поймете, m-r Верховской...

Она указала ему мѣсто подлѣ себя.

— Я доказываю, что мы недѣятельны, что мы тратимъ нашу жизнь напрасно...

Лѣсичевъ направился къ двери.

— Что нашимъ провинціямъ грозитъ застой. Я говорила... M-r Лѣсичевъ, будьте

такъ добры, узнайте, кончилъ ли, наконецъ, m-r Өедоровъ свой докладъ у моего мужа. Скажите, что его здѣсь ждутъ для партіи... Онъ очень неаккуратенъ, Өедоровъ.

— Вотъ и онъ, сказалъ Лѣсичевъ, сторонясь передъ входящимъ скромнымъ чиновникомъ въ форменномъ фракѣ.

Этотъ молодой человѣкъ казался еще весь подъ впечатлѣніемъ своего доклада и, не опомнясь, переходилъ отъ службы начальника на службу начальницы. M-me Волкарева пригласила дамъ и пожилого господина къ карточному столу, который ждалъ ихъ въ гостиной.

— Вы здѣсь, значитъ, я могу спастись домой, сказалъ между тѣмъ Лѣсичевъ Верховскому:— прощайте, покуда она...

Но m-me Волкарева воротилась прежде, нежели онъ успѣлъ договорить.

— M-r Верховской, будьте судьею... Но прежде, дайте пожаловаться: какъ я устала! Съ утра... Pardon! вы не знакомы?

Она представила Верховскому офицеровъ.

— Я говорю: это мои адъютанты. Сколько сегодня намъ было вмѣстѣ хлопотъ!

— Лишь бы вышло удачно, отвѣчалъ одинъ.

— Ахъ, да! Дай Богъ! Мнѣ бы отъ души этого хотѣлось. Я принимаю такое участіе... Мнѣ бы хотѣлось, чтобъ вашъ праздникъ остался здѣсь въ памяти надолго, навѣчно, чтобъ и мою память соединили съ вашею...

— У насъ въ памяти всегда останется ваше вниманіе, отвѣчалъ офицеръ.

— Да, будете помнить капризницу! отвѣчала она, будто заглушая шуткою чувство, и обратилась къ Верховскому.—Вы вообразите, я капризничаю, требую того, другого. Эти господа не знаютъ, какъ мнѣ угодить. Я хочу, чтобъ ихъ праздникъ имѣлъ свой колоритъ. Вы меня понимаете. Такое время... Напримѣръ, я придумала... я вспомнила, на балѣ, въ корпусѣ, гдѣ воспитывались мои братья, однажды была убрана зала... эти...

— Штыки, подсказалъ офицеръ.

— Да, въ узоръ, на стѣнахъ, и тамъ свѣчи. У меня нашелся художникъ, сдѣлалъ рисунокъ... я вѣдь здѣсь покровительствую и искусствамъ, всему, m-r Верховской! (Она засмѣялась). Et puis, l'idée est charmante: оружіе въ цвѣтахъ—предвѣстіе славы... А вы, господа, еще со мною спорили, что это хлопотливо и затруднительно... Вотъ, m-r Верховской, это прямо возвращаетъ къ тому, что я хотѣла сказать, повторить, потому что они слышали: все дѣло въ доброй волѣ, въ одушевленіи. Здѣсь такая скука, такая апатія. Надо разбудить это сонное царство, заставить ихъ двигаться, дать имъ понять... Ахъ, у меня еще идея! я вамъ сообщу, господа... Лѣсичевъ, не забудьте же сказать m-r Майцеву, что о праздникѣ должна быть статья въ нашу газету. И мнѣ отдѣльный листокъ; я пошлю въ Москву... Я хочу этого, m-r Верховской, надо, чтобъ всѣ знали. Въ нынѣшнее время мы должны веселиться; впереди насъ слава; мы должны подавать примѣръ народу... А я, я считаю моей обязанностью объяснить это обществу, одушевить его, дѣйствовать; я на службѣ обществу, какъ мой мужъ, и сколько есть у меня энергіи...

Лѣсичевъ незамѣтно скрылся, а за нимъ и офицеры. M-me Волкарева, увлекаясь, высказывала Верховскому, какъ тяжела жизнь среди холоднаго общества, которымъ нужно руководить, которое нужно заставлять жить насильно...

— Какъ много нужно энергіи! И энергія убиваетъ насъ, женщинъ; она жжетъ насъ внутреннимъ, медленнымъ огнемъ... Еслибъ судьба хоть изрѣдка посылала людей способныхъ понимать насъ...

Она еще говорила, когда изъ-за портьеры сосѣдней комнаты явился ея мужъ, разстроенный, съ письмомъ въ рукахъ. M-me Волкарева прервалась на полусловѣ.

— Что съ тобой? Почта? Газеты? Непріятель?

— Ахъ, матушка, какія газеты, какой непріятель, ничего не знаю... Какъ я радъ, что вы здѣсь, дорогой Андрей Васильевичъ. Право, когда встрѣтишь своего человѣка...

Онъ потрясъ ему руку.

— Вообразите... Мнѣ пишетъ мой родственникъ, князь Петръ Александровичъ... Mais, c'est une horreur ce que nous avons ici, ce Багрянскій! Дѣло, лично меня касающееся...

— Ah c'est un homme cruel! сказала m-me Волкарева, закрывая глаза.—Его несчастный сынъ... Еслибъ я могла вырвать хоть дочь...

— Ну, матушка, это ваши дѣла, но онъ мнѣ врагъ! Mais c'est à la vie ou à la mort entre nous maintenant! Je vous conterai cela...

Прослушавъ цѣлый часъ сѣтованія жены, Верховской столько же времени выслушивалъ служебныя откровенности мужа. Уходя домой, онъ не зналъ, что больше его отуманило.

На другой день, адъютанты m-me Волкаревой сдѣлали ему визитъ. Онъ отдалъ его

черезъ часъ, столько же изъ учтивости, сколько отъ нечего дѣлать. Нѣкоторые N-скіе господа, навѣстившіе его тоже отъ нечего дѣлать, удивлялись такой «утонченной свѣтскости» и разсказывали о ней. Прибѣжалъ Лѣсичевъ съ запиской отъ m-me Волкаревой; она благодарила за вниманіе къ людямъ, въ которыхъ принимала участіе, и выражала увѣренность, что Верховской раздѣлитъ праздникъ, который, кто знаетъ! для многихъ можетъ быть послѣднимъ...

— А вѣдь добрѣйшая! писала, плакала,— сказалъ Лѣсичевъ, покуда Верховской читалъ записку.—Я хотѣлъ бы ѣхать туда съ вами вмѣстѣ, Андрей Васильевичъ, но по долгу службы, мнѣ придется забраться туда спозаранку.

— А я, конечно, какъ можно позднѣе, сказалъ Верховской.

Онъ не подозрѣвалъ, что его просто равнодушный отвѣтъ будетъ принятъ за интересничанье и важничанье столичнаго господина. Лѣсичевъ улыбнулся въ душѣ, вздохнувъ объ огромныхъ средствахъ, которыя, по мнѣнію многихъ, даютъ право на такія замашки.

— А что, Андрей Васильевичъ, спросилъ онъ:—скоро вы здѣсь совсѣмъ поселитесь?

— Я думаю, никогда, отвѣчалъ Верховской.

— Такъ вы не покупаете Спасскаго?

— Нѣтъ. Невыгодно.

— Вы разсчетливы... Да, надо васъ предупредить. Хоть вы и не играете въ карты, а на балъ запасайтесь деньгами: подписка будетъ.

— Какая подписка?

— Такъ... Изобрѣла Марья Васильевна для оживленія праздника.

Этотъ праздникъ и все, что о немъ толковалось, одолѣвали Верховского. Онъ заперся въ своемъ номерѣ, не вышелъ даже вечеромъ вздохнуть воздухомъ, чтобъ не встрѣтить кого нибудь изъ знакомыхъ, и читалъ «Поиски Франклина», пока зарябило въ глазахъ.

II.

Наступилъ и день праздника. Къ вечеру въ N* много думали и говорили о природѣ, выражая опасенія, чтобъ одно изъ ея самыхъ обыкновенныхъ, но не всѣми любимыхъ явленій не разстроило предстоящаго удовольствія. На западѣ лежала туча. Общество не могло оставаться равнодушнымъ въ виду неудобства поѣздки за городъ, ночью, опасности испортить наряды, сломать экипажъ. Верховской, сидя дома и отворивъ оба окна, какъ школьникъ лукаво желалъ грозы. Онъ съ утра предсказалъ ее m-me Волкаревой, встрѣтясь случайно, болтая отъ нечего-дѣлать; m-me Волкарева встревожилась отъ предсказанія не въ шутку, Верховскому было пріятно подразнить. Глядя въ окно, онъ воображалъ, какъ она волнуется, какъ благочестивыя маменьки зажигаютъ лампады и запираютъ ставни, какъ дочки молятся и наряжаются...

— Господи Боже, вздоръ какой! подумалъ онъ, протирая глаза, уставшіе смотрѣть на свѣтъ.—Я-то изъ чего хлопочу? Веселятся, такъ веселятся.

Онъ вздумалъ спросить себя, какого бы веселья ему хотѣлось, сейчасъ.

Вотъ, сейчасъ, чудо, волшебство, и ему дается все, чего онъ пожелаетъ...

— Да, кажется, что ничего, рѣшилъ онъ.— Люди обыкновенно, при подобномъ предположеніи желаютъ денегъ. Ну, чтобъ ужъ не ошибиться въ смѣтѣ—милліонъ, круглымъ счетомъ. А потомъ... Потомъ бѣжать, бѣжать какъ можно дальше, бѣжать на край свѣта. А тамъ что!? Да милліонъ ли нужно? Не попросить ли чего другого? Не попросить ли себѣ другую душу?.. Какую?.. Молитвами святыхъ N-скихъ женъ и дѣвъ тучка идетъ мимо. А жаль...

Подъ окномъ сверкнули фонари и раздался стукъ кареты. Верховской узналъ экипажъ губернаторши; она ѣхала заранѣе занять свой постъ.

— Часа полтора еще можно выспаться, сказалъ онъ, ложась на диванъ.

Онъ проспалъ дольше. Было за полночь, когда онъ подъѣхалъ къ дачѣ. Ночь была тихая, влажная, перепалъ дождикъ. Извозчикъ замѣтилъ, спускаясь съ горы, что косогоръ исправно выровняли. На плотинѣ горѣли плошки; въ прудѣ колыхались облака и тянулись отраженія огней; слышалась музыка; галерея, гдѣ танцовали, свѣтилась издали какъ фонарь въ черной массѣ деревьевъ.

Верховской вошелъ. Хотя онъ видалъ и много праздниковъ, но роскошь этого могла остановить вниманіе. Длинная галерея въ два ряда оконъ была вся убрана оранжерейною зеленью; померанцы, розы, гераніи, гіацинты; огромныя люстры, всѣ простѣнки въ огняхъ. Распорядительницѣ удалось, какъ она желала, «придать и колоритъ» своему празднику: сотни штыковъ сверкали звѣ-

здами и полукругами по стѣнамъ; на окнахъ симметрично были сложены каски и торчали шпаги; въ глубинѣ возвышались пирамиды изъ барабановъ, передъ бесѣдкой, гдѣ было кресло хозяйки.

Ея тамъ не было, когда вошелъ Верховской; она танцовала. Зала была полна кружащихся паръ. Музыка была великолѣпная; она играла одинъ изъ тѣхъ вальсовъ-поэмъ Ланнера или старика Штрауса, которымъ бы, казалось, мѣсто среди круженія сильфидъ и духовъ, а не нашихъ дамъ и господъ. Верховскому бросилось въ глаза, что кружились все больше черные фраки. Эполеты и красные воротники, неподвижные, составляли будто часть убранства залы.

— Ah, vous voilà! Неправда ли, какъ одушевлено? воскликнула m-me Волкарева, долетѣвъ до него и оставляя своего кавалера.—Merci... Какъ вы поздно! Какъ вы находите? La glace est enfin rompue—они сближаются... Я сейчасъ говорила о васъ...

Ее подошелъ звать на вальсъ маленькій прапорщикъ.

— Avec plaisir, mon enfant, но подождите, я устала. Не стѣсняйтесь; вы можете и не стоять подлѣ меня, только не зовите другой дамы... Vous avez manqué un beau moment, m-r Верховской. Была маленькая гроза... ахъ, да, вы выиграли ваше пари...

— Я не держалъ никакого.

— О, не представляйтесь великодушнымъ... Но здѣсь это произвело эфектъ удивительный... Пожалуйста, не шутите; я вижу, у васъ готова шутка... Нѣтъ, это было прелестно, такъ кстати: ужъ всѣ собрались, полькировали, вдругъ—ударъ грома. Вообразите общее смятеніе. Музыка остановилась. Мой мужъ... онъ одинъ не потерялся; онъ еще не садился за карты; онъ сдѣлалъ знакъ музыкантамъ играть «Боже царя храни». Вообразите торжественность этой минуты. Всѣ замолкли, неподвижны, растроганы... воспоминія, надежды, слава... вы понимаете, цѣлая толпа чувствъ... Къ счастью, былъ только одинъ ударъ; потомъ, опять, полька. Я такъ довольна, что это случилось. Вотъ почему, вы видите, я такъ оживлена; это со мной рѣдко бываетъ...

Маленькій прапорщикъ отважился подойти опять.

— Я еще отдыхаю, сказала ему издали m-me Волкарева, примѣтивъ его движеніе.— Право, m-r Верховской, вы смѣетесь, что у меня такъ много заботъ.

— Извините, я не замѣчаю особенной заботы.

— А, такъ я замѣчаю, что съ вами что-то особенное. Признайтесь.

— Мнѣ признаваться не въ чемъ.

— О, нѣтъ, у васъ тоже что нибудь прошло по душѣ. Кто знаетъ, какая нибудь тѣнь... вѣдь и у счастливыхъ бываютъ тѣни, неопредѣленныя, смутныя желанія чего-то большого... Ah, ce petit m'obsède! прошептала она, завидя опять прапорщика, который тосковалъ, не танцуя.

— Вы ему обѣщали и приказали ждать.

— Ахъ, какъ вы строги! я это запомню, сказала она, вставая.—Надо его удовлетворить. Я сегодня жертвую собой: сказала, что танцую со всѣми безъ исключеній; la grande armée этимъ пользуется. А это—вы узнаете? маленькій пѣвецъ. Ахъ, но въ самомъ дѣлѣ... Богъ знаетъ гдѣ вы,—ничего не помните. Я разъясню это, подождите.

Она сдѣлала знакъ прапорщику.

— Но только одинъ туръ до этого мѣста.

Верховской пошелъ къ знакомымъ, поговорилъ съ военными, обошелъ залу, смотрѣлъ балъ. Наряды были красивы, даже изящны; много хорошенькихъ, оживленныхъ лицъ, откровенно веселыхъ, свѣжихъ безъ прикрасъ, что встрѣчается только въ провинціи. Тутъ былъ весь городъ. М-me Волкарева, разсылая приглашенія, не ограничилась однимъ кружкомъ своихъ избранныхъ. Тутъ было и то, что она называла le demi-monde, то есть, семейства чиновниковъ и другихъ незначительныхъ или небогатыхъ людей. Съ этими дамами больше и танцовали армейцы. Это общество, совершенно незнакомое Верховскому, показалось ему очень оживлено и занимательно своей оригинальностью. Тамъ отличался господинъ Духановъ. Маленькій дѣлецъ былъ весь въ обновкахъ, завитъ, раздушенъ, распомаженъ, раскраснѣлся отъ непривычнаго движенія и усилій казаться свѣтскимъ человѣкомъ, полькировалъ, не оставляя своей шляпы, изъ которой висѣлъ кончикъ фуляра, бросалъ украдкой безпокойные взгляды на свои перчатки и, удостовѣрясь въ ихъ цѣлости, оглядывался кругомъ съ сознаніемъ своего превосходства. Онъ тоже съ нѣкоторымъ снисходительнымъ пренебреженіемъ относился къ военнымъ, но отваживался дѣлать это до чина поручика; выше—онъ былъ уже любезенъ, предупредителенъ, подводилъ къ дамамъ, знакомилъ, шутилъ, ободрительно смѣялся, раскачиваясь и откидывая назадъ головку; онъ былъ какъ дома и покровительно, хозяйски-нецеремонно похлопывалъ по плечу молодыхъ прапорщиковъ. Верхов-

ской даже остановился полюбоваться на него, подумавъ, что m-me Волкарева будетъ довольна такой дѣятельностью и назоветъ Духанова une grande utilité, своимъ помощникомъ въ великомъ дѣлѣ пробужденія общества... Вотъ, было бы несравненно, еслибъ этотъ помощникъ позвалъ ее танцовать, благо она сегодня всѣмъ доступна...

«Высшій» кружокъ замѣтно отдалялся отъ чиновничьяго и даже танцовалъ отдѣльно, въ концѣ залы, у бесѣдки. Эта «аристократія» напоминала Петербургъ роскошью нарядовъ и нѣсколько принужденной неподвижностью. Здѣсь было скучнѣе, но Верховскому пришлось къ ней присоединиться: у него только тамъ были знакомые...

Пары опять становились въ кадриль. Верховской отошелъ и сѣлъ, ужъ порядочно усталый и отъ движенія, и отъ музыки, и отъ удовольствія, въ которомъ не участвовалъ. Въ глазахъ зарябило. Всѣ были заняты, онъ одинъ безъ дѣла. Конечно, это случалось не въ первый разъ, но — тѣмъ хуже. Ему стало завидно. Ему хотѣлось веселиться. Онъ вспомнилъ, что много пропустилъ веселья... ну, а жаловаться глупо, жалѣть—поздно... Почему же поздно? Почему не попробовать воспользоваться жизнью? Онъ сталъ слушать, что говорилось кругомъ, учиться, какъ люди дѣлаютъ себѣ веселье. Наука не мудреная: все пустыя слова... Но вѣдь эти люди живые; можетъ быть, эти слова, которыхъ такъ много говорится, полны смысла для тѣхъ, кому говорятся?.. Сколько хорошенькихъ женщинъ! какъ веселы, какъ игривы,—какъ съ ними весело...

— Но я завидую какъ мальчишка, подумалъ Верховской, впрочемъ, не имѣя силы осудить себя серьезно, а напротивъ, даже улыбаясь:—никто и ничто не мѣшаетъ мнѣ развернуться свѣтскимъ любезникомъ передъ любой хорошенькой женщиной, если у самого достанетъ охоты переливать изъ пустого въ порожнее... И кто знаетъ,—можно надѣяться на успѣхъ! о глупость!.. А резонерство, не еще ли глупѣе?.. Всѣ женщины одно и то же. Однимъ заблужденіемъ больше или меньше, однимъ счастьемъ больше или меньше... Однако, если меньше,—то почему же и не больше?..

— М-г Верховской! раздался близко него пріятный, свѣжій голосъ.

Онъ оглянулся. Передъ нимъ стояла молодая женщина, брюнетка съ яркими глазами, яркимъ румянцемъ, съ пышными плечами, вся въ цвѣтахъ, вся улыбающаяся,— m-me Горнова, жена одного изъ N-скихъ предсѣдателей палатъ. М-me Волкарева, вздыхая, говорила, что это отчаянная кокетка, но ради ея мужа нельзя не принимать ее. Верховской видалъ ее и прежде, но еще никогда она не казалась ему такъ хороша. Это было олицетворенное веселье. Кокетка не боялась сравненія, но еще вызывала его: она была подъ-руку съ дѣвушкой еще моложе и такой же хорошенькой, только, для контраста, выбрала блондинку.

— М-г Верховской, повторила она, наклоняясь къ нему и съ усмѣшкой глядя ему въ лицо:—кто задумывается, того спрашиваютъ: гдѣ вы?

— И тотъ всегда отвѣчаетъ: здѣсь! отвѣчалъ онъ.

— Да. Потому я и пришла спросить: очень ли мы кажемся забавны для серьезнаго наблюдателя?

— А самъ наблюдатель—очень забавенъ? спросилъ онъ.

— Отвѣтъ за вами! возразила она.

Онъ настаивалъ. Черезъ минуту, самъ не зная какъ это случилось, онъ перекидывался съ нею шутками, смѣхомъ, любезностями. Она, точно, была кокетлива, но въ мѣру, ровно сколько было нужно, чтобъ одушевить свою красоту; она увлекала въ разговоръ и свою подругу, и это было не пошлое женское коварство—блеснуть промахами другой женщины: она просто, съ добротой доставляла молодой дѣвушкѣ удовольствіе быть нѣсколько свободнѣе и мило высказаться; она не боялась соперничества и не требовала вниманія исключительно для одной себя. Она была остроумна и изящна; ея маленькія злости сверкали какъ тонкія иголки, но въ нихъ была своя граціозная мѣра снисходительности или ловкаго пренебреженія. Въ ея пустомъ, незначащемъ разговорѣ чувствовалась образованность. Она увлекала, очаровывала. Верховской не замѣтилъ, какъ прошла кадриль, началась другая: какъ молоденькую дѣвушку отозвала ея маменька, вѣроятно, находя, что бесѣда слишкомъ долга; какъ m-me Горнова отказала подходившему кавалеру. Верховской не обратилъ вниманія даже на m-me Волкареву, которая опустилась подлѣ него на стулъ, въ изящномъ утомленіи. М-me Горнова замѣтила это сосѣдство и стала какъ-то еще живѣе и милѣе. О чемъ говорилось, Верховской не пересказалъ бы самъ, еслибъ его спросили. Онъ жилъ забывшись, въ какомъ-то жаркомъ туманѣ; онъ въ первый разъ испытывалъ молодую тревогу чувствъ и разсудка, живую тревогу, извѣстную ему, тридцатилѣт-

нему, только по романамъ; онъ увлекался и граціозно скользящей рѣчью, и пышной красотой, которая была такъ близко.

— Vous opérez des miracles, сказала, не вытерпѣвъ, молодой женщинѣ m-me Волкарева.

— Чудеса? какія? спросила та, притворяясь, будто оторопѣла.

— Спросите m-r Верховскаго.

M-me Горнова обратила взглядъ на него.

— Виноватъ, сказалъ онъ:—я или слѣпъ, или ненаходчивъ...

— Да, вы виноваты, потому что неблагодарны, продолжала m-me Волкарева, колко и вмѣстѣ томно. — Такъ я вамъ объясню, chère madame Горновъ. Являясь сюда, m-r Верховской былъ мраченъ какъ грозовое небо, а вы съумѣли разсѣять его печаль...

— Очень жалѣю, если такъ случилось, прервала холодно m-me Горнова.—Печали можно оставлять дома.

— Но m-r Верховской оставилъ дома всѣ свои радости! продолжала нѣжно-лукаво m-me Волкарева.—Не правда ли, еслибъ ваша жена была на этомъ праздникѣ... Вы понимаете это, ma bonne, у васъ тоже есть мужъ, малютка...

M-me Горнова взглянула на Верховскаго какъ-то бѣгло, безъ всякаго выраженія, и встала. Недалеко стоялъ, задумавшись, красивый офицеръ; она подошла къ нему и заговорила.

— Мотылекъ! продолжала m-me Волкарева, слѣдя за нею глазами: — кто это? Да, Цѣховичъ! онъ ей представленъ... Рѣдкая способность у этой молодой женщины... Но онъ долженъ быть несчастенъ; кто знаетъ, сколько скрытаго... Ахъ, вы не вообразите, m-r Верховской, сколько мнѣ заботъ съ ними! Мнѣ представляли, право, весь полкъ. А теперь ихъ тамъ двойной комплектъ. Но этого мало. При полку нашлись дамы, офицерши... Mais, de grâce, n'éclatez pas de rire!.. Надо было знакомиться съ этими офицершами. Одна—молодая майорша; что только можете представить румянѣе и глупѣе; недавно сочеталась бракомъ: мужъ доставитъ ее по дорогѣ къ роднымъ. Другая — что-то въ родѣ штабсъ-капитанши, поручицы, сухая, скучная, — и не можетъ разстаться съ своимъ супругомъ, слѣдуетъ за нимъ въ обозѣ. Представьте, я имъ визитъ дѣлала! Надо же и ихъ на балъ. У майорши все разомъ поспѣло; посмотрите, вотъ она, въ пунцовомъ тарлатанѣ. Но другая, — надо было уламывать: не хочетъ на балъ, и только! Что-жъ бы это было, скажите? Что бы подумала обо мнѣ, о хозяйкѣ, когда это, можно сказать, ихъ балъ? Я умоляла. Отговорка—нѣтъ платья. Ахъ, Боже мой, сдѣлайте! Pas d'argent. Наконецъ, слава Богу, разрѣшилось тѣмъ, что нашлось у нея какое-то двуличневое, закрытое, длинные рукава. Я ужъ не стала спорить, послала ей свою куафюру. И ту... счастье, что я успѣла оправить на ней... M-r Верховской, вы не видали куафюръ, надѣтыхъ задомъ напередъ?

Она могла бы говорить сколько хотѣла. Верховской смотрѣлъ передъ собой и ничего не слышалъ. Съ той минуты, какъ ему бросили напоминаніе того, что онъ оставилъ дома; съ той минуты, какъ среди незнакомаго замелькало ужъ слишкомъ знакомое, какъ вмѣсто лица заманчивой молодой женщины померещилась ему Лидія Матвѣевна,—съ той минуты для него не стало ни бала, ничего кругомъ. Онъ только что вздохнулъ свободнѣе, только что въ первый разъ былъ молодъ; напомнили, кто онъ — и все живое отъ него сторонится. Точно вокругъ него что-то сдвинулось, затворилось, замкнулось, безъ выхода, безъ пространства, безъ воздуха; холодъ, отчужденіе, мракъ. Точно его посхимили, замуровали... мертвый, и ничего ему больше не нужно! Все другимъ — свѣтъ, веселье, любовь; имъ нужно, они живые, а ему, мертвому, на что эти блага? У него ужъ есть свое, лучшее, высшее, — цѣлый рай духовный, чувственный, всякій...

Только свѣтская привычка помогла ему удержаться отъ невольнаго, порывнаго движенія...

— Mais, qu'avez-vous donc? вскричала, наконецъ, прерываясь, m-me Волкарева: — Dieu, comme vous êtes pâle...

— Голова болитъ, отвѣчалъ онъ.

— Это отъ грозы. Воздухъ полонъ электричества. И во всѣхъ отношеніяхъ, notre horizon est gros d'orages. Вы принимаете все къ сердцу; для нервной натуры...

— А, чортъ тебя возьми; еще скажетъ—интересничаю... подумалъ онъ и всталъ.

— Вы уѣзжаете?

— Нѣтъ еще, отвѣчалъ онъ, чтобъ избавиться отъ уговоровъ остаться и зная, что она смотритъ ему вслѣдъ, не пошелъ прямо къ выходной двери...

Но онъ остановился, дойдя до этой двери; можно было уйти незамѣтно, а онъ остановился. Его смутило что-то странное. Ему было стыдно, — ложнымъ стыдомъ передъ са-

мимъ собою, стыдно своего чувства: ему было жаль оставить праздникъ, горько, какъ будто онъ все терялъ въ немъ, какъ будто, въ самомъ дѣлѣ, выйдя изъ этой залы, онъ хоронился за-живо... Странность, мелочность, ребячество, — но непобѣдимое. Одну минуту, ну, только одну минуту, чтобъ было хоть чѣмъ помянуть молодость...

— А, дорогой Андрей Васильевичъ!

Это былъ Волкаревъ.

— Неправда ли, une fête charmante? я оставилъ на минуту партію, взглянуть. Знаете, кто только зритель бала, тому лучше смотрѣть съ промежутками: физіономіи мѣняются. Но вы не простой зритель: on vous a vu aux pieds de la belle madame Горновъ. Вы не боитесь, что донесутъ на васъ, кому слѣдуетъ?

Верховской что-то отвѣчалъ и, должно быть, впопадъ, потому что игривый губернаторъ точно чему обрадовался, смѣялся, щебеталъ, каламбурилъ и отправился самъ въ дамскій кружокъ, въ ожиданіи, когда ему опять составится партія. Отойдя нѣсколько шаговъ, онъ вернулся и зашепталъ таинственно:

— Ma femme a eu une heureuse idée; надо же намъ какъ нибудь отблагодарить за этотъ праздникъ. Мы, тамъ, составили небольшую подписку... такъ, завтра угостить музыкантовъ нижнихъ чиновъ. Ce sera une attention. Такое время... Все-таки это наша сила, милый Андрей Васильевичъ, что ни говорите! Вы не застали, что тутъ произошло? Народный гимнъ! Des larmes, mon cher, des larmes dans tous ces beaux yeux!.. Вы подпишитесь? это тамъ, вамъ укажутъ... Pardon!

Онъ поспѣшилъ къ проходившей m-me Горновой.

— Должно быть, я въ самомъ дѣлѣ раздражаюсь отъ дурной погоды... подумалъ со злостью Верховской, выходя изъ залы въ другія комнаты.

Машинально, не останавливаясь, кланяясь издали знакомымъ, обмѣниваясь по слову со встрѣчными, онъ дошелъ до небольшой, прохладной, полутемной гостиной; музыка достигала туда уже слабо; тамъ была покойная мягкая мебель между зеленью и для дамъ приготовлены карточные столы. Но охотницъ играть не нашлось. У одного стола сидѣли дѣвушки, молодые люди, ѣли мороженое, чертили по столу вензеля мѣломъ, разговаривали, приходили и уходили. Свѣчей было не много; въ спущенныя оконныя драпировки мерцалъ разсвѣтъ. Верховской посмотрѣлъ на часы: было два. Ему не хотѣлось уходить и хотѣлось отдохнуть. Онъ присѣлъ на диванчикъ въ углу и тутъ же подумалъ, что останется недолго; уединяться смѣшно, не разыгрывать же глупую печальную фигуру: печали оставляются дома...

— А какое злое слово! подумалъ онъ вслѣдъ затѣмъ, какъ повторилъ его мысленно.—Въ шутку или не въ шутку,—а ничего другого сказать не умѣютъ. И въ томъ все веселье. Наука не мудреная. Вотъ, молодежь, эти тоже учатся или ужъ веселятся...

Онъ вслушивался въ разговоръ тупо, машинально. Этотъ говоръ шумѣлъ у него въ ушахъ какъ лихорадка.

— Какая пошлость! все то же! Неужели люди могутъ этимъ жить, довольствоваться, могутъ такъ тратиться?..

Онъ вспомнилъ, что полчаса назадъ также тратился, довольствовался той же ничтожностью, и мучился, негодовалъ, что она отнялась. Что же это? Неужели безобразная ломка цѣлой жизни отучила отъ способности чувствовать? Такъ ли ужъ все истлѣло въ душѣ, что нечему и вспыхнуть въ ней настоящимъ, жгучимъ, а не болотнымъ огнемъ? Теперь, отчего же такъ тяжело, чего же еще хочется?.. Это не тоска по ничтожности, нѣтъ. Въ нѣсколько минутъ эта ничтожность изведана до конца и ея больше не нужно. Нужно другое. Вѣдь бываетъ счастье. Молодость знаетъ его. Счастье положить всю душу въ одно желаніе, замирать, безумѣть отъ одного взгляда, отъ одного слова... Это не фантазія. Люди такъ жили и живутъ. Гдѣ и какъ они встрѣчаются? что говорятъ другъ другу? Какъ это бываетъ..

— Такъ васъ это не удивляетъ, mademoiselle Ольга? спрашивалъ молодой человѣкъ одну изъ дѣвушекъ

— Нисколько. Что-жъ удивительнаго? Вотъ Nadine говоритъ то же.

— Это только долгъ, прибавила другая.

— Вы не находите въ этомъ самопожертвованія?

— Ахъ, m-r Аницкій, какія громкія слова! вскричала дѣвица, ребячливо притворяясь испуганною.

— Это такъ просто, m-r Аницкій, такъ натурально...

— М-г Аницкій, это обязанность всякой женщины...

— Но если и «просто», и «натурально», и «обязанность», — почему же эта дама — единственный примѣръ...

— Кто и чему единственный примѣръ? спросилъ, подходя, Лѣсичевъ.

— Говоримъ объ этой госпожѣ, что идетъ за полкомъ.
— А, офицерша, la Dame-Raisin-sec...
— Ахъ, m-r Лѣсичевъ, вы злы! вскричала съ радостью Надина.
— Нѣтъ, возразила Ольга:—дѣло не въ томъ, qu'elle est ridicule, но въ ея поступкѣ нѣтъ самоотверженія.
— И я говорю, что нѣтъ, подтвердилъ Лѣсичевъ.
— Видите, видите, m-r Аницкій? Victoire!
— Погодите торжествовать, mesdames, прервалъ Лѣсичевъ:—тутъ кое-что побольше самоотверженія.
— Еще побольше? Это любопытно!
— Что-жъ такое?
— Любовь.
Дѣвицы на одну секунду замолкли, прилично сконфуженныя.
— Сознайтесь, что это рѣдкость! вскричалъ Аницкій:—и въ такомъ случаѣ и я соглашусь: это не самопожертвованіе. Гдѣ любовь, тамъ нѣтъ никакихъ жертвъ, тамъ все легко, все свободно, все отдается безъ оглядки...
— M-r Аницкій, je ne vous comprends pas, прервала съ достоинствомъ Ольга.
— Говорится о любви супружеской! пояснилъ Лѣсичевъ.
— А, въ такомъ случаѣ, я согласна...
— Согласны? прервалъ Лѣсичевъ:—согласны и признаете, что поступокъ рѣдкій, достойный удивленія, и что на такую любовь вы неспособны?
— Я, m-r Лѣсичевъ? вскричала она съ негодованіемъ.
— То есть, большинство женщинъ, подсказалъ Аницкій.
— Нѣтъ, вы, лично, собственно, вы! настаивалъ, забавляясь, Лѣсичевъ.
— Я не могу судить о томъ, что мнѣ неизвѣстно.
— Какъ нибудь, постарайтесь.
— Для того, чтобъ понять такія необыкновенныя чувства, нужно пользоваться обществомъ этихъ героинь...
— То есть, любящихъ женщинъ.
— C'est comme vous voulez...
— Нужно посмотрѣть, какъ онѣ любятъ, сказалъ Аницкій.
— Нѣтъ, не посмотрѣть, а поучиться любить! прибавилъ Лѣсичевъ.
— Oh, merci! вскричала, вспыхнувъ, Ольга:—я предоставляю это другимъ!
— Но если и другія также презрительно откажутся... сказалъ онъ, дѣлая смиренную мину и смѣясь.

— Можетъ быть и найдутся желающія, возразила Ольга.
— Спросите Catherine, вступилась Надина, желая намекнуть, уколоть, отмстить, или, просто, соскучась молчать.
— Ахъ, да, спросите mademoiselle Catherine! подтвердила разгнѣванная Ольга и колко засмѣялась.—Mademoiselle Catherine цѣлый вечеръ подъ руку съ madame Raisin-sec. Та, конечно, открыла ей всѣ свои чувства...
— Можетъ быть, онѣ даже размѣнялись откровенностями, прибавила Надина:—mademoiselle Catherine что-то очень много ей разсказывала, очень жарко...
— Вотъ бы, messieurs, теперь овладѣть откровенностью офицерши! сказала смѣясь, Ольга.
— Зачѣмъ? спросилъ Аницкій.
— Она — повѣренная m-lle Catherine. Впрочемъ, васъ, m-r Аницкій, это, можетъ быть, и не интересуетъ, но, вотъ, m-r Лѣсичевъ... Voyons, m-r Лѣсичевъ, руку на сердце,—что вы чувствуете?
— На что вамъ мои чувства? Вѣдь вы не хотите учиться любить, отвѣчалъ онъ спокойно.
— Ахъ, ахъ, что это? Une déclaration?
— Можете оставаться совершенно равнодушны: я не имѣю намѣренія васъ безпокоить.
— Ah, mais c'est impayable ce que vous dites-là, m-r Лѣсичевъ!..
— Нѣтъ, пора домой, сказалъ себѣ Верховской, еще не оставившій мѣста въ своемъ углу. — Не легче оттого, что позавидовать некому...
Вдругъ громко раздалась музыка; послѣ довольно долгаго промежутка и среди тишины, она даже заставила вздрогнуть...
— Ахъ, вальсъ! зашумѣли дѣвицы и разбѣжались.
Лѣсичевъ и Аницкій уходили тоже.
— Господа, позвольте, остановилъ ихъ чиновникъ Θедоровъ:—слава Богу, нашелъ васъ! Угодно подписаться?
Онъ вынималъ изъ кармана листъ бумаги.
— Знаемъ, батюшка, знаемъ, прервалъ Лѣсичевъ.—Увольте. Завтра, на дому.
— Что это? спросилъ Аницкій.
— Угощеніе военнымъ. До завтра, любезнѣйшій. И что за фарсъ—подписка! Вѣдь ужъ извѣстно — откупщикъ расплатится. И хоть бы какъ нибудь поразнообразили. Я предлагалъ, чтобъ этотъ пѣвунъ прапорщикъ взялъ свою каску, и обошелъ кругомъ залы: «Малютка, шлемъ нося...»

Одна изъ проходящихъ дѣвушекъ оглянулась. Лѣсничевъ тоже.

— До завтра, милѣйшій... Mademoiselle, un seul tour...

— Извините, я устала, отвѣчала она, идя къ столу, гдѣ m-lle Ольга осталась, предпочитая, вмѣсто вальса, еще завести споръ съ другимъ молодымъ человѣкомъ. Лѣсичевъ хотѣлъ было туда же, но увидѣлъ это общество и не пошелъ.

— По крайней мѣрѣ, позвольте напомнить: вы обѣщали мнѣ мазурку.

— Помню. До тѣхъ поръ еще далеко.

— Я потороплю.

Лѣсичевъ ушелъ въ залу. Эта встрѣча и разговоръ происходили въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Верховскаго. Онъ вспомнилъ, что Лѣсичевъ ему что-то говорилъ. Дѣвушка только промелькнула передъ нимъ. Ему показалось, что онъ гдѣ-то ее видѣлъ, но только не здѣсь, не въ N*; можетъ быть, въ Петербургѣ, но и тамъ не между знакомыми. Ему хотѣлось разсмотрѣть ее получше, но она, какъ нарочно, сѣла между огнемъ и голубымъ утреннимъ свѣтомъ, облокотилась на столъ и прикрыла глаза рукой отъ свѣчей. На ней было бѣлое платье и вѣнокъ изъ живого плюща. Голова казалась велика отъ необыкновеннаго множества черныхъ волосъ. Склонъ этой головы, кудрявый затылокъ, блѣдно-смуглыя плечи, стройность всего общаго очерка... Верховской все спрашивалъ себя, гдѣ онъ прежде это видѣлъ. Онъ не могъ отвести глазъ отъ локтя, отражавшагося въ полированный столъ. Она приняла руку отъ лица. Крупный и вмѣстѣ тонкій профиль, очерченный огнемъ, смѣлыя широкія брови, невысокій лобъ и надъ нимъ эти пышныя волосы... Вдругъ она взглянула прямо. Верховской поднялся на своемъ мѣстѣ.

— Почиваете, Catherine? спросила m-lle Ольга.

— Устала, повторила она:—почти сплю.

— Стало быть, и не слышите! Говорится о васъ, сказалъ молодой человѣкъ.

— Что такое?

— То есть, нѣсколько коснулось васъ, вступилась Ольга,—m-r Гадалинъ утверждаетъ, что удовольствіе можетъ наскучить, и потому надо брать его рѣже. Изъ этого... ужъ не знаю какъ вышло, но онъ сказалъ...

— Нѣтъ, это вы сказали, прервалъ молодой человѣкъ.

— Вы, я, c'est la même chose! Было сказано, что люди должны показываться въ свѣтъ рѣже, чтобъ не соскучиться...

— Но это выходитъ одно и то же! прервалъ опять Гадалинъ:—вы сбиваетесь.

— Ахъ, я не сбиваюсь... ну, не знаю; какъ же вы сказали?

— Нѣтъ,—вы сказали, что многіе являются въ общество рѣдко, изъ разсчета, чтобъ не наскучить своимъ присутствіемъ...

— Ахъ, нѣтъ...

— И предложили спросить, вотъ, mademoiselle...

— Ахъ, нѣтъ... Повѣрьте, Catherine, я не говорила такой злости!

— Какая же это злость? возразила спокойно Catherine:—Это правда.

— Ахъ, Catherine... Но, pardon! Это ужъ кокетство: вы разсчитываете не дать къ себѣ привыкнуть, разсчитываете всегда производить впечатлѣніе...

— Не знаю, какъ вы это объясняете. Я знаю, что со мной скучно, потому что мнѣ самой скучно.

— Ахъ, Catherine, что вы!

— Взаимное... договорила она, опять крѣпко зажимая руками глаза.—Однако, я смертельно спать хочу.

— Это замѣтно, сказала Ольга, съ усмѣшкой кивнувъ на нее молодому человѣку.— Вы, кажется, зѣваете, Dieu me pardonne! Какъ бы вамъ помочь, продолжала она, смѣясь:— m-r Гадалинъ постарался бы найти вашу карету...

— Меня привезла съ собой m-me Волкарева и безъ нея я уѣхать не могу.

— А она, конечно, уѣдетъ послѣдняя. Вотъ, люди не цѣнятъ того, что имъ дается! А моя мамаша какъ разъ захочетъ почивать и уѣдетъ отъ мазурки... Боже, пошли, чтобъ у Нины былъ кавалеръ, тогда мамаша останется! Не за себя, за сестру молюсь! Вы знаете, m-r Гадалинъ, моей сестрѣ Нинѣ никогда нѣтъ ни въ чемъ отказа; я одна такая несчастная... А вы счастливы, Catherine?

— Что?.. спросила та.

— Ah, ma chère, vous n'êtes plus de ce monde! А знаете, что на васъ навело такой сонъ? Вѣроятно, m-me Волкарева, какъ хозяйка, поручила вамъ, — вы все занимали эту полковую даму, а вѣдь это — странствующій сонъ... m-r Гадалинъ, le sommeil errant!

— На всемъ этомъ балѣ, она одна живой человѣкъ, сказала Catherine, вставая вдругъ, будто желая себя разбудить, и даже нѣсколько выпрямляясь.—Всѣ кружатся, веселятся, не знаютъ чему; несчастные эти военные на свои послѣднія деньги пляшутъ

передъ смертью; наши добрые люди у нихъ же угощаются и надъ ними же хохочутъ. Неужели думаютъ, что никто этого не понялъ и не обидѣлся?

— О, какъ вы это принимаете, Catherine! Право, не знаешь что сказать...

— Въ ихъ пользу тоже составляется подписка, замѣтилъ Гадалинъ: — какъ въ Петербургѣ...

— Да, прервала она, отходя:— слышала. Танцовали тамъ, въ пользу убитыхъ.

— Позвольте, Catherine, заговорила ей вслѣдъ Ольга, собравшись съ мыслями и дѣлая знаки своему поклоннику:—позвольте, но какъ же сами вы пріѣхали...

— Привезли меня, отвѣчала она, не оглядываясь.

Лѣсичевъ бѣжалъ ей на встрѣчу.

— Сейчасъ начинаютъ, сказалъ онъ.

— Хорошо, отвѣчала она и вышла.

— Кто это? спросилъ Верховской, останавливая Лѣсичева.

— А, вы здѣсь... Это? М-lle Багрянская, дочь предсѣдателя.

— Та, что вы мнѣ говорили?

— Я вамъ говорилъ?.. Ахъ, да! Она. Вамъ нравится?

— Хороша.

— Нѣтъ, право?.. Ну, творите же теплую молитву: сейчасъ, въ мазуркѣ, у насъ все рѣшится... Такъ хороша? За то, подойду и вамъ скажу въ тотъ же мигъ...

— Поздно. Я не дождусь, возразилъ Верховской.

— Да нельзя, въ залѣ заперли двери.

— Нѣтъ ли бокового выхода?

— Что вы? Ужинъ славный. Христолюбивое воинство всѣмъ радо стараться...

— Я спать хочу.

— Э, какой вы, право! Такъ идите, вотъ туда, вамъ укажутъ. Утромъ явлюсь къ вамъ съ докладомъ... Ай, начинаютъ!

Онъ убѣжалъ. Въ залѣ загремѣла веселая, страстная, грозная мазурка изъ «Жизни за царя». М-lle Ольга шла съ Гадалинымъ и не умолкала.

— Тоже чета влюбленныхъ... подумалъ Верховской, давая ей дорогу.

Черезъ пустыя комнаты, онъ достигъ выхода.

На дворѣ было ужъ свѣтло. Послѣ духоты и копоти какъ-то пріятно пробирала утренняя сырость; послѣ туманныхъ красныхъ огней, глазамъ было и больно, и хорошо отъ ровнаго, тихаго свѣта. День вставалъ великолѣпный. Мелкая трава на выгонѣ еще не поднялась, вся темная; блѣдныя, длинныя пряди ржи наклонялись тяжело, пышно, будто стеклянныя подъ тусклою росою; въ кустахъ что-то просыпалось, вѣтки вздрагивали; на розовомъ небѣ вспыхнула и исчезла крупная бѣлая звѣзда, и вслѣдъ затѣмъ вдругъ все заиграло и засвѣтилось; по землѣ побѣжали лучи, откуда-то взялись тѣни; городскія строенія забѣлѣли ярче, кресты заблестѣли.

Извозчикъ Верховскаго снялъ шляпу и перекрестился.

— Слава Тебѣ, Господи, никакъ заутреня. А что, баринъ, тамъ не скоро еще кончится?

— Нѣтъ еще, не скоро, отвѣчалъ Верховской,—а вы соскучились?

— Привыкли ужъ къ этому. Зимой труднѣе бываетъ; особенно, если когда дѣло есть свое,—и не справишься. Вотъ мнѣ, теперь, почти что домой и ѣхать не придется.

— А тебѣ куда домой?

— Въ слободу. Мы слободскіе, казенные.

— Развѣ есть въ городѣ дѣло?

— Да вотъ какое, баринъ...

Онъ повернулся на козлахъ и пустилъ лошадь шагомъ. Исторія была самая обыкновенная. Рекрутство. За ихъ семьей очередь, ихъ три брата, но одинъ недавно умеръ, другой пошелъ на заработки по билету и безъ вѣсти пропалъ, а у этого на рукахъ слѣпой отецъ, молодая жена, куча ребятъ, изъ которыхъ старшій пятилѣтній, да вдова брата тоже съ ребятами. Охотника за себя въ войну найти трудно, но и нанять не на что. Бѣдность; еще не поправились послѣ пожара, земли мало, повинности платятся съ четырехъ душъ, все имущество — пара лошадей, а работникъ — одинъ, и если онъ уйдетъ, семья пропала...

— Вамъ веселье, господамъ, а тутъ ночь передумаешь. Вотъ, что Господь дастъ. Велѣлъ онъ мнѣ нынче придти.

— Кто велѣлъ?

— Управляющій нашъ, Николай Степанычъ. Я у него ужъ былъ. Онъ велѣлъ себѣ просьбу подать, прописать все это, а сегодня приказалъ пораньше навѣдаться.

— Это Багрянскій, вашъ управляющій?

— Багрянскій.

— Говорятъ, онъ крутъ?

— Кто его знаетъ. До нашего брата — ничего. Денегъ, тоже, или чего другого, не беретъ. Экипажа своего не держитъ, пѣшкомъ ходитъ, а если въ дождикъ возьметъ пролетку, сейчасъ расплатится. Смѣется. Я, говоритъ, знаю, что вы, какъ нашего чинов-

ника завидите, такъ по лошади, и ускачете... Оно точно, потому что эти палатскіе наровятъ съ насъ, казенныхъ, хоть чѣмъ ни есть взять. А онъ провѣдаетъ—такъ-то ихъ катаетъ, Боже упаси!

Онъ засмѣялся съ добродушной злобой бѣдняка, который все-таки радуется торжеству своей стороны, хотя самъ, забитый, въ торжествѣ не участвуетъ.

— Гдѣ же это онъ катаетъ чиновниковъ, спросилъ Верховской:—неужели въ палатѣ?

— Гдѣ случится. Сказываютъ, и въ палатѣ. На дому у себя чаще.

— И что-жъ, не берутъ?

— Ну!

— Такъ онъ принимаетъ... то есть, сказывается дома когда нибудь? Я слышалъ, къ нему не попадешь, сказалъ Верховской.

— Всякій день кто хочетъ приходи утромъ, съ самой ранней обѣдни и до десяти часовъ, а тамъ онъ уйдетъ въ палату. Господа къ нему и не ѣздятъ, потому—рано.

— Гдѣ его квартира? спросилъ Верховской.

— У него свой домъ, вотъ, въ томъ переулкѣ. Нельзя сказать, небогато живетъ.

— Семья у него?

— Вдовый. Одна дочка.

— Послушай, сказалъ Верховской, сходя у подъѣзда гостиницы,— ты зайди сказать, чѣмъ рѣшится твое дѣло.

Онъ усталъ знакомой, свѣтской, апатичной усталостью, для которой нѣтъ облегченія и во снѣ. Вчерашнее грезится человѣку, и съ первой же минуты пробужденія живая память вчерашняго дня бросаетъ человѣка во все вчерашнее. А это все было отрывочныя получувства, полувпечатлѣнія, безпокоившія безъ сердечной заботы, занимавшія безъ сознанія. И осадокъ всего, это утренняя оглядка, такъ скучна, такъ противна, такъ туманитъ нравственно, разбиваетъ физически, что — одно средство, броситься, очертя голову, опять въ то же, чтобъ опять забыться до вечера...

— Это съ ума сойдешь! сказалъ громко Верховской, поднимаясь на постели. — Да хоть бы дворъ у меня сгорѣлъ, хоть бы въ рекруты меня отдавали, хоть бы любилъ я кого нибудь...

Онъ позвонилъ, спросилъ чаю, спросилъ одѣться, и, вдругъ, вспомнивъ, спросилъ, не пріѣзжалъ ли Лѣсичевъ.

— Еще слишкомъ рано... заявилъ лакей съ почтительнымъ недоумѣніемъ.

Верховской взглянулъ на часы: было только восемь. Какая-то тревога прогнала сонъ, какой-то стыдъ мѣшалъ постараться заснуть насильно. Добрые люди за дѣломъ. Багрянскій, тотъ даже, говорятъ, отъ раннихъ обѣдень. Вѣрно не былъ на балѣ. Какъ же его дочка выѣзжаетъ съ губернаторшей, когда губернаторъ клянетъ его на чемъ свѣтъ стоитъ? Чета эти Волкаревы!.. Теперь покоятся: свершили подвигъ. И весь городъ покоится. Можно, стало быть, уйти на бульваръ и никого не встрѣтить...

III.

Въ домѣ Багрянскаго, въ сѣняхъ и тѣсной прихожей набралось много народу; тамъ, правда, были скамейки, что облегчало ожиданіе, но ждать приходилось долго: управляющій имѣлъ обыкновеніе призывать просителей по очереди въ свой кабинетъ. Кабинетъ былъ прямо изъ прихожей и тоже не просторный. За тростниковой ширмой виднѣлась низенькая постель, закинутая шерстянымъ вязаннымъ одѣяломъ; по срединѣ комнаты былъ письменый столъ, очень простой, заваленный бумагами; по стѣнамъ — этажерка, также заваленная бумагами и книгами; шкафъ съ платьемъ; въ углу большой образъ Спасителя, безъ оклада, и передъ нимъ висячая лампадка. Ея огонекъ мерцалъ сквозь голубую чашку; два окна на улицу, въ которыя солнце не входило, были закрыты сторами.

Утра ужъ прошло довольно, просители начинали убывать. Багрянскій занимался почти не садясь на мѣсто и расхаживалъ на маленькомъ пространствѣ. Это былъ высокій старикъ, лѣтъ подъ шестьдесятъ, сложенный здорово, хотя согнувшіяся худыя лопатки обозначались бѣлыми полосами на спинѣ его толстаго пальто. Онъ ходилъ заложивъ руки въ карманы, потупя голову и какъ-то быстро и повелительно вскидывая ее, когда взглядывалъ на говорившаго просителя. Онъ выслушивалъ молча, спрашивалъ односложно, подходилъ къ столу и также односложно и неразборчиво записывалъ карандашомъ. Говоря, онъ останавливался передъ просителемъ и смотрѣлъ ему прямо въ лицо. Его голосъ былъ отчетливъ и рѣзокъ. Было замѣтно, что онъ усталъ, но онъ толковалъ такъ же терпѣливо, какъ выслушивалъ, настойчиво, повторяясь, точно не вѣря, чтобъ его могли понять сразу; его слушали не дыша, не смѣя взглянуть.

— Радъ я буду до-смерти, когда вы въ конецъ разоритесь, сказалъ онъ двумъ однодворцамъ, которые только что окончили свои разсказы.—Сколько вамъ ни тягаться! Разъ

навсегда вамъ приказано: не смѣть начинать тяжбы, не сказавшись окружному...

— Да вѣдь, какъ же, намъ убытки...

— Нѣтъ, не убытки, а, вотъ, «роду своего дворянскаго не покорю!» Однодворцы вы, какже, не мужики. За одной стойкой съ мужикомъ перепьетесь, а проспались—вломились въ обиду и на мужика просьбу, и чего не приплетете...

— Ты, ваше высокородіе, изволь разсудить...

— Ничего я не изволю! Все чепуха, слышалъ! Пошли судиться, ну, и судитесь. Изъ-за козы дѣло началось, годъ тянется;—вы, говорите, ужъ свою кубышку почали! Ну, вы и землю вашу протяните, что «отъ предковъ» у васъ. Надоѣло вамъ, что кусокъ хлѣба есть, ну, дастъ Богъ, съ сумой пойдете. И я очень радъ; впередъ наука, другимъ наука. Убирайтесь.

— Ваше высокородіе, ты намъ отецъ...

— Убирайтесь, повторилъ онъ, покуда они падали на колѣни.

Они были принуждены подняться и посторониться отъ двери; въ кабинетъ входила дочь Багрянскаго.

— Здравствуйте, батюшка.

— Здравствуй... Какъ этого писаря зовутъ, что вамъ просьбу писалъ? обратился онъ къ мужикамъ.

— Александръ Ѳедотовъ, батюшка, отвѣчали они въ два голоса.

— Знаменской волости?

— Знаменской.

— Отмѣть, Катерина: написать окружному, чтобъ онъ этого шельму погналъ. Ну, ступайте, вамъ сказано... Кто тамъ еще?... Какъ это ты поднялась, Катерина? Отдохнула?

— Отдохнула.

— Запиши... Да! Готово у тебя къ почтѣ, вчерашнее?

— Извольте.

— А черновая?

— У меня въ комнатѣ... сейчасъ принесу.

Она вышла.

— Ваше высокородіе, яви ты намъ божескую милость, научи!.. кричали мужики; ихъ изъ кабинета выталкивали новые просители.

Управляющій обратился къ этимъ новымъ и слушалъ, заглядывая въ бумагу, которую взялъ у дочери.

— Отецъ родной, спаси ты насъ! продолжали знаменскіе, ужъ изъ прихожей, откуда другіе выпроваживали ихъ въ сѣни.

— Ахъ, какіе вы, право, скучные! сказала имъ Катерина, возвращаясь и проходя прихожую.—Въ который разъ вы опять все за тѣмъ же?

— Да что-жъ дѣлать, матушка барышня! заступись хоть ты, попроси его...

— Нечего его просить. Что тутъ казенному управляющему вступаться, когда вы сами по себѣ начали дѣло въ уѣздномъ судѣ?

— Да это мы знаемъ!

— А знаете, и толковать нечего. Сосчитайте сами, гдѣ вамъ больше убытку: коза что-то тамъ оглодала, поломала... смѣхъ, право!.. или вы двадцать разъ въ городъ съѣздите, двадцать взятокъ раздадите? А дѣло вы все-таки проиграете, потому неправое. Съ вами Емельяновъ мирится; ну, и слава Богу, миритесь. Что за стыдъ,—почтенные пожилые люди, а такой вздоръ затѣяли! Миритесь, и дѣло съ концомъ...

— Катерина! крикнулъ ея отецъ.

Она поспѣшила въ кабинетъ. Въ тѣсныхъ комнатахъ, въ пыльной толпѣ, какъ-то особенно свѣтло мелькала ея розово-лиловая ситцевая блуза, пышная и слегка гремучая отъ крахмала. Двѣ черныя, блестящія и влажныя косы соскользнули на ходу съ головы и висѣли до колѣнъ.

— Что прикажете?

— Присядь, припиши, вотъ, тутъ... А вы ступайте въ палату, обратился онъ къ просителямъ,—я черезъ часъ тамъ буду... Пиши. Перо хорошо? нѣтъ? Ну, не бѣда. Конфиденціальное,—авось не погонятся за формальностями. Пиши:—«Прошу ваше высокопревосходительство обратить вниманіе, что такое, въ общемъ смыслѣ, не важное обстоятельство, какъ перемѣщеніе мелкаго чиновника изъ одной губерніи въ другую, можетъ быть весьма важнымъ и тяжелымъ для самого этого чиновника, по недостаточности его средствъ...» Живутъ въ каменныхъ палатахъ, этого не понимаютъ! прибавилъ онъ, будто въ скобкахъ, покуда дочь писала.

— Тутъ и поважнѣе есть на что обратить вниманіе, замѣтила она.

— Скажи.

— На нравственную сторону. Бѣдный человѣкъ немного обжился, устроился—его переводятъ. Перемѣщеніе—разореніе; очень натурально, что онъ захочетъ поправиться на новомъ мѣстѣ; тутъ былъ честенъ, а тамъ станетъ брать.

— Ну, это не натурально, а скверно.

— Очень скверно, только натурально.

— Свою совѣсть всякій самъ станетъ беречь; не начальству о ней заботиться.

— Не велика забота помнить, что бѣдность искушеніе, не унижать, не ожесточать

человѣка, перегоняя его съ мѣста на мѣсто, безъ надобности, изъ пустого произвола. Говорятъ, нужны честные люди; ну, такъ берегите людей, чтобъ они оставались честными...

— Дописала ты?

— Дописала.

— Подбери-ка это, сказалъ онъ, поднимая ея косу со стула, на который хотѣлъ сѣсть. Въ его движеніи была какая-то грубая нѣжность, въ пустомъ словѣ слышалась улыбка, въ равнодушномъ взглядѣ мелькнуло будто удовольствіе. Дочь смотрѣла на него ясно и просто, какъ существо, которое знаетъ, что оно безконечно любимо, и признаетъ за собою право на такую любовь.

— Погоди, вотъ, мы съ тобой дослужимъ до пенсіи, заляжемъ на покой, да тогда и станемъ вольнодумничать, проговорилъ онъ тихо, подписывая письмо и легонько тронулъ ее по носу верхушкой пера.—Печатай съ Богомъ. Я возьму съ собой. Кто тамъ есть еще? А, демьяновскіе повѣренные! Ну, братцы, департаментъ утвердилъ ваше межеваніе. На той недѣлю къ вамъ будетъ землемѣръ. Вы его напрасно долго не задерживайте; понадобятся ему люди, подводы,—чтобъ все было вовремя... И ужъ больше претензій не заявлять; какъ дали приговоръ, на томъ и оставайтесь.

— Мы, ваше высокородіе, довольны, и какъ вы за насъ стояли...

— Я думаю, что довольны; вы все свое получили. Если станете еще къ чему привязываться, пожалуй, и не хорошо вамъ будетъ. Вотъ вамъ приговоръ,—помните его?

— Помнимъ.

— Нѣтъ, я вамъ его еще перечитаю, чтобъ сомнѣнія не было. Вѣдь невелика радость, какъ окружный донесетъ, что вы тамъ опять что нибудь затѣете. Катерина, дай демьяновскій приговоръ, да планъ ихъ дачи; возьми карандашъ, показывай имъ; я буду читать. Слушайте.

Катерина раскатала по столу длинный планъ; повѣренные внимательно слѣдили за ея указаніями; Багрянскій, читая, оглядывался и тоже указывалъ.

— Ну, видите, какъ вы хотѣли, такъ и сдѣлано: тутъ, вотъ красной краской означена поправка въ нарѣзкѣ... А, пожалуйте! вдругъ воскликнулъ онъ, увидя входящаго чиновника:—гдѣ-жъ предписаніе? Девять часовъ, уѣздная почта отошла, а предписаніе не отослано? Я вамъ приказалъ явиться ко мнѣ въ семь!

— Никакъ не могъ, Николай Степановичъ, извините великодушно; вчера не успѣлъ, а сегодня... Вотъ бумага.

— Почему не успѣли?

— Простите великодушно, Богъ свидѣтель... Вчера, господинъ начальникъ губерніи... назначался балъ...

— А, чортъ васъ всѣхъ возьми съ вашими балами! Я вамъ начальникъ, милостивый государь! Вамъ было приказано изготовить бумагу и въ семь часовъ подать мнѣ къ подписи,—умрите, а подайте! Уѣздная почта всего въ недѣлю разъ; я на вашъ счетъ эстафету пошлю!.. Что такое? бѣдны? средствъ не имѣете? А вчера, на бальныя перчатки нашлись средства? Я знаю, вы взятку взяли, чтобъ задержать предписаніе! я эти штуки знаю! Рано начинаете, милостивый государь! я васъ выгоню такъ, что вы нигдѣ мѣста не найдете! Ступайте, чтобъ сію минуту было отправлено и почтовую росписку мнѣ представьте... Убирай планъ, Катерина; имъ растолковано, мнѣ некогда. Ступайте, братцы, съ Богомъ, и чтобъ безпорядковъ у васъ не было, скажите тамъ... Возьми ты ихъ дѣло, Катерина, сбери, свяжи; я пришлю за нимъ изъ палаты...—Вы еще здѣсь? обратился онъ къ чиновнику:—мало слышали?

Чиновникъ исчезъ. Мужики выходили тоже. Пока ихъ въ кабинетѣ замѣняли послѣдніе просители—старый мужикъ и молодой волостной писарь.—Катерина вытащила въ прихожую огромную связку бумагъ, бросила ее на полъ и принялась скручивать толстой веревкой. Ея сильныя руки, открытыя за локоть въ распадавшихся рукавахъ блузы, ловко захлестывали узлы; косы опять распустились; весело закидывая голову, она шутила съ демьяновскими мужиками.

— Барышня-то, до всего дошла!

— Какъ же, дѣлопроизводителемъ служу. Вотъ ваше дѣло; этакое толстое, насилу-то конецъ ему. Только вы теперь, Христомъ-Богомъ, не скупитесь; земли у васъ вволю, учите вы ребятъ. Лѣтомъ отмежуетесь, а къ осени, составляйте приговоръ, просите школу. Отецъ какъ разъ утвердитъ. А я вамъ на обзаведеніе—грифельныя доски, карандаши, бумагу, и учителя вамъ найду.

— Гдѣ его возьмешь, барышня!

— Вотъ еще, гдѣ взять,—найду. Только не отставного солдата и не дьячка; эти дерутся больно.

Мужики расхохотались.

— А ты, барышня, почему знаешь?

— Меня дьячокъ училъ, отвѣчала она, хохоча тоже.

Вдругъ передъ нею, за спинами мужиковъ, въ отворенной настежь сѣнной двери, показалась высокая шляпа, щегольское

пальто и вошелъ Верховской. Онъ остановился на порогѣ, сконфуженный.

— Можно видѣть г. Багрянскаго? спросилъ онъ съ низкимъ поклономъ.

— Можно, отвѣчала Катерина, приподнимаясь и поднимая свою связку:—только, извините, надо подождать; онъ занятъ.

— Я вчера не имѣлъ чести быть вамъ представленъ, продолжалъ онъ, кланяясь снова: — Верховской, изъ Петербурга, пріѣзжій. Если вашъ батюшка не можетъ удѣлить мнѣ минуты, я зайду въ другое время.

— Зачѣмъ же, если у васъ дѣло, возразила она:—я ему скажу.

— Кто тамъ, Катерина? спросилъ Багрянскій.

Она вошла въ кабинетъ и объяснила тихо.

— Проси... Съ Богомъ, напутствовалъ Багрянскій мужика и обратился къ писарю: — Ты говорилъ, у тебя не экстренное; можешь подождать?

— Могу, ваше высокородіе.

— Такъ подожди. — Что вамъ угодно? спросилъ онъ входящаго Верховского.

Верховской въ эту минуту не зналъ, что ему угодно. Правда, въ своей прогулкѣ, онъ также безсознательно забрелъ въ этотъ переулокъ, спросилъ мужиковъ и узналъ отъ нихъ, что это домъ Багрянскаго, но, входя, онъ говорилъ себѣ, что необходимо о чемъ-то узнать, справиться... Все это вылетѣло у него изъ памяти. Только когда Багрянскій двинулъ ему стулъ, приглашая сѣсть, Верховской нѣсколько опомнился.

— Мнѣ необходимы свѣдѣнія по дѣлу села Спасскаго, началъ онъ.

— Котораго Спасскаго?

— Госпожи... госпожи Запольцевой, отвѣчалъ, припоминая, Верховской.

— А, гдѣ бунтовали, сказалъ Багрянскій, съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ.— Если вамъ нужны свѣдѣнія о возстаніи, то я не могу вамъ дать ихъ: недовольные были не государственные крестьяне, а народъ госпожи Запольцевой.

— Нѣтъ, не то... о межеваніи.

— Это другое дѣло. Что вамъ угодно?

— Я намѣренъ... Мнѣ предлагаютъ купить это имѣніе. Согласитесь, что купить съ нимъ вмѣстѣ и не конченное дѣло...

— Да, непріятно. Тѣмъ болѣе, что дѣло скверное. Госпожа Запольцева давно, съ десятокъ лѣтъ, и побольше, завладѣла землей спасскихъ однодворцевъ. Понемногу, да понемногу; долго это продолжалось; однодворцы, конечно, жаловались; на это, конечно, не обращали вниманія Запольцева задаривала; здѣсь у нея знакомства, въ Петербургѣ связи, поддержка. Теперь, пришло межеваніе. Въ этой дачѣ оно по наличному владѣнію; документовъ нѣтъ. Дачу сняли на планъ. Запольцева показала, что у нея— столько-то. Крестьяне, натурально, не согласны. Дѣло въ такомъ видѣ представлено мнѣ въ палату. Запольцева хлопочетъ въ Петербургѣ и мнѣ оттуда предписываютъ и подтверждаютъ утвердить межеваніе, какъ оно предположено, потому, будто бы, что требованія крестьянъ неосновательны, излишни, незаконны. Но я знаю, что крестьяне правы, и безъ ихъ согласія, палата не утвердитъ сказки, хоть департаментъ сто разъ торопи. Я такъ сказалъ и написалъ министру.

— Много этой земли отошло у однодворцевъ?

— Довольно. Катерина, покажи планъ.

Верховской вскочилъ помочь дѣвушкѣ и подхватилъ планъ, который она раскатывала сверхъ всего, что лежало на столѣ. На этотъ разъ Багрянскій самъ вооружился карандашомъ и толковалъ.

— Вотъ сколько захвачено; въ разное время, клочками... Но доказательствъ завладѣнія нѣтъ. Куда дѣвались жалобы крестьянъ...

— Стало быть, можетъ случиться, что ваше представленіе министру... началъ Верховской и остановился.

— Не будетъ уважено, какъ основанное на однихъ словесныхъ показаніяхъ? Все возможно. Даже вѣроятно.

— И тогда?

— Тогда я сдамъ дѣло въ департаментъ и пускай онъ самъ утверждаетъ за госпожей Запольцевой.

— И крестьяне лишатся своей собственности?

— Что-же дѣлать.

— Но... если, прежде нежели вы передадите дѣло въ департаментъ, имѣніе будетъ куплено и новый владѣлецъ уступитъ землю крестьянамъ полюбовно?

— Его воля. Это будетъ очень пріятно госпожѣ Запольцевой: она возьметъ даромъ если не землю, такъ деньги, отвѣчалъ Багрянскій, усмѣхнувшись.

Верховской поднялъ глаза. Катерина улыбалась тоже.

— Нѣтъ... Но вѣдь это единственное средство... сказалъ онъ.

— У васъ, вѣрно, много лишнихъ денегъ?

— Нѣтъ...

Верховской тоже чему-то засмѣялся.

— Я никогда не покупалъ имѣній... сказалъ онъ, будто оправдываясь.

Онъ опять взглянулъ передъ собою и выпустилъ конецъ плана. Крѣпкая бумага шумно завилась свиткомъ.

— Мнѣ бы хотѣлось узнать еще нѣкоторыя подробности...

— Съ удовольствіемъ, но теперь мнѣ некогда: пора въ палату. Дай чаю, Катерина, а я одѣнусь. Вы покуда можете спросить ее; она знаетъ дѣло.

Онъ показалъ на дочь.

— Милости просимъ въ гостиную! я сейчасъ...

Катерина ужъ уложила планъ на мѣсто и шла впередъ, оглянувшись на Верховскаго; онъ пошелъ за нею.

— Милости просимъ, повторила она, входя въ другую комнату, и куда-то скрылась.

Верховской остался одинъ. Пріемная была прямо изъ прихожей и, очевидно, единственная. Въ ней не было симметрическаго порядка гостиныхъ вообще, а провинціальныхъ въ особенности. Диванъ у одной стѣны, старый рояль у другой; мягкія кресла и плетеныя стулья; на стѣнахъ ни картинъ, ни зеркала: большая рѣшетка съ плющомъ; плющъ переросъ ее и по шнуркамъ, густой, косматой охабкой перекидывался на окно, замѣняя драпировку. Окна были довольно низки; одно отворено. На улицѣ пусто, будто въ деревнѣ. Должно быть, вѣтеръ распахнулъ боковую дверь; за ней показалась часть небольшой комнаты и прямо, въ глубинѣ, еще отворенная дверь въ садъ; большія темныя деревья, маленькій просвѣтъ яснаго неба; клочокъ песку, розоваго на солнцѣ, какіе-то цвѣты, серебристые будто звѣзды. Оттуда понесло тепломъ, прохладой, запахомъ земли и этихъ цвѣтовъ.

— Нарцисы, подумалъ Верховской.

Но онъ только ихъ и назвалъ по-имени изъ всего, что видѣлъ; только это и опредѣлилъ онъ въ своихъ настоящихъ ощущеніяхъ. Въ этой небольшой комнатѣ ему было какъ-то особенно просторно; его охватывало какой-то свѣжестью; ему было какъ-то весело, и вдругъ, Богъ знаетъ почему, онъ подумалъ, что онъ здоровъ и молодъ. Онъ зналъ, что никогда не видалъ того, что было передъ нимъ, но ему представлялось, что онъ всегда жилъ тутъ. Все это казалось ему его собственностью, а между тѣмъ онъ ни къ чему не смѣлъ коснуться. Ему вдругъ, мгновенно, вспомнилось, какъ однажды, еще мальчикомъ, онъ зашелъ въ лугъ, гдѣ трава и цвѣты были ему выше пояса; какъ было влажно, жарко, душисто, какъ у него закружилась голова, глядя въ высокое, безконечно синее небо. Онъ отчетливо вспомнилъ это и не помнилъ вчерашняго дня. Голова у него, въ самомъ дѣлѣ, что-то кружилась.

Онъ оглянулся на шорохъ. На покрытомъ столѣ, котораго онъ не замѣтилъ, вошедшая женщина поставила самоваръ.

Изъ другихъ комнатъ, или изъ сада, послышался звонкій голосъ:

— Сейчасъ, сейчасъ, бѣгу!

Черезъ минуту вошла Катерина. Верховской былъ почему-то увѣренъ, что она не перемѣнила туалета, и не ошибся: она только крѣпче подобрала свои косы.

— Извините, сказала она:—меня тамъ задержали. Что-жъ вы хотите узнать о дѣлѣ?

Она сѣла къ столу и готовила чай. Верховскому хотѣлось узнать, почему ее будто слушалось все, за что она бралась. Онъ загляделся и не успѣлъ отвѣчать, какъ она ужъ подавала ему стаканъ.

— Прикажете?

— Ахъ, съ большимъ удовольствіемъ. Я рано всталъ и много прошелся... Какъ вчера *тамъ* было душно, скучно. Я раньше всѣхъ уѣхалъ.

Для чего онъ сказалъ это, онъ самъ не зналъ; онъ чувствовалъ, что говоритъ вздоръ, но ему было какъ-то необходимо сказать именно это, будто какое-то оправданіе.

— Такъ вы проголодались? спросила она:—угодно?

Она подала ему сливки и хлѣбъ, который нарѣзала огромными ломтями. Верховской обрадовался, будто не видалъ ничего этого отъ роду, и между тѣмъ чувствовалъ, что вовсе не голоденъ. Если бы онъ далъ себѣ волю, онъ бы запѣлъ. Онъ самъ не зналъ, чего ему хотѣлось.

— И вы такъ всегда, всякое утро... началъ онъ.

Она взглянула на него.

— Заняты съ вашимъ батюшкой?

— Да.

— Это утомительно.

— Не больше, чѣмъ что другое.

— Но это такъ скучно!

— Напротивъ, очень занимательно.

— Неужели вы находите? Что-жъ занимательнаго... конечно, продолжалъ онъ, сбившись, затрудняясь и не находя выраженій:—это оригинально, но... это такъ грубо.

Она опять взглянула на него и помолчала.

— Да, что же! начала она:—вамъ нужны подробности о Спасскомъ. Вѣроятно о землѣ? Тамъ земля не дурна, но ея мало... то есть, не въ имѣніи Запольцевой, а у государственныхъ крестьянъ. Эти, просто, несчастные; менѣе двухъ десятинъ на душу; положительно, у кого есть лишняя овца, тотъ богачъ. И какъ ихъ грабили! Потому они такъ и стоятъ за свою землю. Еслибъ были какіе нибудь промыслы, или оброчныя статьи, или что нибудь въ личную собственность... на землю въ личную собственность они имѣютъ особенныя права...

— Что-жъ это, вдругъ подумалъ Верховской: — я, кажется, не мальчикъ, а мнѣ такую азбуку толкуютъ...

Вѣроятно, эта мысль выразилась на его лицѣ. Катерина остановилась и потомъ продолжала:

— Но вамъ, конечно, интереснѣе слышать о владѣльческомъ имѣніи...

— Все слышалъ, прервалъ онъ нѣсколько нетерпѣливо. Скажите мнѣ лучше, сколько эта Запольцева отняла у мужиковъ?

— Десятинъ пятьдесятъ... Но вы видѣли! отвѣчала она также нетерпѣливо и съ недоумѣніемъ.

— Ахъ, да, на планѣ. Виноватъ.

Ее взяла досада, — больше, злость, негодованіе. Этотъ господинъ тратитъ въ годъ десятки тысячъ на фраки и попойки, — гдѣ ему считать мужицкіе убытки...

— Въ этомъ уѣздѣ цѣна на землю высока, замѣтила она: — Запольцева, конечно, продаетъ вамъ не дешево.

— Да.

— Такъ что можетъ дорого обойтись фантазія уступить крестьянамъ полюбовно, продолжала она, замѣтно и обидно вызывая и насмѣшничая.

— Да...

— И благоразумнѣе положиться на рѣшеніе департамента...

— Вотъ объ этомъ я хотѣлъ спросить васъ, прервалъ онъ:—неужели департаментъ откажетъ крестьянамъ?

— Непремѣнно.

— Но интересы казны?

— То есть, крестьянъ, о которыхъ думаетъ одинъ мой отецъ.

— Но мнѣніе вашего отца?

— Объ этомъ и думать нечего! возразила она, видимо задѣтая за живое: — что такое его мнѣніе, когда на той сторонѣ и деньги, и связи!

— Но, наконецъ, послѣдствія, недовольство крестьянъ...

— Конечно, они молчать не станутъ! въ Спасскомъ вообще духъ такой... Ну, что-жъ... уймутъ ихъ, какъ унимали!

У нея вырвалось рѣзкое движеніе.

— А мой отецъ — неважная особа; заупрямится — можно прогнать съ мѣста. Здѣсь тоже есть пріятно расположенные люди. Запольцева, кстати, родня какому-то Волкаревскому принцу...

— Какъ, Волкаревскому принцу?

— Ну, да... Вѣдь у Волкарева все князья и графы, сказала она, смутясь.— Отецъ пропадетъ на этомъ дѣлѣ.

— Отъ Волкаревскихъ князей? Полноте! прервалъ весело Верховской.—Такъ научите же меня. Я сегодня совершаю купчую на Спасское; какъ бы потомъ скорѣе кончить съ казенными? Я отдамъ имъ все, чего они хотятъ.

— Вы отдадите? полюбовно? Вы не шутите?

— Вѣдь это ихъ собственность.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, вы это сдѣлаете? переспросила она, обрадовавшись такъ, что поднялась съ мѣста.

— Не глядя на планъ! отвѣчалъ Верховской.

— Такъ нельзя! вскричала она весело:— вамъ будетъ еще много хлопотъ.

— Только какъ можно скорѣе.

— Для чего?

— Скорѣе лучше. Покуда не прошла фантазія, прибавилъ онъ.

Она покраснѣла и вдругъ прямо подняла на него глаза.

Ему показалось, что передъ нимъ что-то вспыхнуло.

— Простите меня, сказала она очень твердо и отчетливо.

— Ахъ, Боже мой, что вы, это шутка... заговорилъ онъ.

— Да я-то не шутила, возразила она...

— Не шутили? Тѣмъ лучше... право! подтвердилъ Верховской радостно.—Я такъ доволенъ, что вы мнѣ это сказали. Я все готовъ сдѣлать, увѣряю васъ. Но обстоятельства... мнѣ надо какъ можно скорѣе. Могу ли я попросить вашего батюшку?

— Я ему скажу, отвѣчала она, задумавшись.

— Покупку я кончу сегодня, завтра... но если въ Петербургѣ какъ нибудь...

— Подтвержденіе было недавно, отецъ еще не отвѣчалъ и дѣло въ палатѣ. Вы успѣете.

— На этой недѣлѣ?

— Пожалуй, отвѣчала она, все еще задумавшись. — Вамъ очень нравится эта деревня?

— Спасское? Нѣтъ.

Катерина хотѣла что-то спросить, когда вошелъ ея отецъ. Онъ былъ въ форменномъ фракѣ, съ крестомъ на шеѣ, несъ какой-то листокъ и казался въ веселомъ расположеніи.

— Вотъ, матушка, насладись. Извините, обратился онъ къ Верховскому, торопливо принимаясь за чай: — объяснила она вамъ, что нужно?

— Совершенно. Я чрезвычайно обязанъ. Надняхъ я буду васъ просить...

— Что могу сдѣлать, извольте.—Прочла?

— Э, вздоръ какой, сказала Катерина, отбросивъ листокъ: — вѣдь, вы знаете, что я этого терпѣть не могу!

— Видите! Нѣтъ, должна любить, возразилъ отецъ, смѣясь: — народность, патріотизмъ, поэзія...

— И ничего этого на волосъ! вскричала она съ негодованіемъ.

— Постой, какая сердитая! Дай хоть другимъ полюбоваться. Это мнѣ сейчасъ представилъ нашъ волостной писарь; юный человѣкъ, щеголь. Вдохновился, говоритъ, въ часы досуга и басню сочинилъ на современныя событія. Дай сюда, Катерина. Послушайте, какіе у насъ поэты; стоютъ вашихъ петербургскихъ:

«Сосѣдъ Пахомъ
Былъ съ сѣрымъ волкомъ знакомъ;
И похвались волкъ и Пахомъ съ женою
Идти на льва войною...»

— Чай простылъ, прервала Катерина:— опоздаете!

Багрянскій показалъ на нее Верховскому и захохоталъ.

— Нѣтъ, постойте, вскричала Катерина, положивъ обѣ руки на руки отца, когда онъ опять брался за басню: — вы лучше скажите, что вы на это сказали? А я знаю: вы ему помянули его «часы досуга» за то, что онъ вѣдомости о застрахованіи перепуталъ, да погнали его! Что? такъ? отгадала?

— Ну, погналъ, отвѣчалъ Багрянскій.

— Зачѣмъ же меня дразнить? Вѣдь вы сами этихъ вещей не любите?

— Въ наше время эти вещи необходимы, возразилъ онъ вдругъ серьезно.

— То есть, только неизбѣжны, замѣтилъ Верховской.

Багрянскій взглянулъ на него, вскинувъ головою.

— Почему?

— Онѣ — средство. Вотъ и этотъ поэтъ, вѣроятно, чего нибудь надѣется, разсчитываетъ. Но своекорыстныя дѣлишки не помощь общему дѣлу.

— Слѣдовательно—не необходимы! прибавила Катерина.

— Рада? сказалъ отецъ съ насмѣшливой горечью, хотя ласково.—Ну, и еще тебя обрадую: все отгадано вѣрно; молодецъ просилъ представить это кому слѣдуетъ...

— Вотъ и патріотизмъ! вскричала Катерина.

— Погоди! Но тѣ, которые прочтутъ, не знаютъ корыстнаго намѣренія; въ нихъ чувство пробудится искреннее...

— Отъ этого вздора?

— Не отъ э т о г о, есть получше. Теперь ужъ вообще говоримъ объ этихъ вещахъ...

— Какъ, преувеличенное, посредственное?..

— Какое тебѣ дѣло? не смотри какъ написано, не ищи зачѣмъ написано, отдайся идеѣ...

— Какая бы она ни была?

— А тебѣ еще разбирать идею?..

— Но отдаваться ей безъ анализа — фанатизмъ, прервалъ Верховской.

— А то какъ же? возразилъ Багрянскій:— да что вы безъ него сдѣлаете? На свѣтѣ развелось много разныхъ и з м о в ъ и во всякомъ должна быть своя доля фанатизма, иначе и з м ъ вашъ пропалъ: вы нейдете въ немъ до конца; начались оглядки, уступки, анализъ; вы сбились съ толку, а противникъ этимъ пользуется... Скользкій и з м ъ, вотъ, этотъ, что теперь въ ходу,—патріотизмъ...

— Но, возразилъ Верховской: — кто не въ х о д ъ п у с к а е т ъ, а въ самомъ дѣлѣ чувствуетъ, тотъ имѣетъ право разбирать. Прочное чувство съ того растетъ.

— Такъ разбирайте про себя, отвѣчалъ Багрянскій.

— Зачѣмъ же не передать другимъ того, отъ чего намъ хорошо? вступилась Катерина.

— Затѣмъ, что тебя заслышатъ, да всякое, и прочное, и непрочное, запоетъ на свой голосъ.

— Но неужели лучше молчаніе?.. началъ Верховской.

— Порядокъ-съ! прервалъ Багрянскій съ своимъ страннымъ насмѣшливо - горькимъ выраженіемъ. — Вотъ и я, по вашей милости, отъ порядка отбился. Въ палатѣ теперь ужъ думаютъ, я умеръ. Прощай, бун-

товщица. До свиданія, сказалъ онъ, подавая руку Верховскому: — какъ только ваше дѣло...

— Нѣтъ, позвольте мнѣ бывать у васъ и безъ дѣла, сказалъ Верховской: — когда могу не стѣснить васъ, не помѣшать занятіямъ..

— Я отъ людей не прячусь и стѣсняться самъ не стану, отвѣчалъ Багрянскій, уже на порогѣ прихожей; — а занять весь день, кромѣ сумерекъ послѣ обѣда, иногда вечеръ, чтобъ глаза отдохнули. Она — всегда свободна, милости просимъ. Но моего визита, предупреждаю, не прогнѣвайтесь, не скоро дождетесь.

— И ждать не смѣю, прервалъ Верховской: — позвольте придти сегодня въ сумерки.

— Такъ ужъ лучше обѣдать, въ пять часовъ. Запри за мною, Катерина.

Онъ снялъ съ вѣшалки пальто, накинулъ и вышелъ. Катерина убирала на чайномъ столѣ. Верховскому стало вдругъ неловко.

— До свиданія, сказалъ онъ:—я тоже потороплюсь съ своими дѣлами.

— До свиданія, отвѣчала она.

Онъ откланялся. Проходя сѣнями, онъ слышалъ, какъ стукнулъ крючокъ у двери, которую запирали. Утро было прелестное. Верховской шелъ тихонько, гуляя, поглядывая по сторонамъ на пустой переулокъ. Онъ доходилъ до угла, когда мимо проѣхали дрожки. Верховской узналъ Лѣсичева и посмотрѣлъ вслѣдъ: дрожки остановились у подъѣзда Багрянскаго.

— Что такъ рано? подумалъ Верховской и взглянулъ на часы: было около полдня.— Зачѣмъ? Примутъ его или нѣтъ?..

Лѣсичева приняли.

— Никого у меня не было? спросилъ Верховской, входя въ свой номеръ.

— Никого.

«Видно, еще не все рѣшили...» подумалъ онъ съ какой-то досадой, рѣшаясь о чемъто не думать, между тѣмъ какъ эта, и одна эта дума не выходила у него изъ головы. Она прервалась вдругъ довольно злымъ смѣхомъ.

— Франтикъ вообразилъ себѣ, что предсталъ и побѣдилъ, «руку и сердце!» и такъ ему и обрадовались. Должно быть, обжегся. Только, чего-жъ еще онъ отправился добиваться? Правда, такіе господа сразу не понимаютъ... Или, можетъ быть, теперь только и объясненіе?.. Да мнѣ-то какое дѣло? заключилъ Верховской, продолжая смѣяться и отпирая свою шкатулку.

Онъ досталъ письмо въ шесть страницъ въ клѣтку.

— Какъ это три дня и нѣтъ еще «строжайшаго потвержденія?..» Ну-съ, вы изволите говорить, что я на свободѣ, благо есть средства, пользуюсь ими по вкусу и характеру. Я не обману вашихъ предположеній. Мнѣ представляется случай поступить именно по вкусу и характеру. Честная душа указала мнѣ, что я могу сдѣлать—я сдѣлаю. Я вамъ куплю помѣстье со всѣми угодьями и со всѣми нищими, но я хоть клочокъ вырву изъ-подъ вашихъ китайскихъ ногтей, я хоть посмотрю, какъ вы позеленѣете со злости... А я, что-жъ? я поступаю по закону. Казенное не горитъ, не тонетъ. Я купилъ землю; говорятъ, казенная; я долженъ возвратить... Вы не торопили бы меня съ покупкой, Лидія Матвѣевна; департаментъ утвердилъ бы за вашей пріятельницей и все было бы ваше...

Онъ наскоро написалъ записку и позвонилъ.

— Велите извозчику отвезти это г. Духанову и на словахъ еще сказать, что я сію минуту жду его къ себѣ.

Духановъ какъ разъ явился. Ужъ если купчая не могла быть изготовлена заранѣе, то, по крайней мѣрѣ, дѣловой человѣкъ заранѣе составилъ ее начерно, не забывъ ни одной подробности, ни одной формальности и устроилъ, что она могла переписаться скоро; вмигъ нашлась и гербовая бумага, и писаря съ прекраснѣйшимъ почеркомъ, и свидѣтели, и всякое во всемъ содѣйствіе. Когда Духановъ вмѣстѣ съ Верховскимъ вошелъ въ гражданскую палату, его встрѣтили какъ давно жданнаго гостя. Пока Верховской объяснялся съ начальниками, Духановъ съ любезной, шутливо покровительной улыбкой шептался съ чиновниками; онъ конечно, издали, отчасти покровительственно посматривалъ и на Верховскаго, тонко давая понять, что богачъ, будь онъ сто разъ юристъ, никогда ничего въ дѣлахъ не смыслитъ. Благодаря его стараніямъ, все очень скоро сдѣлалось, а неготовое Верховской попросилъ привезти къ нему на домъ.

— Въ шестомъ часу, сегодня, сказали ему.

— Сегодня мнѣ некогда. Завтра, сказалъ Верховской.

Духановъ, не менѣе его довольный, выходилъ изъ присутствія.

— Вотъ, Андрей Васильевичъ, и обдѣлали, говорилъ онъ въ сѣняхъ, щеголяя передъ

сторожами своей короткостью съ богачомъ и внутренно негодуя, что этотъ богачъ идетъ пѣшкомъ.—Не утомились, Андрей Васильевичъ? Жарко. Коляску бы, или хоть пролетку...

— Я привыкъ ходить, отвѣчалъ Верховской.

Духановъ сообразилъ, что такъ, пожалуй, и лучше: хоть и пріятно было бы прокатиться по улицамъ съ этимъ бариномъ въ коляскѣ, но баринъ могъ и не пригласить, а теперь всѣ долго могутъ любоваться, какъ они идутъ вмѣстѣ.

— Привыкли ходить... петербургскій житель, хе-хе... Вотъ, здѣшній житель будете. Только, въ деревнѣ... Для зимы домикъ здѣсь пріобрѣсти бы не мѣшало. Андрей Васильевичъ, такъ, небольшой, покоевъ въ двадцать, чтобъ не показалось тѣсно послѣ казеннаго, хе-хе... Какъ полагаете?

— Не знаю.

— А это вы очень ловко сдѣлали, Андрей Васильевичъ, приказали къ себѣ на квартиру книгу привезти. Знаете, порядки! Я ужъ, за васъ, признаться, обѣщалъ... Ну, что тамъ! какъ насъ называютъ, «крапивное сѣмя»— крохами питаемся. И потомъ, вамъ уступка большая сдѣлана; нельзя, такъ сказать, на радости. На сливаньи, говорятъ, медъ пьютъ... Да вотъ, я... вы меня извините, изъ памяти вонъ: вамъ, быть можетъ, нужно разменять? я бы могъ сейчасъ въ казначействѣ, по знакомству...

— Благодарю, не нужно.

— Запаслись, значитъ, приготовили?... Какъ я, право, радъ за васъ, Андрей Васильевичъ, что вы успѣли. У меня хоть, знаете, за себя сердце замираетъ: купчую госпожа Запольцева только въ самомъ крайнемъ случаѣ разрѣшила мнѣ дѣлать на ея счетъ, да ужъ такъ, для васъ, ей-Богу, уступилъ я это! за то ужъ вы, тамъ, кому нужно, знаете, грѣхъ пополамъ...

— Я расплачусь.

— Сдѣлайте ваше одолженіе. Потому, мнѣ, ей-Богу, за всѣ мои старанія выгоды очень мало. Я вамъ откровенно скажу, Андрей Васильевичъ, такъ какъ вы благородный человѣкъ,—эта госпожа Запольцева, хоть она и статская совѣтница, а совѣсти, съ позволенія сказать, у иного мужика больше. Опять, это межеваніе съ казенными. Если бы, ей-Богу, не я ей открылъ источники, такъ бы ей эту землю сейчасъ уполномоченный съ землемѣромъ и отхватили. И за это мнѣ благодарности—мѣдный грошъ! Какая это благородная дама, помилуйте! По крайности, мнѣ теперь въ глубинѣ души убѣжденіе, что я для образованнаго человѣка, для вашей супруги старался, о которой наслышанъ. Если я и лишусь черезъ это, то вотъ ужъ мнѣ вознагражденіе, а я надѣюсь...

— Присутствіе теперь вездѣ кончилось? прервалъ Верховской.

— Только въ «имуществахъ» сидятъ! отвѣчалъ свѣтски небрежно Духановъ.—Мученики. Ихній управляющій изъ кутейниковъ, знаете, такъ и тянетъ до вечерень; на сонъ грядущій молитвы прочли, другого святого помянули,—ну, тогда и начнетъ Богъ прощать. Я этой каторги попробовалъ,—нѣтъ, силъ не стало!

— Вы служили у Багрянскаго?

— Какъ же-съ. Я все извѣдалъ. Вотъ пустѣйшій человѣкъ, я вамъ скажу. Формалистъ естественный, а чтобъ онъ цѣнилъ способности, или, тамъ, обратилъ вниманіе... Имѣлъ честь у него въ домѣ бывать-съ. Зимой, со свѣчками подымется, холодъ, кругомъ тулупами накурятъ, натопчутъ... Просто, спазмы, бывало, дѣлаются. И все ругается. А богомольный какой, туда же: Ужъ всегда такіе люди, Андрей Васильевичъ...

— Стой, стой! раздалось на улицѣ.

Волкаревъ, въ легонькомъ плащикѣ сверхъ расшивного мундира, полулежа въ коляскѣ, мчался изъ присутствія. Увидя Верховского, онъ закричалъ своему кучеру остановиться и соскочилъ на тротуаръ.

— Андрей Васильевичъ, счастливая встрѣча! Я слышалъ—совершили купчую? Прекрасно! Куда теперь?

— Домой, отвѣчалъ Верховской.

— И обѣдать ко мнѣ?

— Благодарю васъ. Нѣтъ.

— Eh, quelle idée, je vous enlève! Жена не впуститъ меня въ домъ, когда узнаетъ...

— Извините, право, не могу; усталъ...

— Э, mon cher, стыдно такъ отговариваться молодежи! Взгляните на меня: я изъ-за дѣла... Смѣхъ и слезы! свидѣтельствовалъ съумасшедшихъ... А послѣ вчерашняго бала ихъ должно много прибавиться, des fous d'amour, не правда ли? И вы тоже, и вы!..

Волкаревъ игриво погрозилъ пальцемъ.

— La divine madame Горновъ! то-то вы и приносите покаяніе по судебнымъ мытарствамъ... Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, придите?

— Не могу, извините.

— Такъ вечеромъ, безъ отговорокъ. Я васъ исповѣдую по части уклоненій отъ супружескаго долга. Au revoir!

Губернаторъ уѣхалъ. Духановъ, конечно, не отходилъ во все это время, но Верховской

не далъ ему возобновить бесѣды и уѣхалъ тоже.

IV.

Катерина убрала кабинетъ отца, кончила разныя хозяйственныя хлопоты, перемѣнила свою блузу на ситцевое платье и сѣла за шитье у окна. Къ дому подъѣхали дрожки. Раздался тихій звонокъ. Служанка пробѣжала въ прихожую.

— Отвори, Машенька, скажи, что я дома, сказала Катерина.

Еслибъ былъ свидѣтель, онъ замѣтилъ бы, что она измѣнилась въ лицѣ; съ него сбѣжалъ его неяркій румянецъ. Она приподнялась-было и опять сѣла. Ея ясные глаза затуманились и неподвижно смотрѣли передъ собою. Она крѣпко думала. Когда вошелъ Лѣсичевъ, раздумье замѣнилось смущеніемъ, голосъ Катерины какъ-то дрогнулъ.

— Здравствуйте, сказала она, протягивая Лѣсичеву руку черезъ свой рабочій столикъ.

Онъ казался тоже смущенъ, но вдругъ ободрился и крѣпко нѣсколько разъ поцѣловалъ ея руку.

— Садитесь,поговоримъ,сказалаона тихо.

— Кажется, говорить больше нечего? возразилъ онъ, счастливый, и глядя ей въ лицо.

— Напротивъ, очень много...

— Ровно ничего! вскричалъ онъ радостно и смѣло:—вы велѣли мнѣ пріѣхать, вы протянули руку, стало быть, да, и вы сказали отцу...

— Я ничего не говорила отцу, прервала она.

— Тѣмъ лучше! Такъ это ваша собственная воля, безъ чужого вліянія: вы меня любите, вы—моя...

— Постойте, прервала она:—я вамъ еще не сказала...

— Ради Бога, что за формальности! такъ скорѣе,—да?

— Нѣтъ, отвѣчала она тихо.

Лѣсичевъ на шагъ отступилъ.

— Такъ ли я разслышалъ, Катерина Николаевна? Нѣтъ?

— Точно такъ! нѣтъ, повторила она.

Онъ посмотрѣлъ ей въ лицо, потомъ взялся за шляпу.

— Останьтесь, я васъ прошу, сказала Катерина.

— Если прикажете, отвѣчалъ онъ, садясь.—Въ самомъ дѣлѣ, и для меня интересно узнать, для чего вамъ было угодно подвергнуть меня этой сценѣ сегодня, когда все легко могло быть кончено вчера. Вамъ стоило только вчера сказать ваше нѣтъ.

— Я это знаю, сказала она очень смущенная.

— И, увѣряю васъ, я съумѣлъ бы выслушать отказъ безъ всякой неприлично-трагической выходки, продолжалъ бы танцовать, проводилъ бы васъ до кареты... съ тѣмъ, чтобъ больше никогда не безпокоить васъ, даже встрѣчей! я принялъ бы свои мѣры; я вѣдь знаю, какъ это должно дѣлаться...

— Да... Все это мнѣ вообразилось... Потому я просила васъ придти сегодня, прервала она. Пожалуйста, имѣйте терпѣніе... Право, мнѣ неловко. Я думала, это будетъ легче!

— Кому? вамъ или мнѣ?

— И вамъ, и мнѣ. Вчера, такъ смутно, второпяхъ... я была не въ состояніи...

— Вы были очень утомлены, сказалъ онъ съ усмѣшкой.

— Вы хотите сказать, я дремала? Нѣтъ, возразила она кротко: — съ меня сонъ сошелъ, когда вы начали говорить. Все, что вы мнѣ сказали... я буду откровенна, Евгеній Ивановичъ: я въ первый разъ услышала, какъ объясняются въ любви. Меня никто никогда не любилъ. Я испугалась.

Лѣсичевъ смотрѣлъ на нее, не скрывая усмѣшки.

— Новость факта и ощущенія... сказалъ онъ.

— Ради Бога, не смѣйтесь, прервала она. Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, смѣшно это въ двадцать два года, но, право, я не притворяюсь. Что мнѣ притворяться? Если вы такъ думаете, вамъ послѣ будетъ совѣстно...

— Я не смѣю этого думать, отвѣчалъ онъ.

Она, въ свою очередь, подняла на него свои прелестные глаза и съ минуту помолчала.

— Все равно, сказала она:—что бы вы ни думали, я буду вѣрить тому, что вы скажете. Я вчера тоже вамъ повѣрила. Потому у меня недостало духу оттолкнуть отъ себя человѣка, который звалъ меня раздѣлить съ нимъ жизнь... Я не фразу говорю, Евгеній Ивановичъ, я этого не понимаю иначе. О насъ, женщинахъ, говорятъ, что мы рискуемъ, когда любимъ. Вы, мужчины, рискуете не меньше. Мнѣ вчера стало за васъ такъ страшно, вы мнѣ стали такъ дороги...

— Что вы сказали, Катерина Николаевна?

— Ну, да, дороги, какъ человѣкъ, который душу свою выдаетъ и ждетъ... А я васъ

такъ не люблю. Что-жъ я должна была сдѣлать? Учтиво сказать вамъ — отходите прочь? Исторія, какихъ десятки: объясненіе въ мазуркѣ...

— Вамъ было угодно чего нибудь другого?

— Да, другого! вскричала она и ея глаза вспыхнули:—я вамъ повѣрила. За ваше чувство, за желаніе моего счастья, за ваше уваженіе ко мнѣ, я передъ вами обязана. Вы для меня не чужой.

— Катерина Николаевна!

— А по свѣтскому закону, я должна была въ ту же минуту прогнать васъ какъ врага, и вы меня избѣгали бы, а посторонніе стали бы сплетничать; человѣка, котораго я уважаю, за котораго нейду только потому, что не хочу обѣщать ему лишняго,—этого человѣка назвали бы забракованнымъ женихомъ!

— Однако, Катерина Николаевна, таково мое положеніе.

— Совсѣмъ нѣтъ! возразила она.—Вотъ, зачѣмъ я васъ звала: забудьте, что вы мнѣ вчера объяснились, а чужіе, никто этого во вѣкъ не узнаетъ. Будемте попрежнему; нѣтъ, даже лучше прежняго. Я только вчера узнала, какъ это хорошо, честно — любовь. Я не могу вамъ отвѣчать такой же любовью, но есть другое чувство, такое-жъ полное, искреннее. Можно быть другомъ, товарищемъ. Не такъ ли? Если вы меня за что нибудь полюбили, я, стало быть, гожусь въ товарищи? Заодно, въ радости и въ горѣ, откровенно во всемъ, что есть на душѣ; поберечь другъ друга, посовѣтовать, утѣшить... Ахъ, я буду счастлива, когда у васъ будетъ милая! Зачѣмъ намъ расходиться, сторониться, не знаю что... насильно холодно, зло уничтожать въ себѣ настоящее человѣческое чувство? Теперь-то ему и быть!

Она оживилась, встала; ея смущеніе совсѣмъ прошло, ея щеки опять порозовѣли; въ глазахъ сіяло безконечно чистое выраженіе доброты, мысли, веселости. Лѣсичевъ молчалъ.

— Такъ ли? спросила она.

— Вы идеалистка, Катерина Николаевна! отвѣчалъ онъ и всталъ.—Такъ на свѣтѣ не дѣлается.

— Но развѣ не лучше, если бы такъ дѣлалось?

— Для меня въ этомъ случаѣ, конечно, лучше то, что вы позволяете мнѣ бывать у васъ и тѣмъ избавляете отъ пересудовъ, сочувствій, ну, и прочаго. Я вамъ чрезвычайно благодаренъ. Будьте увѣрены, я не злоупотреблю вашимъ великодушіемъ; постараюсь не наскучить...

— Евгеній Ивановичъ, что это такое?

— Иначе нельзя, сказалъ онъ вдругъ съ рѣзкой злостью. — Вы думаете, нищіе такъ и благословляютъ за милостыню? Ошибаетесь... Во всякомъ случаѣ, повѣрьте, я вамъ очень благодаренъ. Такъ, до свиданья?

Онъ, смѣясь, протянулъ руку. Она серьезно дала свою.

— До свиданья.

Лѣсичевъ дошелъ до двери и вдругъ остановился.

— А что, Катерина Николаевна, могу ли я... Не смѣю, впрочемъ, никакъ принять обязательно предложенныхъ мнѣ правъ друга и товарища!.. но могу ли я обратиться къ вамъ съ однимъ, весьма интереснымъ для меня вопросомъ?

— Можете.

— И вы отвѣтите на него съ полной искренностью?

— Непремѣнно.

— Вы сейчасъ сказали, что не были любимы и что я первый далъ вамъ понятіе объ этомъ удовольствіи. Изъ чего я заключаю, что вы сами еще никогда не любили?

— Никогда.

— Такъ и буду знать. Merci!

Онъ еще разъ поклонился, продолжая смѣяться, и вышелъ. Послышалось, какъ онъ уѣхалъ.

Катерина принялась опять за шитье; оно выпадало у нея изъ рукъ. Она взяла книгу, ушла въ другую комнату и сѣла на ступеньки отвореннаго балкона. Чтеніе не шло на умъ. Она тихо положила книгу и смотрѣла передъ собою. Нарцисы покачивали головками надъ разстилавшейся зеленью. Солнце уже было высоко, но балконъ оставался въ тѣни. Огромныя старыя деревья составляли всю красоту этого сада, — вѣрнѣе, пространства въ нѣсколько саженъ, остатка большой барской усадьбы, распроданной по клочкамъ въ разныя руки. Постройки, и необходимыя, и безтолковыя, какъ большая часть построекъ, особенно въ провинціи,—истребили вѣковой садъ; отъ него уцѣлѣло только то, что досталось Багрянскому, когда, два года назадъ, онъ купилъ этотъ домъ: десятокъ липъ и кленовъ, четырехъ-угольное мѣстечко передъ балкономъ, гдѣ Катерина разбила клумбу и насажала цвѣтовъ и множество одичавшей акаціи. Садъ приходился на уголъ. Акація густо шла кругомъ забора со стороны улицы и переулка, длинной, узенькой аллейкой,

упиралась въ заборъ другой, чужой усадьбы и тамъ разрослась еще гуще и сплелась бесѣдкой. По аллейкѣ шла вытоптанная тропинка. Это было любимое мѣсто прогулокъ Катерины,—любимое, можетъ быть, потому, что единственное.

Ей вздумалось пройтись и теперь, когда не ладилось ни чтеніе, ни работа.

Катеринѣ было скучно, что съ нею бывало очень рѣдко; скукой она называла то непріятное настроеніе, которому не сразу могла найти причину. Было ясно, что она сдѣлала какую-то неловкость, потому что и чужой человѣкъ сію минуту сказалъ ей, что такъ на свѣтѣ не дѣлается...

«А какое мнѣ дѣло, что тамъ дѣлается?» подумала она. «И еще на свѣтѣ ли? Просто, у насъ въ N*. Это еще не весь свѣтъ!»

Во всемъ, что она сказала Лѣсичеву, она была искренна. Она уже три года его знала. На все было время—и разлюбить, и привязаться; не полюбила—значитъ не могла полюбить. Было ровное, спокойное чувство пріязни, сдѣлавшееся крѣпче, когда молодая дѣвушка узнала, что она дорога этому молодому человѣку. Если бы вчера, во время его страстнаго признанія, ей показалось, будто и она чувствуетъ къ нему тоже — это было бы что-то очень странное, что-то отъ нечего дѣлать... нѣтъ, что-то нехорошее.

«Нехорошее...» мысленно повторила она, почти съ негодованіемъ.

Лѣсичевъ выгодный женихъ, а она бѣдна... Когда по ея душѣ скользнула эта мысль, на ея строгомъ, задумчивомъ лицѣ явилась вдругъ такая спокойная увѣренность, такая радостная безпечность, такой молодой, смѣлый, задорный вызовъ всѣмъ невзгодамъ житейскимъ, что прелестная дѣвушка, казалось, вся освѣтилась. Она даже засмѣялась громко и оглянулась кругомъ, будто шаловливый мальчикъ. Ей уморительно смѣшно померещились вся обстановка и всѣ подробности выгодной партіи — поздравленія, визиты, карета, чепчики, церемоніи, титулъ madame... Катерина хохотала одна до слезъ, пугая воробьевъ.

— Нѣтъ, тогда бы ужъ такъ не смѣяться! сказала она себѣ съ шутливой угрозой и задумалась надъ нею. — Отчего же нельзя смѣяться? Однако, нельзя. Свѣтъ такъ устроенъ. Такъ на свѣтѣ не дѣлается...

— Ну, это на свѣтѣ не дѣлается; положимъ, нельзя хохотать надъ брачными союзами, надъ свѣтскимъ положеніемъ, надъ цѣлованьемъ ручекъ, — положимъ, и надъ разсчетами... Нельзя. А отчего же нельзя на свѣтѣ жить по-человѣчески? Или будь женой человѣка... то есть, обмани его, свяжи его и себя изъ-за денегъ, изъ-за цѣлованья... или гони его отъ себя, какъ прокаженнаго. А скажемъ ему: будемъ людьми... И они еще говорятъ, будто насъ уважаютъ!..

Ей досадно вспомнилось, что она встрѣтила Лѣсичева смущенная, будто въ чемъ виноватая, а прощаясь, была такъ некстати снисходительна...

— Что за вздоръ, что за свѣтскія разсужденія! прервала она сама себя. — Не могу я лукавить: мнѣ было неловко, мнѣ стало его жаль. Для чего мнѣ ломаться? что чувствовала, то и сказала...

Ей вдругъ вообразилось, какъ онъ смѣялся надъ нею.

— А, такъ смѣйся они всѣ сколько угодно! выговорила она, стиснувъ зубы. — И житья ихъ мнѣ не надо, и любви ихъ мнѣ не надо...

Она скоро шла по своей аллейкѣ, потупляя голову, когда въ просвѣты листвы на нее падало жаркое солнце. Вдругъ она остановилась; въ акаціи что-то возилось и жалобно пищало. Она подошла ближе. За заборомъ притаился мальчишка и тянулъ за шнурокъ крошечнаго котенка, который завязъ въ вѣткахъ и съ каждымъ движеніемъ запутывался больше.

— Что ты тутъ дѣлаешь? спросила мальчика Катерина.

— Это мой котенокъ.

— Твой. Что ты съ нимъ дѣлаешь?

— Я его повѣсить хотѣлъ тутъ, на гвоздикѣ, а онъ черезъ заборъ перевалился, да къ вамъ, въ кусты. Отцѣпите пожалуйста.

— Пусти шнурокъ.

Катерина освободила изъ петли маленькаго сѣраго звѣрка и взяла его на руки.

— Ну, и ступай, сказала она.

— А котенокъ?

— Я его себѣ возьму.

— Что-жъ это вы отнимаете!

— Но ты хотѣлъ его вѣшать?

— Я-таки и повѣшу.

— Ну, я и не отдамъ.

— Да вы, по крайности, хоть гривенничекъ дайте.

— За что?

— Вамъ Господь за то подастъ. Доброе дѣло сдѣлаете, выкупите.

— Такъ тебѣ еще деньги платить, чтобъ ты гадостей не дѣлалъ? Пошелъ, нѣтъ тебѣ котенка!

Она убѣжала. Мальчишка бранилъ ее вслѣдъ, она слышала; ей было обидно, чего-то страшно и весело. Не выпуская котенка, не останавливаясь, она бѣжала за молокомъ въ кухню. Тамъ, прислуга, двѣ женщины ужъ подняли погромъ изъ того же; горничная ужъ побывала во дворѣ и побранилась черезъ заборъ съ мальчикомъ.

— И на что вамъ это, барышня? Насилу я его прогнала. Кричитъ: кабы не управляющаго дочка, я бы въ нее камнемъ запустилъ.

— Что-жъ, струсилъ? вскричала Катерина,—правъ, такъ и запускай!

Но въ глубинѣ души она была очень довольна на этотъ разъ, что она управляющаго дочка. Она унесла кормить на балконъ своего котенка, радуясь не тому, что избавила его отъ муки, а тому, что у нея завелась такая хорошая игрушка. Она играла, забавлялась и, вслѣдъ за тѣмъ, тутъ же взяла свою книгу и читала внимательно и ясно, какъ будто было довольно простого обращенія къ простой жизни, чтобы разсѣять туманъ, навѣянный на душу свѣтской нескладицей. Если бы свѣтъ, хоть въ образѣ N-скаго общества, заглянулъ черезъ плечо Катерины на строки, по которымъ ея глаза перебѣгали, то задумываясь, то загораясь,— онъ, вѣроятно, еще рѣшительнѣе назвалъ бы ее идеалисткой, опасной, если не помѣшанной головой, и нашелъ бы чтеніе крайне неприличнымъ. Книга была не русская и не романъ. Въ ней широко, свѣтло говорилось о благодатномъ будущемъ, возможномъ, если полюбить его всѣмъ сердцемъ, если сообща, всѣми силами,— не стремиться только,—но прикладывать къ нему руки. Въ книгѣ было много и печальнаго. Она указывала на многихъ виноватыхъ и еще прямѣе доказывала, что всякій, упрямо глядя въ одну свою сторону, ограниченно заботясь только о себѣ, прежде всего виноватъ передъ самимъ собою тѣмъ, что лишаетъ себя высшаго наслажденія—дѣлиться, высшаго блага—жить съ людьми заодно, высшей чести—быть полезнымъ. Книга учила, что счастье у людей подъ рукой, а они неразумно его проглядываютъ за тысячами путъ и подпорокъ, которыми сами подтягиваютъ и поддерживаютъ старыя стѣсненія...

Зачитавшись, Катерина не слышала звонка; она вскочила, услышавъ шаги. Котенокъ, пригрѣвшійся въ складкахъ ея платья, поползъ грѣться на солнышкѣ.

— Извините, сказалъ Верховской, кланяясь изъ дверей гостиной, — я помѣшалъ; слишкомъ рано...

— Нѣтъ, отвѣчала она; — отецъ, я думаю, сейчасъ воротится. Не хотите ли сюда?

Проходя на балконъ, Верховской оглянулъ вторую комнату; она раздѣлялась пополамъ суконной занавѣской, къ которой были придвинуты двѣ широкія этажерки и между ними оставленъ выходъ. У окна маленькій письменный столъ, подлѣ него кресла. Это, очевидно, была комната Катерины, а за занавѣской ея спальня.

— Какъ здѣсь хорошо, сказалъ Верховской на балконѣ.

— Да, клены хороши, отвѣчала Катерина, выходя на минуту.

Верховской разслышалъ, какъ она приказывала горничной, накрывавшей въ гостиной на столъ, поставить еще приборъ, и подумалъ, что, стало быть, до этой минуты хозяйка и не вспомнила, что онъ придетъ. Котенокъ теребилъ оставленную книжку; Верховской ее поднялъ и заглянулъ.

— Я спасъ отъ вашего любимца, сказалъ онъ, извиняясь, когда Катерина, входя, увидѣла у него въ рукахъ эту книжку.

Она взяла ее, спрятала на этажеркѣ и опять воротилась. Верховскому было непріятно, какъ-то тревожно, что она все приходила и уходила; ему было неловко; хотѣлось что-то сказать, и все, что придумывалось, казалось не то, некстати, незанимательно, слишкомъ обыкновенно, пошло. Катерина была тоже затруднена; ей хотѣлось читать, ее оторвали и гость былъ незнакомый.

— Успѣли ли вы что нибудь по вашему дѣлу? спросила она.

— Покупка? Все, отвѣчалъ Верховской, обрадовавшись, что она заговорила. — Вообразите, все въ одно утро. Необыкновенная дѣятельность!

— Стало быть, васъ можно поздравить владѣльцемъ?

— Меня? Нѣтъ.

— Какъ, нѣтъ?

— Я покупаю не для себя.

— Не для себя?

— Это покупка моей жены. Для себя я никогда не куплю населеннаго имѣнія.

— Пожалуйста, извините, живо заговорила она, — но это очень странно; я не понимаю. Вы сказали утромъ, что деревня вамъ не нравится...

— Я сказалъ больше, такъ же живо прервалъ онъ:—я сейчасъ сказалъ, что не покупаю людей.

— Стало быть...

— Стало быть, я исполняю приказаніе моей жены, и только.



— Но какъ же... вы хотѣли возвратить землю казеннымъ крестьянамъ?

— И возвращу; я для того и торопился.

— И ваша жена будетъ согласна?

— Дѣло будетъ кончено.

Катерина съ минуту молчала, будто не рѣшаясь.

— А если она будетъ недовольна? спросила она и, только выговоривъ свой вопросъ, поняла, какъ онъ неловокъ.

— Такъ что-жъ, пусть будетъ недовольна, отвѣчалъ Верховской, не замѣчая ея смущенія, не тревожась вопросомъ, равнодушно.

— Вы увѣрены, что она проститъ? спросила Катерина, обрадовавшись, что можетъ поправить свой промахъ.

Верховской засмѣялся.

— Я сдѣлалъ ей угодное, купилъ, отвѣчалъ онъ,—а это... пожалуй, хоть вознагражденіе мнѣ.

— За что? поспѣшно спросила Катерина и вспыхнула опять.

— Да, вотъ, за ваше поздравленіе, сейчасъ, отвѣчалъ онъ, продолжая смотрѣть на нее. — Вы меня обидѣли. Изъ того, что вы это читаете (онъ показалъ головой въ комнату, куда она унесла книгу), — еще не слѣдуетъ, чтобы другіе такъ же не думали...

Она подняла на него глаза.

— Теперь моя очередь просить прощенія, выговорилъ онъ, зажавъ ея руку въ обѣихъ своихъ,—вы простили?

— Ахъ, конечно, отвѣчала она искренно, и въ ея голосѣ послышалось что-то кроткое, нѣжное, неожиданное среди ея живости, что-то робкое, плѣнительное отъ противоположности ея думающаго взгляда.

Верховскому хотѣлось припасть и цѣловать эту руку, которой выпустить недоставало силъ, эти ясные глаза, неумѣющіе ни вызывать, ни лукавить. Онъ не понималъ, что съ нимъ дѣлалось. Будто кто позвалъ его, будто передъ нимъ отворили дверь куда-то, куда ему давно хотѣлось,—и тамъ сверкнули будто огни дѣтскаго праздника... нѣтъ, лучше: будто распахнулось долго запертое окно и открылось весеннее, свѣтлое, благоуханное поле, просторъ, тепло, тишина. Онъ ничего не думалъ; ему мелькнуло что-то далекое, вѣчно милый, божественный образъ; что-то невыразимое прошло у него по сердцу, что-то воскресло, горѣло, звучало... Такой минуты не бывало въ его жизни,—вотъ все, что еще сознавалъ онъ, почти не видя даже той, которая стояла передъ нимъ, какъ тихая, чистая, неотразимая сила...

Катерина не подозрѣвала, что для гостя проходила роковая минута. Она была спокойна и смотрѣла просто.

— Вотъ что, сказала она:—простите, если я спрашиваю, но это такая вещь... Я наглядѣлась на народъ, знаю, каково ему. Ваша жена покупаетъ Спасское. Она, конечно, знаетъ, какъ тамъ крестьяне разорены, несчастны. Если она беретъ на себя быть ихъ госпожей, стало быть, она хочетъ ихъ устроить. Хоть и крѣпостные, все бы они отдохнули. Какъ она намѣрена это сдѣлать, съ чего начнетъ? Вы, конечно, знаете; разскажите.

— Что? спросилъ Верховской, не сводя съ нея глазъ.

— Что будетъ дѣлать ваша жена въ деревнѣ?

— Жена въ деревнѣ?

— Да. Чѣмъ она займется?

— Но что же... Она хотѣла пить молоко... Будетъ гулять, кататься... Вообще деревенскія удовольствія...

— Какъ, деревня для удовольствія? прервала Катерина.

Верховской будто проснулся.

— Да... сказалъ онъ.

— Для меня любопытна женщина, которая покупаетъ людей для удовольствія, сказала Катерина.—Разскажите мнѣ о вашей женѣ.

Верховской ничего не отвѣчалъ. Его охватилъ какой-то странный испугъ. Ему почудился другой голосъ изъ далекой, прошлой дали. Бывало, этотъ голосъ также звалъ оглянуться на жизнь, оцѣнить жизнь; также указывалъ, будилъ мысль, разъяснялъ чувство, ободрялъ совѣсть, звалъ на дѣло, но теперь онъ звучалъ какъ-то сильнѣе, будто еще окрѣпъ, облетѣвъ безпредѣльность — какъ-то рѣзче и строже, безконечной любовью, но и неумолимой справедливостью... Этотъ голосъ требовалъ отчета. Предъ Верховскимъ потянулась его жизнь длинными полосами тяжелаго тумана; люди, отношенія, чувства, все чуждое, смутное, безобразное, странное, несложившееся, неоконченное, нестоющее памяти, нестоившее существованія—являлось, проходило, уходило... Было невозможно, но и не было силъ, и было отвратительно, и было стыдно на чемъ нибудь остановиться мыслью... Вдали, въ самой дали юность, будто розовый разсвѣтъ, какъ тотъ, что всходилъ сегодня утромъ, и на этомъ разсвѣтѣ, какъ сегодня утромъ,— Божеская бѣлая звѣзда...

Катерина взглянула на гостя и не повторила своего вопроса.

Онъ не оглянулся на нее, иначе, забывшись, высказалъ бы ей все, что въ десятокъ лѣтъ убило его душу.

Она поняла, что коснулась до чего-то страшно больного, остановилась, но не испугалась. Лучше узнать, что за боль... Изъ любопытства?.. Катерина сама себя озадачила этимъ вопросомъ. Если назвать любопытствомъ желаніе отдавать себѣ вѣрный отчетъ во всемъ, что ожиданно или случайно является передъ глазами, она была любопытна. Ей все было близко, все нужно; она стремилась жарко, сочувствовала сильно, но не мечтательно; она знала, что всему помочь нельзя. Теперь она припомнила, что вчера, безконечно сбираясь на этотъ безконечный балъ, m-me Волкарева не переставала твердить о Верховскомъ, какъ о счастливѣйшемъ въ мірѣ человѣкѣ, и именно счастливѣйшемъ сердечно.

— Нѣтъ, сказала себѣ рѣшительно Катерина, взглянувъ на него еще разъ въ эти нѣсколько минутъ молчанія.—Нѣтъ. Онъ такъ несчастливъ, что даже не находитъ, что солгать, для поддержки разговора, когда его спросили прямо. А еще свѣтскій господинъ!..

— Итакъ, вы будете здѣсь жить? спросила она громко:—по крайней мѣрѣ лѣтомъ?

— Да, конечно... Да, я думаю, отвѣчалъ онъ:—только не въ деревнѣ; здѣсь, въ городѣ. Здѣсь тихо, мнѣ нравится... Петербургъ... У меня тамъ нѣтъ никого... Да и вообще, нигдѣ никого.

— Какъ же это?

— Такъ... Все куда-то ушло, договорилъ онъ, стараясь скрыть или поправить улыбкой выраженіе своихъ словъ и дрожь въ голосѣ, которой ему стало совѣстно.—И все кругомъ идетъ нехорошо. Прежде не то было, право. Было хоть глупое молодое счастье...

— Неужели все хорошо потому только, что люди молоды? возразила она серьезно.— Все и всегда было дурно, но вы этого не замѣчали.

— Отъ этого не легче.

— Даже еще хуже, отвѣчала она тихо и попрежнему серьезно:—значитъ, то, что вы назвали молодымъ счастьемъ, было невниманіе къ общему дѣлу и обезпеченный, беззаботный эгоизмъ.

— По крайней мѣрѣ, въ послѣднемъ я не виноватъ, возразилъ Верховской: — у меня въ молодости была забота.

— Въ ней была и ваша радость, сказала она.

Ея слово будто сверкнуло съ высоты...

— Какъ вы сказали? р а д о с т ь? вскричалъ Верховской.—Какъ вы отгадали?... Да, была у меня радость... лучше чѣмъ счастье, радость вѣчная, полная, постоянная, неизмѣнная, вся моя жизнь, весь мой разумъ... У меня мать была... я вамъ все это скажу. Вамъ это надо знать. Я ни съ кѣмъ не говорю о ней... Простите, ради Бога, вамъ можетъ показаться странно, но вы, вотъ, сейчасъ сказали такое слово... Вы мнѣ позволите вамъ разсказать...

Онъ подошелъ и тихо взялъ ея руки...

— Вотъ, что, Катерина Николаевна... люди встрѣчаются, знакомятся, и какъ-то все это странно выходитъ. Не будемте какъ люди... Вамъ смѣшно? Знаете, какъ нибудь иначе, не выжидая удобныхъ минутъ, не соблюдая разныхъ приличій...

— Ну, да, прервала она:—не какъ люди, а по-человѣчески.

— Какъ вы сказали? да, по-человѣчески! Не подозрѣвая, не лицемѣря... это зовутъ идеальничаньемъ...

— О, неправда, прервала она:—самое положительное—узнать человѣка, каковъ онъ есть. Вотъ гдѣ идеальничанье — въ свѣтѣ: церемонятся, скрытничаютъ, свяжутся — и потомъ не знаютъ какъ откреститься!

Верховской потерялся. Она смѣялась такъ просто, такъ звонко, такъ откровенно, она вся сіяла такой яркой жизнью, она вдругъ стала такъ доступна, такъ близка... У него потемнѣло въ глазахъ, его охватило жаркое юношеское веселье и вдругъ, полной грудью, вздохнулось легко. Онъ оглянулся, созналъ, что было кругомъ, чувствовалъ, что неловко, и не стѣснялся, и былъ этому радъ. Съ зеленой листвы, съ цвѣтовъ, съ неба вѣяло такой волей, что было бы неприлично прилично держаться...

— Какъ вы добры... сказалъ онъ, самъ не зная почему.

Она вдругъ остановилась и прислушивалась; часы въ домѣ что-то пробили.

— Ну, отца клянутъ въ палатѣ, сказала она:—половина шестого.

Вслѣдъ затѣмъ раздался сильный звонокъ.

— Вотъ онъ... Маша, Машенька, поскорѣе, поскорѣе обѣдать! закричала Катерина и побѣжала отворить отцу.

Верховской смутился отъ такого перерыва и въ ту же минуту очнулся. Его обступила новая жизнь и онъ спокойно дѣлался ея участникомъ во всемъ,—отъ того, что было сейчасъ, до простого, обыденнаго. Какъ будто это было и его дѣло, онъ пошелъ встрѣчать Багрянскаго.

Но въ прихожей ужъ никого не было; Багрянскій былъ съ кѣмъ-то у себя въ кабинетѣ; оттуда слышался его голосъ:

— Вотъ тебѣ записка; отвези сейчасъ на квартиру окружному. Общество дастъ тебѣ увольненіе. Ну, съ Богомъ, не кланяйся, ступай скорѣе; съ Богомъ...

Кабинетъ затворился. Въ прихожей показался извозчикъ. У него было какое-то потерянное счастливое лицо; онъ крестился и, будто въ потьмахъ, не находилъ сѣнной двери.

— На радости, сказалъ Верховской, сунувъ ему въ руку что нашлось денегъ въ бумажникѣ.

Тотъ оглянулся оторопѣлый.

— Знакомый? спросила Катерина, проходя изъ другой комнаты.

— Знакомый, отвѣчалъ Верховской, выпроводилъ его, заложилъ крючокъ и пошелъ за нею въ гостиную.

Она готовила салатъ. Верховской чувствовалъ себя такъ дома, что чуть не сѣлъ за накрытый столъ не дожидаясь хозяина; онъ вспомнилъ объ этомъ ужъ взявшись за стулъ и, чтобъ поправиться, сталъ вертѣть его.

Катерина оглянулась.

— Вамъ, петербургскому жителю, въ привычку поздній обѣдъ.

— Хотите сдѣлать мнѣ удовольствіе? спросилъ онъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Не поминайте мнѣ никогда о моихъ петербургскихъ привычкахъ.

— Слушаю, сказала она:—но это можетъ случиться невольно; я ихъ не знаю.

— Все равно.

Вошелъ Багрянскій, ужъ въ своемъ толстомъ пальто; усталый, онъ казался еще худѣе и желтѣе, чѣмъ поутру.

— Вотъ и прекрасно, что пожаловали, сказалъ онъ, здороваясь съ Верховскимъ:— милости просимъ покушать.

Онъ перекрестился три раза; сѣлъ на хозяйское мѣсто и сталъ раздавать горячее.

— Щи изъ молодой сныты, объяснилъ онъ, подавая тарелку Верховскому.

Верховскому показалось необыкновенно вкусно. Ему все нравилось, даже то, что хозяинъ, замѣтно голодный, нецеремонно и торопливо ѣлъ, не говоря ни слова. Дочь не заговаривала тоже; вѣроятно, таковъ былъ обычай. Когда, вслѣдъ за щами, горничная поставила на столъ кусокъ жареной говядины и салатъ, Багрянскій передохнулъ и обратился къ гостю:

— Вотъ только когда опомнился, сказалъ онъ.

— Я думаю, начавъ отъ ранней зари! отвѣчалъ Верховской.

— Дѣла! Это бы ничего. А вотъ, весь изозлишься. Страшно такая жизнь портитъ человѣка; въ конецъ сушитъ. Вы этого не знаете, господа. Вамъ тамъ подавай все готовенькое... извините.

— Я самъ совершенно такъ думаю.

— Очень радъ... А тутъ, къ дѣлу, да всякія постороннія помѣхи... Вотъ, вы все подвергаете анализу,—скажите пожалуйста, вы надъ людьми наблюдали, — что съ ними дѣлается? Иные господа и не глупы, и учили ихъ, послушайте какъ толкуютъ о разныхъ матеріяхъ, а чуть коснулось дѣла посерьезнѣе, одурѣли! Кажется, могли бы размыслить, что тутъ-то имъ и подержаться, и показать себя — нѣтъ! непритворно одурѣли. Что имъ, пріятно, что ли, быть дураками?

— Просто, пустые люди, отвѣчалъ Верховской. — Серьезное дѣло, конечно общее дѣло, а они дальше себя не привыкли смотрѣть; что шире, то ихъ конфузитъ.

— Да, но и въ конфузѣ у нихъ все-таки достаетъ смысла подставить другому ножку, возразилъ Багрянскій со злостью.

— Вѣрно, опять что нибудь Волкаревъ? спросила Катерина.

Отецъ промолчалъ.

— А что ваша покупка? обратился онъ къ Верховскому.

— Совсѣмъ кончена.

— Проворно. Какъ это успѣли? кто вамъ схлопоталъ?

— Повѣренный Запольцевой, Духановъ.

— Духановъ? Знаю. И васъ еще не совсѣмъ ограбили?

— Нѣтъ; я принялъ свои мѣры, возразилъ, смѣясь, Верховской. — Впрочемъ, еще не все кончено, разныя формальности... Но прежде всего мнѣ хотѣлось бы кончить съ казенными...

— Вы о дѣлахъ? Нѣтъ, ужъ извините; у меня привычка ихъ съ ѣдой не мѣшать. Отдохнувъ—сколько вамъ угодно.

На столъ явилось третье и послѣднее блюдо, жидкая молочная каша, до которой Багрянскій былъ большой охотникъ. Верховской не ѣлъ ея съ дѣтства и, вѣроятно потому, она показалась ему восхитительна. Катерина тщательно студила ее у себя на тарелкѣ.

— Какъ вы думаете, вдругъ тихо спросила она Верховского: — будетъ онъ это ѣсть? Кажется, еще слишкомъ малъ?

— Слишкомъ малъ... повторилъ Верховской, не зная что отвѣчаетъ.

— Кто это? спросилъ отецъ.

— Звѣрочекъ, ласково отвѣчала Катерина, и когда отецъ поднялся изъ-за стола, выждала его три большіе креста, поцѣловала его руку и убѣжала на балконъ.

— Пойдемъ и мы; что тамъ такое, сказалъ Багрянскій Верховскому. — Э, матушка, тутъ и сѣсть не приготовлено.

Катерина принесла изъ своей комнаты на балконъ маленькій столикъ и выкатывала кресло для отца. Верховской бросился помочь ей и не успѣлъ.

— Возьмите и для себя оттуда, сказала она, отыскала котенка и сѣла на ступеньки кормить его.

— Вы курите? спросилъ Багрянскій, доставая сигару. — Катерина, у тебя сегодня все въ безпорядкѣ; спичекъ нѣтъ.

— Потрудитесь взять на столѣ, въ моей комнатѣ, сказала она Верховскому.

Верховской вышелъ.

— Что ты возишься съ дрянью, сказалъ отецъ.

— Я его полюбила, отвѣчала она, оглянувшись.

— Я его велю закинуть.

— Ну, нѣтъ, возразила она, качнувъ головой, и опять отвернулась.

Верховской оставался въ ея комнатѣ, слушалъ и глядѣлъ на балконъ. Ему не хотѣлось идти туда; тамъ что-то мѣшало; онъ вѣкъ остался бы въ этой комнатѣ. Онъ, однако, воротился на свое мѣсто и, молча, подражая хозяину, смотрѣлъ, какъ дымъ уходилъ подъ деревья. Солнце было уже низко.

— Вотъ такъ-то мы и отдыхаемъ, сказалъ Багрянскій.

— Здѣсь отлично.

— Да, этотъ клочекъ и прельстилъ меня, а больше — ее; изъ-за него почти и домъ купленъ. Мнѣ осталось съ небольшимъ два года прослужить до пенсіи; надѣюсь, до тѣхъ поръ не переведутъ и не выгонятъ; можно будетъ здѣсь и вѣкъ дожить. Въ отставку, не идолопоклонничать, отъ всякаго вздора подальше, ни съ кѣмъ не знаюсь, самъ себѣ баринъ; она у меня неприхотлива.

— Ваша семья — только вы и Катерина Николаевна?

— Семья?.. Да, въ семьѣ насъ только двое.

Верховскому показалось, что Катерина сдѣлала движеніе.

— Дожить свой вѣкъ тихо, предъ Богомъ безъ грѣха, передъ честными людьми безъ стыда, продолжалъ Багрянскій будто въ раздумьи:—вотъ одно, чего прошу у Бога... не всякому это благо дается! Быть въ мирѣ съ самимъ собою, а ужъ въ пріязни съ людьми — гдѣ тамъ!.. Лишь бы не краснѣть передъ ними...

Катерина встала.

— Куда ты?

— Меня зовутъ, отвѣчала она.

— Вотъ записка отъ губернаторши, жандармъ привезъ, сказала, входя, горничная.

— Что еще... выговорила Катерина.

Отецъ взялъ цвѣтной разорванный конвертикъ съ эмблематической облаткой.

— Какія элегантности. Что такое, матушка?

— Я понять не могу, отвѣчала, нетерпѣливо читая, Катерина.

M-me Волкарева писала, что утомлена, нездорова, и что, конечно, дорогая Catherine не огорчитъ ее отказомъ провести у нея вечеръ; видѣвшись вчера, хочется свидѣться и сегодня, также какъ «l'appetit vient en mangeant...» M-me Волкарева извинялась въ этой тривіальной поговоркѣ жалобами на супруга, запоздавшаго къ обѣду, и на супружескій долгъ, обязывавшій дожидаться... «Вы не хотите признать надъ собой этого долга, вы отвергаете бурное чувство любви, покоритесь хоть тихому призыву дружбы...»

— Она съ ума сошла! вскричала Катерина, бросая записку.

Она была такъ уморительно похожа на разсерженнаго ребенка, что отецъ вмигъ повеселѣлъ и расхохотался; Верховской тоже, хотя ему хотѣлось не смѣяться, а расцѣловать эти прелестныя раскраснѣвшіяся щеки.

— Чего ты, злая? сказалъ отецъ:—что такое? Можно прочесть?

— Читайте.

— Что-жъ особеннаго? продолжалъ Багрянскій, не понявъ намековъ записки.— Дружба, черезъ дежурнаго жандарма, приглашаетъ тебя къ себѣ въ объятія. Черезъ полчаса одѣвайся и ступай.

— Я, право, не понимаю! возразила Катерина:—изъ чего эти нѣжности? Къ вамъ нельзя подольститься, такъ ко мнѣ... Вообразите, обратилась она къ Верховскому:—вотъ, этотъ балъ вчерашній. Задумала везти меня. Я такихъ записокъ цѣлую кучу вымела. Сама явилась. Наконецъ, что же... я все отговаривалась отцомъ: его ужъ не вытащишь!.. въ другой разъ пріѣхала, вотъ такъ въ сумерки, застала насъ вотъ здѣсь...

— И какъ была очаровательна! прервалъ Багрянскій:—«довѣрьте мнѣ вашу милую дочь...» Я не устоялъ!

— И прекрасно сдѣлали, сказалъ Верховской.

— Кажется, этого и довольно, я была вчера... продолжала Катерина.

— А сегодня тебя зовутъ запросто.

— Но съ нею тоска!

— Что за отговорка? Тебѣ оказываютъ пріязнь...

— Но что-жъ это за лицемѣріе? вскричала Катерина.—Волкаревъ васъ ненавидитъ ни за что, за то, что вы есть,—что всего хуже! мѣшаетъ вамъ въ чемъ только можетъ, готовъ вредить, и повредитъ... Сегодня,—я знаю, я увѣрена! ужъ былъ у васъ отъ него какой нибудь крючокъ въ палатѣ!—а вечеромъ ласкать меня? Да я не хочу! мнѣ это гадко! я не хочу, чтобъ они посмѣли одну минуту вообразить, будто могутъ меня заласкать! Не хочу! Я знаю, чего они надѣются: прослышали, что я переписываю ваши письма, такъ не проболтаюсь ли...

— Ну, матушка, залетѣла, прервалъ съ досадой отецъ.—Твоя воля думать, что тебѣ угодно, а что должно дѣлать, то дѣлай, чтобы все съ вида было въ порядкѣ и не къ чему привязаться...

— Не къ чему привязаться, если я и вовѣки не буду у этой барыни!

— Такъ! Чтобъ всѣ закричали, что тебя на порогъ не пускаютъ! У Волкаревыхъ свѣтлѣйшіе въ роднѣ, а вѣдь ты... не отъ Константина-Багрянороднаго! договорилъ онъ со злостью и вмѣстѣ съ вызывающей насмѣшливой гордостью.

— Такъ что же?

— Ступай, одѣвайся.

Она хотѣла что-то сказать, вдругъ удержалась, только поглядѣла ему въ лицо и пошла.

— Постой. Подай мнѣ прежде сюда спасскій планъ и сказку. Вы хотѣли справиться? обратился онъ къ Верховскому.

Верховскому казалось, что передъ нимъ прошумѣлъ вихрь. Его отуманило. Катерина принесла бумаги, положила ихъ на столъ, подняла своего котенка и опять вышла все молча. Верховскому хотѣлось побѣжать за ней. Потомъ онъ сказалъ себѣ, что непремѣнно все сдѣлаетъ для этихъ крестьянъ, потому что она этого хочетъ. Дѣло не шло ему на умъ, говорить съ Багрянскимъ было противно, но Верховской заговорилъ о дѣлѣ. Багрянскій тоже какъ-то неохотно слушалъ и отвѣчалъ.

Это не продолжалось и получаса, хотя Верховскому показалось гораздо больше. Въ комнатѣ послышался шорохъ легкаго пышнаго платья и вошла Катерина, нарядная, вся въ бѣломъ.

— Прощайте, батюшка, сказала она, подходя къ отцу.

— Господь съ тобой.

Онъ чинно сталъ крестить ее, и, кончивъ, вдругъ неловко схватилъ ея руку и прижалъ къ губамъ. Она тихо ахнула и тихо, по-дѣтски, къ нему припала. Онъ крѣпко, порывно цѣловалъ ее въ лицо и въ голову.

— Вся изомнешься... выговорилъ онъ, наконецъ, будто ворчливую шутку, будто извиненіе предъ постороннимъ, о которомъ только что вспомнилъ.—Вся вспутаешься... вотъ!

Это былъ предлогъ еще погладить ея волосы.

— Какъ же ты отправишься?

— Свѣтло, я дойду одна; теперь только девять, отвѣчала она тихо, еще вся взволнованная, и посмотрѣла на миленькіе часы у своего пояса:—а въ одиннадцать, я просила Машу придти за мной. Прощайте.

Верховской ждалъ, что она подастъ ему руку; она не догадалась; онъ хотѣлъ сказать, что еще увидитъ ее сегодня, но это показалось ему неловко; онъ взглянулъ и на свои часы, свѣряя время и разсчитывая, что ему нужно зайти домой, переодѣться.

— Пойдемте ее проводить, сказалъ вставая отецъ.—А послѣ, пойдемъ ко мнѣ въ кабинетъ; тамъ дѣла лучше дѣлаются.

Дѣла, въ самомъ дѣлѣ, пошли чрезвычайно быстро; хозяинъ оживился. Верховской получилъ подробныя наставленія, какъ снестись съ посредникомъ, съ уполномоченнымъ, чтобы скорѣе получить приговоръ крестьянъ, и снова представить все дѣло въ палату.

— А въ палатѣ, даю вамъ слово, я не задержу и трехъ дней, заключилъ Багрянскій:—мнѣ самому это дѣло на шеѣ сидитъ. Но, прежде всего, вы еще не введены во владѣніе...

— Это я сейчасъ устрою, сказалъ Верховской, вставая, будто его осѣнила мысль:—сейчасъ ѣду къ Волкареву и прошу его содѣйствія.

— И превосходно. Очаруйте его—все будетъ сдѣлано.

— И ужъ кстати, когда я поѣду туда для ввода во владѣніе, позвольте мнѣ самому отвезти уполномоченному планъ и ваше предписаніе, чтобъ не терять времени съ почтой.

— Пожалуй, извольте. Вы, какъ я замѣтилъ, не любите проволочекъ.

— Ненавижу.

— Это по-моему!

— А потому, въ самомъ дѣлѣ, чтобъ мнѣ успѣть очаровать Волкарева...

Онъ не зналъ, какъ скорѣе проститься и почти бѣжалъ по пустому переулку, бѣсясь, что не встрѣчалъ извозчика. До гостиницы было не близко.

V.

Въ этотъ вечеръ у m-me Волкаревой было людно, освѣщено и даже оживленно. Въ залѣ толпились офицеры и прохаживались дѣвицы. Съ одной изъ нихъ прапорщикъ Соколовъ спѣлъ дуэтъ у рояля, послѣ чего m-me Волкарева упросила ее сыграть хоть вальсъ, чтобъ доставить удовольствіе молодежи. Дѣвица была не молода и вальсъ выходилъ какой-то задумчивый, а потому, на хорахъ скоро запестрѣли мундиры музыкантовъ. Здороваясь съ хозяйкой подъ грохотъ польки, Верховской замѣтилъ, что никакъ не думалъ попасть опять на балъ.

— On me gâte! отвѣчала m-me Волкарева.—Они такъ добры, эти военные. Мы прощаемся; они уходятъ завтра на зарѣ. Вы не хотѣли быть на проводахъ!

— На какихъ?

— Какъ же, сегодня, въ шесть часовъ, мы всѣ ѣздили къ заставѣ, ихъ угощали. Но гдѣ-жъ вы были? Vous avez l'air de venir de l'autre monde. Въ самомъ дѣлѣ, какъ вы провели день?

— Во снѣ, отвѣчалъ Верховской, оглянувшись на бѣлое платье, которое промелькнуло близко.

— Во снѣ?

— И въ гражданской палатѣ.

— Да, мнѣ говорилъ мужъ...

— Мнѣ нужно сказать вашему мужу...

— О дѣлахъ? Боже, оставьте эти дѣла! Нѣтъ, я, въ самомъ дѣлѣ начинаю вѣрить, что мужчины не то, что грубы, je ne dis pas tout-à-fait... Кому вы кланяетесь?

— Mademoiselle Багрянской.

— Вы знакомы? давно ли?

— Сегодня былъ у ея отца.

— Une étrange personne... чего она еще ждетъ?.. Да, что же я говорила? Вы, мужчины, всегда заняты только своимъ; вамъ нѣтъ дѣла до тревоги другихъ; вы какъ-то умѣете прятать чувство... Мнѣ сегодня вы были необходимы. Послушайте...

— Что вамъ угодно?

— Ахъ, нѣтъ, теперь не могу. Завтра. Завтра жду васъ. Или нѣтъ, лучше, вотъ что: мнѣ хотѣлось бы проводить полкъ. Я пью воды, я встану на зарѣ. Вы тоже дѣлаете раннія прогулки; ждите меня у бульвара, я пріѣду и поѣдемъ вмѣстѣ... Не говорите никому... Я хочу сдѣлать имъ сюрпризъ. Я приготовила образокъ Митрофанія... кому нибудь, всѣмъ въ лицѣ одного. Какъ вы думаете, неловко отдать его полковнику? какъ-то офиціально, нѣтъ того je ne sais quoi de coeur?..

— Да...

— Такъ видите... продолжала она, слѣдя за его разсѣяннымъ взглядомъ: — ah, mon Dieu, да не ищите же моего мужа! его легко найти, когда извѣстно, гдѣ m-me Горнова... Я думаю отдать образокъ одному изъ моихъ адъютантовъ, Цѣховичу. Vous savez, ce grand jeune homme brun, toujours si pâle; онъ очень несчастенъ... Вотъ онъ машетъ музыкантамъ,—видите?.. Можетъ быть, мое благословеніе... Seulement, je ne sais, il est, je crois, catholique...

— Не знаю.

— Ахъ, пожалуйста, узнайте. Въ Лѣсичевѣ я отчаялась... Ахъ, но вотъ цѣлая драма! Онъ вамъ не говорилъ?

— Ничего.

— И мнѣ тоже, но взглядъ, движенія — откровеннѣе словъ. Я догадываюсь, что съ нимъ, я вамъ скажу...

— Извините, прервалъ, подходя, одинъ еще молодой, щеголеватый и красивый совѣтникъ, un homme d'une grande éducation, какъ говорила о немъ m-me Волкарева и редакторъ N-скихъ губернскихъ вѣдомостей:— статья готова; не угодно ли вамъ взглянуть? Я велѣлъ придти автору. Такъ какъ вы приказали поторопиться...

— Ахъ, да. Гдѣ же статья?

— Я оставилъ Алексѣю Владиміровичу; онъ находитъ...

— Боже мой, что еще онъ находитъ? Вѣчныя противорѣчія! вскричала m-me Волкарева.—M-r Верховской, voulez-vous venir...

Верховской не заставилъ себя просить и пошелъ за нею въ гостиную; онъ видѣлъ за минуту, что Катерина прошла туда же. Но онъ видѣлъ тоже, что у нея въ рукѣ сверкнули ея часы и взглянулъ на свои: было одиннадцать. Онъ отсталъ отъ губернаторши. Мимо него прошелъ Лѣсичевъ, необыкновенно мрачный. Верховскому ужасно захотѣлось смѣяться.

— Евгеній Ивановичъ, что такъ сердито?

— А, это вы. Ничего. Приказано тамъ еще собрать плясать.

— И сами будете?

— Почему же нѣтъ?

— Съ кѣмъ?

— Что вамъ разсказывала сейчасъ эта госпожа?

— Право, не помню.

— Обо мнѣ?

— Нѣтъ.

— Тѣмъ для нея лучше. Тутъ и не оглянешься, какъ засядешь въ сплетню. Нѣтъ, вы, пожалуйста, не думайте, что я въ отчаяніи.

Они разошлись. Въ залѣ раздалась кадриль, а въ гостиной Верховской наконецъ догналъ Катерину.

— Вы не вообразите, какъ я радъ, хоть на одну минуту! говорилъ онъ.

— А я сейчасъ бѣгу, отвѣчала она. — Я узнала: моя Маша ужъ здѣсь, и я, не простясь...

— Постойте... хоть слова два.

Они прошли гостиную и были въ «интимномъ пріютѣ». Пріютъ освѣщался однимъ таинственнымъ, весьма непріятнымъ фонарикомъ съ потолка; въ углу, уединясь, сидѣли двѣ барыни и безъ умолку шепотомъ сплетничали.

— Тамъ было жарко, вамъ идти далеко, говорилъ Верховской: — отдохните здѣсь.

— Это, пожалуй, такъ.

Она подошла къ отворенному окну.

— Какая ночь тихая.

— Какой день былъ прелестный! сказалъ онъ. — Я вамъ обязанъ этимъ днемъ. Скажу вамъ прямо: я не знаю, что со мной сдѣлалось: я другой человѣкъ. Ваша жизнь, ваша обстановка, вы сами, — вы то мнѣ напомнили, то во мнѣ воскресили... Я вамъ все разскажу... Видите, въ васъ какая-то сила, какое-то добро; вы сами не чувствуете, какъ его раздаете. Все равно, что огонь, чѣмъ больше отдаешь, тѣмъ его больше. Жизнь темна... вообразите это. Вы видали, — изъ церкви иногда выходятъ богомольцы, несутъ къ себѣ домой зажженныя свѣчи; у кого погаснетъ — другой не дастъ, бережетъ свою, скупо, жадно зажимаетъ ее ладонью; огонь изъ-подъ пальцевъ красный, мутный; лица озабоченныя, злыя... Кому радость отъ ихъ огня? Что донесутъ и поставятъ къ образамъ! И на молитвѣ не войдетъ имъ въ голову, что они отказали въ свѣтѣ тому, кто просилъ его у нихъ!.. Вы мнѣ не отказали въ свѣтѣ... Конечно, вокругъ меня не тьма, но вотъ какой-то блѣдный, холодный сумракъ, какъ эта ночь, гдѣ нѣтъ ни искорки...

— Неправда, не браните ночь, прервала она: — вы, вѣрно, плохо видите; вонъ — вонъ, пониже, одна двѣ, и еще, всѣ семь — Большая-Медвѣдица.

Она обернулась къ нему и встрѣтила его взглядъ.

— Не думайте, чтобъ я васъ не слушала, но теперь говорить некогда. Дайте мнѣ уйти, чтобъ никто не видалъ. Прощайте.

Она выговорила это шепотомъ и вышла такъ скоро, что Верховской не успѣлъ сказать слова. Идя за нею, въ дверяхъ гостиной, онъ встрѣтилъ хорошенькую m-me Горнову.

— Васъ ищутъ, сказала она, я знала гдѣ вы и не выдала.

— Кому?

— Неужели, для того чтобъ быть благодарнымъ, нужно знать, какъ была велика опасность?.. О, madame Волкарева права, когда говоритъ...

— Она никогда не права, сказалъ Верховской, глядя, какъ Катерина скрылась въ дверяхъ.

— Можетъ быть, m-me Волкарева права теперь; васъ затѣмъ искали, чтобъ вы это рѣшили. Вотъ послушайте.

За трельяжемъ, у стола столпилось общество и шелъ споръ между m-me Волкаревой и самимъ Волкаревымъ; присутствующіе раздѣлились на двѣ партіи, хотя мнѣнія выражались, по большей части, междометіями. Среди говора, совѣтникъ-редакторъ что-то внушительно объяснялъ безмолвному некрасивому молодому человѣку. Это былъ авторъ статьи о балѣ и проводахъ полка, назначавщейся въ неофиціальный отдѣлъ N-скихъ вѣдомостей. По приказанію ихъ превосходительствъ, онъ въ теченіе сутокъ въ третій разъ передѣлывалъ свою статью.

— Je dis que ce vers: «Долой мечеть съ двурогою луною» doit servir de canevas... на немъ вся идея, поясняла m-me Волкарева.

— Едва вы кладете туда ваши поэтическіе образы — это ужъ не то! восклицалъ Волкаревъ.

— Mais, mon ami, это стихотвореніе сдѣлало фуроръ...

— Все равно!

— И я его имъ прочла...

— Все равно! c'est du sensible, du langoureux...

— Ахъ, ты споришь!.. Это «долой» такъ энергично! Это всѣмъ общее чувство. Ненависть къ Турціи такъ велика... Они говорили мнѣ... но, вотъ, эти господа слышали: никто не куритъ папиросъ изъ турецкаго табаку!

— Est-il possible? раздались голоса.

— Vraiment. Ненависть смертельная... Тутъ нѣтъ ничего смѣшного! гнѣвно обра-

тилась она къ одному юношѣ, неосторожно выразившему свои чувства.

Онъ поспѣшилъ скрыться за трельяжъ.

— Ненависть смертельная! энергично повторила m-me Волкарева.

— Потому я и предлагаю...

— Mais, ma chère, это родное, національное...

— Вчера, когда я сказала, что для красоты праздника недостаетъ только луннаго свѣта, мнѣ отвѣчали: «Долой мечеть...»

— Ахъ, матушка, это отвлеченное! Кто любуется луною...

— Вы любуетесь луною? спросилъ Верховской m-me Горнову.

— Никогда.

— Не патріотично?

— Просто не люблю. Мертвецъ, котораго мы тащимъ за собой,—ужасъ!..

Она пожалась, будто вздрагивая.

— Я жить хочу и чтобъ всѣ жили, всѣ мои ближніе... Какое у васъ сегодня хорошее лицо, m-r Верховской. Это меня радуетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Но пойдемте, поддержимъ немножко этого бѣднаго Алексѣя Владиміровича; онъ погибаетъ.

— Я говорю, что всего лучше въ нашемъ простомъ, русскомъ складѣ, возвысилъ свой голосъ Волкаревъ:—«нашъ бѣлый калачъ», «наша добрая русская чарка»...

— Нѣтъ, quelle idée! Ce n'est pas gracieux! Вѣдь это прочтутъ въ Москвѣ!—Нѣтъ, раздалось хоромъ за губернаторшей.

— Нѣтъ рѣшено! передѣлайте, какъ я сказала, и печатайте! заключила она.

Волкаревъ увидѣлъ m-me Горнову

— Est vous, madame, votre avis?

— Certainement pour la чарка! отвѣчала она.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Въ селѣ Спасскомъ дѣлались приготовленія къ пріѣзду помѣщицы. Огромный домъ, убранный, драпированный, съ паркетами и люстрами, съ мебелью и роялемъ, со всѣмъ необходимымъ — отъ постелей до кухонной посуды, приводится въ порядокъ; въ цвѣтникѣ подстригался дернъ и чистились дорожки; въ оранжереяхъ считались ягоды на кустахъ земляники и готовились деревья для убранства комнатъ. Духановъ, котораго Верховской взялъ съ собой на вводъ во владѣніе, расхаживалъ и распоряжался, совершенно счастливый. Онъ вытребовалъ къ себѣ управляющаго и строго подтвердилъ ему о порядкѣ, объясняя конфиденціально, чтобъ не очень всѣ разсчитывали на благодушіе барина, который, казалось, ни на что не обращалъ вниманія; что настоящее — еще впереди; что это не баринъ, а, вотъ, пріѣдетъ барыня.

Верховской былъ занятъ формальностями дѣла, ѣздилъ къ посреднику по дѣлу казенныхъ крестьянъ и провелъ эти дни въ такихъ хлопотахъ, что не заботился посмотрѣть, что дѣлаетъ его товарищъ. Онъ взялъ Духанова въ деревню въ смутномъ соображеніи, что онъ можетъ пригодиться, слышалъ издали, какъ онъ покрикивалъ, и не противорѣчилъ: вступиться — значило бы самому приняться за хлопоты, а Верховскому было некогда. Онъ не зналъ, какъ скорѣе воротиться въ N*. Онъ разсчитывалъ, что теперь, узнавъ, что уже все кончено, Лидія Матвѣевна не замѣшкаетъ въ Москвѣ, что до ея пріѣзда осталось едва нѣсколько дней. Нетерпѣніе скорѣе кончить тутъ и успѣть пробыть въ N* хоть эти нѣсколько дней, дѣлало Верховского разсѣяннымъ ко всему остальному. Онъ никогда не жилъ съ народомъ и не умѣлъ говорить съ нимъ, а теперь — еще менѣе. Онъ, молча, отвѣчалъ поклонами на поклоны и похваливалъ, что все прекрасно. Управляющій доложилъ ему, что дворовые почти всѣ мастеровые, столяры, ткачи, даже есть одинъ парикмахеръ. Верховской сказалъ, что этимъ распорядится Лидія Матвѣевна и что пускай они представляются ей. Онъ только разрѣшилъ двѣ свадьбы, которыхъ не позволяла прежняя госпожа, но приказалъ, чтобъ онѣ были спразднованы какъ можно скорѣе, на этой же недѣлѣ, и вдругъ объявилъ, что могутъ вѣнчаться въ Спасскомъ всѣ желающіе, крестьяне и дворовые, но только непремѣнно на этой же недѣлѣ.

Его выслушали въ недоумѣніи, а Духановъ засмѣялся.

— Это вы хотите сюрпризъ Лидіи Матвѣевнѣ? спросилъ онъ: — сочетать влюбленныхъ?

— Да, пожалуй, отвѣчалъ Верховской.

— Только, вотъ что, знаете... Имъ, — то

есть, Лидіи Матвѣевнѣ, — это можетъ быть непріятно, зашепталъ Духановъ, идя за нимъ по комнатамъ: — знаете, женатый — ужъ не работникъ... да и рекрутчина тоже...

«И этотъ туда же»... подумалъ Верховской и опять повернулъ въ переднюю, откуда еще не разошелся народъ. — Вѣнчайтесь, братцы: я скажу батюшкѣ и свадьбы на мой счетъ. Съ Богомъ!

Что-то странное, не то воспоминаніе, не то чувства, не то нервы взволновались въ немъ, когда онъ выговорилъ послѣднее слово.

— Совѣтъ любовь, жена помощница — первое дѣло, продолжалъ онъ:—а тамъ, что Богъ дастъ. Еще въ этомъ-то вамъ себѣ отказывать!.. Но только безъ разсчета и безъ принужденія. Дѣвушекъ не неволить, а молодежи на деньги не смотрѣть.

— Какія деньги-то у насъ... всѣ равны, раздался голосъ издали кружка.

— И то правда; васъ Богъ отъ грѣха избавилъ, договорилъ Верховской, уходя опять.

Онъ сошелъ въ садъ и бродилъ тяжело задумавшись, не глядя, по незнакомымъ дорогамъ. Ему послышались голоса, поцѣлуи. Дворовая дѣвушка, немолодая, некрасивая, цѣловала своего тоже немолодого жениха, которому прибѣжала сказать нечаянную радость. Оба смутились.

— Поздравляю, сказалъ, улыбнувшись, Верховской.

Они бросились цѣловать его руки. Что-то горячее, острое какъ боль, захватило ему грудь; онъ отчаянно обнялся съ этими счастливцами.

— Баринъ, вѣдь пятнадцатый годъ ждали! повторяли они, среди слезъ: — а вотъ, привелъ Господь, дождались!

Они разсказывали несвязно; онъ слушалъ полупонимая подробности замученной жизни, напрасной молодости, но онъ видѣлъ, что воскресала жизнь, зацвѣтала молодость... надолго ли, не на новую ли, еще болѣе тяжкую муку вдвоемъ — эти люди не думали и не спрашивали.

— Вотъ вы гдѣ, Андрей Васильевичъ! закричалъ, подходя, Духановъ: — ну, ужъ теперь, любовь завелась, надо саду поклониться; работать некогда.

На счастье, садовникъ былъ не одинъ. Верховской сбирался ѣхать и потому уступилъ просьбамъ Духанова и обошелъ посмотрѣть, какъ тотъ распорядился уборкой дома. Духановъ восхищался, какъ будто это была его собственность.

— Все, что угодно, есть! Полная чаша, — приходи и живи! Вотъ, Андрей Васильевичъ, мы какую штучку съ вами обдѣлали! Я тутъ хлопочу — дамскія комнаты, уголочки. Вы скажите, такъ ли по ихъ вкусу...

Верховской не зналъ вкусовъ своей жены. Но онъ легко замѣтилъ, что комнаты были убраны похоже на то, къ чему его глаза привыкли въ теченіе десятка лѣтъ: большой просторъ для гардероба, много дивановъ для лежанья; загороженныя окна, гдѣ нельзя присѣсть съ работой; крошечные столики, дрожащія этажерки, неспособныя вынести тяжести книгъ; ни даже мѣстечка для пятнышка чернилъ, — все драпированное, все застланное, все среди комнаты. Верховской подумалъ, что Духановъ въ самомъ дѣлѣ «великая полезность», что ему самому такъ не разставить бы ничего во вѣки, и выразилъ, что Лидія Матвѣевна будетъ ему очень благодарна.

— Надѣюсь заслужить, Андрей Васильевичъ. А потому позвольте мнѣ ужъ здѣсь остаться до ихъ пріѣзда. Еще не все; безъ себя нельзя; управляющій—мѣщанинъ, что онъ понимаетъ... Конечно, я человѣкъ не изъ высшаго круга, но все же видалъ, и я чувствую снисхожденіе, что я допущенъ...

Верховской не понималъ, что, за свои угожденія, чиновникъ набивается быть приглашеннымъ на знакомство. Верховской подумалъ, что онъ ждетъ подарка. Предложить деньги—неловко. Дѣльцовъ принято дарить «вещами» и для этого спеціально существуютъ вызолоченныя стопы и ящики съ однимъ вызолоченнымъ столовымъ приборомъ; но Верховскому показалось какъ-то брезгливо готовить подарокъ для Духанова. Такъ что-жъ ему дать? Натурою, деревенское? Корову, что ли?

— Вы семейный человѣкъ? Живете своимъ домомъ? спросилъ Верховской.

— Нѣтъ еще, Андрей Васильевичъ, средствъ не имѣю. Я себя продешевить не хочу, Андрей Васильевичъ. Я теперь, если могу жениться, то развѣ изъ купечества взять, а если дворянку, то такъ, какую нибудь, небогатую. Это ужъ что такое, за что же мнѣ себя ронять? куда ее покажешь...

Онъ договаривалъ это на крыльцѣ, пока Верховской садился на перекладную.

Былъ уже вечеръ, когда онъ въѣхалъ въ N*. Съ какимъ-то удовольствіемъ онъ почувствовалъ толчки мостовой, увидѣлъ покривившіеся столбы безъ фонарей, дома уже

знакомые, тротуары, утоптанные вровень съ улицей, темныя фигуры запоздалыхъ гуляющихъ. Все будто родное, будто ждетъ здѣсь кто-то, и надо спѣшить скорѣе, скорѣе, чтобъ не измучить ожиданіемъ... Верховской мчался и торопилъ: на дворѣ было жарко, а онъ надвинулъ фуражку, поднялъ воротникъ пальто, кутаясь и забавляясь тѣмъ, что прятался. Вотъ большой домъ Волкаревыхъ; въ «пріютѣ» мерцаетъ фонарикъ; окно отворено... ея превосходительство въ одиночествѣ не любуется ли природой?.. Какое счастье—никого у окна, никто не видѣлъ...

Его комната въ гостиницѣ показалась ему такой уютной. Какая славная здѣсь прислуга; все вмигъ готово. На столѣ лежали два письма; онъ узналъ ихъ издали и не тронулъ, перемѣнилъ свое запыленное платье и сказалъ, выходя:

— Если кто нибудь ко мнѣ зайдетъ, скажите, что я еще не пріѣзжалъ.

— Вѣроятно, никто не зайдетъ, возразили ему:—теперь ужъ поздно.

Верховской только тутъ замѣтилъ, что, въ самомъ дѣлѣ, по N-скому поздно; можно, пожалуй, посѣтить только m-me Волкареву. Онъ, однако, не воротился домой и не пошелъ на большую улицу. Онъ даже и не гулялъ, а шелъ скоро, будто за дѣломъ. Было темно, тихо, пыльно, въ переулкахъ не проходило человѣка. Сонный городъ хуже пустого поля: есть жизнь — и замерзла, есть духъ—и молчитъ; существованіе сказывается стукомъ калитки, запираемой отъ вора, нескладной пѣсней, хриплымъ голосомъ городового, грохотомъ кареты, на которую мечутся заспавшіяся собаки... Верховской шелъ, забывъ прелесть полей, которыя видѣлъ только поутру, и радуясь, что никого не встрѣчалось. У него въ душѣ было что-то похожее на эту ночь съ темнымъ сводомъ и золотой окраиной,—памятью свѣта, который былъ, надеждой свѣта, который настанетъ. Сердце изнывало отъ томленья и тревоги; въ головѣ перебивалась путаница мыслей и не было возможности успокоиться, остановиться, одуматься.

«Я не мальчикъ...» говорилъ онъ себѣ и шелъ все дальше, какими-то незнакомыми мѣстами.

Большой, запертый, видимо необитаемый домъ; за нимъ заборъ. Высокія черныя деревья на просвѣтѣ неба. Еще заборъ, заросшій дикой акаціей. Верховской вдоль его повернулъ за уголъ, на улицу, и тутъ невольно пошелъ тише; у него подкашивались ноги.

«Я не мальчикъ...» повторилъ онъ, оглядываясь на акаціи, и вдругъ обрадовался: со стороны улицы, для презентабельности, былъ уже не заборъ, а рѣшетка; правда, акація ее густо загораживала, но оставались промежутки. Сквозь нихъ мелькалъ огонь. Балконъ былъ отворенъ: изъ комнаты тянулся свѣтъ, угловато переламываясь на ступенькахъ; на нижнихъ вѣткахъ стараго клена освѣщенные тяжелые листья блестѣли будто металлическіе. На балконѣ былъ кто-то; тамъ вспыхнула спичка. Изъ комнаты раздавался голосъ; что-то читали. Кругомъ было такъ тихо, что Верховской могъ бы слышать все до слова, если бы у него не стучало сердце.

Онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, отошелъ отъ рѣшетки, но сдѣлалъ это потому только, что услышалъ, какъ отворялась дверь подъѣзда. На крыльцо вышла горничная.

— Господа дома? спросилъ ее Верховской, подходя.

— Дома.

— Принимаютъ?

— Пожалуйте; тамъ отперто, отвѣчала она съ недоумѣніемъ, вглядываясь, узнавая поздняго гостя, и, пропустивъ его войти, не пошла о немъ докладывать.

Верховской вошелъ одинъ въ темную прихожую, изъ нея въ знакомую темную гостиную и остановился на порогѣ второй комнаты.

Катерина сидѣла тамъ у дверей балкона, облокотясь на маленькій столикъ, передъ свѣчою, и читала, замѣтно стараясь громче:

«Der Abgeschiedne lebt uns...»

— Что-жъ замолчала? спросилъ Багрянскій съ балкона.—Кто тамъ?

— Гость, отвѣчала она.

— Кто?

— Я, отвѣчалъ Верховской тоже громко, идя къ нему.

Онъ еще не опомнился. Кажется, его спросили, когда онъ пріѣхалъ изъ деревни; онъ отвѣчалъ и сталъ извиняться, что, гуляя, зашелъ такъ поздно.

— Вѣрно, послѣ деревенскаго воздуха, не сидѣлось въ комнатѣ? привѣтливо досказалъ за него Багрянскій. — А къ намъ забрели, вѣрно, на огонекъ? Доброе дѣло, а то я васъ еще долго не увидѣлъ бы. Я часа черезъ два уѣзжаю въ уѣздъ; только жду одного человѣка. Ложиться ужъ не стоитъ. Иди сюда, Катерина.

— Вы читали? спросилъ Верховской.

— Старину перечитываемъ, отвѣчалъ отецъ.—Садитесь, разскажите, какъ съѣзди-

ли... Да, прежде всего: вашу спасскую дачу я сегодня утромъ утвердилъ и имѣю честь васъ поздравить съ убыткомъ, какъ вы желали.

Говоря это, онъ весело потрясалъ ему руку.

— Откровенно скажу вамъ, Андрей Васильевичъ,—вы сдѣлали только должное, но могли бы его и не дѣлать, васъ не осудили бы, и вамъ оно не дешево стало. Посмотришь кругомъ — столько на свѣтѣ нехорошаго, что, какъ вотъ этакой случай встрѣтится, и обрадуешься, скажешь—свой человѣкъ. Жизнь не легко достается... право, не тѣмъ, что денегъ мало, а дурныхъ людей ужъ слишкомъ много. Такъ, душевно тратишься: оглянешься иногда... Да, что! я ужъ старикъ; вотъ вы, человѣкъ молодой, а ужъ, конечно, тоже всякое видали. Пробовали когда нибудь свести такіе счеты?..

Верховской слушалъ сначала смутно, но понемногу разговорился, разсказывалъ, что зналъ и видѣлъ изъ общественной жизни. Багрянскій въ свою жизнь, начатую рано, трудно, бѣдно, зналъ и видалъ еще больше. Онъ какъ-то забавлялся, удивляя Верховского разсказами о темныхъ дѣлахъ и продѣлкахъ, о подвигахъ несправедливости, злобы, продажности, казалось бы невозможныхъ, но не только сходившихъ съ рукъ, а увѣнчанныхъ полнымъ успѣхомъ. Онъ раскрывалъ тайны разныхъ быстрыхъ возвышеній, тысячныхъ кражъ, примѣры неожиданныхъ паденій, приводилъ анекдоты о ловкости и оборотливости изумительной. Верховской еще никогда не встрѣчалъ такого запаса свѣдѣній и знанія по этой части. Въ его чиновничьемъ кругу въ Петербургѣ, можетъ быть, это было извѣстно, можетъ быть объ этомъ говорилось, но Верховской не прислушивался. Въ его обществѣ, особенно крупные факты передавались какъ новость и имѣли значеніе только въ свою настоящую минуту, или когда бывали въ связи съ другими подобными фактами; объ ихъ нравственномъ значеніи не говорилось никогда; случалось, они возбуждали насмѣшку, чаще всего принимались снисходительно. Обезпеченное общество жило легко, интересовалось насущнымъ; никакіе факты его не поражали и не имѣли на него нравственнаго вліянія. Верховской кружился въ этомъ обществѣ; все, что пробѣгало въ мысли — оставалось неразобраннымъ, смутнымъ впечатлѣніемъ. Разбираться было трудно, некогда и не съ кѣмъ. Чаще всего, ощущеніе собственнаго одиночества сантиментально наталкивало только жалѣть о себѣ, злобно сторониться отъ однихъ людей и мечтать о существованіи другихъ, своихъ. Случалось встрѣчаться съ людьми, казалось бы, тоже смутно недовольными; съ ними говорилось, говорилось долго, и все-таки чувствовалось, что ихъ слова не поддержали, не направили, даже ничего не выяснили; они тоже сами какъ будто видѣли все сквозь туманъ и, негодуя, довольствовались тѣмъ, что хорошо негодовали. Верховской подмѣчалъ это, но не подмѣчалъ, что дѣлалъ тоже, довольствовался тѣмъ же... Въ настоящую минуту у него былъ совсѣмъ не такой собесѣдникъ. Багрянскій не удовлетворялся только тѣмъ, что выражалъ свое негодованіе на проступки людей, свое омерзѣніе къ людямъ, что слѣдилъ до малѣйшихъ подробностей ихъ паденія, будто наслаждаясь, что имъ нѣтъ оправданія,—онъ грозно, безпощадно предсказывалъ далекія послѣдствія, какъ неминуемо разовьется настоящее зло, какими оттѣнками въѣстся оно въ жизнь другого поколѣнія, какъ отзовется тамъ, гдѣ и не ожидаютъ... ужасающая, безнадежная безконечность зла! Онъ заставлялъ себя говорить спокойно и не могъ, раздражался — не своими собственными словами, какъ бываетъ съ людьми слабыми, — а тяжкимъ чувствомъ, для котораго не находилъ даже опредѣленія.

— Душитъ, душитъ!.. вырывалось у него не разъ.—И положиться не на кого, понадѣяться не на что! Умрешь, и будешь знать, что и послѣ тебя все то же! Корысть, неправда, безнаказанность, и нѣтъ имъ конца!

— Долженъ быть, возражалъ Верховской: — невыносимо, значитъ, конецъ близокъ.

— Вы надѣетесь?

— Надѣюсь! Когда мы не станемъ прятать нашего зла...

— Гдѣ-жъ оно спрятано, кто-жъ его не видитъ? прервалъ Багрянскій. — Срамъ на всю вселенную! Сами не видимъ, потому что не хотимъ...

— Мы должны говорить, не скрываясь...

— Праздныя рѣчи?

— Наши мнѣнія!

— Я слыхалъ говоруновъ, Андрей Васильевичъ... Какъ сюда, на шею, дали — всю тоску какъ рукой сняло!

— Что-жъ это за люди! Нѣтъ, такіе люди, чьи слова разбудили бы совѣсть...

— У кого она есть, въ томъ не засыпаетъ, прервалъ строго Багрянскій.

— Не совѣсть, вѣрнѣе, — сознаніе; люди часто не вѣдаютъ, что творятъ...

— Охъ, какъ вѣдаютъ! Но не вѣдать выгодно!..

— Но когда заговорятъ и напомнятъ о долгѣ люди, недумающіе о выгодахъ, люди съ лучшими стремленіями...

— Нашли голосистыхъ!.. Ну, хорошо, напомнятъ. И вы думаете, тѣ (онъ куда-то махнулъ головой) не найдутъ лазейки спрятаться отъ вашего хваленаго сознанія? Не найдутъ своей логики, посильнѣе, чѣмъ ваша? И васъ самихъ не опутаютъ? Не подставятъ вамъ одну, другую, десятую уступку во имя справедливости для всѣхъ, во имя состраданія?

— Конечно, справедливость для всѣхъ, конечно, состраданіе! вскричалъ Верховской:—иначе, это замѣна одного произвола другимъ!

— Такъ — безнаказанность?

— Не безнаказанность, но...

— Вотъ и надѣйся на васъ! вскричалъ, захохотавъ, Багрянскій. — Вотъ, вы всѣ, лучшіе нынѣшніе — ни убить, ни помиловать! Ничего вы не сдѣлаете!.. Состраданіе! Къ кому, спрошу я васъ,—къ отдѣльнымъ личностямъ, или къ обществу, которое онѣ безобразятъ?

— Общество не сдѣлается лучше, если въ немъ прибавятся несчастные...

— Старая пѣсня—не дѣлать несчастныхъ!

— Такъ, чтобы общество было лучше, сдѣлайте больше счастливыхъ, вмѣшалась вдругъ Катерина: — устройте жизнь полегче, дайте права — и не будетъ преступленій...

— Что такое? вскричалъ Багрянскій: — кому это права? кому это устроивать жизнь? Какія имъ блага нужны? Да стоятъ ли жизни эти люди?

— Жизни? повторилъ Верховской.

— Да, жизни! Долой ихъ совсѣмъ съ лица земли, уничтожайте ихъ, казните, законно избавляйте отъ нихъ общество!

— Законно? повторилъ Верховской,—можетъ ли быть законно то, противъ чего возмущается человѣческая природа?

— Человѣческой природѣ должно быть возмутительно преступленіе, а не кара, прервалъ громко Багрянскій. — Щадить плевелы... Библію читали? За что Господь низложилъ Саула?

— Ужъ право не помню, отвѣчалъ Верховской.

— За то, что тотъ не до послѣдняго истребилъ нечестивыхъ, разсуждать вздумалъ, сдѣлалъ уступочку во имя состраданія... Щадить злодѣя... Давайте мнѣ его, я съ наслажденіемъ, крестясь, подпишу ему смертный приговоръ!

— Крестясь? отозвалась Катерина.

— Крестясь, хоть бы ты сама у меня за него въ ногахъ валялась, рѣзко отвѣчалъ отецъ, обращаясь въ темноту, откуда раздался ея голосъ.—Наказаніе есть искупленіе. Наказаннаго людьми милуетъ Господь.

— То есть, Господь поправляетъ по-своему дѣло рукъ человѣческихъ, сказала она спокойно, будто для себя.

— Въ народѣ, однако, существуетъ это понятіе, замѣтилъ Верховской, глядя, какъ она встала и прошла въ комнату; она показалась ему блѣдна.

— Несчастное понятіе, возразила она съ порога:—Милосердіе, а все-таки нужно его удовлетворять кровью, хоть здѣсь.

— Что такое? вскричалъ Багрянскій.

— Вы знаете, что это правда, отвѣчала она спокойно.

Верховской не видѣлъ ее, но слышалъ, какъ она перелистывала книгу. Багрянскій молчалъ.

— Послушать ее, вдругъ обратился онъ къ Верховскому съ странной, нѣжной и вмѣстѣ ѣдкой насмѣшкой:—послушать ее, всѣ мошенники гуляли бы по бѣлу-свѣту и не смѣй у нихъ и паспорта спрашивать...

Онъ оглянулся въ комнату, Верховской тоже; Катерины тамъ больше не было. Багрянскій продолжалъ тихо.

— Что-жъ дѣлать; самъ я виноватъ, волю ей далъ. Одна. Двухъ часовъ послѣ матери осталась, вотъ и выростилъ себѣ утѣшеніе... А только одной души своей не отдамъ я за эту дѣвку! вдругъ сказалъ онъ порывно, почти отчаянно, будто кто отнималъ у него дочь.—Господи, да если что съ ней случится... дай мнѣ дожить, ее уберечь! Я тому злодѣю и въ будущей жизни не прощу! Она вѣдь святая; мы праха ногъ ея не стоимъ... Чище свѣтлостей солнечныхъ... Господи, какія слова говорю. Думаешь, надѣешься, за то, что такую взлелѣялъ, сохранилъ,—и тебѣ, окаянному, отпустится...

Онъ наклонилъ голову, зашепталъ молитву и вдругъ обратился къ Верховскому.

— Не осудите меня. Вы не можете этого понять. Вы росли богато и дѣтей вашихъ также выростите безъ труда, на наемныхъ рукахъ...

— Нѣтъ, прервалъ Верховской,—я росъ не въ богатствѣ, меня также берегли и любили...

Багрянскій его не слушалъ, за собственной мыслью.

— Страшно такъ привязаться къ чему нибудь одному. Одна ниточка, знаешь, если оборвалась—всёму конецъ... Что-жъ дѣлать, одна, хороша! Но не грѣшу, не паче Бога люблю. Если только и она... Господи помилуй!

Онъ съ ужасомъ принялся креститься большими, поспѣшными крестами и всталъ.

— Что это я... Всякую мерзость человѣческую вспомнили мы съ вами, такъ и мерещится. Охъ, немудрено мерещиться—все на свѣтѣ вынесъ, всякій позоръ... А больше, кажется, оттого, вдругъ заговорилъ онъ и тревожно, и улыбаясь: — что уѣзжаю: ужъ очень жаль съ ней разстаться. И она скучаетъ, хоть ей отъ меня не велика забава. Общества она не любитъ, да и что здѣсь за люди. Я ей предоставилъ полную волю знакомиться, принимать. Это здѣсь дико показалось, прибавилъ онъ самодовольно:—молодая дѣвушка, красавица, принимаетъ, выѣзжаетъ совсѣмъ одна, какъ дама. Кромѣ баловъ,—тогда съ кѣмъ нибудь; но причина, батюшка: не обзавелись каретой.

Онъ засмѣялся, передохнувъ, будто сбросилъ тяжесть.

— Сама виновата, я говорю: откладывай, сберегай, а она на книги соритъ. Впрочемъ, что-жъ это я на нее, я самъ такой же... Вы книгами богаты?

— Очень бѣденъ, отвѣчалъ Верховской,—въ Петербургѣ осталось немного, а здѣсь и совсѣмъ нѣтъ ничего.

— Какъ же такъ? Нѣтъ, мы съ ней устроились; есть у насъ пріятель книгопродавецъ, изъ иностранцевъ... Я и въ Петербургѣ жилъ, служилъ для нея; тамъ учиться дешево. Да нѣтъ, скверенъ вашъ Петербургъ. Исколесилъ по свѣту не мало... Катя, да иди сюда, закричалъ онъ, услыша ея шаги,—гдѣ запропастилась?

— Васъ собираю, отозвалась она,—не ѣхать же вамъ голодному.

Онъ не вытерпѣлъ и пошелъ къ ней.

Верховской остался одинъ; его забыли. Соображеніе, что слѣдуетъ уйти и не мѣшать хозяевамъ, мелькнуло, прошло и забылось. Онъ чувствовалъ раздѣльно каждую минуту, которую проживалъ, и ему была дорога каждая минута. Онъ сошелъ къ цвѣтнику, воротился, вдругъ вспомнивъ, что можно видѣть другое, лучшее; побѣжалъ въ комнату и, только вбѣжавъ, одумался, что тамъ могъ быть кто нибудь. Никого не было. Никого не было и въ гостиной. Верховской остановился, переводя дыханіе, и оглядывался. На столѣ лежала какая-то работа; онъ машинально взялъ посмотрѣлъ, положилъ опять. За распахнувшейся суконной занавѣской, въ темнотѣ, что-то бѣлѣло; невысоко, въ углу, свѣтилась маленькая искорка, — золотой вѣнчикъ образа. Верховской смотрѣлъ. Что-то похожее на первое ощущеніе сна охватило его волной, влекло и кружило, томящее и нѣжное; грудь стѣснилась, глаза туманились; въ памяти пролетѣла какая-то дѣтская, давно забытая молитва...

— Радость... выговорилъ онъ, шепотомъ, складывая руки и вдругъ, какъ безумный, бросился прочь.

Ночь стала холоднѣе и тревожнѣе; полоса свѣта колыхалась, листья шелестили. Верховской прислонился лбомъ къ косяку балконной двери и смотрѣлъ въ темноту.

Гостиная освѣтилась; тамъ приходили и уходили. Верховской обернулся и схватилъ книгу; его руки дрожали, строки разбѣгались въ глазахъ; ему что-то вспомнилось.

— Что вы тутъ смотрите? спросила, подходя, Катерина.

— Это вы читали, когда я пришелъ?

— Да.

— Эти самыя слова: «Der Abgeschiedne lebt uns?»

— Да... въ самомъ дѣлѣ. А что?

— Странно. Гдѣ это я читалъ... или у кого есть повѣрье, что если кто зайдетъ во время чтенія и услышитъ текстъ...

— Текстъ?

Она разсмѣялась.

— Все равно...

— Вы суевѣрны?

— Не знаю... Но слова хорошія... А справедливы они?

— Не знаю, повторила она, взглянувъ на него пристально.

— Вотъ, что передъ ними, то ужъ совсѣмъ справедливо, продолжалъ онъ, глядя въ книгу. «Люди еще не вмѣстѣ, когда они не врозь». Это-то ужъ великая истина; отъ нея-то и не живется. Но то,—скажите, вѣрно ли? разберите, вдумайтесь, если не испытали сами, поищите для другого... «Усопшее живо для насъ»... Дорогое, счастье, радость наша, вѣчно ли жива она?

— Вѣчно, если вѣчно дорога; она жива въ насъ.

— Этого мало, сказалъ Верховской.—Въ насъ, нашимъ же чувствомъ! Нѣтъ, для насъ, живая, повторенная, воплощенная. Такая радость, чтобъ жизнь стала опять

имѣть цѣну, чтобъ воротилась вѣра... У меня такая радость была, Я погибъ съ той минуты, какъ ея не стало; погибъ, поймите совсѣмъ; у меня нѣтъ никого, ничего... Будетъ ли еще что нибудь? Можетъ ли быть?

— Ну, Катерина, прощай, закричалъ издали Багрянскій.

На улицѣ задребезжали колеса чего-то громоздкаго; топотъ лошадей, бубенчики.

— Я сейчасъ ухожу. Дайте мнѣ руку, сказалъ Верховской.

Она дала нерѣшительно, будто повинуясь. Верховской сжалъ ее, поцѣловалъ и тихо оставилъ. Она не сказала ни слова и пошла на голосъ отца.

Багрянскій, совсѣмъ по-дорожному, былъ въ прихожей. Ямщикъ выносилъ чемоданъ; молодой чиновникъ, тоже по-дорожному, запиралъ сундукъ съ бумагами.

— Прощай, голубка моя, прощай, мое сокровище, повторялъ Багрянскій, крестя и цѣлуя дочь.—Не скучай, скоро ворочусь; ты какъ нибудь разсѣйся... А, Андрей Васильевичъ, дождались моихъ проводовъ! Навѣстите ее безъ меня, не забудьте...

Прощаясь, всѣ вышли на крыльцо. Чиновникъ ужъ сидѣлъ въ тарантасѣ; тамъ свѣтилась его папироска. Багрянскій закурилъ тоже, вскочилъ бодро, усѣвшись, охнулъ какъ старикъ, и еще разъ подалъ руку уходившему Верховскому.

— Прощайте, Андрей Васильевичъ, вамъ путь налѣво, мнѣ направо. Прощай, Катерина.

Тарантасъ отъѣхалъ, подкидываясь на колеяхъ; маленькая струйка пыли невысоко тянулась за колесами. Все скоро скрылось въ сѣро-голубомъ, влажномъ туманѣ. Стукъ затихъ, его относилъ вѣтеръ; въ саду шумѣли деревья. Катерина стояла на крыльцѣ.

— Пойдемте, барышня, я запру подъѣздъ, сказала Маша.

Катерина еще разъ оглянулась влѣво. Въ сумракѣ далеко еще мелькала тѣнь; по вѣтру будто слышались медленные, тяжелые шаги. Маша затворила дверь; Катерина крѣпко повернула ключъ въ замкѣ и вошла въ домъ.

Тамъ было темно; только въ ея комнатѣ пламя забытой свѣчи металось, бросая красный свѣтъ и безобразныя тѣни. Катерина машинально переставила ее на другой столъ и остановилась.

— Что-жъ это такое? сказала она громко.

Ей было какъ-то жутко,— не оттого, что кругомъ пусто, темно и поднимается непогода. Около нея, казалось, былъ кто-то и ее тревожило это присутствіе невидимаго. Она очень устала и не хотѣлось ложиться. Ее что-то удивляло, что — она опредѣлить не могла, можетъ быть, свое собственное смятеніе.

Она взглянула на часы, пошла за занавѣску и тихо стала молиться, обрядно, безъ мысли, читая давно затверженныя слова. Вдругъ ей стало такъ тяжело... она нетерпѣливо отвернулась и отошла.

— Стало быть несчастье, когда выдаетъ себѣ первому встрѣчному; стало быть, тяжко... Но что за несчастье?.. «Нѣтъ никого»... Развѣ можетъ никого не быть у человѣка?..

II.

Утро взошло свѣтлое, теплое, тихое, изъ такихъ, что нѣжатъ, зовутъ куда-то далеко, вызываютъ память всего далекаго, гонятъ печаль, какъ тьму изъ всякаго угла... Какъ можетъ уходить печаль, когда приходитъ воспоминаніе—знаютъ тѣ, кто говоритъ это, люди, для которыхъ все прошедшее разъ навсегда кончено...

N-ское общество съ утра думало, какъ бы разнообразнѣе провести этотъ день; его, по мнѣнію любителей природы, было грѣшно просидѣть въ комнатахъ.

День необыкновенно начался въ домѣ Багрянскаго. Былъ ужъ давно десятый часъ, а Катерина еще не просыпалась. Маша и кухарка Прасковья ждали-ждали и, наконецъ, ужасаясь такого отступленія отъ заведеннаго порядка, рѣшили, что надо поднять барышню.

— Вставайте, повторяла Маша, смѣясь, какъ та испугалась съ просонка.

— Батюшка воротился? спросила Катерина.

— Батюшка не воротился, а смотрите, гдѣ день-то? Баба цѣлую кашолку ландышей принесла; вставайте, разбирайтесь, вотъ вамъ дѣло. Вотъ вашъ воспитанникъ вамъ добраго утра желаетъ. Ступай, ступай, пискунъ, къ мамашенькѣ...

Она подсадила къ ней котенка.

— А я не хочу вставать! закричала Катерина.

— Никакъ, война? сказала, входя, старая Прасковья.—Безъ батюшки-то своя воля! Точно барыня, губернаторша! Вставай, безъ обѣда оставлю!

— Такъ хорошо же, вскричала Катерина, — я барыня, я свою волю возьму! Сейчасъ столъ сюда, на балконъ, самоваръ, чашки, вмѣстѣ чай пить. Я сейчасъ готова. Весь

день вмѣстѣ, обѣдать вмѣстѣ, — хочу жить какъ хочу...

Она торопила, тормошила, шалила, смѣялась, обнималась, выглянула въ садъ, весь влажный и душистый отъ ночной грозы; она не слыхала этой грозы въ своемъ крѣпкомъ снѣ; свѣтъ и тепло лились струями, но, среди лучезарнаго сіянія, чернымъ пятномъ мелькала тѣнь чужой печали...

— Господи! сказала она, складывая руки:—я счастлива... сдѣлай же, чтобъ и другіе были счастливы!

Состраданіе, скорбь, чувство шире и лучше молитвы, наполнило ей грудь; у нея брызнули крупныя, страстныя слезы...

Ей была дорога любовь этихъ простыхъ женщинъ, — этой старухи, когда-то замѣнявшей мать, это горничной, преданной подруги,— дорогъ этотъ уголъ, доставленный трудомъ отца, полный его благословеній. Она оглядывалась довѣрчиво, ласково и несмѣло; какая-то новая сила влекла ее любить, все больше любить все это близкое, любить со всею прелестью нетяготящей благодарности. Ей вспомнилось и прошлое, далекое дѣтство, село, изба; дѣдъ, сѣдой заштатный дьячокъ; бабушка, которая отличалась отъ своихъ сосѣдокъ-крестьянокъ только тѣмъ, что ходила повязанная платкомъ, а не въ кичкѣ. Отецъ оставилъ у нихъ свою новорожденную сироту, а самъ служилъ въ уѣздѣ и помогалъ чѣмъ жить старикамъ. Старики были добры; съ нимъ бывало скучно, но тихо и хорошо вспоминается ихъ ласка. Всѣ подробности житья памятны; все будто передъ глазами. Понятливыя дѣти помнятъ рано, когда окружающая жизнь отъ нихъ не скрыта и вмѣсто нея не подставлена другая, искусственная. Бабушка пріучала Катерину къ хозяйству, а дѣдушка выучилъ грамотѣ, священной исторіи и цифрамъ. Онъ обѣщалъ, когда ей минетъ семь лѣтъ и она побываетъ на исповѣди, брать ее съ собой читать псалтырь по покойникамъ. Катерина живо помнила, какъ ждала этого наслажденія, но ему не было суждено сбыться: отецъ раньше взялъ ее къ себѣ. Его тогда перевели служить въ губернскій городъ; средствъ стало побольше; тогда онъ взялъ Катеринѣ няню, — Прасковью, которая съ тѣхъ поръ у нихъ осталась. Отецъ былъ занятъ, но не проходило ни одного дня, чтобы, лишая себя даже короткаго отдыха, онъ не занялся съ Катериной, не далъ ей книги, не училъ ее, чему могъ. Она видѣла, онъ самъ для нея учился; впослѣдствіи, онъ лишалъ самъ себя необходимаго, чтобы дать ей возможность учиться; онъ любилъ ее безъ мѣры...

Она радостно остановилась на этихъ воспоминаніяхъ. Какой-то новый свѣтъ освѣтилъ ей отца, его высокую честность, самоотверженное терпѣніе, его грозную справедливость... Ей стало страшно; съ минуту, она смутилась и, вслѣдъ затѣмъ, твердо сказала себѣ, что она его достойна. Она его ученица, его созданіе. Онъ показалъ ей, какъ живутъ для другихъ, какъ считаютъ ни во что всѣ эти земныя блага, изъ-за которыхъ люди бьются такъ жалко и такъ злобно; онъ выучилъ ее любить бѣдность, въ которой она родилась, выросла и жила,—потому что въ бѣдности,—и только въ ней одной, — родится, ростетъ и живетъ ясное понятіе правды, искренность отношеній, уваженіе человѣческаго достоинства. Онъ суровъ, но онъ старикъ... Жизнь досталась ему трудно и дорого. Было несчастье, тяжкое для всякаго,— для него тяжкое вдвое...

Катерина наклонила свою смѣлую голову; она вспомнила своего брата...

Его звали Викторъ; онъ былъ старше ея лѣтъ десять, жилъ съ отцомъ, а потомъ, поступивъ въ гимназію,—въ губернскомъ городѣ, у одного отцовскаго хорошаго знакомаго. Въ дѣтствѣ, Катерина видѣла его всего одинъ разъ, когда, какъ-то лѣтомъ, отецъ привозилъ его въ село къ дѣдушкѣ. Она начала помнить Виктора съ тѣхъ поръ, какъ отецъ, переѣхавъ въ губернскій городъ, взялъ ихъ обоихъ къ себѣ. Викторъ былъ большой, красивый, въ гимназическомъ мундирѣ, веселый: все шутилъ, игралъ, смѣялся...

— А теперь?.. сказала она съ отчаяніемъ.— Отецъ говоритъ постороннимъ, что я у него одна... А я-то, говорю ли я кому нибудь, что у меня есть братъ?..

Это ужъ не чужая, а своя собственная печаль... Но почему же ей быть сильнѣе, чѣмъ печаль за другихъ? Мы справедливы, безпристрастны, грозны къ винѣ чужихъ людей, а оробѣемъ, извинимъ, потому только, что преступникъ—свой?.. Свой!

— Викторъ мнѣ не свой... выговорила она, блѣдная, уставя глаза на песокъ.—Помочь ему, подѣлиться съ нимъ, отдать ему все—я готова, но видѣть его...

Она встала, скоро пошла по дорожкѣ и вдругъ остановилась, припоминая.

Викторъ былъ рядовымъ на Кавказѣ; его линейный батальонъ стоялъ въ маленькомъ укрѣпленіи, въ горахъ, на сѣверѣ, куда война не доходила. Катерина писала ему, правда, иногда коротко, но часто, увѣдомляя о

здоровьѣ отца, о всемъ житейски необходимомъ, заботливо спрашивая о немъ самомъ, почти не говоря о себѣ. Ея письма были какъ тысячи писемъ, которыя равнодушно пишутся на свѣтѣ; для нея они были мученіемъ, принятымъ на себя добровольно, въ страхѣ ожесточить человѣка, въ какой-то жалости, пережившей остальныя чувства. Викторъ отвѣчалъ ей нѣсколькими строками только тогда, когда она присылала ему денегъ. Она дѣлала это тайно отъ отца, отдавая свои заработанныя или сбереженныя отъ тѣхъ, что ей давались на необходимое. Отецъ не писалъ Виктору никогда; зналъ онъ или не зналъ сношенія дочери, онъ никогда не спрашивалъ!

Мѣсяца три назадъ, Катерина послала брату денегъ,—онъ не отвѣчалъ; писала еще нѣсколько разъ—отвѣта не было.—Случайно, на военномъ балѣ, офицерша, обществомъ которой дразнили Катерину, назвала одного своего знакомаго въ томъ самомъ батальонѣ, гдѣ служилъ Викторъ. Катерина наскоро записала адресъ, надѣясь развѣдать черезъ посторонняго, что сталось съ братомъ.

Она припомнила, что этотъ лоскутокъ бумаги оставался у нея въ комнатѣ, на столѣ, гдѣ этими днями перебывало множество бумагъ, во время работы съ отцомъ, — побѣжала въ домъ и принялась искать. Лоскутокъ уцѣлѣлъ между конвертами, тетрадями, связками дѣлъ.

«Еслибъ было что послать ему...» раздумывала Катерина, обрадовавшись находкѣ.

Она разсчитывала, что послать, и убирала на столѣ. Маша, какъ ей было сказано, устроивала чай на балконѣ.

— Что-жъ нейдетъ няня? что такъ долго? спросила Катерина.

— Вотъ что, зашептала ей дѣвушка: — тамъ пришла женщина; спрашиваетъ, не возьму ли я работы; я, вѣдь, по вашей милости, прослыла въ городѣ первой швеей...

— Ну, что-жъ?

— Дюжину рубашекъ. Возьметесь?

— Какъ не взять, съ радостью! вскричала Катерина. — Батюшка съ мѣсяцъ проѣздитъ, у меня дѣла нѣтъ. Ступай, торгуйся дороже. Кому это?

— Вотъ, былъ недавно, какъ его, молодой баринъ...

— Лѣсичевъ.

— Онъ, онъ.

Катерина на секунду задумалась.

— Бери, Маша, сказала она:—только посекретнѣе.

— Конечно, секретно, отвѣчала та, уходя.

Катерина опять задумалась и улыбнулась. Она ужъ не одинъ разъ брала заказы на имя Маши. «Секретъ» былъ необходимъ. Въ то время, въ городѣ N* вѣрнѣе, во всѣ времена, во всемъ нашемъ отечествѣ, общество нашло бы такое занятіе крайне неприличнымъ. Молодого человѣка, своего круга, дѣвица можетъ обирать конфектами, обманывать на пари, обыгрывать въ карты,— но сшить ему рубашки и взять деньги за работу... да это ужасъ! Катерина не посмотрѣла бы на этотъ «ужасъ», но надо было прятаться ради отца: увидя ее за работой, ни одна душа въ N* не убѣдилась бы и не повѣрила, что у предсѣдателя палаты имуществъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ денегъ, что всякая непрожитая копѣйка жалованья откладывается на черный день: — сказали бы только, что Багрянскій жаденъ, и изъ жадности допускаетъ дочь унижаться.

«Униженіе...» Она продолжала думать и улыбаться.—А вотъ смѣшно: случись этотъ заказъ раньше, это было бы, пожалуй, приготовленіе къ свадьбѣ...

Маша прибѣжала съ сверткомъ полотна; вызвали Прасковью, напились чаю. Катерина раздвинула въ гостиной столъ и начала кроить.

— Смотри, попадешься, пророчила ей нянька: — застанутъ!

— Маша, запри подъѣздъ и не пускай души христіанской! закричала Катерина.

— И что ты только дѣлаешь, сударыня; рубашки жена мужу шьетъ, и то—любя...

— Какая любовь необыкновенная! Ну, нянька, не мѣшай намъ, готовь обѣдать, а когда поспѣетъ, зови насъ.

Дѣло шло проворно. Дѣвушки были веселы; у Катерины были всегда въ запасѣ шутки, пустяки, шалости; у Маши въ глазахъ рябило отъ ея бѣготни; обѣ хохотали до слезъ.

— Что у васъ тутъ, проказницы? спросила нянька, когда до нея достигъ взрывъ этого хохота.

— Ты посмотри, отозвалась Катерина.

— Много такъ-то наработаете!

— Еще лучше идетъ, возразила Маша.

— На что похоже, сударыня, словно ты маленькая. Все равно, какъ по головешкѣ ударишь—искры во всѣ стороны, такъ и ты мечешься; что хорошаго...

— Что-жъ ты боишься, одурѣю? спросила Катерина.

— А что люди скажутъ?

— А я имъ сама скажу, что они глупы. Когда люди не на свое мѣсто влѣзутъ, то

сами важничаютъ, сами дрожатъ: ай, шевельнусь, свалюсь. За меня не бойся. А важничать, какъ они, не велика мудрость. Хочешь, смотри, какая я на людяхъ-то.

Она въ одинъ мигъ укротила всѣ свои живыя движенія, выпрямилась; улыбка исчезла, взглядъ погасъ; она вся будто застыла, хотя въ этой комедіи не было нисколько преувеличенія; она плавно прошлась, сказала нѣсколько словъ равнодушно тягучимъ свѣтскимъ тономъ и больше не выдержала.

— А, ну ихъ!.. Видѣла? Хорошо?

— Господь съ тобой! вскричала нянька сначала изумленная и, наконецъ, расхохотавшись:—да это съ тоски помрешь! И какъ на такихъ мужчины смотрятъ?

— Спроси у нихъ. Однако, съ тобой время проходитъ. Маша, я принесу иголки, сядемъ шить и пѣсни пѣть.

— А я васъ что спрошу, сказала Маша, ужъ серьезно, когда ушла старуха:—съ чего вы сегодня такъ особенно веселы?

— Съ чего? повторила Катерина съ порога своей комнаты:—дѣло есть, добрые люди есть, я на свѣтѣ не одна...

И при этомъ словѣ, у нея вдругъ упало сердце.

«Съ чего?» спросила она себя, стараясь улыбнуться и чувствуя, что не можетъ.

Ее вдругъ охватила та же тревога, что вчера ночью. Комната была не пуста; чья-то душа билась въ ней и тосковала; будто пробужденное словомъ Катерины, другое слово облетѣло кругомъ и отозвалось.

«Я не суевѣрна...» подумала она, нетерпѣливо отгоняя то, что подсказывалось въ ея памяти.

Она подошла къ ящику взять иголки. Съ нимъ рядомъ лежала раскрытая книга, оставленная съ вечера. Катерина взяла ее, заглянула и вдругъ повернула къ свѣту: вдоль страницы была рѣзкая, свѣжая черта, проведенная ногтемъ. Катерина не видала вчера, какъ это сдѣлали. Ей было страшно, и не было силъ уйти.

— Маша, кликнула она: — Мы съ тобой забыли ландыши.

Она принялась разбирать ихъ. Пучки цвѣтовъ, туго перетянутые ниткой, холодные, влажные, прелестные, дрожа, сцѣплялись головками. Катеринѣ стало чего-то жаль.

— Маша, я хочу въ поле.

— Что-жъ, сходимъ утромъ, пораньше. Только вотъ теперь работа. Охъ, долго мы провозимся съ этими ландышами; смотрите, который часъ.

— Твоя правда, сказала Катерина: — я сейчасъ ихъ уставлю, разомъ. Все это не нужно... Нечего терять времени; все это вздоръ...

Она торопливо сѣла за шитье. Съ нея, какъ замѣтила Маша, «сошелъ стихъ» смѣяться, но вмѣстѣ съ спокойнымъ трудомъ воротилось и спокойствіе. Она разговорилась съ своей подругой, какъ это бывало всегда, когда онѣ сходились вдвоемъ. Еслибъ N-ское общество слышало ихъ разговоры, оно бы еще разъ удивилось и пожало плечами. Маша, всегда занятая, знала свой «свѣтъ» небольше, чѣмъ Катерина свой; четырехлѣтнее житье вмѣстѣ завело у нихъ дружбу, общія привычки, общій взглядъ на вещи, даже сходство занятій. Маша умѣла читать, любила читать, и какъ ей часто бывало некогда, ставила Катеринѣ въ обязанность пересказывать все, что та прочитывала интереснаго. Бесѣды бывали постоянныя. Такъ теперь, за шитьемъ, отъ партіи рекрутъ, которая прошла мимо окна, отъ войны, отъ разныхъ подробностей, разговоръ и разсказы пошли очень далеко и день шелъ незамѣтно. Слушательница, конечно, знала меньше чѣмъ иныя дѣти, но она хотѣла, торопилась знать, схватывала и помнила; ея добрая воля была лучше подготовки; ея внимательность и увлеченіе еще больше одушевляли разсказчицу. Говорилось о прошедшемъ, о далекомъ; житейское, ежедневное, которое люди подставляютъ каждую минуту, мелко прикрываясь предлогами необходимости, праздно отшучиваясь отъ мысли,— это житейское и ежедневное не было забыто, но только отставлено на свое мѣсто, и ему давалось не больше какъ одно его мѣсто. Занимала жизнь болѣе общая, понятая сердцемъ, если не знаніемъ, доступная всякому сердцу, которое само не захочетъ для нея затвориться. На живые вопросы — живые отвѣты. Разсказывая, въ впечатлѣніи, которое вызывала, Катерина еще разъ и еще сильнѣе переживала знакомое, учила и училась сама, ей было сердечно хорошо разбираться въ своей мысли, въ своемъ знаніи, дѣлиться ими, заставлять любить свое любимое. Она жила всей душой, и ни о чемъ не могла говорить хладнокровно; вмѣстѣ съ тѣмъ, что знала, она отдавала все, что чувствовала; дѣла прошедшаго, люди исторіи были для нея близкіе, живые; она дѣлила опасности, торжествовала удачи, сострадала, негодовала, будто сама видѣла, сама вынесла то, о чемъ разсказывала. Ея воображеніе было полно живыхъ, яркихъ образовъ; ея

умъ не переставалъ искать, ея одушевленіе ни на минуту не угасало...

Между тѣмъ какъ иголки живо прокалывали крѣпкое полотно, Катерина, дѣтски восхищаясь, разсказывала о диковинныхъ дальнихъ странахъ.

На Гангѣ все блескъ, ароматъ,
Цвѣтутъ исполины деревья;
Красивые, кроткіе люди
Предъ Лотосомъ молятся въ землю...

Маша слушала съ дѣтски-радостнымъ смѣхомъ, а нянька, которая пришла посидѣть съ ними, никакъ не хотѣла вѣрить, чтобы въ такой прекрасной сторонѣ жены сжигались съ покойниками-мужьями.

— Вотъ, погоди, я туда поѣду, тамъ замужъ выйду, ты посмотришь, сказала Катерина.

— Ты-то замужъ? Никогда тебѣ замужемъ не быть, возразила нянька, чѣмъ-то обидясь.

Маша засмѣялась.

— Почему?

— Да никого не полюбишь; гдѣ тебѣ!

Старуха будто отрѣзала разговоръ. Катерина оглянулась въ окно; солнце ужъ было низко. У нея въ памяти досказался послѣдній стихъ:

И темная ночь на землѣ...

Мысль смѣшалась... Какая это «темная ночь»?.. Вспомнилось вдругъ что-то далекое, опять дѣтство, опять деревня, что-то похожее на эту пустую тихую улицу, то, что всякій вечеръ бывало передъ глазами: выгонъ на полугорѣ, вытоптанный, сухой; розовый туманъ пыли; сквозь него мелькаетъ возвращающееся стадо; красный закатъ; на немъ вырѣзается черная деревянная церковь; горятъ и сверкаютъ ея окошки съ мелкими стеклами; птицы качаются на цѣпочкахъ узорчатаго креста. Все примеркаетъ, все тише, все покойнѣе; красная полоса поблѣднѣла, небо темно. Недалеко отъ узорчатаго креста зажигается треугольникъ звѣздъ, пониже — еще четыре... Дѣдушка сказалъ, какъ ихъ называютъ... А на страстной, бывало, народъ идетъ по выгону изъ церкви и, точно, несутъ домой свѣчки...

— Почему же я никого не полюблю? спросила она, все глядя въ окно.

— Mais vous êtes chez vous? звонко раздалось оттуда.

Подъ окномъ стояла m-lle Ольга съ другой дамой.

— Bonsoir, chère. Я гуляю. Видите, мамаша и сестра уѣхали въ гости, меня не взяли, несчастную. Я упросила вотъ Варвару Петровну, и мы ходили, ходили. Вдругъ, вижу, вашъ домъ. Я такъ устала. Стучу въ подъѣздъ—заперто. Мы ужъ хотѣли назадъ... Avec qui êtes-vous? зашептала она.

— Моя няня и моя Маша, отвѣчала Катерина.

— Впустите же насъ. Я, кажется, разстроила кампанію? говорила она, входя, подсмѣиваясь и наивничая.

— Да, разстроили, отвѣчала Катерина, между тѣмъ какъ Маша уносила свое шитье, а нянька и не показалась съ той минуты, какъ отворила двери гостьямъ.

— Cette chère Catherine, всегда шутитъ... Но у васъ хорошо. Знаете ли, въ самомъ дѣлѣ, у васъ хорошенькій домикъ. Я какъ-то прежде не обратила вниманія. N'est-ce pas, Варвара Петровна? Такъ чисто... Ну, что-жъ вы подѣлываете, чѣмъ занимаетесь?

Варвара Петровна, безобразнѣйшая изъ N-скихъ старыхъ дѣвъ, къ счастью, молчаливая, вслѣдъ за игривой дѣвицей потянула, помяла и погладила полотно, изслѣдуя его доброту, и съ глубокой, никогда не покидавшей ее скорбью, спросила о цѣнѣ.

— Не знаю, не я покупала, отвѣчала Катерина.

— Это очень дорогое... сказала тихо, съ благоговѣніемъ m-lle Ольга. — Неужели вашъ папа... вѣдь онъ нигдѣ не бываетъ...

Катерина засмѣялась.

— Нѣтъ, душка, неужели это для вашего папа?

— Или на-заказъ. Рѣшайте!

— Полноте, вы шутите, ни то, ни другое. Это для вашего жениха. Enfin, mademoiselle Catherine, поздравляю! Гордое сердце сдалось! Нѣтъ, нѣтъ, не отказывайтесь, не скрывайтесь, я не слушаю, нехорошо, вы неоткровенны...

Она кричала, вертѣлась, зажимала уши, ребячилась, бросалась Катеринѣ на шею, поднимала весь содомъ, какой поднимаютъ дѣвицы, когда непремѣнно хотятъ, чтобъ имъ подтвердили то, что онѣ сами выдумали.

— Catherine, я не отстану!

— Хоть до завтра, отвѣчала Катерина.

— Нѣтъ, душка, causons. Мнѣ такъ хотѣлось бы поговорить отъ души, сказала m-lle Ольга, наконецъ, запыхавшись и впадая въ меланхолію. — Вотъ, Варвара Петровна меня понимаетъ. Вѣдь моя жизнь ужасъ!!.. Я ужъ не говорю, les privations, какъ меня одѣваютъ, какъ мнѣ говорятъ, чтобъ я не думала объ удовольствіяхъ, чтобъ я старалась понравиться какому нибудь старикаш-

кѣ, а я еще не знаю, что такое любовь... Судите же... Mon Dieu il y a quelqu'un...

Дверь была отперта, въ прихожую вошелъ Верховской. Катерина немного поспѣшно встала ему на встрѣчу и подала руку; ей вдругъ показалось, что ее не удивилъ его приходъ, что она была въ немъ увѣрена, что она весь день его ждала. Но она не обрадовалась, а смутилась и, встрѣтивъ привѣтливо, не сказала ни слова.

— Пойдемте... шептала между тѣмъ печальная гостья m-lle Ольгѣ.

Та качала головой и смотрѣла на Верховского.

— Вашъ батюшка поручилъ навѣстить васъ... сказалъ неловко Верховской, раздосадованный, что встрѣтилъ этихъ особъ, и надѣясь, по крайней мѣрѣ, что, непредставленный, можетъ съ ними не говорить.

Это не удалось.

— M-r Верховской, я имѣла удовольствіе васъ видѣть у Марьи Васильевны Волкаревой, заговорила m-lle Ольга.

Верховской поклонился.

— Это вечеромъ было, передъ самымъ баломъ на дачѣ...

— Помню... отвѣчалъ Верховской и обратился къ Катеринѣ:—какъ вы провели день?

— A, Catherine, за вами наблюдають, отъ васъ требуютъ отчета! перебила m-lle Ольга.—M-r Верховской, это ваша привычка наблюдать. Помните, Catherine, на балѣ... Но нѣтъ, вы дремали! У меня шелъ одинъ разговоръ съ однимъ человѣкомъ, а m-r Верховской притаился и все слушалъ. Признайтесь, вы меня подслушали? А теперь, подслушали!

Она завладѣла разговоромъ, совершенно счастливая, что нашлось передъ кѣмъ кокетничать, если и безъ цѣли, то хоть для упражненія, и вполнѣ увѣренная, что всѣхъ оживляетъ, что безъ нея не зналъ бы что дѣлать этотъ гость, который зашелъ «по порученію батюшки».

— Спрашивайте, спрашивайте у нея отчета, m-r Верховской! кричала она, разыгравшись до того, что считала возможнымъ уже ни надъ чѣмъ не задумываться.—У Catherine милліонъ тайнъ самыхъ интересныхъ. Прежде всего—ледяное сердце. Но мы кое-что знаемъ! Боже мой, не отрекайтесь, я и сама не отрекаюсь, это льститъ нашему самолюбію... человѣкъ у нашихъ ногъ... А вы горды, Catherine, вамъ это пріятно, хоть для забавы! Бѣдненькій, онъ такъ забавенъ... Не бойтесь, не назову, хотя это и не тайна! кто хоть разъ его видѣлъ... Ахъ, m-r Верховской, онъ, кажется, изъ вашихъ друзей, вы меня выдадите. Я не могу видѣть несчастныхъ влюбленныхъ... или, можетъ быть, онъ ужъ счастливъ, Catherine?

— Вы меня извините, возразила Катерина:—вы знаете, я тупа; я васъ рѣшительно не понимаю.

— Catherine, такъ я назову по имени! пригрозила m-lle Ольга.

— Хоть сто именъ, для меня все равно.

— Такъ у васъ сто поклонниковъ? Bravo, quel embarras de richesses! Неудивительно, que vous faites fi:. Pardon, chère, я шучу; но, право, это такъ необыкновенно, неестественно, что дѣвушка въ вашъ возрастъ... Я говорю откровенно при m-r Верховскомъ... что вы такъ безчувственно холодны...

— Ужъ солнце садится, напомнила ей спутница.

— Ахъ, что же, тѣмъ лучше! M-r Верховской насъ проводитъ.

— Извините, рѣзко отвѣчалъ Верховской, молчавшій во все время:—мнѣ нужно въ другую сторону, по дѣлу.

— Стало быть, вмѣстѣ выйдемъ.

— Нѣтъ, мнѣ еще рано.

Спутница умоляла идти, представляя, что въ этомъ переулкѣ страшныя собаки; m-lle Ольга хвасталась мужествомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, очень злы, особенно одна, сказала Катерина очень серьезно.

— Ah, ma bonne, вы меня выгоняете! вскричила m-lle Ольга и шепнула, выходя:—А это—сто первый?

Покуда онѣ еще прощались, Верховской ходилъ взадъ и впередъ, считая минуты. Онъ самъ не зналъ, хотѣлось ли ему поторопить, или продлить эти минуты. Катерина проводила гостей и, не останавливаясь, прошла въ свою комнату.

— Пойдемте туда, сказала она.

Она отворила балконъ и сѣла на ступеньки. Верховской вышелъ вслѣдъ за нею и сѣлъ подлѣ нея. Она не оглянулась и молчала.

Она помнила, что онъ тутъ, чувствовала, что онъ на нее смотритъ, но была разсѣяна, устала. Вся эта безпокойная безтолковая болтовня еще шумѣла у нея въ ушахъ. Ей было необходимо отдохнуть, опомниться... Но вдругъ та же тревога, которую столько разъ она отгоняла въ теченіе этого длиннаго дня, поднялась опять, смутила, смѣшала, спугнула всѣ мысли... Мученіе!.. На нее смотрятъ... Онъ ждетъ, чтобъ она заговорила. Что сказать? Что нибудь постороннее?.. Еще какъ нибудь болталось при чужихъ, но теперь съ глаза-на-глазъ, нельзя, нѣтъ силъ, языкъ

не шевелится... Стыдно говорить вздоръ съ этимъ человѣкомъ... Онъ три раза начиналъ говорить такія вещи... Съ чего ему вздумалось?.. Все равно; онъ говорилъ отъ души. Молчать съ нимъ, значитъ—спрятаться, оттолкнуть. Это нечестно. Онъ пришелъ отдать горе, ему нуженъ свой человѣкъ,—отдавай и бери!

— Что же, сказала она, вдругъ обернувшись къ Верховскому и чувствуя, что холодъ бѣжитъ у нея по плечамъ:—вамъ, конечно, никуда не нужно по дѣлу; пустяковъ сейчасъ говорилось довольно. Скажите о себѣ.

— Что сказать?

— Что хотите.

— Я, вотъ что̀ хочу, отвѣчалъ онъ и сталъ цѣловать ея руку.—Вы только, ради Бога, меня не прогоняйте, прибавилъ онъ чрезъ минуту, не понимая, что говоритъ и дѣлаетъ.— Я долженъ вамъ казаться очень страннымъ, Катерина Николаевна. Простите.

— Да, это странно, отвѣчала она въ раздумьи.—Но о странностяхъ толковать нечего. Что съ вами?

— Богъ знаетъ что... сказалъ онъ, еще не опомнясь.—Мнѣ хорошо. Это мои первые свѣтлые дни. Такъ ужъ не гоните, позвольте отдохнуть.

— Я не гоню. Я спрашиваю.

— И не спрашивайте... Право, прибавилъ онъ вдругъ съ усмѣшкой:—что вамъ до моей блажи? Мнѣ совѣстно, что я васъ вчера потревожилъ. Прошло!..

— У васъ, стало быть, скоро проходитъ? спросила она серьезно.—Только, пожалуйста, если вчера вы говорили праздныя слова, не подумайте, что сегодня я спрашиваю изъ празднаго любопытства. Я того и другого не уважаю.

Она наклонила голову, пряча глаза отъ косыхъ розовыхъ лучей, которые свѣтили ей на лобъ и сверкали въ волосахъ. Верховской опять спросилъ себя, гдѣ онъ ее видѣлъ?

— Ради Бога, простите, сказалъ онъ:— смѣю ли я это подумать?.. Нѣтъ, лучше признаюсь: я шелъ къ вамъ сегодня, просто, увидѣть васъ, услышать два слова... ну, хоть пустыя два слова, лишь бы отдохнуть. Вотъ, и не стало силы говорить о печальномъ. Еще успѣю... Отложимъ?

— Ну, отложимъ, отвѣчала она съ доброй улыбкой.—А то, признаюсь тоже, мнѣ не понравилось, какъ вы сейчасъ это легко сказали. Сегодня одно, завтра другое,—такъ, будто нѣтъ ничего завѣтнаго. Скучно. Вы меня извините, я рѣзка. Но если хотятъ говорить со мной, пусть говорятъ мнѣ правду. Если есть что въ самомъ дѣлѣ на душѣ, продолжала она, живо обратясь къ нему:—я выслушаю, а фразъ я терпѣть не могу: я примѣтила,—люди иногда выдумаютъ себѣ чувство и толкуютъ о немъ до тѣхъ поръ, покуда сами ему повѣрятъ... Вамъ случалось это примѣчать?

— Случалось... отвѣчалъ Верховской, заглядываясь на нее.—Но... Катерина Николаевна, простите, если я васъ спрошу... Если вы позволяете мнѣ говорить о себѣ...

— Да, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Мнѣ нужно бы прежде знать о васъ.

— Обо мнѣ?

— Да. Счастливы ли вы?

Она помолчала и отвѣчала искренно и какъ-то нѣжно не смѣло.

— Послушайте... Пожалуйста, не подумайте, что я умничаю; я вамъ буду говорить отъ чистаго сердца. Ни одинъ человѣкъ не можетъ, да и не долженъ быть счастливъ.

— Почему?

— Кругомъ такъ темно, жалко, бѣдно... За себя одного, человѣкъ бываетъ доволенъ своимъ дѣломъ, своими ближними... пожалуй, счастливъ тѣмъ, что не можетъ помириться на одномъ своемъ счастьи... Это гордость, если хотите; но, кажется, можно простить ее, за то, что она ужъ очень печальна.

— Я не о такомъ счастіи говорю, сказалъ Верховской.

— А довольна ли я моимъ положеніемъ? Вполнѣ. Сегодня я объ этомъ много передумала, вспоминая васъ, прибавила она.

— Вы обо мнѣ думали?

— Какъ же не думать?

— Что же вы рѣшили?

— Я не рѣшила; я не могла понять, какъ можетъ человѣкъ быть одинъ, когда на свѣтѣ тысячи людей только и ждутъ, чтобъ имъ протянули руку, помогли, сказали слово...

— А онъ самъ осмѣливается протягивать руку и выпрашивать! прервалъ Верховской.

— Да, потвердила она, взглянувъ ему въ глаза:—просить, когда могъ бы самъ давать.

Верховской не отвѣчалъ, отвернулся и наклонилъ голову въ колѣни.

— Мнѣ слѣдовало бы поблагодарить васъ за комплиментъ, Катерина Николаевна, заговорилъ онъ съ холодной усмѣшкой:—вы считаете меня на что нибудь способнымъ. Скажу просто, и также попрошу васъ не принимать моихъ словъ за фатство, вы не ошибаетесь. Я понимаю бѣдствія и печали человѣческаго рода и очень бы радъ его осчастливить. Но я самъ вынесъ не мало. Если бы

на мою собственную долю выпало хоть немножко отрады или поддержки, если бы судьба не закинула меня въ омутъ, гдѣ людей нѣтъ и откуда выхода нѣтъ, если бы у меня былъ хоть одинъ другъ, если бы... Ну, все равно!.. я, пожалуй, не сталъ бы выпрашивать, а поживалъ бы, размѣниваясь душою на души другихъ. Вѣдь этимъ способомъ покупается счастье... то есть довольство своимъ положеніемъ, какъ вы опредѣлили? Какъ видите, оно доступно людямъ, тоже въ своемъ родѣ, богатымъ. Бѣднѣе меня мало найдутся... Вы, въ этомъ случаѣ, такъ сказать, легкомысленно разсудили по наружности.

— Пожалуйста, не смѣйтесь, прервала серьезно Катерина.

— Не смѣяться?

— Да. Скажите мнѣ прямо, что я васъ оскорбила. Тутъ не до учтивостей. Я не знаю вашего несчастья и невольно могу быть виновата словами; остановите меня во-время, а не отмщайте.

Онъ оглянулся въ волненіи, будто испуганный, удивленный, вслушивался, не сводя съ нея глазъ.

— Я не знаю, что вы со мной дѣлаете, Катерина Николаевна; я не знаю, что это такое...

Онъ всталъ и закрылъ руками лицо.

— Кажется, я не суевѣренъ, а съ вами все будто передо мною моя мать... Такъ не до учтивостей, вы сказали? не до учтивостей?

Онъ быстро воротился, сѣлъ и взялъ обѣ ея руки.

— Простите же мнѣ эти выходки... это не въ первый разъ, но такъ и быть!.. Простите меня. Если вамъ живется легко, не судите, въ самомъ дѣлѣ, по наружности; не осуждайте на мужество, на терпѣніе тѣхъ, кому, можетъ быть, больше силъ нѣтъ. Вамъ противна людская злоба, людская низость; мнѣ не меньше, а мнѣ еще достается съ нею бороться. Вы молоды, ваше золотое счастье впереди: я молодъ, а для меня все кончено давно. Вы такая гордая, независимая, любимая... вамъ не понять, что такое завядать, замирать, терять вѣру въ свое значеніе... Вы скажете: дѣйствуй, ищи, дѣлись. Вы правы, вы ужасно правы!.. Но лучше разжалуйте меня изъ дѣятельныхъ, изъ способныхъ, и дайте мнѣ крошечку счастья,—такъ только, хоть посмотрѣть, какое оно бываетъ: я вѣдь не видывалъ!.. Нѣтъ, правда, видѣлъ! вскричалъ онъ, поднимаясь опять:— видѣлъ, въ послѣднія три недѣли, когда умирала мать... вотъ, когда я его понялъ!.. И, Боже мой, опять тоже: тогда три недѣли, теперь—три дня... Это съ ума сойдешь!

Онъ отошелъ; она, не двигаясь, смотрѣла ему вслѣдъ...

— У васъ нѣтъ розъ? спросилъ Верховской, остановясь у цвѣтника.

— Нѣтъ.

— Тѣмъ лучше; я не могу ихъ видѣть... Можно пройтись здѣсь?

Катерина подошла къ нему молча. Они дошли вмѣстѣ до конца аллейки, упиравшейся въ чужой заборъ.

— И только всего сада? спросилъ Верховской.

— Развѣ мало? возразила она.

— Нѣтъ, послушайте, что же это? вскричалъ онъ: — вы не нарочно такъ говорите? Знаете ли, какъ вы на нее похожи? Не лицомъ, — лицомъ ни одной черты, но что ни слово—живая!.. У васъ совсѣмъ другая красота. Она... Только въ картинахъ великихъ мастеровъ есть такія лица, такое выраженіе. Божественное! И отъ божественнаго, просвѣтленнаго, до простѣйшаго дѣтскаго. Улыбнется, пошутитъ—праздникъ!.. И вотъ, также, при ней бывало легко, вдругъ легко... О, съ ней не бывало ни страха, ни усталости, ни сомнѣній! Тогда я вѣрилъ, что нуженъ, что гожусь на что нибудь,—она въ это вѣрила! Она всему, даже незамѣтному, даже ничтожному давала его значеніе, давала мѣсто на землѣ, ободряла, освѣщала. Она все знала, все понимала, все прощала, все любила, добрая, ласковая... Радость! Ты знаешь, былъ ли одинъ день, одинъ часъ...

Онъ опомнился, чувствуя, что ломаетъ пальцы Катерины.

— Ахъ, простите... Вотъ, такъ мы жили... Нѣтъ, мы только сбирались такъ пожить! Жизнь вмѣстѣ, за одно...

— Разсказывайте, вскричала Катерина:— говорите, что хотите, только о ней! Если ужъ нѣтъ больше радости, такъ хоть назовите ее; вспомните, какъ вы ее любили,— будетъ легче...

Онъ остановился.

— Разскажите, какова она была, всякую малость,—все свято!

Верховской смотрѣлъ на нее молча, задумавшись, казалось не видя, прищуривая глаза будто отъ свѣта, — въ самомъ дѣлѣ, отъ смущенія, что его рѣсницы были влажны. Съ его лица исчезло оживленіе и замѣнилось выраженіемъ холодной, затаенной злости; его голосъ измѣнился, когда онъ заговорилъ.

— Повѣрите ли вы, Катерина Николаевна, что, вотъ, одиннадцатый годъ, какъ нѣтъ

моей матери на свѣтѣ, а вы первая — первая спросили меня о ней? Вы повѣрите, что я никому не говорю о ея существованіи?

Она взглянула на него съ испугомъ.

— Да, никому! Вѣдь я вамъ сказалъ, что у меня нѣтъ никого.

— А ваша жена?

Верховской съ минуту помолчалъ.

— Вы ее увидите, сказалъ онъ.

Они прошли еще разъ всю дорожку и повернули опять, не замѣчая. Верховской заговорилъ первый.

— Вотъ что... Право, не знаешь съ чего начать. Того, что прошло, не воротишь. Усопшее живетъ, но не оживаетъ, а человѣкъ вертится въ настоящемъ. Мое настоящее... Разсказывать, такъ ужъ все. Мы были бѣдны; ничего, кромѣ надеждъ на будущее. Я вздумалъ ихъ поторопить и женился на богачкѣ... Мать не только не требовала, даже не знала, прибавилъ онъ поспѣшно. — Все это вышло ни къ чему. Она не пошла жить ко мнѣ и прожила всего годъ. О, конечно, этотъ годъ она не нуждалась, отдохнула, воображала, что я счастливъ... Ну, ей не удалось умереть въ этомъ пріятномъ заблужденіи!..

— Въ какомъ заблужденіи?

— Въ заблужденіи, что я люблю мою жену.

— А вы...

— Я ее ненавижу съ перваго дня, отвѣчалъ онъ, раздражаясь, сдерживаясь, и чтобы дать просторъ этому мученію, неловко засмѣялся.—Васъ это удивляетъ?

— Господи, какой ужасъ!.. выговорила она.

— Да, не весело.

Онъ опустилъ голову и шелъ молча.

Ему стало досадно, зачѣмъ онъ все это сказалъ. Казалось, это было и главное, съ этого и слѣдовало начинать, чтобы сбросить съ души то, что ее тяготило; но странно, тяжесть будто сильнѣе налегла, обрушилась и заставляла ниже клонить голову. Онъ не сознавалъ себя виноватымъ, но ждалъ осужденія; не робѣлъ предъ нимъ, но и не встрѣтилъ бы его хладнокровно...

— Послушайте, Андрей Васильевичъ, сказала Катерина.

— Слушаю, отвѣчалъ онъ.

— Послушайте, вы начали, — досказывайте. Если вамъ, точно, легче при мнѣ, будто при вашей матери... я этого не стою! Но, ужъ если такъ, скажите мнѣ все. Какъ вы могли это сдѣлать... жениться, не любя?

— Вы никогда не видали, какъ это дѣлается? спросилъ онъ, усмѣхаясь.

— Но развѣ вы то, что другіе? возразила она спокойно и твердо.—Вы были обязаны подумать. Что за искушеніе—деньги!

— Искушеніе? вскричалъ онъ, встрепенувшись, будто раненый.—Искушеніе? Вы не знали нищеты! Понимаете ли вы, что это такое? Бывали дни — она не ѣла! Голодная! Моя мать! Да понимаете ли вы, что это? Когда сотни, тысячи какихъ нибудь тварей... Искушеніе!! Я продался какъ рекрутъ, я отдалъ жизнь безъ оглядки, я старался полюбить мою жену, я не пользовался... Нѣтъ, вы должны все знать! я не хочу, чтобъ вы меня осуждали!

Онъ привелъ ее къ балкону, посадилъ, сѣлъ самъ и сжалъ ея руки.

— Ради Бога, за что же такъ? Я не заслуживаю, не прогоняйте меня, слушайте... За что же въ вашихъ глазахъ я человѣкъ низкій, продажный? Я поступилъ безумно, но, по крайней мѣрѣ, мать умерла не въ гниломъ углу...

Онъ зарыдалъ.

— Простите меня... разсказывайте, сказала Катерина.

Темнѣло. Верховской не замѣчалъ, волнуясь, разсказывая, спѣша оправдываться. Но для оправданія ему не было надобности описывать свою жизнь съ женою; довольно было сказать, каково было счастье, чтобы дать понятіе о его противоположности. Предъ совершенствомъ все блѣдно; здѣсь, взамѣнъ совершенства, далось что-то ужасающее, мертвящее... Онъ прервалъ разсказъ съ первыхъ словъ и его пощадили отъ продолженія. Все было понято вдругъ, безъ уговора, какъ въ послѣдніе дни съ матерью. Это пониманіе, эта пощада только жарче и нѣжнѣе напомнили и освѣтили ему его вѣчно дорогую радость. Онъ говорилъ только о ней, о любви къ ней, о ея любви, ея совершенствахъ, говорилъ съ восторгомъ, съ отчаяніемъ, съ дѣтской простотой; въ немъ повторялись всѣ ощущенія прошлаго, со всѣмъ сознаніемъ, что этого прошлаго нѣтъ; онъ разомъ, спѣша, захватывалъ счастья воспоминаній за многіе годы; онъ былъ счастливъ и въ настоящемъ. Онъ чувствовалъ, что его слушаютъ, ободряютъ, что онъ не одинъ, что ему отзываются живымъ сердцемъ; онъ опять жилъ молодостью, жилъ золотыми годами...

Катерина слушала, глядя ему въ глаза, принимая всей душой весь чистый свѣтъ этого прошлаго... Стало быть, можетъ существовать то, что до этой минуты было

для нея только восторженной мечтой? стало быть, можно жить бѣдно и честно, сердечно, разумно, независимо; можно трудиться ради высшаго значенія труда, ради его прелести, его нравственной необходимости? Это не подвигъ рабскаго терпѣнія, не выставка на диво тупому безсилію, не борьба, въ которой человѣкъ ожесточается и ожесточаетъ. Это дѣло простое, какъ дѣло природы, работающей безъ остановки, безъ усталости, свободно,—творящей потому, что не творить она не можетъ... Это было, — слѣдовательно, это можетъ быть. Какое счастье чувствовать и въ себѣ эту свободную силу!

— О, какъ хорошо! повторяла она, отвѣчая всему, что переживала за-одно съ человѣкомъ, такъ недавно ей чужимъ. Она любила то, что онъ любилъ, его скорбь стала ея скорбью; она догадывалась, дополняла, подсказывала его разсказы; она вслѣдъ за нимъ называла радостью его радость, поклонялась ей, какъ вѣрующая. Онъ былъ оправданъ своей вѣчной памятью о н е й. Эта память живила; она переносила изъ тѣснаго угла въ жизнь всего міра, отъ своего личнаго къ общему, будила мысль и участіе ко всему живущему. Говоря о н е й, думалось и говорилось обо всѣхъ... Верховской будто ожилъ. Такъ, бывало, юношей, онъ надѣялся, мечталъ, восторгался безъ холодно-насмѣшливыхъ оглядокъ; восхищеніе умно не размѣрялось, негодованіе осторожно не пряталось. И теперь, будто та же весна просыпалась въ сердцѣ, молодая, трепещущая; чувство о б щ а г о, отдыхая, поднималось изъ темноты, гдѣ было, неволею, запрятано; кругомъ вѣяло забвеніемъ всего мелко житейскаго; въ душѣ тихо, ясно горѣло сознаніе, что убѣжденія раздѣлены, полуслова поняты, разъясненія готовы,— и что-то странное, волнующее, небесное охватило сердце...

Онъ не ошибался: та, которая его слушала, сочувствовала всякому его слову. Она не удивлялась; эти стремленія, эта честная печаль были ей давно знакомы; она только радовалась, что ихъ встрѣтила. Въ нихъ — счастье этого человѣка; такія силы не гибнутъ; дѣло его жизни не кончено...

— И вы отчаявались! говорила она.—Отчаявались, когда у васъ и средства, и полная воля сдѣлать все добро, какое захотите! Сомнѣвались въ себѣ? Но развѣ вы не видите, что вы тотъ же, что были, когда о н а была съ вами? Знаете, зачѣмъ вы ее пережили? Чтобы славить ея имя!

— Вы говорите это? вскричалъ онъ.

— Да, говорю! Но славить не словами, а дѣломъ...

— Дѣломъ? О, если бы это было возможно! но когда все стѣснено, когда нѣтъ права ни надъ чѣмъ...

— Неправда, прервала она: — отговорка лѣнивыхъ! Есть страшное право, — право надъ людьми,—а кто имъ пользуется по-человѣчески?.. Не постройки избъ — это выгода владѣльца, не кротость — это физическая добродѣтель! вскричала она, заранѣе останавливая возраженіе.—Нѣтъ, воспитать этихъ людей, дать смыслъ ихъ жизни, дать имъ понятіе ихъ выгодъ, дать имъ полюбить трудъ... Вѣдь они его ненавидятъ, эти люди, прикованные къ землѣ, люди, у которыхъ одинъ помыслъ — хлѣбъ и чужая воля... Ужасъ! Сократите же эту волю, которая грабитъ этотъ хлѣбъ; ѣшьте наравнѣ съ работникомъ, чтобъ у него былъ часъ отдохнуть и одуматься; не наряжайте въ шелкъ вашу балованную семью, чтобъ у крестьянскихъ ребятъ были пеленки! Дайте имъ образованіе, ихъ головы не хуже вашей, освѣтите ихъ умъ, развейте руки. Это не мудрено, не сложно: только тратьте на нихъ то, что имѣете отъ нихъ, оставляйте себѣ только законную, вполнѣ законную долю, какъ наставникъ... Это не слова одни, не мечты; это можно сейчасъ къ дѣлу! Вы сказали — Спасское куплено для удовольствія... Стыдъ! я забыть этого не могу! Вотъ ваше дѣло, оно стоитъ передъ вами. Никто васъ не стѣснитъ, никто не помѣшаетъ; ужасы творятся, и о тѣхъ не спрашиваютъ... оглянитесь хоть на то же Спасское!.. Сдѣлайте изъ этого голоднаго кроваваго пустыря честное убѣжище, чтобъ изъ него вышли дѣльные люди, готовые къ свободѣ...

— Еще ближе, дать ее сейчасъ, прервалъ Верховской.

— Да, ближе, и съ вида, пожалуй, даже великодушнѣе, а на дѣлѣ — скорѣе съ рукъ долой! Какъ вы жалко не знаете народа. Кругомъ неволя, кругомъ безурядица, грабежи, притѣсненія, а вы бросите туда лишнюю горсть людей безъ правъ, безъ огражденія, забитыхъ, непонимающихъ... Свобода, такъ свобода для всѣхъ.

Она встала.

— Можетъ быть, и дождемся ея и вздохнемъ вольно всѣ вмѣстѣ!.. А до тѣхъ поръ, съ Богомъ, безъ отговорокъ, за дѣло. Чтобъ не было больше этой праздной тоски, что жизнь пропадаетъ, никому ненужная: всегда найдется, кому ее отдать. Не робѣй-

те, неблагодарно, стыдно. Это — будущее; оно будетъ рости у васъ на глазахъ. Трудиться заодно съ людьми, для того, чтобъ имъ сталъ понятенъ и милъ свѣтъ Божій... начать новую жизнь, такую хорошую жизнь... сотни душъ большихъ и маленькихъ вздохнутъ по-человѣчески... забота о всякой бѣдной мелочи... Господи, это блаженство!

У нея градомъ покатились слезы.

— Спросите себя: что сказала бы ваша радость?..

— То, что она говоритъ... прошепталъ Верховской, наклоняя голову почти до земли.

— Она сказала бы: я съ тобой, я жива, въ тебѣ, чрезъ тебя, я жива для другихъ!.. Да, жива! Еслибъ вы знали... съ той минуты, какъ вы о ней сказали, я—другая, я на все готова, на работу, на нужду, я умерла бы охотно... Счастливецъ!..

— Счастливецъ!.. повторилъ онъ.

Онъ вскочилъ, встряхивая головою, и убѣжалъ въ садъ...

— Подите сюда... сказалъ онъ черезъ минуту, появляясь среди темноты.—Ни слова больше объ этомъ. Дайте отдохнуть...

Она подошла. Онъ, закрывая глаза, прижалъ ея руку къ своей горячей головѣ.

— Неправда ли, я съумасшедшій?.. Вѣдь это все могло бы быть...

— Что?

— Вотъ, этотъ сонъ... Поздно!

— Что поздно, повторила она.

Онъ сжималъ до боли ея руку и молчалъ.

— Вотъ что поздно, сказалъ онъ наконецъ, странно улыбаясь: — десять часовъ. Прощайте. Если вы думаете...

— Ну, да, приходите завтра, прервала она, не понимая, что говоритъ.

Онъ вошелъ въ домъ. Она не пошла за нимъ и осталась, какъ стояла, оторопѣлая. Дверь стукнула, онъ уходилъ... Ей показалось, что она хотѣла еще что-то сказать ему. Что? она не помнила. Она вдругъ, разомъ, все забыла. Яснѣе всего было это неожиданное поспѣшное прощаніе. Она посмотрѣла на свою руку, задумалась — и ничего не могла думать. Ничего... Это было какъ-то обидно.

Память воротилась, какая-то несвязная. Все, что такъ хорошо освѣтило, какъ-то отодвинулось, отхлынуло. Мысль, чувства, ощущенія, все видѣнное, слышанное, сказанное толпится, кружится безпорядочно, перемѣшано, неполно; хотѣлось бы думать, призвать ближе все это святое, безконечное, хотѣлось бы опять сладко заплакать... и нѣтъ возможности, и въ несчастную голову врывается именно то, что, полчаса назадъ, будто вовсе не существовало, томитъ, мучитъ какъ бредъ, пестро вертится въ глазахъ...

«Ледяное сердце... Сотня поклонниковъ...»

«Я въ жизнь мою не потѣшалась!» сказала съ нетерпѣніемъ Катерина, будто защищаясь, отбиваясь отъ обвиненія, раздраженная, будто обвинители стояли передъ нею:—я не тратила моей души, не обманывала ни другихъ, ни себя... Женщина должна быть женщиной только для одного; для всѣхъ остальныхъ, она просто — человѣкъ. Какую же любовь я отдамъ милому, когда всю ее раздамъ по мелочи на встрѣчныхъ?..»

И вдругъ ее охватила странная печаль... Туманъ, который наполнялъ ея голову, все тяжелѣе спускался на сердце...

Ее спросили, счастлива ли она. Она сказала: вполнѣ!..

Вполнѣ ли?.. Живется легко; любима, независима...

Зачѣмъ повторяются тѣ же слова? Почему не подумались другія?..

Случайно, что ли, этимъ днемъ, вся жизнь прошла въ памяти. Тратить душу по мелочи—недостойная потѣха...но какъ-то странно, ново, неожиданно, вдругъ выяснилось, вдругъ стало горько жаль, что много остается въ душѣ нераздѣленнаго, никому не отданнаго... Дѣлить съ другимъ это добро, которое тяготитъ и ломитъ, ища исхода; дать волю этому внутреннему свѣту, жизнью своей души живить другую душу... Быть для него женщиной и человѣкомъ, любовью безъ конца, опорой безъ обмана, самоотверженіемъ безъ оглядки, быть его страстью, быть его совѣстью...

— Женатъ! сказала она громко и охолодѣла...

III.

Верховской шелъ домой. Было ли темно, или въ глазахъ у него темнѣло, но онъ не видѣлъ дороги, даже сбивался съ нея, хотя она была и довольно пряма, и довольно ему знакома. Что онъ чувствовалъ, онъ самъ не зналъ; онъ отдалъ бы все, лишь бы ему позволили воротиться, остаться... Онъ еще разъ повторилъ: «поздно!» но уже безъ отчаянія, безъ печали; онъ какъ-то забывалъ, что на свѣтѣ бываютъ печаль и отчаяніе. Онъ забывалъ все, что было, не думалъ, что будетъ; онъ слышалъ ея призывный, добрый голосъ и не помнилъ ни одного слова; онъ видѣлъ

ее, ея сильную, строгую красоту, прелесть ея движеній, ея безгрѣшно сіяющіе глаза; она то шла впереди, шла съ нимъ объ руку, то останавливалась и стояла, высокая, стройная, какъ въ ту минуту, когда онъ до земли преклонился передъ нею... Онъ шелъ какъ съумасшедшій, то спѣшилъ, почти бѣжалъ, будто крадучи уносилъ драгоцѣнность, то спокойно повторялъ себѣ, что этого блаженства никто не отниметъ, что оно—его, что онъ уступитъ его только съ жизнью...

Кругомъ стало что-то шумнѣе; проѣзжали экипажи; встрѣчались прохожіе. Верховской осмотрѣлся: широкая улица, большіе дома, гостиница. Онъ засмѣялся какъ школьникъ, котораго застали врасплохъ.

— До завтра! Она сама позвала, сама придумала... А то, пожалуй, не рѣшился бы попросить позволенія придти. Вотъ было бы умно!

Онъ съ наслажденіемъ смѣялся надъ собою.

— До завтра. Съ утра? Невозможно. Ну, куда нибудь дѣвать день; все равно... А вечеромъ...

Передъ нимъ былъ подъѣздъ гостиницы. На улицѣ стояли двѣ отпряженныя дорожныя кареты. Свѣтилось что-то много окошекъ. Поднимаясь по лѣстницѣ, Верховской подумалъ, что охотно отдохнетъ.

— Имѣю честь поздравить, сказалъ коридорный выбѣгая къ нему на встрѣчу:—ваша супруга изволила пріѣхать.

— Кто? переспросилъ Верховской.

— Ваша супруга и дѣтки. Еще не ложились, дожидались васъ.

Верховской какъ-то невольно взялся за перила.

— Уже часа три какъ пріѣхали. Номера рядомъ съ вашимъ. Онѣ приказали отворить къ вамъ дверь. Пожалуйте прямо.

Верховской ничего не слышалъ и шелъ не спѣша, не мѣшкая, не думая, не чувствуя. У него скользнуло въ умѣ, что такъ, должно быть, люди идутъ на казнь. Впереди приготовлено что-то отвратительное, неизбѣжное, и тянетъ къ себѣ; въ тѣлѣ—ужасъ; въ душѣ—животная покорность... Онъ засмѣялся, не сладивъ отворить ручку двери. Лакей помогъ ему.

— Принесите мнѣ стаканъ воды, сказалъ Верховской, рѣшительно входя въ комнату.

Комната была большая, незнакомая, нѣчто въ родѣ гостиной; на столахъ горѣли лампы, и за ихъ шарами Верховской не сразу разглядѣлъ общество.

— Monsieur! сказалъ кто-то, увидя его.

Ему на встрѣчу встала молодая особа, вся въ черномъ. Верховской, молча, подалъ ей руку, вспоминая, что это m-lle Роше, гувернантка. Зачѣмъ же она въ черномъ? Онъ, должно быть, долго думалъ, потому что она напомнила:

— Voici madame.

— Гдѣ же это ты былъ, André? раздался голосъ Лидіи Матвѣевны.

Верховскому хотѣлось крикнуть ругательство.

— Здравствуйте, сказалъ онъ, подходя.

Лидія Матвѣевна, въ шелковой блузѣ, въ шали, заколотой опаловой брошкой подъ горло, въ крошечномъ батистовомъ чепчикѣ, подъ который были тщательно подобраны всѣ ея бѣлокурые волосы, разбиралась въ дорожномъ несессерѣ. Ее загораживалъ столъ, на которомъ еще оставался неубранный чайный приборъ. Черезъ столъ она перегнулась къ мужу; ихъ губы встрѣтились.

Подлѣ нея, на диванѣ, были маленькіе мальчикъ и дѣвочка; они встали и поклонились. Верховской наклонился и поцѣловалъ ихъ.

— Гдѣ же Элимъ? спросила по-французски Лидія Матвѣевна.

M-lle Роше вышла позвать его. Машинально глядя ей вслѣдъ, Верховской увидѣлъ еще особу, сидѣвшую на другомъ диванѣ, у лампы; передъ нею на столѣ была рабочая корзинка, рабочій ящикъ. Она вышивала англійскимъ швомъ такъ комфортно, такъ спокойно, какъ будто не совершила никакого путешествія, а только перемѣстилась изъ одной комнаты въ другую. Это была m-lle Annette Каруцкая, дочь вліятельнаго дядюшки.

— Bonjour, mon cousin, сказала она, привставъ и выказывая свою стянутую талію, сотни оборокъ на платьѣ и концы чернаго бархата на головѣ и на плечахъ.

Верховской какъ-то обрадовался ея присутствію.

— Анна Петровна! сказалъ онъ такъ привѣтливо, какъ никогда съ ней не разговаривалъ:—какъ вы вздумали къ намъ?

— Annette ѣдетъ ко мнѣ, потому что ей нуженъ воздухъ, отвѣчала Лидія Матвѣевна.—Но гдѣ же ты былъ до сихъ поръ, André?

— Гулялъ, отвѣчалъ онъ съ усмѣшкой, будто хотѣлъ чѣмъ-то озадачить, мелькомъ поцѣловалъ своего старшаго сына и сѣлъ.

— Merci, mademoiselle, прибавилъ онъ, когда m-lle Роше передала ему принесенную воду и также мелькомъ на него взглянула.— Скажите,—я боюсь спросить,—что случилось?..

— Мой отецъ умеръ, отвѣчала гувернантка, глядя на него ужъ пристальнѣе:—мой братъ идетъ драться съ вами. Я хотѣла оставить Россію, но средствъ нѣтъ.

— Война не мѣшаетъ намъ быть лично друзьями, сказалъ Верховской.

— Для этого нужно много силы характера съ обѣихъ сторонъ, возразила она серьезно: — и мое положеніе, какъ одинокое,— труднѣйшее...

— Ахъ, опять тоже! вскричала Лидія Матвѣевна:—вы мнѣ двѣ недѣли уши прожужжали! Обрадовались, что есть еще кому жаловаться! Кажется, ужъ соображено, разсчитано, что вы въ вашей прекрасной Франціи не найдете себѣ мѣста въ три тысячи франковъ; по-русски вы ни слова не понимаете, стало быть, что говорится—вамъ все равно; положеніе ваше на милой родинѣ не завидное...

— Epargnez-moi les humiliations, madame, отвѣчала дѣвушка и отошла.

— Humiliations! повторила Лидія Матвѣевна и продолжала по-русски.—Вѣтренница, какихъ на свѣтѣ мало! Право, обрадовалась, что есть передъ кѣмъ повертѣться, понимаютъ ее. Въ Москвѣ вѣдь пришлось ей цѣлые дни молчать, сидя въ гостиницѣ. Я ее прозвала «Нѣмая на Тверской...» Помните, Annette?

Annette оглянулась. Верховской молчалъ.

— Право не до этихъ вздоровъ продолжала Лидія Матвѣевна:—я удивляюсь, André, что ты ничего не скажешь? Вѣдь это странно. Точно ты вчера всѣхъ видѣлъ, точно ничего не было...

— Да что же было? сказалъ онъ:—Спасское тебѣ куплено, я писалъ.

— Да, наконецъ! И всѣ формальности кончены?

— Кончены... Нѣтъ, еще не кончены. Я не ждалъ васъ такъ скоро.

Онъ всталъ и заходилъ по комнатѣ.

— Что же за скоро, помилуй? долго ли же еще мнѣ было кочевать въ Москвѣ? Ты здѣсь, я тамъ... я сейчасъ провѣрила; это Богъ знаетъ что! Я, наконецъ, захворала; тамъ такая жара, дѣти безъ уроковъ, и все это только потому...

— Я знаю почему, прервалъ онъ, продолжая ходить.—Ты мнѣ писала.

— Я тамъ, у тебя, видѣла два моихъ письма нераспечатанныхъ?

— Можетъ быть.

— Но что же это? Что еще не кончено?

— Полы не вымыты въ Спасскомъ, отвѣчалъ онъ и засмѣялся.

— Тамъ паркеты! вскричала она и вдругъ спохватилась:—что это за странности?

— Никакихъ странностей. Въ деревнѣ ни кола, ни двора... А вы не находите, mesdames, что пора спать? двѣнадцатый часъ. Какъ по-вашему, по-столичному?

— Это Богъ знаетъ что! вскричала Лидія Матвѣевна. — Что же тамъ такое, я спрашиваю? Вѣтромъ, что ли, унесло домъ, паркъ...

— Успокойтесь, все цѣло, и хоромы, и парки, и лабиринты. Извините, я спать хочу. Покойной ночи.

Онъ ушелъ въ свою комнату, повернулъ ключъ въ двери и, послышалось, шаркнулъ спичкой.

Лидія Матвѣевна была поражена; во всю жизнь она не видала такихъ выходокъ отъ своего супруга. Она не знала — удивляться ли, гнѣваться, или плакать? идти ли спать. или спросить ужинать? Она растерялась до того, что чуть не обратилась къ Annette, не разъяснитъ ли она это какъ нибудь, но одумалась: всего обиднѣе, что это случилось при Annette. Размысливъ, Лидія Матвѣевна отослала спать дѣтей и m-lle Роше и, оставшись вдвоемъ съ кузиной, спросила ужинать. Это заняло довольно времени.

— Какъ здѣсь тихо, замѣтила, прислушиваясь, Annette: — неужели въ деревнѣ еще тише?

Лидія Матвѣевна была только однажды въ одной изъ своихъ деревень, но отъ скуки не прожила тамъ и недѣли. На вопросъ кузины она улыбнулась.

— Что-жъ дѣлать, сказала она.—Приходитъ такой возрастъ, что люди думаютъ не объ удовольствіяхъ, а о томъ, чтобы сберечь что нибудь своимъ дѣтямъ.

Хотя отвѣтъ не приходился прямо къ вопросу, но Annette имъ удовлетворилась.

— Мы долго пробудемъ здѣсь, въ N*? спросила она.

Этотъ вопросъ былъ щекотливѣе. Маленькіе глаза Лидіи Матвѣевны сверкнули.

— Вы слышали, я думаю; въ Спасскомъ еще не все готово, отвѣчала она съ пренебреженіемъ. — А впрочемъ, André правъ: поздно; всѣ что-то бредятъ. Bonne nuit.

Она быстро встала. Верховской, который не ложился, слышалъ все, что происходило, весь шумъ ходьбы и успокоенія. При женѣ, дѣтяхъ и кузинѣ были три горничныя; при двухъ каретахъ, въ которыхъ все это пріѣхало, при громадной поклажѣ, было два лакея; возни было много. Верховской не позаботился о помѣщеніи и ужинѣ прислуги,

а потому слышалъ, какъ Лидія Матвѣевна еще два раза приходила въ гостиную, распоряжалась, приказывала, сердитая, усталая. Онъ растворилъ окно и курилъ въ потьмахъ, глядя на улицу.

У него въ душѣ была отвратительно холодная, тупая, нелѣпая злость, слишкомъ хорошо знакомая, тысячу разъ испытанная, томящая, унижающая; злость, въ которой человѣкъ стыдится взглянуть на себя, готовъ съ радостью умереть и готовъ хохотать всякой пошлости...

— Вотъ и дождался! сказалъ онъ себѣ, даже вслухъ, сквозь сигару. И такъ завтра, послѣзавтра, до скончанія вѣка!..

Въ комнатахъ кругомъ, наконецъ, притихло. Тишина еще больше внушаетъ мысль, что надо рѣшиться, дѣйствовать, иногда заставляетъ одуматься, чаще наводитъ на несообразныя предположенія, погружаетъ въ горячечный сонъ на яву... Верховской отошелъ отъ окна, зажегъ свѣчу и сѣлъ писать письмо.

Онъ не затруднялся, не рвалъ бумаги. Онъ досказывалъ то, что, три часа назадъ, не высказалъ словами: всю свою исторію съ ея прозаическими подробностями. Мучась тѣмъ, что довѣрялъ, онъ не задумывался, кому довѣряется. Это существо всесильное; оно должно все разрѣшить; какъ—оно должно само знать. Письмо было постыдная исповѣдь, отчаянная мольба. Исповѣдуясь, молясь, люди заботятся о себѣ, а не о божествѣ...

Дверь стукнула, Верховской вскочилъ; неловко ли онъ ее заперъ, или дурной замокъ уступилъ толчку, но она отворилась. Вошла Лидія Матвѣевна. Она была вся въ бѣломъ, въ чепчикѣ, худая, блѣдная.

— Я увидѣла у тебя огонь. Ты не спишь?

Верховской бросилъ бѣлый листъ бумаги сверхъ исписаннаго.

— Ты не ложился? продолжала Лидія Матвѣевна.

Онъ не отвѣчалъ.

— Для чего-жъ ты сказалъ, что хочешь спать?

Верховской молчалъ. Она ждала. Онъ отошелъ, прошелся нѣсколько шаговъ, воротился, закурилъ, заложилъ руки въ карманы и опять зашагалъ по комнатѣ.

— Я хотѣлъ быть одинъ, сказалъ онъ наконецъ.

— Зачѣмъ?

Онъ, проходя, увидѣлъ въ длинномъ зеркалѣ ея бѣлую фигуру и перемѣнилъ направленіе своей прогулки:

— Ты, кажется, довольно пробылъ одинъ.

Отвѣта опять не было. Лидія Матвѣевна сѣла на мѣсто, оставленное мужемъ, и положила руку на бумаги. Верховской подошелъ, собралъ эти бумаги, сунулъ въ столъ, заперъ и опустилъ ключъ въ карманъ.

— Что это, André? Ты писалъ?

— Я грамотный, сказалъ онъ.

— Я, кажется, имѣю право знать!

— Что такое?

— Что ты пишешь, что дѣлаешь, однимъ словомъ—все!

— Какое-жъ это право? спросилъ онъ, остановясь.

— Я твоя жена.

Онъ стоялъ и смотрѣлъ на нее. Онъ какъ будто провѣрялъ, довольно ли твердо помнитъ эти сухія черты, этотъ взглядъ не глубокій, не пронзительный, но острый, безпокоящій, не глупый, не лукавый, не кокетливый, но вѣчно обидно-подозрительный. Въ эту минуту она даже имѣетъ право подозрѣвать. Она напомнила о своихъ правахъ просто, безъ выраженія, даже безъ всякаго чувства, какъ о чемъ-то изъ домашняго обихода; мелькнуло развѣ что-то тоже въ родѣ обидчивости, какъ является у иныхъ женщинъ, когда противорѣчатъ ихъ хозяйственнымъ распоряженіямъ... Верховской усмѣхнулся.

— Чему ты смѣешься?

— Смѣшно, сказалъ онъ.

— Андрей Васильевичъ, эти комедіи очень глупы и я выносить ихъ не стану. Этого никогда не бывало, это ни на что не похоже. Что вы сейчасъ дѣлали при Annette? Вѣдь вы знаете, что такое Annette? интригантка, сплетница; она навязалась сюда ѣхать, чтобъ подсматривать... Впрочемъ, я очень рада, что есть свидѣтели. Если такъ продолжится... Вы и не ожидаете, что будетъ!

Онъ продолжалъ ходить.

— Андрей Васильевичъ!

Она вскочила съ мѣста.

— Андрей Васильевичъ, я не дѣвочка, не ребенокъ, я не позволю надъ собой издѣваться, вы въ моихъ рукахъ!

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Боже мой... Нѣтъ, должна быть причина!

Онъ былъ близко, она бросилась ему на шею.

— André, André, поклянись, что ты меня любишь!

— Нельзя ли не на весь домъ? сказалъ Верховской.

— О, такъ, знаю: у тебя есть любовница!

— Тьфу! вскричалъ онъ, вырываясь.

— О, нѣтъ, это ужасно, я этого не перенесу, я тебя погублю! Да! я уѣду въ деревню и живите какъ знаете! закричала она внѣ себя.—Сію минуту напишу дядѣ... на ваше мѣсто охотниковъ много! дядя только скажетъ слово и вы ни въ одномъ министерствѣ мѣста не найдете! Попробуйте, побѣгайте, покланяйтесь! Попробуйте, проживите! Человѣкъ, который забылъ все... я отомщу, я тебя уничтожу! Ты не умѣлъ меня цѣнить, такъ, клянусь Богомъ—на тебѣ не было рубашки, я тебя пущу съ сумою... Говори, гдѣ ты былъ сегодня? У нея? Къ кому ты писалъ? Подай мнѣ ключъ! Подай, я буду кричать... эй, люди!.. Кто здѣсь губернаторъ, полиціймейстеръ... пусти!

Она была ужъ у двери. Верховской подхватилъ ее на руки и положилъ на диванъ.

— Лидія, сказалъ онъ:—я тебѣ совѣтую замолчать; это можетъ дурно кончиться...

— Дурно? дурно? кричала она въ изступленіи, вскочивъ на колѣняхъ на диванъ, путаясь въ своемъ платьѣ, хватаясь за мужа.— Дурно? ты грозишь? Такъ клянись мнѣ...

Она разорвала свой капотъ и вытащила цѣпочку съ крестомъ.

— Клянись мнѣ дѣтьми, клянись мнѣ Богомъ, что у тебя нѣтъ любовницы!

— Ну, клянусь, если это можетъ тебя успокоить...

Она сунула крестъ къ его губамъ и упала ему на грудь.

— André, я жена твоя...

Верховской не зналъ, что дѣлать. Слезы, конвульсіи были не притворны. Онъ уложилъ ее, вылилъ ей на голову все, что было одеколона, ухаживалъ. Бѣшенство укротилось; оставалось выносить нѣжности.

— André, я тебя обожаю. Ты долженъ помнить, что я тебѣ не измѣняла; случаевъ было довольно: я молода, я окружена. Ты долженъ помнить, что ты мой. Съ твоей стороны это была бы неблагодарность, низость. Чего тебѣ недостаетъ? Кто тебѣ все доставилъ? И ты мнѣ такъ заплатишь?.. Будь увѣренъ, что тебѣ это такъ не пройдетъ. Я тебя обожаю, я на все готова. Вотъ, стаканъ съ водой,— я бы тебѣ яду налила, клянусь! А эту женщину... ахъ, дурно... на площадь ее, къ позорномъ столбу! André incomparable, царь мой, знаешь ли, что я тебя устроила? я шла тебѣ разсказать... Но какъ же ты меня встрѣтилъ? жена воротилась, а ты... гдѣ ты былъ? Гдѣ ты былъ, въ самомъ дѣлѣ?

— Гулялъ, былъ у знакомыхъ, отвѣчалъ одурѣлый Верховской.

— У тебя много здѣсь знакомыхъ?

— Очень много.

— Не дрянь какая нибудь?

— Вся аристократія.

— Неужели? André, adorable, душка! Видишь, какая я; у меня одна минута... Ну, послушай. Ты не писалъ. Я измучилась въ Петербургѣ двѣ недѣли! я сказала дядѣ Александру Дмитріевичу, au gros bonhomme le général... Ему ленту дали, — знаешь?.. что подозрѣваю тебя, что убѣждена — и теперь есть что нибудь, и прежде было... ну, j'étais folle! Я его просила, и онъ мнѣ далъ слово... мнѣ вѣдь нѣтъ отказа!.. что если я ему напишу, онъ настроитъ l'oncle Pierre Каруцкій, и тебя сейчасъ въ отставку; это рѣшено и ужъ приготовлено. Я не вытерпѣла, сама попросила l'oncle Pierre. Если же нѣтъ... вообрази, что онъ придумалъ, божественный, что онъ дастъ тебѣ командировку сюда, въ N*, для собранія свѣдѣній... постой, c'est drôle... я забыла какихъ: статистическихъ, хореграфическихъ... Eh bien, je n'y suis pas! Тебѣ бумагу пришлютъ. И живите здѣсь, богъ мой, милашка, сколько хотите; чѣмъ больше, тѣмъ лучше: жалованье — твое, и еще три рубля суточныхъ; c'est joli. А дѣло — только иногда здѣсь въ судахъ спросить... Ну, не знаю. Будешь сюда пріѣзжать для этого изъ Спасскаго, а то и совсѣмъ можешь не безпокоиться; это только одна формальность...

— Для меня служба не одна формальность, возразилъ Верховской.

— Ну, пожалуй! Видишь, какая я добрая, тотчасъ соглашаюсь. Ѣзди сюда, я буду пріѣзжать съ тобой. Вотъ тутъ будемъ останавливаться. Это славная комната. Непремѣнно буду брать ее. Она мнѣ будетъ памятна, я въ ней счастлива. Я тебя люблю... Comme tu es toujours joli garçon, André! Барыни, я думаю, здѣсь отъ тебя съ ума сошли, а онъ,— toujours tendre et fidèle своей Лидинькѣ. Ну, цѣлуй крѣпче! Ты мнѣ, сдѣлай милость, не балуй Роше: дура; je l'abomine; не толкуй съ ней о разныхъ разностяхъ; эти премудрыя — наказаніе Господне. Но, вотъ, Annette. Это, André, какъ хочешь,— она за тѣмъ и пріѣхала,— ты обязанъ для дяди Pierre найти ей жениха; онъ для тебя такъ много дѣлаетъ, — и суточныя,—ты обязанъ. Сдѣлай одолженіе, чтобъ мнѣ не отвѣчать предъ моими родными... Dieu sait, comme je t'aime! Ахъ, нѣтъ ничего лучше ссоры, — слаще потомъ! Вѣдь это у насъ первая ссора, André?.. Ну, положимъ, бывали...

Она захохотала и бросилась ему на шею.

— Бывали, но только не за это... Ахъ, но это... André, André, я холодѣю, когда вспомню... Поклянись, поклянись...

— Я ужъ клялся... выговорилъ онъ, отклоняясь.

Разсвѣтало, когда Верховской отвелъ Лидію Матвѣевну, наконецъ совсѣмъ успокоенную, къ ней въ комнату. Онъ воротился къ себѣ, чуть не сломалъ замка, запираясь, и кинулъ въ открытое окно стаканъ, остававшійся на столѣ. Что съ нимъ было, онъ не понималъ; что было кругомъ, онъ не видѣлъ. Онъ упалъ въ кресла, головою и руками на столъ. Спалъ онъ или не спалъ, онъ не зналъ, долго ли—не помнилъ; онъ не слыхалъ ни звона колоколовъ, ни ѣзды подъ окнами, ни ходьбы по корридору, встрепенулся на какой-то незначительный шорохъ, вскочилъ, взглянулъ на часы, не замѣтя часа, схватилъ шляпу и выбѣжалъ на улицу.

IV.

Madame Волкарева грустно и одиноко гуляла по бульвару; съ восьми часовъ она обошла его уже не разъ и повернула въ примыкавшій къ нему городской садъ. Тамъ густо разраслись клумбы жимолости и сирени, начинавшей зацвѣтать, и подъ ихъ тѣнью были скамейки, гдѣ могли отдыхать гуляющіе. Но только воробьи, скача по чисто выметеннымъ дорожкамъ, любовались на щегольской утренній туалетъ губернаторши; только зефиры шептались съ нею, перелетая по вѣтвямъ и играя ея розовымъ вуалемъ. Лѣсичевъ, которому наканунѣ съ вечера было приказано явиться на прогулку, не имѣлъ привычки подниматься такъ рано, и m-me Волкарева, утомленная, уже намѣревалась отправиться домой, когда вдали, подъ навѣсами жимолости, увидѣла кого-то сидящаго. Неожиданное часто бываетъ пріятнѣе нежели условленное. M-me Волкарева подошла, сама замѣчая легкость своей неслышной походки.

—M-r Верховской, вы ли это? воскликнула она.

Онъ поднялъ голову. M-me Волкарева или кто другой, все равно, онъ былъ радъ, счастливъ, что увидѣлъ человѣка; онъ даже поцѣловалъ ея перчатки, между тѣмъ какъ она вспоминала, что на одной не доставало пуговицы.

— Боже мой, что съ вами? Давно ли вы изъ деревни?

— Сегодня... вчера... Моя жена пріѣхала.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Поздравляю! протяжно прибавила она, всматриваясь въ него и не отнимая своей руки, которую онъ, забывшись, не выпускалъ.—Но что съ вами, ради Бога? Нездоровы?

— Да, боленъ; не спалъ... Моя жена пріѣхала.

— Вы сказали...

— Да... Какъ это вы здѣсь? я не думалъ...

— Что меня увидите?

— Да...

— Развѣ вы ужъ уѣзжаете сегодня? Ваша жена спѣшитъ въ деревню?

— Она? да... Нѣтъ, въ Петербургъ.

— Вы?..

M-me Волкарева была такъ изумлена, что Верховской нѣсколько очнулся.

— Я все путаю, сказалъ онъ.—Да, можетъ быть, я поѣду... Еще не знаю.

M-me Волкарева сѣла подлѣ него.

— Какіе прекрасные дни были, сказала она, послѣ нѣкотораго молчанія, задумчиво, слегка вздыхая, и вмѣстѣ достаточно равнодушно, чтобы можно было принять это и за простой разговоръ о погодѣ.—И не возвратятся!.. А мы мало видѣлись, не правда ли? прибавила она.

— Да.

— Такъ васъ увозятъ сегодня?

Верховской всталъ. Она сдѣлала видъ, что не обращаетъ вниманія.

— Я хочу быть въ деревнѣ у васъ. А вы хотите?

— У меня? странно сказалъ онъ.

— У васъ, повторила m-me Волкарева, слегка краснѣя отъ удовольствія.—Что-жъ вы удивились? Лѣса, поля... это еще лучше города. Когда ваша жена познакомится со мною? Она, конечно, будетъ у меня?

Верховской думалъ свое и почти не слышалъ.

— Глупыя приличія, заговорила m-me Волкарева, послѣ небольшого, прекрасно исполненнаго колебанія, достойнаго болѣе внимательнаго зрителя.—Но когда чувство выше предразсудковъ... Не будетъ странно, если я первая приду къ вашей женѣ?

— Сейчасъ? вскричалъ Верховской.

— Хоть сейчасъ, если это можно. Съ вами...

— Неужели? Какъ вы добры! Вы сдѣлаете для меня...

— Bien peu de chose! сказала она, грустно улыбаясь.—Вы, стало быть, не знаете, какъ женщины бываютъ добры. Дайте вашу руку, пойдемте... Вы не противъ того, чтобъ наша компанія прибавилась? спросила она, улы-

дя Лѣсичева въ концѣ аллеи:—мнѣ хотѣлось бы взять его съ нами.

Верховскій былъ на все согласенъ. Всякій лишній посторонній былъ для него будто лишній защитникъ; всякое обстоятельство, всякая случайность хоть на минуту дѣлали перерывъ мученію, хоть разнообразили мученіе... Можетъ быть, это посѣщеніе и поведетъ къ чему нибудь; во всякомъ случаѣ, задержитъ въ городѣ на день, можетъ быть на два. А въ теченіе двухъ дней... Но и въ это самое утро, покуда всѣ будутъ заняты...

Онъ дружески поздоровался съ Лѣсичевымъ, не замѣчая, что тотъ ужъ слишкомъ наблюдательно въ него вглядывался. Въ послѣднее время, веселость Лѣсичева «куда-то затерялась», какъ опредѣлила m-me Волкарева, но въ это утро онъ былъ въ духѣ, какъ будто нарочно, въ противоположность разсѣянности Верховского, который не отзывался даже и тогда, когда шутки не совсѣмъ ловко касались его самого. M-me Волкаревой это было очень непріятно, но вмѣшаться было невозможно. Лѣсичевъ самъ чувствовалъ, что шутитъ не просто, что въ немъ шевелится злость; онъ помнилъ, что выдалъ Верховскому въ припадкѣ откровенности тайну своей любви, и предполагалъ, что ему извѣстна и тайна неудачи. Лѣсичевъ не прощалъ этого себѣ и, слѣдовательно, Верховскому. Къ тому же Верховской явно выдавалъ тайны своихъ собственныхъ неудачъ, посерьезнѣе,—слѣдовательно, представлялся случай поквитаться насмѣшкой...

Верховской пошелъ впередъ на лѣстницу гостиницы, забывшись и оставивъ m-me Волкареву; Лѣсичевъ предложилъ ей свой локоть.

— За вами не поспѣешь, Андрей Васильевичъ, сказалъ онъ, смѣясь. — На крылахъ любви! Впрочемъ, супружеская, кажется, безъ крыльевъ. Вотъ, мнѣ такъ приходится читать... какъ это? «Не пожелай жены ближняго...» Помните, мы съ вами говорили?

Верховской помнилъ только, какъ вчера вечеромъ онъ всходилъ по этой лѣстницѣ...

— Встали? спросилъ онъ.

— Приказали готовить чай.

Верховской отворилъ дверь «гостиной». Прямо напротивъ, вырѣзаясь на свѣтъ оконъ, стояла тонкая, граціозная женская фигура; она была одна. Лѣсичевъ вытаращилъ глаза; m-me Волкарева шла съ привѣтствіемъ, вдругъ почему-то затруднилась, сконфузилась и вздохнула свободнѣе, когда Верховской сказалъ:

— Ayez la bonté, mademoiselle, de prevenir ma femme.

M-lle Роше вышла. Верховской попросилъ садиться.

— Charmante! воскликнулъ Лѣсичевъ: — это ваша гувернантка? Нѣтъ ли еще кого нибудь?

— Есть кузина моей жены.

— Такая же хорошенькая? Сколько же ихъ у васъ, хорошенькихъ?

— Дочь Петра Михайловича Каруцкаго? значительно спросила m-me Волкарева, укрощая это неумѣстное оживленіе.

— Да, отвѣчалъ Верховской.

Волненіе, съ которымъ онъ нѣсколько совладѣлъ, поднималось въ немъ снова; ему было стыдно, гадко, смѣшно. За затворенной дверью слышался шорохъ, бѣготня, шептанье...

— Извините, я скажу самъ... выговорилъ онъ и вышелъ.

Лидія Матвѣевна чуть не упала въ обморокъ, получивъ первое извѣстіе, что ея супругъ привелъ какую-то барыню. При второмъ, положительномъ свѣдѣніи, что эта барыня—N-ская губернаторша и съ нею—первый чиновникъ особыхъ порученій и первый N-скій танцоръ, — опасность обморока обратилась уже на горничныхъ. Всѣ три были призваны въ одно мгновеніе разметать дорожные баулы и совершить туалетъ Лидіи Матвѣевны, начиная отъ туфель до серегъ. Торопясь, Лидія Матвѣевна не имѣла привычки портить свои наряды и только бросала чѣмъ случалось въ голову, кому случалось. На этотъ разъ, дѣйствія не сопровождались словами: Лидія Матвѣевна помнила, что въ гостиницѣ тонкія стѣны.

Annette, оставленная всѣми, изъ другой комнаты призывала m-lle Роше. Лидія Матвѣевна приказала гувернанткѣ переодѣть дѣтей.

— Не съ перваго же дня вѣшаться на шею женихамъ... прошептала она, толкнувъ между тѣмъ горничную, которой это было сказано: — Лизавета, вѣдь и отсюда въ вятскую деревню есть дорога!.. André, душка, душка, merci pour le plaisir! Но какъ же было, въ самомъ дѣлѣ, меня не предупредить? Сейчасъ, сейчасъ, я готова... Ну, любуйся на жену!.. Вѣдь дуры всѣ, эти провинціалки?..

Верховской взглянулъ на нее и растерялся.

— Накинь шаль... сказалъ онъ.

— Ахъ, да, будто съ дороги... Ce sera du chic!

Она завернулась, но не въ дорожную, а въ тысячную шаль и, волоча ее концомъ по полу, стремительно распахнула дверь въ гостиную.

— Excusez-moi, madame... Mon mari m'a tant parlé de vous... dans toutes ses lettres... Si je le croyais capable d'une infidélité...

Трескъ выходилъ оглушительный. M-me Волкарева не уступала въ любезности. Лѣсичевъ былъ представленъ. На него нашелъ вдругъ припадокъ скромности: онъ не говорилъ ни слова, не отводя взоровъ отъ Лидіи Матвѣевны и потупляя ихъ, когда она ему улыбалась. Верховской терзался. Уйти не было возможности.

— Какъ хорошо начался день, томно говорила m-me Волкарева:—я пью воды...

— Ah, je suis donc aussi souffrante!

— Я такъ была удивлена, встрѣтивъ вашего мужа...

— И такого озабоченнаго, подсказалъ вдругъ Лѣсичевъ.

— Ахъ, André всю ночь ухаживалъ за мною; онъ не можетъ выносить, если что нибудь... Вотъ, и сейчасъ — закуталъ меня. Что-жъ дѣлать — покоряешься деспотизму!

— Un despotisme si doux, добавила m-me Волкарева.

— О, но только въ этомъ, поспѣшила прибавить Лидія Матвѣевна: — если я хочу чего нибудь... Ахъ, я вамъ покажу моихъ дѣтей!

Лѣсичевъ боялся дѣтей и сдѣлалъ было движеніе за шляпой; но при дѣтяхъ есть гувернантка...

— André... Chère madame, не хотите ли чаю? Ахъ, снимите шляпку, я такъ рада...

— Если позволите...

Онѣ поцѣловались.

— André, прикажи и пришли Annette; пусть она приведетъ дѣтей и сдѣлаетъ чай.

Верховской пошелъ.

— Повинуется! сказалъ вслѣдъ Лѣсичевъ.

— Ахъ, онъ всегда...

— На этотъ разъ, кажется, что-то неохотно.

— Почему? Что вы находите?..

— Я нахожу, что вашъ супругъ сегодня очень разстроенъ.

— Онъ мнѣ говорилъ, вступилась m-me Волкарева:—онъ нездоровъ.

— Eh, quelle idée, онъ вѣчно здоровъ!

— Онъ просто не въ духѣ, сказалъ Лѣсичевъ.

— Ахъ, онъ всегда такой!

Верховской все слышалъ изъ корридора. Ему хотѣлось задушить Лѣсичева. Долго ли это продолжится?

— Всю жизнь! отвѣчалъ онъ себѣ вслухъ.

Посторонніе, чужіе, всякій судитъ, всякій лѣзетъ, куда его не спрашиваютъ... Такъ вотъ что такое его жизнь со стороны, на свѣжіе глаза. Тамъ, — въ омутѣ, гдѣ все началось,—ужъ присмотрѣлись къ ней, привыкли. Здѣсь, все сейчасъ подмѣтили, поняли, — станутъ, пожалуй, доискиваться причинъ... Ужъ замѣтили въ немъ перемѣну. Стало быть, въ самомъ дѣлѣ, онъ за это время, этими днями, вчера—былъ человѣчнѣе?.. Вчера!..

Что же дѣлать? Какъ отвести эти посторонніе глаза? чѣмъ заткнуть рты, чтобъ не смѣли смѣяться? Лучше, что ли, эти люди и сами, на мѣстѣ бѣдняка, не сдѣлали бы того же?.. Искушеніе! Да вы-то... ты-то, франтикъ, провинціальный левъ, губернаторшинъ прислужникъ, устоялъ ли бы ты? Ты такой же... ты хуже, и у тебя все-таки нѣтъ ничего! На, полюбуйся, грызи себѣ кулаки... Ты, кажется, воображалъ себя «выгодной партіей»...

Задыхаясь, Верховской позвалъ людей и торопилъ, распоряжался. Чрезъ полчаса, въ гостиной накрывали столъ тончайшимъ бѣльемъ, явился фарфоръ, хрусталь, массивное серебро. Лидія Матвѣевна узнала свое богатство, выложенное изъ бауловъ, и обратила вопросительный взглядъ на входившаго мужа.

— Я спросилъ позавтракать, сказалъ равнодушно Верховской.

Ея взглядъ вспыхнулъ восторгомъ. Она уже не стала дожидаться Annette и засѣла сама за серебряный самоваръ, роняя изъ рукъ ложки, гремя чашками и размѣряя чай крупинками.

— Ты проголодался, André? спросила она шутливо, подавая ему стаканъ.

Верховской поблѣднѣлъ; онъ не сообразилъ, что ему напомнитъ эта комедія... Ему показалось, что m-me Волкарева взглянула на него съ состраданіемъ. Онъ отвернулся, чтобъ дать ей возможность кушать покойно, и взглянулъ мелькомъ въ зеркало. «Ничего, еще презентабеленъ», подумалъ онъ и усмѣхнулся... Къ нему воротилось сознаніе. Вся эта кутерьма, эти люди, ихъ рѣчи, все становилось отчетливѣе. Его собственное положеніе между ними стало ясно. Холодная тоска набѣгала въ душу; отчаяніе угасло, тревога улеглась; тишина мертвая и чужіе, противные голоса раздаются будто сверху,

изъ-за рыхлой насыпи... Вотъ, ласкаютъ и хвалятъ его дѣтей. Къ нему не обращаются ни съ однимъ словомъ... и хорошо дѣлаютъ...

— Элимъ, Анатоль, Валентина, повторяла m-me Волкарева за Лидіей Матвѣевной, mais c'est délicienx, c'est poétique!

— Хоть сейчасъ въ романъ, сказалъ Верховской.

Никто не отозвался, будто не слышалъ. Говорили, не умолкая. Лѣсичевъ былъ что-то очень любезенъ, ѣлъ съ аппетитомъ, смѣялся, смѣшилъ. Считались знакомыми, нашлись какіе-то общіе; ихъ вспоминали, расхваливали, разсказывали, хохотали. Наконецъ, вошла очень нарядная m-lle Annette. M-me Волкарева встрѣтила ее уже какъ старая знакомая Лидіи Матвѣевны, поцѣловалась, объяснила, что въ провинціи не церемонятся, и, мило смѣясь ея незнанію провинціальныхъ обычаевъ, выставила ее молоденькой, неопытной, чуть не пансіонеркой. Это было сдѣлано съ такой искусной простотой, съ такой деликатной грубоватостью, что петербургская дѣвица, хотя съ непривычки и не поняла вдругъ, но почувствовала себя пріятно. M-me Волкарева тотчасъ же рекомендовала ей Лѣсичева и завела рѣчь объ N-скихъ увеселеніямъ. На первомъ планѣ было послѣднее событіе—прелестный военный балъ; пересчитывались чуть ли не всѣ его свѣчки.

— Какъ всѣ жалѣли, что васъ недоставало! восклицала m-me Волкарева:—вотъ мужъ... Mais, mon Dieu, c'est alors qu'il était maussade! Онъ, просто, погубилъ праздникъ для меня и для себя... Помните, m-r Верховской, вы, говорятъ, тамъ гдѣ-то спали?

— Не помню, отвѣчалъ Верховской.

— Первая и единственная наша ссора, продолжала она, бросивъ ему взглядъ, исполненный чувства.—Надѣюсь, вы будете послушнѣе...

— Конечно, отвѣчалъ онъ.

— Какъ, André, и будешь танцовать?

— Можетъ быть.

— Ну, ужъ извини, я не позволю! Въ твои лѣта, въ твоемъ положеніи... «Анна» на шеѣ, и прыгать со всякой дѣвчонкой...

Лѣсичевъ говорилъ съ кузиной и слушалъ однимъ ухомъ.

— Я не знала, что вы décoré, тихо сказала m-me Волкарева.

— Какъ? онъ и не надѣвалъ ордена? вскричала Лидія Матвѣевна.

Верховской всталъ, утомленный. Поняла ли его m-me Волкарева, или нашла, что пора уходить, но она встала тоже. Прощаніе грозило быть очень долго.

— Mais, enfin, chère madame Верховской, не уѣзжайте такъ скоро; проведемъ весь день вмѣстѣ; позвольте прислать мой экипажъ и, вотъ, мы всѣ, отобѣдаемъ у меня, а вечеръ...

Она значительно пожимала руку Annette.

— Вечеръ танцуемъ! я устрою.

— Ахъ, божественно! вскричала Лидія Матвѣевна, всплеснувъ ручками.

— Но если мужъ запретитъ танцовать? вмѣшался Лѣсичевъ.

— Quele folie! прервала m-me Волкарева, нѣсколько строго.—Ахъ, pardon, chère madame Верховской; вѣдь вы—рожденная Зурова?

— Нѣтъ, это мой дядя... дядя André, генералъ Зуровъ, тамъ... въ комитетѣ.

— Такъ напишите ему, m-r Верховской... у меня будетъ просьба...

— Извините, прервалъ Верховской—все, что касается генерала Зурова, дѣло... ея.

Онъ указалъ на Лидію Матвѣевну.

— О, мнѣ онъ ни въ чемъ не откажетъ! Tout ce que je veux...

Онѣ наконецъ простились. Верховской взялъ шляпу.

— Ты куда же? спросила Лидія Матвѣевна.

— Проводить ихъ, сказалъ онъ, спѣша выдти.

У него упало сердце; онъ не зналъ какъ дожилъ до этой минуты, истомился; не было силъ идти. Онъ прислонился къ стѣнѣ, въ корридорѣ,—отдохнуть, выждать, чтобъ подальше ушли гости. Но онъ все-таки поторопился и недовольно промѣшкалъ: m-me Волкарева и Лѣсичевъ только что вышли на улицу.

— Ah, vous voilà! Проводить меня? Merci; пойдемте.

Это было ужъ слишкомъ...

— Нѣтъ. Я такъ сказалъ Лидіи, но... но не говорите ей, прошу васъ... Мнѣ нездоровится...

— Посовѣтуйтесь съ врачомъ! вскричала m-me Волкарева.

— Я сейчасъ это сдѣлаю. До свиданія.

Онъ сѣлъ на дрожки и уѣхалъ.

— Venez dîner! прокричала ему вслѣдъ m-me Волкарева.—Бѣдный, онъ страдаетъ.

— Можетъ быть, только не хвораетъ, сказалъ Лѣсичевъ.

— Ахъ, Боже мой, еще что?

— Любопытно, къ какому врачу онъ отправился. Въ той сторонѣ ни одинъ не живетъ.

— Ахъ, да, въ самомъ дѣлѣ... Нѣтъ, онъ точно боленъ, но боится испугать жену.

— Она ничего не испугается, возразилъ Лѣсичевъ.

— Это премилая женщина...

Лѣсичевъ слегка поклонился.

— Она его обожаетъ...

— Онъ ее боготворитъ.

— Это такая счастливая пара...

— Марья Васильевна! вскричалъ Лѣсичевъ;—да вы-то изъ-за чего играете комедію?

— Vous êtes fou, je crois, Лѣсичевъ.

— Нѣтъ, я не удивлюсь, если этотъ счастливецъ взбѣсится! Впрочемъ, подѣломъ...

— Laissons cela, je vous prie. Надо бы устроить вечеръ въ клубѣ... Какъ вамъ нравится m-lle Каруцкая?

— Кто?.. Вы, я думаю, знаете, что я боюсь уродовъ.

— Вы недурно сдѣлаете, если будете говорить о ней осторожнѣе.

— Почему?

— Это mademoiselle Каруцкая.

— Ну, и Господь съ нею.

— Лѣсичевъ, когда вы будете благоразумны?..

— Марья Васильевна, вы хотите меня женить? Ради Господа, погодите! Дайте налюбоваться на счастливыхъ... Кузины, вѣдь ягодки съ одной вѣточки...

— Съ чего вы взяли? Нисколько не похожи, ничѣмъ...

— Вы говорили, что m-me Верховская милая женщина.

— Перестаньте!.. Безъ шутокъ: надо думать о будущемъ...

— Я безъ шутокъ думалъ, Марья Васильевна, отвѣчалъ Лѣсичевъ серьезно. — Вы это знали.

— Ну, что же, и послѣ глупаго отказа у васъ такъ мало самолюбія...

— Позвольте, Марья Васильевна! самолюбіе въ сторону... и любовную досаду тоже въ сторону: я знаю, вы о ней сейчасъ заговорите. Я чувствую теперь, что это была не шутка. Прошу васъ, не записывайте меня въ несчастные, не ахайте. Я, можетъ быть, когда нибудь и женюсь, но если я кого нибудь въ жизни любилъ, такъ это... все ее же.

— Лѣсичевъ, nous en causerons.

— Нѣтъ. Это—въ первый и послѣдній.

— Знаете... Нѣтъ, вы не знаете... заговорила m-me Волкарева, запинаясь и загадочно.—Но если бы вы знали... вы, можетъ быть, были бы довольны, что это... не состоялось...

— Почему?

— Я, по крайней мѣрѣ, за себя довольна, что мое участіе въ этомъ было не велико...

— Что это такое?

— Не моя тайна.

— Можетъ быть, тайна Верховского? вскричалъ Лѣсичевъ, смѣясь, взволнованный.

— Верховского?.. Eh, quelle idée! совсѣмъ другого рода... Верховской... Какъ вамъ пришло въ голову; они едва ли знакомы. Войдите, поговоримъ...

Но Лѣсичевъ откланялся, введя ея превосходительство на крыльцо ея дома.

Этотъ день былъ праздникъ. Маша рано поднялась и, помня, что Катеринѣ хотѣлось въ поле, пришла звать ее. Катерина спала одѣтая, какъ была наканунѣ; свѣча подлѣ нея догорѣла, но не было ни книги, ни работы, ничего, чѣмъ бы, можно предположить, она занималась. Было видно, что она бросилась на постель очень усталая; она спала крѣпко, хоть тревожно. Машѣ стало жаль ее будить, потомъ, глядя на нее, Богъ знаетъ почему, стало какъ-то жаль ея самой. Лицо Катерины, какъ большая часть правильныхъ лицъ, во снѣ казалось печально. Блѣдная, она притихла какъ надломленная, покорно сложила руки, безпомощно наклонила голову... У Маши не стало силъ смотрѣть на нее долго; она ушла осторожно и умоляла няньку не безпокоить барышню. Утро проходило. Къ Машѣ пришли родные и увели ее къ себѣ. Нянька соскучилась и подняла Катерину.

Но пробужденіе было не похоже на вчерашнее. Катерина открыла глаза, жалуясь, что ей не дали отдохнуть, не радуясь дню, который былъ еще пышнѣе и прекраснѣе вчерашняго; не говоря ни слова, она перемѣстилась съ постели въ кресла къ письменному столу и ничего не дѣлала. Нянька пришла сказать, что ее хочетъ видѣть одна чиновница, попросить ее; мужъ этой чиновницы лишился мѣста.

— Да развѣ я предсѣдатель палаты? вскричала Катерина.—Скажи ты ей, нянька, что я въ отцовскія дѣла не смѣю мѣшаться. Это онѣ за мужьевъ служатъ, за мужьевъ взятки берутъ. Воображаютъ, что если въ домѣ у начальника есть женщина, такъ можно ее разжалобить... Выгнали его! Да я бы, можетъ быть, хуже чѣмъ отецъ выгнала!

— А ты зла, я погляжу, сказала нянька.

— Зла.

— Ты разбери, да научи...

— Пусть придетъ къ отцу.

— Да ты хоть успокой...

— Если не виноватъ, нечего ему и безпокоиться; у отца правый всегда правъ... Ты меня, пожалуйста, оставь въ покоѣ.

Нянька пошла и воротилась.

— Расчеши свою гриву-то, сказала она, глядя, какъ Катерина, потупившись надъ столомъ, постукивала въ него рукою.—Дѣлать тебѣ, видно, нечего.

— Что еще?

Нянька разсмѣялась.

— Что, къ тебѣ нынче не приступишься? Дьяконъ тебѣ просвиру прислалъ. Сынъ его тамъ, книжки твои принесъ, что ты ему давала; говоритъ, ты еще физики какія-то обѣщала.

— Онъ, должно быть, книжки не читаетъ, а только нюхаетъ. Вотъ отдай.

Нянька опять пошла и опять воротилась. Катерина сидѣла на томъ же мѣстѣ, глядя въ садъ.

— Потѣха, право, какіе смѣлые. Я отдаю ему, а онъ: «когда Катерину Николаевну можно видѣть? я, говоритъ, въ той книжкѣ не понялъ, хотѣлъ спросить...»

— Что-жъ ты сказала?

— Что сказала? Вотъ, еще, говорю, есть ей съ вами когда...

— Ахъ, что ты сдѣлала! вскричала, вскочивъ, Катерина—онъ ушелъ?

— Такъ голову и повѣсилъ, ушелъ.

— Что ты сдѣлала! Какой ты грѣхъ сдѣла! въ какой ты меня грѣхъ ввела! Ты все равно что нищаго выгнала...

— Матушка, Господь съ тобой, что ты?

— Охъ, няня, скучно!..

— Что такое? И, дѣлать тебѣ нечего. Это, матушка, кому нѣтъ работы, тѣ такъ блажатъ. Ты ужъ кстати заплачь, лучше будетъ, еще умнѣе. Отъ роду съ тобой этого не бывало. Вотъ онъ, грѣхъ-то. Дай, я уберу тебя лучше...

Она помогла ей переодѣться и любовалась, взвѣшивая на руки ея косы.

— Гибель! пагуба молодецкая!

— Ты же вчера сказала, что я никого не полюблю... а замужъ я никогда не пойду, сказала Катерина.

— Ну, Господь съ тобой, повторила старуха,—ты думаешь, мнѣ на тебя легко глядѣть, что ты такая?..

Катерина осталась одна, ни за что не принималась, расхаживала по своимъ двумъ комнатамъ, не заглянула въ садъ, гдѣ высадки цвѣтовъ поблекли, не политыя съ вечера. Ее томила одна мысль, преслѣдовало одно слово, и отъ нихъ не было ни защиты, ни убѣжища. Она припомнила что-то читанное въ этомъ родѣ; должно быть, въ самомъ дѣлѣ такъ бываетъ. Машинально, праздно, она открыла рояль и стала играть; она играла плохо. Ей стало смѣшно надъ собою, потомъ взяло раздумье, что-то вспомнилось и вдругъ будто освѣтило.

— Она бы такъ не дѣлала! сказала она и встала.

Кто бы увидѣлъ ее въ эту минуту, сказалъ бы, что она воскресла...

Какое право имѣетъ человѣкъ такъ много заниматься одной своей особой?.. Вотъ, бѣдная женщина ушла,—ей, можетъ быть, ѣсть нечего; семинаристъ ушелъ—голову повѣсилъ; нянька ушла — заплакала. За что?.. Потому что—не до нихъ; потому что въ душѣ завелось что-то новое! Что это за блажь? Чѣмъ другіе люди виноваты? Это новое до нихъ не касается, оно не должно имъ мѣшать, или вовсе его не нужно. Не смѣй оно жить, если живетъ на счетъ другихъ.

И лучше такъ, чище... простительнѣе.

Но что же непростительнаго? Развѣ это забава, праздная выдумка отъ нечего дѣлать или потѣха самолюбію... Что разбирать! Ужъ все разобрано, все передумано этой ночью!..

Что-жъ нужно ей? Ничего!.. Ему? Дала бы ему цѣль жизни, честное дѣло, и съ нимъ пошла бы на это дѣло рука объ руку... На свѣтѣ столько дѣла, нечего разбирать,—всякое для всѣхъ, всякое нужно, всякое свято... Рука объ руку съ нимъ; нельзя—узка дорога—шла бы слѣдомъ, лѣпилась бы съ краю, чтобъ только идти, куда онъ идетъ; не пустили бы съ нимъ—глядѣла бы вслѣдъ, радостно простясь, хоть на вѣки... Ну, злые люди вырыли бы ровъ на дорогѣ,—бросилась бы въ него; пройди по мнѣ, только дойди!..

— Вотъ тебѣ съ почты, сказала няня, принося ей два письма.

Катерина встрепенулась, будто ее разбудили. Она пошла въ свою комнату, достала денегъ почтальону и, когда ушла няня, стояла, глядя на письма, брошенныя, или, вѣрнѣе, упавшія на столъ. Они оба были въ безобразныхъ штемпельныхъ конвертахъ, запечатанныя одинаковымъ дурнымъ сургучомъ и одинаковой печатью, равно затерты, надписаны однимъ почеркомъ,—одно къ Катеринѣ, другое къ ея отцу.

Она узнала почеркъ, какъ-то неопредѣленно испугалась, сѣла, распечатала свое, стала читать, медленно, казалось, не вѣря тому, что было передъ глазами, и бросила, еще не перевернувъ страницы.

— Господи, выговорила она,—чѣмъ я это заслужила?

Письмо было очень длинно, очевидно, сочиненное и переписанное чрезвычайно четко и старательно.

— «Не знаю, какъ долженъ я начать это посланіе: милостивая государыня, или любезная сестрица Катерина Николаевна. Первый титулъ, вы сами примете за ложь, потому что, хотя вы и считаете, что вы моя повелительница, но, сами знаете—не милостивая. Что же до титула любезной сестрицы, то, признаюсь откровенно, я въ глубинѣ души моей вамъ его не даю и потому лгать не желаю. Вы и безъ того мечтаете о себѣ очень высоко и выставляете себя образованной, добродѣтельной особой и примѣрной дочерью. Только въ числѣ добродѣтелей вы изволите забывать братскую любовь, и это для васъ очень выгодно. Вамъ хорошо, Катерина Николаевна; вы изнѣжены съ колыбели, вы полная хозяйка въ домѣ; доходы батюшки, конечно, не скудные, а по его чину и мѣсту, вы вездѣ имѣете почетъ. А мои несчастія вамъ извѣстны. Подвергнувшись гнѣву родителя, за то, что не умѣлъ хватать звѣзды познаній, я пять лѣтъ тянулъ канитель юнкерства, пока изъ нея не соткались мои эполеты. Счастье мнѣ, наконецъ, улыбнулось, я исполнялъ священный долгъ присяги, а послѣ славной кампаніи 1849 года, отличившись и возвышенный предъ моими сверстниками, получилъ роту. Я начальствовалъ исправно и безпристрастно. Имѣя обезпеченное положеніе, живя какъ прилично офицеру, я надѣялся отдохнуть отъ трудовъ. Это продолжалось три года. Вдругъ — оборотъ колеса—моя собственная благодарная горячность, неосторожность, ничтожное обстоятельство, злоба завистниковъ, неправосудіе... и все погибло, и я уничтоженъ! Легко уничтожить невиннаго—но я съ послѣднимъ вздохомъ скажу, что незаслуженно!.. Вамъ, Катерина Николаевна, все это извѣстно. Ваша душа не содрогнулась отъ проклятія, которое послалъ мнѣ отецъ. Онъ не можетъ понять чувствъ человѣка моего званія, но вы бы, какъ свѣтская дѣвица, могли. Никогда я не повѣрю, чтобы почтеннѣйшій батюшка не читалъ моихъ писемъ, а если такъ, то это—черезъ ваши наговоры и подлащиванье, и это съ вашей стороны безчестно. Я пишу къ нему теперь прямо, смиряя себя, сколько позволяетъ оскорбленная гордость и благородное самолюбіе. Но обстоятельства къ тому вынуждаютъ. Я въ настоящее время раненъ и нахожусь въ госпиталѣ. Уже не первый разъ проливаю я кровь на полѣ чести. Между тѣмъ, Катерина Николаевна, какъ вы, покоряя всѣхъ кругомъ себя, наряжаетесь въ шелкъ и бархатъ, братъ вашъ, какъ послѣдній человѣкъ, страдаетъ на койкѣ, рядомъ съ какимъ нибудь сдаточнымъ... Но пуля, поразившая меня, принесла мнѣ и неожиданное счастіе!.. Какое,—я упоминаю въ письмѣ къ батюшкѣ. Вамъ же я пишу, чтобъ предупредить и приготовить васъ къ такому удару, а также, чтобы высказать всю полноту чувствъ, недоразумѣній между нами не выходило...»

Оглушенная первыми строками, Катерина скоро пришла въ себя. На свой смутный вопросъ: за что? она сознательно отвѣтила: не за что! и два раза перечитала письмо отъ начала до конца; она даже улыбалась, читая, но ей каждую секунду дѣлалось ужаснѣе отъ своего смѣха... чувство тоже новое...

До этой минуты онъ въ ея глазахъ былъ несчастный, преступникъ, падшій и уже наказанный; она не разъ горько упрекала себя за то невольное, для нея самой мучительное презрѣніе, которое примѣшивалось къ ея жалости, котораго она не могла преодолѣть даже ради нищеты, ради униженія, всего, что выносилъ этотъ человѣкъ, всего что должно было происходить въ его совѣсти... Въ его совѣсти ничего не происходило. Онъ обвиняетъ, онъ хвастается. Это не усмиренное животное, это наглый злодѣй. На немъ убійство — онъ каламбуритъ... Не свою онъ кровь проливалъ, не на полѣ чести...

Она вскрикнула въ ужасѣ и вскочила.

— Боже, я его ненавижу!.. Ненавижу, ненавижу! повторяла она, мечась по комнатѣ и хватаясь за волосы.—Родного брата!.. Ну, ругался бы надо мною, но вспомнилъ бы... Пишетъ къ отцу! Какъ его рука поднялась? Къ отцу, къ святому?.. Что еще онъ выдумалъ, какое счастье...

Она схватила другое письмо и чуть не распечатала.

— Какъ я его подамъ? Что это? Что еще будетъ...

Подъ окномъ прогремѣло. Она выглянула, бросилась въ прихожую и отперла. Вошелъ Верховской.

— Что случилось? вскричалъ онъ, увидя ее.

Она тоже успѣла взглянуть на него.

— Ничего! Справлюсь! отвѣчала она и смѣло, какъ-то сильно дала руку, дрожа, улыбаясь, едва дыша.

Верховской остолбенѣлъ; она была хороша поразительно.

— Идите, сказывайте, что съ вами, продолжала она, уводя его.—На васъ лица нѣтъ. Жена пріѣхала?

— Я васъ люблю, отвѣчалъ Верховской.

Она прислонилась къ стѣнѣ.

— Я, кажется, тоже, проговорила она черезъ минуту, между тѣмъ какъ ея поблѣднѣвшее лицо опять вспыхнуло.

Онъ, безумный, упалъ къ ея ногамъ.

— Встаньте, сказала она, — любятъ не такъ.

Она обняла его крѣпко, сильно, отклоняясь отъ поцѣлуевъ, и глядѣла ему въ глаза.

— Мы люди, мы равные, мы родные... душой заодно, если жизнью врозь...

— Зачѣмъ же врозь? за что же врозь? вскричалъ Верховской, удерживая ее.

— А! что же дѣлать!

Она освободилась.

— Одну минуту...

— Когда она пріѣхала? прервала Катерина.

— Вчера...

— Когда вы уѣзжаете?

— Не знаю...

— Ступайте скорѣе, пора за дѣло, пора... Ступайте къ ней! вдругъ вскрикнула она съ отчаяніемъ, убѣжала къ себѣ и заперла дверь...

V.

Можетъ быть, этими днями, на свѣтѣ не было никого счастливѣе m-lle Аннеты Каруцкой. Столько ласкъ отъ нецеремонныхъ провинціальныхъ дамъ, почета отъ провинціальныхъ господъ, поклоненій отъ юношества, столько удовольствій, устроенныхъ собственно для нея — она не видывала въ жизнь свою. Лидія Матвѣевна могла бы позавидовать и даже обидѣться за такія заботы m-me Волкаревой о кузинѣ, если бы m-me Волкарева, интимно, не выразила Лидіи Матвѣевнѣ, что дѣлаетъ это для нея, что поняла ее съ полуслова и готова стараться объ устройствѣ дѣвицы, для которой въ Петербургѣ ужъ не оставалось надеждъ.

— Это такая пріятная, такая добрая цѣль! И главное, прибавляла она нѣжно: — это средство еще хотя немного удержать васъ здѣсь. Вы затворитесь въ вашемъ раю и насъ забудете!

Рай-Спасское — былъ забытъ, благодаря m-me Волкаревой. Столичная суетливая жизнь перенеслась въ гостиницу еще шумнѣе, еще нетерпѣливѣе и безпорядочнѣе—по провинціальному. Поскучавъ отъ уединенія послѣднихъ недѣль, Лидія Матвѣевна вознаграждала себя и наслаждалась, сдѣлала съ m-me Волкаревой множество визитовъ и принимала въ импровизированной гостиной, повторяя всѣмъ и каждому, что живетъ на бивакахъ, потому что, кстати, война. Впрочемъ, разговора о войнѣ она не поддерживала и даже не допускала, восклицая съ первыхъ словъ, что эта презрѣнная война ей надоѣла. Лидія Матвѣевна основательно заключила, что если Аннета, которая двумя годами старше ея мужа, вдругъ помолодѣла подъ новыми небесами, то почему же и ей не поступить также и не возвратиться къ тѣмъ очаровательнымъ институтскимъ наивностямъ, которыя, послѣ двѣнадцатилѣтняго супружества, въ Петербургѣ сдѣлались уже нѣсколько неудобны. Она была увѣрена, что производитъ неотразимое впечатлѣніе и упивалась прелестью соперничества въ широкихъ размѣрахъ: тамъ былъ кружокъ, здѣсь — цѣлый городъ. Провинція не такъ легко поддается очарованію, какъ это думаютъ люди, пріѣзжающіе удивлять ее; общественнаго мнѣнія, правда, нѣтъ, но есть самолюбіе и недовѣрчивость, и на успѣхъ можно разсчитывать только при большой смѣлости, или при большомъ богатствѣ. Пятнадцать лѣтъ назадъ, успѣхъ давался легче; мнѣнія, все равно, не было, но слова еще не обязывали, вкусы были менѣе требовательны, роскошь не такъ безумна. Лидія Матвѣевна тотчасъ убѣдилась, что въ провинціи все обходится дешевле, чѣмъ въ столицѣ, что можно щеголять петербургскими нарядами и не первой свѣжести, что столъ, сравнительно, приходится почти даромъ, тѣмъ болѣе потому, что она и дѣти почти ежедневно обѣдали у Волкаревыхъ, а къ себѣ, «на бивакъ», она находила неприличнымъ приглашать. Чрезвычайно всѣмъ довольная, Лидія Матвѣевна написала дядюшкамъ, что кутитъ и что André — божественный.

Верховской въ эти нѣсколько дней снова окончательно сдѣлался тѣмъ, чѣмъ былъ до своего пріѣзда въ N*,—молчаливымъ исполнителемъ приказаній жены, молчаливымъ лицомъ въ ея гостиной. Но онъ съ первой минуты не ошибся: это замѣтили. Большинство очень легко посмотрѣло на эти отношенія: двѣнадцать лѣтъ брака — достаточный предлогъ для охлажденія, и кто имъ не пользовался! Женщины, находившія, что Лидія Матвѣевна «такая добрая и милая», конечно, обвиняли мужа, удивляясь, между

тѣмъ, что она всегда такъ весела. Слово fortune—разрѣшало всѣ недоумѣнія. Нѣкоторые замѣчали, что именно по этому обстоятельству Верховскому и слѣдовало бы быть благодарнѣе. M-me Волкарева, уже принявшая на себя званіе стараго друга и мужа, и жены, говорила, что надъ ихъ счастьемъ нѣтъ ни облачка, но что Верховской чрезвычайно сосредоточенъ. Сосредоточенность, — прибавляла m-me Волкарева, — одно изъ самыхъ привлекательныхъ достоинствъ мужчины. Она была въ восхищеніи отъ Лидіи Матвѣевны, хотя огорчалась ея непатріотической индиферентностью и иногда становилась втупикъ отъ ея институтскихъ выходокъ.

— Это не та сильная женщина, какую бы ему нужно, высказала она однажды въ раздумьи Лѣсичеву.

— Въ женщинѣ—слабость есть сила, отвѣчалъ онъ, повторяя ея собственное изреченіе.

— Да... Но не слабость нравственная.

И вслѣдствіе того она смотрѣла на Верховского постоянно съ трогательнымъ состраданіемъ, отказывалась отъ танцевъ, не садилась за карты, которыя страстно любила Лидія Матвѣевна — и такимъ образомъ находила случай и время вести съ Верховскимъ хотя отрывочныя, но значительныя бесѣды объ отвлеченныхъ предметахъ. Верховской былъ радъ пристать къ кому нибудь, говорить что нибудь, для видимости. M-me Волкарева съ сладкимъ замираніемъ сердца истолковывала себѣ его сосредоточенность. Лидія Матвѣевна видѣла издали эти частыя бесѣды и могла бы встревожиться, но, къ счастью, убѣждалась, что супругъ отъ нихъ нисколько къ ней не измѣнялся; онъ былъ все также скученъ и на ея ревниво-шутливые вопросы, о чемъ идутъ рѣчи, отвѣчалъ такъ искренно-устало, что нельзя было ему не вѣрить. Лидія Матвѣевна была покойна и тѣмъ вдвойнѣ счастлива. Она соображала, что если m-me Волкарева ухаживаетъ за m-r Ворховскимъ, то этимъ даетъ m-r Волкареву больше простора ухаживать за m-me Верховской,—чѣмъ Волкаревъ, дѣйствительно, занимался, оставя на это время даже прекрасную m-me Горнову. У Волкарева были свои чисто служебныя цѣли, и Лидія Матвѣевна, съ дѣтства очень внимательная ко всему положительному, очень это понимала; но она, какъ многія дамы, любила ухаживанье старичковъ. Волкаревъ премило ей проигрывалъ, садясь для нея за грошевыя партіи, подносилъ ей букеты, катался съ ея дѣтьми въ своей прекрасной коляскѣ и закармливалъ ихъ конфектами до разстройства желудка; что же касается до восторженныхъ комплиментовъ — онъ не рисковалъ такихъ съ m-me Горновой, и тонко, успокоительно шутилъ Верховскому...

Верховскому было все равно.

Онъ былъ въ чаду, въ горячкѣ. Встревоженный и отупѣлый каждую минуту, разсѣянный до того, что не видѣлъ, что дѣлается кругомъ, онъ самъ дѣйствовалъ машинально, не проговаривался, потому что молчалъ, держался прилично по привычкѣ, такъ же, какъ люди по привычкѣ берутся за вещи правой, а не лѣвой рукой. Онъ все чего-то ждалъ, все доживалъ до чего-то, повторяя себѣ между тѣмъ, что этому конца не будетъ. Онъ рѣшилъ только, что его чувства никто не долженъ знать, и ежеминутно мучился страхомъ, что его угадаютъ. Случалось, среди разговора съ m-me Волкаревой, думая о другомъ и замѣчая самъ, что теряется, онъ ободрялъ себя мыслью, что она приметъ на свой счетъ его смущеніе, трусливо радовался, тяжело стыдился такого разсчета, но спрашивалъ себя: что же дѣлать? Ну, онъ выдастъ себя; больше — онъ разскажетъ все, прямо, громко, при всѣхъ... вѣдь все равно эти люди, что одинъ, что всѣ, — что же будетъ? Кому будетъ хуже? Кому отъ этого будетъ счастье?..

Но счастье ли и то, что есть теперь?.. Онъ не зналъ.

Минута счастья, которая ему досталась, была какая-то странная. Еще страннѣе было его собственное чувство. Ему ужъ было не нужно всесильнаго божества для разъясненія жизни, для утѣшенія въ прошломъ. Ужъ все было разъяснено; прошлое было гдѣ-то далеко. Была тревога, стремленіе безъ конца... не къ высокимъ цѣлямъ, не къ подвигамъ, — для нихъ надо еще самому воскреснуть, отдохнуть, обновиться, а въ его тьму сошло только первое слово воскресенія, онъ только что почувствовалъ какъ его приподняли сильныя руки, только что увидѣлъ далекій свѣтъ... въ ея глазахъ. Полуоживленный, онъ бился и тратился въ пошлости, уже не разбирая, признавая ее ужъ не за пошлость, а только за помѣху. Онъ не спрашивалъ себя,—ему и не входило на мысль спросить, — не счелъ ли бы онъ помѣхой и самое святое дѣло, если бы оно отвлекло его и закружило такъ, какъ все то, что происходило въ эти нѣсколько дней, когда у него не было свободной минуты, когда онъ оставался одинъ только на зарѣ, у своего открытаго окна...

Тогда приходило безумное желаніе — бѣжать къ ней. Весь жаркій бредъ надеждъ, мечтаній, забвенія всего на свѣтѣ, страсти и восторговъ, всю прелесть первой молодости съ первою любовью — онъ переживалъ ихъ; измучась и блаженствуя, засыпалъ крѣпко до безпамятства и, открывая глаза, не узнавалъ ни стѣнъ, ни людей. Опомнясь, наконецъ, что это дѣйствительность, онъ клялъ ее и тѣмъ начиналъ свой день. Отчаяніе было безвыходное. Чѣмъ наполнится этотъ день, чѣмъ наполнятся вслѣдъ за нимъ другіе — все равно, если не можетъ быть того... чего быть не можетъ.

Онъ весь день только и думалъ, какъ увидѣть Катерину. Она не встрѣчалась на гуляньяхъ, не была ни на вечерахъ у Волкаревыхъ, ни на вечерахъ въ клубѣ. Верховской надѣялся, что m-me Волкарева, развозя его жену съ визитами, завезетъ ее и къ Катеринѣ. Этого, конечно, не случилось, но онъ не зналъ, онъ ждалъ и вдругъ спросилъ себя, что было бы съ нимъ, если бы Катерина вошла въ эту минуту...

Въ эту минуту за нимъ наблюдала m-me Волкарева, которая, истощивъ запасъ увеселеній, пришла предложить Лидіи Матвѣевнѣ вечернюю прогулку въ экипажѣ на извѣстную дачу. Лидія Матвѣевна вышла изъ комнаты, m-me Волкарева этимъ воспользовалась, чтобы сказать Верховскому:

— Другъ мой, послушайте, вы должны подумать. Я, наконецъ, рѣшаюсь сказать... это компрометируетъ. Вы знаете, что вы дороги, поберегитесь...

Эти глупости привели въ себя Верховского.

— Нельзя ли уволить меня отъ этой прогулки? спросилъ онъ, когда пришла жена.

Послѣдовалъ споръ, но его уволили. M-me Волкарева, предлагавшая «поберечься», не могла не поддержать просьбы—дать отдохнуть, потому что нездоровится. Вечеромъ, Верховской, въ самомъ дѣлѣ, вздохнулъ свободнѣе: онъ остался одинъ.

Еще не улеглась пыль экипажей, уносившихъ его семейство, какъ онъ уже сбѣжалъ съ лѣстницы и вскочилъ на дрожки.

— Къ Багрянскому.

Если бы дома, мимо которыхъ ѣхалъ Верховской, перевернулись вверхъ погребами, онъ бы этого не замѣтилъ. Онъ поднялъ голову только тогда, когда вмѣсто треска по булыжнику, подъ колесами послышалось вдругъ тихое шуршанье немощеной земли, а по сторонамъ потянулись заборы,

Окна въ домѣ были всѣ заперты. На подъѣздѣ, жмурясь отъ солнца, сидѣла Прасковья.

— Дома? спросилъ Верховской.

— Николай Степановичъ не пріѣзжалъ, въ уѣздѣ.

— А Катерина Николаевна?

— Дома нѣтъ.

— Въ гостяхъ? Не знаете ли у кого? спрашивалъ Верховской, задыхаясь и мгновенно соображая, что если эти гости — его знакомые, онъ сейчасъ полетитъ туда.

— Нѣтъ, не въ гостяхъ, неохотно отвѣчала нянька, оглядывая его и, наконецъ, узнавая. Она видѣла Верховского только разъ, мелькомъ, въ его первое посѣщеніе, когда онъ толковалъ о дѣлахъ съ бариномъ; это ей припомнилось.—Вамъ по дѣлу?

— Крайность! вскричалъ, обрадовавшись, Верховской. — Я думалъ, застану Николая Степановича, а если не его... Ради Бога, если она дома, попросите... мнѣ только одну минуту... я скоро уѣзжаю... мнѣ крайность!

Нянька сжалилась и объяснила, что Катерина ушла съ Машей пѣшкомъ, верстъ за пять, въ деревню, тутъ, на проселкѣ; она назвала эту деревню; кумовья звали барышню на праздникъ. Дня два пробудетъ.

Верховской опустилъ голову.

— Давно она ушла?

— Да ужъ полчаса будетъ.

— Прощайте, нянюшка; скажите, что я былъ... выговорилъ онъ и пошелъ къ своимъ дрожкамъ. Ему было скучно, хоть утопиться. Вдругъ, что-то, откуда-то точно освѣтило...

— Ты знаешь этотъ проселокъ? спросилъ онъ извозчика.

— Знаю.

— Ступай туда скорѣе.

Онъ погналъ, какъ на пожаръ. Скорость ѣзды, стукъ мостовой, а за заставой влажный жаркій воздухъ поля раздражали, влекли, веселили. Мягкая узенькая дорога между зеленой рожью ныряла въ лощины, взбѣгала на холмы; кусты мелкаго осинника, лазурныя полосы незабудокъ, птицы, выпархивающія изъ-подъ колесъ, серебристая лента рѣчки, темныя рощи надъ красными оврагами, все залитое свѣтомъ, полное жизни, благоухающее, зовущее, все неслось и мелькало; душа летѣла чрезъ этотъ просторъ смѣлая, вольная, счастливая. Было наслажденіе даже въ безпокойствѣ.

— Ты хорошо знаешь дорогу? спрашивалъ Верховской.

Съ одной стороны пригорка былъ лугъ, съ другой лѣсокъ; въ просвѣтахъ деревьевъ

горѣлъ закатъ, дорогу перерѣзали черныя полосы тѣней; у опушки тихо шли двѣ женскія фигуры.

— Катерина Николаевна! закричалъ Верховской.

Чрезъ нѣсколько секундъ, онъ соскочилъ передъ нею, раскраснѣвшись, не дыша, смѣясь, схватывая ея руки.

— Не ждали? удивились? Я узналъ, тамъ, у васъ... видите, преслѣдую!

— Славно! сказала она, и на ея лицѣ выразилось такое счастье, что Верховской только тутъ опомнился, сколько было неосторожности въ его выходкѣ. Онъ сталъ отъ этого еще счастливѣе.

— Я сдѣлалъ глупость, продолжалъ онъ по-французски:—но, право, не стало силъ... Пройдемтесь минуту вмѣстѣ... Вѣдь цѣлая недѣля... не больше ли?.. Но теперь, право, кажется, даже лучше, что тамъ не встрѣчались. Нѣтъ, лучше такъ... Какой вы пилигримкой, съ узелочкомъ... Что я хотѣлъ вамъ сказать?.. Мы вмѣстѣ, въ полѣ! Кто-бъ это придумалъ... Скажите хоть слово!

— Не могу, прошептала она по-русски:— это Богъ знаетъ, что такое!..

— Не стѣсняйтесь, вѣдь насъ не понимаютъ, сказалъ онъ, смѣясь и оглядываясь на Машу, которая отстала. — Вы знаете, я васъ люблю. Ну, одна минута, хоть та моя. Какъ уѣхать не видавшись, и послѣ чего же!.. Вы помните?

— Помню, отвѣчала Катерина.

— Помните ли вы, что вы сказали? Вы это сказали не изъ жалости, не изъ прихоти?.. О, простите, я не понимаю, что говорю!

— А я что понимаю? спросила она, взглянувъ на него кротко:—если я сказала, значитъ, я такъ чувствую. Если вы сказали...

— Я вамъ клянусь...

— О, зачѣмъ это... Отдали душу другъ другу, какія же еще клятвы?.. Хотите моего счастья — дайте мнѣ порадоваться на васъ, чтобы другіе любили васъ, какъ я люблю... Вы этого хотѣли, этого слова? Да, я васъ люблю.

— Счастье мое.

Они отошли далеко, держась за руки, молча оглядываясь на все, что кругомъ празднично разцвѣтало и хорошѣло, не сводя глазъ другъ съ друга, говоря... они не помнили что...

— Пора, прощайте... сказала она, вдругъ остановившись.

— Одну минуту, одно слово...

— Къ чему лишнія слова? Вы теперь покойны...

— Я покоенъ? но развѣ это возможно?

— Вѣрите ли вы мнѣ? спросила она.

— Милая...

— Такъ помните, что вы не одинъ; на новомъ мѣстѣ живите заново; помните меня, дѣлайте... ради меня. Съ Богомъ... А я — вѣчно ваша... Пойдемъ, Машенька, пора! закричала она своей подругѣ.

— Выслушайте... Боже мой, вѣдь мы разстаемся...

Она крѣпко сжала его руки и пошла на встрѣчу Машѣ.

Извозчикъ, не дожидаясь приказанія, подъѣхалъ тоже. Верховской не опомнился, какъ сѣлъ и уже ѣхалъ назадъ. Извозчикъ, желая угодить, погналъ попрежнему усердно. Скоро, облака пыли и набѣгавшіе сумерки скрыли и свѣтлое платье на зелени лѣса, и самый лѣсъ; еще нѣсколько минутъ и уже былъ виденъ городъ.

— Поѣзжай потише, замѣтилъ Верховской.

— Вы меня, баринъ, должно быть, не узнали? спросилъ извозчикъ.

Верховской всмотрѣлся. Это былъ тотъ «знакомый», которому онъ помогъ, — вѣрнѣе, встрѣчный счастливый, которому досталось брошенное отъ избытка, въ нервическую минуту первой радости. Бѣднякъ благодарилъ, какъ умѣютъ это дѣлать простые люди, искренно и коротко, не смущая и не утомляя благодарностью. Верховской подумалъ, отчего это такъ выходитъ, откуда этотъ тактъ, — и тутъ же подумалъ, что она это знаетъ. Она все знаетъ... Точно подслушавъ его мысль, извозчикъ заговорилъ о Катеринѣ: онъ ее видалъ не разъ, какъ приходилъ къ ея отцу, къ «управляющему». Ее всѣ знаютъ, всѣ хвалятъ; онъ разсказывалъ, за что. Разсказывалъ, какъ однажды управляющій ѣздилъ въ уѣздъ, въ волости, прошлымъ лѣтомъ, и она поѣхала съ нимъ, должно быть, прокатиться. Онъ дѣла разбираетъ, а она по избамъ, съ бабами, съ ребятами; во все входила, во всякую нужду: и растолкуетъ, и покажетъ, и такая-то веселая, ласковая, затѣйница... Верховской слушалъ, потому что говорилось о Катеринѣ, но разсказъ его непріятно тревожилъ. Все это была грубая житейская дѣйствительность, среди которой грубо рисовался милый образъ; къ нему прикасались, конечно, съ любовью, но ужъ слишкомъ нецеремонно... Развѣ она то, что эти люди, которые позволяютъ себѣ считать ее своею? Она снисходитъ, но не равная. Она очаровательна своей простотой, но эта про-

стота существуетъ только для него, для любящаго, а не для толпы. Этой красотѣ мало всѣхъ земныхъ сокровищъ... Сейчасъ, шла, покрывшись какимъ-то бѣлымъ платкомъ... Верховской вспомнилъ черную блузу матери, брилліанты жены... Онъ не сравнивалъ, но если въ прошедшемъ чувствѣ была боль, въ настоящемъ была не менѣе мучительная, жгучая злоба...

У гостинницы Верховской встрѣтилъ Лѣсичева.

— А, вотъ и вы. Я заходилъ — сказали, васъ нѣтъ. Что-жъ вы не на дачѣ?

— Такъ. А потомъ, соскучился, вздумалъ прокатиться.

Лѣсичевъ зналъ, куда ѣздилъ Верховской, потому что приказаніе: «къ Багрянскому», было отдано на крыльцѣ, во всеуслышаніе прислуги; но Лѣсичевъ, также какъ и весь городъ, зналъ, что управляющій палаты имуществъ—въ уѣздѣ.

Онъ взошелъ съ Верховскимъ и шелъ было въ гостиную. Верховской остановилъ его.

— Нѣтъ, лучше ко мнѣ. Покойнѣе.

— По-холостому? сказалъ Лѣсичевъ, располагаясь на диванѣ.

Верховской подалъ ему сигары, спросилъ чаю и, усталый, ходилъ по комнатѣ. Но усталость была живая, веселая, а веселье даже какое-то школьничье. Надо же, чтобъ именно теперь встрѣтился этотъ бѣдный Лѣсичевъ! Верховской былъ такъ счастливъ, что благодушно не помнилъ всѣхъ обидъ, которыя привелось ему вынести отъ Лѣсичева, при невозможности отплатить. Вотъ, теперь отплачено. Еслибъ это сердце знало-вѣдало...

Лѣсичевъ, съ своей стороны, тоже наблюдалъ и тоже раздумывалъ.

— Какъ вы избавились отъ plaisirs champêtres? спросилъ Верховской:—я отговорился, что голова болитъ.

— А я никакъ не отговаривался, отвѣчалъ Лѣсичевъ:—взялъ, да не поѣхалъ.

— Это смѣло. Что скажетъ Марья Васильевна?

— Позволяю себѣ полнѣйшее равнодушіе. Довольно, наконецъ!.. Помните, Андрей Васильевичъ, мы съ вами какъ-то разговорились, и я вамъ сказалъ, во что я втянулся изъ противорѣчія, на зло Марьѣ Васильевнѣ?

— Да! что вы чуть не влюбились... Но, что же, вѣдь вы не сватались, сказалъ Верховской, какъ могъ небрежнѣе, и, чтобъ скрыть свое удовольствіе, даже отвернулся.

— Нѣтъ, я сватался, отвѣчалъ спокойно Лѣсичевъ, глядя ему вслѣдъ:—мнѣ отказали. Нужно мнѣ или ненужно утѣшеніе — это мое дѣло, но соболѣзнованія я не желаю. Нѣтъ ничего глупѣе и обиднѣе, какъ когда на человѣка глядятъ и вздыхаютъ. Самъ виноватъ, самъ и справляйся... Пожалуй, и вы виноваты, прибавилъ онъ вдругъ, захохотавъ: — вы тогда раззманили меня семейнымъ счастьемъ... Но пусть Марья Васильевна не безпокоится разыгрывать со мною ангела утѣшителя; ей и безъ меня заботъ довольно.

Верховской засмѣялся тоже, но уже принужденно: ему стало неловко. Онъ продолжалъ ходить и молчать. Въ головѣ у него забродили странныя вещи... Лѣсичевъ, пожалуй, говоритъ и дѣло, и ему вовсе невесело... Что, если бы сейчасъ откровенностью за откровенность, юношески, романически сказать ему: «меня любитъ та, которую ты любишь; не завидуй, не смѣйся, а научи, что дѣлать?..» Вѣдь это—дружба съ перваго слова, одно богатство вслѣдъ за другимъ. Она бы, пожалуй, такъ сдѣлала... и ей бы удалось!.. А тутъ... Вотъ, сидитъ, покуриваетъ, поглаживаетъ свою эспаньолку... И никто его не обрѣетъ по формѣ, фаворита губернаторскаго!.. смѣется, подшучиваетъ, зная, что привязаться нельзя...

— А вы, въ деревнѣ, чѣмъ будете утѣшаться? вдругъ спросилъ Лѣсичевъ, зѣвнувъ и будто машинально повторяя слово, которое вертѣлось въ мысли.

— Мнѣ дѣло дадутъ изъ министерства, отвѣчалъ холодно Верховской:—въ деревнѣ, пожалуй, и не засидишься; придется ѣздить, собирать свѣдѣнія...

— Статистика, что ли? Что-жъ, вамъ тогда всего лучше—къ Багрянскому. У него, говорятъ, набрано матеріаловъ. Намѣревается, кончивъ службу, книгу составить.

— За что онъ не ладитъ съ Волкаревымъ?

— Не знаю, сказалъ, подумавъ, Лѣсичевъ. — Я его знаю не больше чѣмъ вы. Дочь — другое дѣло... Вы ее видѣли сегодня?

— Сегодня? повторилъ Верховской и спохватился: — когда же?

— Ахъ, да, правда...

Онъ вдругъ повернулъ разговоръ на совсѣмъ постороннее и такъ круто, что Верховской смутился. Это, впрочемъ, было легко скрыть, такъ какъ Лѣсичевъ очень оживился и предметы разговора наводили на шутку, немножко на сплетню. Собесѣдники

хохотали, будто старые друзья. Минутами, вспоминая Катерину, вспоминая, что было, Верховской досадовалъ на этотъ прозаическій перерывъ прелестнаго чувства, которое нѣжило его душу, какъ тепло весенней ночи; но это же чувство, вспыхивая и волнуя, пробуждало молодую удаль, едва ли когда нибудь испытанную. Просто хотѣлось шума и смѣха. Верховской подумалъ, что, будь здѣсь Катерина, она бы сама, какъ рѣзвый меньшой товарищъ, не церемонясь, еще оживила бы шутки... Она славно смѣется. Веселая милая—милѣе вдвое; съ нею, въ жизни не пропадаетъ даромъ никакая бездѣлица... Вотъ, сейчасъ, какъ встрѣтились — смутилась, а первое движеніе—засмѣялась... Ему страстно хотѣлось обнять ее.

Лѣсичевъ разсказывалъ какую-то уморительную исторію. Верховской не зналъ, откуда у него самого брались разсказы. За собственнымъ шумомъ, онъ не слышалъ шума въ сосѣдней комнатѣ. Лѣсичевъ слышалъ давно и будто не обращалъ вниманія. Наконецъ, въ дверь сильно стукнули.

— Ouvrez!

Лѣсичевъ поднялся изъ своего полулежачаго положенія и бросилъ сигару. Верховской отворилъ. Лидія Матвѣевна явилась, еще въ шляпкѣ и бурнусѣ.

— André! это, я не знаю что... Ah, m-r Лѣсичевъ, bonsoir!.. André, тамъ, изъ Спасскаго пріѣхалъ господинъ. Мнѣ говорятъ ужасныя вещи... Онъ заходилъ къ тебѣ. Тебя, вѣдь, не было дома? Ты ѣздилъ къ какому-то Багрянскому?

— Да, и не засталъ, отвѣчалъ Верховской.

— Однако, ты два часа проѣздилъ?

— Ѣздилъ кататься за-городъ.

— Однако, ты не поѣхалъ со мною...

— Ну, что-жъ изъ этого?

— Изъ этого, что этотъ господинъ приходилъ къ тебѣ, не засталъ, а тамъ въ Спасскомъ...

— Если въ Спасскомъ опять бунтъ, я его не усмирилъ бы въ эти два часа.

— Тамъ вовсе не бунтъ... потому что, если бы бунтъ, я сказала бы не тебѣ, а Алексѣю Владиміровичу... А это твое дѣло. Пріѣхалъ землемѣръ. У меня отнимаютъ землю; мнѣ сейчасъ сказалъ Григорій Ивановичъ...

— Кто?

— Тотъ господинъ, что пріѣхалъ, нарочно, ко мнѣ пріѣхалъ, Григорій Ивановичъ...

— А, Григорій Ивановичъ, чортъ-Иванычъ, почему я знаю...

— До свиданія, сказалъ Лѣсичевъ.

— M-r Лѣсичевъ, je pars demain. J'éspère avoir le plaisir de vous voir chez moi à Спасское, mais le plus tôt possible, le plus tôt possible... entendez-vous?.. Андрей Васильевичъ, ты, кажется, поклялся выводить меня изъ терпѣнія...

Господинъ, пріѣхавшій изъ Спасскаго, былъ Духановъ. Онъ все время дожидался тамъ, устроивая торжественный въѣздъ помѣщицѣ, для выраженія своей преданности. Все, въ самомъ дѣлѣ, было приведено въ совершеннѣйшій порядокъ. Недовольные, которые не явились въ пріѣздъ Верховского, откладывая свои жалобы до настоящей барыни, были открыты и укрощены, и самые замыслы и покушенія на непредвидѣнныя заявленія — уничтожены внушеніемъ, которое Духановъ произнесъ съ парадного крыльца. Все, могущее непріятно поразить взоры владѣлицы—устранено; предусмотрѣно все, могущее доставить ей удовольствіе. Такъ, изъ всѣхъ романически проектированныхъ свадебъ совершилась всего одна: садовникъ и горничная, на другой же день позволенія, упросили батюшку обвѣнчать ихъ въ раннюю обѣдню. Духановъ тотчасъ распорядился сослать ихъ на скотный дворъ, а священникъ, трепеща за послѣдствія брака, совершеннаго безъ оглашенія, отправилъ въ городъ своего работника съ письмомъ къ Верховскому, заранѣе моля его предстательства у архіерея. Верховскому, точно, кто-то приносилъ какое-то письмо, но онъ ничего не читалъ въ эту недѣлю... Въ Спасскомъ, казалось все было покойно, какъ вдругъ явились посредникъ по размежеванію, землемѣръ, и объявили, что на основаніи полюбовной сказки и плана, подписанныхъ довѣреннымъ, мужемъ владѣлицы, земля отъ такого-то овражка до такого-то урочища, и прочее, — должна отойти во владѣніе спасскихъ государственныхъ крестьянъ. Землемѣръ приступилъ къ работамъ, а Духановъ, сообразивъ мгновенно, что увѣдомленіе объ опасности важнѣе всякихъ другихъ доказательствъ усердія, — вскочилъ въ телѣгу и помчался въ N*.

Онъ зналъ, что Лидія Матвѣевна пріѣхала, но, нѣсколько растерявшись въ предположеніяхъ, спросилъ Верховского. Въ два часа, которые пришлось дожидаться, Духановъ обдумалъ вѣрнѣе. Зачѣмъ предупреждать подначальнаго, очевидно виноватаго во всемъ погромѣ, когда можно извѣстить само начальство? Онъ такъ и сдѣлалъ. Лидія Матвѣевна едва успѣла проститься на крыльцѣ

съ своимъ другомъ m-me Волкаревой, какъ Духановъ представился и объяснилъ все, всходя за нею на лѣстницу. Аннета, дѣти, m-lle Роше были предоставлены ихъ собственной участи и спаслись по своимъ комнатамъ, когда начались объясненія въ гостиной.

Объясненія были очень долгія.

— Это они васъ славно надули, Андрей Васильевичъ, говорилъ Духановъ, свѣтски развязно сидя на диванѣ передъ лампою, между тѣмъ какъ Лидія Матвѣевна, усталая, сердитая, пораженная, лежала въ креслахъ, закрывая лицо вышитымъ платкомъ, а Верховской ходилъ изъ угла въ уголъ.—Что-жъ вы мнѣ не сказали, что васъ вызываютъ на совѣщаніе? Я бы, ей-Богу, съ вами съ удовольствіемъ поѣхалъ и ничего бы этого не было. Потому—вамъ и разсуждать бы нечего; сказали разъ: «несогласенъ», и дѣлу конецъ. Если бы только это дѣло да въ департаментъ... Такъ, даже зло беретъ, благородное слово!

— Это ужасно! выговорила Лидія Матвѣевна.

— И вѣдь какъ, замѣтьте, ловко, продолжалъ Духановъ, наставительно обращаясь къ ней:—какъ только Андрей Васильевичъ здѣсь купчую подписали—сейчасъ изъ палаты имуществъ предписаніе: «составить вновь совѣщаніе». Какъ они, то есть, Андрей Васильевичъ, въ Спасское—такъ сейчасъ ему повѣстка: «пожалуйте...» А онъ, ужъ извѣстно, какъ на совѣщаніе пожаловалъ, такъ его...

Онъ и рукой махнулъ.

— Неопытность, можно сказать, большая! договорилъ онъ съ осторожной, небрежноснисходительной улыбкой.—Вѣдь чего-жъ было и ждать: одно слово—Багрянскій! естественный интриганъ...

— Я вамъ совѣтую замолчать, сказалъ Верховской, подходя.—Лидія, скоро ты избавишь меня отъ этой компаніи? Я хочу говорить съ тобой одинъ.

Лидія Матвѣевна въ удивленіи раскрыла глаза.

— Конечно, Андрей Васильевичъ, я чувствую, что по образованности моей я вамъ не компанія, смиренно заговорилъ Духановъ:—однако, все-таки... какъ у Крылова въ баснѣ, что придавило орлицу и дѣтей, потому кротъ... Все-таки, я могу, хоть совѣтъ...

— Ахъ, ради Бога! вскричала Лидія Матвѣевна:—не оставляйте меня, подайте мнѣ совѣтъ! Женщина въ моемъ положеніи... Я не знаю этихъ дѣлъ, я лишаюсь собственности и не знаю, къ кому прибѣгнуть, вы одинъ... нѣтъ средства...

Верховской смотрѣлъ на нее.

— Il me semble que vous voulez plaire? сказалъ онъ.

Духановъ оглянулся на непонятное слово; его маленькое лицо вспыхнуло.

— Средство, Лидія Матвѣевна, есть, сказалъ онъ, стараясь сохранить самое гордое спокойствіе:—только бы во-время поспѣть. Если вы, теперь, прибудете въ Спасское, обратитесь тамъ къ посреднику, чтобъ остановили, что тамъ начато; да извольте подать заявленіе, что вы на совѣщаніи сами не присутствовали; «я, молъ, несогласна, а мой довѣренный...» Ну, однимъ словомъ...

— Ну, однимъ словомъ, Лидія Матвѣевна, скажите, что вашъ мужъ дуракъ, и что вы не признаете дѣла, которое онъ сдѣлалъ, прервалъ Верховской.—Я тебѣ сказалъ, продолжалъ онъ по-французски,—что хочу быть съ тобой одинъ. Я, кажется, рѣдко этого прошу. Если онъ еще пять минутъ здѣсь останется, я его выкину въ окно.

Лидія Матвѣевна опять подняла на него глаза; было ясно, что онъ не шутитъ. Онъ отвернулся и сталъ у окна.

— Такъ этакимъ манеромъ... началъ опять Духановъ, полагая, что супругъ покорился.

— Ахъ, я ужасно устала, прервала, вставая, Лидія Матвѣевна:—извините, меня. До завтра. Я скажу Алексѣю Владиміровичу...

Духановъ догадался тоже встать.

— Что-жъ это будетъ-съ? стало быть, не изволите имѣть ко мнѣ довѣрія?..

— Ахъ, нѣтъ, но все-таки, Алексѣй Владиміровичъ...

— Его превосходительство вамъ, по деликатности, ничего не могутъ посовѣтовать.

— Можетъ быть... Но, нѣтъ... Я за вами пришлю. Гдѣ вы живете?

— Моя квартира ничтожная, Лидія Матвѣевна; вотъ, коррилорные знаютъ, отвѣчалъ Духановъ, указывая шляпою въ дверь.—Мое желаніе было...

— До завтра... До свиданія.

И у дверей, оглянувшись на мужа, Лидія Матвѣевна подала руку Духанову.

— Не довольно ли любезностей? спросилъ Верховской, задыхаясь:—вы желаете начать со мною новыя отношенія?

Она обомлѣла.

— André, я не понимаю...

— Вы этого позора не понимаете? закричалъ онъ:—Лѣсичевъ... вотъ, эта гадина... завтра, старый шутъ Волкаревъ... Нѣтъ ли у васъ еще друзей-пріятелей?..

— Ты ревнуешь? ревнуешь?.. Душка, я тебя обожаю! вскрикнула она и бросилась ему на шею.—Душка, божественный, молчи... Нѣтъ, говори, говори, брани, упрекай, подозрѣвай... Ревнивецъ! Ah, je suis aux anges! Ah, je suis heureuse! Ревнуешь? любишь?

Онъ оттолкнулъ ее и отчаянно заломилъ руки.

— Ахъ, я тебя боюсь! Ахъ, какъ это весело! Это прелесть, прелесть! Скажи, что ты чувствуешь?.. Ну, mon chevalier fidèle, pardon, я больше не буду этимъ шутить, не буду! Ахъ, за эту минуту... видитъ Богъ... Эти деньги... André, развѣ я такъ взыскательна? Вѣдь ужъ было, помнишь, когда ты бралъ для maman? Если ты попросишь...

— Только одного прошу, прервалъ онъ, блѣдный:—пусти, дай опомниться... Если любишь, окажи это милосердіе! я лягу...

— Поцѣлуй на прощанье! сказала она кокетливо.

VI.

На слѣдующее утро, Лидія Матвѣевна встала уже не въ такомъ восторженномъ настроеніи и, зрѣло размысливъ, нашла, что убытокъ не легокъ. Она хотѣла опредѣленнѣе переговорить съ André. Ей сказали, что Верховской давно всталъ и ушелъ—куда, не знали. Это, конечно, не могло быть ей пріятно, и за чайнымъ столомъ она приказала кузинѣ и m-lle Роше сбираться и укладываться, потому что она намѣрена въ этотъ же день ѣхать въ Спасское и быть тамъ къ ночи. По неудовольствію Лидіи Матвѣевны можно было вполнѣ убѣдиться, что все это житье въ городѣ, промедленіе, издержки были сдѣланы исключительно для Аннеты, а m-lle Роше, ужъ безъ сомнѣнія, была кругомъ виновата, что, вмѣсто нарядовъ, не вынула учебниковъ и дѣти тратили время. Къ довершенію несчастія, Элимъ вздумалъ въ это утро изучать конюшни провинціальной гостиницы и воротился оттуда, перепачканный въ дегтѣ. Подобныя занятія не допускались въ Петербургѣ: дѣти Лидіи Матвѣевны могли предаваться своимъ страстямъ въ своей или въ дальнихъ комнатахъ, но въ салонъ были обязаны являться всегда прилично и никогда ничего не говорить, если ихъ не спрашивали,

— Прелестно, если вы будете также внимательны въ деревнѣ, сказала Лидія Матвѣевна гувернанткѣ, когда та уводила переодѣвать Элима.

Аннета сейчасъ же уложила все свое и сѣла вышивать. Она была готова плакать, но покорилась... Печали, испытанныя въ Петербургѣ въ послѣдніе годы, когда всего въ мірѣ оставалось только опера и «александринка», и тѣ уже безъ Маріо и Каратыгина, схимничество двухъ недѣль въ Москвѣ, подготовили было душу Аннеты къ пустотѣ, къ мужикамъ... шумная недѣля въ N* ее взволновала. Сначала, все это непривычное казалось ей чѣмъ-то въ родѣ новой декораціи въ балетѣ, за которую публика апплодируетъ и вызываетъ машиниста: красиво устроено; какъ устроено—до этого нѣтъ дѣла; это только посмотрѣть; можно, пожалуй, спросить, дорого ли стоитъ. Аннетѣ нравился спектакль; потомъ, стало казаться, что и ей дали въ немъ роль на выходъ и что ее хорошо принимали. Это было еще пріятнѣе, это даже кружило голову, хотя все какъ-то чувствовалось, что это не чувствуется, а играется. Но, какъ особа, мужественно выносившая по восьми актовъ россійской сцены, Аннета была бы очень рада, если бы и эта комедія продлилась на всю жизнь... И вдругъ—занавѣсь опускается, темнота... Деревня ее ужаснула. Аннета не умѣла плакать, а покоряться давно и хорошо выучилась, и потому ограничилась тѣмъ, что робко спросила Лидію Матвѣевну, занятую повѣркой своего серебра, которое укладывали:

— Къ вамъ будутъ пріѣзжать изъ города?

— До Спасскаго нѣтъ желѣзной дороги, отвѣчала Лидія Матвѣевна.

Долгое отсутствіе мужа выводило ее изъ терпѣнія и вмѣстѣ безпокоило: не сдѣлалъ ли онъ чего нибудь еще хуже этой уступки земли? Лидія Матвѣевна, конечно, видѣла всѣ бумаги, провѣрила всѣ счеты, относившіеся къ покупкѣ, взяла и деньги, оставшіяся отъ размѣненнаго для этого билета,—но кто знаетъ, что еще могло быть. Почему André вчера такъ дерзко обращался съ этимъ господиномъ? Ревновалъ... Ну, да; но вѣдь между ними могла быть какая нибудь сдѣлка; Духановъ, чѣмъ нибудь недовольный, искалъ случая отмстить... Но если и не это... Нѣтъ, не это; André нѣтъ никакой выгоды поступать недобросовѣстно; онъ тогда рискуетъ самъ всего лишиться!.. Нѣтъ, не это. Но все-таки André держался странно. Не оживленъ, не разговорчивъ—это ужъ его характеръ; не страстенъ (Лидія Матвѣевна не то разсказывала постороннимъ, но предъ собой иногда не лукавила), но теперь... Это Богъ знаетъ что.

Она ничего опредѣлить не умѣла.

— Ревнуетъ... Эти выходки, вчера... но

даже при Лѣсичевѣ!.. Ахъ, да! «кто любитъ, тотъ ревнуетъ»!..

У нея пріятно забилось сердце; она вспомнила какой-то дуэтъ, который пѣла въ институтѣ, и вздумала запѣть. Ея голосокъ давно пропалъ. Ей стало грустно, вдругъ, какой-то неопредѣленной грустью, — такъ, Богъ знаетъ что!

— Annette, сказала она;—я вчера звала къ себѣ Лѣсичева. Вы не замѣтили, что онъ въ меня влюбленъ? Меня André натолкнулъ на это: приревновалъ, но какъ!.. Мужья всего скорѣе видятъ.

Она засмѣялась. Аннета, давно не вѣрующая въ любовь, конечно, не умѣла поддержать разговора, а еще меньше предположеній кузины. Но именно это неумѣнье и холодность лучше всего успокоили Лидію Матвѣевну.

— Дѣвушкѣ вашихъ лѣтъ, конечно, этого не понять! сказала она, торжествуя, и развеселившись, забывая хлопоты, забывая повторять «куда дѣвался Андрей Васильевичъ»? Она усѣлась подлѣ Аннеты и толковала ей о любви вообще и о супружеской въ особенности. Такъ очень мило прошло съ полчаса, когда отворилась дверь.

— Mesdames... произнесъ, шаркая, Волкаревъ.

Лидія Матвѣевна была не одѣта и не причесана. Она ахнула, но вспомнила, что на ней все довольно вышито и очень дорого. Волкаревъ расцѣловалъ ея ручки, съ глубокимъ почтительнымъ поклономъ Аннетѣ.

— Вы ужъ укладываетесь? Вы насъ покидаете? восклицалъ онъ.

— Что-жъ дѣлать, надо... Не знаете ли, гдѣ мой мужъ?

— Если бы не зналъ, я бы не явился,— отвѣчалъ онъ очаровательно: я увѣрился, что этого тирана нѣтъ дома, и тогда бросилъ все, дѣла, службу...

— Но гдѣ же онъ?

— Онъ... «Сумраченъ, тихъ, одинокъ» гуляетъ по площади. Это противъ оконъ губернскаго правленія. Тутъ рѣка, il a été probablement prendre un bain...

— Probablement...

— Вода еще холодна; послѣ нея необходимо движеніе, прибавилъ Волкаревъ и, вдругъ замѣтивъ, что пошатнулся на старческій тонъ, опять игриво оживился.—Но сумраченъ. Изъ этого я заключилъ, что онъ въ опалѣ, и—вотъ я!..

— Ахъ, у насъ, въ самомъ дѣлѣ, непріятность, сказала Лидія Матвѣевна:—и я даже хотѣла просить васъ... Annette, посмотрите, что тамъ дѣлается.

Аннета покорно исчезла.

— Въ Спасскомъ... C'est un coup de foudre!

Улыбка Волкарева мгновенно исчезла. За Спасское ему уже однажды хорошо досталось. Хотя онъ надѣялся на дѣятельность исправника и становаго, но при перемѣнѣ владѣльца, въ смутное время, когда столько слуховъ, толковъ, страховъ, — кто знаетъ, на что еще можетъ рѣшиться безумный народъ. «Громовой ударъ» Лидіи Матвѣевны поразилъ губернатора такъ, что онъ не могъ выговорить слова и ждалъ съ замираніемъ сердца... Она продолжала разсказъ. Волкаревъ вздохнулъ и радостно, въ глубинѣ души, возблагодарилъ небо. Обстоятельство было непріятное для разсказчицы,— но въ сравненіи съ тѣмъ, что могло быть, что грозило самому губернатору,—оно принималось легко, почти какъ шутка... Являлось другое затрудненіе. Лидія Матвѣевна увлекалась и прямо высказывала, что все это случилось по оплошности André. Волкаревъ размышлялъ...

Уже нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, петербургскіе доброжелатели и родственники предупредили его, что на него готовится гроза. Она могла быть еще далеко, могла быть и очень близко, могла разойтись, могла и собраться въ видѣ слѣдствія, комиссіи... Волкаревъ трепеталъ, скрывая волненіе подъ своей всегдашней мягкой, благовоспитанной игривостью. Признаки времени были неблагопріятны: къ Святой Волкарева обошли наградой; онъ просилъ отпуска въ Петербургъ; ему не отвѣчали долго и, наконецъ, отказали, находя необходимымъ его личное присутствіе въ губерніи въ настоящее военное время. Отговорка явная: — N* далеко отъ театра войны. Волкаревъ понялъ и искалъ, какія принять мѣры. Казалось, сама судьба послала ему опору: Верховской пріѣхалъ тогда покупать имѣніе. Волкаревъ встрѣтилъ его съ распростертыми объятіями: человѣкъ молодой, безъ сомнѣнія, легко увлекающійся, видимо неопытный, но между тѣмъ значительный по чину, вліятельный по родству съ однимъ изъ министерскихъ боговъ,— это находка, это спасеніе! Нужно спѣшить себя обезпечить, захватить его дружбу... m-me Волкарева поспѣшили сдѣлать тоже, хотя вполнѣ женственно-безразсчетно, и, можетъ быть, въ первый разъ во все свое супружество, Волкаревъ находилъ, что жена его понимаетъ. Съ пріѣздомъ Лидіи Матвѣевны, предупредительность, любезности были удвоены; все шло благополучно, и, вдругъ...

Лидія Матвѣевна была недовольна своимъ супругомъ, недовольна основательно. Сочувствовать ей — значило потерять все со стороны Верховского, потратить даромъ всѣ свои хлопоты. Не принять къ сердцу гнѣва и печали Лидіи Матвѣевны—но она также сильна у своего дядюшки... Волкаревъ считалъ себя ловкимъ дипломатомъ, но тутъ нѣсколько терялся. Было необходимо рѣшаться скорѣе, не давать Лидіи Матвѣевнѣ далеко зайти въ своемъ краснорѣчіи. Она уже сказала, что André хуже маленькаго ребенка, что ему ничего нельзя довѣрить... Вдругъ Волкаревъ просіялъ. Его озарила мысль: это случай оказать Верховскому услугу, которой тотъ, конечно, не забудетъ...

— Мнѣ даютъ совѣтъ, говорила Лидія Матвѣевна: — попробовать поправить это дѣло, заявить неудовольствіе на моего повѣреннаго... уничтожить довѣренность André...

— И я вижу ваше прекрасное негодованіе! прервалъ онъ, взявъ ея ручку и цѣлуя ее съ умиленіемъ.— Сказать это женщинѣ, такъ высоко понимающей своего мужа... Ah, il n'y a que les âmes viles... N'en parlons plus!

Лидія Матвѣевна вытаращила глаза.

— Какъ онъ васъ любитъ! продолжалъ восторженно Волкаревъ, будто не слышалъ ни слова изъ всего, что она разсказывала: — какъ онъ понялъ, что женщина, ступая на землю, приноситъ съ собой благословеніе! Увидѣлъ несчастныхъ—и подалъ милостыню!

— Une jolie aumône... замѣтила, не вытерпѣвъ, Лидія Матвѣевна.

— Oh, c'est la misère même! воскликнулъ Волкаревъ съ такимъ убѣжденіемъ, какъ будто и не существовало его переписки съ Петербургомъ о спасскихъ крестьянахъ.—И какой далекій разсчетъ! Какой дѣлецъ вашъ Андрей Васильевичъ!

— Дѣлецъ?

— Глубокій дѣлецъ! Ему стоило два раза видѣть Багрянскаго, чтобы его раскусить; c'est un homme de chicane, заноза... Онъ завелъ бы вамъ такую исторію, что... Богъ васъ спасъ!

— Я васъ не понимаю! вскричала Лидія Матвѣевна: — я васъ рѣшительно не понимаю! Но вы сами писали, увѣряли Маргариту Запольцеву, что эта земля принадлежитъ ей...

— А, la Margot! Ее можно увѣрять! возразилъ Волкаревъ съ смѣхомъ свѣтски-легкомысленнаго и вмѣстѣ строго-дѣлового человѣка.—Она меня осаждала и... ея родные... Madame Запольцева должна было понимать, согласитесь, заговорилъ онъ вдругъ серьезно, укрѣпляясь въ своей хитрости по мѣрѣ того какъ говорилъ:—должна была сама понимать, что требуетъ несправедливо, нелѣпо. Ей хотѣлось — я ей не мѣшалъ!! только дѣтей урезониваютъ!.. Но вы—это совсѣмъ другое. Вашъ мужъ... человѣкъ, какъ онъ, не заблуждается... Онъ понялъ...

— Что же онъ понялъ?

— Что Багрянскій настоитъ на своемъ, напишетъ министру, и эту землю, рано или поздно, у васъ отнимутъ.

— Неужели?

— Безъ малѣйшаго сомнѣнія... Mais, tenez, entre nous: я зналъ, что это будетъ; не выдавайте меня мужу!

Онъ мило засмѣялся и захватилъ, пожимая, ея ручку.

— И вы представьте тогда всѣ непріятности: землю берутъ, огласка... А теперь — великодушная, добровольная уступка! и въ настоящее-то время!! Это такъ рекомендуетъ вашего Андрея Васильевича...

— Да... Но, помилуйте, мои деньги! Кто-жъ мнѣ ихъ возвратитъ...

— Тогда, конечно, вамъ предоставили бы получить ихъ съ m-me Запольцевой... Но, прибавилъ онъ задумчиво, слегка презрительно и понижая голосъ:—вы знаете положеніе Запольцевой. Вы получили бы en mil-huit-cents-jamais! Такъ не все ли равно, просто, прямо...

Онъ спохватился, что урезониваетъ, и прибѣгнулъ къ умиленію.

— Femme trois fois heureuse!.. И вамъ, вамъ предлагать скандалъ, предлагать лишить довѣрія вашего мужа... le désavouer, его и его благородный поступокъ... О, я понимаю, что вы возмущены!

— И вы, точно, знаете, что эту землю у меня отобрали бы? спросила Лидія Матвѣевна.

Волкаревъ повторилъ, и не одинъ разъ, и приводилъ доказательства. Пока онъ говорилъ, Лидія Матвѣевна соображала, что ужъ если этотъ «благородный поступокъ» былъ неизбѣженъ, то André долженъ возвратить ей, чего онъ стоилъ. Это ее успокоило и напомнило другое.

— Гдѣ-жъ это André... Онъ вчера ѣздилъ къ этому Багрянскому. Вотъ, вы все говорите о Багрянскомъ. Онъ дурной человѣкъ?

— Я не позволю себѣ говорить дурно о людяхъ, которые меня ненавидятъ, отвѣчалъ

съ достоинствомъ Волкаревъ.—Я знаю, какъ онъ относится о моихъ дѣйствіяхъ. Ограждая себя, я былъ вынужденъ писать лицамъ высокопоставленнымъ... и, конечно, не скрылъ и моего мнѣнія. Человѣкъ, какъ онъ, вышедшій изъ ничтожества, не можетъ не быть... взяточникомъ! договорилъ Волкаревъ съ отвращеніемъ.—Это видно изъ его образа жизни... домъ купилъ, que sais-je! Только не берутъ труда раздавить его... Онъ, однажды, въ проѣздъ здѣсь министра, на обѣдѣ у меня—(il fallait subir cette corvée, l'inviter!), выразился, въ разговорѣ, что въ наше время, да и во всякое время, пустые люди всего опаснѣе. Всѣ поняли, куда онъ бросилъ камешекъ... Ну, что-жъ вы хотите—такія вещи не забываются! Наши служебныя отношенія довольно отдѣльны, но нестерпимо видѣть, какъ такая фигура поднимаетъ носъ, претендуетъ на значеніе, на образованіе, на неподкупность... que sais-je!

Онъ разгорячился. Лидіи Матвѣевнѣ это было все равно, или даже забавно.

— Какой страшный! воскликнула она, наивничая.—Зачѣмъ же вы для него хлопочете?

— Я?

— Какъ же? Мнѣ говорила ваша жена и третьяго дня мы съ ней вмѣстѣ послали письмо à l'oncle Зуровъ...

— Вы это сдѣлали? благодарю васъ! сказалъ съ увлеченіемъ Волкаревъ.—Я боялся, что Марья Васильевна, по своей разсѣянности...

Вошелъ Верховской. Онъ все утро бродилъ по городу, не заходя ни къ кому и избѣгая встрѣчъ, думая только, что ему не миновать своей кровли и не уйти отъ самого себя. Спрятаться отъ Волкарева было невозможно.

— Мнѣ сказали, что вы здѣсь, сказалъ онъ ему, здороваясь.

— Гдѣ ты былъ, André? вскричала Лидія Матвѣевна.

Онъ, не отвѣчая, подалъ ей руку и сѣлъ. Она посмотрѣла ему въ лицо; онъ, казалось, усталъ.

— Мы о васъ тутъ немножко злословили, любезно заговорилъ губернаторъ.—Какъ же вы такъ оплошали?..

Верховской взглянулъ на жену и удивился, встрѣчая игривую улыбку и влюбленный взглядъ. Лидія Матвѣевна все время не сводила съ него глазъ и замѣчала, что онъ измученъ. Говорятъ, онъ не виноватъ! Говорятъ, рано или поздно случилось бы тоже. Лидія Матвѣевна не могла понять, что съ нею дѣлается; какъ-то жаль его, и какъ-то забавно, а онъ такой душка, хорошенькій, какъ нарочно...

— Ужъ вы, пожалуйста, меня съ нимъ не ссорьте, сказала она Волкареву, надувъ губки, какъ ребенокъ.—Я знаю, вы злой, рады! Что я вамъ пожаловалась, изъ этого еще ничего не слѣдуетъ. Я, такъ, шутила. Милые бранятся, только тѣшатся... вѣдь, такъ, André?

Она вознаградила Волкарева улыбкой, за что онъ сейчасъ поцѣловалъ ея ручку.

— Ай, бѣда! вскрикнула она:—при немъ! онъ ревнуетъ! Вы не знаете, мы оба ревнивы... Вотъ, все бѣгаетъ изъ дома. Сказывай, гдѣ ты былъ, тиранъ, невѣрный? Опять у своего Багрянскаго?

— Его нѣтъ въ городѣ, отвѣчалъ Верховской.

— И вѣрно, все за тѣмъ же дѣломъ? Прошу мнѣ о немъ не поминать; s'est fini, надолго. И Багрянскій мнѣ надоѣлъ. Вотъ, у насъ есть лучше твоего секретъ о Багрянскомъ... А, что? сказать?

Ей хотѣлось оказать мужу вниманіе.

— Но... замѣтилъ Волкаревъ.

— Что такое? спросилъ Верховской, котораго заинтересовало его смущеніе.

— Ахъ, онъ у меня умница, никому не скажетъ! Онъ, я s'est la même chose!

— Противъ этого... конечно... сказалъ Волкаревъ.

— Что такое? повторилъ Верховской.

— Ты стоилъ бы, чтобъ тебѣ не говорить! мило пошутила Лидія Матвѣевна и воспользовалась случаемъ вспутать ему волосы.—Видишь, у Багрянскаго сынъ. Я и, вотъ, Marie Волкарева просимъ, чтобъ дали... ахъ, что такое? чинъ, кажется, этому сыну...

— Марья Васильевна не разсказывала вамъ судьбу этого несчастнаго молодого человѣка? прервалъ серьезно Волкаревъ.

— Нѣтъ.

— Онъ разжалованъ. На Кавказѣ сражался, кажется, отличился... Счастливая случайность: тамъ одинъ родственникъ князя Петра Александровича, тоже юный изгнанникъ, Гриша Заметовъ... вы, можетъ быть, встрѣчали?

— Ахъ, въ Петербургѣ! Il dansait toujours des polkas impossibles...

— Ну, да... Тамъ, на Кавказѣ, въ одной глупой исторіи, Багрянскій его, какъ говорится, выручилъ. Они сошлись. Гриша, чрезъ своихъ, писалъ—постарался,—Багрянскаго представили въ офицеры. А вотъ, теперь,—тамъ была какая-то стычка, онъ раненъ и проситъ объ отставкѣ... Десять лѣтъ военной

службы, одиночество, климатъ... ужасно!.. Enfin, l'homme est à bout... Отставки могутъ и не дать. Онъ, — въ крайности, человѣкъ ищетъ вездѣ! Онъ обратился ко мнѣ, не могу ли я содѣйствовать, чтобъ ему дали отдохнуть, выпустили бы его, возвратили бы семьѣ. Прекрасно пишетъ... Вы имѣете понятіе объ отцѣ. Отецъ не далъ порядочнаго воспитанія и дочери, а сынъ явился на свѣтъ еще раньше,—и меньше средствъ, и меньше попеченій...

— У Багрянскаго дочь? спросила Лидія Матвѣевна.

— Да... Слѣдовательно, съ молодого человѣка и требовать бы невозможно много. Но онъ самъ о себѣ позаботился, образовался... и даже очень недурно, очень достаточно, судя по его письмамъ ко мнѣ, къ Марьѣ Васильевнѣ... У моей жены сердце чрезвычайно нѣжное! прибавилъ онъ. — Багрянскій говорилъ вамъ о своемъ сынѣ?

— Мнѣ? сказалъ Верховской:—но я всего два раза его видѣлъ.

— А дочь ты видѣлъ, André?

Онъ утвердительно кивнулъ головою и спросилъ Волкарева:

— За что онъ разжалованъ?

— Une histoire de caserne, enfin... Его поступокъ нельзя судить строго. Тутъ понятія о чести... Спросите всякаго благороднаго, пылкаго молодого человѣка—всякій сдѣлаетъ то же! Негодяй занесетъ руку... нѣтъ, этого не выдержитъ и старикъ! Horreur!.. Багрянскій слишкомъ жестоко наказанъ. Я не говорю ничего противъ...

Онъ смѣшался.

— Не намъ судить, кто и какъ наказываетъ! продолжалъ онъ шопотомъ:—но всему есть мѣра. Три года опасностей, лишеній, униженія — довольно!.. Я сдѣлаю все возможное, употреблю весь свой кредитъ...

— Изъ чего вы хлопочете? прервала Лидія Матвѣевна.

— Я старикъ, ma belle et bonne amie, отвѣчалъ съ глубокимъ чувствомъ Волкаревъ.—Когда видишь уже вблизи передъ собою эту темную границу жизни... Прощеніе врагамъ...

Его голосъ прервался отъ волненія.

— Я не отецъ, но понимаю сердце отца! Старика Багрянскаго убиваетъ несчастье его Виктора: онъ будетъ ему возвращенъ. Они будутъ счастливы! Я готовъ предоставить мѣсто, найти мѣсто... ну, столкну кого нибудь, а дамъ мѣсто сыну моего врага! Вотъ мое мщеніе. Пусть меня бранятъ, а я это сдѣлаю, я не могу иначе, потому что я знаю—ils sont donc pauvres, имъ жить надо! я вѣдь это понимаю, не считайте меня безсердечнымъ! Молодой человѣкъ въ отчаяніи... Tiens, me voilà faible comme une veille femme... Минута, когда я приведу его къ отцу, когда скажу: «это я...» Не проговоритесь никому, милый Андрей Васильевичъ! Люди этого не понимаютъ, готовы осудить, осмѣять... Не проговоритесь Багрянскому. Я не хочу. Одна рука не должна вѣдать, что дѣлаетъ другая. Онъ узнаетъ меня тогда... Я воображаю эту минуту! Я воображаю Багрянскаго!..

Выраженіе лица Волкарева при этихъ словахъ было далеко не растроганное и не нѣжное, но Лидіи Матвѣевнѣ все это ужъ наскучило и она на него не смотрѣла, а Верховского заняла другая мысль.

— Зачѣмъ вы мнѣ этого давно не сказали? вскричалъ онъ.—Я всей душой радъ служить такому дѣлу. Я написалъ бы моему дядѣ, Александру Дмитріевичу Зурову...

— Ужъ написано! прервала, торжествуя, Лидія Матвѣевна: — чрезъ недѣлю мнѣ будетъ отвѣтъ, а дядя мнѣ ни въ чемъ, ни въ чемъ, ни въ чемъ не смѣетъ отказать! я его замучаю...

— Но еслибъ вы подтвердили, дорогой Андрей Васильевичъ, сказалъ Волкаревъ:— вы объяснили бы ему... Женщины — волшебницы въ дѣлахъ сердца, но житейская, грубая проза...

— Какъ вы смѣете намъ не довѣрять? подхватила Лидія Матвѣевна — и начались любезности...

Онѣ кончились тѣмъ, что Волкаревъ выпросилъ у нея еще два дня пребыванія въ N*, и за это обѣщалъ сегодня же танцы въ клубѣ. Погода стояла прелестная, но—«красотами природы будетъ время наслаждаться въ Спасскомъ», — основательно замѣтилъ губернаторъ, уходя и поздравляя себя съ тѣмъ, что такъ удачно обдѣлалъ два дѣла.

Проводивъ его, Верховской тотчасъ ушелъ къ себѣ.

У Катерины есть горе, а она ему не сказала! — онъ отдалъ всю свою душу, а у нея остались тайны! Хуже: она обманула, увѣряла, что счастлива... За это надо отмстить.

У него замирало сердце отъ радости, какъ онъ можетъ ей отмстить: уничтожить ея горе. И это не легко обойдется. Нужно пожертвованіе, нравственное, трудное пожертвованіе: нужно просить родственника, котораго онъ столько лѣтъ считалъ за чужого, отъ котораго сторонился, едва соблюдая приличія, человѣка пустого, человѣка дурного,

человѣка, къ которому мать не обращалась ни въ какой крайности... Но въ его рукахъ счастье Катерины и нечего раздумывать, должно протянуть ему руку. За то... За то, можно будетъ сказать, глядя въ ея божественные глаза: «ты скрыла — я узналъ; надъ тобой была тѣнь — я ее разогналъ; ты сказала, что наша жизнь врозь—вотъ, я для твоей жизни что нибудь значу!..»

Онъ сгоряча сѣлъ писать. Какимъ-то вдохновеніемъ, у него являлись и ловкія фразы, и дружескія выраженія. Какъ-то кстати пришлось, что жена объ этомъ ужъ писала: это подтвержденіе добраго супружескаго согласія. Вотъ, всего въ жизни не предвидишь: хорошо, что хоть Лидія поддержала пріязнь дядюшки. Ну, Богъ съ нимъ совсѣмъ; какъ говорится—«отъ слова не станется». Письмо не присяга. Просьба не даетъ покровителю правъ надъ просителемъ. Не вообразитъ же онъ... ну, что бы ни вообразилъ!.. Чѣмъ закончить?

Оживленный, веселый, Верховской позволилъ себѣ пошутить, что «Лидію забаловали здѣсь», что «дѣти отъ рукъ отбились», — еще строка, и онъ обнимался съ «дорогимъ дядей», а надписывая конвертъ, вспомнилъ недавнюю царскую милость, съ которой забылъ поздравить, и четко накаллиграфировалъ: «И кавалеру..»

«Ну, адресъ сойдетъ за поздравленіе», подумалъ онъ, смѣясь.

— Чему ты одинъ хохочешь? спросила, появляясь, Лидія Матвѣевна.

— Такъ; писалъ дядѣ, ужъ запечатано. Впрочемъ, я писалъ и отъ тебя. Сейчасъ велю отдать, почта сегодня.

— Это о Багрянскомъ?

— Да.

— Ты очень спѣшишь дѣлать чужія дѣла.

— Я хотѣлъ сказать тебѣ о нашемъ дѣлѣ, началъ онъ, не обращая вниманія на замѣчаніе.

— Я говорила Алексѣю Владиміровичу; онъ мнѣ растолковалъ...

— Не знаю, что онъ тебѣ растолковалъ и могъ ли растолковать. Во всякомъ случаѣ, я виновный, я и отвѣчаю. Предположи, что я купилъ эту землю для себя. Сорокъ восемь десятинъ и...

Онъ взялъ карандашъ. У него въ глазахъ замелькалъ полутемный кабинетъ, раскатанный планъ, бѣлыя руки безъ колецъ, черныя косы... Умноженіе выходило затруднительно. Лидія Матвѣевна помогла.

— 2193 рубля 75 копѣекъ, подсказала она.

— Угодно ли, покуда, въ уплату, принять мои суточныя? спросилъ Верховской, улыбаясь.

— André, ты проказникъ, какихъ на свѣтѣ нѣтъ! вскричала она, по старой привычкѣ садясь на ручку его кресла. — J'accepte, monsieur. Въ остальномъ, понемногу, сочтемся послѣ. Скажи мнѣ лучше, съ чего тебѣ вздумалось блажить и капризничать? И впередъ такъ будетъ?

— Не знаю, что будетъ... отвѣчалъ онъ. — Ты обѣщала быть у Волкаревой; тебѣ время ѣхать.

Въ сборахъ, въ визитахъ, въ разъѣздахъ, въ танцахъ, прошло еще два-три дня. Верховской всякій день, въ своей ранней прогулкѣ, заходилъ къ дому Катерины, обходилъ кругомъ, заглядывалъ подъ акаціи, балконъ былъ запертъ, окна заперты, садъ пустъ... Наконецъ, отъѣздъ въ Спасское былъ положительно назначенъ на завтра. Верховской пошелъ еще разъ и не вытерпѣлъ больше, рѣшился позвонить.

— Нѣтъ никого, сердито объявила ему нянька.

— Скажите Катеринѣ Николаевнѣ, что завтра я уѣзжаю въ деревню, не знаю когда ворочусь, приходилъ съ ней проститься... говорилъ онъ, покуда она, не слушая, запирала двери.

Пошла на два дня, а вотъ ужъ четвертый! Ясно — она убѣгаетъ. А не убѣгаетъ, такъ хуже: она о немъ забыла. Ей весело, ей хорошо. Ее любятъ; кругомъ просторъ,— «самъ Господь Богъ во всей красотѣ», — какъ сказала она тогда вечеромъ, оглянувшись на поле... Счастливая душа, какъ мало ей надо! Не волнуетъ ее эта тревога, это болѣзненное горе, эта безсонница, эта мука ревности ко всему—къ пыльной дорогѣ, на которой оттиснулись слѣды ея подошвъ... Спокойна и холодна. Мысль убиваетъ чувство... Что придумала — жизнь врозь и заодно! Фантазія горячей головы. Какъ тотчасъ видно, что жизни не знаетъ, судитъ по сказкамъ, которыхъ начиталась въ промежуткахъ писарского дѣла и семейной нескладицы. Эти огневые глаза никогда не плакали, — развѣ восторженно, мечтательно... Муза, вдохновительница, безплотная... или сорванецъ крестьянскій мальчишка, что вскочитъ на лошадь безъ сѣдла и узды и гонитъ, сломя голову...

Верховской оглянулся; онъ былъ за городомъ, въ полѣ, не помня какъ зашелъ туда изъ пустого переулка. Ни души кругомъ. Томленіе, тоска, одиночество, пустота въ

глазахъ, пустота въ сердцѣ, гдѣ нѣтъ ни одного стремленія, ни одного желанія, ни одной любви, ни одного долга, ничего кромѣ бури, которая рветъ и уноситъ къ невозможному...

Мечтательница! толкуетъ о пустотѣ жизни! кто-жъ ее не знаетъ, эту пустоту! Эта пустота — провальная яма: набивай ее какими хочешь идеалами, — все, какъ ключъ ко дну! Украсть одну минуту сердечнаго счастья—вотъ все, что можетъ сдѣлать для себя человѣкъ. А тамъ — ступай опять въ потемки, гдѣ благоденствуютъ пошляки и подлецы, и кружись съ ними, дожидайся опять своей минуты. Только. Ничего больше не осуществишь, сколько ни придумывай: только!

Да и что, и зачѣмъ придумывать? О, поглядишь, какъ имъ хорошо, пошлякамъ и подлецамъ, формалистамъ, эгоистамъ, беззаботнымъ, благоразумнымъ, благочестивымъ, благонамѣреннымъ! Кто имъ велитъ какъ нибудь измѣняться, что нибудь уступать? Чьего голоса хватитъ среди ихъ крика, чьей силы противъ этихъ рожновъ? — Громъ грянетъ—они не перекрестятся; чего отъ нихъ ждать? Наставлять ихъ примѣромъ? Какой имъ примѣръ одна убогая единица, которая, среди нихъ, осмѣлится жить по-человѣчески, на свой ладъ... безъ спроса?.. Хотя бы этихъ единицъ набралась и тысяча...

— «Тысяча»... повторилъ онъ про себя, отвратительно улыбаясь.

Негодующая мысль поднялась было пошире и, какъ муха о стекло, стукнулась опять о собственное положеніе. Верховской вспомнилъ жену.

Вотъ, ее здѣсь на рукахъ носятъ; пришлась по вкусу... А онъ-то, мѣсяцъ назадъ, фантазировалъ отдохнуть въ провинціи отъ суеты, холодности... еще чего? Вотъ, предстоитъ отдыхъ полнѣйшій, на лонѣ природы, въ объятіяхъ...

— Да есть ли у меня жена, есть ли у меня семья? вскричалъ онъ, и остановился. На него оглянулись ребята, игравшіе на краю дороги, подъ ветлой у колодезя. Начиналась слобода. Верховской подумалъ, что его, пожалуй, сочтутъ за съумасшедшаго, застегнулъ пальто, поправилъ шляпу и пошелъ, красиво помахивая палкой...

Верховской засталъ жену въ сборахъ и у нея—Духанова, который зналъ все, что происходило у нихъ, и, провѣдавъ о завтрашнемъ отъѣздѣ, явился съ предложеніемъ своихъ услугъ. Лидія Матвѣевна была чрезвычайно довольна его предупредительностью и чрезвычайно съ нимъ любезна. Онъ вызвался нанять лошадей, заготовить подставу, и для этого просилъ позволенія поѣхать впередъ и въ домѣ распорядиться, чтобъ былъ готовъ чай, обѣдъ, или, какъ будетъ угодно—«фриштикъ». Лидію Матвѣевну пріятно поразило это слово.

— Вы жили въ Петербургѣ? спросила она благосклонно.

— Нѣтъ-съ, отвѣчалъ съ скромной грустью Духановъ.

— А я думала. Вы такъ держитесь.

— Старался образовать себя, отвѣчалъ онъ еще скромнѣе, сожалѣя, что Лидія Матвѣевна не имѣетъ никакого титула, который бы можно было ловко приставлять въ заключеніе рѣчи.

Ему оказали честь — позволили ѣхать и распоряжаться. На этомъ засталъ ихъ Верховской. Духановъ тотчасъ же откланялся, молча, и на этотъ разъ самъ первый подалъ руку Лидіи Матвѣевнѣ.

— Ты, вѣрно, ничего не далъ ему за хлопоты? спросила она, когда онъ вышелъ.

— Ничего.

— Какъ же это?

— Я затруднялся, что ему по вкусу, отвѣчалъ Верховской.

— Это очень просто спросить...

Отдѣлавшись отъ прощальной folle-journée, которую все его семейство провело у Волкаревыхъ, Верховской не могъ отказаться отъ вечера и собирался туда, когда Лидія Матвѣевна прислала домой, спать, дѣтей и m-lle Роше. Мысль Верховского, вообще, такъ безсвязно переходила съ одного предмета на другой, что вдругъ, нечаянно, коснулась и положенія гувернантки: дѣвушка молодая, хорошенькая, образованная, и, изъ каприза, лишена даже пустого развлеченія. Верховскому стало совѣстно и вздумалось извиниться.

— Вамъ скучно, милая m-lle Роше? спросилъ онъ.—Вы, можетъ быть, хотѣли бы возвратиться туда? Дѣти могутъ ложиться; пойдемте со мною.

— Благодарю, возразила она:—я предпочитаю мою скуку. Не потому, чтобъ я тамъ была глухонѣмая: языкъ этого общества... съ улицы, но понять еще можно. И не трауръ мой, не національность... Эти дамы и господа совсѣмъ особеннымъ образомъ любятъ свое отечество! Но они, просто, невыносимы, и я не понимаю вашего терпѣнія!

— Что же вы скажете, когда будете въ деревнѣ? спросилъ Верховской, не совсѣмъ

пріятно задѣтый и ожидавшій больше любезности за свое любезное предложеніе.

— О, деревня, я ее люблю! Идешь, мечтаешь. Буду рисовать акварелью. Лишь бы это не обязало меня давать уроки акварели вашимъ дѣтямъ?

— Даю вамъ слово, что нѣтъ, отвѣчалъ, улыбаясь, Верховской:—лишь бы я могъ надѣяться получить отъ васъ рисунокъ.

— Нѣтъ, сказала она:—не получите.

Она сказала такъ равнодушно и смотрѣла такъ прямо, что, безъ сомнѣнія, не затруднилась бы отвѣчать, если бы ее спросили: почему? Верховской не спросилъ.

— И такъ—добрый вечеръ, сказалъ онъ послѣ минуты молчанія.

Она почтительно поклонилась.

«Это, однако, скучно...» думалъ онъ дорогой. Его безпокоило что-то новое, неопредѣленное.

У Волкаревыхъ было какъ всегда, одно и тоже, танцы, карты говоръ. Верховской, какъ сто разъ прежде, выстоялъ у колоннъ, подошелъ къ игрокамъ, сказалъ десятокъ словъ. Говорили о политикѣ; онъ послушалъ. M-me Волкарева читала патріотическое стихотвореніе, назначавшееся въ печать. Верховскому показалось что-то знакомое—и какъ же не знакомое? Это была басня, за которую былъ споръ съ Багрянскимъ. Поэтъ-писарь нашелъ покровителей въ Волкаревыхъ. Раздавались восклицанія, что это «неотдѣланный алмазъ», что «légèrement modifié» это будетъ превосходно... Верховской машинально всталъ, машинально пошелъ дальше по комнатамъ и очутился въ маленькой гостиной; тотъ же сумракъ, то же отворенное окно...

«Ужъ и воспоминанія!..» подумалъ онъ.

Занятый своею мыслію и невнимательный, онъ не сейчасъ замѣтилъ, что не одинъ. Недалеко отъ окна сидѣла m-me Горнова съ другой знакомой дамой. Верховской хотѣлъ уйти и было неловко: эта дама съ нимъ заговорила и скоро ушла сама. Верховской еще неловчѣе, глупо смутился. Ему не была непріятна, но его какъ-то безпокоила встрѣча съ m-me Горновой. Онъ этими днями видалъ ее не разъ, но ни разу не оставался съ нею одинъ и не разговаривалъ долго. Лидія Матвѣевна познакомилась съ нею и m-me Горнова была у нея. Верховской не видалъ ни того, ни другого визита, но замѣтилъ, что, встрѣчаясь, онѣ не разговаривали. Ему m-me Горнова говорила самыя незначащія вещи, никакъ неотносившіяся ни къ чему, что его касалось, не предложила ни разу даже вопроса о здоровьи, который предлагали Верховскому въ теченіе этихъ дней всѣ, кто только съ нимъ встрѣчался; не скрывала, что видитъ и понимаетъ его положеніе, но не навязывалась съ обиднымъ участіемъ, не шутила, не лукавила, ни намекомъ не шла на встрѣчу откровенности, на которую скромно не считала себя въ правѣ, была проста, привѣтлива попрежнему, но не попрежнему весела. Верховского безпокоилъ ея открытый, равнодушный и вмѣстѣ серьезный взглядъ, какого онъ не видалъ у нея до этихъ поръ... Онъ вспомнилъ свою встрѣчу съ нею на балѣ передъ той минутой, которая переломила всю его жизнь. Судьба будто нарочно послала эту женщину, чтобъ разбудить его сердце; ея красота дала желаніе красоты, любви... И потомъ, въ тотъ вечеръ, у этого окна,—опять она же встрѣтилась...

— Вы все лѣто останетесь въ городѣ? спросилъ онъ какъ-то невольно.

— Все лѣто. У насъ нѣтъ деревни.

— «У насъ...», повторилъ мысленно Верховской, между тѣмъ какъ она продолжала:

— У насъ при домѣ большой садъ; я ужъ давно тамъ цѣлые дни. Моя дочка начала ходить; слѣжу за первыми шагами.

— Это еще не самые рѣшительные, сказалъ Верховской.

Она промолчала.

— А какіе шаги труднѣе, первые или дальнѣйшіе? продолжалъ Верховской, самъ не зная зачѣмъ.

— Въ какомъ смыслѣ? спросила она серьезно.

— Въ какомъ хотите.

— Если первые шаги вѣрны, то дальше бояться нечего.

— Въ какомъ смыслѣ? повторилъ Верховской.

— Въ какомъ хотите, повторила она.

Она какъ будто не хотѣла говорить, а не уходила изъ учтивости, или оттого, что покойно сидѣла. Верховской не обидѣлся, а какъ-то огорчился.

— За что вы на меня не въ духѣ? спросилъ онъ.

— Не въ духѣ? На васъ?

— Развѣ вы не видите, что я добиваюсь добраго слова?

— Вы знаете, я не умѣю ихъ говорить.

— Нѣтъ, очень умѣете, возразилъ онъ, ободренный мило-кокетливой добротой, которая послышалась въ ея голосѣ.—Очень умѣете, потому я и ждалъ, что вы мнѣ подарите такое слово на прощанье.

— На прощанье?

— Да. Я уѣзжаю...

— Въ самомъ дѣлѣ? Совсѣмъ? Въ Петербургъ? спросила она вдругъ живо, искренно обрадовавшись.

— Въ деревню.

— А!.. Какіе бываютъ люди прихотливые! сказала она, вставая, громко смѣясь и не скрывая насмѣшливой беззаботной злости:—придумаютъ себѣ благополучіе и еще хотятъ, чтобъ ихъ напутствовали добрымъ словомъ на этотъ рѣшительный шагъ... Извольте, m-r Верховской: je vous souhaite beaucoup de plaisir à Спасское.

Верховской не успѣлъ оглянуться, какъ она ушла. Онъ видѣлъ потомъ, какъ она долго говорила съ Лѣсичевымъ и уѣхала не прощаясь. Танцы, карты, ужинъ длились всю ночь.

На слѣдующее утро, громадныя кареты, наполненныя семействомъ, домочадцами и имуществомъ Верховского, наконецъ выѣхали за N-скую заставу. Послѣ многихъ споровъ, Верховской былъ избавленъ отъ заключенія внутри экипажей и получилъ право взять перекладную. Отправивъ семейство, онъ ужъ бѣжалъ съ лѣстницы, чтобы воспользоваться получасомъ и еще разъ навѣдаться—тамъ; ему на встрѣчу всходилъ Лѣсичевъ.

— А, ужъ уѣхали? я опоздалъ? А вы куда?

— И я сейчасъ ѣду, отвѣчалъ Верховской:—посылаю за почтовыми...

— А я опоздалъ проститься, дѣлать нечего! Но почему, сейчасъ разскажу... C'est qu'on revient toujours...

— A ses moutons.

— A ses amours, ледяной счастливецъ! Я иду къ вамъ, и у бульвара...Отгадайте!

— Она?...

— Кто «она»? повторилъ Лѣсичевъ, лукаво любуясь тѣмъ, что происходило на лицѣ Верховскаго и хохоча отъ собственнаго сердечнаго веселья; оба чувства были совершенно искренни и въ совершенно равной степени.—Кто «она»? Назовите!

— Катерина Николаевна, выговорилъ Верховской, опомнясь и какъ могъ равнодушнѣе.

— Она! Ну, право, я какъ дуракъ влюбленъ! Я ея не видалъ... съ тѣхъ поръ. Иду— встрѣчается. Чортъ знаетъ что такое, еще похорошѣла. Глаза... Я не помню, чего ей наговорилъ. Нѣтъ, это такъ не останется, нѣтъ, я добьюсь!.. Она смѣется:—«ступайте прочь». Я сказалъ, что приду вечеромъ: «Пожалуй...». Пожалуй! Дружбу вмѣсто любви! благодарствуйте! Позволила приходить—всякій день буду ходить...

— Куда она шла? прервалъ Верховской.

— Въ лавки... Нѣтъ, я вечеромъ тамъ, всякій день тамъ. Я не знаю, что будетъ, и знать не хочу. Буду на нее смотрѣть. Буду дурачиться, ну, пусть пальцемъ не меня показываютъ. Надо мной нѣтъ начальства. Я готовъ съ каланчи спрыгнуть...

Онъ съумасшествовалъ цѣлый часъ. Перекладная Верховского давно звенѣла колокольчикомъ. Верховской все ждалъ, что онъ уберется, но Лѣсичевъ объявилъ, что уйдетъ только въ послѣднюю минуту, и, наконецъ, самъ напомнилъ:

— Поѣзжайте, Андрей Васильевичъ, ваши теперь ужъ близко станціи.

Верховской уѣхалъ.

VII.

Прекрасное лѣто 1854 г. манило на деревенскую нѣгу. Сравнительно съ столицами, губернскіе города, гдѣ лѣтомъ остаются все тѣ же служащіе чиновники и ихъ семейства, пустѣютъ меньше, но пустота все-таки замѣтна. Въ N* кончились увеселенія; кто уѣхалъ, кто сбирался уѣхать. Даже на улицахъ стало тихо; дни шли долгіе, свѣтлые, только работать и думать. N-ское оставшееся общество никогда не дѣлало ни того, ни другого, не начинало и теперь, и пользовалось временемъ, чтобы еще немножко позабыть службу, вдохновиться на новыя сплетни, счесться съ расходами, свести экономію, покрѣпче выспаться. Недѣли двѣ стояло это блаженное затишье, и вдругъ его что-то возмутило. Издали будто повѣяло непогодой. Въ тишинѣ начало что-то слышаться, съ одной стороны, съ другой. Слухи неопредѣленные, глухіе, смутные, невѣроятные, какіе-то обидные, безпокойные, страшные. Въ газетахъ что-то особенно кратки извѣстія, много стиховъ и много анекдотовъ; анекдоты умилительные, стихи восторженные, а читать ихъ какъ-то нѣтъ терпѣнія. Много толковъ о деньгахъ, о пожертвованіяхъ. Писемъ отовсюду мало и идутъ они какъ-то особенно долго. Проѣзжіе озабоченные, рѣдкіе; за то часто мчатся казенныя тройки. Прошли два полка, но ужъ не давали баловъ. Все какъ-то вдругъ затемнѣло, захолонуло. Въ слободахъ не слышно пѣсенъ; въ Троицынъ день не было хороводовъ. Куда-то исчезъ народъ, встрѣчаются одни рабочіе; загорѣлыя лица глядятъ сурово, головы клонятся ниже, но это не робость или покорность, а что-то, что не усмиряется по

приказу. На женщинахъ показались черныя платья; это еще бѣдный черный каленкоръ и каленкоровые плёрезы, гроза еще не высоко, но ужъ поднялась, ужъ чувствуется, что идетъ она, все томительнѣе, все тревожнѣе. Въ церквахъ новыя молитвы, новые молебны... вдругъ, съ амвона, манифестъ о новомъ наборѣ... Съѣздъ дворянъ, предводителей. Волкаревъ хотѣлъ сказать рѣчь и удачно заглушилъ ее умиленіемъ. Пожертвованій очень много. Жертвуютъ и купцы, и мелкіе чиновники, и ремесленники, и духовенство. По вечерамъ огни и карты въ клубѣ. Съ утра пріѣзжій полковникъ, власти, доктора, всѣ въ мундирахъ, въ треуголкахъ, скачутъ, мечутся, суетятся. Съ утра толпы на площади у присутственныхъ мѣстъ, телѣги, и тощія лошади у постоялыхъ дворовъ, бабы и грудные ребята подъ ветлами на дорогѣ. Прощанья наскоро: недосугъ; въ деревнѣ дворы остались пустые; одинъ идетъ умирать не зная за что, другіе знаютъ, что идутъ умирать на работѣ. Барабанный бой; пѣсня съ гиканьемъ и присвистомъ надъ сѣрой, запыленной вереницей народа, отъ котораго затемнѣла улица, и только сверкаютъ выбритые лбы и потерянно-удалые взгляды...

Катерина стояла подъ окномъ и смотрѣла, заломивъ руки...

Что бы теперь быть въ уѣздѣ, съ отцомъ. Тамъ составляются списки, назначаются рекрутскія очереди. Нищета, притѣсненія, несправедливости... Въ такое время проклятое зло хуже лѣзетъ изъ всякой щели. Въ бѣдѣ, безъ толку, безъ совѣта, сами эти несчастные ухитряются вредить одинъ другому и сами себѣ, тоже несправедливы, тоже жестоки изъ самосохраненія!.. Можно бы узнать правду, многому помочь. Помочь отцу разобраться среди тяжкой необходимости и этой горькой нужды. И на сердцѣ было бы легче. На глазахъ лучше: по крайней мѣрѣ— все ясно, голова занята, человѣкъ самъ окунулся въ дѣло. Когда человѣкъ въ дѣлѣ, онъ хладнокровнѣе принимаетъ несчастье; онъ не слѣпъ, онъ понимаетъ причины; по возможности поправляетъ неизбѣжное, хоть устаетъ физически, а для души и это отдыхъ... А тутъ, въ сторонѣ отъ всего, смотри, покоряйся, молчи, рвись, связанная по рукамъ и ногамъ; плачь безъ толку, покуда слезъ достанетъ, раздавай гроши, если есть они, утѣшай фразами, если хватитъ на это совѣсти... И, въ заключеніе, не смѣй вымолвить, что это тебя терзаетъ: не твое дѣло... Родиться бы кошкой, овцой; вотъ, тогда, точно, ни до чего бы не было дѣла: прячь когти до случая, или протягивай шею...

Багрянскій писалъ, что еще не скоро возвратится: дѣла много. «Молись Богу и не скучай». Она не молилась, но не скучала. Скукой нельзя назвать мучительную тревогу, негодующую печаль, въ которой проходили ея дни... Минутами, среди тревоги и печали, ее, будто огнемъ, охватывало невыразимымъ блаженствомъ. Смущаясь, улыбаясь, краснѣя, Катерина закрывала лицо; мысль кружилась, уносила Богъ знаетъ куда; въ сердцѣ истомленномъ, переполненномъ желаній за всѣхъ, благословеній всему,—будто лучшій цвѣтокъ на полянѣ, будто лучшая звѣзда на небѣ, рдѣло и сіяло лучшее желаніе, лучшее благословеніе—одному...

— О, какой тяжкій грѣхъ! говорила она, замирая,—въ глазахъ цѣлый свѣтъ, а на умѣ—одинъ...

Но отогнать грѣха она не могла. Этотъ одинъ тоже несчастенъ, ему то же нужно, что и другимъ. Только онъ ближе, онъ—родной. Такого человѣка поберечь—сбережешь многихъ. Такому дать—онъ на всѣхъ раздастъ. Ему повѣрить — онъ не обманетъ. Онъ научитъ, онъ поддержитъ, онъ найдетъ дѣло и толкнетъ всякія праздныя руки. Въ немъ тотъ Божій свѣтъ, который люди гасятъ, вѣдая и не вѣдая. Люди сдѣлали ему много зла, допустили его усомниться въ себѣ. Какую силу, какую прелесть чуть не погубили!.. Господи, и не дать ему обновиться? Что для этого нужно? доброе слово, преданное сердце? Да если только годится это сердце, если только можетъ это слово... Онъ еще прежде, не спрашивая, отдалъ сокровище больше...

— Охъ, кажется, я съума сошла...

Преданность... Какая преданность? Ему нуженъ человѣкъ крѣпкій, надежный, а не одна кротость, нѣжность, да лелѣянье. Это все извращенныя глупости. Кто нѣжитъ—балуетъ и самъ балуется. Хуже: это стѣсняетъ Человѣкъ сильный тяготится лелѣяньемъ, изъ деликатности къ слабому совѣстится освободиться,—а между тѣмъ его жизнь испорчена, его силы потрачены даромъ, его умъ облѣнился...

Она оглянулась кругомъ...

— А я что дѣлаю? Я лѣнюсь! Развѣ ему такую нужно? Виновата передъ другими—виновата передъ нимъ!

Она поспѣшно, съ испугомъ начала провѣрять, что дѣлала, и не могла припомнить этихъ двухъ недѣль. Работа была заброшена; читать она не могла, въ кабинетъ отца

не заглядывала; хозяйство, хоть несложное, было совсѣмъ забыто... Она думала, тосковала... Это еще не занятіе... Конечно, всѣ эти мелочи кругомъ себя—не труды для цѣлаго міра; ихъ тоже, пожалуй, нельзя назвать занятіями... Но до цѣлаго міра далеко; въ ожиданіи трудовъ для него, можно цѣлый вѣкъ пролежать на боку, думая и тоскуя...

— Это другимъ смотрѣть тошно... рѣшила Катерина.

И должно быть, въ самомъ дѣлѣ, такъ, потому что Маша, безуспѣшно попробовавъ завести разговоръ, ушла, сѣла на балконѣ одна и, мурлыкая пѣсню, дошиваетъ рубашку Лѣсичева. Это ужъ не шутка, это ужъ перемѣна въ образѣ жизни, это уже разрывъ съ доброй, хорошей подругой, милѣе которой нѣтъ. Это — ученица, воспитанница. Оставить ее, она, отъ скуки, отъ одиночества, опошлится какъ тысячи горничныхъ. А развѣ Маша горничная? Это — сестра.

Сестра... А братъ?... Отчего такъ изъ памяти вонъ его письмо и все, что въ письмѣ?

— Оттого, что памяти не стоитъ... сказала себѣ Катерина и, захвативъ по дорогѣ книжку съ этажерки, вышла на балконъ.— Маша, мы вѣдь не дочитали о подводномъ телеграфѣ...

— Ахъ, слава тебѣ, Господи! вскричала Маша, скинувъ съ колѣнъ шитье и бросаясь цѣловать ее, когда она присѣла рядомъ на ступеньку: — а то я ужъ и не знала, что съ вами сдѣлалось!..

Катерина никуда не выходила. У нея только одинъ разъ былъ Лѣсичевъ; этимъ временемъ и ему нашлось дѣло: въ крайности общественныхъ обстоятельствъ, Волкаревъ былъ вынужденъ послать своего jeune-premier чиновника въ уѣздъ. Но и этотъ единственный вечеръ не удался Лѣсичеву; явилась m-lle Ольга, помѣшала разговору, занимала всѣхъ собою, просидѣла дольше гостя и откровенно призналась Катеринѣ, что приходила посмотрѣть на поклонника у ея ногъ. Къ великому негодованію няньки, къ Катеринѣ не ходили «хорошіе гости». Зашла жена одного частнаго землемѣра, послѣ обѣдни въ праздникъ, но у бѣдныхъ людей нѣтъ праздничныхъ разговоровъ. Эта гостья, впрочемъ, не жаловалась на судьбу, а только—сказала, что ея мужу предлагаютъ очень выгодную работу, но приходится отъ нея отказаться, потому что надо бы ѣхать завтра, а ему даны скопировать два плана.

— Зачѣмъ отказываться, сказала Катерина: — дайте, я скопирую. Мнѣ не въ первый разъ, я это очень люблю и дѣлать мнѣ нечего. Попросите ко мнѣ вашего мужа.

Предложеніе было неожиданное, сконфузило; пришлось настаивать, но землемѣръ пришелъ и кончилъ тѣмъ, что съ этого же утра Катерина превратила свою комнату въ чертежную и простаивала до вечера надъ огромной доской съ гладкой сверкающей бумагой, работая циркулемъ и линейкой, и хозяйничая красками. Она не помнила, какъ и у кого выучилась чертить, но это было ея любимое занятіе, хотя рѣдкое. Отцу оно нравилось; онъ наградилъ ее за успѣхи щегольской готовальней и великолѣпнымъ ящикомъ красокъ, которые Катерина берегла, какъ иныя женщины не берегутъ бриллiантовъ.

— Вѣкъ свой малолѣтная! говорила нянька, когда та любовалась на ловко свернутый кончикъ толстой кисти.

Руки были заняты... Раскрашивая узенькія клѣтки бѣдной чрезполосицы, Катерина думала о другомъ. Она все думала, что онъ богатъ, и въ этой мысли было что-то досадное. Никогда не встрѣтится необходимости помочь ему, вотъ такъ, чѣмъ умѣешь. Дѣлать для другихъ—весело; для него было бы счастье...

Вечеромъ пришелъ сынъ отца дьякона, и столько читали, считали, толковали, разбирались въ книжкахъ, чертили карандашомъ, что нянька потеряла терпѣніе. Она еще молчала, но когда Катерина, замѣтивъ, что нужна еще какая-то книга, тутъ же написала своему книгопродавцу и попросила семинариста завтра отправить это письмо,— нянька больше не выдержала.

— Ты, никакъ, свой бурнусъ третій годъ носишь, сказала она.

— И еще три проношу, не выросту, отвѣчала Катерина.

По уходѣ гостя, нянька читала ей мораль, что къ ней не станутъ ходить настоящіе господа, хорошіе гости, если она все будетъ сидѣть такъ-то съ кутейниками и горничными. Катерина въ это время переплетала свои косы и думала, какъ теперь Андрей Васильевичъ возится, заводитъ у себя школу. Дума была такая восхитительная и вмѣстѣ почему-то казалась такая забавная, что Катерина то-и-дѣло улыбалась. У нея въ груди было будто не сердце, а птичка, которая скакала и пѣла. Прелестно. Не земля подъ ногами, а ширь, просторъ, вольный воздухъ...

Она вспомнила, что завтра хотѣлъ придти мальчикъ, подмастерье часовщика; она обѣщала дать ему прочесть описаніе фрейбургскаго органа... дай Богъ памяти, гдѣ оно?..

— Ну, нянька, покойной ночи, прервала она, отправляясь со свѣчкой къ своимъ этажеркамъ, остановилась подлѣ нихъ, читала, стоя. Балконъ былъ отворенъ, ночь чудесная.

Что онъ дѣлаетъ теперь?.. Что такое его жизнь?

— Какая я глупая, говорила она себѣ, улыбаясь. — Вѣдь, вотъ, приходила Ольга; она бывала на всѣхъ весельяхъ, на всѣхъ вечерахъ. Что бы мнѣ разспросить ее толкомъ. Только и знаю, что его жена всегда бывала нарядна. Но какъ они вмѣстѣ, что говорилось...

О, гадость какая, сплетни...

Однако, знать хочется, знать нужно. Съ послѣдняго свиданія въ полѣ прошло ужъ три недѣли. Если бы видѣть его хоть на минуту. Онъ былъ, приходилъ... Зачѣмъ же она сама отъ него убѣгала?

А она, точно, убѣгала. Что-то страшное для нея самой показалось ей въ своемъ собственномъ чувствѣ. Ей показалось, что она не имѣетъ права — не совѣтовать, не говорить доброе слово — не имѣетъ права любить. Это право той, другой... жены. Ужъ и совѣтомъ, и словомъ, и пріязнью она становится поперекъ пути этой другой женщины, а своей отвѣтной любовью она ее совсѣмъ вытѣсняетъ... Какой ужасъ!

Это нечестно. Она его тоже любитъ. Она была молода, молода и теперь... Говорятъ, хорошенькая... это все равно. Онъ женился не любя, но она-то любила. Кто знаетъ, что у нея было въ душѣ? Если то же, что теперь, вотъ, въ этой безумной душѣ, которая рвется къ нему... А что же могло быть другое? Какъ же быть такъ близко къ этому безцѣнному свѣту и также не любить его? и вдругъ его отнимутъ...

Женился не любя... Только ради его горя, его святой усопшей, ему это прощается! Искушеніе, точно, было ужасно. Но за что же, почему же онъ не полюбилъ, не любитъ жены? Это надо узнать; это надо видѣть. Надо, не робѣя, пойти и посмотрѣть.

Какъ это сдѣлать?.. Все равно. Все можно сдѣлать. Люди дѣлаютъ все, что хотятъ... И всегда удачнѣе то, что не должно. Должно ли это сдѣлать?

Катерина не лукавила съ своей совѣстью. Она, точно, безумно хотѣла видѣть его, этого человѣка, который сталъ ей такъ милъ, такъ дорогъ — но не дороже цѣлаго свѣта. Этого быть не можетъ. Дороже всѣхъ своихъ собственныхъ благъ, дороже самой себя, — объ этомъ и слова нѣтъ! но не дороже всѣхъ. Она хотѣла его видѣть, но она еще больше хотѣла знать—правъ ли онъ... Одну минуту эта мысль подняла въ ней что-то ужасное. Она заглянула вглубь себя и обомлѣла: ей стало стыдно, хоть умереть. Она заставила себя, въ наказаніе, отчетливо, словами, громко высказать эту мысль:

— «Я буду рада, если онъ правъ, если она его не стоитъ...»

Она выговорила и зарыдала. Она плакала надъ собой. Такого низкаго чувства она не могла бы никогда придумать — и вотъ оно въ ней самой, живое, есть, пришло, того гляди все вытѣснитъ... Такъ не будетъ же этого! Будь проклята эта любовь, если она способна такъ унижать! Радоваться порокамъ другой женщины, строить свое счастье на несчастьи, на ожесточеніи милаго, краснѣть самой себя—это-то хваленое блаженство?

— Я его возненавижу, если онъ неправъ, сказала она, блѣдная, гнѣвная:—я не помогу оскорблять женщину. Если онъ неправъ— она мнѣ родная, а не онъ.

Но если онъ правъ?..

Ей показалось, что кругомъ потемнѣло... Борьба, неизбѣжная для всякой честной души, даже предъ вполнѣ позволительнымъ захватомъ чужого—закончилась,—но за нею вставалъ какой-то страхъ, что-то, чего эта гордая душа еще не вѣдала. Что будетъ? Кругомъ что-то безъисходное...

— Я все думаю о себѣ, а я тутъ — ничто, выговорила она, вырываясь, выпархивая изъ того, что ее охватывало. — Будь что будетъ, только бы не быть виноватой!

Была въ N* особа, также считавшая недѣли и дни и не знавшая, куда ихъ дѣвать— m-me Волкарева. Не городская пыль, не іюньскіе жары ее одолѣвали. Она имѣла всѣ средства бѣжать отъ нихъ, имѣя свои вотчины на Волгѣ и въ другихъ привольныхъ мѣстахъ, но она до боязни не любила деревни и если выносила дачи, то только съ оркестрами и публичными гуляньями. Потому, хотя и считалось, что m-me Волкарева переѣхала на дачу въ окрестности N*, но она только изрѣдка навѣщала ее, катаясь въ коляскѣ, а жила въ своемъ городскомъ домѣ. Въ этомъ домѣ ей было до крайности скучно. Пріѣздъ петербургскаго полковника подалъ нѣкоторую надежду на оживленіе, но очень ненадолго. Этотъ господинъ говорилъ только о дѣлахъ, даже не о политикѣ,—и страшно игралъ въ карты. M-me Вол-

карева предоставила его своему мужу и клубу. Еще нѣсколько дней продолжались прощальные визиты разъѣзжавшихся дамъ, а затѣмъ все опустѣло. M-me Волкарева скиталась одна въ пустынѣ своего дома, утѣшая себя мыслью, что можно мечтать. Но она не умѣла дѣлать этого одна. Единственное, что оставалось, Лѣсичевъ пропадалъ неизвѣстно гдѣ; открылось, что одинъ вечеръ онъ просидѣлъ у Багрянской, а потомъ, по обыкновенію, рыскалъ по городу. А теперь и его нѣтъ. Послѣ одной воскресной службы, m-me Волкарева посѣтила архіерея.

Наконецъ, однимъ вечеромъ, одинокая въ своемъ «пріютѣ», потерявъ надежду увидѣть хоть какое нибудь постороннее лицо, она заплакала. Было ясно, что она не понята, что жизнь ея вянетъ, что другія счастливы. Вотъ m-me Верховская. А она моложе m-me Верховской. Но какая разная участь! Огромное состояніе, красавецъ мужъ...

— Но вѣдь онъ ея не любитъ! вдругъ спохватилась m-me Волкарева.

Въ эти послѣднія недѣли ей такъ хотѣлось сердечнаго занятія, что она самымъ неблагодарнымъ образомъ забыла то, которымъ болѣе мѣсяца передъ тѣмъ наслаждалась. «Непреодолимое влеченіе» къ Верховскому разлетѣлось какъ дымъ, едва Верховской выѣхалъ за заставу, и забылось въ жаждѣ новаго влеченія. Теперь, на безлюдьѣ, Верховской вспомнился. Еще нѣсколько минутъ—и воспоминаніе пошло жарче, воображеніе заработало. Оно иногда создаетъ необыкновенныя вещи. Правда, что дѣйствительность доставляла нѣсколько матерьяла, но фантазія превосходно дѣлала свое дѣло и, чрезъ небольшие полчаса, m-me Волкарева прохаживалась по своему «пріюту» въ волненіи женщины, помнящей свои обязанности и любимой человѣкомъ, забывшимъ свои обязанности. Прогулка завершилась внезапной остановкой у открытаго окна и громкимъ вопросомъ:

— Что я должна дѣлать?

Громкій вопросъ привелъ въ себя чувствительную женщину. Она была не настолько мечтательна, чтобы играть комедіи безъ зрителей; довольно, что она позволила себѣ это получасовое развлеченіе. Оно пришлось кстати, потому что подало идею: почему не съѣздить въ Спасское?

Идея ей чрезвычайно понравилась: осуществить ее можно было хоть завтра. M-me Волкарева въ ту же минуту распорядилась своими сборами, дождалась возвращенія своего супруга изъ клуба, объявила ему свое желаніе и приказала распорядиться о почтовыхъ лошадяхъ. Она не назначила надолго ли ѣдетъ, какъ вздумается, смотря по тому, какъ будетъ пріятно, но посѣтить m-me Верховскую она считала своей обязанностью.

Она такъ много говорила объ этой обязанности, что, наконецъ, о ней подумала и затѣмъ отуманилась. Ѣхать въ Спасское для того, чтобы любезничать съ хозяйкой — но это хуже, чѣмъ сидѣть здѣсь одной. Между тѣмъ, это будетъ неизбѣжно: m-me Верховская обрадуется гостьѣ, и она, и ея кузина; отъ нихъ не отдѣлаешься, не дадутъ сказать слова... Еслибъ былъ хоть этотъ сумасбродъ Лѣсичевъ; онъ ихъ занялъ бы по крайней мѣрѣ...

Отъ Лѣсичева ея мысль перелетѣла очень быстро, близко и натурально. Чего лучше—пригласить съ собой Багрянскую. Не совсѣмъ глупа, молчалива, будетъ сидѣть и слушать. Лидія Матвѣевна обрадуется, распуститъ свой павлиній хвостъ передъ новымъ лицомъ; m-lle Аннета тоже не станетъ глядѣть все въ одну сторону... И предлогъ прекрасный: m-me Верховская хлопочетъ за сына Багрянскаго... Правда, это надо сохранить въ тайнѣ... Но, Боже мой, можно сказать, что Багрянская знаетъ, но дѣлаетъ видъ, что не знаетъ, чтобы до времени не стѣснять благодарностью, а между тѣмъ, все-таки не могла удержать своего желанія — молча, пожать руку, ну, и прочее... Планъ вышелъ отличный. Утромъ м-мъ Волкарева поѣхала къ Катеринѣ.

— Я знаю, что дома; сказала она Машѣ, бѣжавшей съ отказомъ, и вступила въ гостиную. Катерина вышла къ ней, затворяя дверь своей комнаты. — Все заняты, все однѣ, chère amie! Хоть бы меня вспомнили, я тоже одна.

Послѣдовали дружескіе разспросы объ отцѣ, о здоровьи, объятія и опять жалобы на одиночество.

— Но я добрѣе васъ, я о васъ подумала, едва мелькнула маленькая возможность удовольствія. Не хотите ли прокатиться въ деревню?

— У меня дѣло, возразила Катерина.

— О, ненадолго, — три, четыре дня. Со мной. Я тоже не могу пробыть долго, — мужъ одинъ, прибавила она граціозно. — Это къ моимъ хорошимъ знакомымъ, къ Верховскимъ, въ Спасское, — знаете, новое имѣніе, которое они купили, великолѣпное...

— Я незнакома съ госпожей Верховской, отвѣчала Катерина, выговаривая съ трудомъ.

М-me Волкарева, съ своимъ необыкновеннымъ знаніемъ свѣта и сердца человѣческаго, тотчасъ поняла ея замѣшательство.

— Ахъ, затворница, ужъ оробѣла, конфузится! Какой ужасъ—новое знакомство!! Позвольте вамъ посовѣтовать, милый другъ, — я немного старше васъ: il ne faut pas être sauvage à ce point. Вы немножко знаете Верховскаго?

— Знаю.

— И довольно,—а его жена—прелестная женщина, добра, образована, une petite perfection... Между нами — только не хороша собою, болѣзненная... Она такъ хотѣла съ вами познакомиться... это я, отчасти, виновата, не успѣла... Но такъ мила! И прелестнѣйшее дѣти... А деревня... Ахъ, какъ вы пугливы, какъ нерѣшительны! Нѣтъ, я васъ увезу насильно!

— Когда же ѣхать? спросила, краснѣя, Катерина.

— Сегодня, чтобъ не дать вамъ раздумать, gaselle éffarouchée; вы согласны?

— Да.

— Васъ не затруднитъ такъ скоро собраться на нѣсколько дней?

— Я, куда хотите, могу собраться въ четверть часа.

М-me Волкарева уѣхала, наградивъ ее новыми поцѣлуями и сказавъ, что пришлетъ свой экипажъ. Катерина осталась одна.

— Что я дѣлаю? спрашивала она себя съ ужасомъ:—Притворяться, лгать... Но это—моя участь съ нынѣшняго дня!

Проклятая свѣтская неволя! Допускаетъ, поощряетъ выставку кокетства и преслѣдуетъ малѣйшій проблескъ истиннаго чувства, осмѣиваетъ, глумится, если это чувство несчастно... А ея чувство осуждено заранѣе, осуждено вдвое: оно не законно, оно преступно...

Преступно?.. Кто это выдумалъ? По людски—нелегально, да. Преступно ли, — еще посмотримъ. Преступно, если захватываетъ чужое нравственное право, преступно, если кому нибудь дѣлаетъ несчастье, тогда его и съ корнемъ вонъ! А если нѣтъ...

— Маша, давай. сберемся, живо сказала Катерина, входя къ ней на балконъ. — Посмотримъ, что есть у насъ.

Нянька была въ восхищеніи, что вотъ, наконецъ, слава Тебѣ Господи, барышня ѣдетъ съ самой губернаторшей къ первѣйшей богачкѣ. Катерина напоминала ей, какъ она выпроваживала съ крыльца мужа этой богачки. Шутки были не искренніе, раздраженныя; Катерина это чувствовала и хуже раздражалась. Нянька этого не понимала и была слишкомъ счастлива, чтобъ сердиться. Она опрометью бросилась смотрѣть, когда подъѣхала губернаторская карета.

— Зачѣмъ вы ѣдете? спросила Маша.

— Знаю, зачѣмъ, отвѣчала въ раздумьи Катерина.

— Только не на веселье!

— Это правда твоя. Прощай, Машенька.

Маша, цѣлуя, ее перекрестила.

VIII.

Пока m-me Волкарева собиралась, Катеринѣ пришлось вынести еще два часа ожиданія. Ожиданіе бываетъ скучно, бываетъ мучительно, но промежутокъ между рѣшимостью и исполненіемъ дѣла, въ которомъ вся жизнь,—томитъ и мучитъ каждой своей секундой. Катеринѣ хотѣлось убѣжать домой, запереться, тихо, невозмутимо, попрежнему... Невозможно, неловко. Ужъ и свѣтская отговорка!.. Первый шагъ сдѣланъ, возврата нѣтъ; началось притворство, началась неволя. Нѣтъ смѣлости, нѣтъ покоя — и не можетъ быть: сегодня, сегодня же вечеромъ...

— Если онъ неправъ — кончено! повторяла она, между тѣмъ какъ ея сердце замирало, рвалось, а никогда неизвѣданное смущеніе будто отталкивало въ этомъ сознаться, и гордая душевная сила боролась, тоскуя, съ какою-то закупающей нѣжностью.— Видѣть его хоть минуту. Что бы ни было, пусть горе будетъ только мнѣ одной!

Ея мысль мѣшалась... Она ходила одна по большимъ комнатамъ; мебель, люстры, закутанныя въ чахлы, отражались въ длинныхъ зеркалахъ; лѣтній свѣтлый день выказывалъ пятна паркета, трещины обой, полинялыя полосы драпировокъ, все, что при огняхъ пряталось или не замѣчалось. Пусто и глупо. Въ этихъ стѣнахъ прошло столько глупости. Въ этомъ воздухѣ нельзя думать...

Волкаревъ нечаянно зашелъ изъ своего кабинета, но, увидя молодую особу, остался, спросилъ объ ея отцѣ, слегка забросилъ два слова о политикѣ, давая понять, что понимаетъ серьезный умъ своей собесѣдницы, выразилъ сожалѣніе, что такъ рѣдко ее видитъ, и принялся любезничать. Такъ застала его m-me Волкарева. Предъ отъѣздомъ, она вздумала сдѣлать un déjeuner dinatoire, чтобы, пріѣхавъ въ Спасское, не затруднять

хозяйку позднимъ обѣдомъ; она хотѣла-было сначала приказать приготовить обѣдъ на станціи, но передумала.

— Мы даже лошадей перемѣнимъ, не выходя изъ кареты, сказала она Катеринѣ: — въ деревняхъ теперь непріятно.

Это было совершенно справедливо; особенно въ такой ясный день, гнилыя избы казались еще чернѣе, а поѣзды рекрутовъ еще погребальнѣе. Катерина смотрѣла на нихъ изъ окна кареты, передъ которой слетали шапки, разбѣгались дѣти, сторонились въ канаву подводы. M-me Волкарева оживилась путешествіемъ и пріятными мечтами, немножко пошутила надъ своимъ супругомъ и безъ умолку разсказывала разныя исторіи. Это были великосвѣтскія сплетни, воспоминанія столичной жизни разсказчицы, и нельзя сказать, чтобъ чувствительная душа очень страдала, повѣствуя о прегрѣшеніяхъ ближняго: она даже выбирала изъ нихъ самыя забавныя, иногда спохватывалась, но скоро успокоивалась, мило шутя:

— Рано или поздно, вы все узнаете!

— И я слышу эти мерзости и молчу! думала Катерина.—И я пользуюсь средствами этой госпожи! не по приказу отца,—по своей доброй волѣ!.. Вотъ, какъ втягиваются, связываются съ ними. Она мнѣ нужна,— я беру. Цѣль и средства — старая пѣсня... Мнѣ нужно, беру, но вѣдь я руки мараю! стыдъ на вѣкъ... Но ужъ и знаю я, что впередъ никакая нужда, никакая сила человѣческая меня къ нимъ не поведетъ, ни для отца... ни для кого!

Волненіе, ожиданіе, недовольство собою, невозможность собраться съ мыслями и себя провѣрить минутами какой-то страхъ, минутами — мучительное счастье, утомляли ее почти болѣзненно.

— Васъ укачало? замѣтила m-me Волкарева, улыбаясь и нѣжно думая, что эта особа не привыкла ѣздить въ каретахъ.

— Глупые нервы... сказала себѣ Катерина, чувствуя, что была бы въ состояніи сейчасъ идти вертѣть воду изъ своего колодезя и поливать свой цвѣтникъ, какъ дѣлала по вечерамъ. Было ужъ подъ вечеръ. Свернули на проселокъ, показалось Спасское. M-me Волкарева достала зеркало изъ сумки кареты, оправила волосы, почувствовала внезапную любовь къ природѣ и восхищалась мѣстоположеніемъ. Каменный домъ бѣлѣлъ на темномъ паркѣ; на горѣ, по краснымъ дорожкамъ, рисовались цвѣтники, блестѣли стекла оранжерей, жестяной куполъ бесѣдки. Съѣзжая на новый красивый мостъ, m-me Волкарева пугалась и приказала ѣхать какъ можно тише. Сторожъ отогналъ двухъ мужиковъ съ возами травы, намѣревавшихся слѣдовать за каретой.

— Тутъ господа ѣздятъ; куда суетесь? кричалъ онъ.—Вонъ вамъ гдѣ указанъ проѣздъ.

Катерина взглянула, куда онъ указывалъ; тамъ надъ водой что-то торчало. M-me Волкарева привѣтливо кивнула сторожу, который снялъ фуражку; онъ былъ изъ отставныхъ N-скаго гарнизона и узналъ губернаторшу.

— Вы никого не видите? спрашивала она Катерину, когда проѣзжали у рѣшетки сада.

У Катерины туманило въ глазахъ... «Вотъ, сейчасъ, сейчасъ...» твердитъ кто-то надъ нею... Лакеи высадили m-me Волкареву изъ кареты подъ-руки. Машинально испугавшись, что съ нею сдѣлаютъ то же, Катерина поскорѣе выскочила сама; каменное крыльцо, казалось ей, шаталось. Въ прихожей какъ-то много народу, лакеевъ, мужиковъ, много солнца, шумно. Худенькая бѣлокурая дама обнималась съ m-me Волкаревой; говорили, восклицали, опять обнимались. M-me Волкарева сказала что-то, показавъ на Катерину. Катерина почувствовала, что ея руку сжала маленькая горячая ручка и вмѣстѣ съ этимъ прикосновеніемъ скользнулъ холодъ тяжелаго широкаго браслета. Вошли въ залу; она была большая, высокая, прохладная. Тамъ дѣти играли въ кегли; у окна сидѣла гувернантка. M-me Волкарева стала цѣловать дѣтей.

— А я думала, что ужъ не найдутъ васъ дома, что вы гуляете, сказала она имъ по-русски, чѣмъ лишила ихъ возможности, что за нихъ отвѣтитъ гувернантка.

— Repondez donc, замѣтила Лидія Матвѣевна.

— Нѣтъ, мы здѣсь, отвѣчала Валентина.

— Вы играете?

— Вотъ кегли, сказалъ Элимъ.

— А что дѣлаетъ папа?

M-me Волкаревой показалось какъ-то легче предложить свой вопросъ въ видѣ шутки.

— Не знаю, куда онъ дѣвался, отвѣчала Лидія Матвѣевна.

M-lle Роше положила въ карманъ книжку, которую читала, и вышла въ стеклянную дверь на террасу. Верховской ходилъ тамъ, заложивъ руки за спину и опустивъ голову.

— Идите скорѣе, сказала m-lle Роше:— жена вашего губернатора и съ нею молодая

особа, не знаю, кто. Une grande brune, d'une beauté à peindre.

Верховской хотѣлъ спросить, она ужъ вышла. Онъ, впрочемъ, не зналъ, что хотѣлъ спросить. Самое невозможное пришло ему въ голову.

— Не утомила ли васъ дорога? спрашивала кого-то m-lle Роше.

— Благодарю васъ, нисколько, отвѣчали ей.

Она... На террасѣ были диваны. Онъ сѣлъ; у него, какъ говорится, не было ни рукъ, ни ногъ. Въ душѣ—что только можетъ быть съумасшедшаго и молодого, радость до ужаса... Но надо идти. Не ждать же, чтобъ всѣ сюда пришли. Верховской поднялся и вошелъ въ гостиную. Передъ нимъ стояла Катерина, съ ней была m-lle Роше. Онъ, молча, подалъ руку: она, молча, дала свою.

— Вы видѣли мою жену? спросилъ онъ, когда могъ выговорить.

— Да.

Лидія Матвѣевна еще оставалась въ залѣ съ m-me Волкаревой. Онѣ шептались. M-me Волкарева объясняла, что m-lle Багрянская желаетъ своимъ посѣщеніемъ выразить свою признательность, но умоляла Лидію Матвѣевну, ;брала съ нея слово не проговориться. Лидія Матвѣевна очень жалѣла, что изъ-за какихъ-то соображеній это должно происходить такъ таинственно, она была нисколько не прочь дать поцѣловать себя въ плечико и, пожалуй, даже съ граціозной неловкостью не успѣть выхватить своей ручки. Но можно сдѣлать маленькій тонкій намекъ и хоть тѣмъ немножко ублажить себя.

— Вы хорошо сдѣлали, что пріѣхали, сказала она Катеринѣ:—je vous désir du bien.

Катерина никогда не подмѣчала словъ, а тутъ была еще меньше на это въ состояніи. «Желаніе добра» ее тяжело смутило.

«А я явилась не съ добромъ...» подумала она и опустила глаза, встрѣтивъ взглядъ Верховского.

— Mademoiselle, дѣти одни, замѣтила Лидія Матвѣевна гувернанткѣ и продолжала:— Мой мужъ васъ встрѣчалъ. Стало быть, вы бываете гдѣ нибудь въ N*? Имѣете знакомыхъ? А въ Москвѣ, вы когда нибудь были?

— Бывала проѣздомъ, отвѣчала Катерина.

— Тамъ очень весело, когда бываетъ царская фамилія... Да, правда... Впрочемъ, при открытіи дворца всѣхъ пускали... Еще очень хорошо, говорятъ, подъ Новинскимъ; туда институтокъ московскихъ возятъ... А въ Петербургѣ вы никогда не были?

— Жила нѣсколько лѣтъ.

— Каково! даже нѣсколько лѣтъ! Этому нельзя никакъ повѣрить. А теперь, какъ же вы живете? Мой мужъ, кажется, былъ у васъ?

— Да... сказала Катерина.

Ея тяжелое чувство смѣнялось какимъ-то недоумѣніемъ.

Верховской растерялся отъ счастья. Онъ, между тѣмъ, говорилъ m-me Волкаревой такія несообразности, такъ горячо благодарилъ ее за пріѣздъ, что она сама, пріятно потерянная, прервала его, улыбаясь, сжала его пальцы и, бѣгло взглянувъ на жену, прошептала:

— Послѣ...

Она сѣла, жалуясь на усталость.

— Что-жъ вы стоите? садитесь, сказала Лидія Матвѣевна Катеринѣ, оставляя ее и переходя къ m-me Волкаревой. — Какъ вы вздумали ко мнѣ, душка?

Дамы оживленно разговорились. M-me Волкарева описывала скуку города, Лидія Матвѣевна — прелести деревенской жизни. Верховской сидѣлъ въ сторонѣ и молчалъ.

— Какъ здѣсь всего много! восклицала Лидія Матвѣевна:—сливки, цыплята... Ахъ, я вамъ скажу, какъ меня встрѣтили! Хлѣбъ-соль, вотъ, такой огромной, мнѣ въ ноги, староста, старшіе мужики; конфектъ дѣтямъ,—и очень порядочныя. Но самое главное — серебряную солонку; конечно, не велика, но значитъ, все-таки есть же средства; чего-жъ они кричали, что они разорены? Я имъ тогда же сказала. Это сдѣлало впечатлѣніе, прибавила она лукаво: — по крайней мѣрѣ, знаютъ, что меня не проведутъ!

— Вы много гуляете? прервала m-me Волкарева.

— Никогда! я все за дѣломъ; столько хлопотъ...

— И Андрей Васильевичъ хозяйничаетъ? спросила m-me Волкарева, которой эти слова подали надежду сдѣлать хоть одну прогулку въ обществѣ одного Верховского.

— Ахъ, Боже мой, Андрей Васильевичъ ничего не понимаетъ! возразила Лидія Матвѣевна, не давъ ему заговорить.—Я вездѣ сама. Правда, здѣсь было заведено не дурно, но, я вамъ скажу — такъ воровали!! Грабили! но теперь — нѣтъ! я вездѣ, вездѣ сама, на скотномъ дворѣ, на гумнѣ; я знаю, что пастухи дѣлаютъ. У меня моя полиція; безъ этого нельзя... Но и не беречь, это тоже грабежъ. Здѣсь они очень удивились, и сосѣди... тутъ есть они, всякіе... что петербургская жительница, une femme de grand

monde, все понимаетъ; я и сама за собой этого не воображала. Я принялась... Я, рѣшительно, геніальная женщина! Это мнѣ приходитъ какъ вдохновеніе! Vous ne saurez croire, on tire parti de tout, mille petites industries, вѣники, шпанскія мухи. У меня всякій ребенокъ что нибудь доставляетъ...

— Возможно ли? вскричала m-me Волкарева.

— Ахъ, увѣряю васъ, все возможно. И замѣтьте, — я одна. Если бы еще я находила въ комъ нибудь поддержку, но я такъ одна...

— Ah, pardon, я еще не спросила о вашей кузинѣ. Что она?

— Annette? она теперь гуляетъ. У нея свой образъ жизни... Да, вотъ образчикъ вамъ моей предусмотрительности. Она вѣдь кокетка, Annette. У меня здѣсь парикмахеръ; она съ нимъ всякій день на разный ладъ причесывается, — я не запрещаю. Я его зимой отправлю по оброку; пусть покуда учится.

— Ah, mon Dieu! воскликнула m-me Волкарева, позволивъ себѣ засмѣяться. — Что же еще у васъ дѣлаетъ Annette?

— Она занимается съ дѣтьми... Но, вотъ еще... ахъ, здѣсь есть все, рѣшительно все! У меня свой священникъ. Я его заставила учить дѣтей, русскому, тамъ, закону, знаете, эти русскіе предметы. Андрей Васильевичъ спорилъ: «неловко, какъ предложить...»; я, просто, сказала и это дѣлается. Это, кажется, пріятель Андрея Васильевича. Вы не знаете, какихъ чудесъ онъ мнѣ тутъ было надѣлалъ? Чуть не перевенчалъ всю деревню! Ужъ, конечно, попъ хорошо поплатился бы, но эта женщина, жена садовника, прекрасно вышиваетъ. Я ее простила. Ахъ, я вамъ покажу, теперь шьютъ для меня, а тамъ заготовлю все приданое Валентинѣ. И это ли одно! У меня коверъ ткутъ, у меня мебель дѣлаютъ, орѣховую, рѣзную, je vous prie de croire; два главные столяра учились у Тура...

— Это ужъ, конечно, подъ надзоромъ Андрея Васильевича? спросила рѣшительно m-me Волкарева.

— Да, онъ заходитъ, по дорогѣ, въ столярную...

— Отдохнуть отъ прогулки? продолжала m-me Волкарева.

— Отъ бездѣлья, которому учитъ и другихъ, сказала Лидія Матвѣевна.

— Что-жъ дѣлать, сказалъ вдругъ рѣзко Верховской: — я такъ лѣнивъ, что не могу учить труду.

— Въ самомъ дѣлѣ, природа такъ хороша... начала поскорѣе m-me Волкарева. — Чѣмъ же вы занимаетесь?

— Ничѣмъ, сказалъ онъ, вставая. — Велѣлъ высылать себѣ сюда газету, но ваша почта неисправна.

— И цѣлые дни...

— Цѣлые дни брожу или лежу въ рощѣ съ старой книгой. На чердакѣ нашлись сундуки съ этимъ добромъ, — мемуары, да философы XVIII вѣка.

— И тихо, безъ мечтаній, безъ плановъ...

— Ахъ, ради Бога, вскричала Лидія Матвѣевна: — не поминайте этихъ плановъ! благодаря Бога, не всякая глупость возможна. Я ужъ довольно проучена, какъ онѣ дорого стоятъ. Все это великодушіе, просвѣщеніе...

— Ахъ, я сама за просвѣщеніе!

— Были бы средства... и еслибъ были, нужно помнить: трое дѣтей! Вотъ кому нужно... И я спрашиваю васъ, вскричала она, вдругъ еще болѣе волнуясь: — къ чему это ведетъ? поблажки? Я имѣю моихъ людей, они мнѣ чего нибудь стоятъ, я ихъ пріобрѣла, ихъ содержаніе, наконецъ, — и я не буду ими пользоваться? Если бы они не умѣли, не могли для меня работать,—они, вотъ и пошли бы теперь, слава Богу, — война, есть средства отъ нихъ избавиться, а то... напримѣръ, эти столяры... Позвольте, mademoiselle, — вотъ, этотъ столикъ, ихъ работа, — это игрушка! Умѣютъ, такъ и дѣлай! А Андрей Васильевичъ... Но вотъ сейчасъ, за минуту до вашего пріѣзда... вы застали у меня сходку въ передней; Андрей Васильевичъ, до меня, здѣсь наобѣщалъ не знаю чего...

Верховской осмѣлился взглянуть на Катерину. До этой минуты онъ боялся и не рѣшался убѣдиться, что за нимъ слѣдитъ ея взглядъ. Но онъ ошибался. Катерина не смотрѣла на него, сидѣла неподвижно и слышала, что говорили кругомъ, казалось, потому только, что говорили громко. Минутами, она принуждала себя быть внимательной, чтобъ не оторопѣть, если и съ ней заговорятъ; ея опущенные глаза загорались, лицо блѣднѣло, будто отъ скрываемой боли...

Часы били семь. Изъ залы явились дѣти и m-lle Роше.

— Это время ихъ прогулки, объяснила Лидія Матвѣевна:—часъ они должны играть въ кегли, а потомъ въ паркъ.

— Они хотѣли просить у васъ позволенія идти сегодня въ поле, сказала m-lle Роше.

— Въ паркѣ скучно, сказалъ по-русски Анатоль, надувъ губки, и тотчасъ покраснѣлъ.

— Ah, il est ravissant! вскричала m-me Волкарева.

— Своеволенъ до невозможности, замѣтила Лидія Матвѣевна.—Вы заслуживаете, чтобъ васъ оставили дома, Анатоль.

Мальчикъ испугался, дрожалъ и молчалъ.

— Вотъ, посмотрите, что будетъ, продолжала Лидія Матвѣевна, не понижая голоса: — онъ хочетъ плакать и не смѣетъ. Это комедія. Я его нарочно дразню; иногда, просто, видно, что бѣсится, а выдерживаетъ. Ну, а не выдержитъ, зареветъ,—не прогнѣвайтесь, въ темный чуланъ. Онъ знаетъ, что я его терпѣть не могу; я послѣ него больна была... Такъ вы не хотите въ паркъ, monsieur Анатоль? вы, можетъ быть, никуда не хотите, ни сегодня, ни завтра, всю недѣлю?

Мальчикъ молчалъ.

— Извольте идти наверхъ. А за то, что вы говорить не хотите, вы—безъ чаю.

— Ахъ, нѣтъ, ради Бога! вступилась m-me Волкарева: — нѣтъ, простите его для меня!

пр— Слышите? Я только для madame васъ ощаю. Поблагодарите.

Анатоль шаркнулъ ножкой. Это выходило очень неловко при его «русскихъ» тяжелыхъ сапогахъ съ каблуками, его маленькой кругленькой фигуркѣ и его крайнемъ смятеніи. M-me Волкарева притянула его къ себѣ и поцѣловала.

— Не стоитъ, замѣтила Лидія Матвѣевна.—Можете идти всѣ. Mademoiselle, къ девяти часамъ они должны быть дома.

— Je le sais, madame.

— Если я не буду лишняя, сказала Катерина, вдругъ вставая и обращаясь къ m-lle Роше:—позвольте мнѣ идти съ вами.

Лидія Матвѣевна взглянула на нее съ удивленіемъ. M-me Волкарева смутилась: ея разсчетъ не удался; хозяйка оставалась на ея долю.

— Въ поле нельзя идти однимъ, сказалъ Верховской.

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ, дайте имъ провожатаго! вскричала m-me Волкарева, засмѣявшись, чтобъ скрыть свой испугъ, когда Верховской подошелъ къ двери.

Она заставила его одуматься; онъ остановился. Катерина сходила съ террасы. Верховской схватилъ ея шляпку и побѣжалъ за нею.

— Вы забыли...

— Благодарю васъ, мнѣ не нужно, отвѣчала она.

Дамы этимъ временемъ дѣлали свои замѣчанія: Лидія Матвѣевна о неловкости этой дѣвушки, m-me Волкарева о томъ, что отъ ея образа жизни и воспитанія нельзя больше и требовать. Верховской стоялъ на террасѣ, держалъ въ рукахъ шляпку и смотрѣлъ, какъ уходила Катерина.

Онъ говорилъ себѣ, что онъ не маленькій. Кто можетъ ему запретить идти гулять куда и когда угодно? Хозяину даже приличнѣе проводить гостью, нежели оставлять ее одну съ дѣтьми и незнакомой гувернанткой. Онъ былъ готовъ бѣжать слѣдомъ и не двигался съ мѣста. Ему казалось, что всѣ—жена Волкарева, гувернантка, дѣти, прислуга, стѣны, деревья, всѣ видятъ и поняли, что съ нимъ происходитъ... Въ такомъ случаѣ, и притворяться бы нечего... Но можетъ быть и не видятъ. Надо быть осторожнѣе... Но только, что же это? вотъ она, тутъ, и не смѣть взглянуть, не смѣть подойти. Ловкіе люди,—не фаты, не кокетки, а просто люди смѣлые, берутъ свое, гдѣ могутъ, пользуются всякой минутой. А они... что за ненаходчивость! Первая любовь глупа... За то нѣтъ ничего ея лучше... Но вѣдь это мука вѣчная: ушла! и сидѣть тутъ, торчать съ этими госпожами... Считай онѣ всѣ свои laiterie, fromagerie, надо бѣжать въ поле... Пошли въ ту сторону. Сейчасъ выйдутъ на тотъ пригорокъ; отсюда будетъ видно ихъ, куда поворотятъ.

Ленты на шляпкѣ Катерины сильно страдали во время этихъ безмолвныхъ монологовъ. Верховской оглянулся на свои поступки, вспомнилъ, что банты можно расправить дыханіемъ, и цѣловалъ ихъ до того, что измялъ ихъ окончательно. Его чуть не застали за этимъ занятіемъ.

— Вы здѣсь? сказала будто съ удивленіемъ m-me Волкарева, выходя изъ гостиной.—Какъ здѣсь хорошо отдохнуть, пріютиться...

— Знаете, мнѣ пришла прелестная мысль, сказала, появясь, Лидія Матвѣевна:—вотъ здѣсь, на террасѣ, сыграемте маленькую партію въ преферансъ.

— Играть?.. повторила жалобно m-me Волкарева.

— Да. Мы двѣ и еще—прелесть, новичокъ!

— Ахъ, извольте, съ удовольствіемъ, вскричала m-me Волкарева, между тѣмъ какъ Верховской, ничего не слыша, всматривался вдаль, на пригорокъ, позолоченный послѣднимъ солнцемъ.

— André, обратилась къ нему Лидія Матвѣевна,—прикажи дать сюда столъ, карты...

— Карты?.. съ удовольствіемъ, отвѣчалъ онъ, сломилъ вѣтку голубой гортензіи и убѣжалъ.

— André... Ah, pardon, я не досказала... прибавила Лидія Матвѣевна и тоже скрылась.

M-me Волкарева вздохнула, оставшись одна. Это было все не то, чего она желала. Конечно, хоть за карточнымъ столомъ, но вмѣстѣ; все же легче. Лидія Матвѣевна играетъ непріятно; это случай выказать мягкость характера... Но какъ сильна власть жены! «Новичокъ!» Она, стало быть, выучила его играть, заставила, покорила. Надо спросить его, что это—любовь или только повиновеніе? Онъ, кажется, грустенъ...

Размышленіе прервали лакеи, приносившіе столъ и прочее. M-me Волкарева задумчиво стала тоже смотрѣть вдаль. Ей слѣдовало обратить вниманіе поближе и тогда она увидѣла бы нѣчто весьма интересное: Верховского, который бѣжалъ около рѣшетки сада.

— Позвольте вамъ представить, сказала, входя, Лидія Матвѣевна,—Григорій Ивановичъ Духановъ, мой хорошій знокомый, которому я, могу сказать, даже много обязана. Il ne parle pas français, прибавила она вполголоса.—Начинающій; игрокъ совсѣмъ по нашимъ силамъ.

Духановъ ловко расшаркивался. Счастье, гордость, написанныя на его лицѣ, равнялись только испугу, страданію, одурѣнію, которые выразились на лицѣ m-me Волкаревой. Она не выдержала.

— Какъ, развѣ не...

— Annette, вы думаете? о, ее не заставите. Она все еще находитъ, что слишкомъ молода для картъ. Она воротилась съ своей прогулки, отдыхаетъ, se fait belle... Григорій Ивановичъ мой единственный рессурсъ. Я пользуюсь его совѣтами,—онъ такъ все знаетъ! А потомъ, бьемся съ нимъ въ преферансъ.

— Вдвоемъ? спросила m-me Волкарева, хватаясь еще за какую-то надежду.

— Да-съ, съ деревяннымъ человѣкомъ, отвѣчалъ почтительно Духановъ.

Они усаживались.

— Вы сказали: «новичокъ», продолжала m-me Волкарева, между тѣмъ какъ улыбка застывала на ея устахъ,—я удивилась—неужели Андрей Васильевичъ...

— О, Боже! Андрей Васильевичъ никогда не будетъ въ состояніи понять никакой игры. Въ молодости не было средствъ... Впрочемъ, тѣмъ лучше.

— Они даже уходятъ всегда, замѣтилъ Духановъ,—вотъ-съ и теперь ушли; я видѣлъ, брали фуражку. Очень скоро пошли.

M-me Волкаревой оставалось покориться судьбѣ и ставить ремизы. Духановъ, наверху блаженства, истощалъ всю свою любезность. Лидія Матвѣевна обыгрывала обоихъ.

Верховской ужъ былъ далеко...

Уѣзжая въ деревню, Верховской самъ не зналъ, что тамъ будетъ. Казалось, предстояло дѣло; что и какъ—онъ не имѣлъ времени и силы обдумать, онъ только тревожился. Онъ очутился въ Спасскомъ, не успѣвъ привыкнуть къ мысли, что будетъ жить въ Спасскомъ.

Въ первый же день, въ первые же часы, покуда жена восхищалась своей собственностью, обходила, осматривала, приказывала, распоряжалась, гнѣвалась, принимала поклоненія, онъ ушелъ въ комнату, которую для себя выбралъ, бросился на диванъ и, забытый всѣми до вечера, пролежалъ, закинувъ руки за голову, глядя въ потолокъ, слушая дальній шумъ по дому и повторяя себѣ, что, вотъ, онъ одинъ...

Одинъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ никого на свѣтѣ и ничего нѣтъ на свѣтѣ. То, что тамъ, за дверью этой комнаты—чужое и чуждое... И въ столько лѣтъ онъ еще не привыкъ! Все припомнилось. Въ сравненіи съ тѣмъ, что было кругомъ, даже пустая петербургская жизнь показась легче; тамъ, по крайней мѣрѣ, были хоть лица человѣческія, это—тюрьма. Неужели такъ закончить свое существованіе въ тридцать четыре года? А еще такъ недавно его увѣряли, что въ немъ живы его силы, еще такъ недавно въ его сердце загорѣлась новая чудесная сила... И она-то самая напрасная!

Нѣсколько дней онъ прожилъ, ничего не видя,—странное ощущеніе, которое испытывается въ неотвязной, тупой тоскѣ. Что говорилось, что происходило—все было какъ во снѣ. Очнувшись, Верховской замѣтилъ, что все кругомъ пришло въ порядокъ, установившійся, прочный, что этотъ порядокъ привычный, старый. Только жена больше суетится и мелькаетъ,—но она дѣлала это вѣчно; только небрежнѣе ея туалетъ. Дѣти также невидимы, также щегольски одѣты къ обѣду, безмолвны и одурены классомъ. Глядя на нихъ машинально, Верховской замѣтилъ Лидіи Матвѣевнѣ, что неделикатно на-

вязывать священнику безплатные уроки. Лидія Матвѣевна наговорила противъ этого такъ много при дѣтяхъ, при прислугѣ, что онъ замолчалъ, но, опять почти машинально, поднялъ споръ наединѣ, не выдержалъ и вспылилъ. Лидія Матвѣевна сказала очень твердо, что ужъ замѣтила эту новость въ его характерѣ, но поддаваться ей не намѣрена, что до него здѣсь ничто не касается; что онъ только и съумѣлъ, что разорить Спасское, уступивъ казенную землю, что на филантропическія затѣи у нея нѣтъ денегъ, а если у него есть онѣ, то онъ можетъ самъ купить себѣ имѣніе и тамъ устроивать, что ему заблагоразсудится... Верховской былъ взбѣшенъ. Лидія Матвѣевна была совершенно спокойна. Онъ не обѣдалъ и разстроился нервами; она восхищалась сытностью и дешевизной деревенской кухни. Онъ не говорилъ съ нею, она придумала преферансъ съ Духановымъ. Такъ шло нѣсколько дней. Верховской еще разъ осмотрѣлся: все установившееся сдѣлалось уже незыблемо; все росло и преуспѣвало, какъ было угодно Лидіи Матвѣевнѣ, и она, безъ церемоній, показала мужу, кого избрала вмѣсто него себѣ въ совѣтники: Духановъ не выѣзжалъ изъ Спасскаго. Онъ сдѣлался для Лидіи Матвѣевны необходимымъ человѣкомъ, помощникомъ, прислужникомъ, забавникомъ. Разсчитывая на большее впереди, онъ терялъ время по своей службѣ въ N*, мѣшался въ дѣла управителя, но улаживалъ ихъ, видимо не желая занять его мѣсто; безкорыстно удовлетворился очень небольшимъ денежнымъ вознагражденіемъ и съ признательностью принималъ подарки старья, «по малости», вещей «негодныхъ богатымъ господамъ», «избытковъ», которыя онъ тотчасъ успѣвалъ отправлять въ свою N-скую «квартиришку»; играя во всѣ игры навѣрное, онъ всякій день утѣшалъ Лидію Матвѣевну, проигрывая ей нѣсколько копѣекъ... Верховскому стала гадко. Онъ послалъ Духанова къ чорту, потомъ расхохотался. Соперничать съ Духановымъ, замѣчать Духанова?.. Духановъ тоже не замѣчалъ его,—что, въ отношеніи гостя къ хозяину, было гораздо оригинальнѣе,—и съ большимъ удовольствіемъ сознавалъ свой перевѣсъ... съ утра до вечера пустые толки, возня, счеты, придирки, шумъ, брань, пошлая мелочность, одолѣвающая грязь. Прежде, Верховской не противорѣчилъ женѣ изъ деликатности, отъ усталости, со злости,—теперь окончательно отступился изъ отвращенія. Онъ перестал даже смотрѣть и слушать; ему было физически противно... Онъ даже съ удивленіемъ спросилъ себя: съ чего онъ возмущается, когда не могъ ожидать ничего другого? развѣ не слѣдовало предвидѣть этого заранѣе? развѣ онъ не зналъ ее двѣнадцать лѣтъ? Почему онъ воображалъ, заранѣе пугаясь и отчаяваясь, что здѣсь, въ деревнѣ, ему довѣрятся, поручатъ дѣйствовать, что на него обрушится забота—устроивать однихъ, угождать другой? Развѣ у него прибавилось какое нибудь право? Развѣ могутъ быть тутъ нужны его способности?.. Безъ него обходятся, и вотъ какъ отлично! Для всякаго дѣла бываютъ свои люди. Одной нелѣпостью больше или меньше...

— Но развѣ я ненавижу ее меньше? спросилъ онъ себя со злостью, которая вдругъ его оживила.— Что мнѣ до того, что бы она ни дѣлала? Чѣмъ она хуже, тѣмъ лучше. Я ее больше чѣмъ ненавижу: я вмѣсто нея люблю другую. А это все — старая пѣсня; ну, пусть она постарому и поется... Чего нельзя, того нельзя; будь, что будетъ...

Женское общество имѣетъ свойство наводить тупую дремоту. Цѣлый день бантики, выкройки, юбки, существующіе, предполагаемые и воспоминаемые; цѣлый день перемѣщенія съ мѣста на мѣсто, безъ надобности и причины, вялая, пустая бесѣда, нищета чтенія, совершенное отсутствіе мысли. Такую жизнь умѣютъ устроивать только женщины. Такая жизнь обступила Верховского. Онъ усвоилъ себѣ улыбку насмѣшливаго презрѣнія, — презрѣнія, такъ сказать, пущеннаго въ пространство, гдѣ оно непремѣнно на кого нибудь попадетъ, по чему нибудь придется. Если это и замѣчали, то не безпокоились... Сообразясь (онъ ужъ понималъ такія соображенія) и желая досадить, хотя и не сознавался въ этомъ, Верховской попросилъ жену разсчитать его деревенскіе расходы, которые, сравнительно съ петербургскими, должны много сократиться. Лидія Матвѣевна была въ духѣ и сдѣлала это охотно.

— Вотъ, умница, сказала она, и ты, наконецъ, подумалъ приберечь въ домъ.

— Я сберегаю для себя, возразилъ Верховской,—и нанимаю у васъ дачу.

— Со столомъ и прислугою, мило пошутила Лидія Матвѣевна. — Видишь самъ теперь, что ты можешь жить только на готовомъ; гдѣ тебѣ распоряжаться!

— Очень желалъ бы имѣть милліонъ, чтобъ показать, какъ имъ распоряжаются, возразилъ онъ, уходя и не слушая, что ему отвѣчали.

Отстранившись отъ всего, онъ не считалъ

себя въ правѣ ни во что заглядывать, даже изъ любопытства, даже для развлеченія. Онъ не проходилъ по деревнѣ, выбирая для прогулокъ другія дороги, а если случайно встрѣчался въ полѣ съ крестьянами, то, приподнявъ фуражку, спѣшилъ скорѣе мимо... Въ селѣ скоро поняли, что онъ, въ самомъ дѣлѣ, не баринъ.

Не зная, что дѣлать отъ скуки, Верховской вздумалъ одинъ разъ посѣтить священника, который какъ-то попался ему на глаза, скрываясь послѣ класса чрезъ заднее крыльцо. Это былъ человѣкъ еще не старый, не глупый, но робкій и до крайности бѣдный; его бесѣда не могла быть занимательна и къ тому же невольно касалась все того же предмета, котораго избѣгалъ Верховской: быта села Спасскаго. Но недовольный разговоромъ, Верховской былъ недоволенъ и осторожностью говорившаго; бѣднякъ все помнилъ, что передъ нимъ владѣлецъ, который, Богъ его знаетъ почему, можетъ быть, отъ гордости, такъ поздно вечеромъ пробрался окольными тропинками къ его дому, къ этой избѣ подъ соломенной кровлей, на пустырѣ, въ концѣ поселка, подлѣ низенькой, старой деревянной церкви...

Верховской иногда останавливался взглянуть издали на этотъ черный поселокъ.

— Если бы руки, если бы средства, думалъ онъ...—Если бы ее сюда!

Ему хотѣлось къ ней... и вдругъ, какъ-то странно не хотѣлось.

Бываетъ въ жизни странное время. Жизнь складывается такъ, что все въ ней, покружась, устанавливается опять въ прежнее положеніе. Однообразіе, убивающее мысль, которая, покружась тоже, падаетъ утомленная, привыкаетъ падать, уже не трудится и подняться для новаго круженья, а улегается на мѣстѣ, покуда закостенѣетъ. Душа полна желанія ожить, но это желаніе — не твердая воля, а только стремленіе. Стремленій бываетъ много, самыхъ искреннихъ, самыхъ горячихъ, вызванныхъ всѣмъ страданіемъ сердца, всей неудовлетворительностью жизни, казалось бы, такихъ, которыя не испугаются трудностей, не задумаются о препятствіяхъ. Странно и страшно: эти стремленія замираютъ даже не дождавшись трудностей и препятствій. Человѣкъ отвыкъ отъ нравственнаго движенія, такъ же, какъ, сидя въ запертыхъ комнатахъ, отвыкаетъ отъ ходьбы и чистаго воздуха: хорошъ просторъ и вольный вѣтеръ, но что-то широко, жутко — скорѣй въ свой уголъ, гдѣ покойнѣе. Казалось бы невозможно, чтобы люди дѣлали тоже съ потребностями души, — они дѣлаютъ; они не берутъ даже счастья, потому что оно тревожитъ, а отвыкнувшая душа не знаетъ какъ съ нимъ справиться... Виновата ли она? Проходили дни, мѣсяцы, годы; она призывала, придумывала, билась и кружилась, падая на то же мѣсто, въ тѣ же тѣсныя потемки. Она обила крылья и силъ больше нѣтъ... Она долго сама не хочетъ этому вѣрить; она принимаетъ свое минутное тепло за прежній, божественный огонь... можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ вспыхиваетъ въ ней его послѣднее пламя. Подставить его на свободный просторъ, захватить въ опустѣлую душу все, что встрѣтится живущаго и цвѣтущаго, вслушаться въ призывъ другой сильной души, протягивающей съ высоты любящую руку, — умирающая воскреснетъ и обновится. Нужна только ея собственная твердая воля... Казалось, какъ бы ей не быть?

Какъ устоять предъ всѣмъ мелко, гадко житейскимъ, что опутываетъ, сбиваетъ, одуряетъ, предъ всѣмъ, что выносится незамѣтно по привычкѣ, совѣстливо изъ состраданія, скрѣпя сердце, изъ приличія, покорно по необходимости, молча ради своего достоинства, утомясь и махнувъ рукой ради, наконецъ, физическаго покоя?.. А этотъ покой, къ несчастью, такъ отраденъ, такъ тянетъ забыться...

Роскошные дни, тихіе вечера, голубыя ночи, душистыя поля подъ росою, шелестъ темной рощи въ полдень, свѣжесть воды, зарумяненной закатомъ, тысячи звуковъ, соловьиныя пѣсни и блѣдныя звѣзды, зарницы и глухіе раскаты въ темносиней тучѣ,—вся эта прелесть, вся эта нѣга покоятъ и убаюкиваютъ. Забвеніе льется въ лучахъ, поднимается въ дыханіи цвѣтовъ; столько граціи, тишины, стройности, ласки; полный отдыхъ, полный покой отъ тревоги, злобы и боли... Не въ правѣ ли душа взять его?

Верховской отдыхалъ. Лѣсъ, поле спасали его отъ всего, что дѣлалось кругомъ, отъ всего, на что онъ зажималъ глаза и затыкалъ уши. Онъ еще никогда не бывалъ такъ полно свободно въ деревнѣ. Ощущеніе новое; онъ отдался ему съ страстью. Новое чувство, которое въ немъ жгло, увеличивало силу каждаго наслажденія, дѣлало ненужнымъ, невозможнымъ, нестерпимымъ все, кромѣ наслажденія. Онъ бралъ книгу, пустой предлогъ передъ самимъ собою, и терялъ ее, не помня гдѣ. Онъ только мечталъ, какъ не мечталъ въ свои двадцать лѣтъ. Это

была мука, но мука прелестная. Онъ ею жилъ, сказывалъ себѣ сказки. Все она, вездѣ она, свѣтлый образъ ея красоты надъ всей красотою... и вдругъ, этотъ образъ смущалъ его, но смущалъ не надолго... О, она поняла бы это сама! какое дѣло до всего остальнаго въ мірѣ? какое чувство, къ кому, къ чему можетъ гдѣ нибудь пріютиться въ душѣ, когда душа такъ полна, такъ всевластно покорена, что не смѣетъ даже на одно мгновеніе обратить вниманіе на что нибудь другое? Да и есть ли въ мірѣ что нибудь другое?.. Грезы, безуміе, пылъ первой любви и настойчивый эгоизмъ любви поздней, неопытность юноши и насмѣшка человѣка пожившаго, видавшаго промахи другихъ, томительная горячка и невыразимое блаженство, безнадежность до отчаянія и гордая радостная увѣренность, что, вотъ, все-таки, въ жизни берется свое...

Но что же берется?..

Этотъ вопросъ гнался за нимъ и гналъ его, когда онъ шелъ по полю, на пригорокъ, и поворачивалъ по дорогѣ между рожью въ лѣсокъ, гдѣ, показалось ему, пестрѣли платья...

На полянкѣ, у опушки, былъ разостланъ коверъ, принесенный лакеемъ, который ждалъ конца прогулки господъ, стоя подъ деревьями. На коврѣ сидѣла Валентина и тихо связывала маленькіе пучки полевыхъ цвѣтовъ. Дѣвочка была не высока ростомъ, въ мать, но хорошенькая въ отца, хотя ее и безобразили то взбитые локоны, то китайскія прически, а случалось и стрижка подъ гребенку, которую Лидія Матвѣевна изобрѣтала вдругъ, съ досады. Теперь короткіе волоски Валентины притянуты сѣткой и прикрыты широкополый соломенной шляпой, неудобству которой дѣвочка привычно покорялась. Ея старшій братъ ходилъ кругомъ все на одномъ мѣстѣ, заложивъ руки въ карманы пиджака, иногда сбивая головки травы и щипля листья. Время отъ времени, онъ покрикивалъ на Анатоля, который безъ всякой цѣли, что было силъ, мчался по лугу большими концами, бросался на земь, поднималъ кверху ножонки, катался, вскакивалъ, кричалъ, ободряя самъ себя на новые подвиги, и опять пускался вскачь; представлялъ ли онъ жеребенка, или воображалъ себя жеребенкомъ, онъ самъ, конечно, не зналъ, но онъ былъ счастливъ.

M-lle Роше и Катерина сидѣли въ сторонѣ. Молодая гувернантка совсѣмъ забыла своихъ питомцевъ. Она была рада гостьѣ, которая съ перваго взгляда показалась ей такъ не похожа на тѣхъ, которыхъ она видѣла въ петербургскомъ обществѣ Лидіи Матвѣевны и на N-скихъ вечерахъ; ей понравилась спокойная простота и смѣло нескрываемая, будто протестующая скука Катерины. M-lle Роше такъ прямо и начала съ вопроса объ этой скукѣ. Кромѣ скуки, у Катерины было горе, но передъ нею была молодая дѣвушка, одинокая на чужбинѣ, работница,—этого довольно, чтобъ привязаться сердечно, и Катерина разговорилась, привязывая тоже, сама не зная какъ. Съ нѣсколькихъ словъ, онѣ сблизились, нашлось что-то общее, повѣяло чѣмъ-то добрымъ; говорили только о своихъ занятіяхъ, о прочитанномъ, не прошло и часа знакомства, а ужъ m-lle Роше повторяла:

— Зачѣмъ мы не встрѣтились тамъ, въ городѣ! Неправда ли, вы позволили бы мнѣ придти къ вамъ? Долго ли вы здѣсь пробудете?.. Но какъ же это могло случиться, что madame познакомилась тамъ со всѣмъ свѣтомъ, а вы... Но m-r Верховской, стало быть, былъ вамъ прежде представленъ?

— Да, онъ былъ у моего отца, отвѣчала Катерина, вспыхнувъ.

Ей было стыдно, будто, сказавъ эту правду, она выговорила ложь.

— Вамъ жарко? спросила m-lle Роше.

— Да, отвѣчала Катерина, краснѣя еще больше, потому что уже лгала.

Она поблѣднѣла также мгновенно, ея сердце упало: послышалось, какъ Элимъ пригрозилъ меньшому брату:

— Et voilà papa qui vient!

— Боже, я ихъ совсѣмъ оставила, сказала съ досадой m-lle Роше и встала.

Анатоль спрятался въ траву; его маленькая, вѣчно дрожащая душа обмерла, хотя совсѣмъ напрасно: Элимъ мучилъ его по принятому обычаю, но былъ увѣренъ, что папа ничего не замѣтитъ. Верховской никогда не обращалъ вниманія на то, что они дѣлали, а въ настоящую минуту былъ еще менѣе къ этому расположенъ и способенъ.

Катерина была еще не въ силахъ встать, когда онъ явился передъ нею.

— Неужели вы уже уходите домой? сказалъ онъ: — а я такъ спѣшилъ! Позвольте немного отдохнуть.

— Я иду къ дѣтямъ на минуту, отвѣчала m-lle Роше.

— Хоть на вѣки... сказалъ ей вслѣдъ по-русски Верховской, бросаясь на траву подлѣ Катерины. — Счастье мое, да вы ли это?..

. Она не воображала, не могла вообразить чувства, которое ее охватило, и, не смѣя поднять глаза, оставила свою руку въ рукахъ Верховского.

— Ну, что же? одно слово!

Она тихо сжала его руку и вдругъ обернулась.

— Простите меня...

— Въ чемъ?

— Что я пріѣхала.

— Боже мой, что вы говорите?

— Я виновата передъ вами. Соскучилась и... простите, я думала... Но ужъ этого я ожидать не могла!

— Чего, милая, дорогая? спрашивалъ онъ, стараясь опять захватить руки, которыми она закрывала свое лицо.— Что васъ волнуетъ? Что васъ огорчило? Вамъ тяжело видѣть мою семью, тѣхъ, кто имѣетъ право надо мной? Завидно? Вы ревнуете?

— О, Боже мой... прервала она съ нетерпѣніемъ и встала.

— И не стоитъ! продолжалъ онъ страстно.—Вы мое счастье, вы со мною... чего-жъ еще? Такъ, соскучились? По мнѣ соскучились? Ну, а теперь?

— Теперь, прервала она: — я вижу эту жизнь... Теперь понимаю, почему вы бросились на первое слово, которое я вамъ отъ души сказала! Но какъ это выносить двѣнадцать лѣтъ!

Верховской взглянулъ на нее пораженный.

— Это рабство, это мученіе... Легче было бы мнѣ, въ тысячу разъ легче убѣдиться, что я грѣшница, а вы неблагодарный, нежели видѣть, какъ вы унижены... Господи, да что же это?.. Говорите сейчасъ, отвѣчайте какъ честный человѣкъ, — бились ли вы? Пробовали ли вы перемѣнить здѣсь что нибудь по-человѣчески? Выпросили ли вы хоть милости за кого нибудь?

— Здѣсь нѣтъ ничего моего, прервалъ онъ:—какое право...

— А, такъ вы обязываетесь? вскричала она, внѣ себя: — ненавидите, а обязываетесь? пользуетесь...

— Слава Богу, нѣтъ, прервалъ оскорбленный Верховской,—я ѣмъ свой хлѣбъ и расплачиваюсь. Но я закованъ какъ каторжный, кандалы гремятъ, а люди воображаютъ, это я брякаю денежками моей супруги... И вы тоже вообразили? Вы посмотрѣли на мое несчастье, — показалось мало, такъ вы еще подбавили... Что-жъ, очень благодаренъ!

Онъ отошелъ нѣсколько шаговъ и остановился.

— Что-жъ это такое? сказалъ онъ, какъ потерянный.—И вы... Вы,—да за что же?.. Вы святы, вы совершенство... Но, Боже, чѣмъ же я такъ виноватъ? Вѣдь я говорилъ вамъ, вы, кажется, вѣрили? вы все забыли?

— Все помню, но этого терпѣнія не понимаю.

— О, лучше, скажите прямо, что вы меня презираете! Ничтожный, безсильный... А на что мнѣ сила? Ругаться при челяди, ронять свое достоинство? Какая цѣль великодушничать? Чего мнѣ искать? Здѣсь ли, у этой госпожи, въ другомъ ли мѣстѣ... Одинъ! Кому я нуженъ, кому я дорогъ...

— А я-то? вскричала она.

— Катя!..

Онъ бросился къ ней.

— Постой, ни слова больше! Я тебѣ дорогъ? Дорогъ, ты это сказала?

Онъ задыхался.

— Такъ подожди говорить, подожди осуждать, убѣдись сама, посмотри еще... Жизнь моя, голубка, счастье мое, дай мнѣ вздохнуть одну минуту, дай все забыть... вотъ, посмотрѣть на Бога въ твоихъ глазахъ! Ты соскучилась? А я умиралъ... Катя, Катя, я тебя люблю!

Онъ схватилъ ее и поцѣловалъ. Она не противилась; ей показалось, искры побѣжали по травѣ, на которой она стояла. Она подняла глаза на милое лицо, дожидавшееся ея улыбки, и, не улыбаясь, смотрѣла на него пристально и кротко, взволнованная, но не смущенная. Верховской опустилъ голову.

— Это Богъ знаетъ что... прошепталъ онъ.

— Я тебя люблю, сказала Катерина.

Онъ хотѣлъ обнять ее снова.

— Зачѣмъ? тихо возразила она,—довольно. Вѣдь ты знаешь, что я твоя.

Она взяла его за обѣ руки и сжимала ихъ крѣпко.

— Ты сказалъ, что я еще увижу и повѣрю. Я всему вѣрю. Ты обманывать не можешь. Такъ подумаемъ же вмѣстѣ, поищемъ, что можно сдѣлать...

— Нѣтъ, нѣтъ, вскричалъ онъ съ отчаяннымъ испугомъ,—нѣтъ, не сейчасъ, не сегодня! я не въ силахъ, я измученъ, дай опомниться... Дай мнѣ хоть день одинъ, Катя, одинъ день. Тебѣ всѣ жалки, ну, пожалѣй и меня,—я, все равно, человѣкъ... Обѣщай, дай слово...

— Обѣщаю... сказала она и вдругъ, оставивъ его, пошла, опустивъ голову, не оглядываясь.

Верховской, не двигаясь, смотрѣлъ ей вслѣдъ. Катерина дошла до того мѣста, гдѣ онъ засталъ ее съ m-lle Роше, наклонилась, подняла съ земли голубой цвѣтокъ гортензіи, который Верховской машинально сорвалъ, принесъ и уронилъ, осмотрѣла его и расправила съ какой-то жалостливой лаской. Верховской бросился къ ней. Имъ на встрѣчу шли m-lle Роше и дѣти.

— Nous rentrons, monsieur, сказала она.

— Въ самомъ дѣлѣ, сыро... А вы съ открытой головой, сказалъ онъ Катеринѣ.

Она такъ задумалась, что ничего не слышала. M-lle Роше посмотрѣла на Верховского; онъ неловко обратился къ дѣтямъ, заставлялъ ихъ бѣгать, забавлялся съ ними, что даже ихъ удивляло съ непривычки.

— Вамъ не нуженъ этотъ цвѣтокъ? вдругъ сказала m-lle Роше Катеринѣ и, не дожидаясь отвѣта, взяла у нея гортензію.

— Вотъ, Валентина, вы сбирали букетъ для маменьки.

— Это не полевой цвѣтокъ, возразилъ Верховской.

— Тѣмъ лучше. Немножко искусственности никогда не мѣшаетъ.

— Давно ли вы это проповѣдуете?

— Сейчасъ только. Мнѣ пришло вдохновеніе.

Въ домѣ, въ большой залѣ ужъ горѣла висячая лампа надъ чайнымъ столомъ; за нимъ одиноко сидѣла Аннета.

— О васъ безпокоились, mon cousin, сказала она Верховскому.

— Лидія Матвѣевна?

— Нѣтъ, m-me Волкарева.

— Скоро явились и дамы. M-me Волкарева вошла счастливая, будто выпущенная изъ клѣтки, любовалась на залу, въ которой такъ бы хорошо потанцовать, прижимала къ сердцу Валентину, обращалась къ Аннетѣ, къ m-lle Роше, будто всѣ стали ей милы, спрашивала Катерину, пеняетъ ли она, что ее «похитили», и увѣряла, что для нея лучшее счастье — дружить своихъ друзей. Говорили о природѣ, объ очаровательной мѣстности Спасскаго; m-me Волкарева, какъ могла, утѣшала Аннету, что проселочныя дороги не вымощены и не расчищены и выражала желаніе послушать соловья. Лидія Матвѣевна безпрестанно выходила и возвращалась съ хозяйственными тревожными приказаніями.

— Excusez, chère Marie. Право столько хлопотъ. Вотъ, Григорій Ивановичъ очень мило называетъ здѣшній народъ «башибузуки». Je ne sais ce que c'est! мнѣ очень нравится.

— Все, знаете, на-отмашъ, ваше превосходительство, отозвался Духановъ, и замѣтивъ, что его не слушаютъ, обратился къ Аннетѣ, — нѣтъ, мы нынче съ Элимомъ Андреевичемъ лучше придумали, — мы ихъ въ англо-французскіе генералы производимъ...

Лидія Матвѣевна на дѣлѣ доказывала свое убѣжденіе, что лишнее можно позволять себѣ только въ городѣ, и m-me Волкарева, вспомнивъ свой завтракъ-обѣдъ, пожалѣла, что не сдѣлала на дорогѣ полдника-ужина. Ее вознаграждала необыкновенная любезность Верховского. Онъ сѣлъ подлѣ нея, оживленный, веселый. Освѣщенныя комнаты, лишній говоръ, перемѣна въ обстановкѣ, немного непохожая на то, что было въ эти дни, будто его разбудили. Онъ вдругъ вспомнилъ, что не сказалъ двухъ словъ съ m-me Волкаревой съ ея пріѣзда, что былъ неучтивъ, неловокъ, что такъ, пожалуй, она и всѣ замѣтятъ. Онъ былъ счастливъ, но страсть затихла, чувство успокоилось; по душѣ прошла какая-то неохота тревожить чувство снова, какое-то недовольство при воспоминаніи того, что было испытано... Не все вспоминалось съ восторгомъ; былъ какой-то страхъ при мысли, что это можетъ повториться... Катерина сидѣла далеко. Верховской не смотрѣлъ на нее. Онъ повторилъ себѣ, что надо всѣхъ занять, разговорился, привлекъ въ разговоръ и Аннету, вспомнилъ Петербургъ; начались разсказы театральные, маскарадные, сплетни. анекдотцы и такъ живо, такъ забавно, что сама Лидія Матвѣевна не выдержала.

— Ахъ, André, да откуда же ты все это знаешь? — Вотъ онъ, тихонькій, и вида не подавалъ!

Катерина слушала молча; у нея въ головѣ кружилось, все это показалось бы ей утомительнымъ, безсмысленнымъ сномъ, если бы живая мука сердца, каждую минуту, не напоминала, что это дѣйствительность. Прямо передъ нею была самодовольная, улыбающаяся физіономія Духанова; онъ одобрительно кивалъ головою, дѣлая видъ, что если не все понимаетъ, то хорошо догадывается. Рядомъ съ нимъ, въ тѣни, блѣдное, худенькое и злое личико старшаго мальчика, который впился глазами въ говорившихъ и понималъ все. Анатоль ѣлъ, торопясь, покуда на него не смотрѣли, и испуганно оглядывался. Среди смѣха и громкихъ голосовъ, рядомъ съ Катериною послышался тоненькій, робкій голосокъ; Валентина была все время печальна и, наконецъ, шепча,

призналась m-lle Роше, что сегодня, когда гуляли, лакей показалъ братьямъ гнѣздо, но она не смѣла подойти посмотрѣть, и это ее огорчаетъ, потому что, говорятъ, это хорошо.

— Прелесть, какъ хорошо, сказала ей порусски Катерина,—развѣ ты никогда не видала?

Дѣвочка вытаращила на нее глазки, въ удивленіи: ей никто не говорилъ ты.

— Jamais, mademoiselle, отвѣчала она.

— Пойдемъ со мною завтра, я тебѣ покажу ихъ десятокъ. Маленькія, мягко, тепло, пушокъ настланъ; яички—вотъ, крошечныя, голубенькія, глинистыя; только руками никакъ нельзя трогать...

— Ce que vous dites doit être adorable, сказала m-lle Роше, глядя на Катерину.

Верховской оглянулся, подумалъ тоже и сбился въ своемъ разсказѣ.

— Дѣтямъ пора спать, сказала Лидія Матвѣевна, услыша голосъ Валентины.— И я не церемонюсь съ вами, chère Marie, иду по хозяйству. Annette этимъ временемъ всегда занимается музыкой; сбираемся вмѣстѣ, чтобъ проститься. Nous ne soupons jamais. Итакъ, какъ говоритъ Григорій Ивановичъ...

— «День прошелъ...» подсказалъ Духановъ.

— Завтра воскресенье; я могу, уложивъ дѣтей, придти сюда? спросила m-lle Роше Лидію Матвѣевну.

— Какъ вы помните ваши праздники. Приходите.

Она вышла.

— Какая ночь! сказала m-me Волкарева, направляясь къ двери на террасу.— Что вы дѣлаете этимъ временемъ, Андрей Васильевичъ?

Онъ только что шелъ къ Катеринѣ и былъ принужденъ воротиться. M-me Волкарева задумчиво стала на порогѣ террасы, загораживая дверь такъ, что Верховской уже не могъ отступить въ залу, и смотрѣла вслѣдъ уходившимъ дѣтямъ.

— Ужъ большіе!.. выговорила она со вздохомъ.—Куда вы готовите старшаго?

— Не знаю. Кажется, въ правовѣды.

— Молодой отецъ... продолжала m-me Волкарева еще задумчивѣе.—Дайте мнѣ руку и пройдемся немного.

Она закуталась въ шаль, отнимая предлогъ прекратить прогулку по случаю сырости. Лунный свѣтъ красиво лежалъ на кустарникахъ и дорожкахъ, аллеи темнѣли, окна залы свѣтились. Верховской все ждалъ чего-то и кружилъ съ своей дамой по цвѣтникамъ.

— Я сдержала слово, пріѣхала, говорила m-me Волкарева, — но, боюсь, кажется, я сдѣлала больше зла, нежели добра... можетъ быть, лучше было бы оставить это... такъ. Время, семья, и минутное впечатлѣніе... Скажите, если такъ, я уѣду завтра.

— О, нѣтъ, вскричалъ Верховской,—вы видите, я счастливъ...

— Je m'en doutais un peu, сказала она лукаво.—А мою хитрость вы отгадали? Я привезла спутницу. Какъ жаль, что она не играетъ въ карты!

— Очень жаль, подтвердилъ Верховской и вдругъ рѣзко обернулся.

Въ домѣ раздались громкіе аккорды рояля. Катерина показалась у окна и сѣла.

— Долго играетъ ваша кузина?

— Цѣлые часы...

— Пойдемте дальше.

Бравурная пьеса, которую исполняла Аннета, разносилась далеко по аллеямъ и вмѣстѣ со всѣмъ, что думалось, мѣшала Верховскому слушать m-me Волкареву. Катерина тоже слушала эту музыку и, въ промежуткахъ, великосвѣтскіе разсказы Аннеты, очень довольной, что и она, въ свою очередь, можетъ удивлять провинціалку, не имѣющую никакихъ талантовъ и ничего не видавшую. Катеринѣ было все равно, что бы она ни говорила и ни играла. Пришла m-lle Роше и въ этотъ часъ, покуда музыка заглушала ихъ разговоры, онѣ успѣли еще сблизиться. Молодая дѣвушка разсказала, что она дочь бѣдныхъ людей, «изъ народа», отецъ и братъ ея — переплетчики, мать — цвѣточница, но — «художники!» и потому очень заботились дать ей воспитаніе. Оно и пригодилось: мать умерла, она отправилась искать счастья въ далекую сторону, помогала своимъ... о, это большое счастье, какъ ни горька разлука, какъ ни отталкиваетъ чужая сторона!.. Но, вотъ, умеръ и отецъ, братъ ушелъ въ солдаты...

— Проклятая война, сказала Катерина.

— Вы ли это говорите? Вы, мнѣ?

— Развѣ люди не вездѣ люди, не вездѣ семьи, не вездѣ любятъ другъ друга?

— Ахъ, вы первая это сказали! вскричала молодая дѣвушка, бросаясь ей на шею.— Вы насъ не клянете, вы понимаете, что жестоко...

У нея сверкнули слезы, она ихъ удержала.

— Мнѣ только двадцать лѣтъ, и года

нѣтъ, какъ я здѣсь, у васъ; что я сдѣлала? за что же оскорблять меня? Вотъ этотъ мальчишка, старшій, le Benjamin de madame, его дѣдушка, этотъ отвратительный генералъ... дразнитъ меня насмѣшками надъ моимъ отечествомъ, за кусокъ хлѣба, который я заработываю... Они называютъ это патріотизмомъ?

— Это низость! вскричала Катерина: — да скажите имъ въ лицо, что кто способенъ такъ оскорбить, тотъ способенъ самъ за грошъ продать свое отечество!.. Какой это генералъ?

— Дядя monsieur... Но, нѣтъ, я не могу молчать объ этихъ людяхъ! Я васъ узнала, мнѣ необходимо облегчить душу!

Она разсказывала, не останавливаясь, съ горемъ, со злостью, съ насмѣшкой, не щадя. Весь этотъ домъ съ его несладицей и несчастьемъ, съ его пошлыми ужасами сталъ какъ живой предъ Катериной. Она каждую минуту дрожала, что, вотъ, между этими именами услышитъ еще одно имя, еще одно осужденіе... она негодовала, что не слышала этого имени, и, не выдержавъ, назвала его сама:

— Но что же дѣлаетъ самъ Верховской?

— Верховской? повторила m-lle Роше.— Наше положеніе похоже, — онъ и я равно посторонніе. Мнѣ передали дѣтей, какъ вы ихъ видите — не знаю, можетъ быть, ему нравится, что они такіе; ему, можетъ быть, все нравится... О, нѣтъ, не буду несправедлива! Не можетъ это нравиться честному человѣку! Но онъ все молчитъ... Но еслибъ и не молчалъ... Не понимаю этой женщины: кричитъ, что его обожаетъ, а нынѣшней зимой, — онъ лежалъ боленъ при смерти, она поскакала на балъ! Сегодня... Сегодня, за мужиковъ была сцена. Развѣ вы не замѣтили, они не говорятъ? Вотъ только за чайнымъ столомъ начала сама примиряться. У нея правило—она имъ хвалилась, — чтобы ночь не застала во враждѣ... Боже, чтобы съ утра оскорбить еще хуже!

— О, ради Бога, довольно... выговорила Катерина.

Разошлись поздно. Верховской воротился изъ сада усталый, скучный; покуда дамы обнимались, безъ конца желая другъ другу доброй ночи, онъ пожалъ руку Катеринѣ, не сказавъ ни слова, и ушелъ прежде всѣхъ. M-lle Роше проводила Катерину наверхъ, въ назначенную комнату, и остановилась; ей не хотѣлось разставаться.

— Вы часто молитесь? спросила она вдругъ, взволнованная какимъ-то далекимъ чувствомъ.

— Молюсь, отвѣчала Катерина.

— Еслибъ было намъ о чемъ молиться вмѣстѣ!

— Есть: чтобъ война скорѣе кончилась.

— Я хотѣла бы молиться за васъ! сказала молодая дѣвушка, ужъ не удерживая слезъ.

Катерина осталась одна. Она не заплакала, увидя слезы, но была принуждена сознаться предъ собою, что силъ у нея не стало. Она сѣла, чтобъ отдохнуть, чувствуя, что не отдохнетъ. У нея распадались руки. «Что же это? Что ему дѣлать?»

Вошла горничная, полусонная, подобострастная, запуганная. Катерина просила ее уйти, сказавъ, что привыкла все дѣлать для себя сама, но дѣвушка не ложилась и ждала, стоя въ коррндорѣ.

— Изъ-за меня человѣкъ мучается... подумала Катерина, позвала ее и скорѣе раздѣлась.—Все равно не спать и въ постели... Господи, да что же это?

Ея грудь разрывалась отъ тоски; въ смятеніи не связывалось ни одной мысли; до этой минуты, она во всю жизнь не воображала, что такое отчаяніе... Несчастный, что онъ надъ собою сдѣлалъ?..

Когда человѣкъ отъ горя, отъ заботъ, отъ чужой неправды теряетъ терпѣніе, накладываетъ на себя руки—всѣмъ страшно; когда человѣкъ хвораетъ, чахнетъ — всѣмъ жаль... А когда онъ нравственно гибнетъ, когда все, великодушіе, честность, умъ, образованіе, достоинство, права, молодость, счастье, все гибнетъ... Господи, никто и не оглянется! Никто не скажетъ—смертельная болѣзнь, никто не скажетъ — самоубійство: человѣкъ сытъ, одѣтъ щегольски,—чего-жъ ему больше?..

— Милый, я тебя люблю, повторяла она, рыдая. — Вотъ, ночь подъ одной кровлей, впереди цѣлый день съ тобою... О, легче не видать тебя во вѣки, легче отдать тебя другой... Господи, пощади меня, я грѣшница! Можетъ быть, она еще въ чемъ нибудь права, можетъ быть, я вижу это такъ, потому что я безумная, можетъ быть, я хочу такъ видѣть и сама не разберу, что хочу...

IX.

Катерина рано проснулась. Чрезъ корридоръ слышался шорохъ; она вышла, отворила дверь и увидѣла большую комнату, пол-

ную пялецъ и дѣвушекъ. Однѣ вставали, многія ужъ сидѣли за работой.

— Мнѣ не спится, сказала она, входя къ нимъ.

Въ этой скучной, низкой комнатѣ, такъ неожиданно, такъ сладко, такъ свѣжо раздался ея простой, ласковый голосъ, — тотъ голосъ, который еще въ дѣтствѣ не зналъ ничьего отказа, отгонялъ всякую заботу отца, разбудилъ сердце Верховского, — что на его звуки обратились всѣ глаза, поднялись согнутыя головы, освѣтились всѣ лица и никто не удивился, что зашла чужая барышня: пришла своя. Еще нѣсколько минутъ, нѣсколько словъ—и съ нею ужъ обращались какъ съ своею. Несчастные люди чутки и потому, угадывая сразу, недовѣрчиво поддаются на участіе, даже искреннее, но недовольно крѣпкое, но это же чутье и заставляетъ ихъ привязываться скоро, разомъ, безъ ошибки. Катерину поняли, съ ней не стѣснялись, передъ нею не скрывались. Она спросила, почему онѣ въ праздникъ за работой; ей объяснили, что это дошиваются неоконченные уроки, что барыня придетъ сама повѣрять ихъ послѣ обѣда, что онѣ свободны только утро воскресенья и пользуются имъ, чтобъ сбѣгать повидаться съ родными, на деревню, а въ теченіе недѣли, что ни случись тамъ, — барыня не отпуститъ; что сейчасъ, какъ только дошьютъ, онѣ уходятъ всѣ, кромѣ той, которая назначена для прислуги Катерины. Несмотря на раннюю пору, бѣлое платье Катерины было ужъ приготовлено. Катеринѣ было совѣстно, жалко, грустно и досадно—все вмѣстѣ; она еще разъ повторила, что одѣвается одна, и спросила только, гдѣ можно купаться.

— Ключъ отъ купальни у барыни, она почиваетъ, отвѣчали ей.

— Но вы сами гдѣ нибудь купаетесь, возразила Катерина: — пойдемте вмѣстѣ, а оттуда, покажите мнѣ деревню.

— Что ее смотрѣть!

— Или у васъ, барышня, нѣтъ своей?

— Не бывало и не будетъ.

— Такъ вамъ и любопытно... А наша барыня своимъ дѣточкамъ и вовсе не приказываетъ туда ходить; ни разу не были.

— Почему?

— Кто ихъ знаетъ. Хороша ужъ деревня, боится сглазить.

— Либо боится, съ дѣточками чтобы чего не приключилось.

— Что можетъ приключиться?

— Да они, и дѣточки, и барыня сама, даже у себя по двору, безъ провожатаго, петербургскаго лакея, не ходятъ, берегутся...

— Собакъ, что ли?

— Собакъ! откуда онѣ? И людямъ-то ѣсть нечего...

— Пойдемте, пожалуй, барышня, полюбуйтесь.

Катерина испугалась. Вокругъ нея раздался злой жалкій смѣхъ. Горе подступало еще страшнѣе среди бѣла дня; ночью, отъ него избавилъ сонъ, теперь спасенія не было... Но вѣдь она хотѣла знать, она за тѣмъ пріѣхала. Все, такъ все. Нечего трусить и отворачиваться.

— Пойдемте, сказала она. — Сначала на рѣку, потомъ въ деревню; идемте всѣ.

Но дѣвушка, назначенная для нея, не пошла; Катерина напрасно успокоивала ее обѣщаніемъ сказать Лидіи Матвѣевнѣ, Андрею Васильевичу, что сама ее отпустила. Отъ Лидіи Матвѣевны не ждали пощады; при имени Андрея Васильевича засмѣялись. Говорилось все прямо, просто, безъ оговорокъ, разсказывалось все. Прежде было дурно, теперь еще хуже, — да видно ужъ дѣлать нечего, терпѣть приходится, — разсказывались подробности, обычаи барыни, обычаи барина—Духанова...

— А Андрей Васильевичъ? вскричала Катерина.

— Да хоть самъ Богъ приди, ей все равно!

Провожатыя Катерины разошлись по домамъ; она пошла за ними слѣдомъ, въ деревню, прошла ее всю, не спѣша, смотря по сторонамъ, какъ проходятъ кладбище; дѣти убѣгали отъ нея, старшіе отворачивались или слѣдили странно-равнодушнымъ, спокойно-презрительнымъ взглядомъ... Такъ смотрятъ и на него. Она должна раздѣлить всѣ его мученія.

Она тихо возвращалась къ дому, чрезъ пустое поле. Просторъ, красное солнышко... Прошло время, когда все это такъ дѣтски ее радовало, прошелъ покой, прошло счастье!..

Она сбросила съ головы свои мокрыя косы; ей все казалось тяжело.

— Что-жъ,—горе, но съ нимъ вмѣстѣ! Я права, я смѣю и должна его любить. У него никого нѣтъ, я ни у кого его не отнимаю. Это птенчикъ изъ гнѣзда выпалъ, я его беру и берегу. Она въ грязь бросила и затоптала сокровище... Господи, Ты свидѣтель, какъ оно мнѣ дорого!

Она подняла голову; впереди, по дорогѣ, кто-то шелъ ей на встрѣчу; свернуть было некуда. Катерина узнала Духанова.

— Раненько поднялись, Катерина Нико-

лаевна, сказалъ онъ;—деревенскимъ воздухомъ пользуетесь. А я такъ по дѣлу; попъ нашъ затѣялъ...

— Стало быть, вы туда идете? прервала она, давая ему дорогу.

— Нѣтъ-съ, я ужъ кончилъ. Я повернулъ, увидалъ, вы однѣ. Какъ, думаю, народъ этотъ, никто не проводитъ...

— Я хочу быть одна, отвѣчала она и пошла впередъ.

— Вы, Катерина Николаевна, вчера, должно быть, меня не узнали, или я такъ полагаю, не обратили вниманія. Я тутъ съ самаго ихъ пріѣзда, ужъ попривыкъ. Какъ вы поживаете? Удивительно давно мы съ вами не видались!

Она шла не оглядываясь.

— Я полагалъ, по нашему знакомству,— такъ какъ я былъ вхожъ къ вашему батюшкѣ...

— То есть, бумаги ему носили.

— Всякій съ малаго начинаетъ, Катерина Николаевна! Вотъ, и вы теперь изволите ѣздить съ ея превосходительствомъ... Имѣю честь васъ поздравить съ монаршею милостью.

— Съ какой это! Что меня привезла Волкарева?

— Нѣтъ-съ; что вашего братца помиловали.

— Что?..

— Можетъ быть, желаете скрыть; еще въ газетахъ нѣтъ. Мнѣ, по расположенію своему, сами Лидія Матвѣевна открыли, что вы ихъ благодарить будете, потому—пожалованъ въ офицеры.

Катерина остановилась и смотрѣла на него.

— Не знаю, произведенъ ли мой братъ, сказала она: — но я спрошу Лидію Матвѣевну, за что я должна ее благодарить.

— Ахъ, нѣтъ, сдѣлайте Божескую милость, не говорите! вскричалъ, испугавшись, Духановъ: — я черезъ это могу пострадать! Нѣтъ, я, ей-Богу, не сойти съ мѣста, такъ, самъ пошутилъ... Онѣ не говорили... я самъ, потому — для разговора. Я такое участіе принимаю во всемъ вашемъ, можно сказать, семействѣ... Вашему батюшкѣ, конечно, было бы лестно...

— Прежде всего, мнѣ будетъ очень лестно, если вы сію же минуту оставите меня въ покоѣ, прервала она. — Я не желаю ни вашего участія, ни вашего шутовства. Вотъ вамъ дорога, ступайте.

— Это ужъ что-жъ такое будетъ, Катерина Николаевна... Правда, вонъ Андрей Васильевичъ!..

Катерина услышала вслѣдъ себѣ это имя, но шла скоро, не оглянулась, не увидѣла Верховского и, не встрѣтясь съ нимъ, воротилась домой. Въ домѣ шло вставанье, туалеты, сборы къ обѣднѣ. Гдѣ-то въ нижнемъ этажѣ спѣвались лакеи. Аннета, нарядная, щегольски причесанная и набѣленная, дѣлала чай въ кругу дѣтей. Лидія Матвѣевна и m-me Волкарева явились вмѣстѣ, въ шляпкахъ.

— Я сегодня въ первый разъ беру съ собой дѣтей, объясняла Лидія Матвѣевна. — Посмотрю, что-то будетъ въ церкви. Прошлый разъ, — я ѣздила, — смотрю: никого нѣтъ. Я разъ навсегда приказала, чтобъ изволили ходить молиться. Это изъ рукъ вонъ.

— Да, не молиться въ настоящее время!..

— Элимъ, принесите мой молитвенникъ... А вы не сбираетесь? спросила Лидія Матвѣевна Катерину.

— Нѣтъ.

— Vous n'étes donc pas dévote, продолжала Лидія Матвѣевна, кушая чай.—А я слышала, въ провинціи дѣвушки даже по сту поклоновъ въ день кладутъ, чтобы скорѣе имѣть жениха.

— Я не тороплюсь, отвѣчала Катерина.

— О, мы это знаемъ, вмѣшалась m-me Волкарева, мило смѣясь, чтобы загладить тонъ пріятельницы.

— Такъ vous faites la difficile, разборчивая невѣста?

— За меня никогда никто не сватался, рѣзко отвѣчала Катерина.

— Вы постарались бы; можетъ быть, кто нибудь и нашелся бы.

— Я навязываться не умѣю, сказала Катерина, чувствуя сама, что ея голосъ задрожалъ отъ злости.

M-me Волкарева прибѣгла къ своему нѣжному смѣху; ей вторилъ Духановъ, самодовольно покачиваясь. Лидія Матвѣевна сейчасъ сообразилась.

— Вамъ въ дѣвкахъ оставаться нельзя, потому что у васъ нѣтъ состоянія. C'est un bon conseil que je vous donne. Какого нибудь чиновника... Андрей Васильевичъ, что-жъ карета? обратилась она къ входящему Верховскому.

— Экипажи готовы-съ, отвѣчалъ за него Духановъ:—я приказалъ карету и шарабанъ.

— Ахъ, merci... Андрей Васильевичъ, ты поѣдешь?

Верховской здоровался, оглянулъ всѣхъ дамъ и отвѣчалъ:

— Нѣтъ.

— Ну, какъ знаешь... Partons, chère Marie. Вотъ, замѣтьте, какой у меня порядокъ: какъ увидятъ мою карету, такъ начнутъ благовѣстить... Ахъ, Боже мой... А то, что я вамъ приказывала, Григорій Ивановичъ, вы распорядились?

— Какъ же-съ! Вообразите вы себѣ, объяснялъ онъ Аннетѣ, пока дамы и дѣти выходили, а она натягивала перчатки и осторожно надѣвала шляпку. — Я буду имѣть честь быть вашимъ кавалеромъ въ шарабанѣ... Нѣтъ, вообразите вы себѣ: тамъ у казенныхъ, у однодворцевъ, то есть, покойникъ случился. Хорошо, что я съ вечера вчера провѣдалъ: нашъ попъ его нынче выносить хотѣлъ! Умная голова! Да вѣдь дерзость какая—знаетъ, что нынче парадъ, сама Лидія Матвѣевна будетъ, ихъ превосходительство...

— Я не люблю мертвыхъ, сказала Аннета, выходя.

— Кто-жъ любитъ, помилуйте... любезничалъ онъ, поспѣшая за нею.

М-lle Роше смотрѣла въ окно, какъ уѣзжали.

— Зачѣмъ же ты бѣжала отъ меня? спросилъ Верховской Катерину.

— Гдѣ?

— Въ полѣ.

— Я не видала.

— Ты опять печальна, Катя. Помнишь обѣщаніе?

М-lle Роше обернулась.

— Старшіе уѣхали, надо шалить, сказала она.—Не пойдете ли вы переодѣться, а потомъ пойдемте вмѣстѣ; я сегодня свободна, мнѣ хотѣлось бы срисовать одинъ уголокъ въ паркѣ.

— Хорошо, сказала Катерина.

— Я пойду съ вами, сказалъ Верховской.

Онѣ обѣ ушли наверхъ. М-lle Роше сбирала свой портфель, Катерина одѣвалась долго, какъ никогда. Она знала, что ее ждутъ; ей было страшно; у нея все изъ рукъ выпадало.

— Вы, конечно, не видали никого неловчѣе меня, сказала она нетерпѣливо.

— Вы не неловки, но разсѣяны. Что такое вамъ сказала madame? J'ai vu des flammes dans vos yeux.

— Я глупо вспылила изъ вздора.

— Не думаю, чтобъ это былъ вздоръ. Я вѣдь знаю madame.

— Не будемъ терять время, говоря о madame; проведемъ его поумнѣе.

— Прекрасно сказано. Но я буду за дѣломъ, а вы...

— Мнѣ не будетъ скучно, сказала Катерина и покраснѣла.

М-lle Роше это видѣла и вдругъ покраснѣла сама: ей стало совѣстно, что она видѣла. Она потупила глаза, неловко взялась за свой портфель, убирая что было вовсе не нужно, и, наконецъ заговорила:

— Въ паркѣ есть группа старыхъ деревьевъ...

— Я не могу притворяться, сказала вдругъ Катерина. Вы честная дѣвушка, мнѣ стыдно. Знайте же: я люблю Верховского, а несчастенъ ли онъ, —вы сами знаете.

М-lle Роше остановилась, пораженная.

— Я передъ вами на колѣняхъ! вскричала она:—такъ просто, такъ прямо... Да что же вы такое?

Она бросилась обнимать ее.

— Простите, я вчера подумала, вы такъ хороши!.. что онъ, просто, любезенъ съ вами, какъ вообще мужчины... его жена могла сказать вамъ что нибудь непріятное... Я взяла этотъ цвѣтокъ... Милая, но отчего же такое горе? Вѣдь вы счастливы, вы любимы?.. Ахъ, я безумная, онъ женатъ!

— Такъ что же!..

— Вы... часто видались съ нимъ?

— Три раза и, такъ, короткія встрѣчи.

— Только? Этого не знаетъ никто?

— Кромѣ васъ.

— О, вѣрьте мнѣ! Счастливецъ онъ! И я счастливица,—теперь, неправда ли, вы будете часто пріѣзжать?..

— Никогда больше въ жизнь мою. Здѣсь невыносимо. Притворяться я не могу... Не ходите въ паркъ, я пойду съ нимъ одна. Если вы будете съ нами, никто ничего не скажетъ, но я не хочу вводить васъ въ ложь, заставляться вами; вы подумаете обо мнѣ дурно и будете въ правѣ. Вы одиноки... а я умѣю быть одна. Я васъ уважаю и не хочу быть передъ вами виновата. Прощайте...

— Пусть онъ васъ любитъ, какъ я васъ люблю! вскричала молодая дѣвушка, удержавъ ее, чтобъ обнять еще разъ.

Катерина сбѣжала съ лѣстницы. Ей вдругъ стало легче. Первое искреннее слово будто отогнало колдовство, которое ее опутывало.

— Люблю и говорю, что люблю, повторила она твердо. Онъ просилъ счастья на одинъ день—ему вся моя жизнь! И этотъ день нашъ первый день... Но возьму же и я его себѣ наконецъ! и я хочу веселья, и я хочу счастья...

Она вспыхнула и выбѣжала на террасу.

— Здравствуй!

— Наконецъ! сказалъ Верховскій.—Ты одна?

— Да. Она не придетъ. Пойдемъ.

— Куда?

— Куда хочешь.

Они схватились за руки, сошли съ террасы, спѣша оба, дошли до аллеи и обнялись, обнимались долго, безумно, безъ счета, забывая все, будто весь міръ и вся жизнь кончены на этомъ мѣстѣ, понимая одно—что это они и что они любятъ. Первыя минуты любви, первыя минуты счастья, страсть, чистота, прелесть, вѣра, сіяніе—чудесный сонъ, единственный, неповторяемый въ жизни...

Они шли, не оглядываясь, куда шли; говорили, не зная, что говорили; повторялись ласки, нѣжныя имена, то дѣтски веселый смѣхъ, то замирающій шопотъ; сорванные цвѣты терялись по дорогѣ. Все было такъ хорошо кругомъ,—далекій крикъ птицы, къ которому она прислушивалась, зеленая полутѣнь листвы на ея бѣломъ платьѣ, высокое-высокое небо надъ высокими вершинами, въ которое она смотрѣла, закинувъ голову...

— Катя, ты упадешь! вскрикнулъ Верховской.

Она придержалась за его руку и все смотрѣла.

— Люблю это, сказала она.

— Не говори ничему, что любишь! Я не дамъ тебѣ любить ничего!

— О, нѣтъ, отвѣчала она, качнувъ своей поднятой головой.

— Что ты сказала? Нѣтъ? Но что же ты можешь любить больше меня?

— Все, отвѣчала она.

— Больше меня?..

— Я тебя люблю много, но чувствую, что могу полюбить еще больше; стало быть...

— Стало быть, можешь любить и поменьше?

— Нѣтъ. Я могу только разлюбить совсѣмъ.

— Катя!..

— А всего я не могу ни сильнѣе полюбить, ни разлюбить.

— Катя, да чего-жъ ты отъ меня хочешь?

Она оглянулась на него.

— Посмотри, сказала она:—какъ все велико и какіе мы маленькіе.

— Да лучше-то нашей любви есть тутъ что нибудь? вскричалъ Верховской, схватывая ее въ объятія. — Надъ тобой власти не было, мечтательная голова! Что обѣщаетъ — разлюбить! Ты лучше вели мнѣ сейчасъ умереть! Ты чего-жъ хочешь...

— Хочу, чтобъ ты ожилъ, прервала она.

— А я не могу жить безъ твоей любви. Понимаешь? Что мнѣ остается, что, скажи, разбери, — ты все разбираешь!.. Не мучай; такъ злые дѣлаютъ, — дадутъ минуточку, а тамъ что нибудь на голову обрушатъ. Это называется—кокетство. Понимаете?

— Это вздоръ, сказала она небрежно.

— Повтори, ради Бога, какъ ты это сказала! вскричалъ онъ, безумный отъ восхищенія.—Какъ ты хороша? Не думай ничего, я не хочу думать, день мой — вѣкъ мой... Катя, это мой первый день! Что за блаженство! Долго не приходило, зато, какое пришло! Я во снѣ не видывалъ,—а ты видала? Скажи, что ты думала обо мнѣ? Перескажи еще, ну, какъ тогда, въ тотъ вечеръ, какъ я ушелъ, какъ это пришло тебѣ въ голову?

— Не хочу думать... вдругъ сказала она и побѣжала.

Верховской догналъ ее на полянкѣ у самаго конца парка. Солнце уже было высоко; вдали, все поднимаясь въ гору, шло поле, серебрились овсы, краснѣли овраги, знойно синѣлъ лѣсъ; тяжелыя полдневныя облака клубились грозно...

— Ахъ, славно, сказала Катерина, передохнувъ и прикрывая глаза рукою.

— И вѣчно безъ шляпки, вѣчно безъ зонтика, сказалъ Верховской.

— Это вамъ столичнымъ; вы пользуетесь воздухомъ по обязанности, по глоточку, а нашей сестрѣ, деревенской дѣвкѣ... возразила она, накидывая на голову бѣлый шарфъ изъ той же кисеи, какъ ея платье. — Вотъ; лишь бы глаза не жгло. Скоро сѣнокосъ. Ахъ, хорошо сѣно убирать, пѣсни пѣть...

— Ты поешь?

— Какую хочешь пѣсню. Вотъ, я тогда ходила въ деревню, пѣла.

— Жарко, Катя, пойдемъ.

— Постой, тутъ лучше. Ну, что твой чищенный паркъ... Господи, и подумать только, что все-то это — неволя! человѣкъ — Богъ надъ человѣкомъ... Колокольчикъ? слышишь, подъ горой?

— Слышу. Сейчасъ проѣдутъ мимо.

— Почтовый? курьерскій? на проселокъ?

— За тобой, бунтовщица. Тебя и отецъ такъ называетъ.

— Называетъ, да не такъ... Я хочу посмотрѣть, кто ѣдетъ.

Она вбѣжала на валъ, которымъ былъ окруженъ паркъ; Верховской за нею. Изъ-подъ горы на-вынось поднялся маленькій тарантасъ и ѣхалъ рядомъ, у канавы.

— Стой! раздался голосъ. — Здравствуйте Андрей Васильевичъ!

Изъ тарантаса выскочилъ Лѣсичевъ.

— Ступай себѣ, я дойду пѣшкомъ, закричалъ онъ извозчику и перепрыгнулъ канаву.

Верховской потерялся. Неожиданность, смущеніе самое глупое, злость отняли у него всякое слово. Онъ сейчасъ столкнулъ бы Лѣсичева въ канаву, когда тотъ взбирался на валъ, — по долгу гостепріимства пришлось протянуть руку. Катерина казалась спокойна, только поблѣднѣла.

— Я зналъ, что вы здѣсь, Катерина Николаевна, сказалъ Лѣсичевъ: — и, подъѣзжая, былъ почти увѣренъ, что васъ первую встрѣчу, — предчувствіе! Я сюда гонцомъ, впрочемъ, и по собственному желанію. У меня къ вамъ письмо отъ Волкарева, Андрей Васильевичъ. Онъ хотѣлъ посылать нарочнаго; я только что вчера вечеромъ воротился изъ поѣздки и предложилъ себя. Вотъ вамъ посланіе, а это—супругѣ. Гдѣ она? Вѣроятно, не здѣсь?

— У обѣдни, съ Лидіей Матвѣевной, отвѣчала Катерина.

Верховской еще не могъ говорить. Лѣсичевъ взглянулъ на него.

— Обѣихъ нѣтъ? Ну, вообразите же, что я въ этомъ былъ увѣренъ... Андрей Васильевичъ, я попрошу васъ объяснить мнѣ путь къ дому, а въ домѣ назначить мѣсто, гдѣ я могу привести въ порядокъ мою особу; я, вѣдь, ѣхалъ съ зари.

— Путь къ дому не близокъ, сказалъ Верховской:—вы, пожалуй, заблудитесь. Я самъ еще плохо знаю эти мѣста.

— Такъ, что, выходитъ, вы сами заблудились и можно ожидать спасенія, только когда Лидія Матвѣевна воротится и пошлетъ васъ отыскивать?

Катерина осмотрѣлась кругомъ.

— Пойдемте прямо полянкой, сказала она: — вотъ, тотъ лѣсокъ долженъ примыкать къ крытымъ аллеямъ, а за ними сейчасъ цвѣтники. Это совсѣмъ близко.

— Какъ вы рѣшительны, Катерина Николаевна! Надо спросить хозяина; тамъ могутъ быть канавы, западни...

— Вы хорошо прыгаете, сказала Катерина.

— А западни — дѣлать нечего, попадемся всей компаніей? Извольте, съ вами куда угодно. Позвольте же вашу руку... Андрей Васильевичъ, вы не очень любопытны узнать, въ чемъ заключается посланіе, стоившее мнѣ безсонной ночи, скачки сломя голову...

— И удовольствія быть здѣсь, договорилъ Верховской.

— Каково? обратился Лѣсичевъ къ Катеринѣ: — сразу доказано, что я же неблагодарный!.. Виноватъ, Андрей Васильевичъ. Здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, прекрасно; вижу, что вы блаженствуете, но что же другимъ...

— Другіе могутъ любоваться, отвѣчалъ Верховской.

— О, великодушный человѣкъ, онъ разрѣшаетъ! Такъ ужъ я покаюсь, что полюбовался прежде разрѣшенія... Какъ здоровье Лидіи Матвѣевны? Да! теперь у насъ, тамъ, все приняло грозно-воинственный видъ. Но вамъ Марья Васильевна, вѣроятно, ужъ все разсказала. Я вчера, что пріѣхалъ, то въ клубѣ проигрался. Исторія въ клубѣ великолѣпная...

Онъ разказывалъ, покуда шли. Верховской былъ радъ его болтовнѣ, дававшей время оправиться. Ему было досадно на себя; тридцатилѣтній, онъ смущался какъ мальчишка, отъ роду не бывшій въ подобномъ положеніи. Просто совѣстно. И еще бы передъ кѣмъ нибудь, а то передъ провинціальнымъ фатомъ... Верховской старался оживиться, не соображая, какъ замѣтна эта неровность расположенія духа, не разсчитывая, на долго ли ея станетъ. Катерина молчала. Лѣсичевъ много смѣялся. Всякій, только не Верховской и не Катерина, понялъ бы, что онъ хохочетъ не спроста.

— Наконецъ-то, Катерина Николаевна! сказалъ онъ, уходя съ нею впередъ по узкой дорожкѣ. — А вы и не спросите, вы и не пожалѣете, что я погибалъ въ уѣздѣ цѣлыя двѣ недѣли! Вы и не вспомнили обо мнѣ!

— Нѣтъ, вспоминала.

— Только не вчера и не сегодня?

— Нѣтъ, и вчера, и сегодня.

— Возможно ли?

— Да. Здѣсь безпрестанно говорили о томъ времени, какъ вы веселились въ N*.

— И къ слову, поминали меня. Ну, и что же?

— Это мнѣ надоѣло.

— Я не привязываюсь къ выраженію, понимаю, что вамъ надоѣли N-скія увеселенія, а не напоминанія обо мнѣ.

— Хорошо дѣлаете, что понимаете какъ слѣдуетъ.

— Но, согласитесь, можно понять и иначе. Вы могли подумать и другое.

— Тогда бы я прямо сказала.

— Неужели, Катерина Николаевна? Неужели вы прямо сказали бы мнѣ, что я вамъ надоѣлъ?

— Сказала бы.

— Знаете ли, что вы дѣлаете? спросилъ онъ, понижая голосъ, настойчиво и серьезно.

— Знаю: я съ вами откровенна.

— Вы меня съ ума сводите.

— Какой вздоръ! сказала она, также тихо и очень серьезно.

— Извините, рѣзко возразилъ Лѣсичевъ:— а этотъ вашъ отвѣтъ — ужъ просто кокетство.

— Что это, вскричала она съ досадой:— все кокетство,да кокетство на всякомъ словѣ!

— «На всякомъ словѣ»... повторилъ онъ тихо и закусилъ губы. — Я позволю себѣ оправдываться, Катерина Николаевна: я еще никогда не осмѣливался сказать вамъ этого слова.

Катерина смутилась, промолчала и, войдя въ домъ, ушла въ свою комнату, не останавливаясь. Въ залѣ, m-lle Роше разбирала свои рисунки. Лѣсичевъ поздоровался нецеремонно любезно, говорилъ, по обыкновенію, много; въ немъ кипѣла досада и хотѣлось скорѣе опредѣлить ее и сорвать на чемъ нибудь.

— Вы, кажется, работали? спросилъ онъ m-lle Роше.

— Нѣтъ, ничего не сдѣлала, все не выберу; хотѣлось бы срисовать что нибудь особенно хорошенькое.

— Сдѣлайте портретъ m-lle Багрянской.

— Да, въ самомъ дѣлѣ! подхватилъ Верховской.

— Осмѣлюсь ли я, возразила m-lle Роше:— это головка Леопольда Робера!

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ! повторилъ Верховской:—вотъ, сейчасъ, въ бѣломъ... Такъ вотъ почему...

Онъ удержалъ свой восторгъ, заторопился, постарался принять серьезно-равнодушный видъ знатока-любителя и обратился къ Лѣсичеву.

— Художники создаютъ свои идеалы все изъ той же дѣйствительности. Когда я въ первый разъ увидѣлъ m-lle Багрянскую, мнѣ вспомнилось что-то знакомое, что я уже видѣлъ прежде...

— Очами души вашей, досказалъ Лѣсичевъ:—такъ, что идеалъ... Какъ вы назвали художника, mademoiselle?.. его идеалъ и вашъ — оказались одинъ и тотъ же.

— У меня—только воспоминаніе, идеалъ-то—вашъ, возразилъ, смѣясь, Верховской.

— Нѣтъ, я не создаю себѣ идеаловъ.

— Почему? спросила m-lle Роше.

— Я не художникъ... не гонюсь за недостижимымъ...

Лѣсичевъ ушелъ одѣваться и раздумывалъ...—Пріятель дорогой, такъ вотъ вы какъ, въ тихомолку? Штука недурная—очарованъ, влюбленъ. Чего-жъ очевиднѣе: сейчасъ застали ихъ вдвоемъ. Если бы да привести супругу!

Лѣсичевъ хохоталъ одинъ и бѣсился. Онъ чувствовалъ рѣдко, думалъ еще рѣже, поступалъ — какъ случалось; до отказа Катерины у него не было опредѣленной любви къ ней, до настоящей минуты у него не было опредѣленной ревности. Теперь поднималось—онъ самъ не зналъ что,—любовь, ревность, досада, самолюбіе, — больше всего досада на самого себя, что еще прежде, раньше, давно, не постарался онъ провѣрить своихъ смутныхъ догадокъ. Такъ Верховской влюбился еще тогда... когда? неужели съ первой минуты? О, жалкій человѣкъ, какъ обрадовался красавицѣ! И какъ замѣтно, что это — первое уклоненіе... Ужъ не оказать ли дружеской услуги, не обратить ли вниманіе милой Лидіи Матвѣевны на эту юношескую шалость? Наслажденіе! Добродѣтель зашипитъ, позеленѣетъ, поднимется на каблучкахъ, засверкаетъ ехидными глазками... И выдать ей Катерину?.. Ну, нѣтъ, madame Верховской, извините, c'est trop beau pour vous! Это можно и самому помучить... Кто бы могъ подумать—Катерина! Шутитъ она, что ли? Немного рискованно кокетничать съ другимъ въ глазахъ только что отставленнаго жениха; слишкомъ смѣло... Или отъ нея это станется? Отъ нея, пожалуй, все станется!

Катерина показалась ему еще привлекательнѣе отъ этой мысли, но тѣмъ возможнѣе уступить другому. И еще кому же! Изъ всѣхъ N-скихъ молодыхъ людей, изъ всѣхъ знакомыхъ, Лѣсичевъ менѣе всего былъ расположенъ уступать Верховскому. Лѣсичевъ не сознавался, конечно, что завидуетъ всему—состоянію, значенію, наружности Верховского, даже ничтожнымъ успѣхамъ въ N-скихъ салонахъ, гдѣ появленіе изящнаго петербуржца отдаляло въ тѣнь провинціала; не сознавался, что ему было пріятно принадлежать къ короткимъ знакомымъ богатаго барина, и пріятно знать, что были люди этому, въ свою очередь, завидующіе. Сознаваться въ зависти—невозможно; испытывая и проявляя ее, должно объяснять ее чѣмъ случится ловчѣе... Въ настоящую минуту, Лѣсичевъ говорилъ себѣ, что досадно видѣть, какъ такая умница, какъ Катерина, теряетъ время съ такимъ пустѣйшимъ человѣкомъ. Надо ей глаза открыть, пусть разглядитъ

кого выбрала. Такой господинъ, если бы и не въ шутку влюбился, не выйдетъ изъ воли своей супруги. Что-жъ это за глупая комедія? Показать е й хорошенько, какъ все это смѣшно, какъ сама о н а оказывается смѣшна—ея самолюбіе заговоритъ. Показать ей, что если она такъ легко кокетничаетъ, то, тоже вовсе не трудно, тутъ же, при ней, на зло ей, полюбить первую женщину, какая встрѣтится. Идеальничанье въ сторону; она самолюбива, она этого не выдержитъ; только такъ говорятъ женщины, будто для нихъ ничего не значитъ измѣна поклонника; неправда: очень и очень тяжела... Съ одной стороны безхарактерный вздыхатель подъ огнемъ Лидіи Матвѣевны, съ другой — человѣкъ, который прежде любилъ, теперь смѣется... Не выдержитъ, отступится!..

— Не надо только ихъ съ глазъ спускать... заключилъ онъ свои размышленія.

Онъ особенно позаботился о своемъ туалетѣ и веселый, напѣвая, сошелъ въ гостиную. Обѣ дѣвушки были тамъ. Верховской спросилъ завтракать. По общей участи всѣхъ, кто живетъ въ обществѣ, гдѣ по привычкѣ притворяются, машинально снисходятъ къ тому, надъ чѣмъ за минуту негодовали, негодуютъ изъ ложнаго самолюбія, молчатъ изъ ложнаго стыда, гдѣ нѣтъ разрывовъ, потому что нѣтъ сближеній—эти люди, которые оба могли бы прямо сказать, что терпѣть не могутъ одинъ другого, еслибъ не боялись словъ, подали другъ другу руки, разговаривали оживленно. Уходя курить на террасу, они даже сочли обязанностью завязать разговоръ серьезнѣе, сообщить другъ другу политическія извѣстія, не подавая вида, что тяготились, Верховской — собесѣдникомъ, Лѣсичевъ—предметомъ бесѣды. Лѣсичевъ озабоченно спросилъ его, получилъ ли онъ порученіе, котораго ожидалъ изъ Петербурга. Верховской серьезно отвѣчалъ, что нѣтъ еще. Лѣсичевъ задумался и, помолчавъ, сказалъ, что ѣздилъ въ уѣздъ тоже по важному порученію.

— Что нибудь помѣщичье?.. Или по рекрутству?

— Нѣтъ, кража огромная. Деньги пропали послѣ... послѣ какого-то покойника. Наслѣдники жаловались, дошло до Петербурга. Подозрѣваются чиновники, составлявшіе опись имущества; нашлись какіе-то билеты...

— Что же вы сдѣлали?

— Я?.. Ничего. Я собственно и не былъ для этого посланъ; тамъ ужъ есть, безъ меня, чиновникъ. Я письмо отвезъ отъ Волкарева... Ну ихъ совсѣмъ! вдругъ воскликнулъ Лѣсичевъ, не выдержавъ больше и прерывая самъ себя.—Дѣло это близко къ сердцу принимаетъ нашъ Алексѣй Владиміровичъ; сердце у него нѣжное, отчасти родительское. Исправникъ этотъ ему, кажется, крестникъ; онъ его привезъ съ собой, какъ пожаловалъ сюда на царство; малый очень порядочный... Такъ было глупо, неловко. Постоялые дворы—грязь. Я остановился у него, бились съ нимъ въ пикетъ немножко; онъ меня познакомилъ; тамъ у нихъ госпожа одна. Хохотали. Ну, конечно, понятно, что Марья Васильевна волнуется, когда Алексѣй Владиміровичъ отправляется въ тѣ края на ревизію...

Стукъ шарабана и кареты, наконецъ, возвѣстилъ о возвращеніи хозяйки.

— Ахъ, мы объѣлись, объѣлись! кричала еще съ крыльца Лидія Матвѣевна. — Мы объѣлись! повторяла она, входя въ комнаты. Ah, m-r Лѣсичевъ, quel heureux hasard! Мы сейчасъ кутили... N'est ce pas, Marie, que c'était charmant?

— Oui... выговорила m-me Волкарева, отдавая Верховскому свою шляпку:—j'étouffe.

Аннета, задыхавшаяся не менѣе, убѣжала, едва войдя и увидя Лѣсичева, утѣшая себя, что изъ-за вуаля онъ не успѣлъ разсмотрѣть, что сдѣлалось съ ея лицомъ отъ полдневнаго жара, пыли и досады.

— Нѣтъ, я молодцомъ! продолжала кричать Лидія Матвѣевна. — Figurez-vous, m-r Лѣсичевъ, мы отъ обѣдни зашли къ моему мужику, къ мельнику, и c'est drôle, ужъ у него обѣдъ готовъ. Постъ у нихъ, но какая уха! На наше счастье—пироги безъ начинки,—мы это все, все въ одинъ мигъ, Григорій Ивановичъ, дѣти...

— Это ему за наказаніе, Лидія Матвѣевна, сказалъ Духановъ:—потому, ваша рыба, ваша мука... Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, обратился онъ къ присутствующимъ,—пшеницы онъ не сѣетъ; станетъ онъ себѣ крупчатую муку покупать?.. я вамъ про него еще тогда говорилъ...

— Я теперь вижу сама. Мнѣ говорили, что этотъ мельникъ одинъ не бунтовалъ, когда тутъ всѣ... Потому я и была съ нимъ такъ...

Она замѣтила, что ее не слушаютъ, и обратилась къ Катеринѣ.

— Много потеряли, что не пошли съ нами. Вотъ, что значитъ не молиться Богу. Прокатились бы, un déjeuner charmant...

— По случаю котораго здѣсь вы ничѣмъ не распорядились... тихо сказалъ ей, подходя, Верховской.—Будетъ ли что обѣдать, по крайней мѣрѣ?

— Для кого же здѣсь было...

Онъ не слушалъ и вышелъ.

— О, Боже, какія шутки... сказала Лидія Матвѣевна, посмотрѣвъ ему вслѣдъ и презрительно покачивая головою.—M-r Лѣсичевъ, подите сюда.

Лѣсичевъ въ это время передалъ m-me Волкаревой письмо ея мужа; она ушла читать его на террасу; онъ подошелъ.

— Что прикажете?

— Вы таки пріѣхали?

— Вы позволили, отвѣчалъ онъ съ легкимъ поклономъ.

— То-то же... Ахъ, не уходите, ma chère, вы мнѣ добро сдѣлаете, если со мной останетесь, сказала она, удержавъ Катерину.— Вы, конечно, незнакомы?..

— Давно имѣю эту честь, отвѣчалъ онъ.

— Ну, и прекрасно... Чему смѣетесь, злой человѣкъ? Мнѣ за васъ досталось, знаете ли вы это? За васъ, indigne que vous êtes. Такая была сцена!!..

— О небеса! отъ кого же?

— Отъ кого же больше, отъ изверга, отъ André! Il devient livide, quand il est jaloux... Вы еще хохочете!

— Въ счастьи не плачутъ, Лидія Матвѣевна... Но мы говоримъ такія ужасныя вещи при Катеринѣ Николаевнѣ...

— Такъ что же? Restez, restez, ma chère, это вамъ полезно. Во-первыхъ, вы должны знать, что André необыкновенно пылокъ и такъ страстно въ меня влюбленъ...

Лѣсичевъ смотрѣлъ на Катерину; она встала.

— Извините, сказала она, освобождая свою руку, за которую Лидія Матвѣевна не переставала держаться:—я не вижу никакой надобности это знать.

— Quelle pruderie! Такъ вы, стало быть, не понимаете ревности? Это потому, что у васъ нѣтъ хорошенькаго мужа. Ахъ, какъ бы я васъ помучила! Вотъ, спросите m-r Лѣсичева, какое это наслажденіе мучить ревнивыхъ!

— А если бы васъ самихъ помучить? сказалъ Лѣсичевъ:—отнять у васъ вашего André?

— Какъ онъ смѣетъ? вскричала Лидія Матвѣевна: — онъ съума не сойдетъ, онъ знаетъ...

Катерина была ужъ на террасѣ.

— Passablement sotte, сказала ей вслѣдъ Лидія Матвѣевна.—Не умѣетъ сказать двухъ словъ. Ну, и пускай занимается съ дѣтьми. Вотъ, позвала Валентину. Я рада, что мальчики съ Григоріемъ Ивановичемъ: Элимъ его такъ полюбилъ; онъ такъ умѣетъ ему угодить...

— Вы предложили бы ему совсѣмъ остаться у васъ, для мальчиковъ, сказалъ серьезно Лѣсичевъ.

— Я ужъ думала... Ахъ, но что же это вы заговорили со мной о дѣтяхъ...

M-me Волкарева, на террасѣ, перечитывала письмо своего мужа; оно ее сильно затрудняло. Ей поручалось упросить Верховского пріѣхать какъ можно скорѣе въ N*, хоть сегодня же, съ Лѣсичевымъ—но ни Лѣсичеву, ни кому не говорить объ этомъ приглашеніи. «Устройте это какъ знаете, прибавилъ супругъ—а сами можете оставаться въ Спасскомъ сколько хотите и обѣ мнѣ не безпокойтесь». Съ послѣднимъ m-me Волкарева была совершенно согласна, но оставаться въ Спасскомъ, когда уѣдетъ Верховской и даже Лѣсичевъ!.. И такъ уже цѣлый день она испытывала одни лишенія и разочарованія...

Катерина уходила въ садъ съ дѣвочкой. Верховской показался изъ дверей залы. M-me Волкарева позвала его и прочла ему письмо.

— Ахъ, я получилъ тоже... припомнилъ онъ вдругъ и досталъ свое: въ немъ было приглашеніе пріѣхать, короткое, но очень настоятельное; причина необходимости свиданія не объяснялась, но, вѣроятно, она была, потому что Волкаревъ не шутилъ и не любезничалъ.

— Что же вы рѣшаете? спросила m-me Волкарева.

— Можетъ быть, Алексѣю Владиміровичу очень меня необходимо, но... но я не могу уѣхать, пока вы здѣсь, сказалъ онъ.

— Тише... Такъ мы уѣдемъ вмѣстѣ?

— Да, только не сегодня. Пусть Лѣсичевъ уѣзжаетъ одинъ.

— А потомъ... но предлогъ для васъ?

— Всегда найдется! отвѣчалъ онъ весело.

— О чемъ вы тутъ толкуете? спросила, являясь, Лидія Матвѣевна.

M-me Волкарева переконфузилась, стала говорить и наговорила, чего не хотѣла: выразила безпокойство о здоровьи своего мужа... онъ не писалъ ничего, но между строками она прочла, что онъ страдаетъ; она лгала и недостало смѣлости сразу долгать до конца; грѣхъ, — но не весь же вдругъ; понемножку онъ дѣлается какъ-то самъ собою и не чувствуется. Она такъ спуталась въ томъ, что выдумывала, Верховской былъ такъ замѣтно нетерпѣливъ, что Лѣсичевъ сообразился и вступился.

— Я посылаю на станцію себѣ за лошадьми; прикажете ли и для васъ?

— Ахъ, нѣтъ, вскричалъ Верховской.

— Я не знаю... выговорила m-me Волкарева.

— Non, ma chère, ужъ столъ готовъ! я сейчасъ зову Григорія Ивановича, достану новыя карточки... André, ты долженъ меня поддержать!

Она побѣжала распоряжаться.

— Алексѣй Владиміровичъ просилъ меня воротиться сегодня... настаивалъ Лѣсичевъ.

— Но Марья Васильевна пробудетъ сколько захочетъ доставить намъ удовольствія! возразилъ Верховской.

— Я проводилъ бы васъ...

— Могу проводить и я!

— Но вы безпокоились за Алексѣя Владиміровича...

— Забудьте этотъ несносный супружескій долгъ! вскричалъ Верховской.

— Ah, vous êtes fou!

— Вы остаетесь? Согласны?

— Согласна, сказала она, давая ему поцѣловать свою ручку.—Grand Dieu, что мы дѣлаемъ?

— Живемъ! отвѣчалъ Верховской восторженно.

— Боже! вскричалъ Лѣсичевъ: — когда въ глазахъ моихъ осмѣиваютъ и забываютъ такой священнѣйшій долгъ, что-жъ я буду такое, если не съумѣю забыть — ну, хоть долгъ службы? Вы не ѣдете, Марья Васильевна? И я остаюсь!

Былъ маленькій промежутокъ молчанія.

— Вотъ это по-дружески, сказалъ Верховской:—я иду сказать женѣ.

— Для кого вы дѣлаете эту глупость, Лѣсичевъ? строго спросила m-me Волкарева, когда они остались одни.—Я понимаю, зачѣмъ вы прискакали сюда слѣдомъ...

— Проницательность на этотъ разъ вамъ измѣняетъ, возразилъ онъ почтительно:—я повинуюсь вашимъ совѣтамъ, и если вамъ будетъ угодно наблюдать за моимъ поведеніемъ...

— Въ самомъ дѣлѣ? А, такъ это очень умно и, для Верховского, точно, по-дружески.

— Послѣднее совершенно справедливо.

— Она добрая дѣвушка. Родные поручили ее пристроить...

— Я давно понялъ: косвенный налогъ на Верховского, за всѣ дядюшкины милости.

— Вы неисправимы, Лѣсичевъ!.. Исправьте его, ma toute belle, прибавила она, обращаясь къ входившей Аннетѣ.

Лидія Матвѣевна находила, что день идетъ очаровательно. Не успѣвъ съ утра засадить свою гостью за карты, она предложила ей осмотрѣть коверныя, швейныя и прочее. M-me Волкарева напомнила себѣ объ осторожности, объ «опасности раздражать, подать подозрѣніе», и, терпѣливо отложивъ удовольствіе до болѣе удобнаго времени, отправились съ хозяйкой въ обходъ. У нея была надежда встрѣтить гдѣ нибудь Верховского, который, конечно, не встрѣтился. Лѣсичевъ тѣмъ временемъ пересмотрѣлъ по десяти разъ всѣ мелочи рабочаго ящика Аннеты и понялъ все устройство ея прически. Аннета вспомнила екатерингофскія гулянья; Верховской заглянулъ на минуту, убѣдился, что тутъ заняты, отправился въ садъ, но не пошелъ дальше террасы. Лѣсичевъ услышалъ его восклицаніе:

— А я вездѣ искалъ!

Правда, въ цвѣтникѣ бѣгала съ обручемъ дочка; вѣроятно, по близости была и гувернантка — но все-таки они были одни. Что говорили—разобрать было невозможно—но говорили по-русски и Лѣсичевъ ясно слышалъ голосъ Катерины.

Онъ спросилъ себя: за какую вину принялъ добровольно это наказаніе, — вотъ, эти наблюденія, — но оторваться не могъ. Въ чемъ еще убѣждаться? Это ужъ не одно кокетство. Ну, поговорила, пошутила, подразнила жену—и довольно. Нѣтъ,—цѣлый часъ сидятъ... О чемъ философствуютъ?.. А немудрено, что и въ самомъ дѣлѣ только философствуютъ. У Верховского, чтобъ пойти дальше, не достанетъ ума; у нея... да у нея, просто, не достанетъ сердца!.. Однако, говорила съ женой, въ лицѣ измѣнилась...

Дамы возвратились со свертками лоскутьевъ. M-me Волкарева, приходя въ ужасъ при мысли о картахъ, предложила Лидіи Матвѣевнѣ дѣлать корпію.

— C'est amusant, и не устаешь, говорила она, зная, что этотъ доводъ лучше всякихъ чувствительностей, но не выдержала при Лѣсичевѣ и прибавила со вздохомъ: — это заслуга!

— Ахъ, да, въ самомъ дѣлѣ, вскричала Лидія Матвѣевна: — у меня множество лоскутьевъ, раздамъ щипать всѣмъ дѣвчонкамъ, пошлю черезъ oncle Зурова—мнѣ фермуаръ дадутъ!

M-me Волкарева взялась распоряжаться работою; Лидія Матвѣевна позвала m-lle Роше и Валентину, всѣ усѣлись вокругъ стола и m-me Волкарева, восхищаясь, какъ это весело, повторяла, что не достаетъ только чтенія. Лидія Матвѣевна объявила, что зимою будетъ богата «en fait de littérature»: вотъ, эти старыя книги, что отыскалъ Андрей Васильевичъ, она ихъ всѣ сдастъ знакомому букинисту и промѣняетъ на что угодно; прежде всего—полную коллекцію всѣхъ «Mystères»; изъ нихъ есть запрещенныя, все равно, ей достанутъ.

— Я ихъ обожаю! женщина можетъ все читать, повторяла она.

Былъ маленькій литературный споръ: m-me Волкарева признавала существованіе драмъ и ужасовъ въ жизни, но въ книгахъ предпочитала описанія тихаго счастья, мечтаній, безмолвныхъ томленій любви. Лидія Матвѣевна, напротивъ, любила бури. Она не вѣрила, чтобъ въ жизни что нибудь могло случаться, но была убѣждена, что въ «Мистерахъ» все то описано, что на самомъ дѣлѣ бываетъ.

— Андрей Васильевичъ много читаетъ?

— Не знаю. И если читаетъ, то все прескучное...Но, ma bonne, мы такъ толкуемъ много, что сами, пожалуй, сдѣлаемся des bas bleus... А кстати, гдѣ же эта... m-lle Багрянская?

— Она ушла въ аллею съ папа, отвѣчала Валентина.

— Какъ она дурна, замѣтила Лидія Матвѣевна.

— Кто дурна? Катерина Николаевна? вскричалъ Лѣсичевъ.

Лидія Матвѣевна подтвердила это съ сильными доказательствами. Аннета, хотя сдержаннѣе, была того же мнѣнія. M-me Волкарева, улыбаясь, замѣтила, что и въ N* это мнѣніе—общее, и что Лѣсичевъ противорѣчитъ себѣ изъ каприза. Лѣсичева взяла досада; онъ обратился къ m-lle Роше. Но m-lle Роше еще серьезнѣе и равнодушнѣе всѣхъ объявила, что хотя черты лица m-lle Багрянской и правильны, но слишкомъ грубы, а это еще хуже, потому что не можетъ никогда нравиться.

— Вотъ, наконецъ, умно! вскричала торжествуя, Лидія Матвѣевна:—стало быть, вы можете быть умны, когда захотите!

— Сужденіе художницы... замѣтила m-me Волкарева, одобрительно и тонко улыбаясь.

— И это вы говорите?... спросилъ пораженный Лѣсичевъ.

— Я, отвѣчала увѣренно m-lle Роше и какъ-то мелькомъ на него взглянула.

Лѣсичевъ замолчалъ, потомъ вдругъ спохватился... Ахъ гадкая дѣвчонка! да она попросила не выдавать, она съ ними заодно, она отводитъ глаза супругѣ... да что же это такое? Стало быть, помогаетъ? Стало быть той, при всей ея храбрости, понадобилась помощь? Вотъ она, строгость понятій, человѣческое чувство, истинное чувство, чортъ знаетъ что!. Ужъ свела дружбу, ужъ чѣмъ нибудь отуманила эту дурочку... А клялась, что не умѣетъ притворяться... Да чего-жъ тутъ еще ждать, чего тутъ наблюдать,—когда ужъ завелись помощницы! Но вѣдь она не младенецъ въ двадцать два года,—она-то чего ждетъ,—онъ женатъ! И что нашла въ немъ?

Лѣсичеву вдругъ, какъ женщинѣ, мелькнула привлекательность Верховскаго; красивъ, богатъ...

Его душило въ горлѣ; онъ всталъ.

Низость! На средства жены... А она! Это называется честность, это называется восторженность.. Это она, Катерина?.. Влюбилась, увлекается... нѣтъ, она понимаетъ, что дѣлаетъ!.. Одумается?.. Да хоть бы сто разъ одумалась! Послѣ Верховского...

— Но Лѣсичевъ, подите же къ намъ; въ глазахъ мелькаетъ отъ вашей прогулки, сказала m-me Волкарева, начинавшая тосковать. — Вы лучше сказали бы намъ сказку.

Онъ оглянулся, одурѣлый.

— Сказку? извольте, хоть десять.

Онъ принялся болтать пошлости, не задумываясь, не разбирая, не выбирая строго предметы своихъ разсказовъ. Лидія Матвѣевна закатывалась отъ смѣха; m-me Волкарева сначала недоумѣвала, потомъ не желала выказать излишней pruderie, наконецъ, увлеклась сама. Строгія приличія не такъ щекотливы, какими желаютъ себя выставить, и часто не только не гнѣваются, но довольны, когда ихъ оскорбляютъ. Плоская, грязноватая шутка сходитъ съ рукъ, имѣетъ успѣхъ, подъ предлогомъ дружеской нецеремонности: сказать нечего, соврался вздоръ. Слушатели хохочутъ, хохочетъ и сказавшій, — можетъ быть, нѣсколько и презираетъ ихъ, но во всякомъ случаѣ беретъ къ свѣдѣнію, что тутъ все врать можно. Лѣсичевъ только говорилъ по-русски, чтобъ не могла понять m-lle Роше; чего онъ совѣстился или чего боялся — онъ не разбиралъ; ему было неловко, онъ не смотрѣлъ на нее. Аннета была удивлена, что такъ много смѣются и, по обыкновенію, молчала; потомъ, эти разсказы напомнили ей много

водевилей, она почувствовала себя пріятно и вмѣшалась въ разговоръ, прибавляя смѣха своими, сначала искренними, а наконецъ, и сыгранными наивностями.

Всѣмъ было очень весело, когда вошли Верховской и Катерина.

— Ah, vous voilà! вскричала m-me Волкарева, не выдержавъ.

Лидія Матвѣевна такъ привыкла этимъ временемъ къ постоянному отсутствію своего мужа и такъ пріятно проводила свой настоящій часъ, что не подняла на входящихъ даже равнодушнаго взгляда. Ей даже было досадно, что они пришли: они прервали занимательный разговоръ. М-me Волкарева сдѣлалась томна, будто устала отъ смѣха, Лѣсичевъ пересѣлъ къ Аннетѣ и заговорилъ вполголоса, какъ будто только и ждалъ минуты, чтобъ ихъ бесѣдѣ не мѣшали другіе. Но, говоря, онъ слушалъ и видѣлъ. Верховской постарался нахмуриться, чтобъ принять свой привычный видъ, подошелъ медленно, заговорилъ принужденно. Катерина вошла, какъ всегда, не торопясь, серьезно, сѣла, посмотрѣла, что дѣлалось,— всѣ ея движенія были ровны; съ ней заговорили—тѣ же отвѣты безъ лишнихъ словъ, тотъ же звучный, отчетливый голосъ; только глаза не сіяли попрежнему; они смотрѣли кротко, отуманенные, въ нихъ горѣла какая-то искорка, которой Лѣсичевъ никогда не видывалъ прежде. Онъ смотрѣлъ на нее пристально. Она, спокойно, не опускала глазъ. Что-жъ это такое? Не умѣетъ скрываться или ужъ прямо хочетъ выставляться?.. Ему хотѣлось убить ее, обнять ее. Рѣзко отвернувшись, онъ опять заговорилъ съ Аннетой.

Катерина отказалась отъ общей работы. М-me Волкарева усадила Верховского подлѣ себя. Было невозможно говорить съ Катериной, невозможно безпрестанно смотрѣть на нее; отнималось послѣднее—счастье сидѣть рядомъ. Верховской принудилъ себя пристать къ разговору; ему скоро надоѣло. Кругомъ говорили; кажется, говорила и она; онъ сидѣлъ, опустивъ голову, слушалъ и не понималъ ни слова. Надъ нимъ будто еще шумѣли деревья, перебѣгали тучи и тѣни, гдѣто вдали тысячи нѣжныхъ звуковъ звенѣли и убаюкивали; глаза смыкались; вдругъ, сердце вздрагивало, истомленное, счастливое... Верховской взглядывалъ на нее, на ея лицѣ видѣлъ, что она думала о немъ, что они заодно переживали эти минуты. Но она смотрѣла тихо, серьезно и только разъ, чуть видно, ему улыбнулась. Улыбка скользнула мгновенно, какъ струя на водѣ, мгновенно исчезла, но этого было довольно: Верховской потерялся.

— Что?.. спросилъ онъ ее, встрепенувшись.

Лѣсичевъ не сводилъ съ него глазъ и захохоталъ.

М-me Волкарева вспыхнула: она только что кончила длинную тираду о правахъ женщинъ, назначавшуюся собственно для Верховского.

— Я ничего не сказала... отвѣчала, смутясь, Катерина.

— Вы очень разсѣянны, mon cousin, замѣтила Аннета. Она стала живѣе и смѣлѣе, оттого что съ нею занимался молодой человѣкъ.

— Онъ, просто, дремлетъ, сказала Лидія Матвѣевна:—съ нимъ это часто бываетъ.

— Не отрекаюсь, что случилось и теперь, отвѣчалъ съ досадой Верховской:—ты придумала такое снотворное занятіе...

— Не я, а Marie! вскричала, торжествуя, Лидія Матвѣевна.

Верховской опомнился, поддержалъ шутку надъ собою, дамы остались довольны, и все прервалъ докладъ объ обѣдѣ. Лѣсичевъ, будто нечаянно, уступилъ мѣсто подлѣ Катерины Верховскому, сѣлъ между Аннетой и m-lle Роше, любезничалъ, разговаривалъ безпрестанно, шалилъ съ дѣтьми, вообще будто взялъ на себя обязанность не давать замѣчать, что ѣлось и что дѣлалось.

Въ домѣ все нѣсколько затихло послѣ обѣда. Общество разошлось понемногу, поодиночкѣ, какъ всегда бываетъ, когда люди устанутъ другъ отъ друга и всякій, крадучись, бѣжитъ отдохнуть. Верховской оставилъ Лѣсичева у себя въ комнатѣ, ушелъ на террасу и бросился на диванъ.

Но онъ не усталъ и не отдыхалъ, онъ даже не замѣтилъ пошлой пустоты дня; чужія лица ему не надоѣли, — онъ видѣлъ только одно лицо; теперь—ея не было, но въ немъ была сила счастья, полнота, нѣжащая тревога всякаго ощущенія. Онъ смотрѣлъ вверхъ, въ небо, на карнизъ дома, по которому лѣпились ласточки; въ воспоминаніи, въ воображеніи мелькали, смѣнялись прелестные образы настоящаго, прошлаго, далекаго и вѣчно дорогого, слова, стихи затверженные еще ребенкомъ, что-то трогательное, чистое, свѣтлое какъ этотъ вечеръ; грудь дышетъ вольно, жизнь бьетъ ключемъ, и даже отраденъ, даже нуженъ, вотъ, такой

перерывъ блаженства, чтобъ можно было собраться съ мыслями... Но что сбирать.

Онъ закрылъ рукой свои влажные глаза и забывался.

Кто-то тронулъ его волосы. Еще зажмурясь, смѣясь, онъ поймалъ эти пальцы. Передъ нимъ стояла его жена.

— Ахъ, душка, ты одинъ! вскричала она въ восхищеніи и сѣла, не давая ему подняться. — А я думала... Послушай, душка, мы вчера съ тобой повздорили...

— Тебѣ что нужно? спросилъ онъ тихо.

— Поцѣлуй меня... Видишь, что. Мнѣ скучно, такъ вдругъ.

— Позволь мнѣ встать, сказалъ онъ. — Въ домѣ есть посторонніе; если ты тутъ начнешь что нибудь, не хорошо будетъ.

— Я ничего не начну, André, отвѣчала она кротко.—Мнѣ только очень скучно. Этого со мной никогда прежде не бывало. Не знаю что. Поцѣлуй меня.

— Уволь, не могу. Пусти меня.

Она все сидѣла, ломая пальцы. Верховской подумалъ, какъ это онъ сейчасъ не узналъ этихъ пальцевъ, унизанныхъ кольцами.

— Съ твоей стороны это отвратительно, сказала она, наконецъ.—Но ужъ будь увѣренъ, что я не дамъ тебѣ съ ней слова сказать.

— Съ кѣмъ?

— Съ вашей пріятельницей.

— Съ которой? Я, наконецъ, начинаю понимать, сказалъ онъ, непритворно равнодушно, но странно дразня самого себя.—Съ которой же? Ихъ здѣсь двѣ.

— Я слишкомъ уважаю себя, Андрей Васильевичъ, и не дура, не воображу, что, послѣ меня, вы можете влюбиться въ крестьянскую дѣвку.

— А, такъ губернаторша, сказалъ онъ, лѣниво поднимаясь:—ну, возьми ее себѣ.

— Божественный! вскричала Лидія Матвѣевна, бросаясь ему на шею.—Mais, Dieu, que tu es joli! что ты такое сегодня — картинка!.. Нѣтъ, право?.. и не говори—я тебѣ вѣрю!

— Какъ же это такъ, съ перваго слова? сказалъ онъ, находя какое-то удовольствіе въ этой игрѣ.

— André, вѣдь я тебя люблю, отвѣчала она серьезно: — ты это, я думаю, знаешь. Сколько лѣтъ женаты, изъ чего тебѣ начинать дурачиться? Мнѣ вдругъ скучно стало—и, странно, я не сердилась на тебя нисколько, — вообрази, André, нисколько! А скучно. Такъ мнѣ показалось... пусто.

Она сжимала свои ручки и посмотрѣла кругомъ. Верховской отвернулся.

— Всего у меня много, все хорошо, — и вдругъ... Она тебѣ глазки дѣлаетъ. Слушай, ты, гадкій, не смѣй ты къ ней подходить—убью! Ступай ты себѣ въ лѣсъ,—вѣдь пропадалъ тамъ цѣлые дни? нѣтъ, выдумалъ въ гостиной сидѣть, при лунѣ прогуливаться... Этакій милка, такъ я его и отдамъ!

— Позволь... сказалъ, отклоняясь, Верховской. — А вотъ, я еще поѣду провожать ее отсюда.

— Ни за что на свѣтѣ!.. Вы сговорились?

— Вотъ тебѣ доказательство, что нѣтъ, возразилъ Верховской, доставая письмо Волкарева:—читай сама.

Лидія Матвѣевна никогда не видала его корреспонденціи и не замѣчала этого лишенія; въ настоящую минуту, взять изъ рукъ мужа и читать письмо къ нему—показалось ей ново и пріятно. Ей все понравилось, даже бумажка съ коронкой и съ именемъ Волкарева, вязью; любуясь, она говорила, что закажетъ себѣ такую.

— Видишь, что дѣло и надо ѣхать, началъ Верховской, чтобъ обратить ея вниманіе:—а что касается до этой госпожи...

— Dieu sait, comme tu dis ça gracieusement. Ну, поѣзжай... Ахъ, что-жъ я не скажу, я получила письмо отъ дяди Александра. Я на тебя была сердита, не хотѣла показывать...

Генералъ Зуровъ извѣщалъ милую племянницу, что все сдѣлалось по ея желанію: ея protégé Багрянскій, приказомъ такого-то числа, получилъ вмѣстѣ съ чиномъ свою отставку. Лидія Матвѣевна ужъ сообщила это m-m Волкаревой и хотѣла разсказать и Катеринѣ, но m-me Волкарева упросила ее молчать.

— Право, я ангелъ, добренькая, говорила Лидія Матвѣевна:—смотри только, я же хлопотала, я же сдѣлала, и я же молчу. И для кого? Для твоей dame de coeur, невѣрный!.. А о твоей командировкѣ дядя пишетъ, что все еще не выдумали, чѣмъ бы тебѣ здѣсь дать заняться... Мной занимайся, вотъ тебѣ!

M-me Волкарева застала ихъ вмѣстѣ: Верховской былъ смущенъ, Лидія Матвѣевна тѣмъ счастливѣе. Но и среди счастья, она не забывала, что сегодня еще не было преферанса, и нахмурилась, когда гостья стала отговариваться, да еще завела разговоръ съ André. Правда, говорили вслухъ о Багрянскомъ. M-me Волкарева попросила также и Верховского не сказывать Катеринѣ.

— Молодую дѣвушку это интересуетъ ме-

нѣе; счастье полное будетъ для отца; предоставьте мнѣ.

Онъ былъ готовъ предоставить ей, что угодно, лишь бы скорѣе уйти; но m-me Волкарева, уступивъ необходимости, просьбамъ и своей осторожности—«не раздражать», садясь за карточный столъ попросила Верховскаго сѣсть подлѣ нея «на счастье». Лидія Матвѣевна бросила ему грозный взоръ, но Верховскому пришло желаніе школьничать. Онъ остался, смотрѣлъ въ карты и, ничего не смысля, путалъ игру своими совѣтами. М-me Волкарева проигрывалась. Лидія Матвѣевна приняла это за милую шалость, за угожденіе André и восклицала, что онъ «душка». Она даже схватила его за полу, когда онъ поднялся, чтобъ уйти. Онъ, однако, ушелъ.

— Сейчасъ отнесу ей радость... подумалъ онъ и остановился.—Говорятъ, это ее мало интересуетъ. Какъ же такъ?..

Верховской ужъ такъ долго жилъ въ обществѣ, гдѣ все принималось безъ оцѣнки и размышленія, и самъ, среди круженья, такъ мало имѣлъ времени разбирать то, что случалось, что, по привычкѣ, интересовался прежде обстоятельствами, интригой факта, нежели его смысломъ. Смыслъ бывалъ принятъ и прочувствованъ вдругъ, разомъ; жизнь такъ скоро подставляла другія обстоятельства, что чувство не могло быть продолжительно и привыкало быть отрывочнымъ, несвязнымъ, неопредѣленнымъ, иногда нѣсколько легкимъ для важности обстоятельства. Оглядываясь случайно, теряясь въ быстрой смѣнѣ впечатлѣній, какъ-то инстинктивно недовольный, Верховской успокоивалъ себя, будто оправдывался предъ собою тѣмъ, что если впечатлѣніе коротко, за то сильно... Онъ не смѣлъ сравнивать, такъ ли было бы оно сильно прежде, въ молодые годы безпрестаннаго жаркаго разбора, безпрестанной, неустававшей мысли; онъ не смѣлъ сравнивать себя настоящаго съ тѣмъ человѣкомъ, который остался въ прошедшемъ. Но онъ не сознавался и въ этой несмѣлости: онъ увѣрялъ себя, что горе, которое поразило его молодость, отнимаетъ у него силу вспоминать молодость... Отговорка, сначала искренно отчаянная, потомъ только слабонервная, перешла въ самооправданіе, въ привычку...

До настоящей минуты Верховскому не входило въ голову спросить Катерину о ея братѣ, но было и некогда: съ тѣхъ поръ, какъ Верховской о немъ слышалъ—онъ въ первый разъ видѣлся съ Катериной. Онъ предполагалъ и признавалъ законнымъ, что она не можетъ много любить брата, если онъ виноватъ—но чѣмъ онъ виноватъ? Его затронуло любопытство, привычное, мелкое чувство; мелочность доказывалась самой робостью чувства: Верховской желалъ и не смѣлъ предложить Катеринѣ вопроса, что сдѣлалъ ея братъ? Казалось бы, что проще, что законнѣе, послѣ ея вызывовъ на раздѣлъ всякой заботы, послѣ ея вмѣшательства въ его собственныя заботы, ея послѣ объятій, въ которыхъ страсть была забыта, а душа, чистое пламя, сливалась въ одно съ его душою... Верховской робѣлъ.

— Это ее мало интересуетъ... Ну, Богъ съ нимъ, съ этимъ братомъ... Или, если что... опять вспылитъ, взволнуется...

И въ его влюбленномъ сердцѣ далеко шевельнулась досада на эти помѣхи—вспышки, на это гражданское горе, которое она умѣетъ во все впутать. Въ какія прелестныя минуты вспоминаетъ Богъ знаетъ о чемъ...

Воспоминаніе этихъ прелестныхъ минутъ прервало всякое размышленіе. Въ сотый, въ тысячный разъ со вчерашняго дня, Верховской повторилъ себѣ, что онъ счастливецъ; что несчастнѣе его нѣтъ никого на свѣтѣ, что надо пользоваться всякимъ часомъ... Да, много воспользуешься! Ушла Богъ знаетъ куда...

Катерина одна сидѣла въ саду. Она очень устала; голова туманилась отъ безсонной ночи и длиннаго, празднаго дня; чувство, мысль, даже дыханіе, все было сжато, стѣснено, будто все той же неволей, которая носилась въ воздухѣ. Вечеръ былъ чудесный; Катерина его не видѣла...

Кто-то подходилъ; она оглянулась.

— Вы однѣ, Катерина Николаевна? спросилъ Лѣсичевъ.—Ну, и я вырвался. Я не мѣшаю, если здѣсь останусь?

— Чему помѣшаете?

— Такъ; вопросъ простой учтивости.

Онъ сѣлъ подлѣ нея. Она опять наклонила голову, молча и глядя на дорожку. Лѣсичевъ подумалъ, какъ еще недавно ее любилъ.

— Скажите мнѣ что нибудь, Катерина Николаевна. Я такъ давно отъ васъ ничего не слышалъ.

— Да говорить не хочется, отвѣчала она, не оборачиваясь.

— Со мною? Или вообще?

— Какъ вамъ сказать? Пожалуй, съ вами. Вы сегодня слишкомъ разговорчивы.

— Вотъ, это откровенность! сказалъ онъ весело, отъ добраго чувства, которое поднялось на минуту и опять упало.—Признаюсь,

я ужъ этого и не ожидалъ. Такъ я и самъ буду откровененъ и замѣчу вамъ, что вы очень перемѣнились. Въ чемъ и какъ—сказать мудрено. Вы какъ будто... старше стали.

— Въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, отвѣчала она, засмѣявшись принужденно, и въ ту же минуту замолчала, застыдясь своего смѣха.

— Вотъ и доказательство перемѣны, продолжалъ Лѣсичевъ:—прежде вы такъ не сказали бы и такъ не засмѣялись.

— Можетъ быть.

— Отчего же не прямо: да? Еще доказательство! И не довершайте, не скажите какой нибудь шутки, не спросите, какое мнѣ дѣло. Вы очень хорошо знаете, что я все тотъ же.

— Но и я—все та же, отвѣчала она, глядя на него кротко.

— Въ отношеніи меня? прервалъ онъ съ живостью и злостью, раздраженный этимъ взглядомъ. — О, я въ этомъ увѣренъ. Даже больше чѣмъ когда нибудь: изъ жалости. Въ счастьи, люди бываютъ еще добрѣе.

— Въ счастьи? повторила Катерина.

— Да, въ счастьи, подтвердилъ онъ, глядя на нее пристально и безжалостно любуясь, какъ она блѣднѣла подъ его взглядомъ.—Вы очень недавно говорили, что вы безмятежно счастливы.

Онъ говорилъ тихо, успокоительно, какъ старшій или искренній другъ, и, чуть-чуть улыбаясь, все смотрѣлъ ей въ лицо. Она не отворачивалась и не потупила глазъ: она ничего не видѣла, ей казалось, что она умираетъ. Лѣсичевъ вдругъ замолчалъ, будто доигралъ комедію, посмотрѣлъ по сторонамъ и, наконецъ, спросилъ, съ легкимъ вздохомъ:

— Ну-съ, что же вамъ здѣсь понравилось?

— Ничего, отвѣчала Катерина.

— «Ничего», повторилъ онъ.—Это, пожалуй, и правда. А хозяйка вамъ нравится?

— Нѣтъ.

— Вполнѣ вѣрю. Такъ что, не ошибаясь, скажу: она васъ терпѣть не можетъ. Это въ порядкѣ вещей.

— За что же?

— За что?.. Что съ вами сдѣлалось, Катерина Николаевна? Очень просто: если вамъ не по сердцу жена Андрея Васильевича, то и она, въ свою очередь, можетъ подмѣтить такія черты...

— Можетъ подмѣчать, если хочетъ, прервала Катерина.

— О!.. Вы, стало быть, непогрѣшимы?

— Да.

— Катерина Николаевна, это—вызовъ. Если я имъ воспользуюсь? Вы скрытничать не умѣете, вы неловки, хуже всякой институтки... Какой строгій взглядъ! Почему же мнѣ не наблюдать? Если вы предоставляете это право Лидіи Матвѣевнѣ, слѣдовательно, предоставляете всякому... а для меня это еще интереснѣе, нежели для нея, или, по крайней мѣрѣ, въ равной степени...

— Почему?

— Вы не забыли, Катерина Николаевна: я люблю васъ.

— Тѣмъ болѣе...

— Что?.. Позвольте. Вы тогда это прекрасно объясняли, я помню. Но вы не дали мнѣ докончить. Вы говорили объ удовольствіи, которое вамъ доставитъ моя любовь въ другой особѣ. Я тогда не спросилъ себя, что я почувствовалъ бы въ подобномъ случаѣ... теперь—я знаю...

— Что такое? прервала Катерина.

— Ничего. Я васъ предупреждаю. Я знаю, что вы горды и не попросите пощады... Позвольте! Если вы еще разъ скажете что нибудь въ родѣ вашего «что такое»—я прямо скажу вамъ: вы обманываете!.. Я васъ любилъ, какъ этому барину во снѣ не приснится—вы это разберете потомъ. Моя любовь не изъ уступчивыхъ. Великодушіе не моя добродѣтель. Если вы на него разсчитываете—то ошибаетесь... Я не грожу; я не знаю, что случится; я только предупреждаю. Достанетъ у васъ смѣлости, вотъ, такъ, при свидѣтелѣ, вести любовь съ женатымъ человѣкомъ... А, нашъ хозяинъ приближается, и въ обществѣ прелестной m-lle Annette. Я не влюблюсь въ нее, Катерина Николаевна, не надѣйтесь... Славныя розы; хотите?

Онъ сломилъ и подалъ ей; она отклонила, не оглядываясь.

— Не угодно?

— Я не могу ихъ видѣть, сказала она.

— Помнится, кто-то еще не можетъ ихъ видѣть, вскричалъ Лѣсичевъ, смѣясь громко: — антипатія слишкомъ оригинальная для того, чтобы пройти незамѣченной!.. Попробую, не будетъ ли удачи... Mademoiselle!.. обратился онъ къ Аннетѣ и чрезъ минуту роза украшала ея корсажъ. — Je suis à vos ordres; мы, конечно, совершаемъ всѣмъ обществомъ эту прогулку, какъ вы говорили...

— Я иду въ лѣсъ, сказала Катерина. — Идемте, Андрей Васильевичъ.

Лѣсичевъ взглянулъ на нее въ изумленіи. Аннета изумилась бы тоже, если бы ей не было пріятно остаться вдвоемъ съ молодымъ человѣкомъ, такъ мило подносящимъ розы.

— Но, прошу васъ, пойдемте прямой дорогой, сказала она, продѣвая руку подъ локоть Лѣсичева и указывая маленькимъ зонтикомъ по направленію къ полю.

— Прямой и самой укатанной! отвѣчалъ онъ:—отправимся!

Катерина ужъ отошла, повернувъ въ другую сторону. Верховской догналъ ее.

— Что тутъ было? Катя, что онъ тебѣ сказалъ? онъ дерзокъ...

— Ничего... Не вмѣшивайся.

— Значитъ, было что нибудь?

— Не спрашивай... Хоть предъ тобой дай не лгать. Цѣлый день эта мука! выговорила она.

— Лѣсичевъ въ тебя влюбленъ...

— Но ты не можешь сказать ему, что меня любишь, ты не имѣешь права вступаться... Но хоть бы и имѣлъ,—не надо.

— Какъ ты легко рѣшаешь! И это—жизнь заодно?

— Это не жизнь, а наше положеніе. Предоставь мнѣ, справлюсь... Или это будетъ путаница отвратительной лжи. Не думай обо мнѣ. Будетъ нужно—подай совѣтъ; будетъ горе—ну, обниму тебя и наплачусь...

— Катя!

— А защищать меня... у тебя руки связаны!

— Это обидно, Катя. Я долженъ, я могу...

— Для меня ты ничего не можешь, прервала она:—но для себя...

Она тихо шла, потупивъ голову, и вдругъ остановилась.

— Слушай, милый. Судьба насъ свела; тебѣ нужна радость. Я обѣщалась Богу, что буду для тебя радостью, но въ такой жизни, съ такими людьми, ни твоихъ, ни моихъ силъ не достанетъ... Я только пришла посмотрѣть на тебя въ этомъ домѣ, — подсмотрѣть за тобою,—и за это наказана: видишь, на что я стала похожа, въ одинъ-то день! Я не гожусь быть съ этими людьми; только ради тебя я здѣсь пила и ѣла; я измучена, думать не могу, себя не понимаю... въ одинъ-то день! Милый, то же дѣлается и съ тобою. Сбереги себя; брось все, бѣги, куда глаза глядятъ.

— Что ты говоришь, Катя?

— Говорю дѣло. Это — тина, ползучая гниль, здѣсь нечѣмъ дохнуть человѣку, это мелко, постыдно, хуже ужаса. Все это!..

Она показала кругомъ.

— Охъ, вотъ и ужасы! уйдемъ дальше, уйдемъ въ глушь. Не могу видѣть этого проклятаго стыда — богатства!.. Я вѣдь была тамъ, была нынче утромъ, все видѣла...

— Катя, ты опять начинаешь тоже! Ты мнѣ обѣщала...

— День прошелъ, прервала она.—Я сдержала обѣщаніе, потому что люблю тебя всей моей жизнью, я тебя словомъ не огорчила, я сама съ тобой забывалась—не могу больше, не должна больше. День прошелъ; вотъ заря догораетъ, гляди, туманъ кругомъ. Милый, это слезы. Не жди отъ меня одного веселья; я тебѣ сказала — любятъ не такъ. Были счастливы цѣлое утро... охъ, у другихъ не бываетъ и часа! Милый, слушай, смотри, не отворачивай глазъ. Жизнь — страшное дѣло. Нельзя жить, забывшись... нельзя такъ жить, какъ ты живешь. Ты рожденъ не на это, ты нуженъ. Ищи, кому ты нуженъ. Бѣги отсюда. Ты здѣсь не господинъ; все это—не твое; не можешь помочь—нѣтъ и обязанности. Ты бѣденъ, живи бѣдно. О, живи бѣдно, голубчикъ мой, честный, ласковый! вскричала она и сладко засмѣялась.—Не цѣлуй, не надо... Дѣти,—ихъ отдадутъ въ казну, они тамъ будутъ больше твои, чѣмъ дома. Дѣло... вѣдь ты баринъ важный, чиновный, отъ тебя многое можетъ зависѣть...

— Ты меня прогоняешь?

— Да! здѣсь нечего дѣлать.

— И ты меня любишь?

— Развѣ не любя можно сказать: уходи? Каково мнѣ, ты понимаешь, разсуди по себѣ! а я говорю—уходи...

— А я не могу жить безъ тебя! вскричалъ онъ, обнявъ ее.—Если я до сихъ поръ жилъ... не знаю, какъ-то жилъ! теперь — не могу. Ты показалась — кончено! Нѣтъ тебя — все равно, хоть всего свѣта не будь!.. Хочешь ты дать мнѣ силы, хочешь, чтобъ я пришелъ въ себя, сталъ человѣкомъ...

Онъ не договорилъ.

— Хочу, твердо сказала она.

— Подожди... выговорилъ онъ, опустивъ голову.

— Долго ли ждать?

— Ты безпощадна! вскричалъ онъ,— ты не женщина! Тебѣ довольно мертваго поцѣлуя въ лобъ, материнскаго чувства...

— Высшее существо, которое ты зналъ, была твоя мать, прервала она строго.—Если ты сказалъ, что я на нее похожа, такъ слушай. Я говорю — передъ нею. Она любила въ тебѣ не сына, а человѣка. Мнѣ, любимой женщинѣ, еще нужнѣе нравственное равенство... Помни ее, ее, которая не вынесла и умерла! Точно ли она вѣчно у тебя въ глазахъ? Точно ли ты чувствуешь, сознаешь ея присутствіе, будто Божье? Все ли ты

сдѣлалъ бы при ней, что дѣлаешь безъ нея? Не прячешься ли ты, какъ ребенокъ въ уголъ, чтобъ Богъ не видалъ? Разбирай, думай! Твоя праздная печаль, вотъ тысячи такихъ пустыхъ дней... Милый, она была божеская, а я груба, я безпощадна, я человѣкъ! Я отъ тебя требую отчета въ твоей растраченной жизни. Опомнись, — долго ли ждать?

— И Богъ ждетъ!

— Что-жъ, все завтра, да завтра? «Завтра покаюсь» — надпись у святоши надъ дверями? И ни во что свобода, ни во что честь? Опять молчать, терпѣть? Опять сдѣлки съ совѣстью, трусость, униженіе, ложный стыдъ...

— А ты что дѣлаешь? вскричалъ внѣ себя Верховской, — у тебя нѣтъ сдѣлокъ? ты не молчишь, не прячешься...

— Что я прячу?

— Не отрекаешься изъ ложнаго стыда... и ты можешь глядѣть мнѣ въ глаза и проповѣдывать...

— Отъ чего я отрекаюсь?

— А твой братъ?.. Катя!

Она помертвѣла, торопливо дошла до срубленнаго дерева и сѣла.

— Катя, прости, я не зналъ, вѣдь я не зналъ, что это такъ тебя убиваетъ... Волкаревы,—они вамъ преданы... Онъ прощенъ...

— Постой, прервала она, не слушая. — Твоя жена тоже знаетъ, просила?

— Да... Кто тебѣ сказалъ?

— Сказали... И всѣ знаютъ? И ты знаешь этотъ позоръ?

— Онъ прощенъ, Катя, успокойся; ты раздражена, преувеличиваешь... Съ кѣмъ не бывало! И ужъ прошло, прощено, ты можешь опять признать своего брата...

— Его?—Я, дочь честнаго человѣка?.. Пусти меня!

— Нѣтъ, постой, вскричалъ онъ, — это гордость, это ложный стыдъ! Чѣмъ же онъ такъ виноватъ, за что...

— За что? повторила она, вырываясь: — гордость? Нѣтъ, ненависть! Ты спрашиваешь за что... Пьяный звѣрь, распоряжался... а тотъ, несчастный—не первый несчастный!.. не вынесъ, хватилъ въ рожу... Онъ... ну, велѣлъ докончить на смерть...

Она сдѣлала нѣсколько шаговъ и чуть не упала. Верховской подхватилъ ее.

— Пусти меня, повторила она и сѣла.— Слышалъ? хорошо? Испугался? Ну, вотъ, сказала. На что тебѣ было нужно? Тутъ помогать нечему. У меня брата нѣтъ. Простили его... правосудіе!!.. ну, пусть живетъ, гдѣ хочетъ, какъ хочетъ. Никогда не увидимся, дастъ Богъ. А ненавидѣть больно, вотъ что... Послушай, заговорила она черезъ минуту, глядя въ его лицо: — я такъ зла; тебѣ противно?

Онъ припалъ къ ея колѣнямъ.

— Не могу — зло мнѣ нестерпимо! Видишь, какъ мнѣ тяжко... Братъ, другъ, милый, будь ты моей радостью! Я дочь честнаго человѣка,—дай, чтобъ я смѣла на цѣлый свѣтъ сказать: люблю честнаго человѣка...

— Прости меня... прошепталъ онъ.

Она взглянула, вдругъ обвила его голову обѣими руками, прижалась крѣпко и не могла оторваться... Она не могла отгадать, въ чемъ онъ просилъ ея прощенія.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Черезъ два дня, вечеромъ, Катерина была дома.

Странное чувство испытывала она, возвращаясь. По ней соскучились, ей обрадовались, ее встрѣчали, хлопотали угощать ее, успокоивать, будто послѣ долгаго путешествія и долгой разлуки. Ничто не перемѣнилось,—ни домъ, ни добрые люди; все было попрежнему мило; даже какъ будто еще милѣе, но странно, чего-то не было. Катерина оглядывалась, искала, спрашивала обо всемъ, освѣдомлялась о чужихъ, узнала въ четверть часа все, что произошло въ эти четыре дня, и все чего-то не находила. Тихая жизнь не казалась ей однообразнѣе, не потеряла своего значенія, но изъ нея будто что пропало. Ощущеніе было мучительно и утомляло... Катерина оглянулась на себя... Родной домъ былъ тотъ же, но за его порогомъ осталась часть ея существованія—забота, безъ возможности дѣйствовать.

Ничего нѣтъ ужаснѣе убѣжденія, что силы ненужны, что онѣ только порываются, бьются напрасно; что, если бы забота и пробилась за сплошную стѣну, гдѣ заключена жизнь дорогого человѣка—этой заботѣ тамъ нѣтъ мѣста, ей тамъ дѣлать нечего; ни возможности, ни средствъ, ни власти, развѣ

сострадать и утѣшать... То есть, разнѣживать человѣка, примирять его съ его положеніемъ, улучшать бытъ его тюрьмы и тѣмъ упрочивать ея существованіе, признавать ея законность! Но ради самого этого человѣка, ради его достоинства, какъ осмѣлиться сочувствовать такому возмутительному несчастью? Не надо утѣшеній. Пусть онъ потеряетъ терпѣніе, презираетъ, стыдится самого себя, но пусть разбудитъ свои силы и вырвется...

Она вѣрила въ его силы. Она не мечтательно представляла себѣ день за днемъ, часъ за часомъ скромную, занятую жизнь, которую будетъ вести Верховской, одинъ, отыскавъ прежнихъ друзей и новыхъ людей по сердцу. Она ужъ видѣла, какъ возвращались къ нему и покой, и строгое довольство труженика, при сознаніи, что трудъ не напрасенъ. Вотъ примѣръ—ея отецъ. У него, у милаго, былъ тоже примѣръ... Онъ будетъ то, чего хотѣла его радость — человѣкъ для всѣхъ. Не честолюбецъ чиновникъ, не благодушный начальникъ, а мыслящій дѣятель, чернорабочій съ жаждой вѣчной правды,—той правды, которая такъ вполнѣ захватываетъ весь кругъ дѣйствій человѣческихъ, что не оставляетъ забытой ни одной мелочи, не брезгаетъ приложить и къ ней руки...

— Иди на свободу, счастье мое, иди, не пропадай даромъ! повторила она вслухъ, будто еще видя его предъ собою на томъ мѣстѣ, гдѣ въ первый разъ услышала отъ него еще непонятныя, несмѣлыя слова любви, гдѣ новое чувство, вдругъ, солнцемъ освѣтило ея душу. Эта минута, это чувство... вотъ они, вѣчно живыя!

Она оглянулась кругомъ: она была одна. Что-то острой болью прошло у нея въ груди... Онъ будетъ свободенъ, занятъ; онъ будетъ счастливъ... Но онъ уйдетъ, и разлука—вѣчная...

Она попробовала выговорить свое привычное: «справлюсь!», но ея губы задрожали и вмѣсто слова вырвалось рыданіе...

Все это время онъ былъ съ ней, на глазахъ; она думала только о немъ, раздражалась его тоской, мольбами, возраженіями, волновалась, негодовала; она рѣшилась на разлуку, но не вообразила разлуки, еще ни разу не представила себѣ опредѣленно, что будетъ здѣсь, когда совершится то, что она называла его освобожденіемъ. Теперь она поняла ясно; ея жизнь раздѣлилась на-двое, и то, что отрывалось, уносило съ собою молодой пышный цвѣтъ—радость за себя... До настоящей минуты, преданная, восторженная, чистая дѣвушка и не предполагала, чтобы у нея могло быть чувство собственное, личное, своя печаль, своя ничѣмъ неотвратимая бѣда, предъ которой сжималось никогда не робѣвшее сердце. Теперь, когда вдругъ такъ неожиданно повѣяло холодной пустотой въ родномъ домѣ, теперь, когда въ душѣ только что сверкнулъ могучій родникъ еще неизвѣданнаго блаженства, теперь разомъ проститься со всѣмъ на вѣки, на вѣки, потому что такое блаженство не повторяется...

— Что будетъ со мною? спросила она себя въ первый разъ въ свои двадцать два года, отчаянно захвативъ свою поникшую голову.

Она себя знала: впереди ни облегченія, ни утѣшенія. Это—конечное. Любятъ только однажды. Отдала всю душу, а душа только одна. Нѣтъ его—и ничего нѣтъ.

Вокругъ нея вставалъ тотъ ужасъ, который она ужъ однажды отклонила. Но тогда было легче. Тогда еще не было рѣшено, и у нея еще оставалась твердость сказать себѣ: «не должно», если бы она сознала, что не должно. Теперь—любовь стала ея человѣческой обязанностью. Что дѣлать?

Женатъ, связанъ... Предъ Богомъ и совѣстью—онъ свободенъ!

Онъ тоже до сихъ поръ не зналъ, что такое любовь. Онъ тоже стоскуется одинъ. Никто, никогда такъ не взглянулъ ему въ глаза; никому онъ не былъ такъ дорогъ... Матери, но мать не такъ его любила. Не меньше, конечно, но счастливѣе,—вотъ въ чемъ разница. Мать всегда могла быть съ нимъ, могла доказывать свою любовь на дѣлѣ...

— Такъ я побоюсь людей? спросила себя Катерина и тихо, зло улыбаясь, покачала головой.—Богъ не страшенъ, а люди будутъ страшны... Ужъ не слишкомъ ли много для нихъ чести? Если я нужна ему...

Вдругъ ее обдало будто огнемъ. Ему... Но развѣ онъ у нея одинъ? А тотъ безупречный, несчастный, которому она одно утѣшеніе и святыня, который для нея не досыпалъ ночей, не доѣдалъ своего рабочаго хлѣба, который тоже цѣловалъ ея ноги, вотъ, тутъ у ея дѣвичьей постели... Оставить его, промѣнять его... Отецъ...

Въ глазахъ у нея потемнѣло; все кругомъ зашаталось... Въ отворенный балконъ блеснулъ входящій мѣсяцъ...

Возвращаясь изъ Спасскаго въ N*, m-me Волкарева находила, что путешествіе оча-

рователно, и безпрестанно выглядывала изъ окна кареты на маленькій тарантасъ, въ которомъ мчались Лѣсичевъ и Верховской, безцеремонно, весело, какъ истинные друзья, смѣясь, разговаривая, закуривая другъ у друга сигары, подтягивая пѣсни вслѣдъ за ямщикомъ. Обѣдъ на станціи, о которомъ Верховской заранѣе посылалъ распорядиться, вышелъ такъ удаченъ, такъ оживленъ, что m-me Волкарева нѣсколько разъ пожалѣла, какъ коротка дорога. Дорога показалась коротка и Верховскому. Онъ не задумывался ни минуты, онъ былъ счастливъ. Въ счастьи беззаботность доходитъ до эгоизма; не замѣчая, что Катерина измучена, Верховской досадовалъ, что она не въ духѣ. Судя по себѣ о чувствахъ другого, всего легче потерять имъ мѣрку: сочувствіе къ другому заглушено своимъ собственнымъ чувствомъ, и человѣкъ, неожиданно, самъ не зная какъ, дѣлается самъ предметомъ собственной заботы. Верховской забылъ, что могла думать и чувствовать Катерина, и думалъ только, что, вотъ, она не хочетъ раздѣлить съ нимъ удовольствія этого перваго дня на свободѣ. Любовь тотчасъ спѣшитъ захватить власть: Верховской рѣшилъ, что Катерина капризничаетъ и что не надо обращать на это вниманія. Онъ еще меньше обращалъ вниманія на Лѣсичева, который дѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаетъ и добродушно занималъ общество.—У подъѣзда Катерины, пока m-me Волкарева кричала ей: «Au revoir!» оба — Лѣсичевъ и Верховской, вышли проводить ее въ домъ. Верховской не выдержалъ больше и поцѣловалъ ея руку.

— Благодарю за то, что вы были у меня, сказалъ онъ, едва совладѣвъ съ своимъ голосомъ, глядя на нее и радуясь, что Лѣсичевъ не могъ видѣть его лица.

Лѣсичевъ глядѣлъ ей въ лицо и почтительно откланялся. Верховскому вздумалось пошутить.

— Что-жъ вы, при случаѣ, тоже не поцѣловали ручки? спросилъ онъ, пока Лѣсичевъ везъ его въ гостинницу.

— Я даже не подалъ руки, отвѣчалъ Лѣсичевъ.

— Что-жъ такъ?

— Да ужъ довольно.

— Но давно ли вы увлекались?

— Давно. Это забавно.

— Катерина Николаевна не станетъ забавляться.

— Надѣюсь, вы не станете увѣрять, что она меня любитъ?

— Нѣтъ, но...

— Что «но»?.. спросилъ Лѣсичевъ серьезно.

Верховской въ пору одумался.

— Она васъ не любитъ, если отказала вамъ, отвѣчалъ онъ, тоже серьезно:—но забавляться чьей нибудь любовью...

— Безчестно, досказалъ Лѣсичевъ: — и она этого не дѣлаетъ. Я самъ себѣ забавенъ, а потому — довольно... Когда же увидимся? прибавилъ онъ, потому что ужъ остановились у крыльца гостинницы.

— Развѣ вы не придете сегодня къ Волкаревымъ? Она звала.

— Нѣтъ, я домой, отдыхать.

— Такъ до завтра.

Верховской занялъ въ гостинницѣ уже знакомую комнату, располагаясь въ ней покойнѣе, нежели у себя въ Спасскомъ, и подумалъ это, машинально кладя на привычное мѣсто свои часы, фуражку, перчатки. Онъ чувствовалъ себя свободнѣе. Ему было какъ-то пріятно звать прислугу и приказывать, распоряжаться, даже прихотничать. Вдругъ, придумавъ, онъ сейчасъ же послалъ сказать на почтѣ, чтобы письма на его имя уже не передавались посланнымъ изъ деревни, а приносились къ нему сюда. Надобности въ этомъ поспѣшномъ приказѣ не было никакой, но Верховской доставлялъ себѣ удовольствіе заявить этимъ, что онъ въ N* надолго. «Надолго» повторялось у него въ сердцѣ и хорошо, беззаботно нѣжило. Являлись какія-то совсѣмъ молодыя чувства: то поспѣшность жить и пользоваться, то своевольная, сама себя поддразнивающая лѣнь. Такъ, Верховской помнилъ, что недалеко, за какія нибудь двѣ-три улицы, Катерина, что она теперь одна, что у него до вечера Волкаревыхъ еще два часа свободныхъ, что назадъ тому недѣлю онъ отдалъ бы все на свѣтѣ за такіе два часа, — помнилъ все это и не шелъ къ Катеринѣ, а прилегъ на диванъ, говоря себѣ, что «все успѣется», и перебирая въ памяти послѣдніе дни, какъ скупой пересчитываетъ свои сокровища.

У него и было именно ощущеніе скупого: въ рукахъ много — и все мало. Онъ былъ очень счастливъ и не былъ доволенъ... Все истинное такъ просто, что не цѣнится, какъ не цѣнится дневной свѣтъ: если ему и радуется человѣкъ, долго бывшій въ потемкахъ, то, чрезъ нѣсколько минутъ, неблагодарно-равнодушный, принимаетъ это благо только какъ необходимое и должное. Любовь Катерины была такимъ свѣтомъ. Она

поразила, охватила разомъ и тотчасъ же, разомъ, сдѣлалась привычкой. Свѣтъ горѣлъ ровно, озаряя всю жизнь, а въ ней и такіе углы, въ которые измученной, наболѣвшей душѣ не хотѣлось, по крайней мѣрѣ, еще долго заглядывать; онъ все напоминалъ, все указывалъ, все торопилъ на дѣло. Свѣтъ рабочаго дня, а Верховскому хотѣлось праздника. Она не давала праздничать; будто чрезъ-силу, она подарила нѣсколько спокойныхъ часовъ и не тяготилась ими. Нельзя было упрекнуть ее въ эгоизмѣ, — Верховской упрекнулъ въ холодности, повторилъ не разъ, что она любитъ только разсудкомъ. Выговаривая упрекъ, онъ клонилъ голову предъ ея чистымъ, опечаленнымъ взглядомъ, но не каялся. Люди привыкли къ женскимъ слезамъ и думаютъ, что безъ слезъ женщины ужъ и не любятъ. Чувство, въ которомъ истина казалась бы еще необходимѣе, чѣмъ во всякомъ другомъ, какъ-то странно требуетъ прикрасъ, мечтательности, сантиментальности, не разбираетъ, что «забыть весь міръ» гораздо легче, нежели среди восторговъ помнить всякую невзгоду, которая можетъ повстрѣчаться на пути дорогого человѣка, — и помнить ее не съ хлопотливой, слабой, докучливой, охлаждающей робостью женщины, а съ преданной отвагой товарища, готоваго броситься въ огонь и воду и умѣющаго уберечь. Это отвага и рѣшительность... Какъ сказать? Вмѣсто нихъ хотѣлось бы чего нибудь другого. Можетъ быть, тоже рѣшительности, но на что нибудь другое...

Въ комнатѣ становилось темно. Верховской разглядѣлъ часы и спросилъ одѣться.

Вотъ, такую свѣтскую жизнь называютъ пустою... И она ее такъ называетъ.

Пожалуй, да; съ вида пусто. Но когда въ человѣкѣ сильное, истинное оживляющее чувство, тогда и свѣтская пустота имѣетъ свое значеніе, даже свою прелесть — отъ противоположности. Встрѣтиться мелькомъ, между чужихъ, сказать всю душу въ полусловѣ, обмѣняться взглядомъ, украдкой пожать руку, на зло завистникамъ, ревнивцамъ, злымъ языкамъ... Но это наслажденіе! Это весело, лукаво, ярко, какъ блуждающіе огоньки; это придаетъ цѣну счастью, это учитъ пользоваться всякой минутой и не дѣлать промаха... Женщины бываютъ такъ граціозно ловки... Свѣтская неволя! Кто захочетъ, тотъ и среди неволи возьметъ свое...

Верховской пріостановился въ фантазіяхъ о своей свѣтской ловкости, вспомнивъ вдругъ, что, кажется, надѣлалъ довольно промаховъ этими днями въ деревнѣ. Къ счастью, жена не замѣтила, а Волкарева все принимаетъ на свой счетъ. Развѣ Лѣсичевъ?..

Верховской искренно расхохотался. Вотъ еще охота заботиться! Присматриваться и замѣчать врага! Еслибъ еще соперника, это было бы на что нибудь похоже...

Однако Лѣсичевъ что-то говорилъ ей...

Ему вдругъ тревожно, какъ-то страшно вспомнился вечеръ въ лѣсу. Искреннее чувство выглянуло изъ-за свѣтскаго тумана; все, что нарядно, игриво придумывалось за минуту, куда-то разлетѣлось...

— Что это я, сказалъ онъ самъ себѣ: — вспоминаю Богъ знаетъ что, остерегаюсь Богъ знаетъ чего... Что раздумывать, будь что будетъ! Отецъ еще не пріѣзжалъ; будемъ видѣться всякій день...

Ему стало тяжело жаль этихъ двухъ потерянныхъ часовъ, которые онъ могъ бы провесть съ нею...

— Отецъ пріѣдетъ, а тамъ еще этотъ братъ... продолжалъ онъ раздумывать, идя къ Волкаревымъ. — Конечно, ни за что на свѣтѣ я не признаюсь ей, что участвовалъ въ хлопотахъ за ея брата. Но и въ самомъ дѣлѣ, много ли я участвовалъ? Дядя не потрудился даже мнѣ отвѣтить и, по всей вѣроятности, ничего бы не сдѣлалъ, еслибъ не просила Лидія Матвѣевна... Но если бы и такъ, развѣ я хотѣлъ дурного? я воображалъ, что это будетъ для нея счастье... Сюрпризъ вышелъ неудаченъ, — дѣлать нечего!..

Онъ горько-досадно разсмѣялся, и вдругъ ему вошло въ голову сходство этого сюрприза съ тѣмъ, который онъ сдѣлалъ матери, женившись... Онъ тогда тоже хотѣлъ не дурного...

У него вырвалось рѣзкое движеніе ужъ не отъ досады, а отъ чего-то невыразимо тяжелаго, что на него будто упало; какой-то странно суевѣрный испугъ, чувство мучительное до болѣзненности. Въ эту минуту онъ былъ готовъ броситься въ ноги къ Катеринѣ, признаться во всемъ, высказать все, просить ея прощенія не намеками, а прямо... Онъ повернулъ въ сторону къ ея дому и остановился. Ужъ поздно, она встревожится... некогда...

Верховской воротился на бульваръ, присѣлъ, отдохнулъ и пошелъ къ Волкаревымъ.

Губернаторскій домъ былъ тихъ и неосвѣщенъ. Верховской удивился, узнавъ, что «не здоровы и не принимаютъ», и ужъ

уходилъ, но Волкаревъ самъ отворилъ дверь изъ залы.

— Андрей Васильевичъ, милости просимъ; для васъ двери всегда отперты... Отказывать всѣмъ! прибавилъ онъ, уводя Верховского въ свой кабинетъ.—Я васъ поджидалъ...

— А Марья Васильевна?

— Une migraine... Ее такъ поразило...

Кабинетъ, полный дѣловыхъ принадлежностей, былъ съ претензіями на щегольство женской гостиной: маленькія картинки въ золотыхъ рамкахъ, на этажеркахъ кипсеки и блестящія бездѣлки, на письменномъ столѣ букетъ розъ и статуэтка Рашели. Абажуры на лампахъ бросали на все зеленый оттѣнокъ, отъ котораго казалось еще мертвеннѣе всегда интересно-блѣдное, худощавое лицо Волкарева. Верховской замѣтилъ, что онъ разстроенъ и что его рѣдкіе сѣдые волосы разметаны въ искусномъ безпорядкѣ.

— Безъ предисловій, мой дорогой Андрей Васильевичъ... Но, прежде всего, благодарю, что вы пріѣхали, заговорилъ онъ по-французски.—Я такъ и ожидалъ отъ вашей дружбы.

— Это очень небольшое доказательство, сказалъ Верховской.

Волкаревъ поспѣшно пожалъ ему руку.

— Да... Но въ критическія минуты жизни оно дорого!.. А я провожу такія минуты, прибавилъ онъ, порывно отвернувшись и отходя, чтобъ скрыть, или чтобъ еще усилить свое волненіе.

Верховской посмотрѣлъ ему вслѣдъ въ затрудненіи. Занятый исключительно своимъ чувствомъ, онъ очень равнодушно относился къ чувствамъ другихъ и не былъ приготовленъ къ патетическимъ выходкамъ, а тѣмъ менѣе со стороны Волкарева. Волкаревъ ужъ какъ-то однажды посвящалъ его въ таинства своихъ служебныхъ огорченій, но если бы Верховского спросили, что онъ изъ нихъ помнилъ или понялъ—онъ очень затруднился бы отвѣчать. Въ настоящую минуту, онъ такъ и ждалъ, что рѣчь зайдетъ объ этомъ, и соображалъ, какъ вывернуться. Ему становилось почти забавно.

— Надо, наконецъ, выговорить ужасное слово, началъ глухимъ голосомъ Волкаревъ, остановясь предъ Верховскимъ и скрестивъ руки.—Mon jeune ami, je suis déshonoré!

Поза удалась, но должно быть въ самомъ чувствѣ была правда, потому что не удалась декламація: голосъ губернатора задребезжалъ и сорвался очень неэфектно.

— Вы понимаете, что въ такомъ положеніи... попробовалъ онъ заговорить еще — и не могъ продолжать.

— Скажите скорѣе, что случилось?

— Вы понимаете... я писалъ вамъ... я хотѣлъ довѣриться...

— Я отъ всей души это цѣню, сказалъ Верховской, которому стало досадно на себя и совѣстно: — сдѣлайте милость, говорите...

— Предчувствіе меня не обмануло! вскричалъ Волкаревъ.—Благородный молодой человѣкъ!.. сравнительно, годами, предо мной вы — юноша, vous seriez mon fils... Вы можете понять, когда все, карьера, сѣдые волосы... Prenez place, mon ami. Это долгая исторія... Да! между прочимъ... вы не говорили съ Лѣсичевымъ?

— Какъ вы желали, я не сказалъ ему, что вы меня вызывали.

— Нѣтъ, о его поѣздкѣ?

— Что-то вскользь. Вы давали ему письмо?..

— Дуракъ!! вскричалъ, забывшись, губернаторъ.—Pardon, mon cher, je suis exaspéré! Вотъ, можете судить, вотъ примѣръ, какими людьми я окруженъ, могу ли я на кого нибудь положиться...

Онъ удержался.

— Это такъ, un épisode... Лѣсичевъ нейдетъ къ нашему дѣлу. Ему было дано незначительное, самое незначительное письмо, и, для испытанія — не велѣно болтать... Не могъ воздержаться!.. Все равно.

Однако, онъ нѣсколько времени не могъ успокоиться и замѣтно растерялся. Верховской, съ той минуты, какъ упрекнулъ себя въ недостаткѣ участія, ужъ не былъ разсѣянъ, но подмѣчать что нибудь не было его способностью. Онъ машинально вспомнилъ, что Лѣсичевъ разсказывалъ о какой-то дамѣ, тамъ, въ уѣздѣ,—машинально замѣтилъ гипсовую ножку въ башмачкѣ, служившую вмѣсто пресспапьé, — но подобныя вещи никогда не казались ему особенно забавными и занимательными.

— Я докажу вамъ вполнѣ мое довѣріе, дорогой Андрей Васильевичъ, началъ Волкаревъ, собравшись съ мыслями. — Между нами не должно быть ни тѣни тайны, pas même l'ombre d'un mystère... Это письмо,— само по себѣ неважное! важно для одного молодого человѣка. Я принимаю въ немъ участіе. Онъ готовъ сдѣлать неосторожность, увлечься... какъ увлекаются въ вашъ возрастъ! Я спѣшилъ его предостеречь...

Верховской подумалъ, что на это есть почта и губернаторъ могъ бы выражать участіе, не разсылая чиновниковъ,—но это ужъ было такъ обыкновенно.

— Это не относится къ дѣлу, продолжалъ Волкаревъ: — развѣ тѣмъ сходствомъ положенія, что неосторожный молодой человѣкъ рискуетъ своею будущностью, также какъ я, старикъ, теперь на одинъ только шагъ отъ потери всего моего прошедшаго... Infamie!!

— Невозможно! прервалъ Верховской.

— Невозможно — а дѣлается! возразилъ губернаторъ: — меня обвиняютъ въ кражѣ!

— Невозможно! разскажите, что это такое? повторилъ Верховской.

— Mais, mon ami, prenez donc place...

Волкаревъ разсказалъ ему исторію. Это была, съ подробностями, та самая, которую соскучился разсказывать Лѣсичевъ. Старый помѣщикъ, холостякъ и скряга, умеръ года два тому назадъ въ своемъ имѣніи, не оставивъ ни завѣщанія, ни распоряженій, ни даже послѣдней воли священнику, котораго позвалъ предъ смертью. Земская полиція описала и опечатала домъ и извѣстила наслѣдниковъ. Наслѣдники нашли, въ пыли, въ какомъ-то кіотѣ за образомъ, бумагу, писанную покойникомъ — нумера билетовъ «на неизвѣстнаго» въ сумму тысячъ за сто, положенную имъ въ ломбардъ. Билеты, какъ говорилось въ той же бумагѣ, хранились въ шкатулкѣ, всегда стоявшей у изголовья покойника; слѣдовали ея примѣты. Шкатулка стояла на мѣстѣ, билетовъ въ ней не оказалось.

— Вы понимаете, что я горячо, строго принялся, продолжалъ Волкаревъ. — Прислуга этого Плюшкина, édition revue et corrigée—какая-то баба, нѣчто въ родѣ ея племянника, полуидіотъ,— все это было задержано, допрошено. Сосѣди—никто ничего не знаетъ. Священникъ — и на-духу не слыхалъ объ этихъ деньгахъ. Что прикажете дѣлать? J'ai remué ciel et terre — ни слѣда! Наслѣдники... Мауровы, богатые люди, живутъ въ Москвѣ, но, понятно, что и при богатствѣ никто не откажется отъ поисковъ сотни тысячъ!.. Наслѣдники, съ своей стороны, дознавали, хлопотали. Въ подобныхъ случаяхъ, вы знаете, когда нѣтъ доказательствъ — доказательства изобрѣтаются. Видите ли: сосѣди, мужики толкуютъ, будто невозможно, чтобъ у покойника не было денегъ. На какомъ основаніи «невозможно»— потрудитесь догадаться, а я не могъ. Будто бы потому, что мужики работали, доходы были... quelques misères!.. Ну, положимъ, онъ былъ скряга, копилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ человѣкъ глубоко религіозный; его молчаніе даже на исповѣди именно доказываетъ, что онъ раздавалъ втайнѣ... И въ самомъ дѣлѣ, тамъ, въ томъ же уѣздѣ, чудесами создалась пустынь. Вы слышали?

— Нѣтъ, не слыхалъ, отвѣчалъ Верховской.

— Oh, la grâce ne nous abandonne pas, même dans ce siècle pervers! воскликнулъ Волкаревъ съ глубокимъ умиленіемъ. — Я былъ тамъ... И что еще болѣе меня убѣдило и должно было бы, казалось, убѣдить всякаго: въ церковной кружкѣ нашелся одинъ изъ этихъ билетовъ...

— Стало быть, они дѣйствительно были?

— Можетъ быть, что нибудь, немногое, не спорю. Можетъ быть, — и даже вѣроятнѣе,—это простая случайность. Мало ли кто жертвуетъ! А всего вѣроятнѣе, что этотъ оставленный всѣми старикъ былъ помѣшанъ и, себѣ въ утѣшеніе, — особаго рода манія! писалъ счетъ своихъ воображаемыхъ сокровищъ! Маніи бываютъ всякія.

— Эта — довольно странная, замѣтилъ Верховской.

— Да, но билетовъ все-таки нѣтъ, возразилъ нетерпѣливо Волкаревъ: — нигдѣ нѣтъ... Господа Мауровы, руководясь слухами, не знаю чѣмъ, построили цѣлый доносъ на недобросовѣстность моихъ чиновниковъ, приплели туда объ упущеніяхъ въ слѣдствіи, о пристрастности допросовъ, о моей излишней снисходительности... потому что я, въ угоду ихъ фантазій, не сбросилъ съ мѣста этого несчастнаго исправника...

— Того молодого человѣка, къ которому вы писали? спросилъ, не подумавъ, Верховской.

Волкаревъ смутился.

— Да... Но я знаю его, какъ себя, онъ не способенъ, не способенъ на низость! вскричалъ онъ, снова приходя въ волненіе.—Онъ мнѣ всѣмъ обязанъ... ce pauvre enfant... Это чувство всегда священно!

Онъ съ горестью и достоинствомъ сжалъ руку Верховского.

— Я страдаю вдвойнѣ, какъ начальникъ губерніи и... и, наконецъ, это довершилось! Мои враги—ихъ у меня довольно! достигли того, что я обвиняюсь уже не въ потворствѣ виновному чиновнику, а въ сообщничествѣ, въ покражѣ этихъ грязныхъ денегъ... Tenez, lisez vous-même, вотъ письмо князя

Петра Александровича. Онъ меня предупреждаетъ... Lisez, mon ami, je n'ai rien de caché pour vous, я вамъ сейчасъ открылъ все мое сердце...

Верховской взялъ письмо; губернаторъ сѣлъ, наклонивъ къ колѣнямъ и захвативъ руками свою сѣдую голову.

Въ письмѣ Волкарева увѣдомляли, что въ Петербургѣ рѣшили прислать въ N* чиновника для раскрытія дѣла объ этой пропажѣ и другихъ, къ нему прикосновенныхъ дѣлъ, которыя найдутся. Верховской читалъ именно эти слова, когда ему на плечо легла рука Волкарева; блѣдное лицо съ помутившимися глазами пришлось рядомъ съ его лицомъ.

— Вотъ мой приговоръ, заговорилъ губернаторъ.—«Найдутся?» Конечно, найдутся! Какъ женщина—вся въ постскриптумѣ своего письма, такъ всѣ наши слѣдствія въ «прикосновенномъ». Дѣло Мауровыхъ — только предлогъ набросить мнѣ сѣть на голову. Je suis condamné.

— Простите, если на это я скажу вамъ азбучное утѣшеніе, сказалъ Верховской, возвращая письмо,—правому нечего бояться.

— Noble coeur!.. возразилъ Волкаревъ съ грустью и, въ волненіи проходя по комнатѣ, бросилъ письмо на рабочій столъ. — Энтузіастъ!.,

Онъ остановился предъ Верховскимъ и продолжалъ, понижая голосъ.

— Знаете ли вы несчастную поговорку нашего отечества: «безъ вины виноватъ!» Эту формулу униженія и благоговѣнія предъ произволомъ?.. Есть гдѣ нибудь, кто нибудь, а я знаю, гдѣ и кто!—кому понравилось N-ское губернаторство, и старикъ Волкаревъ будетъ уничтоженъ... Вы знаете только наружность. Вы слыхали, какъ осуждались люди; вы видали, какъ подписывались имъ приговоры; вы знали, что на ихъ мѣста сажали другихъ людей. Все это только формальность, обрядъ. Вы никогда не знали ни сущности дѣла, ни этихъ уничтоженныхъ людей; они были для васъ—отвлеченность, или — хуже. Завистники-плебеи увѣряли васъ, можетъ быть, что имъ воздано по дѣламъ. Вы молоды, чисты душою—прелестные недостатки! вы, во имя добра, готовы вѣрить злу и вы ему вѣрите... Позвольте мнѣ продолжать: вотъ, сейчасъ, ваше слово меня въ этомъ убѣдило: правому нечего бояться... О, юноша! Да, это точно она, та божественная азбука, которую мы лепечемъ на скамейкахъ нашей alma mater... и я тоже лепеталъ ее! И я родился въ Аркадіи!.. Но спросите себя, развѣ жизнь, неумолимая жизнь не бросала вамъ въ глаза примѣровъ, что забыто и большее, нежели эта азбука? Развѣ никогда вы не приходили въ негодованіе? О, тысячу разъ, я увѣренъ! Такъ не противорѣчьте же себѣ, не успокоивайте себя насильно, quand-même, символами школьной вѣры! Неправда можетъ торжествовать, и зло не тамъ, гдѣ вы думаете!

— Сознаюсь, я еще настолько школьникъ, что вѣрую въ торжество правды, отвѣчалъ Верховской, улыбаясь воспоминанію, отъ котораго у него загорѣлось сердце:—но не думаю, чтобъ я ошибался, видя зло тамъ, гдѣ его вижу.

Волкаревъ посмотрѣлъ на него пристально и помолчалъ.

— Я не буду пытаться колебать ваши убѣжденія, заговорилъ онъ снова.—Мы недавно пережили такое время, когда все молодое и пылкое... Однимъ словомъ, вы, люди 1848 г., бросаете насъ за бортъ. И вы дѣлаете большую ошибку. Въ вашихъ благородныхъ надеждахъ и стремленіяхъ вы опираетесь на тѣхъ, кого называете «тружениками...» Croyez-moi, mon cher, vous vous trompez. Бюрократы еще не государственные люди, а тѣ господа, что пробиваются собственными силами... во-первыхъ—это люди безъ образованія! Имъ не только не привычны власть, значеніе, имъ даже небольшой комфортъ въ диковинку, а потому—это грубые, своекорыстные эгоисты. Выслужатъ себѣ чинъ или грошъ и не стремятся дальше чина и гроша. Не эти господа позаботятся вамъ объ общемъ благѣ... Вы, лучшій цвѣтъ нашего общества, вы это разглядите впослѣдствіи и пожалѣете о насъ старикахъ... Mais, nous n'y serons plus! Мы, отстороненные, только увидимъ разрушеніе вашихъ химеръ. Тяжело доживать до осуществленія такихъ предсказаній, но они ужъ начинаютъ сбываться... Сегодня спустятъ меня, завтра другого, и на наши мѣста вспрыгнутъ какой нибудь Горновъ, какой нибудь Багрянскій...

Онъ вдругъ удержался, замолчалъ, отвернулся и прошелся по комнатѣ.

— А!.. сказалъ онъ, вздыхая будто подъ тяжестью.—Я, конечно, даже съ отрадой приму свое увольненіе, мнѣ пятьдесятъ восемь лѣтъ,—довольно! Но сойти въ ничтожество, въ могилу, утративъ единственное, чѣмъ дорожилъ—доброе имя...

Онъ бросился въ кресла. Верховской задумался. Одну минуту ему вошло въ голову, что это комедія, и тутъ же стало совѣстно

этой мысли. Все, что онъ узналъ и видѣлъ въ свое пребываніе въ N*, еще не давало права въ чемъ нибудь серьезно упрекнуть Волкарева. Волкаревъ пустъ—но какъ тысячи другихъ. Пустота—бѣда; но если ужъ терпятъ людей неспособныхъ, то изъ нихъ менѣе всего вредны—вотъ такіе. Не золъ, не корыстолюбивъ... конечно, достоинства отрицательныя, но при лучшихъ условіяхъ могли бы пригодиться и они. Среди всеобщей тьмы и несвладицы, когда всѣ измельчали и унизились, и Волкаревъ отрадное явленіе; старикъ все-таки послужилъ по мѣрѣ силъ и способностей; его карьера не прославленная, но и не запятнанная. Его оскорбляютъ люди хуже его; оскорбленіе страшное. Не честно отвернуться отъ него потому только, что онъ недалекъ, не дѣятель, не негодуетъ, потому что въ жизни—онъ успѣлъ... И великъ ли успѣхъ? N-ское губернаторство, на которомъ онъ трепещетъ, какъ писарь на своемъ мѣстѣ! И у бѣдняка еще аристократическія замашки!..

Верховской невольно улыбнулся... А между тѣмъ—благодушенъ. Аристократъ губернаторъ не выноситъ плебея предсѣдателя; папа Волкаревъ льетъ слезы о сынѣ Багрянскаго... Багрянскій, на его мѣстѣ, не то бы дѣлалъ... Вотъ, хоть бы теперь, напримѣръ, дать ему въ лапы этого интереснаго юнаго исправника, и если тотъ немного, чего Боже сохрани... Да, эта семья вѣруетъ въ торжество правды...

Припомнивъ это слово, Верховской вздумалъ спросить себя, сорвалось ли оно у него вслѣдствіе фразъ Волкарева, или было сказано сознательно? Но самый этотъ вопросъ самому себѣ не есть ли ужъ доказательство невѣрія?..

Сердце у него сжалось. Ему захотѣлось видѣть Катерину...

Оглянувшись машинально, онъ замѣтилъ, что Волкаревъ опять говоритъ что-то, и сталъ вслушиваться.

— Я требую суда! восклицалъ губернаторъ,—я ничего не желаю кромѣ раскрытія истины! Но кто мнѣ поручится за безпристрастіе того господина, который явится сюда, кто знаетъ? можетъ быть, самъ за наслѣдствомъ моего мѣста!.. Чего я долженъ ждать отъ него? Какъ я долженъ себя поставить? Хотя бы я вооружился всѣмъ смиреніемъ христіанина...

Верховской думалъ о Катеринѣ. Волкаревъ могъ говорить хоть до завтра. Это «завтра» ужъ наступило: часы стали бить полночь. Верховской не слыхалъ. Волкаревъ нетерпѣливо подумалъ, что время уходитъ, а этотъ молчаливый, разсѣянный гость, пожалуй, задремлетъ...

— Съ тѣхъ поръ, какъ я получилъ это письмо, ужъ не одну полночь сосчиталъ я съ такимъ же замираніемъ сердца... И въ полночь же... la nuit porte conseil, — мнѣ мелькнула надежда—на васъ.

— На меня? спросилъ Верховской.

— Вы удивились? Да, другъ мой, на васъ. Я въ глубинѣ души убѣжденъ... Энтузіазмъ, достоинство, благородное негодованіе — жизнь еще не затемнила ихъ въ вашемъ сердцѣ! ваша молодость мнѣ порукой...

— Но что-жъ могу я сдѣлать? прервалъ Верховской.

— Спасти меня отъ незаслуженнаго позора! Хотите ли?

— Безъ всякаго сомнѣнія. Но какъ же?

— Позвольте. Вы ожидаете, что вамъ дадутъ здѣсь какое нибудь порученіе?

— Да...

— И до сихъ поръ его не получали. И не получите, я знаю: въ нынѣшнее время такое порученіе трудно найти... Попросите, чтобъ васъ назначили слѣдователемъ по моему дѣлу.

Верховской смотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ.

— Вашъ дядя Каруцкій не очень расположенъ ко мнѣ; назначеніе много зависитъ отъ него, и онъ будетъ радъ случаю послать на меня грозу въ видѣ васъ; онъ предположитъ, что вы ужъ три мѣсяца здѣсь, на слуху... А я, между тѣмъ, буду увѣренъ, что дѣло поведется по всей строгой справедливости. Предъ вами я готовъ стоять какъ подсудимый...

— Я не знаю, никогда не разбиралъ подобныхъ дѣлъ... возразилъ откровенно Верховской.

— Другъ мой, тѣмъ лучше! Вы не бюрократъ, не очерствѣли, не утомились, не предубѣждены. Неопытность—это чистота, это истина! Вы будете человѣкъ, а не слѣдственная комиссія. Вы все поймете яснѣе, прямѣе, сердцемъ, par intuition... И самое дѣло такъ несложно, если взглянуть прямо. Я могу самъ... Я прошу только справедливости! Почти полвѣка службы безъ страха и упрека,—поймите мое чувство...

— Но извините, какъ же это? я долженъ предложить себя...

— Это очень легко; вамъ стоитъ написать вашему дядѣ... Поймите, я хочу только одного—не попасть въ ловушку, quelque guet-à-pens. Вы будете искать только той вины,

которая заслуживаетъ наказанія,—и вы ея не найдете, я увѣренъ! — но вы не примѣшаете къ дѣлу мелочныхъ придирокъ, вы дадите время... Но, нѣтъ! вдругъ вскричалъ онъ, рѣзко махнувъ рукой и отходя: — безумный старикъ, эгоистъ, что я предлагаю! У васъ впереди столица, всѣ наслажденія жизни, а я зову васъ запереться въ этой волчьей ямѣ, въ этомъ городишкѣ, въ этой пошлости, истратить еще нѣсколько мѣсяцевъ,— и это для меня!.. Нѣтъ, другъ мой, простите. Я беру мою просьбу назадъ. Я не заслуживаю такого пожертвованія!

У Верховского забилось сердце и вспыхнуло лицо.

— Развѣ это дѣло можетъ пойти надолго? спросилъ онъ, стараясь говорить спокойнѣе.

— Да... N'y songeons plus, mon ami. Я понимаю ваше молчаніе...

— Нѣтъ, не поняли, возразилъ Верховской, передохнувъ и улыбаясь: — я обдумывалъ... Я очень радъ сдѣлать, что вамъ угодно и остаться здѣсь... хоть на цѣлый годъ.

— Другъ мой, такъ вы... Вы согласны? выговорилъ Волкаревъ, весь озаряясь.

— Отъ всей души. Петербургъ мнѣ опротивѣлъ. Я радъ отдохнуть здѣсь...

— Другъ мой, другъ мой...

— Позвольте, прервалъ Верховской и всталъ.—Только одно. Мнѣ нельзя писать къ Каруцкому... Откровенно: этотъ господинъ— мелко подозрительный бюрократъ, изъ тѣхъ, что вы и я равно не долюбливаемъ. Нельзя ли устроить это безъ моей просьбы? меня въ сторону, а ваши друзья...

— Oh, j'ai des amis puissants! Они будто случайно подадутъ эту мысль, настроятъ... вскричалъ въ восторгѣ Волкаревъ. — Такъ вы даете мнѣ право?..

— Я васъ прошу; чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Мой милый Андрей Васильевичъ! я не нахожу словъ...

Онъ заключилъ его въ объятія.

— Я вамъ буду обязанъ болѣе... болѣе нежели возстановленіемъ моей чести!.. Eh, tenez, хотя бы впослѣдствіи я долженъ былъ уступить вамъ мое мѣсто, я безъ сожалѣнія...

— N-скую губернію? Благодарю васъ, я не такъ честолюбивъ, прервалъ, весело смѣясь, Верховской.

— Brave jeune homme! Но, прошу васъ, сохраните это въ тайнѣ. До времени — никому...

— Кому же? возразилъ Верховской.

— Вашей женѣ... Мы и не подумали! Она не захочетъ оставаться въ этой глуши...

— Тогда можетъ ѣхать въ Петербургъ, отвѣчалъ Верховской еще веселѣе.

— Но разлука съ нею...

— Не предполагаете ли вы у меня двѣнадцать лѣтъ медоваго мѣсяца?

— Oh, je crois bien! Вы имѣете все право... подхватилъ Волкаревъ, хохоча, какъ шалунъ.—Въ провинціи, въ этомъ отношеніи, есть своя оригинальность... Такъ рѣшено? Я пишу князю Петру Александровичу? спросилъ онъ, замѣтя, что Верховской взглянулъ на свои часы.

— Рѣшено. Пишите, отвѣчалъ Верховской, подавая ему руку.

— Ахъ, это будетъ моя первая спокойная ночь... Но что-жъ вы торопитесь?..

— Отдохнуть тоже.

— Partez, mon ami.

Онъ еще разъ его обнялъ и поцѣловалъ въ голову.

— Вотъ, Богъ съ вами. Laissez-moi vous bénir. Благословеніе старика приноситъ счастье...

Верховской вышелъ. На улицахъ все спало, даже собаки и часовые. Мѣсяцъ только что поднимался; въ глубинѣ еще темнаго неба тихо дрожали звѣзды.

— Катя, я остаюсь здѣсь, съ тобой, надолго, на вѣки!.. выговорилъ онъ, какъ сумасшедшій, громко, на весь пустой бульваръ...

II.

Просыпаясь, Верховской рѣшилъ, что еще отъ роду не зналъ такого крѣпкаго, славнаго, освѣжающаго сна, и поднялся, весь подъ впечатлѣніемъ всего восхитительнаго, что ему снилось. Утро — прелесть. Катерина встаетъ рано. Вотъ возобновляется жизнь, прерванная мѣсяцъ назадъ, только еще лучше, еще полнѣе. Былъ тяжкій промежутокъ; — онъ былъ нуженъ, какъ испытаніе, какъ доказательство, что жизнь иначе идти не можетъ и не должна... Сказать ей, порадовать?.. Нѣтъ, опять дѣла, предположенія! О, Богъ съ ними, успѣетъ! что терять слова, терять время...

Катерина работала надъ планомъ, съ которымъ торопилась. Ей было трудно и горько проснуться. Она оглянулась кругомъ съ тоскою, съ упрекомъ себѣ, со страхомъ — сознавая, что въ душѣ ея была ужъ не отвага, а только терпѣніе...

— Есть дѣло... Нужно, должно, повто-

ряла она.— Мое горе не должно ничему мѣшать.

Но, принявшись за работу только терпѣливо, она черезъ нѣсколько минутъ занялась ею ужъ отъ души...

— Привыкну... думала она, печально довольная, что не приходила Маша, и заработалась, задумалась такъ, что не слыхала звонка.

— Съ добрымъ утромъ, сказалъ, входя, Верховской.—Здравствуй, моя радость!

Ея обѣ руки были заняты, она смутилась, испугалась такъ, что ему было очень удобно цѣловать ее сколько хотѣлось.

— Наконецъ-то я дома! Въ первый разъ дома у тебя... Катя, еслибъ жить вотъ такъ!

Она не понимала, куда дѣвалось ея мужество. Она такъ твердо рѣшилась приказать ему, едва увидятся, чтобъ онъ скорѣе, скорѣе уѣзжалъ. Она, казалось, такъ вполнѣ оторвала отъ души это дорогое и отдала его всѣмъ, осудила себя на забвеніе, простилась, благословила... какъ, должно быть, прощалась съ нимъ его мать... И вотъ онъ, опять тутъ, и силы нѣтъ опять поднять въ себѣ это горе... А кругомъ опять все такъ полно, тихо, хорошо, благодатно! Онъ такъ веселъ, такъ мила его ласка...

— Счастье мое... невольно выговорила она.

— Катя!

Ни горя, ни раздумья какъ не бывало...

— Пусти меня работать, сказала она, краснѣя.—У меня руки соскучились въ четыре дня. Садись вотъ тамъ, и сиди смирно.

Онъ сѣлъ, только ближе, и, положивъ голову на столъ, заглядывалъ въ ея наклоненное лицо. Она смѣялась. Онъ ей мѣшалъ. Говорился вздоръ, лучше котораго нѣтъ ничего на свѣтѣ... И какое-то спокойное, увѣренное, ясное счастье, еще свѣтлѣе, еще полнѣе, чѣмъ даже тогда утромъ, въ лѣсу. Что-то, что ужъ совсѣмъ вошло въ жизнь, взяло свои права, стало въ порядкѣ вещей... Чрезъ нѣсколько времени говорили даже о постороннемъ, о чужихъ людяхъ, просто, по семейному, шутили какъ братъ съ сестрой, разсуждали какъ умные люди. Катерина пошла къ этажеркамъ показывать ему свои книги. Его руки ужъ не дрожали, касаясь ея рукъ; ему, безъ удивленія, было пріятно, какъ она много знаетъ.

— А это что? спросилъ онъ, снимая съ полки толстый томъ.—Ай, стыдъ какой,— Байронъ въ переводѣ! Развѣ ты не читаешь по-англійски?

— Нѣтъ. Въ Петербургѣ только начала— мы уѣхали. А ты?

— Я читаю.

— И говоришь?

— И говорю. Еще ребенкомъ говорилъ; мама выучила. Хочешь, я буду тебя учить? спросилъ онъ, глядя въ ея засвѣтившіеся глаза.

— Хочу... Но когда же? прибавила она и вдругъ поблѣднѣла.

— Какъ когда? вскричалъ Верховской, спрыгивая со стула, на который влѣзъ за книгою. — Я остаюсь здѣсь, у васъ, въ N*, надолго, на вѣки!

— О, Богъ съ тобой, что ты... Зачѣмъ? выговорила она, блѣднѣя еще больше.

— Испугалась? испугалась? обрадовалась? вскричалъ онъ въ странномъ восхищеніи, еще удвоенномъ отъ промежутка спокойствія.—Сейчасъ говори:—рада?

— Нѣтъ! отвѣчала она.

У него опустились руки.

— Если это шутка, — не шути, больно... продолжала она:—а если правда...

— Катя, это правда.

Она сѣла, вся дрожа, молча, опустивъ голову; минутами на ея губахъ пробѣгала какая-то странная, испуганная улыбка. Верховской ждалъ.

— Что же, сказала она:—разскажи.

— Это очень просто, Катя. Я думалъ, ты будешь довольна, а не разсказывалъ потому, что меня просили молчать. Но, все равно...

Онъ разсказалъ, что говорилъ наканунѣ съ Волкаревымъ. Катерина слушала не прерывая.

— Такъ ты остаешься здѣсь! сказала она, сама не зная, что ее волнуетъ, чувствуя, что ей какъ-то легко, и не смѣя радоваться.

— Остаюсь. Ты видишь, это нужно.

— Я не знаю этого дѣла.

— Оно, можетъ быть, и серьезное.

— Тѣмъ лучше, сказала она, оживляясь и будто схватываясь за мысль:—тѣмъ лучше, если серьезное. Раскрой хоть одну неправду. Если и другія дѣла привяжутся — не отказывайся, дѣлай до конца... Мнѣ хотѣлось бы для тебя труда поважнѣе этого...

— Тутъ важно, Катя, что мы будемъ видѣться каждый день.

— Я посмотрю, какъ ты работаешь, прервала она.

— О работница, о мучительница! только и помышленія...

— Нѣтъ, видишь ли, прервала она опять, потупляя глаза, и голосъ ея дрожалъ:—хоть и работа, но все это—полумѣры; ты все въ

томъ же положеніи, все также связанъ... дѣло пустое...

— Ты говорила, что всякое дѣло полезно и нужно.

— Охъ, сдѣлки съ совѣстью!...

— Катя, ты недовольна? ты не хочешь меня видѣть за дѣломъ?

— Ну, такъ и быть, на первый разъ! выговорила она, рѣшаясь и радостно, и отчаянно; — я посмотрю. Ты начнешь при мнѣ, а потомъ... потомъ и одинъ...

Она не могла договорить и отошла.

— Ну, а если мнѣ разрѣшается остаться, вскричалъ Верховской:—такъ полно же, Катя, не мучь меня! Въ сторону все, и давай жить, вотъ такъ...

Она обернула къ нему свое прелестное лицо, разгорѣвшееся отъ тревоги, стыдливости, счастья, глаза, полные сіянья и любви, робко улыбнулась и тихо протянула руку.

— Ну, садись же тамъ, не мѣшай мнѣ и говори что нибудь хорошее...

Верховской въ тотъ же день написалъ въ Москву, чтобъ ему выслали Байрона, диксіонеры, множество книгъ. Досадуя, что надо ждать, что нѣтъ ничего подъ рукою, онъ очень обрадовался, когда ему подали его томикъ «Поисковъ Франклина», забытый въ гостинницѣ во время отъѣзда въ Спасское. Это была находка, единственная англійская книга въ N*. Посмѣявшись прошедшему, припомнивъ, что бѣдный томикъ служилъ вѣрою и правдою усыпительнымъ въ скукѣ, Верховской явился съ нимъ къ Катеринѣ. Для нея ученіе бывало всегда серьезнымъ дѣломъ; она принялась такъ охотно, дѣтски простодушно и прилежно, что занятіе заинтересовало и Верховского; уроки не были только предлогомъ быть съ Катериной, а въ самомъ дѣлѣ уроки. Верховской испытывалъ надъ собой ея вліяніе, самъ того не замѣчая. Уроковъ было недостаточно. Они вмѣстѣ принялись читать новое, перечитывать старое, то, что восхищало Верховского еще въ его первой молодости; разговорамъ, передачѣ впечатлѣній, размѣну мыслей не было конца...

Верховской сразу устроилъ себѣ жизнь въ порядкѣ. Утро рано начиналось у Катерины. Въ теченіе дня, онъ успѣвалъ бывать у Волкаревыхъ, которыми ограничивалъ свой кругъ знакомства, а вечеромъ, до поздняго часа, оставался опять тамъ, гдѣ весь день была его душа,—на балконѣ подъ кленами, буквально у ногъ Катерины, потому что полюбилъ нижнюю ступеньку, отнявъ мѣсто у котенка.

Это были странные дни, странное счастье,—молодое, упоительное, но тихое, ровное, спокойное. Верховской каждую минуту помнилъ, что они вмѣстѣ н а д о л г о. Это н а д о л г о казалось вѣчностью. Если вѣчность, то можно ждать. Ждалось такъ хорошо, какъ будто лучше ничего и не надо, но ждалось. Чего — Верховской не зналъ и не спрашивалъ себя. Въ немъ вдругъ, безъ усилій, безъ благоразумія, даже безъ размышленій, укротилась всякая тревога. Онъ довольствовался настоящимъ, тѣмъ, что видѣлъ Катерину,— говорилъ съ нею и не желалъ больше ничего, наслаждался покоемъ, который освѣжалъ и нѣжилъ, будто чистый утренній воздухъ. Страсть была забыта. Верховской забывалъ все, забывалъ себя и не хотѣлъ выходить изъ забвенія... Въ послѣднее время онъ привыкъ жить мечтами о милой; теперь, вмѣстѣ съ милой жилъ мечтами о человѣчествѣ, поднималъ со дна своей души идеалы молодости, осмѣянные, отверженные, мучительно измятые людьми, ненавидящими все, что повыше ихъ понятій, все, что тревожитъ ихъ сонное, сытое существованіе. Много лѣтъ не касался онъ этихъ идеаловъ, сберегая ихъ то благоговѣйно, то робко, отъучаясь сначала отъ словъ, а впослѣдствіи и отъ потребности высказываться. Теперь въ немъ все пробуждалось; повторялось что-то свѣтлое, дорогое, испытанное такъ давно, что ужъ переставало сниться и во снѣ. Онъ наслаждался, чувствуя надъ собою силу молодой, чуткой, памятливой, огневой души, которая вѣчно звала, вѣчно влекла, искала безъ усталости, не давала останавливаться, не давала уставать. Свобода, истина, знаніе, свѣтлыя цѣли опять явились ему во всей ихъ красотѣ, возможныя, достижимыя. Покоряясь очарованію, которое заставляло стремиться, онъ восхищался, какъ кротко и просто о н а, добрая, объясняла и примѣняла смыслъ божественныхъ законовъ къ бѣдному житью-бытью человѣчества... Онъ вдругъ понялъ, что любитъ ее еще какъ-то особенно,—какъ, онъ не умѣлъ опредѣлить,—пылко и вмѣстѣ чисто радостно, будто лучшую прелесть этого в с е г о, которое она такъ безконечно любила... Новый видъ, новая прихоть любви. Любовь растетъ скоро, ежеминутно, и ежеминутно измѣняется...

Верховской раздумался объ этомъ однажды, оставшись одинъ. Онъ провѣрялъ свое

счастье. Такія провѣрки сами по себѣ — счастье, но въ благахъ, которыя отпускаетъ судьба, всегда есть что-то нѣжное, до чего разбору лучше бы не касаться... Верховскому вздумалось сравнить свои настоящія, спокойныя ощущенія съ той бурей, которая была за недѣлю...

— Стало быть, и эта тишь также не долговѣчна? подумалъ онъ съ какимъ-то безотчетнымъ страхомъ. Все хорошо,—все ясно,—и все пройдетъ. Что-жъ будетъ?.. Общіе идеалы отвлекли мысль отъ тоски собственнаго положенія. Настанетъ минута и это положеніе напомнится опять, само о себѣ напомнитъ. Опять волненія! Опять эта нестерпимая дѣйствительность, съ которой ничего не столкуешь! Опять планы, изъ которыхъ ни одинъ неосуществимъ.

Дѣйствительность ужъ явилась тѣмъ, что вспомнилась. Всѣ думы о человѣчествѣ, всѣ разрѣшенные и неразрѣшенные вопросы разлетѣлись разомъ въ прахъ, едва коснулись самого Верховского, села Спасскаго, N*, Лидіи Матвѣевны... Все это внѣ общихъ законовъ...

— Руки отпадаютъ... сказалъ себѣ Верховской.—Не боецъ я съ этой мелочностью, съ этой грязью. Все стремленія, все мечтанія.. И во всемъ только стремленія, и мечтанія... Волкаревъ правъ. Но когда жить иначе нельзя, какъ забываясь? Ждать нечего. Высокое неприложимо, міръ его не вмѣщаетъ: вотъ оно,—воплощенное въ красотѣ, такой же, какъ оно, недоступной. Что-жъ, если прекрасные общечеловѣческіе идеалы успокоиваютъ въ страстной горячкѣ забываться хоть въ идеалахъ! Если эта прелестная дѣвушка такъ складно и мило распоряжается ихъ помѣщеніемъ среди родныхъ пустынь, провинціальныхъ и всякихъ, гдѣ не зацѣпишься ни за честность, ни за смыслъ—жаль и грѣшно ей мѣшать. Идеалы все-таки высоки и глумиться надъ ниму—преступно. Она ими тверда и счастлива. И она такъ хороша, такъ граціозно трогательна въ своихъ поэтическихъ восторгахъ... Недостанетъ духу ее образумливать, и къ чему?..

Это было далеко не то искреннее, юношеское увлеченіе, которое оживляло его, когда онъ принимался за свою провѣрку: онъ, нечаянно, провѣрилъ самого себя. По душѣ прошло смятеніе, жалость къ чему-то, недовольство собою...

— Ждать нечего; жить забывшись! повторилъ онъ почти отчаянно.

Онъ «не образумливалъ» Катерину, но онъ ея и не обманывалъ, продолжая съ нею свои восторженныя бесѣды: онъ увлекался самъ, и не одними собственными рѣчами или обаяніемъ ея красоты. Съ какимъ-то прощальнымъ чувствомъ тоски онъ искренно любилъ эту вѣру, которую исповѣдывалъ только на словахъ, эти надежды, въ которыхъ отчаялся; онъ тѣшилъ самого себя, изображая живымъ то, что считалъ невозвратнымъ или невозможнымъ; онъ забывался, помня, что забывается... Катерина, конечно, не могла этого понять, предположить, даже вообразить. Верховской вдохновлялся, глядя на нее, и былъ краснорѣчивъ, часто еще краснорѣчивѣе отъ усилій заглушить отрицаніе, которое поднималось въ немъ самомъ. Катерина слушала его и была счастлива. До этого времени она только любила, сострадала, заботилась; теперь она гордилась человѣкомъ, котораго—она не смѣла сказать «выбрала», котораго судьба подослала ей какъ незаслуженное благо. Она повторяла, запоминая, всякое его благородно-сочувственное слово и не помнила, чѣмъ сама его вызвала, принимала его увлеченіе за убѣжденіе, вѣровала въ его твердость, какъ была увѣрена въ собственной твердости. Она видѣла его сквозь себя, сквозь сіяніе, которымъ была полна ея душа, котораго она не цѣнила, даже не сознавала, и восхищаясь, принимала его отраженіе за собственный свѣтъ дорогого человѣка...

Она была счастливѣе его. У него началось недовольство, смятеніе. Она любила безмятежно, бодро, весело... Она спросила себя, не слишкомъ ли обрадовавшись, что Верховской остался здѣсь, довольствуется она неважнымъ дѣломъ, за которое онъ берется, но рѣшила скоро: неважныхъ дѣлъ нѣтъ, а такими колебаніями, да разборчивостью люди доходятъ до необыкновенно высокаго мнѣнія о самихъ себѣ и становятся никуда негодны. Вотъ отецъ,—не хуже его, а работаетъ. Ну, и онъ работай.

— А между тѣмъ, здѣсь, при мнѣ, ему легче... заключала она, краснѣя, но думая не о себѣ, а единственно о томъ, чтобъ ему было легче.

Онъ ждалъ,—она ничего не ждала. Она брала жизнь, какъ она ей давалась, зная, что это надолго и безъ робости помня, что никакое «надолго» не вѣчно. Она пользовалась временемъ, чтобы сказать милому всѣ свои мысли, открыть всю свою совѣсть, показать все свое житье-бытье, какъ слѣдуетъ между родными. Для него она не одѣвалась наряднѣе, ничего не перемѣняла въ своей

обстановкѣ, безъ церемоній при немъ хозяйничала. Смѣшно и нелѣпо щеголять пустяками или прятать какіе нибудь пустяки отъ своего человѣка, но Катерина не съумѣла бы это дѣлать, если бы и вздумала. Верховской снисходительно улыбался ея строгой, ясной простотѣ, которая казалась ему незнаніемъ жизни и наивностью; нерѣдко случалось, что простота ея привычекъ задѣвала его какъ-то неловко. Катерина не могла предположить, потому и не замѣтила, что онъ чуть-чуть насмѣшливо отозвался о ея «лекціяхъ» Машѣ; что онъ однажды неохотно продолжалъ чтеніе по-русски, когда Катерина позвала Машу послушать, и впослѣдствіи избѣгалъ русскаго чтенія; что онъ отговорился головной болью и ушелъ въ одинъ вечеръ, когда пришелъ сынъ отца дьякона... Верховской какъ-то отвлеченнѣе понималъ равенство и вовсе не понималъ терпѣливости съ людьми малообразованными и удовольствія въ сердечномъ сближеніи съ ними. Это выходило ловко только въ теоріи, гдѣ-то... Еще онъ не понималъ такого полнѣйшаго равнодушія къ недостатку многихъ удобствъ въ жизни, бездѣлокъ, баловства, которыми въ особенности любятъ окружать себя женщины. На первый разъ это показалось ему очаровательно; дальше, стало какъ будто непокойно, скучно. Онъ вспомнилъ, что такъ жила и съ такими простыми людьми сближалась его мать... Нѣтъ, это было что-то другое!

По необъяснимому капризу, онъ сталъ упрашивать Катерину пойти однимъ вечеромъ къ Волкаревымъ.

— Зачѣмъ я буду терять время? спросила она.

Онъ доказывалъ, что это не потеря времени, а необходимая уступка приличіямъ, которыя требуютъ, чтобъ она не пряталась, что ужъ двѣ недѣли, какъ она ѣздила съ Волкаревой въ Спасское, и съ тѣхъ поръ не показывалась нигдѣ, что это назовутъ странностью, или станутъ толковать...

— Это вздоръ, прервала она, по своему обыкновенію, равнодушно, и не пошла.

Верховской пошелъ, — съ досады. Онъ самъ не зналъ почему, изъ преувеличенія, настаивалъ о свѣтскихъ толкахъ: N* славится сплетнями, но на этотъ разъ еще ничего не придумалъ. Катерину слишкомъ много знали и слишкомъ много любили «мелкіе» люди; «высшее» общество мало обращало на нее вниманія и въ четыре года привыкло, что она принимала одна. Волкаревъ, слѣдившій за своимъ «юнымъ другомъ», конечно, зналъ, гдѣ другъ проводитъ свое время, и непріятно призадумывался надъ этимъ «сближеніемъ съ семействомъ врага», но молчалъ, не зная какъ вступиться. М-ше Волкарева, всякій день видя Верховского, еще ничего не подозрѣвала. Лѣсничевъ, видаясь съ Верховскимъ, не вспоминалъ, даже не называлъ Катерину. Верховской нашелъ, что онъ держится отлично, воспользовался примѣромъ, сталъ и самъ выказывать такое же равнодушіе и, какъ всегда бываетъ въ подражаніи,—преувеличивалъ. Онъ былъ скученъ и неразговорчивъ еще больше прежняго, потому что еще больше прежняго былъ занятъ одной своей мыслью...

Вечеръ, куда онъ отправился съ досады, вышелъ, конечно, несносенъ. Воротясь поздно домой, онъ нашелъ письмо отъ жены, присланное «съ оказіей». Это раздосадовало еще болѣе; это заставило еще сильнѣе пожалѣть о потерянномъ времени, еще разъ оглянуться на странное затишье своей любви... Но вмѣстѣ съ этой оглядкой, Верховскому пришло болѣе отчетливое воспоминаніе о своемъ положеніи, — воспоминаніе, потому что онъ какъ-то пересталъ сознавать, что онъ мужъ и отецъ семейства. Онъ сказалъ себѣ, что необходимо благоразуміе, осторожность,—и эти два слова бросили его въ другую крайность, воротили, подняли вдругъ, разомъ, все прежнее безуміе, всю прежнюю тревогу...

— Нужно оградиться... подумалъ онъ.

Онъ взялся ограждаться со всею неловкостью новичка, со' всей трусливо пошлой ложью человѣка, одуреннаго свѣтомъ; онъ написалъ Лидіи Матвѣевнѣ, что тоскуетъ въ разлукѣ и давно бы воротился въ Спасское, если бы не дѣла, которыми постоянно занятъ съ Волкаревымъ... Несчастный хохоталъ, когда писалъ это письмо. У него смутно мелькнула мысль разсказать Катеринѣ эту потѣху и вдругъ пришло отвращеніе — выговорить имя жены... Отвращеніе показало ему мѣрку того, что онъ сдѣлалъ, но воротить письмо было ужъ поздно.

— Все равно!.. сказалъ онъ, махнувъ рукой.—Началъ униженіемъ,—кончай униженіемъ!

Утро было дождливое, холодное. Верховской былъ смертельно скученъ за урокомъ.

— Что съ тобой? спросила Катерина: — не случилось ли чего?

— Ничего, отвѣчалъ онъ:—нездоровится.

— Это отговорка. Я не вѣрю.

— Но что-жъ я скажу? возразилъ онъ.—

Точно, ничего не случилось, и точно, нездоровье, только нравственное. Съ нимъ, видно, ничего не подѣлаешь.

— Отъ него надо бы лечиться разомъ. Уѣзжай.

— Не повторяй этого, сказалъ онъ, помолчавъ съ минуту, рѣзко и рѣшительно.— Ты знаешь, какъ мнѣ противна жизнь. Безъ тебя я съ нею не справлюсь.

— Неутѣшительно! выговорила она.

— Катя, жизнь моя, радость! вскричалъ онъ, припавъ къ ней на шею:—мнѣ тяжело! мнѣ стыдно... я недоволенъ собой. Не заставляй признаваться, не спрашивай, въ чемъ виноватъ, прости! Только прости! Ты—святая. Такое прощеніе, какъ твое — воскрешаетъ...

— Богъ съ тобой, прервала она: — въ чемъ ты виноватъ, что ты меня возвеличиваешь... Другъ мой, это фразы и нервы. Ты знаешь, какъ я тебя люблю и какъ не люблю... этого.

Она выговорила это съ тѣмъ прелестнымъ пренебреженіемъ, которое всегда приводило его въ восторгъ.

— И ты приказываешь мнѣ уѣхать... вскричалъ онъ.

— Постой... прервала она.

Къ крыльцу кто-то подъѣхалъ верхомъ; въ прихожую вошли, заговорили. Прибѣжала Маша.

— Письмо, сказала она. — Прислалъ съ нарочнымъ тотъ чиновникъ, что поѣхалъ съ Николаемъ Степановичемъ.

— Отъ отца? спросилъ Верховской.

Катерина стала читать и вдругъ помертвѣла.

— Что случилось?

— Отецъ боленъ, выговорила она и смотрѣла въ письмо, не шевелясь, будто окаменѣлая.

Въ прихожей, нянька разспрашивала посланнаго, ахала, рыдала и причитала. Катерина вдругъ встала и пошла туда. Верховской побѣжалъ за нею.

— Позволь, няня, сказала она, громко и твердо:—разспрашивать некогда. Вотъ что, обратилась она къ посланному:—потрудись для меня, пожалуйста; мнѣ послать некого. Поѣзжай сейчасъ въ слободу; знаешь дворъ Ефремовыхъ,—скажи старшему брату, чтобъ онъ сію минуту привелъ мнѣ тройку и чтобъ держалъ другую, готовую; понадобится. Телѣга — какая случится, все равно... Ступай скорѣе... Да! закричала она ему въ сѣни: — быть на мѣстѣ въ вечерню, прогоны вчетверо!

— Что вы дѣлаете? спросилъ Верховской.

— Ѣду. Маша, сбери, что нужно въ узелъ...

— Матушка, пятьдесятъ верстъ! гляди— дождь-то! въ телѣгѣ, одна, съ мужикомъ... кричала нянька.

— Ради Бога... Но взгляните на себя! повторялъ Верховской.

— Уговорите ее хоть вы! умоляла нянька,

— Возьмите, это письмо, сказала Катерина, не слушая, Верховскому: — ступайте къ доктору,—который толковѣе, я не знаю; отецъ всегда былъ здоровъ... И отправьте его за мной слѣдомъ. Они всѣ здѣсь богатые господа, экипажи свои, а лошади, вы слышали, готовы. По письму, онъ сообразитъ болѣзнь, захватитъ лекарство... Ступайте; еще долго ихъ не найдете...

Верховской не оглянулся, какъ она вытолкнула его въ сѣни; онъ остановился, стараясь опомниться, придти въ себя. Эта испуганная, измученная женщина—Катерина? Все, что было за четверть часа... не во снѣ ли это? Такъ неожиданно, такъ разомъ... И одуматься некогда!

Онъ побѣжалъ исполнить ея приказаніе, нашелъ, отправилъ доктора и торопился опять къ ней, надѣясь еще застать ее, хоть нѣсколько секундъ.

— Куда, слѣдъ простылъ! сказала нянька, сердясь и плача:—и дождь какъ изъ ведра, и телѣга — едва сѣсть, и помчалась — того гляди, костей не останется!

Верховской хотѣлъ скакать вслѣдъ за нею... Волнуясь, онъ ходилъ изъ угла въ уголъ по своему номеру, останавливался вдругъ, безъ мысли глядя въ окна, забываясь, самъ не зная чего ждетъ. Онъ вспомнилъ, какъ однажды погнался за н е ю въ поле, т о г д а... Проклятая жизнь, ни минуты покоя!.. Ѣхать къ ней? Зачѣмъ ѣхать? Что тамъ дѣлать?.. Но когда-жъ она воротится?

Онъ шелъ посылать за почтовыми и въ корридорѣ столкнулся съ Волкаревымъ.

— Прямо изъ присутствія къ вамъ, мой милый Андрей Васильевичъ. Мнѣ сказали— вы встревожились, искали доктора. Un malade dans votre famille?

Верховской очнулся.

— Нѣтъ... отвѣчалъ онъ и, какъ могъ равнодушнѣе, разсказалъ о Багрянскомъ.

— Богъ милостивъ, сказалъ Волкаревъ, тоже какъ могъ равнодушнѣе.—И дочь его уѣхала? Она очень экцентрична, эта молодая особа. Конечно, съ ея стороны... C'est

une Antigone.. Не проведемъ ли мы день вмѣстѣ? Я нарочно заѣхалъ за вами. Вы у насъ короткій, но такой краткій гость...

Верховской отправился съ нимъ. Задумываться было некогда. При немъ поминали о Катеринѣ, но какъ будто даже не предполагали возможности, чтобъ онъ могъ о ней думать. М-me Волкарева ахнула и забыла. Заговорить о Катеринѣ съ кѣмъ нибудь, чтобы, хоть называя ее, облегчить сердце — съ кѣмъ, возможно ли, къ чему? развѣ для того, чтобъ подать подозрѣніе... И безъ того эти двѣ недѣли безпрестанныхъ посѣщеній, конечно, замѣчены. Это надо поправить. Теперь удобный случай...

Онъ провелъ два дня разъѣзжая по знакомымъ, а вечера въ клубѣ, тоскуя, не зная куда дѣваться, не зная что дѣлать, навѣдываясь въ домъ Багрянскаго. Вѣстей не было. На четвертый день Катерина воротилась сама, вмѣстѣ съ отцомъ. Верховской зашелъ какъ разъ чрезъ нѣсколько минутъ по ихъ пріѣздѣ. Багрянскій былъ боленъ опасно, безъ памяти, не узналъ даже дочери. Верховской увидѣлъ ее мелькомъ, не успѣлъ сказать слова. Усталая, потерянная, озабоченная, Катерина его и не замѣтила. Все въ домѣ сдѣлалось какъ-то неузнаваемо; торопливая суета, тишина, страхъ, слезы, волненіе томящее и утомляющее,—и это потянулось долго, цѣлыя двѣ недѣли. Общество мало безпокоилось о Багрянскомъ и только присылало освѣдомляться; приходили чиновники его палаты, разный людъ. Верховской приходилъ и уходилъ нѣсколько разъ въ день; къ нему привыкли въ домѣ, привыкъ докторъ. Его не замѣчала только Катерина. Для нея кромѣ отца ничего не существовало. Если случалось ей, выходя изъ кабинета, встрѣчать Верховского, она машинально говорила съ нимъ, даже приказывала, поручала, но будто не узнавая его, или совсѣмъ не видя; онъ, или кто другой, ей, казалось, было все равно.

— Опять одинъ! опять никому нѣтъ до меня дѣла! повторялъ себѣ отчаянно Верховской.

Онъ измучился; онъ ревновалъ къ этому умирающему. Ему сталъ нестерпимъ ея безстрастный, разсѣянный взглядъ; его отталкивало ея исхудалое лицо, въ пятнахъ отъ безсонницы, ея глаза, выжженые слезами и ночникомъ, ея блѣдныя, сухія губы... Онѣ и всегда были скупы на поцѣлуй, теперь отъ нихъ не добьешься слова, будто и совсѣмъ все, что было—кончено на вѣки и забыто... хуже: будто и совсѣмъ ничего не было! Отъ прерваннаго, привычнаго счастья слѣда не осталось; свѣтлое видѣніе любви точно растаяло; опять сплошная тьма, опять пустота... Скучно!.. И скука какая-то нетерпѣливая, досадная, будничная...

Онъ бѣжалъ въ клубъ, бѣжалъ къ Волкаревымъ, къ m-me Горновой, куда случалось. Въ двѣ недѣли, N-ское общество его не узнало, такъ онъ сталъ веселъ, одушевленъ, разговорчивъ. О немъ говорили, что онъ «обжился», «осмотрѣлся»; Волкаревъ съ восторгомъ повторялъ, что «онъ нашъ»! У Волкарева отлегло отъ сердца: теперь стало ясно, что не изъ дружбы съ отцомъ Верховской проводилъ свое время у m-lle Багрянской; ясно, что и эта «перелетная шалость» ужъ кончена. Только изъ опасенія — шуткой придать значеніе забавѣ — Волкаревъ воздерживался пошутить «юному другу» его «маленькой сердечной слабостью», его «первымъ délassement provincial», — но обѣщалъ себѣ это удовольствіе впослѣдствіи, а покуда, мимоходомъ, лукаво поддразнилъ имъ свою жену, отправляясь въ клубъ.

Верховской, сбираясь туда же, зашелъ прежде къ Катеринѣ и остался. Ночь была ужасная; надежды было мало. Въ домѣ все замерло. Верховского терзало какое-то раскаяніе. Онъ только заглянулъ въ дверь, на неподвижную фигуру съ сжатыми руками, стоявшую у изголовья постели—и убѣжалъ въ другую комнату; онъ не могъ оставаться тамъ. Онъ ходилъ одинъ въ темнотѣ, выходилъ въ садъ, возвращался, прислушивался и не могъ переступить этого порога. Время тянулось, часы били. Въ глубинѣ дома зашевелились, переходили со свѣчами; не замѣчая его, внесли свѣту въ гостиную, и все опять затихло. Вдругъ что-то поспѣшно отворилась дверь кабинета. Верховской охолодѣлъ и не могъ подняться. Вошла Катерина.

— Поди къ нему, сказала она.

Онъ смотрѣлъ, не понимая.

— Живъ. Все прошло. Поди къ нему...

Она едва говорила; въ радости у нея не стало силъ. Она вспомнила его и, будто по праву, сдавала ему свое мѣсто.

— Катя!..

— Поди къ нему... повторила она, тихо махнувъ рукой, и сѣла...

Въ душѣ Верховского произошло что-то странное. До этой минуты онъ былъ встревоженъ, раздраженъ; онъ страдалъ, упрекалъ себя, что въ теченіе двухъ недѣль не раздѣлилъ всякаго часа мученій Катерины;

теперь—онъ принималъ ея счастье спокойно, чтобъ не сказать—холодно. Когда проходитъ горе, радость показываетъ, велико ли оно было: въ горѣ дѣйствуютъ и нервы, а радость искренна.... Верховской вдругъ обрадовался, что можно успокоиться, вдругъ какъ-то понялъ, что не тревожился бы вовсе, еслибъ не тревожилась Катерина, и сознался себѣ въ этомъ даже съ улыбкой... Ну, все прошло, докторъ говоритъ — опасности больше нѣтъ, и слава-Богу... А дальше? Дальше—ничего; все тоже, что было...

M-me Волкарева хотя провела и не безсонную ночь, но встрѣтила утро печально. Замѣчаніе мужа о «перелетной шалости» Верховского поразило ее въ сердце... Мужъ доволенъ, что это—не дружба съ отцомъ, а только... Отъ этого нисколько не легче. У мужчинъ вообще, у мужей въ особенности все практическіе, служебные разсчеты. Но мужья бываютъ способны и выдумывать небывалое, ни для чего, ради злого удовольствія... M-me Волкарева съ ужасомъ вспомнила, какъ была безпечна такое долгое время послѣ своего возвращенія изъ Спасскаго, когда довольствовалась короткими, почти церемонными посѣщеніями, вѣрила отговоркамъ, не подмѣчала настроенія духа...

— Но онъ меня обманывалъ! рѣшила она въ негодованіи: — я, какъ дитя, довѣрилась его чувству, а это было чувство къ другой... это необходимо разъяснить.

Лѣсичевъ, отъ нечего дѣлать, пришелъ къ ней въ это утро.

— Помогите мнѣ разгадать загадку, начала она, еще улыбаясь въ надеждѣ успокоиться и стараясь скрыть свое безпокойство. — Я вчера — съ облаковъ упала: мой мужъ разсказалъ мнѣ, что у Багрянской, во все время отсутствія ея отца, утро и вечеръ просиживалъ... какъ вы думаете, кто? Верховской!.. Да, Верховской! подтвердила она, рѣшившись взглянуть на своего гостя.

Лѣсичевъ вспыхнулъ и молчалъ.

— Вы знали? продолжала m-me Волкарева.

— Нѣтъ, не зналъ.

— Но вѣдь вы знакомы, вы съ нимъ видитесь часто...

— Я не подсматриваю.

— Такъ этого не было?

— Не знаю.

— Мой мужъ, стало быть, знаетъ лучше васъ: это было! возразила m-me Волкарева, вспыхнувъ тоже.—Такъ онъ влюбленъ въ нее?

— Вы могли это сами замѣтить, отвѣчалъ, не выдержавъ, Лѣсичевъ.

— Ah, cela n'a pas de nom! вскричала чувствительная женщина: — несчастная Лидія!

Лѣсичевъ расхохотался. M-me Волкарева, растерявшись, устремила на него гнѣвный взоръ.

— Сдѣлайте милость, простите меня, сказалъ онъ:—браните меня, какъ вамъ угодно, но не поминайте эту Лидію... «Несчастная!!» Такая-то госпожа туда же съ претензіями на счастье!

— Такъ вы считаете ни во что права, обязанности...

— Чьи? какія, Марья Васильевна? Ваша Лидія на свѣтъ родилась безъ всякихъ правъ!

— Какъ, вы скажете, что Верховской ей не обязанъ?

— Извините, прервалъ онъ горячо и даже вставъ съ мѣста: — извините, я выражусь рѣзко: Верховской — подлецъ, что до сихъ поръ еще помнилъ объ этихъ обязанностяхъ!

— Боже мой... Но вы совсѣмъ обезумѣли! И эта дѣвушка, которая... которую...

— Которая такъ хороша!

— Что-жъ, и она права?

Лѣсичевъ остановился.

— Вы еще не знаете, въ чемъ она виновата.

— Это ясно!

— Я не вижу, сказалъ онъ вдругъ очень серьезно. — Извѣстно, что мужчины волочатся, а женщины влюбляются, но всегда ли это далеко заходитъ... Пусть женщины по себѣ разсудятъ, такъ ли это легко, да ужъ тогда сразу и рѣшаютъ, что «ясно»...

— Это урокъ мнѣ?

— Это мое мнѣніе.

— Нѣтъ, это все еще ваше чувство! Вы все еще ее любите! Вы не хотите вѣрить... Вотъ, что вамъ готовилось!

— Ну, что-жъ! Благополучно миновало! прервалъ онъ почти дерзко и взялся за шляпу.—Я васъ просилъ, Марья Васильевна, не упоминать объ этомъ предметѣ. Верховской, другой... мнѣ все равно.

Онъ ушелъ. Онъ въ эту минуту ненавидѣлъ Катерину, но, прибавь m-me Волкарева еще хоть одно слово — онъ не отвѣчалъ за себя. Онъ не могъ опредѣлить, что чувствовалъ. Самъ не зная зачѣмъ, по ка-

кому-то порыву, чтобъ узнать, провѣрить, убѣдиться, онъ побѣжалъ къ Верховскому.

Верховской былъ дома и съ большимъ удовольствіемъ отдыхалъ послѣ безпокойной ночи. Онъ былъ радъ Лѣсичеву,—съ веселымъ собесѣдникомъ отдыхается еще пріятнѣе, — и удивился, когда Лѣсичевъ, на первое слово, спросилъ:

— Ну, что Багрянскій?

— Ничего. Ему легче.

— А она? Катерина Николаевна!

— И она — ничего. Напугалась больше, нежели того стоило, отвѣчалъ Верховской, столько же удивляясь его волненію, сколько тотъ былъ озадаченъ его спокойствіемъ.

Лѣсичевъ больше ничего не добился. Верховской не проговаривался, но не отъ скрытности, а потому, что въ эту минуту ему было нечего скрывать. У его странной любви случился такой охлаждающій промежутокъ, какъ будто ея вовсе не стало. Послѣднія впечатлѣнія были однообразны, унылы, скучны,—самыя прозаическія,—милый образъ вспоминался не привлекательно, наконецъ, не шли на умъ и мечтанія: Верховской—какъ самъ повторилъ не разъ—усталъ до смерти.

— Доволенъ... ужъ соскучился!.. думалъ Лѣсичевъ, глядя на него, и, не пробывъ и четверти часа, ушелъ такъ же скоро, какъ пришелъ. Его душила тоска, о которой онъ не имѣлъ понятія, было чего-то смертельно жаль, больно, обидно, и все—чему-то не вѣрилось...

— Сантиментальничаю!.. подумалъ онъ, попробовавъ надъ собой разсмѣяться.—Ну, такъ й быть: дадимъ себѣ послѣднюю поблажку. Я два мѣсяца,—съ тѣхъ поръ, какъ она меня спровадила,—не переступалъ ея порога, но вѣдь мнѣ не отказано отъ дома, я знакомый; тоже могу навѣстить... Правда, въ деревнѣ было неловко... Ну, такъ и быть!

Онъ тихонько дернулъ звонокъ у дверей Багрянскаго. Катерина отворила ему сама.

— Вы пришли меня поздравить, сказала она радостно, ласково, безъ удивленія.

Она была вся будто смята своимъ горемъ, еще измучена, но такъ счастлива, такъ вполнѣ занята только однимъ, что не могло оставаться сомнѣнія: ея совѣсть ничто не туманило. Улыбаясь сквозь слезы, кротко, дѣтски-торопливо, она шепталась съ своимъ гостемъ въ прихожей, не приглашая его дальше, и все прислушивалась въ комнату отца... Лѣсичевъ не понималъ, что съ нимъ дѣлалось.

— Теперь я вамъ мѣшаю, сказалъ онъ какъ-то невольно:—могу я придти послѣ?

— Конечно! милости просимъ! отвѣчала она довѣрчиво, сердечно, сжимая обѣ его руки, не прощая, а, просто, не помня ни обиды, ни огорченія, ничего, что возмутило ея жизнь до этого дня.

— И ей-то полюбить Верховскаго?.. спросилъ себя Лѣсичевъ, сходя съ крыльца. — Да я въ самомъ дѣлѣ обезумѣлъ!!

Вечеромъ, m-me Волкарева не могла надивиться веселости, оживленію, любезности Лѣсичева; онъ даже не спорилъ съ нею, былъ предупредителенъ, былъ чувствителенъ, превзошелъ самого себя и всѣ ея ожиданія и даже не далъ замѣтить отсутствіе Верховскаго, который провелъ три часа въ кабинетѣ губернатора и вышелъ оттуда озабоченный. Волкаревъ получилъ извѣщеніе отъ своихъ петербургскихъ друзей, что Верховской назначенъ на разслѣдованіе разныхъ дѣлъ въ N-ской губерніи, и предписаніе объ этомъ явится, вѣроятно, съ слѣдующей почтою.

— Жребій брошенъ! Все въ вашихъ рукахъ, другъ мой! говорилъ Волкаревъ.— Вамъ остается предупредить вашу жену.

Верховской объ этомъ ужъ думалъ. Онъ ужъ вообразилъ, что это будетъ... Хлопоты, переговоры, уговоры, непріятности, счеты, сцены, все, что сгоряча и издали казалось такъ просто, вблизи отвращало, почти пугало пошлой вознею. И какъ нарочно, все это подошло въ такое время, когда посовѣтоваться не съ кѣмъ...

— Ей теперь не до меня! подумалъ онъ съ досадой.—Но если бы и былъ у нея досугъ и время—силъ нѣтъ говорить ей о такихъ затрудненіяхъ. Все это мелкое, разъѣдающее несчастье должно выноситься молча,—и никто не пожалѣетъ о немъ!

Ему вдругъ показалось, что, оставаясь, онъ приноситъ жертву... Онъ задумался.

— Вы недовольны, что остаетесь съ нами? тихо спросила m-me Волкарева, все-таки не желавшая терять своихъ иллюзій.

Пришлось отговариваться любезностями. Все это было глупо, неловко, гадко. Какой-то ужасъ схватилъ его холодомъ за сердце, когда онъ шелъ домой. Вспомнилось, какъ мѣсяцъ назадъ онъ проходилъ ночью эти улицы, земли подъ собою не слыша, и надъ головой музыкой раздавалось: «надолго», «навѣки»... Вспомнилось другое ощущеніе,—ощущеніе пустоты, отчужденія, смерти, которое пришло тогда, на балѣ, когда люди веселились, когда онъ вымаливалъ себѣ

хоть одну человѣческую жаркую минуту, хоть одно живое біеніе сердца, и тяжко добивался убѣдиться, все ли въ немъ угасло и замерло... Что за насмѣшка судьбы! Тутъ же дать человѣку доказательство, что онъ живъ, подразнить—и отнять! Не онъ—мертвый, а ему послалась мертвая... или живая въ половину, живая не для него...

— Что-жъ! ты сама сказала—тебѣ все милѣе меня... выговорилъ Верховской, входя въ свою комнату.

Что-то бѣлое, брошенное на стулъ, отразилось въ длинномъ зеркалѣ. Верховскому померещилась жена, померещилась вся ночная сцена, отвратительная, позорная... Онъ, какъ тогда, бросился и распахнулъ окно. Въ высотѣ сверкали семь звѣздъ...

— Катя, что-жъ мнѣ въ томъ, что ты свѣтишь издали? Все мечты, все призраки—ничего существеннаго. Все ждешь, все зовешь—и опять все то же..Ты хотѣла, чтобъ я уѣхалъ; я остался. Чуть ли ты не была права: я напрасно остался...

III.

Верховской уѣхалъ въ Спасское.

Все, что онъ оставлялъ за собою, уходило въ какой-то туманъ, будто сонъ, трудно вспоминаемый по-утру; чувствовалась вся его прелесть, но онъ былъ слишкомъ крѣпокъ и голова отъ него тяжелѣла... Что такое было? что такое ушло? Неужели ужъ все кончено? И—только? И это называется—любовь, счастье?..

— Это называется—заплатить дань безумству, подумалъ Верховской съ горькой насмѣшкой. Десятокъ лѣтъ раньше, это продолжалось бы долѣе, кончилось бы какой нибудь великолѣпной глупостью и сердце прыгало бы отъ радости, будто и дѣло сдѣлано, не заботясь ни о комъ и ни о чемъ... Теперь... Но что-жъ такое теперь; неудовлетворенность чувства, или ужъ усталость чувства? Неужели въ самомъ дѣлѣ для счастья одна пора—молодость, когда человѣкъ способенъ дѣйствовать очертя голову, ничѣмъ несвязанный?..

Верховской уѣхалъ въ каретѣ, которую прислали изъ Спасскаго. Покойная ѣзда располагала дремать, душевная тревога просила покоя; скука всего, что предвидѣлось заранѣе, тянула забыться, хотя бы насильно. Верховской открылъ глаза, когда остановились.

На крыльцѣ стояла Лидія Матвѣевна.

— Одинъ! вскричала она. — А Григорій Ивановичъ?

— Какой Григорій Ивановичъ.

— Опять? Вѣчно одно и то же? Духановъ, вотъ какой. Онъ отлучился въ городъ. Я затѣмъ нарочно посылала карету, писала тебѣ, приказывала его привезти. Ты, стало быть, не читалъ моего письма?

— Можетъ быть, отвѣчалъ Верховской, который не читалъ дѣйствительно.

— Ну, вотъ и прекрасно! я безъ Григорія Ивановича какъ безъ рукъ! вы нарочно его не взяли, а сами пожаловали опять во все мѣшаться, да распоряжаться...

Гнѣвъ Лидіи Матвѣевны не зналъ мѣры. Сопровождаемый имъ, Верховской вступилъ въ залу, гдѣ принялъ привѣтствія своего семейства. Дѣти, сказавъ bonjour, окаменѣли среди разставленныхъ кегель; Аннета, подавъ руку, отвернулась къ своему вышиванью; m-lle Роше неловко не знала куда взглянуть, не понимая словъ, но понимая продолжающіеся крики. Съ просонка и послѣ цѣлаго мѣсяца отдыха, это поражало. Верховской растерялся, оглядывался. Онъ находилъ, что жена еще усовершенствовалась.

— Лидія, прервалъ онъ:—я получилъ назначеніе...

— Знаю, батюшка, пишетъ мнѣ вотъ ея папенька! Два мѣсяца думали да выдумали комиссію какую-то... Все это вздоръ...

— Это нельзя такъ скоро и легко рѣшать, возразилъ онъ тихо, но какъ-то особенно твердо.—Намъ надо переговорить. Свободна ты?

— Была бы свободна, если-бы вы потрудились привезти Григорія Ивановича. Теперь жнутъ. Ваши пріятели, однодворцы, тащутъ хлѣбъ съ земли, что вы имъ подарили. Хлѣбъ-то, по крайней мѣрѣ, мой, Андрей Васильевичъ, онъ съ весны посѣянъ. Извольте сейчасъ написать окружному; у вась тамъ еще въ палатѣ пріятель, Багрянскій...

— Я ничего не знаю, Лидія, и мнѣ нѣтъ времени заводить дѣла.

— О, наказаніе Господне! вскричала она и выбѣжала, хлопая дверями.

Въ залѣ вдругъ наступила тишина. Верховской еще не присѣлъ, какъ вошелъ. У него мелькнуло намѣреніе сейчасъ уѣхать назадъ.

— Comment se porte m-me Волкаревъ? раздался голосъ Аннеты.

Дѣти стояли и смотрѣли. Верховской встрѣтилъ взглядъ m-lle Роше. Это все свидѣтели. Это—семья. Это нестерпимо, но сразу разорвать нельзя. Для своего собственнаго достоинства нужно выказать хладнокровіе, не обращать вниманія...

Онъ разсѣянно отвѣчалъ Аннетѣ. Она продолжала разспрашивать. Хотѣла ли и она поддержать какой-то семейный декорумъ, особенно ли интересовалъ ее городъ N*, или, просто, ей было отрадно слышать голосъ человѣческій, но она заставила Верховскаго говорить.

— Ma leçon, ma chère tante, напомнила ей тихо Валентина.

Часы били. Аннета съ испугомъ сосчитала ихъ и пошла съ дѣвочкой къ роялю.

— А вы въ садъ? спросилъ Верховской m-lle Роше.

— Нѣтъ, наверхъ. Madame наказала дѣтей.

Онъ пошелъ за нею чрезъ гостиную.

— Что вы такъ на меня смотрите? Какъ будто я пришлецъ съ того свѣта!

— Вы на это похожи и сами кажетесь также всѣмъ удивлены, отвѣчала она и остановилась.—Что m-lle Багрянская? Часто ли вы ее видѣли?

— Нѣтъ... Да, отвѣчалъ Верховской.

Вся его страсть мгновенно воскресла. Довольно было одного слова, одного имени... Его сердце вдругъ переполнилось. Раскаяніе, сожалѣніе, Богъ знаетъ что, стыдъ за минутную холодность, за свой эгоизмъ, за свое странное, тупое равнодушіе тогда... ну, тогда, когда у нея было горе... Нѣтъ, это было не равнодушіе! Нѣтъ, это такъ; душа устала отъ тревоги, испугалась, оторопѣла. Вотъ назвали ея имя въ этомъ аду... Она говорила, что эта Роше—добрая дѣвушка...

«У нея было горе...» сказалъ Верховской и не останавливаясь, не задумываясь, испытывая въ первый разъ наслажденіе говорить о своемъ счастьѣ, убѣждаться въ немъ собственными словами, — разсказалъ все, что было въ этотъ мѣсяцъ. Онъ называлъ просто она, Катерина. Вдругъ у него сорвалось по-русски — Катя... Почти испугавшись, не помня, что наговорилъ, не зная, много ли проговорился, онъ замолчалъ...

— Что-жъ вы намѣрены дѣлать? спросила m-lle Роше, глядя ему прямо въ лицо.

— Останусь въ N*.

— Навсегда?

— Навсегда?.. Можетъ быть... Не знаю... Не знаю! повторилъ онъ, помолчавъ.—Будь что будетъ.

— Вы рѣшились? Вы обдумали? спросила она чуть слышно и очень серьезно.

Верховской нетерпѣливо махнулъ рукой.

M-lle Роше хотѣли сказать еще что-то, не сказала и обратилась къ дѣтямъ. Ихъ не было въ комнатѣ. Воспользовавшись небывалой разсѣянностью гувернантки и разговорчивостью отца, они рѣшились на небывалый подвигъ: убѣжали одни въ цвѣтникъ.

— Дайте свободу этимъ несчастнымъ, сказалъ Верховской:—я беру это на себя.

Но продолжать разговоръ онъ былъ не въ силахъ и ушелъ въ паркъ.

— Обдумалъ ли я... повторилъ онъ.—Да, это надо обдумать.

Эти дороги были освящены прелестной памятью двухъ прелестныхъ дней; изъ нея исходило какое-то новое сіяніе. Сейчасъ, день за днемъ, часъ за часомъ, онъ припомнилъ, обновилъ свое счастье... И она приказывала бѣжать, приказывала разстаться? Невозможно! Будь что будетъ, и пусть будетъ все тоже, все тоже... Это надо обдумать.

Онъ только тутъ замѣтилъ, что еще ни разу не сказалъ себѣ ясно, словами, что сдѣлаетъ; жизнь не представлялась ему какъ житье-бытье, занятіями, отношеніями, службой и такъ далѣе: ему только мечталось что-то, и мечты всѣ сходились все къ тому же—къ пребыванію въ номерѣ N-ской гостинницы и ежедневнымъ посѣщеніямъ одного переулка. А дальше?

— Дальше—вотъ, все это вѣчное за плечами...

Возвращаясь въ семью, Верховской зналъ, что его ожидало, и былъ готовъ принять все это какъ всегда—рѣзко, но смутно и безпорядочно. Теперь вдругъ явилось еще неиспытанное, холодное, но отчетливое, какое-то строгое сознаніе своего положенія. Въ душѣ шевельнулась было привычная, мелочная злость; Верховской замялъ ее: она ни къ чему не ведетъ. Онъ сводилъ счетъ и думалъ. Съ перваго шага въ домъ его бросили въ пытку. Пытка была полезна. Она разомъ образумила, встряхнула, освѣжила, пристыдила, указала дорогу...

Къ чорту эта проклятая жизнь, благо есть и средство съ нею покончить! Все бросить, навсегда, безъ уступокъ безъ, сдѣлокъ. Пора за умъ взяться. Есть служба, есть дѣло. Завтра же уѣхать. Вотъ и рѣшительный переломъ... еще нѣсколько часовъ и—свобода!..

Вдругъ что-то его смутило, точно смяло; не робость, а какая-то мгновенная, безпокойная тоска... Да, переломъ! Въ жизни заканчивается еще одна пора. Долго она тянулась,—съ того вечера, какъ не стало матери. Такой же былъ ясный, лѣтній вечеръ...

Верховской былъ въ чащѣ лѣса, на памятномъ мѣстѣ, у срубленнаго дерева. Онъ и не замѣтилъ, гдѣ былъ, а присѣлъ и вдругъ горько, по-дѣтски заплакалъ. Чего было

жаль? Всего! Онъ не умѣлъ бы иначе сказать. Все вспоминалось, вспоминалось. Всего жаль и—ничто больше не дорого. Какая-то усталость жить, безсильная мука, тоска о позднемъ. Вотъ тогда бы придти этой свободѣ, этому счастью, тогда, когда жила она, когда вѣрилось въ Бога и въ себя, когда люди еще не опротивѣли, когда хотѣлось трудиться для всѣхъ во имя ея... тогда сказалось бы: во имя ихъ обѣихъ...

Онъ воображалъ Катерину, но не въ своихъ объятіяхъ, а въ объятіяхъ матери; воображалъ, что онѣ любили бы другъ друга больше чѣмъ его, и наслаждался этой мыслью, съ восторгомъ ставилъ себя послѣднимъ, тѣнью у райскаго порога, которая только смотритъ на далекое блаженство и поклоняется... Онъ страдалъ и радовался своему страданію; это былъ отчаянный порывъ скорби и за нимъ—безумный порывъ любви.

— Радость! святая! вскричалъ онъ громко, будто видя мать передъ собою: — тогда не досталось — пошли теперь! Ради твоей любви ко мнѣ — дай мнѣ ее...

Онъ опомнился отъ своего собственнаго голоса... Ребячество! Хорошо, что нѣтъ свидѣтелей...

Ужъ стемнѣло и въ залѣ были огни, когда онъ воротился. За чайнымъ столомъ были только Аннета и Лидія Матвѣевна.

— А дѣти? спросилъ Верховской, взглянувъ на пустыя мѣста.

— Наказаны, прошептала Аннета.

— Да, Андрей Васильевичъ, я отгадала вѣрно, сказала Лидія Матвѣевна: — вы пожаловали сюда распоряжаться. Не что нибудь, такъ дѣти. Я имъ велѣла оставаться дома, вы ихъ отправили гулять. Пускай за это до завтра поговѣютъ.

— Если ужъ наказывать, такъ слѣдовало бы меня, возразилъ Верховской. — Прикажи сейчасъ ихъ позвать. Дѣтямъ сидѣть взаперти нездорово, а не ѣсть цѣлые сутки еще хуже.

Лидія Матвѣевна посмотрѣла въ недоумѣніи и захохотала.

— Ты по какой травѣ ходилъ сегодня, André? Ты никакъ разсуждаешь?

— Со мной это случается, сказалъ Верховской, закусивъ губы.—Будетъ ли исполнено то, чего я хочу?

— Нѣтъ.

Верховской всталъ, откинувъ стулъ, прошелся и воротился. Лидія Матвѣевна пила и ѣла невозмутимо.

— Вотъ что, Лидія, началъ онъ: — я хотѣлъ говорить съ тобою серьезно. Двадцать разъ въ нашей жизни бывали глупыя сцены и никогда ни къ чему не вели: ты раскричишься, я вспылю — и тѣмъ все кончалось. Мы, слава Богу, не маленькіе; пора одуматься.

— Après? сказала она, поднявъ на него глаза, когда онъ остановился.

— Что такое?

— Ну, я спрашиваю, что дальше, послѣ такого прекраснаго предисловія. Началъ съ дѣтей, потомъ — «пора одуматься». Это-то къ чему все ведетъ?

— Я заговорилъ о дѣтяхъ, потому что они — мои дѣти, отвѣчалъ Верховской, повернувшись и шагая по комнатѣ.— По обязанности и по сердцу, я не могу не заботиться о нихъ, когда... разстаюсь съ ними.

— Что такое? вскричала Лидія Матвѣевна.

— Пойдемъ къ тебѣ. Я говорилъ, что намъ надобно объясниться, сказалъ Верховской холодно, но блѣдный.

— Что это за чепуха? вскричала она. — Горячка у тебя, — такъ скажи, сдѣлай милость!

— Ты знаешь, что теперь я, по службѣ, долженъ остаться въ N*, отвѣчалъ онъ, говоря съ трудомъ отъ внутренней дрожи.— Ты, конечно, уѣдешь въ Петербургъ. Слѣдовательно, мы разстанемся.

— Да я-то вовсе этого не желаю! прервала она. — Это выдумки дядюшки Петра Ивановича... Это ваши штуки, Анна Петровна! Вы надѣетесь, что вамъ здѣсь мужъ найдется, такъ изволили настрочить тайкомъ...

— Лидія!

— Mon Dieu, ma cousine...

— Я вѣдь васъ знаю! Вы себѣ mélanogène выписали, корсетъ... еще здѣсь вашего зуба сломаннаго не разглядѣли, да вѣдь Лѣсичевъ-то не слѣпой; а не видитъ — я укажу! Интригантка этакая! Вы думаете, что вы прикрываете, вотъ, его съ Волкаревой, такъ она вамъ сосватаетъ...

— Уймись же, вскричалъ Верховской, — ты себѣ чортъ знаетъ что позволяешь!.. Простите, Анна Петровна, не слушайте ее, не обращайте вниманія...

Аннета уходила въ слезахъ.

— Пожалуйте мнѣ ключъ отъ сахарницы, закричала ей Лидія Матвѣевна.—Какъ, Андрей Васильевичъ, вы за нее вступаетесь?

— Но пойми хоть одно: развѣ женщины

распоряжаются назначеніями комиссій? развѣ можетъ Анна Петровна...

— Почему-жъ не можетъ, когда я могу?

— Вѣдь если ты захочешь что вбить себѣ въ голову...

— А, если я захочу! Такъ я же не хочу, чтобъ это было! Пиши сейчасъ, сейчасъ, откажись, я не хочу...

— А если я хочу?

— Чего?

— Хочу остаться здѣсь, сказалъ онъ рѣшительно.

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ?.. повторилъ Верховской. — Лидія, теперь постороннихъ здѣсь нѣтъ... Затѣмъ, что хочу жить одинъ.

— Ты хочешь...

— Хочу жить одинъ, повторилъ онъ отчетливо и настойчиво.—Сдѣлай милость, не кричи. Я приготовился и къ крику, и къ нервнымъ припадкамъ.

Лидія Матвѣевна не вскрикнула; она обмерла и съ минуту молча смотрѣла, какъ помѣшанная.

— André, что это—шутка?

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ и отошелъ, не вынося ея взгляда.

— Тебѣ не нужно ни семьи, никого? Ты сказалъ... какъ ты сказалъ? что заботишься о дѣтяхъ? И дѣтей не нужно?

— Нѣтъ.

— Чѣмъ же ты будешь жить?

— Чѣмъ Богъ пошлетъ.

— Тебя прогонятъ съ мѣста.

— Это такъ легко не дѣлается, возразилъ онъ, снова спокойно.—Оставь, пожалуйста, эти вздорныя угрозы. Не одно мѣсто, такъ другое. Ко мнѣ привязаться не къ чему и погубить меня мудрено.

Лидія Матвѣевна молчала.

— Ты это говоришь рѣшительно? медленно спросила она, слѣдя за нимъ глазами. — André?

— Я ужъ сказалъ, отвѣчалъ Верховской, не оглядываясь.

Въ большой залѣ сдѣлалось совсѣмъ тихо. Лидія Матвѣевна не шевелилась на мѣстѣ. Верховской, по какому-то странному чувству, тоже избѣгая шороха, остановился у окна и машинально смотрѣлъ въ темноту.

— André! вдругъ раздался голосъ Лидіи Матвѣевны.

— Что тебѣ угодно? быстро спросилъ онъ.

— Поди сюда; сядь.

Онъ повиновался.

— Я хотѣла тебя спросить, André, что-жъ это такое? мы двѣнадцать лѣтъ жили вмѣстѣ...

— Да, къ несчастью! выговорилъ онъ, опустивъ голову на столъ.

— Развѣ ты былъ несчастливъ?

— Ты не замѣчала?

— Чѣмъ же?.. André, ты меня разлюбилъ!

— О, ради Бога, Лидія, прервалъ онъ, отклоняясь отъ ея объятій: — если ты не понимаешь... если ты никогда не понимала, ну, догадайся теперь,—такое положеніе невыносимо...

— Ты меня не любишь?

Верховской молчалъ. Лидія Матвѣевна не повторила вопроса. Она ни секунды не думала, что ей могутъ отвѣчать да, но ей было страшно, какъ-то странно, неожиданно страшно. На нее будто что вдругъ напало. Онъ никогда не говорилъ такъ... Какъ, Богъ знаетъ, не опредѣлишь, но только чувствовалось, что тутъ, въ самомъ дѣлѣ, напрасны и слезы, и гнѣвъ, и поцѣлуи. У него даже лицо было какое-то не прежнее. Онъ еще никогда не бывалъ такъ хорошъ, но сказать «душка» — она не осмѣлилась. Она смотрѣла на него. Тоска подступала все выше и выше, такъ, что хотѣлось вскрикнуть, чтобъ передохнуть, — но Лидія Матвѣевна не смѣла вскрикнуть. Она думала; несвязно, испуганно думала, что его любила—и только. Она сжала свои руки такъ, что пальцы хрустнули, вспомнила, что André этого терпѣть не можетъ, что она всегда дѣлала это ему на зло, и стала смотрѣть свои кольца. Онъ давно не носитъ своего обручальнаго кольца; когда снялъ—она не замѣтила. Она вспомнила, какъ было сшито ея вѣнчальное платье у той модистки, что работала для государыни. На свадьбѣ пѣли чудовскіе пѣвчіе; домъ былъ весь въ огняхъ; на другой день балъ; до утра танцовали... Лидія Матвѣевна оглянулась на пустую залу; свѣтъ единственной висячей лампы падалъ на столъ, на склоненную голову Верховского. Лидіи Матвѣевнѣ захотѣлось, какъ прежде, смѣясь, потрепать эти золотистые волосы; она отважилась только до нихъ дотронуться и едва могла выговорить:

— André, скажи мнѣ что нибудь.

Слово дало выходъ ея мученію; она заплакала.

— André, это ужасъ! я умру!

— И мнѣ не легко, сказалъ онъ, приподнимаясь.

— И тебѣ?

— Да... огорчать другихъ не легко.

— Такъ зачѣмъ же, что-жъ это такое, объясни...

— Но что же объяснять, Лидія? Я не могу жить такъ, какъ жилъ. Представляется случай перемѣны, я имъ пользуюсь. Вотъ и все.

— Такъ это, стало быть, навсегда?

— Да.

— Навсегда?...

— Другъ мой, право, такъ будетъ лучше. И ты, и я будемъ покойнѣе. Я тебѣ мѣшалъ, теперь не буду. Ты...

— Я тебѣ тоже мѣшала? прервала она съ горечью.—Въ чемъ, скажи на милость? Вѣдь это, André, сослаться на цѣлый свѣтъ, ты живешь какъ будто отъ большого состоянія...

— Знаю! прервалъ онъ рѣзко.

— Общество, знакомства, — вѣдь не ты мнѣ, а я тебѣ доставила. Можно вспомнить, что ,такое ты былъ: ужъ далеко не аристократъ! Если ты скажешь — твой дядя генералъ, такъ онъ тебя знать не хотѣлъ...

— Или я его, прервалъ Верховской. — Оставимъ все это, пожалуйста...

— Какъ «оставимъ все»? Андрей Васильевичъ, это какъ называется? это называется—скверная, мерзкая, подлая неблагодарность! Извольте сейчасъ сказать, чего вы еще хотите?

— Откланяться вамъ, ничего больше.

— Нѣтъ, говори, въ чемъ ты былъ стѣсненъ, чего тебѣ недоставало, въ чемъ я-то мѣшала? Чѣмъ ты несчастливъ, какъ ты сейчасъ изволилъ хватить? Я, вотъ, только что въ себя пришла!

— Это замѣтно! сказалъ Верховской и всталъ.—Ради Бога, Лидія, перестань. Ты спросила, чѣмъ я недоволенъ? Всѣмъ, отъ крючка у двери...

— До меня?

— Ну, да, до тебя!.. Послушай, продолжалъ онъ, задыхаясь и торопясь, — не будемъ ворочать прошлаго, раздражать другъ друга; ты не въ состояніи понять, ты творила, не вѣдая... ради Бога, Лидія забудемъ все! будемъ жить какъ честные люди...

— Это честно, это по-людски — врозь съ женой? Вамъ цѣлаго свѣта не совѣстно?

— Лидія, вѣдь не свѣтъ выноситъ, а я!.. Позволь, ты опять спросишь, что я выношу, и опять за то же... Что бы ни было, оставимъ все; довольно счетовъ... Въ глазахъ свѣта все было скрыто и до конца будетъ скрыто. Ты уѣдешь, я останусь здѣсь подъ предлогомъ службы. Потомъ... это обойдется само собою. Жить я имѣю свои средства...

— Имѣете? Такъ заплатите мнѣ прежде двѣ тысячи, которыя вы мнѣ должны! Вы будете брать ваше жалованье, суточныя, а меня кормить обѣщаніями — благодарю покорно! Я вѣдь васъ знаю — вамъ и квартиру, и мебель, и экипажи, все подай...

— Я одинъ разъ сказалъ, что заплачу. Мнѣ ничего не нужно. Вся эта бестолковая, свѣтская жизнь, разъѣзды, — все мнѣ въ тягость, все надоѣло...

— Такъ ужъ короче—въ монастырь.

— На мнѣ еще нѣтъ такихъ грѣховъ, чтобъ нужно было ихъ отмаливать; если я былъ въ чемъ нибудь виноватъ, ты простишь, какъ я прощаю...

— Господи! онъ меня прощаетъ! вскричала она, захохотавъ.—Безсовѣстный! безбожникъ! Чѣмъ шептаться съ попомъ, меня судачить, ты лучше бы къ нему на исповѣдь сходилъ, а то забылъ, какъ церковь отворяется! Онъ меня прощаетъ! Да въ чемъ я была виновата? Что я такое сдѣлала, какой грѣхъ? я двѣнадцать лѣтъ была тебѣ вѣрна,—это ни во что? Знаю я эти штучки! Все надоѣло, жена надоѣла, любовницы захотѣлось!

— Ну, да, любовницы! вскричалъ внѣ себя Верховской, — я не крѣпостной, не хочу унижаться...

Онъ выбѣжалъ изъ комнаты. За нимъ раздался крикъ, взбѣгался весь домъ; съ Лидіей Матвѣевной сдѣлался нервный припадокъ. Верховской бросился въ садъ; была уже ночь.

Онъ не помнилъ, гдѣ былъ, много ли исходилъ, воротился на разсвѣтѣ, усталый, одурѣлый, хотѣлъ отдохнуть и самъ не давалъ себѣ отдыха, все торопясь, все нетерпѣливо повторяя себѣ, что надо скорѣе дѣйствовать... Въ домѣ рано начались шумъ и ходьба. Верховской позвалъ лакея и велѣлъ собрать и уложить свои вещи. Лакей вышелъ и не возвращался. Верховской долго ждалъ, звонилъ и, раздосадованный, пошелъ звать самъ.

Изъ прихожей выходила Лидія Матвѣевна.

— Что вамъ здѣсь угодно? спросила она, заступая ему дорогу.

— Я хочу ѣхать.

— Я вамъ не дамъ экипажа, Андрей Васильевичъ.

— Я умѣю ѣздить и въ телѣгѣ.

— Я сейчасъ объявила, продолжала она, показывая въ прихожую:—я отдамъ въ солдаты, сошлю на поселеніе, если кто осмѣлится дать вамъ клячу или привести почтовыхъ. Спасское—мое.

Она величаво прошла. Верховской задохнулся.

— А, чортъ тебя возьми! закричалъ онъ, когда былъ въ состояніи.

Она не слышала; въ прихожей слышали и засмѣялись. Верховской бросился въ свою комнату.

Смѣются! онъ смѣшонъ! Все равно, кто правъ, кто виноватъ, а онъ смѣшнѣе: мужъ— далъ волю! баринъ—попробуй на себѣ! Отъ этихъ людей преданности ждать нечего... И не за что!

«Бился ли ты? устроилъ ли хоть что нибудь по-человѣчески?» вспомнился ему страшный вопросъ и представились пылающіе глаза Катерины. Онъ опустилъ голову, но поднялъ ее съ новой злостью. Не бился, потому что бой не равенъ; биться съ Лидіей Матвѣевной — надо быть тѣмъ же, что она, не дорожить своимъ достоинствомъ...

Но сейчасъ чье же достоинство оскорблено? надъ кѣмъ хохочутъ?

— Чортъ возьми все! вскричалъ въ бѣшенствѣ Верховской. — Не бился, не хочу, потому что не стоютъ! Это «люди»! «Люди-братья»!.. Романическая голова! Ублажай этихъ братій, они тебя за грошъ продадутъ! Въ нихъ человѣческое чувство? Что-жъ, вотъ догадались они, кто здѣсь человѣкъ? Поняли страданія? Они всякой силѣ—въ ноги! Они родныхъ отцовъ сѣкутъ, не отказываются...

Ему было какъ-то дурно. Пролежавъ долго, онъ вскочилъ, взглянулъ на часы: они стояли. Въ досадѣ и нетерпѣніи, Верховской рѣшилъ, что сейчасъ уѣдетъ. Стоитъ дойти до поселка однодворцевъ, нанять телѣгу. А тутъ — оставить записку, чтобъ прислали вещи; немного что: бѣлье да платье. Можно надѣяться, что не задержатъ: это его собственное. Развѣ въ счетъ долга...

Верховской засмѣялся; его била лихорадка. Онъ никого не встрѣтилъ, выходя изъ своей комнаты; весь домъ былъ будто пустой, только изъ залы слышалась музыка: Аннета изучала «Poême d'amour».

«Гензельтъ посвятилъ ее своей женѣ»... вспомнилъ Верховской и, продолжая смѣяться, сбѣжалъ съ террасы въ паркъ. Ему вздохнулось вольнѣе и какъ будто легче.

Въ деревнѣ у однодворцевъ, по случаю жатвы, не было ни людей, ни лошадей. Одна баба, прельстясь на щедрую плату, предложила послать мальчишку верстъ за пять, на станцію, привести почтовыхъ, но выразила неосторожное любопытство:

— Или вамъ своихъ послать некого?

— Не надо! сказалъ Верховской и ушелъ, почти испугавшись. Такъ къ вечеру вся вселенная узнаетъ, что Андрей Васильевичъ бѣжалъ отъ своей супруги. Срамъ!.. не дойти ли до станціи самому, будто гуляя? такъ, будто прихоть, шутка... Но прежде немного отдохнуть и освѣжиться.

Впечатлѣніе прогулки въ полѣ было не ново: мѣсяцъ назадъ, онъ безпрестанно дѣлалъ такія прогулки и повтореніе прежнихъ ощущеній было ему пріятно. Кругомъ было тихо, просторно, свѣтло. Слишкомъ сильный пріемъ свѣжаго воздуха наводитъ разсѣянность. То, что было вчера, сегодня волновалось въ памяти и отбѣгало, минутами схватывая за сердце, но тревога наскучала и сердце само нетерпѣливо отъ нея отбивалось. Мысль улетала, тоска притуплялась въ усталости. Верховской бродилъ цѣлый день, зашелъ въ лѣсъ, прилегъ отдохнуть, заснулъ крѣпко; проснувшись, ощупалъ портсигаръ въ карманѣ пальто, закурилъ съ удовольствіемъ и пошелъ дальше. Солнце сѣло въ тучу; вечеръ былъ тихій, наволочный; поля туманились. Верховской шелъ и вспоминалъ. По дорогѣ попалась деревня; онъ съ удивленіемъ узналъ все то же Спасское, въ которое воротился, кружась по проселку и за лѣсомъ не завидя барскаго дома вдали.

— Заколдованный кругъ... сказалъ онъ себѣ, вдругъ злобно обратясь къ своему настоящему. — Вотъ съумасшествіе — цѣлый день потерянъ. Вмѣсто этого глупаго кочеванья, давно бы ужъ былъ на станціи, а теперь, пожалуй, и дома. Ночевать гдѣ нибудь надобно. Взять сейчасъ телѣгу у священника и ѣхать на станцію.

Онъ пошелъ къ священнику. Тотъ только что воротился съ поля. Въ деревнѣ слышали о ссорѣ господъ, и священникъ тоже трепеталъ помѣщицы; онъ, конечно, не сказалъ этого, но отговаривался: работникъ спитъ, лошадь устала. Жена его наивно спросила, почему Верховской не поѣхалъ утромъ, когда она сама видѣла и слышала—послали въ городъ коляску за чиновникомъ. Они хотѣли спать и сбирались ужинать.

— Недостаетъ только, чтобъ меня пригласили... проговорилъ Верховской, опять шагая по выгону. Онъ вспомнилъ, что не ѣлъ съ утра, постучалъ въ окно одной избы, спросилъ кусокъ хлѣба и расплатился. Старуха, которой онъ отдалъ деньги, глядѣла на него, вытаращивъ глаза: она узнала барина.

— Заколдованный кругъ... повторилъ Верховской, хохоча и давясь черствымъ хлѣбомъ. Да,—что жъ это я? Я имѣю право на

ужинъ и ночлегъ у владѣлицы спасскаго замка; ей заплочено впередъ, кажется, по 15-е августа.

Хлѣбъ показался ему отвратителенъ; онъ бросилъ его на дорогу, вспоминая читанное, какъ кто-то сказалъ какому-то королю, что хлѣбомъ побрасывать негодится, зажегъ спичку и заглянулъ въ записную книжку, гдѣ были его счеты съ женой. Тамъ былъ еще клочокъ бумаги и на немъ, другимъ почеркомъ, одна строка:

«Стремленіе человѣка къ истинѣ есть доказательство существованія истины...»

— То-то, вотъ, все у насъ въ головѣ короли да отвлеченности, а съ своимъ не справимся... выговорилъ съ сердцемъ Верховской и пошелъ скорѣе. Тоска цѣлаго дня нахлынула разомъ; какая-то незамѣтная капля ее переполнила. Тоска мучила физически; усталость сказалась вдругъ, сумерки томили; по тѣлу пробѣгалъ непріятный, болѣзненный холодъ. Войдя въ домъ, войдя въ свою комнату, раздраженный и еще болѣе раздражаясь однимъ видомъ этихъ стѣнъ, Верховской имѣлъ силу только скорѣе запереть дверь и упалъ на постель. Онъ ушелъ бы опять, еслибъ былъ въ состояніи. У него шумѣло въ ушахъ, голова горѣла, Богъ знаетъ что мерещилось. Ужъ не горячка ли, въ самомъ дѣлѣ, какъ еще вчера сказала Лидія Матвѣевна?.. Онъ былъ бы радъ занемочь...

Лидія Матвѣевна проводила утро въ обыкновенныхъ хозяйственныхъ занятіяхъ и казалась еще дѣятельнѣе, еще увѣреннѣе, еще величавѣе, чѣмъ когда нибудь; она даже, по-барски, шутила и, пугая своими шутками, тѣмъ болѣе выказывала спокойствія. Спокойствіе, впрочемъ, было больше наружное. Правда, нервный припадокъ наканунѣ былъ исполненъ больше для внушенія, но внутренно Лидія Матвѣевна не могла не тревожиться: мужъ исчезъ съ утра. Онъ, конечно, и прежде, случалось, пропадалъ по цѣлымъ днямъ, но пропадалъ не такъ. Она немного не выдержала и спросила о немъ, садясь за обѣдъ.

— Не приходилъ, отвѣчали ей.

— Не приходилъ, такъ не приходилъ, произнесла Лидія Матвѣевна, проникаясь гнѣвомъ, оскорбленіемъ, и вслѣдствіе этого дѣлаясь весела. Но общество не оживлялось, дѣти молчали, Аннета была задумчива; Лидію Матвѣевну безпокоили глаза m-lle Роше; вставая изъ-за стола, она припомнила вчерашнее ослушаніе и отослала и дѣтей и гувернантку наверхъ. Аннетѣ показалось жутко оставаться, и вопреки своимъ привычкамъ, она убрала свою работу, изъявляя намѣреніе тоже уйти.

— И вы? спросила Лидія Матвѣевна съ той невыразимой насмѣшкой, которая вырабатывается только многими годами неограниченной власти.

— Да... я немного устала; хотѣлось бы отдохнуть, объясняла Аннета.

— Пріятныхъ сновъ.

Лидія Матвѣевна опять обратилась къ хозяйству, но это какъ-то вдругъ ее утомило. Наставали сумерки. Скучая, она стала ходить по комнатамъ, припомнивъ, что Андрей Васильевичъ всегда это дѣлаетъ... Очень досадно, что Григорій Ивановичъ не можетъ сегодня пріѣхать; крестьянскія лошади безъ отдыха не сдѣлаютъ сорокъ верстъ туда и обратно; пожалуй, и теперь еще не дотащились. Въ деревнѣ очень скучно. Дни замѣтно убавились. Какъ шумятъ деревья въ паркѣ. Вотъ, было изъ чего хлопотать о цвѣтникахъ; еслибъ еще бывали гости. Четыре садовника, сколько работниковъ заняты... Также еще, вотъ, та мебель, что дѣлаютъ. Если перевезти въ Петербургъ, и стоитъ того,—то куда ее поставить? Надо будетъ искать квартиру... Впрочемъ, вѣдь онъ считается въ командировкѣ, такъ казенная квартира еще останется за нимъ... Но, что же это? Въ самомъ дѣлѣ, что же это такое? Неужели жить одной?

Лидія Матвѣевна остановилась въ томъ странномъ испугѣ, который овладѣлъ ею еще со вчерашняго дня и забывался, таился, но томилъ среди гнѣва, пренебреженія, веселости. Теперь онъ охватилъ разомъ. Она сѣла и заплакала. Богъ знаетъ, что это такое. Чувство было похоже на вчерашнее; разобраться въ немъ она никакъ не могла. До сихъ поръ у нея бывали только положительныя огорченія, такія, которымъ, большею частью, можно помочь деньгами, и то, очень большихъ не бывало... вотъ, шубку тогда шили, испортили... ложи въ бенефисъ не нашли... землю эту онъ отдалъ... Это пустяки. Но въ настоящую минуту они мѣшали, заслоняли, не давали вдуматься, что такое дѣлается... Романъ какой-то. И сколько съ нимъ хлопотъ. Жить одной—надо сдѣлать кому нибудь довѣренность, по дѣламъ, по имѣнію. На кого еще нападешь... Вѣдь всѣмъ управлялъ! Вотъ неблагодарность-то! Послѣ этого, извольте на кого нибудь положиться. Чего, кажется, недоставало? «Не крѣпостной»! А свои-то у тебя были когда нибудь крѣпостные? Что только люди о себѣ

воображаютъ!!. А можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, благородная гордость: пріѣхалъ въ губернію сначала одинъ, всѣ ему кланялись, а вдругъ оказывается, что все состояніе—жены, а онъ—нуль. Невкусно показалось. Ну, да. «Отъ свѣта, говоритъ, все было скрыто, а я униженъ». Вонъ въ чемъ исторія. Онъ желаетъ меня отсюда спровадить, а самъ командовать; въ городѣ будутъ ему въ ножки кланяться, а сюда будетъ пріѣзжать бариномъ... Нѣтъ, Андрей Васильевичъ, извините, я вамъ здѣсь собачьей конуры въ управленіе не оставлю. Довольно и такъ ужъ вы покутили всячески...

Лидія Матвѣевна съ удовольствіемъ вспомнила свою благоразумную недовѣрчивость, вслѣдствіе которой постоянно имѣла свѣдѣнія о поведеніи своего мужа. Правду сказать, онъ ни въ чемъ не провинился, всегда былъ вѣренъ... Но эта пріятная мысль только подняла горе.

— Былъ вѣренъ! А теперь что выдумалъ? Господи, да что-жъ это такое?

Лидія Матвѣевна сама удивлялась, сколько у нея слезъ. Вѣдь, вотъ, полюбила человѣка ни за что, за одно личико! Неужто такъ и на свѣтѣ всего одинъ Андрей Васильевичъ? Богатство есть, все есть, захотѣть, такъ и любить будутъ! Ну, не хочетъ; ну, что-жъ такое, выѣзжать можно и безъ него, еще интереснѣе: молодая женщина...

Акуратно помня фальшивыя косы и года своихъ пріятельницъ, Лидія Матвѣевна была безпристрастна и къ себѣ, но она себѣ нравилась. Это то же, но не то. André только годомъ старше ея и красавецъ, но какова бы она ни была—не смѣй онъ... Да на это нынче и вездѣ скверно смотрятъ. Одного барина недавно разжаловали за то, что увезъ чужую жену. André не увозилъ, но все равно, можно въ монастырь посадить... Нельзя ли за что нибудь его выгнать изъ службы?.. А онъ черезъ два-три года—дѣйствительный статскій, генералъ... «Генеральша»!.. И онъ осмѣлится? онъ броситъ? Невозможно, это небывалое... Ну, положимъ, бываетъ,—но съ ней быть не можетъ!

Почему не можетъ?

Потому что не можетъ, и только. Онъ ей мужъ, онъ ея собственность. Не осмѣлится, покорится... Но если?..

Лидія Матвѣевна вдругъ поднялась. Передъ ней была очевидность, на которую она не смѣла взглянуть, которой не смѣла вѣрить, которую отрицала, отъ которой отбивалась...

— Разлюбилъ... захотѣлъ любовницы...

Лидія Матвѣевна вскрикнула; испугавшись своего крика, принялась кричать еще громче, и насильно, и невольно, и заметавшись, бросилась вонъ изъ комнаты.

— Не будетъ же этого! я знаю, что сдѣлаю!.. Пришелъ ли Андрей Васильевичъ?

— Сейчасъ только, отвѣчали ей.

— Отворите! закричала она у его двери.

— Я спать хочу, отвѣчалъ Верховской.

— Отворите! я велю выломать дверь!

Верховской отворилъ. Она вошла, и вдругъ потерялась.

— Чего ты еще хочешь? спросилъ онъ.

— Я думаю, человѣкъ пропадаетъ цѣлый день, надо его провѣдать.

— Благодарю за участіе. Дайте мнѣ покой.

— Намъ нужно переговорить.

— Ничего не нужно. Идите.

Лидія Матвѣевна не ушла, но сѣла напротивъ него и молчала.

— Я замѣчаю, André, заговорила она, наконецъ, нюхая спиртъ: — что всѣ эти непріятности между нами начались съ тѣхъ поръ, какъ я купила Спасское. Если въ тебѣ это благородная гордость... Мнѣ хотѣлось бы, чтобъ ты сказалъ мнѣ причину.

Верховской сидѣлъ, зажавъ виски кулаками, и молчалъ.

— Безъ откровенности не можетъ быть семейной жизни, продолжала Лидія Матвѣевна.— Я двѣнадцать лѣтъ не имѣла ничего скрытнаго, я была тебѣ вѣрна; я не люблю сценъ, я не капризная женщина. Я вотъ такихъ выходокъ не дѣлала, изъ дома не бѣгала... Гдѣ ты былъ?

— У меня голова болитъ, сказалъ онъ.— Поди.

— Мнѣ, можетъ быть, хуже чѣмъ тебѣ, возразила она: — меня вчера перьями откуривали. Пустяки, батюшка, пройдетъ. Извольте мнѣ сказать, куда вы ходили. Я безъ того не уйду.

— Искалъ телѣги, отъ васъ уѣхать. Вотъ, сказано! Уходите.

Лидія Матвѣевна вздрогнула.

— Въ самомъ дѣлѣ? Это ваше непремѣнное желаніе?

Верховской молчалъ.

— Что-жъ не уѣхали?

— Уѣду завтра.

— Еще не устали искать подводы?

— Лидія!.. вскричалъ онъ, всталъ и опять опустился на мѣсто:—ради Бога, уйди, мнѣ дурно.

— И вамъ не совѣстно людямъ глаза показать?



— Уйдешь ли ты? вскричалъ Верховской:—ты смѣешь, послѣ того, что сегодня утромъ, послѣ всего... Пошла вонъ, злая баба, я не могу, я не хочу тебя видѣть!

Онъ схватился за голову и повалился на постель.

Лидія Матвѣевна вскочила, задыхаясь; ея щеки вспыхнули пятнами, глаза окружились чернымъ и сверкали; съ секунду она не могла ничего выговорить.

— Такъ-то, Андрей Васильевичъ? наконецъ закричала она:—такъ-то вы? Хорошо! я злая баба? вы меня гоните? Такъ Богомъ же клянусь, ты отъ меня не уйдешь! Ненавидь меня—мнѣ все равно! Мертваго выпущу,—живого—извини! Нѣтъ, батюшка, не надѣйся: гдѣ бы ты ни былъ, что бы ты ни дѣлалъ, я отъ тебя не отстану! Ты ускачешь—я за тобой поскачу; куда ты, туда я! Видите, штучки. Я тѣмъ виновата, что существую! Такъ ты со мной не развяжешься, покуда я жива. У меня полторы тысячи душъ, да около милліона въ ломбардѣ, у меня есть на что разъѣзжать, — а ты, попробуй, побѣгай отъ меня. Тебѣ дѣти не нужны, а мнѣ они на что? Все брошу, за тобой поѣду, нигдѣ не спрячешься, любовницей не очень заведешься!.. Вы говорите, вы здѣсь остаетесь? И я здѣсь остаюсь!..

— Если ты осмѣлишься... вскричалъ Верховской, приподнимаясь.

— А, ну, бѣгите! возразила она, захохотавъ:—мнѣ все равно,—я за вами!

— Слушай... началъ онъ и не кончилъ; что-то горячее заколыхалось, застучало у него въ темени и онъ опять упалъ на постель ничего не помня.

Верховской проводилъ неизобразимые дни. На дворѣ лилъ дождь, не давая выдти изъ дома, но и всякая попытка выдти могла быть только унизительна. Верховской не выходилъ даже изъ своей комнаты, не вставалъ, нездоровый, окончательно разбитый. Къ нему не входили, потому что онъ запирался, но онъ слышалъ весь шумъ, который поднимала въ домѣ Лидія Матвѣевна...

Онъ клялъ жизнь, онъ хотѣлъ умереть. Все, что было способности мыслить, сосредоточилось и вертѣлось вокругъ одного—вокругъ настоящаго положенія. Каждый оборотъ мысли доставлялъ новую муку. Каждая минута, каждая оглядка дѣлали положеніе нестерпимѣе, ненавистнѣе, позорнѣе, и чѣмъ больше это сознавалось, тѣмъ казалось безвыходнѣе. Предъ нимъ была ужасающая тьма. Мерещились люди, свидѣтели его существованія, никогда не поддержавшіе ни словомъ, ни участіемъ, тупые судьи, тайные завистники того, что презираютъ явно, поклонники всякой удачи, благоговѣющіе предъ всякой карой, будь она тысячу разъ несправедлива, предатели, трусы, обожающіе силу; чувствовалось ихъ присутствіе, мелькали ихъ злорадостныя лица, слышались ихъ пошлые толки... А эти люди—общество, сила. Ихъ судъ на ея сторонѣ: что она сдѣлала, эта подруга, всѣми законами данная ему въ плоть едину? она права! онъ виноватъ, онъ самъ выбралъ, самъ продался...

Онъ бросался къ двери, бѣжалъ убить свою жену и останавливался на порогѣ. Ну, убить. А результатъ? Каторга — только.

Бѣжать. Непремѣнно, куда глаза глядятъ. Все бросить; бѣжать такъ, чтобы не догнали, чтобъ слѣдовъ не нашла. Бросить службу, бѣжать въ Америку. Рѣшимость, способности, дѣятельность — съ этимъ можно прожить, даже начать жизнь съизнова. Человѣкъ свободенъ и все дѣлается легко...

Въ романахъ. Забыта одна, такъ, ничтожная вещица — средства. Далеко они не въ рукахъ всякаго свободнаго человѣка, какъ объ этомъ ораторствуютъ. Твердой волей не сотворишь мгновенно ни рубашки, ни обѣда, а безъ того и другого... Пожалуй, и безъ того и другого бываютъ дѣятели—на большихъ дорогахъ. Прекрасное приложеніе высокихъ идей къ практикѣ, результатъ котораго... да все такой же!

Верховской засмѣялся и упалъ головой на столъ.

Предъ его закрытыми глазами потянулось старое, старое, далекое. Свѣтелка, гдѣ онъ, безпріютный студентъ, плакалъ о своей горькой участи. Тогда явилась эта женщина и спасла... Спасла?..

Но кто-жъ это зналъ? Кто закричитъ утопающему, которому бросаютъ веревку: не хватайся, тебя на ней повѣсятъ?.. «А! скажутъ, такъ надо было потомъ самому остерегаться петли»... Премудрый совѣтъ, когда петля ужъ на шеѣ.

И она затянула...

Верховской заглянулъ въ себя съ отчаянной рѣшимостью. Въ далекой темнотѣ возникалъ предъ нимъ его собственный, прошлый образъ. Старикамъ не такъ горько смотрѣть на свои портреты, писанные въ молодости...

Гибель была еще не вся тамъ, гдѣ проступала наружу. Пропало счастье,—ну, это еще такъ и быть. Но себя не воротишь, не станешь опять человѣкомъ, что-то оборвалось

въ душѣ, что-то умерло. Нѣтъ вѣры ни въ одинъ идеалъ и нѣтъ силъ для отрицанія. Нѣтъ силъ на дѣйствіе. У того, кто грабитъ или убиваетъ, есть сила хоть на его гадкое дѣло, тутъ — никакой, ни на что. Прощать—озлобленъ. Трудиться—не привыкъ. Терпѣть...

Есть одинъ родъ терпѣнія,— не дѣтское, беззаботное, не юношеское, сильное надеждами, не то полное геройскаго забвенія обидъ, забвенія самого себя ради другихъ,— а терпѣніе день за день, въ довольствѣ, при свѣтски-приличной обстановкѣ, въ кружкѣ, гдѣ есть и нѣкоторый почетъ и нѣкоторая свобода дѣйствій, терпѣніе выносливое ради удобствъ и благъ житья-бытья. Такое терпѣніе не истощается никогда; оно вознаграждаетъ, восполняетъ себя оттуда же, куда утекаетъ. Эта пропасть только безъ возврата поглощаетъ душевныя силы, и человѣку, который, оглянувшись, замѣтитъ, что погрузилъ ихъ всѣ, — остается одно: продолжать существовать, какъ существовалъ... Несчастный испуганъ, измученъ жалостью и стыдомъ, ищетъ утѣшенія — его нѣтъ, ищетъ оправданія — и находитъ: «нельзя, жить надо!» повторяетъ онъ, понимая всю отвратительность этихъ словъ, мирясь съ нею насильно, мирясь невольно, потому что привычка втянула... И все что волновало — горе о невозвратной растратѣ чувства, раскаяніе, стремленія, отыскиваніе путей въ темнотѣ, порывы дѣятельности,— все цѣпенѣетъ въ тупомъ терпѣніи день за день...

Чтобъ воротиться къ этому терпѣнію сознательно, послѣ оглядки — нужно страшное мужество. Мужество наглое: поступокъ оцѣненъ. Мужество самоубійцы: погибель вѣрна. Но въ этой темной пропасти есть свои блудячіе огоньки: утѣшенія, размышленія, и такія яркія, такія убѣдительныя, такія практическія. Они какъ разъ докажутъ неприложимость идеаловъ, неизбѣжность жизненной нескладицы, необходимость установиться какъ нибудь. Это утѣшенія умныя, не волнующія напрасно, не останавливающія человѣка на полдорогѣ. Они что рѣшаютъ, то рѣшаютъ опредѣленно: мысль—мученіе; мысль — помѣха. Вѣчно думать—некогда жить. Все разглядывать — ничего не возьмешь. Все усложнять — ничего не поймешь. Бери что есть, не думай и живи, благо есть чѣмъ, — вотъ молодость, вотъ разумъ, вотъ сила!..

— «Не думай и живи!»

Верховской будто проснулся и протиралъ глаза; ему казалось, что въ нихъ ударилъ яркій свѣтъ... Какъ это странно, какъ долго онъ бродилъ ощупью вокругъ такого простого соображенія!.. Силы души — онѣ живехоньки, но ломать ихъ не надо; имъ надо дать волю, ихъ надо понѣжить... Силы души!

— Это называется «умъ за разумъ зашелъ», сказалъ онъ себѣ, еще побѣждая волненіе, еще съ горечью, но ужъ съ насмѣшкой. — Тридцать-четыре года, — пора поумнѣть, «путь жизненный пройдя до половины»... Сказать себѣ толкомъ: чего хочешь? «На край свѣта»?.. Вздоръ. Я кромѣ N* никуда не хочу. Дать мнѣ — не знаю что — мнѣ ничего, кромѣ N*, не надо. Ну, что же? Это такъ и будетъ: я тамъ буду... Моя супруга навязывается — пускай себѣ. Я жить хочу, а неизбѣжнаго головой не пробьешь. Не первый годъ жить намъ съ ней вмѣстѣ... О, чортъ возьми!.. Ну, такъ что же,—не я первый;—мерзости семейной жизни были отъ вѣка и еще столько же будутъ. Чего не минуешь, на то есть ловкость... Вотъ она, путаница притворства по-старому! И мелкія мерзости, униженія, все по-старому...

— Ну, да что-жъ мнѣ дѣлать? вскричалъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу.—Опять тоже? Опять воротился къ тому же! Ну, еслибъ я могъ помѣшаться, умереть, убить ее, убить себя... Не я первый, не я послѣдній! Люди живутъ... Проклятая, она живетъ! И ей хорошо, и совѣсть ея не мучитъ! Такъ я себѣ стану еще дѣлать вопросъ совѣсти, можно ли, простительно ли обманывать Лидію Матвѣевну? За все, что она дѣлаетъ, за все, что она есть... Жить, такъ жить. Не все же мы будемъ проходить только теоріи счастья для всего рода человѣческаго...

У него вырвался странный смѣхъ.

— Катя, Катя, вдругъ вскричалъ онъ отчаянно:—добрая, чистая, божеская! Какъ я тебѣ глаза покажу? Нѣтъ, ты ничего не узнаешь, что здѣсь было! Ты скажешь... я самъ знаю! это грязь, это тина, я безсильный, не умѣю вырваться, не умѣю сохранить своего достоинства, не могу трудиться, я боюсь околѣть съ голоду, я пропалъ, давно пропалъ... Но, Катя, я тебя люблю, ты у меня одна, одна, одна! Чего бы ни стоило, ну, униженія, ну, преступленія, — но разстаться съ тобой... Ты меня спасешь, тебѣ все возможно!..

Онъ долго ходилъ по комнатѣ, не останавливаясь, не поднимая головы, прислушался къ часамъ, которые пробили, горь-

ко заломилъ руки и опять принялся ходить. Надо было рѣшиться, и духу не доставало. Онъ остановился, раздумывая и странно улыбаясь, досталъ сигару, закурилъ медленно, будто протягивая время, вдругъ бросилъ и рѣшительно вышелъ изъ комнаты.

Въ залѣ, Аннета учила дѣтей танцовать подъ скрипку двороваго музыканта. Изъ гостиной, громче скрипки, слышался смѣхъ Лидіи Матвѣевны:

— Вы безъ трехъ, безъ трехъ, Григорій Ивановичъ!

— Будьте такъ добры, попросите ко мнѣ madame, сказалъ Верховской m-lle Роше.

— Избавьте меня... отвѣчала она тихо.

Верховской нетерпѣливо пошелъ впередъ...

— Это, точно, Лидія Матвѣевна, у васъ планъ, говорилъ Духановъ:—потому на два дома вамъ невыгодно. А здѣсь, въ губерніи, если и балъ пожелаете сдѣлать... По важности супруга нельзя вамъ себя не поддержать.

— Вы думаете, надо ужъ будетъ разориться?

— Какъ же-съ! вѣдь Андрей Васильевичъ—лицо! «Комиссія...»

IV.

Утро въ началѣ августа было довольно холодное; роса лежала бѣлая на выгорѣвшей травѣ по откосу большой дороги; между ветлами тянулись щетинистыя сжатыя поля; вдали, въ туманѣ, показались сѣрая каланча, нескладная соборная колокольня, за ними куча красныхъ, зеленыхъ крышъ, низенькихъ строеній...

Верховской проснулся на толчкѣ телѣги; онъ ужъ нѣсколько ночей не спалъ такъ покойно.

— Пошелъ! крикнулъ онъ, выпрямляясь и усаживаясь удобнѣе.

Съ такимъ восторгомъ путешественники смотрятъ на Римъ. Верховской не видалъ Рима, но не взялъ бы его за N* въ эту минуту, особенно, когда подумалъ, что сейчасъ же разскажетъ эту шутку..,

— Пошелъ! повторилъ онъ.

Но было еще слишкомъ рано и оставалось только отдыхать и думать, лежа въ своемъ нумерѣ.

— «Думать»... Вѣдь ужъ разъ сказано, что не буду! выговорилъ онъ, улыбнувшись. — Какъ лошадь на знакомый дворъ, такъ и мысль все заворачиваетъ въ одну сторону. Не буду. Провелъ скверную минуту и довольно. Теперь можно успокоиться: миръ надолго...

Онъ выбросилъ на столъ свой бумажникъ и, кстати, счелъ, что въ немъ было. Пожалуй и не проживешь. Барыня приказала нанять домъ со всѣми онерами; жизнь обойдется по-петербургски. Суточныя въ ея власти... Не попросить ли разъѣздныхъ?

Это подумалось въ шутку, но мысль остановилась, стыдливо, насмѣшливо, но все-таки остановилась. Вдругъ, то, что казалось смѣшно и глупо, показалось необходимо. Взяла досада. Пожалуй, въ самомъ дѣлѣ, необходимо. Надо это устроить, написать кому слѣдуетъ... Верховской рѣшился какъ на жертву, соображая, между прочимъ, что могутъ доставить ему эти разъѣздныя.

— Все-таки буду свободнѣе, заключилъ онъ, и, чтобъ не терять времени, сталъ разспрашивать о квартирахъ. Ему назвали ихъ нѣсколько и въ томъ числѣ одинъ большой домъ, барскій, нарядный, меблированный, ненанимаемый за дороговизною; одно неудобство—онъ въ глухомъ мѣстѣ; фасадъ, правда, на улицу, но кругомъ совсѣмъ пустые переулки.

— Гдѣ это? спросилъ Верховской.

— Недалеко отъ дома г. предсѣдателя Багрянскаго.

— А, знаю.

Верховской сказалъ себѣ, что непремѣнно его найметъ, и сейчасъ же отправился, но не въ домъ, а подъ окна Катерины... Будь она одна... все еще рано! Въ окна не видно никого. Въ садикѣ, наконецъ, зацвѣли запоздалые цвѣты, пестрѣютъ и зыблятся, когда въ воздухѣ пробѣгаетъ холодноватая струйка, напоминающая осень... Все убрано, въ порядкѣ. Должно быть, все благополучно... Но такъ и не оторвешься отъ этой рѣшетки!

Чтобъ куда нибудь дѣвать время, Верховской отправился смотрѣть домъ. Онъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, красивъ и удобенъ, но главное удобство состояло въ томъ, что изъ двухъ небольшихъ комнатъ, окнами во дворъ, были видны садъ, клены... вечеромъ, будутъ видны огни. Эти комнаты надо отдѣлать, убрать... У Верховскаго застучало сердце. Онъ осмотрѣлъ все остальное необыкновенно заботливо и необыкновенно акуратно, сторговался въ цѣнѣ съ старикомъ лакеемъ, жившимъ при домѣ на покоѣ, въ родѣ управляющаго, и расположилъ его въ свою пользу еще больше предложеніемъ нанять его къ себѣ, для прислуги. Верховскому вздумалось избавить себя отъ крѣпостныхъ Лидіи Матвѣевны. Старикъ былъ очень радъ, а Верхов-

ской восхищался своей расторопностью; такъ скоро и ловко онъ еще ничего не устраивалъ въ жизнь свою.

— Изъ деревни переѣдутъ позднѣе, осенью, сказалъ онъ, глядя въ окно:—а вотъ, сюда, пріищите мнѣ рабочихъ...

Ему показалось, что у Багрянскаго отворился балконъ; въ саду что-то мелькнуло.

— Я пришлю обои... договорилъ онъ и ушелъ.

Кабинетъ Багрянскаго былъ убранъ; на письменномъ столѣ было просторно, бумагъ меньше и всѣ, по праздничному, на мѣстѣ. Замѣтно, что тутъ давно не работали. На углу стола Катерина что-то кипятила на канфоркѣ. Багрянскій, исхудалый, желтый, еще посѣдѣвшій, закутанный, но ужъ въ своемъ толстомъ пальто, расхаживалъ пошатываясь, но бодро. Чиновникъ съ портфелемъ подъ мышкой давно держался за ручку двери, готовый уйти.

— Почту прислать ко мнѣ, говорилъ ему Багрянскій:—въ палату я приду...

— Въ понедѣльникъ, отозвалась Катерина:—а то, изъ одного дня начинать не стоитъ; завтра неприсутственный день, тамъ суббота, тамъ воскресенье...

— Можетъ быть, приду сегодня, прервалъ Багрянскій.—Тепло на дворѣ?

Катерина за его спиной дѣлала знаки чиновнику.

— Не совсѣмъ, отвѣчалъ онъ.

— Конечно, подхватила она:—какое тепло—августъ. Почту принесутъ; можно будетъ и дома...

— Увидимъ, прервалъ Багрянскій.—Попросите старшаго совѣтника послѣ присутствія ко мнѣ.

Чиновникъ не успѣлъ выйти, какъ въ прихожей раздался отчаянный звонокъ.

— Кого это Богъ даетъ? сказалъ Багрянскій.—А, здравствуйте! полчаса нѣтъ, какъ васъ вспоминали.

Вошелъ Верховской.

— Здравствуйте! повторила Катерина.

Верховской оглядывался, не отвѣчая. Въ комнатѣ не было солнца, но золотые кружки забѣгали у него въ глазахъ. На Катеринѣ было синее платье и черный суконный казакинъ. Она была какъ-то нарядна, будто еще выше ростомъ, еще стройнѣе, еще бѣлѣе. Еще никогда, въ самыя безумныя минуты любви, не казалась она такъ мила, свѣжа, привлекательна. Она была вся—счастье и веселье.

— Вотъ какія бѣды бываютъ: чуть не умеръ! говорилъ Багрянскій.

Верховской все смотрѣлъ на Катерину.

— Да, вы напугали... выговорилъ онъ:—такое ужасное время...

— Ахъ, не напоминайте, ужъ прошло, прервала Катерина.

— Прошло, такъ я пойду въ должность, возразилъ отецъ.—Что ты меня морочишь,—холодно, то да другое. Одиннадцатый часъ, самая пора. Тамъ, кстати, меня не ждутъ...

— Голубчикъ, вскричала она, бросаясь къ нему:—вы ужъ обѣщали, остались! Дайте мнѣ отпраздновать эти деньки... Господи, есть ли кто нибудь счастливѣе меня на свѣтѣ!

Она цѣловала его лицо, руки, колѣни.

— Ну, посмотрите, сказалъ сквозь слезы Багрянскій:—вотъ такъ-то двадцать разъ на день. Извольте унять съумасшедшую дѣвку. Опомнись: посторонній человѣкъ!

— Онъ вмѣстѣ со мной мучился, сказала она.

Верховской схватилъ ея руку. Она закинула другую ему на шею, наклонила его и поцѣловала.

— Какъ на свѣтлое воскресенье!.. выговорилъ съ умиленіемъ отецъ.

Она не слышала этого оправданія, но и не нуждалась въ немъ, тихо отерла глаза, тихо оглянулась, будто чего искала, подвинула отцу маленькій столикъ и раскинула на немъ салфетку.

— Кушайте и отдохните, сказала она:—а мы посидимъ тутъ и тихонько потолкуемъ.

— Можно ли съ тобой о чемъ нибудь толковать! возразилъ Багрянскій.—Извольте посмотрѣть—кормитъ меня скоромнымъ. Я шестой десятокъ доживаю, этого не дѣлалъ...

Верховской еще не опомнился. Онъ не больше бы потерялся, если бы надъ нимъ громъ упалъ. Что это? забылась она, или не могла удержаться? или воспользовалась удобной минутой, увѣренная, что отецъ не пойметъ? Свела съ ума, а сама спокойна...

— Разскажите, что тутъ дѣлалось, говорилъ Багрянскій. — Вѣдь у меня двѣ недѣли жизни изъ счета вонъ; хочется наверстать, узнать. Она кое-что пересказывала, да что она знаетъ. Только хвасталась, что преуспѣла съ вами въ вражескомъ щебетаньи. И вчера, я лежу, притворился, будто сплю, а она, уши зажала, надъ книжкой долбитъ...

— «Еслибъ этотъ человѣкъ былъ не отецъ ея, а женихъ, мужъ»... думалъ Верховской.

Кровь бросилась ему въ лицо. — «Другой имѣлъ бы право такъ же говорить, такъ же смотрѣть... ласкать ее»...

— Да вы сами что-то разстроены, замѣтилъ Багрянскій. — Не случилось ли чего? здоровы ли?

— Чему со мной случиться! отвѣчалъ Верховской, заставляя себя улыбнуться на взглядъ Катерины. — Я здоровъ, только усталъ. Сегодня на зарѣ пріѣхалъ изъ деревни.

— Надолго?

— Я больше туда не поѣду.

— Такъ вы уѣзжаете въ Петербургъ? прервала Катерина.

— Нѣтъ. Напротивъ... Напротивъ, рѣшено, что и мое семейство останется здѣсь.

— Зачѣмъ? спросилъ Багрянскій.

— Я назначенъ слѣдователемъ... Но развѣ вамъ не сказала Катерина Николаевна?

— И вы согласились? вскричала она.

— Я вамъ говорилъ...

— Не взыщите, прервалъ Багрянскій: — видите — перезабыла. Разскажите, что это такое.

— Я хорошенько и самъ не знаю, отвѣчалъ Верховской. — Чиновники Волкарева что-то крупно украли; къ этому примѣшались еще разныя дѣла, доносы...

— Мауровское наслѣдство? спросилъ Багрянскій.

— Вы знаете? вскричалъ Верховской.

Багрянскій засмѣялся.

— Чему вы обрадовались? спросилъ онъ.— По глазамъ вижу: надѣетесь, что, вотъ, я сейчасъ вамъ все разъясню. Петербургскій баринъ:—давай готовенькое!.. Что, поймалъ я васъ? прибавилъ онъ, добродушно извиняясь.

— Поймали, сказалъ откровенно Верховской.—Я совсѣмъ новичокъ и почти не знаю какъ приняться.

— Зачѣмъ же вы беретесь? спросилъ серьезно Багрянскій.

Верховской былъ готовъ отвѣчать: «затѣмъ, что не могу отсюда уѣхать», и поднялъ глаза на Катерину. Она ждала.

— Затѣмъ берусь, сказалъ онъ громко и отчетливо, хотя краснѣя, — что надоѣло, стыдно работать на готовенькомъ... хочется въ чемъ нибудь себя попробовать. Я зналъ, что меня назначатъ; Волкаревъ самъ меня просилъ...

Онъ разсказалъ, какъ это было. Привычная, начальническая внимательность Багрянскаго конфузила. Отъ досады и нетерпѣнія Верховской былъ рѣшительнѣе.

— Тутъ что нибудь одно, заключилъ онъ: — или Волкаревъ правъ, или увѣренъ, что кругомъ меня проведетъ. Не думаю, чтобы онъ такъ мало меня понималъ или мало уважалъ. Для меня ясно, что онъ правъ.

— Онъ вамъ, вѣрно, много наговорилъ? прервалъ отрывисто Багрянскій. — Извините,—вы себя назвали новичкомъ, — такъ я вамъ замѣчу, что для слѣдователя ничто не можетъ быть ясно прежде слѣдствія. Это— разъ навсегда.

Верховской былъ озадаченъ. Багрянскій продолжалъ, не заботясь, какое впечатлѣніе производитъ его тонъ.

— Я не въ ладахъ съ Волкаревымъ, но вы, надѣюсь, изъ этого ничего не заключаете. Я дѣла не знаю. Очень возможно, что онъ и правъ, а только запутался по оплошности. Ну, и по-дѣломъ, — гляди въ оба. И вы извольте глядѣть въ оба. Вы,— помнится, мы съ вами потолковали, — вы много полагаетесь на людскую совѣсть. На этомъ недалеко уѣдете. Ужъ если рѣшать что нибудь заранѣе, то вотъ какъ: такая-то или такая-то мерзость можетъ быть кому нибудь выгодна? Можетъ. Слѣдовательно—она есть.

— Что это? вскрикнулъ Верховской.

— Да, не иначе! подтвердилъ Багрянскій громко и всталъ. — Сытъ я, матушка, не потчуй.. Не иначе! обратился онъ опять къ Верховскому. — Вотъ, сейчасъ вы застали, она всѣми силами держитъ, не пускаетъ меня въ палату. Почему? Потому что я тамъ камня на камнѣ не оставлю! Я тоже, вотъ, положился, посантиментальничалъ, а меня провели! Меня!.. Лѣсъ, тамъ, одинъ... Надѣялись, я въ ту сторону не загляну,—далеко, болота,—а я, будто чувствовалъ: прямо туда. Доносили мнѣ, писали,—все въ порядкѣ: все есть, и планы, и вѣдомости. Пріѣхалъ — а лѣса одна опушка, декорація... Ужъ лѣсничій съ окружнымъ слетѣли, а господинъ совѣтникъ лѣсного отдѣленія... Вотъ вамъ люди! женился недавно, сорокъ тысячъ приданаго взялъ,—это онъ, прахъ его возьми, на казенный лѣсъ невѣстѣ подарочки дѣлалъ! Надѣялись, я не спохвачусь, некогда, подати, наборъ... А наборъ?.. Черти, они меня уложили! Вѣдь я тамъ что̀ дѣлалъ, въ округахъ, въ волостяхъ? Ловилъ! ловилъ мошенниковъ, какъ гончая! Шпіоновъ держать за ними надобно, самому надо такимъ же быть, только тогда ихъ постигнешь... Извольте, напримѣръ, списокъ рекрутскій; точка противъ имени, муха сдѣлала; что съ нея возьмешь. Я смотрю — что ужъ такъ много.

А точка значитъ затылокъ; точки-то все богатенькія, большія семьи, власти сельскія; кто отнесъ окружному, кто доктору... Вѣдь сами своихъ продаютъ, безумные, Бога забыли! дворы разоряютъ,—двойниковъ, одиночекъ... Баба въ волостномъ правленіи скатилась мертвая, тутъ и пришибло, — сына взяли послѣдняго... Все это видѣть, все это разобрать... Вѣдь это что такое было? я съ утра до ночи кричалъ, ругался, дрался; окружныхъ трехъ истребилъ, а ужъ писарей, головъ... Но своего добился, чисто все сдѣлано, передъ Богомъ. И именно, Господь сподобилъ докончить: послѣднимъ ужъ распоряжался; съ зари началось, день жаркій, — ковшикъ воды выпилъ и къ вечеру слегъ, но что нужно было, все успѣлъ продиктовать и подписать... И тутъ еще, чиновникъ со мной былъ, юный, вы видѣли, изъ усердія да и по глупости — лекаря ко мнѣ. А я этого лекаря только что передъ тѣмъ накрылъ и изловилъ. «Какъ, говорю, ты? вонъ!..» Послѣднее мое слово было; дальше ужъ не помню... Безъ-году-недѣлю мальчишкѣ дали мѣсто... наука, изволите видѣть, любовь къ человѣчеству!.. въ округѣ его не видятъ, въ городѣ онъ картежничаетъ, — я, управляющій палатою, плетусь на чемъ попало, а онъ катаетъ на лежачихъ рессорахъ... я ему шею сверну!

Онъ все время кашлялъ, а тутъ почти задохнулся.

— Понятно, что Катерина Николаевна не пускаетъ васъ въ палату, сказалъ Верховской.—Что вы съ собой дѣлаете?

— Безъ воли Божіей... выговорилъ Багрянскій, запивая изъ стакана, который подала ему дочь.—Ну, что ты глаза вытаращила? Не улыбайся насильно: вижу. Ничего. Живъ. Стало быть, еще нуженъ.

— А если нужны, такъ тѣмъ больше берегитесь, возразилъ Верховской. — Какъ это, истратить себя на возню съ низостью; а тамъ, по-юношески, хватить студеной водицы...

— А надо бы въ теплую ванну да въ постель? Это мы, батюшка, и безъ вась знаемъ; только извольте присмотрѣться,—кто дѣло дѣлаетъ, у тѣхъ досуга нѣтъ лежать, а случается—нѣтъ и постели... «Тратить себя!» пышно сказано; по-барски... Что-жъ, такъ и оставить низость, чтобъ гуще росла? или, кому приказать ее дергать? Все чернорабочимъ, безсильнымъ, безвольнымъ? помилуйте, въ какое положеніе вы ихъ ставите!.. «Тратить себя!» это называется — брезгливость. А она куда ведетъ? Куда, напримѣръ, она привела Волкарева? Нельзя и грѣхъ предположить, чтобъ и у этого человѣка ужъ никогда не бывало честныхъ стремленій; но—побрезгалъ, поберегъ себя и тѣмъ покончилъ, что со всѣмъ помирился: все благо, всѣ правы, усилить наемный надзоръ и лучше ничего не надо! И вы...

— Я-то ужъ, конечно, не признаю всего за благо, прервалъ Верховской: — я въ отчаяніи...

— И все равно, и дойдете до того же! Побарски или съ отчаянія, все равно, вы отступитесь. Вся разница, что Волкаревъ никогда не устанетъ говорить фразы, — ему отъ нихъ доходъ, — а вы, съ отчаянія, потеряете вѣру...

— Въ людей?

— Въ самого себя, сдѣлаетесь ни на что не годны, ослабѣете, — а вотъ, въ этой,— какъ вы ее назвали? — въ align="left"вознѣ съ низостью,—въ ней-то и крѣпнешь!

— Хороша гимнастика! на мѣстѣ одного зла встаетъ другое, а расправляется произволъ...

— Какъ, произволъ?

— Хоть бы тысячу разъ благой, все-таки — произволъ надъ темной, несознающей массой...

— Да, вы, помнится, надѣялись просвѣтить ее краснорѣчіемъ!

— Что-жъ дѣлать, возразилъ, вспыхнувъ, Верховской:—можетъ быть, и излишняя надежда на силу словъ, но слова, покуда, — единственное утѣшеніе...

— Гимнастика, такъ сказать, комнатная, безопасная.

— Не всегда.

— Ну, съ предосторожностями! вскричалъ Багрянскій.—Сказать вамъ правду?

Его впалые глаза засвѣтились и щеки слегка вспыхнули.

— Всю правду? Слова—бѣда. Надѣяться на нихъ — строить на пескѣ. Вы и сами не надѣетесь; это вамъ такъ только кажется; вы несчастные, вы въ отчаяніи; вы восторгаетесь искренно тѣмъ, что сами считаете за сказку. Что такое благо и въ чемъ оно, вы еще не рѣшили. У васъ руки отпали, а вы кричите: руки связаны...

— Кто это кричитъ? прервала Катерина:—нѣтъ, всякій воленъ дѣлать свое дѣло.

— Какъ, вы это говорите? вскричалъ Верховской.

— Я и всегда это говорила. Дѣлать должное, какое бы оно ни было маленькое.

— Развѣ можно этимъ удовлетвориться?

— Если въ силахъ больше—тѣмъ лучше;

разница въ способностяхъ, въ возможности, въ случайностяхъ...

— И въ заслугѣ!

— О честолюбіе!.. Нѣтъ, и заслуга одинакая: одинаково необходимо, одинаково трудно,—сравнительно. И обязанность одна: дѣлай до конца, бейся, погибни на дѣлѣ... И еще неизвѣстно, кому тяжелѣе погибать, крупному человѣку или мелкому; надъ крупнымъ, по крайней мѣрѣ, люди ахнутъ, а мелкіе — могилы безъ креста... Считай ихъ Господь Богъ, Онъ одинъ ихъ знаетъ.

— Но что же въ этихъ мелкихъ трудахъ, мелкихъ жертвахъ... возразилъ Верховской.

— Не крупными дѣлается дѣло, а всѣми. По-одиночкѣ — капля, въ сложности— волны...

— Хороши волны! прервалъ Багрянскій.

— Хороши, сильны! подтвердила она съ какой-то радостью.

— Ты вблизи-то ихъ видала?

— Видала.

— Что-жъ, и дерзость тоже сила?..!Вотъ, сотворили себѣ кумира оборванца!.. Хороши? Ты лѣнивыхъ, обманщиковъ, безсовѣстныхъ не видала?

— А отчего они такіе? Оттого, что у нихъ, ни много, ни мало,—отнято право не только имѣть гражданское чувство, но даже право понимать, что это такое. Удивительно! Гражданское чувство, гражданскій долгъ,— простѣйшія вещи, всѣмъ близкія, всѣмъ общія, — изъ нихъ сочинено Богъ вѣсть что, заоблачное, недоступное, однимъ великимъ міра подобающее. Натурально, что къ мелкимъ дѣламъ странно его и примѣнить; даже назвать страшно! Натурально, что маленькіе люди оробѣли, поклонились и предоставили его крупнымъ: извольте, ваше! А тѣмъ только-то и было нужно — взяли, да распоряжаются по-своему...

— Ну, матушка, далеко хватаешь!

— Совсѣмъ недалеко! Что глаза закрывать, что себя обманывать? Въ обществѣ нѣтъ гражданскаго чувства, — умерло, — такъ пусть оно поднимется въ народѣ. За что онъ осужденъ на темноту, считаетъ себя пропащимъ, не имѣетъ понятія, что такое отечество...

— И до конца вѣка такимъ останется.

— Такъ вы отчаянный, хуже чѣмъ онъ!

Она, не оглядываясь, показала на Верховского.

— Онъ вѣритъ хоть въ слова. Вотъ на что они нужны. Чѣмъ хотите, дѣломъ или словомъ, только помогайте. Время тяжелое, всѣ годимся. Ободрить, вразумить, —не легкая, не барская работа. Но, чтобъ она была исполнена! обратилась она вдругъ къ Верховскому: — самыя искреннія слова, если люди говорятъ ихъ только для собственнаго утѣшенія—жалкая забава рабовъ, ничего больше...

Верховской хотѣлъ отвѣчать, встрѣтилъ ея взглядъ и опустилъ голову.

— Что, получили приказъ? сказалъ ему, засмѣявшись, Багрянскій:—вы еще такихъ рѣчей не слыхали?

— Зачѣмъ вы шутите? вскричала Катерина.

— Какія шутки! возразилъ отецъ.—Ты проворно распоряжаешься; дать бы тебѣ власть...

— О, еслибъ дали!

— То-то. Ну, я не пошелъ бы къ тебѣ подъ начальство—заморишь на работѣ.

— Заморю, отвѣчала она серьезно.

Багрянскій, замѣтно усталый, ходилъ по комнатѣ, остановился и тихо смѣялся, глядя на дочь съ нѣжностью и съ какой-то жалостью.

— Голова ты моя милая, надѣешься ты крѣпко... ну, въ чемъ ошибаешься, не бѣда. Бѣда въ томъ, что сами будильники и словомъ, и дѣломъ—устаютъ скоро.

— Вы устали? спросила она.

— Тридцать-четвертый годъ, матушка! Сама знаешь, мы съ тобой ужъ сподличали, понавѣдались, напомнили о пенсіи.

— Нѣтъ, устали вы? повторила она нетерпѣливо.—Кто-жъ это, вотъ, такъ кашляетъ, а въ палату рвется? Устали, — такъ творись тамъ что угодно! Нѣтъ, вамъ скучно, гадко, мучительно — вы все-таки не отстаете. И я вамъ говорю—я тоже. Умирать буду — такая же буду. Не знаешь куда дѣвать, вотъ, все что въ душѣ поднимается. Вы разберите, сколько я несчастнѣе васъ, вы за дѣломъ, а мнѣ дали бы хоть что нибудь дѣлать...

— Вѣдь этакое честолюбіе, прервалъ Багрянскій, обнявъ ее одной рукой и прижавъ къ себѣ: — имѣетъ честь и счастіе служить подъ моимъ непосредственнымъ начальствомъ и все ей мало; нянчится со мной день-деньской...

— Ну, будетъ... тихонько выговорила она, смущенная.

— Радость ты моя, вотъ что... досказалъ онъ тоже тихо и отрывисто. — Андрей Васильевичъ, вы попадаете къ намъ все на семейныя сцены. Вотъ чѣмъ мы, чернорабочіе, держимся на свѣтѣ, — семьей. Не будь ея у

меня (онъ все еще обнималъ дочь)—да, Господи Владыко!.. Домъ — пустырь, есть ли что хуже?

— Бываетъ, сказалъ Верховской, глядя въ полъ.

— Бываетъ... повторилъ Багрянскій и сѣлъ. По его лицу пробѣжало нехорошее выраженіе; помолчавъ съ минуту, онъ заговорилъ, будто стараясь разсѣяться.

— Замѣтили вы еще, Андрей Васильевичъ, что какъ мы съ вами сойдемся, такъ и начнутся всякія философствованія?

— Значитъ, оба вы — не практическіе люди, сказала, смѣясь, Катерина.

Ея веселость въ мигъ развеселила отца.

— Просто, оттого, что ты подвертываешься, возразилъ онъ. — Скажите что нибудь житейское, Андрей Васильевичъ. Такъ вы здѣшній житель?

— Да, ужъ и домъ нанялъ, отвѣчалъ Верховской:—тотъ, что за вашимъ дворомъ; мы сосѣди.

— Большой домъ?

— Да... Моя семья велика.

— Нарядный. Намѣрены балы давать?

— Да, жена хочетъ... Мое собственное помѣщеніе очень небольшое и совсѣмъ отдѣльное. Ко мнѣ будутъ приходить по дѣламъ, такъ лучше подальше, чтобъ никого не безпокоить.

— Да, барыни дѣлъ не любятъ, замѣтилъ Багрянскій.—Но и лучше—дѣло къ одной сторонѣ, а отдыхъ къ другой. Вы живете здѣсь давно, знакомыхъ много...

— Прежде всего позвольте бывать у васъ какъ можно чаще.

— Милости просимъ. Я за нее радъ (онъ показалъ на Катерину), она мнѣ говорила, что была у васъ въ деревнѣ, познакомилась съ вашимъ семействомъ. Вотъ ей общество; по крайней мѣрѣ, съ мѣста сдвинется моя домосѣдка.

— На это не надѣйтесь, возразила Катерина.

— Ну, нѣтъ, извини; я заставлю. Безъ людей не проживешь.

— Безъ хорошихъ, конечно.

— А дурны, такъ чтобъ не выдумали, будто ты прячешься. И, наконецъ, что-жъ это такое? я хочу, чтобъ тебя видѣли; я самъ съ тобой въ свѣтъ пущусь.

— Будто бы? вскричала Катерина, смѣясь.—О, милый, знаете, чѣмъ меня заманить! Въ самомъ дѣлѣ, обратилась она къ Верховскому: — отецъ рѣдко бываетъ гдѣ нибудь со мной, но мнѣ всегда такъ весело видѣть его среди другихъ...

— Ей пріятно, что я умѣю держаться въ обществѣ, досказалъ Багрянскій:—а я брожу, въ кулакъ зѣваю...

— Ахъ, совсѣмъ не то, прервала она: — мнѣ весело, что люди, точно, хорошіе отъ души рады васъ встрѣтить... Посмотрите, какъ окруженъ! прибавила она Верховскому.—Даже и тѣ,—ну, которые знаютъ себя и не смѣютъ подступить, — и они ужъ не противны въ это время, а только смѣшны.

Багрянскій улыбался.

— Суета суетъ, матушка, возразилъ онъ:—на эту удочку, на почетъ, всѣ мы ловимся.

— На уваженіе честныхъ людей, — это дѣло другое, возразила она.

— Знаю, — надо чѣмъ нибудь извинить свою гордость.

Ему, однако, было замѣтно пріятно; онъ продолжалъ самодовольно и будто подшучивая:

— Вотъ, какъ совсѣмъ приведу себя въ порядокъ, поѣду съ визитами; кажется, съ зимы ни у кого не былъ. Есть ли карточки, Катерина?

— Какъ не быть; только, я думаю, онѣ опять зимы дождутся...

Багрянскій смѣялся, она тоже.

Верховскому было скучно давно; онъ давно нехотя, едва поддерживалъ разговоръ. Отвлеченныхъ вопросовъ, споровъ, разсужденій ему было ужъ слишкомъ довольно; въ умѣ вертѣлось другое; семейныя сцены волновали все тѣмъ же неудовлетвореннымъ желаніемъ, все той же торопливой тревогой. Хотѣлось только одного: скорѣе остаться вдвоемъ съ Катериной... этого, кажется, не дождаться во вѣки! Въ досадѣ, Верховской ужъ нѣсколько разъ подумалъ уйти и не могъ. Хозяева ничѣмъ не показывали ему, что онъ лишній, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ не церемонились, что, пожалуй, не стали бы удерживать. Съ почты принесли газеты; Багрянскій схватился за нихъ; Катерина давно усѣлась у окна и что-то шила. Все это было такъ чинно и въ порядкѣ, что, наконецъ, становилось невыносимо. Въ ожиданіи, въ нетерпѣніи, въ тоскѣ, Верховской взглядывалъ на Катерину и съ злостью повторялъ себѣ, что сейчасъ уйдетъ...

— А! вотъ о защитѣ Соловецкой обители, сказалъ Багрянскій: — и много, подробно...

— Давайте, я прочту вслухъ, вызвалась Катерина.

Верховской поднялся съ мѣста. Его выручила судьба: за окномъ раздался стукъ подъѣхавшаго экипажа.

— Ахъ, Волкаревы! сказала съ неудовольствіемъ Катерина, выглянувъ изъ-за сторы.

— Ну, эта госпожа къ тебѣ, сказалъ Багрянскій:—ступай, а насъ тутъ затвори.

— Нѣтъ, это господинъ къ вамъ, возразилъ Верховской. — Какъ бы мнѣ съ нимъ не встрѣчаться? онъ не знаетъ, что я пріѣхалъ изъ деревни... заговоритъ!.. Позвольте мнѣ уйти чрезъ балконъ, чрезъ садъ, какъ нибудь...

— Испугались! сказалъ, смѣясь, Багрянскій.— Ну, ступайте скорѣе, она васъ спрячетъ. Его превосходительство не засидится долго... Зачѣмъ пожаловалъ?

Верховской убѣжалъ въ гостиную. У входной двери раздался звонокъ; Волкаревъ прошелъ въ кабинетъ. Чрезъ минуту въ гостиную выглянула Катерина.

— Здѣсь? спросила она шутливо.

Онъ бросился къ ней, обхватилъ и увлекъ на балконъ.

— Послушай, повторялъ онъ: — послушай,—и всегда такъ будетъ? ты счастлива, тебѣ хорошо... Ты можешь выносить цѣлые часы, говорить вздоръ... гражданство, патріотизмъ... Все это къ чорту! (онъ выхватилъ, скомкалъ и бросилъ листъ газеты, который замеръ у нея въ пальцахъ).—Ты понимаешь, что я тебя люблю?.. Оглянись, цѣлый мѣсяцъ пропалъ. Вѣдь это мука! Да понимаешь ли ты... Катя! счастье мое! ну, ты теперь покойна, отецъ живъ, все хорошо,—а я-то?

Она взглянула ему въ лицо и вдругъ, закрывая глаза, прижалась губами къ его губамъ.

V.

Кабинетъ Багрянскаго вдругъ сдѣлался какъ будто еще тѣснѣе и еще беднѣе, когда въ него вступилъ новый гость, хотя, на этотъ разъ, костюмъ всегда щеголеватаго губернатора былъ почти неизященъ, походка старчески-степенна, движенія вялы или утомлены, улыбка добродушно простовата. Волкаревъ остановился среди комнаты, держа хозяина за обѣ руки. Онъ былъ даже безъ перчатокъ.

— Я пріѣхалъ, заговорилъ онъ съ волненіемъ: — пріѣхалъ, старикъ, поздравить сверстника старика, что неизреченному милосердію Божію угодно было сохранить ему жизнь. Въ наши годы лучше оцѣнивается это благо,—лучше и возблагодаримъ за него вмѣстѣ!

Онъ еще разъ сжалъ руку Багрянскаго и скоро нашелъ уголъ, куда слѣдовало поднять глаза.

— Искренно благодарю васъ, отвѣчалъ серьезно Багрянскій.

Волкаревъ заботливо велъ его къ большому мягкому креслу.

— Ваша жизнь видимо нужна, продолжалъ онъ, растроганный: — отъ нея многое и многіе... Я ужъ и не говорю болѣе: вы, какъ истинный христіанинъ, не захотите меня слушать; вы не придаете цѣны... И предоставимъ Господу оцѣнку дѣлъ нашихъ!

Багрянскій молчалъ.

— Вы все еще смотрите, какъ будто хотите спросить: «зачѣмъ пришелъ?» Не такъ ли? продолжалъ Волкаревъ съ ласковой грустью. — Да, меня вела одна мысль, и, вотъ, именно, ваше удивленіе ее подтверждаетъ... «Зачѣмъ пришелъ!..» Мы знаемъ другъ друга — какъ предсѣдатель палаты, какъ начальникъ губерніи... все это прахъ, который, какъ дѣла наши, какъ нашъ собственный прахъ, разсѣется!.. Тяжелая мысль!

Онъ повелъ рукою по глазамъ.

— Ну... а, какъ люди, мы другъ друга не не знаемъ. То, что внутри насъ, наше лучшее, нашъ безсмертный духъ...

Онъ помолчалъ съ минуту.

— Люди много грѣшатъ другъ противъ друга... Скажите, вы мнѣ простили?

— Въ чемъ и когда? спросилъ Багрянскій.

— Во всемъ, вотъ, этими днями... Тяжело мнѣ было знать, что вы въ смертной опасности, и думать, что вражда... И едва я узналъ, что опасность миновала, у меня явилась мысль: неужели, попрежнему...

— У меня, ваше превосходительство, нѣтъ къ вамъ никакой личной вражды, прервалъ Багрянскій:—но если вы, какъ начальникъ губерніи, будете дѣйствовать попрежнему, я—буду дѣйствовать попрежнему.

— А!.. сказалъ Волкаревъ, закусилъ губы, стремительно всталъ, прошелся и, вздыхая, опять сѣлъ на свое мѣсто.—Вы не хотите меня понять. Мы смотримъ съ разныхъ точекъ зрѣнія, но, въ сущности, мы заодно. Не станемъ спорить... Я вѣрую, что **тамъ** (онъ задумчиво поднялъ глаза) прощаются наши заблужденія. Такая вѣра поддерживаетъ!

— Да, если человѣкъ, покаявшись, не начинаетъ съизнова, замѣтилъ Багрянскій.

Волкаревъ подумалъ.

— Господь прощаетъ безконечно, сказалъ онъ кротко и, не получивъ отвѣта, за-

думался опять и прибавилъ:—люди должны дѣлать то же.

— Все это несомнѣнно, сказалъ нетерпѣливо Багрянскій:—но я хотѣлъ бы знать...

— Къ чему я веду? подсказалъ Волкаревъ.

— Да, къ чему вы ведете.

Волкаревъ опять помолчалъ.

— Я буду говорить откровенно, началъ онъ, будто рѣшаясь.—Я желалъ бы узнать... повторяю: какъ человѣкъ, какъ старикъ!.. узнать, что, въ страшныя минуты разсчета съ жизнью, пробуждаются ли въ душѣ милосердіе, прощеніе обидъ, примиреніе, всѣ эти отрадныя чувства, поставленныя человѣку въ обязанность — такъ глубоко зналъ Законодатель испорченную природу человѣка!.. Я, бѣдный жилецъ этого несчастнаго міра, который оставлю съ такой охотою, я желалъ убѣдиться...

Онъ, въ волненіи, не договорилъ.

— Я вамъ сказалъ, что лично зла ни на кого не имѣю, отвѣчалъ спокойно Багрянскій.

— Ни на кого?

— Ни на кого. Если вы спрашиваете искренно, я вамъ такъ же искренно говорю: желаю вамъ такого же душевнаго мира.

— Однако...

— Позвольте, продолжалъ Багрянскій:— я знаю, что вы скажете. Я человѣкъ крутой, гоню дурныхъ людей, но исправься они — милости просимъ.

— А если еще они тяжкимъ страданіемъ искупятъ свою вину? сказалъ Волкаревъ тихо и настойчиво.

Багрянскій взглянулъ на него, вскинувъ головою.

— Благородный человѣкъ, продолжалъ Волкаревъ: — вы примирились, вы простили, — вѣрю! Всѣхъ ли вы простили? Готовясь къ великому отчету, всѣхъ ли вы вспомнили?.. Не ненависть, нѣтъ, но забвеніе, человѣческое, немощное забвеніе... А между тѣмъ, несчастное, истерзанное существо ждетъ, томится и—тяжкій грѣхъ на его душу, на вашу душу,—отчаивается! Вы подумали объ этомъ? вспомнили? У вашего смертнаго одра вы видѣли одну вашу любимицу, а тотъ, отъ кого вы впервые услышали слово о т е ц ъ, тотъ, отверженный вами, сынъ вашъ...

Багрянскій поднялся съ мѣста.

— Горе! вскричалъ Волкаревъ, поднимаясь тоже.—Я, старикъ, прихожу напомнить! Я беру это право, во имя нашихъ сѣдыхъ волосъ! Въ сторону приличія, я исполняю мой долгъ! Вы забыли сына, а онъ... Онъ, раненый, тоже умиралъ! Вотъ его письма ко мнѣ...

Онъ выбросилъ ихъ нѣсколько на столъ.

— Одна мысль: отецъ, отецъ, прощеніе отца! Ничего не надо, ни земныхъ благъ, ни дружбы, ни славы, — только благословеніе этой дорогой руки, только милость этого высокаго сердца! Увидѣть отца одну минуту и умереть! Несчастный безумствовалъ, клялъ свое рожденіе, нераскаянный бросался подъ пули, искалъ смерти—а смерть щадила!.. Она и васъ пощадила. Не захотѣлъ Господь, чтобы разомъ предстали ему на судъ озлобленныя души сына и отца; Господь не враждуетъ во-вѣки. Не враждуйте! Если вы, строгій судья, приступая къ таинству покаянія, когда нибудь испытали тяжесть на совѣсти,— не оттолкните сына, который готовъ у вашихъ ногъ... О другъ мой! вѣдь жить намъ все-таки осталось недолго...

Онъ едва договорилъ, опустился на стулъ и заплакалъ, закрывая лицо, дряхло опираясь локтями въ колѣни и покачивая наклоненной головою. Багрянскій не оглянулся, стоялъ молча, смотрѣлъ на письма и не прикоснулся къ нимъ.

— Онъ раненъ? выговорилъ онъ.

— Былъ раненъ... весной, отвѣчалъ съ усиліемъ Волкаревъ.

— А теперь? здоровъ?

— Но развѣ вы не знаете? въ концѣ мая онъ писалъ сестрѣ...

— Я не знаю переписки моей дочери.

— Онъ увѣдомлялъ меня, что писалъ и вамъ.

— Я не получалъ письма.

— Вы могли видѣть въ газетахъ: онъ отличился, произведенъ въ офицеры...

— Я не читаю производствъ, отвѣчалъ нетерпѣливо Багрянскій.

Волкаревъ взглянулъ на него съ испугомъ, упрекомъ и состраданіемъ.

— Не читаю, повторилъ Багрянскій и, отвернувшись, зашагалъ по комнатѣ.

Волкаревъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ и заговорилъ осторожно.

— Я позволю себѣ такъ объяснить вашъ отвѣтъ: м н ѣ н ѣ т ъ д ѣ л а, ч т о д ѣ л а е т с я с ъ м о и м ъ с ы н о м ъ. Простите, я этого не понимаю!.. Вмѣсто производства, могло быть и исключеніе изъ списковъ. И Виктору могло тяжело отозваться ваше равнодушіе нѣсколько недѣль назадъ, если бы, пробѣгая газеты, онъ встрѣтилъ извѣстіе о вашей смерти. Всего возможнѣе, что оно пришло бы къ нему только этимъ путемъ: сестра могла не написать...

— Что? спросилъ вдругъ, остановившись, Багрянскій.

— Сестра не написала бы, подтвердилъ Волкаревъ, настойчиво глядя въ его сверкающіе глаза: — у нея недостало бы мужества написать: «отецъ умеръ, не снявъ съ тебя проклятія». Такія слова не ложатся на бумагу. Вы не подумали, что между вашими дѣтьми—бездна, несчастный молодой человѣкъ обращается къ постороннему, ко мнѣ...

Багрянскій возвратился на свое мѣсто и сѣлъ. Онъ былъ очень блѣденъ; его сжатыя губы слегка вздрагивали.

— Позвольте просить васъ разсказать, началъ онъ,—почему и какимъ образомъ онъ обратился къ вамъ.

— Вотъ письма...

— Благодарю васъ, я читать ихъ не стану; некогда, я нездоровъ; словъ тутъ, я вижу, много... Мнѣ хотѣлось бы знать только обстоятельства.

— Все въ двухъ словахъ. Родственникъ одного изъ моихъ лучшихъ друзей, превосходный молодой человѣкъ, товарищъ Виктора въ несчастіи, сблизился съ нимъ,—были взаимныя услуги—и употребилъ свой кредитъ, просилъ за вашего несчастнаго сына, понимая по себѣ, какъ тяжело незаслуженное...

— Можно спросить, кто этотъ молодой человѣкъ?

— Заметовъ.

— А!.. сказалъ Багрянскій и отвернулся.

— Нѣсколько сходное дѣло. Вы знаете?

Багрянскій кивнулъ головою, не оглядываясь.

— Онъ сказалъ Виктору, что я здѣсь — и вотъ, начались письма ко мнѣ. Викторъ писалъ вамъ, когда состоялось его представленіе; вы говорите, что не получали... Какъ это могло случиться!! (Онъ пожалъ плечами). Но ваше молчаніе его убиваетъ; не хочетъ онъ ни отличія, ни наградъ; ему нужно одно слово, одинъ намекъ... часы, дни, мѣсяцы ожиданія... Какъ онъ васъ любитъ! О, кто любитъ, тому прощается много!

Багрянскій продолжалъ молчать и смотрѣть въ сторону. Волкаревъ тихо положилъ ему руку на колѣно.

— Другъ мой, Господь не хочетъ смерти грѣшника; намъ же коснѣть въ ненависти...

— Да чего вы отъ меня хотите? прервалъ Багрянскій и опять всталъ.

— Какъ, все, что я говорилъ... вы и не слышали?

— Все слышалъ. Ни на кого нѣтъ у меня ненависти. Довольно.

— Вы простили?

Волкаревъ вскочилъ, задыхаясь, простирая объятія.

— Вы простили? Другъ мой!.. О безмѣрная отеческая любовь! Благородный человѣкъ! Братъ о Господѣ! И мнѣ, такое счастіе... Блаженны миротворцы... Откроемъ сердце, прижмемъ...

— Позвольте... прервалъ Багрянскій.

— Нѣтъ, ужъ благодатное слово произнесено! О другъ мой, довершите, призовите вашего сына...

— Подлеца?..

— Какъ?.. Онъ?.. Вы... Вы говорите это о человѣкѣ, которому судъ, сама власть... которому возвращено достоинство...

— Онъ осужденъ подѣломъ, а за какія заслуги прощенъ — не знаю, прервалъ Багрянскій.—Достоинство!

Онъ захохоталъ и отвернулся.

— Достоинство однимъ часомъ не возстановляется, рѣзко и твердо заговорилъ онъ, возвращаясь къ оторопѣвшему гостю:— не дается оно даромъ и ничьей милостью. Много надо потрудиться, чтобъ было не совѣстно смотрѣть людямъ въ глаза.

— Одинъ вздохъ на крестѣ... началъ Волкаревъ.

Багрянскій повелительно поднялъ руку.

— Предъ Богомъ, прервалъ онъ: — Богъ зналъ, каковъ былъ этотъ вздохъ. Мы, люди, судимъ не по вздохамъ, а по дѣламъ.

— Неумолимый! вскричалъ съ горестью Волкаревъ: — но если ужъ не любовь отца, то хотя состраданіе... Онъ столько вынесъ!

— Люди много выносятъ.

— Онъ разбитъ; нравственныя страданія, рана... онъ не въ состояніи продолжать военную службу, вышелъ въ отставку...

— Очень жаль.

— У него нѣтъ средствъ, онъ въ крайности; надо жить чѣмъ нибудь...

Багрянскій странно улыбнулся, не отвѣчая.

— Онъ тяготится праздностью, продолжалъ настойчиво и уже обижаясь Волкаревъ.—Онъ просилъ моего совѣта и помощи. Я могу дать ему здѣсь мѣсто.

Онъ опять напрасно подождалъ отвѣта и спросилъ рѣзко:

— Вы не противъ этого, по крайней мѣрѣ?

— Я, ваше превосходительство, не приму къ себѣ на службу отставного прапорщика Багрянскаго, зная, что онъ человѣкъ дурной и неспособный, а потому и вамъ его не рекомендую.

Волкаревъ отступилъ, озадаченный, но скоро нашелся.

— Уважаю... преклоняюсь предъ такой... доблестью! вскричалъ онъ. — Это... это достойно гражданъ древняго Рима! Но неужели... Нѣтъ!

Онъ вдругъ перемѣнилъ тонъ, растроганно, добродушно, и оживлялся до веселости по мѣрѣ того какъ говорилъ.

— Нѣтъ, невозможно! Это не въ нашемъ русскомъ характерѣ! Оставимъ другимъ эти умствованія, эти языческія добродѣтели; мы русскіе, простые люди, душа на распашку! Нѣтъ, вы захотите видѣть его новые эполеты, захотите обнять молодца, кавказскаго героя! Подумайте, не разъ чудомъ спасался...

Игривость Волкарева замерла мгновенно. Багрянскій смотрѣлъ на него устало, безъ выраженія, какъ не смѣшливый человѣкъ на неудачную комедію.

— Довольно, ваше превосходительство, сказалъ онъ тихо. — Искренно благодарю васъ за доброе чувство и откровенно скажу: я отъ васъ его не ожидалъ. Простите и вы меня. Но я вамъ сказалъ, съ какими людьми я не знаюсь. Чужой, родной,—все равно... Сынъ срамитъ мое имя...

Волкаревъ сдѣлалъ движеніе.

— Пріучите себя къ мысли, ваше превосходительство, что не однимъ титулованнымъ господамъ честь дорога. Стыда за него выносить я не желаю. Его раскаянію я не вѣрю. Вынырнулъ онъ, примется опять... по крайней мѣрѣ, не на глазахъ!

— И это все, что я долженъ передать несчастному? рѣзко спросилъ Волкаревъ, взявшись за шляпу.

— Я хочу покойно дожить вѣкъ.

— Итакъ, рѣшительно?

— Рѣшительно, не хочу его видѣть. Можете передать ему.

— Первенцу, единственному?

— Слава Богу, не единственный, возразилъ Багрянскій.

— Да! Любимица!.. сказалъ отчаянно Волкаревъ.—Простите, я не въ силахъ болѣе... Да проститъ васъ Всевышній!

Онъ эфектно вышелъ. Багрянскій проводилъ его до порога, постоялъ, хотѣлъ позвать дочь, воротился одинъ къ себѣ и тяжелыми шагами заходилъ по комнатѣ. Его непритворное, вполнѣ увѣренное спокойствіе улетѣло вдругъ. Онъ остановился, перекрестился нѣсколько разъ, опять хотѣлъ кликнуть Катерину и опять отошелъ отъ двери... Гнѣвъ, горе, обида, что вмѣшался посторонній, все разомъ поднималось и кипѣло. Ему было трудно дышать. Онъ отворилъ окно, раскашлялся отъ холода и отошелъ, шатаясь, хватаясь за голову. Въ ней все перемѣшалось. Томило какое-то раскаяніе, будто послѣ дурного дѣла...

Онъ вспомнилъ все, что сынъ заставилъ его вынести, всѣ его вины, отъ перваго побѣга изъ дома, до послѣдняго кроваваго дѣла, все, что накладывало въ душу боль на боль, стыдъ на стыдъ; вспомнилъ, какъ молчалъ изъ жалости, изъ приличія, изъ необходимости, какъ усовѣщевалъ, грозилъ, умолялъ, какъ надѣялся исправить любовью и полнымъ довѣріемъ, какъ надѣялся, что самъ этотъ несчастный оглянется и одумается; вспомнилъ свое бѣшенство, свое отчаяніе... Еще разъ въ жизни безупречная совѣсть провѣряла себя и старалась разобрать, догадаться, что могло происходить въ той, непонятной ей совѣсти...

«Измученъ, разбитъ»... Пути Господа неисповѣдимы. Кто знаетъ, что тамъ, въ глубинѣ души, которая, по милосердію свыше, всегда можетъ очнуться и прозрѣть? Можетъ быть, тоже, въ виду смерти... одинъ вздохъ покаянія...

Покаяніе видитъ Богъ.

Но люди, въ правѣ ли они не вѣрить? Ихъ-то слѣпое правосудіе, ихъ-то безумная мудрость, не ошибаются ли тысячи разъ? Не собственная ли гордость заставляетъ ихъ отталкивать то, что очищенное раскаяніемъ, какъ золото огнемъ, дѣлается достойнѣе предъ Богомъ, чѣмъ ихъ непогрѣшимость? Раскаянію радуются на небесахъ. А на земли—миръ, любовь...

Ему, какъ живой, представился Викторъ, кудрявый красавецъ юноша съ маленькой сестренкой на рукахъ; онъ ее тормошитъ, цѣлуетъ; кажется, еще раздается ихъ свѣжій смѣхъ; кажется, вотъ, сейчасъ, оба взапуски разбѣгутся, припадутъ, обнимутъ...

А дальше, дальше?.. Дальше—ничего...

О счастливые люди, которые умѣютъ умиляться, отводить себѣ глаза, спасать себя отъ мученій осмысленной злобы!..

— Господи, скажи мнѣ путь, въ онь же пойду... выговорилъ громко Багрянскій.

Онъ поднялъ голову, Катерина стояла передъ нимъ.

— Батюшка, что съ вами?

Онъ не отвѣчалъ; ему было неловко, непріятно, что она такъ его застала. Она оторопѣла и испуганно заглядывала ему въ глаза.

— Какіе ты тамъ узоры разсматриваешь, сказалъ онъ рѣзко.— Ничего со мной. Гдѣ твой гость? ушелъ?

— Давно.

Она смутилась, хотя говорила правду: Верховской пробылъ только нѣсколько минутъ, но зачѣмъ, какая трусость, какая необходимость оправдаться предъ собою толкнули ее сказать: давно?.. Отецъ отворачивается, пряча свое лицо; тѣмъ удобнѣе и ей скрыть свое смущеніе... У нея навернулись слезы отъ негодованія на эту невольную мысль.

— Батюшка, повторила она:—ради самого Бога, что съ вами?

Багрянскій оглянулся.

— Знаешь, зачѣмъ пріѣзжалъ Волкаревъ? сказалъ онъ странно насмѣшливо, будто вызывая.—Полно плакать. Пріѣзжалъ поздравить.

— Съ чѣмъ?

— Твой братъ произведенъ въ офицеры. Что-жъ, не рада?

— Я знала, отвѣчала она.

— Знала? кто тебѣ сказалъ?

— Верховской.

— Сегодня?

— Давно, когда васъ здѣсь не было.

— А онъ почему узналъ?

— Не знаю навѣрное, писали ему, или прочелъ въ газетахъ, или сказали Волкаревы.

— А ты не потрудилась спросить... Можетъ быть, знаетъ и всю исторію?

— Знаетъ.

Багрянскій вдругъ остановился.

— Что-жъ ты мнѣ не сказала?

— Не до того было, отвѣчала Катерина.

— Да, я-то хворалъ... Ну, а еслибъ я умеръ? спросилъ онъ опять, останавливаясь.—Не мѣшало напомнить предъ смертью.

Онъ смотрѣлъ ей въ глаза.

— Вы ничего не понимали, возразила она.

— Надо было заставить понять, продолжалъ онъ.—И день не долженъ кончаться въ злобѣ, а жизнь и подавно. Еслибъ я умеръ?

— Вы не умерли бы въ злобѣ, я васъ знаю, сказала она тихо и твердо, хотя поблѣднѣла.

Багрянскій опять странно улыбнулся, его возмущало что-то неопредѣленное, не терпѣніе, не здоровье, его раздражалъ голосъ дочери.

— Все знаешь! сказалъ онъ—и мою совѣсть тоже?

— Ее знаетъ Богъ, отвѣчала она.—Ну, не было бы прощенія на словахъ, но я думаю, Богу все равно и безъ этой формальности.

— Не умничай! вскричалъ онъ и, вдругъ сдержавшись, отвернулся.

Оба замолчали. Багрянскій отошелъ къ окну; ему было жаль ее, совѣстно, досадно; хотѣлось приказать ей уйти, хотѣлось, чтобъ она бросилась ему на шею, хотѣлось, чтобъ она заговорила, и его заранѣе сердили ея слова. Оглянувшись украдкой, онъ увидѣлъ, что она стоитъ, опустивъ глаза, задумавшись, спокойная.

— Викторъ писалъ къ тебѣ? спросилъ онъ рѣзко.

— Писалъ.

— О своемъ производствѣ?

— Нѣтъ; онъ только намекалъ, что ждетъ какой-то перемѣны.

— Гдѣ его письмо?

— Я изорвала.

— Почему?

— Потому, что не хотѣла его беречь.

— Не хотѣла, переспросилъ Багрянскій, подходя ближе.

— Не хотѣла, повторила она и прибавила тихо,—но есть еще другое, къ вамъ. Не сердитесь, что я до сихъ поръ вамъ его не отдавала; недѣли нѣтъ, какъ вы встали.

Онъ смотрѣлъ, вслушивался, вдругъ схватилъ ея голову обѣими руками, прижалъ къ себѣ и зашатался. Она едва успѣла поддержать его и посадить въ кресло.

— Дай письмо... выговорилъ онъ, покуда она хлопотала кругомъ него.

Катерина отперла столъ и достала конвертъ; у нея дрожали руки; сердце схватила неизобразимая тоска, точно будто что умирало, пропадало на-вѣки. Она оглянулась на блѣдное, осунувшееся лицо, опрокинутое на спинку кресла, и уронила письмо назадъ въ ящикъ.

— Ну, что же? сказалъ нетерпѣливо Багрянскій.

— Извольте.

Онъ распечаталъ, почти разорвалъ, хотѣлъ читать и не могъ.

— Читай.

У нея тоже въ глазахъ клубились красные круги и перерывалось дыханіе; она не могла выговорить слова.

— Читай же! сурово повторилъ отецъ.

«Дрожайшій родитель! Удрученный горестію и раной, я взываю къ вашему любвеобильному сердцу. Полагаю, что, наконецъ, пробудится въ васъ чувство отца, столь долгое время вами забытое, по навѣту извѣстныхъ мнѣ особъ. Нынѣ я могу уже, какъ благородный человѣкъ, сказать, что я достоинъ образованнаго общества: высокой милостью съ меня смыто пятно. Въ скоромъ времени вы узнаете отъ его превосходительства, истиннаго сановника и моего благодѣтеля, Алексѣя Владиміровича Волкарева...»

— Довольно, сказалъ Багрянскій, не оглядываясь.

Его руки безсильно распались.

— Довольно, знаю... Ну, Богъ его проститъ. Пусть живетъ гдѣ хочетъ, покойно... Поди сюда, ближе. Вѣдь ты меня не оставишь?

— Господи! вскричала она—никогда!

Въ сумерки Катерина сидѣла въ гостиной, одна и не поднимая головы переписывала отцовскія бумаги и письма; ихъ было столько, что она ужъ нѣсколько часовъ не вставала съ мѣста.

Послѣ утренняго обморока, Багрянскій вздумалъ развлечься работой. Это было что-то ужасающее. Едва опомнясь, едва держась на ногахъ, онъ всталъ и потребовалъ, чтобъ Катерина подала ему дѣла. Оторопѣлая, испуганная, она возразила, — отвѣтомъ былъ гнѣвъ до крика. Казалось, онъ забылъ все, что было за полчаса, ея заботу, нѣжность; ея слезы вывели его изъ себя; онъ скрывалъ сердце, онъ дѣлалъ на зло.

— Ты не хочешь, закричалъ онъ:—отказываешься? надоѣло? надоѣло со мной возиться?

Онъ послалъ въ палату за чиновниками; съ ними, вдругъ овладѣвъ собой, онъ сдерживался почти до снисходительности, старался помнить, что дѣлалъ, распоряжался еще яснѣе и отчетливѣе нежели когда нибудь. Катерина видѣла, что она нужна, и не отходила, моля Бога только, чтобъ не перепутать дѣлъ, за которыя не принимались два мѣсяца; отецъ допускалъ ея услуги съ насмѣшкой, съ досадой, будто единственно изъ необходимости, нетерпѣливо, взыскательно. Это было не его обыкновенное нетерпѣніе, къ которому Катерина привыкла и умѣла примѣняться, нетерпѣніе всегда, въ ту же минуту заглаженное лаской. Багрянскій капризничалъ нарочно; въ другое время ему и въ голову не пришло бы спрашивать то, что онъ спрашивалъ, и сердиться за что онъ сердился. Онъ самъ не зналъ, что это такое; ему хотѣлось обижать ее; она ничѣмъ не могла ему угодить; она, именно она всему мѣшала. Онъ бранилъ ее и кричалъ безпрестанно; ея покорность, присутствіе постороннихъ, его собственная несправедливость только хуже бѣсили; онъ будто отмщалъ ей за все, что вынесъ и выносилъ...

— Боже мой, какъ онъ несчастенъ и что его волнуетъ! думала Катерина, не вѣря, что это происходитъ и происходитъ—съ нею. Капризничаетъ, обижаетъ — но можно ли сравнивать такую мелочь съ его мукой? Если и обидно, то за него же: зачѣмъ онъ передъ чужими выставляется страннымъ человѣкомъ. А за себя... да лишь бы онъ одну минуту вздохнулъ полегче, она готова отдать жизнь, больше чѣмъ жизнь—готова принять хуже, чѣмъ грубыя слова, которыя сегодня въ первый разъ слышала. Что тутъ объяснять, извинять? Оскорбляетъ ее—но это ему же несчастье!

День тяжело ей достался. Багрянскій кончилъ тѣмъ, что выслалъ ее отъ себя, заваливъ перепиской. Она устала, измучилась, но работала покорно. Это—дѣло, это нужно. Отца ей было жаль до отчаянія... Кончивъ, когда ужъ стемнѣло, она сидѣла тихо подъ окномъ, прислушиваясь, что дѣлалось въ кабинетѣ. Тамъ еще было много народу. Наконецъ, всѣ разошлись. Ей хотѣлось пойти туда. Она не смѣла.

— Катерина! раздался голосъ отца.

— Ахъ, слава Богу, зоветъ!..

Она побѣжала. Багрянскій ужъ лежалъ въ постели.

— Что-жъ, прочтешь ты мнѣ что нибудь? спросилъ онъ.

У нея сердце встрепенулось; стало больно, хотѣлось заплакать. Онъ говоритъ такъ тихо, ласково, будто проситъ прощенія... Просить прощенія? У нея? Но что же это? возможно ли? Чѣмъ это заслужить?.. Она чуть не упала къ его ногамъ... Нѣтъ, нельзя, это опять напомнитъ... Не надо ничего напоминать! опять взволнуется, опять занеможетъ; ему надо отдохнуть... Чего бы ни стоило, надо его развеселить, пусть забудется...

— Давайте читать, сказала она, и ея ясный голосъ дрогнулъ невольно.—Что взять? что нибудь полегче, чтобъ скорѣе уснуть?

— Что хочешь.

— Вотъ новый журналъ, новый романъ.

Романъ былъ плохой, она надъ нимъ потѣшалась—ей прежде удавалось такъ забавлять отца; только тутъ она почувствовала, какъ сама утомилась и какъ ей трудно смѣяться. Но лишь бы онъ отозвался, засмѣялся...

Она не подозрѣвала, какъ напрасно трудилась.

Багрянскій смотрѣлъ на нее и слушалъ не чтеніе, а только ея голосъ. Кругомъ было тихо, за ширмами темно. Багрянскій отдыхалъ, усталая голова пріятно улеглась на подушкахъ; хотѣлось отдохнуть и нравственно. Онъ шепталъ молитву и думалъ. Но молитва—каждымъ словомъ, покой—каждой минутой, веселость дочери—каждой своею прелестью,

живѣе напоминали то, что хотѣлось забыть... Тихо. Настаетъ ночь... Именно тутъ, именно теперь должны быть при немъ его двое дѣтей. Въ его душѣ не оставалось ни гнѣва, ни негодованія; глубоко залегла только скорбь. Онъ былъ только отецъ, больной на своей бѣдной постелѣ, въ своемъ трудовомъ углу... и изъ тѣхъ двухъ, которыхъ Господь далъ ему блюсти и лелѣять, одинъ погибъ, какъ сынъ погибели. Эта—вѣрна, при немъ... Онъ смутно припомнилъ, что, кажется, огорчилъ ее; вѣроятно, не очень: она весела, покойна... Она, конечно, утѣшеніе, но не замѣна брату. Нѣтъ, не замѣна! Онъ это тяжко сознавалъ. Сынъ прощенъ, но сына нѣтъ. Такъ должно, но въ семьѣ пусто, одного не стало. Прежде, правосудный, непреклонный, онъ произносилъ приговоръ преступнику; теперь, простивъ, онъ хоронилъ сына. Мертвыхъ не осуждаютъ; за нихъ молятся; у нихъ просятъ прощенія. А передъ сыномъ онъ виноватъ. Можетъ быть, не все сдѣлалъ, чтобы обратить его, кто знаетъ! забывалъ, ожесточалъ... проклялъ...

Багрянскій, содрогаясь, перекрестился.

Господь свидѣтель, что въ душѣ проклятія небыло; сорвалось праздное слово... Вотъ, она это поняла, она знаетъ...

Онъ смотрѣлъ на Катерину; ея щеки и глаза горѣли; въ эту минуту она смѣялась.

Весела. А вѣдь все забывалось для нея. Эта—всегда была счастлива, неволи не знала, нужды не знала, кажется, не можетъ пожаловаться! Что, когда нибудь вспомнила ли она брата?.. Багрянскій хотѣлъ спросить, часто ли она писала брату, что писала, посылала ли денегъ; сообразилъ, что давалъ ей денегъ на обновки и никогда не видалъ у нея этихъ обновокъ. Должно быть, посылала. Но, можетъ быть, помогала кому нибудь другому... Это вѣрнѣе. Она его слишкомъ презираетъ.

Онъ съ какимъ-то облегченіемъ остановился на этой мысли и ничего не спросилъ. Отецъ забывалъ, сестра тоже, вотъ, весела, покойна, хохочетъ вздору...

Его мучило странное, отвратительное чувство—злость, которой ему всѣми силами хотѣлось найти причину и подтвержденіе. Онъ повторялъ себѣ, что простилъ сына, простилъ передъ Богомъ, покаялся и на прежнюю вину не обращался, но его сердце было непокойно, недовольно,—онъ не хотѣлъ сознаться: недовольно прощеніемъ и покаяніемъ,—и искалъ виноватаго. Дочь была права; онъ это зналъ, но съ какимъ-то наслажденіемъ раздражалъ себя именно противъ того, что ему было особенно дорого, противъ милаго существа, кроткаго, преданнаго, прелестнаго; онъ будто казнилъ самого себя... Вдругъ рѣшаясь, наперекоръ, въ осужденіе веселости Катерины, онъ досталъ изъ-подъ подушки письмо Виктора, приподнялся, подставилъ его подъ полосу свѣта и сталъ перечитывать.

Катерина оглянулась на шорохъ и, пораженная, остановилась на полусловѣ... Какое ребячество! она надѣялась позабавить его шуткой! Но заговорить прямо у нея не достало мужества, вѣрнѣе—не нашлось слова. Викторъ дѣлался ей еще ненавистнѣе: не стоитъ онъ такой печали. Что тутъ сказать? Не утѣшать же, не уговаривать...

— «Стыдно такъ печалиться!» вдругъ подумала она, глядя на отца и ужасаясь, что его осудила.

Отецъ примѣтилъ ея движеніе и спряталъ письмо.

— Который часъ? спросилъ онъ.

— Десятый.

— Не поздно, но мнѣ спать пора, продолжалъ онъ какъ-то пугаясь мысли, что сейчасъ останется одинъ.—И ты устала.

— Ничего, отвѣчала она, подходя оправить на немъ одѣяло.

— Руки у тебя холодны. Здорова ли?

— Ничего, повторила она.

— Все ничего. Все скрытничаешь. Измучилась; въ духотѣ цѣлый день. Вотъ, пальцы всѣ въ чернилахъ.

Онъ вдругъ порывно ее обнялъ, сталъ крестить; ему вдругъ стало легче. Она была мила ему безконечно.

— Его святая воля!.. Прощай.

Она вышла; у нея кружилась голова... «Скрытничаю»... повторила она машинально, сходя съ ступенекъ балкона. Ей было холодно; ночь была холодная, подъ деревьями совсѣмъ темно. Катерина шла, страшно усталая, и все хотѣлось идти, уставать еще больше; ей казалось, будто темнота идетъ на нее; ей чувствовалось, что въ ея жизнь влилась новая волна и ужъ затопляла. Въ сердцѣ, въ мысли все разорвано. Весь этотъ ужасный день, кажется, Богъ знаетъ гдѣ, далеко. Что-то кончилось.

Отецъ не тотъ, и больше ему ужъ не быть такимъ, какимъ онъ былъ еще вчера. Не досада, не капризы — объ этомъ не стоитъ думать! — нѣтъ, его душевно сломило, и въ этомъ горѣ она не могла быть съ нимъ заодно. Нѣтъ, она имъ оскорблялась, этимъ горемъ, разслабляющимъ, нервическимъ, позднимъ. Ужъ если горевать, то прежде бы, когда Виктора сослали, когда онъ бывалъ и въ нуждѣ, и въ опасности, а не теперь,

когда все прошло и онъ сюда глазъ не покажетъ. За что же ей эта бѣда — семейная нескладица, тьма, въ которой сердце холодѣетъ, въ которой напрасно протягиваются руки къ дорогому, а этотъ дорогой знать не хочетъ, мучитъ себя ненужнымъ, недостойнымъ, тратится... «Тратится».

Ей вспомнилось это слово, минута по утру, безумный поцѣлуй наединѣ; вспомнилось все, и первая тревога, тогда, ночью, когда уѣзжалъ отецъ... Она уже и тогда его любила...

Отецъ не тотъ... Что лукавить, я сама не та! Что нибудь одно: скрытничать или не любить. Не любить... Какъ же я это сдѣлаю? Онъ мой передъ Богомъ. Я все скажу отцу. Я ни передъ кѣмъ не виновата и не буду виновата. Я нужна отцу—теперь еще больше, чѣмъ прежде, — я его не оставлю. Мой милый и я — одно; какъ для себя я не потребую и не приму никакой жертвы, такъ и для него не пожертвую никѣмъ... Отецъ, ты въ меня жизнь положилъ, и я въ тебя жизнь положу. Что было твое, то изъ моей души не пропало и вѣкъ твоимъ останется, а что мое, собственное... Милый, я тебя люблю! Женатый, свободный, со мной или на краю свѣта, мнѣ все равно, только будь тѣмъ, что ты есть! Есть счастье лучше, полнѣе всякихъ ласкъ, отъ него душа свѣтлѣетъ, понимать другъ друга, вѣровать другъ въ друга — и ничего больше не нужно!.. Я все скажу отцу. Вмѣстѣ будемъ; счастливы, какъ одна семья; они тоже другъ друга полюбили; отецъ ему еще нужнѣе меня...

Она вдругъ приложила руку къ своему горячему лбу и остановилась. Ей показалось, что она бредитъ.

— Сказать отцу... Но захочетъ ли онъ слушать?

За всей тревогой, за всѣмъ, что неразрѣшенное, обступало кругомъ, померещился смутный, неожиданный, никогда невообразжавшійся ужасъ; онъ выросталъ безобразнымъ привидѣніемъ: она, цѣпенѣя, усиливалась опредѣлить его...

Отецъ не повѣритъ... Почему? Она не знала, не разбирала. Она знала одно: до этого ужаснаго дня, до этого часа — такого помысла у нея не было и быть не могло. Не повѣритъ, не пойметъ. Онъ справедливъ, онъ честенъ, онъ воспиталъ ее и выучилъ думать, и они думали заодно, — они вѣруютъ разно. Онъ скажетъ: стыдъ, онъ скажетъ: грѣхъ... Такъ объясняться? оправдываться?

Передъ нею будто что обрушилось.

— Я права и свободна, сказала она себѣ еще смущенная, но твердо. — Я ничего не скажу; беречь про себя свою святыню не значитъ скрытничать. Я честно люблю честнаго человѣка.

Она скоро пошла, наклонивъ голову. Такъ, въ тотъ вечеръ они ходили вмѣстѣ, онъ говорилъ о своей «радости», о своей святой... Она вѣчно, вѣчно надъ ними; во имя ея, они полюбили другъ друга. Въ мысли о ней затихала всякая тревога; къ ней невольно слагалась какая-то ласковая молитва...

— Кто тутъ? окликнула Катерина, услыша шорохъ.

— Я, отвѣчалъ Верховской, перескакивая чрезъ заборъ.— Отецъ спитъ?.. Вѣдь мы сосѣди. Тутъ славно перелѣзать. Я сегодня ночую ужъ на новой квартирѣ; видишь, огонь въ окошкахъ? это мои окошки...

— Послушай, выговорила она; — не дѣлай этого никогда.

— Нѣтъ, милая, невозможно. Я ждалъ цѣлый день, съ утра, какъ отъ тебя ушелъ. Припомни, вѣдь ты меня прогнала. Я цѣлый день возился со всякой глупостью, съ Волкаревыми; Богъ знаетъ, у кого не былъ. Мнѣ надо быть съ тобой. И, видишь, такъ лучше. Конечно, я могъ бы обойти тамъ, въ подъѣздъ позвонить. Ну, обезпокоилъ бы отца. Ты, можетъ быть, мнѣ отказала бы. Неволя учитъ хитрости.

— У меня нѣтъ неволи.

— Нѣтъ, но... но такъ веселѣе. Право, какое-то дѣтство. Съ тобой я дитя, Катя, моя радость...

— Скажи, что это такое?

— Что? Мы счастливы, только. Одни, ни до кого нѣтъ дѣла, весь міръ забытъ... Или, нѣтъ, ты никогда его не забываешь; ну, вотъ, смотри, міры у насъ на праздникѣ...

Небо было полно звѣздъ; онѣ выглядывали, выплывали, вспыхивали, горѣли, переливались, перекатывались, дрожали, тонули. Перехватывая, прерывая, дополняя безпорядочно-стройный узоръ, разметались сплошныя золотыя косицы; безконечная, ненаглядная, чистая прелесть...

— О, правда твоя, милый, сказала она, кладя голову ему на грудь:—хорошо вмѣстѣ. Съ тобой легче, съ тобой ничего не страшно. Еслибъ ты зналъ, сколько у меня сегодня горя съ утра. Я даже плакала — просто, стыдно! Потолкуемъ, разберемся; помоги...

VI.

Дѣтски безмятежный сонъ только печальнѣе сдѣлалъ для Катерины пробужденіе.

Весь вчерашній день вспомнился разомъ со всѣми его тревогами и утомительной тоской; набѣгала новая тревога и тоска, и въ нихъ было забыто все, что переговорилось съ Верховскимъ, забыто даже самое свиданіе. Была другая работа; отъ нея еще неначатый день былъ уже разбитъ.

— Неужели отецъ и сегодня будетъ такъ же вотревоженъ, такъ же сердитъ? думала она, теряясь.—И всегда такъ будетъ? что дѣлать?

Она медлила идти къ нему, протягивала время, попробовала пошутить надъ собой, назвать себя трусихой, хотѣла улыбнуться и не могла. Отъ серьезной мысли становилось еще тяжелѣе. Среди бѣла дня на нее находилъ страхъ вчерашней ночи..Она сѣла, ничего не дѣлая и чего-то ожидая.

Къ ней постучались въ дверь.

— Катя? долго заспалась, голубка!

Она бросилась ему на шею и замерла.

— Голубка моя... повторилъ Багрянскій.

Онъ видѣлъ, какъ она счастлива, видѣлъ, какъ она измучена, чувствовалъ, сколько виноватъ передъ нею, и старался загладить свою вину. И чувство, и стараніе были тяжелы. Онъ шелъ къ дочери просто, изъ любви, изъ потребности сердечнаго покоя; ему было хорошо, отрадно,—но онъ остановился, подумалъ, сказалъ себѣ, что согрѣшилъ—и горечь этого слова отравила все. Согрѣшивъ должно каяться. Къ покаянію приступаютъ со страхомъ... отцу трепетать предъ дочерью! Дочь должна быть покорна, а она, безъ сомнѣнія, негодовала. Тѣмъ въ свою очередь неправа и она,—а предъ нею должно смиряться! Но онъ сдѣлалъ ее неправой, огорчилъ и тѣмъ ввелъ въ соблазнъ,—грѣхъ еще большій. Должно искупить его. Должно—леденило все. Всякое слово, всякое дѣйствіе перецѣнялось... «Согрѣшилъ!» Являлось не самооправданіе, но сожалѣніе о себѣ, неразлучное съ осужденіемъ себя, а строгая, неумолимая вѣра требовала осужденія. Если бы кто нибудь могъ разъяснить и доказать кающемуся, насколько отъ такого покаянія, незамѣтно, въ глубинѣ души, милое становится менѣе мило; насколько хуже этотъ грѣхъ, это убійство любви... Къ несчастью, на этомъ пути, люди запасаются своими возраженіями, считаютъ грѣхомъ выслушивать, что имъ говорятъ, и непреклонны именно въ силу своихъ лучшихъ убѣжденій.

Багрянскій порывно обнималъ и благословлялъ дочь; страдая, онъ видѣлъ въ ней то благодать, которая прощала и разрѣшала, то живую, нестерпимую укоризну...

Она была совершенно успокоена. Со всѣмъ пыломъ своей честной души и добротой своей безконечно прощающей вѣры, она вообразила, что все воротилось,—и прежнее свѣтлое, занятые дни, и прежній ладъ, и веселье, пониманіе другъ друга съ полуслова. Ея первая мысль была та же, что вчера—сказать отцу, что она любитъ; ей хотѣлось скорѣе слить въ одно свою любовь. Лучше отца ее никто не пойметъ!

Она заговорила, не смущаясь:

— Вчера, поздно, у меня былъ Верховской.

— Жаль мнѣ его, сказалъ Багрянскій.— Вотъ ужъ вполнѣ сынъ своего времени и общества. Добра довольно, но сѣмя упало на камень.

— Онъ не побоится гоненія за правду, горячо возразила Катерина.

— Ты думаешь? Пожалуй, да; я ошибся. Но тѣмъ хуже; не на камень упало, а въ терновникъ. Гоненія — видимое, грубое, — въ нихъ можно устоять даже изъ самолюбія; а вотъ, печали вѣка, богатство, людскіе поклоны... охъ, какъ это все опасно!

— Только не для него; онъ выше ихъ.

— Давай Богъ. Начинаетъ плохо: и слѣдствіе производить, и балы задавать!

— Этого онъ не хочетъ, а его жена.

— Жена! Развѣ это не одно и то же? А не понимаетъ она, что судить друзей-пріятелей—ложное положеніе, такъ онъ научи ее, настой на своемъ. Поделикатничаетъ, а тамъ, глядишь... Ненадеженъ!

Катерина была поражена.

— Нѣтъ, подумала она: — я ничего не скажу до времени; пусть отецъ узнаетъ его на дѣлѣ.

Сомнѣніе въ Верховскомъ было ей обидно; его дѣятельность стала для нея вопросомъ чести. Нѣтъ, ужъ теперь-то, когда въ немъ ошибается отецъ, она сдѣлаетъ все на свѣтѣ, чтобы поддержать нравственныя силы дорогого человѣка, — только поддержать, внушать нечего.

— Скоро за дѣло? спросила она Верховского, когда онъ пришелъ вечеромъ.

Верховской мѣшкалъ, но, наконецъ, надо было приняться. Съ непривычки ему было неловко и, что всего неловчѣе, надо было прятать свое неумѣнье. Онъ вспомнилъ, что петербургскіе чиновники имѣютъ обычай окружать себя непроницаемостью, хохоталъ одинъ, догадавшись, что это за уловка, и рѣшился ею воспользоваться: слушалъ, хмурился и молчалъ. Впрочемъ, и въ самомъ дѣлѣ, такъ было лучше: служба ставила бли-

же къ людямъ, къ которымъ онъ сначала присматривался только изъ любопытства; изъ нихъ не находилось человѣка по душѣ; въ дѣловыхъ отношеніяхъ они мало внушали довѣрія. Эти отношенія съ перваго раза затрудняли. Волкаревъ увѣрялъ, что, поручивъ ему свою судьбу, отстранился отъ всего, но на самомъ дѣлѣ очень сильно желалъ знать все, что дѣлаетъ его слѣдователь, и дружески руководить его неопытностью.

— Je vous fournis les armes contre moi-même, повторялъ онъ, въ десятый разъ разсказывая дѣло, которое въ каждомъ разсказѣ получало новый оттѣнокъ.

Оно начиналось вяло; почта постоянно опаздывала, присутственныя мѣста медлили съ отвѣтами. Верховской, впрочемъ, не торопился, не видя, какъ проходили эти нѣсколько дней. У него безпрестанно бывали дѣловые и недѣловые посѣтители, онъ выѣзжалъ самъ, знакомства все умножались; онъ, въ самомъ дѣлѣ, изъ простого пріѣзжаго дѣлался важнымъ лицомъ. Это выходило и забавно. Разъ, какъ-то, запросто, его оставила у себя обѣдать m-me Горнова; m-me Волкарева не могла перенести этого равнодушно и позвала къ себѣ. Волкареву почему-то вдругъ не понравилась такая короткость; онъ превратилъ приглашеніе въ офиціальное, убѣдилъ самого себя, что такъ давно надо было сдѣлать, назвалъ гостей и провозгласилъ тостъ.

— Провинція—прелесть! умирать не надо! говорилъ, хохоча, Лѣсичевъ, когда они вмѣстѣ съ Верховскимъ уходили съ этого празднества.

— Однако, и жить мудрено, возразилъ Верховской.

— Э, полноте; наблюдайте и смѣйтесь. Вотъ еще подождите, васъ станутъ угощать всякій день.

— Съ какой радости?

— Служащіе, — на всякій случай, — и такъ, ради удовольствія. А вздумаете вы отказаться, скажутъ: «не принялъ обѣда»,— и сплетня...

На счастье Верховского, этого не случилось, но жизнь его шла совсѣмъ на новый ладъ. Предъ своей поѣздкой въ Спасское, онъ такъ часто бывалъ въ клубѣ, что его привыкли встрѣчать тамъ вечерами и нельзя было прервать это сразу. Ему, по крайней мѣрѣ, казалось, что нельзя. Онъ ходилъ читать газеты, которыхъ прибавилось. Была половина августа: интересъ событій росъ день ото дня, прибавлялось и читателей. Общество какъ будто измѣнилось; что произошло въ немъ,—сказать было мудрено, но его что-то затронуло глубоко, хотя для него самого непонятно. На лицахъ являлось никогда прежде небывалое выраженіе какого-то тупого, удивленнаго горя, какого-то жалкаго смущенія, чего-то пристыженнаго. Въ карты продолжали играть, но какъ-то не съ прежнимъ величіемъ. Господа, никогда не считавшіе своихъ расходовъ, начинали вслухъ считать свои убытки. Годъ былъ урожайный. Народъ, которому тяжесть войны сказалась еще съ прошлой осени, говорилъ весною: «хлѣба будетъ много, убирать будетъ некому». Въ клубѣ вспоминали это предсказаніе, ожидая, что сбудется и другое, ужъ сложившееся для будущаго года: «ни людей, ни хлѣба». Это повторялось, конечно, съ скептической, съ снисходительной улыбкой, но повторялось. Ничто не радовало; надъ головами будто что нависло. «Такъ было въ дни Ноевы,—толковали старые люди,—такъ будетъ и въ послѣдніе дни». Эти дни, точно, для многихъ были послѣдними. Будто въ поддержку суевѣрному настроенію, еще болѣе выростающему въ бѣдахъ, — безъ желѣзныхъ дорогъ, безъ телеграфовъ, при полнѣйшемъ молчаніи газетъ, неизвѣстно какъ, по предчувствію, по соображенію, происшествія узнавались за сотни верстъ, а вѣсти страшныя и вѣрныя пополнялись, объяснялись и разносились въ народѣ съ изумительной быстротою. Уныніе охватывало какъ потемки... Господа еще въ шутку передавали между собой эти «росказни», еще смѣялись, еще глубокомысленно разсуждали, что невѣжество тотчасъ готово все облечь въ фантастическіе образы; но являлись откуда нибудь пріѣзжіе, получались какія нибудь письма, ножницы какъ нибудь неловко забывали отхватить клочокъ иностранной печати,—и «росказни» подтверждались, народные толки оправдывались и господамъ приходилось оглянуться, что настаютъ, наконецъ времена, когда народъ беретъ свое право знать и думать, когда его голосъ становится, въ самомъ дѣлѣ, тѣмъ, что онъ есть.

Въ N-скомъ клубѣ явилась еще новость, и совсѣмъ неожиданная: господа, говорившіе громко объ общественныхъ дѣлахъ. Эти господа, прежде забытые, незамѣчаемые, рѣдко показывались; три-четыре мѣсяца назадъ имъ въ этой же залѣ клуба кричали, что «пророкамъ не годъ», а заботливые пріятели остерегали ихъ. Теперь они рѣшали, отрицали, одобряли, осуждали, распоряжались судьбами отечества, — случалось, безъ понятія о томъ, что говорили, невыносимые

ужъ не для патріотическаго чувства, а для простого терпѣнія. Общество, неспособное понять, что переживаетъ время такого смятенія, въ которомъ можетъ не церемониться даже пошлость, — всегда безмолвное, никогда не думавшее, — было озадачено такой смѣлостью. Неудачи, какъ нарочно, оправдывали слова непризнанныхъ пророковъ. Общество спохватилось признать ихъ и стало слушать; вѣрнѣе, оно было радо, по привычкѣ, къ кому нибудь пріютиться, чтобъ опять не думать. Обрадовавшись успѣху, эти господа сдѣлали себѣ нѣчто въ родѣ профессіи глубокомыслія и усвоили многозначительныя ужимки, загадочный смѣхъ, пригодный во всѣ стороны, длиннѣйшія фразы съ мудреными словами, объясняемыя тоже во всѣ стороны. Они считались очень начитанными и, охотно, не помня прежнихъ насмѣшекъ, брались руководить мнѣніями общества. Ихъ собственныя мнѣнія были весьма шатки, но ихъ боялись. Волкаревъ, авторитетъ оффиціальный, называлъ ихъ «кривотолками»; они называли себя либералами. Очень вскорѣ ихъ фразы, только перемѣнивъ направленіе, пригодились имъ противъ людей, которые въ эту пору несчастья, молча, думая и страдая, готовились на дѣло...

Были и оптимисты, но о нихъ нельзя было сказать навѣрное, что они не притворяются оффиціально, изъ трусости, изъ упрямства, потому только, что одинъ разъ ужъ слишкомъ сильно выразили свое мнѣніе. Радуясь удачамъ, эти господа такъ громко кричали, что собственнымъ крикомъ подзадоривали себя радоваться, а молясь, настроивали свои нервы такъ усердно, что считали звонъ N-скихъ колоколовъ за звуки трубъ іерихонскихъ. Библейскій духъ вообще не внушаетъ жалостливости и кротости. Тутъ онъ повѣялъ надъ людьми, которые отъ привычки крѣпостного права потеряли всякое понятіе о значеніи жизни для другихъ,—жизни, даже въ смыслѣ физическаго существованія, въ смыслѣ ощущенія боли и страха смерти. Они повторяли, что «жертвы необходимы» и только въ случаяхъ, когда ужъ слишкомъ много насчитывалось этихъ жертвъ, — умиляясь, сулили имъ вѣнцы мученическіе, хотя возможно, что обидѣлись бы предположеніемъ встрѣтить на томъ свѣтѣ, въ числѣ воиновъ небесныхъ, своего Антона или Мирона, отданнаго безъ очереди, и успокоились бы развѣ сознаніемъ своей заслуги, что поставили Господу такого исправнаго воина. Съ покровительственнымъ удовольствіемъ читая многочисленные анекдоты о подвигахъ геройства, господа очень желали бы найти въ народѣ въ самомъ дѣлѣ того звѣря, какимъ его воображали: отъ его свирѣпости они ждали спасенія... Чему? Отвѣтъ былъ готовъ извѣстный, какого и слѣдовало ожидать; но, развивая далѣе свою мысль, сами не зная какъ, увлекаясь, эти господа договаривались до того, что драгоцѣнность, святыня, которую должно защитить и спасти, что—отечество—это они сами...

Верховской вдоволь слушалъ эти и всякія рѣчи въ N-скомъ клубѣ. Толки и споры были тамъ безпрестанно; ихъ вызывала не накипѣвшая потребность высказаться, разъяснить мнѣнія, — это было, просто, новое занятіе, средство, помогавшее провести вечеръ. Случалось, что политическія новости служили только предлогомъ, а въ самомъ дѣлѣ люди спорили потому, что въ одинъ и тотъ же часъ были въ одномъ и томъ же мѣстѣ и, слѣдовательно, чувствовали себя въ томъ же настроеніи. Многіе даже шли въ клубъ затѣмъ, чтобъ «покричать» и откровенно говорили о себѣ, что «брали крикомъ». Они доставляли нѣчто въ родѣ спектакля присутствующимъ, которые часто заранѣе хлопотали его устроить; случались перебранки, кончалось ужиномъ и шампанскимъ. Эти сцены, эти толки, дешевое остроуміе, подтруниванье, выходки и столкновенія самолюбія, задоръ крупный и мелкій, возмутительный и смѣшной, заказное одушевленіе, лицемѣрное, своекорыстное, изрѣдка проблески искренняго, горькаго чувства, сейчасъ же испуганнаго и скрытаго, попытки соображенія, сбившагося съ пути, самодовольство обезпеченнаго невѣжества, высокомѣріе власти; безпомощная, благоговѣющая, отупѣлая покорность,—все вмѣстѣ составляло туманъ, которому, казалось, не разсѣяться во-вѣки, а за нимъ лежало что-то непробудное...

— Ну, въ народѣ нѣтъ мнѣнія, думалъ Верховской, глядя со стороны на зеленые столы, зажженныя свѣчи и прислушиваясь къ гулу разговоровъ.—Народъ — ребенокъ; у него только инстинктъ, неопредѣленное чувство, — а это не ребята. Это хуже чѣмъ старики: это взрослые, которые стали на своемъ, потому что имъ такъ покойно и выгодно; они и вѣчно будутъ беречь себя. Отъ нихъ ничего не дождемся...

— Пожалуй, да, говорила Катерина, которой онъ приносилъ свою мысль:—но вѣдь не ими свѣтъ кончается...

Въ провинціальномъ однообразіи, которое развертывалось во всю свою ширину, въ общихъ бѣдахъ, которыя наступали все темнѣе и ближе, у Верховского была замѣна всему: его собственное чувство. Но все это докучное, постороннее, отнимало страшно много времени. Онъ терялъ терпѣніе. Надо было принять какое нибудь опредѣленное положеніе относительно Волкаревыхъ, клуба и прочаго, и, примѣняясь къ мѣстнымъ обычаямъ, выгадать себѣ хотя немного свободы. Верховской сразу объявилъ, что по вечерамъ занятъ и не принимаетъ, и съ этого дня его не видали ни въ клубѣ, нигдѣ. Приходившіе къ нему вечеромъ по дѣламъ получали извѣстіе, что онъ усталъ и вышелъ пройтись, — въ чемъ былъ вполнѣ убѣжденъ его старый служитель, угрюмый нравомъ и нелюбившій долгихъ разговоровъ.

Верховской не зналъ, какъ доживалъ до вечера, бросалъ дѣла, запиралъ на ключъ свои комнаты, свой отдѣльный выходъ, и опрометью бѣжалъ къ крыльцу, гдѣ ужъ признали его звонокъ, потому что онъ всякій разъ чуть не обрывалъ колокольчика. Онъ бѣжалъ *домой*, подъ кровлю, гдѣ его ждали, гдѣ о немъ заботились, узнавали его привычки, встрѣчали добрымъ словомъ, гдѣ для него нашлось новое, еще неиспытанное чувство семьи, гдѣ всякій разъ новымъ привѣтомъ загорались для него глаза Катерины. Его любовь началась будто съизнова; судьба, казалось, хотѣла дать ему понять всѣ красоты этого счастья. Прежде, въ пору мечтаній объ идеалахъ, и она, вдохновляющая, казалась идеаломъ; теперь, бывали минуты, — она становилась близка какъ сестра, дорога какъ дитя; бывали минуты, — онъ восторженно вѣрилъ, что его бережетъ ея молитва, не смѣлъ смутить страстнымъ желаніемъ чистоту, которая его воскрешала. Въ этой робости была какая-то свѣжесть, молодость...

— Молодость! Опять молодъ! думалъ Верховской, любуясь, восхищаясь своимъ чувствомъ, разбирая его, чтобъ полнѣе имъ наслаждаться. — Робокъ... юноша! Это заря праздника, первые цвѣты весны... пусть же она длится!

Ему хотѣлось смѣха, веселья, дурачествъ. Онъ приходилъ къ Катеринѣ, садился рядомъ, бралъ книгу, не читалъ; воспоминаніе, что ужъ такъ жилось мѣсяцъ назадъ, дѣлало настоящее еще милѣе. Но Верховской не могъ и вспоминать, какъ не могъ думать. Его сердце переполнилось; онъ могъ только блаженствовать и говорить ей ту безконечную и вѣчно новую безсмыслицу, не сказавъ которой хоть разъ въ жизни, человѣкъ не можетъ сказать, что жилъ...

Она часто спрашивала о его занятіяхъ, боясь, чтобъ онъ не утомился, не заскучалъ мелочью, которую такъ часто приходится перебирать сильнымъ рукамъ, прежде нежели онѣ найдутъ свое настоящее дѣло. Онъ еще не знавалъ копотливой работы, полуграмотныхъ, пыльныхъ бумагъ, отвратительныхъ даже физически, — буквально *чиновничьяго*, неизящнаго, осмѣяннаго труда. Какъ въ сотнѣ случаевъ, — люди смѣются, потому что не думаютъ. Этотъ трудъ очень важенъ, потому что въ немъ одна минута невнимательности или вполнѣ натуральнаго утомленія можетъ отозваться бѣдой для другихъ людей; очень высокъ, потому что, трудясь такъ, человѣкъ служитъ правдѣ попросту, безъ прикрасъ, и жертвуетъ ей своими лучшими потребностями, лучшимъ благомъ — отдыхомъ своего образованнаго ума. Помнить, что чѣмъ лучше тотъ, кто берется за дѣло, тѣмъ лучше онъ его сдѣлаетъ, — и вслѣдствіе этого, не щадить себя; помнить важность мелочей въ жизни, для того, чтобы самому не измельчать; каждую минуту, не ожесточаясь, не теряя терпѣнія, помнить, что вся эта путаница, бѣдность, невѣжество, ничтожество, — въ сложности — человѣчество... задача не легкая. Но, исполняя ее, какая радость встрѣчать въ этой темнотѣ *своихъ* людей, убѣждаться, что и другіе не погибшіе, что мы сами — не избранные, что всѣ — рабочіе заодно...

— Такъ ли, милый? спросила она.

— Что?.. спросилъ Верховской съ просонка.

Она посмотрѣла на его счастливое лицо и засмѣялась.

— Къ чему же я трачу свое краснорѣчіе?

— Не знаю... Катя, ты за что нибудь меня полюбила? Да? я думаю, что не даромъ?

— Я думаю, подтвердила она серьезно.

— Стало быть, предположи, что мнѣ знакома мораль, которую ты мнѣ читаешь... Извини! прибавилъ онъ, спохватившись.

— Какъ смѣшонъ! вскричала она съ восхищеніемъ: — первое умное слово сказалъ, и въ томъ извинился! Но, позволь, впрочемъ; я не одну мораль читала. Я тебѣ говорила, что вчера слышала о мауровскомъ дѣлѣ...

— Какъ тебѣ не жаль, Катя, терять на это время!

— Милый, дѣло разбирать—не время терять.

— Но подумай, я сегодня перечиталъ о немъ вотъ какой ворохъ, да Волкаревъ два часа болталъ фразы — чортъ ногу переломитъ, и вечеромъ, опять...

— Что-жъ дѣлать, если нужно.

— Не спорю, моя радость, прервалъ онъ, не зная, какъ скорѣе отговориться:—но, вотъ, видишь ли, я усталъ. Не тревожься, но я не совсѣмъ здоровъ. Мнѣ еще отзывается... ну, то, послѣднее... И къ тому же, я все-таки непривыченъ... Милая, вѣдь ты не засадишь ребенка за книгу на цѣлые сутки, дашь ему поиграть? Дай иногда отдохнуть. Видишь, какъ это просто?

— Послушай... прервала она, взявъ его руки.

— Катя, вотъ за такое счастье можно поднять свѣтъ на плечи, не только разобрать какую нибудь путаницу вашу губернскую. И непривычный, при доброй волѣ... Но нечего преувеличивать этотъ вздоръ, возводить его въ идеалъ. Тоже крайность. Ты не замѣчала, что иногда въ нее впадаешь?

— Нѣтъ, потому что не возвожу въ идеалъ; я только говорю — нужно.

— Я больше говорю, Катя, я говорю—должно. Будь покойна, не отстану. Вѣдь и смѣшно будетъ, наконецъ, если... если... Ну, понимаешь, если провалюсь! заключилъ онъ, смѣясь.—Но прими же что нибудь къ сердцу по-житейски, простымъ самолюбіемъ, простымъ честолюбіемъ,—que sais-je! какъ говоритъ вашъ Волкаревъ... ну, какъ принимаютъ подруги сановныхъ лицъ...

— Не шути такъ, возразила она серьезно и кротко.

Но она больше не настаивала, скромно сознаваясь, что напоминанія излишни и, наконецъ, могутъ быть обидны: точно будто она—старшая. Ей было не нужно власти. Если ему въ настоящую минуту нужно только веселье—оно готово. А встрѣтятся затрудненія, устанетъ онъ, понадобится работа вмѣстѣ — онъ позоветъ самъ: они товарищи. Улыбаясь и совѣстясь, она созналась себѣ, что и ей пріятенъ этотъ промежутокъ покоя. Ей еще никогда не жилось такъ хорошо, какъ въ эти нѣсколько дней. Отецъ тоже отдыхалъ; боялся ли онъ дотронуться до своей душевной боли, доставало ли у него силы скрывать ее, хотѣлъ ли онъ развлечься и забыться, или въ самомъ дѣлѣ преданность, угожденіе дочери, очарованіе ея веселости, ума, дѣтской ласки—брали свое и разгоняли его печаль, но во все это время Багрянскій ни разу не помянулъ о Викторѣ. Катерина совсѣмъ забыла тотъ тяжелый день. Настоящее, съ каждой минутой все болѣе дорогое, охватывало какъ воздухъ поля, какъ сіяніе дня. Жилось легко и смѣло; душа цвѣла всей своей нѣжностью, всей своей силой и внутреннее счастье отражалось на всемъ. Она хорошѣла; она опять какъ прежде и еще больше чѣмъ прежде стала радостью всего дома. Она любила, думая о всѣхъ, не думая о себѣ, вѣря въ спокойствіе отца, въ твердость милаго, въ прочность своего блаженства. Въ самой тревогѣ скрываемой любви было что-то веселое...

Багрянскій совсѣмъ оправился, всякій день отправлялся въ свою палату, но еще не могъ работать долго и возвращался рано. Въ палатѣ въ немъ замѣтили перемѣну: онъ былъ не такъ нетерпѣливъ, какъ будто даже и не такъ строгъ какъ прежде, но сталъ сумрачнѣе, молчаливѣе; его стали еще больше бояться. Чиновники приходили заниматься къ нему послѣ обѣда и до половины вечера, который онъ кончалъ съ Катериной и Верховскимъ. Въ нѣсколько дней это вошло въ привычку; Верховской ему полюбился: онъ прекрасно читалъ, жарко спорилъ, откровенно сознавался, когда былъ неправъ, держался безъ церемоній и безъ претензій. Такихъ пріятныхъ вечеровъ Багрянскій не проводилъ давно. Катерина была въ восторгѣ; Верховской, удивляясь, замѣчалъ, что и самъ не скучаетъ приходомъ отца и, случалось, вмѣстѣ съ Катериной устроивалъ маленькія хитрости, чтобы заставить его придти раньше. Катерина ставила имъ шахматы на концѣ чайнаго стола, наблюдала, смѣшила, торжествовала за отца; Верховской игрокъ не сильный, но горячій, проигралъ не одну партію по ея милости, къ ея величайшему удовольствію и своей искренней досадѣ. То и другое забавляло Багрянскаго. Онъ не замѣчалъ, что Верховской дѣлался семьяниномъ; ему никогда не входило въ голову, чтобы кто нибудь, когда нибудь могъ прибавиться въ семью къ нему и Катеринѣ. Сближеніе съ посторроннимъ его оживило; онъ исполнилъ свое намѣреніе «пуститься въ свѣтъ», хотя, сбираясь, не выдержалъ и назвалъ это глупостью, но сдѣлалъ визиты знакомымъ и даже былъ съ Катериной на званомъ вечерѣ у Волкаревыхъ. Онъ, конечно, оставался тамъ очень недолго. Волкаревъ внимательно не садился за карты, пока не проводилъ его, и почти вслѣдъ ему сказалъ задумчиво, съ оттѣнкомъ грустной ироніи:

— Право, меня могутъ спросить—изъ-за чего я бьюсь!

Это было сказано женѣ, но назначалось Верховскому. М-me Волкарева была тоже очень задумчива. Правда, ей удалось, наконецъ, видѣть Верховского—(онъ ужъ глазъ не показывалъ недѣлю) — но Багрянская такъ похорошѣла! Правда, Лѣсичевъ не отходилъ отъ нея всѣ два часа, а этотъ не двинулся съ мѣста... М-me Волкарева не помнила, что тоже два часа не дала Верховскому встать съ мѣста. Но ея сердце было непокойно; ей хотѣлось что-то высказать.

— Жестокіе люди, отецъ и дочь, сказала она со вздохомъ Верховскому. — Помните наши хлопоты за молодого Багрянскаго? Знаете ли, чѣмъ все кончилось?

— Нѣтъ, сказалъ Верховской.

Онъ все зналъ отъ Катерины и ничего не помнилъ. М-me Волкарева стала разсказывать, онъ не слушалъ. Онъ думалъ, что сейчасъ она была тутъ; что, вотъ, этотъ франтъ, чуть не шепча ей на ухо, въ клочья изорвалъ свои перчатки; что она ему улыбалась; что во всякой женщинѣ есть бѣсъ кокетства; что время тянется, пропадаетъ даромъ... то были выспренности, теперь патріархальности... что, пожалуй, въ одинъ прекрасный вечеръ явится Лѣсичевъ и, покуда мы тутъ съ папашей заняты турами и пѣшками,—они, на свободѣ...

— Vous travaillez trop, vous vous tuez... шептала m-me Волкарева, когда онъ, забывшись, повелъ рукою по глазамъ.

— Да... и сейчасъ множество дѣла, сказалъ онъ, вставая, и простился.

Онъ себя сглазилъ, накликалъ дѣло: дѣла набралось столько на другой день, что до вечера не было свободной минуты. Ужъ смеркалось, когда онъ прибѣжалъ къ Катеринѣ. Она встрѣтила.

— А я давно жду, сказала она.—У отца сидитъ какой-то баринъ.

Верховской молчалъ, тихо, не торопясь, клалъ свою фуражку, глядя передъ собою и замѣтно ничего не видя; красно-золотая заря свѣтила ему въ лицо, задумчивое, нерѣшительное, печальное.

— Знаешь ли сказала Катерина: — ты очень хорошъ собою.

— Ты только сейчасъ замѣтила? выговорилъ онъ.

— Да. Но у тебя на душѣ что-то есть.

— Поди сюда...

Онъ увелъ ее на балконъ.

— Катя, любишь ли ты меня? Говори прямо, одно слово, ничего больше! Я жить хочу, мнѣ нужна твоя любовь... Докажи!

Онъ былъ у ея ногъ, замирая, говорилъ безумныя слова; его дрожащія руки сжали ея руки; его взглядъ ловилъ ея опущенный взглядъ; отъ ея стыдливаго поцѣлуя, казалось, сердце вылетѣло изъ груди... О, вотъ, такъ бы заснуть и не проснуться!..

— Катерина! раздался изъ другихъ комнатъ голосъ Багрянскаго.

На другой день былъ праздникъ. Благовѣстили къ ранней обѣднѣ. Нянька Прасковья, крестясь на протяжный гулъ колоколовъ, отправлялась на базаръ. Она остановилась отпереть калитку; засовъ былъ крѣпкій, дверь тяжелая; кулекъ и корзинка, висѣвшіе на рукѣ, затрудняли почтенную женщину и приводили въ нетерпѣніе, но нетерпѣніе перешло въ изумленіе, когда она почувствовала, что ей помогаютъ отворить снаружи и когда передъ нею предсталъ высокій человѣкъ въ солдатской шинели.

— Батюшки!.. вскрикнула она.

— Николая Степановича Багрянскаго домъ? спросилъ онъ, показывая на дощечку у подъѣзда.

— Нѣтъ никого... отвѣчала она по привычкѣ, но замѣтила, что на немъ бѣлыя замшевыя перчатки, а на шинели блестящіе погоны, и все еще держась за калитку, прибавила:—Вамъ кого надобно?

— Всѣхъ надобно, отвѣчалъ онъ.

— Всѣхъ!.. Всѣ еще спятъ. Вамъ дѣло, что ли, есть? Провѣдали, что баринъ по утрамъ принимаетъ? Вотъ, станетъ народъ сходиться, тогда и вы приходите.

— Какая спѣсивая стала, Прасковья Өедоровна, сказалъ прохожій:—не мудрено! у генерала служимъ!.. Совсѣмъ, видно, меня не узнаете?

Она отъ страха и досады еще не взглянула ему въ лицо. Онъ снялъ фуражку.

— Викторъ Николаевичъ! Родной ты нашъ!

Онъ переступилъ во дворъ и обнялся съ нею.

— Нянюшка моя славная!

— Охъ, красавецъ... Сейчасъ побѣгу, всѣхъ перебужу!.. Въ побывку, что ли? Надолго?

— Нѣтъ, нянюшка, не бѣгите, погодите... А можно мнѣ въ домъ?

— Пойдемъ, соколъ мой ясный. Я самоварчикъ поставила; сбиралась, грѣшнымъ дѣломъ, съ базара придя... Ну, ужъ сестру-то я подниму...

— Не надо, не надо, повторилъ Викторъ.— Я къ вамъ, нянюшка; есть у васъ уголокъ какой нибудь?

— Уголокъ! возразила она съ гордостью.— Стану я по угламъ жить! у меня комната своя. Пойдемъ.

— Домикъ у васъ завелся... Ничего! лѣсъ недуренъ, говорилъ Викторъ, идя за нею чрезъ дворъ, оглядываясь на строенія и постучавъ кулакомъ по бревнамъ. — Я не зналъ; не писали мнѣ.

— Какъ же, домикъ, сказала нянька, вводя его.—Милости просимъ. Не побрезгай, чрезъ кухню идти. Видишь, какой покой у меня. Это сестрица твоя,—знаешь ее, затѣйница,—какъ домъ купили: — подавай нянькѣ комнату! А ужъ — папенька ни въ чемъ ей отказу. Отгородили, печку новую поставили, и лежаночка.

Уголъ былъ полонъ образовъ, въ фольгѣ, въ дѣланыхъ цвѣтахъ; съ потолка качалась лампадка съ пестрымъ стеклляннымъ шарикомъ. Викторъ посмотрѣлъ на нее и сталъ креститься. Нянька заплакала.

— Охъ, родной... родной... выговорила она.

Викторъ сѣлъ, тоже отирая глаза. Нянька стояла предъ нимъ и смотрѣла. Садясь, онъ сбросилъ шинель; на немъ былъ мундиръ и эполеты. Нянька ихъ пощупала.

— Новенькія.

— Да! Новенькія! сказалъ, вздыхая, Викторъ.—Потеръ лямку!

— А это у тебя что?

Она тронула его рукавъ, завязанный черными бантиками.

— Раненъ. Болитъ.

— О, Господи Владыко!

— Всякое бывало, нянюшка, сказалъ онъ съ горестью.—Ну, какъ вы безъ меня поживали? Просторнѣе ли вамъ безъ меня было?

— Что о насъ спрашивать. Ты о себѣ разскажи.

— А обо мнѣ что? Вы, я думаю, знаете.

Она махнула рукой и сѣла плакать.

— Или, можетъ быть, не знали? продолжалъ Викторъ, усмѣхнувшись: — обо мнѣ, вѣрно, не часто говорилось?

— И вовсе никогда, отвѣчала нянька:— съ кѣмъ говорить-то? Къ батюшкѣ твоему, ты его, чай, помнишь,—не приступишься...

— А сестрица?

— Сестрица... Сестрица, что... Извѣстно, дѣвичье дѣло; своимъ занимается.

— Чѣмъ своимъ?

Она затруднялась.

— Такъ, чѣмъ случится. Какая ей забота. Книжки свои читаетъ, пѣсни поетъ, наряжается. Батюшка ужъ очень ея красоту предпочитаетъ.

— Восемь лѣтъ я ихъ не видалъ, сказалъ Викторъ.

— Вотъ Господь привелъ, увидишь.

— Поздно они встаютъ?

— Нѣтъ, рано. Это вчера съ вечеру засидѣлись. Гость къ намъ повадился, полуночникъ; всякій день пороги обиваетъ.

— Женихъ, что ли?

— И, женатый. Ты, голубчикъ, не взыщи: за твою сестрицу никто не посватается. Нравомъ въ батюшку, а обычаями— ужъ и Богъ знаетъ въ кого. Горда превыше всѣхъ и странница какая-то.

— И батюшка—ни въ чемъ ей отказу, все въ нее тратитъ?

— Въ кого-жъ больше?

Викторъ усмѣхнулся; нянька поняла, что сказала неловко и, сконфузясь, обратилась къ самовару.

— Такъ, не въ кого больше... повторилъ Викторъ.—А много проживаете?

— Вотъ живемъ, отвѣчала она:—ты знаешь, какъ прежде живали, такъ и теперь.

— Ну, прежде не тѣ и доходы были.

— Кто ихъ знаетъ, какіе они теперь.

— Доходы-то? У предсѣдателей, нянюшка, доходы не маленькіе. Никакъ по вашей губерніи полтораста тысячъ душъ казенныхъ числится. По гривеннику—пятнадцать тысячъ!

— Проворно счелъ! сказала, смѣясь, нянька.

Она обрадовалась, что онъ не разсердился.

— Сосчитаешь!.. продолжалъ Викторъ, также смѣясь по-своему.—На гривенникъ-то приходилось чуть Богу не молиться. Глядишь-глядишь на него: не то поѣсть, не то... не то съ горя выпить! договорилъ онъ и отчаянно махнулъ рукой.

— Что ты, Богъ съ тобой! вскричала нянька.

— Да что же, возразилъ онъ:—вы, можетъ быть, скажете, мнѣ Катерина Николаевна отъ щедротъ своихъ... это презрѣнія достойно, малость! Самъ я въ такое былъ поставленъ положеніе, что пріобрѣтать больше не могъ. Что имѣлъ—то желалъ сохранить,— будто сердце предчувствовало... Когда даже вы,—на что ужъ въ вашемъ званіи! —и то комнату имѣете, чай пьете,—какъ же благородному человѣку себѣ не приготовить?.. Они отъ меня отступились, такъ и приказываютъ сказать! Что-жъ это такое, Прасковья Ѳедо-

ровна, что я моему батюшкѣ сдѣлалъ? Въ чемъ прегрѣшилъ? Видѣлъ ли онъ отъ меня...

— Какъ есть—ничего не видалъ! сказала въ умиленіи нянька.

— Какъ есть—ничего! Кромѣ, какъ благородный былъ я человѣкъ, истинный офицеръ, вѣрой и правдой царю и Богу. Если бы во мнѣ душа была такая, чтобы я могъ всякаго отъ сохи съ собою совмѣстить, не дорожилъ бы честью своею, — вонъ какъ мой батюшка... Да вѣдь онъ на завалинѣ росъ, въ бабки съ кутейниками игралъ! Понять это надо!

Онъ ударилъ себя въ грудь.

— Не развереди ручку, красавецъ, замѣтила нянька.—Кушай еще стаканчикъ. Сладко ли?

— Нянюшка, вскричалъ онъ:—вотъ, я я первый кусокъ отъ васъ получилъ, вы меня какъ родного приняли... Что тамъ будетъ, неизвѣстно! Но, я вамъ клянусь, вотъ—какое это у васъ явленіе?

— Корсунская, батюшка...

Викторъ всталъ и перекрестился.

— Вотъ, клянусь вамъ, пока духъ во мнѣ, я васъ, нянюшка, не оставлю. Не нищій я, не проходимецъ. Они меня призрѣли—воздай имъ Господь во сто кратъ: Я ничего не страшусь, я мою кровь проливалъ и заслужилъ; смерть видѣлъ, вотъ, какъ васъ передъ собой вижу—вынесъ-то вынесъ!.. вотъ, знаетъ грудь моя! горы и утесы, и шашки черкесскія—они знаютъ!

Нянька горько плакала.

— Обидѣли тебя, выговорила она.

— Кровно обидѣли, нянюшка. Вотъ, домъ у нихъ, карета...

— Нѣтъ кареты.

— Такъ деньги въ ломбардѣ!... Я на все рѣшился. Не можетъ онъ меня выгнать: я государю моему служилъ и служу! я приду, стану и скажу: я твой сынъ...

— Скажи, батюшка! подтвердила нянька.

— И если чуть что, я Катеринѣ Николаевнѣ...

— Постой... прервала она.

Въ кухню вошла Маша и остановилась въ удивленіи, увидя гостя, который всталъ и раскланялся. Это еще больше ее сконфузило.

— Нянюшка, сказала, она поспѣшно отвѣчая поклономъ:—барышня проснулась, а баринъ, слышно, ужъ Богу молится. Самоваръ пора.

— Ну, сейчасъ вамъ будетъ, отвѣчала сердито нянька.

— Камерюнгфера Катерины Николаевны? спросилъ вслѣдъ Машѣ Викторъ.—Сейчасъ ей доложитъ, что я тутъ?

— Первымъ долгомъ!

— Батюшка-то по-прежнему по семисотъ поклоновъ кладетъ?.. Проводите-ка меня къ нему, нянюшка. Была не была, — я затѣмъ пріѣхалъ...

Маша вошла, встревоженная.

— Вставайте, Катерина Николаевна, вашъ брать здѣсь.

Катерина помертвѣла...

VII.

Нянька провела Виктора въ домъ въ прихожую, никого не встрѣтивъ. Дверь кабинета была заперта.

— Вотъ онъ гдѣ... прошептала нянька, указывая на эту дверь.

— Я подожду здѣсь; вы подите, сказалъ Викторъ тоже тихо.

Нянька подумала было, пріостановилась изъ преданности къ «красавцу», изъ любопытства, и вдругъ махнувъ рукой, на цыпочкахъ, но стремительно убѣжала къ себѣ. Ей пришла болѣе благоразумная мысль: сейчасъ тутъ поднимется святыхъ вонъ выноси;—лучше быть подальше... И безъ того, Боже помилуй, она его впустила... Онъ, правда, предъ образомъ побожился, что ее не оставитъ; да кто его знаетъ, какой онъ въ самомъ дѣлѣ!.. Но въ чемъ же она виновата? Онъ—сынъ родной; не могла же она его не впустить; почему она знала? дѣла господскія!.. Эти господскія дѣла никогда особенно не нравились Прасковьѣ Ѳедоровнѣ, и еще болѣе теперь, когда и ей грозила бѣда за состраданіе къ тому, кого «напрасно обидѣли»...

Викторъ, сидя на скамейкѣ въ прихожей, тоже предавался размышленіямъ. Размышленія, впрочемъ, были довольно разсѣянны и, вѣрнѣе, могли бы назваться наблюденіями. Пустая комната съ выбѣленными стѣнами и вѣшалкой не представляла много любопытнаго. Викторъ, съ порога, заглянулъ въ гостиную. Тамъ еще не было убрано; вчерашній вечеръ сказывался въ сдвинутой мебели, въ разбросанныхъ предметахъ. Рояль открытъ. На диванѣ книга журнала, вышитая подушка, еще смятая, какъ на нее опирались. На столѣ недопитый стаканъ съ чаемъ. Кресло безпорядочно отодвинуто въ сторону; на немъ длинная полузавялая вѣтка зелени; кругомъ разсыпались ея ощипанные листья. Котенокъ скакалъ и возился въниткахъ, тянувшихся отъ какай-то работы. Викторъ удержался толкнуть его, когда онъ подкатился ему подъ ноги: еще запищитъ, услышатъ...

Онъ улыбался. Не роскошно поживаетъ родитель. Понятное дѣло: изъ ничего началъ, не умѣетъ, боится, прижимается. Жаденъ и осторожень. Всегда такой былъ: все «про черный день». Тѣмъ лучше. Чѣмъ меньше выставляться напоказъ, тѣмъ вѣрнѣе можно обдѣлать дѣлишки: въ глаза не бросается, уликъ нѣтъ, а денежка любезная лежитъ себѣ да лежитъ покойно... А на себя не тратитъ папаша,—это ужъ и вовсе прекрасно... Однако, такъ, пожалуй, кто нибудь зайдетъ, да застанетъ.

Викторъ притворилъ гостиную и воротился опять сторожить на скамейку.

Багрянскій проснулся давно, нездоровый. Первая мысль была, что праздничный день пройдетъ безъ обѣдни. Это оттого, что вчера долго засидѣлся, заговорился. Ему было досадно; его упрекала совѣсть. Обѣдня въ праздникъ была для него долгомъ, не исполнить который онъ считалъ за грѣхъ, потребностью души, привычкой. Онъ испытывалъ лишеніе и, чтобы замѣнить его, облегчить душу, сталъ молиться долѣе обыкновеннаго. Нездоровье разстроивало нервы. Нужды и печали, отъ которыхъ онъ просилъ избавленія, сильнѣе наводили на воспоминанія всѣхъ нуждъ, печалей, потерь. Мольба о помощи убѣждала въ безпомощности; ея повтореніе, научая покорности, утѣшало какъ-то искусственно, но даже не восторженно, а какимъ-то прощальнымъ, холодно спокойнымъ утѣшеніемъ, отъ котораго сжималось сердце... Миръ и успокоеніе только въ могилѣ; но о смерти молиться не должно...

Въ жизни бывали и радости. Онъ вспомнилъ ихъ и прославилъ имя Божіе, но, усталый отъ всего пережитаго, былъ не въ силахъ понимать радость. Она казалась чѣмъ-то священнымъ, отошедшимъ невозвратно въ лоно Того, Кто ниспослалъ ее, гдѣ прикасаться къ ней не должно, чтобъ не возбудить въ себѣ сожалѣнія и ропота. Душа застывала въ покорномъ самоотреченіи. Настоящее являлось безцвѣтно; его заботы тревожили, пугали, отнимали руки...

Грѣхи мучаютъ.

Онъ сталъ каяться, осыпая себя тѣми ужасными именами, въ которыхъ, преувеличивая вину, грѣшникъ будто спѣшитъ заявить свое сознаніе, чтобъ предупредить и умилосердить правосудіе. Покаяніе отчаянное, болѣзненное...

«Господи, хочу или не хочу—спаси меня!» выговорилъ онъ, тяжело приподнимаясь, и постоялъ нѣсколько минутъ, отдыхая и стараясь дать затихнуть своему волненію. Волненіе затихло, но скорбь томила все глубже и все крѣпче... Багрянскій порывно перекрестился въ послѣдній разъ и пошелъ къ рабочему столу.

Принимаясь разбирать бумаги, онъ охнулъ. Работа надоѣла, кости ломили; труженичество столько лѣтъ вставало передъ глазами и будто дразнило. Онъ со злостью читалъ, отмѣчалъ карандашемъ; многое летѣло на полъ.

Въ прихожей, послышалось, прошли. Думая, что это, по обыкновенію, просители, Багрянскій всталъ и отворилъ дверь.

Кто-то упалъ ему въ ноги.

— Что такое? вскричалъ онъ:—что вамъ нужно? Встаньте, я не архіерей! Что нужно?

— Отче, согрѣшихъ на небо... вскричалъ Викторъ.

Багрянскій придержался за косякъ двери.

— Зачѣмъ пожаловалъ?.. спросилъ онъ странно и тихо.

Викторъ упалъ опять, хватаясь за его сапоги. Багрянскій прислонился къ стѣнѣ, зажалъ руками лицо и горько заплакалъ. Прошло нѣсколько долгихъ минутъ. Слышались рыданія Виктора; голова его билась о полъ.

— Охъ, встань... выговорилъ Багрянскій.

— Не встану, не встану! недостоинъ...

— Встань... Господь съ тобою!

Въ одно мгновеніе, Викторъ уже лежалъ на его плечѣ, рыдая, стараясь усилить объятія. Багрянскій, ничего не помня, ничего не видя, цѣловалъ его.

— Создатель мой, Господи, какъ хорошо! Охъ, какъ хорошо! Боже милосердый, слава Тебѣ!

— Родитель мой! скиталецъ, безпріютный, бездомный...

— Домъ твоего отца—твой домъ! произнесъ Багрянскій твердо и торжественно осѣняя его крестомъ.—Боже, помилуй, прости меня грѣшнаго!.. Прощаю и разрѣшаю тебя, сынъ мой! да будетъ надъ тобою милость Господня и мое благословеніе, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа отнынѣ и до вѣка! Аминь!.. Взгляни же на меня, покажись...

— О, нѣтъ! Еслибъ я могъ прочесть въ вашихъ чертахъ...

Багрянскій взялъ его голову и повернулъ къ себѣ. Ихъ взгляды встрѣтились. Викторъ опустилъ глаза; по лицу Багрянскаго пробѣжалъ какой-то испугъ.

— Смотри на меня прямо! сказалъ онъ нетерпѣливо.

— Другъ! Сестра! вскричалъ Викторъ, бросаясь отъ него.

Въ дверяхъ, какъ смерть блѣдная, показалась Катерина.

— Батюшка... выговорила она.

— Я простилъ, отвѣчалъ Багрянскій и отвернулся.

— Моя прекрасная владычица! продолжалъ Викторъ, склоняясь предъ нею на одно колѣно:—клянусь посвятить жизнь...

Катерина выдернула у него свое платье.

— Батюшка, и вы могли...

— Я простилъ! подтвердилъ онъ строго.— Довольно грѣха! Приказываю тебѣ: обними его; онъ тебѣ старшій братъ.

— Онъ мнѣ не братъ! выговорила она громко, оттолкнула Виктора и вышла.

— Катерина!

— О, батюшка! горестно произнесъ Викторъ, удерживая его въ своихъ объятіяхъ:— простите, я сейчасъ уйду! я не хочу бросать раздора... Я ей не братъ!! Творецъ, прости ей, какъ я прощаю!

Онъ бросился къ двери.

— Катерина! повторилъ Багрянскій.

— Обнимите ее, утѣшьтесь, продолжалъ Викторъ, падая на скамейку: — ваше неоцѣненное сокровище! Забудь меня опять! Мнѣ мелькнулъ призракъ... Будьте счастливы! Мнѣ довольно — вы меня простили, и я готовъ хоть сейчасъ на смерть... Что-жъ, видѣлъ, былъ, вотъ, въ вашей лакейской...

Онъ рыдалъ.

— Она вамъ отъ колыбели дороже всего... чѣмъ заслужила? я думалъ самъ заслужить, хоть на своихъ послѣднихъ дняхъ!.. Раненъ, разбитъ... А, такъ и быть!

Онъ стремительно всталъ.

— Батюшка, прощайте!

— Катерина! вскричалъ еще разъ Багрянскій.

— Напрасно! не зовите; покуда я здѣсь— не придетъ! возразилъ Викторъ съ горькимъ смѣхомъ.—Она знаетъ свою власть...

— Что ты осмѣлился сказать? прервалъ Багрянскій.—Какая власть? надъ кѣмъ? Въ моемъ домѣ нѣтъ другой власти, кромѣ моей. Угодно мнѣ было — я тебя помиловалъ, захочу—выгоню. Выгоню тебя, выгоню ее! я—отецъ!.. Я тебѣ сказалъ — оставайся, — ну, и оставайся...

Онъ отвернулся, вошелъ въ кабинетъ и прибавилъ, не оглядываясь:

— Есть у тебя какіе пожитки? Ступай за ними, принеси.

Дверь за нимъ захлопнулась и заперлась. Все вдругъ стихло. Викторъ оглядывался.

— Что, мой батюшка? прошептала нянька, высовывая голову изъ другой комнаты.

Викторъ приложилъ палецъ къ губамъ и осторожно, чтобы не скрыпнуть, большими шагами, пошатываясь, вышелъ къ ней.

— Старая, быть по-нашему, сказалъ онъ, взявъ ее за плечи.—Ну, смотри тутъ, чтобъ сестрица чего не изволила... Я ворочусь мигомъ. Давай мою шинель.

Катерина вошла въ свою комнату и упала въ кресла, безъ слезъ, безъ движенія, но въ полномъ сознаніи всего, что случилось. Подавляла, именно, эта отчетливость чувства. То, что было двѣ недѣли назадъ, въ тотъ день, когда отецъ въ первый разъ былъ жестокъ, а она въ первый разъ несчастна,— опредѣлялось теперь съ такой же ужасающей ясностью.

— Вотъ, какъ люди бываютъ одни... подумала она.

Много ли прошло времени, она не помнила. Очнувшись, открывая глаза, она увидѣла отца. Онъ давно стоялъ надъ нею.

— Тебѣ дурно? спросилъ онъ отрывисто.

— Ничего... (Она вдругъ встала). Что прикажете?

— Тебѣ дурно? повторилъ онъ почти съ крикомъ, сажая ее насильно. — Что ты со мной дѣлаешь?

Она схватила его руки и прижалась къ нимъ.

— Милый, жизнь моя, что вы-то съ собой сдѣлали?

Багрянскій смотрѣлъ на ея опущенную голову и молчалъ. Онъ шелъ къ ней не затѣмъ. Въ его душѣ поднялось сомнѣніе, самъ себѣ не сознаваясь въ томъ, что хотѣлъ дѣлать, онъ шелъ разогнать ее гнѣвомъ, шелъ укорять, грозить, смирять... Она лежитъ полумертвая. Она притворяться не умѣетъ. Сомнѣніе подтверждалось. Теперь, онъ ужъ не зналъ чего хотѣлъ. Ему было нужно оправдаться...

— Какъ вы допустили этого человѣка... выговорила Катерина.

— Онъ мой сынъ! вскричалъ Багрянскій, какъ-то обрадованный, что она его вызвала.—Сынъ, кровь моя! Какъ ты осмѣлилась...

— Да, осмѣлилась, прервала она, поднимаясь. — Осмѣлилась, отреклась, отрекаюсь. Не братъ онъ мнѣ, я его не знаю! Не сынъ онъ вамъ! Вы — рядомъ съ этимъ человѣкомъ?.. Да кому вы покажете глаза?

— Замолчи!

— Нѣтъ! Гдѣ справедливость? Вы гоните бѣднаго чиновника, если онъ взятку возь-



метъ, вы гоните крестьянина... а этотъ, этотъ... воръ, убійца! И вы это знаете! Вы дурно сдѣлали!

— Ты смѣешь судить отца... вскричалъ онъ въ бѣшенствѣ.

— Дѣлайте со мной что хотите; я сказала правду.

— Счастлива ты... выговорилъ онъ, сжавъ кулаки и отступая:—счастлива ты...

— Что вы меня любите? досказала она.— О, родной, не то! я тѣмъ счастлива, что вы сознаетесь!

Она бросилась ему на шею.

— Возьмите же ваше слово назадъ. Вы не простили, вы не можете простить. Вы, такъ, забылись. Онъ васъ обманываетъ; онъ лицемѣръ. Это не блудный сынъ... Еслибъ онъ только растратилъ наслѣдство!.. Отдайте ему все, что есть у насъ,—не знайтесь съ нимъ. Вѣдь вы такъ и хотѣли; зачѣмъ же вы это перемѣнили? На что онъ вамъ?

— А тебѣ чѣмъ онъ мѣшаетъ? прервалъ тихо Багрянскій.

— Мнѣ?

Она остановилась, пораженная.

— Тебѣ. Вспомни Бога, продолжалъ онъ настойчиво, протяжно, будто убѣждая самого себя въ томъ, что говорилъ.— Богъ гордымъ противится... Гражданка! гуманныя чувства! Начни-ка ихъ съ своей семьи. Что?.. Онъ виноватъ... ну, правда. Но покаяться можетъ человѣкъ или нѣтъ?

— Батюшка...

— Нѣтъ, я спрашиваю, можетъ онъ покаяться? закричалъ онъ.—Я вотъ что спрашиваю! Можетъ или нѣтъ? Говори!

Онъ топнулъ ногою.

— Можетъ, но не покаялся, отвѣчала Катерина, глядя ему въ лицо.

У него мелькнула мысль, что Викторъ не вынесъ его взгляда.

— Кто тебѣ сказалъ, безжалостная? Была ты въ его душѣ? Знаешь ты, каково по землѣ валяться, молить, каково вымолвить: «согрѣшилъ»? Знаешь? Не дай Богъ тебѣ знать! Ты непорочна... Смерть легче, чѣмъ, вотъ, чувствовать на груди — задушило... На ликъ Господень не взглянешь, къ таинству приступаешь... Вѣдь ты была при этомъ, была? Когда узнала, что онъ подъ судомъ, я его...

Онъ схватился за голову въ изступленіи.

— Былъ ли съ тѣхъ поръ одинъ спокойный часъ... Ты скажешь: бывали. Много ты понимаешь! Ты хвалилась, что знаешь мою душу!.. Что ни дѣлаю, куда ни пойду, забылся, а оно все тамъ, на самомъ днѣ... Мечъ обоюдуострый,—въ него вонзилъ и въ себя!.. Передъ тобой покаюсь: и ты мнѣ въ тягость бывала...

Онъ тихо и жалко заплакалъ. Катерина отошла, заломивъ руки.

— Не могъ я этого вынести, не могъ, — какъ увидѣлъ его предъ собою... Въ прахѣ, какъ преступникъ! Царь Небесный, но я самъ такой же преступникъ! Самъ Ты, Господи, сказалъ, что приходящаго къ Тебѣ не отгонишь; я грѣшный, по слову Твоему... Охъ! И вдругъ — легость такая, райскія двери отверзлись, мертвое воскресло... Поди сюда!

Онъ притянулъ ее къ себѣ.

— А ты, въ такія минуты? Добрая, чистая, да ты ангелъ-хранитель между нами! Безъ-тебя-то, Катя моя, что-жъ со мною будетъ?.. Я отецъ; я хочу; мое слово свято. Такихъ словъ не берутъ назадъ. Ты должна покориться. Вѣдь ты сказала, что никогда меня не оставишь?

Онъ сталъ цѣловать ея руки. Ей хотѣлось отнять ихъ, такъ горьки, безпомощны, униженны казались ей эти поцѣлуи. Человѣкъ, которому она привыкла поклоняться, внушалъ ей только состраданіе. Онъ такъ чувствовалъ, что сдѣлалъ, такъ отбивался отъ этого страшнаго чувства, такъ хотѣлъ увѣрить себя, что правъ, такъ ждалъ отъ нея милости — вынужденнаго, притворнаго умиленія... Минута рѣшительная. Чужой вошелъ подъ ихъ кровлю и все пропало, все, что было счастьемъ, гордостью жизни; все уничтожено, отъ святыни убѣжденій до простого веселья. Всему конецъ. Нѣтъ покровителя, нѣтъ наставника; на рукахъ слабый, запуганный старикъ. Вѣра, молитва, прощеніе, его лучшія силы сломили его самого, погубили... А онъ губитъ ее!

За что? Съ дѣтства благоговѣла предъ нимъ, молилась на него, видѣла его глазами, отдавала ему всякій помыслъ... вчера, вчера на этомъ мѣстѣ, помня его, оттолкнула другого несчастнаго, оттолкнула любовь, — и еще похвалила себя, что хорошо сдѣлала!.. А сегодня, еще жертвы?..

«Но вѣдь безъ меня онъ пропадетъ...» подумала она отчетливо, словами, вся холодѣя. Ея рукамъ стало больно отъ его горячихъ слезъ.

— Ну, довольно, выговорила она вслухъ.— Мое слово тоже свято: я—ваша.

Онъ приподнялся, будто воскресшій, обхватилъ ее и прижалъ къ себѣ.

— Помни этотъ день и часъ, Катерина. Да наградитъ тебя за него Господь и въ

этомъ вѣкѣ и въ будущемъ! произнесъ онъ торжественно и вдругъ вышелъ, будто боясь, чтобъ она ничего не сказала.

Она распахнула балконъ и тоже вышла. Былъ вѣтеръ; облака висѣли, казалось, надъ самыми верхушками деревьевъ; солнце свѣтило холодно; въ окнѣ большого дома, чрезъ садъ, сверкала, раскачиваясь, отворенная рама. Катерина стояла, смотрѣла, ничего не ожидая... Вдругъ, одинъ за однимъ, всякій предметъ, что былъ передъ глазами, началъ выставлять свое воспоминаніе,—будто свое участіе, свою заслугу въ счастьи, котораго не стало. Маленькія воспоминанія, мельчайшія заслуги, но на каждомъ шагу, — отъ краснаго песку дорожки, до воробьинаго гнѣзда подъ стрехой; все какъ-то дѣтски-чисто, забавно-мило... Вдругъ отчаяніе захватило ей грудь; Катерина схватилась за свои разметанныя косы.

«Что-жъ это будетъ?..»

— Папенька кличетъ, сказала, появясь, нянька... — Ну, сударыня, иди, будетъ! грѣшно... Иди. Да и некогда долго возиться. Люди говорятъ, дня-то полъ-утра прошло.

Домъ Багрянскаго, кромѣ прихожей, состоялъ весь изъ пяти комнатъ. Одну изъ нихъ, за комнатой Катерины, занимала Маша. Багрянскій приказалъ убрать ее для Виктора.

— Какъ ты думаешь? спросилъ онъ Катерину.

— Какъ вамъ угодно. Маша помѣстится со мною, отвѣчала она и ушла опять къ себѣ.

Перемѣщеніе было не велико, но стоило хлопотъ, какъ всегда у людей небогатыхъ. Нянька выказала необыкновенную распорядительность, спросила денегъ у барина, сбѣгала въ лавки, привезла кровать, шкафъ для платья и прочее, призвала своего знакомаго, отставного «кавалера», который очень много стучалъ и приколачивалъ, достала у себя изъ-подъ своего замка какой-то линялый коверъ, разстилала, разставляла, украшала, ахая, что красавцу будетъ непокойно.

Желаніе Катерины не могло исполниться: въ ея тѣсной комнатѣ не было никакой возможности помѣститься Машѣ. Была еще одна переходная комната со множествомъ оконъ, печей и дверей, гдѣ можно было сидѣть съ работой днемъ, но для ночлега оставалась только кухня: нянька раскричалась и разобидѣлась, когда Катерина попросила ее принять Машу... Такъ проявилась на первый разъ практическая сторона, проза несчастія. Это была не малость: стѣсненіе, лишеніе касалось единственной близкой особы, и помочь не было средства.

— Сбрасывай книги съ этажерокъ, Маша, сказала, запыхавшись, Катерина: — вытащимъ ихъ въ гостиную, вытащимъ туда и письменный столъ; вотъ и будетъ намъ съ тобой просторно.

— Развѣ вы станете сидѣть цѣлый день тамъ? возразила Маша.—Богъ съ вами. Вамъ нуженъ свой уголъ.

Катерина отвернулась. Въ двери щелкнулъ ключъ.

— Что ты дѣлаешь?

— Замокъ пробую, отвѣчала Маша. — Никогда не запирали, я боялась — заржавѣлъ. Ничего.

Катерина упала ей на руки.

— Охъ, голубушка, не плачьте такъ страшно... выговорила Маша.

Викторъ воротился. На дрожкахъ у него былъ большой чемоданъ, свертки, дорожные мѣшки, ловко сложенные, какъ у человѣка походнаго и аккуратнаго. Багрянскій и Катерина заперлись каждый у себя. Предвидя, что это сконфузитъ пріѣзжаго, нянька выбѣжала въ сѣни, услыша звонокъ.

— Пожалуй, батюшка, комнату убираемъ, объявила она радостно.

— А! Убираете!..

Онъ не прибавилъ и не спросилъ больше ничего. Отецъ и сестра не встрѣтили, не показывались, но все равно, — комнату ему убирали. Съ помощью извозчика, няньки и кавалера пожитки были внесены. Викторъ обозрѣвалъ свое помѣщеніе.

— Не взыщи, тѣсновато, повторяла нянька.

— Въ тѣснотѣ люди живутъ, старая. На тебѣ, за ласку.

Онъ поднесъ ей свертокъ: шерстяная матерія на платье, пестрый ковровый платокъ, шелковая косынка на голову. Нянька разахалась, кинулась цѣловать ручку, потомъ умилилась.

— И отъ роду на себѣ такого не видала! восклицала она. — Который годъ живу у нихъ—не вспомнятъ! Вотъ, какъ видишь, про святъ-день одѣта! Одинъ ты, батюшка...

Комната скоро убиралась; но Викторъ не выражалъ нетерпѣнія: аккуратно самъ вбивалъ гвозди, развѣсилъ надъ постелью какую-то звѣриную шкуру и на ней шашку, ятаганъ, пистолеты, уздечку съ серебряными бляхами. Нянька дивилась, какъ прекрасно.

— Лошадка была, подо мной убили... А другую продалъ, прибавилъ онъ со вздохомъ.—У васъ-то держатъ лошадей?

— И!.. съ презрѣніемъ отвѣчала нянька.

Она стѣснялась присутствіемъ «кавалера», но когда онъ ушелъ, кончивъ свое дѣло и получивъ отъ Виктора «на чай» — нянька не выдержала.

— Зачѣмъ это ты, красавецъ? Береги свое. Это папенькѣ слѣдуетъ заплатить, я ему такъ и скажу. Что-жъ онъ, — принялъ сына — и успокой его. Теперь ужъ нельзя такъ-то, не во гнѣвъ сказать, скаредно жить: однѣ бабы въ домѣ. Онъ возьми для тебя какъ должно прислугу, человѣка. А у насъ, что за порядки? Бѣлье мыть — въ люди отдаемъ; полы мыть — нанимаемъ; дворъ мести, дрова рубить, вонъ, сосѣдъ мужикъ-огородникъ нанимается. Давно бы своихъ мужиковъ завелъ, когда бы съ толкомъ. Не обокрали насъ еще, потому—красть нечего... Охъ, скажу тебѣ, какъ эта бѣдность одолѣла!

— Вы, нянюшка, хозяйничаете, или сестрица?

— Ай, родные мои! вдругъ вскричала она:—про обѣдъ-то я и забыла! Ишь ты какой, все съ тобой заболталась. Побѣжать скорѣе, десятый часъ...

— Да, десятый, подтвердилъ Викторъ, вѣшая подъ оружіемъ дорогіе часы.—Только постойте еще, нянюшка. Что тутъ безъ меня было?

— Что? катавасія была... Пусти ты меня, Христа-ради, не держи... Сестрица твоя злилась. Вотъ, обѣдъ не угожу, и еще озлится...

— Злилась? плакала?

— Ну, изъ нея не очень слезу вышибешь. Папашенька разливался. Да ты поди къ нему, стукни, авось не укуситъ. «Благодарю, молъ, за покой». А мы съ тобой еще натолкуемся. Я и сама рада слово перемолвить; день-деньской молчишь...

Викторъ остался одинъ, прилегъ, закурилъ, соображалъ и улыбался. Въ комнатѣ за его дверью прошли. Онъ вскочилъ, открылъ свой еще неразобранный чемоданъ, поспѣшно выбросилъ изъ него бѣлье въ комодъ, платье въ шкафъ, опорожнилъ дорожные мѣшки, спряталъ какъ попало все, что въ нихъ было, засунулъ ихъ, чемоданъ, свертки, веревки подъ постель, поставилъ на столъ складное зеркало, стклянки духовъ, разбросалъ какія нашлись письма и въ нѣсколько минутъ придалъ комнатѣ видъ, будто въ ней жили давно. Кончивъ, онъ снялъ свое военное платье и переодѣлся въ статское, сидѣвшее красиво и неловко, какъ вообще на непривычныхъ, — посмотрѣлся въ зеркало, расчесалъ усы, надушился и пошелъ въ гостиную. Расположеніе дома было ему уже извѣстно.

Въ прихожей сидѣли два мужика. Катерина выходила изъ кабинета. Викторъ учтиво посторонился; она не взглянула.

— Не разочли вы, когда пріѣхать, обратилась она къ мужикамъ.—Воскресенье, присутствія нѣтъ, ничего нельзя сдѣлать. Навѣдайтесь на недѣлѣ.

— А прошеніе-то онъ, барышня, принялъ?

— Какъ же не принять.

— Нынче, вонъ, и къ себѣ не допущаетъ... продолжалъ уныло мужикъ.

— Ничего! Все сдѣлаетъ! отвѣчала, смѣясь, Катерина.—Съ Богомъ!

Ея голосъ звенѣлъ какъ разбитый; она кивнула имъ головой и скоро прошла.

Викторъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ и постучался въ кабинетъ.

— Могу ли я войти, батюшка?

Отвѣта не было. Викторъ провелъ непріятную минуту; для Багрянскаго она была ужасна... Стукъ въ дверь, вопросъ сына, такія естественныя вещи послѣ того, что рѣшено,—заставили отца вздрогнуть. Жизнь начинается. Надо переломить себя, смирить себя...

— Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному! Я простилъ! повторялъ онъ въ смятеніи.—Пошли миръ душамъ нашимъ! пути Твои неисповѣдимы... Вотъ, дочь сейчасъ здѣсь была, свободно, смѣло... а этотъ,— съ трепетомъ, съ покорностью,— не знаетъ какъ приступить... Охъ, не легко ему...—Викторъ!

Онъ отворилъ дверь, увидѣлъ сына и вдругъ удержался, не впустилъ его къ себѣ, а вышелъ самъ.

— Здравствуйте еще разъ, батюшка, сказалъ Викторъ, подходя поцѣловать руку. — Позвольте васъ благодарить. Какая превосходная комната.

Онъ шелъ за отцомъ въ гостиную.

— Что тамъ превосходнаго!

— О, если бы вы видали мои жилища! Дорогой батюшка... Ахъ, какъ здѣсь все хорошо... и зелень...

Онъ осматривался.

— Ты въ статскомъ? замѣтилъ Багрянскій.

— Да, батюшка. Въ отставкѣ. Я болѣе не имѣю права носить военную форму, но далъ клятву, что вы меня увидите въ званіи офицера, что я сниму свой мундиръ только подъ

роднымъ кровомъ. И я сдержалъ клятву, чего ни стоило. Я это время оставался въ Москвѣ, ожидая извѣстій отъ его превосходительства, Алексѣя Владиміровича. Въ Москвѣ, за форму могли привязаться: Алексѣй Владиміровичъ написали: «надежды нѣтъ!»— но я рискнулъ и, чтобъ явиться къ вамъ, купилъ новые эполеты... Увлеченіе, договорилъ онъ, вздыхая.

— Катя! кликнулъ Багрянскій, садясь на диванъ къ накрытому чайному столу.

Викторъ стоялъ.

— Только и осталось мнѣ памяти отъ военной карьеры, что — вотъ.

Онъ показалъ на бантики, украшавшіе его лѣвый рукавъ.

— Легкая рана? спросилъ отецъ.

— Хотѣли отнять руку, скромно отвѣчалъ Викторъ.

— Ты, кажется, владѣешь ею свободно, сказалъ Багрянскій и обратился къ входящей Катеринѣ.—Поскорѣе, Катя.

— Вы всегда поздно кушаете чай? спросилъ Викторъ.

— Какъ случится, отвѣчалъ Багрянскій, такъ же какъ онъ напрасно выжидавшій отвѣта Катерины.—Въ будни, я въ десять часовъ ухожу въ должность.

— Я видѣлъ, у васъ и сегодня просители... Святое дѣло.

Онъ бросился подвинуть стулъ Катеринѣ и не успѣлъ.

— Вы не хотите, чтобъ я вамъ служилъ? прошепталъ онъ, любезно улыбаясь.

Она, заторопясь, что-то уронила; Викторъ ловко подхватилъ. Ихъ руки встрѣтились. Катерина съ отвращеніемъ отдернула свою.

— Я все дѣлаю сама, сказала она.

Отецъ смотрѣлъ на нее. Она ничего не видѣла, не слышала. Все кругомъ колыхалось, уплывало, свѣтъ, тѣни, предметы; воздухъ душилъ; въ ней самой что-то дрожало и стучало... И это—только начало? и такъ—всякій день?.. Вдругъ рѣзко раздался голосъ отца:

— Ты не хочешь говорить со мной, Катерина?

— Я не слышала... выговорила она съ трудомъ.

У него не стало силы смотрѣть на нее; онъ отвернулся къ окну. Викторъ, слѣдя за его движеніемъ, заговорилъ о погодѣ и разнообразилъ предметъ своими воспоминаніями о Кавказѣ, о Венгріи. Онъ замѣчалъ, что къ нему невнимательны, но продолжалъ несмѣло и покорно, какъ-то почтительно подвергая на судъ свои впечатлѣнія, готовый, казалось, сейчасъ же отъ нихъ отказаться, даже усомниться въ дѣйствительности того, что видѣлъ, если бы слушатели въ этомъ усомнились. Его разсказы были, впрочемъ, занимательны; онъ съ тактомъ умѣлъ поминать о себѣ только какъ о зрителѣ, вскользь, и то изрѣдка. Багрянскій сталъ слушать и вдругъ, какъ-то затруднившись тѣмъ, что разсказчикъ говоритъ одинъ — сталъ спрашивать. Викторъ замѣтно обрадовался, но очень ловко не сдѣлался веселѣе, а, бросивъ взглядъ на сестру, тяжело вздохнулъ.

Катерина молчала и разбиралась въ своей работѣ, въ безпорядкѣ забытой съ вечера. Тамъ были слѣды чужихъ рукъ, такихъ, которыя по привычкѣ, изъ шалости, или въ раздумьи вертятъ, что попадется. Въ складкахъ полотна остался изорванный листъ клена. Катерина судорожно зажала его въ горсть.

Викторъ прохаживался по комнатѣ. Отецъ взялъ сигару; это было отступленіе отъ его привычекъ: послѣ утренняго чая онъ всегда уходилъ работать, если не въ должность. Еще наканунѣ онъ говорилъ, что дѣла будетъ много.

— Вы мнѣ позволите... тоже? Не безпокою? спросилъ Викторъ, доставая папироску и слегка кланяясь Катеринѣ.

Отецъ протянулъ ему зажженную спичку. Викторъ еще разъ поклонился.

— Привычка! продолжалъ онъ, пожимая плечами. — Никакъ не могъ отстать, какъ себя ни принуждалъ. Бывало,— нечего, рѣшительно, ни табаку нѣтъ, ни гроша — курилъ листъ съ дерева. Изобрѣтательность! прибавилъ онъ, позволивъ себѣ засмѣяться, потому что отецъ улыбнулся. — Въ подражаніе мнѣ другіе катали папироски: листъ и почтовая бумага отъ писемъ... Я этого не дѣлалъ.

— Ужъ слишкомъ скверно?

— У меня не было писемъ, отвѣчалъ отрывисто Викторъ и, оставивъ небольшую паузу, продолжалъ, замѣтно стараясь воротиться на прежній тонъ. — Эта милая привычка... Разъ, были мы въ «секретѣ». Ночь темная. Такъ — овражекъ небольшой, а за нимъ, говорятъ, лезгины.

Онъ красиво показывалъ рукой.

— Ну, приказано наблюдать. Осень; моросить что-то; холодъ въ горахъ стоитъ русскаго и похуже. У кого была водка, тотъ погрѣлся, болтаютъ между собой потихоньку. Я мерзну; не съ кѣмъ сказать слова, сонъ такъ и клонитъ. Постой — есть папироска!

Спичку,— зажегъ — и въ ту-жъ минуту по насъ залпъ изъ-за оврага...

— И что же? спросилъ отецъ.

— Завязалась перестрѣлка... Обыкновенная исторія!

— Ну, и съ тѣхъ поръ полно закуривать въ «секретѣ»? продолжалъ Багрянскій съ участіемъ, съ шуткой, съ той дрожью, въ которой сказывается пересиливаемая душевная мука и желаніе скорѣе отъ нея избавиться.—Осторожнѣе сталъ?

Викторъ помолчалъ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ тихо, но будто отчаянно рѣшаясь:—я съ тѣхъ поръ сталъ это часто дѣлать, нарочно.

— Зачѣмъ.

— Жизнь доставалась такая... Ну, думаешь, авось попадутъ—одинъ конецъ.

— Господи!.. сказалъ съ ужасомъ Багрянскій.

— Что-жъ, продолжалъ Викторъ:—я ужъ ничего въ жизни не ждалъ... Вспомню васъ, все, мысленно прощусь, и... И всякій разъ—судьба! кругомъ, глядишь... Меня даже не задѣнетъ! Судьба!

— Воля Господня, возразилъ отецъ.

У него навернулись слезы, Викторъ поднесъ платокъ къ глазамъ.

— Ну, а тѣмъ, которыхъ кругомъ задѣвало, тоже судьба или воля Господня? сказала Катерина.

Отецъ и братъ оглянулись.

— Что? спросилъ Багрянскій. — Ты слышала, чего онъ хотѣлъ.

— Слышала. Но вѣдь другимъ не было охоты умирать. Чѣмъ забавляться, подкликать лезгинъ на огонекъ,—пистолетъ себѣ въ ротъ: коротко и просто.

— Что ты, обезумѣла? что ты говоришь? самоубійство, преступленіе...

— А это что? спросила она холодно и обратилась къ своей работѣ.

Была минута ужаснаго молчанія. Багрянскій, пораженный, опустилъ голову. Викторъ остолбенѣлъ; онъ готовился ко многому, но не къ такому. Катерина шила и колола себѣ пальцы въ кровь, ничего не чувствуя. Она сама не знала, ужъ не хотѣлось ли ей воротить того, что сорвалось, но въ ея груди кипѣло что-то еще ужаснѣе. Въ какомъ-то туманѣ ей мелькнуло лицо отца.

— Я его убиваю... подумала она и, едва владѣя собою, шатаясь, вышла въ свою комнату.

Багрянскій вздрогнулъ на стукъ запиравшейся двери. Викторъ подошелъ къ нему.

— Чѣмъ я могъ заслужить такую ненависть? сказалъ онъ съ оскорбленнымъ достоинствомъ.—Такъ истолковывать слова, движенія души... Что я ей сдѣлалъ? Позвольте мнѣ уйти, батюшка. Я не ошибался, когда ужъ хотѣлъ уйти, а вы меня удержали; я съ первой минуты понялъ, что передъ ней—вы безсильны...

Онъ говорилъ долго, подходилъ къ двери и возвращался, то начиная новый монологъ, то будто не имѣя силы переступить порога, то снова, порывно, бросаясь къ отцу. Багрянскій всталъ, заложилъ руки за спину и ходилъ взадъ и впередъ, не обращая на него вниманія. Если бы Викторъ исполнилъ свою угрозу и ушелъ, Багрянскій не сталъ бы его удерживать; сказать — «уходи»,—онъ не могъ. То, что онъ выносилъ, то, что онъ передумалъ, было неизобразимо... Да, къ этому человѣку у него только животная привязанность, а другой и быть не можетъ... Тяжкій грѣхъ такое чувство! Смертельный грѣхъ — гордость — самое сознаніе такого чувства! Еще грѣхъ—ожесточеніе: изъ низшаго чувства отецъ не можетъ сдѣлать чувства просвѣтленнаго, человѣческаго! Не можетъ—слѣдовательно, воля не тверда, милосердія нѣтъ... А она, она, немилосердная...

«Она права»... вдругъ промчалось у него въ мысли.

Права! Вотъ онъ, первый грѣхъ: любленіе твари паче Бога, кумиръ, ненаглядная дочь! Права! Какъ она смѣетъ указывать, какъ она смѣетъ учить? Всѣхъ оскорбила, всѣ несчастны... Она не понимаетъ любви родительской...

Онъ ужъ забылъ какъ самъ, сейчасъ, опредѣлилъ свою любовь.

«Безжалостная»... твердилъ онъ, не зная, куда дѣвать уши отъ голоса Виктора. Его душило отвращеніе.—Безгрѣшная!.. И ангелы безгрѣшны, но вѣрятъ покаянію. Горда... гордымъ Богъ противится. Совершенна?—докажи свое совершенство: смирись!

Онъ нечаянно взглянулъ на Виктора.

— Молчать! крикнулъ онъ и отвернулся.

Боже всемогущій, что-жъ это такое? Опять на тоже, сугубый грѣхъ? Простилъ и взялъ прощеніе назадъ? А какъ Господь также сотворитъ и съ тобою, окаянный? Фарисей! такъ не прегрѣшилъ, какъ этотъ несчастный, но всячески прегрѣшилъ! Опомнись: ты отецъ равно обоимъ. Разрѣшилъ, простилъ и—да будетъ такъ!

— Викторъ! сказалъ онъ громко.

Викторъ сидѣлъ, печально опустивъ голову: онъ всталъ и подошелъ почтительно.

— Знай однажды навсегда, что я своихъ словъ не перемѣняю. Все прошлое я забылъ. Ты для меня—новорожденный... Сестру ты долженъ уважать, потому что она... она, Катя... Охъ, пощадите вы меня, договорилъ онъ, протягивая сыну руки.

Викторъ склонился въ эти объятія, нѣжно, но слегка снисходительно, скорѣе уступая, нежели увлекаясь.

— Я въ душѣ моей, батюшка, ничего не имѣю, но какъ благородный человѣкъ...

Въ сѣняхъ раздался звонокъ.

Катерина была въ своей комнатѣ, одна, не зная что дѣлать. Непостижимое происходило въ ея жизни; вся жизнь перевернулась, оборвалась,—мысль, дѣло, даже простыя привычки. Все кругомъ глядѣло отчужденіемъ, все прощалось, все уходило, все торопилось куда-то, будто сейчасъ должно начаться что-то еще, что-то новое и такое же зловѣщее, какъ то, что только наступило, а ужъ успѣло истомить будто цѣлыми годами... Катерина металась; то сидѣла разбросивъ руки, то подходила къ балкону, не рѣшаясь выдти. Окно въ домѣ отворено; Верховской дома,—можетъ быть, свободенъ; увидитъ, придетъ... Она не хотѣла его видѣть. Стыдно такъ ему показаться... Что за ложный стыдъ! Пусть видятъ, какъ она потерялась; мужество еще воротится... Счастье не воротится, вотъ что! Послышался звонокъ... Охъ, что еще?..

— Васъ спрашиваютъ, сказала, входя, Маша:—Лѣсичевъ и дамы; я не видала кто.

— Toute de suite... Mille pardons... Prenez place... раздавался въ гостиной голосъ Виктора, который принималъ, какъ хозяинъ, подвигалъ кресла....

— Ужъ познакомился, представился...Гдѣ батюшка? спросила Катерина.

— Давно заперся у себя, отвѣчала Маша.

— Ma soeur, мы ждемъ васъ, прокричалъ Викторъ у самой двери.

«Онъ смѣетъ звать меня»... думала, выходя, Катерина. Лѣсичевъ взглянулъ на нее бѣгло и особенно внимательно. M-lle Ольга и мать ея подступили съ объятіями.

— Пріятная нечаянность, говорила эта дама:—звонимъ къ вамъ,—отворяетъ молодой человѣкъ; входимъ и узнаемъ...

— Поздравляю, душка! какое счастье—братъ! лепетала Ольга:—вотъ, я воображаю..

— Да, воображаю! повторила дама.—А вашъ папа?

— Папа отдыхаетъ! Но вѣдь и она отдыхала! отвѣчалъ Викторъ, весело указывая на сестру.—Я ихъ засталъ врасплохъ, на зарѣ; покуда, вотъ, занялся газетой...

Онъ показалъ на листы на столѣ.

— Я человѣкъ привычный, усталъ меньше всѣхъ.

— Ахъ, какъ не устать! томно сказала Ольга.

Ея взглядъ поймалъ его бантики.

— Я думаю, вы такъ торопились, летѣли... подхватила мать.

Она, не меньше дочери, была рада встрѣчѣ. Онѣ зашли къ Багрянской только потому, что увидѣли входящаго Лѣсичева; это было интересно. Визитъ получилъ новый интересъ.

— Я съ порученіемъ отъ m-me Волкаревой, сказалъ Лѣсичевъ Катеринѣ:—она проситъ васъ сегодня вечеромъ къ себѣ. Пріѣхала одна ея московская знакомая, пѣвица; словомъ—будетъ пріятно.

— Поблагодарите за меня, отвѣчала Катерина:—очень жалѣю, что не могу быть.

— Ахъ, душка, почему? вступилась Ольга.—И я буду! отчего вы не хотите...

— Не могу.

— Ахъ, это потому, что братъ пріѣхалъ!

— Я ее не стѣсняю, возразилъ любезно Викторъ.—Я самъ хотѣлъ быть у Волкаревыхъ. Но, кажется, слѣдуетъ прежде быть утромъ.

— «Кажется!» Будто вы не знаете?

— Я, вѣдь, азіатецъ, дикарь. Въ которомъ часу у васъ здѣсь дѣлаютъ визиты?

— Ah, mon Dieu, que c'est drôle! закричала, хохоча, m-lle Ольга.

Викторъ ей вторилъ; маменька приняла участіе. Поднялись любезности.

— Если вы боитесь пѣвицы, Катерина Николаевна, сказалъ Лѣсичевъ: — то, смѣю васъ увѣрить, — поетъ прелестно, я вчера ее слышалъ,—и премиленькая женщина.

— Очень вѣрю, тихо отвѣчала Катерина:—но все равно, не приду.

Лѣсичевъ посмотрѣлъ на нее пристально.

— Катерина Николаевна...

— Что?

— Такъ, ничего... Ну, я самъ туда не пойду. Можно придти сегодня вечеромъ къ вамъ?

— Нѣтъ.

— Помѣшаю?

— Чему? спросила она какъ-то невольно горько.

— Почему я знаю! Конечно, не дурному... Третьяго дня, у Волкаревыхъ, какъ вы были веселы!.. Катерина Николаевна, я виноватъ предъ вами.

— Не знаю.
— Нѣтъ, очень знаете.
— Такъ не помню.
— И не можете не помнить. Но я вижу, что вы меня искренно простили. Спасибо вамъ за это.
Онъ незамѣтно, тихо пожалъ ея руку.
— Только третьяго дня, у Волкаревыхъ, я убѣдился, что вы меня простили. Оттого я къ вамъ и глазъ не казалъ до сихъ поръ... Оттого и прошу: дайте провести часокъ съ вами, сегодня, завтра, когда хотите. Вы когда-то сказали, что я для васъ не чужой...
Онъ говорилъ все тише. M-lle Ольга взглянула на нихъ, улыбнулась и, желая показать, что можетъ сразу пріобрѣтать поклонниковъ, еще живѣе бросилась въ разговоръ Виктора съ своей мамашей. Мамаша усердно привлекала «молодого человѣка»: Викторъ уже получилъ приглашеніе бывать утромъ, вечеромъ, всегда безъ церемоній, — и тоже съ своей стороны старался очаровывать. Лѣсичеву было не до нихъ, но, по привычкѣ все видѣть, онъ замѣтилъ, что Викторъ засунулъ свою лѣвую руку за жилетъ и, смѣясь, все-таки интересничалъ. Компанія была занята. Лѣсичевъ опять обратился къ Катеринѣ.
— Глупъ я былъ, неблагодаренъ, какъ хотите меня назовите; но я, вотъ, только въ послѣднее время восчувствовалъ, что вы тогда говорили, — тогда, давно! И до слова вспомнилъ... И вы мнѣ стали дороги...
Онъ шепталъ, потупляясь, закусывая губы.
— Катерина Николаевна, вѣдь это не объясненіе въ мазуркѣ... Вы говорили «надо другъ друга беречь...» Могу я какъ нибудь васъ поберечь?
— Спасибо, отвѣчала она тихо и кротко подняла на него глаза:—но не отъ чего.
— Не отъ чего? повторилъ онъ, въ радости забываясь, почти громко.
— Да, не отъ чего.
Лѣсичевъ вдругъ всталъ и, чтобъ не упасть передъ ней на колѣни, отошелъ къ роялю.
— Вы много занимаетесь музыкой? спросила гостья Катерину, предоставивъ Виктора дочкѣ.
— Нѣтъ; я дурно играю.
— Однако, рояль открытъ.
— Вчера вечеромъ, отъ нечего дѣлать.
— Это разочарованіе мнѣ, сказалъ Викторъ:—я страстный любитель музыки.
— И, конечно, артистъ?
— Аккомпанирую себѣ, когда пою. Но съ годъ даже не видалъ инструмента. Была какая-то гитара, а теперь... невозможно и это!
— Ахъ, да... Но будетъ аккомпанировать сестра, а мы послушаемъ, любезно договорила гостья, подавая ему руку.—До свиданія. Теперь, мы, конечно, скорѣе дождемся и васъ, Катерина Николаевна...
— Душка, que je suis heureuse! почему-то прошептала m-lle Ольга, бросаясь цѣловать Катерину.
— Жалуюсь вамъ, Викторъ Николаевичъ, продолжала мать, по древнему провинціальному обычаю останавливаясь разговаривать въ прихожей, куда Викторъ вышелъ за ними:—сестра ваша затворница!
— О, я постараюсь ее исправить, отвѣчалъ Викторъ.
Лѣсичевъ колебался уйти или остаться, посмотрѣлъ на это прощанье, взялъ шляпу, молча простился съ Катериной и ушелъ, не взглянувъ на Виктора.
Виктора какъ будто озадачила эта неучтивость, какъ будто смутило еще что-то; онъ хотѣлъ тоже уйти, но вдругъ передумалъ, воротился въ гостиную, сѣлъ на диванъ и взялъ газету. Мелькомъ онъ взглянулъ на сестру, равнодушно и только будто удивившись, что она тутъ. Нельзя сказать, чтобы онъ былъ совершенно спокоенъ, но онъ сообразился. Отецъ самъ указалъ сторону, съ которой можно имъ овладѣть, слѣдовательно, нужно только дѣйствовать ловчѣе и бить по этой сторонѣ; она оттого дѣлается еще чувствительнѣе: простилъ во имя Господа-Бога, такъ не осмѣлится сознаться, что сглупилъ... Викторъ съ удовольствіемъ улыбнулся. Вотъ съ барышней мудренѣе. Кто ее знаетъ, что она такое... Э, найдется и у нея слабая сторонка!.. Незамѣтно, чтобъ она очень-то забрала его въ руки...
— Викторъ, сказала Катерина.
— Pardon... Онъ вскочилъ. — Что вамъ угодно? Можетъ быть, хотите читать?
Катерина тихо отвела газету, которую онъ подавалъ, и оперлась на спинку кресла, все еще не рѣшаясь взглянуть на брата.
— Намъ пришлось свидѣться... начала она твердо и, блѣднѣя, остановилась.
— Да...И, я вижу, вамъ это непріятно, досказалъ онъ.—Неужели пламенная преданность брата, воспоминанія дѣтскихъ лѣтъ...
— Будемъ говорить просто, прервала она:—Зачѣмъ ты пріѣхалъ?
— Сестра! вскричалъ онъ трагически.
— Для меня это любопытно, продолжала Катерина, становясь все спокойнѣе и холоднѣе.— Отвѣчай прямо.

— И ты еще отрицаешь чувство, отрицаешь? повторялъ онъ: — но ты сама, сейчасъ... Сестра, это сердечное ты...

— Привычка, возразила она, отступая.

— Нѣтъ, Catherine, о, нѣтъ! Это порывъ сердца, это сама природа...

— Оставь меня! вскричала она нетерпѣливо. — Если ужъ я осуждена видѣть тебя, выдерживать, молчать,—такъ я тебѣ объявляю, чтобъ ты не смѣлъ подступать ко мнѣ ни съ какими комедіями, ни съ лестью, ни съ разговорами, чтобъ ты даже въ шутку... какъ вотъ, сейчасъ, при этой барынѣ... не позволялъ себѣ подумать взять надо мной власть! Даже въ шутку, говорю тебѣ, въ малѣйшихъ пустякахъ! Ты для меня чужой. Я отъ тебя съумѣю оградиться. Я не о себѣ хлопочу... Отвѣчай мнѣ, зачѣмъ пріѣхалъ.

— Я сказалъ: моя привязанность...

— Я ей не вѣрю.

— Что-жъ я скажу еще? возразилъ онъ съ достоинствомъ.—Я хотѣлъ видѣть моего отца.

— И видѣлъ. Зачѣмъ же ты остался?

— На то воля отца.

— Воля отца? Ты его обманулъ... Ну, на этотъ разъ поступи честно: уѣзжай по своей волѣ.

— Странное предложеніе!

Онъ засмѣялся.

— Не странное, Викторъ, возразила она печально и тихо. — Ты сдѣлалъ много дурного, удержись отъ послѣдняго: не отравляй жизни отца. Большей розни понятій, какъ между нимъ и тобой—быть не можетъ... Неужели это надо еще объяснять? Ты самъ знаешь!.. Но ты не понимаешь страданія отъ розни понятій.

Викторъ принужденно вытаращилъ глаза.

— Онъ нуженъ обществу. Не дѣлай его неспособнымъ трудиться, ожесточеннымъ человѣкомъ. Вздорныя дрязги раздражаютъ, отнимаютъ смыслъ, справедливость. Отъ твоихъ выходокъ могутъ потерпѣть сотни людей...

Гримаса изумленія Виктора переходила въ насмѣшливый испугъ.

— И еще... Но ужъ этого ты совсѣмъ понять не можешь!.. Гражданинъ, человѣкъ, по праву гордый предъ людьми и предъ Богомъ... о, милый отецъ!.. Викторъ, уходи, уѣзжай! умоляю тебя, ради чести отца! я готова просить тебя, только избавь его отъ стыда!

— Вы очень горды, сказалъ онъ, усмѣхаясь.

— Да.

— Да-съ; вижу. Можно подумать, слушая васъ, что только вы одни и понимаете благородныя чувства... что вамъ противорѣчить! Только ужъ очень вы себѣ присвоиваете попечительство надъ батюшкой; понятно, что желаете оставаться съ нимъ однѣ, — да дѣлать-то нечего-съ: уступите и мнѣ частицу. Можетъ быть, у меня нѣжности не меньше чѣмъ у васъ, только краснорѣчія нѣтъ, выражаться не мастеръ.

— Ты, однако, краснорѣчиво выразился въ послѣднемъ письмѣ, сказала она со злостью.

— Въ какомъ письмѣ? когда?

— Въ письмѣ ко мнѣ, два мѣсяца назадъ.

— Catherine, я умиралъ, я былъ въ бреду, въ горячкѣ...

— Неправда, ты не умиралъ. Ты тогда же писалъ отцу. Объясни, что значило твое письмо ко мнѣ.

Она сложила руки и ждала. Викторъ смутился.

— Я не знаю, чего вы не понимаете, возразилъ онъ наконецъ.—Это очень натурально... Душа переполнилась; я высказался сестрѣ...

— Ты высказался? настойчиво повторила Катерина, подходя ближе.—Отъ полноты души? Ты самъ въ этомъ сознаешься? Ты высказался? Подумай, не возьмешь ли этого слова назадъ?

— Не понимаю, чего вы добиваетесь. Ну, да, что чувствовалъ, то и выразилъ... Если, вы претендуете, тамъ было что нибудь оскорбительное для васъ, я готовъ извиниться...

— О, не безпокойся! тотъ, кто писалъ это письмо, оскорбить меня не можетъ!

— Это, право, странно... Я не свѣтскій человѣкъ, тонкостей не понимаю; что такое я могъ сказать...

— Что? Ты хвастался, что воровалъ, ты хвастался, что убилъ человѣка, ты ругался надъ закономъ, который тебя осудилъ, ты осмѣлился заподозрить отца, что онъ крадетъ... вотъ твои чувства, вотъ какъ ты высказался...

— Позвольте мнѣ видѣть это письмо...

— Неужели ты воображаешь, что я стану его беречь?.. И у тебя достаетъ наглости смотрѣть мнѣ въ глаза, притворяться? Вѣдь я знаю, каковъ ты; ты самъ себя выдалъ и сейчасъ подтвердилъ, ты меня не проведешь слезами и божественными словами... ты и надъ ними ругаешься!

— Позвольте, сдѣлайте одолженіе, видѣть это письмо, повторилъ Викторъ очень почтительно.

— Развѣ я могу лгать, какъ ты? вскричала она внѣ себя:—я тебѣ сказала—нѣтъ его, изорвала, сожгла, чтобъ людямъ не попалось, отца берегла... Столъ свой берегла, чтобъ на немъ такой ужасъ не лежалъ!

Викторъ улыбнулся, замѣтно переведя духъ.

— Вы изволите говорить, что я лгунъ. Ну, а мнѣ ужъ позвольте видѣть въ этомъ письмѣ однѣ мечты вашего воображенія.

Онъ подвинулъ себѣ подушку подъ локоть и взялъ газету.

Катерина осталась неподвижно среди комнаты. Это было что-то непонятное, неожиданное. Точно кто-то шепнулъ ей, что ее поймали и одурачили. Чрезъ темное, сплошное, страшное горе перелетѣла мелкая, дрянная досада; хотѣлось отмахнуться, презрѣть... но вдругъ по душѣ потянулись отвратительныя чувства, отвратительные помыслы, житейски-вѣрныя догадки, что-то забавно ужасающее. Вѣдь если бы тогда не пожалѣть отца, не поделикатничать, а показать это письмо, или хоть припрятать его до случая—вѣдь, этого несчастья не было бы... Идеалистка! Ну, теперь и справляйся какъ знаешь!.. Она съ любопытствомъ слѣдила, какъ росла и развивалась эта трусливая злость; слѣдила за своими соображеніями, убѣждалась, что могла бы быть ловка, искусна, осторожна, могла бы перехитрить хоть кого... «Будьте мудры, какъ змѣи...» подумала она, насмѣхаясь, и ужасаясь...

«Господи, пошли какое тебѣ угодно несчастье, только не эту мудрость!» сверкнуло въ ея душѣ, и вспыхнуло снова ея честное мужество. Терпѣть, но не быть виноватой!

Викторъ оглянулся на ея движеніе; она, не оглядываясь, ушла къ отцу.

Отецъ давно ждалъ, не придетъ ли она. Ему казалось невозможно, чтобъ она такъ долго, такъ упрямо могла выносить мученіе, которое должно остаться въ ея душѣ, послѣ того, что она сказала... Или она выносила это легко?.. Она должна придти, повиниться. Онъ готовъ простить, но пусть придетъ. Становилось какъ-то жаль ее; воображалось, какъ, сейчасъ, она явится...

Онъ принялся за работу, въ другой разъ въ это утро, и не могъ работать. Катерина была ему нужна; онъ не звалъ ее со злости.

Наконецъ, она вошла тиха, спокойна. Онъ чуть ея не выгналъ, молча бросилъ ей бумаги и сталъ диктовать, будто покоряясь необходимости. Катерина вспомнила, что ужъ такъ однажды было, но нынѣшній разъ нѣтъ, какъ тогда, надежды, что это пройдетъ. Ея мужество пригодилось только для покорности. Въ принужденіи, въ мученіи исчезала высокая цѣль труда—польза для другихъ, отрадная цѣль—помощь дорогому человѣку. Исчезало дѣтское желаніе «постараться», то, что отецъ въ шутку называлъ «писарскимъ кокетствомъ», что доставляло такія славныя минуты, понятныя немногимъ на свѣтѣ, то счастье бездѣлицъ, безъ котораго жизнь не полна. Теперь работалось прилежно по привычкѣ, по обязанности... по ужасной необходимости забыться. Работалось для себя. Что дѣлается только для себя, то не утѣшаетъ...

— Ты говорила съ братомъ? спросилъ Багрянскій.

— Да.

Больше ни слова. Въ комнатѣ раздавались его шаги, отрывистая диктовка, шелестъ бумаги, скрипъ пера, шуршанье ножа и резинки, шипѣнье сургуча, щелканье на счетахъ, будто однообразно-сложный шумъ машины, и цѣненящій, и раздражающій. Катеринѣ не разъ случалось писать не вставая по нѣсколько часовъ, но никогда она такъ страшно не уставала; у нея тѣснило грудь, ломило локти. «Будь моя воля, сейчасъ бы легла въ постель...» подумала она, тутъ же думая, что у нея нѣтъ этой воли, и что вчера она была. Мысль унесла далеко. Катерина не дослышала, что диктовалось, переспросила. Отецъ повторилъ, потомъ повторилъ еще два раза одно и то же, безъ ея просьбы, съ такимъ злымъ терпѣніемъ, съ такой насмѣшливой снисходительностью, что Катерина приподнялась на мѣстѣ... «Все брошу!» чуть не сорвалось у нея громко... Она еще ниже наклонила голову; ея стиснутые пальцы побѣлѣли; перо щелкнуло и раскололось...

— Ну, и прекрасно, сказалъ Багрянскій, равнодушно прохаживаясь.

Эта пытка длилась три часа. Пробило пять.

— Пора обѣдать.

— Сейчасъ даютъ, сказала Катерина, продолжая дописывать.

— Оставь... «Сейчасъ даютъ...» Кто привыкъ поздно, тому ничего, а кто пріѣхалъ съ зари, да не ѣлъ...

Онъ ушелъ, оставя ее одну.

Викторъ въ гостиной бесѣдовалъ съ нянькой, накрывавшей на столъ. «Господа» были близко, бесѣда не могла быть интимною и имѣла больше игривый характеръ. Въ гостиной было больше воздуха, свѣтлѣе; говоръ какъ-то освѣжалъ.

— Что у васъ тутъ? спросилъ, входя, Багрянскій.

Нянька стала болтать разный вздоръ. Она какъ-то брала смѣлость съ бариномъ, чего прежде никогда не бывало. Теперь онъ до того не похожъ на себя, что это возможно. Тишина, простота, серьезныя занятія, серьезное веселье дома ей надоѣли; она пользовалась случаемъ доказать, что не съ одной «разумницей» можно смѣяться; да и грѣшно: сынъ пріѣхалъ, а домъ словно гробъ; ей хотѣлось также придать себѣ важности и передъ Викторомъ. Пришла Катерина. Викторъ намѣревался, садясь за столъ, сыграть небольшую сцену умиленія предъ этимъ «первымъ обѣдомъ послѣ стольких лѣтъ», но благоразумно передумалъ: сценъ было довольно, отецъ и сестра, кажется, достаточно не въ ладахъ, и горячее стынетъ. Нянька, ради торжественнаго дня, отстранила Машу отъ услугъ, сама подавала кушанье и сплетничала. Неизвѣстно, откуда она брала безконечные разсказы, зная, казалось бы, одинъ свой домъ. Викторъ, будто подтрунивая надъ старухой, будто изъ снисхожденія, ловко поддерживалъ болтовню. Ему было нужно, чтобъ въ комнатѣ не молчали. Багрянскій тоже какъ-то смутно боялся молчанія. У него трещало въ ушахъ— онъ принуждалъ себя слушать; пошлость его бѣсила—онъ сталъ разспрашивать подробнѣе; потухшій взглядъ Катерины рѣзалъ ему душу—онъ засмѣялся... Веселость Виктора удвоилась.

— Это что? спросилъ Багрянскій, когда нянька поставила на столъ пирожное.

— Зефиры, сударь, отвѣчала она, торжествуя.—Это не барышня приказывала,— я сама. Онъ еще маленькимъ былъ до нихъ охотникъ.

Она никогда не знала Виктора маленькимъ, но ей не возражали.

— Люди говорятъ, сударь, нынче праздникъ, а у насъ онъ вдвое; Богъ велитъ праздновать. Да ужъ и что-жъ, все скудость... вонъ, давеча, гости пришли; слѣдовало бы имъ кофей...

— Кто у тебя былъ? спросилъ Багрянскій Катерину. Ему хотѣлось хоть одну минуту слышать ея голосъ.

— Лѣсичевъ, отвѣчала она.

— Я хотѣлъ и забылъ спросить: — кто онъ такой? обратился къ ней Викторъ, просто и добродушно, между тѣмъ какъ его взглядъ выражалъ: посмотримъ, какъ ты мнѣ не отвѣтишь.

— Чиновникъ губернатора, отвѣчала Катерина, вспыхнувъ.

— Кажется, малый съ состояніемъ, сказалъ Викторъ, продолжая ту же игру.

— Не знаю.

— Давно знакомъ съ вами?

— Давно.

— И бываетъ часто?

— Очень рѣдко.

— Рѣдко? А представьте, ma soeur, мнѣ показалось, что онъ къ вамъ неравнодушенъ!

Катерина вдругъ вскрикнула. Къ ней подъ руку сунулась огромная желто-сѣрая голова собаки, съ разинутой пастью, съ кровавыми глазами...

— Чья это? Откуда? закричалъ Багрянскій.

— Ахъ, Марсъ! вскричалъ Викторъ: — Марсъ! Марсъ!

Онъ схватилъ его за шею; чудовище рвалось, лаяло и огрызалось.

— Это мой Марсъ... Какое чутье! нашелъ меня... Я не смѣлъ... оставилъ его на постояломъ дворѣ... Catherine... Ахъ, Catherine, не сердитесь... Онъ спасъ мнѣ жизнь, мой лучшій другъ... Ахъ, Catherine, вамъ дурно! Я убью его сейчасъ, сію минуту! Няня, подай кинжалъ! Сейчасъ!

Онъ поволокъ собаку.

— Что ты дѣлаешь, ради Бога, оставь его... вскричала Катерина, внѣ себя бросаясь за нимъ.

— Ты его пощадила? Catherine, ты — ангелъ! Марсъ, проси прощенія, проси прощенія, подлецъ! кричалъ онъ громче рева собаки, топча ее ногами.— Catherine, ангелъ, прости меня!

Катерина вырвалась отъ него и убѣжала.

Въ сумерки въ домѣ все затихло, — не той милой тишиной, въ которой чувствуется отдыхающая жизнь, готовая сейчасъ проснуться для дѣла и добраго веселья, не благоговѣйной тишиной горя, кротко преклонившаго свою усталую голову. Это была тишина страха и стѣсненія, отъ которой даже воздухъ кажется тяжелѣе, въ которой такъ и носится перешептыванье и подслушиванье... Нянька, для парада, вздумала зажечь лампу въ пустой гостиной. Багрянскій и Катерина оставались порознь у себя. Виктора не было дома. Изъ его комнаты раздавалось хрипѣнье Марса.

— Денекъ!.. приговаривала нянька, прохаживаясь одна. И ей что-то становилось жутко.

— Маша, сказала Катерина, отворяя

дверь въ переходную комнату, гдѣ дѣвушка, тоже одна, пригорюнилась у окошка: — тамъ идетъ Верховской; покуда онъ еще не позвонилъ, выйди на крыльцо и откажи.

— Что-жъ ему сказать?

— Что хочешь.

VIII.

По случаю праздника въ городскомъ саду въ тотъ вечеръ было гулянье; въ бесѣдкѣ играла гарнизонная музыка. Гулялъ болошею частью средній N-скій кружокъ, довольный, что можно какъ нибудь разнообразнѣе провести время. Наряды были пестрые; общество неразборчиво и потому въ восхищеніи отъ того, что его заставляли слушать. Встрѣчались весело, говорили громко; вообще все было такъ непринужденно, нецеремонно, что немногія дамы-«аристократки» только взглянули на гулянье и оставили эту «толпу».

Викторъ прогуливался, заглядывая подъ шляпку, улыбаясь «хорошенькимъ» и заинтересовывая своими прекрасными усами и своей совершенной неизвѣстностью. Ему было пріятно производить впечатлѣніе. Уставъ ходить, онъ присѣлъ на скамейку, въ аллеѣ, напротивъ музыки. На другой скамейкѣ помѣстилось семейство одной очень почтенной чиновницы; множество розовыхъ, полненькихъ, смѣющихся дѣвушекъ. Онѣ стали поглядывать на Виктора; Викторъ, замѣтя это, не сводя глазъ, смотрѣлъ на нихъ. Дѣвушки были весьма неопытны, а онъ весьма искусенъ, и скоро его настойчивые взгляды стали производить смятеніе,—впрочемъ, скрываемое отъ маменьки, которая окликала проходящихъ знакомыхъ.

— Григорій Ивановичъ, не узнаете? закричала она, увидя Духанова.

Скорѣе можно было бы не узнать самого Духанова; онъ пріосанился, растолстѣлъ, отпустилъ модные баки; на немъ было пальто-пальмерстонъ, на распашку, отъ часовъ болталась толстая золотая цѣпь; французскія перчатки, вычурная золотая булавка у галстуха, трость съ яшмовой головкой. Его превосходительство, губернаторъ, одѣвался не дороже и держался не величавѣе. Духановъ, впрочемъ, удостоилъ узнать чиновницу, подалъ руку всѣмъ дѣвицамъ подъ-рядъ и даже присѣлъ.

— Давно васъ не видно, сказала маменька.

— Хлопотъ много въ деревнѣ-съ, въ Спасскомъ. Все лѣто такъ отъ города отбился. Да вѣдь и рай въ деревнѣ, воздухъ. Все равно какъ на дачѣ. И знаете, въ пріятной компаніи, все свое. И погуляешь, и распорядишься, и преферансикъ—дня-то и не видишь.

— Это все у Верховскихъ?

— У Лидіи Матвѣевны. Я у нихъ, могу сказать, просто, какъ у себя дома, что только мнѣ вздумается...

— То-то въ должности и не бываете, замѣтила чиновница, чувствуя себя обиженною и желая уязвить:—здѣсь ужъ стали говорить—васъ отъ мѣста прочь.

— Это что же, возразилъ равнодушно Духановъ:—пожалуй себѣ, я не гонюсь. Нынче одинъ дуракъ станетъ въ уголовной служить. Я самъ думаю выдти.

— Совсѣмъ на покой, что ли?

— Нѣтъ-съ, зачѣмъ. А куда нибудь приличнѣе для благороднаго человѣка. Въ казенную. Мнѣ Лидія Матвѣевна ужъ обѣщалась.

— Вотъ какъ. Хорошо, когда знакомство есть.

— Да-съ.

— Можетъ, и супругъ ихній вамъ предоставитъ, къ себѣ васъ возьметъ.

— Нѣтъ-съ, этого я и самъ не хочу. А покуда мнѣ и безъ должности дѣла довольно. Вотъ, сейчасъ заходилъ къ нимъ въ домъ, распорядиться, осмотрѣть, знаете, кладовыя, сараи, погреба. Варенья сахарнаго одного десять пудовъ, — то возьмите. Царями живутъ. Ну, только ужъ какой домъ наняли, совсѣмъ не по моему вкусу, въ закоулкѣ. Я говорилъ, чтобъ на бульварѣ, угловой, знаете? Нѣтъ, поручила мужу...

Духановъ рукой махнулъ.

— Должно быть, постарался онъ поближе къ своему пріятелю, моему отцу-командиру бывшему, Николаю Степановичу Багрянскому...

— Ахъ, прелесть... неосторожно сказала одна изъ дѣвицъ, глядя на Виктора.

— Что «прелесть»? спросилъ ее Духановъ.

— Вотъ, полька, что сейчасъ играли...

Викторъ поглядѣлъ на нее пристально, всталъ и пошелъ къ музыкантамъ.

— У насъ въ Спасскомъ я всякій день музыку слушаю, продолжалъ Духановъ:—Лидіи Матвѣевны родственница...

Викторъ возвратился.

— Вамъ понравилась полька; ее сейчасъ повторятъ, сказалъ онъ, подходя къ дѣвицѣ и кланяясь.

Испугъ вышелъ неописанный. Это была не обида, пожалуй, даже любезность, но —

«кто его знаетъ, что̀ за человѣкъ?» первая мысль провинціальной барыни при всякой подобной неожиданности. Почтенная мать поднялась вмигъ, сдѣлала знакъ семейству и почти бѣгомъ отправилась искать другой скамейки, но еще не начавъ поисковъ, рѣшила, что лучше всѣмъ убраться домой, «покуда не привязался». Викторъ смѣялся имъ вслѣдъ.

— Надѣлали хлопотъ! сказалъ ему Духановъ, оглядѣвъ его очень внимательно.

— Да, чуть самъ не попался: какъ еще не позвала полицію! отвѣчалъ Викторъ: — такія-то у васъ дамы?

— А вы, вѣроятно, пріѣзжій?

Духановъ жестомъ приглашалъ его сѣсть.

— Да, пріѣзжій, отвѣчалъ Викторъ и сѣлъ. Духановъ ему тоже сразу понравился.

— Издалека?

— Съ Кавказа.

— Сейчасъ замѣтно. Надолго къ намъ пожаловали?

— Да совсѣмъ.

— Отдыхать, значитъ. Позвольте быть знакомымъ. Имѣю честь рекомендоваться: Духановъ, десятаго класса.

— Очень радъ.— Багрянскій.

— Неужели Николая Степановича сынъ? Да я вашего батюшку...

— Я слышалъ, вы сейчасъ его называли. Давно вы его знаете.

Духановъ въ мигъ сообразился. Впрочемъ, соображенія было нужно не много. Исторія Виктора была въ свое время, по обыкновенію, глухо помянута въ газетахъ и, какъ исторія лица не крупнаго, не надѣлала шуму. Въ N* знали, что сынъ предсѣдателя разжалованъ — и только. Духановъ узналъ подробности отъ Лидіи Матвѣевны и, сочувствуя ей, сочувствовалъ и тому, кого она брала подъ свое покровительство; но если бы и этого не было, онъ вполнѣ раздѣлялъ убѣжденіе Виктора о чести и дисциплинѣ, а Багрянскаго терпѣть не могъ. Лидія Матвѣевна открыла также, что о возвращеніи Виктора старался Волкаревъ, по секрету отъ отца. Отношенія губернатора и предсѣдателя были очень извѣстны; если с е к р е т ъ — значитъ, хотятъ сдѣлать непріятность; если н е п р і я т н о с т ь,—то, зная своего бывшаго начальника, Духановъ легко догадывался, каковъ долженъ быть сынъ. Потому, онъ затруднился только на минуту, и то больше для вида.

— Недолго я его зналъ-съ, отвѣчалъ онъ: — но, похвалиться могу, коротко изучилъ. Образцовой жизни человѣкъ, только, откровенно скажу, суровъ. Но никогда я не забуду той чести, что бывалъ принятъ въ его домѣ.

Онъ еще нѣсколько времени продолжалъ въ хвалебномъ духѣ, но, замѣтивъ, что собесѣдникъ равнодушенъ и даже утомляется, перешелъ на другое; словоохотливо, добродушно разсказывалъ о себѣ самомъ, о своей службѣ и очень ловко и натурально обратился опять къ Багрянскому, — къ его начальнической суровости. Тутъ начались очень сложныя исторіи, со множествомъ эпизодовъ и именъ. Предсѣдатель Багрянскій являлся извергомъ, но Духановъ не переставалъ прибавлять къ его имени самыя почтительныя и лестныя прилагательныя. Викторъ заинтересовался и разспрашивалъ; Духановъ видѣлъ, что онъ вывѣдываетъ, и поддавался, чтобы въ свою очередь вывѣдать. Новые знакомые все больше сближались съ каждымъ словомъ и все откровеннѣе сообщали свои мнѣнія, поступки, приключенія. Бесѣда длилась. Они находили пріятность одинъ въ другомъ, хотя каждый мысленно сознавалъ другого мошенникомъ, и, можетъ быть, именно это и доставляло имъ удовольствіе. Случалось, они, вскользь, даже обличали другъ друга и не останавливались на обличеніи, не обижались, а смѣялись вмѣстѣ, и взаимная ловля только тѣснѣе скрѣпляла дружбу. Быстрота откровенности происходила, можетъ быть, и оттого, что каждый понялъ сразу, что ему не провести другого, а двумъ равнымъ силамъ полезнѣе соединиться. Впрочемъ, поддерживая это нравственное равенство и не скрывая, что считаетъ себя способнымъ взять даже перевѣсъ, — Духановъ, съ свойственнымъ ему тактомъ, тотчасъ поставилъ себя ступенью ниже предъ свѣтской образованностью и положеніемъ новаго знакомаго. Онъ дѣлалъ это съ насмѣшливо-скромной ужимкой, но все-таки дѣлалъ, и Викторъ, хотя понималъ его, но удовлетворялся и былъ не прочь взять тонъ свысока: все-таки онъ сынъ бывшаго начальника...

— Такъ вы и разстались съ моимъ батюшкой? за что же, собственно? спросилъ онъ, слегка подшучивая.

— Да что-жъ! отвѣчалъ, мило смѣясь, Духановъ:—вижу—одного исключилъ, другого выгналъ, того подъ судъ, того безъ суда, — думаю, чего-жъ мнѣ-то дожидаться? Вѣдь этакъ погибнешь ни за что, какъ говорится, во цвѣтѣ лѣтъ. Подыскалъ себѣ мѣстишко... Завѣдывалъ я тогда дѣлами одной госпожи Запольцевой; она постаралась. «Идите, говоритъ, хоть на это, покуда, а

тамъ доставлю лучше». Да такъ и надула. Вотъ онѣ какія, барыни. А изъ-за нея и пострадалъ, изъ-за ея дѣла, все, вотъ, это, Спасское... Ну-съ, прихожу въ палату, прошу уволить меня. И пошло! Спасскіе однодворцы ему просьбу подали... Да вы, правда, не знаете! Такъ онъ меня при всѣхъ даже сконфузилъ. За меня старшій лѣсничій, совѣтникъ вступился, что я, по бѣдности моей... Хуже! «Я,—говоритъ, родному сыну не спущу»! Такъ и сказалъ, очень мнѣ памятно. И должно быть, самому стало совѣстно — изъ присутствія вонъ, разстроился... А уволить меня,—уволилъ; потому, явныя какія-жъ причины... Я, какъ освободился, признаться, даже смѣялся! вы меня извините... «Сыну родному»!

Викторъ пожалъ плечами и извинилъ очень охотно.

— Помилуйте,—я, какъ онъ, скажу, хоть и отецъ родной, но если несправедливъ? И къ родному сыну можно быть несправедливымъ. Что-жъ онъ такъ поминаетъ своего родного сына...

— Это правда ваша, замѣтилъ Духановъ. — Я, извините меня, тогда же подумалъ и даже кое-кому говорилъ, — не зная васъ совсѣмъ! — что вашему батюшкѣ слѣдовало бы выразиться деликатнѣе. Какъ такъ, это... Неловко, ей-Богу... Мнѣ о вашемъ несчастіи одна благородная дама говорила, и, признаться, я душой скорбѣлъ. Какъ это, такимъ манеромъ, негодяй предъ вами осмѣлился... Понятно, что вы, какъ офицеръ...

— Ну, да, прервалъ, вспыхнувъ, Викторъ:—папенька мой на моемъ мѣстѣ тоже бы сдѣлалъ, оказіи не было, подъ руку не подвернулось... Онъ горячъ, а я въ него...

— Совершенно справедливо говорите! отвѣчалъ Духановъ.

Ему очень хотѣлось, по этому поводу, выслушать отъ самого героя повѣствованіе о «несчастіи», но Викторъ, еще волнуясь, вынулъ часы.

— Однако, поздно становится. Гдѣ бы здѣсь можно закусить? милости просимъ вмѣстѣ..

Духановъ принялъ приглашеніе съ подобострастной благодарностью и указалъ трактиръ, куда они отправились.

— Не смѣю просить къ себѣ, помѣщеніе мое тѣсное, говорилъ дорогой Духановъ.

— И у меня не просторно, отвѣчалъ Викторъ—все-таки, милости просимъ, заходите.

— Съ большимъ удовольствіемъ. Конечно, намъ, холостымъ людямъ, нечего церемониться. А стѣснительно вамъ должно быть, Викторъ Николаевичъ, потому — батюшка, сестрица... Я если затруднялся васъ принять, то потому, что у меня еще все не въ порядкѣ. Все лѣто живу въ деревнѣ у госпожи Верховской, Лидіи Матвѣевны. Ахъ, какая прекрасная, образованная дама! Двѣ тысячи душъ у нихъ...

— Я слышалъ, вы разсказывали. Вы говорили,—что это? мужъ ея пріятель съ моимъ отцомъ?

— Я въ шутку-съ. Обстоятельство щекотливое,—когда нибудь вамъ разскажу въ подробности. Вашъ батюшка такъ подвелъ, что Андрей Васильевичъ,—то есть, Верховской, — напуталъ дѣла супруги своей, убытокъ ей сдѣлалъ большой. Какой вашему батюшкѣ былъ отъ этого интересъ, я не знаю, не мое дѣло, только Лидія Матвѣевна супруга своего непремѣнно довѣренности лишитъ,—потому, такому человѣку нельзя...

— Кутилъ много?

— Не то чтобы... Но, знаете, человѣкъ молодой... Лидія Матвѣевна, конечно, достойная дама и чего-жъ бы ему еще, но...

— Но все-таки кутитъ, досказалъ Викторъ. — Изъ чего-жъ у него пріязнь съ батюшкой? тотъ до знакомствъ никогда не бывалъ охотникъ.

— Ужъ не знаю-съ. Еслибъ интересъ—а то вѣдь Верховскому и дать нечего: все женино. А должно быть онъ часто у вашихъ бываетъ. Я вотъ, сегодня вечеромъ, иду мимо—онъ съ вашего крыльца сходитъ.

— Сегодня?

— Вотъ, сейчасъ, какъ сюда идти. Непонятно для меня, что они могутъ между собой находить; вашъ батюшка все-таки человѣкъ разсудительный... Развѣ вотъ что: Верховской этотъ теперь важная особа... Курьезы, я вамъ скажу, у насъ въ губерніи!.. такъ не хочетъ ли чего поразвѣдать насчетъ того... Ну, да это на досугѣ; теперь не мѣсто.

Викторъ пріятно закончилъ свой день; былъ ужинъ, органъ, пѣніе, составились еще разныя знакомства. Расходясь, Духановъ предсказывалъ, что Виктору здѣсь скоро найдутся невѣсты, но совѣтовалъ «не дешевить себя».

Нянька ожидала на крыльцѣ.

— Папенька ужъ легъ, зашептала она.— Она у него сидѣла; сама пришла, онъ не звалъ. Писала, все молчкомъ. А прощался съ ней, ничего, ласково. Пойдешь къ ней?

Викторъ махнулъ рукой и отправился къ себѣ.

— Собаку я накормила. Ты-то кушать хочешь?

— Не хочу, выговорилъ онъ.

Она замѣтила, подавая ему свѣчу, что онъ блѣденъ.

— Христосъ съ тобой, красавецъ, отдохни.

Катерина слышала это возвращаніе. Стукъ и ходьба оторвали ее отъ книги, которую она читала. Она опустила книгу на колѣни и засмѣялась.

Бываетъ же безуміе: вообразить, что, читая, можно успокоиться, цѣлый часъ слѣпить глаза, не понимая ни слова, и только сію минуту оглянуться, что не понимаетъ! Вотъ какъ одуряются.

Она со злостью бросила книгу въ уголъ...— Еще лучше! Недостаетъ только выучиться срывать сердце!..

А хорошо тому живется, кто срываетъ сердце!..

Божеская жизнь! Съ обоими душа въ душу, думай какъ хочешь, говори, что хочешь, и поняли, и поддержали, и приласкали... Свой уголъ, свое дѣло... Какая утѣха во всякомъ дѣлѣ! Умъ занятъ; все, что есть на свѣтѣ — все свое, родное! И какъ все пышно, нѣжно, прекрасно! Вѣра въ жизнь, въ милосердіе Бога, все это счастье, чѣмъ думалось замѣнить и благодарно замѣнялась невозможность счастья принадлежать ему нераздѣльно...— И ничего больше нѣтъ!

Если бы онъ уѣхалъ, если бы разстались на вѣки — какъ она рѣшала тогда, — здѣсь оставалось бы спокойное, честное существованіе, дорогой долгъ и отрада въ этомъ самомъ долгѣ, отрада въ трудѣ, въ тишинѣ дома, куда не смѣло войти ничто недостойное... А теперь?

— Какое есть еще горе? Какое есть еще униженіе послѣ тѣхъ, что сегодня вынесены?

— Сейчасъ убѣгу куда нибудь, я свободна! Къ нему убѣгу, я его люблю! Семья уничтожена, жизнь отравлена... Судъ людской? Вздоръ!.. Грѣхъ? Какой грѣхъ? Душу отдала—не сочла грѣхомъ, а это... Онъ будетъ счастливъ...

— Отецъ, что-жъ, еще это я обрушу тебѣ на голову? Еще я тебя оставлю? въ жертву моему идолу брошу живого человѣка? По какому праву?.. Нѣтъ, — жертвовать собой, не жертвовать никѣмъ!

Она рыдала.

— «Помни этотъ день и часъ...» Помню!.. Останусь, несчастный, останусь съ тобой, не дамъ тебѣ унижаться, помогу тебѣ жить... потому что ты самъ чувствуешь, что виноватъ, и не отступишься—твой Богъ велѣлъ тебѣ простить!.. Твой Богъ... А мой Богъ... Неужели онъ у насъ не одинъ?

— Творецъ, вскричала она, на колѣняхъ у своей постели:—но что же я такое? Не могу простить и не хочу, ни въ чемъ не каюсь—и мнѣ не страшно!

Она, забываясь, припала къ подушкамъ. И вдали, и кругомъ, казалось, что-то разливалось какъ волна, что-то гудѣло, будто слышалось какъ летитъ время; что-то охватывало, закачивало и влекло, томительное, какъ удушливый сонъ... Она вдругъ вскочила и рванулась къ балкону.

— За что-жъ я прогнала его сегодня?

По небу неслись разорванныя облака, полный мѣсяцъ, казалось, бѣжалъ между ними. Мгновенно то обливалась тѣнью, то бѣлѣла дорога, вырисовывались свѣтомъ клѣтки желѣзной кровли большого дома и сверкали холоднымъ блескомъ стекла затворенныхъ оконъ. Въ нихъ не было огня.

— Усталъ... Ужъ поздно; заснулъ... Спи, мое сокровище!

Вся прелесть, вся святыня любви мгновенно озарила ея душу.

— Милый, вотъ и я такая же бѣдная, какъ ты. Ну что-жъ? — мы вмѣстѣ, хоть врозь. Ты не обманешь... Трудился—отдыхай. Я вынесла свое—и отдохну.

Она смотрѣла на окна, тихо плакала, вдругъ отерла глаза и улыбнулась своей невинной улыбкой.

— Не буду больше, милый, сказала она вслухъ.—Прощай, покойной ночи.

Верховской былъ на вечерѣ у Волкаревыхъ.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I.

Былъ конецъ октября. Осень стояла теплая, хорошая, но городъ N* ужъ началъ наполняться; общество, разъѣзжавшееся на лѣто, возвращалось изъ деревень, собираясь веселиться. Война все разгоралась, бѣды все росли; повидимому, веселье не могло бы идти на умъ, но выходило напротивъ. Всѣхъ охватило головокруженіе, что-то безумное, ужасающее; сбирались вмѣстѣ, будто прижимаясь другъ къ другу, но собравшись, по обыкновенію, не знали, что дѣлать вмѣстѣ. Тревога забывалась, проявясь въ томъ же, въ чемъ прежде проявлялось равнодушіе: въ удовольствіяхъ, въ тратѣ денегъ. Если и томила тоска, то выражать ее было и неловко, и неудобно, и не въ модѣ; а что бы ни говорили о силѣ чувствъ, зрѣющихъ въ тишинѣ—у большинства людей зрѣютъ и выработываются только тѣ чувства, которыя выражаются громко. Отъ того, что только сбивчиво томитъ и пугливо волнуетъ, всего натуральнѣе — искать забвенія. Люди веселились съ испуга. Трудно иначе объяснить вдругъ усилившуюся роскошь, страшную картежную игру и то множество праздниковъ, которые наполнили эту осень и слѣдующую зиму, отъ столицъ до мелкихъ провинціальныхъ городовъ.

Веселый городъ N*, забывавшій грозу, которая разрѣшалась съ небольшимъ за тысячу верстъ на краю его отечества, дышалъ и упивался своею внутренней маленькой непогодой; она чувствовалась въ воздухѣ и влекла полюбоваться вблизи. И въ неподвижности живетъ желаніе сильныхъ ощущеній. У этихъ людей не было ни силы, ни охоты броситься въ ту роковую и кровавую схватку, но, какъ пошло они отшучивались,—«время воинственное»: они съѣзжались въ N* посмотрѣть на губернатора подъ слѣдствіемъ. Противъ Волкарева не имѣли особенно сильной злобы, но онъ рисковалъ попасться, и это было для нѣкоторыхъ пріятно, для многихъ забавно, для всѣхъ интересно. Интересно посмотрѣть. какъ онъ держится. Не зная, чѣмъ можетъ кончиться слѣдствіе, не желая разстроивать общественныхъ удовольствій, которыя въ губерніяхъ, какъ извѣстно, поддерживаются добрыми отношеніями съ властью, всѣ пріѣзжіе, а N-скіе жители тѣмъ болѣе,—продолжали выражать губернатору свое почтеніе и преданность даже едва ли не жарче, чѣмъ когда нибудь. Волкаревъ казался этимъ искренно тронутъ, попрежнему произносилѣ патріотическія рѣчи за ужиномъ въ клубѣ, попрежнему любезничалъ съ хорошенькими женщинами и давалъ обѣды.

— По-просту, по-провинціальному, по-деревенски, мой милый, говорилъ онъ Верховскому, обходя съ нимъ карточные столы, являвшіеся тотчасъ послѣ обѣда:—закончимъ день какъ начали, вмѣстѣ...

Верховской еще болѣе интересовалъ пріѣзжихъ; о немъ много и давно говорили, его старались увидѣть и увидѣли скоро, потому что онъ возобновилъ свое обыкновеніе бывать почти всякій вечеръ въ клубѣ, иногда поздно, иногда ненадолго. Не играя въ карты, держась въ сторонѣ, онъ производилъ впечатлѣніе. Женщины говорили, что онъ разочарованъ; мужчины слегка сторонились отъ него, но недолго; онъ самъ день ото дня все больше сближался съ обществомъ и, знакомый со всѣми въ городѣ, перезнакомился и съ пріѣзжими. Это отнимало много времени, но дѣла, справки, донесенія, «отношенія, затребованія, разсмотрѣнія»,—все это такъ утомляло, что часто хотѣлось бѣжать отъ нихъ куда нибудь и слушать вздоръ,—именно, вздоръ, чтобы дать отдохнуть головѣ. Во вздорѣ, впрочемъ, безъ излишней требовательности, встрѣчалось нерѣдко и пріятное. Провинціальная жизнь была такая добрая, гостепріимная, на-распашку; не все изящно, но что же дѣлать,—приходилось брать, что есть. Знакомства какъ будто стѣсняли, обязывали, но это ощущеніе скоро прошло: встрѣчалось слишкомъ много забавнаго, становилось въ самомъ дѣлѣ веселѣе...

Верховской сказалъ себѣ, что изучаетъ провинцію.

Онъ подумалъ это сначала въ шутку. Бываютъ шутки втягивающія. Случается, что такая шутка забредетъ въ голову въ минуту ѣдкой печали, недовольства окружающимъ, и, насмѣшивъ на минуту, вдругъ какъ-то освѣтитъ положеніе; въ немъ мелькнетъ что-то, до сихъ поръ будто еще незамѣченное. Это что-то—обманъ, не предметы, а бѣгущія, кривыя, ломаныя тѣни предметовъ; но для человѣка утомленнаго однообразіемъ—это находка: онъ принимается вглядываться,—какъ вглядывается, мечтая, въ формы облаковъ, какъ, въ лихорадкѣ,

создаетъ себѣ картины изъ пятенъ на стѣнѣ. Но мечтанія и лихорадка проходятъ скорѣе, чѣмъ пустая мысль, которой человѣкъ, отъ нечего дѣлать, придаетъ важности. Верховской размышлялъ, что судьба не напрасно занесла его сюда; что въ столицѣ отъ него ускользали многія черты общественной жизни, многіе типы, многія понятія, что, вотъ, теперь досугъ узнать ихъ. Размышленіе началось съ шутки, а затѣмъ и предметы наблюденія повернулись своей мелочной, забавной стороною: сплетни, «исторіи», анекдоты... Въ самомъ дѣлѣ, провинція—потѣха, и всякій день новая, для новаго человѣка. Верховской входилъ во вкусъ, привыкалъ. Ему придавали вѣсъ, окружали нѣкоторымъ почетомъ; это показалось сначала смѣшно, а потомъ... Почему-жъ не принимать того, что намъ даютъ и чего мы стоимъ въ самомъ дѣлѣ? Вѣдь эти люди... не забавляясь ими, съ ними жить нельзя. «Долгъ, трудъ»,—все это идеальничанье и фразы. Жизнь вблизи — болѣе или менѣе неостроумная комедія, вся на изворотахъ и обманѣ; это свалка за выгоду, гдѣ одолѣваетъ тотъ, кто сильнѣе, гдѣ не правыхъ не переловишь и не перебьешь, гдѣ всѣхъ глупѣе тотъ, кто вообразитъ себя помазаннымъ свыше на защиту угнетенныхъ, ужъ не говоря о томъ, что самъ-то онъ можетъ сто разъ ошибить и признать праваго виноватымъ... Ошибаться свойственно человѣку!

Люди, которые съ перваго раза показались не по душѣ, связывались житейскими и дѣловыми отношеніями и привѣтливо искали сблизиться. Уклоняться отъ нихъ было бы неловко, грубо. Верховской еще подумалъ, что это заискиванье—разсчитано, но тутъ же посовѣстился такого подозрѣнія... Онъ былъ не въ духѣ, когда оно пришло ему на умъ, и кстати подумалъ, съ досады, что это подозрѣніе у него не собственное, а внушенное.

— Если такъ подозрѣвать, то куда же дѣнутся всѣ восторженныя исповѣданія вѣры въ людей, различныя желанія общаго блага, стремленія, труда заодно, и прочее, и прочее? Простираемъ объятія всему міру,—не мѣшало бы опредѣлить, съ кого они должны начинаться...

Господа, стремившіеся въ его объятія, понимали его сразу, обманывали понемногу и, для полноты своего успѣха, громче другихъ говорили о серьезности блестящаго слѣдователя. Верховской самъ въ нее вѣрилъ, въ то же время совершенно отрицая серьезность дѣла, которымъ занимался. Онъ такъ мало думалъ о немъ, что, не смотря на полтора мѣсяца работы, не подвинулъ его нисколько и еще сколько возможно затемнилъ и запуталъ,—конечно, самъ того не желая. Онъ принимался за него отрывками, капризно, «по вдохновенію», и, отъ нечего говорить,—говорилъ о немъ иногда съ посторонними,—правда, отвлеченными фразами, отъ неопредѣленности того, что думалъ и отъ опасенія сплетень. Но неясныя, отвлеченныя фразы принимались къ свѣдѣнію тѣми, кто могъ извлечь изъ нихъ свою выгоду. Верховской высказалъ однажды, что подробности, незначительныя съ вида, могутъ иногда, болѣе крупныхъ, бросить свѣтъ на дѣло, что онъ дорожитъ ими, потому что не идетъ избитой дорогой, а руководится нравственнымъ убѣжденіемъ, которое важнѣе уликъ. Это было очень ново и сначала озадачило, но провинціальные молодые люди сообразились скоро. Верховской желалъ подробностей,—подробности множились безъ конца, разсказывались догадки, случаи, разговоры,—была бы охота слушать. Верховской основывался на нравственномъ убѣжденіи,—убѣдиться въ чемъ нибудь можно было только посредствомъ дознанія и переписки. Верховской, конечно, не поѣхалъ самъ дѣлать никакихъ дознаній, а переписка по дѣлу о наслѣдствѣ Мауровыхъ доросла до неслыханныхъ размѣровъ. Онъ сказалъ, что не любитъ поспѣшности;—всѣ опаздывали, и такъ ловко, что если бы онъ вздумалъ поторопить, имѣли бы право возразить, что медлятъ въ угоду ему... Онъ замѣчалъ, что тутъ какой-то обманъ, и терялся, не зная, кого спросить; замѣчалъ, что поднималъ путаницу и, злясь на себя, съ размаху путалъ еще больше. Увидя ошибку, онъ вдругъ сдерживался, присматривался—видѣли ли другіе, что онъ надѣлалъ,—смѣялся втихомолку, злился снова, ждалъ спокойной минуты, чтобы поправить дѣло, и когда приходила такая минута, говорилъ себѣ, что надо отдохнуть. Спохватываясь, что все это происходитъ на глазахъ у постороннихъ; что это и глупо, и неосторожно, онъ успокоивалъ себя презрѣніемъ къ этимъ постороннимъ и отговоркой, что все это «еще успѣется»...

Онъ не торопился. Ему нужно было время... На что—онъ не могъ сказать положительно, но онъ ждалъ чего-то, ждалъ день за днемъ, то нетерпѣливо, вспышками, порывами, то спокойно, почти холодно; ждалъ счастья... Однимъ томленіемъ и ожиданіемъ жить невозможно. Недовольный собою, не сознаваясь себѣ въ этомъ и не желая сознаваться, онъ хотѣлъ развлеченія. Онъ называлъ это бѣдное желаніе—юношеской жаждой жизни, жаждой забвенія, прерывалъ свои

размышленія смѣхомъ, а свои занятія—визитами, и бросался развлекаться всѣмъ, что могъ доставить ему городъ N*.

Онъ терялъ день; подъ вечеръ ему становилось какъ-то стыдно и скучно, старой скукой прежнихъ годовъ, забытой въ послѣдніе мѣсяцы, начинавшей опять подниматься. По неотвязной привычкѣ Верховской все еще иногда оглядывался на то, что дѣлалъ и чувствовалъ; это ни къ чему не вело, озлобляло, лишало послѣдней бодрости. Случалось вдругъ, порывно, когда мучительная оглядка приходила ему среди общества, онъ оставлялъ общество, прерывалъ начатой разговоръ, то подъ пустымъ предлогомъ, то вовсе безъ предлога, бѣжалъ домой, хватался за дѣла, будто ища въ нихъ спасенія, бросалъ чрезъ полчаса; распахивалъ окно на осенній холодъ и смотрѣлъ... Въ головѣ у него смутно, пестро мелькало все видѣнное въ теченіе дня, припоминалось, что прежде онъ искалъ смысла въ жизни этого общества, не находилъ, негодовалъ, а внутренній голосъ подсказывалъ, что смыслъ — въ обратной сторонѣ этого вздора, смыслъ глубокій, страшный до безнадежности... Тогда раздавался еще другой голосъ; онъ призывалъ и приказывалъ смотрѣть въ глубину, не отвращаясь и не робѣя, разбирать не отступая, негодовать, но надѣяться, прощать невѣдущимъ, не забавляясь... Другой голосъ!..

Верховской усталъ его слушать. Онъ еще не назвалъ сознательно, по имени, эту усталость, но онъ ее испытывалъ. Онъ клялъ идеалы,—этотъ холодъ, эту помѣху. Недаромъ щемило сердце въ рѣшительную минуту—оставаться или не оставаться здѣсь: ничего не добился—и уходитъ послѣднее!

Онъ бывалъ у Катерины, проводилъ вечера, но ужъ не попрежнему. Тамъ стало принужденно, скучно; не слышно больше ея смѣха, ея пѣсенъ. Она разговорчива, но раздражена, споритъ жарче прежняго, рѣзка... несправедлива. Она требуетъ больше, чѣмъ можетъ взять на себя человѣкъ. Прежде это вознаграждалось... Верховской не умѣлъ опредѣлить чѣмъ. Она никогда не говорила о себѣ. Верховской, не разбирая почему, старался не замѣчать этого. Если бы онъ себя провѣрилъ, то долженъ былъ бы сознаться, что разсказы Катерины о ея собственномъ положеніи могли не тревожить его, а раздосадовать: во-первыхъ, они отняли бы время, а потомъ... Потомъ они потребовали бы сочувствія. Верховской нетерпѣливо говорилъ себѣ, что есть нелѣпыя несчастья. Но то, что было несчастьемъ для Катерины, казалось Верховскому даже не несчастьемъ, а обыкновеннымъ житейскимъ дѣломъ: отъ вѣка рѣшено, что ладной семьи не бываетъ.

— Милая, будь только сама собою. Право, тебя достанетъ! сказалъ онъ ей страстно.

— Ты въ меня крѣпко вѣришь, сказала она.

Онъ не думалъ такъ высоко. Онъ скучалъ, утомлялся, ему просто хотѣлось покоя и веселья. Онъ втягивался въ житейскую мелочь, мысль его тяготила: взглядъ пошире его безпокоилъ, пошлость входила въ его плоть и кровь. Это шло быстро. Въ жизни день за день, гдѣ усыпляющее довольство чередовалось съ мимолетными поверхностными волненіями, сильная страсть могла бы разбудить, образумить, спасти... Для Верховского она стала толчкомъ, который каждый день сбрасывалъ его все ниже; паденіе все ускорялось; что еще было или казалось крѣпкаго въ душѣ—все разбивалось, все разсыпалось будто тлѣніе отъ прикосновенія рѣзкаго, чистаго воздуха... Двѣнадцать лѣтъ не сдѣлали того, что сдѣлали нѣсколько мѣсяцевъ...

Онъ спрашивалъ себя, за что онъ такъ безумно ее любитъ, какъ онъ могъ ее полюбить?.. Онъ смотрѣлъ въ темноту; въ ней вставали образы прошлаго. Все, что въ дѣтствѣ, въ ранней молодости узналъ онъ лучшаго и святого—отняго только къ такой любви; въ ней повторилась, воплотилась его мать, кротость, радость, совершенство. Только передъ этимъ образомъ могъ онъ преклониться: въ немъ вполнѣ отразился далекій идеалъ вѣчной правды... Онъ подступилъ ближе и смутился: память идеала переживаетъ въ душѣ силу, которая даетъ его достигнуть. Эта кротость не все прощаетъ, эта радость гонитъ на заботу, эта любовь чѣмъ больше любитъ, тѣмъ меньше щадитъ...

— Щадить тебя? значитъ сомнѣваться въ твоихъ силахъ, говоритъ она.

Какія силы?..

«Жизнь врозь заодно»... Отъ нея приходится скрывать три четверти того, что переживается!

Осталось одно земное стремленіе, одна земная цѣль...

Она такъ хороша! У нихъ точно смерть прошла въ домѣ, а она все хорошѣетъ. Въ горѣ къ ея красотѣ прибавилось что-то просвѣтленное, ласково-гордое; такъ звѣзды ярче сверкаютъ въ промежуткахъ непогоды. Она нѣжнѣе день ото дня, все заботливѣе—и все строже... О, Богъ съ ними, съ заботами, съ разспросами, съ долгомъ, съ гражданской добродѣтелью!.. Ея забота будто упрекъ тѣснила ему душу; онъ клялъ ея восторженныя рѣчи,

онъ боялся ихъ какъ виноватый, но ея поцѣлуи доводили до безумія. Дождаться поздняго вечера, перескочить къ ней въ садъ, обнять ее, сказать нѣсколько словъ въ ея комнатѣ... и не смѣть выговорить рѣшительнаго слова, а безъ словъ она не понимаетъ! И это—всякій день! и только всякій день! По утру эта пытка вспоминается какъ блаженство, укрѣпляетъ какое-то мужество, зажигаетъ какую-то надежду. И опять цѣлый день пошлости, бездѣлья, темноты, опять до отчаяннаго ожиданія огонька въ окнахъ, опять до ночи съ мерцаніемъ вѣчныхъ звѣздъ...

Но вѣдь хорошо еще, что Господь посылаетъ ясныя ночи, а, глядишь — и октябрь на дворѣ...

— Это нелѣпо, глупо, я не ребенокъ! за что-жъ я люблю ее? повторялъ онъ.

И опять тоже, роковое, вѣчное стремленіе, мучительная память идеала, жалость о погибшей молодости, очарованіе красоты, горячка страсти, опять безъ мысли, безъ разбора, — одно желаніе ея объятій и — что бы ни было потомъ... Вѣдь живутъ же счастливо тысячи людей на свѣтѣ...

— Катя, счастье такъ близко, такъ уютны эти двѣ комнаты, такъ пустъ этотъ огромный домъ...

Домъ скоро наполнился. Цѣлую недѣлю обозы изъ Спасскаго перевозили пожитки и запасы; съ утра до вечера поднималась возня, раздавались голоса, стукъ и надъ всѣмъ крики Духанова. Верховской слышалъ все это изъ своей комнаты.

Онъ слушалъ какъ будто привычное. Ужъ было это, когда водворялись въ деревнѣ. Неужели такъ глупо жить и здѣсь? Вѣдь это на глазахъ у людей, которые все-таки что нибудь смыслятъ. Въ Петербургѣ допускается экономія, а въ провинціи тратятся широко. Мѣщанская скаредность гадка. Верховской смѣялся, вспоминая скрягу Мауровскаго дѣла; вотъ въ родѣ этого и супруга, если бы не любила похвастать. Куда и на что беречь сотню тысячъ дохода?

Онъ еще минуту подумалъ, какое ему до этого дѣло?..

А такое дѣло, что въ Петербургѣ на него пальцами не указывали, а здѣсь укажутъ: онъ человѣкъ примѣтный. Довольно, что лѣтомъ цѣлыхъ двѣ недѣли разыгрывалась роль лакея на вытяжкѣ, на смѣхъ всякому франту безъ сапогъ. Можно не пользоваться, если ужъ такъ противно, но можно въ руки взять, заставить хоть разъ послушаться. Жить, такъ жить по-человѣчески... А то— будуары во вкусѣ monsieur Духанова!..

Къ великому удивленію Духанова, когда все было убрано вчернѣ, Верховской вышелъ распоряжаться и очень повелительно. Онъ заботился о порядочности и изяществѣ своего жилья съ такимъ вниманіемъ и умѣньемъ, какъ будто во всю жизнь свою не занимался ничѣмъ другимъ. Онъ могъ бы сказать, какъ говаривала о себѣ его жена, что на него нашло вдохновеніе. Онъ настоялъ, чтобы Лидія Матвѣевна прислала цвѣты, померанцевыя и всякія деревья изъ спасскихъ оранжерей, указывалъ, какъ устанавливать горшки, выписалъ изъ Москвы вазы и жардиньерки, перемѣнялъ обои, выписалъ матерію для новой мебели, работы спасскихъ столяровъ, предмета гордости Лидіи Матвѣевны; наблюдалъ, какъ развѣшивали драпировки, училъ вкусу садовниковъ и обойщиковъ — понимая въ первый разъ, что съ этимъ народомъ можно терять терпѣніе; — нанялъ прекрасный рояль у настройщика, который ужъ отчаявался куда нибудь его сбыть въ немузыкальномъ городѣ N*; нанялъ лошадей, экипажи, выписалъ вина и потребовалъ, чтобы Лидія Матвѣевна не оставляла на сохраненіе въ деревнѣ ни одного сундука съ драгоцѣннымъ серебромъ и хрусталемъ, ни одной бездѣлки для украшенія этажерокъ. Ему понравилось выписывать: на столахъ явились альбомы дорогихъ гравюръ. Онъ хохоталъ, воображая, какъ удивится Лидія Матвѣевна, и, заодно, убралъ ей письменный столъ.

— О, молодость! думалъ онъ: — когда ты пройдешь? Когда перестанетъ шевелиться въ душѣ что-то такое шаловливое, вызывающее, горячее?.. И еще спрашивать когда? Нѣтъ! пусть этотъ огонь горитъ вѣчно!.. Вотъ и сдѣлано по-своему. Какъ барыня себѣ хочетъ, а сдѣлано...

Духановъ, посланный въ Спасское съ докладомъ, что все готово, былъ принужденъ сознаться Лидіи Матвѣевнѣ, что въ самомъ дѣлѣ все на славу, и что самъ Андрей Васильевичъ, узнать нельзя — распорядителенъ, обходителенъ, веселъ, совсѣмъ другой человѣкъ. Лидія Матвѣевна поѣхала раньше остальнаго семейства, чтобъ посмотрѣть, и ахнула на расходы.

— Нельзя, мой другъ, возразилъ ей Верховской: — знакомствъ такъ много, и твое положеніе...

Она скоро убѣдилась, что положеніе прелестное, и больше не поѣхала въ Спасское, предоставивъ кузинѣ и дѣтямъ собираться какъ знаютъ. Здѣсь такъ хорошо ужъ все устроено, André такъ мило

встрѣтилъ, а по немъ, все-таки, иногда бывало скучно.

Ей только сначала не понравилось, что комнаты André такъ далеко отъ ея комнатъ, но когда она увидѣла тамъ вороха бумагъ, и послушала его разсказы о дѣлахъ, нарочно сбивчивые и нарочно долгіе, то закричала по-институтски, что все это презрѣніе, и что она больше сюда не заглянетъ. Онъ, душка, милашка, самъ долженъ приходить къ ней. Верховской доставлялъ ей это удовольствіе. Три дня до пріѣзда дѣтей, Лидія Матвѣевна блаженствовала. Потомъ настало другое блаженство. Накатавшись съ визитами, она воротилась въ восторгахъ.

— André, божественный, меня какъ царицу принимаютъ!

Верховской вдругъ серьезно подумалъ, что такъ и слѣдуетъ: его жена должна быть встрѣчена вездѣ съ уваженіемъ. Ужъ если они живутъ вмѣстѣ...

Это выходило какъ-то неясно; онъ не могъ вывести заключенія, что слѣдуетъ заключить изъ ихъ жизни вмѣстѣ. Онъ не могъ тоже опредѣлить своего чувства къ Лидіи Матвѣевнѣ. Онъ ее терпѣть не могъ, но жилъ съ нею совершенно равнодушно. Она его больше не тяготила, потому ли, что не затѣвала сценъ, довольная имъ, развлеченна обществомъ, потому ли, что онъ самъ былъ слишкомъ развлеченъ новымъ складомъ жизни, которому вдругъ придалъ важность.

«Пора установиться, жить какъ люди...» думалъ онъ.

Минутами, не то стыдъ, не то испугъ обдавали его будто холодомъ, становилось безъ мѣры жаль чего-то и безумно хотѣлось—только одного...

Онъ убѣгалъ чрезъ свой отдѣльный выходъ, доходилъ до знакомаго крыльца — и возвращался назадъ. Онъ больше недѣли не видалъ Катерины.

Ей жилось трудно. Она съ перваго дня знала, что такъ будетъ, знала, что этому нѣтъ конца; просыпаясь, видѣла предъ собой страшную темноту, охватившую жизнь, — засыпала, не готовя мужества на завтра: мужества достанетъ. Она выносила и билась день за день. Не могло быть борьбы сложнѣе, противоположнѣе—отъ унизительной тревоги изъ-за мелочей до страданій сердца, до утомленія ума, изнывающаго въ пошлости, до оскорбленнаго достоинства...

Казалось бы, что такое — присутствіе одного человѣка!

Все живѣе, все мучительнѣе росла въ ней ненависть къ этому человѣку. Задыхаясь, утомляясь, она была бы рада найти себя несправедливой передъ нимъ хотя въ чемъ нибудь, лишь бы облегчить свое сердце отъ этой тяжести,—разбирала — и отвращалась еще рѣшительнѣе...

Съ его появленіемъ все въ домѣ перемѣнилось,—съ житейскаго, съ будничнаго. Домашнія издержки не касались Виктора: заранѣе понимая, что ему откажутъ, онъ не рискнулъ и предложить въ нихъ участвовать. Онъ скромно, смиренно, какъ милость, готовъ былъ принять все, что для него угодно было сдѣлать и пожелалъ только одного—поститься вмѣстѣ съ отцомъ по средамъ и пятницамъ, чего не дѣлала Катерина.

— Давно ли у тебя этотъ обычай? спросила она.

— Съ моей ссылки, отвѣчалъ онъ мрачно.

Безъ объясненій, съ перваго дня, нянька взяла на себя всѣ попеченія о Викторѣ, спрашивала его приказаній, исполняла и доставляла все, что ему было нужно. Это было что-то со стороны, изподтишка, мелкое, гадкое. Багрянскій, казалось, ждалъ чего то другого и покорился, скрѣпя сердце, установившемуся порядку. Катерина открыто, хладнокровно и презрительно была имъ довольна. Но отклонивъ отъ себя заботы, она не избавилась отъ непріятностей: чрезъ няньку ей передавались требованія брата, униженныя просьбы, выраженія признательности, жалобы. Отъ себя нянька прибавляла упреки въ безчувственности. Сказавъ, что ничего не хочетъ ни знать, ни слушать, Катерина не заставила ее молчать. Нянька день ото дня становилась смѣлѣе, увѣренная, что Катерина не пожалуется отцу, а хоть бы и пожаловалась, права не останется: однажды, до разстройства нервовъ умиленный усердіемъ старухи, Багрянскій сказалъ ей спасибо за то, что она «покоитъ сына»... Катерина знала, что за стѣной ея комнаты всякій вечеръ происходятъ совѣщанія, и могла, не ошибаясь, предположить, что тамъ не щадятъ ее, знала, что въ домѣ, рядомъ съ завядающей, простой, честной жизнью, идетъ совсѣмъ другой, совсѣмъ отдѣльный бытъ,—съ вида—крадучись, прижимаясь жалостливо, робко,—въ самомъ дѣлѣ—увѣренно и нагло...

— Ужъ, кажется, сударыня, братецъ тебѣ ничѣмъ не мѣшаетъ, говорила нянька.— Ты, какъ отецъ со двора долой—въ книжку свою утупилась, а то и вовсе—дверь свою на замокъ. Братъ, какъ оглашенный, одинъ... Охъ, оглянулся бы хорошенько папенька!

Мила ты ему ужъ очень, не понимаетъ онъ въ тебѣ ничего...

Багрянскій видѣлъ и понималъ. Въ первые дни онъ еще раздражался, но вдругъ круто и рѣзко сдѣлался спокоенъ, будто не замѣчалъ никакой перемѣны, не чувствовалъ никакого стѣсненія. Его жизнь шла въ прежнемъ порядкѣ: ранній пріемъ просителей, служба, отдыхъ, работа. Въ семьѣ, не высказываясь, однимъ своимъ обращеніемъ съ Викторомъ, онъ требовалъ, чтобъ Катерина тоже не замѣчала перемѣны склада жизни; онъ, казалось, хотѣлъ убѣдить дочь, и еще больше — самого себя, что все хорошо, потому что такъ должно. Онъ только странно, мучительно все больше привязывался къ ней день ото дня, съ удвоенной нѣжностью, съ какой-то жадностью, будто хватался за нее, отъ страха остаться одинъ. Онъ звалъ ее къ себѣ каждую минуту, увѣряя себя, что хочетъ доказать ей этимъ свою любовь, а въ самомъ дѣлѣ, желая видѣть ее, видѣть только ее одну. Онъ заваливалъ ее работой; ея молодая бодрость его оживляла. Едва кончая дѣла, онъ просилъ ее читать ему вслухъ; онъ зналъ, что она это любитъ. Наслажденіе отдыха было какое-то отчаянное: Багрянскій будто украдкой схватывалъ что-то послѣднее. Чувство было томительное, и какъ-то понималось, что другого быть не можетъ, и помнилось, что прежде бывало легко, и думалось, что теперь—такъ должно... и грѣхъ это сожалѣніе о прошедшемъ, грѣхъ это удовольствіе, что, вотъ, она одна тутъ предъ глазами, грѣхъ отчуждать сына...

Онъ хотѣлъ говорить о томъ, что волновало, и не могъ, не было силъ, хотѣлось покоя. Онъ смотрѣлъ на дочь, любовался ею. Ощущеніе, сознаніе, что-то глубокое до боли, восторгающее какъ благость Божія, говорило, что, вотъ, въ ней одной его счастье... Онъ отгонялъ это искушеніе. Онъ только обнималъ ее, повторяя о благѣ душевнаго мира, о своей надеждѣ, что настанетъ время, и этотъ миръ водворится подъ ихъ кровлей.

— Это, голубка, отъ тебя зависитъ...

Ей хотѣлось возразить — и тоже не было силъ. Жаль его, жаль себя. Онъ такъ усталъ, такъ измученъ, такъ дорогъ. Для нея самой такъ тяжки эти безконечные дни и тоже хочется всего — и отдохнуть, и наговориться, и занять, развеселить, приласкать его... и, отводя душу, забываясь, она становилась прежней «сумасшедшей» Катей...

— Разыгралась!.. А что-жъ ты тамъ-то сидишь, молчишь цѣлый день какъ стѣна? спрашивалъ онъ шепотомъ, съ ужасающей кротостью...

Викторъ заставалъ эти сцены. Онѣ прекращались при немъ. Если онъ заставалъ, что сестра читала, Багрянскій прекращалъ чтеніе,—щадилъ ли онъ необразованность сына, или терялъ терпѣніе, глядя на его безмолвную, скучающую, сонную фигуру. Однажды, когда читалъ Верховской, Багрянскій сказалъ, что усталъ и, будто въ извиненіе, слегка пошутилъ надъ читаннымъ. Викторъ обрадовался шуткѣ и принялся пошло смѣяться надъ «премудростью и ученостью». Онъ видѣлъ, что сестрѣ было досадно, и хотѣлъ, чтобъ она возразила. Она не доставила ему этого торжества. Онъ доставлялъ себѣ удовольствіе улыбаться всякій разъ, какъ видѣлъ ее за книгой. Они никогда не разговаривали, оставаясь наединѣ; при отцѣ, Катерина только отвѣчала на то, что онъ спрашивалъ. У Виктора была всегда на это насмѣшливо-грустная улыбка. Къ отцу онъ относился угодливо, подобострастно, съ сосредоточенной, задумчивой печалью; слушая его, выражалъ на лицѣ такое благоговѣніе, что Катерина, вспыхнувъ, отвертывалась. Тогда Викторъ учтиво и будто испуганно спрашивалъ, что ей угодно. Чаще всего онъ уходилъ, принимая видъ оскорбленной сыновней преданности и покорности своему одиночеству.

Въ домѣ было однообразно; Викторъ скучалъ замѣтно, но почтительно и съ достоинствомъ, наконецъ, отправлялся искать развлеченій. Ихъ доставлялъ ему Духановъ. Викторъ видался съ нимъ безпрестанно, то у него, то у себя въ комнатѣ, куда Духанова проводила нянька. Катерина это знала. Зналъ ли отецъ — Викторъ не заботился. Разъ, вечеромъ, онъ привелъ Духанова къ чаю въ гостиную, униженно объясняя, что предложилъ ему переждать проливной дождь. Нескрываемая досада Катерины напомнила Багрянскому, что не должно оскорблять сына. Онъ не возразилъ, хотя и не взглянулъ на Духанова. Тотъ смиренно высидѣлъ у двери, съ фуражкой на колѣняхъ, справляясь какъ могъ съ горячимъ стаканомъ, и ушелъ еще по дождю. Викторъ въ ту же минуту грустно и покорно отправился въ свою комнату. Багрянскій былъ смущенъ.

— Батюшка, когда у васъ отъ роду бывали такіе гости? спросила Катерина.

— Всѣ люди равны... Забыла? возразилъ онъ сурово.

— Правда, правда! прервала она: — терпѣть его, такъ терпѣть и его пріятелей!

Она выговорила и ждала... Онъ смолчалъ. Но съ тѣхъ поръ онъ, точно, терпѣлъ Духанова, даже говорилъ съ нимъ...

Впрочемъ, кромѣ Духанова, другіе пріятели не показывались. Въ два мѣсяца, отдавая лишніе часы неважнымъ знакомствамъ средняго круга, Викторъ успѣлъ составить и другія. Ему съ перваго раза отворились самыя широкія двери—домъ губернатора, и было очень не трудно поправиться тамъ, гдѣ заранѣе было рѣшено принять его благосклонно. Примѣру Волкаревыхъ послѣдовали и другіе. Люди большею частью требовательны только къ тѣмъ, кто чѣмъ нибудь имъ мѣшаетъ. Викторъ никому не сталъ на дорогѣ по службѣ, ни у кого не занималъ денегъ, держался прилично, а съ вышепоставленными лицами даже почтительнѣе, чѣмъ прочая, обезпеченная молодежь. Молодежь принимала его совершенно равнодушно. Волкаревъ рекомендовалъ его «добрѣйшимъ малымъ», m-me Волкарева, предоставивъ его дамамъ, тихо удивлялась ему вслѣдъ, какъ среди всѣхъ несчастій, которыя вынесъ, этотъ молодой человѣкъ имѣлъ мужество заботится о своемъ собственномъ образованіи и сохранилъ свѣжесть сердца... Викторъ съ большимъ тактомъ избѣгалъ образованныхъ женщинъ, заинтересовывалъ читательницъ романовъ и игралъ въ карты по маленькой съ старыми барынями, которыя его за это очень любили. Онъ обыгрывалъ ихъ безъ милосердія.

— Все годится! говорилъ онъ своему другу Духанову.

Духановъ долго не могъ надивиться его счастью: Викторъ постоянно выигрывалъ; гарнизонные офицеры были его жертвами, а чиновники, — большею частью, мастера дѣла,—поплачивались ему за всѣ вечеринки, которыя онъ украшалъ своимъ присутствіемъ. Чтобъ испытать судьбу, Духановъ однажды засѣлъ съ другомъ вдвоемъ и проигралъ нежданно, невѣроятно.

— Да что-жъ это вы... вскрикнулъ онъ, руками врозь.

— Что? спросилъ Викторъ такъ хладнокровно и кротко, что у Духанова исчезло всякое поползновеніе спрашивать дальше, такъ же, какъ всякое сомнѣніе насчетъ того, что Викторъ никогда не нуждался и не будетъ нуждаться въ деньгахъ своего батюшки. Духановъ съ грустью подумалъ о своемъ собственномъ «невѣжествѣ», утѣшился надеждой, что «найдетъ коса на камень», но остался вѣренъ другу и его тайнамъ, сообщалъ ему всѣ слухи и сплетни, потѣшалъ разсказами, въ особенности о семействѣ Верховскихъ, не щадя даже Лидіи Матвѣевны и дѣлая видъ, будто не замѣчаетъ, что другъ, заставляя его разсказывать, барски потѣшается и надъ нимъ самимъ.

Не имѣя возможности принимать въ своей тѣсной комнатѣ, Викторъ угощалъ пріятелей средней руки въ трактирахъ и разсказывалъ о скаредности родителя. Для свѣтскихъ знакомыхъ, онъ чувствительно открылся m-me Волкаревой,—увѣренный въ ея нескромности,—что страдаетъ въ этой жизни на правахъ ребенка, связанъ, всячески возмущенъ, но не можетъ вырваться, не можетъ уйти жить одинъ; примиреніе было такъ недавно...

Дома, онъ вскользь говорилъ о своихъ свѣтскихъ знакомствахъ и съ ужимкой сожалѣнія приказывалъ брать карточки, если кто его спроситъ. Его спрашивали очень немногіе. Онъ навязчиво приходилъ въ гостиную, когда кто нибудь бывалъ у Катерины, любезничалъ съ дамами, вмѣшивался въ разговоръ, всегда нѣсколько насмѣшливо-покровительственно относясь къ сестрѣ, хвасталъ, разсказывалъ о себѣ небывальщины. Катерина перестала принимать и сама нигдѣ не бывала. Отецъ, занятый въ должности по утрамъ, сначала этого не зналъ, потомъ былъ недоволенъ. Викторъ, смѣлый при немъ, пошутилъ ея отреченіемъ отъ свѣта.

— Знаете, ma soeur, меня часто спрашиваютъ, почему васъ не видно, и я не знаю, что сказать.

— Что это не твое дѣло.

— Но мнѣ было бы такъ пріятно, еслибъ объ руку со мной...

Она взглянула на него такъ, что онъ замолкъ. Багрянскій будто ничего не замѣчалъ. Онъ продолжалъ ничего не замѣчать, начиная съ того, что его дѣти не прощались и не здоровались между собою. Онъ шелъ слѣпо, упрямо убѣждая себя, что правъ, что все прекрасно потому, что онъ правъ, чувствовалъ фальшь своей правоты и отклонялъ всякое сомнѣніе въ ней, какъ соблазнъ и грѣхъ. Онъ даже берегъ себя отъ всего, что могло подтвердить это сомнѣніе: не спрашивалъ никогда Виктора, гдѣ онъ бываетъ, что дѣлаетъ, на какія средства ведетъ свою свѣтскую жизнь...

— Награбилъ... подумалъ онъ съ отвращеніемъ и крестился, побѣждая лукавый помыслъ. — «Неправое стяжаніе — прахъ...» Пусть скорѣе и идетъ прахомъ!..

Ему становилось гадко... И такъ смѣло, своевольно, на глазахъ... Катерина сказала однажды, въ спорѣ,—(она все споритъ!) при

Верховскомъ:—«Люди не пользуются тѣмъ, что награбилъ негодяй, а только любуются, какъ онъ пользуется...» Понятно, о комъ говорила!.. Но какое-жъ право кто имѣетъ запретить, отнять? Чѣмъ образумить?.. Не такими намеками! Этимъ только ожесточишь... О Господи, на все Твоя воля,—самъ обратится!

Разъ, ночью, передъ зарей, онъ увидѣлъ свѣтъ въ прихожей; нянька, свернувшись на скамейкѣ, дожидалась возвращенія своего красавца. Она запиралась и такъ явно лгала, что это «только въ первой», что Багрянскій вышелъ изъ себя, крикнулъ и вдругъ остановился: онъ топалъ ногой на томъ самомъ порогѣ, который сынъ, раскаянный, облилъ слезами... Въ ужасѣ Багрянскій тихо затворилъ дверь и сталъ на молитву. Онъ вспомнилъ сказаніе о праведникѣ, который приносилъ Господу очистительныя жертвы за дѣтей своихъ, пока они пировали... Молодъ, покается, обратится!

Религіозное чувство, внушенное съ младенчества, усиленное воспитаніемъ, средой и бѣдностью, безграничная надежда на милосердіе свыше — основанія всѣхъ достоинствъ, правила всей безупречной жизни этого человѣка, — стали его единственной опорой. Онъ вѣрилъ—Господь помилуетъ,—каялся и терзался. Намолившись до утомленія, среди дня, среди ночи, возбужденный, онъ ждалъ чуда; робко, будто съ просонка, упрекая себя въ невѣріи, онъ оглядывался кругомъ, прислушивался, ждалъ, затаивая дыханіе, ждалъ внезапной, игновенной перемѣны даже въ видимомъ... Это было что-то безумное.

Все оставалось на прежнемъ мѣстѣ, все было попрежнему. Днемъ слышалось, какъ Викторъ похаживается одинъ, насвистывая цыганскіе романсы, дресируя Марса, который жадно жретъ и огрызается; слышались незнакомые голоса, скрывающіеся за дверью комнаты сына,— и мертвая тишина далеко, въ комнатѣ дочери. Ночью — затаенная бѣготня, шушуканье, смѣхъ, или та же мертвая тишина, въ прихожей мерцанье оплывающаго огарка на полу и надъ нимъ сонная ожидающая нянька. Багрянскій снималъ нагаръ съ свѣтильни и возвращался къ себѣ.

Тогда онъ подозрѣвалъ себя, что мало, недовольно усердно молился и принимался съизнова.

Эта молитва была ужасная. Онъ просилъ одной милости—семейной любви, только, только, единственной, какъ проситъ собака корку хлѣба отъ стола господъ на... Тотъ, отъ Кого не скроется капля, ни часть капли слезъ человѣка, долженъ понять его муку...

— Я исполнилъ завѣтъ Твой, Господи; за что же мнѣ такое страданіе? за что же рука Твоя отяготила? гдѣ-жъ Твое правосудіе?..

Онъ поднимался въ ужасѣ — еще новый грѣхъ!.. Но кто-жъ виноватъ?

Не онъ, отецъ простившій и покорный волѣ Господней. Не сынъ, — надъ нимъ ужъ совершилась человѣческая кара. Но поднявъ падшаго, должно ободрить его, а онъ отверженъ; должно вразумить его... кому это сдѣлать лучше, какъ не ей? она все постигаетъ, она непорочна! А она съ нимъ и говорить не хочетъ! Она виновата. Въ ней вражда, въ ней зло, отъ нея горе, грѣхъ, отъ нея жизнь въ тягость...

— О Катя, моя голубка!..

Онъ рыдалъ. Ему было ее какъ-то жаль, жаль, безмѣрно жаль. Почему?.. Онъ отворачивался отъ этого вопроса. Онъ освятился самъ для себя своимъ прощеніемъ сыну и считалъ обязанностью смирить ее, пробудить въ ней чувства раскаянія и милосердія. Это была одна его постоянная мысль. Занятый только тѣмъ, что происходило и волновало его въ семьѣ, истомленный, растерянный, онъ переставалъ сознавать, что дѣлалъ. Его тяготилъ трудъ, служба... прежде было изъ-за чего трудиться! Теперь являлась усталость, вялость въ дѣлахъ, требующихъ энергіи, копотливость въ пустякахъ, трата времени, забывчивость, что-то вдругъ старчески мелкое и злое. Его презрительный тонъ съ подчиненными, придирчивость, подозрительность становились невыносимы. Прежде его строгости боялись только виноватые; теперь, повторяя Богу, что совершилъ подвигъ благости, онъ будто свыше принялъ благословеніе карать и казнить... или, страдая и стыдясь этого «подвига», вымещалъ его на другихъ, срывалъ сердце, наслаждался, находя людей виноватыми. Въ палатѣ удивлялись и трепетали. Дома, въ утренніе часы просителей, его грубая брань на крестьянъ терзала Катерину.

— Послушайте, сказала она, захлопывая и запирая дверь въ прихожую, гдѣ толпились крестьяне: — оглянитесь на себя, что вы дѣлаете?

— Что ты, матушка?

— Что вы дѣлаете? повторила она: — вы несправедливы, вы жестоки, вы путаете. Оглянитесь. Эти несчастные,—ихъ обидѣли, они просятъ заступиться, — вся-то ихъ ви-

на—нагрубили,—а вы ихъ ведете въ ссылку! Опомнитесь, разберите!

— Не за свое берешься, Катерина Николаевна!

— Нѣтъ, за свое, возразила она рѣзко.— Вы же меня выучили. Я не за тѣмъ подлѣ васъ, чтобъ только утѣшать васъ, да успокоивать. Я не могу видѣть какъ вы, вотъ, такъ, расшатались... О, Богъ знаетъ, что такое съ вами!

Она отчаянно горько заплакала.

— Катя, Катя, вскричалъ онъ, испугавшись: — Богъ съ тобой, что ты? Но ты сказала бы, ты просто сказала бы, голубка, что тебѣ это непріятно... Ты хочешь,—я для тебя все на свѣтѣ...

— Ничего я не хочу для себя! вскричала она: — ничего мнѣ не надо! Лучше умереть, чѣмъ все это видѣть...

Багрянскій распахнулъ дверь.

— Гдѣ вы тутъ? ступайте сюда, закричалъ онъ мужикамъ. — Вотъ за кого Бога молите...

Онъ бросилъ ихъ въ ноги Катеринѣ.

— Ступайте. Я напишу окружному. Да знайте вы, что если бы, вотъ, не она, ваша предстательница...

Онъ ругался, простилъ, вытолкалъ и обратился къ Катеринѣ.

— Ну, что? Ну, вотъ, и кончено. Ничего имъ не будетъ. Для тебя — противъ закона сдѣлано. Законъ прямо говоритъ: за ослушаніе, за буйство... сама знаешь. А законъ приложился ради грѣха человѣческаго; люди забыли Бога...

«Я ему напомню о Богѣ по-своему...» думала она, уходя къ себѣ...

Ей пришлось напоминать не разъ, и всякій разъ труднѣе; приходилось молить, плакать, настаивать, спорить, выносить вспышки его гнѣва, выносить его увѣщанія, его нервную нѣжность, еще больше мучительную, его брюзжанье, его покорность, будто униженную, въ самомъ дѣлѣ—унижающую. Она не отступалась...

— Какъ у васъ достаетъ терпѣнія? спрашивала ее Маша, когда она прибѣгала и,— небывалое прежде,— измученная, бросалась на постель.

— Вотъ, сдѣлала, отстояла, отвѣчала Катерина, уже улыбаясь.—Покуда жива, я ему не дамъ дѣлать зла никому. Бей по мнѣ, если руки расходились...

Она не подозрѣвала, что еще ей готовилось.

Викторъ увидѣлъ Верховского въ первый разъ утромъ, безъ отца, вскорѣ послѣ своего водворенія въ домѣ. Готовый на то, что сестра его не представитъ, Викторъ развязно познакомился самъ. Катерина покраснѣла; Верховской оглянулъ его свысока. То, чего не замѣчалъ отецъ, предъ которымъ она не скрывалась, въ мигъ бросилось въ глаза тому, кто ненавидѣлъ...

— Вотъ оно что!..

Но, пораженный догадкой, онъ въ тотъ же мигъ сообразился, вмѣшался въ разговоръ, постарался вести его порядочно, даже занимательно, держался просто, будто впадая въ тонъ сестры. Она не могла бы пожаловаться, что онъ докучаетъ. Викторъ не оставилъ гостиной во все время, какъ пробылъ Верховской, и, едва тотъ простился, ушелъ къ себѣ, молча; онъ всегда такъ дѣлалъ.—Впослѣдствіи, онъ такъ же просто встрѣчался съ Верховскимъ. Верховской обходился съ нимъ небрежно, почти высокомѣрно, отвѣчалъ полусловами, говорилъ только въ присутствіи отца; оставаясь случайно вдвоемъ, молчалъ, будто въ комнатѣ никого не было, отворачивался,—слишкомъ вѣрно копировалъ обращеніе Катерины... Сомнѣнія больше не оставалось. Викторъ посматривалъ на Верховского, укрощая желаніе проломить ему голову и наслаждаясь мыслью, что сестрица попалась.

Въ радости, онъ сначала не зналъ, что дѣлать. Забрать ее въ руки... одному мудрено. Помощь скоро явилась.

Однажды Багрянскій былъ въ должности, Катерина тоже вышла изъ дома; къ Виктору пришла нянька.

— Къ тебѣ, красавецъ, слово перемолвить, благо свободно, нѣтъ никого.

— Это ужъ, старая, грѣхъ жаловаться: намъ съ тобой никто не мѣшаетъ, возразилъ Викторъ, лежа и откладывая въ сторону романъ, которымъ занимался.

— Да все легче, какъ съ глазъ долой, отвѣчала она и сѣла. — Скучно, видно, тебѣ, мой батюшка; вотъ, и ты ужъ за книжку. О-охъ!.. Чему смѣешься?

— Нельзя, нянюшка; надо учиться, умнымъ быть. Вонъ, у васъ, все какіе умные гости; какъ разъ нашего брата въ дуракахъ оставятъ,—не оглянешься.

Она глядѣла на него, покуда онъ смѣялся.

— Ты это къ чему-жъ говоришь?

— Такъ. — Что, къ вамъ этотъ Верховской съ какихъ поръ повадился?

— Да никакъ, съ весны. А что?

— Такъ.—Жена его, какъ здѣсь гостила, бывала у васъ?

— Нѣтъ. Да она, все равно, знакома. Сестра твоя къ ней съ самой съ губернаторшей въ деревню ѣздила.

— Къ кому?

— Да къ ней, къ барынѣ этой, къ Верховской.

— Къ кому? переспросилъ Викторъ и всталъ, смѣясь. — Она къ нему, къ барину ѣздила!

Нянька вытаращила глаза.

— Нянюшка-голубушка, прозѣвали барышню... запѣлъ Викторъ на голосъ «Лучинушки», продолжая смѣяться.

— Что ты, Господь съ тобой...

— Господь-то съ вами, возразилъ онъ вдругъ очень строго. — Чего ты смотрѣла? Она въ него влюбилась. Отецъ узнаетъ, что скажетъ?

— Батюшка мой, вскричала она: — да твой папашенька самъ его какъ обласкалъ? Какъ у нихъ живу, не видывала, чтобъ кого такъ... А она, — ужъ такіе порядки, — что хочетъ дѣлаетъ, кого хочетъ зоветъ...

— Вотъ и позвала, отвела глазки папашенькѣ. Что скажете?

Нянька сидѣла пораженная.

— Бѣды, бѣды... выговорила она, послѣ долгаго молчанія...

Викторъ захохоталъ.

— Охъ, что ты, голубчикъ! Дѣвочка она молодая...

— Дитятко ваше! прервалъ онъ со злостью.—Вотъ и ждите, васъ, за дитятко, папашенька — въ шею. Я, какъ благородный офицеръ, не смолчу, не потерплю... Какъ, чтобъ моя сестра... Честь моя оскорблена!

— Ты хочешь папенькѣ сказать?

Викторъ задумался.

— Рано еще немножко. Пускай они себѣ поиграютъ. А ты изволь-ка мнѣ ее караулить.

— Укараулишь! возразила она горестно.— Удержишь ее, какъ же!

— И вовсе не нужно ее удерживать, и никто тебя не проситъ, сказалъ онъ съ досадой. — Только молчи, гляди, да сказывай мнѣ. Въ отвѣтѣ, не безпокойся, не будешь, въ свидѣтельницы тебя не позову.

— Ты что же хочешь дѣлать, родной?

— Не твоя забота.

— Охъ, да вѣдь ты ее... Ты подумай, я ее все-таки выходила! жалко...

— Что? крикнулъ онъ. — Такую-то ты выходила? Шашни ея покрываешь да еще жалишься? Ахъ, ты, старая... Нѣтъ, надо съ вами скорѣй покончить. Сейчасъ придетъ отецъ, сейчасъ скажу. Ты тутъ, безъ него, при ней цѣлый мѣсяцъ оставалась. Отецъ умиралъ, а они амурились... Хорошо! «Жалко!» Я тебѣ покажу «жалко»! Пошла вонъ! Я съ вами расправлюсь!

— Красавецъ!.. вскричала она.

Она плакала, онъ ругался; скоро, запуганная, она была рада согласиться на все на свѣтѣ. Миръ былъ заключенъ и союзъ скрѣпленъ за веселымъ завтракомъ, который можно было устроить, «благо нѣтъ никого».

— Какъ есть, голубчикъ, вотъ тебѣ Богъ, ничего я не слыхала, не видала, клялась нянька: — а если кто что знаетъ, такъ ты за Марью примись, эта ужъ непремѣнно...

— Доберемся, отвѣчалъ Викторъ.

Подсматриванье шло систематически, но, со стороны няньки, совершенно безуспѣшно; она видѣла только то, что видала до сихъ поръ и къ чему привыкла. Викторъ, наблюдатель болѣе тонкій, убѣждался больше съ каждымъ днемъ, но явной улики не было. Онъ рѣшился ждать, не давая сестрѣ заподозрить, что за нею слѣдятъ. Пусть будетъ покойна, такъ скорѣе попадется. Судя о ней по себѣ, онъ употреблялъ больше хитростей, чѣмъ было нужно, не заставалъ ее съ Верховскимъ нечаянно, не уходилъ замѣтно, чтобы оставить ихъ наединѣ, велъ при ней и съ нимъ разговоры о сердечныхъ супружескихъ исторіяхъ, свободно, безъ умолчаній, которыя часто хуже намековъ, — не измѣнялъ себѣ даже осторожностью. Одно, въ чемъ онъ давалъ промахъ: говоря заочно о всѣхъ знакомыхъ,—съ отцомъ, съ посторонними,—онъ не говорилъ о Верховскомъ, какъ будто его не существовало, не зналъ, чѣмъ его помянуть, недоставало смѣтливости даже на самое пустое, обыкновенное замѣчаніе. Викторъ бранилъ себя за ненаходчивость и не могъ справиться: такъ она, пожалуй, догадается... Катерина никакъ не догадывалась; еслибъ и натолкнуть на это ея вниманіе, ей показалось бы совершенно натурально, что Викторъ не умѣетъ думать о порядочномъ человѣкѣ..

Она, точно, попалась, но еще больше — въ пытку собственныхъ чувствъ, понятій и убѣжденій, которыя обрекали ее терпѣть и биться...

Вечера съ Верховскимъ были ужъ не то, что прежде; въ нихъ не стало ихъ главной прелести—живого участія отца. Багрянскій приходилъ будто по привычкѣ, или отъ тоскливаго страха оставаться одному; случалось, ему хотѣлось развлечься слушать, говорить,—но, придя, усѣвшись, онъ поникалъ головою и молчалъ. Викторъ подражалъ ему, выражая смиреннымъ видомъ и покусы-

ваньемъ усовъ огорченіе человѣка, поставленнаго въ невозможность участвовать въ разговорѣ выше его понятій. Багрянскій отвертывался, не хотѣлъ видѣть и видѣлъ только это смущенное лицо. Старикъ дѣлался нетерпѣливъ; ему становилось досадно на сына, потомъ жаль его, потомъ досадно на другихъ, обидно, и онъ продолжалъ холодить, убивать своимъ молчаніемъ, или вдругъ вступался съ ѣдкой насмѣшкой, раздражался въ спорѣ, противорѣчилъ себѣ, осуждалъ все, говорилъ колкости Верховскому, бранилъ Катерину и, видя самъ, что надѣлалъ неловкостей, поправлялся, сводя рѣчь на ежедневное, житейское, на городскія новости. Викторъ, будто отдыхая отъ «умничанья», сначала понемногу принималъ участіе въ бесѣдѣ, а потомъ вскорѣ завладѣвалъ ею совсѣмъ и оживлялся, разсказывая разныя разности. Верховскому казалось неловко молчать, чтобъ Багрянскій не подумалъ, будто онъ обидѣлся,—и безсвязно, пусто, говорилось до тѣхъ поръ, пока Багрянскій, усталый и еще болѣе не въ духѣ, поднимался и прощался. Викторъ уходилъ тотчасъ за нимъ...

— Домой? Работать? спросила Катерина, когда Верховской тоже взялся за шляпу.

— Въ клубъ на минуту,—а тамъ, засяду въ ночь.

— Времени и днемъ довольно.

— Какъ-то не успѣваю. Вѣчно налетятъ ко мнѣ, помѣшаютъ, а то — и самому надо кое-кого видѣть... просто, освѣжиться.

— Какъ тебѣ не надоѣстъ?

— Надоѣло, милая, но куда-жъ дѣваться? Ты все боишься,—я ничего не дѣлаю?

— Боюсь.

— Успокойся; вчера заказалъ еще этажерку для бумагъ—цѣлыя горы.

— Ты толчешь воду.

— Что-жъ прикажешь дѣлать?

— Дѣлай слѣдствіе, какъ люди дѣлаютъ; поѣзжай туда, на мѣсто.

— Бока ломать!

— Баринъ!

— Нѣтъ, Катя; но, милая моя, я всякій день убѣждаюсь, что все это дѣло пустяки; никакой кражи не было, никакихъ денегъ не было...

— А я говорю, что были.

— Откуда, у грязнаго идіота?

— Баринъ! понятія не имѣетъ, какъ скопидомничаютъ! Имѣешь ли ты понятіе, какъ сберегаютъ?

— Катя!..

— Ну, виновата. Но все-таки это—наивность; хотя бы и честная, но наивность... Ты предубѣжденъ въ пользу Волкарева, — старикъ, порядочно воспитанъ, — украдь онъ въ глазахъ твоихъ, ты не повѣришь...

— Ты меня считаешь ребенкомъ... выговорилъ онъ и ушелъ въ досадѣ.

Ему стало страшно своей досады; онъ такъ усердно старался о ней не думать, что эта мысль преслѣдовала его весь слѣдующій день. Вечеромъ, Виктора не было дома; Катерина сидѣла вдвоемъ съ отцомъ; было какъ-то тихо, какъ-то печально весело, тѣмъ торопливымъ весельемъ, которые люди берутъ будто украдкой, которымъ они почти не пользуются отъ ежеминутной мысли, что оно не надолго. Раздался рѣзкій звонокъ.

— А вѣдь это Верховской, сказалъ Багрянскій, съ такимъ оживленнымъ удовольствіемъ, какого Катерина давно не видала.

Это былъ, точно, Верховской, во фракѣ, въ свѣтлыхъ перчаткахъ; смѣясь и забавно конфузясь, онъ признался, что бѣжалъ съ званаго вечера.

— Давай, Катя, чаю и шахматы, закричалъ Багрянскій.

Ей хотѣлось броситься отцу на шею, хотѣлось молиться, хотѣлось плакать, высказать всю душу и—воротить, воротить, вотъ, это счастье! Оно опять вошло, но только за минуту; вчера—тьма, завтра—тьма; оно выглядываетъ, свѣтитъ и уплываетъ... Да ужъ не тяжелѣе ли оттого, что оно выглянуло?..

Они остались вдвоемъ. Но въ душѣ накипѣло такъ много... Она не знала, о чемъ спросить, что сказать, слушала его, ничего не слыша... Такъ засталъ ихъ Викторъ.

— M-r Верховской! Вотъ нечаянность! А тамъ удивлялись, что вы вдругъ исчезли... Папа, конечно, ужъ почиваетъ, Catherine?.. Что это, m-r Верховской, какая здѣсь бѣдность хорошенькихъ, и притомъ, имѣйте въ виду, что если хоть мало-мальски недурна, то не умѣетъ слова сказать. «Предопредѣленіе свыше», какъ говоритъ папа... Скоро ли вы ждете вашу жену?

Онъ старался показать, что не находитъ страннымъ присутствіе гостя въ такое позднее время. Верховской всталъ, не отвѣчая.

— До завтра, сказала Катерина, провожая его въ прихожую.

Марсъ зарычалъ на него въ потемкахъ.

— Этотъ звѣрь кого нибудь разорветъ, замѣтилъ Верховской.

— Не безпокойтесь, отвѣчалъ изъ гостиной Викторъ и зѣвнулъ:—Ah, pardon... Не безпокойтесь. Этотъ звѣрь—doux comme une brebis, ему стоитъ приказать... Марсъ, ici!

Викторъ отправился къ себѣ, въ недоумѣ-

ніи, недовольный... Вотъ, и вдвоемъ засталъ, и все ничего, не смутилась, громко говоритъ: «до завтра...» Порядки такіе—принимаетъ какъ хочетъ!.. И родитель сидѣлъ тутъ, ушами хлопалъ. На глазахъ у праведника совершаю тся такія дѣянія... А что они совершаются — несомнѣнно. Эта госпожа, если ужъ влюбилась, то на все пойдетъ. И не такой же дуракъ этотъ Верховской... Жена его, говорятъ, рожа... Гдѣ нибудь они видятся... Гдѣ?

Ночь была почти жаркая. Викторъ вздумалъ освѣжиться и отворилъ окно. Оно выходило во дворъ, но въ ту же сторону, куда и балконъ Катерины. Низенькая изгородь сада была въ нѣсколькихъ шагахъ; свѣтъ изъ окна падалъ наискось, на кусты, полные густой, хотя желтѣющей листвой. У Катерины тоже блеснулъ свѣтъ и отворился балконъ.

Викторъ ахнулъ и ударилъ себя по лбу.

— Лежать, чортъ, молчать, пригрозилъ онъ шепотомъ Марсу, который рванулся къ окну.

Онъ задулъ свѣчку, выглянулъ въ окно, вспомнилъ что-то, спрятался, закусывая губы, смѣясь, загасилъ папироску и высунулся опять. Катерина вышла, прошлась по саду и воротилась; балконъ стукнулъ, свѣтъ ушелъ въ глубь комнаты. Она, вѣроятно, не ложилась. Викторъ долго ждалъ, пока она погасила огонь.

— Чего же я жду? Вѣдь сказано «до завтра».

Онъ ничего не дождался и завтра. Верховской былъ утромъ ненадолго. Викторъ устроился какъ наблюдать удобнѣе и понапрасну сторожилъ еще двѣ ночи. Ему надоѣло; это стѣсняло, отнимало время, но поручить некому, нянька глупа, ненадежна... Ну ихъ! это, наконецъ, несносно...

Онъ отправился провести вечеръ у Волкаревыхъ, соскучился и довольно рано заѣхалъ домой, чтобъ переодѣться и ѣхать опять, куда нибудь, гдѣ поразнообразнѣе. Отецъ, сказали ему, уже легъ. Викторъ заглянулъ въ окно. Изъ балкона тянулась полоса свѣта; между деревьями виднѣлось платье Катерины; она была не одна.

— Прощай, моя радость, раздался неосторожно громкій голосъ.

Песокъ заскрипѣлъ подъ шагами, кто-то скоро прошелъ, раздвигая кусты; послышался стукъ каблуковъ въ бревна забора; что-то упало.

— Благополучно! Прощай, повторилъ, удаляясь, тотъ же голосъ.

Катерина скрылась въ свою комнату; свѣтъ исчезъ. Все это произошло въ минуту, но Виктору дѣлалось почти дурно отъ напряженнаго вниманія, отъ какого-то страха, отъ радости, отъ досады...

— Опоздалъ!.. Ну, впередъ не оплошаемъ.

Онъ велѣлъ нянькѣ запереть за собою и уѣхалъ. Багрянскій слышалъ это и молился до свѣта.

Утромъ, Викторъ заставилъ ждать себя очень долго. Онъ, наконецъ, вошелъ—смѣло, увѣренно, повелительно, какъ его еще никогда не видали; его лицо было измято, взглядъ наглый. Катерина вспыхнула и оглянулась на отца. Багрянскій ужаснулся и потерялся.

— Ты нездоровъ? спросилъ онъ.

— Да, рука разболѣлась, отвѣчалъ небрежно Викторъ.

— Отдохни... началъ Багрянскій и не договорилъ: это слово—упрекъ, позоръ, осужденіе...

— Поди вонъ, сказала хладнокровно Катерина.

Викторъ посмотрѣлъ ей въ глаза, усмѣхнулся и гадко смиренно повиновался. Багрянскій захватилъ голову руками и, не сказавъ ни слова, вышелъ тоже...

II.

Если въ столицѣ легко прожить отшѣльникомъ, то и въ провинціи это не трудно. Правда, тамъ люди скорѣе угадываютъ чужую семейную жизнь,—даже не отыскивая развлеченія отъ нечего дѣлать и не имѣя намѣренія сплетничать,—но вслѣдъ за отгадкой, если эта жизнь незанимательна, невесела, отъ нея отворачиваются. N-ское общество сначало замѣтило отсутствіе Багрянской, потомъ къ нему привыкло. Къ ней еще ѣздили изрѣдка, но скоро перестали, соскучась, обидясь тѣмъ, что она не принимала и не платила визитовъ. Наконецъ, о ней начали забывать. Это дѣлалось просто. Какъ дочь важнаго лица, Катерина все-таки считалась невѣстой, и потому многія матери семействъ были довольны, что ее не видно. Пріятельницъ, которымъ она была бы необходима, у нея не было, поклонниковъ тоже. Изъ всѣхъ молодыхъ людей у нея бывалъ только Лѣсичевъ, изрѣдка, когда его брала особенная, внезапная досада на N-скій клубъ, N-скую скуку, безденежье и m-me Волкареву. Тогда онъ вспоминалъ, что есть куда дѣваться и шелъ къ Катеринѣ. Необъяснимо почему, увидя ее, онъ также внезапно принимался искренно ее любить; становилось совѣстно, что пришелъ онъ только отъ досады, становилось жаль, что свиданія рѣдки.

Онъ давалъ себѣ клятвы приходить чаще, и не приходилъ. Почему—онъ и самъ не зналъ и разбиралъ на досугѣ. Что-то тяготило; она печальна, что-то поблекло.

— Тамъ скука бѣшеная, рѣшилъ онъ:—и такъ что-то стало непорядочно...

Онъ удивлялся, какъ она могла оставаться изящной, граціозной среди такой скуки. Выносить эту обстановку было невозможно, хотя онъ сразу отклонилъ всякое сношеніе съ Викторомъ. Это было не неровное обращеніе Верховского, а такое рѣшительное, спокойное презрѣніе, что у Виктора не хватало смѣлости къ нему придраться. Впрочемъ Викторъ былъ вѣренъ своему правилу—учтивость со всѣми—и не желалъ замѣчать чужихъ неучтивостей. Это было тѣмъ легче, что Лѣсичевъ приходилъ рѣдко, а въ обществѣ всегда можно отдалиться незамѣтно...

Верховской не показывался больше недѣли. Предполагая, что онъ занятъ, Катерина сначала была спокойна. На третій день она ждала; становилась нетерпѣлива, тосковала. Она начала смотрѣть въ окна.

— Это глупо, подумала она и ушла въ отцовскій кабинетъ, гдѣ вѣчно опущенныя сторы защищали отъ искушенія оглядываться. Но тамъ ее пугалъ всякій стукъ въ подъѣздѣ.

— Что ты, нездорова? спросилъ отецъ, когда она, блѣдная, встрѣтила его возвратившагося изъ должности.

— Вы простудились, ma soeur, вечера холодны, замѣтилъ Викторъ, который отсторожилъ наканунѣ за полночь.

По вечерамъ, въ его окнахъ не было огня... Уѣхалъ на слѣдствіе? И пора. Давно бтакъ ъ... Но какъ же онъ не сказался, что ѣдетъ?..

Но огонь сталъ мелькать снова, поздно и ненадолго, а Верховской все не являлся... Онъ боленъ.

— Возовъ-то, возовъ что навезли къ сосѣдямъ изъ деревни! сказала нянька, прислуживая за столомъ:—то-то богатые господа.

Викторъ взглядомъ повелѣлъ ей умолкнуть. Катерина никогда на него не смотрѣла, а потому и не видала этого взгляда. Но ей пришло небывалое соображеніе: какъ такъ глупо прожить цѣлый вѣкъ — интересоваться міровыми событіями и не знать, что подъ носомъ дѣлается! Попробовать приняться по-просту...

— Маша, говорятъ, Верховскіе уѣзжаютъ?

— Не знаю, отвѣчала Маша: — можетъ быть.

Катеринѣ стало смѣшно. Вотъ и воспитала себѣ субретку! Не пойти ли куда нибудь въ гости, что нибудь узнать, можетъ быть, встрѣтить?.. Куда пойти? Къ Волкаревымъ? Въ обществѣ Виктора?.. Хоть бы пришелъ Лѣсичевъ... На что онъ?.. Она терялась. Богъ знаетъ, что входило въ голову—сожалѣніе, что она не свѣтская женщина. Было стыдно, скучно, руки отпадали... Жить рядомъ и не видаться, даже не знать, что съ нимъ...

— Участь моя, подумала она, холодѣя.— Такъ должно.

Предъ ней вставали убійственные «такъ должно» отца... Нѣтъ, такъ не должно. Онъ боленъ, заваленъ дѣломъ, несчастенъ... вѣдь она пріѣхала!.. Зачѣмъ онъ не уѣхалъ совсѣмъ!.. Но если ужъ остался онъ еще на-время въ своей неволѣ, какъ же оставлять его одного, безъ утѣшенія, безъ родного человѣка?.. Что дѣлать?

У нея горѣла голова отъ безсонницы. Она вытащила все, что было заготовлено у отца черновыхъ бумагъ, и переписывала всю ночь. По утру отецъ замѣтилъ, что она устала, но былъ доволенъ, что работа кончена: дѣла было особенно много, были просители, чиновники; онъ торопился въ палату.

— А вечеромъ — назначенъ комитетъ о недоимкахъ, сказалъ онъ:—вотъ, Волкаревъ прислалъ записку, зоветъ. Скорѣе.

Онъ спѣшилъ, сердился, что вошло у него въ привычку. Катерина готовила чай въ гостиной, возвращалась въ кабинетъ, присаживалась, носила, убирала, все на ходу. Викторъ былъ въ гостиной, хозяйничалъ у чайнаго стола, задумчиво поглядывая вслѣдъ сестрѣ, когда она приходила и уходила. Пришелъ Духановъ.

— Гдѣ пропадали? встрѣтилъ его радостно Викторъ.

— Въ хлопотахъ-съ, отвѣчалъ тотъ.— Мое почтеніе. Съ ногъ сбился. Вѣдь Лидія Матвѣевна пріѣхала.

— Право, онъ влюбленъ въ Лидію Матвѣевну! Погодите, вотъ супругъ до васъ доберется.

— Хе, хе, нѣтъ-съ, мы нынче съ нимъ совсѣмъ пріятели, возразилъ Духановъ.— Вмѣстѣ для дорогой гостьи все приготовляли. Они у меня какъ голубки воркуютъ.

Викторъ разразился хохотомъ. Изъ кабинета Катерина слышала хохотъ, имена; ее бросало въ жаръ и въ дрожь.

— Ты заморишься, сказалъ отецъ.—Дай мнѣ скорѣе чаю.

Они вмѣстѣ вошли въ гостиную. Викторъ и его пріятель встали и раскланялись, но оба слишкомъ развеселились и не приняли сразу своего обыкновеннаго, почтительнаго вида. Багрянскій взглянулъ сурово и разсѣянно.

— Чему смѣетесь? спросилъ онъ.

— Вотъ, Григорій Ивановичъ, отвѣчалъ особенно развязно Викторъ: — разсказываетъ о нѣжныхъ супругахъ, нашихъ сосѣдяхъ.

— Нѣтъ, Викторъ Николаевичъ, я говорю, что поговорка есть: «братъ любитъ сестру богатую, а мужъ жену здоровую»—а тутъ, теперь, хоть собственно ихъ супруга и не первой красоты, но потому—она имѣетъ состояніе...

— Верховской?.. спросилъ Багрянскій, допивая стаканъ, и всталъ.—Катерина, дай, тамъ у тебя еще планы. Сбери мой портфель... принеси...

Онъ прошелъ въ кабинетъ, Катерина къ себѣ и пронесла оттуда еще связку бумагъ.

— Самъ его высокопревосходительство, министръ государственныхъ имуществъ и его канцелярія! сказалъ Викторъ.

Духановъ осторожно засмѣялся. Катерина воротилась и складывала планъ на роялѣ.

— Давно не былъ Верховской, сказалъ Викторъ.

— Некогда ему, объяснилъ Духановъ:— ждалъ жену, дождался, а то и дѣла... А знаете, Викторъ Николаевичъ, какъ слышно, губернаторъ-то нашъ, того...

— Хватилъ?

— Да-съ... потому, невозможно, чтобъ безъ грѣха: кусочекъ крупный.

— Ну, и мелкимъ бы не побрезгалъ.

— Нѣтъ, ужъ мелкое, что... знаете, такому лицу...

— Что? лицу? полноте! прервалъ Викторъ.—Лица эти, губернаторы, предсѣдатели,—на словахъ святы. Откуда же у нихъ, то домикъ, то деревенька? Вѣдь сказано: «приставь къ двумъ казеннымъ воробьямъ комиссара—онъ сытъ съ женой и съ дѣтьми». И Волкаревъ тоже—въ тихомъ омутѣ...

— Это благодѣтель-то твой? «истинный сановникъ?» прервала Катерина.

— Благодѣтель въ другихъ обстоятельствахъ, возразилъ Викторъ очень рѣзко и отвернулся съ пренебреженіемъ.—Только, Григорій Ивановичъ, не попадется онъ.

— Почему вы полагаете?

— Слѣдователь ужъ очень любезенъ. Подѣлятся.

Духановъ захохоталъ.

— Верховской малый неглупый, продолжалъ равнодушно Викторъ, не оглядываясь на сестру:—можно ли повѣрить, чтобъ онъ давно не понялъ, въ чемъ тутъ штука? А два мѣсяца тянетъ? Просто, торгуется.

— Торгуется! подтвердилъ Духановъ.— Какъ вы это, Викторъ Николаевичъ, человѣка насквозь видите!

— Да что видѣть? ясно, общее мнѣніе! продолжалъ Викторъ.—Я Верховского и не виню: помилуйте, что-жъ изъ рукъ жены питаться? Видѣлъ я ихъ... Вотъ, еще сегодня полюбуюсь; Марья Васильевна звала къ себѣ; засяду въ преферансъ съ вашей Лидіей Матвѣевной, отобью ее у васъ. Она мнѣ ужъ глазки дѣлаетъ...

Въ прихожей послышался звонокъ.

— Катерина! кликнулъ Багрянскій.

Тамъ былъ посланный, старый лакей Верховского, принесъ книги:—Андрей Васильевичъ извинялся, что не можетъ доставить ихъ самъ; онъ нездоровъ.

— Что это онъ? Велишь благодарить? спросилъ Багрянскій Катерину.

— Сейчасъ, отозвалась она изъ гостиной.

Она рванула лоскутъ бумаги, написала карандашомъ: «Приду сегодня вечеромъ», сложила и отдала посланному.

— Кланяйся, скажи, что хворать не годится, прибавилъ Багрянскій, накидывая пальто.—Прощай, Катя.

Онъ вышелъ вмѣстѣ съ посланнымъ. Катерина только въ эту секунду поняла, что сдѣлала, и ничего не помня, ничего не видя, прошла въ свою комнату. Въ гостиной пріятели притихли и проводили ее глазами.

Духановъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, позволилъ себѣ осторожно улыбнуться. Викторъ отвѣчалъ улыбкой, глядя на него, и тихонько, въ тактъ, постукивая ногою.

— Такъ-то-съ, сказалъ онъ, вдругъ вставая.—Такія-то дѣла.

— До пріятнаго свиданія, сказалъ Духановъ.

Викторъ еще постоялъ въ раздумьи.

— Однако, я далъ маху, сказалъ онъ себѣ.—Скверно. Она ему перескажетъ... Надо принять мѣры...

Онъ велѣлъ подать себѣ закусить, что помогало соображеніямъ, а въ ожиданіи отцѣпилъ съ гвоздя свою шашку и разсматривалъ ее, напѣвая:

Спи монашенкой затворной,
Спи, булатное дитя.

— Вотъ, что о немъ говорятъ! Вотъ, кто смѣетъ о немъ говорить! повторяла себѣ Катерина, въ цѣлый день не успокоиваясь ни минуты,—пряталась какъ могла отъ отца и не знала какъ дожить до вечера.

Восемь часовъ пробило; Багрянскій отправился въ свой комитетъ; Викторъ спалъ, приготовляясь къ вечеру m-me Волкаревой. Послѣдній часъ ожиданія былъ невыносимъ. Еще рано...

Катерина бросилась въ садъ. Было темно, накрапывалъ дождь... Отецъ говорилъ сегодня, что пора вставлять рамы... У него темно. Получилъ ли онъ записку? Если нѣтъ, если онъ не ждетъ?

— Я, кажется, трушу, подумала Катерина, вздрагивая отъ холодныхъ капель, которыя били ей въ лицо.—Вотъ какія у меня приключенія. Прячусь, притворяюсь... Говорятъ, надо какъ нибудь жить среди людской неправды... Господи, какой ужасъ...

Окна освѣтились, мелькнула тѣнь. Это онъ.

— Пора... Но она, можетъ быть, еще не уѣхала; она, можетъ быть, не поѣдетъ... О, какой стыдъ, какая низость!..

На дворѣ у сосѣдей поднялся шумъ, топотъ лошадей, замелькали фонари. Карета Лидіи Матвѣевны выѣхала за ворота, остановилась у подъѣзда, чрезъ нѣсколько минутъ, загремѣла снова, все удаляясь.

Катерина воротилась къ себѣ въ домъ, постояла въ раздумьи и сѣла. Въ пустыхъ комнатахъ слышалось, какъ стучали часы.

— Онъ ждетъ... Маша!

Дѣвушка пришла.

— Я сейчасъ ухожу. Дождись меня. А если... если батюшка воротится раньше, скажи, что я сплю, договорила Катерина отворачиваясь.

— Куда вы идете? спросила тихо Маша.

Катерина оглянулась и бросилась ей на шею.

— Пойдемъ, запри за мною, сказала она, проходя комнаты.

— Голубушка, милая, постойте...

Катерина ужъ сбѣжала на улицу.

Идти было недалеко. Калитка отперта; во дворѣ никого, тихо; всѣ, вѣроятно, отдыхаютъ, проводивъ госпожу. Катерина вошла. Ей столько разъ показывали это маленькое крыльцо, надъ которымъ свѣтятся два окна: она знала счетъ ступенекъ этой узенькой лѣстницы...

Верховской волновался съ утра. Онъ видѣлъ Катерину во снѣ, а на яву, самъ не зная почему, не рѣшился идти къ ней. Онъ послалъ ей книги, тоже не зная зачѣмъ,—чтобъ «подать признакъ жизни». Ея записка его поразила.

— Придетъ...

По сердцу пробѣжало что-то въ родѣ раскаянія и вмигъ забылось въ съумасшедшей радости... Придетъ!..

— Mon beau ténébreux, ѣдете вы сегодня со мной къ Marie Волкаревой? спросила, влетая внезапно, Лидія Матвѣевна.

Она была вѣрна своему намѣренію—не посѣщать этого дѣлового кабинета.

— Нѣтъ, не ѣду.

— Почему?.. Что это за записка?

Незапечатанный лоскутъ простой бумаги, твердый почеркъ толстымъ карандашомъ не могли возбудить подозрѣній свѣтской женщины. Верховской этимъ воспользовался.

— Видишь, ко мнѣ придутъ по дѣлу.

— Ахъ, все противныя дѣла! Кончи скорѣй и пріѣзжай.

— Хорошо, пріѣду.

За обѣдомъ m-lle Роше спросила Верховского, видитъ ли онъ Багрянскихъ.

— На что вамъ это? вмѣшалась Лидія Матвѣевна.

— Я хотѣла просить у m-lle Catherine позволенія бывать у нея иногда, отвѣчала гувернантка.

— Во-первыхъ, André ѣздитъ туда по дѣламъ и ему нѣтъ никакого дѣла до вашей m-lle Catherine; а во-вторыхъ, вы не должны бывать тамъ, гдѣ я не бываю, заводить свои знакомства. Богъ знаетъ, что такое эта Багрянская. Признайтесь лучше,—вамъ явилась эта идея потому, что вчера братъ вашей Catherine vous a donné dans l'oeil, вамъ и Аннѣ Петровнѣ. Комиссія, право, вывозить дѣвушекъ! André, я приказывала Багрянскому,—онъ абонировалъ мнѣ ложу въ театръ; это дешевле, чѣмъ всякій разъ брать. Вотъ сегодня и извольте отправляться, обратилась она къ дѣтямъ, будто отсылая ихъ на хлѣбъ на воду.—А Багрянскій душка. Онъ мнѣ сказалъ, что не бываетъ у тебя, André, почему?

— И никогда не будетъ, отвѣчалъ Верховской.—Прошу тебя отъ него подальше и поосторожнѣе.

— Vraiment? спросила Лидія Матвѣевна, кокетливо улыбаясь, и даже сдѣлала маленькій знакъ Аннетѣ.—Охъ, ты, Raoul-Barbe-Bleue!

Пользуясь случаемъ, — такъ какъ вставали изъ-за стола и благодарили, — Лидія Матвѣевна наградила супруга множествомъ шаловливыхъ ласкъ, увела въ свой будуаръ, гдѣ собственноручно налила ему кофе и позволила курить. M-lle Роше, сердитая, привела дѣтей прощаться предъ отъѣздомъ въ театръ.

— Это вамъ практика по-русски, сказала

Лидія Матвѣевна.—А нейдетъ твой баринъ, замѣтила она, посмотрѣвъ на часы, и попросила одѣваться.

— Я все-таки подожду, сказалъ, уходя, Верховской: — надо еще кое-что прочесть, приготовить...

— Андрей Васильевичъ, подарите мнѣ платьице, звонко закричала она ему вслѣдъ:— миленькое платьице, чтобъ мнѣ носить pour l'amour de vous!

— Извольте-съ, подарю, отвѣчалъ онъ.

Онъ пришелъ къ себѣ; ему казалось—полъ горѣлъ подъ его ногами. Онъ еще разъ перечиталъ ея записку,—но всего три слова! «Вечеромъ»—когда «вечеромъ»?.. Спровадить Лидію Матвѣевну и перескочить въ садъ.

Онъ заглянулъ въ окно. А, наказаніе, дождикъ!

Волнуясь и не зная что дѣлать, онъ, въ потьмахъ, бросился по привычкѣ на кушетку и думалъ самъ не зналъ что. Идти или не идти? Придетъ или не придетъ?

Придетъ, конечно, если обѣщала.

Ему подумалось, между прочимъ, что, вотъ онѣ, женщины, всѣ одинаковы: стоитъ вывести изъ терпѣнія, не показать глазъ десять дней... Онъ вспомнилъ, что все его знаніе женщинъ ограничивалось Лидіей Матвѣевной. У него, будто, оторвалось сердце. Одну минуту ему казалось, что онъ сходитъ съ ума.

Вдали, въ домѣ зашумѣли, заходили. Верховской вскочилъ и зажегъ свѣчи. Чтобъ убѣдиться въ отъѣздѣ жены, онъ вышелъ проститься съ нею.

— Наконецъ!.. сказалъ онъ, возвращаясь и запираясь на ключъ.—Ну, что же?..

Онъ остановился, стоялъ, ждалъ, прислушивался, засмѣялся, засмѣялся съ досадой, покойно усѣлся въ кресло, закурилъ, взялъ книгу и съ полчаса смотрѣлъ въ нее. Въ домѣ все стихло. Въ стекла брызгалъ дождь. Вдругъ, изъ-за комнаты рядомъ съ той, гдѣ была дверь на лѣстницу, послышалось что-то смутно, шорохъ, шаги. Верховской поднялся. Въ дверь постучали.

А онъ и забылъ освѣтить ту комнату! онъ бросился, отворилъ...

— Катя!

— Да, Катя, отвѣчалъ ея милый, веселый голосъ.

Она сбросила бурнусъ, еще что-то красное, ея влажные волосы лоснились.

— Катя...

— Ты боленъ?

— Нѣтъ.

— Что-жъ ты такъ?

— Усталъ, выговорилъ Верховской. — Усталъ, заработался.

— Ну, слава Богу! Только? Ничего больше? Ничего не случилось?

— Ничего, отвѣчалъ онъ, улыбаясь. — Давно не былъ у тебя,—виноватъ.

— Что тамъ, виноватъ!

— Однако, ты встревожилась.

— Не встревожилась, — я, просто, была взбѣшена сегодня по утру, продолжала она, садясь.—Это твоя рабочая комната?

— Да. Тебѣ нравится? спросилъ Верховской, подходя ближе.

— Нѣтъ... Я внѣ себя была и за тѣмъ прибѣжала, чтобъ тебѣ сказать. Ты мѣшкаешь съ слѣдствіемъ, а на тебя клевещутъ, тебя подозрѣваютъ...

— Катя, вскричалъ онъ: — это невыносимо! Оставь меня въ покоѣ съ этими проклятыми дѣлами! Это—не знаю что! Какъ, не видались, едва сошлись, первое слово...

— Что ты? кротко прервала она: — какъ же я осмѣлюсь тебѣ молчать, когда дѣло идетъ о твоей чести?

Онъ стремительно отошелъ, заметался по комнатѣ и остановился у окна.

— Катя, прости меня, сказалъ онъ, не оглядываясь:—я вспыльчивъ. Вотъ, видишь ли что... Я тебя люблю!

Онъ бросился къ ней.

— А должно быть тебѣ ужъ очень было скверно этими днями, сказала она, глядя на его наклоненную голову.

— Да... выговорилъ онъ и закрылъ себѣ глаза ея рукою.

Прошло нѣсколько минутъ молчанія.

— Послушай, милый...

— Нѣтъ, Катя, не говори ничего. Оставь меня, вотъ, такъ... Вѣдь только и есть на свѣтѣ!

Она не возражала и молчала долго. Верховской забывался. Ея движеніе его разбудило; онъ поцѣловалъ ея руку и взглянулъ ей въ лицо.

— Катя, что съ тобою? вскричалъ онъ, вскакивая.

— Охъ, милый, смерть какъ тяжело... Ну, кричи, сердись, а я не могу этого выносить. Какъ вы всѣ расшатываетесь, Богъ васъ знаетъ!.. Изъ чего ты блажишь, скажи мнѣ, зачѣмъ ты тратишь время, тратишь себя? Счастье мое, не дай мнѣ въ тебѣ усомниться!

Она схватила его руки.

— Я такъ на тебя надѣюсь! Все, что мнѣ съ ребячества мерещилось, все, что мнѣ мило и свято, все, чѣмъ я жива... вѣдь это все также и твое! За что-жъ мы и полюбили

другъ друга? Скучно тебѣ, усталъ,— развѣ я не съ тобою? развѣ я не товарищъ?

— Развѣ я отказываюсь? возразилъ онъ.— Только въ чемъ товарищество? Толочь воду? Тупѣть среди дураковъ?

— Послушай...

— Знаю! прервалъ онъ:—ну, возвышенные: тосковать по міру, рваться къ лучшему и убѣждаться, что ноги спутаны, руки связаны... Что ни возражай, онѣ связаны. И ты, и твой отецъ —онъ—труженикъ, ты мечтательница. Оглянись спокойно, или, если не можешь, принудь себя... я, вотъ, среди всѣхъ этихъ дрязгъ, былъ принужденъ оглянуться.

Онъ показалъ на свой изящный письменный столъ.

— Дрожь пробираетъ!.. Невеселое товарищество, прелестная моя Катя. Не тѣ времена, чтобъ идти рука объ руку. И куда идти, къ чему идти, за кого? Люди не ангелы...

— А ты самъ что? прервала она тихо и рѣзко.

— Тоже не ангелъ, конечно, но злость беретъ, негодованіе душитъ; чувствуешь, что одинокъ, не можешь не презирать, духа недостаетъ похорониться въ пустякахъ, возиться въ грязи...

— Перестань! вскричала она нетерпѣливо.— Что ты толкуешь одни слова? «Грязь, тоска по міру, болѣзнь вѣка». Вы лѣнью больны! Не говори ты мнѣ о «необъятныхъ силахъ», о подвигахъ,— нѣтъ подвиговъ! Есть у каждаго свое крохотное дѣло, и съ тѣмъ дай Богъ честно управиться...

— И выходимъ мы, по-твоему, les infiniment petits! прервалъ онъ, захохотавъ съ досадой.

— Да вѣдь вся вселенная — изъ безконечно-малыхъ! А какъ стройно! Господи, какъ хорошо! И подумать только, духъ захватываетъ — всякій изъ насъ пылинка, капля, звукъ, свѣтикъ въ этой прелести; безъ насъ,— безъ насъ, каковы мы есть,— безъ нашего бѣднаго дѣла — общее дѣло неполно! Вотъ гдѣ счастье! Ни чей трудъ не ничтоженъ, никто не одинокъ, всѣ равны, всѣ свободны... Милый, вѣдь ты думаешь такъ же, зачѣмъ же ты отступаешь? Передъ тобой работа, ты пугаешься, брезгаешь,— «грязь!» Ну, такъ и быть, замарай ручки!

Она засмѣялась и положила свои сильныя руки ему на плечи.

— Ты прости, что я такъ говорю. Тебѣ много дано, много и спросится, а меня ты знаешь. Лѣниться, вѣшать голову я не позволю. Гдѣ-жъ была бы моя совѣсть тебѣ молчать? Я не мечтательница. Я тебѣ только напоминаю настоящій смыслъ нашей возни на свѣтѣ, а если милъ этотъ смыслъ — возня не надоѣстъ. Какъ видишь, это не фантазія.

— Не фантазія... повторилъ Верховской.—Это даже очень положительно, договорилъ онъ тихо и отрывисто, отвернулся и принялся ходить по комнатѣ.

Катерина смотрѣла ему вслѣдъ. Онъ воротился.

— Катя, скажи мнѣ вотъ что... Я думалъ, мы не такъ проведемъ этотъ часъ, но ужъ все равно, если такъ началось. Скажи мнѣ,—ты все разсуждаешь!—что, человѣкъ можетъ ли прожить однимъ чужимъ да чужимъ, благополучіемъ, заботой, сочувствіемъ,— ну, чѣмъ тебѣ угодно,—чужимъ, не думая о себѣ? Имѣетъ онъ когда нибудь право пожелать для себя? Такъ, чего нибудь, когда нибудь, когда приходится хоть въ петлю?.. Ты вѣдь не вообразишь, что я блаженствую, не попрекнешь вотъ этой дрянью — обстановкой...

— О, полно, я знаю, какъ тебѣ тяжело.

— Нѣтъ, ты не знаешь... Понимай какъ хочешь, я скажу все. Прежде, давно, я, скрѣпя сердце... ну, подло привыкъ, жилъ забываясь. Теперь... Мнѣ стало хуже съ тѣхъ поръ, какъ я тебя полюбилъ.

— Хуже?

— Хуже. Ты объ этомъ не подумала? Одно ли мы съ тобою, Катя?

— Одно.

— Нѣтъ. Ты мнѣ не вѣришь. Ты меня боишься... Ты меня не любишь.

— Что съ тобой? вскричала она.

— Виноватъ, забылъ: «общее, широкое чувство!» Ты это называешь любовью? Ты всякому, ты своему котенку отдаешь точно такую же любовь... ну, пожалуй, мнѣ немножко побольше! прибавилъ онъ и горько засмѣялся.— Въ неполной жизни счастья быть не можетъ. Когда я вижу, тамъ, у тебя огонь, знаю, что ты одна...

Онъ остановился.

— Такъ что же? выговорила она.

— Катя, да что ты? Младенецъ? вскричалъ онъ, блѣдный, глядя ей въ лицо.

— Нѣтъ, отвѣчала она, опустивъ голову.

— Такъ ты меня понимаешь?

Она молчала.

— Катя... я тебя оскорбилъ.

Онъ упалъ ей въ ноги.

— Оскорбилъ? тихо повторила она, краснѣя.—Нѣтъ. Встань же... Любятъ, такъ любятъ совсѣмъ. Гдѣ душа, тамъ и все.

— Катя!

— Милый, развѣ я давно не пришла бы къ тебѣ, не сказала: уйдемъ, давай жить вмѣстѣ...

— Но что же?

— А отецъ? Я у него одна.

— Онъ не узнаетъ.

— Какъ, обманывать? вскричала она.

— Не все ли равно,—вотъ, ты пришла... мы видимся...

— Видимся! Измученные, — душу отвести, слово сказать! Когда не было у меня несчастья, мы тайкомъ не видались; я не прячусь, я свое горе прячу,—развѣ это то, что...

Она захватила лицо руками.

— Катя, всякое бы горе забылось...

— Оставь меня!

— И увѣряетъ, что любитъ, что ушла бы...

— Къ свободному человѣку.

— Къ сожалѣнію—я женатъ! вскричалъ онъ и захохоталъ.

Катерина остановилась, пораженная. Все затихло. Верховской взглянулъ на нее мелькомъ и отвернулся. Ему хотѣлось, чтобъ она ушла. Она не двигалась съ мѣста. Онъ бросился въ кресло, головой на столъ.

— Что съ тобой сдѣлалось? спросила она тихо, подойдя къ нему.

Онъ оглянулся и ничего не взвидѣлъ; ему прямо въ душу упалъ ея безконечно печальный взглядъ. Его сердце заныло сжимающей, томящей болью! Порывно, будто спасаясь отъ чего-то настигающаго, неизбѣжнаго, страшнаго, послѣдняго, онъ охватилъ Катерину своими цѣпенѣющими руками и пряталъ лицо на ея груди. Съ каждой секундой что-то отрывалось, уносилось. Такова, должно быть, смертная мука.

— Стало быть, — никогда? выговорилъ онъ.

Она вздрогнула.

— Вѣдь ты меня любишь? вскричалъ онъ, оживая мгновенно и также мучительно, въ ужасѣ предъ сіяніемъ ея красоты, въ отчаяніи о чемъ-то невозвратномъ.

Она молчала. Что-то неопредѣленное было въ выраженіи ея взгляда, какое-то странное недоумѣніе. Она будто вспоминала, искала, удивлялась...

— Катя, ради Бога, говори что нибудь! Прости меня, сорвалась глупость...

— Полно, тихо сказала она.—Но какъ ты меня не понимаешь!..

— Понялъ, все понялъ, прервалъ онъ.— Довольно. Что-жъ дѣлать! Судьба свела насъ поздно. Моей женой быть ты не можешь; раздѣлить со мной счастье не хочешь...

— Знаешь что? прервала она вдругъ рѣзко и нетерпѣливо:—ты лучше этого не разбирай.

Она отошла, воротилась, остановилась предъ нимъ вся блѣдная; ея голосъ обрывался.

— Тебѣ скучно; ты хочешь, чтобъ тебя ублажали. Я не мастеръ. Я сказала и говорю: я ушла бы дѣлить съ тобой... не эту жизнь, а свободную, человѣческую!.. Что ты женатъ—мнѣ нѣтъ дѣла. Но моя жизнь — не моя... Но не знаю... не знаю, выдержало ли бы мое сердце, когда бы мнѣ сказали, что ты бѣденъ, одинокъ, бьешься честно... Прости мнѣ, Господи, не знаю, не бросила ли бы я тогда все... и отца! Я тебя умоляла: уходи! ты остался здѣсь...

— Для кого? прервалъ Верховской.

— Для дѣла, котораго не дѣлаешь! вскричала она, вспыхнувъ.

— Такъ ты, стало быть, не хотѣла меня понять, или не хочешь помнить, возразилъ онъ холодно:—я остался здѣсь единственно для тебя и, теперь вижу, напрасно.

Она хотѣла что-то сказать, остановилась, оторопѣла; по ея лицу опять разлилось то же боязливое недоумѣніе.

— Послушай, сказала она нерѣшительно:—это не знаю что. Ты заставляешь меня думать отвратительныя вещи.

— Что такое? спросилъ онъ, не сводя съ нея глазъ.

— Послушай... Сдѣлай милость, скажи мнѣ, что я съ ума сошла!.. Ты говоришь, что остался для меня. Ты зналъ, что будешь жить... вотъ такъ. Неужели тебѣ входило въ голову, что я рѣшусь унижаться?

Верховской поблѣднѣлъ.

— Ты съ ума сошла... повторилъ онъ, стараясь улыбнуться, и притянулъ ее къ себѣ.

Она вся дрожала, испуганная, растерянная, будто забитая непогодой; это было что-то непривычное, невиданное. Верховской поцѣловалъ ее въ голову.

— Дитя мое...

Она подняла на него глаза.

— Радость моя, продолжалъ онъ смутясь: — за что ты себя мучишь, придумываешь? развѣ мало того, что есть!.. Что-жъ, дѣлать нечего, покоримся. Тебѣ нехорошо, мнѣ ужасно; на всемъ свѣтѣ творится Богъ знаетъ что,—схватимся за руки, забудемся, по возможности будемъ счастливы...

— Одни? Не хочу.

Онъ улыбнулся снисходительно.

— Видишь, ты какая. Ну, дождемся и для всѣхъ. Успокойся. А до тѣхъ поръ, моя Катя... Знаешь, ангелы-хранители до конца не оставляютъ грѣшниковъ.

— По обязанности... Пожалуй, изъ состраданія, прибавила она вдругъ рѣзко.—Но женщины, когда слишкомъ сострадательны... Я, вѣдь ты знаешь, зла.

— Что же нужно сдѣлать, чтобы заслужить... началъ Верховской, почти насмѣшливо.

— Работай, только, отвѣчала она просто.

Ее охватило что-то невыразимое, жаркое, какъ радость дорогого свиданія, ясное, какъ беззавѣтная преданность Богу, какая-то надежда и вдругъ — безмѣрная, безконечная жалость. Она обняла его и горько заплакала.

— Катя! А меня бранитъ, что я расшатался! Ты ли это?

— Помни меня... сказала она.

— Развѣ мы прощаемся?

— Прощаемся? повторила она съ испугомъ.—О, нѣтъ!.. я, въ самомъ дѣлѣ, сумасшедшая.

Она оглянулась кругомъ, машинально оправилась и сѣла. Верховской, усталый, сѣлъ тоже. Оба молчали...

— А вѣдь я приходила за дѣломъ, сказала наконецъ Катерина.

— Вспомнишь послѣ.

— Я тебѣ ужъ его сказала. Должно быть, поздно?

— Близко одиннадцати, отвѣчалъ Верховской, очень скоро отыскавъ часы на письменномъ столѣ.

— Пора.

— Я провожу тебя, сказалъ онъ, идя за нею въ неосвѣщенную комнату.

— Зачѣмъ? Не пропаду. И дождь, кажется, пересталъ.

Верховской помогъ ей отворить отуманенное окно.

Семь яркихъ звѣздъ будто бросились изъ темноты имъ на встрѣчу.

— Славно, сказала Катерина.

Они взглянули другъ на друга и оба улыбнулись.

— Помнишь? спросилъ онъ.

— Помню.

— Придешь ли ты еще, Катя?

— Приду.

Онъ свѣтилъ ей съ лѣстницы, высунулся изъ окна, забывая темноту и разстояніе, старался разглядѣть, какъ она шла; бранилъ себя, что не пошелъ за нею, и разсчитывалъ, что сейчасъ она дома; сѣлъ на диванъ, гдѣ она сидѣла, хотѣлъ вспомнить что было и чувствовалъ, что усталъ. Часы бросились ему въ глаза. Онъ спохватился и позвонилъ.

— Одѣваться.

Чрезъ полчаса, m-me Волкарева пеняла ему, что онъ такъ запоздалъ...

— Еще никого нѣтъ, сказала Маша, встрѣчая Катерину. Но Катерина не успѣла дойти до своей комнаты, какъ раздался звонокъ: воротился Багрянскій.

— Не ложилась? сказалъ онъ, увидя ее.— Мнѣ тебя нужно.

Онъ прошелъ въ кабинетъ, сердито захлопнувъ дверь. Маша стояла среди гостиной, съ свѣчкой въ рукѣ.

— Ступай, съ Богомъ, спать, сказала ей Катерина.

Она стояла тоже, осматриваясь въ полутемной ночной пустотѣ, какъ-то не находя мѣста, но совершенно спокойно. Маша поймала ея взглядъ. Катерина улыбнулась.

— Точно покойникъ въ домѣ, сказала она равнодушно.

— Катерина! кликнулъ отецъ.

Она пошла, не торопясь; ей показалось, что она ждетъ чего-то, но между тѣмъ было рѣшительно все равно, что бы ни случилось. Можетъ быть и легче было бы, если бы что и случилось...

— Надо успѣть къ утру, къ почтѣ, написать министру, говорилъ Багрянскій. — Чортъ знаетъ, что у насъ творится!

Онъ говорилъ о засѣданіи, гдѣ былъ, пересказывалъ споры, бранилъ Волкарева, другихъ, выходилъ изъ себя, спрашивалъ бумаги, провѣрялъ отчеты, диктовалъ свой докладъ. Катерина слушала, отвѣчала, читала, писала, вѣроятно, все какъ слѣдуетъ, потому что на нее отецъ не сердился. Уходя къ себѣ въ три часа ночи, она не знала, гдѣ была и что дѣлала. Маша пріютилась въ креслахъ, въ углу ея комнаты. Катерина не замѣтила ее, задула свѣчу и, не раздѣваясь, бросилась въ постель. Маша подошла къ ней; она бредила.

Въ этотъ же вечеръ между m-me Волкаревой и ея мужемъ произошла печальная сцена.

Въ послѣднее время, жизнь m-me Волкаревой была возмущена. Ея супругъ, любезный въ обществѣ, сдѣлался необыкновенно мра-

ченъ, капризенъ, старчески-брюзгливъ, невыносимъ у себя дома. Правда, онъ уже давно пересталъ быть любезенъ съ женою, но прежде онъ равнодушно или благодушно принималъ ея затѣи, не оцѣнялъ, но и не стѣснялъ ея стараній—служить оживленію общества, иногда не остроумно насмѣшничалъ, но его сарказмы могли еще быть обращены въ шутку. Теперь на него нашелъ духъ очень непріятнаго отрицанія и осужденія, удивительнѣе всего, — Волкаревъ осуждалъ въ женѣ именно то, чѣмъ прежде бывалъ доволенъ: ея граціозное игнорированье «дѣлъ» и служебныхъ отношеній, ея аристократическое пренебреженіе къ мелкому чиновничеству, ея неумѣнье что нибудь сообразить. Въ этотъ вечеръ грустная перемѣна выказалась поразительно.

Волкаревъ, какъ Багрянскій, воротился изъ засѣданія сердитый. Онъ засталъ у себя гостей, карты. Лидія Матвѣевна пожаловалась ему, что ее обыгралъ monsieur Victor, но Волкаревъ не предложилъ, въ утѣшеніе, поиграть съ нею.

Когда, немного спустя, явился Верховской, Волкаревъ вовсе не занялся имъ, отправился съ Викторомъ въ свой кабинетъ, показался еще на минуту, когда ужъ разъѣзжались и прощались, и, проводивъ Верховского, вслѣдъ ему, разругался весьма не элегантно. М-me Волкаревой показалось, что она слышитъ это во снѣ.

— Mon ami... воскликнула она.

— Что «mon ami?» И этотъ — вашъ «ami»? Ужъ кстати еще, не надѣлали ли вы ему откровенностей? Одно въ жизни могла сдѣлать путнаго женщина — и того не съумѣла!

— Что такое? я не понимаю! возразила, трепеща, m-me Волкарева.

— То, матушка, что по его милости намъ придется отсюда убираться. Вы этого не ожидали? Вотъ онъ, вашъ страдалецъ! Онъ цѣлые вечера просиживаетъ у стараго чорта Багрянскаго!

— Боже мой, но зачѣмъ же...

— Какъ зачѣмъ? Тамъ гнѣздо интриги, тамъ рѣшена моя гибель. Мнѣ сейчасъ все открылъ Викторъ, — негодяй, но онъ мнѣ преданъ... Даже онъ возмущенъ! Его отецъ забралъ въ руки этого безхарактернаго, безтолковаго...

— Но какъ же это могло случиться? прервала m-me Волкарева въ негодованіи.—На это нужны причины, нужно сблизиться...

— Я вамъ русскимъ языкомъ говорилъ давно: вашъ Верховской влюбился...

— Impossible! пролепетала m-me Волкарева, едва не лишаясь чувствъ.

— Спросите ея брата, когда не вѣрите. Какъ день ясно: ханжа не потерпѣлъ бы у дочери женатаго вздыхателя, но нужно погубить меня, и вотъ приманка. Ничто не дорого! Всѣ средства хороши! И этотъ дуракъ... Ну, и радуйтесь!

— Боже мой, чѣмъ же я виновата?

— Чѣмъ? Право, оригинальная женщина! Удержать его, отвлечь, имѣть на него вліяніе, вскружить ему голову вы не могли? Недостало догадки? Прежде, когда не было надобности, тогда и вздохи, и розовые вуали, а теперь... Eh, laissez-moi, vous êtes une sotte.

— Mon Dieu, il y a encore un moyen, выговорила, потерявшись, m-me Волкарева:—его можно отвлечь... поскорѣе отдать ее замужъ, вотъ, Лѣсичевъ...

— Archisotte! прервалъ супругъ.—А Каруцкая?

— Что?

— Какъ что? Еще мнѣ вредить? Отецъ ее затѣмъ прислалъ, чтобъ найти мужа...

— Ей можно будетъ поискать, вотъ, на выборахъ, изъ молодыхъ помѣщиковъ.

— Съ вами голова пойдетъ кругомъ!.. Ну, какой же обезпеченный человѣкъ возьметъ это безобразіе?

— Mais, mon ami, Лѣсичеву она не нравится...

— Часъ-отъ-часу не легче! Не кончивъ одного толковать о другомъ, о десятомъ... Мнѣ суждено погибнуть отъ вашей глупости, рѣшилъ губернаторъ, оставляя жену въ неописанномъ смятеніи.

У нея не было къ кому прибѣгнуть, ни друга, ни совѣтника. Она подумала было подробнѣе разспросить Виктора, и вдругъ стало страшно этого преданнаго молодого человѣка. Оставался Лѣсичевъ... Но какъ говорить объ этомъ съ Лѣсичевымъ? Она плакала...

— Верховской... Кто-бъ это могъ подумать? И скрывать все, ласкать его жену... Впрочемъ, кажется, жена тутъ ничѣмъ не виновата... Все равно. Какъ женщины несчастны!

III.

Домъ N-скаго клуба былъ ярко освѣщенъ; у подъѣзда, среди множества дрожекъ, начали появляться и кареты. Для открытія сезона былъ назначенъ вечеръ съ танцами, но танцы еще не начинались. Въ большой залѣ блуждали немногія дамы и дѣвицы

средняго круга, оглядывая свои наряды, тоскуя и негодуя на «аристократокъ», которыя заставляли себя ждать. Нѣсколько молодыхъ чиновниковъ и гарнизонныхъ офицеровъ раздѣляли эту скуку. Свѣтскіе молодые люди заглядывали въ залу, произносили: «никого еще нѣтъ», и скрывались. Музыканты разговаривали на хорахъ.

Но гостиная, гдѣ читались газеты и маленькая зала, заставленная карточными столами, были полны гостей, большею частью пріѣзжихъ помѣщиковъ. Около газетнаго стола было тѣсно. Тамъ уже спорили обычные посѣтители клуба. Городскіе жители, привычные къ ежедневнымъ спорамъ, не обращали вниманія на этотъ споръ, за то пріѣзжіе вступались съ увлеченіемъ и, подкидывая въ рѣчи своего жару, доставляли себѣ удовольствіе, послѣ деревенскаго молчанія—пошумѣть въ губернскомъ клубѣ.

— Предоставьте имъ рѣшать дѣла Европы, сказалъ одинъ N-скій господинъ, удерживая помѣщика, который туда же стремился.—Вѣдь намъ не практиковаться; благодаря Бога, въ парламентъ не готовимся. Лучше о своемъ. Новость знаете? губернскому предводителю лента за пожертвованіе. Слышали?

— Слышалъ. Правда ли?

— Правда. Ужъ есть въ газетахъ и онъ пишетъ своей женѣ; вѣдь онъ еще тамъ, представлялся.

— Знаю. А дворянству все еще ничего?

— Покуда ничего.

— Не слыхали, не получалъ чего нибудь губернаторъ?

— Не слыхалъ.

Оба промолчали.

— Ну, что же?

— Ну, мы, на выборахъ, поблагодаримъ нашего губернскаго, отвѣчалъ тихо пріѣзжій.

— Какъ поблагодарите?

— Прокатимъ на черненькихъ.

N-скій господинъ осторожно и недовѣрчиво улыбнулся.

— Такъ благородные люди не дѣлаютъ, продолжалъ помѣщикъ.—Предводитель всѣми выбранъ, за всѣхъ представлялся—и говори за всѣхъ, и старайся за всѣхъ. Ему—награда, а намъ еще и спасибо не сказали? Выходитъ, мы старались, жертвовали, хлопотали изъ-за его ленты?.. Нѣтъ; вотъ выборы перваго декабря; мы посмотримъ.

— Вы думаете, его забаллотируютъ?

Они отошли, говоря тихо. У стола, гдѣ пили чай и курили, разговоры шли громче.

— Какъ вамъ вздумалось пріѣхать такъ рано? до выборовъ еще далеко.

— Скучно стало.

— Будто бы? Такому хозяину, въ урожайный годъ?

— Право. Какъ себя помню, не помню такой скуки. Ничто не радуетъ. И это кого хотите спросите, что-то особенное. Всѣ бѣжимъ, точно отъ непріятеля укрываемся.

— Правда, потвердилъ другой, пожилой отецъ семейства.—Скука. Я даже не зналъ, какъ дождаться, чтобъ моя супруга попросилась въ городъ. Самому предложить неловко.

— Почему?

— Неловко! повторилъ онъ, смѣясь: — какъ я скажу женѣ, дочерямъ—отправляйтесь деньги мотать? Я всегда, бывало, поддержу себя, а нынче не вытерпѣлъ.

— Предложили?

— Предложилъ! отвѣчалъ онъ, хохоча.— Говорю: нынче зима короткая, какъ разъ «Господи Владыко живота моего», постъ, собирайтесь, да еще впередъ ихъ укатилъ и домъ нанялъ... А что бы, господа, ко мнѣ завтра вечеркомъ, безъ церемоній?

Онъ обходилъ знакомыхъ и приглашалъ.

— Въ гору идетъ, замѣтилъ другой ему вслѣдъ:—взялъ поставку хлѣба.

— Неужели за нимъ осталась? вскричалъ испуганно помѣщикъ другого уѣзда.

— Какъ же, за нимъ. А вы не знали?

— Не зналъ... Но что же! Только хлопоты, выгоды мало; хлѣба нынѣшній годъ родилось столько...

— Но казна даетъ и цѣны недурныя, прибавилъ, будто равнодушно, совѣтникъ губернскаго правленія.

— За нимъ осталось... я не зналъ! повторилъ помѣщикъ, удаляясь.

Вслѣдъ ему смѣялись.

— Зеленъ виноградъ!

— Нѣтъ, онъ огорченъ, что не удалось по мѣрѣ силъ послужить отечеству.

— Погодите, еще всѣ послужимъ.

— Да!.. раздалось какъ-то уныло и вмѣстѣ досадно, и оживленіе вдругъ будто со всѣхъ спало. Такъ бываетъ въ комнатѣ трудно больного.

— А не пора ли поиграть? Тратимъ золотое время...

— А какое время стоитъ! прелесть!

— Какъ это вы разстались съ деревней, съ охотой? Вотъ бы теперь въ поле...

— Э, батюшка, Богъ съ нимъ съ полемъ. Хорошо вамъ говорить, деревня. Не зналъ

какъ бѣжать; просто, жутко становится. Тамъ съ англичанами не управятся, а тутъ смотри за своими. Бросилъ все; пропадайте, какъ знаете.

— Какъ, неужели даже ни одной любимой съ собой не взяли?

— Чего? Собаки? Какую же любимую? Онѣ у меня всѣ любимыя. Что вы, развѣ я разстанусь, за что-жъ я себя лишу... Всѣхъ сюда привелъ. И лисички есть въ запасѣ, и два волка. Милости просимъ полюбоваться на садку... А вотъ какой случай.

Онъ началъ длиннѣйшій охотничій разсказъ.

— А поиграть бы, господа?..

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, на людяхъ легче, отозвался одинъ изъ особенно печальныхъ пріѣзжихъ.

— Конечно, легче. И во всякомъ случаѣ, это такъ далеко...

— Конечно, положеніе натянутое, но чѣмъ нибудь оно должно же кончиться. Дайте срокъ...

— «Къ ружью»—читали?

— А, ваше превосходительство, Александръ Петровичъ! раздались вдругъ восклицанія.

Вошелъ красивый, осанистый господинъ, съ сѣдыми усами, съ бѣлымъ крестомъ, скромно спрятаннымъ за отворотомъ фрака.

— Когда пріѣхали?

— Часа два; отдохнулъ, узналъ, что тутъ сбираются...

Его окружили, большею частью N-скіе жители, служащіе.

— Какъ это онъ пожаловалъ? сказалъ одинъ пріѣзжій другому.

— А что?

— Я самъ слышалъ, онъ клялся, что его нога здѣсь не будетъ.

— Да, какъ тогда его не выбрали.

— Надо сознаться, мы очень ошиблись. Если бы вотъ этого въ губернскіе...

— Кого это? вмѣшался еще собесѣдникъ.

— Генерала Ильицына.

— Волкаревскаго пріятеля?

— Такъ что же? Людей не узнаешь. Нашъ предводитель и не изъ волкаревскихъ пріятелей, но въ три года немного, — какъ говорится высокимъ слогомъ,—оправдалъ довѣріе дворянства...

— А ужъ послѣдняя выходка, — пожертвованіе...

Они зашептали.

— Ильицынъ не захочетъ баллотироваться.

— Захочетъ!..

— Господа, пора играть?

— Какъ вамъ благая мысль пришла пріѣхать? спрашивалъ Ильицына совѣтникъ.

— Совсѣмъ не благая мысль, возразилъ онъ, усаживаясь въ сторонѣ: — я перепугался.

— Чего, ваше превосходительство? спросили нѣкоторые, смѣясь заранѣе, потому что генералъ былъ охотникъ шутить.

— У васъ тутъ чудеса творятся, всякаго съ мѣста поднимутъ, продолжалъ онъ, не то шутя, не то недовольный.

— Какія же чудеса? Живемъ, кажется, мирно, сказалъ совѣтникъ.

— Какъ «мирно»? Слѣдственная комиссія въ губерніи, а вы говорите «мирно»?

Рѣшительный и громкій вопросъ сконфузилъ общество; еще послышался смѣхъ, но ужъ принужденный; собесѣдники переглядывались и осторожно отходили. Генералъ продолжалъ равнодушно и еще громче.

— Я все еще уповалъ какъ нибудь: слѣдственная комиссія, — до насъ на касается. Вдругъ узнаю: и съ пожертвованіемъ нашимъ исторія! Что такое!! пріѣхалъ поразвѣдать, — самъ-то я, моей собственной особой, ужъ не провинился ли въ чемъ нибудь, незнаемо, невѣдомо? Чего добраго! Такія времена, сидишь-сидишь, да высидишь...

Кружокъ совсѣмъ разошелся. Оставались только совѣтникъ и правитель канцеляріи Волкарева.

— Скажите, сдѣлайте милость, что такое этотъ слѣдователь.

— Молодой человѣкъ, отвѣчалъ совѣтникъ.

— Петербургскимъ на роду написано — изъ-за указки въ государственные люди. Но вообще, что онъ?

— Хорошъ собою.

— Барынь съ ума сводитъ?

— Нѣтъ, не слышно.

— Человѣкъ, вообще, серьезный, прибавилъ правитель канцеляріи.

— То есть, какъ? честолюбивъ?

— Незамѣтно.

— Такъ, практическій? по-просту—деньгу любитъ?

— О, нѣтъ, онъ самъ богатъ.

— Въ клубѣ бываетъ?

— Всякій вечеръ, но картъ въ руки не беретъ.

— Важничаетъ?

— Нѣтъ. Держался немножко холодно сначала, теперь — обошлось.



— Но его мнѣнія, понятія?
— Человѣкъ съ высшими взглядами, отвѣчалъ, улыбнувшись, совѣтникъ.
— Вотъ какъ... А, какъ слышно, онъ дѣла ведетъ?
— Ничего не слышно.
— Стало быть, все секретно, невидимкой?
— Нѣтъ, не невидимкой, но дѣлъ не видно.
— То есть, какъ?
— Ничего не дѣлаетъ, отвѣчалъ тихо совѣтникъ.
— Почему?
— Не умѣетъ, досказалъ тотъ еще тише, смѣясь.
— Неужели? вскричалъ генералъ и расхохотался.—Такъ изъ-за чего же Алексѣй Владиміровичъ... Это комедія!
— Нѣтъ, не комедія, тихо возразилъ правитель канцеляріи, нераздѣлявшій ихъ веселости. — Верховской родня директору департамента, а въ такой чести и дуракъ опасенъ. Онъ не знаетъ какъ взяться, цѣпляется за что попало, путаетъ... было тамъ воровство или нѣтъ, все равно, — въ концѣ концовъ можетъ выдти чортъ знаетъ что! Самъ онъ ничего не сдѣлаетъ, а накличетъ намъ другую комиссію.
— Но онъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ Алексѣемъ Владиміровичемъ...
— Что-жъ тутъ можетъ Алексѣй Владиміровичъ? прервалъ правитель канцеляріи. — А вмѣшаться съ совѣтомъ кому нибудь другому... У Верховского тоже самолюбіе.
— Любопытно мнѣ его видѣть. Здѣсь онъ?
— Вѣроятно. Еще не танцуютъ, значитъ, ждутъ его жену...
Раздалась музыка.
— А, вотъ, пріѣхали. Пойдемте взглянуть.
На дорогѣ въ бальную залу толпился кружокъ спорящихъ. Городской ораторъ-либералъ, самъ не зная зачѣмъ, поднялъ на себя грозу и отбивался одинъ отъ многихъ.
— Какое же вознагражденіе? за что же вознагражденіе, господа? Всѣ эти труды, пожертвованія...это все для общихъ нуждъ...
— Мы разорены! повторялось единогласно.
— Помилуйте — пять, восемь, наконецъ, десять человѣкъ съ тысячи,—все ни во что? Вѣдь мы отдаемъ цѣлыми деревнями! за что это, позвольте спросить?
— Господа, но поймите, поймите, кричалъ ораторъ:—вы это дѣлаете для васъ самихъ...
— Какъ? для самихъ себя всего лишаемся?
— И что-жъ это будетъ дальше? на комъ это отзовется?
— Но, господа, нашъ долгъ...
— Мы его знаемъ-съ!
— Нисколько не сомнѣваюсь, глубоко уважаю...
— Еще бы вы не уважали!
— Но ваши пожертвованія — капля въ морѣ...
— Хороша капля! Хорошо тому, кто не жертвовалъ!
— Капля въ морѣ вашихъ собственныхъ издержекъ, вашихъ собственныхъ затратъ! вскричалъ ораторъ, что было силы.
Гроза разразилась.
— Кто мнѣ смѣетъ запретить тратить, когда я хочу?
— Это моя собственность, я имѣю право...
— Я получилъ отъ отца, отъ дѣда...
— Но, господа, тратить деньги, веселиться въ годину общественныхъ бѣдствій...
— Не заживо же себя схоронить!
— Пять наборовъ! голова кругомъ! отдохнуть надо!
— Нельзя требовать, чтобъ образованное общество не пользовалось...
— Но вы жаловались, что разорены... еще послышался голосъ оратора.
— Ну, разорены, одинъ конецъ! Все равно разоряться!
— Такъ пойдетъ—все равно, ничего не останется...
— Господа, позвольте, довольно...
Громъ музыки покрылъ голоса.
— Хоть чѣмъ нибудь передъ концомъ себя потѣшить!
— Для чего беречь, позвольте спросить?
— Но будущее...
— Его еще никто не предсказалъ!
— Но наши нравственныя силы...
— Какія нравственныя? Станемъ грудью...
— Вы первый не станете! Не пойдете!
— Не пойду, потому что и безъ меня есть кому...
— Господа, идемте играть! настойчиво повторилъ помѣщикъ тоже изъ отставныхъ военныхъ.—Ну, разорились, такъ разорились, пропадай послѣднее, чтобъ врагамъ не доставалось!
— Браво! раздался голосъ Волкарева.—Вотъ она, русская жилка! Fier vétéran, agé de quarante ans de guerre! Андрей Васильевичъ, admirez, вотъ наши патріоты!

Онъ заключилъ патріота въ объятія и здоровался кругомъ съ особеннымъ привѣтствіемъ каждому.

— Кто это съ нимъ? спросилъ Ильицынъ совѣтника.

— Верховской.

Ильицынъ подошелъ къ Волкареву.

— Кого я вижу? вскричалъ тотъ.—Вы ли это? Какъ славно начинается зима!.. Какъ? только на нѣсколько дней?.. Андрей Васильевичъ, дайте скорѣе васъ познакомить: сослуживецъ вашего дяди Зурова.

Онъ представилъ Верховскому Ильицына.

— Когда видищь себя въ кружкѣ хорошихъ людей—жизнь имѣетъ цѣну, продолжалъ онъ:—забываешь годы; покуда тамъ веселится юность...

N-ская юность, точно, веселилась. Въ залѣ все кружилось, мелькало, гремѣла музыка. Въ дверяхъ тѣснились, смотрѣли. Молодые люди сбѣгались изъ другихъ комнатъ.

— Уступаю искушенію и отправляюсь играть, сказалъ Волкаревъ генералу и Верховскому, оставляя ихъ.—Вы, господа, оба не понимаете этого наслажденія... Eh, bonsoir, mon cher Багрянскій...

Онъ прошелъ. Генералъ и Верховской отошли тоже.

— Викторъ Николаевичъ! окликнулъ Духановъ.

— А, это вы...

— Постойте. Никакъ Верховской вамъ не поклонился?

— Ну его...

— Постойте. Примѣтили вы, съ кѣмъ онъ? Ахъ, что я, батюшка, узналъ!

— Ну васъ совсѣмъ, прервалъ Викторъ и ушелъ въ залу.

У самыхъ дверей столпилось нѣсколько нетанцующихъ дѣвицъ, изъ тѣхъ, которыя такъ долго ждали начала бала. Онѣ не нашли себѣ заблаговременно стульевъ, не имѣли кавалеровъ; вальсъ загналъ ихъ на самое неудобное мѣсто, на переходѣ; онѣ спасали въ тѣснотѣ свои платья.

— Багрянскій... вдругъ зашептали онѣ. Хорошенькія личики, скучающія, раздосадованныя, вспыхнули отъ удовольствія. Такой прекрасный кавалеръ, такъ любезенъ на гуляньяхъ, такъ безъ церемоніи угощался на именинахъ папеньки, такъ увлекательно говоритъ о Кавказѣ, о любви... онъ сейчасъ подойдетъ, позоветъ,—счастье на цѣлый вечеръ... Викторъ шелъ, никого не видя.

— Викторъ Николаевичъ... отважилась одна прелестная молодая чиновница.

Онъ чуть-чуть пріостановился, вкинулъ стеклышко въ глазъ, узналъ не сразу, озабоченно кивнулъ головой и прошелъ... о ужасъ! онъ даже толкнулъ одну дѣвицу. Она клялась подругамъ, что онъ сказалъ «pardon», но это была неправда.

Викторъ видѣлъ только одну Лидію Матвѣевну и стремился къ ней. Съ этой минуты они стали неразлучны. Онъ принадлежалъ высшему обществу. Онъ танцовалъ ловко—это считалось добродѣтелью, танцовалъ охотно, это ужъ становилось рѣдкостью; онъ былъ такъ пустъ, что съ нимъ не скучали; онъ даже оживилъ Аннету Каруцкую, но онъ поклонился только Лидіи Матвѣевнѣ.

— Просто душка, повторяла она въ восхищеніи.

Впрочемъ не одинъ Викторъ—за ней всѣ ухаживали. Она была счастлива, чувствовала, что царствуетъ, царствуетъ вполнѣ. Всѣ встрѣчаютъ, всѣ кланяются. Она оглядѣла всѣхъ женщинъ—нѣтъ наряднѣе ее, ни на одной нѣтъ такихъ брилліантовъ, а она надѣла еще самые простенькіе! Это André посовѣтовалъ одѣться попроще. André выбралъ цвѣты, платье. Должно быть, онъ, въ самомъ дѣлѣ, знаетъ этихъ губернскихъ... А каково это—вся губернія въ рукахъ у André!.. Какъ онъ важенъ, André, какъ смотритъ, какъ подаетъ руку... Хорошо, хорошо, душка! умница! вотъ такъ и должно, такъ ихъ и надо... Она гордымъ взглядомъ окидывала залу. Что бы такое заставить сдѣлать этихъ людей, чтобъ показать надъ ними власть? Чѣмъ бы ихъ наказать, выразить имъ свое неблаговоленіе? Такъ, ни за что, чтобъ только они поняли, что, вотъ, однимъ словомъ, это она, Лидія Матвѣевна Верховская—и только!.. Къ чему это André такъ обходителенъ съ Волкаревымъ? пускай бы старичокъ самъ за нимъ побѣгалъ... А бѣдная Marie, вотъ и губернаторша, а какъ оставлена, кругомъ пусто. И André, злодѣй, покинулъ. Да гдѣ онъ?.. Ахъ, онъ говоритъ съ Горновой! смѣется, поклонился, любезничаетъ...

Лидія Матвѣевна полетѣла чрезъ всю залу, чтобы настичь этотъ подозрительный разговоръ, и не успѣла: Верховской ушелъ вмѣстѣ съ Волкаревымъ... Ну, ничего, такъ и быть. Нечего портить вечеръ; это еще успѣется дома. Надо веселиться. Что за неподвижная, скучная эта Marie. Въ провинціи—да еще ничего себѣ не позволить!

Лидія Матвѣевна рѣшилась очаровать весь N* въ этотъ вечеръ. Она хохотала на всю залу, кликала молодыхъ людей по фамиліямъ, бѣгала въ кадриляхъ, дѣлала

вслухъ замѣчанія о наружностяхъ и туалетахъ, чувствовала себя дома, дразнила Аннету. Это было такъ ново и неожиданно, что добрые провинціалы были поражены.

— Что это madame Верховская!.. воскликнула одна мать семейства.

— Она хохотушка, но, знаете, она милая, заступалась другая дама.—Я сейчасъ ее встрѣтила въ уборной. Съ ея состояніемъ, кому-жъ какъ не ей повеселиться, и все? Нѣтъ, она милая...

— Петербургскія манеры, настоящія, объяснялъ наставительно Духановъ.—Быстрота. Одно слово—генеральша!

Впрочемъ, какъ человѣкъ съ тактомъ, онъ не рискнулъ подойти къ своей обожаемой генеральшѣ и только любовался, какъ Викторъ повертывалъ ее въ полькѣ.

— Ай да нашъ Викторъ Николаевичъ! чудесно, ей-Богу!

— Вы, я думаю, какъ мнѣ завидуете! сказала Лидія Матвѣевна, бросаясь передохнуть на диванчикъ подлѣ m-me Горновой.

— Есть душевное состояніе, которому нельзя завидовать, отвѣчала та съ состраданіемъ и осторожно, слегка отодвинулась.

— Что? спросила Лидія Матвѣевна, между тѣмъ какъ молодой человѣкъ, свидѣтель этой сцены, смѣялся, поймавъ взглядъ m-me Горновой.—Аницкій, faisons un tour... Elle est folle, воображаетъ — я къ ней ревную! договорила она уже танцуя.

— Честь вамъ и слава, сказалъ совѣтникъ, редакторъ N-скихъ вѣдомостей, гарнизонному командиру, который, взволнованный, сбѣжалъ съ хоръ, гдѣ распоряжался музыкантами.—Славный оркестръ.

— Сказано и сдѣлано, отвѣчалъ тотъ: — за лѣто сформировалъ. Покоя не было отъ ея превосходительства, съ тѣхъ поръ какъ былъ балъ, тогда, на дачѣ. Тѣ ли средства въ гарнизонѣ, чтобъ имѣть музыку! Да еще только что обучишь, только начнетъ пиликать,—глядь, его у тебя выхватятъ да куда нибудь угонятъ...

Онъ примолкъ; подходила m-me Волкарева.

— Чувствую, что вы меня браните, сказала она: — а я шла сказать вамъ merci. Что-жъ дѣлать, не могу забыть наслажденія нынѣшняго лѣта и все сравниваю... Не обижайтесь!

— Помилуйте, ваше превосходительство, возразилъ онъ, принявъ пожатіе ея руки.— Да ужъ нечѣмъ и обижаться, и сравнивать вамъ не съ чѣмъ: тѣхъ художниковъ, послѣ Альмы, говорятъ, всего человѣкъ пять осталось; что ужъ за оркестръ.

— Да, ужасно! Какой прелестный былъ праздникъ! обратилась она къ Лидіи Матвѣевнѣ.

— Что прикажете играть, ваше превосходительство? Господа старшины поручили спросить васъ.

— Ахъ, не знаю. Chère Lydie, что хотите? будьте хозяйкой, приказывайте.

Лидія Матвѣевна не заставила себя просить.

— Кадриль, а потомъ я буду присылать къ вамъ моего повѣреннаго съ приказаніемъ, вотъ, m-r Багрянскаго, любезничала она съ гарнизоннымъ командиромъ. — Хотите быть моимъ повѣреннымъ, m-r Victor?

— Сочту за счастіе, отвѣчалъ онъ.

— Мнѣ нужно было сказать бы вамъ... обратился совѣтникъ къ m-me Волкаревой, но суматоха сбирающейся кадрили ихъ разлучила. M-me Волкарева отказалась танцовать, сѣла вдали, между очень скучными маменьками, кротко поговорила съ ними и задумчиво смотрѣла на порхающую m-me Верховскую. Ей вдругъ вздумалось протестовать своей неподвижностью противъ этой игривости; она говорила себѣ, что составляетъ контрастъ... Но тутъ же явился вопросъ: къ чему этотъ контрастъ? Ужъ все потеряно! Поздно! Остается одно — исполнять долгъ жены-помощницы, служить интересамъ своего мужа...

Она обрадовалась, увидя близко Лѣсичева.

— Annette Каруцкая очень мила сегодня, сказала она ему:—лучше ея здѣсь никто не вальсируетъ.

— Это правда.

Онъ не танцовалъ и присѣлъ отдохнуть на диванчикъ, гдѣ пріютилась m-me Волкарева.

— У Annette прелестный характеръ въ самомъ дѣлѣ. Нужно имѣть силу души для такого спокойствія; — cette sérénité, какъ вотъ теперь, напримѣръ. Что она выноситъ! Сейчасъ, сбираясь на балъ...

— Я думаю, чего нибудь стоитъ сдѣлать себя похожей на человѣка, сказалъ онъ очень серьезно.

— Ахъ, Лѣсичевъ... я говорю о ея страданіяхъ въ семейной жизни.

— Что-жъ, одно къ другому; тѣмъ лучше для будущей жизни. Vierge et martyre!!

— Ахъ, quelle cruauté! Мнѣ и безъ того такъ грустно.

— Я это замѣтилъ и шелъ узнать, что съ вами,—уединились, старушкой, уступили

свои права m-me Верховской,—однимъ словомъ, вы—не вы.

— Жестокая необходимость, другъ мой; я обязана стараться всѣми средствами... Nous sommes au bord d'un abime. Если бы хоть вы захотѣли помочь... Скажите, прибавила она, рѣшаясь сама не зная на что:— вы продолжаете бывать у Багрянскихъ?

— Продолжаю.

— У васъ достаетъ упрямства, мужества?

— Да, почти что мужества, потому что тамъ завелось пугало для всякаго порядочнаго человѣка.

— Что вы хотите сказать?

— Кавказскій герой. Я даже хотѣлъ спросить васъ. Вы однажды намекнули, что я буду доволенъ, если не попаду въ эту семью. Вы, конечно, имѣли въ виду родство съ этимъ господиномъ?

— Я вамъ говорила? Не помню.

— Я помню, возразилъ онъ.—Но вы принимаете его очень привѣтливо и это меня сбиваетъ.

— Нѣтъ... Victor c'est un bon enfant, онъ намъ преданъ... Вы слишкомъ требовательны, Лѣсичевъ. У него, конечно, нѣтъ вашего образованія, вашей привычки къ обществу... Нѣтъ, я думала совсѣмъ другое.

— Что же?

М-me Волкарева помолчала.

— Вы встрѣчаете тамъ Верховского? спросила она.

— Раза два встрѣтилъ.

— И... что же?

— Ничего.

— Вы ничего не замѣтили?

— Ничего, повторилъ Лѣсичевъ нетерпѣливо.

— Ахъ, нехорошо, Лѣсичевъ, нехорошо притворяться! Вы не можете быть слѣпы,— онъ влюбленъ...

— Марья Васильевна, вы ужъ не въ первый разъ это говорите. Это выходитъ однообразно.

— И она его любитъ.

— Нѣтъ.

— Да! я это знаю, я убѣждена... Онъ вашъ счастливый соперникъ!

— Что? прервалъ онъ, вспыхнувъ. — Нѣтъ, потому что только пустѣйшая женщина можетъ полюбить Верховского!

Онъ забылся до того, что даже возвысилъ голосъ.

— А въ такомъ случаѣ, еще хуже! заговорила шепотомъ m-me Волкарева, не забываясь, хотя чувствовала, что въ ея сердцѣ кипѣло что-то необыкновенное.—Тѣмъ хуже! Она, не любя, служитъ отвратительной интригѣ. Ея отецъ насъ ненавидитъ: вотъ, это дѣло, что поручено Верховскому... Тамъ все извѣстно. Тамъ хотятъ насъ погубить. Она его завлекаетъ, онъ пылокъ; она готова на все...

— Кто вамъ это наклеветалъ? прервалъ Лѣсичевъ очень тихо, но такъ, что m-me Волкарева вмигъ лишилась своей энергіи.

— О, я убѣждена! отвѣчала она.—Лѣсичевъ, вы не заподозрите меня въ злости, въ легкомысліи... Верховской — что скрывать! несчастенъ въ своемъ бракѣ. Его сердце искало... Вы могли замѣтить сами... Лѣсичевъ, je vous parle en amie!.. Я сдѣлала на него впечатлѣніе. Еслибъ я захотѣла, я давно бы имѣла надъ нимъ власть, которая теперь въ рукахъ этой особы... Mais mon devoir... Но его надо отвлечь, или мы погибли! Лѣсичевъ, надо спасти и его — онъ погибнетъ! Эта преступная страсть... Я готова все сказать Лидіи!

— И самое лучшее: Лидія, безъ хлопотъ, увезетъ его отсюда, прервалъ Лѣсичевъ и засмѣялся.

М-me Волкарева потерялась.

— Лѣсичевъ, mais qu'avez-vous donc?

— Я попрошу васъ быть откровенной до конца, Марья Васильевна, заговорилъ онъ опять серьезно. — Отъ кого вы это знаете? Я не смѣю предположить, чтобъ это были ваши собственныя соображенія.

— О, нѣтъ, отвѣчала она, искренно испугавшись.

— Такъ откуда же это?

— Я не могу вамъ сказать.

— Я поищу, сказалъ онъ тихо, глядя передъ собою и закусывая себѣ губы.

— Лѣсичевъ, она вамъ не сестра и не невѣста.

— Такъ что же, возразилъ онъ засмѣявшись:—предположите у меня рыцарскія чувства.

Онъ всталъ. Кадриль кончилась.

— Рыцарскія чувства, — это очень мило въ нашъ положительный и матеріальный вѣкъ,—неправда ли? обратился онъ къ совѣтнику-редактору, который, пользуясь тѣмъ, что стало просторнѣе, пробирался къ губернаторшѣ.—Помогите мнѣ увѣрить Марью Васильевну, что я способенъ на все великое и прекрасное...

М-me Волкарева была совершенно отуманена.

— Васъ надо поймать на словѣ, сказалъ Лѣсичеву редакторъ.—Я хотѣлъ напомнить вамъ, Марья Васильевна, одно ваше доброе,

прекрасное намѣреніе—устроить общественное удовольствіе съ полезной цѣлью. Надо заставить участвовать и Лѣсичева. Я вамъ сообщалъ мою идею?

— Что такое? слабо спросила m-me Волкарева, забывшая идеи своего помощника по части всего изящнаго.

— Маленькій спектакль любителей въ пользу нашихъ защитниковъ.

— Ахъ, да...

— Для этого нужно бы собраться, прочесть...

— Поручусь, у васъ что нибудь готово! вскричалъ Лѣсичевъ. — Я вызову автора! Только, сдѣлайте милость, не патріотическое. Марья Васильевна, вы слышали, что вчера случилось въ театрѣ?

— Ah, mon Dieu... прервала m-me Волкарева.

— Вы слышали? продолжалъ Лѣсичевъ, обращаясь къ другимъ подходившимъ дамамъ.—Шла une pièce de circonstance—изъ нынѣшнихъ. Тамъ, въ концѣ, двухъ деревенскихъ злодѣевъ отдаютъ въ рекруты...

— Ахъ, Лѣсичевъ...

— Артисты вошли въ роль, завыли голосомъ, раекъ — хлопать,— и при паденіи занавѣса, за кулисы является полиція и виновники скандала...

— Пощадите! вскричала m-me Волкарева, между тѣмъ какъ онъ хохоталъ такъ нецеремонно, что притворство было ужъ замѣтно.

Собравшійся кружокъ занялся выборомъ пьесы; у совѣтника въ самомъ дѣлѣ была готова своя; онъ предлагалъ ее, разсказывалъ, объяснялъ. Выходила смѣсь литературныхъ толковъ, отвлеченныхъ сужденій, фразъ безъ конца, восклицаній безъ смысла. Лѣсичевъ школьничалъ, болталъ, возражалъ не понимая на что, противорѣчилъ, хохоталъ, самъ не зналъ чему, мѣшаясь во все и ничего не слушая. Вдругъ среди говора раздался тоненькій голосокъ Лидіи Матвѣевны; она, на-лету, тоже бросилась въ споръ.

— Ахъ, я обожаю мужчинъ, которые смѣются надъ влюбленными женщинами!

Лѣсичевъ будто очнулся. Ему вдругъ все показалось нестерпимо противно: щебетъ женскихъ голосовъ, взгляды, улыбки, все глупое, натянутое, ложное. Всѣхъ сноснѣе Аннета, набѣленная, подклеенная—по крайней мѣрѣ молчитъ и въ простотѣ сердца трепещетъ... Ему хотѣлось всѣмъ наговорить дерзостей; онъ поскорѣе бѣжалъ. Онъ машинально взглянулъ на свои часы. Въ полночь никуда не ѣздятъ... Но неужели онъ сбирался куда нибудь поѣхать? Онъ пошелъ въ комнаты, гдѣ играли. Ему хотѣлось проиграться, но не было денегъ.

Въ отдаленіи отъ карточныхъ столовъ, вдвоемъ сидѣли Верховской и Ильицынъ.

— «Счастливый соперникъ...» Въ какой мѣрѣ счастливый?.. Чортъ возьми Волкареву,—она лжетъ!

Лѣсичевъ тоже бросился въ уголъ потемнѣе, попрохладнѣе... Престранное ощущеніе: въ глазахъ мутно, въ головѣ Богъ-знаетъ что. Въ залѣ опять раздалась музыка. Онъ осматривался. Какъ все гадко: и карточные столы, и игроки, и эти два бесѣдующіе господина... Онъ припоминалъ, гдѣ въ послѣдній разъ видѣлъ Ильицына. Да, — у той госпожи, въ уѣздѣ, когда ѣздилъ съ письмомъ къ злополучному исправнику, лѣтомъ... Лѣтомъ!.. А, господинъ Верховской!.. Что-жъ вы не пойдете полюбоваться на вашу супругу? Вдвойнѣ счастливъ!.. Но лжетъ она. Выходитъ изъ себя отъ того, что плетутъ бабы—значитъ имъ вѣритъ. А кто имъ вѣритъ, тотъ хуже ихъ. Логично. Она лжетъ. Что-жъ надо сдѣлать? потому что такъ оставить этого нельзя. Отозвать Верховского, сказать ему?.. Да стоитъ ли онъ того, чтобъ съ нимъ имѣть дѣло? Еще обрадуется—какъ же, такъ привлекателенъ, пылокъ, побѣдитель!.. Ей сказать. Вотъ это называется — поберечь. Сказать. Пусть она его отъ себя выгонитъ. Тутъ дѣло идетъ и объ ея отцѣ: она не задумается...

Онъ опять посмотрѣлъ на часы. Смѣшно! Вѣдь время назадъ не идетъ. Завтра, чѣмъ-свѣтъ, къ ней.

Онъ поднялся съ мѣста.

— Куда вы, Евгеній Ивановичъ? спросилъ его Верховской.

— Домой, спать.

— Что такъ рано?

— Прежде, бывало, это вамъ говорили! возразилъ, уходя, Лѣсичевъ.

Верховской не замѣтилъ, какъ прошелъ вечеръ. Онъ не входилъ въ большую залу, а потому и не утомился, глядя на круженье. Тутъ ему не пришлось, какъ всегда бывало, бродить отыскивая знакомыхъ, непоглощенныхъ картами, или одиноко пересматривать жалкія газеты и запоздалые журналы. Знакомыхъ встрѣчалось много, всѣ были какъ-то оживлены; Верховского забавляло удовольствіе, которое онъ доставлялъ своей привѣтливостью; маленькія провинціальныя продѣлки его смѣшили. Нашлось и въ самомъ дѣлѣ занимательное — знакомство

Ильицына. Они почти не разставались. Ильицынъ участвовалъ во всѣхъ сколько нибудь значащихъ разговорахъ, даже направлялъ ихъ съ особеннымъ умѣньемъ и тактомъ. Такого пріятнаго собесѣдника Верховской еще не встрѣчалъ въ N*. Это былъ человѣкъ хорошаго общества, образованный, неотжившій, незачерствѣвшій. Онъ говорилъ безъ фразъ, просто, изящно, иногда насмѣшливо, извиняясь своей привычкой къ независимости; слегка презрительно отзывался о чиновничествѣ и чинопочитаніи, но очень высоко ставилъ заслугу; онъ не увлекался юношески, но ничего не принималъ холодно, напротивъ, во всякомъ его словѣ было участіе и серьезное достоинство. Его тонъ былъ въ мѣру, не провинціально, а добродушно увѣренный. Онъ будто считалъ себѣ все дозволеннымъ, но позволялъ себѣ только должное. Это было чрезвычайно оригинально и вмѣстѣ порядочно. Верховскому онъ очень нравился. Особенно хорошо показалось Верховскому, когда они остались вдвоемъ и разговоръ сдѣлался какъ-то задушевнѣе; слово за словомъ—встрѣчалось множество одинакихъ, сближающихъ убѣжденій.

— Какъ это, поздно? сказалъ Верховской, схватываясь за часы при отвѣтѣ Лѣсичева.

— Да, подтвердилъ Ильицынъ, опуская свои въ карманъ: — для меня, по крайней мѣрѣ, чудо—досидѣть до этой поры.

— Но и со мной этого не случалось въ этомъ клубѣ!

— Что-жъ, поблагодаримъ другъ друга взаимно, сказалъ Ильицынъ.

— Позвольте быть у васъ, отвѣчалъ Верховской, пожимая ему руку:—я буду благодарить Волкарева, который мнѣ доставилъ...

— Я долженъ отклонить одну рекомендацію Волкарева, прервалъ Ильицынъ: — онъ вамъ сказалъ, что я сослуживецъ вашего дяди Зурова. Я почти не помню Зурова. Онъ продолжаетъ служить, идетъ въ гору; я — десять лѣтъ въ отставкѣ, безвыѣздно въ деревнѣ, человѣкъ одинокій и ни о чемъ не хлопочу, какъ о полнѣйшей независимости. Я даже удивляюсь вашему дядѣ.

— Я самъ ему удивляюсь, сказалъ Верховской.

— Честолюбіе! Мы, кажется, равно его не понимаемъ. Еще недавно, я видѣлъ въ газетахъ,—Зуровъ получилъ пенсію за компанію, кажется, 1826 года. Развѣ онъ былъ тогда раненъ?

— Не знаю, отвѣчалъ Верховской.

— Теперь ужъ столько новыхъ, заслужившихъ... вѣроятно, напоминалъ. Нѣтъ, я не сталъ бы напоминать! продолжалъ Ильицынъ.—Независимость—такое благо, которое поймешь только тогда, когда оно вполнѣ—наше.

— Независимость въ бездѣйствіи—положеніе не блестящее, замѣтилъ Верховской.

— Да, но это — все, чѣмъ мы можемъ обладать въ настоящее время. По крайней мѣрѣ, я не кланяюсь, не остерегаюсь, дышу свободно. За двѣ пули въ бокъ я купилъ себѣ право мирно сидѣть дома, читать, сажать свою капусту, ни съ кѣмъ не знаться и говорить людямъ прямо, что я о нихъ думаю.

— Но, я думаю, не часто пользуетесь этимъ правомъ.

— Нѣтъ, и не рѣдко. Вотъ, я хочу имъ сейчасъ воспользоваться, сказалъ Ильицынъ, не сглаживая своего немного рѣзкаго тона даже улыбкой. — Здѣсь удивляются, что я вышелъ изъ своей берлоги. Хотите ли знать, что меня вызвало?—Вы.

— Это, въ самомъ дѣлѣ, любопытно, сказалъ Верховской.

— Я очень уважаю Волкарева, продолжалъ Ильицынъ. — Мнѣ рѣшительно нѣтъ въ немъ никакой надобности; это всѣмъ извѣстно. Уважаю потому, что онъ того стоитъ. Вдругъ я слышу, что изъ Петербурга шлютъ чиновника разбирать его дѣйствія... Позвольте, остановилъ онъ Верховского: — я знаю, что въ дѣлѣ не помянутъ прямо Волкаревъ, но тѣмъ хуже: это что-то подъ рукою... Извините. — Я узнаю, что чиновникъ, назначенный на слѣдствіе, уже давно жилъ здѣсь, купилъ имѣніе, гдѣ возмущались крестьяне... Что это такое? Развѣдыванье?

— Позвольте... прервалъ, вспыхнувъ, Верховской.

— Позвольте, прервалъ Ильицынъ. — Я васъ предупреждалъ—у меня привычка говорить прямо. Я разсказываю мои предположенія и не имѣю ни малѣйшаго намѣренія сказать вамъ что нибудь непріятное. Если мои слова покажутся вамъ неловки, извиняюсь заранѣе. Но, я думаю, вамъ даже выгоднѣе терпѣливо меня выслушать. Позвольте продолжать!

— Продолжайте... отвѣчалъ Верховской въ недоумѣніи.

— Я былъ возмущенъ за Волкарева. Согласенъ, есть офиціальныя формальности, ихъ, говорятъ, нельзя обойти, но когда происшествіе случилось на глазахъ...

— Вы знаете это дѣло? вскричалъ Верховской.

Его поразила внезапная мысль.

— Какъ же не знать. Старикъ Мауровъ былъ мой сосѣдъ, несчастный, всѣми оставленный нищій; онъ скопилъ, можетъ быть, нѣсколько грошей себѣ на гробъ, а наслѣдники...

— Вы ихъ знаете?

— Я такихъ людей не знаю, возразилъ Ильицынъ. — Извѣстно, что они нажились отъ кабаковъ. Для меня тутъ важно сопоставленіе: Волкаревъ и они! Это немыслимо! вскричалъ онъ въ негодованіи.—Что-жъ онъ сквозь пальцы смотрѣлъ, какъ воровалъ исправникъ — молодой, образованный человѣкъ? Или Волкаревъ самъ укралъ? Это... этому названія нѣтъ!.. Вы понимаете, что любопытно видѣть, какъ тутъ справляется слѣдователь, человѣкъ тоже образованный и молодой... Извините.

Верховской слушалъ жадно и вмѣстѣ разсѣянно; его сбивала, туманила собственная мысль...

— Извините, повторилъ Ильицынъ, чуть-чуть улыбнувшись его замѣтному волненію.

— О, нѣтъ, возразилъ Верховской: — напротивъ...Напротивъ, я вамъ безконечно благодаренъ... я васъ прошу.... Признаюсь, я еще не слышалъ объ этомъ дѣлѣ ни одного безпристрастнаго сужденія, я не встрѣтилъ человѣка, на котораго могъ бы положиться...

— Неужели?

— Ни души! Всѣ или тупы, или боятся Волкарева...

— Или обвиняютъ его? подсказалъ Ильицынъ.

— Да,отвѣчалъ откровенноВерховской.— Я, просто, какъ въ лѣсу. Кого слушать, на чемъ основаться?.. Не откажитесь мнѣ разъяснить...

— О, я далекъ отъ всякихъ дѣлъ! прервалъ Ильицынъ.

— Только разъяснить! Переговоримъ подробнѣе, укажите мнѣ...

— Нравственную сторону дѣла, — извольте, отвѣчалъ Ильицынъ, слегка пожавъ плечами, какъ бы въ раздумьи и неохотно.— Но только, конечно, не теперь; во-первыхъ— поздно, а потомъ... Насъ, кажется, слушаютъ.

Недалеко былъ Викторъ. Верховской оглянулся. Его вдругъ что- то взорвало.

— Это? сказалъ громко. — Это ничтожность, на которую не стоитъ обращать вниманія.

— Такъ до свиданія, сказалъ Ильицынъ.

— До свиданія, повторилъ Верховской.— Я сейчасъ уѣзжаю тоже, только скажу моей женѣ.

Онъ ушелъ въ залу.

Ильицынъ подошелъ къ столу, гдѣ игралъ Волкаревъ.

— Проигрываюсь, погибаю, мой милый: сказалъ тотъ, взглянувъ на него выразительно.

Ильицынъ наклонился къ его картамъ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ равнодушно:—мнѣ кажется, вы выиграете.

— Вы думаете?

— Покойной ночи.

Ильицынъ ушелъ.

— Какъ онъ васъ огрѣлъ, Викторъ Николаевичъ! говорилъ Духановъ подвертываясь къ другу, который, еще не двигаясь, смотрѣлъ вслѣдъ Верховскому.

— Оставьте меня въ покоѣ... выговорилъ Викторъ и ушелъ въ залу.

IV.

Багрянскій заснулъ. Катерина положила книгу, которую ему читала, въ разсѣянности погасила свѣчу и осторожно, ощупью выбралась изъ кабинета. Въ гостиной та же темнота. Изъ-подъ двери ея комнаты виднѣлся свѣтъ. Тихо, холодновато, по-ночному.

Пора отдохнуть...

Но Катерина не пошла къ себѣ и бродила по гостиной. Окна бѣлѣли. Глаза привыкали къ потемкамъ; рѣзкая, свѣтлая черта изъ-подъ двери была даже непріятна...

Она продолжала бродить какъ во снѣ. Разорванныя мысли сталкивались, мѣшались; что-то прочитанное сейчасъ, прочитанное давно, житейское, — такъ, безсвязныя слова. Знакомые предметы вырисовывались въ темнотѣ все яснѣе, — по памяти, или въ самомъ дѣлѣ. Они будили мгновенныя смутныя воспоминанія. Иногда, воспоминаніе отчетливѣе, мгновенной болью, кололо сердце; боль расплывалась, — и опять одна напряженная, томительная усталость...

Страшно устала. И такъ — всякій день. Какъ нибудь собрать, сообразить, что было въ эти послѣдніе дни... Невозможно. Однообразіе убійственное. Ни одного живого слова. Чтеніе — голова перестаетъ понимать. Унижающая тоска. Отецъ вѣчно раздраженъ. И цѣлый день ни минуты не своя: дѣла, дѣла, дѣла, — какъ глаза открыла. Подумать некогда. Живи, какъ можешь. Жизнь догораетъ. И такъ съ утра до ночи, покуда одолѣетъ сонъ.

Катерина прислонилась къ окну и смотрѣла въ улицу. Темнота. Все заборы. Вѣтеръ

рветъ высокую плакучую березу, единственную на дворѣ, напротивъ. Какъ она мечется... Въ трехоконномъ флигелькѣ, дальше, свѣтится ночникъ. Сосѣдка больна. Это жена землемѣра. Катерина вспомнила, какъ крестила у нея лѣтомъ, тогда, какъ копировала планы. Она тогда сказала ему. Она назвала свою крестницу именемъ ихъ радости; лучше этого имени нѣтъ на свѣтѣ...

Она бросилась отъ окна. Темнота, холодная какъ смерть, тѣснитъ, виситъ надъ головой. Огненная черта испугала...

Ребячество. Пойти, лечь и уснуть.

Она отворила дверь въ свою комнату. Маша сидѣла тамъ за работой и при входѣ Катерины еще ниже нагнула голову. Катерина шаловливо выдернула нитку изъ ея иголки.

— Господи, вскричала Маша:—да вы какая-то вѣчная!

Она бросилась ей на шею и горько рыдала.

— Будетъ тебѣ, сказала Катерина.

У нея прошло по сердцу нехорошее чувство. Принужденіе истомило. Все молчать, молчать, когда, вотъ, есть кому и высказаться, молчать, чтобъ не огорчать своимъ горемъ. Говорятъ—силъ много, такъ и терпи; все вынесешь. Да, точно, силъ много... Чѣмъ же виноваты тѣ, у кого ихъ мало? Къ чему высказываться? Жаловаться?..

— Будетъ, Маша, повторила она.—Я знаю, ты за меня душу отдашь, но все-таки ничему не поможешь. Я думаю другое. Куда бы тебѣ пристроиться? Такъ жить нельзя.

— Ну, будетъ и вамъ, прервала Маша.—Я ужъ это отъ васъ слышала. Гдѣ вы, тамъ и я. Вы меня сами не мучьте, не говорите такъ. Что будетъ, то и будетъ.

Катерина не возражала. Ходить было негдѣ, тѣсно. Она стала у балконной двери. Тамъ вѣтеръ слышнѣе, листья такъ и сыплятся: неясное мельканье, неясный шумъ. Ей казалось, что она чего-то ждетъ. Ждать нечего. Она оглянулась на движеніе Маши. Та убирала свою работу.

— Засните, сказала она. — А сегодня балъ въ клубѣ.

— Какъ это тебѣ пришло въ голову? спросила Катерина.

— Не знаю... И въ самомъ дѣлѣ, вамъ это не нужно.

— Мнѣ этихъ людей не нужно, сказала Катерина.—Прощай.

Она осталась одна; ей хотѣлось опять туда, въ темноту; она ужъ дошла до двери.

— Что это со мной... Пора спать.

Она машинально расплела свои косы.

— Балъ въ клубѣ. Онъ тамъ. Мнѣ ихъ не нужно... Зачѣмъ же ему ихъ нужно? Какъ онъ смирился съ этими людьми?.. Онъ опять четыре дня не показывался. Почему онъ не показывается?.. Съ того вечера...

Послѣднее свиданіе встало передъ нею ясно, отчетливо, всякимъ словомъ, всякимъ движеніемъ... Вотъ оно, несчастье. Все выносилось,—это сломило. Недаромъ такъ стало страшно, недаромъ такъ горько захотѣлось умереть. Что такое оборвалось? Кого такъ стало жаль? Его... или ужъ себя? Неужели это—онъ? Онъ? Праздный фразеръ, эгоистъ... Пригрѣлся среди вздора... Онъ...

— Невозможно! Онъ не помнилъ, что говорилъ! Невозможно! Мы оба себя не помнили. Мнѣ показалось Богъ знаетъ что. Я идеалистка. Это надо разсудить хладнокровно... Господи, я отвожу себѣ глаза, я оправдываю!..

Она бросилась съ мѣста, остановилась, въ ужасѣ захватила свои разметанные волосы и упала на стулъ... Мысли закружились, понеслись словами, образами, огнемъ. Эти минуты стоили годовъ...

Кругомъ все было тихо, будто замерло.

Что-то блѣдно мелькнуло въ темнотѣ за балконнымъ стекломъ; послышался легкій, звонкій стукъ. Катерина оглянулась.

— Отвори, моя радость, холодно.

Она поднялась вдругъ, машинально, и отперла. Она понимала—это не сонъ. Она много хотѣла ему сказать и помнила что! Сказать нужно, говорить—напрасно.

— Я сейчасъ оттуда, съ бала... Почему ты не была?

Она не отвѣчала. Онъ не замѣтилъ ея страннаго взгляда. Онъ видѣлъ только всю ее, ее въ этой маленькой комнатѣ съ маленькой свѣчой, въ этомъ святилищѣ, гдѣ простая жизнь, со всѣмъ складомъ своихъ подробностей и привычекъ, вдругъ пахнула своей чистотой, своимъ тепломъ, своей прелестью. Сейчасъ было такъ шумно; сейчасъ въ глазахъ были огни, наряды, вздоръ, женщины... Вотъ оно, свое, живое, благодать, любовь, счастье,—эта тишина, эта женщина...

— Катя, жизнь моя!

— Что тебѣ надо? спросила она.

— Я бѣжалъ къ тебѣ... Прости мнѣ... все! Онъ забывался.

— Я бѣжалъ тебѣ сказать. Ты будешь довольна. Я сейчасъ, тамъ, узналъ... разныя новыя свѣдѣнія... Завтра берусь за дѣло, за все, берусь жарко, какъ должно. Ты будешь довольна. Я все помню, все, что ты говори-

ла, все... Катя, я тотъ человѣкъ, которому ты вѣрила! Ты подняла, ты оживила — не оставь меня, не презирай, не отнимай своей любви, прости меня...

— И ты меня прости... выговорила она, падая ему на шею.

— Катя...

— Молчи. Еслибъ ты зналъ, что было у меня сейчасъ на душѣ... Только теперь я знаю, какъ я тебя люблю!

Она обнимала его жарко, торопливо, будто свидѣлась послѣ долгой, безнадежной разлуки, будто хотѣла вознаградить себя за все, что вынесла.

— Ну, вотъ, теперь жить можно! сказала она, веселая, смѣлая и прелестная.—Опять, попрежнему. Вмѣстѣ примемся за отца... Охъ, какъ онъ тоскуетъ! Ты умѣешь, ты сдѣлаешь, чтобъ у него былъ часочекъ спокойный. Знаешь, что: завтра, въ сумерки, приди сейчасъ, какъ онъ проснется...

— Катерина Николаевна... вскричала, вбѣгая, Маша.

— Стой, куда? раздался ей вслѣдъ громовой голосъ Виктора.—Эй, люди, огня!

Слышались вопли няньки, шаги Багрянскаго. Дверь затрещала; вломился Марсъ.

— Гдѣ онъ, гдѣ? повторялъ Викторъ у постели Катерины и выскочилъ изъ-за перегородки съ пистолетомъ въ рукѣ.—Злодѣй, ты здѣсь...

Верховской откинулъ его и бросился въ садъ.

— Марсъ, пиль! закричалъ Викторъ, схватывая свѣчу и сбѣгая съ балкона.

Огонь пролетѣлъ въ темнотѣ и исчезъ. Раздался выстрѣлъ.

— Что здѣсь, что случилось? спрашивалъ Багрянскій.

Ему на встрѣчу Викторъ тащилъ съ балкона Катерину.

— Что случилось? Что ты сдѣлалъ?

— Къ несчастью, не убилъ обольстителя моей сестры! отвѣчалъ Викторъ, бросая пистолетъ на полъ.—Онъ—дома!

Далеко раздавался неистовый ревъ Марса.

— Кто дома? Кто здѣсь былъ?

— Успокойтесь, Марсъ не въ состояніи перепрыгивать заборы, говорилъ Викторъ, ломая руки сестры и толкая ее въ кресло.— Успокойтесь, до завтра, онъ живъ!

— Кто живъ?.. Катерина, кто здѣсь былъ? повторилъ, весь дрожа, Багрянскій.

— Верховской, отвѣчала она громко.

— Ея любовникъ! вскричалъ Викторъ:— Онъ у нея всякую ночь... Клянусь моей душой, это—послѣдняя!

— Катерина, отвѣчай!

— Онъ лжетъ.

— Клянусь всемогущимъ Богомъ... Да вы взгляните на нее!

— Кто изъ васъ лжетъ? вскричалъ въ бѣшенствѣ Багрянскій.

— Я лгу? Вы это мнѣ, мнѣ сказали? вскричала Катерина, какъ помѣшавшаяся, хватаясь за его руки.—Я лгу?

— Прочь!

Онъ оттолкнулъ ее такъ, что она упала.

— Батюшка, батюшка... повторялъ Викторъ, подхватывая его подъ руки.—О Боже! она убьетъ васъ... Вотъ плоды... Успокойтесь, успокойтесь, я знаю мой долгъ, я исполню...

Онъ увлекъ его изъ комнаты.

Черезъ минуту, въ этой комнатѣ, во всемъ домѣ наступила страшная тишина.

Викторъ уложилъ отца, какъ ребенка, и вышелъ изъ кабинета. Въ прихожей, впотьмахъ, рыдала нянька.

— Чего, старая? Такъ-то съ вами лучше. Иди сюда.

— Злодѣй ты, выговорила она.

Катерина не знала, когда пришла въ себя, на своей постели. Было темно, хотя откуда-то свѣтилъ день. Она поднялась, вышла изъ-за перегородки. Ставни были заперты; балконъ заколоченъ снаружи досками; дверь въ гостиную—на замкѣ. Катеринѣ стало что-то смѣшно. Она воротилась за перегородку и тронула дверь въ переходную. За нею поднялось отвратительная голова Марса.

— Маша! вскрикнула Катерина.

Прибѣжала нянька.

— Молчи, матушка, молчи. Маши нѣтъ. Что тебѣ?

— Гдѣ Маша?

— Ушла... Ее братецъ разсчелъ совсѣмъ... охъ, прогналъ. И меня обѣщалъ тоже, если что...

Между морщинами у нея катились мелкія слезы. Вчера у нея не было этихъ морщинъ.

— Двоихъ человѣкъ онъ, чѣмъ-свѣтъ, нанялъ, — повара, — все ужъ ему на нынче приказалъ, — да еще человѣка. Ты ужъ не кричи: чужіе въ домѣ. Я за тобой похожу.

— Мнѣ никого не надо, сказала Катерина. — Такъ Маши ужъ нѣтъ... Который часъ?

— Скоро два, никакъ. Вѣдь вчера, къ заутрени въ колоколъ, какъ это у васъ кон-

чилось. Я ставни отворю; окошко-то двойное. Ты ужъ не уходи, Христа-ради. Да и песъ этотъ тутъ... Никого ихъ нѣтъ. Оба со двора уѣхали. Вчера еще они говорили, говорили, и сегодня, какъ встали, чай кушали...

— Чай кушали... повторила Катерина.

— Ты кушать хочешь?

— Хочу. Откройте ставни.

Свѣтъ разлился мгновенно; она оглядѣлась. Одинъ стулъ опрокинутъ. Подъ ногой хрустнуло стекло розетки съ подсвѣчника. На столикѣ, въ углу, лежала чинно, непострадавшая въ суматохѣ, фуражка Верховского.

Катерина достала маленькое зеркало и посмотрѣлась. Ей было смѣшно.

— Ну, нервы! подумала она вслухъ. — Настоящая крестьянская дѣвка... Зачѣмъ же онъ убѣжалъ?

V.

Волкаревъ въ волненіи расхаживалъ по своему кабинету. Волненіе было искусно разыграно; губернаторъ давно усталъ, но не садился, чтобы удобнѣе и величавѣе выражать свой гнѣвъ. Викторъ, сильно сконфуженный, со шляпой въ рукѣ, стоялъ у двери.

— Вы являетесь жаловаться, кричалъ Волкаревъ:—а васъ самихъ, по первому моему слову, возьметъ полиція, какъ нарушителя общественнаго спокойствія. Выстрѣлъ въ городѣ! ночью!.. Вамъ мало, что полгода назадъ вы были рядовымъ? Захотѣли еще? Забыли, что по милости моей вы существуете? Я васъ сейчасъ арестую! Я сообщу жандармскому полковнику! Я сейчасъ напишу о васъ!

— Но, ваше превосходительство, честь моей сестры...

— Молчать! Вы смѣете клеветать на лицо неизмѣримо выше васъ! За то, что господинъ Верховской васъ презираетъ? Вы, съ-пьяну, пустили пулю въ какого нибудь вашего пьянаго пріятеля!.. Честь вашей сестры! Вы ее оскорбляете! Вы выдумали сказку, сказку — слышите, сказку! Сказку, или я васъ уничтожу!

— Но что же я могу сказать, ваше превосходительство...

— Что хотите. Ступайте вонъ.

— Ваше превосходительство, я надѣялся...

— На меня? Какъ вы смѣете?.. Я могу васъ пощадить, но вступаться за васъ!.. Какъ вы смѣли это подумать? Я васъ пощажу, но не для васъ, а ради сѣдыхъ волосъ вашего отца. Я умѣю прощать врагамъ, скажите ему! Я не допущу, чтобъ имя благородной дѣвушки... скажите это ей! Но вы, вы... Если вы хоть намекомъ, хоть взглядомъ, когда нибудь... вы сгніете въ казематѣ! Ступайте вонъ.

— Его превосходительство генералъ Ильицынъ, доложилъ лакей.

— Ступайте, повторилъ, оторопѣвъ, губернаторъ. — Eh bien, mon ami, заговорилъ онъ, запирая дверь и сжимая руку Ильицына. — Не томите; что, какъ вы сошлись?

Ильицынъ бросился на диванъ и взялъ сигару.

— Я васъ, право, не понимаю, сказалъ онъ равнодушно, между тѣмъ какъ Волкаревъ заглядывалъ ему въ глаза. — Изъ чего вы переполошились? Вашъ Верховской такой податливый смертный, что съ нимъ и хлопотать не стоитъ. Вы сами компрометируетесь, присылаете за мной по десяти разъ въ гостинницу. Я еще съ вчерашняго не выспался. Дайте, пожалуйста, чаю.

— Вы, однако, мучитель, возразилъ съ досадой Волкаревъ.—Скажите толкомъ, что онъ сказалъ вамъ, вы ему?..

— Не припомню. Вотъ, еще съ нимъ повидаемся, я увезу его съ собой... а тамъ, на слѣдствіи, откроется, что нужно.

— Что откроется?

— Но все то же. Вѣдь вы-жъ придумали. Ну, откроется съумасшествіе, что нибудь въ этомъ родѣ. Вы мнѣ поручили, — и предоставьте. Я не могу заранѣе сказать, какъ вдохновлюсь. Если вы довѣряли моему благоразумію размѣнъ билетовъ...

Волкарева передернуло.

— Слѣдовательно, можете и тутъ довѣрить. Дѣло общее... Впрочемъ, я, право, не понимаю, какъ у порядочныхъ людей достаетъ охоты помнить о подобныхъ дѣлахъ, послѣ того, какъ они одинъ разъ сдѣланы.

— Vous ne vous en êtes pas mal trouvé... замѣтилъ, зашагавъ, Волкаревъ.

— И вы тоже, прибавилъ невозмутимо Ильицынъ. — Да, сейчасъ, лежа у себя, я услышалъ: вашъ слѣдователь нынѣшней ночью гдѣ-то попался, махнулъ черезъ заборъ?

— Ужъ говорятъ? вскричалъ Волкаревъ.

— Ну, что же; онъ малый подходящихъ лѣтъ и пріятной наружности. Намъ бы съ вами неловко. Говорятъ, изъ сада предсѣдателя?

Волкаревъ не выдержалъ, засмѣялся.

— Она хорошенькая, замѣтилъ онъ. —Но, мой другъ, эта исторія... Я еще не могу опредѣлить, но, надѣюсь, она подвинетъ и наше дѣло. Тутъ нѣсколько сложная интрига. Я вамъ сообщу...

— Постойте. Вы мнѣ тутъ что нибудь поручите?

— Нѣтъ, но...

— Нѣтъ, такъ интригуйте сами; съ меня довольно и одного. Дайте мнѣ чаю.

— А, проказникъ. Ну, пойдемте завтракать къ Марьѣ Васильевнѣ... А что, па выборахъ... Стеченіе обстоятельствъ благопріятное. Il faudrait un peu chauffer votre candidature...

Они вышли въ пустую бѣлую залу.

— Принимаютъ? послышался голосъ въ передней.

— А, Андрей Васильевичъ...

Верховской былъ блѣднѣе стѣны; онъ кивнулъ Ильицыну, не узнавая, потомъ, странно улыбаясь, подалъ руку, потерянный.

— J'ai deux mots à vous dire, сказалъ онъ Волкареву.

— Avec plaisir, отвѣчалъ тотъ:—пойдемте.— Дождитесь меня у Марьи Васильевны, mon cher général.

Войдя, Волкаревъ затворилъ дверь кабинета.

— Что вамъ угодно? спросилъ онъ съ важностью и достоинствомъ духовника.

— Вышла глупая исторія сегодня ночью, заговорилъ Верховской. — Лидія Матвѣевна перепугалась шума, посылала къ полиціймейстеру.

— Je sais tout cela.

— И утромъ полиціймейстеръ прислалъ сказать ей, что около нашего дома поймали вора, что его засадили...

— И это знаю.

— Я прошу васъ приказать освободить этого человѣка.

Волкаревъ улыбнулся.

— Если только, дѣйствительно, кто нибудь задержанъ, досказалъ Верховской.

— Вы сомнѣваетесь, что былъ воръ? Да, точно: мы создали этотъ миѳъ для спокойствія вашей жены.

Волкаревъ замолчалъ. Верховской сидѣлъ, наклонивъ голову.

— Вы не имѣете ничего болѣе? спросилъ губернаторъ, сухо, будто подчиненнаго.

— Ничего...

Верховской всталъ, какъ съ просонка, и машинально подалъ руку.

— Я сейчасъ вымылъ голову Виктору Багрянскому, сказалъ Волкаревъ:—желалъ бы я имѣть право сдѣлать тоже съ вами!

И внезапно, старчески расчувствовавшись, онъ обнялъ Верховского.

— Я буду драться съ Багрянскимъ, сказалъ Верховской.

— Другъ мой, у васъ дѣти... Allez je vous comprends, продолжалъ онъ, отирая слезы.— Я всегда говорилъ: вы имѣете полное, полнѣйшее право... Mais!! Вы не подумали о послѣдствіяхъ...

— Прошу не дѣлать предположеній, горячо прервалъ Верховской:—я не потерплю...

— Другъ мой... Я хотѣлъ сказать: семейка эта, батюшка!! Вы довѣрялись этому человѣку...

— Ни въ чемъ и никогда.

Волкаревъ будто не слышалъ, но продолжалъ оживленнѣе и увѣреннѣе.

— А теперь—скандалъ, молва, la réputation de cette jeune personne, ваше семейное положеніе,—ваше общественное положеніе! воскликнулъ онъ съ ужасомъ:—все виситъ не волоскѣ! Я знаю семейныя драмы, я ихъ извѣдалъ!

Онъ отъ чего-то отмахнулся рукой, отвернулся и отошелъ. Верховской опять бросился въ кресла. Скрываться и поздно, и не стоитъ; въ глазахъ мутно; нравственно и физически разбитъ; вся жизнь разсыпалась...

Волкаревъ подошелъ взволнованный, но нѣсколько торжественно.

— Я себѣ позволю вамъ высказать, началъ онъ.—Кто не былъ молодъ! но, молодой человѣкъ, вы рискнули необдуманно. Вы знаете, что откройся э т о—и вы теряете все. Все! Такъ ли?

Онъ выждалъ паузу.

— Ну, такъ я обѣщаю вамъ... я старикъ, вашъ подсудимый, чья участь въ вашихъ рукахъ!.. обѣщаю вамъ, я сдѣлаю все, все— чтобъ ваша жена ничего не узнала...—Вѣдь въ этомъ узелокъ? заключилъ онъ, лукаво засмѣявшись и понижая голосъ.

— Прощайте, сказалъ, вставая, Верховской.

Онъ брался за ручку дверей; онѣ отворились. Передъ нимъ явилась высокая фигура, желто-блѣдное лицо, сѣдые волосы, впалые глаза, сверкнувшіе какъ уголья,—Багрянскій.

Верховской видѣлъ его только одну секунду; этотъ взглядъ будто ослѣпилъ. Верховской чувствовалъ его на себѣ, считая удары своего сердца. Онъ не понималъ, но, кажется, наклонилъ голову и далъ дорогу. Ба-

грянскій прошелъ медленно, не останавливаясь.

Волкаревъ, тоже сильно растерявшись, ждалъ среди комнаты.

— Почтеннѣйшій Николай Степановичъ, какъ я радъ...

— Я по дѣлу, ваше превосходительство, отвѣчалъ Багрянскій, прерывая замѣтно затрудненные комплименты.—У меня времени немного, у васъ тоже.

— О, для васъ, днемъ, ночью...

Волкаревъ споткнулся на словѣ. Багрянскій продолжалъ, не обращая вниманія:

— Я не задержу ваше превосходительство. У меня просьба.

— Приказывайте!

Волкаревъ предложилъ ему мѣсто на диванѣ и даже оглянулся, близко ли подушка.

— Моей службѣ недавно исполнилось тридцать четыре года... началъ Багрянскій и остановился.

— Тридцать четыре года трудовъ! сказалъ Волкаревъ, съ умиленіемъ возводя глаза.

— Да, а потому я хочу съ ними покончить, продолжалъ Багрянскій рѣзко, какъ будто это умиленіе заставило его рѣшиться.—Я намѣренъ выдти въ отставку. Но я не выслужилъ пенсіи.

Онъ остановился опять.

— Такъ какъ же?... спросилъ Волкаревъ, уже безъ умиленія, а съ самой наивной недогадливостью.

— Служить усталъ... а жить нечѣмъ, сказалъ Багрянскій.

— Да... Это затруднительно.

Волкаревъ задумался съ состраданіемъ, полнымъ достоинства. У Багрянскаго выступили пятна на щекахъ.

— Но... У васъ домъ, сказалъ, надумавшись, Волкаревъ.

— Онъ останется моему сыну.

— Сыну?..

— Да.

Волкаревъ еще помолчалъ.

— Но что же! сказалъ онъ, оживляясь:— Викторъ можетъ служить, и вы, вмѣстѣ...

— Я пришелъ просить ваше превосходительство, прервалъ Багрянскій:—у васъ сильныя связи... Исходатайствуйте, чтобъ мнѣ дали пенсію.

Онъ поблѣднѣлъ, какъ мертвый. У Волкарева сорвалось движеніе, скользнула улыбка...

— О, если бы только отъ меня... воскликнулъ онъ.—Но, вы знаете—законъ!

— Я знаю законъ, ваше превосходительство, возразилъ, сдерживаясь, Багрянскій:— но столько дѣлается мимо закона!

— Comment... Какъ, это вы говорите!

— Это я говорю. Что нибудь я принесъ пользы въ тридцать четыре года,—можно дать льготу,—да покуда протянется эта процедура, еще пройдетъ довольно времени... Вамъ стоитъ сказать...

— Надо какъ нибудь это устроить, сказалъ Волкаревъ озабоченно и всталъ.

Багрянскій посмотрѣлъ на него, закусивъ губы, и, помедливъ, всталъ тоже.

— Постараюсь, постараюсь... говорилъ разсѣянно Волкаревъ.

— Постарайтесь поскорѣе, ваше превосходительство.

Волкаревъ ловко оставилъ ему дорогу къ двери.

— Ваше превосходительство, продолжалъ Багрянскій, внѣ себя, задыхаясь и укрощая голосъ и движенія:—еслибъ не крайность, я не просилъ бы васъ. Говорю вамъ, я усталъ, боленъ, не въ состояніи работать. Я сейчасъ сдалъ должность старшему совѣтнику...

— О, я вѣрю. Даю вамъ слово.

Онъ подалъ руку ужъ въ дверяхъ. Багрянскій вышелъ. Волкаревъ вдругъ вспомнилъ учтивость и пошелъ проводить. Просторъ залы возвратилъ ему его оживленіе.

— Ну, что вы будете цѣлый день дѣлать безъ вашей палаты? пошутилъ онъ весело и нецеремонно на порогѣ передней.

Багрянскій откланялся, не отвѣчая.

Изъ «пріюта» madame Волкаревой слышались разговоры, оханье. Тамъ, за завтракомъ, около хозяйки, были Ильицынъ и еще дамы. Лѣсичевъ, у другого стола, засмотрѣлся на портреты турецкихъ генераловъ въ «Художественномъ Листкѣ». Лидія Матвѣевна лежала въ креслѣ и громко разсказывала. Она была весела необыкновенно.

— Совершенно счастливъ, что васъ вижу, сказалъ Волкаревъ, цѣлуя ея пальчики:— смѣетесь, значитъ, покойны.

— Отдѣлалась страхомъ, отвѣчала она.— Хорошо вамъ говорить, злой! А я, вотъ, какъ глаза открыла, накинула халатъ...

Она была вся въ розовомъ атласѣ и сѣромъ бархатѣ.

— André меня называетъ мышонкомъ въ этомъ платьѣ... Да-съ, была передряга! я воротилась изъ клуба, только начала раздѣваться, снимаю серьги—выстрѣлъ! Слышу, всѣ всполошились. Анна Петровна кричитъ... Ахъ, я хохотала! Лѣсичевъ, я ее увѣряю, что это вы, отъ любви къ ней, застрѣлились у нея подъ окошкомъ... Бѣгу: André, André!

Стучу къ нему въ дверь: заперто, спитъ мертвымъ сномъ... Вѣдь онъ уѣхалъ изъ клуба раньше. И его лакей такъ глупъ: нѣтъ другого ключа. Стучу, кричу. Наконецъ, André мнѣ отворяетъ, перепуганный, вскочилъ съ постели... Вообразите—ничего не слышалъ, спалъ!

— Какъ счастливецъ! досказалъ Волкаревъ.

— И меня же бранитъ, что я его разбудила! Я, тотчасъ—верховаго къ полиціймейстеру. Хорошо, что André мнѣ не противорѣчилъ. Я была внѣ себя. И вдругъ оказывается—воръ, поймали...

— Да, такъ скоро... замѣтила m-me Волкарева, нѣсколько смущенная.

— Я говорю, что я всегда молодецъ! продолжала Лидія Матвѣевна.—А Андрей Васильевичъ сегодня—и въ нервахъ, и голова болитъ; и, вотъ, сейчасъ—я уѣзжаю, онъ отправился отдыхать...

Ильицынъ посмотрѣлъ на Волкарева; тотъ сдѣлалъ движеніе.

— А, вижу, вижу, знаки! вскричала, хохоча, Лидія Матвѣевна.—Не церемоньтесь: все знаю. Тутъ штучки. Mesdames, разсудите... Право, я гожусь въ сыщики!.. Разсудите. Все это было въ саду у этихъ Багрянскихъ. Je vous demande un peu—что у нихъ красть? Еслибъ былъ воръ, онъ бы ко мнѣ залѣзъ, а онъ прыгнулъ отъ нихъ, а потомъ,—наши ворота были еще незаперты...

— Что-жъ изъ этого слѣдуетъ? прервалъ Лѣсичевъ.

— То слѣдуетъ, что... ce n'était pas un voleur, mais un amant.. Ай!..

Она завизжала и закатилась отъ смѣха. Ей вторилъ Волкаревъ и дамы. M-me Волкарева слегка поблѣднѣла.

— Я и дальше иду... У меня, я вамъ говорю, способности!.. Victor не сталъ бы терять пороху, еслибъ это былъ кто нибудь изъ кухни, cet amoureux transi...

— Ахъ, вчера было холодно... замѣтила, теряясь, m-me Волкарева.

— Онъ погрѣлся движеніемъ, сказалъ Волкаревъ, развязно смѣясь и бросая бѣглый, грозный взглядъ на жену.—Но... но я ничего не говорю! Ma toute belle, вспомните слова поэта: «N'insultez jamais une femme, qui...»

— Э, полноте! Глупости! вскричала Лидія Матвѣевна.—Я готова такимъ глаза выцарапать! Я на всѣхъ сошлюсь, mesdames, что это такое...

Она начала рѣчь о женской добродѣтели, въ негодованіи, не разбирая выраженій, не обѣгая названій. Это было страшно, и чѣмъ нелѣпѣе, тѣмъ страшнѣе. Въ нелѣпости была своя логика. Не согласиться съ нею, значило — поравняться преступленіемъ съ осуждаемой преступницей, значило отступиться отъ правъ и преимуществъ супруги, царицы дома, отхватиться отъ подпорокъ, которыми держатся добродѣтели, полетѣть внизъ головой въ пространство... Согласіе дамъ было полное. M-me Волкарева еще чувствительно пролепетала о снисхожденіи, но чрезъ минуту вспомнила: этотъ онъ, кого не называютъ, не подозрѣваютъ,—разбилъ ея сердце! Его назвать она не могла, за то первая назвала по имени ее, виновную... m-me Волкарева мстила; она была женщина...

— Ce père infortuné... онъ сейчасъ былъ у меня, сказалъ Волкаревъ и, замѣтивъ, что Ильицыну надоѣло, увелъ его къ себѣ.

Никто не видалъ, какъ вышелъ Лѣсичевъ.

VI.

Багрянскій воротился домой и, стоя на тротуарѣ подъ дождемъ и вѣтромъ, расплачивался съ извозчикомъ. Новый лакей выскочилъ предложить свою помощь барину, когда тотъ всходилъ на ступеньки.

— Ничего не надо, сказалъ Багрянскій.

Онъ вошелъ въ кабинетъ, сбросилъ мокрое пальто и упалъ на колѣни передъ образомъ. Лакей осторожно притворилъ дверь, которая распахнулась. Багрянскій всталъ также стремительно, подошелъ къ письменному столу, бралъ и откидывалъ бумаги, осматривался...

Катерина была одна у себя. Холодно и страшно спокойно слышала она шаги, голоса въ домѣ. За порогомъ этой комнаты казался ей какой-то чужой домъ. Тамъ дѣлать нечего. Тамъ все кончилось. Что будетъ—она не знала. Вотъ, покуда, тюрьма. Она понимала это опредѣленно, ясно. Ни одной минуты раздумья, безсознательнаго блужденія мысли,—этого разстройства, разсказывающаго себѣ сказки для своего утѣшенія, развлеченія, и такъ, Богъ-вѣсть для чего. Несчастье свершилось, помочь нечѣмъ. Но если бы и было чѣмъ, — не поздно ли?.. Въ ея душѣ что-то умерло. Она знала что...

Этого она не ждала. Это было страшно какъ помѣшательство, какъ преступленіе. Этотъ новый ужасъ покрывалъ все, что прежде было ужаснаго.

— Отца-то у меня нѣтъ... выговорила она и остановилась, глядя предъ собою.

— Катерина! раздалось изъ кабинета.

Она вздрогнула и въ безумной, неописанной радости заметалась къ дверямъ. Онѣ были заперты. Прошло нѣсколько минутъ, пока нянька подоспѣла съ ключомъ. Но Катерина уже не торопилась. Лакей поклонился ей, когда она проходила гостиную; онъ ждалъ тамъ, любопытствуя видѣть барышню.

Катерина почти рванула двери кабинета. Багрянскій стоялъ къ ней спиною у письменнаго стола.

— Ты не хотѣла идти? сказалъ онъ.

— Я была заперта, отвѣчала она.

Онъ обернулся.

— Какъ вы себя чувствуете? спросилъ онъ, бѣгло оглянувъ ее всю, отъ гладко-убранныхъ волосъ до пышнаго платья. — Разрядилась!..

— Батюшка, вскричала она:—что вы съ собой дѣлаете?

Онъ отсторонился, оглянулся опять съ отвращеніемъ, съ ужасомъ, съ презрительной насмѣшкой восторженнаго торжества, и закинулъ голову, будто наступая на что-то поврежденное.

— Надо вамъ объявить..: началъ онъ.— Кто сегодня оправлялъ лампаду?

Онъ указалъ на образъ.

— Не знаю, отвѣчала Катерина.

— Не ты? Слава Богу!.. Не смѣй прикасаться. И безъ того, столько времени... Господи, прости мое прегрѣшеніе!

Въ страхѣ и умиленіи онъ зашепталъ молитву. Катерина ждала.

— Ну, началъ онъ опять: — я свое дѣло кончилъ, Катерина Николаевна. Я подаю въ отставку.

— Въ отставку? Почему? спросила она пораженная.

— Не могу больше. Силамъ человѣческимъ есть конецъ. Прихлопнули. Спасибо!

— Что нибудь случилось? Непріятность?

— Непріятность! Еще спрашиваетъ!.. По своей доброй волѣ.

— Что съ вами, батюшка? Невозможно!

— Почему-жъ это невозможно? спросилъ онъ, усмѣхаясь.

— Подумайте... Да невозможно же! вскричала Катерина, забывая все. — Полтораста тысячъ крестьянъ, такое время, Богъ знаетъ кого назначатъ... Человѣкъ, какъ вы, и отступать? вашимъ рукамъ ничего не дѣлать? это... не знаю что! Да, невозможно! Никогда вы этого не сдѣлаете, не можете сдѣлать, не допущу я... Голубчикъ, это, просто, нечестно! вспомните, что вы сами столько разъ говорили...

Онъ смотрѣлъ на нее невыразимо; его глаза сверкнули, наполняясь слезами; пальцы впились въ сукно письменнаго стола.

— Цѣлуйся съ своимъ Верховскимъ... выговорилъ онъ, когда она къ нему бросилась.

— Господи... прошептала Катерина, удерживаясь за этотъ столъ.

— Да ужъ и поздно толковать, началъ снова Багрянскій. — Я все вчера рѣшилъ. Кончено. Съѣздилъ, поклонился въ ноги подлецу Волкареву; пенсію дадутъ. Незаконно—но я и удержу ее недолго; лишь бы справиться съ необходимымъ на первое время, а тамъ... Кланялся,—кто униженъ, тому ужъ куда ни шло послѣднее униженіе. За то — будетъ пенсія... Волкаревъ, — ну, что-жъ! Хоть и Волкаревъ! «Сотворите себѣ други отъ маммона неправды!» Всѣ годятся; нечего презирать людей, когда сами мы... А потомъ, поѣхалъ въ палату, написалъ все по формѣ... Который часъ? Четыре?.. Ну, петербургская почта ужъ отошла. Слава Тебѣ, Господи!

— Вы мнѣ скажите, что-жъ вы будете дѣлать? спросила твердо и настойчиво Катерина.

Багрянскій захохоталъ.

— Его превосходительство предложилъ мнѣ этотъ самый вопросъ, отвѣчалъ онъ.— Не безпокойтесь обо мнѣ. Иду къ Отцу моему Небесному. Онъ укрѣпитъ и упокоитъ... Не умѣлъ, окаянный, водворить законъ Господень въ семьѣ своей,— не смѣй больше власть имѣть надъ людьми,—недостоинъ,— иди и кайся!.. Я ужъ написалъ сегодня на зарѣ... Почта отошла?.. Написалъ отцу архимандриту Александру, въ Соловецкую обитель. Иду туда.

Катерина упала на стулъ, какъ подкошенная, и зарыдала.

Багрянскій сдѣлалъ движеніе, удержался, опять поднялъ глаза на образъ и сталъ медленно креститься. Нѣсколько минутъ слышались только возгласы его молитвы.

— Теперь надо покончить съ земнымъ, сказалъ онъ, наконецъ, торжественно. — Встань, поди сюда.

Катерина подошла.

— О чемъ ты плачешь?

— Батюшка, неужели вы не понимаете!

— Не лицемѣрь. Ты о себѣ плачешь.

— Что мнѣ о себѣ думать. Не пропаду.

— Ты ужъ пропала.

Ея слезы вмигъ остановились. Въ этотъ мигъ она поняла, что у нея еще была какая-то безумная надежда.

— Вы, стало быть, убѣждены, что я пропала? спросила она.

— Не сомнѣваюсь. Очевидно: онъ отъ меня бѣжалъ... Молчи. Не сомнѣваюсь... Слушай. Я тебя лелѣялъ, тобой превозносился! тобой дышалъ, во всемъ тебѣ вѣрилъ, все прощалъ. Чѣмъ ты заплатила? Вымолвить... Я, ослѣпленный, самъ тебѣ потворствовалъ! Сынъ открылъ мнѣ глаза, онъ зналъ давно. Ты его ненавидишь, ты его всегда отчуждала отъ меня. Онъ давно, раскаянный, просилъ моего прощенія: ты скрывала его письма.

— Онъ лжетъ! вскричала Катерина.

— Молчи, безстыдная, клеветница, лицемѣрка!.. Господи, Господи, страшенъ и праведенъ судъ Твой! Ты покаралъ меня самымъ грѣхомъ моимъ!.. Молчи! ты душу мою возмутила, ты меня уничтожила! Я — грѣшникъ, падшій чрезъ тебя!

Катерина сѣла. Полъ, стѣны, все, казалось ей, куда-то уплывало. Багрянскій молился.

— Отрѣшаюсь отъ всего, оставляю все, началъ онъ снова. — Мнѣ все въ тягость. Отнынѣ мой сынъ — хозяинъ дома и глава. Живу у него, смиряюсь, искупаю вину мою предъ нимъ. Живу, покуда буду въ средствахъ устроиться,—потому и просилъ о пенсіи. Получу. Мнѣ лишь бы туда доѣхать! А тамъ, если сподобитъ меня Господь... Но на мнѣ еще лежитъ одинъ послѣдній долгъ: образумить тебя, не дать душѣ твоей до конца погибнуть. Одумайся, покайся... А тамъ, смотря по степени твоего раскаянія, я позабочусь тебя обезпечить. Оставить тебя нищей, ты совсѣмъ развратишься. Обыкновенный исходъ.

Катерина не поднимала головы. Багрянскій закинулъ руки за спину и принялся ходить взадъ и впередъ.

— Разсказывай, какъ у васъ было, сказалъ онъ.—Съ начала. Что молчишь?

— Что вамъ угодно?

— Ну, хватитъ наглости, такъ оправдывайся.

— Въ чемъ?

— Не понимаешь? Назвать надо?

— Я васъ понимать не хочу, возразила она. Было время—хотѣла я броситься вамъ на шею, сказать все... Сказать какъ Богу...

— А теперь, неугодно?

— Не стоитъ... Поздно! вскричала она отчаянно.—Поздно! золотое время... Жизнь моя... Родной мой, Богъ мой... Ничего не осталось!

Она вскочила, рыдая, заломивъ руки, металась въ томъ изступленіи, которое доводитъ до сознательнаго самоубійства, въ которомъ ужъ не чувствуется физическая боль, а для скорби ужъ нѣтъ выраженій. Ей встрѣтились глаза отца; она бросилась, обхватила его и обмерла.

— Виновата? сказалъ онъ.

Она не шевельнулась, тяготѣя на его плечѣ. Онъ заглянулъ ей въ лицо; ея глаза были закрыты и только вздрагиванья ея тѣла давали понять, что она еще жива. Въ ужасѣ Багрянскій чуть не поцѣловалъ ее и, въ ужасѣ, удержался... Нечистая, нераскаянная грѣшница! Искушеніе въ образѣ родительской любви!.. Чѣмъ она прекраснѣе, чѣмъ больше ее жаль—тѣмъ она ненавистнѣе... Онъ съ наслажденіемъ ее ненавидѣлъ; ему страшно, болѣзненно хотѣлось, чтобъ она была преступна, хотѣлось страдать, карая ее, бичевать себя въ самомъ дорогомъ, приносить его въ жертву... Такъ угоднѣе Богу. Вотъ истинное покаяніе, истинное самоотреченіе, полный разрывъ съ міромъ...

— Виновата, что ли? повторилъ онъ, съ силою отрывая отъ себя ея сжатыя руки.— Признавайся; не ублажай грѣха. И для молодыхъ бываетъ близокъ часъ смертный...

— О, вотъ, такъ бы и умереть... сказала она, чувствуя только, что это онъ, отецъ, держитъ ея руки, и ловя цѣловать его пальцы.

— Господи, подкрѣпи меня и помилуй! воскликнулъ Багрянскій.—Лукавая, не прикасайся ко мнѣ, не лицемѣрь, довольно! Ты всю жизнь меня обманывала! Ангелы отвращаютъ ликъ свой отъ твоего преступленія! Гробъ раззолоченный, внутри — мерзость, вотъ что ты...

— Батюшка...

— Не смѣй называть меня отцомъ! закричалъ онъ, откинувъ ее.—Я отъ тебя отрекся! Я твой судія,—отдай мнѣ отчетъ, ожесточенная душа! Давно ли у тебя любовникъ?

Катерина, шатаясь, отступила, удержалась, выпрямилась, холодная, блѣдная; только горѣли ея глаза.

— Хорошо! сказала она отчаянно и твердо.—Вы смиряетесь, вы кончили съ земнымъ? Стало быть, и отъ васъ можно требовать отчета... Какъ вы смѣете меня оскорблять?

— Что?..

Онъ остолбенѣлъ.

— Вамъ сказалъ вашъ сынъ... А сами вы меня не знали? По одному моему слову, прежде моего слова, вы должны были... А вы повѣрили ему! Вы п о в ѣ р и л и, п о в ѣ р и л и! И вы меня допрашиваете? Оправдываться передъ вами? Да съ чего-жъ вы это взяли?

Вы хотите меня судить? Отмолите прежде вотъ этотъ грѣхъ...

— Слушай, ты... вскричалъ онъ, бросаясь на нее.

— Слушайте вы! прервала она, отстраняясь руками:—вы меня оскорбили, вы отъ меня отреклись, вы все мое счастье убили—я люблю Верховского!

— Дальше! Договаривай дальше!

— Опять тоже? Вы вчера слышали.

— Ты лжешь!

Она пошла къ двери. Багрянскій схватилъ ее.

— Катерина, клянусь именемъ Господа Бога...

— Клянусь именемъ Господа Бога, я не скажу вамъ больше ни слова! вскричала она, снова залившись слезами. — Пустите меня. Прогоните меня скорѣе! Вѣдь все кончено и намъ вмѣстѣ быть нельзя. Какъ вы на меня смотрѣть будете?

Онъ выпустилъ ея платье и отошелъ.

— Стой, не уходи, сказалъ онъ отрывисто, не оглядываясь.

Она осталась у порога. Нѣсколько минутъ въ комнатѣ не слышалось даже шороха.

— Господи, да будетъ воля Твоя! произнесъ Багрянскій и положилъ земной поклонъ. — Слушай. Я тебѣ позволилъ говорить. Ты сказала только одну правду: все кончено... Ну, все кончено!.. Я свое дѣло сдѣлалъ. Что ты сейчасъ насказала... Ну, довольно. Больше празднословить не буду. Слушай: я все еще господинъ твой и отвѣчаю за тебя передъ Создателемъ и передъ людьми, пока еще живу между ними. До моего отъѣзда туда, ты должна оставаться при мнѣ. Не убѣжишь?

— Я обѣщалась васъ не оставлять.

— А сейчасъ просила прогнать... Не убѣжишь?

— Не убѣгу.

— Ступай къ себѣ... Что было твое, то твое. Я тебя не обираю и, не безпокойся, братъ не оберетъ. У тебя все есть, не нуждаешься?

Она молчала и смотрѣла.

— Скажи, если что нужно. Прислуга у тебя тоже есть. Мы условились съ твоимъ братомъ. Я буду платить ему за содержаніе твоей няньки.

— Такъ позвольте мнѣ не выходить изъ моей комнаты, а няня подѣлится со мной тѣмъ, что ей дадутъ ѣсть. Я буду знать, что ѣмъ не краденый и не кровавый хлѣбъ, сказала Катерина и отворила дверь.

Передъ ней явился Викторъ; будто не видя сестры, онъ загораживалъ ей дорогу, такъ что она не могла выдти.

— Батюшка, я сейчасъ ѣздилъ къ нему, не засталъ...

— Спрятался, сказалъ Багрянскій. — Я самъ сейчасъ его встрѣтилъ у Волкарева и онъ отъ меня бѣжалъ. Все равно. Оставь это. Ужъ все кончено.

— Я то же думалъ, сказалъ Викторъ, входя, понижая голосъ и придерживая дверь: — тамъ прислуга, батюшка... Я думалъ... Волкаревъ, по своимъ разсчетамъ, не хочетъ огласки, а вамъ самимъ, теперь,—такъ какъ вамъ необходимъ Волкаревъ...

— Оставь все, повторилъ Багрянскій.

— Вы нашумите съ Верховскимъ, а Волкаревъ для васъ ничего не сдѣлаетъ, продолжалъ развязно Викторъ и прибавилъ съ пренебреженіемъ: — а въ глазахъ публики это все легко стушевать. Его жена ничего не подозрѣваетъ, привѣтлива со мной, звала къ себѣ. Я поѣду, хоть даже сегодня вечеромъ...

— Какъ хочешь. Оставь все.

— Вѣдь онъ меня не выгонитъ! заключилъ Викторъ, уже засмѣявшись, и, только тутъ примѣтивъ Катерину, отхватился отъ двери.—Ah, pardon!..

Катерина вышла...

Она не помнила, гдѣ была, что дѣлала, что видѣла, на яву или во снѣ. Вечеромъ, нянька внесла къ ней свѣчку. Катерина спросила, по привычкѣ, какъ иногда спрашивала Машу:

— Что тамъ дѣлается?

— Братецъ въ гости уѣхалъ, а папенька отъ всенощной воротился. Завтра Казанская. Одинъ сидитъ. Ты, что же, опять будешь лежать?

Катерина встала и прошлась. Заколоченный балконъ былъ безобразенъ.

— Завтра вставятъ его, замѣтила нянька, оглянувшись вслѣдъ за нею. — Я было спросила папеньку, не прикажетъ ли онъ тебя позвать. Нѣтъ, говоритъ... Куда-то онъ скоро сбирается ѣхать; велѣлъ себѣ бѣлье готовить.

— Принеси ко мнѣ; я починю, что нужно...

Такъ должно было пройти много дней...

M-me Волкарева полулежала на диванѣ, при свѣтѣ фонарика, одна. Ей было очень скучно. Тоненькій романъ скатился на полъ. На столѣ былъ флаконъ съ солью. Въ домѣ царствовали полумракъ и безмолвіе.

— Ахъ, Лѣсичевъ, вскричала она, несказанно обрадованная.

Лѣсичевъ поздоровался молча.

— Именно васъ я и не ждала. Я думала, вы тамъ.

— Гдѣ?

— У Верховскихъ. Lydie звала, но я рѣшительно не въ состояніи:—brisée. У меня былъ докторъ... Лѣсичевъ, я многихъ людей не понимаю! Напримѣръ, Lydie. Вся эта исторія... Положимъ, grâce à Dieu, Lydie ничего не подозрѣваетъ, но, говорятъ, онъ боленъ, онъ въ постели... Мужъ видѣлъ его: il n'a l'air de rien, несчастный! Сколько нужно силы воли, чтобъ скрыть, не измѣнить себѣ... ужасно! Положимъ, я была приготовлена, но... Вотъ судьба: я вамъ за часъ до этого говорила, на балѣ, и вы еще не вѣрили! Ah, quelle femme perdue, quelle, femme sans coeur, sans principes! Боже, какъ онъ несчастенъ! Мой мужъ правъ, не допуская огласки: Верховскому терять изъ-за этой женщины...Victor благородно, но слишкомъ далеко увлекся. Я всегда говорила, что эти южныя натуры... вѣдь онъ такъ долго былъ на Кавказѣ; тамъ мщеніе, смерть... Вы задумались?

— Что?..

— Бѣдный Лѣсичевъ!

Она нѣжно подала ему руку.

— Что дѣлать, другъ мой, горя не избѣжишь. О, повѣрьте, бываютъ такія глубокія, тайныя раны!... Но для мужчины есть спасеніе: тихая, семейная пристань. Croyez-moi, Лѣсичевъ, женитесь скорѣе, Аннета... Вамъ нужна карьера. Каруцкій готовъ...

— Марья Васильевна, прервалъ онъ: — чѣмъ вы меня считаете?

— Quoi donc?

— Чтобъ я за всѣ земныя блага захотѣлъ имѣть своимъ кузеномъ Верховского? Встрѣчать когда нибудь его физіономію? Этотъ... Этотъ... Ему имени нѣтъ! Въ постели!!! А о ней кричатъ на улицахъ! Ея домъ... я видѣлъ, ѣхалъ мимо...

— Mais mon Dieu, что-жъ было дѣлать Верховскому?

Лѣсичевъ не отвѣчалъ. Онъ отдвинулъ драпировку и смотрѣлъ въ окно.

— Подите же сюда, позвала его m-me Волкарева. — Что вамъ тамъ нужно?

— Смотрю, идетъ ли дождь.

— Вотъ это кстати!

— Для меня очень важно. Что прикажете?

— Не знаю... я потерялась съ такимъ страннымъ перерывомъ. Вы были сейчасъ въ такомъ волненіи... Лѣсичевъ, мнѣ показалось—скажите искренно: неужели вы намѣрены на ней жениться?.. Не спорю, другъ мой, заговорила она поспѣшно: — это черта чудеснаго сердца; для общества—ваше имя... и всякая женщина... Но для васъ самихъ, для вашего внутренняго чувства,—о другъ мой, эти объятія другого...

— А, вотъ, хорошо, что вы напомнили. Я объ нихъ было-забылъ.

— Лѣсичевъ...

Она растерялась.

— Вы загадочны... О, какъ вы ее любите! Неужели вы еще можете ее любить?

— Это ужъ мое дѣло, отвѣчалъ онъ. — Впрочемъ, можете успокоиться: я не женюсь. Я только не хочу слушать, какъ о ней разсуждаютъ благочестивыя, непорочныя, страдающія, сострадающія и всякія души. Зажать имъ рты я не могу, а потому — бѣгу отъ нихъ.

— Какъ? что? бѣжите? Куда?

— Сегодня утромъ, уйдя отъ васъ, я подалъ просьбу объ отставкѣ. Алексѣй Владиміровичъ былъ не въ духѣ, тотчасъ принялъ и рѣшилъ; обязательные товарищи по канцеляріи ускорили формальности... И, вотъ-съ, я смотрю, идетъ ли дождь, чтобъ не очень размокнуть; я сейчасъ уѣзжаю.

— Куда?

— Куда нибудь, отвѣчалъ онъ, пожавъ плечами.—Покуда, къ себѣ въ деревню.

— Какъ, въ это время года?

Онъ засмѣялся.

— Не простясь ни съ кѣмъ.

— Позвольте проститься съ вами. Я затѣмъ пришелъ. Мнѣ пора.

— Но что же это... Боже мой, я не приду въ себя! Лѣсичевъ, вы уѣдете... Что-жъ будетъ...

— Э, мѣсто свято не бываетъ пусто, возразилъ онъ. — Меня же такъ легко замѣнить; никто и не примѣтитъ, что нѣтъ меня. Верховскіе процвѣтутъ здѣсь надолго... Процвѣтайте, благоденствуйте, веселитесь и, пожалуй, поминайте меня лихомъ. Впрочемъ, я увѣренъ, это сдѣлается и безъ моего позволенія... Прощайте, Марья Васильевна.

— Одну минуту, Лѣсичевъ... но Аннета...

— Посватайте ей Багрянскаго! отвѣчалъ онъ, хохоча, и откланялся.

VII.

Было 27-го марта 1855 г., Свѣтлое Воскресенье.

Весна настала жаркая, какой не помнили старожилы; снѣгъ сошелъ давно; на разме-

тенныхъ N-скихъ улицахъ ужъ поднималась пыль отъ праздничной ѣзды; у тротуаровъ темнѣла прошлогодняя трава, на бульварѣ начинали зеленѣть деревья. Раннее тепло утѣшало; это было что-то неожиданное, привѣтное, какой-то свободной радостью освѣтившее среди общихъ бѣдъ. Свѣтлый день, свѣтлый праздникъ вызывали изъ заперти; народъ высыпалъ за ворота, съ невеселыми толками на бѣдное веселье.

Былъ ужъ вечеръ. Послѣдніе лучи догорѣли красными искрами на стеклахъ оконъ, сбѣжали полосами съ крышъ, и только на верхнихъ вѣтвяхъ старыхъ кленовъ еще блестѣли мелкими зелеными точками молодые листья. Въ пустомъ переулкѣ было тихо. Изъ отворенныхъ оконъ дома Багрянскаго вылетали клубы ладана и слышалось церковное пѣніе.

Тамъ служили всенощную заутреню съ вечера. Гостиная была какъ будто не та, убрана иначе; другая мебель, ни рояля, ни рѣшетки съ плющемъ. Въ углу большой столъ, покрытый скатертью; на немъ много образовъ и свѣчей. Старикъ священникъ и старикъ дьяконъ въ прекрасныхъ парадныхъ ризахъ; крестъ и свѣча, съ которыми они кадили, обвиты дѣланными цвѣтами. Причетники очень громко и довольно согласно пѣли канонъ пасхи. Золото, мерцанье розоватыхъ огней, туманъ дыма и весеннихъ сумерекъ, радостное пѣніе,—все было по-праздничному, но не смотрѣло праздникомъ.

Молящихся было довольно, — прислуга и нѣсколько прихожанъ, которые, по усердію, помогли принесть большіе образа изъ церкви. Впереди всѣхъ, среди комнаты, стоялъ Багрянскій. Онъ, казалось, постарѣлъ десяткомъ лѣтъ, но держался прямо, по привычкѣ и по строго сознаваемой обязанности. Онъ былъ одѣтъ какъ-то щеголевато, но степенно; на немъ не шевелилась ни одна складка. Онъ молился не оглядываясь и, по уставу Свѣтлаго праздника, не клалъ земныхъ поклоновъ. Недалеко отъ него стояла Катерина, тоже не оглядываясь, тоже попраздничному, хотя куталась въ большой ковровый платокъ сверхъ смятаго бѣлаго платья. Викторъ стоялъ у двери, гдѣ ему было удобнѣе распоряжаться и наблюдать за порядкомъ службы; по его приказанію, лакеи нѣсколько разъ бросались поправлять свѣчи, къ смущенію недоглядѣвшихъ дьячковъ. Викторъ былъ изящно утомленъ и снисходительно-замѣтно скрывалъ свое замѣтное нетерпѣніе.

Заутреня кончилась. Священникъ три раза сказалъ: «Христосъ воскресе»; три раза раздавался отвѣтъ. Багрянскій первый подошелъ къ кресту и выждалъ, когда приложились другіе. Священникъ подалъ ему маленькій образъ изъ стоявшихъ на столѣ.

— Пожалуйте, сказалъ онъ Виктору.

Викторъ подошелъ стремительно и упалъ на одно колѣно. Багрянскій высоко поднялъ образъ и произнесъ благословеніе. Викторъ, рыдая, не могъ подняться; ему помогли. Священникъ окропилъ его святой водою.

— Катерина, сказалъ Багрянскій, принимая другой образъ.

Дьяконъ, державшій святую воду, замѣтилъ, что у него дрожали руки. Катерина поклонилась въ землю, встала и поцѣловала образъ. Отецъ смотрѣлъ на нее неподвижно-мертвыми глазами. Всѣ какъ-то притихли,

— Батюшка... шепталъ Викторъ, указывая священнику въ двери:—покропить,—прошу... Прасковья, проведи!

Всѣ зашевелились, толкались, выходили. Дьячки убирали книги, гасили свѣчи. Черные лики въ серебрѣ смотрѣли изъ полумрака. Багрянскій стоялъ передъ ними. Катерина воротилась изъ своей комнаты, куда отнесла свое благословеніе и остановилась у окна. На столѣ предъ диваномъ какъто мгновенно явилась зажженная лампа. Раздались шаги возвращающихся, громкій голосъ Виктора.

— Обошли домъ съ новымъ хозяиномъ, сказалъ Багрянскому священникъ, снявъ ризу. — Перестройки намѣревается дѣлать, улучшенія...

— Чаю, батюшка... суетился Викторъ.

Лакей въ бѣлыхъ перчаткахъ вносилъ подносъ.

— А вы что же? обратился Викторъ къ отцу.— Въ послѣдній разъ. Сейчасъ будетъ закуска...

Онъ исчезъ опять.

— Прекрасный день выбрали для отъѣзда, говорилъ Багрянскому священникъ.— Исполнили долгъ христіанскій, отговѣли, встрѣтили праздникъ въ радости съ своими и—въ путь. Охъ, только далеко!.. Съ зарей выѣзжаете?

Священникъ давно это зналъ, но еще разъ переговорили о дорогѣ отъ N* до Соловецкаго монастыря. Викторъ, возвратясь, присоединился къ бесѣдующимъ. Даль, трудность пути, пустыня, холодъ, дни безъ свѣта, ночи безъ тьмы,—все еще разъ было по-

мянуто,— равнодушно, будто человѣкъ, которому все это предстоитъ, не тутъ, самъ на лицо. Разлука съ близкими, отчужденіе отъ міра назывались какъ самыя обыкновенныя вещи. Но Багрянскій и самъ говорилъ также равнодушно. Это будущее казалось ужъ его прошедшимъ. Онъ былъ спокоенъ; ни лишняго слова, ни даже немного ускореннаго движенія. Онъ будто сторожилъ за собой, берегъ себя, будто боялся потревожить, нарушить что-то, надъ нимъ совершающееся. Онъ пилъ и ѣлъ торжественно-покорно, будто послѣднее. Повременамъ онъ закрывалъ глаза.

— У насъ завтра покойникъ въ приходѣ, сказалъ священникъ.—Купецъ одинъ. Прекрасная тоже была кончина. Тоже все заранѣе себѣ приготовилъ...

Онъ назвалъ покойника и разсказывалъ подробно. Викторъ выходилъ, распоряжался, возвращался.

— Молодой хозяинъ заботится, замѣтилъ священникъ. — Какъ думаете себя устроить, Викторъ Николаевичъ? Батюшка вашъ прошелъ поприще. Надо бы и вамъ...

— Посмотрю, сказалъ Викторъ.

— Въ нынѣшнее время, я думаю, душой рветесь на поле чести. Въ ополченіе... съ крестомъ въ груди...

— За раной—не могу.

— Въ статскую... Замѣнили бы родителя...

Катерина оставалась у окна, не говоря ни съ кѣмъ ни слова. Иногда она оглядывалась и прислушивалась. Все было чуждо, все казалось странно; все кругомъ было полно какимъ-то чувствомъ смерти,—не отчаяніемъ потери, а томящей тоской обряда, пустотой, разложеніемъ, замираніемъ, ожиданіемъ безъ надежды. Хотѣлось скорѣе отдыха и было страшно жаль уходящихъ минутъ. Чѣмъ-то другимъ хотѣлось ихъ наполнить. Нечѣмъ. Иначе быть не можетъ. Остается доживать... Она выглянула въ окно... Прошедшее обдало ее будто потокомъ, разомъ, все. Потокъ кружилъ, уносилъ ее. Все кончено, все тьма... Вотъ она на холодномъ днѣ и сама леденѣетъ какъ мертвая...

— Сынъ вамъ почтеніе свидѣтельствуетъ, сказалъ вдругъ, обращаясь къ ней, дьяконъ.—Прислалъ письмо изъ Москвы. Экзаменъ у него скоро, на второй курсъ; какъ сдастъ, пріѣдетъ на вакацію...

Она почти не поняла... Стало быть, гдѣ-то есть еще люди?...

— Эй!.. Сквозной вѣтеръ! сказалъ повелительно Викторъ, указывая лакею на окно.

Это напомнило всѣмъ, что ужъ поздно. Причетники подняли образа. Священникъ еще разъ помолился, благословилъ Багрянскаго и, въ прихожей, прощаясь, заплакалъ.

— Вѣдь ужъ Господь больше не приведетъ... сказалъ онъ.

Багрянскій чинно поцѣловалъ его руку.

— Простите, въ чемъ прегрѣшилъ, прибавилъ онъ, кланяясь на обѣ стороны.

— Дай вамъ Богъ... Помолитесь за насъ грѣшныхъ... отвѣчали присутствующіе и нѣкоторые прослезились.

— Ужасная минута! сказалъ Викторъ, закрываясь платкомъ.

Катерина провожала тоже. Въ тѣснотѣ кто-то дернулъ ее за платье.

— На, тебѣ, шепнула ей нянька.

— Что?

— Твой... Молчи.

Въ рукѣ у Катерины очутилась записка. Катерина опустила ее въ карманъ, съ минуту ничего не видя и не чувствуя. Кругомъ стало тихо; всѣ разошлись. Викторъ приказывалъ лакеямъ, убиравшимъ въ гостиной. Катерина подняла глаза; отецъ смотрѣлъ на нее, стоя на порогѣ кабинета.

— Пора уснуть, сказалъ онъ.

— Да, отдохните, батюшка, сказалъ, подходя, Викторъ.—Вамъ необходимо, если вы точно хотите уѣхать.

— Прощайте.

— Прощайте... О, дорогой батюшка, послѣдняя ночь!.. Простите, что возмущаю васъ предъ высокимъ подвигомъ... Не могу! нужны силы... А мнѣ еще предстоитъ необходимость, нужно поѣхать... Но на зарѣ я буду дома, я провожу васъ... Такъ еще до свиданія!

Онъ будто вырвался изъ отцовскихъ объятій и поспѣшно вышелъ.

— А ты ляжешь? спросилъ Багрянскій Катерину.

— Не сейчасъ. Еще надо собраться.

— Хочешь войти сюда? продолжалъ онъ, указывая на кабинетъ.

Она вошла за нимъ. Кабинетъ былъ въ безпорядкѣ, письменный столъ пустъ, этажерки пусты. Оставалась одна приготовленная постель и дорожный мѣшокъ на полу.

— «Собраться...» повторилъ Багрянскій.

—Такъ ты точно рѣшилась уйти завтра?

— Непремѣнно.

— Одну комнату ты себѣ наняла?

— Одну.

— А твои вещи?

— Пришлю Машу за ними; няня отпустить.

Она сѣла на привычное мѣсто, къ столу. Онъ, по привычкѣ, остановился, выпрямившись, какъ бывало, когда диктовалъ ей. Оба переглянулись, поняли заодно и замолчали... Предъ нею явились не послѣдніе ужасные часы, пять мѣсяцевъ назадъ,—а тѣ далекіе дни, когда этотъ низкій потолокъ, эти сѣрыя стѣны казались ей прекрасны и святы какъ храмъ Божій, святилище правды, разума и любви, живыхъ въ одномъ этомъ человѣкѣ. И она была радостью этого человѣка! Свободная, смѣлая счастливица, товарищъ этого работника, молодая хранительница его силъ, его рѣзвое, веселое дитя... Здѣсь онъ умиралъ, а она просила Бога взять и ея душу. Здѣсь она цѣловала его колѣни за добро, которое онъ дѣлалъ другимъ; здѣсь она училась у него, вѣруя въ учителя... А неисчислимое богатство блаженства—мелочи всякаго дня! Не вспомнишь, не перескажешь! Цѣлый міръ никому невѣдомый, сіяющій, цвѣтущій... И конецъ ему, настало его послѣднее мгновенье, онъ летитъ, сорвавшись, въ темную бездну...

— Батюшка, вскричала она: сколько бы мы еще прожили вмѣстѣ.

— Не возмущай меня, сказалъ онъ, отходя.—Не грѣши. Я побѣдилъ въ себѣ зло и простилъ тебя; будь довольна. Если я заблуждался и прегрѣшилъ предъ тобою—будь благодарна Богу, что онъ сподобилъ меня покаяться. Онъ предостерегалъ меня скорбью и болѣзнью. Я испыталъ и вопросилъ себя. Для чего намъ жить вмѣстѣ? Размысли, отъ чего ты меня уклоняешь и къ чему влечешь? Не искушай меня: я знаю, ты заговоришь о пользѣ людей... Суета и гордость. Невластенъ никто прибавить себѣ роста ни на локоть единъ,—невластенъ никто исправить души людей; а безъ этого—нечего и стараться о нихъ... И не стоитъ! Міръ есть зло.

Онъ будто отсторонилъ его отъ себя мѣрнымъ медленнымъ движеніемъ руки и закрылъ глаза. Онъ казался отрѣшеннымъ, не здѣшнимъ. Звукъ его голоса глухо раздавался въ пустой комнатѣ.

— Пора, сказалъ онъ.

Она обняла его, дрожа, безъ слезъ и безъ словъ. Точно, все кончилось. Она прощалась съ мертвымъ, мертвымъ давно. Пустота, безнадежность, какой-то испугъ... Отецъ не прерывалъ прощанья и тихо поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Съ Богомъ, сказалъ онъ.

Она вышла, машинально, по привычкѣ осторожно притворила дверь и слышала, какъ онъ заперся.

Ея комната была тоже въ безпорядкѣ; занавѣска снята; сквозь пустыя полки этажерокъ свѣтили сумерки. Катерина споткнулась на заколоченные ящики на полу; въ нихъ были ея книги. Она остановилась среди нихъ.

— Ну, что-жъ, спросила, прокрадываясь, нянька.

— Что?

— Пойдешь, что ли? Онъ дожидается.

Катерина схватила записку; шарила спичекъ, зажигала и гасила; нянька помогла ей и подставила свѣчку.

«Я сейчасъ пріѣхалъ и сегодня же опять уѣзжаю. Приди хоть на минуту; намъ видѣться необходимо. Я жду. Никто не знаетъ, что я въ городѣ, и въ домѣ нѣтъ никого».

— Это до сихъ поръ не прочитала? говорила нянька, между тѣмъ какъ она смотрѣла въ записку.—А онъ какъ приказывалъ. Ты не бойся, я провожу. Братецъ уѣхалъ,—сказывали, къ губернатору. Да тебѣ ужъ что братецъ; ты теперь вольный человѣкъ, красавица... Пойдешь, что ли?

— Заодно... выговорила про себя Катерина.—Пойду. Ты не дожидайся.

— Я у калитки, отодвину засовъ, не увидятъ, говорила нянька, идя за нею черезъ дворъ.—А пса, какъ отъ поповъ въ сарай заперли, такъ тамъ и сидитъ. Не бойся...

Прасковья Ѳедоровна воротилась въ свой уголокъ,—спрятать подальше то, что лежало у нея въ карманѣ столько же времени, сколько записка у Катерины, но чѣмъ она уже нѣсколько разъ полюбовалась. Почтенная женщина соображала, что, въ послѣдніе пять мѣсяцевъ Викторъ Николаевичъ далеко не выполнилъ данныхъ ей разныхъ клятвенныхъ обѣщаній, и потому не вѣрнѣе ли...

— А вотъ, воротится... Что Богъ дастъ.

На улицѣ было пусто. Катерина еще не дошла до угла своего сада,—кто-то мелькнулъ, чьи-то руки ее обхватили...

— Катя.

Ее влекли; она не знала какъ шла, не видѣла куда шла, не видѣла лица того, кто былъ съ нею, чувствовала поцѣлуи на своемъ лицѣ и тепло этихъ сильныхъ, сжимающихъ рукъ; онѣ почти внесли ее по маленькой лѣстницѣ... Знакомая, свѣтлая комната...

— Охъ, пусти, выговорила она, освобождаясь:—пусти, дай вздохнуть...

Онъ стоялъ передъ нею, смѣясь дѣтски-весело, запыхавшись, счастливый.

— Радость моя, вотъ она! опять вмѣстѣ!

— Какъ ты опять здѣсь?

— Изъ Петербурга. Вѣдь я тамъ съ января. Какъ кончилъ здѣсь...

— Знаю.

— А мои, съ поста перебрались въ Спасское. Я спѣшилъ къ нимъ, къ празднику, но въ Москвѣ захворалъ, запоздалъ, и вотъ, только сейчасъ... Черезъ часъ опять ѣду.

— Въ Спасское?

— Въ Спасское; къ утру—тамъ! дороги гадкія... Да Богъ съ ними. Скажи, что ты... Пять мѣсяцевъ, Катя!

— Да.

— Твой отецъ завтра уѣзжаетъ?

— Да.

— Я ужъ все узналъ. Твоя дуэнья нынче очень сговорчива и разговорчива. Такъ отецъ—въ Соловки? Тоже—«да»?

Катерина смотрѣла на него пристально.

— Все да, подтвердила она.—Зачѣмъ ты меня звалъ?

— Милая... сказалъ онъ съ недоумѣніемъ.—Ты разстроена, бѣдная. И въ самомъ дѣлѣ, есть отъ чего... Но успокойся, разскажи. Времени у насъ немного. Что ты намѣрена дѣлать?

— Завтра, вслѣдъ за отцомъ уйду изъ дома и буду жить одна, отвѣчала она спокойно.

— Одна? здѣсь?

— Покуда здѣсь.

— Гдѣ же?

— Въ слободѣ.

— Катя... у тебя нѣтъ средствъ? спросилъ онъ торопливо.

Катерина странно засмѣялась.

— Все—«средства!»... сказала она.—Я очень богата. Отцу дали пенсію и награду—годовой окладъ. Онъ его весь отдалъ мнѣ.

— И ты... взяла? спросилъ съ негодованіемъ Верховской.—Взяла? Онъ держалъ тебя въ тюрьмѣ, онъ только три дня назадъ, передъ исповѣдью, удостоилъ тебя простить...

— У тебя была мать... прервала она тихо.

— Не сравнивай! вскричалъ Верховской.

— Чтобъ помочь ей, ты сдѣлалъ безчестное дѣло, а она взяла твои деньги, чтобъ не уморить тебя стыдомъ, договорила Катерина.—Отецъ былъ виноватъ передо мной, но пять мѣсяцевъ моей тюрьмы—ничто передъ тѣмъ, каковы они ему достались. Я-то жива, а онъ... Что-жъ, добить его, отказаться?

— Но ты бросишь эти деньги первому встрѣчному!..

— Я буду ими жить, спокойно отвѣчала она.—Я простила не для вида, а всей душой. Онъ заработалъ честно, я имѣю право честно пользоваться... Онъ это такъ и понялъ, договорила она, зажала глаза рукою и опустила голову.

— Катя, этотъ часъ для насъ рѣшительный.

— Да.

— Тебя больше ничто не привязываетъ къ твоему дому,—обязанностей нѣтъ, жалѣть некого; ты свободна! у тебя въ мірѣ никого кромѣ меня... Уѣдемъ вмѣстѣ.

Она встрепенулась и слушала, слушала всѣмъ своимъ существомъ, удерживая движеніе, дыханіе, любя всѣмъ существомъ въ послѣдній разъ. Если бы онъ видѣлъ что нибудь, кромѣ ея красоты, онъ понялъ бы эту предсмертную муку любви.

— Черезъ три-четыре дня я возвращаюсь въ Петербургъ. Уѣдемъ вмѣстѣ. Я возьму мѣста въ дилижансѣ... Катя, я обезумлю! Чрезъ три дня... Петербугъ великъ, спрятаться можно. Никто не узнаетъ; моя семья переѣдетъ еще не скоро, зимой; я такъ устрою...

— Никогда! сказала она.—Никогда, никогда! повторила она, будто пріучала себя къ звуку этого слова, и бросилась къ двери.

Верховской схватилъ ее.

— Катя, что съ тобой? Бѣдная, ты вся измучилась. Тебя измучили. Ты отвыкла жить... ты не знала жизни... ты ничего не знала!.. Вѣдь я для тебя—все! Будетъ, наконецъ, уголокъ на свѣтѣ, куда я, измученный, прибѣгу отдохнуть! Отдохнуть съ тобой, моя Катя, забыть все съ тобой! я оживу! Блаженство! И ты оживешь, ты все забудешь, ты еще не знаешь, какъ любятъ...

— Замолчи, вскричала она: — я завтра хороню отца!

— Катя, я для тебя—все! Ты, стало быть, не любишь! Ты обѣщала... Вспомни свои слова, вспомни прежнее...

— А ты помнишь ли что нибудь? прервала она отчаянно. — Вотъ ужъ ни осталось ни слѣда!.. Пусти меня... О, не думала я, что это будетъ такъ тяжело!

Она отходила, возвращалась, не находила мѣста.

— Помнишь ли наше послѣднее свиданье? У меня оно въ глазахъ... Не конецъ его, а начало!.. Какъ ты вошелъ ко мнѣ, и все, что ты сказалъ. Ты обѣщалъ тоже... Вспомни, что.

Она остановила на немъ взглядъ, полный такой глубокой скорби, что Верховской, блѣднѣя, отвернулся.

— Я такъ тебя любила въ ту минуту, что—скажи ты слово,—я отдалась бы тебѣ за то, что ты воскресилъ мою душу... Господи, было-жъ это счастье! А теперь?—Да, я свободна,—а ты?.. Несчастный человѣкъ, чего ты испугался? Не за меня ли? Не скандала ли? Но онъ былъ бы для тебя предлогъ, онъ помогъ бы тебѣ освободиться, покончить съ твоимъ позоромъ, оторваться навсегда! Ты испугался! Но я была тутъ, близко, живая, ждала! Ты зналъ, что всякій твой помыслъ, всякая минута твоей жизни — вотъ, тутъ, въ моей душѣ. Дѣйствуй прямо, говори громко, не щади меня и освободись... Что-жъ ты сдѣлалъ? Ты хуже запутался! Для чего, для чего, говори правду? Что ты берегъ? Неужели тебѣ такъ дороги поклоны людей, такъ дорого богатство? Еще что дорого? Ты скачешь повидаться на праздники, а меня зовешь прятаться!.. Прятаться? Путаться въ тѣхъ же тенетахъ? Зачѣмъ мнѣ въ Петербургъ? Любоваться, какъ ты будешь ничего не дѣлать? Я и здѣсь полюбовалась, какъ ты провалилъ дѣло Волкарева. Славно!

У нея былъ жестъ и голосъ ея отца. Верховской вспыхнулъ.

— Это дѣло — твой конекъ; избавь хоть потому, что оно ужъ кончено, сказалъ онъ, нетерпѣливо вставая. — Это смѣшно, невыносимо. Гражданскій подвигъ — перекладыванье денегъ изъ одного кармана въ другой... эти дѣятели въ щеляхъ... провинціальный вздоръ, поднятый до небесъ... Смѣшно! Довольно! Времени — одинъ часъ, а мы его тратимъ.

— Этотъ часъ и для меня роковой, отвѣчала она, блѣднѣя.

— Вѣришь ли ты, что я тебя люблю? спросилъ онъ.

Она молчала.

— Катя, я не хочу разставаться съ тобою. Не хочу. Это выше силъ. Ѣдешь ли ты со мною?

— Нѣтъ.

— Нѣтъ? повторилъ Верховской, задыхаясь.

— Не могу. Я любила въ тебѣ гражданина и честнаго человѣка...

— И обманулась? Обманулась? Довершай!

— Нѣтъ, но—вѣра безъ дѣлъ мертва.

— Тексты? Наслушалась? вскричалъ онъ внѣ себя.— И я наслушался! Довольно! Ты никогда, никакъ меня не любила! Ты дразнила, тѣшилась. Ты — совершенство, я — ничтожество,— прекрасно! Это — равенство въ любви! Ты меня всегда презирала! Ты фанатичка, какъ твой отецъ. Съ тобой нѣтъ силъ, нѣтъ минуты своей, тѣсно, мѣста нѣтъ отъ твоей души, отъ разсужденій... Такъ оставайся съ ними! я жить хочу, съ тобой страшно.

— Я поняла это давно, отвѣчала она, опустивъ голову.— Прощай.

— Катя!..

Онъ съ воплемъ упалъ передъ нею.

— Не уходи... Помилуй... Родная, жизнь моя, Катя!..

— Полно, Богъ съ тобой... повторила она, едва дыша и заставляя его встать.—Будемъ людьми.

Она обняла его, глядя ему въ глаза.

— Видишь самъ, иначе быть не можетъ. Будемъ же честными людьми. Отпусти меня съ любовью... Освободись, работай, и... вотъ тебѣ моя первая клятва: гдѣ бы я ни была, позови,—я приду, я твоя...

Сквозь сумракъ слезъ, теряя сознаніе, онъ видѣлъ, — что-то сіяло предъ его глазами, небесно-чистое, мучительное, прелестное, ласковое, тихое какъ смерть, страстное какъ жизнь... что-то жарко коснулось его губъ...

— Катя...

Ея ужъ не было.

Она шла скоро, какъ безумная. Никого. Пусто, темно, нигдѣ никого. Никого во всемъ свѣтѣ.

— Ты не позовешь меня никогда, выговорила она громко.—И ты будешь счастливъ!..

Усопшая радость, ты бы также скоро стала ему страшна и ненужна, если бы вынесла свою первую муку. Онъ забылъ тебя, забылъ и свое горе. Вѣчная память громко и часто обѣщается и скоро проходитъ... Забудетъ живую, какъ забылъ мертвую! — Но ты жила недаромъ; любовь во имя твое была не даромъ. Онъ тебя мнѣ отдалъ. Освѣти мою жизнь; будь, далекая, вѣчно со мною!..

Она оглянулась кругомъ на бѣдный просторъ, на черныя низкія крыши подъ безконечнымъ небомъ, на холодный бѣлый туманъ вдали надъ разливомъ,—постояла еще и тихо пошла къ своей калиткѣ...

VIII.

Прошло болѣе трехъ лѣтъ.

Вечеромъ, въ концѣ сентября 1858 г., тарантасъ и за нимъ дорожная карета подъѣхали къ станціонному дому въ селеніи на большой, но довольно глухой дорогѣ. По случаю такихъ важныхъ проѣзжихъ, смо-

тритель станціи вышелъ на крыльцо. Лакей, выскочивъ изъ тарантаса, требовалъ лошадей.

Въ каретѣ былъ господинъ, проснувшійся при остановкѣ, и дама, спавшая крѣпко. Переговоры съ смотрителемъ продолжались долго. Господинъ опустилъ стекло и кликнулъ лакея.

— Что тамъ?

— Лошадей нѣтъ, ваше превосходительство. Будутъ, говорятъ, не раньше ночи. Скоро должна пройти почта; только для нея заготовлена тройка.

Господинъ вышелъ изъ кареты и отправился требовать самъ. Онъ шумѣлъ довольно, но противъ невозможности нечего дѣлать. Онъ воротился къ каретѣ.

— Alexandrine, проснулась? Намъ придется ждать здѣсь, милая. На дворѣ свѣжо. Войдемъ въ домъ.

Это говорилось по-французски. Вокругъ крыльца собирались зрители.

— Ахъ, тамъ, можетъ быть, грязно, сказала дама.

— A la guerre comme à la guerre, отвѣчалъ господинъ, высаживая ее на рукахъ.

За ней выкатилась ея шляпка, коробка съ конфектами, которыя подхватилъ смотритель, и маленькая левретка, которую поймала горничная.

— Ахъ, вскричала дама, взойдя на крыльцо: — ахъ, пожалуйста, чтобъ этого не было видно!

Она показывала на красно-огненную полосу, всходившую на небѣ.

— Окна въ другую сторону, успокоивалъ смотритель проѣзжаго, который успокоивалъ даму.

Ее разсмотрѣли, когда она входила въ комнату; ея заспанное личико было очень молодо и красиво. Лакей и горничная принесли изъ тарантаса множество bauловъ, ковровъ, подушекъ. Другихъ пріѣзжихъ, если случится, приказано было не пускать въ домъ.

Когда лакей показался опять, его обступили. Онъ разсказалъ, что его баринъ служитъ у самого государя, жалованья получаетъ сколько-то тысячъ; послѣ покойной супруги получилъ на седьмую часть тысячи и помѣстья — (вотъ, въ одно ѣздили) — да опять женился недавно — (барыня только что изъ института) тоже взялъ тысячи душъ и денегъ. Очень чиновный баринъ.

Эти свѣдѣнія переполошили бѣднаго смотрителя.

— Повѣрьте совѣсти, извинялся онъ предъ господиномъ, когда тотъ, уложивъ жену, воротился въ комнату, гдѣ помѣщался смотритель: — извольте посмотрѣть по книгѣ, — всѣ въ разгонѣ — только сейчасъ, для почты...

— Ничего, отвѣчалъ обязательно проѣзжій. — Жена моя покуда отдохнетъ; это ей полезно.

— Утомились, ваше превосходительство; далеко изволите ѣхать.

— Да... Она хотѣла чаю. Хороша ли вода у васъ?

Смотритель расхвалилъ свой родникъ и принесъ клятву, что самоваръ только недѣлю какъ вылуженъ. Проѣзжій могъ сейчасъ убѣдиться: горничная входила съ стаканомъ чаю.

— Барыня приказали сказать, что онѣ сами заваривали и чтобы вы непремѣнно кушали.

— Скажи, что я цѣлую ручки, отвѣчалъ онъ, досталъ сигару, осмотрѣлъ стулъ и сѣлъ близко свѣчи. Ему казалось лѣтъ подъ сорокъ, можетъ быть, меньше; въ его золотистыхъ волосахъ не было замѣтно сѣдины; борода очень шла къ его красивому лицу.

— Газетъ не бываетъ у васъ? спросилъ онъ стоявшаго смотрителя.

— Губернскія вѣдомости, ваше превосходительство. — А то, я пользуюсь, но возвратилъ...

— Такъ и быть; — сядьте же. — Глухо у васъ здѣсь. Село казенное?

— Такъ точно, близко есть и помѣщичьи.

Проѣзжій улыбнулся.

— Что толкуютъ? спросилъ онъ, съ маленькой насмѣшливой злостью.

— Толкуютъ-съ...

— Покойно?

— Покуда Богъ милуетъ.

Смотритель говорилъ увѣренно, но на всякій случай вздохнулъ, будто самъ былъ помѣщикъ. Проѣзжій его понялъ и сказалъ съ большимъ достоинствомъ:

— Дѣло законное. Но только они отъ лѣни безъ хлѣба насидятся, а вы... берегите вашу почту.

Какъ будто въ успокоеніе смотрителя, почтовый колокольчикъ раздался въ эту минуту все ближе и ближе и, наконецъ, при грохотѣ колесъ и веселомъ крикѣ, замеръ у крыльца. Смотритель засуетился.

— Ахъ, нельзя ли тише, не безпокоить моей жены...

Но все это скоро кончилось. Почтальонъ положилъ на столъ небольшую связку, по-

говорилъ съ смотрителемъ; вышелъ чего-то поѣсть и чрезъ нѣсколько минутъ новая тройка, звеня, помчалась отъ крыльца.

— Только у насъ и развлеченія разъ въ недѣлю, сказалъ смотритель, ободренный благосклонностью своего гостя.—Вамъ было угодно газеты, вотъ, извольте. И журналъ, книжка новая.

— Но это—не ваше? спросилъ проѣзжій, протягивая руку за книгой.

— Все равно-съ. Мнѣ позволено...

Онъ не договорилъ...

— Кто это? спросилъ, будто не своимъ голосомъ, проѣзжій, указывая на печатный адресъ пакета.

— Это-съ? Здѣшняя одна.

— Помѣщица?

— Нѣтъ-съ. Такъ, живущая. Ужъ года съ три.

— Одна?

— Одна-съ. Еще съ нею,—не знаю, женщина молодая или дѣвушка...

— Какъ же она живетъ здѣсь?

— Такъ, просто-съ. У однодворца усадьбу купила. Просто, по-крестьянски живетъ.

— Что-жъ она дѣлаетъ?

— Да все. И въ полѣ, и на огородѣ. Прядетъ. Въ селѣ всѣхъ ребятъ переучила; мальчишки къ ней, дѣвочки ходятъ. Дѣвочекъ— и рукодѣльямъ. Зимой цѣлый день учитъ. И взрослыхъ даже, кому охота, всѣхъ къ себѣ созываетъ. Соберетъ по вечерамъ, разсказываетъ, читаетъ. Заслушаешься. Слышалъ я, она изъ благородныхъ. Очень образована, книгъ много и даже иностранныя получаетъ. А живетъ какъ есть крестьянка. Ужъ не знаю, какое у нея было желаніе, что она такъ. Третій годъ здѣсь; только прошлымъ лѣтомъ въ Архангельскъ ѣздила... Очень образована. У меня двухъ сынишекъ въ гимназію,—да посудите, въ третій классъ,—приготовила. — И ничего за это не беретъ. — «Мнѣ, говоритъ, это весело». — Характеръ у нея прекрасный, веселый... Я ей совѣтывалъ, — къ помѣщикамъ: все выгоднѣе было бы, по крайности, если случится нужда:— «Справлюсь», говоритъ. Такая, право, милая... Вотъ жены моей дома нѣтъ, она бы вамъ поразсказала. Пріятельницы онѣ между собой большія.

«Справлюсь...» повторилъ про себя проѣзжій.—Гдѣ она живетъ?

Смотритель взглянулъ и оторопѣлъ.

— А на выѣздѣ, на самомъ концѣ... Не прикажете ли дверь отворить, ваше превосходительство? Душно... Или не угодно ли прилечь, вотъ, съ книжкой?

— Нѣтъ... Поздно.

— Девять часовъ всего, ваше превосходительство.—А если вамъ неугодно читать, такъ я ей отошлю книжку. Воскресенье сегодня; ей свободнѣе.

— Отошлите. Я пойду пройтись.

Смотритель вышелъ и приказывалъ на крыльцѣ. Мальчикъ лѣтъ тринадцати, получивъ книгу, не стоялъ на мѣстѣ.

— Возьми фонарь, скорѣе дойдешь. Забѣги къ отцу, скажи: за нимъ очередь, чтобы лошадь велъ. Да не запоздай смотри, а то, какъ туда тебя пошлешь, такъ и не дождешься.

Мальчикъ, зажигая фонарь, подговаривалъ съ собой такого же пріятеля.

— Ты только поди. Она обѣщалась про звѣзду съ хвостомъ разсказать... Ухъ, гляди, какая!

— Что про нее разсказывать. Я и самъ вижу. Къ войнѣ.

— Вотъ тебѣ и война, промолвилъ посланный, и пріятель не успѣлъ подняться отъ толчка, какъ фонарь былъ ужъ далеко.

Проѣзжій шелъ за нимъ спѣша, чтобы не потерять изъ вида. Мѣсто дѣлалось все глуше и пустыннѣе. Какая-то лощина съ мостикомъ въ два бревна; недостроенный, бѣлѣющій срубъ; кучи камней, вросшихъ въ землю. Черная волнующаяся полоса строеній разбѣжалась шире, оборвалась съ одной стороны и вмѣсто нея забѣлѣло поле. Поле безъ конца. Надъ нимъ огненный трепетъ неба. Сверкающій хвостъ кометы гнулся снопомъ; отъ него, казалось, сыпались искры и по землѣ бѣжали тѣни.

Изъ окна крайней избы тянулся свѣтъ на дорогу. У дверей собралась кучка народа. Подходя ближе, можно было сосчитать людей, разсмотрѣть лица. Тамъ остановился и посланный. Онъ обратился къ кому-то, должно быть, исполняя свое порученіе.

— Посвѣти, посмотримъ, что принесъ, раздался голосъ.

Мальчикъ высоко поднялъ фонарь.

Проѣзжій удержался за столбъ колодезя. То, что было предъ нимъ, что колебалось, исчезало въ мельканьи огня и тѣни, заманчивое, какъ улетающій сонъ, милое какъ радость, цвѣтущее, свѣжее, сильное, свободное, въ красотѣ вѣчно юной и просвѣтленной, — то, что явилось ему... Онъ закрылъ глаза, хотѣлъ бѣжать и замеръ на мѣстѣ...

Свѣтъ, дрожа, установился и озарялъ ее всю. Она показывала вверхъ, поднявъ голову. Ея черная коса длиннымъ кольцомъ перевинулась черезъ плечо. Толстыя складки рубашки высоко легли на грудь и падали

до распущенной опояски; широкіе красные концы шелестили по клѣтчатой паневѣ...

Она говорила. Слышались и слова, но лучше ихъ—ея голосъ ободряющій, ласковый, веселый; отъ него должны были бѣжать страхъ и невѣдѣніе; въ немъ была свобода, радость, убѣжденіе... Еще слышались старческіе вздохи и оханье... Но ужъ ихъ начали смѣнять вопросы, толковыя рѣчи, что-то увѣренное, надежное... Поднялся простой, молодой смѣхъ, потомъ говоръ, шутки... Милый голосъ раздавался среди всѣхъ, ясный какъ счастье...

Фонарь горѣлъ ужъ на землѣ. Къ кружку приближалось что-то большое, черное. Извозчикъ съ вязанкой сѣна за спиной велъ въ поводу лошадь.

— А ты тутъ? сказалъ онъ, разглядѣвъ маленькаго посланца.—За мной тебя послали, а ты двора не дошелъ. Тамъ господа дожидаются.

— Да тутъ, вотъ, хорошо говорили.

— То-то. А что, сынишка мой смыслитъ у тебя что нибудь? обратился онъ къ ней.

— И очень смыслитъ.

— Ну, слава Богу. Пора ко дворамъ... Какъ она разгорѣлась-то! И ничего это?

— Вотъ, дорогою, спроси сынишку.

Звѣзды словно всѣ потускнѣли.

— Это какія вверху, ты называла? спросилъ мальчикъ.

— Большая-Медвѣдица.

— Чудеса... Счастливо оставаться.

Кружекъ разошелся.

Она осталась одна, стояла и смотрѣла на прелестныя семь звѣздъ въ высотѣ, надъ столбомъ огненной пыли. Задумываясь, забѣвшись, она сложила руки...

— Катя! раздалось изъ темноты.

Она встрепенулась, прислушалась..! Никого не видно.

Поздно! А завтра ей еще много дѣла.



СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ.

ОТРЫВОКЪ.

1876 г.

— Вы не вполнѣ откровенны... сказала она, съ улыбкой наклоняясь надъ альбомомъ фотографій.

Мнѣ этотъ альбомъ давно надоѣлъ. Его будто считалъ обязанностью повертѣть всякій, кто подходилъ къ круглому столу съ круглой лампой. Меня взяла досада, что молодая женщина, съ которой мнѣ стало какъ будто легче, съ которой первой потянуло меня, наконецъ, поговорить по душѣ, которая, какъ мнѣ казалось, могла бы понять это, занимается вздоромъ именно тогда, когда мнѣ нужно серьезное слово.

Мнѣ хотѣлось такъ и сказать прямо. Я не сказалъ, а смотрѣлъ, какъ она вглядывалась въ физіономіи разныхъ разукрашенныхъ госпожъ, а самъ, покуда, любовался громадностью ея шиньона. Толстыя черныя косы, яркая роза, сверкающій голубой атласъ—все очень эфектно. Она была какъ-то похожа на всѣхъ: на портреты, которые смотрѣла, на другихъ дамъ въ этомъ салонѣ... Я сознавался, что сдѣлалъ глупость, разговорившись съ нею, и начиналъ оглядываться на другіе кружки, когда она опять подняла на меня свои большіе сѣрые глаза и заговорила тихо:

— Вы не вполнѣ откровенны. Это невольно приходитъ на мысль. Вы сказали, что не можете ни на что пожаловаться, что довольны своей судьбой, а, между тѣмъ, скучаете... Ахъ, я не такъ выразилась: тоскуете. Это, конечно, не разочарованіе? Нѣтъ? Оно, кажется, отошло уже въ область старой литературы...

Она такъ красиво смѣялась, что я былъ увѣренъ, за мной, въ перспективѣ салона, она видѣла кого нибудь, кто могъ видѣть ее, какъ картинку.

— Это и не безпредметная тоска, продолжала она: — потому что въ наше занятое время она была бы...

— Смѣшна, подсказалъ я, когда она затруднилась.

— Вы сами такъ опредѣляете! подхватила она, засмѣявшись еще пріятнѣе. — Стало быть, я имѣю основаніе предполагать, что вы не все высказали? что есть болѣе интимная причина, до которой, конечно, можно касаться только съ осторожностью...

Она наговорила много, — не упомню что. Вышла обыкновенная женская болтовня, которой, кажется, никогда не будетъ конца на свѣтѣ. Я подумалъ это, тутъ же вспоминая, что мнѣ ужъ не разъ доставалось отъ пріятелей за такое упрямое, отсталое мнѣніе... Упрямое,—да. Даже неучтивое. Но почему же о т с т а л о е? Правда, въ послѣдній десятокъ лѣтъ женщины какъ будто перемѣнились; но посмѣяться надъ старымъ, похвалить новое, ловко забросать словами— еще не значитъ такъ уйти впередъ, чтобъ ужъ сдѣлалось отсталымъ и никуда негоднымъ мнѣніе, что всѣ эти рѣчи — одно провожденіе времени, и чѣмъ красивѣе сказа-

ны, тѣмъ менѣе прочувствованы. Правда, десятокъ лѣтъ назадъ какъ будто мелькнула надежда, что празднымъ рѣчамъ насталъ конецъ: тогда устарѣлыя темы отбрасывались и презирались, а новыя, являвшіяся на смѣну, требовали или серьезнаго знанія, или серьезнаго сочувствія...

— А развѣ этого не было? грозно прерываютъ меня пріятели, когда намъ случается разговориться объ этомъ недавнемъ прошломъ.

Какая странная привычка — прерывать! Говорящій дѣлается какимъ-то подсудимымъ, и прежде, нежели скажетъ, что думаетъ, долженъ чуть ли не подъ присягой завѣрить, что онъ того-то и того-то не думаетъ, что онъ мысленно сдѣлалъ всѣ уступки, исключенія и заключенія, какія обязанъ сдѣлать всякій смыслящій человѣкъ, что онъ не имѣетъ намѣренія спорить съ своими собесѣдниками, что съ ними за одно, стоитъ съ ними, такъ сказать, на одной высотѣ, и обозрѣвая такъ же, какъ они, вздумалъ только посмотрѣть въ сторону, куда они еще не смотрѣли...

— Было знаніе, было сочувствіе... начиналъ я опять, и меня опять прерывали:

— Ну, было и невѣжество, нахватавшееся верхушекъ! Были и услуги въ родѣ медвѣжьихъ! кричали мнѣ.—Вы это хотѣли сказать? Объ этомъ, кажется, говорено довольно!..

Я вовсе не то хотѣлъ сказать! Я даже не начиналъ спора: точно ли «верхушки и медвѣжьи услуги» было все то, что такъ называли эти господа; я и не касался этого, еще до крови больного мѣста. Я, просто, только оглянувшись, замѣчалъ, что наши заботы, печали, стремленія, ожиданія, начинанія, труды, неудачи — доставили праздному, недумающему обществу новыя темы для рѣчей—не толковѣе и не искреннѣе рѣчей стараго времени...

Приносить ли присягу, что и въ этомъ я дѣлаю всѣ должныя исключенія...

Съ самой ранней молодости, десятки разъ въ жизни, мнѣ доставалось забавно-жалкое положеніе сказочнаго мальчишки, который прибѣжалъ погрѣться у бродячаго огонька. Мелькнетъ какой-то свѣтикъ сочувствія, какое-то родное тепло и, бывало, отдаешь всю душу; обманутый, обѣщаешься быть умнѣе, и—при первой новой подобной встрѣчѣ логически доказываешь себѣ, что осторожность — тяжкій грѣхъ, потому что въ ней начало недовѣрія къ людямъ...А затѣмъ— новый обманъ своимъ порядкомъ...

Въ зрѣлые годы обманы, конечно, рѣже, но тѣмъ досаднѣе собственная глупость.

Теперь со мной случилось тоже. Съ чего мнѣ вздумалось разговориться съ этой молодой женщиной? Что такое было особенно сочувственнаго въ ея нѣсколькихъ словахъ? Ровно ничего: я побѣжалъ на свѣтикъ...

Правда, что въ этотъ вечеръ мнѣ было особенно тяжело. Кругомъ было свѣтло, празднично; женщины нарядны, мужчины изящны. Всѣ необыкновенно оживленно и изумительно разнообразно чрезъ пять словъ повторяли одно и то же. И это никому не надоѣдало. Точно также и на тѣхъ же мѣстахъ, эти самые люди сидѣли недѣли назадъ, въ положенный вечеръ, говорили и, слѣдовательно, думали то же самое, были также настроены,—слѣдовательно, въ недѣлю, которую они прожили, ихъ ничто не потревожило, ни своя, ни чужая забота. Иначе, они, конечно, подѣлились бы — если не заботой, то хоть впечатлѣніемъ...

Но, можетъ быть, они недовольно знаютъ другъ друга? Я, гость рѣдкій и заѣзжій, подумалъ это одну минуту.

Нѣтъ! Всѣ они слишкомъ умны, чтобы не понимать, сколько собственно своего, личнаго бываетъ скрыто у каждаго человѣка подъ лоскомъ общихъ мнѣній, обычаевъ, — всего, что какъ-то офиціально налагается на всякаго члена какого нибудь кружка. Они видятъ другъ друга насквозь; они, вѣроятно, знаютъ другъ о другѣ даже подробности частной жизни, и ихъ скрытность, ихъ равнодушныя рѣчи и равнодушныя улыбки — комедія... Для чего?

— Но (останавливалъ я самого себя, въ родѣ спорщиковъ-пріятелей) не за тѣмъ же люди сбираются на вечеръ, чтобы во всеуслышаніе исповѣдывать свои задушевныя или домашнія тревоги. На то есть время и мѣсто. Они знакомы, но не всѣ же они друзья. Довольно, если умные, образованные люди толкуютъ объ общихъ вопросахъ.

Они, въ самомъ дѣлѣ, говорили объ общихъ невеселыхъ вопросахъ. Говорили пространно. Мнѣ казалось, что я все это ужъ гдѣ-то слышалъ или читалъ. Порой меня даже поражало сходство выраженій съ прочитаннымъ. Но то, что, въ чтеніи, если невполнѣ удовлетворяло, то хоть дѣлало впечатлѣніе, — въ разговорѣ казалось то вяло, то напыщенно и минутами, просто, сердило... Не умѣю точно опредѣлить моего чувства... Въ мнѣніяхъ этихъ людей мнѣ казалось

что-то готовое, принятое однажды,— такое, чего никто изъ нихъ самъ по себѣ, на досугѣ и въ одинокой тишинѣ своей комнаты, никогда не обдумывалъ; что-то никогда ихъ не волновавшее иначе, какъ публично, дорогое имъ только на-заказъ... Въ самомъ дѣлѣ, несчастія, несправедливости, притѣсненія, горесть и грязь борьбы за существованіе,— все, о чемъ шла рѣчь,— лично не касалось этихъ людей: это были все люди крѣпко стоящіе и обезпеченные...

Я еще разъ остановилъ себя. Нелѣпо требовать, чтобы люди сами выносили бѣды, для того, чтобы умѣть понимать бѣду,— не говоря уже, что бѣда надламываетъ и нерѣдко дѣлаетъ человѣка небезпристрастнымъ. И ужъ если желать ближнему блага и покоя, зачѣмъ осуждать того, у кого они есть? Вѣдь эти изящныя дамы и господа тоже часть рода человѣческаго. Имъ живется легче, чѣмъ другимъ; ну, и слава Богу...

Я опять принялся слушать... и опять та же неудовлетворенность, то же безпокойство, будто ожиданіе чего-то другого. Это выходило даже странно; я бранилъ себя, но мое настроеніе не мѣнялось. Говорилось все то же, пересказывались факты извѣстные. Смотря по наклонностямъ, можетъ быть, просто, изъ прихоти, собесѣдники разнообразили разговоръ легкимъ оттѣнкомъ глубокомыслія, добродушія, желчи или юмора. Послѣднее чаще всего. Шутку встрѣчали, точно обрадовались. Шутка подхватывалась, блестяще, игриво развивалась; не разъ случалось, что смѣялась вся гостиная.

Мнѣ было конфузно, но я не могъ смѣяться. Какъ себя запомню, веселый тонъ, легкое отношеніе ко всему, шутка, хотя бы только съ вида—всегда составляли мое мученіе. Меня еще рано-рано товарищи дразнили именемъ какого-то мудреца, который все плакался. Я, конечно, не все плакался, и даже было такое время, видѣлъ чуть ли не все на свѣтѣ сквозь свою собственную розовую радость; но и тогда, и въ пору этого счастья, мнѣ казалось недостойнымъ шутить даже надъ весельемъ. Понимаю осужденіе, понимаю злобы, понимаю горькій негодующій смѣхъ; но мелкое, забавное подшучиванье оскорбительно всегда, а надъ бѣдами — тѣмъ болѣе. И чѣмъ остроумнѣе оно, тѣмъ хуже. — «Оно, говорятъ, доставляетъ минуту забвенія, и то хорошо; оно отрываетъ хоть клочокъ отъ скорби...» Отрываетъ ли? Вѣдь не сами несчастные смѣются,— смѣются спокойные зрители, и кто изъ всѣхъ разберетъ, какъ на кого отразится шутка. Человѣкъ слабъ: шутка разсмѣшила; впослѣдствіи, предъ лицомъ самого несчастія, она вспомнилась... Вспомнить — бѣда. Развѣ не случается цѣлый часъ помнить пустое слово, Богъ знаетъ почему завертѣвшееся въ головѣ, и оно мѣшаетъ думать о дѣльномъ?.. Шутка вспомнилась: кто знаетъ, насколько она сдѣлаетъ слабѣе участіе? Кто знаетъ, насколько самое участіе, поднимающееся въ душѣ зрителя, покажется ему тоже забавнымъ,—такъ, просто, отъ того, что на него перейдетъ, полиняетъ краска яркой шутки?..

Все это люди умные, образованные, не юноши; зачѣмъ они не говорятъ серьезно? Какъ имъ не наскучатъ недомолвки, намеки; какъ ихъ не тяготитъ остроумничанье? Собрались вмѣстѣ, все свои, лишнихъ нѣтъ; какъ они не пользуются временемъ передать другъ другу, обсудить за одно что нибудь задѣвшее за живое? Неужели они не чувствуютъ въ этомъ потребности? Какъ, гдѣ и чѣмъ они себя заявятъ, если и въ тѣсномъ, своемъ кружкѣ они разводятъ дѣло шуточками? Если дѣло и не ихъ личное, то вѣдь они хорошо знаютъ, они счастливцы, говорящіе, будто сочувствуютъ и служатъ,— что для другихъ это дѣло кровное. Или они воображаютъ, что и тѣ, другіе...

Меня будто разбудило восклицаніе:

— Какъ хорошо, что въ человѣкѣ есть добрая, свѣтлая способность смѣяться!..

Разговоръ шелъ какъ разъ на эту тему. «Видимый смѣхъ, незримыя слезы...» Гоголь, Шекспиръ...

Но когда же это кончится? хотѣлось мнѣ крикнуть. Когда люди перестанутъ поминать всуе имена и истрепывать слова до искаженія смысла? Несчастныя «незримыя слезы!» Кто когда нибудь о нихъ подумалъ, повторяя эту фразу въ тысячный разъ? Кто нибудь изъ этихъ толкующихъ знаетъ ли, что такое, въ самомъ дѣлѣ, слезы? Только бы они отвѣчали по совѣсти, женщины—не сантиментальничая, мужчины—не остроумничая... Я зналъ дамъ, которыя блѣднѣли, обмирали, слушая въ концертѣ какое нибудь «Adieu, ma mère», а дома крѣпостныя горничныя дожидались ихъ до зари, не смѣя уйти къ умиравшей матери... Пожалуй, и это также старо и избито!..

Но вотъ, эта хорошенькая дамочка съ розой, которой я сейчасъ такъ наивно исповѣдывался, что тоска беретъ и жить, и смотрѣть на жизнь, эта дамочка ужъ не имѣетъ крѣпостной горничной, а свободной говоритъ

вы, заботится, чтобы она носила достаточно-короткій лифъ и достаточно толстый шиньонъ, но должно быть тоже съ необыкновеннымъ приличіемъ игнорируетъ ея незримыя слезы... «Должно быть?» Нѣтъ, навѣрное! Я убѣжденъ въ этомъ и имѣю основаніе: сейчасъ, говоря со мною и подмѣтивъ, что я клоню рѣчь на общее, какъ она ловко повернула на интимные пустяки; скажи я два слова о своемъ личномъ горѣ, она бы его въ ту же минуту съ головой потопила въ какомъ нибудь финансовомъ, научномъ, политическомъ вопросѣ... А какъ распѣваетъ о незримыхъ слезахъ!..

Зачѣмъ все это? Къ чему эти праздныя слова, филантропическіе вздохи, экономическіе разсчеты? Ну, говорятъ, смѣхъ нуженъ, потому что... кажется, потому только, что смѣяться весело; но, положимъ, смѣхъ нуженъ. А на что нужно вотъ этимъ людямъ, этому кружку, напоминаніе о чужихъ слезахъ? Развѣ въ родѣ острой приправы за обѣдомъ — для возбужденія аппетита? Или нервически печальное волненіе отъ чего нибудь полезно? Я какъ-то давно видалъ одну барыню, которой доктора приказывали злиться и срывать сердце. Можетъ быть, эти господа разстроиваютъ себя тоже для облегченія отъ избытка веселья. Въ самомъ дѣлѣ, что-жъ не поразнообразить!

Но какъ они превосходно держатся! Какое тонко-развитое художественное чутье, какое чувство мѣры! Какая граціозно-скользящая рѣчь! Все сказано и ничего не сказано, а между тѣмъ, каждый растроганъ, сочувствовалъ, и весь кружокъ сочувствовалъ и растроганъ, а всѣ и каждый довольны собою, и не забыты приличія, запрещающія портить общее пріятное настроеніе...

Такъ они взаимно берегутъ сами себя и другъ друга?.. Для чего?..

«Нѣтъ, нѣтъ», повторялъ я мысленно, отбиваясь отъ подступающей къ горлу опредѣленной злости: — нѣтъ, я ошибаюсь въ нихъ, я не правъ. Они знаютъ другъ друга лучше, нежели я ихъ знаю. Они берегутся, потому что цѣнятъ, уважаютъ каждый въ другомъ дѣятельную силу и щадятъ ее отъ унынія,—кто знаетъ, можетъ быть, отъ отчаянія...

«Дѣятельныя силы...» Гдѣ же ихъ дѣла? Они только щеголяютъ словами на показъ своего кружка! Лучше повѣрить фразѣ, которая пролетѣла сейчасъ, среди цѣлой стаи другихъ: эти люди «ищутъ забыться». Вотъ это вѣрно. Но только забыться не отъ печали: своей у нихъ нѣтъ, а отъ чужой они завѣдомо отводятъ глаза. Они осторожны, разбирая разные «вопросы». Они не допустятъ, чтобы вызванныя рѣзкимъ словомъ, изъ темныхъ угловъ жизни, повыскакали чудища, которыхъ, пожалуй, потомъ и не прогонишь шуточкой или вздохами о незримыхъ слезахъ. Они понимаютъ, умные люди, что если назовутъ вещи настоящими именами, это о б я ж е т ъ, какъ noblesse oblige... Вотъ отъ этой-то обязанности ищутъ они забыться.

И еще—что за противорѣчіе! Каждый изъ нихъ знаетъ себя, знаетъ другихъ, слѣдовательно, долженъ понимать, что вся эта чувствительность — комедія, а между тѣмъ, изумительно искренно вѣритъ этой чувствительности въ себѣ и въ другихъ, да и во всемъ кружкѣ только и есть искренняго, что эта вѣра... Что-жъ это такое?

Я слушалъ, слушалъ... Мнѣ вдругъ вспомнилось далекое. Разъ, шелъ я тропинкой по лѣсу. Онъ весь зеленѣлъ и свѣтился; за вершинами было не видно, что надвигало на небѣ. Вдругъ все померкло, поникло; звуки замерли торопливо, будто оборвались; еще секунда и все заметалось, полетѣли вѣтки, изъ чащи понеслись голоса—не то жалобы, не то ужаса...

Что если бы такой вихрь налетѣлъ на эту веселую компанію?..

Мнѣ стало злобно смѣшно самому. На эту компанію не можетъ налетѣть никакой вихрь, а если и налетитъ, ничего ей не сдѣлаетъ. Эти господа не дрогнутъ. Для нихъ вездѣ и всегда найдутся изящные coins-de feu, гдѣ можно пріютиться и краснорѣчиво поговорить... хоть о непогодѣ...

Мои вечернія впечатлѣнія тяжело потонули во снѣ и поднялись на утро смутной, какой-то безотчетной тоской. Видѣнное и слышанное мелькало отрывками, пестро, сбивчиво; лица, взгляды, движенія, маленькія ужимки и умолчанія, свѣтскіе разсказы и глубокомысленныя разсужденія, споры, вздохи, анекдоты, наряды; пламя камина, широкіе листья какого-то растенія, черные при яркомъ освѣщеніи... Вспоминалось, какъ было жарко въ этой изящной гостиной, какъ странно, освѣжительно больно, злобно весело пахнула мнѣ въ лицо вьюга, забѣлившая улицы. Фонари крупными, мутными кругами уходили вдаль, все мельче и мельче; пушисто бѣлая поляна рѣки мягко сливалась съ темнымъ небомъ...

Все это, казалось, еще было предъ моими

глазами и по утру. Въ нескладицѣ впечатлѣній чувствовалась далекая нравственная связь, нравственный смыслъ. Моя безотчетная тоска опредѣлялась, хотя я все еще не находилъ слова, которымъ могъ бы сразу назвать ее. Я ходилъ изъ угла въ уголъ по своей комнатѣ, какъ-то довольный, что сквозь морозное окно не видно было свѣта божьяго и суеты улицы. Это тоже связывалось со вчерашнимъ. Вчерашніе господа тоже рыщутъ спѣша въ свои засѣданія, въ свои собранія; къ нимъ, въ свою очередь, рыщутъ и спѣшатъ другіе, зависящіе отъ нихъ, питающіе разныя надежды, между прочимъ, и надежду поотогрѣться въ изящныхъ салонахъ, которая, вѣроятнѣе всего, только одна и сбудется... Хорошенькая дамочка, та, конечно, уютно заключилась дома. Вчера она жаловалась, что зябка и сострадала голубкамъ, которыхъ выгнали съ какихъ-то чердаковъ:—«Но, что же дѣлать, грустная необходимость! если бы человѣкъ не ограждалъ себя отъ животныхъ...»

— Извѣстно, они бы его съѣли, повторилъ я мысленно то, что отвѣчалъ ей вчера и что подумалъ:—стало быть, чего-жъ ужъ и плакаться?

Мнѣ было тяжело, досадно и совѣстно, чего я самъ не зналъ, но тревожащая совѣстливость и недовольство собою примѣшивались еще вчера къ моимъ чувствамъ. Мнѣ казалось, что и я виноватъ заодно съ этими людьми... Но въ чемъ же они виноваты? Вопросъ мудреный. Сколько я зналъ ихъ біографіи, за ними не было дурныхъ дѣлъ. Они оказывались виноваты своимъ весельемъ, а я—тѣмъ, что раздѣлилъ его: все же, въ ихъ кружкѣ, хотя недолго, мнѣ было занимательно и пріятно.

Это, пожалуй, крайность, но мое чувство было искренно; я не настроивалъ себя на него и разогнать его не могъ. Воспоминаніе о «пріятномъ» вечерѣ тяготило меня, какъ проступокъ; я даже подумалъ, какъ бы его загладить. Ребячество, конечно, но я какъ-то не умѣю скоро отвязаться отъ такихъ ребячествъ, хотя и сознаю ихъ житейское неудобство и свою собственную забавность. Пріятели не разъ смѣялись, когда я высказывался съ своей неосторожной откровенностью.

— Стало быть, человѣку дѣлать нечего, если онъ занимается собственной ломкой! говорили они: — который тебѣ годъ?

Все равно. Мнѣ подчасъ отъ этой ломки очень скверно, но я не хочу, чтобъ было лучше... Можетъ быть, это «не хочу» есть признакъ окончательной изломанности?.. Но, вѣдь, такъ можно завертѣться въ вопросахъ безъ конца.

Я никому не завидую. Я живу въ далекомъ, глухомъ углу, за что не разъ подвергался осмѣянію моихъ пріятелей. Мнѣ довольно этого угла,—отъ добродѣтельной покорности судьбѣ, говорятъ, отъ апатіи, и — это я знаю самъ, отъ того, что изъ него виднѣе житье-бытье сосѣднихъ, такихъ же глухихъ угловъ. Мои сосѣди и я—большинство. Но если я лично, почему бы то ни было, нахожу, что мнѣ такъ удобно, за то лучше далекихъ зрителей могу замѣчать, что другимъ очень неудобно, очень тѣсно, что всякая невзгода и неурядица, какъ зараза, ищетъ именно такихъ тѣсныхъ угловъ, чтобъ водвориться и поѣдать людей, потому что живыми ихъ нельзя назвать, присмотрѣвшись, каковы они становятся, часто послѣ очень недолгаго времени. Зрѣлище невеселое. Чтобъ выносить его, мнѣ всегда казалось: живому человѣку нужна не апатія, а сознательное терпѣніе...

Что бы ни было, а въ это утро я расхаживалъ по своей комнатѣ, повторяя себѣ, что напрасно я вздумалъ выдти изъ своего угла, гдѣ живутъ нелѣпо, съ цѣлью посмотрѣть — не то, гдѣ живется лучше, а гдѣ и какъ живутъ люди, готовящіе свѣту лучшую жизнь. Издали, въ углу, мечталось, что вотъ есть такіе люди, и вотъ такъ-то и такъ-то они дѣйствуютъ. Вчера довелось мнѣ ихъ видѣть; обезпечены, независимы, всесильны, образованы, статистически вѣрно знаютъ всѣ недочеты жизни...

— Они слишкомъ счастливы! вырвалось у меня, будто разрѣшеніе всѣхъ противорѣчій, которыя обступали и томили.—Счастье всему помѣха: пониманію, сочувствію, дѣятельности; оно разнѣживаетъ, облѣниваетъ, отнимаетъ время... Въ самомъ дѣлѣ, когда же наслаждаться, если отдавать свои дни чужой заботѣ?..

Меня охватила страшная тоска. Такъ, именно въ эту минуту, явилось у меня въ первый разъ сознаніе, что мое намѣреніе посмотрѣть, поискать людей было не затѣя человѣка, юнаго не по лѣтамъ, а потребность истомившагося взрослаго; что надежда на людей, которымъ все понятно, все возможно, была — далекій свѣтъ въ холодной темнотѣ окружающаго; что мое стремленіе къ нимъ было — отчаяніе, не называемое по имени, скрываемое отъ самого себя, искавшее выхода или исцѣленія. Именно въ эту минуту я въ первый разъ понялъ, какъ

было мнѣ необходимо исцѣленіе, какъ я жарко ждалъ чего-то, какъ дѣтски вѣрилъ въ этихъ людей... Первая неудача сильнѣе всѣхъ надламываетъ. Бѣднякъ вышелъ изъ дома, потерянный, несчастный, рѣшившись просить. Натурально, онъ, во-первыхъ, обращается къ тѣмъ, въ комъ (какъ говоритъ онъ, ободряя себя) увѣренъ, какъ въ самомъ себѣ; ступеньки надежды на другихъ все ниже и ниже...

Я сорвался съ первой ступеньки! Вчерашніе, передовые, ничего не дали.

Ко мнѣ постучались въ дверь.

Чаще всего люди довольны, когда приходъ посторонняго человѣка прерываетъ ихъ размышленія, довольны, когда ихъ вызываютъ изъ отвлеченностей во что нибудь житейское, хотя бы даже пошлое. Люди скоро устаютъ раздумывать. Право, напрасный упрекъ, будто они резонеры и мечтатели. Они приглядѣлись къ мелькающей пестротѣ жизни до полнѣйшаго забвенія ея значенія. Уплывающія впечатлѣнія скользятъ по нимъ, не заставляя ихъ даже пожаться, не только вздрогнуть, и рѣдко-рѣдко когда какъ будто смутитъ ихъ какое-то чувство нескладицы общаго. Тогда, если случается досугъ, они немного пріостанавливаются, пробуютъ разобраться,—но очень рады, если къ нимъ постучатся въ дверь...

Я знаю, что я мечтатель; говорятъ—я резонеръ. Что-жъ дѣлать: такимъ родился, такимъ и кончу. Но я тоже обрадовался, что ко мнѣ постучались: я обрадовался пришедшему.

Это былъ Кубецкій, изъ моихъ молодыхъ пріятелей, «людей шестидесятыхъ годовъ»...

Недавніе и такъ далеко ушедшіе года! Для меня они памятнѣе, дороже моей первой молодости. Говорятъ о людяхъ «сороковыхъ», «шестидесятыхъ», годовъ; между ними есть промежутокъ: это—мое поколѣніе, мои сверстники. Насъ смѣшиваютъ съ нашими предшественниками. Правда, мы получили тотъ же складъ воспитанія, то же направленіе; мы шли вслѣдъ за ними, какъ младшіе братья, но, какъ воспитаніе всякихъ меньшихъ,—наше воспитаніе было негллижировано, отчего и направленіе вышло неопредѣленно. Мы выросли слабѣе нашихъ старшихъ, можетъ быть, отъ ихъ недоглядки: воспитывая насъ, они слишкомъ довѣрчиво полагались на наши способности; можетъ быть, отъ собственныхъ нашихъ особенностей и, положительно, отъ стѣсненія, которое легло на насъ еще тяжелѣе, чѣмъ на нашихъ старшихъ. Ни у одного поколѣнія не было молодости печальнѣе нашей. Намъ достались самые темные годы. Мы такъ и называли себя дѣтьми темнаго времени...

Горько и стыдно вспоминать, что оно изъ насъ дѣлало...

Большинство покорялось, привыкало или уживалось... Теперь, оглядываясь, можно, пожалуй, также горько сказать, что иначе и быть не могло: доблесть и сила характера или выродились, или недоразвились, а если проявлялись, то обходились слишкомъ дорого. Однимъ не оставалось иного выхода, какъ скрѣпить сердце; другіе, самая большая часть,—апатично замирали до забвенія собственныхъ способностей, правъ и обязанностей; третьи находили въ темнотѣ свою выгоду, просторъ своему произволу, жили покойно, были довольны всѣмъ порядкомъ вещей, даже гордились имъ и тѣмъ, что прилагали руки къ его поддержкѣ. Это были люди твердые, увѣренные въ своемъ значеніи и, слѣдовательно, въ себѣ. Они были господа и смотрѣли господами, негодуя на тѣхъ, кто хотя намекомъ отваживался выразить, что недоволенъ... Но насъ, недовольныхъ, было немного. Безправное меньшинство, забытое, осмѣянное или гонимое, мы затеривались или бились не только безъ надежды на успѣхъ, но заранѣе увѣренные въ пораженіи. Мы тратились на слова, не имѣя возможности дѣйствовать. Можетъ быть, отъ бездѣйствія и сдѣлались мы мечтателями; можетъ быть, мы и резонеры оттого, что въ молодости удавалось отводить душу только на словахъ. Большинство насъ презирало. Эти люди насущной минуты, люди успѣха, желали только одного для своихъ дѣтей и младшихъ братьевъ: чтобъ они были на нихъ похожи и также прожили. Потому, натурально, они встрѣтили враждебно поколѣніе шестидесятыхъ годовъ. За то мы встрѣтили его съ радостью, мы, меньшинство, хранившее преданія нашихъ старшихъ. Новое, молодое поколѣніе шестидесятыхъ годовъ не могло сказать намъ ничего новаго: его желанія, понятія, негодованія и стремленія были нашими еще съ дѣтства; могли измѣниться обстоятельства, могли встрѣчаться другія приложенія; но въ томъ, что составляло основаніе нашихъ убѣжденій,—молодое поколѣніе насъ не опередило. Мы не воскресали въ немъ, а будто продолжали вмѣстѣ съ нимъ нашу задержанную жизнь. Глядя на этихъ товарищей, дума-

лось, что, вотъ, наконецъ стало больше людей, жаждущихъ правды, что за правду встаютъ свѣжія силы, что разгарается свѣтъ, который тѣ, лучшіе, наши старшіе носили въ душѣ и передали намъ для раздачи... Молодежь чувствуетъ горячо, но не можетъ она чувствовать такъ глубоко, ждать такъ болѣзненно, радоваться такъ безумно, какъ чувствуетъ, ждетъ, радуется взрослый—оскорбленный, обманутый, измученный, простившій многимъ, схоронившій многое...

Мы приняли, какъ свои, ихъ тревоги и невзгоды, даже ближе, нежели свои; въ опасеніи за молодыхъ сказывалось наше старшинство; мы уважали ихъ, какъ ровесниковъ, а берегли, какъ дѣтей... Мнѣ было особенно хорошо съ моими молодыми друзьями: меня любили. Я былъ старшій десятью годами, зналъ жизнь, зналъ общество, былъ въ немъ независимъ; слѣдовательно, могъ быть полезенъ моей опытностью. Дорожа независимостью и въ этомъ молодомъ кружкѣ, я не хотѣлъ держаться въ немъ ублаженіемъ, какъ въ то время дѣлали многіе старшіе, трепетавшіе названія отсталыхъ и вслѣдствіе того часто и очень забавно сконфуженные, когда приходилось выражать дѣломъ то, на что они обязывались черезчуръ восторженными словами. Я спорилъ жарко, отстаивая особенности моихъ мнѣній отъ крайностей кружка; я напоминалъ своимъ о послѣдовательности, которую они восхваляли и которой требовали отъ другихъ; я требовалъ отъ нихъ той же послѣдовательности, нераздѣльности слова съ дѣломъ... Спорившіе, соглашаясь, бранили меня за мое терпѣніе съ ними, а наша внутренняя связь только крѣпчала отъ споровъ...

Славное время! Его печали вспоминаются не безотрадно, за его ошибки нѣтъ стыда; что было излишняго въ увлеченіяхъ забавно безъ осужденія. Было столько самоотверженія, состраданія, доброты, какой-то ласки, что мы откинули самыя эти слова, какъ напыщенныя названія того, что, просто, было нашимъ физическимъ свойствомъ, что не стоило разбора, не имѣло никакой цѣны. Мы жили всей роскошью чувства, не признавая, даже не оглядываясь, что это чувство. Мы не говорили: «такъ должно»; мы говорили «такъ нужно». Относясь ко всему со стороны разсудка и положительной необходимости, мы, въ то же время, были страшные идеалисты и очень обижались, когда намъ замѣчали это. Были трудные, горькіе дни; они освѣщались для насъ нашимъ внутреннимъ свѣтомъ, нашей вѣрой другъ въ друга... Дорогое, короткое, недавнее и такое далекое время! оно вспоминается какъ весенній день, и лучезарный, и грозный, а за нимъ опять смутные сумерки...

И какъ они скоро набѣжали!.. Мы растерялись. Что сталось съ нами?

Часто раздумывалъ я объ этомъ въ моемъ углу, гдѣ опустѣло, хотя изъ прежнихъ оставались еще многіе, но, встрѣчаясь, я не узнавалъ ихъ; они, въ свою очередь, не узнавали меня...

Знаю только, что я не перемѣнился. Даже въ мелочахъ, въ пустякахъ, въ моей обстановкѣ въ эти десять лѣтъ ничто не перемѣнилось: зайди ко мнѣ прежній пріятель, онъ найдетъ все на прежнемъ мѣстѣ. Но они заходятъ рѣдко, имъ сидится неуютно и говорить намъ становится не о чемъ.

А между тѣмъ, странно: они приносятъ множество новостей. Въ прежнее время насъ занимали новости общія, а не ходячія ежедневности нашего угла. Прежде, бывало, если случалось говорить о нихъ, мы разсуждали, отыскивали нравственный смыслъ факта, разбирались долго въ немногомъ. Теперь сотни фактовъ, а такъ какъ въ нашей сторонѣ не бываетъ ничего крупнаго, то эти факты—анекдоты, изъ которыхъ, въ сложности, выходятъ сплетни. Я отважился назвать этимъ грубымъ именемъ пересказы о личныхъ отношеніяхъ, денежныхъ счетахъ, надуваніяхъ, скандалахъ и скандальчикахъ. Мнѣ возразили, что это забавно. Я отважился замѣтить, что это неостроумно; мнѣ, смѣясь, напомнили, что я не умѣю смѣяться. Я напомнилъ, что прежде было много, чему весело было посмѣяться и чѣмъ дѣльно было заняться.

— То было прежде! возражали мнѣ.

— А теперь, неужели только это и осталось? возражалъ я, вспоминая прежніе споры.—Только и свѣта въ окошко, что интриги, деньги, подкапыванье, вышучиванье?

— Что-жъ дѣлать, если больше нѣтъ ничего.

— Но кто-жъ въ этомъ виноватъ? продолжалъ я.—Вы теперь—господа вашего положенія, вы—господа общества; вы, благодареніе Богу, уцѣлѣли въ погромѣ, и установились прочно. Вспомните, чего вы желали, о чемъ мы всѣ проповѣдывали? Насъ,—еще разъ благодареніе Богу,—уцѣлѣло довольно; ну, сплотимся, какъ тогда мечтали, устроимъ жизнь на дѣльныхъ началахъ...

Меня прерывали, но не возраженіемъ, даже не смѣхомъ. Меня прерывали спокойнымъ обращеніемъ разговора на посторонній предметъ, случалось—на погоду...

Въ послѣднее время, въ самомъ дѣлѣ, посчастливилось нашимъ уцѣлѣвшимъ: одни занимали хорошія мѣста, другіе наживали хорошую деньгу. Они, въ самомъ дѣлѣ, могли своимъ вліяніемъ, дѣятельностью и примѣромъ сдѣлать поскладнѣе жизнь общества, или, по крайней мѣрѣ, образовать среди него свой кружокъ, установившійся, крѣпкій,—надежное зернышко будущаго. Имъ бы ничто не помѣшало. Я это зналъ, но я еще такъ сердечно имъ вѣрилъ, что если бы они начали доказывать мнѣ, будто они гонимы и притѣснены—я былъ готовъ принять и это оправданіе; я былъ готовъ съ радостью сознаться, что я ошибался, что я виноватъ—лишь бы найдти ихъ невиноватыми. Они добросовѣстно и очень спокойно не доставляли мнѣ этого утѣшенія: они жили въ свое удовольствіе и не отговаривались никакими стѣсненіями... Съ каждымъ днемъ мы расходились все дальше, но они мнѣ были дороги; я не могъ не слѣдить за ними, какъ смотрятъ вслѣдъ уѣзжающимъ; не могъ не звать ихъ, все еще надѣясь, что они оглянутся. Совершенно въ порядкѣ вещей, что всякое поколѣніе, вступая въ свою дѣятельную пору, образуетъ и свой особенный складъ жизни; но меня поражало сходство новаго склада съ тѣмъ, который довелось мнѣ вынести въ моей первой молодости: съ складомъ «темнаго времени». Та же пустота, эгоизмъ, произволъ...

Откуда брались они? Кто виноватъ? Не мы ли чего нибудь не досмотрѣли?

Я припоминалъ. Въ нашъ короткій, свѣтлый промежутокъ, сочувствуя всякому горю и лишенію, торопясь отдохнуть сами, молодые и преданные, мы горячо проповѣдывали право человѣка на наслажденіе. Забавно вспомнить, какъ мы имъ пользовались. Мы были всѣ небогаты, или средства тѣхъ, кто ихъ имѣлъ, были до такой степени общія, что всегда оказывались невелики: мы «наслаждались», дѣлясь. Теперь, бывшіе несовершеннолѣтніе сдѣлались самостоятельны, повторяютъ наши слова, основываются на томъ же правѣ и, всякій за себя, наслаждаются, захватывая. Наслажденіе, раздѣленное, какъ бы ни было мало, дополняется нравственнымъ чувствомъ и, потому, удовлетворяетъ; животной жаждѣ наслажденія въ одиночку—нѣтъ предѣла... Мы объ этомъ не подумали.

Мы допустили еще другое, хуже. Въ то далекое время, между слабѣйшими изъ насъ существовало понятіе, что для достиженія цѣли хороши всѣ средства. Мы опровергали, порицали, гнали это понятіе, но,—должно признаться, — случалось, доведенные до крайности, мы имъ пользовались... Зло уцѣлѣло съ уцѣлѣвшими и давало себя знать: теперь они пользовались всякими средствами. Они будто устали и освобождали себя отъ всѣхъ обязательствъ, которыя налагали на нихъ наши прежнія, молодыя убѣжденія. Вѣчно праздные умомъ и чувствомъ и вѣчно въ хлопотахъ, въ свалкѣ за добычу мѣстъ и денегъ, они заискивали, кланялись, хитрили, обдѣлывали свои дѣла, ловко пользовались чужими промахами, подготовляли эти промахи, обманывали, смѣялись надъ обманутыми...

Они правы, спрашивая, который мнѣ годъ!.. Я не выдержалъ; я еще разъ напомнилъ имъ наше прошлое, наше презрѣніе земныхъ благъ, наше самоотреченіе ради всѣхъ, наше уваженіе къ личности, нашу гордую честность, гордую свободу, ни передъ кѣмъ не клонившую головы... По старой памяти пріязни или по тому, что далекій отъ всякой денежной и дѣловой возни, я былъ безвреденъ,—прежніе пріятели не разсердились. Они не оспоривали, что все это, точно, было и было очень хорошо; они повторяли даже, что я правъ, но повторяли съ той осторожной жалостливостью, съ какой не противорѣчатъ помѣшаннымъ. Чтобы кончить по-житейски, мнѣ бы слѣдовало обидѣться.

Я не обидѣлся. Обижаются неправые, а не прощаютъ обидчики. Я самъ также злобно подумалъ, что обидчивость сдѣлаетъ меня смѣшнымъ и передастъ побѣду на ихъ сторону. Но эта злая мысль только скользнула; мнѣ было слишкомъ тяжело и не до такихъ мелкихъ соображеній. То, что эти люди у меня отняли, было важнѣе, дороже: вѣрованія, надежды моихъ лучшихъ годовъ...

Я могъ бы все это обратить въ шутку, могъ бы, чтобъ не оставаться смѣшнымъ, самъ посмѣяться надъ собою. Я бы могъ и теперь пересказать все это шутя. Но я усталъ отъ смѣха. Кругомъ насъ потемки; они еще невыносимѣе, когда изъ каждаго угла раздаются то подозрительное хихиканье, то нахальные взвизги. Хохотъ недовѣрія, насмѣшки затаенной злости, торжествующей удачи, грязнаго веселья, дешеваго остроумія, обезпеченнаго равнодушія, сытаго счастья, пошлости и опошливанья, хохотъ стономъ стоитъ со всѣхъ концовъ. Нѣтъ силъ и стыдно прибавлять къ нему еще и свой голосъ...

Кубецкій раньше всѣхъ выбылъ изъ нашего кружка, попавъ въ Петербургъ совсѣмъ противъ своего желанія; впослѣдствіи, онъ остался жить тамъ и не писалъ мнѣ. Я зналъ о немъ по слухамъ и встрѣтился съ нимъ нечаянно. Эта встрѣча сильнѣе напомнила мнѣ прежнее, хотя Кубецкій съ вида былъ вовсе не похожъ на прежняго. Десять лѣтъ назадъ, этотъ молодой человѣкъ являлся въ безрукавкѣ въ общество дамъ, входя, тотчасъ искалъ дивана, гдѣ прилечь, а не случалось—покойнаго кресла и другого поближе, куда положить ноги; онъ сѣялъ вокругъ себя окурки папиросъ, случалось, съ горящей ватой, — и, по привычкѣ вертѣть что нибудь въ рукахъ, сокрушалъ все, что попадалось; я предоставлялъ ему для этого занятія какой нибудь карандашъ, коробку, готовя ихъ какъ обычныя жертвы его посѣщеній, и онъ не въ шутку сердился за то, что я отодвигалъ подальше свои письма и книги: онъ разрѣзалъ пальцемъ самыя роскошныя изданія и въ задумчивости покручивалъ уголки листовъ, покуда они обрывались. Наша нечаянная встрѣча произошла въ сѣняхъ Эрмитажа; онъ выходилъ, я входилъ. Я бы не узналъ его и не остановился, если бы онъ меня не окликнулъ. Перемѣна его наружности была поразительная. Не только въ сравненіи съ прежнимъ «неряхой-Кубецкимъ», но даже среди роскоши, къ которой въ послѣднее время привыкли наши глаза, Кубецкій выдавался, сверкалъ щегольствомъ. Мы едва успѣли обмѣняться нѣсколькими словами; онъ очень спѣшилъ, удивился, какъ я его искалъ и не нашелъ, сказалъ, что занятъ, что этими днями я рискую его не застать дома, и взялъ мой адресъ...

Я отворилъ ему дверь. Мнѣ мгновенно вспомнилась его старая привычка — всякій разъ, входя, ухнуть и проклясть «морозище». Мнѣ хотѣлось услышать это проклятіе.

— Что? сказалъ я, пока онъ сбрасывалъ шубу за перегородкой.

— Ничего.

— Холодно?

— Нѣтъ; я въ каретѣ.

— Да, правда, спохватился я: — онѣ тутъ недалеко ходятъ.

— Городскія? Нѣтъ; я не выучился въ нихъ прыгать, отвѣчалъ онъ, входя въ комнату и подавая мнѣ руку.

Онъ бережно положилъ на столъ что-то въ родѣ портфеля или папки, завернутое въ бумагу.

— Ну-съ, какъ поживаете? спросилъ онъ.

Почему-то мнѣ въ эту секунду показалось, что я никогда его не зналъ. Я не зналъ, что отвѣтить и, не зная зачѣмъ, смѣясь, отвѣчалъ:

— Да все также.

Я ждалъ, что онъ, въ свою очередь, разсмѣется и возразитъ, что въ десятокъ лѣтъ это также могло быть очень разнообразно, и, во всякомъ случаѣ, ему неизвѣстно. Онъ удовлетворился моимъ отвѣтомъ и сказалъ, садясь:

— Вчера у итальянцевъ скандалъ вышелъ. Вы были?

— Нѣтъ... Билета не нашелъ, прибавилъ я, будто въ оправданіе и, опять не понимая зачѣмъ, спросилъ:—А вы были?

— Я абонированъ. Скандалъ. Всякій разъ, сберутся, театръ полонъ, — вдругъ, красная афишка: оперу перемѣнили. Вчера шумъ поднялся...

Онъ подробно разсказалъ, какъ это было, что было назначено, что пѣли, какъ пѣли, какъ шикали и кто шикалъ. Я услышалъ множество мнѣ незнакомыхъ именъ. За этой театральной исторіей слѣдовала другая, третья. Я ихъ перемѣшалъ и, сказавъ раза два что-то невпопадъ, рѣшился не говорить ничего больше. Кубецкій, можетъ быть, и замѣчалъ мое молчаніе, но продолжалъ разсказывать, будто до конца исполнялъ дѣло. Кончивъ, онъ началъ посматривать по сторонамъ. Я дѣлалъ тоже. Нанимая номеръ, я зналъ, что у одного изъ моихъ креселъ ручки сломаны и приставлены, но въ эту минуту, я какъ будто въ первый разъ это замѣтилъ. Случайно, я набрелъ глазами на свертокъ, который принесъ Кубецкій.

— Что это у васъ? спросилъ я.

— Ахъ, да, сказалъ онъ, вдругъ оживляясь и вставая. — Вотъ, посмотрите. Я сейчасъ заѣзжалъ по дѣлу къ одному барину и не засталъ... Досадно? будто только и есть у меня, что одни его дѣла!.. Ну, отъ досады, — прямо противъ его оконъ Фельтенъ, зашелъ и прельстился.

Говоря, онъ развязывалъ свою покупку. Это была почти аршинная фотографія съ картины какого-то новѣйшаго художника: «Фрина предъ судомъ». Что-то очень темное, въ глубинѣ судьи; предъ ними, въ срединѣ, маленькій алтарь съ маленькой безобразной Палладой; на первомъ планѣ, къ сторонѣ, нагая фигура Фрины и ея защитникъ, срывающій съ нея полосатое покрывало.

— Что? вѣдь прелесть? спрашивалъ Кубецкій.

— Мнѣ не нравится, сказалъ я: — бѣлое пятно на темномъ фонѣ и только.

— Бѣлое пятно? Это Фрина-то? Но вглядитесь хоть въ локотокъ, которымъ она закрылась! И личика не видно, а между тѣмъ, очарованіе!

— Красавица, но остальное ужъ очень бѣдно; старички эти въ рядъ, казенныя физіономіи: удивленіе, вдохновеніе, одуреніе. И, какъ водится, парочками: толстый — тощій; умный—глупый...

— Э, батюшка, всѣ старички глупы! Вы вспомните ихъ въ «Фаустѣ», какъ они выскакиваютъ рядышкомъ...

Онъ «выскочилъ» и крикнулъ, какъ старички въ «Фаустѣ».

— Видѣли? Славная штука!

— А мнѣ этотъ хоръ и эти уроды показались, просто, противны.

— Какъ? Гуно?

— Ну, Гуно. Вы никакъ за авторитеты? спросилъ я, смѣясь.

— Нѣтъ, послушайте, вы гдѣ ихъ видѣли? на русскомъ или у итальянцевъ?

Я испугался, что онъ опять начнетъ про театры.

— Богъ съ ними совсѣмъ, прервалъ я, впрочемъ, ужъ не зная о чемъ съ нимъ говорить.

— Нѣтъ, послушайте, что вы, въ самомъ дѣлѣ? Вѣдь это—изящное...

— Давно ли вы-то пристрастились къ изящному? спросилъ я.—Мы съ вами не видались почти десятокъ лѣтъ...

— Да, пожалуй... давно что-то...

— Давно. И вы тогда гнали изящное, эстетику и все тому подобное.

— Да вы какое же изящное намъ предлагали? вскричалъ онъ. — Вотъ, сейчасъ примѣръ: я вамъ показываю красавицу, а вы глядите на тѣхъ дураковъ; старички поютъ себѣ о дѣлахъ житейскихъ, а вы... Ну, вамъ интродукція «Фауста», вой этотъ ужъ, конечно, по сердцу?

— По сердцу.

— Стало быть, вы на прежнемъ остались? Ну, это...

— Растолкуйте мнѣ ваше новое, сказалъ я.

Онъ засмѣялся.

— «Наше новое?» И это сказано безъ злобы?

— Вѣдь вы меня знаете.

— Это правда, сказалъ онъ искренно, и во взглядѣ его большихъ, славныхъ глазъ мнѣ мелькнуло что-то далекое, такое родное, что я былъ готовъ, какъ дѣвочка, броситься ему на шею. Я этого не сдѣлалъ, тутъ же подумавъ, что мы, свидѣвшись, не обнялись.

Онъ смотрѣлъ на свою Фрину.

— Что же? сказалъ я.

— Что? повторилъ онъ: — наше новое? Оно очень старо и вы его знаете. Вы намъ проповѣдывали какое-то отвлеченное чувство прекраснаго; мы вамъ возражали, что это—чувственность, и презирали ее. Мы были молоды тогда; нечего грѣха таить — мы идеальничали. Теперь, мы поумнѣли и признали, что и въ этомъ чувствѣ есть свое... какъ сказать?.. ну, достоинство. Только мы признали это не съ вашей точки зрѣнія, а по своему. Вотъ, Фрина красавица и я ею любуюсь, беру, что она даетъ. Больше съ нея взять нечего.

— Стало быть, вы примирились съ тѣмъ, что прежде называли грязью и презирали?

— Вотъ, вотъ! А увѣряете, что спрашиваете безъ злобы?

— Увѣряю. Я стараюсь понять.

— Ну, да, помирились. Сознаемся: мы заблуждались, отказывая себѣ въ удовлетвореніи потребности законной, потому что естественной,— потребности наслаждаться. Мы отталкивали цѣлый рядъ наслажденій, а въ сей земной юдоли это не экономно. Я вамъ сказалъ—мы поумнѣли.

— Но вѣдь такого... какъ его назвать?.. поверхностнаго наслажденія вамъ станетъ не надолго.

— На нашъ вѣкъ хватитъ, возразилъ онъ весело.—И почему же вы называете его поверхностнымъ? Этакая замашка читать мораль!

Я невольно засмѣялся, такъ его вспышка была похожа на прежнее.

— Вы бы прежде спросили: мы тоже ищемъ мысли, но опять-таки не той, что вы проповѣдывали, безплодно возвышающей духъ, а мысли, истекающей изъ самой жизни и входящей въ жизнь, то есть въ самомъ дѣлѣ животворящей...

— Напримѣръ, вотъ тутъ? сказалъ я, показавъ на Фрину.

— Тутъ-то? вскричалъ онъ.

— Да. Вы сейчасъ сказали, что тутъ взять нечего.

— Отъ нея, отъ прелестнаго бѣлаго пятнышка? Ну, да, нечего, кромѣ того, что — прелестная!

— И только?

— Ахъ, позвольте, позвольте, вскричалъ онъ:—теперь вспомнилъ! Да, точно такъ: у васъ, тогда давно, шли толки и, какъ разъ,

о Фринѣ. Вашъ лирикъ объяснялъ всякія тонкости и премудрости, такъ тонко и премудро, что смысла не оставалось, но я помню. У меня память хорошая. «Торжество красоты, какъ отвлеченной идеи; красота воплотилась такъ совершенно, что ужъ перестала быть плотью, перешла въ духъ и ужъ не вызываетъ страсти, а просвѣтляетъ»... Помню!.. Теперь вижу и соглашаюсь съ вами, что картина не удалась. Художникъ, точно, не совладалъ съ старичками... Онъ пожелалъ изобразить «просвѣтленіе» — и вышло ни то, ни се... Видно съ настоящимъ-то, съ нервами, съ мускулами не справишься легко, не заставишь ихъ играть, какъ угодно, выражать то, чего нѣтъ и быть не можетъ! Природа не даетъ себя ломать, выглянетъ, гдѣ ее спрячутъ, иститъ за себя... Несчастный! вѣдь пришло же въ голову писать то, чего самъ не понималъ, и ужъ, конечно, — не могъ чувствовать! а сообрази онъ просто, что можетъ отразиться на лицѣ человѣка при видѣ прелестной женщины, улови страсть, восторгъ, не мудри,—вышла бы вещь живая...

— Стало быть, теперь вы согласны: въ картинѣ нѣтъ значенія...

— Напротивъ, огромное! А защитникъ-то?

— Что защитникъ? Эфектная фигура...

— Э, Боже мой, вы все свое — объ исполненіи! Тутъ ужъ идея: находчивость-то какая! Геній! Понялъ, какую струнку надо затронуть!.. Огромное значеніе, въ особенности для нашего брата, тоже упражняющагося въ краснорѣчіи: смотри и поучайся!.. Это я, такъ сказать, вымѣнялъ себѣ образокъ своего патрона... какъ его звали? Эхъ, исторія ваша! вотъ, такихъ именъ она не сохраняетъ...

Я смотрѣлъ на него, покуда онъ разсматривалъ фотографію, приставивъ ее на столѣ. Мнѣ показалось, будто онъ и самъ нѣсколько рисовался и это еще больше сбивало меня съ разговора. Передо мной былъ человѣкъ изъ какого-то такого далека, что я только по общимъ, печатнымъ свѣдѣніямъ могъ догадываться, что его интересуетъ, что онъ думаетъ. Онъ заговорилъ самъ, усѣвшись, наконецъ, на диванчикъ и какъ-то бѣгло осмотрѣвъ его предварительно. Фотографія оставалась напротивъ. Кубецкій продолжалъ время отъ времени на нее оглядываться.

— Ну-съ, что же у васъ дѣлается? спросилъ онъ.

Онъ зналъ многое лучше меня изъ газетныхъ корреспонденцій. Я могъ сообщить ему только подробности, но подробности личныхъ отношеній, мелкихъ обстоятельствъ меня всегда утомляютъ; я не умѣю ихъ подмѣчать, рѣдко запоминаю и потому не рискую пересказывать. Начавъ какой-то разсказъ, я прервалъ самъ себя:

— Нѣтъ, довольно пустяковъ. Скучно.

Мнѣ было даже стыдно: вмѣсто того, чтобы говорить какъ друзья, мы болтали, какъ кумушки.

— Что вы за человѣкъ! возразилъ, хохоча, Кубецкій: — «Скучно!» Да это — все! Это—тонкія ниточки, а ими все связывается! «Пустяки!» Пустяки—это нервы жизни! Помилуйте, какъ этимъ пренебрегать? Знаете ли, однажды, на этихъ «пустякахъ», просто на пересудахъ, на женскихъ сплетняхъ, я создалъ такую защиту... Вы, вѣроятно, читали? рѣчь была напечатана... Просто, кружево!.. Надо сознаться: много охлаждаетъ привычка дѣла, но въ этотъ разъ, я чувствовалъ, что вдохновляюсь; одно вытекало изъ другого, изумительная послѣдовательность въ непослѣдовательности... Вы, конечно, читали?

— Нѣтъ, не читалъ.

— Изъ предубѣжденія? спросилъ онъ, вглядываясь мнѣ въ глаза.

— Изъ какого?

— Изъ какого... почему я знаю! Вы, вѣдь, всегда были... такой... «Заказное увлеченіе»—вѣдь вы выдумали это словечко.

— Положимъ, хоть и не я...

— Но оно вамъ нравится. Ну-съ, признайтесь, а ваши прежнія увлеченія были незаказныя?

— Нѣтъ.

— Нѣтъ? Какъ, вы еще при старыхъ иллюзіяхъ? Ну, это, знаете... неудобно.

— Для меня самого? Согласенъ.

Онъ весело разсмѣялся. Это было похоже на знакомый мнѣ смѣхъ, снисходительный къ моимъ заблужденіямъ. Кубецкій прощалъ меня, какъ прощали другіе.

— Все тотъ же вы! сказалъ онъ въ заключеніе.—Но, послушайте, такъ жить нельзя.

— Какъ видите, живу, отвѣчалъ я: — только невесело живется.

— А что? Дѣла разстроены?

Я въ свою очередь засмѣялся.

— У меня дѣлъ отъ роду не бывало, сказалъ я.—Мои горести—отвлеченныя. Пожалуй, вотъ одна изъ ихъ причинъ: этотъ вопросъ, который нынче у всѣхъ на языкѣ — «какъ дѣла?»

— Такъ что же?

— Въ былое время, мы толковали не о дѣлахъ, а объ общей работѣ....

— Вкривь и вкось, не прогнѣвайтесь!

— Уступаю вамъ — случалось и вкривь вкось, но крупнѣе, шире это было. Цифръ этихъ безпрестанныхъ, несносныхъ, не было, моя голова ихъ не выноситъ.

— Цифръ?.. повторилъ онъ.

— Да. Отъ начала вѣка, кажется, столько не считали, всего...

— Что-жъ, вы сами были за это, возразилъ онъ съ недоумѣніемъ. — Математика, точныя науки...

— Смѣты да итоги? И когда еще къ этому итоги плывутъ всѣ въ одну сторону, а въ другую нули...

— А!.. протянулъ онъ. — Что же, обыкновенная исторія, съ которой пора примириться.

— Надо спросить, мирятся ли тѣ, у кого нули.

— Позвольте, прервалъ онъ, вдругъ покраснѣвъ, будто задѣтый за живое: — вы, стало быть, предполагаете, что удовлетворены, довольны тѣ, у кого итоги?

— Согласитесь, резонъ немаловажный.

— Только очень относительный, возразилъ онъ.

Въ прежнее время, Кубецкій былъ страшный спорщикъ: расходившись, онъ, бывало, метался по комнатѣ, кричалъ, опрокидывалъ, что встрѣчалось; мы усаживали его насильно и держали. Теперь, въ его голосѣ мгновенно не осталось ни одной дрожащей ноты и на губахъ скользнула пріятная, порядочная улыбка.

— Очень относительный резонъ, повторилъ онъ мягко и слегка насмѣшливо, подчеркивая мое некрасивое выраженіе.—Я напомню вамъ ваше же изреченіе: всякому по мѣрѣ его нужды. Да-съ, это ваше; это— тема, лозунгъ, формула, ось, на которой, бывало, вертѣлись всѣ ваши мудрствованія. Будьте же послѣдовательны. Беретесь ли вы съ точностью опредѣлить, сколько кому нужно?

— Позвольте, прервалъ я.

— Я знаю, что вы хотите сказать! прервалъ онъ, мило засмѣявшись и граціозно отведя рукой мою руку, которую вслѣдъ затѣмъ схватилъ и пожалъ.—Все знаю, дорогой мой. Излишекъ, недостатокъ, неравенство,—все знаю. Но будемъ послѣдовательны. Вчера, напримѣръ, я защищалъ одного барина; ему оказалось мало его десяти тысячъ дохода и онъ пожелалъ разными путями пріобрѣсти еще десять. Я защищалъ по убѣжденію: онъ правъ. Воздухомъ нельзя питаться, — вы сами давно это рѣшили. Не желать нельзя... Такъ за что же я буду строже къ самому себѣ, за что я стану осуждать свои желанія? Что за аскетизмъ?.. И, увѣряю васъ, мнѣ, точно, нужно многое. Я зарабатываю... достаточно; на прожитокъ мнѣ достаетъ, но сколько еще я принужденъ себѣ отказать. Напримѣръ, поѣздка заграницу. Мнѣ необходимо; я глохну здѣсь. Дайте мнѣ другихъ людей, другой широкій складъ жизни, другія понятія, искусство, природу... А природа? вѣдь подумать только, вотъ, сугробы на подоконникѣ третьяго этажа, а тамъ... O primavera, gioventù dell'anno!.. Все это нужно мнѣ, нужно, необходимо, поймите! Отдохнуть надо!

— Отъ чего? вырвалось у меня невольно.

— Полноте, ради Бога, возразилъ онъ успокоительно, чрезъ секунду молчанія. — Вы не думайте, чтобъ я васъ забылъ; очень хорошо помню, что вы врагъ крайностей. Такъ пожалуйста, не прикидывайтесь крайнимъ.

— Такъ припомните же, что я никогда никакъ не прикидывался.

— Стало быть, это... извините, это вліяніе вашей глуши. Какъ, чтобъ вы, эстетикъ, идеалистъ, человѣкъ съ «отвлеченными горестями», не признавали законности отдыха отъ черной работы, отъ людской дури? не признавали изящной потребности насладиться!..

— Позвольте, прервалъ я: — и, главное, прошу васъ, не сводите разговора на ваши личныя чувства и потребности...

— Почему же?

— Мы говорили объ общихъ желаніяхъ и нуждахъ.

— Но развѣ я не человѣкъ, не часть общаго? Я беру себя, какъ единицу...

— Нѣтъ, позвольте, прервалъ я опять:— если и можно въ чемъ нибудь брать самого себя за единицу, только ужъ не въ этомъ случаѣ. Вы далеко не въ положеніи массы. Вамъ недостаетъ Италіи, — у другихъ нѣтъ дровъ...

— Извините, сказалъ онъ, недовольный:— но вѣдь такъ невозможно...

— И я тоже хотѣлъ сказать: такъ говорить неудобно. Начиналъ было когда-то заводиться у насъ хорошій обычай: въ разговорѣ объ общемъ не обращать вниманія, если что нибудь личное задѣвало насъ непріятно...

— Вслѣдствіе чего, прервалъ Кубецкій,— эти господа говорили другъ другу такія пре-

лести! Курьезы бывали. Кого это тогда посылали съ запиской для полученія головомойки за шаткость убѣжденій? къ какому вашему оратору? Припомните, вы при этомъ были. Въ запискѣ было сказано: — «я самъ сегодня не въ ударѣ, такъ докажи ты ему, что онъ отступникъ...» Ни много, ни мало... Прелесть! О, блаженное время... Неужели вамъ не смѣшно?

— Нисколько... Смѣйтесь, если хотите, надо мной. Славное, честное время! Мы были дѣти; мы рѣзко, глупо теряли мѣру словъ, но мы не помнили, не замѣчали обидъ, ради святости дѣла...

— Однако, позвольте; когда этимъ господамъ ничего не стоило, одному — сказать подлеца, а другому — выслушать...

— А теперь? Только за сдѣлки, за деньги, осторожно, чтобъ не отвѣчать у мирового, высокимъ слогомъ? Всѣ такъ ловки на оборотъ рѣчей, такъ въ пору непонятливы, такъ учтивы, снисходительны, неразборчивы; нѣтъ друзей, нѣтъ враговъ, годится всякій...

— Что-жъ, вѣдь вы же призывали всѣхъ? подсказалъ онъ насмѣшливо. — Это ваши правила — не брезгать людьми.

— Вы шутите? спросилъ я, почти испугавшись. — Нѣтъ, прошу васъ, только безъ шутокъ. Я пересталъ понимать ихъ.

— Я думаю, подтвердилъ онъ серьезно: — это совершенно натурально. Шутка — это цвѣтокъ понятій общества, а вы забыли общество, вы отъ него отстали. Вы живете десять лѣтъ назадъ. Для другихъ жизнь идетъ живая, текущая въ своихъ подробностяхъ, въ своемъ сверканіи; для васъ она застыла, потускнѣла и вы сами замираете...

— Нѣтъ, прервалъ я: — мнѣ очень тяжело, но я очень хорошо вижу, что не я, а общество стынетъ и замираетъ въ привязанностяхъ, въ убѣжденіяхъ, что оно своекорыстно и неискренно, что оно распалось на счастливыхъ людей и несчастную темную массу...

— Э, полноте! вскричалъ онъ. — Пожалуйста, не разсердитесь: вотъ вамъ доказательство, какъ вы отстали. Въ наше-то время, когда всѣ слои общества сближаются, смѣшиваются (вы сейчасъ сказали: «годится всякій»), въ наше-то время, когда всякому доступны и образованіе, и дѣятельность, и нажива? Когда столько заботъ о... какъ вы назвали? о «темной массѣ», что ли?.. Ну, вотъ и еще доказательство, что вы отстали: вы еще рискуете выпустить такое словечко... Что это такое, позвольте, ваша «темная масса?» Мы, наконецъ, безпристрастно въ нее вглядѣлись: жадность, обманъ, мошенничество, наглость, тупость, развратъ, жестокость... я вамъ скажу: такая!.. и деспотизмъ! Богъ вамъ судья, идеалисты, избаловали вы вашу «темную массу», да намъ приготовили работу возиться съ нею... «Несчастные!» Кто это несчастные, скажите? Вамъ, независимому, непричастному со стороны смотрѣть тошно на людскія продѣлки, въ васъ возмущается нравственное чувство: а въ насъ, въ тѣхъ, кто въ самомъ кипяткѣ, въ водоворотѣ, — оно не возмущается? Во сто разъ больше! Нашли счастливыхъ! Нѣтъ, счастливый выходите вы, съ вашими иллюзіями о всякихъ равенствахъ, братствахъ, а мы бьемся, не зажмуривая глазъ, и знаемъ съ чѣмъ, Люди, увѣряю васъ, не ангелы.

— Я никогда въ этомъ не сомнѣвался.

— Ну... сказалъ онъ, махнувъ рукой. — Извините; у васъ только и было правыхъ, что ваша «темная масса». Вы перестроивали свѣтъ, не доглядывая, такъ, малость, что по щучьему велѣнью это не дѣлается, что тутъ цѣлый порядокъ вещей, цѣлый строй понятій, переданныхъ отъ поколѣнія къ поколѣнію...

— Предположите, что я это знаю...

— Предполагаю, что и забываете. Припомните, что даже тогда ваши умѣренные внушали вамъ: «нельзя ломать зря, нужна постепенность, нужно терпѣніе»... Вотъ, мы и слѣдуемъ этому совѣту. Если вы находили его благоразумнымъ, скажите, что мы правы, будьте послѣдовательны... Что? пришла наша очередь напоминать вамъ о послѣдовательности! А! признайтесь, признайтесь, драгоцѣнный! непріятно, когда побиваютъ собственнымъ оружіемъ?

— Я не признаю себя побитымъ, возразилъ я: — покажите мнѣ, что вы сдѣлали.

— Какъ, что? да стоитъ взглянуть...

— Чтобъ убѣдиться, что не стало лучше.

— Нѣтъ, вскричалъ онъ: — я васъ не понимаю!

— А между тѣмъ, это очень понятно. Я тоже не зажмуриваю глазъ нарочно и вижу, что, въ самомъ дѣлѣ, какъ вы сказали, карьеры открыты, обогащеніе доступно, — но, спрашивается, кому? Пользуется все та же горсть немногихъ, которая пользовалась, а безчисленному большинству остается попрежнему... да что остается? Смотрѣть на васъ, или лѣзть на проломъ и пропадать, или достигать кривыми обходами, — то есть все равно пропадать.

— Почему же пропадать? спросилъ онъ съ негодующимъ удивленіемъ.—И если вы ужъ такъ презираете обходы,—то есть путь самый прямой, и вы же его проповѣдывали,—путь труда.

— Да; только мы проповѣдывали еще расчищать этотъ путь для всѣхъ, а не заваливать его нарочно.

— Кто-жъ это дѣлаетъ? спросилъ онъ обиженно.

— Тѣ, которые первые проходятъ впередъ. Чтобы развить дальше нашу метафору: всякій изъ нихъ будто считаетъ обязанностью обернуться и положить камешекъ, чтобы слѣдующимъ было труднѣе пробраться.— Ловкіе, конечно, перепрыгиваютъ, но большинство—не ловко.

Онъ чуть-чуть улыбался.

— Вы думаете, легко перепрыгнуть и пробраться? спросилъ онъ.—Вы думаете, легко чего нибудь добиться?

— Кажется, я именно сказалъ, что этого не думаю.

— Да о вашемъ большинствѣ, о вашей «темной массѣ». Но вы согласны, по крайней мѣрѣ, что успѣхъ уже самъ по себѣ есть доказательство силы и способностей? Да, вы согласны; вы назвали большинство неловкимъ, и это еще комплиментъ:—оно, просто, безсмысленно. Стало быть, вы непремѣнно должны признать, что люди, которымъ удается,—сильнѣе, способнѣе и, слѣдовательно, достойнѣе успѣха.

— Успѣха... повторилъ я.

— Что? Ахъ, да! еще вашъ конекъ! вскричалъ онъ.—Пора забыть эту старую пѣсню. On vous la refaira votre mythologie!.. Успѣхъ—вещь серьезная...

— Успѣхъ для себя?

— Да-съ! для себя, подтвердилъ онъ рѣзко.—Успѣхъ—дѣло способностей, а мы ихъ уважаемъ. Если человѣкъ и себѣ не съумѣлъ свить гнѣзда и добыть хлѣба—на что же онъ годенъ? Это вы кричали, что прошла пора лишнихъ людей, а сами подхватывали подъ ручки разслабленныхъ... и, точно, правда ваша, вотъ тогда-то никому не было лучше!

— А теперь?

— Хоть кому нибудь!.. Мы—не вы. Вы расплывались въ широкихъ кругахъ всего человѣчества, вы проповѣдывали, что не должно пользоваться своимъ добромъ, когда этого добра нѣтъ у сосѣда, и не умѣли ни пользоваться, ни помочь. Мы—люди сложившіеся, опредѣленные. Что наше, то наше; мы беремъ, что можемъ. Намъ оно достается не дешево. Мы въ правѣ побаловать себя: мы работаемъ. Мы обязаны беречь себя, потому что мы нужны... Вотъ передъ вами люди, какихъ вы желали, люди не лишніе.

— Да, сказалъ я:—только ихъ какъ будто подмѣнили въ колыбели.

Онъ разсмѣялся.

— Успокойтесь, не подмѣнили, сказалъ онъ.—Вглядитесь хорошенько: мы плоть отъ плоти, кость отъ костей вашихъ; мы помнимъ всѣ ваши наставленія, а вы забываете даже прошлое. Вы, такъ сказать, присѣли отдохнуть на лавочкѣ идеализма и отстали...

— А вы—отступились?

— Отступники? Ну, я такъ и ждалъ!.. Нѣтъ, мы, просто, ушли впередъ по пути суроваго труда, который вы же восхваляли и въ этомъ, даже болѣе, нежели въ чемъ другомъ, мы вѣрны вашему ученію... Невеликодушно колоть намъ глаза нашимъ крохотнымъ успѣхомъ. «Успѣхъ! счастливцы!..» Ради Бога! что намъ удалось, что такое мы захватили, чѣмъ мы пользуемся? Я не говорю о нѣкоторыхъ... есть, въ самомъ дѣлѣ, хищники!..но большинство насъ, которыхъ вы укоряете—вѣдь наша жизнь едва-едва похожа на то, чѣмъ должна быть жизнь порядочнаго человѣка. Увѣряю васъ...

Онъ спохватился.

— Оставимъ эти грошевые счеты!... Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, для человѣка мыслящаго время трудное. Неужели вы, въ самомъ дѣлѣ, предполагаете, что мы ничему не сочувствуемъ? Я, напримѣръ... Да сколько же мнѣ приходится всякій день анализировать и какихъ сокровенныхъ, тонкихъ побужденій. Тяжело... Ну, кое-какъ мы удовлетворяемся нашимъ положеніемъ, дѣлаемъ наше дѣло, разобравъ, наконецъ, что мы въ состояніи дѣлать, понявъ, наконецъ, поговорку, что «много обхватишь, ничего не схватишь»... что-жъ еще? ну, развѣ еще то, что мы поумнѣли, яснѣе разглядѣли, что за птицы—родъ человѣческій. Вотъ и все, всѣ наши блага и привилегіи. Небольшой комфортъ—единственное, чѣмъ можно какъ нибудь скрасить это существованіе... Ну, заплатить дань страстямъ, глупостямъ, называйте, какъ хотите. Вѣдь мы еще молоды! И если намъ удается забыться, вы думаете, мы счастливы?

— Несчастными назвать васъ не могу.

— Покорно благодарю! сказалъ онъ со злостью.—Не потому ли, что мы побираемся?

Онъ всталъ.

— Вы всегда были охотникъ разыгрывать минорныя фантазіи, началъ онъ, помолчавъ:—но этой я не возьму въ толкъ. Изволь-

те, мы тонемъ въ роскоши, мы хищники, мы эгоисты; вы были смиренномудры, самоотверженны и проч. Ну, а учителя ваши, законодатели, на которыхъ вы опираетесь, великіе мыслители великаго прошлаго вѣка, они не поживали въ свое удовольствіе, въ виду страданій человѣчества? Ихъ цинизмъ, ихъ испорченность вы чѣмъ объясните? Они были правы?

— Они были неправы, но они оставили намъ мысль...

— А мы развѣ не страдаемъ мыслью? Развѣ мы не измучены всѣмъ разладомъ жизни? Оглянитесь, сдѣлайте милость! предъ вами фактъ, признайте его! Скука, тоска, тревога, общее недовольство, лихорадочная потребность заглушить чѣмъ нибудь эту тревогу. Всѣ измучены, отъ мала до велика. Укажите, гдѣ счастливые, укажите, гдѣ веселятся? Молодежь... Бываете вы на балахъ? Это—мертвые! Ну, ваша «темная масса», тупицы и лежни тоскуютъ—по-вашему—съ голода; отчего тоскуютъ люди обезпеченные, отчего имъ хлѣбъ въ горло нейдетъ?..

— И, чтобъ забыться, они проталкиваютъ его насильно?

— Позвольте... вскричалъ онъ.

— Знаете, что? прервалъ я:—ужъ лучше на чистоту. Дорого бы я далъ, чтобъ найти такого откровеннаго человѣка, который бы сказалъ прямо: «сытъ я, и ни до кого мнѣ нѣтъ дѣла...»

— Нѣтъ, это невозможно! вы крайній, крайній... повторилъ онъ, принимаясь ходить изъ угла въ уголъ.

— Позвольте немножко разобрать, отчего ваша тревога, сказалъ я.—Вы все напоминаете наши ученія, наши убѣжденія. Вы слѣпили себѣ подпорки изъ обломковъ нашихъ убѣжденій, приладили ихъ по своему росту, для своихъ цѣлей. Но какъ ни искажены они, какъ ни переломаны, вы знаете, что это все-таки **они**: вы знаете, **чего** требовалось во имя этихъ убѣжденій; вы знаете, что безнаказанно ихъ не ломаютъ и не попираютъ. Вы осмѣлились это сдѣлать и чувствуете, что подъ вами зыблется. Вы не знаете, какъ держаться. Ваша опора—вамъ помѣха. Вамъ неловко, вамъ непокойно. У васъ оглядки, противорѣчія, разладъ словъ съ дѣломъ, а въ минуты совѣстливости—разладъ съ самими собою... Что это вы—не справитесь или трусите? Вы говорите, будто вы сильны, ну, будьте рѣшительны: оттолкните старое прочь совсѣмъ. Вы считаете, что вы правы—признавайтесь громко, что вы довольны. Такъ для всѣхъ будетъ удобнѣе. Что плакаться? Не ссылайтесь на насъ, на наши проповѣди; мы не узнаемъ ихъ въ вашей передачѣ. Не играйте съ нами комедіи, идите прямо. Имѣйте, какъ говорится, мужество вашихъ убѣжденій... оно обойдется вамъ не такъ дорого, какъ намъ обошлось наше...

Кубецкій стоялъ въ глубинѣ комнаты и какъ-то странно больше всматривался въ меня, нежели слушалъ. Онъ подошелъ, тихо улыбаясь.

— Я имѣю мужество остаться при одномъ убѣжденіи, сказалъ онъ любезно, полушутливо и какъ-то растроганно:—это — что вы самый милый, самый увлекающійся и самый упрямый идеалистъ, какого я знаю... Можетъ быть, вы и правы!..

Я въ свою очередь посмотрѣлъ на него съ любопытствомъ. Мнѣ случалось видѣть, какъ люди ломаются, но не въ такомъ совершенствѣ. Его порядочная улыбка напомнила мнѣ сверкающій, хорошо отточенный ножъ.

— Мнѣ часто приходитъ въ голову, продолжалъ онъ задумчиво: — какъ была бы полезна книга въ родѣ тѣхъ, что писались въ прошломъ столѣтіи—Maximes et Pensées нашего времени... Напишите такую книгу. Право. Мы кипимъ въ дѣлѣ; иногда не мѣшаетъ пріостановиться, подумать...

Счастливые люди! живите, не думая!

Мы разстались съ обѣщаніями видѣться, но я былъ увѣренъ, что онъ не придетъ ко мнѣ, а мнѣ—идти къ нему, смотрѣть на его образъ жизни, значило бы еще убѣждаться въ своей потерѣ. Я и безъ того довольно ее чувствовалъ... А я думалъ, что ужъ больше потерь для меня не можетъ предвидѣться!..

Но что за потеря — Кубецкій? Можно ли было, въ самомъ дѣлѣ, предполагать, что изъ него выйдетъ, если ужъ не труженикъ, то хоть хорошій рабочій?

Неудачи, ошибки, совѣты, выговоры, всякое житейское благоразуміе вспоминались мнѣ на досугѣ...

Въ былое время мы много говорили о трудѣ. Мы кричали—«впередъ», дѣтски не сознавая, что ѣхать впередъ не значитъ хлестать по лошадямъ, заставлять ихъ кружиться, бѣситься, дѣлать концы; что, пролагая новую дорогу, надо оглядываться и подбирать растерянное и растерянныхъ. Мы кричали «впередъ» — и едва двигались съ мѣста; мы кружились, не замѣчая, что теряли... Мы были молоды; было весело пове-

селиться бѣднымъ весельемъ, празднуя свое освобожденіе. Мы называли это отдыхомъ въ промежуткахъ дѣла. Кто былъ слабѣе, тотъ привыкалъ къ отдыху отъ бездѣлья, избаловывался, лѣнился, становился забывчивымъ, становился эгоистомъ. Мы этого не доглядывали... Мѣ забывали еще одно старое замѣчаніе, что иные люди, какъ дерево, съ одного конца горятъ, съ другого холодны. Мы вѣрили въ горячность, вѣрили въ искренность...

Положимъ, такъ могло заблуждаться въ себѣ молодое поколѣніе; но я-то, старшій десятью годами? Не смѣшно ли теперь огорчаться разочарованіемъ въ какомъ нибудь Кубецкомъ, который, если хорошенько припомнить, и тогда былъ малый праздный и пустой? Вѣдь я это зналъ. Не одинъ разъ и я, и другіе читали ему мораль во времена оны. Можно было имѣть терпѣніе, но какъ же было разсчитывать...

А почему-жъ не разсчитывать? Ему было двадцать лѣтъ. Взрослые — одинъ упалъ, другой отступился, третій и радъ бы въ дѣло, да ноги не носятъ; на кого же надѣяться, какъ не на молодость? Она глупа — ну, наберется ума. Она безъ мѣры пылка — ну, перебѣсится. Она себялюбива, избалована— одумается! Какъ же смѣть клеймить ее негодностью съ первыхъ шаговъ, когда впереди еще цѣлая жизнь?.. Такъ безпощадно, такъ безсовѣстно гнали нашу молодежь; у насъ недоставало духа еще самимъ гнать нашихъ виноватыхъ...

Кто-жъ зналъ, кто-жъ бы тогда осмѣлился оскорбить ихъ, осмѣлился помыслить, что они так ъ исправятся?..

Когда-то, давно-давно, учили насъ не горевать надъ тѣмъ, что разрушается, не оглядываться, проходить мимо. — Разрушилось, говорили намъ;—значитъ, пришла пора. Когда вѣтеръ ломаетъ дерево, значитъ оно мертвое или ужъ въ немъ столько задатковъ смерти, что, все равно, оно свалилось бы не сегодня, такъ завтра. Свѣжее устоитъ, а суши жалѣть нечего...

Кругомъ все ломается. Стало быть, все сушь? Стало быть, тѣ, на кого десять лѣтъ назадъ мы радовались, какъ на будущихъ бойцовъ за правду, ужъ и тогда носили въ себѣ задатки нравственной смерти?.. Утѣшительно!..

День за день, все сбираясь уѣхать, все чего-то дожидаясь, я дотянулъ до конца зимы... Чего я ждалъ, зная, что одна какая нибудь встрѣча, одинъ какой нибудь случай не успокоитъ меня, не освѣтитъ того, въ чемъ я терялся? Пожалуй, газеты, разсказавъ десятки ужасовъ, умѣютъ кричать объ одномъ «отрадномъ явленіи»; пожалуй, и мои знакомые, посѣщая меня, вѣроятно, ради моей оригинальности, читали мораль и совѣтовали обращать вниманіе, что «все-таки, какъ видите, не все черно, жить можно»...

Я цѣлые дни не выходилъ изъ дома, не вставалъ, съ дивана, не имѣлъ силъ читать, ничего не дѣлалъ, не зналъ, что дѣлать. Тоска становилась какая-то тупая: сознаніе настоящаго являлось вспышками, съ новой болью. Знакомые совѣтовали мнѣ развлечься; они не могли понять, чтобъ можно было такъ терять цѣлую зиму. Я послушался и пошелъ посмотрѣть, чѣмъ люди развлекаются. Я, конечно, заранѣе зналъ, что это посредственность или пошлость. Но въ виду всего, отъ чего наболѣла душа, эта пошлость вывела меня изъ терпѣнія; я высказалъ, какъ она противна. Надо мной сначала посмѣялись, но потомъ, какъ-то спохватившись, стали соглашаться.

— Вы правы, совершенно правы. Такой упадокъ вкуса и смысла; такъ однообразно.. но что же, вѣдь больше нѣтъ ничего; что же дѣлать!..

И они отправлялись развлекаться...

Это была мелочь, ничтожность въ сравненіи со всѣмъ остальнымъ, но мелочь самая постыдная, самая возмутительная... Разладу, неискренности, противорѣчіямъ не было конца, на каждомъ шагу, на каждомъ словѣ. Все поддѣльное; сострадательность, какая-то мистическая чувствительность и, рядомъ, умышленное зажмуриванье глазъ, наивное удивленіе предъ людскими бѣдами, высокомѣріе, произволъ, и фразы, фразы. На все готовое дешевое утѣшеніе, дешевое умиленіе изъ-за дешевой добродѣтели, ничѣмъ несокрушимая логика примиренія со всевозможной несправедливостью. Все прощено, не во имя любви, даже и не ради выгоды; все прощено—такъ, отъ равнодушія. Изъ жизни ушла правда. Этого не замѣчали. На это оглядывались съ испугомъ и безсильно отнѣкивались. Это видѣли ясно и не унывали. Оставалось одно—радоваться. Были такіе, что и радовались... И среди этой гибели, безобразное веселье...

Хотѣлось кричать, хотѣлось высказаться... Кому? Въ какихъ словахъ?.. Такъ мучатся нѣмые. Такъ мучатся живые, заваленные рухнувшей землей, слушая, какъ

надъ ихъ головами проходятъ люди, которыхъ — кричи сколько хочешь — не дозовешься...

Я шелъ, не помню, откуда. Иногда, вдругъ, мнѣ приходило желаніе бѣжать изъ своего заперти, дразнить себя видомъ улицъ. Все черно; фонари мерцаютъ въ туманѣ; паръ отъ оттепели, отъ лошадей, отъ людей; рогатки на завалахъ разрытой грязи; вдругъ, на срединѣ проѣзда, отраженіе цѣлаго этажа со всѣми окошками, значитъ, совсѣмъ разливанное море; тротуары въ полосахъ свѣта; суета проѣзжихъ, прохожихъ и бѣгущія тѣни, которыя они волочатъ за собой; отъ мельканья кажется еще тѣснѣе, еще безпокойнѣе.

На одномъ углу, гдѣ было особенно много народу, меня толкнули такъ, что я едва не слетѣлъ съ ногъ.

— Виноватъ, извините...

Прохожій торопился войти въ дверь булочной; я остановилъ его.

— Постойте...

— Что же вамъ еще? вѣдь я ужъ просилъ прощенія? вскричалъ онъ.

— Алексѣевъ!

Сомнѣнія больше не оставалось: и по голосу, и въ яркомъ свѣтѣ газа, который прямо упалъ на его лицо, я узналъ прежняго пріятеля. Мы тоже около десятка лѣтъ не видались.

— Да это ты! вскричалъ онъ:—давно ли ты здѣсь?

— Идемъ ко мнѣ, сказалъ я: — тутъ недалеко.

Это неожиданное было такъ хорошо, что не перескажешь. Будто волна, свѣжая, сильная, охватила, влекла, успокоивала, укрѣпляла. Молодость, далекая, милая, добрая, выглянула вдругъ, Богъ знаетъ, откуда, со всѣми своими лучами, во всей красотѣ. Она безсмертная; она никогда не проходитъ, она только прячется; въ самую позднюю, горькую пору, она возвращается хоть на минуту къ тѣмъ, кто дорожилъ ею, кто понималъ ея святыню... Два школьника такъ не бѣгутъ, не хохочутъ, двое влюбленныхъ не сжимаютъ рукъ такъ жарко, не забываютъ такъ всего, что происходитъ кругомъ, какъ бѣжали мы, разсказывая, разспрашивая, вспоминая, перебивая другъ друга, не договаривая, торопясь, повторяясь, забывая, не зная, что хотѣли сказать скорѣе. Мы поднялись на лѣстницу, вошли въ мою комнату и опомнились, обнявшись...

— Ну, сказалъ онъ, передохнувъ: — давай чаю.

Тутъ только я замѣтилъ: мы говорили другъ другу ты. Прежде, тогда, этого не было. Какими судьбами въ десять лѣтъ разлуки мы стали ближе? Онъ первый сказалъ ты, и это было такъ складно, такъ увѣренно, что иначе быть не могло.

— Я о тебѣ зналъ все это время, говорилъ онъ: — нѣсколько разъ хотѣлъ написать, даже начиналъ...

— И не дописалъ?

Онъ махнулъ рукой.

— Вотъ, встрѣтились. Разсказывать, какъ живется—два слова. Мы, кажется, ужъ все и разсказали?

— Нѣтъ еще. Ты не сказалъ, гдѣ живешь.

— Отсюда очень далеко, но всякій день бываю очень близко. Видѣлъ — мы сейчасъ шли мимо— вывѣска нотаріальной конторы?

— Тутъ? Значитъ, мы съ тобой видимся всякій день.

— Нѣтъ. Когда же? я тамъ съ десяти утра до семи вечера: день прошелъ. А послѣ семи—работа на дому, или уроки я даю, три раза въ недѣлю. Вотъ, въ девять надо отправляться.

— И такъ всякій день?

— Да.

— Разумѣется, исключая воскресенья и праздники?

— Нѣтъ, включая воскресенья и праздники, кромѣ тѣхъ, что въ особенномъ кругу и съ колокольнымъ звономъ. Работы много.

— Стало быть, прибыльно?

— Да; за всѣми расходами, хозяину—тысячъ двадцать въ годъ.

— Что ты получаешь?

— Двадцать рублей въ мѣсяцъ.

— Невозможно!

— Что, тебѣ кажется мало? Переведи на франки, выйдетъ больше. Хозяинъ, когда желаетъ внушить намъ уваженіе къ нашимъ занятіямъ, — вообще, нравственность, — кричитъ: — «Вы получаете тысячу франковъ! Какъ не дорожить, не благодарить Бога? Вы расточители, у васъ привычки...» Недавно онъ читалъ это одному... Тотъ забралъ впередъ; оставалось получить франковъ пять, что-то, къ празднику. Не выдержалъ. — «Ужъ вы, лучше, говоритъ, считайте на реалы». За шапку — и ушелъ.

— Хорошо!..

— А еще лучше то, что изъ насъ никто не ушелъ. Мы прослушали и промолчали, зная, что каждаго изъ насъ при случаѣ могутъ оскорбить также. Мы смолчали, потому что наше имя — легіонъ... Пожалуйста, не подумай чего нибудь: я безъ мистицизма... Просто, слишкомъ много насъ, сволочи, какъ насъ кличутъ; насъ и укрощаютъ, вотъ такъ, голодомъ. Люди за умъ взялись, право. Зачѣмъ гнать, зачѣмъ запирать, зачѣмъ ротъ зажимать. Лучше добромъ, ласково, вотъ такъ, повыдержать немножко. Цѣлая система. Разсчетъ вѣрный; либо перемелятся, либо сами перевѣшаются... Охъ, сколько перемололось! — Даже гадко... И какъ они, чортъ ихъ знаетъ, ловко это дѣлаютъ, элегантно. Въ фразахъ у нихъ завязнешь, какъ въ глинѣ. Станетъ тебѣ объяснять законность толщины кармана—поэма! А прелесть бѣдности—молись и благоговѣй! И остроуміе, и басни тутъ, и притчи: «Жилъ-былъ царь, счастливца искалъ; нашелъ одного—и тотъ оказался безъ рубашки...» Нравоученіе такъ складно выведутъ. Право, изучать ихъ стоитъ... Недавно... Я тебѣ разскажу. Я тебѣ, какъ видишь, вѣрю. Я два раза за тебя бранился, защищалъ твои убѣжденія... ну, это—эпизодъ. Недавно, подошло мнѣ ужъ очень плохо и, какъ водится въ такихъ случаяхъ, взбрела дурацкая мысль. Припомнишь ты, какъ нибудь, Кубецкаго? Изъ нашихъ былъ, ну, постр-р-радалъ.

— Знаю, прервалъ я: — видѣлъ его на дняхъ.

— Видѣлъ? прекрасно: стало быть, описывать его нечего. Сказалъ онъ тебѣ, — да нѣтъ, не скажетъ! такъ не слышалъ ли ты, что онъ уже во ста тысячахъ? Нынче, братъ, сумма безъ трехъ нулей на хвостѣ — ужъ не сумма. И такъ, я пошелъ къ Кубецкому. — «У васъ, говорю, много дѣла; мы были когда-то товарищи, возьмите меня въ помощники...» А надо тебѣ знать, что я въ запрошломъ году сдалъ на кандидата...

— Ты опять слушалъ курсъ?

— Что-жъ баклуши бить; у меня и магистерская диссертація... ну, не въ томъ дѣло. Я говорю Кубецкому, что, видите, я могу вамъ годиться. Такъ, что-жъ ты думаешь...

— Онъ сказалъ, что ты не годишься.

— Именно! Именно это и сказалъ.—«Вы, говоритъ, находитесь подъ такимъ свѣжимъ впечатлѣніемъ науки, вы такъ подковались законами (и перевелъ: «ferré sur le Code») что будете относиться къ дѣлу съ предвзятой идеей,— а это хуже рутины; это — своего рода тенденціозность. Отъ прежнихъ вы, можетъ быть, отдѣлались, но, какъ человѣкъ крайній, естественно впадете въ другую крайность и отъ нея уже не освободитесь. Вы физически не сможете принять къ сердцу побужденія, страсти людей; для васъ они будутъ — параграфъ такой-то статьи такой-то. Вы меня стѣсните, потому что вліяніе стараго товарища, личности,—а тутъ — все дѣло чувства, увлеченія!.. я не могу!..»

Онъ сдѣлалъ жестъ Кубецкаго и засмѣялся.

— А это что значитъ: «не могу?» продолжалъ онъ, остановясь среди комнаты и слегка возвышая голосъ, будто вызывая.— Это значитъ... Обезьянство проклятое!.. Откуда-то, издалека повѣяло произволомъ; эти господа какъ-разъ пронюхали и туда же, сами: «мы тоже власть! Помощникъ — рабъ». И въ самомъ дѣлѣ, помощникъ Кубецкаго докладываетъ ему дѣла, стоя, не смѣя сѣсть. Съ старымъ товарищемъ этого дѣлать нельзя. Но не это важно, нѣтъ! Но старый товарищъ — это старая совѣсть, это свидѣтель, это судья. Люди когда-то говорили: «помни конецъ», теперь говорятъ: «хорони концы» — и первый конецъ въ воду — стараго товарища. Что-жъ, это логично. Имъ нужны свои люди, подсобники, чтобъ съ одного взгляда постигали, что нужно. Я и самъ догадался, что не гожусь. Но, досадно, прощаясь, сдѣлалъ глупость. Не выдержалъ характера,—пожелалъ Кубецкому успѣховъ. Просто, стыдно, какъ это вышло бестактно. Я даже остановился на улицѣ и подумалъ: вѣдь это, пожалуй, зависть... И вдругъ повеселѣлъ... Чортъ знаетъ, что изъ насъ дѣлается. Огорчаемся съ зависти, утѣшаемся ненавистью, мельчаемъ — хоть въ микроскопъ насъ разглядывай! Чувствуемъ, что падаемъ, и сами надъ собой смѣемся... А? правда? были времена хуже—подлѣе не бывало!

— Хочешь ты на мѣсто Кубецкаго? прервалъ я.

— Не хочу.

— Ты не одинъ такой.

— Такъ что-жъ? вскричалъ онъ: — ну, есть еще люди, не согнутъ головы, не продадутся, но много ли ихъ? Участь ихъ, дѣятельность,—что такое? Глядишь: одного не стало, другого не стало. И если бы только... высокимъ слогомъ — «ранняя кончина»! Это—ничего, этимъ еще можно порисовать-

ся, это, какъ говорится, «для барышень»,— чахотка въ цвѣтѣ лѣтъ! Нѣтъ, но здоровье такое, что ничѣмъ его не сломаешь, закаленное! и уголъ, гдѣ плѣсени не огребешься, обѣдъ, отъ котораго цѣлые сутки тошно, постель хуже мостовой, шубенка, подбитая вздохами! и это еще надо добывать, работая, не разгибаясь, и этому конца не предвидится!.. Но и это еще ничего! А вотъ, когда, по совѣсти, долженъ сказать себѣ: «не хочешь ли, вотъ туда, на улицу, въ темноту; тамъ есть такіе, что и тебѣ позавидуютъ...» Терпѣніе?.. Терпѣніе, помнится, кто-то проклялъ...

Онъ отвернулся и смотрѣлъ въ темное окно.

— Хоронилъ ты кого нибудь, спросилъ онъ, вдругъ оборачиваясь ко мнѣ.—Да?.. А вотъ такъ, хоронить все, во что вѣрилъ... Воображалъ себѣ миръ, свѣтъ, просторъ, знаніе, трудъ заодно, честность, достоинство, взаимное уваженіе... И вдругъ передъ тобой черная, холодная яма, и тамъ кишатъ, грызутъ другъ друга все люди, люди обманщики, обманутые, жадные, голодные, обидчики, раздраженные, безсовѣстные, и такъ что-то разлагающееся, ничтожное... Отчаяніе! Вотъ она тоска, какой не было отъ сотворенія міра! Ненавидимъ другъ друга и понимаемъ, что всѣ стоимъ ненависти... А послѣдствія, послѣдствія ты видишь? Жизнь-то какъ стала дешева! Двухъ дней кряду не проходитъ, чтобъ не услыхать: одинъ застрѣлился, другой удавился. И не одни обездоленные бѣдняки, нѣтъ; и счастливые, которымъ бы, казалось, только и жить, и тѣ, которымъ все удается, и тѣ, что затѣяли схватку. Что за причина? Понятная! Вѣдь схватка-то между братьями, вѣдь война-то междоусобная. Въ такой войнѣ жизнь презрѣнна и противна и покончить съ нею— освобожденіе. Это роковой порядокъ вещей. Ничто не мило, ничто не нужно, все по-боку, кончая самимъ собой. Кто почестнѣе, тѣ начинаютъ съ себя... Потому видишь ли...

Онъ остановился на минуту и взялъ меня за руку.

— Видишь ли, мы встрѣтились... Нынче такъ не встрѣчаются и братья. Я вижу, что у тебя давно вертится на умѣ. Спасибо. Глупую, щепетильную, отчуждающую гордость я презираю—и отъ тебя взялъ бы все, какъ свое собственное. Но теперь мнѣ ужъ ничего не нужно. Свались мнѣ сейчасъ милліонъ... ну, дворца я себѣ не застрою, а чего добраго, тоже смастерю какой нибудь благотворительный комитетъ и стану тамъ ораторствовать... Вѣдь только? Куда мы всѣ годимся?.. Нѣтъ, я кончу честно...

— Послушай... выговорилъ я въ ужасѣ.

— Ну что? возразилъ онъ спокойно и какъ-то улыбаясь, глядя мнѣ въ лицо.—Неужели ждать, покуда все, что было въ душѣ живого, все истлѣетъ и до послѣдняго праха вылетитъ на вѣтеръ.

Я опять одинъ по цѣлымъ днямъ...

Онъ говорилъ: — «не хочешь ли туда, въ темноту».

А вѣдь я самъ тоже изъ «Счастливыхъ людей»...



НА ВЕЧЕРѢ.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЧЕРНОВОЙ ТЕТРАДИ.

1849 г.

Лѣтъ десять назадъ...

Страхъ какъ давно. Спросишь кого нибудь изъ своихъ, тогдашнихъ—всѣ стали какіе-то безпамятные. Пожалуй, еще помнятъ факты, но какъ они принимались, какъ понимались, но ощущеніе этого волновавшаго прошедшаго, трепетъ прошлыхъ надеждъ, пылъ прошлаго негодованія—куда все дѣвалось? Годъ за годомъ, и, растеривая воспоминанія, оставляя тупѣть впечатлѣнія, пожалуй, дойдемъ до того, что станемъ себя спрашивать: да, полно, было ли что нибудь?.. Говорятъ, забвеніе въ порядкѣ вещей, въ законѣ природы; десять лѣтъ— мало ли воды утечетъ?..

Вѣрно. Къ тому-жъ и половодье было не маленькое. Но—мнѣ упрямо такъ кажется— то, что оно смыло, было лучше того, что оно оставило. Я все помню.

Иногда мнѣ вспоминаются и не одни наши. Въ противоположностяхъ, въ противорѣчіяхъ тому, что было и осталось мнѣ дорого, я ищу объясненія неудачамъ, перемѣнамъ, забвенію. Въ прошедшемъ, на разстояніи, это виднѣе... Мнѣ вспоминаются мелочи, разговоры, обстановка; многое съ вида невинно, многое глупо, вообще все пустовато; но мелочи не разъ разыгрывали съ людьми дурныя шутки. Занятые своимъ дѣломъ и своей мыслью, мы идемъ не обращая вниманія на то, что лежитъ по сторонамъ, мелкое, ничтожное; вдругъ, глядишь, оно шевельнулось и встало. Мы замѣчаемъ, что встало что-то враждебное, но все спокойно, все отважно презираемъ и продолжаемъ идти, покуда это ничтожное выростетъ въ чудище и станетъ поперегъ дороги. И не одно: оно умѣетъ найти, подкликать, изъ земли достать себѣ помощниковъ. Тогда разгоняй ихъ, бейся съ ними, пропадай, или пристань къ нимъ, забывая куда шелъ, зачѣмъ шелъ, чему вѣрилъ и чѣмъ былъ... Оттого я и боюсь мелочей; оттого, можетъ быть, я къ нимъ и присматриваюсь: сначала ничего, смѣшно, презрѣнно, а въ сложности, современемъ — кто знаетъ, что изъ нихъ выйдетъ...

Лѣтъ десять назадъ со мной случилось большое горе; пришлось на нѣсколько времени покинуть свой уголъ и переселиться въ Петербургъ. Въ первыя недѣли я еще не оглядѣлся, не принялся ни за что и потому много терялъ времени. Личное тяжелое чувство не заглушалось никакимъ занятіемъ— напротивъ: отъ него всякое занятіе дѣлалось противно, и являлось какое-то отчаянное желаніе совсѣмъ терять свои дни. Утро пропадало и отъ петербургской темноты, въ которую не хочется просыпаться, и отъ мелкихъ помѣхъ, которыя забираютъ немного часовъ, но туманятъ голову на вдвое больше. Вечеръ и подавно не было возможности оставаться одному съ самимъ собою. Пустой день не приготовилъ думать и зани-

маться; чтеніе не увлекаетъ: что-то постороннее, несвязное заслоняетъ строки; собственное горе тѣснитъ мысль: становится скучно отъ самого себя и стыдно за себя, и вдругъ озаряетъ соображеніе—что, можетъ быть, на людяхъ будетъ легче. Я и убѣгалъ въ люди, конечно, для того, чтобы чрезъ нѣсколько часовъ убѣдиться, что великолѣпное озарившее меня соображеніе было—глупость.

Однако, я часто ей поддавался. Я тратилъ время, спрашивая себя—къ чему его беречь? Чтобы меня образумить, нужно было бы подставить мнѣ обстоятельства, въ которыхъ я могъ бы, очевидно, признать свою полезность, дать мнѣ какое нибудь спѣшное дѣло или хоть вложить въ меня столько самолюбія, чтобъ я могъ сколько нибудь быть довольнымъ собою. Ничего подобнаго не случалось, и я жилъ день за день, желая одного, чтобъ ихъ проходило какъ можно больше... Я рѣдко видалъ своихъ друзей. Съ ними мнѣ было тяжелѣе. Занятые дѣломъ, занятые общимъ, они хотя сочувственно, но какъ-то рѣшительно дотрогивались до моей частной печали, и мнѣ дѣлалось больнѣе. Именно въ ихъ кружкѣ мнѣ становилось замѣтнѣе, чего мнѣ недоставало, чьего голоса я не слышалъ, чья рука мнѣ не протягивалась. Я отчаянно бѣжалъ отъ своихъ и бросался совсѣмъ въ противоположность, въ пустоту, гдѣ, по крайней мѣрѣ, ничто ничего не напоминало...

Замѣтивъ, что свѣтскіе разговоры одуряютъ до усталости, а отъ усталости крѣпче спится, я посѣщалъ свѣтскихъ знакомыхъ, которыхъ было оставилъ. Я погубилъ нѣсколько вечеровъ и въ театрѣ, хотя положительно его не люблю и во всю жизнь едва припомню два-три спектакля, которые меня удовлетворили. Я слушалъ, какъ хохотала публика и,забывая піесу,покуда смотрѣлъ ее, спрашивалъ себя—чему хохочутъ? Вопросы въ родѣ этого я дѣлалъ себѣ и въ нарядныхъ салонахъ,но тамъ приходилось быть повнимательнѣе, хоть бы для того, чтобъ самому не сдѣлаться предметомъ развлеченія. Мое появленіе тамъ сначала какъ будто удивило: я былъ пришлый, человѣкъ другого кружка—это знали. Въ свою очередь, я зналъ, что всякое слово не въ тонѣ и духѣ салоновъ будетъ подхвачено и перетолковано, и, не желая доставлять имъ этого занятія, ограничивался самыми безцвѣтными разговорами. Мнѣ было все равно—считаютъ меня или не считаютъ пріятнымъ гостемъ; мнѣ было нужно только гдѣ нибудь тратить время. Молча, я смотрѣлъ на общество, сравнивая, на сколько оно перемѣнилось противъ того, какъ я его предъ тѣмъ видѣлъ.

Оно очень перемѣнилось. Если хорошее расположеніе духа есть признакъ счастья—салоны были когда-то совершенно счастливы: тамъ хорошее расположеніе духа было даже обязательно, какъ приличіе. Тамъ были довольны всѣмъ, что совершалось въ мірѣ; его прошедшая и настоящая исторія имѣла значеніе туманныхъ картинъ, вызывающихъ мимолетныя улыбки и еще болѣе мимолетные вздохи; насущные роковые вопросы обсуждались какъ что-то поконченное за нѣсколько вѣковъ назадъ; живое дѣлалось такой отвлеченностью, что казалось почти странно, невозможно напомнить хоть словомъ о массѣ человѣческихъ жизней, стоящей за этой великолѣпной занавѣсью соображеній, и, вообще, рѣчь о подобныхъ предметахъ заходила рѣдко. Теперь обо всемъ говорили очень много; никто не былъ забытъ и ничто не было забыто; на всѣ вопросы смотрѣли прямо, дѣйствительность была во всемъ; все факты, все цифры; безстрастно высчитывались жертвы и произносились приговоры, неудачи осмѣивались даже весело. Но минутами являлось недоумѣніе, даже страннѣе прежняго: казалось, будто эти все знающіе, все рѣшающіе люди не увѣрены—уже не только въ томъ, что они говорятъ, а просто, неувѣрены, сами ли они говорятъ это...

Съ другой стороны, не смотря на законъ о расположеніи духа, общество было не оживлено, оно становилось нелюбезно. Les à propos, les fines reparties, которыми оно прежде услаждалось, дѣлались все рѣже или, такъ сказать, исчезалъ букетъ ихъ; отходящее поколѣніе—кто замолкалъ,кто повторялся,новое—или не выучилось, или было грубо, не тѣмъ занято. Неизвѣстно, чѣмъ оно занималось; не видно было, чтобы свѣтскіе молодые люди дѣлали что нибудь больше своихъ отцовъ, но они, положительно, были не такъ любезны. Женщины—тоже. Старыя grandes dames сходили со сцены и примолкали; молодыя были какъ-то торопливо привлекательны и не обѣщали съ годами сдѣлаться des grandes dames; въ ихъ величавости какъ будто недоставало вѣса, ихъ кокетство было слишкомъ снисходительно; онѣ были смѣлы, но не рѣшительны; онѣ сочиняли себѣ жизнь но не жили, какъ ихъ матери, а еще менѣе, какъ ихъ бабушки; онѣ какъ-то скоро давали разгадать себя и не внушали страха... Вообще, какъ будто проходила пора этого

«начала премудрости»—страха предъ grandes dames, какъ и предъ прочими сильными міра. Точно, какъ будто ихъ обступило что-то такое, изъ-за чего не такъ виднѣлись ихъ высокія прически и высоко поднятыя плечи, не такъ звучно раздавались ихъ голоса, привычные къ простору. Точно будто и для нихъ наставало «начало премудрости», и онѣ умѣряли отвагу, примолкали съ своими fines reparties, прислушивались, примѣнялись, заговаривали о «дѣлѣ и убѣжденіяхъ».. Это выходило забавно, особенно, когда такое непривычное стѣсненіе ихъ вдругъ одолѣвало и онѣ силились опять очаровать, презрѣть, устрашить, подняться во весь ростъ...

Онѣ притихали недаромъ. Тогда складывалась жизнь по-новому, вѣяло свѣжимъ, рѣзкимъ воздухомъ, гибельнымъ для всякаго тлѣнія; вставала тихая, прочная, суровая и полная достоинства сила мысли, справедливости и труда, которую отрицать было невозможно, запугать трудно, передъ которой было неловко хитрить и играть въ убѣжденія, потому что, прощая многое, этой игры она не прощала... Это безпокоило, это грозило—хуже: это какъ-то внутренно смущало. Чтобъ удержать свои улетающіе смѣхи и радости, обитателямъ нарядныхъ салоновъ оставалось или завѣдомо отвращать глаза отъ этого новаго склада, или наивно, съ заботой, равняющейся заботамъ свѣтскихъ людей о своемъ здоровьѣ, стараться сохранить себя въ блаженномъ невѣдѣніи. Это было мудрено, но дѣлалось. Было легче, признавъ существованіе людей другого склада, не удостоивать узнавать ихъ ближе, относиться къ нимъ съ соболѣзнованіемъ, съ спокойно-презрительной брезгливостью, въ минуты нервнаго разстройства—вѣрить о нихъ всякимъ сказочнымъ ужасамъ, а подъ веселый часъ—цинически смѣяться... Случалось, что салоны бывали и правы въ своихъ осужденіяхъ: какой кружокъ не имѣетъ своихъ недостойныхъ, которые ему навязываются, пятнаютъ его, которыхъ онъ самъ, первый, отвергаетъ? Но салоны этого не разбирали. Напротивъ, чѣмъ безобразнѣе и грязнѣе были слухи и выдумки, тѣмъ охотнѣе общество ихъ принимало: это его успокоивало; очевидныхъ нелѣпостей бояться нечего, но слушать ихъ очень пріятно. Какое счастье! среди самой тревоги, именно въ томъ, что грозило—для салоновъ нашлось новое развлеченіе, новый предметъ для разговора. Имъ стало даже весело.

Убѣдясь въ полной безопасности своего «очага и капитала», но продолжая трепетать за нихъ для вида, для того, чтобы какъ нибудь не выдать своего тайнаго страха за свою нравственную несостоятельность, скучая отъ своего однообразія, ища развлеченія, общество стало допускать къ себѣ людей новаго склада. Это было любопытно. Разумѣется, требовалась презентабельность.

Теперь, черезъ десятокъ лѣтъ, мнѣ кажется, что это знакомство только вредило признанію новой силы или, по крайней мѣрѣ, его отдаляло. Общество начинало изнывать въ своей дорогой скукѣ, начинало тревожиться. Новые люди принесли ему свой умъ, таланты, поддержали его живучесть, но не переработали его понятій, не передали ему своихъ понятій. Напротивъ, они сами были не поняты. Ихъ возраженія, какъ бы ни были умѣренны, всегда казались рѣзки и приписывались неумѣнью держаться; ихъ холодное достоинство и молчаніе передъ тѣмъ, что они находили нестоющимъ возраженія — принимались за робость и даже за согласіе. Глядя на этихъ неловкихъ, безмолвныхъ, порядочное общество мечтало, что это—заблудшіе, которыхъ стоитъ только чѣмъ нибудь «обязать», чтобъ они превратились въ воспѣвателей... Предъ другими, за которыми общество почему нибудь считало болѣе значенія — общество кокетничало изяществомъ воспитанія или покорнымъ сознаніемъ въ невѣжествѣ, простосердечной добротой, восторженностью чувства, готовностью служить и помогать, жаждой дѣла, раскаяніемъ въ своей пустотѣ и горестью пустоты... Тогда это было вновѣ, и многіе повѣрили. По собственной добротѣ сердца, изъ добросовѣстности, не осуждающей сразу, отъ надежды на лучшее или отъ недоглядки, этимъ людямъ иногда мерещилось въ нарядномъ обществѣ то, что они желали найти; они извиняли, ждали, были ласково снисходительны, а общество веселилось и гордилось, что люди новаго склада признаютъ за нимъ добродѣтели. Въ этой веселости было не мало и злого торжества, что, вотъ, «les incorruptibles передаются». Такъ и говорилось: «incorruptibles» безъ перевода... Общество, конечно, ошиблось: безмолвные скоро его разглядывали, снисходительные скоро теряли терпѣніе, и въ салонахъ не осталось бы представителей новаго склада, если бы не нашлось еще одного вида этой «диковинки».

Это были — какъ ихъ назвать?— потворщики. Приглашая ихъ, салоны едва ли не въ первый разъ оказались знатоками серд-

ца человѣческаго: эти гости не обманули ожиданій. За то общество обошлось съ ними безъ церемоній, не трудясь выставлять свои добродѣтели: оно просто устроило себѣ изъ нихъ развлеченіе. Эти гости влюбились въ надушенный воздухъ салоновъ, обсидѣлись въ немъ, привыкли къ покойнымъ мѣстечкамъ. Сначала неловкіе, они позволяли себѣ мрачную, желчную шутку, можетъ быть, искренній порывъ недовольства, но, спохватившись, что подобныя вещи не допускаются въ салонахъ, стали шутить надъ собственнымъ недовольствомъ, все еще намекая, что шутятъ не спроста. Ихъ, конечно, не трудились понимать, и нарядное общество (въ большинствѣ женщинъ) весело, привѣтливо смѣялось надъ «человѣконенавистниками», спорило, вызывая новыя выходки, граціозно утѣшало, обѣщая примиреніе съ жизнью, фразировало до умиленія. Положеніе новыхъ гостей начинало дѣлаться пріятнымъ. Было бы неумѣстно, неприлично, неучтиво платить рѣзкостями за милое вниманіе, омрачать общее настроеніе, быть недовольнымъ во что бы ни стало... И точно ли есть основаніе для недовольства? Точно ли то, что предъ глазами (какъ кричатъ тѣ, люди другого склада), мелко на чувство, нецеремонно на произволъ, трусливо на дѣло? Точно ли это заслуживаетъ сарказма? И что такое самый сарказмъ? не просто ли дурная привычка дурного тона? Или хуже—неосмысленное выраженіе духа партіи, упрямаго, пристрастнаго и ограниченнаго? Или... Боже избави! — нѣчто въ родѣ вспышки мелкой зависти мелкихъ бѣдняковъ?.. Самолюбіе у всѣхъ бываетъ; у этихъ людей оно еще разрослось отъ постояннаго безпокойства за значеніе ихъ личности въ свѣтлыхъ салонахъ. Едва они вообразили, что выраженіе общечеловѣческаго негодованія можетъ быть принято за мораль басни о лисицѣ и винограде, какъ ихъ дѣло было кончено. Они—какъ говорили сами—рѣшались «добросовѣстно» стать на точку зрѣнія общества и поискать, нѣтъ ли осадка этой морали въ осужденіяхъ ихъ... увы! бывшаго кружка. Для этого, въ кружкѣ надо было найти виноватыхъ. Виноватые вездѣ бываютъ. Они были скоро найдены, «добросовѣстно» осуждены, осмѣяны и принесены въ жертву забавѣ нарядного общества. Разсказчики, безспорно остроумные, сами повеселѣли отъ веселья, которое доставили. Можетъ быть, на первыхъ порахъ, имъ еще казалось, что они допускаютъ обвинять слишкомъ многое, дѣлаютъ слишкомъ мало исключеній, что они недостаточно опредѣлили границы между тѣмъ, что говорятъ сами, и тѣмъ, что, вслѣдствіе ихъ словъ, можетъ взбрести на умъ ихъ празднымъ слушателямъ; можетъ быть, они чувствовали, что предаютъ... но это только на первыхъ порахъ. Въ нѣсколько мѣсяцевъ, счастливое нарядное общество совершенно втягивало въ себя ихъ плоть и кровь, ихъ искаженный умъ и растраченное время, и платило, въ самомъ дѣлѣ, пріязнью: кромѣ развлеченія, которое доставляли потворщики, сами бывшіе люди другого кружка, люди знающіе, судьи компетентные, своими насмѣшками и обвиненіями подтверждали и подкрѣпляли мнѣнія общества, будто освящали ихъ...

Въ мои скитанія по салонамъ мнѣ случалось встрѣчать такихъ перерожденныхъ; они меня избѣгали. Они казались какими-то жалкими непомнящими родства, которыхъ уличать было даже незабавно. Только съ однимъ изъ нихъ, Репеховскимъ, я провелъ цѣлый вечеръ у m-me Городницкой.

M-me Городницкая была очень хорошенькая, нѣжная, бѣлокурая дамочка, не первой молодости, но какъ разъ той поры, когда еще цѣлы права на желаніе нравиться и уже можно предъявлять права на значеніе; она была лѣтъ десять замужемъ. Ея мужъ былъ богатъ, занималъ почетную, хотя невліятельную должность и много игралъ въ карты. Его почти не бывало видно. На своихъ вечерахъ онъ показывался на минуту, устраивалъ партіи и скрывался вмѣстѣ съ играющими въ свой кабинетъ. Въ гостиной играли только дамы, которыхъ размѣщала хозяйка. Я былъ знакомъ еще прежде. Въ мое первое появленіе m-me Городницкая приняла меня особенно привѣтливо, съ легкимъ оттѣнкомъ грусти и вмѣстѣ какой-то далекой надежды; какъ-то настоятельно порадовалась, что я «къ нимъ воротился», но не напоминала ни о какой перемѣнѣ моихъ обстоятельствъ или мнѣній. За то она видимо желала, чтобъ я замѣтилъ перемѣну въ ней самой, даже постаралась мнѣ на нее указать... Проходя мимо играющихъ дамъ, она сказала мнѣ въ полголоса и даже слегка пожавъ плечами:

— Вотъ занятіе!!..

— Какое? спросилъ я.

— Но — карты! Pardon, вы ли это спрашиваете?

— Почему же? я самъ играю охотно.

— Не лукавьте... возразила она серьезно, почти строго.

Я приглядывался: она, въ самомъ дѣлѣ, перемѣнилась. Прежде m-me Городницкая была образецъ всегда ровнаго, спокойнаго, свѣтлаго расположенія духа. Она понимала, что задуматься, растрогаться — значило спугнуть то настроеніе, которое заставляетъ находить тонкіе отвѣты, легкіе намеки, прелестныя злости, эти цвѣты бесѣды, безъ которыхъ погибаетъ салонъ; она боялась прислушиваться къ чему нибудь посущественнѣе, хотя бы это говорилось въ прилично-сглаженномъ и обезцвѣченномъ тонѣ салона: ужасъ! могли предположить, что она берется не за свое дѣло! Она боялась читать даже сколько нибудь не пустые романы, повторяя, что это выше ея пониманія... Теперь врывался новый воздухъ, являлась новая мода. M-me Городницкая прослышала два новыя слова: «дѣло и убѣжденіе». Что это такое — она не старалась себѣ объяснить, но бросилась за тѣмъ и другимъ. Имѣть убѣжденія было необходимо. Это она узнала изъ двухъ книжекъ, разрѣзанныхъ съ начала, которыя были ей доставлены одною нѣсколько ранѣе обращенною пріятельницей, получившею ихъ въ такомъ же видѣ отъ молодого человѣка, неутомимаго танцора, конькобѣжца и наѣздника, о которомъ недавно вдругъ узнали, что онъ необыкновенно много знаетъ. M-me Городницкая не трудилась дальше разрѣзать книжки: если немногія страницы успѣли подѣйствовать на пріятельницу — m-me Городницкая не считала себя менѣе чуткой и менѣе способной на развитіе. Она стала говорить о развитіи. Убѣжденія были готовы, оставалось найти дѣло. Уже болѣе не игнорируя существованія труда, m-me Городницкая откуда-то узнала, что трудъ тяжелъ, и граціозно выражала свое сочувствіе, но до такой степени признавала его святость, что строго, какъ истинная новообращенная, требовала, чтобъ люди трудились. Она высказала большую послѣдовательность—внесла свои убѣжденія въ свой собственный домъ, гдѣ сократила число прислуги и завела разные новые порядки. Противъ своего прежняго обыкновенія, она даже разсказала объ этомъ въ своемъ салонѣ, прибавляя, что сдѣлалась très-positive et positiviste и что безобразно и не производительно держать такое множество илотовъ. Она ихъ припомнила... Впрочемъ, такъ поступила не одна m-me Городницкая; вслѣдствіе идей разумной экономіи и нормальнаго распредѣленія труда, всяческое сокращеніе илотовъ доставило нряднымъ салонамъ не мало «средствъ» и «возможностей». M-me Городницкая была только откровеннѣе другихъ... Наконецъ, она нашла себѣ и дѣло:—«содѣйствіе труду». Это было довольно неопредѣленно, хотя стоило хлопотъ и времени, но времени ей было дѣвать некуда, а хлопоты были названы «заботой» и придавали значеніе — хоть звонкамъ у подъѣзда. Забота разнообразила разговоръ, давала право бывать не въ духѣ, заставляла торопиться, иногда тревожиться, чтобъ не пропустить какого нибудь удовольствія, а они всѣ такъ прискучили, что не мѣшаетъ ихъ оживлять хоть тревогой. M-me Городницкая содѣйствовала труду, конечно, въ его наименѣе грубой формѣ—въ формѣ искусства. Это доставило знакомство артистовъ въ разныхъ родахъ, которые являлись въ салонѣ, разумѣется, не позднѣе часа пополудни. Тогда m-me Городницкая «работала», то есть принимала этихъ посѣтителей, между разговоромъ провѣряла хозяйственные счеты, писала рекомендаціи и свои billets de matin, отмѣчала въ особую книжку, кто изъ лицъ ея общества былъ у нея вчера съ визитомъ или обѣдалъ, совѣщалась съ своими fleuristes и brodeuses (это были тоже артистки), пробѣгала «Journal de St.-Pétersbourg» (она ужъ не игнорировала политики), перелистывала (рѣдко идя дальше заглавія) брошюру, непремѣнно заграничную, о которой ей предстояло говорить въ теченіе дня. Кончивъ, она одѣвалась, принимала, выѣзжала и такъ далѣе. Вечера она отдыхала отъ труда, на балѣ, въ оперѣ, въ чьемъ нибудь салонѣ, и разъ въ недѣлю принимала у себя.

Въ тотъ вечеръ было что-то пусто; я подумалъ, что, въ разсѣянности пріѣхалъ слишкомъ рано. Въ большой залѣ бродилъ таперъ и вертѣлись двѣ маленькія дѣвочки, дочки m-me Городницкой. Свѣчи и лампы отражались въ паркетѣ; принаряженная гувернантка одиноко сидѣла въ ряду стульевъ у бѣлой стѣны. Изъ гостиной слышался смѣхъ; даже удивительно, что это общество смѣялось такъ громко: очевидно, оно было еще en petit comité, все свои. Въ самомъ дѣлѣ—двѣ-три дамы, нѣсколько мужчинъ. Въ центрѣ кружка, въ срединѣ маленькаго дивана, предъ столомъ сидѣлъ Репеховскій. Входя, я услышалъ—онъ разсказывалъ:

— «Если, говоритъ она: вамъ угодно, милая маменька, чтобъ я не покидала васъ, то вы можете сами принять форму съ нимъ, и тогда мы будемъ жить съ вами подъ од-

ной кровлей; это кстати будетъ удобнѣе для меня и для него въ экономическомъ отношеніи...»

Я подошелъ; дамамъ я былъ ужъ представленъ прежде; хозяйка здоровалась немного торопливо.

— Вотъ, заговорила она: вы застаете такой занимательный разсказъ... М-r Репеховскій...

— Мы знакомы, сказалъ я.

— Ахъ, тѣмъ лучше... М-r Репеховскій неистощимъ!.. Позвольте, pardon... Что-жъ далѣе m-r Репеховскій?

Репеховскій какъ будто сконфузился.

— Нѣтъ, что же, сказалъ онъ черезъ минуту:—грустная это исторія... Вы помѣшали!

Онъ кивнулъ мнѣ, какъ-то странно улыбаясь.

— Я помѣшалъ? Чѣмъ же?

Общество смотрѣло на меня.

— Нѣтъ, не то... Вотъ что, обратился Репеховскій опять къ своимъ слушательницамъ:—вотъ что. Когда подобныя вещи разсказываются сгоряча, ихъ еще можно выражать легко, пожалуй шутя. Но едва маленькій перерывъ, оглядка—и все, что есть горькаго подъ смѣхомъ, вся изнанка, все вспоминается... Тутъ ужъ сердце вступаетъ въ свои права и—остается негодованіе или молчаніе...

— Ah, c'est bien vrai, вздохнула одна дама.

— М-r Репеховскій, я хочу конецъ исторіи, сказала m-me Городницкая.

Она не знала, что дѣлать съ своими гостями; мужа, по дѣламъ службы, даже не было въ Петербургѣ; мужчины были незаняты, эти дамы не играли; молодыхъ людей было всего двое, дѣвицъ ни одной—слѣдовательно, танцовать некому. Разсказчикъ былъ ея спасеніе.

— Давайте конецъ исторіи! повторила она, мило капризничая.

— Конецъ исторіи! Но развѣ можетъ быть конецъ у такой нескладицы? вскричалъ онъ, оживляясь и какъ-то наставительно.—Среда — подземная, подпольная! невѣжество, распущенность, разнузданность, умственная ограниченность, отрицаніе всего... Чего же вы хотите, какого конца? тутъ никакихъ концовъ не свяжешь, когда всѣ узы порваны... Что у н и х ъ тамъ вышло—я не безпокоился узнавать!

Онъ слегка, свѣтски граціозно махнулъ рукой, будто въ смягченіе своихъ страшныхъ словъ, а потомъ, какъ человѣкъ, невольно сознающій свое превосходство надъ окружающимъ, сумрачно поникъ головой. Онъ самъ добровольно далъ упасть эфекту своего разсказа. Когда настала та минута молчанія, которая убѣждаетъ разсказчика въ неуспѣхѣ, Репеховскій первый прервалъ ее, вдругъ перемѣнивъ свой взволнованный тонъ на легкую задумчивость, и даже вздохнулъ, будто почувствовалъ облегченіе.

— Недурно играетъ... этотъ... замѣтилъ онъ, кивнувъ головой въ сторону залы.

Таперъ игралъ разныя штучки для дѣтей, покуда ихъ не увели спать; тогда онъ сталъ утѣшать себя, оглашая пустыню залы «Пробужденіемъ Льва».

— Недурно... повторилъ, мечтая, Репеховскій.

— Да... отозвались нерѣшительно дамы.

Онѣ, казалось, не были увѣрены, что онъ не шутитъ.

— Желаетъ доказать, что онъ и это умѣетъ, продолжалъ сквозь зубы Репеховскій.— Ну, ну... и заврался. Свободное творчество!..

Явились еще гости, салонъ понемногу наполнился; хозяйка ожила. По мѣрѣ того, какъ общество начинало заниматься между собою, его заниматель отодвигался на второй планъ. Но Репеховскому было не скучно. Онъ встрѣчался со всѣми, какъ знакомый; замѣтно, онъ былъ на слуху всѣхъ отношеній, мелкихъ и крупныхъ пикировокъ, даже сплетень, и умѣлъ лавировать между ними. Разговаривая съ женщинами, онъ, ловко или неловко, но непремѣнно вклеивалъ комплименты или поблажки ихъ мнѣніямъ. Онъ очень часто бралъ на себя тонъ наставника и всего удобнѣе въ немъ держался. Онъ даже выговаривалъ довольно рѣзко; но его рѣзкости были такъ пріятны по своему смыслу, что слушательницы могли бы благодарить за нихъ. Онѣ не благодарили, но спорили, чтобъ вызвать одобренія еще болѣе опредѣленныя. Репеховскій даже насмѣшничалъ, но и насмѣшки выходили какой-то игрой, гдѣ выигрывалъ проигрывающій. Я не могъ надивиться: прежде я не зналъ за нимъ такихъ способностей. Ему, въ самомъ дѣлѣ, тутъ весело жилось. Иногда шуткой, словомъ, недовольно изысканнымъ для салона, онъ будто нарочно напоминалъ и выказывалъ, что не принадлежитъ къ этому обществу, но не принадлежитъ добровольно, стоитъ выше его, сознаетъ себя силой, которую и оно должно признать. Съ женщинами это ему удавалось въ совершенствѣ, съ мужчинами было труднѣе. Одинъ важный господинъ заговорилъ съ нимъ; Репеховскій весь просіялъ; его ра-

дость была особенно замѣтна среди общаго спокойнаго равнодушія. Другіе господа встрѣчали его нецеремонными радушными восклицаніями, чрезъ минуту хохотали какой нибудь его шуткѣ и чрезъ минуту оставляли его, занявшись другимъ. Молодые люди съ нимъ не говорили, впрочемъ, улыбались тому, что онъ говорилъ. Онъ безпрестанно что нибудь разсказывалъ. Я какъ-то оглянулся: мнѣ показалось, что онъ даже что-то представлялъ въ лицахъ.

— Скучна нынче молодежь, сказалъ онъ, вдругъ подходя ко мнѣ.

Я въ это время смотрѣлъ одинъ изъ альбомовъ, лежавшихъ на столѣ, въ сторонѣ. Меня удивило, что Репеховскій заговорилъ со мной; до этой минуты онъ ко мнѣ не обращался.

— Да-съ, скучна молодежь, повторилъ онъ. Вы—что на это скажете?

— Ничего. Можетъ быть.

— Только? сказалъ онъ выразительно.

Онъ казался опять задумчивъ и утомленъ и выразилъ это опять вздохомъ, опускаясь на мягкій диванчикъ. Я продолжалъ смотрѣть альбомъ; тамъ были рисунки перомъ, карандашомъ, акварелью. Репеховскій посматривалъ на меня.

— Вы еще этимъ занимаетесь? спросилъ онъ, наконецъ, не то съ состраданіемъ, не то съ упрекомъ.

— Нѣтъ, не рисую давно.

— А смотрѣть еще не отказались?

— Если стоитъ.

— Такъ, стало быть... Марья Николаевна!

Онъ, по своему, нецеремонно обратился къ проходившей хозяйкѣ.

— На минутку. Торжествуйте: ваши альбомы привлекли вниманіе человѣка уже хладѣющаго, если не совсѣмъ охладѣвшаго къ искусству. Вотъ, находитъ...

— Ахъ, я очень рада. Тѣмъ болѣе потому, что тутъ нѣтъ прославленныхъ именъ; это—все работы моихъ молодыхъ друзей, des enfants de génie, des génies en herbe. Меня даже упрекаютъ...

— Да, да, въ «свѣтѣ» вашемъ! прервалъ Репеховскій.—Видите ли, нападки,онъ обернулся ко мнѣ,—зачѣмъ въ альбомахъ Марьи Николаевны нѣтъ рисунковъ «знаменитостей». А что такое рисунки знаменитостей? Знаменитость соизволитъ изобразить, напримѣръ, комара на обрывкѣ оберточной бумаги: это подберутъ, тотчасъ въ альбомъ, тотчасъ—годъ, мѣсяцъ и число, и умиляются: «вотъ чѣмъ тогда-то былъ занятъ великій человѣкъ—созерцалъ тайны мірозданія!» Или догадываются, не намекъ ли, можетъ быть, даже политическій...

— Даже политическій? oh, c'est trop fort!

— Ничего! предполагать все можно. Развѣ не было?..

Но она отошла и Репеховскій опять заговорилъ со мной; впрочемъ, то, что онъ говорилъ, очевидно, назначалось хозяйкѣ: она была недалеко, а онъ не понижалъ голоса.

— Не знаменитости, за то все оконченное, миленькій, легкій жанръ, красиво, нарядно. Все—молодые художники. Она—добрая, имъ хлѣбъ даетъ. Ужъ конечно, это не дареное. Помилуйте, станутъ они дарить! Чтобъ какой нибудь растрепанный enfant de génie догадался сдѣлать угожденіе женщинѣ... Но какъ же вы находите?

— Исполненіе есть прелестное; мысли мало.

— Какой же вы хотите мысли въ альбомномъ рисункѣ? возразилъ онъ. — Не все же вамъ изображать «Явленіе Христа народу», да «Serment du jeu de paume...»

— Пожалуй, хоть и помельче.

— Напримѣръ, что же?

— Хоть то же, что здѣсь, но чтобъ это было, по крайней мѣрѣ, вѣрно дѣйствительности.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, вотъ: что это—Андромаха надъ прахомъ своего супруга.

— Гдѣ?.. Помилуйте, даже и подпись: «Paysanne russe»... Ну, да, да, понимаю! смутила васъ драпировка. Но у молодого человѣка зрѣніе воспитано на классическихъ образахъ—нельзя же требовать, чтобъ онъ отъ нихъ отрѣшился. Напротивъ, онъ ищетъ ихъ въ дѣйствительности, а не находитъ, такъ создаетъ. И прекрасно дѣлаетъ! И правъ! И слава Богу! Что-жъ ему—намалевать грязный шушунъ, кичку на бокъ? Да ему за нихъ гроша не дадутъ — вотъ вамъ и дѣйствительность!

На его голосъ подошли m-me Городницкая и дамы.

— Что случилось? Что вы защищаете?

— И съ такимъ жаромъ!

— Да, вотъ, рисунокъ... Вѣдь—реалистъ! Баба, видите ли, не довольно натурально упала; пожалуй, захочетъ, чтобъ она и голосомъ выла...

— О, что вы говорите! это было бы ужасно!

— Фантастическій образъ. Но если вашъ альбомъ вздумаетъ дать вамъ фантасти-

ческое представленіе, будутъ сцены и въ другомъ родѣ. Вотъ, напримѣръ, какое веселье!

Онъ открылъ еще картинку: пьяные мужики. Это было безобразно даже и не для салоннаго альбома.

— Ah, quelle idée, оставьте это! вскричала m-me Городницкая.

Репеховскій хохоталъ.

— Этимъ-то, этимъ вы довольны? спрашивалъ онъ меня. — Реальность! Жизнь, какъ она есть, настоящая всероссійская!

— Ахъ, оставьте! это — шалость моего мужа, онъ вложилъ это сюда...

— Любимая моя! продолжалъ Репеховскій.—Вѣдь, я — патріотъ: люблю «пьяный топотъ трепака передъ порогомъ кабака...»

— Mais, fi, quelle horreur...

— Правда, правда, правда! восклицалъ Репеховскій.—Не отворачивайтесь отъ правды! Прекрасно сдѣлалъ вашъ мужъ, что вложилъ это сюда; смотрите почаще. Вы все воображаете: «ахъ, милый народъ» — вотъ онъ какой. Отступитесь отъ мечтаній, смотрите на правду. А то вы слишкомъ чувствительны. Вся вы—изъ одного сердца...

— M-r Репеховскій est mon directeur spirituel, сказала мнѣ m-me Городницкая: — онъ дѣлаетъ мое воспитаніе, разрушаетъ мои иллюзіи...

— И вамъ тяжело съ ними разставаться? спросилъ я.

— Неужели вы думаете, что легко? вскричала она:—такъ вы предполагаете въ насъ большую жестокость! Разставаться съ убѣжденіемъ, что этотъ бѣдный народъ... Но это ужасно! Чѣмъ же вы считаете насъ, если думаете, что мы не страдаемъ?

— Не смѣю этого думать, но — вы страдаете, стало быть, ваши иллюзіи ужъ разрушаются?

Она немного вспыхнула.

— Если хотите — да, отвѣчала она съ твердостью, какой можно бы и не ожидать отъ такой воздушной особы. — Онѣ разрушаются. И я не одна... я вступаюсь за многихъ. Мы всѣ — какъ нынче насъ называютъ—безсердечныя свѣтскія женщины, мы всѣ дѣлали себѣ иллюзіи о народѣ, о бѣдности, о стѣсненіи, потому что... надо признаться! мы видѣли много произвола, много жесткаго въ нашемъ старшемъ поколѣніи...

— Ну, гдѣ вы видѣли?.. вступился Репеховскій.

— Pardon, m-r Репеховскій, мы видали! Но тѣмъ болѣе теперь, мы поневолѣ принуждены сказать, что въ этомъ была своя справедливость; это, по крайней мѣрѣ, уравновѣшивало! Тогда какъ теперь...

Она энергически обратилась ко мнѣ.

— Теперь, знаете ли? Часто достойны сожалѣнія не тѣ, кого принято жалѣть!

— Браво! поздравляю! вскричалъ Репеховскій.

— Ah, c'est bien vrai! отозвались дамы.

— Поздравляю — прямой, откровенный отвѣтъ! продолжалъ Репеховскій.—Для такого отвѣта нужно мужество. Другая женщина только бы разахалась и изъ сантиментальности, изъ ложнаго стыда измѣнила бы себѣ... Вотъ это называется стоять за правду. Вы чувствительны, вы можете прощать, но вы не безсильны!

Онъ покровительственно протянулъ ей черезъ столъ руку; m-me Городницкая, пріятно волнуясь и улыбаясь, положила въ нее свою.

— Но, въ самомъ дѣлѣ, заговорила она поспѣшно, желая довершить свое торжество: — въ самомъ дѣлѣ, мы, свѣтскія женщины, часто бываемъ поставлены въ очень неловкое положеніе. Во всемъ обращаются къ нашему чувству! Но, Боже мой—мы тоже мыслимъ! У насъ могутъ быть чувства и гражданскія! Ихъ эксплоатируютъ во имя мягкости нашего сердца, во имя нашего былого незнанія вещей. А мы ужъ успѣли многое узнать, и какъ узнать!.. Намъ не остается выбора: мы должны или отстороniться, попрежнему отказаться отъ всякаго значенія, или получить упрекъ въ рѣзкости... Что до меня — я лучше рискую на послѣднее! заключила она съ очаровательной улыбкой.

— И прекрасно дѣлаете, подтвердилъ Репеховскій.—Въ наше время необходимы голоса образованныхъ женщинъ. У насъ хаосъ. Только отъ женщинъ можно ждать спасенія. Наши современные дѣятели высказали всю свою пустоту, окончательно проврались; наши публицисты... такая путаница идей, такой недостатокъ знанія, недостатокъ воспитанія, такое невѣдѣніе народа! Это—враги нашего развитія, враги всякаго прогресса! Грошевый либерализмъ, фразерство... Женщины, спасите насъ!

— Ахъ, m-r Репеховскій... сказала, подходя, еще новая гостья, полная, не молодая и одѣтая очень молодо.

Она здоровалась съ хозяйкой и кругомъ.

— Кажется, m-r Репеховскій — en verve?

— Il est charmant aujourd'hui! сказала m-me Городницкая.

— О чемъ же идетъ дѣло? M-r Репеховскій, вы взывали къ женщинамъ? Это — не продолженіе ли вашего пророчества о наступленіи царства пуассардокъ? Прошлый разъ вы насъ такъ много смѣшили!

Репеховскій нахмурился; казалось, это напоминаніе не совсѣмъ ему понравилось.

— Нѣтъ, возразилъ онъ: — это ужъ выходитъ изъ предѣловъ смѣшного, это серьезно. Это какъ разъ приходится къ тому, что я сейчасъ говорилъ. Упадокъ образованія — имъ шутить нельзя... Но развѣ тѣ — женщины? Когда, вмѣсто того, чтобы быть хранительницей семейныхъ началъ...

— Совершенно справедливо! вмѣшалась m-me Городницкая и договорила послѣдней гостьѣ:—Какія онъ вещи намъ сегодня разсказывалъ!!..

— Вмѣсто того, чтобъ поддержать священный, вѣковой строй общественнаго быта, обязанностей...

— Il est éloquent, одобрительно произнесла важная дама, прислушиваясь издали.

— Человѣкъ съ дарованіемъ, задумчиво подтвердилъ господинъ, такъ же, какъ она, дожидавшійся карточной партіи.

— Когда женщина отрекается даже отъ того, къ чему назначена самой природою — отъ изящнаго!—когда она засучитъ рукава, подвяжетъ клеенчатый фартукъ...

— Ah, m-r Репеховскій, n'allez pas, comme l'autre jour, dire des choses dégoûtantes! съ испугомъ вскричала полная дама:—эти ужасы во снѣ мерещатся!

— Des monstruosités!

Репеховскій засмѣялся.

— Не имѣю намѣренія тревожить ваши нервы, сказалъ онъ: — но разсудите, чѣмъ же легче, напримѣръ, хоть, вотъ, эта монструозность: прежде, таланты были обязательны для женщины; теперь обязательно не имѣть талантовъ...

— О, это невѣрно, возразила полная дама:—напротивъ, мы безпрестанно видимъ... онѣ играютъ, поютъ, ходятъ въ школы...

— Да, ходятъ для удовольствія бѣгать по улицамъ!

Въ кружкѣ послышался прелестный одобрительный смѣхъ.

— Я тоже ихъ безпрестанно встрѣчаю, десятками, продолжалъ Репеховскій:—прическа à la diable m'emporte, подъ обѣими мышками—вотъ! папки, фоліанты! ботфорты—и мчатся! вечеромъ, по плитамъ искры брызжутъ... Ночной поѣздъ валькирій!

Смѣхъ раздался всеобщій.

— Но это ужъ слишкомъ поэтично!

— Не я, а вы ихъ поэтизируете!

— Нѣтъ, но все же, смѣясь возразила защитница: — нѣтъ, все же онѣ учатся, стараются развить свои способности... Я сошлюсь...

Она обратилась къ хозяйкѣ.

— У васъ, какъ-то утромъ, я застала одну; она пѣла...

— Да...

— Да! вскричалъ Репеховскій:—и я слышалъ! пѣла! Глюка во гробѣ терзала! На все посягаютъ, ничего священнаго...

— У нея недурной голосъ, осторожно замѣтила m-me Городницкая.

— Тѣмъ хуже! Къ чему онъ?

— Какъ, къ чему?

— Да, къ чему? Цѣль какая? Самая презрѣнная меркантильность! Разсчетъ: «буду уроки давать, пойду на сцену, возьму деньги!» Все — деньги! Развѣ это — любовь къ искусству, развѣ это восторгъ, въ которомъ забывается житейская мелочь, въ которомъ растетъ духъ человѣка—восторгъ, который одинъ даетъ право человѣку называться человѣкомъ...

— Люблю, когда онъ говоритъ!.. сказала, какъ-то замирая, m-me Городницкая.

Репеховскій будто не слышалъ.

— А эти несчастныя, понимаютъ ли онѣ, что дѣлаютъ? Сцена! Но сцена потрясаетъ массы! А у нихъ самихъ, у этихъ жалкихъ, бываетъ ли когда нибудь хоть минута истиннаго увлеченія...

— Ахъ, но можетъ быть... вздохнула защитница.

— Не можетъ быть! Никогда! разразился Репеховскій.—Тамъ нѣтъ пищи для небеснаго огня! Невѣжество и упорство, упоеніе невѣжества! Новое нашествіе варваровъ, возвратъ въ потемки... Что-жъ въ томъ, что выломаетъ себѣ пальцы, выкричитъ голосъ, какъ нибудь малюетъ... Я видалъ эту компанію, знаю... Но чего же ближе — Марья Николаевна, это — ваша спеціальность, говорите!

— Ахъ, да, посредственности! отозвалась m-me Городницкая.

Репеховскій перевелъ духъ.

— Нѣтъ, доканчивайте! Безпристрастно, безпристрастно! И торгашество?

— Да, но все же это—трудъ...

— Трудъ и, можетъ быть, необходимость...

— Трудъ, необходимость — называйте какъ хотите; но цѣль? Цѣль—деньги?

— Вы немного слишкомъ строги...

— Нѣтъ, позвольте: цѣль—деньги?

— Такъ, но...

— Слѣдовательно, цѣль корыстная? слѣдовательно, это — низведеніе искусства въ ремесло, продажность, поруганіе искусства...

— Ah, elles sont si interessées! произнесла одна дама.

— Положимъ, но вы такъ строги...

— Послѣдовательность! Помилуйте, въ былыя времена бѣдныхъ уѣздныхъ барышень карали за то, что онѣ щеголяли талантами для ловли жениховъ... Пушкинъ даже...Дуня, тамъ, у него пищитъ: «Приди въ чертогъ ко мнѣ златой»...

— Ah, il est impayable!

— Il est charmant!

— Какъ онъ разнообразенъ!

— M-r Репеховскій, откуда вы все это берете?..

Онъ смѣялся самъ, довольный.

— Позвольте, все это прекрасно, но я — все свое. Тогда была логика...

— Какая же логика?

— Безъ сомнѣнія! Искусство, этотъ небесный свѣтъ, приносило свое, достойное себя, давало счастье, любовь...

— То есть выгоднаго жениха!

— Тоже корыстная цѣль!

— Будьте послѣдовательны: вы сами сказали...

— Позвольте, тутъ надо различить!.. Во времена оны, уѣздная барышня... Что такое ея кругозоръ? это — такая умственная ничтожность...

— Pardon, вступилась полная дама:—но вы сами, и совсѣмъ не во времена оны, а очень недавно говорили... Я напомню вамъ одно sorprano-aigu...

— Какъ? M-r Репеховскій?!

— Это — не уѣздная барышня! Помните, mesdames?

— О, конечно, помнимъ, заговорили дамы.—Что же далѣе?

— M-r Репеховскій, vous voilà pris!

— Вотъ вы какой!

Дамы волновались, но было очень замѣтно, что особа, о которой намекали, не пользовалась ихъ симпатіей.

— Вы не скажете, что кругозоръ прелестнаго сопрано былъ ограниченъ, продолжала дама.

— О, напротивъ, даже слишкомъ широкъ! прибавила другая.

— А вы говорили... вспомните m-r Репеховскій! что ея «Когда-бъ онъ зналъ» равняется «La bourse ou la vie!»

— Ахъ, прелестно! хоромъ воскликнули дамы.

— И когда цѣль была достигнута...

— Ну, да, я говорилъ, вскричалъ Репеховскій:—говорилъ и былъ не правъ! Тутъ разница громадная...

— Какая? тоже корыстная цѣль...

— Нѣтъ! то была невинная, граціозно-дѣтская игра... хоть бы даже и кокетство! Могло быть... Нѣтъ, навѣрно было и чувство въ глубинѣ кокетства! Сердце женщины — такой тайникъ...

Онъ выговорилъ это съ порывомъ, даже съ обращеніемъ къ небу.

— Неизслѣдованное, неизвѣданное! Я былъ виноватъ, я бы дорого далъ, чтобъ взять назадъ свое праздное слово...

— Бѣдный Репеховскій, онъ такъ добръ, сказала m-me Городницкая.

— Мы тратимъ слово, мы унижаемъ слово, продолжалъ онъ восторженно, между тѣмъ какъ кругомъ начинали умиляться его покаянію.—Слово—страшное дѣло! Всякое праздное слово...

— Мы вамъ вѣримъ, поспѣшила прервать m-me Городницкая.

Онъ, должно быть, самъ почувствовалъ, что дѣлается незанимателенъ, и поспѣшилъ перейти въ другой тонъ.

— La bourse ou la vie! это вамъ кричатъ эти юные геніи, топтатели мостовой, ревнители новыхъ идей, которые лѣзутъ въ вашъ карманъ—вотъ, съ своимъ ученическимъ малеваньемъ, которые требуютъ вашего участія во всѣхъ своихъ безобразныхъ складчинахъ и все-таки считаютъ васъ врагами. Вы — враги, потому что вамъ есть чѣмъ заплатить за какой нибудь билетъ, который они вамъ всѣми мѣрами навязываютъ...

— Ah, c'est vrai! Il sont si interressés! On nous exploite!

— И для какихъ цѣлей...

— Не далѣе, какъ сегодня...

M-me Городницкая не договорила. Явилось новое лицо—музыкальная знаменитость, за которымъ посылали. Хозяйка убѣдилась, что въ этотъ вечеръ не можетъ быть танцевъ: дѣвицъ было всего двѣ. Къ счастію, «знаменитость» былъ изъ сговорчивыхъ и, вскорѣ послѣ первыхъ привѣтствій, бросилъ свои перчатки въ шляпу, что для обрадованной хозяйки было дозволеніемъ приступить къ просьбѣ «дать себя послушать».—Репеховскій былъ забытъ. Общество переходило изъ гостиной въ залу.

Я хотѣлъ сдѣлать то же и пріостановился, давая кому-то пройти; меня удержали за руку.

— Куда вы? сказалъ мнѣ Репеховскій. — Этотъ господинъ убиваетъ подъ собою по два рояля въ концертъ. Довольно треску будетъ и отсюда слышно. Мнѣ васъ нужно; воротитесь.

Въ гостиной насъ оставалось только двое.

— Что вамъ отъ меня нужно? спросилъ я.

— Да ничего. Садитесь, потолкуемъ.

Онъ принялъ покойное положеніе на диванчикѣ, почти легъ, будто дома.

— Намъ нечего толковать, сказалъ я, повернувшись, чтобъ отойти.—Я слышалъ довольно.

Онъ опять удержалъ меня за руку.

— Полноте, постойте. Нехорошо, въ самомъ дѣлѣ... Люди одного кружка встрѣтились... Какъ же такъ, ни слова...

Я смотрѣлъ на него. Только въ моемъ тогдашнемъ положеніи, только въ томъ измученномъ разбитомъ состояніи духа, которое я пытался заглушить чѣмъ попало, могло придти мнѣ въ голову, что Репеховскому стало совѣстно... Совѣстно—такъ подѣломъ, рѣшилъ я съ злостью въ первую минуту; но на вторую, отъ собственной боли, мнѣ вдругъ повѣрилось, что и ему больно, показалось тоже совѣстно не выслушать хотя бы виноватаго. Потомъ, конечно, отъ добровольно вынесеннаго впечатлѣнія всего, что окружало, показалось, что ужъ заодно, куда ни шло выслушать и еще пошлость... И все-то это стоитъ ли горячей досады? Еще недолго —и все само собой расплывется...

— Что-жъ вы хотите сказать, спросилъ я.

— Присядьте. Ну, какъ поживаете?

— Разскажите лучше, какъ вамъ живется

— Мнѣ? что же, не жалуюсь. Я, впрочемъ, никогда не жаловался. Теперь у меня служба, занятъ. Вы очень перемѣнились.

— Конечно.

— Нѣтъ, я разумѣю не то, не наружно. А такъ, перемѣнились. Я, вѣдь, знаю, да и сейчасъ видно...

— А не наружно—я все тотъ же, что былъ.

— О, нѣтъ. Прежде, бывало, сколько общаго! А теперь—я откровенно скажу—вѣдь не стоитъ заводить и рѣчи? Заранѣе можно сказать, что мы врозь? такъ ли?

— Вы это сами чувствуете.

— То-то и есть... Грустно... Я вамъ всегда такъ искренно сочувствовалъ. Взрослому мораль не читаютъ, но можно доказать, что онъ заблуждается.

— Не трудитесь напрасно. Меня вразумлять мудренѣе, чѣмъ этихъ барынь.

— Знаю, знаю! вскричалъ онъ и засмѣялся.—Что барыни! Онѣ—добренькія. Что вы на нихъ тотчасъ! Право, добренькія, съ ними отлично!

Онъ спохватился, что слишкомъ скоро далъ прорваться своей веселости, и примолкъ. Я слушалъ музыку; игралось что-то хорошее. Репеховскій прислушался тоже.

— Это онъ для начала, сказалъ онъ.—а тамъ примется выпускать свои собственныя штуки.

Онъ впадалъ въ меланхолію, но молчать онъ уже не могъ, не умѣлъ. Выждавъ нѣсколько секундъ, онъ заключилъ ихъ такимъ порывистымъ, глухимъ «Да!!» какъ будто отвѣчалъ имъ себѣ на цѣлый рядъ самыхъ сложныхъ вопросовъ. Піанистъ кончилъ; ему сдержанно, прилично апплодировали; онъ, въ благодарность, сейчасъ загремѣлъ «свое собственное»...

— И лучше! опять порывно сказалъ Репеховскій.—Да!.. Лучше, чѣмъ все это томящее, раздражающее... ну, колотитъ онъ, ну, смысла нѣтъ — но оживляетъ, здорово!.. вотъ!.. славно!

Нѣсколько минутъ онъ пробовалъ бить тактъ.

— Нѣтъ, не поспѣешь!.. Нѣтъ, что же? заговорилъ онъ опять, поворнувшись ко мнѣ:—жалобы все нынче, что жить скучно. Стоитъ разобрать, отчего. Я разобралъ. Слишкомъ много думаемъ. Что такое мы дѣлаемъ изъ жизни, какую мрачную фантасмагорію!! Право. Вошло въ привычку и нѣтъ средствъ отвязаться: все думаемъ, думаемъ... Ну, и додумываемся ни вѣсть до чего. А между тѣмъ, года клонятъ; мы—ужъ не ребята. Я—откровенно признаюсь,—я усталъ. И отдыхаю, бываю у людей.. Вѣдь, разсудивъ справедливо, люди-то—вотъ они: языкъ человѣческій, складъ, воспитаніе... Стремленіе къ нимъ не прихоть, а высокая потребность духа... — «Барыни!» Посмотрите, сколько чувства, изящества, ума, деликатнаго, тонкаго пониманія... Пожалуй, можно все осмѣивать, все отвергать. Односторонность нынче не въ диковинку. Затѣятъ, заноютъ свое—и пойдетъ клевета на жизнь. А жизнь совсѣмъ не то—о, совсѣмъ не то, что бредится нашимъ мудрецамъ! Жизнь—великое дѣло! И такой-то вздоръ—всѣ эти разныя измышленія и умиленія надъ разными печалями разныхъ субъектовъ... которые и не думаютъ печалиться!

— Вы въ этомъ увѣрены?

— Въ чемъ?

— Что никто не печалится?

— Увѣренъ. Я ни отъ чего глазъ не отворачиваю. Прежде дѣлалъ эту глупость—

отворачивался отъ свѣтлыхъ, отъ истинныхъ сторонъ жизни. Теперь—позналъ и прозрѣлъ.

— Здѣсь?

— Здѣсь-съ, отвѣчалъ онъ обиженно.— Здѣсь-съ. Я себѣ выбралъ среду. Здѣсь отдыхаютъ нервы и здравый разсудокъ. Здѣсь образованность въ воздухѣ и—серьезнѣе, нежели иные думаютъ. Занимательно и пріятно... Что-жъ, сознаюсь, есть и пустое, забавное, свои анекдотцы, скандальчики; но все своеобразно, мило, красиво, легко. Не растрепанныя драмы, отъ которыхъ тошно. Была когда-то давно литература всякихъ ужасовъ; нынче изъ жизни стряпаютъ такую же грязь. Сюда, слава Богу, такое направленіе не проникло...

— И не проникнетъ.

— Ужъ конечно! А какъ по-вашему—почему?

— Потому что для всякой драмы, хоть бы даже грязной, нужна сила, а здѣсь ея нѣтъ никакой; пробавляются скандальчиками.

— Какъ скандальчиками?

— Вы же сказали.

— Для подобнаго вздора силы и не нужно! Но для высокой драмы...

— А высокой и подавно быть не изъ чего. Какая ужъ сила тамъ, гдѣ все дѣланное— отъ длинныхъ ногтей до убѣжденія.

— Что? вскричалъ онъ, захохотавъ:— какъ вы сказали? вотъ славно, мѣтко...

— Чему-жъ вы рады? вѣдь я говорю про вашихъ.

— Нѣтъ... но позвольте, какъ же нѣтъ силы?..

— Нѣтъ ея тамъ, гдѣ нѣтъ ни искреннихъ привязанностей, ни завѣтной мысли; эти люди ни для кого и ни за что не разстанутся... ну, хоть съ своей мягкой мебелью, не только съ чѣмъ поважнѣе.

— Хорошо-съ, сказалъ онъ со злостью:— а мягкая мебель—развѣ ничто? Это вся жизнь съ пеленокъ, воспитаніе, складъ, значеніе, семья! Это—не избеная лавка, не трехногій стулъ изъ трактира, отъ которыхъ отказаться легко, потому что съ ними не связано преданія... Чего нибудь оно стоило, право-то имѣть мягкую мебель!

— Денегъ, я думаю.

— Побольше-съ! Подороже!.. Все нынче разцѣнили на деньги!.. Мягкая мебель! Да это—цѣлое историческое прошедшее! это— идея, переданная изъ поколѣнія въ поколѣніе! Во имя чего же новаго разставаться съ ней? Научите! да сообщите, кстати, новыето—кто съ чѣмъ разстается? укажите героевъ! Не знаешь, куда дѣваться отъ великихъ и непризнанныхъ, а въ результатѣ— одно безсмысленное броженіе... Поникнешь головой, посмѣешься...

— Смѣхъ ужъ очень не новый, прервалъ я.—Когда люди живьемъ отдаются средѣ, которая не въ силахъ предположить отвѣтственности дѣла предъ словомъ, слова предъ мыслью, не въ силахъ вообразить, что можно жить, дѣйствовать не своекорыстно, мучиться не на заказъ...

— Фразочки вы говорите хорошія, прервалъ онъ:—но, извините, это—все извѣстное. Вы волнуетесь, а мы... Вы скажете, пожалуй, что и въ отношеніи къ вамъ у насъ нѣтъ силы? Ошибетесь. Мы только молчимъ. Въ отношеніи къ вамъ у насъ не можетъ быть даже разумнаго и сердечнаго негодованія, а такъ—тихо-грустное созерцаніе. Мы признаемъ необходимость этого момента въ нашей... такъ называемой «умственной» жизни... Броженіе, разложеніе... Что-жъ! Таковъ органическій законъ всякаго развитія, такъ идетъ міръ всегда и вездѣ. Устойчивое, содержательное общество спокойно... Эхъ, вѣчно-юная «Современная Пѣснь» партизана Давыдова!..

Онъ еще говорилъ, когда изъ-за портьеры внутреннихъ комнатъ вбѣжала молодая особа. Она, какъ видно, сейчасъ только пріѣхала, торопилась, запыхалась, раскраснѣлась; ея маленькіе глазки свѣтились, волосы намокли. Она была недурна собою, одѣта особенно изысканно по модѣ и сердита. Съ досадой, все спѣша, она бросила на столъ небольшой свертокъ бумаги, а сама бросилась къ зеркалу.

— А, здравствуйте, сказалъ ей Репеховскій.

— Здравствуйте. Вложите это, выговорила она, не оборачиваясь.

Репеховскій развернулъ бумагу; въ ней былъ очень пестрый и яркій акварельный рисунокъ.

— Славная вещь, сказалъ онъ и передалъ мнѣ:—посмотрите. Да позвольте васъ скорѣе познакомить.

Онъ представилъ меня.

— Лизавета Ивановна Вощикова, прибавилъ онъ:—поэтъ и художница.

— Очень рада, сказала она мнѣ.—Кладите же рисунокъ скорѣе на мѣсто. Такая досада — торопилась, а раньше привезти не успѣла: княгиня ужъ тамъ сидитъ; заслушается музыки, потомъ заиграется въ карты, и хлопоты мои даромъ пропали.

— Какія хлопоты? спросилъ Репехов-

скій. — Да говорите при немъ, не стѣсняйтесь; это—свой человѣкъ.

Рекомендація была довольно неожиданна, но сказана какъ ни въ чемъ не бывало; я почти сконфузился.

— Очень рада, повторила дѣвица.—Мнѣ, просто, бѣда. Во-первыхъ—милѣе всего! — я должна была подарить этотъ рисунокъ, а вѣдь я за нимъ все-таки просидѣла. Ну, ужъ такъ здѣсь заведено—общій удѣлъ!

Она показала на альбомы.

— Будто бы? вскричалъ Репеховскій.

— Э, вы сами знаете! возразила она съ досадой.—Чего вы-то хитрите, не понимаю... Лучше слушайте мое горе. Городницкая велѣла мнѣ привезти рисунокъ пораньше, чтобы показать княгинѣ мою работу... Завелся у нихъ пріѣзжій французъ, расписываетъ имъ вѣера, платятъ ему на вѣсъ золота. Княгинѣ очень желательно для дочекъ, но вѣдь всѣ онѣ скупы, какъ вѣдьмы. Я сказала Городницкой, что возьму дешевле француза: два вѣера—все-таки что нибудь. Она обѣщалась схлопотать, я, вотъ, и взятку дала заранѣе, да, кажется, ни съ чѣмъ останусь.

— Ну, какъ можно, возразилъ Репеховскій.

— И очень можно: перезабудутъ — что ей? И теперь ужъ почти некогда толковать, торговаться. Такая, право, досада. На дворѣ слякоть, тащилась сюда, едва двигалась...

— Раньше бы выѣхали, сказалъ Репеховскій.

— Раньше! Будто отъ насъ выберешься...

Она оглянулась на меня и остановилась.

— Да еще. Скажите, правда ли — баронесса хочетъ портретъ своей дочки? Я возьмусь. Дочка — уродъ, но ничего — напишу херувима. Скажити ей...

— Что дочка уродъ?

— Э, полноте съ вашимъ вздоромъ! Скажите, что у меня отдѣлка, какой поискать: кружева напишу — настоящій алансонъ; муаръ — такъ скажете почемъ аршинъ. И возьму дешевле того... извѣстно. И позу придумаемъ... У меня, вѣдь, есть медаль за экспрессію, обратилась она вдругъ ко мнѣ.

— Ваши работы были на выставкѣ? спросилъ я.

— Какъ же, я картины писала. Двѣ. Но съ рукъ нейдутъ, и теперь стоятъ у меня. Не знаете ли, кому сбыть? Съ тѣхъ поръ— полно, довольно творчества. Дѣло другое— портреты, акварели... Ахъ, Боже, хоть бы вызвать эту Городницкую! что она тамъ... Кажется кончился этотъ громъ...

Но то былъ только промежутокъ чувствительнаго затишья, ужъ до того тихаго, что почти ничего нельзя было разобрать. Въ залѣ, у самой портьеры дверей, сидѣла дама, и по движенію, съ которымъ она опровидывала на спинку стула свой круглый шиньонъ, было ясно, что она обмирала отъ восторга. M-me Вощикова подкралась и высматривала.

Репеховскій не выпустилъ меня.

— Милая дѣвушка, сказалъ онъ. — Я радъ, что вы ее встрѣтили, очень радъ. Это—кстати къ тому, что говорили... Вотъ, на такихъ глядя, пожалуй, согласишься съ вами, но такія—въ рѣдкость. Бѣдна, работаетъ. Сдѣлала своимъ талантомъ, что, посмотрите, какъ одѣта и въ обществѣ принята. Можетъ позволить себѣ и удовольствія; въ оперу абонирована. Приплачиваетъ, вонъ той барынѣ, за мѣсто въ ложѣ; не на вышку же лѣзть!.. Семья у нея, мать, еще двѣ сестры, живутъ у Египетскаго моста. Я говорю — въ Египтѣ. Семья... Вѣдь, я не отрицаю новыхъ понятій! воскликнулъ онъ вдругъ съ какимъ-то озлобленіемъ.—Семья! Какова семья! Иная семья — обуза, наказаніе Божіе. Вотъ, у нея, напримѣръ, сестры— учились тоже, институтки, и вдругъ—подай имъ дѣятельность! Помѣшались на дѣятельности. Вѣдь съ шифромъ одна—вообразите! Ну, метались, искали уроковъ. Конечно, не нашли; слава Богу, нынче вволю этого народу, что всѣ сбираются другихъ учить. И все—фразы: на словахъ готовы за трудомъ на край свѣта, а предложатъ имъ трудъ — назадъ. Выискалось мѣсто компаньонки въ домъ. Еще я и постарался; вотъ, она просила, хоть отъ одной ее избавить. Такъ, нѣтъ: та парочка не можетъ разстаться, мать оставить; «компаньонка—приживалка, унизительно». Ну, выбрали, наконецъ, не унизительное: шьютъ и кроятъ по мѣркѣ, коломенскія Андріё. Недавно затѣяли еще ботинки шить. Да вѣдь дерзость какая: просили сестру—вотъ ее—напиши она имъ вывѣску! Мать на кухнѣ возится... Одурѣть— сидѣть съ ними. Трудиться для такой семьи— безобразно. Она имъ платитъ за столъ и квартиру двадцать рублей въ мѣсяцъ—и довольно; не шутка, вѣдь, и это не даромъ... Комната, разумѣется, у нея особенная... А остальное, ея заработокъ, по всей справедливости — ея собственность. Вотъ, ей достаетъ — и прекрасно. Не понимаю даже, чего она стѣсняется, живетъ съ ними. Ей нельзя принимать знакомыхъ отъ этой глупой обстановки, неловко, стыдно. Что-жъ—

кто нибудь пріѣдетъ, а сестрица съ моткомъ нитокъ на шеѣ дверь отворитъ. Со мной это случалось; я у нея бываю. Срамъ. Даль такая. Присылаютъ къ ней, вотъ, эти барыни — лакеи лѣстницу клянутъ: девяносточетыре ступеньки-съ! Она жалка. Я совѣтую ей бросить это все, жить одной. Подороже станетъ; но средства есть и больше еще будетъ на людяхъ. Художница—исключительное положеніе—можетъ жить одна. Умна, хорошенькая; принимала бы художниковъ, литераторовъ. Ничего бы не предположили. Знакомство у нея, видите, лучшій кругъ; это — не какая нибудь самоновѣйшая мамзель Теруань...

М-lle Вощикова отскочила отъ двери; изъ залы входила хозяйка.

— Bonsoir, madame...

М-me Городницкая торопилась и не обращала вниманія.

— М-r Репеховскій, заговорила она: — soyez ma providence! Вообразите, какая ненепріятность: этотъ... J'oublie son nom... Мы его зовемъ monsieur Ton-ton... Нашъ таперъ сѣлъ тамъ въ углу и не уходитъ!

— Добросовѣстный нѣмецъ, замѣтилъ Репеховскій: — его наняли до такого-то часа—онъ досиживаетъ.

— Но ему ужъ заплатили! вскричала съ ужасомъ m-me Городницкая. — Просто, онъ увидѣлъ, что пріѣхалъ N и остался слушать. Онъ доставляетъ себѣ даровой концертъ; онъ, вѣроятно, хочетъ усвоить себѣ манеру... Я все ждала, что онъ, по крайней мѣрѣ, послѣ первой пьесы... Нѣтъ!.. N сейчасъ все оглядывался на эту фигуру...

— Ему сказать надо, сказалъ Репеховскій.

— Ну, да. Вы знаете, какъ говорить съ этими людьми, будьте такъ добры, дайте ему понять...

— Сейчасъ, сказалъ Репеховскій и пошелъ.

— Un mot, madame... заговорила художница.

— Да ужъ поздно! Когда хотятъ дѣлать дѣло, то не запаздываютъ. Теперь, если хотите, ждите...

Она повернулась къ двери и увидѣла меня.

— Ne m'en voulez pas, chère Lise. У меня нынче выше головы всякаго дѣла... Подождите, увидимъ.

М-me Городницкая ушла въ залу, я тоже, но еще оглянулся на художницу. Она спѣшила за хозяйкой, но опять опоздала, поправляя свой нарядъ передъ зеркаломъ. Ей пришлось входить въ залъ одной. Она старалась сдѣлать это съ свѣтской степенной развязностью, но старанія не удались: она была смущена. На нее оглянулись чинные, безмолвные слушатели. Хотя между ними оставалось много свободныхъ мѣстъ и эти мѣста были близко, но m-lle Вощикова не отважилась сѣсть. Напротивъ, ужъ видимо мучась и стукомъ своихъ каблуковъ, и шелестомъ своего шлейфа, казалось, мучась даже своею мелькавшею тѣнью, она прошла всю залу до другого конца и сѣла тамъ подлѣ особы, которая одна изъ всего общества дружески кивнула ей издали. Это была гувернантка, получившая позволеніе, когда уснули дѣти, придти послушать музыки. Но, усѣвшись, m-lle Вощикова въ мигъ положила должное нравственное разстояніе между собою и этой сосѣдкой. Она, казалось, такъ утомлена такимъ длиннымъ переходомъ, что совершенно натурально не замѣтила руки безъ перчатки, протянутой ей для пожатія, и, поглощенная музыкой, не расслышала, что ей шептали... Шептаться, и еще въ послѣднія минуты симфоніи, когда tremolo гудѣли, какъ буря, когда хозяйка, при всей памяти приличій, невольно оглядывалась на трепетавшую бренную подставку поднятой крышки рояли, когда даже во взорѣ княгини, желавшей вѣера, выражалось, что она удостоиваетъ ощущать то, что называла «la chair de poule», когда менѣе важныя лица забывались до того, что даже вздрагивали при аккордахъ, взятыхъ всей ладонью, когда на всѣхъ лицахъ было написано ожиданіе конечнаго разрушенія— шептаться съ гувернантками въ высшей степени непорядочно...

Артистъ кончилъ; общество встало благодарить его. Онъ надѣлъ перчатки и спросилъ стаканъ воды, какъ человѣкъ, исполнившій свой долгъ, давая этимъ знать, что больше играть не будетъ и вступаетъ въ права гостя. М-me Городницкой, наконецъ, удалось пристроить нѣкоторыхъ за карты. Дамы возвратились въ гостиную; двѣ-три еще оставались въ залѣ. М-lle Вощикова ловко пристала къ нимъ и послѣдняя подошла къ артисту; такимъ образомъ, она выдѣлилась отъ другихъ, стала замѣтнѣе, и это вышло удачно. N, какъ видно, былъ ей нѣсколько знакомъ. Въ своихъ привѣтствіяхъ и выраженіяхъ благодарности она была даже находчивѣе свѣтскихъ дамъ, какъ-то оживленнѣе и проще. Она подала руку артисту, чего другія не удостоили, не отважились или не придумали сдѣлать, и это какъ

будто прервало общую натянутость. Артистъ будто обрадовался встрѣчѣ, поздоровался почти по-дружески; онъ—весельчакъ и говорунъ и чрезъ минуту ужъ перебрасывался съ художницей шутками и остротами. Она находчиво ему отвѣчала, смѣялась; отъ оживленія, отъ непринужденности, отъ чувства своего успѣха, она будто похорошѣла, стала граціознѣе. Въ концѣ просторной залы, у рояля, гдѣ было больше свѣта, эти два веселыя лица выдавались красиво. Дамы слушали ихъ разговоръ, снисходительно и полунасмѣшливо улыбаясь. Одна изъ дѣвицъ, замѣтно скучавшая, подошла ближе къ счастливицѣ, которой было такъ весело; другая, нерѣшительнѣе, посмотрѣла, посмотрѣла и тоже рискнула подойти, будто въ надеждѣ, что и на ея долю перепадетъ немножко веселья. Впрочемъ, на ея молодомъ и красивенькомъ личикѣ выражался самый свѣтскій протестъ противъ этого веселья, возвышающаго голосъ до смѣха и маленькихъ восклицаній.

Приближеніе этихъ дѣвицъ вдругъ все измѣнило и охладило расположеніе духа артиста. Онъ оглянулся на нихъ, почтительно отодвинулся, будто уступая мѣсто, и, не перемѣняя разговора, рѣзко перемѣнилъ тонъ.

— Если вы такъ страстны къ музыкѣ, сказалъ онъ m-lle Вощиковой: — то что же не играете сами?

— Не умѣю.

— Невозможно!

— Всего на свѣтѣ умѣть нельзя.

— Я знаю, что вы умѣете; такъ вамъ стоитъ только еще пожелать...

— Ахъ, по желанію только чудеса творятся!

— Но вдругъ надъ вами свершится чудо!

— Ахъ, если бы!

— И это сейчасъ? Скорѣе, пробуйте, садитесь, начинайте!..

— Послѣ васъ?

— Комплименты ужъ истощены, довольно. Пробуйте, не свершилось ли чудо.

— Ахъ, нѣтъ, ни за что! вскричала она, даже взмахнувъ стянутыми ручками. — Нѣтъ, знаете ли, отъ кистей и палитры пальцы дѣлаются еще менѣе гибкими. Я совсѣмъ не владѣю лѣвой рукой—парализована.

— Неправда!

— Увѣряю васъ.

— Такъ докажите; мы посмотримъ, какъ она у васъ парализована. Сыграйте гамму. La gamme en ut majeur: vous en savez au moins aussi long que ça?

— Кто-жъ этого не знаетъ!

— Ну, и сыграйте.

— А что же я получу за это?

— Вы не хотите даромъ?

— Конечно, не хочу.

— Такъ что же бы... Да! Вы, кажется, пишете стихи?

— Пишу.

— Я напишу музыку на какія нибудь ваши слова.

— Неужели? Votre parole?

— Какъ? Еще сомнѣваться?

— Ахъ, какое искушеніе! сказала она съ радостью въ глазахъ.

— И уступите искушенію.

— И вы напечатаете это? Не оставите между Oeuvres inédites?

— Увидимъ!

— Поддержите меня, дайте совѣтъ, обратилась она къ дѣвицамъ.

— Mais, mademoiselle... сказала одна изъ нихъ.

Эта дѣвица была музыкантша въ совершенствѣ. Изъ приличія, она никогда не участвовала въ публичныхъ концертахъ; изъ глубокаго уваженія, общество очень рѣдко безпокоило ее просьбой сыграть. Въ эту минуту она замѣтно умирала отъ зависти.

— Mais, mademoiselle, произнесла она неподвижно, ровными, глухими нотами: — s'il vous coûte trop de consentir...

N обратился къ ней съ тѣмъ глубокимъ уваженіемъ, отъ котораго она выходила изъ себя, хотя прогнѣвалась бы еще больше, еслибъ ей оказали его хотя немного меньше.

— Еслибъ я осмѣлился просить mademoiselle, началъ онъ, наклоняясь передъ нею, чтобъ не было сомнѣнія, о комъ онъ говорилъ въ третьемъ лицѣ, и мѣняя свой уличный французскій языкъ на отборныя фразы:—еслибъ я осмѣлился—я зналъ бы, что за такое высокое наслажденіе у меня не достанетъ силъ и словъ благодарности!.. Но тутъ, онъ кивнулъ на m-lle Вощикову — тутъ я предлагаю вознагражденіе, потому что, знаю, будетъ дурная минута...

— Для исполнительницы, какъ для слушателей! подхватила m-lle Вощикова, смѣясь, но уколотая.— Ахъ, mademoiselle, еслибъ вы сыграли для того, чтобъ посмотрѣть, какъ у m-r N недостанетъ словъ...

— Oh, mademoiselle!.. возразила дѣвица, вся вспыхнувъ.

Она была жестоко оскорблена и даже на шагъ отступила. Въ самомъ дѣлѣ, для такой

особы нужны были настоятельныя просьбы хозяйки и, по крайней мѣрѣ, двухъ изъ тѣхъ важныхъ господъ, что отдалились и разсуждали о политикѣ... Впрочемъ, оскорбляясь, дѣвица оглядывалась: она замѣтно искала, нѣтъ ли вблизи кого нибудь, кто бы имѣлъ хоть небольшое право поддержать безумное предложеніе m-lle Вощиковой. Но дамы были заняты между собою. Молодой военный, стоявшій около нихъ, былъ не меломанъ; онъ даже равнодушно отошелъ въ эту минуту, взялъ подъ руку другого, и оба заходили по залѣ, разговаривая тихо и не весело. Къ нимъ подвернулся было Репеховскій; они взглянули на него, не останавливаясь; онъ отошелъ, мелькнулъ въ гостиной, появился опять. Онъ былъ никому не нуженъ и искалъ, гдѣ пристроиться.

M-lle Вощикова завидѣла издали своего друга, вѣроятно, разсчитывала на его помощь и боялась дать остыть шуткѣ.

— Но я, все-таки, хочу заработать себѣ романсъ! вскричала она, ребячась.

— Такъ потрудитесь для этого! отвѣчалъ, хохоча, артистъ.

— Страшно!..

— Voyons! A l'oeuvre!

Она сдернула перчатки, и раздалась жалкая гамма, на которую всѣ оглянулись. N покрылъ ее апплодисментомъ и новымъ хохотомъ.

— Ну, я выиграла? спросила m-lle Вощикова, смѣясь, конфузясь и вставая.

— Нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Вы три раза ошиблись.

— А, этого не было въ уговорѣ!

— Да! Въ уговорѣ не было фальшивыхъ нотъ!

— Mesdemoiselles, я сошлюсь на васъ, вы были свидѣтельницами...

Дѣвицы величаво и молча отклонились. N хохоталъ.

— Я фальшиво играю, а вы въ игрѣ фальшивите! вскричала она со злостью и вся вспыхнула.

— Браво! Каламбуры! Вы и это умѣете? Vous êtes de cette force-là? Но предупреждаю — силы будутъ неравныя, не рискуйте!

— De quoi s'agit-il? спросила, величаво улыбаясь, та княгиня, отъ которой художница ждала заказа.

Эта важная особа подходила подъ руку съ хозяйкой; можетъ быть, хозяйка предупреждала ее о заказѣ, можетъ быть, затѣмъ и шла она... Положеніе m-lle Вощиковой было не изъ пріятныхъ: N обидѣлся, а онъ былъ извѣстенъ своей дерзостью. Ей оставалось, что называется, улыбаться своему несчастью.

— Вы слышали музыкальный урокъ? спросила она, смѣясь. — M-r N былъ такъ добръ, далъ мнѣ его...

— Желаю, чтобъ мой урокъ пригодился, сказалъ N.

— Но урокъ не принесъ мнѣ того, на что я надѣялась, продолжала она, обращаясь къ дамамъ и вооружаясь всей своей смѣлостью. — Не правда ли, нужна была сильная причина, чтобъ осмѣлиться растерзать слухъ всего общества? Причина необычайная? Madame, il y avait un enjeu: m-r N обѣщалъ написать романсъ на мои слова...

— И что же?

— Увы, этого не будетъ, отвѣчала она шутливо-жалобно, торжествуя, что ее выслушали.

— Но отъ этого теряемъ мы всѣ, замѣтила княгиня, которой, должно быть, очень хотѣлось вѣера:—мы лишаемся вашего романса, m-r N.

— Я напишу романсъ безъ словъ и, если позволите, буду имѣть счастіе поднести его вамъ, отвѣчалъ онъ съ низкимъ поклономъ.

M-lle Вощиковой оставалось только отойти. Сконфуженная, раздосадованная, она была жалка и непріятна. Слишкомъ дорого поплатилась она за свое короткое веселье. Свѣтскія особы дозволили ей минуту пошутить, посмѣяться, слегка блеснуть жизненностью среди ихъ оцѣпенѣнія, и вдругъ покрыли ее холоднымъ, равнодушнымъ забвеніемъ — въ ихъ обществѣ равнымъ смерти. Ей будто повелѣли уничтожиться. Она еще возставала противъ этого повелѣнія, держалась будто свободно, смѣялась безъ желанія и надобности...

Она обрадовалась, увидя близко Репеховскаго, подошла къ нему и разсказывала, какъ ее обидѣли.

— Да полноте, утѣшалъ Репеховскій и вдругъ подвелъ ее ко мнѣ. — Полноте, изъ-за чего вы волнуетесь? Вотъ, онъ вамъ скажетъ то же. Великая бѣда! Этотъ N — кретинъ, ничего больше. Разсыпается, угодничаетъ передъ барышнями—за то его и принимаютъ. Стоитъ хлопотать!

— Вамъ хорошо! возразила она и обратилась ко мнѣ.—Не правда ли, ему хорошо говорить — онъ въ сторонѣ; а для меня отношенія этихъ дамъ... за дерзость какого нибудь N я теряю...

— И ровно ничего, возразилъ Репеховскій. — Что было, то и есть. Я былъ въ гостиной, когда вы играли. Одна сказала: C'est une folle, а другая: Elle est artiste...

— Это кто сказалъ?

— Баронесса.

— Ахъ, она милая! Ну, слава Богу, я всегда говорила—она чудесная... А кто сказалъ folle?

— Ну, что тамъ, оставьте...

— Нѣтъ, кто?.. Знаю, знаю, ваша любезная хозяюшка! Хорошо! погоди же; пусть только мнѣ вѣера спроворитъ... Сейчасъ лечу къ баронессѣ и такъ-то съ нею любезничаю — она отъ меня съума сойдетъ. И дочку ей напишу—херувима!

Она развязно отправилась въ гостиную.

Въ залѣ сдѣлалось движеніе... Хозяйка почти у дверей встрѣчала входящаго гостя, ужъ немолодого, щеголеватаго и представительнаго господина. Я никогда его не встрѣчалъ, но зналъ по слухамъ и фотографіямъ.

— Какъ я васъ ждала! я уже думала— вы измѣните! говорила m-me Городницкая.

— Что-жъ дѣлать? отвѣчалъ онъ:—обѣдъ былъ тамъ; приглашеніе равняется приказанію.

Онъ пожалъ руку княгинѣ и шелъ въ сопровожденіи дамъ, здороваясь съ мужчинами. Репеховскій, кланяясь, переступилъ ему дорогу.

— А, и вы тутъ, сказалъ гость, исчезая въ дверяхъ гостиной.

Всѣ бывшіе въ залѣ стремились туда же. Репеховскій кинулся ко мнѣ.

— Вы уходите? Что вы! Теперь-то и остаться. Еще рано. Теперь весь вечеръ пойдетъ съизнова... Вы его не знаете? Вотъ, послушайте! Онъ прошлый разъ здѣсь читалъ (какъ читаетъ!) свою драму. Великолѣпіе! И, злодѣй, ничего не печатаетъ. Мы спорили съ нимъ... Впрочемъ, онъ правъ, онъ намъ доказалъ: не поймутъ. Въ наше время—на поруганіе отдавать печатать что нибудь изъ міра чистаго искусства!.. Вотъ съ нимъ потолкуйте — убѣдитъ! Увѣруете! Онъ вамъ воочію явитъ, что такое это ваше новое движеніе, этотъ погромъ цивилизаціи. И чего не видалъ, гдѣ не былъ... Куда вы? Постойте. Дождитесь ужина; хозяйка — умница, ужины старинные, на славу... Одно только—поздно, трудно найти извозчика и, чѣмъ хуже погода, тѣмъ этихъ мошенниковъ меньше.

На мое счастье, мнѣ недолго пришлось выносить вьюгу съ дождемъ, которая сыпала въ ту ночь. Возвращаясь домой и дремля, мнѣ пришло въ голову—какъ же совершитъ m-lle Вощикова свой десятиверстный путь до Египетскаго моста и свое восхожденіе на девяносто ступеней въ потемкахъ? Сомнительно, чтобъ которая нибудь изъ любезныхъ знакомыхъ жила въ сосѣдствѣ и вызвалась довезти, и еще сомнительнѣе, чтобы которая нибудь изъ покровительницъ одолжила экипажъ... Всѣ они пестро вертѣлись у меня предъ глазами. Мнѣ стало смѣшно...

Мнѣ не смѣшно теперь, вспоминая... Точно ли мы не ошибались, не слишкомъ много ли надѣялись на себя и на время? Точно ли эта пустота была безсильна и не стоила горячей досады? Вся ли она расплылась?..

ВѢРА.

ОЧЕРКЪ.

1894 г.

По вечерамъ, наши N-скія гостиныя, большею частью, бываютъ пусты. Наши дамы проводятъ время по семейному, сбираются рѣдко, а, собравшись, садятся за карты; мужчины—всѣ въ клубѣ, за тѣмъ же. Рѣдкость найти гостиную не съ одинокой хозяйкой или не съ открытымъ зеленымъ столомъ. Мнѣ досталась такая удача недавно у Анны Александровны.

Правда, не играли потому, что партія не могла составиться. Кромѣ хозяйки, не игравшей никогда, были m-me Горѣшева, семнадцатилѣтняя женщина, менѣе года назадъ вышедшая замужъ, и мужъ ея, не сводившій съ нея глазъ. Это было бы, пожалуй, неловко и «непринято», если бы тотчасъ не было замѣтно, что этотъ серьезный молодой человѣкъ, серьезно одѣтый, съ серьезной бородой, въ серьезныхъ очкахъ, безцвѣтно блѣдный, какъ дѣятель, бережливый на слова, какъ человѣкъ практическій—каждую минуту неблюдаетъ, чтобы «ребенокъ» не сдѣлалъ или не сказалъ дурачества. Она взглядывала на него мило, ясно и испуганно, будто извиняясь, будто прося разрѣшенія, одобренія, какъ-то невинно хвастая, что вотъ она «умѣетъ держаться». Какъ видно, она еще его любила. Она была прелестна: что-то необыкновенно свѣжее, нѣжное, прозрачное; глядя на нее, вспоминались ландыши. Въ самомъ дѣлѣ, по-дѣтски, какъ дѣти отворачиваются отъ темнаго угла или страшной картинки, она игнорировала другого гостя, хотя онъ, сидя рядомъ съ нею, постоянно къ ней обращался; гость былъ тоже не очень старъ и приличенъ, но ей замѣтно не нравилось его обнаженное чело. Ее стѣсняла также дама-гостья, которая сидѣла напротивъ и смотрѣла на нее съ состраданіемъ. Впрочемъ, эта почтенная дама казалась слишкомъ многимъ недовольна и успокоилась только въ сознаніи собственнаго достоинства. Она вела рѣчь съ Горѣшевымъ объ одномъ дѣлѣ по мошенничеству, недавно рѣшенномъ въ судѣ. Горѣшевъ былъ самъ членомъ суда, но предоставлялъ дамѣ разсказывать; она старалась его занять и въ чемъ-то утѣшить. Другой гость, Выхинъ, занималъ свою прелестную сосѣдку; онъ недавно воротился изъ Москвы и разсказывалъ «Аиду». Анна Александровна видѣла ее тоже; они расходились во вкусахъ.

— Постановка! постановка — роскошь! восхищался онъ.—Берега Нила, звѣздная ночь... Вы сочтете ихъ: звѣзды! Мерцаютъ! И это подземелье, мрачное, вѣетъ могилой...,

— Подвалъ какой-то, сказала, смѣясь, Анна Александровна:—а въ первую минуту и не разберешь, точно подъ столомъ они возятся...

— Помилуйте! такіе звуки... И оригинально; знаете: сцена раздѣлена такъ, объяснялъ онъ молодой сосѣдкѣ:—еще никогда невиданное! мракъ и оттуда звуки...

Онъ сказалъ это басомъ.

— Верди вступилъ на новый путь. Я ему пророчу—далеко пойдетъ!

— Трескъ одинъ, замѣтила хозяйка.

— Помилуйте, оригинально! Вы переноситесь въ эпоху... вы замѣтили: танцы! когда эти маленькіе невольники передъ принцессой каблучками, каблучками чокаютъ...

— А тутъ ужъ я не могла выдержать, расхохотавшись, прервала Анна Александровна:—какъ вскочили и запрыгали эти чертенята...

— Чертенята! весело и звонко повторила молоденькая женщина.

— Елена!.. замѣтилъ чуть слышно мужъ.

Его собесѣдница обратила задумчивый взглядъ по направленію его неподвижнаго взора.

— Какъ я люблю это въ вашей Еленѣ Николаевнѣ—непосредственность... сказала она грустно:—ее все веселитъ!

— Подлогъ, дѣйствительно, былъ, продолжалъ онъ, серьезно возвращаясь къ разговору о дѣлѣ.

Выхинъ описывалъ костюмъ принцессы. Въ этомъ господинѣ было неоцѣненно то, что, одинъ разъ принявшись разсказывать, онъ не скоро унимался и тѣмъ помогалъ проводить время не молча. Вообще, у насъ говорится только о фактахъ, о житейскомъ, о томъ, что передъ глазами, и если въ городѣ нѣтъ особеннаго скандала, въ судѣ—особенно кроваваго дѣла, въ земствѣ—особенной путаницы (а все это, благодаря Бога, не такъ ужъ часто бываетъ), говорить не о чемъ. О погодѣ—вышло изъ употребленія. Кто-то замѣтилъ, что погоду замѣнили тропическія растенія, предметъ неистощимый и, кажется, безопасный: вѣдь не въ самомъ же дѣлѣ наши члены клуба и свѣтскія дамы сдѣлаютъ себѣ цѣль жизни изъ ботаники; довольно того, что цвѣты покупаются и разставляются; спорить не о чемъ, пикироваться нечего и долго можно бесѣдовать, не безпокоясь думать. Конечно, это очень однообразно и, по совѣсти, всѣмъ скучно... Глядя со стороны, приходитъ въ голову: неужели мы уже все узнали, все перечувствовали, все передумали, и ближнимъ нашимъ все также извѣстно, и перебирать извѣстное не стоитъ? Даже слова какія-то безцвѣтныя. Одно время, мы испугались «красивыхъ» словъ; положимъ, на то были уважительныя причины, но мы такъ въ концѣ порѣшили съ «красивыми» словами, что теперь намъ странно всякое выраженіе менѣе плоское: оно звучитъ по-книжному; а если еще въ немъ есть мысль, сила, что нибудь необыденное, выдающееся—бѣда! Оно неприлично...

«Аиду» мы узнали во всѣхъ подробностяхъ. Разсказчикъ уже начиналъ упоминать о другихъ представленіяхъ, такихъ же роскошныхъ; онъ зналъ ихъ всѣ, какъ истинный театралъ, и даже, смѣясь, признался, что со времени открытія нашей желѣзной дороги, не разъ сказывался на службѣ больнымъ и безъ отпуска «каталъ въ Москву, посмотрѣть...» Называя разныя разности, онъ, видимо, выбралъ, чѣмъ бы подлиннѣе насъ угостить, и начиналъ опредѣленнѣе останавливаться на какой-то féerie. Я всталъ, раздумывая, какъ бы уйти незамѣтно. Но изъ-за портьеры явилась новая гостья, съ которой все настроеніе гостиной должно было перемѣниться.

M-me Муновская недавно пріѣхала въ N*, гдѣ ея мужъ получилъ видное мѣсто. Ей предшествовала молва о ея умѣ, любезности, образованіи и необыкновенной дѣятельности. Она тотчасъ вступила во всѣ N-скія филантропическія и педагогическія предпріятія, вербовала членовъ, отыскивала жертвователей, принимала просителей, устроивала кассы, подписки, концерты, гдѣ пѣла, спектакли, въ которыхъ участвовала, лотереи, для которыхъ дѣлала восковые цвѣты и сонетки. Говорили, что она пишетъ и печатаетъ разныя статьи; не думаю: она бы ихъ подписывала. Она одѣвалась щегольски, очень дорого и, главное, обдуманно, что казалось бы невозможно при такомъ множествѣ занятій. Нѣжный голосъ, неслышная поступь, плавныя движенія въ наше время не въ модѣ; какъ стараются нравиться женщины—это другое дѣло, но онѣ не церемонятся. M-me Муновская пользовалась этой свободой, даже болѣе, нежели другія, но какъ-то своеобразно: она казалась вездѣ хозяйкой, не смотря на свою изысканную вѣжливость, вездѣ старшей, хотя замѣтно не допускала считать себя старухой. Ей было лѣтъ тридцать. Случалось даже, она ребячилась, но именно тогда, когда желала, чтобъ ея мнѣнія были приняты очень серьезно. И ей это удавалось, къ общему удивленію. У нея были мнѣнія, даже непремѣнно мнѣнія, которыя она умѣла вставлять въ разговоръ не только объ N-скихъ событіяхъ, но и о тропическихъ растеніяхъ. Она часто спорила и вызывала на споръ. Говоря, убѣждая, она никогда не оставалась какъ прикованная къ мѣсту, но живо вставала, небрежно выказывала свой красивый ростъ и всѣ украшенія своей юбки, увѣренно опиралась ру-

ками въ столъ, будто въ трибуну. Ея ручки были изнѣжены и всѣ въ кольцахъ. Она даже ударяла рукой по столу, и на лицахъ многихъ присутствующихъ мужчинъ было написано убѣжденіе, что изъ нашихъ N-скихъ дамъ ни одна такъ ловко этого не сдѣлаетъ. Можетъ быть, m-me Муновская чувствовала, что такъ думаютъ; несомнѣнно, она была увѣрена, что ее слушаютъ. Я былъ ей представленъ, но не воспользовался ея приглашеніемъ и не бывалъ у нея.

— Здравствуйте, моя дорогая, сказала она, входя и цѣлуясь съ Анной Александровной. — Я устала, озябла, побранилась съ мужемъ и бѣжала къ вамъ.

Она здоровалась кругомъ. Она всегда выражала особенную привѣтливость Аннѣ Александровнѣ, хотя, сколько извѣстно, между ними не было дружбы. Анна Александровна была старше лѣтъ на десять.

— Позволено ли желать узнать, за что была ссора? любезно спросилъ Выхинъ.

— Желать ничего не запрещается, отвѣчала она.

Выхинъ вскочилъ подать ей кресло; она подкатила его сама, слегка кивнула и обратилась къ хозяйкѣ.

— Сегодня очень холодно; у меня множество дѣлъ; я разъѣзжала весь день...

— По вашему обычаю — въ открытыхъ саняхъ! замѣтилъ Выхинъ.

— Такъ что мужъ воротился изъ своего засѣданія раньше меня; я застала его, одинокаго, за обѣдомъ — и начались выговоры: — «я неосторожна; я не забочусь о своемъ драгоцѣнномъ здоровьи». А у меня, какъ нарочно, пропалъ аппетитъ отъ усталости... отчасти и отъ всего, что я покорно выслушивала. Такъ что, вотъ сейчасъ, хочу къ вамъ — поднялась совсѣмъ гроза и еще съ жалкими словами. Я ему сказала, что онъ глупъ, и уѣхала.

Молоденькая m-me Горѣшева удивленно раскрыла глазки; ея мужъ хмурился. Выхинъ засмѣялся—онъ служилъ не въ вѣдомствѣ Муновскаго. Почтенная дама неопредѣленно улыбалась.

— Погрѣйтесь, сказала Анна Александровна.

Подавали чай.

— Ахъ, съ наслажденіемъ! отвѣчала m-me Муновская, взявъ чашку и много хлѣба.—Теперь чувствую, что я голодна.

— Супругъ вашъ, слѣдовательно, имѣлъ основаніе... любезно сказала почтенная дама.

— Это не его дѣло, возразила m-me Муновская. — Вообще, у этихъ господъ еще осталось немножко крѣпостного обычая: не командуютъ, а все-таки стараются взять жалкими словами...

— Но, если очевидно... началъ серьезно Горѣшевъ.

— Предоставьте намъ самимъ: мы совершеннолѣтнія! прервала m-me Муновская зло и весело.—Дорогая моя, я скорѣе о дѣлѣ, чтобъ не забыть. Вы обѣщали написать тому человѣку. Что же, соглашается онъ на уступку?

— Согласенъ, отвѣчала Анна Александровна.—Вотъ, подлѣ васъ, на столикѣ его письмо.

— Можно?..

М-me Муновская быстро взяла это письмо и читала.

— Славно, сказала она.—Знаете, въ самомъ дѣлѣ, это дешево. Что значитъ имѣть вещи изъ первыхъ рукъ!

— Что такое? поинтересовалась почтенная дама.

— Карандаши намъ для школъ, отвѣчала m-me Муновская.—За десять рублей — сто дюжинъ, а намъ пришлютъ сто-десять и пересылка на счетъ продавца.

— Неимовѣрно дешево, сказала почтенная дама, вздохнувъ.

— Но кто продаетъ, стало быть, купилъ ихъ еще дешевле? спросила молоденькая женщина и покраснѣла, что сказала такъ много.

— Это фабрикантъ, отвѣчалъ ей мужъ.

— Сто-десять дюжинъ! ужасался Выхинъ.

— Тысяча-триста-двадцать штукъ, сосчитала m-me Муновская, отдавая свою чашку. — Еще мнѣ чаю, прошу васъ... Тысяча-триста-двадцать. Вамъ кажется много?

— Куда же столько?

— Да, такъ вамъ кажется. У насъ три школы, слишкомъ восемьдесятъ учениковъ. Дѣти ломаютъ, теряютъ. Запасъ на годъ.

— Все-таки, много, сказала Анна Александровна. — Можно и поберечь. Этого на вдвое достанетъ.

— О, нѣтъ! Стѣснять дѣтей въ необходимомъ, въ классномъ пособіи, пріучать ихъ скопидомничать, дрожать надъ пустой вещью... Знаете, какъ это ихъ портитъ? Нѣтъ, нѣтъ!.. Воображаю, какія будутъ лица, когда я вызову раздавать... У каждаго такое богатство!

— Они ими торговать будутъ, сказалъ Выхинъ.

— Такой малостью?

— Между собой.

— О, какъ хотятъ: это ихъ собственность, возразила m-me Муновская.—Пусть они понимаютъ собственность. Это ужъ дѣти свободныя, а первый шагъ свободы—безконтрольное распоряженіе тѣмъ, что мы имѣемъ. И вдругъ, вы стѣсните ребенка на первомъ шагу, на карандашѣ!!! Какъ же онъ отважится на что нибудь больше?

— Совершенно справедливое заключеніе, замѣтила почтенная дама, на которую m-me Муновская случайно взглянула.

— Вы со мной согласны?

— Я нахожу: ежели ребенокъ не дорожитъ своей собственностью, то дѣлается легкомысленнымъ и впослѣдствіи уже не въ силахъ ничего пріобрѣсти. Для этого онъ долженъ развиваться. Я вполнѣ съ вами согласна.

М-me Муновская будто оторопѣла и будто не съумѣла этого скрыть. Она еще поглядѣла въ письмо, которое держала.

— Золотой человѣкъ, сказала она.—Дорогая, мы къ нему еще прибѣгнемъ: грифели намъ нужны, перочинные ножи... Можно?

— Можно, отвѣчала Анна Александровна.

— Скажите ему за меня спасибо. Я опять туда же кладу его посланіе, продолжала она, вставъ и перебирая на маленькомъ столѣ.— А, вотъ ваше вязанье! Я ревизую: много подвинулось. Какъ мы давно-то не видались!.. Что у васъ за книги?

— Журналы.

— А это...

М-me Муновская вынула небольшой томъ и прочла заглавіе:

«Victor Hugo. Théâtre»... Кто это читаетъ?

— Я.

— Что вамъ вздумалось?

— Да такъ, оставаясь одна... Я его люблю, отвѣчала Анна Александровна.

Она немного смутилась; вѣроятно, она забыла убрать книжку до прихода гостей. Книжки убираются всегда, развѣ что нибудь новое и, во всякомъ случаѣ, не серьезное.

— Любите... повторила m-me Муновская, перевертывая страницы, какъ особа интересующаяся всѣмъ печатнымъ, хотя бы сто разъ знакомымъ.—Все еще любите?

— А вы?

— О вкусахъ не спорятъ. Впрочемъ зачѣмъ быть несправедливой. У него много прекраснаго, но...

— Какъ я люблю ваши но! вскричалъ Выхинъ.

— Почему они вамъ такъ нравятся?

— Ваше торжествующее, побѣдительное но! Послѣ него можно ожидать, что все будетъ разбито въ прахъ, что бы вы прежде ни одобрили; одобреніе—это, такъ сказать, прелюдія...

— Я на себя такъ много не беру, возразила она серьезно:—повторяю, я не смѣю спорить о вкусахъ. Бываютъ вещи, которыя задушевно дороги, ради живости первыхъ, личныхъ впечатлѣній... Но есть понятія, которыхъ нельзя довольно опровергнуть, потому что, къ сожалѣнію, они какъ-то особенно долго держатся... Казалось бы, и пора имъ пройти, а они все еще живы!.. И чаще всего живы, именно благодаря тому, что краснорѣчиво, заманчиво выражены...

— Ложныя понятія? спросила Анна Александровна.

— Я не говорю, чтобъ они были ложны; въ свое время, это были даже признанныя истины, но...

Она мелькомъ оглянулась на Выхина; тотъ возсіялъ и завертѣлся; она пріобрѣла себѣ поддержку во всемъ, что бы ни сказала.

— Но они больше не годятся, продолжала она.—Какъ хотите, но надо же убѣдиться, что время идетъ, люди съ нимъ вмѣстѣ, понятія—тоже. Свѣтъ не то, что былъ тридцать лѣтъ назадъ.

— Но истина, хоть бы ей прошла и тысяча лѣтъ, все-таки остается истиной, возразила Анна Александровна.

— Въ томъ-то и дѣло, моя дорогая—какая истина? точно ли истина? А если только—фраза? Тогда, тридцать лѣтъ назадъ, звонкія фразы были въ страшномъ ходу. Вотъ, тутъ ихъ столько!

Она, смѣясь, постучала пальцемъ по книжкѣ, которая лежала передъ нею на большомъ столѣ, какъ подсудимая.

— Что-жъ дѣлать? талантливый человѣкъ, а заплатилъ дань своему времени!

— И до сихъ поръ ее платитъ, отозвался Горѣшевъ.

— Вы не часто согласны со мною, граціозно обратилась къ нему m-me Муновская:— тѣмъ болѣе, я цѣню это теперь. Но настоящее покуда въ сторону; вотъ, передъ нами— прошедшее... Ахъ, слава Богу, что мы ушли отъ него!

— Вы слишкомъ строги, сказала Анна Александровна.

— Я?.. Я не смѣю быть строга. Но что же дѣлать, если эфектныя выходки меня уже не закупаютъ, если мнѣ досадно, когда на каждой строкѣ... Позвольте, наудачу!

Она раскрыла книгу.

«Elle est femme, par conséquent, malheureuse».. Неужели еще это не фраза?

— Очень странная, сказалъ со злостью Горѣшевъ.

— А мнѣ кажется—простое, задушевное слово, сказала Анна Александровна:—такъ, со слезами сказано.

M-me Муновская секунду не возражала.

— Кто помнитъ, mesdames, «Angélo?» обратилась она къ другимъ.

— Я не знаю... отвѣчала m-me Горѣшева, вся закраснѣвшись.

— Ахъ, да, виновата; вамъ этого еще не давали, сказала m-me Муновская очаровательнымъ тономъ старшей и бѣглымъ, веселымъ взглядомъ будто приласкала красоту молоденькой женщины.—Стало быть, надо вамъ знать...

— Я нѣсколько припоминаю, задумчиво произнесла почтенная дама.—Въ русскомъ переводѣ я читала... «Венеціанская актриса»...

— Все равно-съ, прервала m-me Муновская рѣшительно и почти нетерпѣливо.—Я помню и, что нужно, могу пояснить для публики... Впрочемъ, немного и нужно. Эту раздирательную сентенцію произноситъ героиня, и если оставить ее за ней—пожалуй, еще сойдетъ:—героиня въ состояніи невмѣняемости... Я вижу, m-r Горѣшевъ, вы ее помните?

Горѣшевъ кивнулъ головой, слабо и серьезно усмѣхаясь.

— Но если признать, что это мысль самого автора, то... Такъ и быть, ужъ будемъ къ нему снисходительны! Скажемъ, что это сорвалось у него отъ привычки къ фразѣ... ну, необдуманно! ну, въ какую нибудь минуту раздраженія! Предположимъ это...

— Для чего же? прервала Анна Александровна.

— Иначе ему нѣтъ оправданія! Никакого! Что за фатализмъ—«Женщина, слѣдовательно, несчастна!..» И подумать только, что цѣлое поколѣніе женщинъ принимало подобныя вещи на вѣру! Помилуйте, осуждены!!

Будто негодуя, будто вызывая и вмѣстѣ смѣясь, она умышленно неловко, комически пожала плечами.

— Прославленный поэтъ, свѣтило вѣка—и вдругъ: «слѣдовательно!» да это руками врозь!

— Прелестно! вскричалъ Выхинъ.

— Убѣдимся же для нашего собственнаго спокойствія, что все это прошло: и вѣра въ анаѳему, и наша безпомощность. Началось съ того, что фразы надоѣли, а потомъ женщины какъ-то догадались, что даже въ пустомъ нашемъ обществѣ можно держаться презентабельнѣе, когда насъ не оглашаютъ страдалицами... Мелкая догадка, мелкое свѣтское чувство—уступаю вамъ! но это было начало, а потомъ... Стоило за умъ взяться, прямѣе, смѣлѣе взглянуть на свое положеніе, не плакаться, не искать утѣшенія въ текстахъ, писанныхъ слезами, а вспомнить свое достоинство и—мы возрождены!.. Да, мы возрождены! подтвердила она, поймавъ себя на «красивомъ» словѣ, поправилась тѣмъ, что повторила его спокойно и еще настоятельнѣе, улыбнулась молоденькой женщинѣ, которая смотрѣла на нее съ восхищеніемъ.

— Совершенно одобряю вашъ образъ мыслей, строго произнесла почтенная дама.

M-me Муновская не замѣтила ни ея согласія, ни безпокойнаго взгляда, который Горѣшевъ бросилъ изъ-подъ очковъ на свою жену; она замѣтила свой собственный промахъ и откровенно, смѣло спѣшила его загладить.

— Да, моя дорогая, обратилась она къ Аннѣ Александровнѣ:—текстъ, который осуждаетъ на вѣчно, не можетъ быть истиной. Ваше сердце вамъ это подсказываетъ, а жизнь — посмотрите, жизнь вамъ доказала! Мы спокойны, мы заняты, у насъ права. Мы не безотвѣтны, у насъ нѣтъ господъ... Не знаете ли вы... о, я не могу вспомнить безъ ужаса! Есть драма какая-то, русская; я ребенкомъ ее видѣла, но, стало быть, я понимала ужъ и тогда... Дѣвушку несчастную силой выдаютъ, продаютъ замужъ, посылаютъ къ отцу объявить свое согласіе, научаютъ сказать: «Божья да твоя»... и она идетъ, какъ помѣшанная, и повторяетъ «Божья да твоя, Божья да твоя»... О, Боже мой! И подумать, что это дѣлалось!

— И дѣлается... тихо сказала Анна Александровна.

— Что вы говорите? Гдѣ же? Когда же?

— Негласно, конечно, и безъ причитанья...

— Нѣтъ, милая, нѣтъ, хорошая моя, не впадайте въ черныя идеи! У меня морозъ по кожѣ, когда я вспомню эту сцену: такое возмутительное рабство!..

— Вотъ я сейчасъ имъ говорилъ, вмѣшался Выхинъ:—Аида, эѳіопская невольница...

— Въ наше время, продолжала m-me Муновская:—ни одна дѣвушка не унизится до такого слѣпого повиновенія... Ахъ, но чего лучше: вотъ вамъ примѣръ новыхъ понятій. Я занимаюсь съ одной молодой особой... Ея отецъ... онъ служитъ у моего мужа. У меня есть два свободныхъ часа въ недѣлю; я сказала этой дѣвушкѣ; она приходитъ, мы чи-

таемъ, судимъ; я даю ей уроки, небольшія сочиненія, знаете, чтобъ пріучить ее работать самостоятельно... Мы недавно читали «Гамлета». Она была такъ возмущена покорностью Офеліи отцу (помните? тамъ велятъ ей возвратить подарки принца, не видаться съ нимъ)—такъ возмущена, что говоритъ мнѣ: «я не хочу этого читать! Не хочу, не могу—это безнравственно! Какъ можно признавать великимъ писателя, который возводитъ въ идеалъ обезличеніе женщины!..»

— Она такъ и выразилась? спросилъ Горѣшевъ.

— Точно такъ, рѣзко отвѣчала m-me Муновская.—И ея неискалѣченное трезвое пониманіе заставило и меня одуматься. Она права. Пора признать, что то были идеалы того вѣка, и смотрѣть на нихъ... ну, археологически, какъ на вещи, которыя находятъ въ раскопкахъ. То, что казалось такъ возвышенно сотню лѣтъ назадъ...

— Въ концѣ шестнадцатаго столѣтія, подсказала почтенная дама.

— Была, просто, поблажка родительскому и всякому произволу—произволу того же распрекраснаго принца, который такъ рыцарски великодушно ругается надъ бѣдной дѣвушкой... Вы читали «Гамлета»? спросила она вдругъ молоденькую женщину.

— Нѣтъ, отвѣчала та, опять краснѣя:—я не знаю Шекспира.

— Ничего?

— Ничего... Приходите. Давайте читать вмѣстѣ.

— Съ новыми комментаріями? спросилъ весело Выхинъ.

— Ужъ конечно! отвѣчала еще веселѣе m-me Муновская, повстрѣчавъ на пути грозный взглядъ Горѣшева, назначенный женѣ.—Прекрасное прекраснымъ, но надо принимать противъ него свои мѣры. Избави насъ Богъ отъ разныхъ Дездемонъ, которыя протягиваютъ шею:—«извольте, баринъ, душите меня...» Женщина нашего времени такъ бы глупо не кончила.

— Что-жъ бы она дѣлала? спросилъ Выхинъ.

— Совершенно праздный вопросъ! отвѣчала m-me Муновская, съ удивленіемъ пожавъ плечами:—бросила бы своего чернаго и ушла.

— Къ отцу, съ чистымъ раскаяніемъ, прибавила серьезно почтенная дама.

— Кажется, въ новомъ кодексѣ не полагается раскаянія? замѣтилъ Горѣшевъ.

— Ни въ какомъ нравственномъ кодексѣ не полагается униженія, возразила m-me Муновская:—полоумный батюшка стоитъ самодура-мужа.

— Стало быть, исходъ—слезливый, когда-то отверженный женихъ? Съ такимъ субъектомъ, эманципированная Дездемона, кажется, могла бы ужъ не опасаться стѣсненія.

— Почему вы не предполаете, что она могла бы прожить и одна?

— Потому что она влюбчива и глупа, отвѣчалъ Горѣшевъ спокойно, но сдѣлавшись какъ-то еще блѣднѣе.

— Вы никакъ, господа, не шутя воображаете, что мы не можемъ обойтись безъ наставника-наблюдателя? сказала она съ досадой.

— Помилуйте, зачѣмъ же? я разумѣю товарища! отвѣчалъ онъ усмѣхаясь.

— Дездемона взяла бы Кассіо.

— Кассіо?

— Да, Кассіо... Кассіо—жизнь, удаль, страсть. Было бы чѣмъ спраздновать молодость... Развѣ, вы думаете, скука—тоже не униженіе?

— Позвольте, позвольте? какъ? что вы сказали? вступился Выхинъ.

— Желаете, чтобъ я доказала? спросила m-me Муновская Горѣшева.

— Я не сомнѣваюсь въ силѣ вашихъ доказательствъ, отвѣчалъ онъ, слегка посмѣиваясь.

— А я—прошу! вскричалъ Выхинъ—просвѣтите!.. Вы представьте себѣ, какъ это ново, какъ оригинально...

Онъ толковалъ Аннѣ Александровнѣ.

— До этой минуты, всѣ мы думали, что скука... Ну, что такое скука? обыкновенная исторія—недостатокъ общества, развлеченія... Ну, молодая дама, въ деревнѣ... осень, сосѣди тамъ какіе нибудь... и вдругъ, говорятъ: скука—униженіе!.. Нѣтъ, сдѣлайте милость, поясните!

— Ахъ, но что же? это очень просто, возразила она устало.

Горѣшевъ смотрѣлъ на нее равнодушно. Она вспыхнула.

— Это очень просто: баринъ выбираетъ общество, баринъ выбираетъ занятія, баринъ устраиваетъ весь порядокъ жизни по своему вкусу. Женщинѣ не остается ничего своего. Очевидно—скука бѣшеная. Очевидно, если женщина ей покоряется, она себя унижаетъ, потому что отказывается отъ всѣхъ своихъ правъ: отъ воли, даже отъ ума, даже отъ способностей...

— Отъ способностей? переспросилъ Выхинъ.

— Ну, да, да! даже отъ крохотнаго смысла изобрѣсти что нибудь, чтобы какъ нибудь, когда нибудь, сколько нибудь вывернуться изъ-подъ опеки этой, изъ-подъ тоски. Вотъ, такъ и уродовались во времена оны; вотъ и сложилась пѣсня: «женщина—слѣдовательно, несчастна!» А мы отвѣчаемъ на это: вольно же вамъ!... Дорогая моя, я опять обидѣла вашего Гюго; виновата!

— Такъ ужъ и быть; вѣдь досталось и Шекспиру, отвѣчала Анна Александровна.

— Нѣтъ, но я не терплю малодушія, продолжала m-me Муновская, вставая оторвать ягодку винограда въ корзинѣ съ десертомъ, чѣмъ-то нагремѣла, что-то уронила, чуть не разбила и не оглянулась, что Выхинъ бросился подбирать, а почтенная дама перепугалась, кушая грушу.—Малодушіе, нерѣшительность—вотъ гдѣ гибель. Когда все подъ рукой, стоитъ только пользоваться и все дѣлается возможно.

— Что же возможно? спросила Анна Александровна.

— Какая хотите дѣятельность, выборъ людей, рода занятій; только не вѣшать головы, не складывать рукъ, не отуплять себя пустяками—и все возможно! Но вотъ вамъ примѣръ: я сама. Развѣ я не должна была потрудиться, чтобъ быть тѣмъ, что я есть?

Всѣ подняли на нее глаза; она спокойно стояла, щипала, ѣла и разбрасывала виноградъ.

— Развѣ, съ моимъ направленіемъ я могла обойтись безъ борьбы съ предразсудками? однѣ лекціи, которыя я все-таки ходила слушать—чего мнѣ стоили! Спросите!

Выхинъ, казалось, видѣлъ предъ собою подвижницу. Почтенная дама замѣтно колебалась: можно ли кушать во время такого серьезнаго разговора.

— Въ вашемъ положеніи... какая-жъ это была борьба! сказала Анна Александровна.

M-me Муновская немножко вскинула головой, улыбнулась и прошлась.

— Но другія... продолжала Анна Александровна.—Вы забываете множество обстоятельствъ.. и средства, и семья, обстановка...

— Я ждала, что вы все это помянете! весело сказала m-me Муновская, возвращаясь.—Давайте по пунктамъ: матерьяльное положеніе всякой женщины дѣлается хуже отъ бездѣйствія. Второе—семья... Право, я уважаю семью! Семьѣ можно втолковать, образумить ее какъ нибудь, что нибудь она пойметъ...

— Позвольте...

— Позвольте! я все предвижу! Самодуры-родители, деспоты-мужья—это бываетъ и нынѣ... еще въ усовершенствованныхъ видахъ!.. Но что на нихъ смотрѣть? Я даже не допущу шума! я ухожу, я запираю свою дверь, я у себя...

— Ахъ, а если нѣтъ угла, гдѣ запереться?

— Всякая порядочная женщина имѣетъ свой уголъ.

— Вы забываете обстановку...

— Какая бы ни была обстановка—самая грубая, самая стѣснительная, развитая женщина должна ее презрѣть, должна заботиться только о себѣ, дѣлать все для себя, не щадить ничего, кромѣ собственныхъ силъ! Она должна убѣдить всѣхъ, что она необходима... Спорятъ съ нею—повторяю: пусть запретъ свою дверь!

— Изнутри? А если ее запрутъ снаружи?

— Кто-жъ осмѣлится?

— Подумайте: если!

— О, Боже, но тогда... Тогда сломать дверь, бѣжать, махнуть на все рукой, вспомнить свое достоинство, идти своимъ путемъ; доказать, дѣломъ доказать обществу, всему свѣту, кто былъ правъ—женщина или ея враги! И, нѣтъ сомнѣнія, женщина это докажетъ; нужно только мужество. А едва успѣхъ... О, всѣ мы знаемъ, что успѣхъ убѣждаетъ во всемъ!

— Позволите апплодировать? сказалъ Выхинъ, скадывая ладони.

— Спросите, она живо указала на Горѣшева:—выраженія одобренія у нихъ воспрещаются. Такъ ли?

— Да, отвѣчалъ Горѣшевъ.

— Такъ же, какъ и неодобренія? Потому—вы молчите?

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ:—я, признаюсь, довольно равнодушенъ къ этому... женскому вопросу. Я считаю его ужъ слишкомъ исчерпаннымъ.

— Слишкомъ?

— Да. До поддонокъ.

Горѣшевъ былъ замѣтно золъ. M-me Муновская слегка покраснѣла и громко засмѣялась.

— Мы, женщины, какъ видите, еще разбираемся въ поддонкахъ, отвѣтила она: — не боимся замарать ручки, не барыни! Брезгливость — крѣпостная привычка господъ...

— Нѣтъ, знаете... прервала, вступаясь, хозяйка: — мнѣ кажется, тутъ есть еще одна сторона... Не нарочно же вы ее обходите...

— Что такое, моя дорогая, укажите.

— Вы говорили: семья, обстановка... Вы забываете характеръ самой женщины.

— То есть, какъ? Я сказала, что нужно мужество. Мужество—необходимое условіе въ борьбѣ съ препятствіями, съ людьми...

— Нѣтъ, нѣтъ, не то! возразила Анна Александровна:—но привязанности женщины, ея чувства... Вы говорите: борьба... Каково бороться съ тѣмъ, кто милъ? Тутъ, мнѣ кажется, мало обыкновеннаго мужества.

— Что вы называете «обыкновеннымъ» мужествомъ? терпѣливо спросила m-me Муновская.

— Но... отвѣчала Анна Александровна, нѣсколько смущаясь:—рѣшительность, твердость... настойчивость... все вмѣстѣ. Я, можетъ быть, выражаюсь не точно. Если люди намъ милы...

— Они не могутъ быть милы.

— Почему же, если это люди честные, сердечные, хорошіе? Развитой человѣкъ даже обязанъ любить такихъ людей.

— Но не подчиняться имъ — замѣтьте!

— Слѣдовательно, и нужно тутъ больше, нежели одно мужество, возразила Анна Александровна: — нужно не жалѣть никого, не оглядываться...

— О, напротивъ, очень оглядываться, чтобы разглядѣть, кто виноватые!

— Но если нѣтъ виноватыхъ? Если они только тѣмъ виноваты, что не такъ росли, какъ мы, не такъ учились? Если они стѣсняютъ изъ любви...

— О, Боже, что за любовь, которая сажаетъ въ колодки!

— Но каково же бороться... то есть бить эту любовь, презирать ее... хуже даже, нежели бить и презирать — унижать ее, доказывать, что она глупа, ненужна, что мы проживемъ безъ нея! А эти люди въ насъ душу положили! Мы видимъ, что они страдаютъ, страдаютъ отъ насъ... Надо быть безъ всякой жалости... Что тутъ дѣлать?

М-me Муновская прелестно развела руками; она была вся—грація, ласка, веселость и недоумѣніе.

— Милая моя, сказала она нѣжно и убѣдительно: — но кому же нибудь страдать надо.

— О, можетъ быть, только не отъ насъ!

— Но о н и вѣдь тоже видятъ, что насъ мучатъ?

— Они не понимаютъ: они мучатъ нечаянно.

М-me Муновская мило смѣялась.

— Право, нечаянно, продолжала Анна Александровна: — несознательно, а когда сознаютъ—имъ, должно быть, очень тяжело. Это тоже, что... Мнѣ разсказывалъ одинъ морякъ: въ кораблекрушеніе, въ ночь, въ бурю, онъ спасался на доскѣ; чувствуетъ—за него ухватился кто-то другой... Ему показалось—онъ не могъ припомнить, какъ это сдѣлалось, не могъ сказать точно ли такъ было — но ему показалось, что онъ оттолкнулъ и т о т ъ закричалъ...

— Непроизвольное движеніе, замѣтилъ Горѣшевъ.

—«Сколько лѣтъ этому», говорилъ онъ: «а этотъ крикъ у меня вѣчно, вѣчно въ ушахъ... легче бы самъ умеръ!»

— Ну, вѣдь это только говорится! сказалъ Выхинъ.

— Такъ что же? спросила m-me Муновская.

— Вотъ что, отвѣчала Анна Александровна, вся оживляясь: — если даже нечаянно, безсознательно, непроизвольно—такъ ужасно сдѣлать зло, и такъ лежитъ оно на душѣ, то каково же выбирать: — «погибайте вы, а я спасусь...»

— Дорогая, вѣдь никто не тонетъ, сказала m-me Муновская: — не къ смерти дѣло. Покричатъ — перестанутъ. Стерпится—слюбится.

Выхинъ приподнялся отъ восхищенія.

— Это... это... вскричалъ онъ и былъ не въ силахъ договорить.

— А если не стерпится? возразила Анна Александровна:—бросить мать-старуху умирать на чужихъ рукахъ, бросить мужа, простого, честнаго, которому жена была нравственной поддержкой... за что человѣкъ пропадетъ?

— За то другой выростетъ — и лучше!

— Развѣ это не выборъ? И то же — между жизнью и смертью, только нравственной...

— А вотъ и разница! Тутъ ужъ надо рѣшать, кто достойнѣе...

— Какъ же смѣть рѣшать самой?

— Послушайте, дорогая, тутъ всегда дѣло ясно. Безъ всякой лишней гордости, женщина можетъ оцѣнить себя и спутника своей жизни...

— Можетъ, но оцѣнка безжалостная и отъ нея такъ больно...

— А, въ такомъ случаѣ, боишься одной рѣзкой боли, такъ оставайся скрипѣть всю жизнь... Хроническая ломота въ правахъ и убѣжденіяхъ!..

М-me Муновская бросила это Выхину.

— Утѣшайся изреченіями: «я не первая и не послѣдняя; я женщина, слѣдовательно, несчастна...» Если сама пожелала страдать— вольному воля! Не спорю, не спорю; есть еще такія, много. Самоотреченіе, самопожертвованіе, самосожиганіе...

— Какъ, самосожиганіе? съ безпокойствомъ спросила почтенная дама.—Не было слышно... Конечно, сектанты очень упорны... начала она Горѣшеву.

— Очень упорны, отвѣчала ей m-me Муновская.—Это — женщины, которыя жгутъ свое сердце на медленномъ огнѣ, а свою жизнь — въ оба конца, въ угоду какому нибудь идолу долга, жалости, любви, все равно. Меньше ихъ, конечно, чѣмъ бывало, но все еще есть!

— И вы, вѣроятно, знавали? спросилъ Выхинъ.

— Еще бы. Кого я не знавала! отвѣчала она небрежно, принимаясь опять за корзину съ десертомъ.

— Конечно, въ огромномъ кругу вашего знакомства...

— Вообще, въ моей дѣятельности; поневолѣ со всякимъ сталкиваешься.

— А любопытно это!

— Да... Только, знаете, вотъ что, продолжала она, садясь покойно, разстилая салфетку на колѣняхъ и ставя на нее блюдечко съ фруктами.—Бываютъ, конечно, самоотреченія отъ полноты души — ну, безпомощно глупыя! но такія рѣдки. У большей части жертвъ подъ разными тонкостями прячется такой несокрушимо-здоровый эгоизмъ, или такой мизерабельный разсчетъ, или такой уморительный ложный стыдъ... Не пожелаешь быть на мѣстѣ идола!

— Напримѣръ? Вы столькихъ знаете!

— Да; напримѣръ, у меня въ Петербургѣ нѣкоторое время была на рукахъ одна госпожа...

Горѣшевъ всталъ, сдѣлавъ знакъ женѣ; она поднялась и торопливо прощалась. M-me Муновская притянула поцѣловать ее.

— Pardon, не могу встать... Приходите же завтра читать Шекспира! закричала она ей вслѣдъ и засмѣялась.

— Такъ эта госпожа? сказалъ Выхинъ:— Вы начали: одна госпожа...

— Васъ заинтересовало? Была!

— Дама?

— Старая дѣвица. Ходила ко мнѣ, къ нашимъ, все искала работы; давали ей что случалось—на всѣхъ не наготовишься, а ей было нужно много. Что такое ея прошлое— это Богъ ее знаетъ; а тутъ, въ Петербургѣ, она посвящала свои дни прехорошенькому юношѣ, котораго воспитывала, развивала, опекала...

— И любила?

— Вы этого ждали? Любила, любила. Вся сила въ томъ. И вслѣдствіе этого—всѣ старанія, всѣ угожденія и попеченія...

— Для чего же?

— Ахъ, ей—сорокъ, ему двадцать! чѣмъ же связать глупость, которая расползается врозь? Всѣ на свѣтѣ уловки, до послѣдняго забвенія своего достоинства, чтобъ поддержать пылъ страсти. Въ сорокъ лѣтъ страсть — знаете что такое! А эта еще особенная: родительски-рабски-стародѣвическая. И поитъ, и кормитъ, и учитъ, и расхваливаетъ: «ты геній, ты умница, и не смѣй на женщинъ смотрѣть!»

— Позвольте, позвольте, прервалъ восхищенный Выхинъ: — если только это не очаровательная игра вашей фантазіи...

— Изъ-за чего-жъ мнѣ фантазировать? отвѣчала, хохоча, m-me Муновская:—истинно такъ было!

— Но позвольте! вѣдь это ужъ деспотизмъ! Вѣдь тутъ, такъ сказать, роли мѣняются...

— Ну, да! такъ что бѣдному художнику приходилось пищать: «я юноша, слѣдовательно, страдаю!»

— Художнику? повторилъ Выхинъ...

Кажется, я повторилъ за нимъ это слово; я невольно всталъ. Разсказчица хохотала; старая барыня хохотала; Выхинъ вертѣлся у меня въ глазахъ замутилось.

— Художникъ? кричалъ онъ:—нѣтъ, сдѣлайте милость, скажите кто? Эта госпожа? Вѣдь не секретъ!

— Нисколько, отвѣчала она:—что за секретъ! ее очень многіе видали: нѣкая Вѣра Михайловна Алетьева.

Я подошелъ къ ней.

— Я знаю Вѣру Михайловну; но вы, кажется, не знаете ни ея положенія, ни ея несчастія.

Она посмотрѣла на меня—безъ удивленія, что, наконецъ, заговорилъ человѣкъ, молчавшій весь вечеръ—но перестала смѣяться и отвѣчала равнодушно:

— Я не посѣщала госпожу Алетьеву, чтобъ не быть... лишней; но эти положенія очень извѣстны, хотя бы по литературнымъ очеркамъ; и за н е с ч а с т ь е... этого господина она, конечно, благодаритъ Бога: теперь ей поневолѣ не измѣнятъ!..

— Позвольте, прервалъ я: — надо не одинъ разъ подумать, чтобъ сказать подобныя вещи...

Стоило ли говорить съ нею? тратить душу на толки съ барыней, устроительницей благотворительныхъ потѣхъ, именно вслѣдствіе этого непризнающей ничего, что не входитъ въ разряды и графы ея отчетовъ, что не благоговѣетъ, не кланяется передъ нею? Какъ будто я не зналъ, что эти особы, такія заботливыя, разборчивыя, деликатныя, всѣ на идеалахъ, на достоинствѣ — ничего не понимаютъ, даже собственныхъ фразъ, не задумаются оскорбить, не спохватятся, что оскорбили, не предположатъ, чтобы могло быть понято оскорбленіе? Онѣ однѣ все постигли; однѣ онѣ въ правѣ судить и осуждать... Какъ будто я не зналъ, что ихъ убѣждать—трудъ напрасный? Зачѣмъ же я вступался? Зачѣмъ я далъ разбирать... терзать то, что мнѣ дорого?..

———

Это было въ мою послѣднюю поѣздку въ Петербургъ, въ прошломъ году.

Былъ вечеръ, ужъ темно. Идти мнѣ никуда не хотѣлось, но въ эту пору большая часть моихъ знакомыхъ расходилась по театрамъ. Кругомъ, въ гостиницѣ, все притихло; въ моей комнатѣ топилась печь. Я что-то читалъ и думалъ, что такъ и кончу свой вечеръ, когда въ корридорѣ услышалъ свое имя. Меня спрашивали; затѣмъ, ко мнѣ постучали.

Я отворилъ и свѣтилъ. Вошла женщина въ черной суконной шубкѣ, закутанная чернымъ башлыкомъ.

— Не узнаете?

Я бросился цѣловать ея руки:—Вѣра Михайловна!

Мы знали другъ друга еще когда были молоды. Она жила съ отцомъ и матерью въ далекомъ губернскомъ городѣ, гдѣ я прожилъ тоже много лѣтъ, а потомъ много разъ пріѣзжалъ нарочно, только для того, чтобъ провести нѣсколько дней въ этой родной, честной семьѣ. Они были очень небогаты. Отецъ служилъ весь вѣкъ, не наживаясь; но ни онъ, ни жена, ни дочь не заботились о завтрашнемъ днѣ, всегда готовые на всякій тяжелый день. Но жилось изящно... именно, изящно: иначе этого не назовешь. Хозяйство велось, конечно, съ трудомъ, но какъ-то невидимо, а между тѣмъ безъ стараній что нибудь скрыть, безъ смѣшныхъ претензій. Въ домъ не входили губернскія сплетни, чиновничьи интриги, пошлости, дурные люди. Знакомыхъ у Алетьевыхъ было довольно и очень разнообразныхъ; но, приходя къ нимъ, всѣ какъ-то невольно принимали складъ хозяевъ: говорили откровеннѣе, смѣялись веселѣе, держались проще, чувствовали себя свободнѣе. Не знаю какъ это дѣлалось. Мнѣ многіе повторяли, что только у Алетьевыхъ можно «отвести душу». Тамъ много читали; для книгъ забывалось необходимое. Алетьевъ былъ человѣкъ образованный, загнанный несчастьемъ... Мое лучшее время прошло у нихъ.

Я не помнилъ себя отъ радости, увидя ее. Мы не видались четыре года. Тогда она извѣстила меня, что умеръ ея отецъ, и я пріѣзжалъ навѣстить ее и мать. Потомъ, судьба забросила меня очень далеко, и не было ни времени, ни возможности вырваться къ нимъ; мы переписывались. Вдругъ, два года назадъ, Вѣра написала мнѣ, что ея мать умерла внезапно и что она уѣзжаетъ жить къ своей сестрѣ.

У нея была сестра, старше ея годомъ. Говорили, что ее, «за красоту», родственники схлопотали помѣстить въ институтъ. Вѣра считалась дурнушкой и потому осталась дома. Сестра изъ института тотчасъ вышла замужъ за очень богатаго человѣка. Я только разъ ее видѣлъ; мы какъ-то съѣхались вмѣстѣ къ Алетьевымъ, и въ этотъ единственный разъ мнѣ не было такъ хорошо у нихъ, какъ бывало всегда. Всѣмъ было какъ-то скучно и скучнѣе всѣхъ — гостьѣ, которая этого не скрывала, но, по обязанности, доживала весь срокъ своего посѣщенія, какъ назначила. Родные—я это знаю—ее любили; можетъ быть и она ихъ любила; но ихъ складъ, образъ мыслей, понятія, до мелочей, до вкусовъ и привычекъ — все было разное. Простота этого оригинальнаго житья коробила молодую женщину, красивую, нарядную съ утра; разговоры безъ новостей ея не занимали, работать она не умѣла, читать не любила. Она не въ шутку удивлялась и негодовала, что Вѣра не замужемъ. Разъ, оставаясь одна со мной, она сказала, нисколько не изъ довѣрія, а совершенно равнодушно, какъ самую обыкновенную вещь, что предвидѣла и для себя такую домашнюю скуку, и потому постаралась скорѣе найти мужа.

— Богъ меня вразумилъ, заключила она серьезно...

Вѣра уѣзжала къ ней... Ея письмо было безумное, въ нѣсколько строкъ. Она боготворила мать; она должна была потеряться. Свой адресъ она забыла дать. Я слышалъ, но уже давно, что ея сестра овдовѣла, что мужъ передалъ ей все свое состояніе, что изъ деревни, гдѣ они жили до тѣхъ поръ, она переселилась въ городъ, но какой? я не

помнилъ. Она, кажется, переселялась еще разъ. Я никогда не спрашивалъ о ней Вѣру, совершенно забывая ее, какъ постороннюю. Только чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, послѣ множества справокъ, я добился узнать, гдѣ Вѣра, и написалъ ей. Она не отвѣчала. Я писалъ десятокъ разъ, покуда, наконецъ, мнѣ было возвращено мое письмо въ конвертѣ, надписанномъ незнакомой рукою, но распечатанное, измятое, очевидно, прочитанное.

Куда она пропала?

И вотъ она тутъ, все та же, все прежняя — мы рука въ руку, она смотритъ своимъ чудеснымъ, безконечнымъ взглядомъ... Да есть ли что лучше свиданія, несказаннаго блаженства, когда отдаешь все разомъ, и прошлое,и настоящее, и все забыто, и все памятно, и все радостно, и всего жаль...

— Вы здѣсь! повторялъ я.

— Другой годъ здѣсь.

— Я вамъ другой годъ пишу, вы не отвѣчаете.

— Туда писали?.. Не знаю. Все равно... Да, я вамъ не писала. Ну, вотъ—все равно...

— Какъ вы меня нашли?

— Нечаянно. Была у одного господина (она назвала); вы незнакомы, но онъ васъ знаетъ: гдѣ-то встрѣтилъ. Онъ помянулъ какъ-то, что вы здѣсь...

— Зачѣмъ вы у него были?

— А что?

— Пустѣйшій человѣкъ.

— Это я знаю. Но онъ переводитъ съ англійскаго одно богословское сочиненіе, утомляется отъ писанія и потому диктуетъ; я хожу къ нему писать... Однако, куда бы вы ни сбирались, оставайтесь дома; я пришла надолго.

Она сѣла, сбрасывая свой башлыкъ. Я смотрѣлъ на нее; ея черные волосы свѣтились сталью; глаза выгорѣли отъ работы или отъ слезъ; въ выраженіи лица была какая-то горькая отвага. Мнѣ хотѣлось спросить... я не зналъ что. Мнѣ показалось обидно, что она приказывала мнѣ остаться дома: какъ будто отъ нея я могъ подумать куда нибудь уйти! Мы молчали. Она опять встала, подошла къ огню и грѣлась.

— Вотъ, я и сейчасъ отъ него. Съ утра. Это умора. Правда, пустѣйшій и еще съ претензіями. Расхаживаетъ по кабинету, въ долгополомъ бархатѣ; въ одной рукѣ книга, другою размахиваетъ, декламируетъ свой переводъ, и что только это выходитъ! Иногда, просто убоясь Бога, схватишь какъ нибудь фразу и пишешь свое, а онъ не замѣчаетъ.

Она смѣялась. Я не отвѣчалъ; мнѣ становилось все тяжелѣе. Мы занимались постороннимъ, пустымъ... пожалуй, будто продолжали разговоръ, начатый вчера — значитъ, будто не разставались... Но это хорошо для людей счастливыхъ!..

— Ну его, сказалъ я.

— Я бы сама тоже сказала, да онъ мнѣ нуженъ. Я беру цѣну высокую: два рубля съ печатнаго листа... оригинала, прибавила она, смѣясь.—Переводъ, предчувствую, никогда свѣта не увидитъ, такъ я, условливаясь, приняла свои мѣры...Да не знаете ли, гдѣ еще поискать работы? Мнѣ нужно? Какую хотите: переписка, — корректуры, компиляціи, переводы съ разныхъ языковъ, что хотите, хоть рубашки штопать—возьму все.

— Милая... сказалъ я, подойдя къ ней.

— Ну, что?

Она обняла мою голову, поцѣловала и заплакала.

— Прошли наши красные дни... выговорила она. — Ну, будетъ, будетъ, довольно... А впрочемъ, дайте наплакаться. Два года было не съ кѣмъ... Слушай, вскричала она, вдругъ отклоняясь и глядя мнѣ въ глаза:— слушай! Тотъ ли ты, что прежде, когда моя мать называла тебя сыномъ? Такъ ли ты любишь меня, какъ любилъ? Не оттолкнешь? Не прогонишь? Я ужъ не ждала... не ждала, что когда нибудь въ жизни доведется мнѣ, вотъ такъ, по-человѣчески...

Прошлая молодость, прошлые лучшіе годы, что цвѣло и радовало, все дорогое, что покинуло такъ безжалостно, что отнято такъ больно, всѣ забывшіе, и не забытые, близкіе въ ихъ счастьи для насъ непонятномъ, далекіе за туманами могильнаго сна— все промелькнуло для насъ въ эти минуты. Мы были одиноки, одни... Такъ стоятъ люди надъ обваломъ на уцѣлѣвшей полоскѣ земли, глядятъ внизъ на то, что тамъ пропало, ждутъ, что обвалится и подъ ними—и ждутъ уже безъ страха...

— Говори мнѣ ты, сказала она. — Помнишь, какъ бывало тогда, въ шутку. Теперь не въ шутку. Я два года ни отъ кого ты не слышу. Ты знаешь, я живу не одна?

— Не знаю.

— Художникъ Карцовъ. Слыхалъ?

— Нѣтъ.

— Немудрено, что не слыхалъ: не знаменитъ. Но талантъ большой... былъ.

— А теперь?

— Теперь?.. Теперь...

Она махнула рукой, прошлась, вороти-

лась къ столу, взяла папироску и вдругъ будто рѣшилась.

— Вотъ что. Дай мнѣ кусокъ хлѣба. Я не обѣдала.

Мы просидѣли поздно. Послѣ первыхъ движеній, первыхъ словъ сгоряча, ея усталость становилась замѣтнѣе. Она отдыхала; я былъ счастливъ, что она отдыхаетъ. Еще замѣтнѣе было, что она давала себѣ волю, сбрасывала, будто тяжесть, свою притворную бодрость; почти непріятной рѣзкости первыхъ минутъ не оставалось и слѣда. Она какъ-то затихла, успокоиваясь, раздумываясь, оглянулась на мой взглядъ и ласково засмѣялась.

— Охъ, хорошо, вотъ такъ, гостьей, когда хозяинъ радъ, сказала она, прижимаясь плотнѣй въ уголокъ дивана. — Забалуешься тутъ. Я, пожалуй, засну, не уйду.

— Не уходи, сказалъ я.

— Да, какъ же? А завтра что? Забалуешься. Нельзя. Негодятся такія поблажки.

— Велика ли поблажка!

— Очень. Мнѣ теперь всячески хорошо— душевно и физически; и что тамъ, за мною— я желаю не думать. А колесо стоитъ и дожидается, и завтра опять меня смелетъ. Только покажется больнѣе... Какъ я спать хочу!.. Нѣтъ, разлакомиться очень легко и лучше не начинать. Лучше привыкнуть къ тому, что есть. Знаешь? будто облежаться на узкой, жесткой постели... Бѣдняки привыкаютъ.

— Ты не можешь привыкнуть.

— Къ бѣдности? Привыкла... Но къ бѣдности нравственной, правда твоя—не могу.

Она помолчала и раздумалась.

— Глупо это, заговорила она опять, и ея лицо освѣтилось прежней милой насмѣшкой. — Глупо тѣмъ, что гордость тутъ громадная. Да, не могу привыкнуть ни къ какой нравственной бѣдности: ни къ пошлости, ни къ скаредности, ни къ мелочамъ, къ необразованности, къ подниманью носа. Испытывала себя, принуждала — нѣтъ! Изволите видѣть—аристократія понятій! И отъ нея—себѣ же хуже. Смѣшно!.. Знаешь сказку: дворянка лежала на печи; зашла къ ней свинья, избу растворила: — «А я рода своего не покорю, за свиньей дверей не затворю». Не слѣзла и на печи замерзла. И я мерзну. Смѣяться чепухѣ не могу, безграмотно жить не могу, разсчетовъ не понимаю. Я родилась и вѣкъ жила бѣдно; у насъ разсчитывали и сберегали—подарить прислугѣ за ея трудъ, помочь человѣку въ нуждѣ. А тутъ... да новый міръ какой-то! Счетъ всякой щепотки, все «въ прокъ», все «въ домъ». Вообрази мое аристократическое удивленіе! И тутъ же, но я въ толкъ взять не могла!— невозможно (пойми: невозможно, какъ невозможно не дышать!) не имѣть трехъ шубъ — суконной, шелковой и бархатной, на дорогу, на всякій день и въ парадъ. Ѣсть ли горничная и на чемъ она спитъ — все равно; но она должна (на свой счетъ, разумѣется!) одѣваться по модѣ, потому что живетъ въ «приличномъ» домѣ... Что такое приличный домъ? Я не знаю; я узнала, что мой отецъ и мать жили неприлично.

— Какъ ты рѣшилась туда поѣхать? И прожила такъ долго!

— Слишкомъ годъ... Какъ рѣшилась? Какъ же я могла не рѣшиться? Я осталась одна, вдругъ одна. Я не могу быть одна. Не умѣю. Страшно; цѣли нѣтъ, резона нѣтъ существовать. Какъ—это думать только о себѣ, безпокоиться только за себя? Стоитъ ли хлопотать! Какими приманками, какими увеселеніями развлекать свою особу, чтобъ эта особа забыла все... все и всѣхъ! и пожелала бы чего нибудь? самой изъ себя дѣлать третье лицо, возбуждать его къ жизни и о немъ заботиться... Богъ знаетъ что!.. Говорить себѣ: «я свободна»? Но я всегда была во всемъ свободна! Я не чуждалась постороннихъ, но мнѣ нужны близкіе, самые близкіе. Я тебѣ говорю, я теряюсь одна. Какъ ни отъ кого не слышать простого, ласковаго слова, совѣта въ чемъ нибудь житейскомъ, общемъ, простого толка о бездѣлицахъ! Бездѣлицы связываютъ... Ты знаешь самъ, какъ необходимо высказывать свое чувство, узнавать чувство другого, размѣниваться, провѣрять себя, говорить свою мысль... но чтобъ на нее отзывались! И не просто вскользь, изъ учтивости—изъ учтивости интересуются и чужіе!—но чтобы моя мысль стала своей тому человѣку, чтобъ онъ ею подорожилъ, чтобъ онъ самъ о ней наединѣ подумалъ...

— И ты ждала этого... тамъ?

— Другъ мой, вѣдь не всѣ люди дурны! Что за безумная гордость считать правыми, лучшими только себя?.. Умерла мать—мнѣ ужъ было такъ тяжко... такъ тяжко, что всякій, кто только протягивалъ мнѣ руку— право, не знаю—онъ мнѣ ангеломъ казался!.. А она, сестра... Я понадѣялась... нѣтъ, много сказать «понадѣялась!»—Ну, почудилось мнѣ: авось!..

Она опустила голову и заплакала.

— Потомъ, вотъ что. У сестры двѣ дочери, пятнадцати, четырнадцати лѣтъ. Я подумала, что могу быть имъ нужна... О, пойми это! Человѣку ничего ненужно, когда онъ одинъ и самъ никому ненуженъ. Связываетъ съ людьми не то, что они дѣлаютъ для насъ, а то, что мы дѣлаемъ для нихъ. Гордость это, эгоизмъ—называй какъ хочешь! но нѣтъ ничего отраднѣе, какъ позовутъ: «поди ко мнѣ!» Значитъ, въ глазахъ того, кто позвалъ, я еще гожусь на что нибудь, я не надоѣла, не противна, не ничтожна...

— Тебя позвали?

— Нѣтъ... Мнѣ предложили.

— И ты поѣхала?

— Поѣхала, потому что тосковала до смерти. Я была одна... ужасно это, въ самомъ дѣлѣ: люди воображаютъ, что роскошью, прихотными вещами можно во всемъ утѣшить... или это у нихъ выставка великодушія? Или, просто, такъ, хвастовство своимъ богатствомъ?.. Мнѣ дали комнату, нарядную, какъ я никогда не живала... Помнишь прелестный жасминъ матери? я взяла его съ собою, погибъ—тѣмъ лучше... Ну, годъ цѣлый никто не переступилъ порога этой комнаты, никто ни разу не отворилъ двери и не сказалъ: «Поди ко мнѣ!» За чѣмъ нибудь, понимаешь, за чѣмъ нибудь, за пустяками! Сказать шутку, какія говорятся въ семьяхъ; показать что нибудь—бездѣлку, нарядъ, покупку изъ лавки; взять меня въ товарищи не занятія, не дѣла, даже не удовольствія, а такъ, какого нибудь вздора, какой-нибудь затѣи! Просто, вспомнить, что подъ этой кровлей живетъ еще одинъ человѣкъ... Я нетерпѣлива. Бывало, стоскуюсь, пойду искать—чего? сама не знаю, человѣческаго голоса. Пойду къ нимъ, къ семьѣ. Не помѣшала, а не надо меня. Меня всякій разъ, непремѣнно всякій разъ оглянутъ и спросятъ: «Что вамъ угодно?» Вопросъ простой, вскользь, учтивый, но онъ всякій разъ срѣжетъ. Что мнѣ угодно? Ничего. Въ самомъ дѣлѣ: есть комната, столъ, прислуга—чего-жъ мнѣ еще? Развѣ пожаловаться? но не на что, и нѣтъ права, еслибъ и было на что; я жила не даромъ (у меня отцовская пенсія, мнѣ уступлено все наслѣдство, какое оно ни было), но за то, что я платила, я не могла бы имѣть того, что получала: это было ясно, это я поняла бы и сама, если бы мнѣ даже и не объясняли... о, гадость какая!

— Полно, прошло, прервалъ я, взявъ ея руки. —Что же ты дѣлала цѣлые дни одна?

— А не помню... отвѣчала она, встряхнувъ головой.—Шила, читала—старое. Я не разсталась съ своимъ добромъ, съ книгами, уложила ихъ въ ящики и взяла съ собою. Такъ эти ящики и стояли заколоченные у меня въ комнатѣ, неудобно, неуютно. Выну одну книгу, выну другую. Читать и молчать—въ головѣ мутилось. Я предлагала заниматься съ племянницами; онѣ ходили въ гимназію; сестра сказала, что довольно и этого.

— Онѣ тебя полюбили?

— Странно, отвѣчала она, помолчавъ.— Обѣ прехорошенькія дѣвочки. Я такъ люблю молодую красоту! Живыя, веселыя. Бывало, смотришь на нихъ—какъ-то на сердцѣ свѣтлѣе. Но странно. Меньшая меня точно боялась; если мы остаемся въ комнатѣ съ ней вдвоемъ, она не говоритъ ни слова, даже какъ-то притихнетъ—будто нѣтъ ея. Только разъ—это мнѣ очень памятно: единственная, по-человѣчески прожитая минута въ цѣлый годъ! Она торопилась съ какой-то работой: я, за ночь, ей дошила; она увидѣла по-утру—«Ахъ, тетя!» бросилась мнѣ на шею, расцѣловала и убѣжала. Но съ тѣхъ поръ—еще хуже; она стала меня избѣгать, взглядывала прямо, отворачивалась. Она чувствовала и видѣла, что мнѣ тяжело живется; за другихъ ей было совѣстно, передо она робѣла. Знаешь, горе пугаетъ дѣтей.

— Но сама-то ты—не пугала? Это была, просто, низость: видитъ дѣвчонка, что старшіе не благоволятъ, и она туда же...

— О, не говори этого! прервала она.

— А другая:

— Другая... Мучительно все это и смѣшно. Другая съ перваго дня приняла со мной какой-то развязный тонъ. Очень разговорчива, но самыхъ простыхъ вещей не говорила просто; все подшучиванье, ломанье; то фразы высокимъ слогомъ, то прибаутки, то стишки, цитаты изъ книгъ, изъ комедій. Ловко выходило; другимъ нравилось. Все въ шутку, даже «здравствуй» и «прощай». Какъ ты знаешь, я терпѣть не могу шутовства.

— Ты это высказала?

— Нѣтъ, отвѣчала она отрывисто. — Я пріучилась терпѣть.

Она замолчала, опустила голову и чертила пальцемъ по столу, казалось, ничего не видя.

— Скажи мнѣ только одно: легче ли теперь?

Она оглянулась; ея глаза блеснули и остановились на мнѣ пристально.

— Что у тебя на умѣ?

— То, что я спросилъ: легче ли тебѣ?

— Только?.. А какъ ты полагаешь?

— Что тебѣ не легче.

— Почему ты такъ полагаешь?

— Потому что ты подумала, будто я неискрененъ. Ты вѣдь сейчасъ это подумала? Кто сомнѣвается...

— Ну, молчи, прервала она. — Ты отгадалъ.

Она встала и начала ходить такъ скоро, какъ позволяла маленькая комната; она даже оглядывала ее, будто отыскивая, чѣмъ разсѣяться, и вдругъ нетерпѣливо воротилась ко мнѣ.

— Какъ я ушла съ Карцовымъ и что происходитъ теперь—объ этомъ еще рѣчь впереди, заговорила она.—Надо прежде понять, каково было тамъ... Одиночество; рознь склада... рознь всего!.. мелкое предательство, вышучиванье—все еще выносилось. Я чертовски гордо говорила: они сами по себѣ, я сама по себѣ; они не люди, я человѣкъ... Но я спохватилась, что сама дѣлаюсь не человѣкомъ. Пошлость—болото, втягиваетъ. Ничего толковаго не слышишь — начинаешь слушать безтолковое. Подмѣчаешь дрязги и строишь изъ нихъ заключенія... и логичныя! какъ же! Привыкла къ анализу: матеріалъ для него—чепуха, но когда нѣтъ другого?.. И привыкаешь къ мелочи, къ ежедневнымъ хлопотамъ, къ городскимъ новостямъ, а общіе, всякіе... ну, назовемъ разомъ! — міровые интересы отходятъ все дальше, дальше; о нихъ кругомъ никто не поминаетъ; о нихъ думать некогда: житейское одолѣло; они сливаются въ какой-то туманъ, томятъ—точно сонъ, который хочешь и не можешь припомнить. Жалость беретъ, стыдъ, раскаяніе—и ничего не воротишь! Что дѣлается тамъ, въ свѣтѣ, въ настоящемъ свѣтѣ, въ настоящей жизни, гдѣ знаніе, искусства, идеи, убѣжденія, борьба—это все неизвѣстно, все скрыто, все исчезло, этого даже назвать не умѣешь. Разучиваешься говорить... да, да, разучиваешься! Смѣшно! Вѣдь я когда-то судила обо всемъ, имѣла мнѣнія, выражала ихъ — говорила, даже недурно... вдругъ: словъ нѣтъ! слова пропали! Нужно какъ нибудь написать пять строкъ—не могу, не свяжу, затрудняюсь объяснить самыя обыкновенныя вещи; голова сжата, мученіе физическое... Страхъ — вѣдь это, можетъ быть, помѣшательство? Долго ли помѣшаться?.. Боже избави!

Она вздрогнула и отошла.

— И жалость, жалость, заговорила она будто съ собою:—жалость о себѣ: вѣдь была что нибудь! Замирать, гаснуть... Огонь разметали и насильно затоптали ногами... Когда это сознанось въ первый разъ, первое ощущеніе... Нечаянно попалась газета; прочла о какой-то выставкѣ; вспомнилось, что когда-то все это было не чуждо... О, никакими словами не разскажешь!

Она заломила руки.

— Чего-жъ ты ждала? прервалъ я: — ты была свободна...

— Я одна! вскричала она:—я тебѣ сказала, я не умѣю быть одна!

— Но развѣ не нашлось бы занятія, дѣятельности, гдѣ бы тебя окружили...

— Школы, что ли? Да развѣ я когда нибудь фразировала? Видала я ихъ: чиновничество на медовой подмазкѣ! Развѣ можнс на заказъ, для развлеченія, любить и заботиться? Подай мнѣ истинную заботу, сознательную обязанность... Вотъ я и ушла съ Карцовымъ.

— Обязанность... повторилъ я.

— А ты думалъ—любовь? спросила она со злостью. — Въ тридцать-пять лѣтъ — влюбиться? Похоже это на меня!.. Будетъ; одинъ разъ любила...

Она отошла, долго молчала и вдругъ засмѣялась.

— О, смѣшные люди, какіе смѣшные люди!.. И ты смѣшной. Есть вещи, которыхъ вы не можете понять никакъ; въ мозгу у васъ не помѣщаются. Женщина съ сѣдой головой и молодой человѣкъ... Да, кстати еще: Карцовъ красавецъ—и у васъ сейчасъ создаются фантасмагоріи. А какъ нѣтъ-то ничего? Ничего, кромѣ заботы и тяжкой обязанности?

— Тяжкой? Ты говоришь...

— Да... Оказалась тяжела.

Она все расхаживала.

— Карцовъ слѣпнетъ, сказала она изъ угла комнаты. — Вотъ вамъ и талантъ, и надежды, и будущность, и молодость, и красота. Онъ теперь въ нѣсколькихъ шагахъ едва видитъ, а тамъ—и совсѣмъ конецъ.

— Какъ это случилось?

— Случилось!! Богъ знаетъ какъ. Доктора объясняютъ. Полгода назадъ это началось. Онъ не обращалъ вниманія, работалъ два мѣсяца, еще какъ работалъ. Теперь все хуже и будетъ еще хуже, до конца.

— И онъ это знаетъ?

— Нѣтъ, и никогда не узнаетъ. Онъ ждетъ.

— Неужели никакого спасенія, никакой надежды?..

— Говорятъ: когда совершится совсѣмъ, тогда можно будетъ что нибудь сдѣлать, и года въ два, можетъ быть, если удастся, онъ будетъ видѣть; но, разумѣется, при бережи, при предосторожностяхъ — ни работать, ни читать... ну, чулки вязать, не глядя...

— Вѣра, ты его не оставишь!

Она горько плакала.

— Спасибо, что это сказалъ, выговорила она: — умные люди велятъ мнѣ сунуть его въ больницу.

Я схватилъ и цѣловалъ ея руки.

— Христа ради, вскричала она:—достань мнѣ работы; что только найдешь. У меня отцовская пенсія; еще было кое-что, жили, теперь не хватаетъ...

— Но какъ же, когда нибудь этого хватало? Карцовъ заработывалъ?

— Мало. Онъ дѣлалъ только небольшія копіи... но, знаешь, на славу! прибавила она съ мгновенной вспышкой веселья. — Я не позволяла писать портретовъ, пустяковъ. Грѣшно на это губить такое дарованіе. Видишь что. Онъ крестьянскій сынъ. Изъ Перми, мальчишкой, пришелъ въ Петербургъ. Приступились къ нему, отдали его въ школу, потомъ въ академію; писалъ Геркулесовъ, почти кончалъ курсъ, не поладилъ и вышелъ — въ пространство. Гдѣ, какъ скитался? — все равно. Церковный староста прихода моей сестры нашелъ его въ Москвѣ и привезъ иконостасъ писать. Тамъ я его увидѣла и привела къ себѣ. Прелестный талантъ, свѣжесть, воображеніе, такое честное стремленіе образоваться... по «самоучителю» вызубрилъ французскій и нѣмецкій! читалъ — что только могъ и сколько читалъ! И бѣдность проклятая... Развѣ возможно не постараться устроить такому человѣку дорогу, не поберечь его, не дать ему войти въ силу? Да я ожила, какъ его узнала! «Всякій вечеръ, говорю, какъ изъ-за работы, приходите ко мнѣ...» Надо мной смѣялись, меня оскорбляли. Онъ кончилъ свои образа—я съ нимъ уѣхала.

Она вся оживилась, разсказывая.

— Славно было! Ящики мои всѣ съ нами покатили... Тутъ я поняла, какъ отряхаютъ прахъ ногъ своихъ; но такъ мнѣ было легко, хорошо, что я все простила. Меня кляли. Я узнала — сестра объявляла всѣмъ, что я умерла... Такъ, совсѣмъ умерла, похоронили! Представь себѣ потѣху: барыня, которой это было сказано, встрѣтила меня здѣсь на улицѣ и шарахнулась... О, чудесное это было время—нашъ отъѣздъ, наше устройство, чудесное! Я завела порядокъ... Меня одолѣлъ цѣлый годъ возни передъ глазами: сегодня — гости, завтра — въ гости, занятія черезъ пятое-десятое, бѣготня по дому изъ угла въ уголъ: я, бывало, устаю, глядя, не двигаясь съ мѣста... Тутъ у насъ другое пошло. Онъ ходилъ въ музеи изучать, копировать съ мастеровъ; я нашла себѣ уроки. Къ позднему обѣду сойдемся — и за свое дѣло: онъ чертитъ, я читаю вслухъ. Зайдетъ кто нибудь, порядочный человѣкъ... я опять выучилась сближаться съ людьми: какъ-то разомъ это ко мнѣ воротилось. Онъ такъ веселъ былъ; все ладилось. Это было той осенью, вотъ пошелъ другой годъ. Мы съ нимъ вмѣстѣ ходили слушать лекціи. Въ оперѣ были два раза. Это онъ сдѣлалъ мнѣ сюрпризъ, взялъ билеты: заработалъ, написалъ маленькій жанрикъ потихоньку отъ меня, въ мастерской у знакомаго. Изъ крестьянскаго быта, хорошенькій; но я была недовольна. Зачѣмъ работать на скорую руку, что попало, безъ мысли—благо легко дается? забаловаться можно. Онъ признался, что правда, что тянетъ легкая удача, искушаетъ, но что онъ самъ видитъ — такъ негодится... И что же онъ сдѣлалъ!.. Вспомнить не могу! Представь себѣ... Выставка была годичная. Я пошла. Вижу—что такое? рядъ женскихъ портретовъ, никакъ цѣлый пятокъ; бѣленькія, черненькія, румяненькія; цвѣтникъ настоящій; атласы, бантики — «Карцовъ!» и кругомъ толпятся и похваливаютъ! Я внѣ себя пришла домой, плакала. Боже мой, говорю, можно ли такъ тратиться, такъ себя губить! Портреты вѣдь это — заискиванье, поденщина, неволя...

— Онъ выслушалъ?

— Онъ вотъ что сказалъ...

Она остановилась, растроганная.

— Я тебѣ все скажу, ты поймешь... Онъ взялъ меня за руку... — «Вотъ такъ, говоритъ, я могу не быть поденщикомъ; даю честное слово»...

Она не могла говорить отъ слезъ.

— Боже мой, какъ онъ прелестно работалъ! какъ онъ схватывалъ всякій оттѣнокъ идеи, всякую малѣйшую красоту! Какая память, какая жажда знанія, сила воли! Далъ честное слово—и вотъ ужъ трудился!

— Онъ задумывалъ что нибудь большое?

— Да... Наброски удивительные, и все еще на нихъ не останавливался, все еще мало... О, я, конечно, не торопила! Между дѣломъ: такъ, есть двѣ-три законченныя вещи, сокровища маленькія; онъ писалъ нынѣшнимъ лѣтомъ. Какъ мы бывали сча-

сливы, когда у него шло успѣшно... «Бывали»... Господи Боже!

— Неужели нѣтъ надежды? неужели такъ и рѣшено?

— Я тебѣ сказала. Человѣкъ конченный. Надо только думать, чтобъ онъ не былъ заброшенъ, не видѣлъ нищеты... Пока я жива, этого не будетъ. Видишь ли, я ему обязана. Я осталась одна, обгорѣлое полѣно на пожарищѣ! я изнывала, онъ встрѣтился. Онъ мнѣ жизнь возвратилъ. Я люблю его не материнскою любовью... матери няньчатся! я ему не сестра: сестры — рабы братьевъ. Я не жена, не любовница: онъ свободенъ. Я его уважаю. Онъ былъ мое утѣшеніе, моя надежда... Можетъ понадѣяться и на меня.

— Дай Богъ тебѣ силы.

— Да!.. отвѣчала она съ какой-то загадочной усмѣшкой и опять ушла ходить по комнатѣ.

Долго она не говорила ни слова, подходила и брала папироски, остановилась, къ чему-то машинально прислушалась, заглянула въ окно, оглядывалась на свою тѣнь. Она будто забыла обо мнѣ и забыла, гдѣ была...

— Что-жъ ты меня не спрашиваешь о своей догадкѣ? сказала она вдругъ громко.

Ея голосъ сорвался отъ дрожи.

— О какой догадкѣ?

— Забылъ?

Она смѣялась и прислонилась грѣться.

— Что тебѣ не легче? Но ты ужъ сказала.

— Что у меня слѣпой на рукахъ и нужно работать?

— Это-то тяжесть?.. Нѣтъ, ты отгадывать не мастеръ.

— Что-жъ еще можетъ быть? сказалъ я съ ужасомъ: — ты беззавѣтно жертвуешь собою...

— А то можетъ быть... прервала она рѣзко;—ну, прощай, не могу больше. Пора домой. Хочешь—проводи меня; кстати узнаешь, гдѣ я живу.

Она ужъ накинула свою шубку. Ѣхали мы далеко, но она молчала во всю дорогу.

Чего еще она не досказала?..

Я пошелъ къ ней на другой день, вечеромъ. У меня сердце замирало. Мнѣ мучительно хотѣлось подробностей; мнѣ хотѣлось видѣть, какъ она похоронилась.

Она точно похоронилась... Улица глухая, особенно темная, послѣ яркой набережной; сугробы, будто въ уѣздномъ городѣ; на небѣ красное недалекое зарево изъ трубъ какихъ-то заводовъ. Домъ не высокій, внизу лавки. Я все это еще вчера видѣлъ. Все темно, кромѣ одного окна второго этажа. Это ея окно, она вчера сказала. Я позвонилъ; мнѣ отворила женщина. Мнѣ все памятно: нахмуренное лицо этой женщины, темная прихожая съ полосой свѣта изъ отворенной двери.

Вѣра стояла у этой двери.

— А, вотъ кто! сказала она.

Мнѣ показалось — она меня ждала; она этого не сказала.

— Милости просимъ. Вы другъ друга ужъ знаете, прибавила она, подводя меня къ молодому человѣку, который поднялся съ дивана въ углу комнаты, куда не достигалъ свѣтъ единственной свѣчи.

Я протянулъ ему руку; онъ, молча, подалъ свою, промѣшкавъ секунду, но замѣтно. Онъ, точно, былъ очень хорошъ собою, его глаза были особенно яркі: напряженные, безпокойные, они все чего-то искали и остановились на мнѣ насмѣшливо. Все это сдѣлалось въ секунду; меня обдало холодомъ, ужасно вспомнить; я понялъ, что меня — именно меня—тутъ не надо, и что Вѣра знала это заранѣе...

«Она тутъ душу положила»... подумалось мнѣ, между тѣмъ какъ я смотрѣлъ на нее и не узнавалъ. Она какъ-то оторопѣла, почти растерялась, будто спѣшила сѣсть куда нибудь къ мѣсту, и позвала меня къ столу, гдѣ лежала оставленная книга. Карцовъ прохаживался.

— Морозъ сегодня больше вчерашняго, сказала она.

— Да, кажется.

— Хотя бы и не въ концѣ февраля. И нельзя поручиться, что завтра не будетъ дождя; на то Петербургъ... Гдѣ вы были сегодня?

— Весь день дома.

— За дѣломъ?

— Да... кажется.

Неужели она хотѣла, чтобъ я разсказывалъ новости? Она какъ-то насильно улыбнулась.

— Не помните? стало быть, важныя дѣла... Нѣтъ, я сегодня осталась безъ всякаго дѣла. Мой переводчикъ (я говорила вамъ?) извѣстилъ меня письменно, что отказывается отъ дѣятельности (которой ему никто и не предлагалъ) и такъ убѣдился въ равнодушіи общества, что считаетъ излишнимъ... Какъ онъ выразился? спросила она Карцова.

— Что? сказалъ онъ, проходя мимо.

— Однако, въ самомъ дѣлѣ, холодно, сказала она.—Я сейчасъ сдѣлаю чай.

Она вышла, приходила, опять уходила.

Карцовъ предложилъ курить. Приподнимая свѣчу, я немного освѣтилъ кругомъ. Картины, полотна, слѣпки, мольберъ, мастерская—какъ будто только по-утру въ ней работали.

Карцовъ замѣтилъ, что я оглянулся.

— Вѣрѣ Михайловнѣ было угодно, чтобъ я загромоздилъ ея гостиную, сказалъ онъ.

Онъ заговорилъ, очевидно, только потому, что мы оставались вдвоемъ.

— Это лучше всякой гостиной, сказалъ я.

Онъ усмѣхнулся и помолчалъ, будто выжидая, какую пошлость я еще прибавлю.

— Вы долго еще пробудете въ Петербургѣ? спросилъ онъ.

— Какъ случится, не знаю.

— Дождитесь, скоро выставка. Вѣра Михайловна такая любительница искусства; вы, какъ она говорила, друзья съ дѣтства, сходитесь во вкусахъ: ей было бы пріятно посмотрѣть вмѣстѣ съ вами.

— Будетъ что нибудь замѣчательное? спросилъ я.

— Все замѣчательное, судя по наградамъ: и медали, и званія академика, и профессуры.

— Чье же и что?

— Не знаю. Я не видалъ. Я слышалъ.

— Но эти работы, вѣроятно, исполнялись давно?

— Да, но чтобъ ихъ видѣть, надо бывать въ мастерскихъ.

— Развѣ художники запираются отъ собратовъ?

— Помилуйте, какой же я собратъ-художникъ? развѣ я имѣю право ломиться въ мастерскую? Туда приходятъ судить — а что же я смыслю?

— Позвольте не повѣрить, чтобъ вы говорили это искренно.

— Почему?

— Да вы бы давно бросили работать, если бы не сознавали себя художникомъ.[1]

— А!.. Вѣра Михайловна вамъ говорила... сказалъ онъ будто про себя.—Нѣтъ-съ; для того чтобы сознавать разныя свои великія призванія, нужны сужденія людей, а не домашній ѳиміамъ. Возмечтаешь себя Тиціаномъ, а глядишь—суздалецъ.

— Очень много людей со вкусомъ, знающихъ, видѣли ваши работы, возразила Вѣра, возвращаясь готовить чай: — право, мнѣнія тѣхъ, кто только гуляетъ по выставкамъ...

Онъ нетерпѣливо сбросилъ абажуръ, который она надѣла на свѣчку.

— Вѣдь вы сядете здѣсь... замѣтила она тихо.

Онъ, не слушая, обращался ко мнѣ.

— Я же, кстати, ничего не дѣлаю — хорошъ художникъ!

— Можно и отдохнуть, сказалъ я: — зачѣмъ утомляться.

— Утомляться? Я никогда не утомляюсь, а расположеніе духа скверное, ничего не ладится.

— И лучше не ломать себя, не торопиться.

— Мнѣ не къ чему спѣшить, отвѣчалъ онъ рѣзко: — заказовъ не имѣю, не выставляю... Выставки вѣдь для гуляющей толпы. Только вотъ что: художникъ безъ этой толпы — не художникъ. Все обдумывать да любоваться собою въ святилищѣ своей мастерской... Надняхъ, Вѣра Михайловна была такъ добра, прочла мнѣ сказку... Бальзака?

Онъ вопросительно обернулся къ ней.

— Да, Бальзака, о живописцѣ, который въ тиши уединенія додумался до чертиковъ и домалевалъ свой chef d'oeuvre до сплошнаго сѣраго пятна. Пожалуй, не сказка, а быль. Умъ за разумъ зайдетъ. Еще помѣшаться—перспектива прелестная.

Вѣра не шевельнулась; онъ взглянулъ на нее, его глаза сверкнули.

— Полноте, возразилъ я, стараясь засмѣяться: — тотъ, бальзаковскій, былъ не русскій человѣкъ, безъ энергіи—откровенно—безъ вашей силы воли...

— Вамъ отрекомендовали и мою силу воли? сказалъ онъ.—Это очень пріятно. Можно, значитъ, палецъ о палецъ не ударить и сдѣлаться знаменитымъ.

— Конечно, отвѣчалъ я весело: — и никому это такъ не легко, какъ вамъ.

— Какимъ образомъ?

— Да выставить первое, что у васъ найдется. Вѣдь, конечно, что нибудь найдется?

Онъ не возразилъ и съ минуту задумался; его прекрасные глаза оставались спокойны, потупленные; онъ чуть-чуть улыбался.

— Конечно, найдется, сказала Вѣра.

Карцовъ поднялъ голову.

— Ничего нѣтъ, сказалъ онъ.

— Не можетъ быть! возразилъ я.

— У васъ прелестная конченная вещь, сказала Вѣра.

— Какая это?

— Сцена изъ «Геца». Помните, обратилась она ко мнѣ:—молодежь льетъ пули въ

залѣ осажденнаго замка, и одинъ посылаетъ въ окно «горяченькую, съ сковородки». Небольшое, но ужъ такъ хорошо!..

— Можно видѣть? спросилъ я.

— О, если вамъ угодно! отвѣчалъ онъ, захохотавъ.—Съ большимъ удовольствіемъ.

Онъ бросился къ своимъ полотнамъ, споткнулся, откинулъ стулъ по дорогѣ, дернулъ мольберъ и поставилъ картину.

— Потрудитесь посвѣтить, Вѣра Михайловна... да нельзя ли зажечь еще что нибудь? Такъ и зрячій ничего не увидитъ...

Онъ выбѣжалъ изъ комнаты, вмигъ явился съ лампой и прибавилъ въ ней огня до послѣдней возможности.

— Товаръ лицомъ показываютъ, говорилъ онъ.—Вамъ нравится? очень радъ. Я теперь убѣждаюсь самъ, что это—великое произведеніе: два мѣсяца назадъ, Вѣра Михайловна не находила его достойнымъ выставки. Видно, когда что улежится, лучше выходитъ.

— Не я, а вы говорили, что еще нужно поработать, возразила Вѣра.

Картинка была—очарованіе: сила рисунка, историческая вѣрность подробностей, простота, жизнь... я не могъ отвести глазъ.

— Вамъ нравится? повторялъ Карцовъ.—Торжествую: Классическая вещь, первообразъ... Внесутъ въ мою біографію—не шутя, въ біографію, что вотъ эта бездѣлка подала мысль...

Вѣра была блѣдна, глядѣла на него и ждала.

— Изволите знать художника Грачева? спросилъ онъ меня.—Если не лично, то, безъ сомнѣнія, слыхали? Извѣстный портретистъ; его муфты—удивленіе! Онъ пожелалъ академика и получилъ за «историческій жанръ» —вотъ-съ за это самое.

— Какъ за это! вскричала Вѣра.

Карцовъ отвернулся къ ней спиною.

— Онъ, какъ-то, удостоилъ, сюда зашелъ. Это писалось. Не спѣша: нужно вѣдь еще сознать свое призваніе, да изучить, да пережить; я три недѣли высидѣлъ въ публичной библіотекѣ... ну, а мастеръ—ему дайте зародышъ идеи и готово!.. Увидите на выставкѣ.

— Не можетъ быть! вскричала Вѣра:—почему вы знаете?

— Я видѣлъ самъ, отвѣчалъ онъ ей, усмѣхаясь.— Вчера, какъ вы уходили, я вышелъ тоже на Невскій. Грачевъ встрѣтился. Самъ повелъ посмотрѣть; съ нея фотографію снимаютъ; самъ разсказалъ, такъ обязательно. Смѣется.

— Но это Богъ знаетъ что! Это—кража: прервала Вѣра.

Карцовъ хохоталъ.

— Судить не смѣю!

— И то же расположеніе, та же группировка?

— Почти то и не совсѣмъ то. Помилуйте—мастеръ! Полотно саженное. Колоритъ одинъ чего стоитъ: зарево, лунный свѣтъ, дѣва въ розовой кофтѣ... Ужъ запродалъ: въ Италію ѣдетъ. Газеты раскричатъ... «Вамъ все равно, говоритъ:—вы не кончите...»

— Это кончено! вскричала Вѣра:—выставьте, чтобы всѣ знали...

— Выставьте, повторилъ я.

— Чтобы что знали? спросилъ онъ холодно, устремивъ на насъ свои напряженные глаза.—Что недоучка, безымянный, ничтожность лѣзетъ туда же... Поздно!

Онъ сунулъ лампу на край подоконника. Вѣра ее подхватила.

— Вамъ угодно еще любоваться? спросилъ онъ меня.

— Я не нашелъ сказать слова. Онъ равнодушно снялъ картину, перевернулъ ее къ стѣнѣ и возвратился къ чайному столу. Вѣра и я машинально отошли тоже и машинально сѣли на прежнія мѣста. Карцовъ, стоя, выпилъ, не отрываясь, свой стаканъ и опять принялся ходить по комнатѣ, молча. Молчанію, казалось, не будетъ конца.

— Послушайте, сказала Вѣра.

— Онъ не остановился.

— Послушайте, Александръ Васильевичъ...

— А, вы мнѣ говорите? Что прикажете?

— Почему вы не хотите выставить картины?

— Почему вы этого хотите?

— Я думаю, вы знаете отвѣчала она.—Мнѣ обидно, мнѣ Богъ знаетъ какъ тяжело, что съ вами такъ поступили.

— Ничего-съ. Перенесемъ, отвѣчалъ онъ, отходя опять.

— Нѣтъ; этого перенести нельзя, возразила она горячо:—вмѣсто прекрасной вещи, не должно являться на свѣтъ безобразіе, нельзя допускать воровства...

— Это вы изъ любви къ красотѣ и истинѣ? Ну, такъ ужъ и быть, успокойтесь.

— Не могу, я бѣшусь! возразила она смѣясь и блѣднѣя.—И когда это поправимо! Завтра отдавайте картину; о ней будетъ статья, и не одна...

— Къ чорту! вскричалъ онъ, толкнувшись о мольберъ.

— Что вы... вырвалось у нея.

— Ахъ, виноватъ, сказалъ онъ, вдругъ останавливаясь передъ нами. — Виноватъ, извините. Но, надѣюсь, искренніе старые друзья...

Онъ любезно обращался ко мнѣ.

— Заранѣе знакомы, предупреждены о моемъ характерѣ, о моемъ образованіи... Я надѣюсь на снисхожденіе...

— Не лучше ли, на участіе? прервалъ я.—Неужели вы, въ самомъ дѣлѣ, не видите, какъ это тяжело и Вѣрѣ Михайловнѣ, и мнѣ.

— Не вижу, отвѣчалъ онъ тихо, настойчиво и отчаянно, и продолжалъ, смѣясь:— но вполнѣ чувствую. Немножко бы поменьше участія—еще было бы лучше!

— Лучше?

— Да! Когда ужъ очень много всего—участія, кротости, попеченій, великодушія—не знаешь, какъ ихъ и принимать. Что-жъ дѣлать—бѣдная человѣческая натура! Завалятъ ее всякимъ добромъ, она и не выдерется, силенки не хватаетъ; легла тамъ и околѣла... Ну, а околѣвая, не благодарятъ!

Онъ быстро отошелъ, воротился; его огненный взглядъ встрѣтилъ лицо Вѣры.

— А вы объ этомъ еще никогда не подумали? никогда этого не разобрали? Да, слишкомъ много, не вздохнешь! Чувствую, что вамъ тяжело! Чувствую, что я безконечно обязанъ! вѣдь еслибъ не вы, я нищій, я бы расписывалъ потолки въ трактирахъ! Вѣдь вы это, конечно, ужъ разсказали—вотъ, все разсказали? И опять съ участіемъ? Что мнѣ въ немъ?

— Послушайте...

— Я цѣлый годъ слушалъ! Поздно! Что вы вздумали меня тѣшить? Поздно! Еслибъ не вы, давно бы у меня было имя—какое нибудь, но было бы! Чего вы ждали? Чего вы отъ меня хотѣли, умничали?.. Да, портреты, женскіе портреты очень васъ тревожили! Что-жъ дѣлать—молодъ я! жить хотѣлось... Вы погубили мою молодость—ни себѣ, ни людямъ. Все погибло, ничего не воротишь! Развѣ я не понимаю, развѣ я маленькій ребенокъ? Конечно, я ничего не кончу! конечно, я ничего не сдѣлаю...

Онъ не договорилъ, выбѣжалъ и захлопнулъ за собою дверь.

Мы оставались, не глядя другъ на друга.

— Сдѣлай милость, сказала она, поднявъ голову:—зайди завтра въ редакцію; я безъ работы... Я слышала, тамъ что-то затѣвается...

— Вѣра, и ты еще можешь..

— Ему хуже, чѣмъ мнѣ, выговорила она и зажала лицо, заглушая рыданія...

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.